

Сомерсет
МОЭМ

ПЯТЬ ЛУЧШИХ РОМАНОВ

W. S. Maugham

Пять лучших романов (сборник)
Сомерсет Моэм

Аннотация
Сомерсет Моэм. Пять лучших романов
Луна и грош
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая
- Глава восемнадцатая
- Глава девятнадцатая

Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
Глава тридцать пятая
Глава тридцать шестая
Глава тридцать седьмая
Глава тридцать восьмая
Глава тридцать девятая
Глава сороковая
Глава сорок первая
Глава сорок вторая
Глава сорок третья
Глава сорок четвертая
Глава сорок пятая

Глава сорок шестая
Глава сорок седьмая
Глава сорок восьмая
Глава сорок девятая
Глава пятидесятая
Глава пятьдесят первая
Глава пятьдесят вторая
Глава пятьдесят третья
Глава пятьдесят четвертая
Глава пятьдесят пятая
Глава пятьдесят шестая
Глава пятьдесят седьмая
Глава пятьдесят восьмая
Узорный покров
Предисловие автора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Пироги и пиво, или скелет в шкафу
Предисловие автора
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
Театр
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая

Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Острие бритвы
Глава первая
Глава вторая

Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая

Аннотация

Лучшие романы Сомерсета Моэма – в одном томе.

Очень разные, но неизменно яркие и остроумные, полные глубокого психологизма и безукоризненного знания человеческой природы.

В них писатель поднимает извечные темы: любовь и предательство, искусство и жизнь, свобода и зависимость, отношения мужчин и женщин, творцов и толпы…

Однако Моэм не ставит диагнозов и не выносит приговоров – он живописует свою собственную «хронику утраченного времени», познать которую предстоит читателю.

Сомерсет Моэм
Пять лучших романов

© The Royal Literary Fund, 1919, 1925, 1930, 1937, 1944
© Перевод. Н. Ман, наследники, 2012
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2013, 2015
© Перевод. А. Иорданский, наследники, 2014
© Перевод. Г. Островская, наследники, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Луна и грош

© Перевод. Н. Ман, наследники, 2012.

Глава первая

Когда я познакомился с Чарлзом Стриклендом, мне, по правде говоря, и в голову не пришло, что он какой-то необыкновенный человек. А сейчас вряд ли кто станет отрицать его величие. Я имею в виду не величие удачливого политика или прославленного полководца, ибо оно относится скорее к месту, занимаемому человеком, чем к нему самому, и перемена обстоятельств нередко низводит это величие до весьма скромных размеров. Премьер-министр вне своего министерства сплошь и рядом оказывается болтливым фанфароном, а генерал без армии — всего-навсего пошловатым провинциальным львом. Величие Чарлза Стрикленда было подлинным величием. Вам может не нравиться его искусство, но равнодушны вы к нему не останетесь. Оно вас поражает, приковывает к себе. Прошли времена, когда оно было предметом насмешки, и теперь уже не считается признаком эксцентричности отстаивать его или извращенностью — его превозносить. Недостатки, ему свойственные, признаны необходимым дополнением его достоинств. Правда, идут еще споры о месте этого

художника в искусстве, и весьма вероятно, что славословия его почитателей столь же безосновательны, как и пренебрежительные отзывы хулителей. Одно несомненно — это творение гения. Мне думается, что самое интересное в искусстве — личность художника, и если она оригинальна, то я готов простить ему тысячи ошибок. Веласкес как художник был, вероятно, выше Эль Греко, но к нему привыкаешь и уже не так восхищаешься им, тогда как чувственный и трагический критянин открывает нам вечную жертвенность своей души. Актер, художник, поэт или музыкант своим искусством, возвышенным или прекрасным, удовлетворяет эстетическое чувство; но это варварское удовлетворение, оно сродни половому инстинкту, ибо он отдает вам еще и самого себя. Его тайна увлекательна, как детективный роман. Это загадка, которую не разгадать, все равно как загадку вселенной. Самая незначительная из работ Стрикленда свидетельствует о личности художника — своеобразной, сложной, мученической. Это-то и не оставляет равнодушными к его картинам даже тех, кому они не по вкусу, и это же пробудило столь острый интерес к его жизни, к особенностям его характера.

Со дня смерти Стрикленда не прошло и четырех лет, когда Морис Гюре опубликовал в «Меркюр де Франс» статью, которая спасла от забвения этого художника. По тропе, проложенной Гюре, устремились с большим или меньшим рвением многие известные литераторы: уже долгое время ни к одному критику во Франции так не прислушивались, да, и правда, его доводы не могли не произвести впечатление; они казались экстравагантными, но последующие критические работы подтвердили его мнение, и слава Чарлза Стрикленда с тех пор зиждется на фундаменте, заложенном этим французом.

То, как забрезжила эта слава, пожалуй, один из самых романтических эпизодов в истории искусства. Но я не собираюсь заниматься разбором искусства Чарлза Стрикленда или лишь постольку, поскольку оно характеризует его личность. Я не могу согласиться с художниками, спесиво утверждающими, что непосвященный обязательно ничего не смыслит в живописи и должен откликаться на нее только молчанием или чековой книжкой. Нелепейшее заблуждение — почитать искусство за ремесло, до конца понятное только ремесленнику. Искусство — это манифестация чувств, а чувство говорит об-

щепринятым языком. Согласен я только с тем, что критика, лишенная практического понимания технологии искусства, редко высказывает сколько-нибудь значительные суждения, а мое невежество в живописи беспредельно. По счастью, мне нет надобности пускаться в подобную авантюру, так как мой друг мистер Эдуард Леггат, талантливый писатель и превосходный художник, исчерпывающе проанализировал творчество Стрикленда в своей небольшой книжке[1], которую я бы назвал образцом изящного стиля, культивируемого во Франции со значительно большим успехом, нежели в Англии.

Морис Гюре в своей знаменитой статье дал жизнеописание Стрикленда, рассчитанное на то, чтобы возбудить в публике интерес и любопытство. Одержимый бескорыстной страстью к искусству, он стремился привлечь внимание истинных знатоков к таланту, необыкновенно своеобразному, но был слишком хорошим журналистом, чтобы не знать, что «чисто человеческий интерес» способствует скорейшему достижению этой цели. И когда те, кто некогда встречался со Стриклендом, — писатели, знавшие его в Лон-

[1] Примечания: 1

Леггат Эдуард. Современный художник. Заметки о творчестве Чарлза Стрикленда. Изд-во Мартина Зекера, 1917. — *Примеч. авт.*

доне, художники, сидевшие с ним бок о бок в кафе на Монмартре, — к своему удивлению, открыли, что тот, кто жил среди них и кого они принимали за жалкого неудачника, — подлинный гений, в журналы Франции и Америки хлынул поток статей. Эти воспоминания и восхваления, подливая масла в огонь, не удовлетворяли любопытства публики, а только еще больше его разжигали. Тема была благодарная, и усердный Вейтбрехт-Ротгольц в своей внушительной монографии[2] привел уже длинный список высказываний о Стрикленде.

В человеке заложена способность к мифотворчеству. Поэтому люди, алчно впитывая в себя ошеломляющие или таинственные рассказы о жизни тех, что выделились из среды себе подобных, творят легенду и сами же проникаются фанатической верой в нее. Это бунт романтики против заурядности жизни.

Человек, о котором сложена легенда, получает паспорт на бессмертие. Иронический философ усмехается при мысли, что человечество благоговейно хранит память о сэре Уолтере Рэли, водрузившем английский флаг в до того неве-

[2] Примечания: 2

Вейтбрехт-Ротгольц Гуго, доктор философии. Карл Стрикленд. Его жизнь и искусство. Швингель и Ганиш, Лейпциг, 1914. — *Примеч. авт.*

домых землях, не за этот подвиг, а за то, что он бросил свой плащ под ноги королеве-девственнице. Чарлз Стрикленд жил в безвестности. У него было больше врагов, чем друзей. Поэтому писавшие о нем старались всевозможными домыслами пополнить свои скудные воспоминания, хотя и в том малом, что было о нем известно, нашлось бы довольно материала для романтического повествования. Много в его жизни было странного и страшного, натура у него была неистовая, судьба обходилась с ним безжалостно. И легенда о нем мало-помалу обросла такими подробностями, что разумный историк никогда не отважился бы на нее посягнуть.

Но преподобный Роберт Стрикленд не был разумным историком. Он писал биографию своего отца[3], видимо, лишь затем, чтобы «разъяснить некоторые получившие хождение неточности», касающиеся второй половины его жизни и «причинившие немало горя людям, живым еще и поныне». Конечно, многое из того, что рассказывалось о жизни Стрикленда, не могло не шокировать почтенное семейство. Я от души забавлялся, читая труд Стрикленда-сына, и

[3] Примечания: 3

Стрикленд Роберт. Стрикленд. Человек и его труд. Уильям Хайнеман, 1913. — *Примеч. авт.*

меня это даже радовало, ибо он был крайне сер и скучен. Роберт Стрикленд нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзегезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии. Мысленно я уже видел лиловые епископские чулки на его мускулистых икрах. Это была затея смелая, но рискованная. Легенда немало способствовала росту славы его отца, ибо одних влекло к искусству Стрикленда отвращение, которое они испытывали к нему как к личности, других — сострадание, которое им внушала его гибель, а посему благонамеренные усилия сына странным образом охладили пыл почитателей отца. Не случайно же «Самаритянка»[4], одна из значительнейших

[4] Примечания: 4

Эта картина описана в каталоге «Кристи» следующим образом: «Обнаженная женщина, уроженка островов Товарищества, лежит на берегу ручья на фоне тропического пейзажа с пальмами, бананами и т. д.»; 60 дюймов × 48 дюймов. — *Примеч. авт.*

работ Стрикленда, после дискуссии, вызванной опубликованием новой биографии, стоила на 235 фунтов дешевле, чем девять месяцев назад, когда ее купил известный коллекционер, вскоре внезапно скончавшийся, отчего картина и пошла опять с молотка.

Возможно, что Стриклендову искусству недостало бы своеобразия и могучей притягательной силы, чтобы оправиться от такого удара, если бы человечество, приверженное к мифу, с досадой не отбросило версии, посягнувшей на наше пристрастие к необычному, тем более что вскоре вышла в свет работа доктора Вейтбрехта-Ротгольца, рассеявшая все горестные сомнения любителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротгольц принадлежит к школе историков, которая не только принимает на веру, что человеческая натура насквозь порочна, но старается еще больше очернить ее. И конечно, представители этой школы доставляют куда больше удовольствия читателям, чем коварные историки, предпочитающие выводить людей недюжинных, овеянных дымкой романтики, в качестве образцов семейной добродетели. Меня, например, очень огорчила бы мысль, что Антония и Клеопатру не связывало

ничего, кроме экономических интересов. И, право, понадобились бы необычайно убедительные доказательства, чтобы заставить меня поверить, будто Тиберий был не менее благонамеренным монархом, чем король Георг V.

Доктор Вейтбрехт-Ротгольц в таких выражениях расправился с добродетельнейшей биографией, вышедшей из-под пера его преподобия Роберта Стрикленда, что, право же, становилось жаль злополучного пастыря. Его деликатность была объявлена лицемерием, его уклончивое многословие — сплошным враньем, его умолчания — предательством. На основании мелких погрешностей против истины, достойных порицания у писателя, но вполне простительных сыну, вся англосаксонская раса разносилась в пух и прах за ханжество, глупость, претенциозность, коварство и мошеннические проделки. Я лично считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда для опровержения слухов о «неладах» между его отцом и матерью сослался на письмо Чарлза Стрикленда из Парижа, в котором тот называл ее «достойной женщиной», ибо доктор Вейтбрехт-Ротгольц раздобыл и опубликовал факсимиле этого письма, в котором черным по белому стояло: «Черт бы побрал мою жену. Она

достойная женщина. Но я бы предпочел, чтобы она уже была в аду». Надо сказать, что церковь во времена своего величия поступала с неугодными ей свидетельствами иначе.

Доктор Вейтбрехт-Ротгольц был пламенным поклонником Чарлза Стрикленда, и читателю не грозила опасность, что он будет всеми способами его обелять. Кроме того, Вейтбрехт-Ротгольц умел безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий. Психопатолог в той же мере, что и искусствовед, он отлично разбирался в мире подсознательного. Ни одному мистику не удавалось лучше прозреть скрытый смысл в обыденном. Мистик видит несказанное, психопатолог — то, о чем не говорят. Это было увлекательное занятие — следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя. Он захлебывался от восторга, когда ему удавалось вытащить на свет Божий еще один пример жестокости или низости, и ликовал, как инквизитор, отправивший на костер еретика, когда какая-нибудь давно позабытая история подрывала сыновний пиетет его преподобия Роберта Стрикленда. Трудолюбие его достойно изумления. Ни одна мелочь не ускользнула от него, и мы

можем быть уверены, что если Чарлз Стрикленд когда-нибудь не заплатил по счету прачечной, то этот счет будет приведен in extenso[5], а если ему случилось не отдать взятые взаймы полкроны, то уж ни одна деталь этого преступного правонарушения не будет упущена.

[5] Примечания: 5
Полностью (*лат.*).

Глава вторая

Раз так много написано о Чарлзе Стрикленде, то стоит ли еще и мне писать о нем? Памятник художнику — его творения. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: впервые я встретился с ним до того, как он стал художником, и нередко виделся с ним в Париже, где ему жилось так трудно. И все же я никогда не написал бы воспоминаний о нем, если бы случайности войны не забросили меня на Таити. Там, как известно, провел он свои последние годы, и там я познакомился с людьми, которые близко знали его. Таким образом, мне представилась возможность пролить свет на ту пору его трагической жизни, которая оставалась сравнительно темной. Если Стрикленд, как многие считают, и вправду великий художник, то, разумеется, интересно послушать рассказы тех, кто изо дня в день встречался с ним. Чего бы мы не дали теперь за воспоминания человека, знавшего Эль Греко не хуже, чем я Чарлза Стрикленда?

Впрочем, я не уверен, что все эти оговорки так уж нужны. Не помню, какой мудрец советовал людям во имя душевного равновесия дважды в

день проделывать то, что им неприятно; лично я в точности выполняю это предписание, ибо каждый день встаю и каждый день ложусь в постель. Но, будучи по натуре склонным к аскетизму, я еженедельно изнуряю свою плоть еще более жестоким способом, а именно: читаю литературное приложение к «Таймс».

Поистине это душеспасительная епитимья — размышлять об огромном количестве книг, вышедших в свет, о сладостных надеждах, которые возлагают на них авторы, и о судьбе, ожидающей эти книги. Много ли шансов у отдельной книги пробить себе дорогу в этой сутолоке? А если ей даже сужден успех, то ведь ненадолго. Один Бог знает, какое страдание перенес автор, какой горький опыт остался у него за плечами, какие сердечные боли терзали его, и все лишь для того, чтобы его книга часок-другой поразвлекала случайного читателя или помогла ему разогнать дорожную скуку. А ведь, если судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, авторами вложено в них немало мыслей, а некоторые — плод неустанного труда целой жизни. Из всего этого я делаю вывод, что удовлетворения писатель должен искать только в самой работе и в освобождении от груза своих мыслей, оставаясь

равнодушным ко всему привходящему — к хуле и хвале, к успеху и провалу.

Но вместе с войной пришло новое отношение к вещам. Молодежь поклонилась богам, в наше время неведомым, и теперь уже ясно видно направление, по которому двинутся те, что будут жить после нас. Младшее поколение, неугомонное и сознающее свою силу, уже не стучится в двери — оно ворвалось и уселось на наши места. Воздух сотрясается от их крика. Старцы подражают повадкам молодежи и силятся уверить себя, что их время еще не прошло. Они шумят заодно с юнцами, но из их ртов вырывается не воинственный клич, а жалобный писк; они похожи на старых распутниц, с помощью румян и пудры старающихся вернуть себе былую юность. Более мудрые с достоинством идут своей дорогой. В их сдержанной улыбке проглядывает снисходительная насмешка. Они помнят, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли предшествующее, уже усталое поколение, и предвидят, что нынешним бойким факельщикам вскоре тоже придется уступить свое место. Последнего слова не существует. Новый Завет был уже стар, когда Ниневия возносила к небу свое величие. Смелые слова, которые кажутся столь новыми

тому, кто их произносит, были, и почти с теми же интонациями, произнесены уже сотни раз. Маятник раскачивается взад и вперед. Движение неизменно совершается по кругу.

Бывает, что человек зажился и из времени, в котором ему принадлежало определенное место, попал в чужое время, — тогда это одна из забавнейших сцен в человеческой комедии. Ну кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А он был знаменитый поэт в свое время, и человечество признавало его гений с единодушием, в наше более сложное время уже немыслимым. Он был выучеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы рифмованными двустишиями. Но разразилась Французская революция, затем наполеоновские войны, и поэты запели новые песни. Крабб продолжал писать нравоучительные рассказы рифмованными двустишиями. Надо думать, он читал стихи юнцов, учинивших такой переполох в мире, и считал их вздором. Конечно, многое в этих стихах и было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, несколько поэм Колриджа и в еще большей степени Шелли открыли человечеству ранее неведомые и обширные области духа. Мистер Крабб был глуп как баран: он продолжал писать нравоучительные

истории рифмованными двустишиями. Я прочитываю иногда то, что пишут молодые. Может быть, более пылкий Ките и более возвышенный Шелли уже выпустили в свет новые творения, которые навек запомнит благодарное человечество. Не знаю. Я восхищаюсь тщательностью, с которой они отделывают то, что выходит у них из-под пера, — юность эта так законченна, что говорить об обещаниях, конечно, уже не приходится. Я дивлюсь совершенству их стиля; но все их словесные богатства (сразу видно, что в детстве они заглядывали в «Словарь» Роже) ничего не говорят мне. На мой взгляд, они знают слишком много и чувствуют слишком поверхностно; я не терплю сердечности, с которой они похлопывают меня по спине, и взволнованности, с которой бросаются мне на грудь. Их страсть кажется мне худосочной, их мечты — скучноватыми. Я их не люблю. Я завяз в другом времени. Я по-прежнему буду писать нравоучительные истории рифмованными двустишиями. Но я был бы трижды дурак, если бы делал это не только для собственного развлечения.

Глава третья

Но все это между прочим.

Я был очень молод, когда написал свою первую книгу По счастливой случайности она привлекла к себе внимание, и различные люди стали искать знакомства со мной.

Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературном мире Лондона той поры, когда я, робкий и взволнованный, ступил в его пределы. Давно уже я не бывал в Лондоне, и если романы точно описывают характерные его черты, то, значит, многое там изменилось. И кварталы, в которых главным образом протекает литературная жизнь, теперь иные. Хэмпстед, Ноттинг-Хилл-гейт, Гай-стрит и Кенсингтон уступили место Челси и Блумсбери. В те времена писатель моложе сорока лет привлекал к себе внимание, теперь писатели старше двадцати пяти лет — комические фигуры. Тогда мы конфузились своих чувств, и страх показаться смешным смягчал проявления самонадеянности. Не думаю, чтобы тогдашняя богема очень уж заботилась о строгости нравов, но я не помню и такой неразборчивости, какая, видимо, процветает теперь. Мы не считали себя

лицемерами, если покров молчания прикрывал наши безрассудства. Называть вещи своими именами у нас не считалось обязательным, да и женщины в ту пору еще не научились самостоятельности.

Я жил неподалеку от вокзала Виктория и совершал долгие путешествия в омнибусе, отправляясь в гости к радушным литераторам. Прежде чем набраться храбрости и дернуть звонок, я долго шагал взад и вперед по улице и потом, замирая от страха, входил в душную комнату, битком набитую народом. Меня представляли то одной, то другой знаменитости, и я краснел до корней волос, выслушивая добрые слова о своей книге. Я чувствовал, что от меня ждут остроумных реплик, но таковые приходили мне в голову лишь по окончании вечера. Чтобы скрыть свою робость, я усердно передавал соседям чай и плохо нарезанные бутерброды. Мне хотелось остаться незамеченным, чтобы спокойно наблюдать за этими великими людьми, спокойно слушать их умные речи.

Мне помнятся дородные, чопорные дамы, носатые, с жадными глазами, на которых платья выглядели как доспехи, и субтильные, похожие на мышек, старые девы с кротким голоском и

колючим взглядом. Я точно зачарованный смотрел, с каким упорством они, не сняв перчаток, поглощают поджаренный хлеб и потом небрежно вытирают пальцы о стулья, воображая, что никто этого не замечает. Для мебели это, конечно, было плохо, но хозяйка, надо думать, отыгрывалась на стульях своих друзей, когда, в свою очередь, бывала у них в гостях. Некоторые из этих дам одевались по моде и уверяли, что не желают ходить чучелами только оттого, что пишут романы: если у тебя изящная фигура, то старайся это подчеркнуть, а красивые туфли на маленькой ножке не помешали еще ни одному издателю купить у тебя твою «продукцию». Другие, напротив, считая такую точку зрения легкомысленной, наряжались в платья фабричного производства и нацепляли на себя поистине варварские украшения. Мужчины, как правило, имели вполне корректный вид. Они хотели выглядеть светскими людьми и при случае вправду могли сойти за старших конторщиков солидной фирмы. Вид у них всегда был утомленный. Я никогда прежде не видел писателей, и они казались мне несколько странными и даже какими-то ненастоящими.

Их разговор я находил блистательным и с удивлением слушал, как они поносили любого

собрата по перу, едва только он повернется к ним спиной. Преимущество людей артистического склада заключается в том, что друзья дают им повод для насмешек не только своим внешним видом или характером, но и своими трудами. Я был убежден, что никогда не научусь выражать свои мысли так изящно и легко, как они. В те времена разговор считали искусством; меткий, находчивый ответ ценился выше подспудного глубокомыслия, и эпиграмма, еще не ставшая механическим приспособлением для переплавки глупости в остроумие, оживляла салонную болтовню. К сожалению, я не могу припомнить ничего из этих словесных фейерверков. Но мне думается, что беседы становились всего оживленнее, когда они касались чисто коммерческой стороны нашей профессии. Обсудив достоинства новой книги, мы, естественно, начинали говорить о том, сколько экземпляров ее распродано, какой аванс получен автором и сколько еще дохода она ему принесет. Далее речь неизменно заходила об издателях, щедрость одного противопоставлялась мелочности другого; мы обсуждали, с каким из них лучше иметь дело: с тем, кто не скупится на гонорары, или с тем, кто умеет «протолкнуть» любую книгу. Одни умели

рекламировать автора, другим это не удавалось. У одного издателя был нюх на современность, другого отличала старомодность. Затем разговор перескакивал на комиссионеров, на заказы, которые они добывали для нас, на редакторов газет, на характер нужных им статей, на то, сколько платят за тысячу слов и как платят — аккуратно или задерживают гонорар. Мне все это казалось весьма романтичным. Я чувствовал себя членом некоего тайного братства.

Глава четвертая

Никто не принимал во мне тогда больше участия, чем Роза Уотерфорд. Мужской ум соединялся в ней с женским своенравием, а романы, выходившие из-под ее пера, смущали читателей своей оригинальностью. У нее-то я и встретил жену Чарлза Стрикленда. Мисс Уотерфорд устраивала званый чай, и в ее квартирке набилось полным-полно народу. Все оживленно болтали, и я, молча сидевший в сторонке, чувствовал себя прескверно, но был слишком робок, чтобы присоединиться к той или иной группе гостей, казалось, всецело поглощенных собственными делами. Мисс Уотерфорд, как гостеприимная хозяйка, видя мое замешательство, поспешила мне на помощь.

— Вам надо поговорить с миссис Стрикленд, — сказала она. — Она в восторге от вашей книги.

— Чем занимается миссис Стрикленд? — осведомился я.

Я отдавал себе отчет в своем невежестве, и если миссис Стрикленд была известной писательницей, то мне следовало узнать это прежде, чем вступить с нею в разговор.

Роза Уотерфорд потупилась, чтобы придать больший эффект своим словам.

— Она угощает гостей завтраками. Если вы будете иметь успех, приглашение вам обеспечено.

Роза Уотерфорд была циником. Жизнь представлялась ей оказией для писания романов, а люди — необходимым сырьем. Время от времени она отбирала из этого сырья тех, кто восхищался ее талантом, зазывала их к себе и принимала весьма радушно. Беззлобно подсмеиваясь над их слабостью к знаменитым людям, она тем не менее умело разыгрывала перед ними роль прославленной писательницы.

Представленный миссис Стрикленд, я минут десять беседовал с нею с глазу на глаз. Я не заметил в ней ничего примечательного, разве что приятный голос. Она жила в Вестминстере, и окна ее квартиры выходили на недостроенную церковь; я жил в тех же краях, и это обстоятельство заставило нас почувствовать взаимное расположение. Универсальный магазин армии и флота служит связующим звеном для всех, кто живет между Темзой и Сент-Джеймсским парком. Миссис Стрикленд спросила мой адрес, и несколькими днями позднее я получил приглашение к завтраку.

Я редко получал приглашения и потому принял

его с удовольствием. Когда я пришел с небольшим опозданием, так как из страха явиться слишком рано три раза обошел кругом церкви, общество было уже в полном сборе: мисс Уотерфорд, миссис Джей, Ричард Туайнинг и Джордж Род. Словом, одни писатели. Стоял погожий весенний день, и настроение у собравшихся было отличное. Разговоры шли обо всем на свете. На мисс Уотерфорд, разрывавшейся между эстетическими представлениями ее юности (строгое зеленое платье, нарциссы в руках) и ветреностью зрелых лет (высокие каблуки и парижские туалеты), была новая шляпа. Это придавало ее речам необыкновенную резкость. Никогда еще она так зло не отзывалась о наших общих друзьях. Миссис Джей, убежденная, что непристойность — душа остроумия, полушепотом отпускала остроты, способные вогнать в краску даже белоснежную скатерть. Ричард Туайнинг все время нес какую-то чепуху, а Джордж Род в горделивом сознании, что ему нет надобности щеголять своим остроумием, уже вошедшим в поговорку, открывал рот только затем, чтобы положить в него лакомый кусочек. Миссис Стрикленд говорила немного, но у нее был бесценный дар поддерживать общую беседу: чуть наступала пауза, она весьма кстати встав-

ляла какое-нибудь замечание, и разговор снова оживлялся. Высокая, полная, но не толстая, лет так тридцати семи, она не отличалась красотой, но смугловатое лицо ее было приятно, главным образом из-за добрых карих глаз. Темные волосы она тщательно причесывала, не злоупотребляла косметикой и по сравнению с двумя другими дамами выглядела простой и безыскусной.

Убранство ее столовой было очень строго, в соответствии с хорошим вкусом того времени. Высокая белая панель по стенам и на зеленых обоях гравюры Уистлера в изящных черных рамках. Зеленые портьеры с узором «павлиний глаз» строгими прямыми линиями ниспадали на зеленый же ковер, по углам которого среди пышных деревьев резвились блеклые кролики — несомненное влияние Уильяма Морриса. Каминная доска была уставлена синим дельфтским фаянсом. В те времена в Лондоне нашлось бы не меньше пятисот столовых, убранных в том же стиле — скромно, артистично и уныло.

Я вышел оттуда вместе с мисс Уотерфорд. Чудесный день и ее новая шляпа определили наше решение побродить по парку.

— Что ж, мы премило провели время, — сказал я.

— А как вы находите завтрак? Я внушила ей, что если хочешь видеть у себя писателей, то надо ставить хорошее угощение.

— Мудрый совет, — отвечал я. — Но на что ей писатели?

Мисс Уотерфорд пожала плечами.

— Она их считает занимательными и не хочет отставать от моды. Она очень простодушна, бедняжка, и воображает, что все мы необыкновенные люди. Ей нравится кормить нас завтраками, а мы от этого ничего не теряем. Потому-то я и чувствую к ней симпатию.

Оглядываясь назад, я думаю, что миссис Стрикленд была еще самой безобидной из всех охотников за знаменитостями, преследующих свою добычу от изысканных высот Хэмпстеда до захудалых студий на Чейни-Уок. Юность она тихо провела в провинции, и книги, присылаемые ей из столичной библиотеки, пленяли ее не только своей собственной романтикой, но и романтикой Лондона. У нее была подлинная страсть к чтению (редкая в людях, интересующихся больше авторами, чем их творениями, больше художниками, чем их картинами), она жила в воображаемом мире, пользуясь свободой, недоступной для нее в повседневности. Когда она познакомилась с

писателями, ей стало казаться, что она попала на сцену, которую прежде видела только из зрительного зала. Она так их идеализировала, что ей и вправду думалось, будто, принимая их у себя или навещая их, она живет иною, более возвышенной жизнью. Правила, согласно которым они вели свою жизненную игру, ее не смущали, но она ни на мгновение не собиралась подчинить им свою собственную жизнь. Их вольные нравы, так же как необычная манера одеваться, их нелепые теории и парадоксы занимали ее, но ни в какой мере не влияли на ее убеждения.

— Скажите, а существует ли мистер Стрикленд? — поинтересовался я.

— О, конечно, он что-то делает в Сити. Кажется, биржевой маклер. Скучнейший малый!

— И они в хороших отношениях?

— Обожают друг друга. Вы его увидите, если она пригласит вас к обеду. Но у них редко обедают посторонние. Он человек смирный. И нисколько не интересуется литературой и искусством.

— Почему это милые женщины так часто выходят за скучных мужчин?

— Потому что умные мужчины не женятся на милых женщинах.

Я ничего не смог на это возразить и спросил,

есть ли у миссис Стрикленд дети.

— Да, девочка и мальчик. Оба учатся в школе.

Тема была исчерпана, и мы заговорили о другом.

Глава пятая

В течение лета я довольно часто виделся с миссис Стрикленд.

Я посещал ее приятные интимные завтраки и куда более торжественные чаепития. Мы искренне симпатизировали друг другу. Я был очень молод, и, возможно, ей льстила мысль, будто она руководит моими первыми шагами на многотрудном поприще литературы, мне же было приятно сознавать, что есть человек, к которому я всегда могу пойти с любыми моими заботами в уверенности, что меня внимательно выслушают и дадут разумный совет. У миссис Стрикленд был дар сочувствия. Прекрасное качество, но те, что его сознают в себе, нередко им злоупотребляют: с алчностью вампира впиваются они в беды друзей, лишь бы найти применение своему таланту. Они обрушивают на свои жертвы сочувствие, и оно бьет точно нефтяной фонтан, еще хуже запутывая их дела. На иную грудь пролито уже столько слез, что я бы не решился увлажнять ее еще своими. Миссис Стрикленд не злоупотребляла этим даром, но, принимая ее сочувствие, вы явно доставляли ей радость. Когда я с юношеской

непосредственностью поделился этим наблюдением с Розой Уотерфорд, она сказала:

— Молоко пить приятно, особенно с бренди, но корова жаждет от него избавиться. Разбухшее вымя — пренеприятная штука.

У Розы Уотерфорд язык был как шпанская мушка. Никто не умел злее съязвить, но, с другой стороны, никто не мог наговорить более милых слов.

В миссис Стрикленд мне нравилась еще одна черта — ее умение элегантно жить. В доме у нее всегда было очень чисто и уютно, повсюду пестрели цветы, и кретон в гостиной, несмотря на строгий рисунок, выглядел светло и радостно. Кушанья у нее были отлично приготовлены, стол маленькой артистичной столовой — изящно сервирован, обе горничные щегольски одеты и миловидны. Сразу бросалось в глаза, что миссис Стрикленд — превосходная хозяйка. И, уж конечно, превосходная мать. Гостиную украшали фотографии ее детей. Сын Роберт, юноша лет шестнадцати, учился в Регби; на одной фотографии он был снят в спортивном костюме, на другой — во фраке со стоячим воротничком. У него, как и у матери, был чистый лоб и красивые задумчивые глаза. Он производил впечатление

чистоплотного, здорового, вполне заурядного юноши.

— Не думаю, чтобы он был очень умен, — сказала она однажды, заметив, что я вглядываюсь в фотографию, — но зато он добрый и славный мальчик.

Дочери было четырнадцать лет. Ее волосы, темные и густые, как у матери, волнами спадали на плечи. И у нее тоже лицо было доброе, а глаза безмятежные.

— Они оба — ваш портрет, — сказал я.

— Да, они больше похожи на меня, чем на отца.

— Почему вы так и не познакомили меня с вашим мужем? — спросил я.

— Вы этого хотите?

Она улыбнулась — улыбка у нее и правда была прелестная — и слегка покраснела. Я всегда удивлялся, что женщина ее возраста так легко краснеет. Но наивность была, пожалуй, главным ее очарованием.

— Он ведь совсем чужд литературе, — сказала она. — Настоящий обыватель.

Она сказала это без тени пренебрежительности, скорее нежно, словно стараясь защитить его от нападок своих друзей.

— Он играет на бирже, типичнейший биржевой маклер. Вы с ним умрете с тоски.

— Вы тоже скучаете с ним?

— Нет, но ведь я его жена. И я очень к нему привязана.

Она улыбнулась, стараясь скрыть свое смущение, и мне показалось, что она боится, как бы я не отпустил какой-нибудь шуточки в духе Розы Уотерфорд. Она помолчала. В глазах у нее светилась нежность.

— Он не воображает себя гением и даже не очень много зарабатывает на бирже. Но он удивительно хороший и добрый человек.

— Думаю, что мне он придется по душе.

— Я приглашу вас как-нибудь отобедать с нами в семейном кругу, но если вам будет скучно, пеняйте на себя.

Глава шестая

Обстоятельства сложились так, что, встретившись наконец с Чарлзом Стрикленд, я толком не познакомился с ним. Однажды утром мне принесли письмецо миссис Стрикленд, в котором говорилось, что сегодня вечером она ждет гостей к обеду, и так как один из ранее приглашенных не может прийти, она предлагает мне занять его место. В записке стояло:

> *Считаю своим долгом предупредить Вас, что скука будет отчаянная. По составу гостей это неизбежно. Но если Вы все-таки придете, я буду бесконечно Вам признательна. Мы улучим минутку и поболтаем с глазу на глаз.*

Я решил, что добрососедские отношения велят мне явиться. Когда миссис Стрикленд представила меня своему мужу, он довольно сухо пожал мне руку.

Живо обернувшись к нему, она шутливо заметила:

— Я пригласила его, чтобы показать, что у меня

действительно есть муж. По-моему, он уже начал в этом сомневаться.

Стрикленд учтиво улыбнулся — так улыбаются в ответ на шутку, в которой нет ничего смешного, — но ни слова не сказал. Новые гости отвлекли от меня внимание хозяина, и я снова был предоставлен самому себе. Когда все были уже в сборе и я занимал разговором даму, которую мне было назначено вести к столу, мне невольно подумалось, что цивилизованные люди невероятно изобретательны в способах расходовать свою краткую жизнь на докучные церемонии. Это был один из тех обедов, когда невольно дивишься: зачем хозяйка утруждает себя приемом гостей и зачем гости взяли на себя труд прийти к ней. За столом было десять человек. Они встретились равнодушно, и разойтись им предстояло со вздохом облегчения. Такой обед был отбыванием светской повинности. Стрикленды «должны» были пригласить отобедать этих людей, ничуть им не интересных. Они выполняли свой долг, а гости — свой. Почему? Чтобы избегнуть скуки сидеть за столом tête-à-tête, чтобы дать отдохнуть прислуге, потому что не было резонов отказаться или потому что хозяева «задолжали» им обед?

В столовой было довольно-таки тесно. За

столом сидели известный адвокат с супругой, правительственный чиновник с супругой, сестра миссис Стрикленд с мужем, полковником Мак-Эндрю, и супруга одного члена парламента. Так как сам член парламента решил, что в этот день ему нельзя отлучиться из палаты, то на его место пригласили меня. В респектабельности этой компании было что-то невыносимое. Женщины были слишком манерны, чтобы быть хорошо одетыми, и слишком уверены в своем положении, чтобы быть занимательными. Мужчины являли собой воплощенную солидность. От них так и веяло самодовольством.

Все говорили несколько громче обычного, повинуясь инстинктивному желанию оживить общество, и в комнате стоял шум. Но общий разговор не клеился. Каждый обращался только к своему соседу: к соседу справа — во время закуски, супа и рыбы, к соседу слева — во время жаркого, овощей и десерта. Говорили о политике и гольфе, о детях и последней премьере, о картинах, выставленных в Королевской академии, о погоде и планах на лето. Разговоры не умолкали ни на одно мгновение, и шум усиливался. Миссис Стрикленд имела все основания радоваться — обед удался на славу. Муж ее с достоинством

играл роль хозяина. Пожалуй, он был только слишком молчалив, и под конец мне показалось, что на лицах обеих его соседок появилось выражение усталости. Видимо, он им наскучил. Раз или два тревожный взгляд миссис Стрикленд останавливался на нем.

После десерта она поднялась, и дамы гуськом последовали за нею в гостиную. Стрикленд закрыл за ними дверь и, перейдя на другой конец стола, сел между известным адвокатом и правительственным чиновником. Он налил всем по рюмке портвейна и стал угощать нас сигарами. Адвокат нашел вино превосходным, и Стрикленд сообщил, где оно куплено. Разговор завертелся вокруг вин и табака. Потом адвокат рассказал о судебном процессе, который он вел, а полковник стал распространяться об игре в поло. Мне нечего было сказать, и я сидел молча, стараясь из учтивости выказывать интерес к разговору других; никому не было до меня дела, и я стал на досуге разглядывать Стрикленда. Он оказался выше, чем я думал; почему-то я воображал, что Стрикленд — худощавый, невзрачный человек; наделе он был широкоплеч, грузен, руки и ноги у него были большие, и вечерний костюм сидел на нем мешковато. Чем-то он напоминал принаря-

дившегося кучера. Это был мужчина лет сорока, отнюдь не красавец, но и не урод; черты лица его, довольно правильные, но странно крупные, производили невыгодное впечатление. Бритое большое лицо казалось неприятно обнаженным. Волосы у него были рыжеватые, коротко остриженные, глаза не то серые, не то голубые. В общем, внешность самая заурядная. Я понял, почему миссис Стрикленд немного стеснялась его: не такой муж нужен женщине, стремящейся добиться положения в обществе литераторов и артистов. Он был явно лишен светского лоска, но это качество не обязательное; он даже не выделялся какими-нибудь чудачествами. Это был просто добродушный, скучный, честный, заурядный малый. Некоторые его качества, может быть, и заслуживали похвалы, но стремиться к общению с ним было невозможно. Он был равен нулю. Пусть он добропорядочный член общества, хороший муж и отец, честный маклер, но терять на него время, право же, не стоило!

Глава седьмая

Сезон уже подходил к своему пыльному концу, и все вокруг готовились к отъезду. Миссис Стрикленд с семьей собиралась в Норфолк, там дети могли наслаждаться морем, а супруг — игрою в гольф. Мы с нею распростились, уговорившись встретиться осенью. Но накануне своего отъезда я столкнулся с нею и с ее детьми в дверях магазина; она, как и я, делала последние закупки перед отъездом из Лондона и, так же, как я, чувствовала себя усталой и разгоряченной. Я предложил им пойти в парк и поесть мороженого.

Миссис Стрикленд, вероятно, была рада показать мне своих детей и с готовностью согласилась на мое предложение. Дети ее в жизни выглядели еще привлекательнее, чем на фотографиях, и она по праву гордилась ими. Я был еще молод, а потому они меня не стеснялись и болтали напропалую. Это были удивительно милые, пышущие здоровьем юные создания. И сидеть под деревьями тоже было приятно.

Час спустя она кликнула кеб и уехала домой, а я, чтобы скоротать время, поплелся в клуб. В этот день у меня было как-то тоскливо на душе,

и я ощутил даже некоторую зависть к семейному благополучию, с которым только что соприкоснулся. Все они, видимо, очень любили друг друга. Они то и дело вставляли в разговор какие-то словечки, ничего не говорившие постороннему, им одним понятные и смешившие их до упаду. Возможно, что Чарлз Стрикленд был скучным человеком, если подходить к нему с меркой, превыше всего ставящей словесный блеск, но его интеллект соответствовал среде, в которой он жил, а это уже залог не только известного успеха, но и счастья. Миссис Стрикленд была прелестная женщина и любила его. Я представил себе, как течет их жизнь, ничем не замутненная, честная, мирная и, благодаря подрастающим прелестным детям, предназначенным продолжать здоровые традиции их расы и сословия, наполненная содержанием. «Наверно, они тихо доживут до глубокой старости, — думал я, — увидят своих детей зрелыми людьми; сын их женится, как и надлежит, на хорошенькой девушке, будущей матери здоровых ребятишек; дочь выйдет замуж за красивого молодого человека, скорей всего военного; и вот в преклонных летах, среди окружающего их благоденствия, оплаканные детьми и внуками, они отойдут в вечность, прожив

счастливую и небесполезную жизнь».

Такова, вероятно, история бесчисленных супружеств, и, право же, в подобной жизни есть своя безыскусственная прелесть. Она напоминает тихий ручеек, что безмятежно струится по зеленеющим лугам и в тени густых дерев, покуда не впадет в безбрежное море; но море так спокойно, так тихо и равнодушно, что в душу внезапно закрадывается смутная печаль. Или, может, это просто странность моей натуры, сказавшаяся уже в те годы, но такая участь огромного большинства всегда казалась мне пресноватой. Я признавал ее общественную ценность, видел ее упорядоченное счастье, но жаркая кровь во мне алкала иной, мятежной доли. Столь доступные радости пугали меня. Мое сердце рвалось к более опасной жизни. Пусть встретятся на моем пути рифы и предательские мели, лишь бы не так монотонно текла жизнь, лишь бы познать радость нечаянного, непредвиденного.

Глава восьмая

Перечитав все написанное мною о Стрикленд-ах, я вижу, что они получились у меня довольно блеклыми фигурами. Мне не удалось придать им ни одной из тех характерных черт, которые заставляют персонажей книги жить своей собственной, реальной жизнью; полагая, что это моя вина, я долго ломал себе голову, стараясь припомнить какие-нибудь особенности, могущие вдохнуть в них жизнь. Я уверен, что, обыграв какое-нибудь излюбленное словцо или странную привычку, я бы сделал своих героев куда более значительными. А так они, точно выцветшие фигуры на шпалерах, слились с фоном, на расстоянии вовсе утратили свой облик и воспринимаются лишь как приятные для глаза мазки. Единственным моим оправданием служит то, что именно такими они мне казались. В них была расплывчатость, свойственная людям, которые, являясь частью социального организма, существуют лишь в нем и благодаря ему. Эти люди напоминают клетки в тканях нашего тела, необходимые, но, покуда они здоровы, не замечаемые нами. Стрикленды были обычной буржуазной се-

мьей. Милая, гостеприимная жена с безобидным пристрастием к второразрядным литературным львам; довольно скучный муж, честно выполняющий свои обязанности на том самом месте, на какое его поставил Господь Бог; миловидные, здоровые дети. Трудно встретить более заурядное сочетание. В них не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание любопытного.

Вспоминая все, что случилось в дальнейшем, я спрашиваю себя: может, я просто дурак, если не разглядел в Чарлзе Стрикленде ничего, что отличало бы его от простого обывателя. Возможно! Думается, что за годы, отделяющие то время от нынешнего, я хорошо узнал людей, но, даже если бы весь мой опыт был при мне тогда, когда я впервые встретил Стриклендов, я уверен, что отнесся бы к ним точно так же. С одной только разницей — уразумев, что человек полон неожиданностей, я не был бы так потрясен сообщением, которое услышал по осени, вернувшись в Лондон.

На следующий же день после моего возвращения я столкнулся на Джермин-стрит с Розой Уотерфорд.

— Вид у вас весьма оживленный, — заметил я. — В чем дело?

Она улыбнулась, и в глазах ее мелькнуло зло-

радство. Причину его я понял немедленно: она прознала о скандальной истории, случившейся с кем-нибудь из ее друзей, и все чувства этой литературной дамы пришли в волнение.

— Вы ведь знакомы с Чарлзом Стриклендом?

Не только ее лицо, вся ее фигура выражала полную боевую готовность. Я кивнул и подумал, что бедняга, наверно, попал под омнибус или же проигрался на бирже.

— Ужасная история! Он бросил жену!

Мисс Уотерфорд, конечно, чувствовала, что тротуар на Джермин-стрит не место для дальнейшего развития этого разговора, и, как натура артистическая, ошеломила меня только самим фактом, заявив, что никаких подробностей она не знает. Я, правда, усомнился, чтобы такая мелочь, как городская сутолока, могла помешать ей, но она стояла на своем.

— Говорят вам, я ничего не знаю, — отвечала она на все мои взволнованные расспросы и, слегка передернув плечами, добавила: — Думаю, что какая-нибудь смазливая девица оставила свою службу в кафе.

Она очаровательно улыбнулась и, пояснив, что ее ждет зубной врач, удалилась, бойко стуча каблуками.

Я был скорее заинтригован, чем огорчен. В ту пору мой непосредственный житейский опыт был очень невелик, и меня потрясло, что вот среди моих знакомых случилось нечто такое, о чем я прежде только читал в романах. Позднее я привык к подобным событиям в окружавшей меня среде, но тогда все это сильно меня смутило. Стрикленду было не менее сорока лет, и я не понимал, как это человеку столь почтенного возраста вздумалось пуститься в любовные авантюры. В своем юношеском высокомерии я полагал, что после тридцати пяти лет уже не влюбляются. Ко всему эта новость ставила меня самого в неудобное положение. Я еще из деревни написал миссис Стрикленд, что скоро возвращаюсь в Лондон и тотчас же приду к ней на чашку чаю, если, конечно, она не сочтет это нежелательным. Я обещал прийти как раз сегодня, но ответа от нее не получил. Хочет она меня видеть или не хочет? Возможно, что среди таких волнений она попросту забыла о моем письме и разумнее воздержаться от визита. С другой стороны, может быть, она хочет сохранить всю историю в тайне, и я совершу бестактность, дав ей понять, что это странное известие уже дошло до моих ушей. Я боялся оскорбить чувства милейшей женщины

и в равной мере боялся показаться навязчивым. Ясно, что она очень страдает, стоит ли смотреть на чужое горе, если ты бессилен ему помочь? И все-таки в глубине души, хоть я и стыдился своего любопытства, мне хотелось посмотреть, как она справляется со свалившейся на нее бедой. Одним словом, я находился в полной растерянности.

Затем я сообразил, что могу явиться как ни в чем не бывало и осведомиться через горничную, желает ли миссис Стрикленд меня видеть. Это даст ей возможность мне отказать. Все же я был вне себя от смущения, произнося перед горничной заранее приготовленную фразу, и, дожидаясь ответа в темной передней, напрягал все свои силы, чтобы попросту не удрать. Горничная воротилась. В своем возбуждении я почему-то решил, что ей все известно о несчастье, постигшем этот дом.

— Не угодно ли вам пройти вот сюда, сэр? — сказала она.

Я последовал за нею в гостиную. Занавеси на окнах были почти задернуты, и миссис Стрикленд сидела спиной к свету. Ее шурин, полковник Мак-Эндрю, стоял перед камином, греясь у незажженного огня. Мне было мучительно неловко. Я вообразил, что мое появление застало их врас-

плох и миссис Стрикленд велела просить меня только потому, что позабыла написать мне отказ. Полковник, решил я, возмущен моим вторжением.

— Я не был уверен, что вы пожелаете принять меня, — заговорил я с наигранной непринужденностью.

— Разумеется, пожелаю. Энн сейчас подаст нам чай…

Даже в полутемной комнате я разглядел, что глаза миссис Стрикленд опухли от слез, а лицо ее, всегда несколько бледное, было землисто-серого цвета.

— Вы ведь, кажется, знакомы с моим свояком? Помнится, вы весною встретились у меня за обедом.

Мы пожали друг другу руки. Я так растерялся, что не находил слов, но миссис Стрикленд поспешила ко мне на выручку. Она осведомилась, как я провел лето, и с ее помощью я кое-как поддерживал разговор, пока не внесли чай. Полковник спросил себе виски с содовой.

— И вам я тоже советую выпить виски, Эми, — сказал он.

— Нет, я хочу чаю.

Это был первый намек на то, что случилась ка-

кая-то неприятность. Я пропустил его мимо ушей и приложил все усилия, чтобы вовлечь миссис Стрикленд в разговор. Полковник, стоявший у камина, не проронил ни слова. В душе я то и дело спрашивал себя, когда мне можно будет откланяться, и еще: зачем, собственно, вздумалось миссис Стрикленд принимать меня? В гостиной не было цветов, и всевозможные безделушки, убранные на лето, еще не были расставлены по местам; комната эта, обычно столь уютная, выглядела такой чопорной и угрюмой, что странным образом начинало казаться, будто за стеной лежит покойник. Я допил свой чай.

— Хотите сигарету? — спросила миссис Стрикленд.

Она оглянулась, ища коробку, но ее не оказалось под рукой.

— У нас, видимо, нет сигарет.

Внезапно она разразилась слезами и выбежала из комнаты.

Я опешил. Видимо, отсутствие сигарет, которые, как правило, покупал ее муж, больно резануло ее, и новое чувство, что вот теперь некому позаботиться о доме, вызвало приступ боли. Она вдруг поняла, что прежняя ее жизнь кончилась навеки. Невозможно было дольше соблюдать светские

условности.

— Я полагаю, мне лучше уйти, — сказал я полковнику и поднялся.

— Вы, верно, уже слышали, что этот негодяй бросил ее? — запальчиво крикнул он.

Я помедлил с ответом.

— Да, мне намекнули, что у них что-то неладно.

— Он сбежал. Отправился в Париж с какой-то особой. И оставил Эми без гроша.

— Как это печально, — сказал я, не зная, собственно, что сказать.

Полковник залпом выпил свое виски. Это был высокий, тощий мужчина лет пятидесяти, седоволосый, с обвисшими усами. Глаза у него были голубые, губы дряблые. Из прошлой встречи в памяти у меня осталось только его глупое лицо, и еще я запомнил, с какой гордостью он рассказывал, что до отставки лет десять подряд играл в поло не менее трех раз в неделю.

— По-моему, миссис Стрикленд сейчас совсем не до меня, — заметил я. — Передайте ей, что я очень скорблю за нее и почту за счастье быть ей чем-нибудь полезным.

Он меня даже не слушал.

— Не знаю, что с нею будет. Кроме всего про-

чего, у нее дети. Чем они будут жить? Воздухом? Семнадцать лет!

— Семнадцать лет? Что вы хотите этим сказать?

— Они были женаты семнадцать лет, — отрезал он. — Мне Стрикленд никогда не нравился. Конечно, он был моим свояком, и я ничего не мог сказать. Вы считаете его джентльменом? Не надо было ей выходить за него замуж.

— Так, значит, это окончательный разрыв?

— Ей остается только одно — развестись с ним. Я ей так и сказал: немедленно подавайте прошение о разводе, Эми. Это ваша обязанность перед собой и перед детьми тоже. Пусть он лучше мне на глаза не попадается. Я задам ему такую взбучку, что он своих не узнает.

Я невольно подумал, что полковнику Мак-Эндрю будет не так-то легко это сделать — Стрикленд был дюжий малый, — но промолчал. Как это печально, что оскорбленной добродетели не дано карать грешников. Я вторично сделал попытку откланяться, как вдруг вошла миссис Стрикленд. Она успела вытереть слезы и припудрить нос.

— Мне очень жаль, что я не совладала с собой, — сказала она. — Хорошо, что вы еще не ушли.

Она села. Я окончательно растерялся. Мне было

неловко заговорить о предмете, вовсе меня не касающемся. В ту пору я еще не знал, что главный недостаток женщин — страсть обсуждать свои личные дела со всяким, кто согласен слушать. Миссис Стрикленд, казалось, сделала над собой усилие.

— Что, об этом уже много говорят? — спросила она.

Я был озадачен ее уверенностью в том, что мне известно несчастье, постигшее ее семью.

— Я только что вернулся. Я не видел никого, кроме Розы Уотерфорд.

Миссис Стрикленд стиснула руки.

— Скажите мне все, что вы от нее слышали.

Я промолчал, но она настаивала:

— Я хочу знать во что бы то ни стало.

— Вы же знаете, что она охотница посудачить. Веры ее словам давать нельзя. Она сказала, что ваш муж оставил вас.

— И это все?

Я не счел возможным повторить прощальную реплику Розы Уотерфорд насчет девушки из кафе и соврал.

— Она не говорила, что он уехал с какой-то женщиной?

— Нет.

— Это все, что я хотела узнать.

Я стал в тупик, но все-таки сообразил, что теперь мне можно уйти. Прощаясь, я заверил миссис Стрикленд, что всегда буду к ее услугам. Она тускло улыбнулась.

— Благодарю вас. Но вряд ли найдется человек, который мог бы что-нибудь для меня сделать.

Слишком застенчивый, чтобы высказать ей свое соболезнование, я повернулся к полковнику, намереваясь проститься с ним. Он не взял моей руки.

— Я тоже ухожу. Если вы идете по Виктория-стрит, то нам по пути.

— Отлично, — сказал я. — Идемте!

Глава девятая

— Скверная история, — проговорил он, едва мы вышли на улицу.

Я понял, что он пошел со мной, чтобы еще раз обсудить то, что уже часами обсуждал со своей ученицей.

— Понимаете ли, мы даже не знаем, кто эта женщина, — сказал полковник. — Знаем только, что мерзавец отправился в Париж.

— Мне всегда казалось, что они примерные супруги.

— Так оно и было. Как раз перед вашим приходом Эми говорила, что они ни разу не повздорили за все время совместной жизни. Вы знаете Эми. На свете нет женщины лучше.

После столь откровенных признаний я счел возможным задать ему несколько вопросов.

— Итак, вы полагаете, что она ни о чем не подозревала?

— Ни о чем. Август месяц он провел в Норфолке с нею и с детьми. И был такой же, как всегда. Мы с женой ездили туда на несколько дней, и я играл с ним в гольф. В сентябре он вернулся в город, так как его компаньон должен был уехать в отпуск,

а Эми осталась на взморье. Они сняли дом на полтора месяца, и к концу своего пребывания там она написала ему, сообщая, в какой день они приедут в Лондон. Он ответил ей из Парижа. Написал, что больше не хочет жить с нею.

— Чем же он это объяснил?

— А он, голубчик мой, ничего не объяснил. Я читал письмо. В нем и всего-то было строчек десять, не больше.

— Ничего не понимаю.

В эту минуту мы как раз переходили улицу, и оживленное движение помешало нам продолжить разговор. То, что мне рассказал полковник, звучало очень уж неправдоподобно, и я решил, что миссис Стрикленд что-то от него скрывает. Ясно, что после семнадцати лет супружества человек не оставляет жену без причин, которые должны заставить ее усомниться, так ли уж благополучна была их совместная жизнь. Полковник прервал мои размышления.

— Да и что он мог объяснить, кроме того, что удрал с какой-то особой женского пола. Он, наверно, решил, что об этом она и сама может догадаться. Вот какой это тип!

— Что же собирается предпринять миссис Стрикленд?

— Прежде всего мы должны получить доказательства. Я сам поеду в Париж.

— А что с его конторой?

— О, тут он повел себя очень хитро. Он целый год подготавливал себе отступление.

— Он предупредил компаньона о своем отъезде?

— И не подумал.

Полковник Мак-Эндрю разбирался в коммерческих вопросах крайне слабо, а я и вовсе не разбирался и потому так и не понял, в каком состоянии Стрикленд оставил свои дела. Судя по словам Мак-Эндрю, покинутый компаньон должен быть вне себя от гнева и, верно, уже грозит Стрикленду судебным преследованием. Похоже, что эта история обойдется ему фунтов в пятьсот.

— Еще слава Богу, что обстановка квартиры принадлежит Эми. Она-то уж ей останется.

— Вы помнили об этом, говоря, что она осталась без гроша?

— Разумеется, помнил. У нее есть сотни две или три фунтов да вот эта мебель.

— Но на что же она будет жить?

— Это уж одному Богу известно!

Все было, видимо, очень не просто, а негодующий полковник еще больше сбивал меня с толку.

И я очень обрадовался, когда он, взглянув на часы на магазине армии и флота, вспомнил, что в клубе его ждут партнеры по карточной игре, и предоставил мне в одиночестве идти через Сент-Джеймсский парк.

Глава десятая

День или два спустя миссис Стрикленд прислала мне записку, в которой спрашивала, не могу ли я зайти к ней вечером. Я застал ее одну. Черное, монашески простое платье намекало на ее тяжелую утрату, и я в простоте душевной очень удивился, как она, с таким камнем на сердце, могла играть роль, по ее понятиям, ей подобающую.

— Вы сказали, что если я обращусь к вам с какой-нибудь просьбой, то вы не откажетесь ее исполнить, — сказала она.

— Да, конечно.

— Согласитесь ли вы поехать в Париж и встретиться с Чарли?

— Я?

Я был ошеломлен. Ведь я только однажды видел его. Что она намеревалась мне поручить?

— Фред собирается туда. (Фред был полковник Мак-Эндрю.) Но я уверена, что ему ехать нельзя. Он только все запутает. И я не знаю, кого мне об этом просить.

Голос ее слегка задрожал, и я почувствовал, что даже секунда колебания с моей стороны — свинство.

— Но я и двух слов не сказал с вашим мужем. Он меня не знает и скорей всего просто пошлет к черту.

— Вам от этого не будет ни жарко ни холодно, — улыбаясь, отвечала миссис Стрикленд.

— Как, по-вашему, я должен действовать?

На этот вопрос она не дала мне прямого ответа.

— По-моему, как раз хорошо, что он вас не знает. Видите ли, он никогда не любил Фреда. И всегда считал его дураком — военные ему чужды. Фред впадет в ярость, они поссорятся, и все выйдет только хуже, а не лучше. Если вы скажете, что явились к нему от моего имени, он обязан будет выслушать вас.

— Я ваш недавний знакомый, — отвечал я. — И я не понимаю, как может взяться за такое дело человек, не знающий о нем всех подробностей. Я не хочу совать свой нос в то, что меня не касается. Почему бы вам самой не поехать в Париж?

— Вы забываете, что он там не один.

Я прикусил язык. Мне уже мерещилось, как я вхожу в дом Чарлза Стрикленда и посылаю ему свою карточку. Вот он выходит ко мне, держа ее двумя пальцами:

— Чему я обязан честью?

— Я пришел поговорить с вами относительно вашей жены.

— Серьезно? Ну, когда вы станете старше, вы поймете, что не стоит соваться в чужие дела. Если вы будете так добры повернуть голову налево, вы увидите дверь. Желаю всего наилучшего.

Я предвидел, что удалиться с достоинством мне будет очень нелегко, и клял себя за то, что вернулся в Лондон прежде, чем миссис Стрикленд выпуталась из всех своих затруднений. Я украдкой покосился на нее. Она была погружена в раздумье. Но секунду спустя посмотрела на меня, глубоко вздохнула и улыбнулась.

— Все это так неожиданно, — сказала она. — Мы были женаты семнадцать лет. Никогда я не думала, что Чарли может увлечься другой женщиной. Мы жили очень дружно. Правда, у меня было множество интересов, которых он не разделял со мною.

— Вы уже знаете, кто… — я не знал, как выразиться поделикатнее, — кто эта особа, с которой он уехал?

— Нет. Никто даже не догадывается. Это очень странно. Обычно в таких случаях люди встречают влюбленных в ресторане или где-нибудь еще и рассказывают об этом жене. Меня никто

не предупредил, я ничего не подозревала. Его письмо было как гром среди ясного неба. Я не сомневалась, что он счастлив со мной.

Миссис Стрикленд заплакала, бедняжка, и я от души пожалел ее. Но она тут же успокоилась.

— Мне нельзя распускаться, — сказала она, вытирая глаза. — Сейчас надо решить, что именно следует предпринять.

Она начала говорить несколько вразброд, то о недавнем прошлом, то об их первой встрече и женитьбе. И передо мной стала вырисовываться картина их совместной жизни. Я подумал, что мои прежние догадки не так уж неправильны. Миссис Стрикленд была дочерью чиновника в Индии. Выйдя в отставку, он остался жить там, где-то в глубине страны, но каждый август возил свою семью в Истборн для перемены обстановки; в Истборне она и встретилась со Стриклендом. Ей было двадцать, ему двадцать три. Они вместе играли в теннис, вместе гуляли, вместе слушали негритянских певцов; и она решила стать его женой за неделю до того, как он сделал ей предложение. Они поселились в Лондоне, сначала в Хэмпстеде, а потом, когда материальное положение Стрикленда упрочилось, в центре города. У них родились дети, девочка и мальчик.

— Он так любил их. Даже если я ему наскучила, как у него достало сердца покинуть детей? Просто невероятно. Я и сейчас еще не верю, что все это правда.

Под конец она показала письмо, которое он прислал ей. Мне давно хотелось его прочитать, но просить об этом я не решался.

Дорогая Эми!

Надеюсь, что дома ты все застанешь в порядке. Я передал Энн твои распоряжения; тебя и детей будет ждать обед. Я вас не встречу. Я решил жить отдельно от вас и сегодня уезжаю в Париж. Это письмо я отправлю уже по приезде. Домой не вернусь. Мое решение непоколебимо.

Всегда твой Чарлз Стрикленд.

— Он ничего не объясняет, ни о чем не сожалеет. Разве это не чудовищно?

— Весьма странное письмо в подобных обстоятельствах, — ответил я.

— Объяснение тут может быть только одно — он не в себе. Я не знаю, кто эта женщина, завладевшая им, но она сделала его другим человеком. Видимо, это уже давняя история.

— Почему вы так думаете?

— Фред это выяснил. Чарлз имел обыкновение через день играть в бридж у себя в клубе. Фред знаком с одним из членов этого клуба и однажды в разговоре назвал Чарлза заядлым бриджистом. Его знакомый очень удивился. Он ни разу не видел Чарлза за карточным столом. Теперь все ясно — когда я думала, что он в клубе, он был с нею.

Я промолчал. Но затем вспомнил о детях.

— Очень трудно, вероятно, было объяснить все это Роберту.

— О, я ни ему, ни дочери ни слова не сказала. Мы ведь вернулись в город за день до начала занятий в школе. У меня хватило присутствия духа сказать им, что отец неожиданно уехал по делам.

Наверно, очень нелегко было сохранять спокойствие и безмятежность с этой внезапной тайной на сердце и еще труднее заботиться о всех мелочах, нужных детям к школе. Голос миссис Стрикленд опять задрожал.

— Что с ними станет, с моими бедняжками? Как мы будем жить?

Она старалась овладеть собою, и я заметил, что ее руки судорожно сжимаются и разжимаются. Горестное зрелище!

— Конечно, я поеду в Париж, если вы считаете,

что это принесет вам пользу, но только скажите мне точно, чего я должен добиваться.

— Я хочу, чтобы он вернулся.

— Со слов полковника Мак-Эндрю я понял, что вы решили развестись с ним.

— Я никогда не дам Чарли развода! — воскликнула она гневно. — Так ему и передайте. Он никогда не сможет жениться на этой женщине. Я не менее упряма, чем он, и ни за что с ним не разведусь. Я обязана думать о детях.

Последнее она, наверно, добавила, чтобы объяснить свою позицию, но мне показалось, что дело здесь не столько в материнской заботе, сколько во вполне естественной ревности.

— Вы все еще любите его?

— Не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся. Если он вернется, я все забуду. Как-никак, мы были женаты семнадцать лет. Я женщина широких взглядов. Пусть делает что хочет, лишь бы я ни о чем не знала. Он должен понять, что его увлечение долго не продлится. Если он вернется, мы заживем по-прежнему, и никто ничего не узнает.

Меня слегка передернуло оттого, что миссис Стрикленд так страшилась сплетен; тогда я еще не знал, какую огромную роль в жизни женщи-

ны играет людское мнение. Страх перед ним бросает тень неискренности на самые глубокие ее чувства.

Где остановился Стрикленд, было известно. Его компаньон в неистово-злобном письме, адресованном банку, метал громы и молнии по поводу того, что Стрикленд скрывает свое местопребывание, тот ответил цинично и насмешливо и дал компаньону свой точный адрес. Жил он в гостинице.

— Я никогда об этой гостинице не слыхала, — заметила миссис Стрикленд. — Но Фред знает этот отель и говорит, что он очень дорогой.

Она густо покраснела. Я понял, что она мысленно увидела мужа, который живет в роскошных апартаментах, обедает то в одном, то в другом знаменитом ресторане, дни проводит на скачках, а вечера — в театрах.

— Так он долго не протянет, — сказала она. — Нельзя забывать, что ему уже за сорок. Будь он человек молодой, я бы все поняла, но в его годы, когда у нас почти взрослые дети, это ужасно. Он окончательно подорвет свое здоровье.

Гнев и страдание боролись в ней.

— Скажите ему, что без него наш дом — не дом. Все как будто осталось на местах — и все уже не

то. Я не могу жить без него. Лучше мне покончить с собой. Напомните ему о нашем прошлом, обо всем, что мы пережили вместе. Что я скажу детям, когда они спросят о нем? В его комнате все осталось нетронутым. Она ждет его. Мы все его ждем.

И она стала внушать мне слово в слово, что я должен ему говорить. Более того, подсказала мне точнейшие ответы на любое его возражение.

— Вы обещаете сделать для меня все возможное? — жалобно добавила она. — Скажите ему, в каком я горе.

Она явно хотела, чтобы я всеми доступными мне способами разжалобил его, и плакала, уже не стесняясь. Растроганный, я негодовал на холодную жестокость Стрикленда и поклялся сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть его домой. Я согласился уехать на следующий же день и пробыть в Париже столько, сколько понадобится для того, чтобы добиться толку. Затем, так как было уже поздно и оба мы устали от всех этих треволнений, я распрощался с нею.

Глава одиннадцатая

Обдумывая по пути в Париж свою миссию, я опасался, что она обречена на неудачу. Теперь, когда вид плачущей миссис Стрикленд не смущал меня, я мог лучше собраться с мыслями. Меня озадачивали явные противоречия в поведении миссис Стрикленд. Она была очень несчастна, но, желая вызвать мое сочувствие, всячески выставляла напоказ свое несчастье. Так, например, не подлежало сомнению, что она заранее готовилась плакать, ибо под рукой у нее оказался изрядный запас носовых платков. Я восхищался ее предусмотрительностью, но, если вдуматься, эта предусмотрительность делала ее слезы менее трогательными. Я недоумевал: хочет она возвращения мужа оттого, что любит его, или оттого, что боится злословия? Я подозревал, что страдания попранной любви сплелись в ее сердце с муками уязвленного самолюбия, и по молодости лет считал это недостойным. Я еще не знал, как противоречива человеческая натура, не знал, что самым искренним людям свойственна поза, не знал, как низок может быть благородный человек и как добр отверженный.

Но в моей поездке было нечто интригующее, и по мере приближения к Парижу я воспрянул духом. Я вдруг увидел себя со стороны и очень понравился себе в роли доверенного, который возвращает заблудшего мужа в объятия супруги, готовой все простить. Стрикленда я решил повидать не раньше следующего вечера, ибо чувствовал, что время должно быть выбрано с сугубой щепетильностью. Взывать, например, к чувствам до завтрака — пустое занятие. Собственные мои мысли в то время были постоянно заняты любовью, но семейного блаженства до чая я не мог себе представить.

У себя в гостинице я осведомился, где находится «Отель де Бельж», в котором остановился Чарлз Стрикленд. К моему удивлению, консьерж никогда не слыхал о таком. Между тем со слов миссис Стрикленд я понял, что это большая, роскошная гостиница где-то возле улицы Риволи. Мы заглянули в справочник, и оказалось, что единственное заведение, так именуемое, находится на улице Муан. Квартал отнюдь не шикарный и даже не вполне респектабельный. Я покачал головой.

— Нет, это явно не то.

Консьерж пожал плечами. Другого отеля с

таким названием в Париже нет. Мне пришло в голову, что Стрикленд утаил свой настоящий адрес и попросту надул своего компаньона, назвав ему первый попавшийся отель. Не знаю почему, мне вдруг показалось, что это вполне в духе Стрикленда — заставить разъяренного маклера примчаться в Париж и угодить в захолустную гостиницу с весьма сомнительной репутацией. Тем не менее я решил отправиться на разведку. На следующий день, часов около шести, я взял фиакр и велел кучеру ехать на улицу Муан, но отпустил его на углу, так как хотел пешком подойти к гостинице и для начала хорошенько рассмотреть ее. На улице было полно мелких лавчонок, торгующих на потребу покупателей-бедняков, в середине ее, по левую руку от меня, находился «Отель де Бельж». Я остановился в достаточно скромной гостинице, но по сравнению с этой она могла считаться великолепной. Вывеска «Отель де Бельж» украшала высокое здание, не ремонтировавшееся годами и до того обшарпанное, что дома по обе его стороны казались чистыми и нарядными. Грязные окна, по-видимому, никогда не открывались. Нет, не здесь Чарлз Стрикленд и неведомая очаровательница, ради которой он позабыл долг и честь, утопали в преступной

роскоши. Я был страшно зол, чувствуя, что попал в дурацкое положение, и уже совсем было собрался уходить, даже не спросив о Стрикленде. Но под конец я заставил себя переступить порог этого заведения единственно для того, чтобы сказать миссис Стрикленд, что сделал для нее все, что мог.

Вход в гостиницу был рядом с какой-то лавчонкой, дверь была открыта, и внутри виднелась надпись: «Bureau au premier»[6]. Я поднялся по узкой лестнице и на площадке обнаружил нечто вроде стеклянной каморки, в которой находился стол и два стула. Снаружи стояла скамейка, на которой коридорный, по-видимому, проводил свои беспокойные ночи. Навстречу мне никто не попался, но под электрическим звонком имелась надпись: «Garçon»[7]. Я нажал кнопку, и вскоре появился молодой человек с бегающими глазами и мрачной физиономией. Он был в жилетке и ковровых шлепанцах.

Не знаю почему, я спросил с самым что ни на есть небрежным видом:

— Не стоит ли здесь, случайно, некий мистер

---

[6] Примечания: 6
Контора на втором этаже (*фр.*).

[7] Примечания: 7
Коридорный (*фр.*).

Стрикленд?

— Номер тридцать два. Шестой этаж, — последовал ответ.

Я так опешил, что в первую минуту не нашелся что сказать.

— Он дома?

Портье взглянул на доску, висевшую в каморке.

— Ключа он не оставлял. Сходите наверх, посмотрите.

Я счел необходимым задать еще один вопрос:

— Madame est là?[8]

— Monsieur est seul[9].

Коридорный окинул меня подозрительным взглядом, когда я и впрямь отправился наверх. На темной и душной лестнице стоял какой-то омерзительный кислый запах. На третьем этаже растрепанная женщина в капоте распахнула дверь и молча уставилась на меня. Наконец я добрался до шестого этажа и постучал в дверь под номером тридцать два. Внутри что-то грохнуло, и дверь приоткрылась. Передо мной стоял Чарлз Стрикленд. Он не сказал ни слова и явно

---

[8] Примечания: 8
Мадам дома? (*фр.*)

[9] Примечания: 9
Мосье живет один (*фр.*).

не узнал меня.

Я назвал свое имя. И далее постарался быть грациозно-небрежным:

— Вы меня, видимо, не помните. Я имел удовольствие обедать у вас прошлым летом.

— Входите, — приветливо отвечал он. — Очень рад вас видеть. Садитесь.

Я вошел. Это была тесная комнатка, битком набитая мебелью в стиле, который французы называют стилем Луи Филиппа. Широкая деревянная кровать, прикрытая красным стеганым одеялом, большой гардероб, круглый стол, крохотный умывальник и два стула, обитых красным репсом. Все грязное и обтрепанное. Ни малейших следов греховного великолепия, которое живописал мне полковник Мак-Эндрю. Стрикленд сбросил на пол одежду, валявшуюся на одном из стульев, и предложил мне сесть.

— Чем могу служить? — спросил он.

В этой комнатушке он казался еще крупнее, чем в первый вечер нашего знакомства. Он, видимо, не брился уже несколько дней, на нем была поношенная куртка. Тогда, у себя дома, в элегантном костюме Стрикленд явно был не в своей тарелке; теперь, неопрятный и непричесанный, он, видимо, чувствовал себя превосходно. Я не знал, как

он отнесется к заготовленной мною фразе.

— Я пришел по поручению вашей супруги.

— А я как раз собирался глотнуть абсента перед обедом. Пойдемте-ка вместе. Вы любите абсент?

— Более или менее.

— Тогда пошли.

Он надел котелок, очень и очень нуждавшийся в щетке.

— Мы можем и пообедать вместе. Вы ведь, собственно, должны мне обед.

— Разумеется. Вы один?

Я льстил себе, воображая, что весьма ловко задал щекотливый вопрос.

— О да! По правде говоря, я уже три дня рта не раскрывал. Французский язык мне что-то не дается.

Спускаясь с ним по лестнице, я недоумевал, что сталось с девицей из кафе. Успели они поссориться, или его увлечение уже прошло? Впрочем, последнее казалось мне сомнительным, ведь он чуть ли не целый год готовился к бегству. Дойдя до кафе на авеню Клиши, мы уселись за одним из столиков, стоявших прямо на мостовой.

Глава двенадцатая

Авеню Клиши в этот час была особенно многолюдна, и, обладая мало-мальски живым воображением, здесь едва ли не любого прохожего можно было наделить романтической биографией. По тротуару сновали конторские служащие и продавщицы; старики, словно сошедшие со страниц Бальзака; мужчины и женщины, извлекающие свой доход из слабостей рода человеческого. Оживление и сутолока бедных кварталов Парижа волнуют кровь и подготовляют к всевозможным неожиданностям.

— Вы хорошо знаете Париж? — спросил я.

— Нет. Мы провели в Париже медовый месяц. С тех пор я здесь не бывал.

— Но как, скажите на милость, вы попали в этот отель?

— Мне его рекомендовали. Я искал что-нибудь подешевле.

Принесли абсент, и мы с подобающей важностью стали капать воду на тающий сахар.

— Думается, мне лучше сразу сказать вам, зачем я вас разыскал, — начал я не без смущения.

Его глаза блеснули.

— Я знал, что рано или поздно кто-нибудь разыщет меня. Эми прислала мне кучу писем.

— В таком случае вы отлично знаете, что я намерен вам сказать.

— Я их не читал.

Чтобы собраться с мыслями, я закурил сигарету. Как приступить к возложенной на меня миссии? Красноречивые фразы, заготовленные мною, трогательные, равно как и негодующие, здесь были неуместны. Вдруг он фыркнул:

— Чертовски трудная задача, а?

— Пожалуй.

— Ладно, выкладывайте поживее, а потом мы премило проведем вечер.

Я задумался.

— Неужели вы не понимаете, что ваша жена мучительно страдает?

— Ничего, пройдет!

Не могу описать, до чего бессердечно это было сказано. Я растерялся, но сделал все, чтобы не показать этого, и заговорил тоном моего дядюшки Генри, священника, когда тот уговаривал кого-нибудь из родственников принять участие в благотворительной подписке.

— Вы не рассердитесь, если я буду говорить откровенно?

Он улыбнулся и покачал головой.

— Чем она заслужила такое отношение?

— Ничем.

— Вы что-нибудь против нее имеете?

— Ровно ничего.

— В таком случае разве не чудовищно оставить ее после семнадцати лет брака?

— Чудовищно.

Я с удивлением взглянул на него. Столь чистосердечное признание моей правоты выбило у меня почву из-под ног. Положение мое было не только затруднительно, но и смехотворно. Я собирался увещевать и уговаривать, грозить и взывать к его сердцу, предостерегать, негодовать, язвить, убивать сарказмом. Но что, черт возьми, прикажете делать исповеднику, если грешник давно раскаялся? Опыта у меня не было ни малейшего, ибо сам я всегда упорно отрицал все обвинения, которые мне предъявлялись.

— Ну и что же дальше? — спросил Стрикленд.

Я постарался презрительно скривить губы.

— Что ж, если вы все признаете, мне, пожалуй, не стоит больше распространяться.

— Не стоит.

Мне стало очевидно, что я не слишком ловко выполнил свою миссию, и я разозлился.

— Черт подери, но нельзя же оставлять женщину без гроша.

— Почему нельзя?

— Как прикажете ей жить?

— Я содержал ее семнадцать лет. Почему бы ей для разнообразия теперь не содержать себя самой.

— Она не может.

— Пусть попытается.

Конечно, у меня нашлось бы, что на это ответить. Я мог бы заговорить об экономическом положении женщины, об обязательствах, которые мужчина, гласно и негласно, берет на себя, вступая в брак, но вдруг я понял, что, в конце концов, важно только одно.

— Вы больше не любите ее?

— Ни капли.

Все это были очень серьезные вопросы в человеческой жизни, но манера, с которой он отвечал, была такой задорной и наглой, что я кусал себе губы, лишь бы не расхохотаться. Я твердил себе, что его поведение отвратительно, и изо всех сил старался возгореться благородным негодованием.

— Но, черт вас возьми, вы же обязаны подумать о детях. Они вам ничего худого не сделали. И они не просили вас произвести их на свет. Если вы

о них не позаботитесь, они будут выброшены на улицу.

— Они много лет прожили в холе и неге. Не все дети живут так. Кроме того, о них кто-нибудь да позаботится. Я уверен, что Мак-Эндрю станет платить за их учение.

— Но разве вы не любите их? Они такие славные. Неужели вы хотите совсем от них отказаться?

— Я любил их, когда они были маленькие, а теперь, когда они подросли, я, по правде говоря, никаких чувств к ним не питаю.

— Это бесчеловечно!

— Очень может быть.

— И вам нисколько не стыдно?

— Нет.

Я попытался изменить курс.

— Вас будут считать просто свиньей.

— Пускай!

— Неужели вам приятно, когда вас клянут на всех перекрестках?

— Мне все равно.

Его ответ звучал так презрительно, что мой вполне естественный вопрос показался мне верхом глупости. Я подумал минуту-другую.

— Не понимаю, как может человек жить спокойно, зная, что все вокруг осуждают его! Рано

или поздно это начнет вас тяготить. У каждого из нас имеется совесть, и когда-нибудь она непременно проснется. К примеру, вдруг ваша жена умрет, разве вы не будете мучиться угрызениями совести?

Он молчал, и я терпеливо дожидался, пока он заговорит. Но в конце концов мне пришлось прервать молчание.

— Что вы на это скажете?

— То, что вы идиот.

— Вас ведь могут заставить содержать жену и детей, — возразил я, несколько уязвленный. — Я не сомневаюсь, что закон возьмет их под свою защиту.

— А может закон снять луну с неба? У меня ничего нет. Я приехал сюда с сотней фунтов.

Если я и раньше недоумевал, то теперь уж окончательно стал в тупик. Ведь жизнь в «Отель де Бельж» и вправду свидетельствовала о крайне стесненных обстоятельствах.

— А что вы будете делать, когда эти деньги выйдут?

— Как-нибудь подработаю.

Он был совершенно спокоен, и в глазах его по-прежнему мелькала насмешливая улыбка, от которой все мои речи становились дурацкими. Я

замолчал, соображая, что мне еще сказать. Но на этот раз первым заговорил он.

— Почему бы Эми не выйти опять замуж? Она еще не старуха и собой недурна. Я могу рекомендовать ее как превосходную жену. Если она пожелает развестись со мной, пожалуйста, я возьму вину на себя.

Теперь пришел мой черед улыбаться. Как он ни хитер, но мне ясно, что за цель он преследует. Он скрывает, что приехал сюда с женщиной, и пускается на всевозможные уловки, чтобы замести следы. Я отвечал очень решительно:

— Ваша жена ни за что не согласится на развод. Это ее бесповоротное решение. Оставьте всякую надежду.

Он посмотрел на меня с непритворным удивлением. Улыбка сбежала с его губ, и он очень серьезно сказал:

— Да ведь мне, голубчик, все едино, что в лоб, что по лбу.

Я рассмеялся.

— Полно, не считайте нас такими уж дураками. Мы знаем, что вы уехали с некой особой.

Он даже привскочил на месте и разразился громким хохотом. Смеялся он так заразительно, что сидевшие поблизости обернулись к нему, а

потом и сами начали смеяться.

— Не вижу тут ничего смешного.

— Бедняжка Эми, — осклабился он.

Затем его лицо приняло презрительное выражение.

— Убогий народ эти женщины. Любовь! Везде любовь! Они думают, что мужчина уходит от них, только польстившись на другую. Не такой я болван, чтоб проделать все, что я проделал, ради женщины.

— Вы хотите сказать, что ушли от жены не из-за другой женщины?

— Конечно!

— Вы даете мне честное слово?

Не знаю, зачем я потребовал от него честного слова — верно, по простоте душевной.

— Честное слово.

— Тогда объясните мне, Бога ради, зачем вы оставили ее?

— Я хочу заниматься живописью.

Я смотрел на него, вытаращив глаза. Я ничего не понял и на минуту подумал, что предо мной сумасшедший. Вспомните, я был очень молод, а его считал человеком уже пожилым. От удивления у меня все на свете вылетело из головы.

— Но вам уже сорок лет.

— Поэтому-то я и решил, что пора начать.

— Вы когда-нибудь занимались живописью?

— В детстве я мечтал стать художником, но отец принудил меня заниматься коммерцией, он считал, что искусством ничего не заработаешь. Я начал писать с год назад. И даже посещал вечернюю художественную школу.

— А миссис Стрикленд думала, что вы проводите это время в клубе за бриджем?

— Да.

— Почему вы не рассказали ей?

— Я предпочитал держать язык за зубами.

— И живопись вам дается?

— Еще не вполне. Но я научусь. Для этого я и приехал сюда. В Лондоне нет того, что мне нужно. Посмотрим, что будет здесь.

— Неужели вы надеетесь чего-нибудь добиться, начав в этом возрасте? Люди начинают писать лет в восемнадцать.

— Я теперь научусь быстрее, чем научился бы в восемнадцать лет.

— С чего вы взяли, что у вас есть талант?

Он ответил не сразу. Взгляд его был устремлен на снующую мимо нас толпу, но вряд ли он видел ее. То, что он ответил, собственно, не было ответом.

— Я должен писать.

— Но ведь это более чем рискованная затея!

Он посмотрел на меня. В глазах его появилось такое странное выражение, что мне стало не по себе.

— Сколько вам лет? Двадцать три?

Вопрос показался мне бестактным. Да, в моем возрасте можно было пускаться на поиски приключений; но его молодость уже отошла, он был биржевой маклер с известным положением в обществе, с женой и детьми. То, что было бы естественно для меня, — для него непозволительно. Я хотел быть беспристрастным.

— Конечно, может случиться чудо, и вы станете великим художником, но вы же должны понять, что тут один шанс против миллиона. Ведь это трагедия, если в конце концов вы убедитесь, что совершили ложный шаг.

— Я должен писать, — повторил он.

— Ну а что, если вы навсегда останетесь третьесортным художником, стоит ли всем для этого жертвовать? Не во всяком деле важно быть первым. Можно жить припеваючи, даже если ты и посредственность. Но посредственным художником быть нельзя.

— Вы просто олух, — сказал он.

— Не знаю, почему так уж глупы очевидные истины.

— Говорят вам, я должен писать. Я ничего не могу с собой поделать. Когда человек упал в реку, не важно, хорошо он плавает или плохо. Он должен выбраться из воды, иначе он потонет.

В голосе его слышалась подлинная страсть; вопреки моему желанию она захватила меня. Я почувствовал, что внутри его клокочет могучая сила, и мне стало казаться, что нечто жестокое и непреодолимое помимо его воли владеет им. Я ничего не понимал. Точно дьявол вселился в этого человека, дьявол, который каждую минуту мог растерзать, погубить его. А с виду Стрикленд казался таким заурядным. Я не сводил с него глаз, но это его не смущало. Интересно, за кого можно принять его, думал я, когда он вот так сидит здесь в своей старой куртке и давно не чищенном котелке; брюки на нем мешковатые, руки нечисты; лицо его, с небритой рыжей щетиной на подбородке, с маленькими глазками и большим задорным носом, грубо и неотесанно. Рот у него крупный, губы толстые и чувственные. Нет, мне не подобрать для него определения.

— Так, значит, вы не вернетесь к жене? — сказал я наконец.

— Никогда.

— Она готова все забыть и начать жизнь сначала. И никогда она ни в чем не упрекнет вас.

— Пусть убирается ко всем чертям.

— Вам все равно, если вас будут считать отъявленным мерзавцем? И все равно, если она и ваши дети вынуждены будут просить подаяние?

— Плевать мне.

Я помолчал, чтобы придать больше веса следующему моему замечанию, и сказал со всей решительностью, на которую был способен:

— Вы хам, и больше ничего.

— Ну, теперь, когда вы облегчили душу, пойдемте-ка обедать.

Глава тринадцатая

Я понимаю, что было бы достойнее пренебречь этим предложением. Наверно, мне следовало бы выказать негодование, которое я на самом деле ощущал, и заслужить похвалу полковника Мак-Эндрю, рассказав ему о своем горделивом отказе сесть за один стол с таким человеком. Но беда в том, что страх не справиться со своей ролью никогда не позволял мне разыгрывать из себя моралиста. И на этот раз уверенность, что все мои благородные чувства для Стрикленда что горох об стену, заставила меня держать их при себе. Только поэт или святой способен поливать асфальтовую мостовую в наивной вере, что на ней зацветут лилии и вознаградят его труды.

Я заплатил за выпитый им абсент, и мы отправились в дешевенький ресторан; там было полно народу, очень оживленно, и обед нам подали отличный. У меня был аппетит юноши, у него — человека с окостенелой совестью. Из ресторана мы пошли в кабачок выпить кофе с ликером.

Я уже сказал ему все, что мог, относительно причины моего приезда в Париж, и хотя мне казалось, что, прекратив этот разговор, я стану

предателем в отношении миссис Стрикленд, но продолжать борьбу с его безразличием я был уже не в силах. Только женщина может с неослабной горячностью десять раз подряд твердить одно и то же. Я успокаивал себя мыслью, что теперь смогу получше разобраться в душевном состоянии Стрикленда. Это было куда интересней. Но сделать это было не так-то просто, ибо Стрикленд отнюдь не отличался разговорчивостью. Он с трудом выжимал из себя слова, так что, казалось, для него они не были средством общения с миром; о движениях его души оставалось догадываться по избитым фразам, вульгарным восклицаниям и отрывистым жестам. Но, хотя ничего сколько-нибудь значительного он не говорил, никто не посмел бы назвать этого человека скучным. Может быть, из-за его искренности. Он, видимо, мало интересовался Парижем, который видел впервые (его краткое пребывание здесь с женой в счет не шло), и на все новое, открывавшееся ему, смотрел без малейшего удивления. Я бывал в Париже бесчисленное множество раз и всегда наново испытывал трепет восторга. Проходя по его улицам, я чувствовал себя счастливым искателем приключений. Стрикленд оставался хладнокровным. Оглядываясь назад, я думаю, что

он был слеп ко всему, кроме тревожных видений своей души.

В кабачке, где было множество проституток, произошел нелепый инцидент. Некоторые из этих девиц сидели с мужчинами, некоторые друг с дружкой; вскоре я заметил, что одна из них смотрит на нас. Встретившись взглядом со Стриклендом, она улыбнулась. Он, по-моему, ее просто не заметил. Она поднялась и вышла из зала, но тотчас же воротилась и, проходя мимо нас, весьма учтиво попросила угостить ее чем-нибудь спиртным. Она подсела к нашему столику, и я начал болтать с нею, отлично, впрочем, понимая, что она интересуется Стриклендом, а не мной. Я пояснил, что он знает по-французски лишь несколько слов. Она пыталась говорить с ним то знаками, то на ломаном французском языке: ей казалось, что так он лучше поймет ее. У нее в запасе было с десяток английских фраз. Она заставила меня перевести ему то, что умела выразить только на своем родном языке, и настойчиво потребовала, чтобы я перевел ей смысл его ответов. Он был в хорошем расположении духа, его это немножко забавляло, но, в общем, он явно оставался равнодушным.

— Вы, кажется, одержали победу, — засмеял-

ся я.

— Польщенным себя не чувствую.

На его месте я был бы больше смущен и не так уж спокоен. У нее были смеющиеся глаза и очаровательный рот. Она была молода. Я удивлялся: чем ее пленил Стрикленд? Она не таила своих желаний, и мне пришлось перевести:

— Она хочет, чтобы вы пошли с нею.

— Я с ними не якшаюсь, — буркнул он.

Я постарался по мере сил смягчить его ответ. И так как мне казалось, что нелюбезно с его стороны отклонять такое приглашение, то я объяснил его отказ неимением денег.

— Но он мне нравится, — возразила она. — Скажите ему, что я пойду с ним задаром.

Когда я это перевел, Стрикленд нетерпеливо пожал плечами.

— Скажите, пусть убирается к черту.

Вид Стрикленда был красноречивее слов, и девушка вдруг гордо вскинула голову. Возможно, что она покраснела под своими румянами.

— Monsieur n'est pas poli[10], — проговорила она, вставая, и вышла из зала.

Я даже рассердился.

---

[10] Примечания: 10
Мосье неучтив (*фр.*).

— Не понимаю, зачем вам понадобилось оскорблять ее. В конце концов, она отличила вас из многих.

— Меня тошнит от этих особ, — отрезал Стрикленд.

Я с любопытством посмотрел на него. Непритворное отвращение выражалось на его лице, и тем не менее это было лицо грубого, чувственного человека. Наверно, последнее и привлекло девушку.

— В Лондоне я мог иметь любую женщину, стоило мне только захотеть. Не за этим я сюда приехал.

Глава четырнадцатая

На обратном пути в Англию я много думал о Стрикленде и честно старался упорядочить то, что мне предстояло сказать его жене. Я знал, что мой отчет не удовлетворит ее, я и сам был недоволен собою. Стрикленд меня озадачил. Я не понимал мотивов его поведения. На мой вопрос, когда у него впервые зародилась мысль стать художником, он не мог или не пожелал ответить. Сам же я тут ни до чего не мог додуматься. Правда, я пытался убедить себя, что в его неповоротливом уме мало-помалу нарастало смутное чувство возмущения, но эти домыслы разбивались о неопровержимый факт — он никогда не высказывал недовольства однообразием своей жизни. Если Стрикленду до того все опостылело, что он решил сделаться художником, лишь бы порвать с докучными узами, — это было постижимо и довольно банально; но самое слово «банальность» никак не вязалось со Стриклендом. Романтик в душе, я наконец придумал версию, которая, правда, мне самому казалась притянутой за волосы, но все же хоть что-то объясняла. В глубинах его души, говорил я себе, заложен инстинкт творчества;

приглушенный житейскими обстоятельствами, он тем не менее неуклонно разрастался наподобие того, как разрастается злокачественная опухоль в живой ткани, покуда не завладел всем его существом и не принудил его к действию. Так кукушка кладет свое яйцо в гнездо другой птицы, когда же та выкормит кукушонка, он выпихивает своих сводных братьев, а под конец еще и разрушает гнездо, его приютившее.

Странно, что инстинкт творчества завладел этим скучным маклером, быть может, на погибель ему и на горе его близким; но разве не более странно то, как дух Божий нисходил на людей богатых и могущественных, преследуя их с неотступным упорством, покуда они, побежденные им, не отступались от радостей жизни и женской любви во имя сурового монашества. Откровение приходит под разными личинами, и по-разному люди на него отзываются. Некоторым нужна жестокая встряска: так камень разлетается на куски от ярости потока; с другими все совершается постепенно: так вода точит камень. Стрикленда отличала прямота фанатика и свирепость апостола.

Но я хотел еще дознаться, возможно ли, чтобы страсть, которой он одержим, была оправдана

его произведениями. Когда я спросил, что думали его сотоварищи по вечерней школе живописи в Лондоне о его работах, он улыбнулся:

— Они думали, что я дурачусь.

— Вы и здесь посещаете какую-нибудь студию?

— Да. Этот зануда — я имею в виду нашего маэстро — сегодня утром, как увидел мой рисунок, только брови поднял и прошествовал дальше.

Стрикленд фыркнул. Он отнюдь не был обескуражен. Мнение других его не интересовало.

Из-за этого-то я всякий раз и становился в тупик, общаясь со Стриклендом. Когда люди уверяют, будто они безразличны к тому, что о них думают, они по большей части себя обманывают. Обычно они поступают, как им вздумается, в надежде, что никто не прознает об их чудачествах, иногда же они поступают вопреки мнению большинства, ибо их поддерживает признание близких. Право же, нетрудно пренебрегать условностями света, если это пренебрежение — условность, принятая в компании ваших приятелей. В таком случае человек проникается преувеличенным уважением к своей особе. Он удовлетворен собственной храбростью, не испытывая при этом малоприятного чувства опасности. Но жажда признания, пожалуй, самый неистребимый инстинкт ци-

вилизованного человека. Никто так не спешит набросить на себя покров респектабельности, как непотребная женщина, преследуемая злобой оскорбленной добродетели. Я не верю людям, которые уверяют, что в грош не ставят мнение окружающих. Это пустая бравада. По сути дела, они только не страшатся упреков в мелких прегрешениях, убежденные, что никто о таковых не прознает. Но здесь передо мною был человек, которого действительно нимало не тревожило, что о нем думают: условности не имели над ним власти. Он походил на борца, намазавшего тело жиром — никак его не ухватишь, — и это давало ему свободу, граничившую со святотатством. Помнится, я сказал ему:

— Если бы все поступали, как вы, мир не мог бы существовать.

— Чушь! Не всякий хочет поступать, как я. Большинству нравится все делать, как люди.

Я пытался съязвить:

— Вы, видимо, отрицаете максиму: «Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило».

— Первый раз в жизни слышу! Чушь какая-то.

— Между тем это сказал Кант.

— А мне что. Чушь, и ничего больше.

Ну стоило ли взывать к совести такого человека? Все равно что стараться увидеть свое изображение, не имея зеркала. Я полагаю, что совесть — это страж, в каждом отдельном человеке охраняющий правила, которые общество выработало для своей безопасности. Она — полицейский в наших сердцах, поставленный, чтобы не дать нам нарушить закон. Шпион, засевший в главной цитадели нашего *«я»*. Человек так алчет признания, так безумно страшится, что собратья осудят его, что сам торопится открыть ворота своему злейшему врагу; и вот враг уже неотступно следит за ним, преданно отстаивая интересы своего господина, в корне пресекает малейшее поползновение человека отбиться от стада. И человек начинает верить, что благо общества выше личного блага. Узы, привязывающие человека к человечеству, — очень крепкие узы. Однажды уверовав, что есть интересы, которые выше его собственных, он становится рабом этого своего убеждения, он возводит его на престол и под конец, подобно царедворцу, раболепно склонившемуся под королевским жезлом, что опустился на его плечо, еще гордится чувствительностью своей совести. Он уже клеймит самыми жесткими словами тех, что не признают этой власти,

ибо теперь, будучи членом общества, он сознает, что бессилен против них. Когда я понял, что Стрикленду и вправду безразлично отношение, которое должны возбудить в людях его поступки, я с ужасом отшатнулся от этого чудовища, утратившего человеческий облик.

На прощание он сказал мне следующее:

— Передайте Эми, чтобы она сюда не приезжала. Впрочем, я все равно съеду с квартиры, и ей не удастся меня разыскать.

— Мне лично кажется, что ей следует Бога благодарить за то, что она от вас избавилась, — сказал я.

— Милый мой, я очень надеюсь, что вы ее заставите это понять. Впрочем, женщины — народ бестолковый.

Глава пятнадцатая

В Лондоне меня ожидала записка с настойчивым требованием явиться вечером к миссис Стрикленд. У нее сидел полковник Мак-Эндрю с супругой, старшей сестрой миссис Стрикленд. Сестры походили друг на друга, хотя у миссис Мак-Эндрю, уже изрядно поблекшей, был такой воинственный вид, словно она засунула себе в карман всю Британскую империю; вид, кстати сказать, характерный для жен старших офицеров и обусловленный горделивым сознанием принадлежности к высшей касте. Манеры у этой дамы были бойкие, а ее благовоспитанности едва-едва хватало на то, чтобы вслух не высказывать убеждения, что любой штатский — приказчик. Гвардейцев она тоже ненавидела, считая зазнайками, а об их женах, забывающих отдавать визиты, даже и говорить не желала. Платье на ней было дорогое и безвкусное.

Миссис Стрикленд явно нервничала.

— Итак, какие вести вы нам привезли? — спросила она.

— Я видел вашего мужа. Увы, он твердо решил не возвращаться. — Я помолчал. — Он намерен

заниматься живописью.

— Что вы хотите этим сказать? — вне себя от удивления крикнула миссис Стрикленд.

— Неужели вы никогда не замечали этой его страсти?

— Он окончательно рехнулся! — воскликнул полковник.

Миссис Стрикленд нахмурила брови. Она рылась в своих воспоминаниях.

— Еще до того, как мы поженились, он иногда баловался красками. Но, Бог мой, что это была за мазня! Мы смеялись над ним. Такие люди, как он, не созданы для искусства.

— Ах! Это же просто предлог! — вмешалась миссис Мак-Эндрю.

Миссис Стрикленд некоторое время сидела погруженная в свои мысли. Она не знала, как понять мое сообщение. В гостиной уже был наведен порядок; домовитость, видимо, возобладала в миссис Стрикленд над горем, и гостиная больше не производила унылого впечатления меблированной комнаты, ожидающей нового жильца, как в первый мой визит после катастрофы. Но, лучше узнав Стрикленда в Париже, я уже не мог представить его себе в этой обстановке. «Неужели им ни разу не бросилось в глаза, как все здесь ему

не соответствует?» — думал я.

— Но если он хотел стать художником, почему он молчал? — спросила наконец миссис Стрикленд. — Кто-кто, а я бы уж сочувственно отнеслась к такому влечению.

Миссис Мак-Эндрю поджала губы. Она, вероятно, всегда порицала сестру за пристрастие к людям искусства и насмехалась над ее «культурными» друзьями.

Миссис Стрикленд продолжала:

— Ведь окажись у него хоть какой-то талант, я первая стала бы поощрять его, пошла бы на любые жертвы. Вполне понятно, что я бы предпочла быть женой художника, нежели биржевого маклера. Если бы не дети, я бы ничего не боялась и в какой-нибудь жалкой студии в Челси жила бы не менее счастливо, чем в этой квартире.

— Нет, милочка, ты выводишь меня из терпения! — воскликнула миссис Мак-Эндрю. — Не хочешь же ты сказать, что поверила этой вздорной выдумке?

— Но я уверен, что это правда, — робко вставил я.

Она взглянула на меня с добродушным презрением.

— Мужчина в сорок лет не бросает своего дела,

жену и детей для того, чтобы стать художником, если тут не замешана женщина. Уж я-то знаю, что какая-нибудь особа из вашего «артистического» круга вскружила ему голову.

Бледное лицо миссис Стрикленд внезапно залилось краской:

— Какова она из себя?

Я помедлил. Это будет как взрыв бомбы.

— С ним нет женщины.

Полковник Мак-Эндрю и его жена заявили, что они в это не верят, а миссис Стрикленд вскочила с места.

— Вы хотите сказать, что ни разу не видели ее?

— Мне некого было видеть. Он там один.

— Что за вздор! — вскричала миссис Мак-Эндрю.

— Надо было мне ехать самому, — буркнул полковник. — Уж я-то бы живо о ней разузнал.

— Жалею, что вы не взяли на себя труд съездить в Париж, — отвечал я не без язвительности, — вы бы живо убедились, что все ваши предположения ошибочны. Он не снимает апартаментов в шикарном отеле. Он живет в крошечной, убогой комнатушке. И ушел он из дому не затем, чтобы вести легкую жизнь. У него гроша нет за душой.

— Вы полагаете, что он совершил какой-ни-

будь проступок, о котором мы ничего не знаем, и скрывается от полиции?

Такое предположение заронило луч надежды в их души, но я решительно отверг его.

— Если бы это было так, зачем бы он стал давать адрес своему компаньону, — колко возразил я. — Так или иначе, а в одном я уверен: никакой женщины с ним нет. Он не влюблен и ни о чем подобном даже не помышляет.

Настало молчание. Они обдумывали мои слова.

— Что ж, — прервала наконец молчание миссис Мак-Эндрю, — если то, что вы говорите, правда, дело обстоит еще не так скверно, как я думала.

Миссис Стрикленд взглянула на нее, но ничего не сказала. Она была очень бледна, и ее тонкие брови хмурились. Выражения ее лица я не понимал. Миссис Мак-Эндрю продолжала:

— Значит, это просто каприз, который скоро пройдет.

— Вы должны поехать к нему, Эми, — заявил полковник. — Почему бы вам не провести год в Париже? За детьми мы присмотрим. Я уверен, ему просто наскучила однообразная жизнь, он быстро одумается, с удовольствием вернется в Лондон, и все это будет предано забвению.

— Я бы не поехала, — вмешалась миссис Мак-Эндрю. — Лучше предоставить ему полную свободу действий. Он вернется с поджатым хвостом и заживет прежней жизнью. — Миссис Мак-Эндрю холодно взглянула на сестру. — Может быть, ты не всегда умно вела себя с ним, Эми. Мужчины — фокусники, и с ними надо уметь обходиться.

Миссис Мак-Эндрю, как и большинство женщин, считала, что мужчина — негодяй, если он оставляет преданную и любящую жену, но что вина за его поступок все же падает на нее. Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas[11].

Миссис Стрикленд медленно переводила взгляд с одного на другого.

— Он не вернется, — объявила она.

— Ах, милочка, вспомни, что тебе о нем сказали. Он привык к комфорту и к тому, чтобы за ним ухаживали. Неужели ты думаешь, что он долго будет довольствоваться убогой комнатушкой в захудалом отеле? Вдобавок у него нет денег. Он должен вернуться.

— Покуда я считала, что он сбежал с какой-то женщиной, у меня еще оставалась надежда. Я была уверена, что долго это не продлится. Она

---

[11] Примечания: 11

Сердце рассуждает по-своему, рассудком этого не понять (*фр.*).

бы смертельно надоела ему через три месяца. Но если он уехал не из-за женщины, всему конец.

— Ну, это уж что-то слишком тонко, — заметил полковник, вкладывая в последнее слово все свое презрение к столь штатским понятиям. — Он, конечно, вернется, и Дороти совершенно права, от этой эскапады его не убудет.

— Но я не хочу, чтобы он вернулся, — сказала миссис Стрикленд.

— Эми!

Приступ холодной злобы нашел на миссис Стрикленд. Она мертвенно побледнела и заговорила с придыханием:

— Я могла бы простить, если бы он вдруг отчаянно влюбился в какую-то женщину и бежал с нею. Это было бы естественно. Я бы его не винила. Я считала бы, что его заставили бежать. Мужчины слабы, а женщины назойливы. Но это — это совсем другое. Я его ненавижу. И уж теперь никогда не прощу.

Полковник Мак-Эндрю и его супруга принялись наперебой уговаривать ее. Они были потрясены. Уверяли, что она сумасшедшая, отказывались понимать ее. Миссис Стрикленд в отчаянии обратилась ко мне:

— Вы-то хоть меня понимаете?

— Не совсем. Вы хотите сказать, что могли бы простить его, если бы он оставил вас ради другой женщины, но не ради отвлеченной идеи? Видимо, вы полагаете, что в первом случае у вас есть возможность бороться, а во втором вы бессильны?

Миссис Стрикленд бросила на меня не слишком дружелюбный взгляд, но ничего не ответила. Возможно, что я попал в точку. Затем она продолжала сиплым, дрожащим голосом:

— Я никогда не думала, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу его. Я ведь тешила себя мыслью, что, сколько бы это ни продлилось, в конце концов он все же ко мне вернется. Я знала, что на смертном одре он пошлет за мной, и была готова к этому; я бы ходила за ним как мать, и в последнюю минуту сказала бы, что я всегда любила его и все-все ему простила.

Я часто с недоумением замечал в женщинах страсть эффектно вести себя у смертного одра тех, кого они любят. Временами мне даже казалось, что они досадуют на долговечность близких, не позволяющую им разыграть красивую сцену.

— Но теперь — теперь все кончено. Для меня он чужой человек. Пусть умирает с голоду, одинокий, заброшенный, без единого друга, — меня это

не касается. Надеюсь, что его постигнет какая-нибудь страшная болезнь. Для меня он больше не существует.

Тут я счел уместным передать ей слова Стрикленда.

— Если вы желаете развестись с ним, он готов сделать все, что для этого потребуется.

— Зачем мне давать ему свободу?

— По-моему, он к ней и не стремится. Просто он думает, что вам так будет удобнее.

Миссис Стрикленд нетерпеливо пожала плечами. Я был несколько разочарован. В ту пору я предполагал в людях больше цельности, и кровожадные инстинкты этого прелестного создания меня опечалили. Я не понимал, сколь различны свойства, составляющие человеческий характер. Теперь-то я знаю, что мелочность и широта, злоба и милосердие, ненависть и любовь легко уживаются в душе человека.

«Сумею ли я найти слова, которые смягчили бы горькое чувство унижения, терзающее миссис Стрикленд?» — думал я и решил попытаться.

— Мне временами кажется, что ваш муж не вполне отвечает за свои поступки. По-моему, он уже не тот человек. Он одержим страстью, которая помыкает им. Безраздельно предавший-

ся ей, он беспомощен, как муха в паутине. Его точно околдовали. Тут поневоле вспомнишь загадочные рассказы о том, как второе *«я»* вступает в человека и вытесняет первое. Душа — не постоянная жительница тела и способна на таинственные превращения. В старину сказали бы, что в Чарлза Стрикленда вселился дьявол.

Миссис Мак-Эндрю разгладила ладонью платье на коленях, золотые браслеты скользнули вниз по ее руке.

— Все это, по-моему, пустые измышления, — заметила она кислым тоном. — Я не отрицаю, что Эми чересчур полагалась на своего мужа. Будь она меньше занята собственными делами, она бы уж сообразила, что происходит. Я уверена, что Алек не мог бы годами носиться с каким-нибудь замыслом втайне от меня.

Полковник уставился в пространство с видом самого добродетельного человека на свете.

— Но Чарлз Стрикленд все равно бессердечное животное. — Миссис Мак-Эндрю бросила на меня строгий взгляд. — Я могу вам точно сказать, почему он оставил жену: из эгоизма, и только из эгоизма.

— Это, конечно, самое простое объяснение, — ответил я, про себя подумав, что оно ничего не

объясняет. Потом я поднялся, сославшись на усталость, откланялся, и миссис Стрикленд не сделала попытки задержать меня.

Глава шестнадцатая

Дальнейшие события показали, что миссис Стрикленд — женщина с характером. Она скрывала свои мучения, так как сумела понять, что людям докучают вечные рассказы о несчастьях и вида страданий они тоже стараются избегать. Где бы она ни появлялась — а друзья из сочувствия наперебой приглашали ее, — она неизменно сохраняла полное достоинство. Одевалась она элегантно, но просто; была весела, но держалась скромно и предпочитала слушать о чужих горестях, чем распространяться о своих. О муже она всегда говорила с жалостью. Ее отношение к нему на первых порах меня удивляло. Однажды она сказала мне:

— Вы, безусловно, заблуждаетесь, я слышала из достоверных источников, что Чарлз уехал из Англии не один.

— В таком случае он положительно гений по части заметания следов.

Она отвела глаза и слегка покраснела:

— Во всяком случае, я хотела вас попросить, если кто-нибудь скажет, что он скрылся с женщиной, пожалуйста, не опровергайте этого.

— Хорошо, не стану.

Она небрежно перевела разговор на другое. Вскоре я узнал, что среди друзей миссис Стрикленд распространился своеобразный вариант этой истории. Стрикленд будто бы влюбился во французскую танцовщицу, впервые увиденную им на сцене театра «Эмпайр», и последовал за нею в Париж. Откуда возник подобный слух, я так и не доискался, но он вызывал сочувствие к миссис Стрикленд и укреплял ее положение в обществе. А это было небесполезно для профессии, которую она намеревалась приобрести. Полковник Мак-Эндрю отнюдь не преувеличивал, говоря, что она осталась без гроша за душой, ей необходимо было начать зарабатывать себе на жизнь, и чем скорее, тем лучше. Она решила извлечь пользу из своих обширных знакомств с писателями и взялась за изучение стенографии и машинописи. Ее образованность заставляла предположить, что она будет превосходной машинисткой, а ее семейная драма сделала эти попытки стать самостоятельной очень симпатичными. Друзья обещали снабжать ее работой и рекомендовать своим знакомым.

Мак-Эндрю, люди бездетные и с достатком, взяли на себя попечение о детях, так что миссис

Стрикленд приходилось содержать только себя. Она выехала из своей квартиры и продала мебель. Обосновавшись в Вестминстере, в двух небольших комнатах, миссис Стрикленд начала жизнь заново. Она была так усердна, что не оставалось никаких сомнений в успехе ее предприятия.

Глава семнадцатая

Лет пять спустя после вышеописанных событий я решил пожить некоторое время в Париже. Лондон мне приелся. Каждый день делать одно и то же — утомительнейшее занятие. Мои друзья размеренно шли по своему жизненному пути; они уже ничем не могли удивить меня; при встрече я заранее знал, что и как они скажут, даже на их любовных делах лежала печать докучливой обыденности. Мы уподобились трамвайным вагонам, бегущим по рельсам от одной конечной станции до другой; можно было уже почти точно высчитать, сколько пассажиров эти вагоны перевезут. Жизнь текла слишком безмятежно. И меня обуяла паника. Я отказался от квартиры, распродал свои скромные пожитки и решил все начать сызнова.

Перед отъездом я зашел к миссис Стрикленд. Я не видел ее довольно долгое время и отметил, что она переменилась: она не только постарела и похудела, не только новые морщинки избороздили ее лицо, мне показалось, что и характер у нее изменился. Она преуспела в своем начинании и теперь держала контору на Чансери-лейн;

сама миссис Стрикленд почти не печатала на машинке, а только проверяла работу четырех служащих у нее девушек. Стремясь придать своей продукции известное изящество, она обильно пользовалась синими и красными чернилами; копии она обертывала в плотную муаровую бумагу нежнейших оттенков и действительно заслужила известность изяществом и аккуратностью работы. Она усиленно зарабатывала деньги. Однако не могла отрешиться от представления, что зарабатывать себе на жизнь — не вполне пристойное занятие, и потому нет-нет да и напоминала собеседнику, что по рождению она леди. В разговоре миссис Стрикленд так и сыпала именами своих знакомых, преимущественно громкими и доказывавшими, что она остается на той же ступени социальной лестницы. Она немножко конфузилась своей отваги и деловой предприимчивости, но была в восторге от того, что завтра ей предстояло обедать в обществе известного адвоката, живущего в Южном Кенсингтоне. С удовольствием рассказывая, что сын ее учится в Кембридже, она не забывала, правда слегка иронически, упоминать о бесконечных приглашениях на танцы, которые получала ее дочь, недавно начавшая выезжать. Я совершил

бестактность, спросив:

— Она тоже вступит в ваше дело?

— О нет! Я этого не допущу, — отвечала миссис Стрикленд. — Она очень мила и, я уверена, сделает хорошую партию.

— Это будет для вас большой поддержкой.

— Многие считают, что ей следует идти на сцену, но я, конечно, на это не соглашусь. Я знакома со всеми нашими лучшими драматургами и могла бы хоть завтра достать для нее прекрасную роль, но я не хочу, чтобы она вращалась в смешанном обществе.

Такая высокомерная разборчивость несколько смутила меня.

— Слышали вы что-нибудь о вашем муже?

— Нет. Ничего. Он, по-видимому, умер.

— А если я вдруг встречусь с ним в Париже? Сообщить вам о нем?

Она на минуту задумалась.

— Если он очень нуждается, я могу немножко помочь ему. Я вам пришлю небольшую сумму денег, и вы будете постепенно ему их выплачивать.

— Вы очень великодушны, — сказал я.

Но я знал, что не добросердечие подвигнуло ее на это. Неправда, что страдания облагораживают

характер, иногда это удается счастью, но страдания в большинстве случаев делают человека мелочным и мстительным.

Глава восемнадцатая

Вышло так, что я встретился со Стриклендом, не пробыв в Париже и двух недель.

Я быстро нашел себе небольшую квартирку на пятом этаже на улице Дам и за две сотни франков купил подержанную мебель. Консьержка должна была варить мне по утрам кофе и убирать комнаты. Обосновавшись, я тотчас же отправился к своему приятелю Дирку Струве.

Дирк Струве был из тех людей, о которых в зависимости от характера одни говорят, пренебрежительно усмехаясь, другие — недоуменно пожимая плечами. Природа создала его шутом. Он был художник, но очень плохой; мы познакомились в Риме, и я хорошо помнил его картины. Казалось, он влюблен в банальность. С душою, трепещущей любовью к искусству, он писал римлян, расположившихся отдохнуть на лестнице площади Испании, причем их слишком очевидная живописность нимало его не обескураживала; в результате мастерская Струве была сплошь увешана холстами, с которых на вас смотрели усатые большеглазые крестьяне в остроконечных шляпах, мальчишки в красочных

лохмотьях и женщины в пышных юбках. Они либо отдыхали на паперти, либо прохлаждались среди кипарисов под безоблачным небом; иногда предавались любовным утехам возле фонтана времен Возрождения, а не то брели по полям Кампании подле запряженной волами повозки. Все они были тщательно выписаны и не менее тщательно раскрашены. Фотография не могла бы быть точнее. Один из художников на вилле Медичи окрестил Дирка: Le maître de la boîte à chocolats[12]. Глядя на его картины, можно было подумать, что Моне, Мане и прочих импрессионистов вообще не существовало.

— Конечно, я не великий художник, — говаривал Дирк. — Отнюдь не Микеланджело, но что-то во мне все-таки есть. Мои картины продаются. Они вносят романтику в дома самых разных людей. Ты знаешь, ведь мои работы покупают не только в Голландии, но в Норвегии, в Швеции и в Дании. Их очень любят торговцы и богатые коммерсанты. Ты не можешь себе представить, какие зимы стоят в этих краях, долгие, темные, холодные. Тамошним жителям нравится думать, что Италия похожа на мои картины. Именно

---

[12] Примечания: 12
Специалист по разрисовке шоколадных коробок (*фр.*).

такой они себе ее представляют. Такой представлялась она и мне до того, как я сюда приехал.

На самом деле это представление навек засело в нем и так его ослепило, что он уже не умел видеть правду; и вопреки жестоким фактам перед его духовным взором вечно стояла Италия романтических разбойников и живописных руин. Он продолжал писать идеал — убогий, пошлый, затасканный, но все же идеал; и это сообщало ему своеобразное обаяние.

Для меня лично Дирк Струве был не только объектом насмешек. Собратья художники ничуть не скрывали своего презрения к его мазне, но он зарабатывал немало денег, и они не задумываясь распоряжались его кошельком. Дирк был щедр, и все кому не лень, смеясь над его наивным доверием к их россказням, без зазрения совести брали у него взаймы. Он отличался редкой сердобольностью, но в его отзывчивой доброте было что-то нелепое, и потому его одолжения принимались без благодарности. Брать у него деньги было все равно что грабить ребенка, а его еще презирали за дурость. Мне кажется, что карманник, гордый ловкостью своих рук, должен досадовать на беспечную женщину, забывшую в кебе чемоданчик со всеми своими драгоцен-

ностями. Природа напялила на Струве дурацкий колпак, но чувствительности его не лишила. Он корчился под градом всевозможных издевок, но, казалось, добровольно вновь и вновь подставлял себя под удары. Он страдал от непрерывных насмешек, но был слишком добродушен, чтобы озлобиться: змея жалила Дирка, а опыт ничему его не научал, и, едва излечившись от боли, он снова пригревал змею на своей груди. Жизнь его была трагедией, но написанной языком вульгарного фарса. Я не потешался над ним, и он, радуясь сострадательному слушателю, поверял мне свои бессчетные горести. И самое печальное было то, что чем трагичнее они были по существу, тем больше вам хотелось смеяться.

Из рук вон плохой художник, он необычайно тонко чувствовал искусство, и ходить с ним по картинным галереям было подлинным наслаждением. Способность к неподдельному восторгу сочеталась в нем с критической остротой. Дирк был католик. Он умел не только ценить старых мастеров, но и с живой симпатией относиться к современным художникам. Он быстро открывал новые таланты и великодушно судил о них. Думается, я никогда не встречал человека со столь верным глазом. К тому же он был образован

лучше, чем большинство художников, и не был, подобно им, полным невеждой в других искусствах; его музыкальный и литературный вкус сообщал глубину и разнообразие его суждениям о живописи. Для молодого человека, каким я был тогда, советы и объяснения Дирка Струве поистине значили очень много.

Уехав из Рима, я стал переписываться с ним и приблизительно раз в два месяца получал от него длинные письма на своеобразном английском языке, который заставлял меня как бы снова видеть и слышать его — захлебывающегося, восторженного, оживленно жестикулирующего. Незадолго до моего приезда в Париж он женился на англичанке и теперь обосновался в студии на Монмартре. Мы не виделись с ним четыре года, и я не был знаком с его женой.

Глава девятнадцатая

Я не известил Струве о своем приезде, и когда он открыл дверь на мой звонок, то в первое мгновение не узнал меня. Затем издал ликующий вопль и потащил в мастерскую. Право же, приятно, когда тебя так пылко встречают!

Жена его что-то шила, сидя у печки, и поднялась мне навстречу. Дирк представил меня.

— Ты помнишь, — обратился он к ней, — я много рассказывал тебе о нем? — И ко мне: — Почему ты не написал, что приезжаешь? Давно ли ты здесь? Надолго ли? Ах, если бы ты пришел часом раньше, мы бы вместе пообедали.

Он засыпал меня вопросами, усадил в кресло, похлопывал, точно я был подушкой, настойчиво потчевал вином, печеньем, сигарами. Он никак не мог оставить меня в покое, без конца сокрушался, что в доме нет виски, бросился варить для меня кофе, не знал, как бы еще меня приветить, весь светился радостью, хохотал и от избытка чувств отчаянно потел.

— Ты ничуть не переменился, — сказал я, с улыбкой глядя на него.

У Дирка была все та же нелепейшая внешность.

Маленький, толстый, с короткими ножками и, несмотря на свою молодость — ему было не больше тридцати лет, — уже изрядно плешивый. Лицо у него было совершенно круглое, отличавшееся яркими красками — белая кожа, румяные щеки и очень красные губы. Он постоянно носил большущие очки в золотой оправе, глаза у него были голубые и тоже круглые, а брови до того светлые, что он казался безбровым. Он напоминал жизнерадостных толстых торговцев, которых любил писать Рубенс.

Когда я сказал, что собираюсь прожить некоторое время в Париже и уже снял квартиру, он осыпал меня упреками за то, что я заранее не дал ему знать об этом. Он сам подыскал бы мне жилье, ссудил бы меня мебелью — неужто я и вправду уже потратился на покупку? — и помог бы мне с переездом. Он вполне серьезно считал недружественным поступком то, что я не воспользовался его услугами. Между тем миссис Струве молча продолжала штопать чулки и со спокойной улыбкой прислушивалась к тому, что он говорил.

— Как видишь, я женат, — внезапно объявил Дирк, — что ты скажешь о моей жене?

Он смотрел на нее бесконечно нежным взгля-

дом и поправлял очки, так как от пота они то и дело соскальзывали на самый кончик носа.

— Ну скажи на милость, что я могу тебе ответить? — рассмеялся я.

— Полно тебе, Дирк, — улыбаясь вставила миссис Струве.

— Разве она не чудо? Говорю тебе, друг мой, не теряй времени, женись, женись как можно скорее. Я счастливейший из смертных. Посмотри на нее. Разве это не готовая картина? Шарден, а? Я видел всех мировых красавиц, но никогда не видел женщины красивее мадам Струве.

— Если ты не угомонишься, Дирк, я уйду.

— Mon petit choux[13], — отвечал он.

Она слегка покраснела, смущенная страстью, слышавшейся в его голосе. Из его писем я уже знал, что он без памяти влюблен в жену, а теперь и сам убедился, что он с нее глаз не сводит. Любила ли она его, об этом я судить затруднялся. Бедняга Панталоне вряд ли мог внушить пламенную любовь, но глаза ее улыбались ласково, и под ее сдержанностью, возможно, скрывалось глубокое чувство. Я не заметил в миссис Струве пленительной красоты, которую видел его взор,

---

[13] Примечания: 13
Крошка ты моя (*фр.*).

опьяненный любовью, но была в ней какая-то тихая прелесть. Отлично сшитое, хотя и скромное, серое платье не скрывало удивительной стройности ее высокой фигуры. Впрочем, эта фигура, должно быть, была привлекательнее для скульптора, чем для портного. Свои пышные каштановые волосы миссис Струве зачесывала с изящной простотой; лицо у нее было бледное, с правильными, хотя и не очень значительными чертами. В ее серых глазах светилось спокойствие. Я не назвал бы ее не только красавицей, но даже хорошенькой, и все-таки Струве не без основания упомянул о Шардене — она странным образом напоминала ту милую хозяюшку в чепце и фартуке, которую обессмертил великий художник. Не было ничего легче, как представить себе ее хлопочущей среди горшков и кастрюль с обстоятельностью, которая сообщает нравственную значимость домоводству, более того, возводит его в ритуал. Впечатления занятной или умной женщины она не производила, но что-то в ее спокойной серьезности возбуждало мой интерес. В ее сдержанности мне мерещилась какая-то таинственность. Странно, что она вышла замуж за Дирка Струве. И хотя она была англичанкой, я никак не мог себе представить, из какого она

круга, какое воспитание получила и как жила до замужества. Она почти все время молчала, но голос ее, когда ей случалось вставить несколько слов в разговор, звучал приятно, и манеры у нее были естественные. Я спросил Струве, работает ли он.

— Работаю? Да я пишу лучше, чем когда-либо!

Он повел рукой в сторону неоконченной картины на мольберте.

Я невольно вздрогнул.

Дирк писал кучку итальянских крестьян в одежде жителей Кампании, расположившихся отдохнуть на церковной паперти.

— Ты это сейчас пишешь? — спросил я.

— Да. И модели у меня здесь не хуже, чем в Риме.

— Не правда ли, как красиво? — сказала миссис Струве.

— Моя бедная жена воображает, что я великий художник.

За конфузливым смешком он, довольно неудачно, попытался скрыть свое удовольствие. Глаза его остановились на мольберте. Странное дело, как его критическое чутье, такое безусловное и точное в отношении других художников, удовлетворялось собственной работой, невероятно

пошлой и вульгарной.

— Покажи и другие свои картины, — сказала миссис Струве.

— Хочешь посмотреть?

Дирк Струве, столько выстрадавший от насмешек своих собратьев, в жажде похвал и в наивном самодовольстве тут же согласился показать свои работы. Он поставил передо мной картину, на которой два курчавых итальянских мальчика играли в бабки.

— Правда, это прелесть что такое? — спросила миссис Струве.

Он показал мне еще множество картин, и я убедился, что в Париже Дирк писал те же самые избитые, псевдоживописные сюжеты, что и в Риме. Все это было фальшиво, неискренне, дрянно, а между тем свет не знал человека честнее, искреннее, чем Дирк Струве. Как разобраться в таком противоречии?

Не знаю, почему мне вдруг взбрело на ум спросить:

— Скажи, пожалуйста, не встречался ли тебе, случайно, некий Чарлз Стрикленд, художник?

— Неужели ты его знаешь? — вскричал Дирк.

— Это негодяй, — сказала миссис Струве.

Струве рассмеялся.

— Ma pauvre chérie[14]. — Он подбежал и расцеловал ей обе руки. — Она его не выносит. Как это странно, что ты знаешь Стрикленда!

— Я не выношу дурных манер, — сказала его жена.

Дирк, все еще смеясь, обернулся ко мне.

— Я тебе сейчас объясню, в чем дело. Как-то я позвал его посмотреть мои работы. Он пришел, и я вытащил на свет Божий все, что у меня было. — Струве запнулся и с минуту молчал. Не знаю, зачем он начал этот рассказ, который ему было тошно довести до конца. — Он посмотрел на мои работы и ничего не сказал. Я думал, он приберегает свое суждение под конец. Потом я все-таки заметил: «Ну вот и все, больше у меня ничего нет!» А он и говорит: «Я пришел попросить у вас взаймы двадцать франков».

— И Дирк дал! — с негодованием воскликнула миссис Струве.

— Признаться, я опешил. Да и не люблю я отказывать. Он сунул деньги в карман, кивнул мне, сказал «благодарю» и ушел.

Когда Дирк Струве рассказывал эту историю, на его круглом глуповатом лице было написано

---

[14] Примечания: 14
Бедняжка ты моя (*фр.*).

такое бесконечное удивление, что трудно было удержаться от смеха.

— Скажи он, что мои картины плохи, я бы не обиделся, но он ничего не сказал — ни слова!

— А ты еще рассказываешь об этом, — заметила миссис Струве.

Самое печальное, что мне больше хотелось смеяться над растерянной физиономией Дирка, чем негодовать на то, как Стрикленд обошелся с ним.

— Я надеюсь, что больше никогда его не увижу, — сказала миссис Струве.

Струве рассмеялся и пожал плечами. Обычное благодушие уже вернулось к нему.

— Так или иначе, а он большой художник, очень, очень большой.

— Стрикленд? — воскликнул я. — Тогда это, наверно, не тот.

— Высокий малый с рыжей бородой. Чарлз Стрикленд. Англичанин.

— У него не было бороды, когда я встречался с ним, но если он отрастил бороду, то, надо думать, рыжую. Мой Стрикленд начал заниматься живописью всего пять лет назад.

— Это он. Он великий художник.

— Не может быть!

— Разве я когда-нибудь ошибался? — спросил

Дирк. — Говорю тебе, он гений. Я в этом не сомневаюсь. Если через сто лет кто-нибудь вспомнит о нас с тобой, то только потому, что мы знали Чарлза Стрикленда.

Я был поражен и взволнован до предела. Мне внезапно вспомнился мой последний разговор со Стриклендом.

— Где можно посмотреть его работы? Он имеет успех? Где он живет?

— Нет, успеха он не имеет. Думаю, что он не продал еще ни одной картины. О них кому ни скажи — все смеются. Но я-то знаю, что он великий художник. Ведь и над Мане в свое время смеялись. Коро в жизни не продал ни одной из своих работ. Я не знаю адреса Стрикленда, но могу устроить тебе встречу с ним. Каждый вечер в семь часов он бывает в кафе на авеню Клиши. Мы можем завтра сходить туда.

— Я не уверен, что он захочет меня видеть. Я напомню ему то, о чем он старается забыть. Но все равно я пойду. А можно посмотреть его работы?

— У него — нет. Он тебе ничего не покажет. Но я знаю одного торговца, у которого есть две или три картины Стрикленда. Только ты не ходи без меня: ты ничего не поймешь. Я их сам тебе покажу.

— Дирк, ты меня выводишь из терпения! —

воскликнула миссис Струве. — Как ты можешь превозносить его картины после того, что было? — Она обернулась ко мне: — Вы знаете, когда какие-то приезжие из Голландии пришли к нам покупать картины, то Дирк стал их уговаривать лучше купить картины Стрикленда! И настоял, чтобы их принесли сюда.

— А что вы думаете об этих полотнах? — с улыбкой спросил я.

— Они ужасны.

— Ах, радость моя, ты ничего не понимаешь.

— А почему же твои голландцы так на тебя разозлились? Они решили, что ты вздумал подшутить над ними.

Дирк Струве снял очки и тщательно протер их. От волнения его лицо сделалось еще краснее.

— Неужели, по-твоему, красота, самое драгоценное, что есть в мире, валяется, как камень на берегу, который может поднять любой прохожий? Красота — это то удивительное и недоступное, что художник в тяжких душевных муках творит из хаоса мироздания. И когда она уже создана, не всякому дано ее узнать. Чтобы постичь красоту, надо вжиться в дерзание художника. Красота — мелодия, которую он поет нам, и для того, чтобы она отозвалась в нашем сердце, нужны знание,

восприимчивость и фантазия.

— Почему я всегда считала твои картины прекрасными, Дирк? Они восхитили меня, едва только я увидела их.

У Дирка чуть-чуть задрожали губы.

— Ложись спать, родная моя, а я немножко провожу нашего друга и сейчас же вернусь домой.

Глава двадцатая

Дирк Струве пообещал зайти за мной на следующий день вечером, чтобы отправиться в кафе, где бывал Стрикленд. К вящему моему удивлению, это оказалось то самое кафе, в котором мы пили абсент со Стриклендом, когда я приезжал в Париж для разговора с ним. То, что он по-прежнему бывал здесь, свидетельствовало об известной верности привычке, и это показалось мне характерным.

— Вот он, — сказал Струве, едва только мы вошли в кафе.

Несмотря на октябрь месяц, вечер был теплый, и за столиками, расставленными прямо на мостовой, сидело множество народу. Я впился взглядом в эту толпу, но не нашел Стрикленда.

— Смотри же, вон там в углу, за шахматами.

Я заметил человека, склонившегося над шахматной доской, но различил только широкополую шляпу и рыжую бороду. С трудом пробравшись между столиками, мы подошли к нему.

— Стрикленд!

Он поднял глаза.

— Хэлло, толстяк! Что надо?

— Я привел старого друга, он хочет повидать вас.

Стрикленд посмотрел мне в лицо, но, видимо, не узнал меня и снова стал обдумывать ход.

— Садитесь и не шумите, — буркнул он.

Он передвинул пешку и тотчас же весь погрузился в игру. Бедняга Струве бросил на меня огорченный взгляд, но я не позволил таким пустякам смутить себя. Я велел подать вина и стал спокойно дожидаться, пока Стрикленд кончит. Я был рад случаю исподволь понаблюдать за ним. Нет, это не тот человек, которого я знал. Прежде всего, косматая и нечесаная рыжая борода закрывала большую часть лица, и волосы на голове тоже были длинные; но более всего непохожим на прежнего Стрикленда его делала страшная худоба. Большой нос еще резче выдался вперед, щеки ввалились, глаза стали огромными. Запавшие виски казались ямами. Тело напоминало скелет. Сюртук, тот же, что и пять лет назад, рваный, в пятнах, донельзя изношенный, болтался на нем, как с чужого плеча. Я долго смотрел на его руки с отросшими грязными ногтями; кожа да кости, но большие и сильные, а я ведь совсем забыл, что они так красивы! Я смотрел на него, погруженного в игру, и думал о том, какая сила

исходит от этого изголодавшегося человека. Я только не мог понять, почему теперь она больше бросалась в глаза.

Сделав ход, Стрикленд откинулся на стуле и вперил в пространство рассеянный взгляд. Противник — дородный бородатый француз — долго обдумывал положение, затем вдруг разразился беззлобной бранью, смахнул фигуры с доски и швырнул их обратно в коробку. Изругав Стрикленда и, видимо, облегчив свою душу, он позвал официанта, заплатил за абсент и ушел. Струве придвинул свой стул поближе к столику.

— Ну, теперь мы можем и поговорить, — сказал он.

Глаза Стрикленда были устремлены на него с каким-то злорадством. Я ясно чувствовал, что он ищет повода поиздеваться, ничего не находит и потому угрюмо молчит.

— Я привел старого друга повидаться с вами, — с сияющим лицом повторил Струве.

Стрикленд, наверно, с минуту задумчиво смотрел на меня. Я молчал.

— В жизни его не видел, — объявил он наконец.

Не знаю, зачем он это сказал, от меня все равно не укрылся огонек в его глазах — он, несомненно,

узнал меня. Но теперь я не так легко конфузился, как несколько лет назад.

— Я на днях говорил с вашей женой и уверен, что вам будет интересно узнать о ней столь свежие новости.

В ответ послышался короткий смешок. Глаза Стрикленда блеснули.

— Мы тогда славно провели вечер, — сказал он. — Сколько лет назад это было?

— Пять.

Он спросил еще абсенту. Струве начал многословно объяснять, как мы с ним встретились и как в разговоре случайно выяснилось, что мы оба знаем Стрикленда. Не знаю, слушал ли его Стрикленд. Раза два он задумчиво взглянул на меня, но большей частью был погружен в собственные мысли, и, конечно, без болтовни Струве мне было бы нелегко поддерживать разговор. Минут через двадцать голландец поглядел на часы и объявил, что ему пора. Он спросил, пойду ли я с ним. Мне подумалось, что наедине я кое-что вытяну из Стрикленда, и я решил остаться.

После ухода толстяка я сказал:

— Дирк Струве считает вас великим художником.

— А почему, черт возьми, это должно интере-

совать меня?

— Вы позволите мне посмотреть ваши картины?

— Это еще зачем?

— Возможно, что мне захочется приобрести одну из них.

— Возможно, что мне не захочется ее продать.

— Надо думать, вы хорошо зарабатываете живописью? — с улыбкой спросил я.

Он фыркнул.

— Вы это заметили по моему виду?

— У вас вид вконец изголодавшегося человека.

— Так оно и есть.

— Тогда пойдемте обедать.

— Почему вы мне это предлагаете?

— Во всяком случае, не из жалости, — холодно отвечал я. — Ей-богу, мне наплевать, умрете вы с голоду или не умрете.

Глаза его снова зажглись.

— В таком случае пошли. — Он поднялся с места. — Неплохая штука — хороший обед.

Глава двадцать первая

Предоставив ему выбор ресторана, я по дороге купил газету. Когда мы заказали обед, я развернул ее, прислонил к бутылке «Сен-Гальмье» и углубился в чтение. Ели мы молча. Время от времени я чувствовал на себе взгляд Стрикленда, но сам не поднимал глаз. Мне хотелось во что бы то ни стало вызвать его на разговор.

— Есть что-нибудь интересное в газете? — спросил он под самый конец нашего молчаливого обеда.

В его тоне мне послышалось легкое раздражение.

— Я люблю читать фельетоны о театре, — отвечал я, складывая газету.

— Я с удовольствием пообедал, — заметил он.

— А не выпить ли нам здесь же кофе?

— Можно.

Мы взяли по сигаре. Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал.

— Что вы делали все эти годы? — спросил он наконец.

Что мог я рассказать о себе? Это была бы лето-

пись тяжелого труда и малых дерзаний; попыток то в одном, то в другом направлении; постепенного познания книг и людей. Я, со своей стороны, остерегался расспрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но, начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки — слушать, как скупыми намеками говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрестанной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но понял я и то, что многое предельно страшное для большинства людей его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличало от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но

что есть, ему было безразлично; пища была для него только средством заглушить сосущее чувство голода, а когда ее не находилось, ну что ж, он голодал. Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувственный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность. Нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа.

Когда подошла к концу скромная сумма, которую Стрикленд привез из Лондона, он не впал в отчаяние. Картины его не продавались, да он, по-моему, особенно и не старался продать их и предпочел пуститься на поиски какого-нибудь заработка. С мрачным юмором рассказывал он о временах, когда ему в качестве гида приходилось знакомить любопытных лондонцев с ночной жизнью Парижа; это занятие более или менее соответствовало его сардоническому нраву, и он каким-то образом умудрился досконально изучить самые «пропащие» кварталы Парижа. Много часов подряд шагал он по бульвару Мадлен, выискивая англичан, желательно подвыпивших и охочих до запрещенных законом зрелищ. Иной раз Стрикленду удавалось заработать кругленькую сумму, но под конец он так обносился, что

его лохмотья отпугивали туристов и мало у кого хватало мужества довериться гиду-оборванцу. Затем ему снова посчастливилось, он достал работу — переводил рекламы патентованных лекарств, которые посылались в Англию, а однажды, во время забастовки, работал маляром.

Однако он не забросил своего искусства, только перестал посещать студии и работал в одиночку. Деньги на холст и краски у него всегда находились, а больше ему ничего не было нужно. Насколько я понял, работал он очень трудно и, не желая ни от кого принимать помощи, тратил уйму времени на разрешение технических проблем, разработанных еще предшествующими поколениями. Он стремился к чему-то, к чему именно, я не знал, да навряд ли знал и он сам, и я опять еще яснее почувствовал, что передо мною одержимый. Право же, он производил впечатление человека не совсем нормального. Мне даже почудилось, что он не хочет показать мне свои картины, потому что они ему самому не интересны. Он жил в мечте, и реальность для него цены не имела. Должно быть, работая во всю свою могучую силу, он забывал обо всем на свете, кроме стремления воссоздать то, что стояло перед его внутренним взором, а затем, покончив даже не с

картиной (мне почему-то казалось, что он редко завершал работу), но со сжигавшей его страстью, утрачивал к ней всякий интерес. Никогда не был он удовлетворен тем, что сделал; вышедшее из-под его кисти всегда казалось ему бледным и незначительным в сравнении с тем, что денно и нощно виделось его духовному взору.

— Почему вы не выставляете своих картин? — спросил я. — Неужто вам не хочется узнать, что думают о них люди?

— Я не любопытен.

Неописуемое презрение вложил он в эти слова.

— Разве вы не мечтаете о славе? Вряд ли хоть один художник остался к ней равнодушен.

— Ребячество! Как можно заботиться о мнении толпы, если в грош не ставишь мнение одного человека.

Я рассмеялся:

— Не все способны так рассуждать!

— Кто делает славу? Критики, писатели, биржевые маклеры, женщины.

— А должно быть, приятно сознавать, что люди, которых ты и в глаза не видел, волнуются и трепещут, глядя на создание твоих рук! Власть — кто ее не любит? А есть ли власть прельстительнее

той, что заставляет сердца людей биться в страхе или сострадании?

— Мелодрама.

— Но ведь и вам не все равно, пишете вы хорошо или плохо?

— Все равно. Мне важно только писать то, что я вижу.

— А я, например, сомневаюсь, мог ли бы я работать на необитаемом острове в уверенности, что никто, кроме меня, не увидит того, что я сделал.

Стрикленд долго молчал, но в глазах его светился странный огонек, словно они видели нечто, преисполнявшее восторгом его душу.

— Я иногда вижу остров, затерянный в бескрайнем морском просторе; там бы я мог мирно жить в укромной долине, среди неведомых мне деревьев. И там, мне думается, я бы нашел все, что ищу.

Он говорил не совсем так. Прилагательные подменял жестами и запинался. Я своими словами передал то, что он, как мне казалось, хотел выразить.

— Оглядываясь на эти последние годы, вы полагаете, что игра стоила свеч?

Он взглянул на меня, не понимая, что я имею в виду. Я пояснил:

— Вы оставили уютный дом и жизнь такую, какую принято считать счастливой. Вы были состоятельным человеком, а здесь, в Париже, вам пришлось очень круто. Если бы жизнь можно было повернуть вспять, сделали бы вы то же самое?

— Конечно.

— А знаете, что вы даже не спросили меня о своей жене и детях? Неужели вы никогда о них не думаете?

— Нет.

— Честное слово, я бы предпочел, чтобы вы отвечали мне не так односложно. Но иногда-то ведь вы чувствуете угрызения совести за горе, которое причинили им?

Стрикленд широко улыбнулся и покачал головой.

— Мне кажется, что временами вы все же должны вспоминать о прошлом. Не о том, что было семь или восемь лет назад, а о далеком прошлом, когда вы впервые встретились с вашей женой, полюбили ее, женились. Неужто вы не вспоминаете радость, с которой вы впервые заключили ее в объятия?

— Я не думаю о прошлом. Значение имеет только вечное сегодня.

С минуту я раздумывал. Ответ был темен, и

все же мне показалось, что я смутно прозреваю его смысл.

— Вы счастливы? — спросил я.

— Да.

Я молчал и задумчиво смотрел на него. Он выдержал мой взгляд, но потом сардонический огонек зажегся у него в глазах.

— Плохо мое дело, вы, кажется, осуждаете меня?

— Ерунда, — отрезал я, — нельзя осуждать боа констриктора; напротив, его психика, несомненно, возбуждает интерес.

— Значит, вы интересуетесь мною чисто профессионально?

— Да, чисто профессионально.

— Что ж, вам и нельзя меня осуждать. Сами не бог весть что!

— Может быть, потому-то вы и чувствуете себя со мною непринужденно, — отпарировал я.

Он сухо улыбнулся, но ничего не сказал. Жаль, что я не умею описать его улыбку. Ее нельзя было назвать приятной, но она озарила его лицо, придала ему иное выражение, не хмурое, как обычно, а лукаво-злорадное. Это была неторопливая улыбка, начинавшаяся, а может быть, и кончавшаяся в уголках глаз; очень чувственная,

не жестокая, но и не добрая, а какая-то нечеловеческая, словно то ухмылялся сатир. Эта улыбка и заставила меня спросить:

— И вы ни разу не были влюблены здесь, в Париже?

— У меня не было времени на такую чепуху. Жизнь — короткая штука, и на искусство и на любовь ее не хватит.

— Вы не похожи на анахорета.

— Все это мне противно.

— Плохо придуман человек.

— Почему вы смеетесь надо мной?

— Потому что я вам не верю.

— В таком случае вы осел.

Я молчал, испытующе глядя на него.

— Какой вам смысл меня дурачить? — сказал я наконец.

— Не понимаю.

Я улыбнулся.

— Сейчас объясню. Вот вы месяцами ни о чем таком не думаете и убеждаете себя, что с этим покончено раз и навсегда. Вы наслаждаетесь свободой и уверены, что теперь ваша душа принадлежит только вам. Вам кажется, что головой вы касаетесь звезд. А затем вы вдруг чувствуете, что больше вам не выдержать такой жизни, и

замечаете, что ноги ваши все время топтались в грязи. И вас уже тянет вываляться в ней. Вы встречаете женщину вульгарную, низкопробную, полуживотное, в которой воплощен весь ужас пола, и бросаетесь на нее, как дикий зверь. Вы упиваетесь ею, покуда ярость не ослепит вас.

Он смотрел на меня, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Я не опускал глаз под его взглядом и говорил очень медленно.

— И вот еще что: как это ни странно, но когда все пройдет, вы вдруг чувствуете себя необычайно чистым, имматериальным. Вы как бестелесный дух, и кажется, вот-вот коснетесь красоты, словно красота осязаема. Вам чудится, что вы слились с ветерком, с деревьями, на которых набухли почки, с радужными водами реки. Вы как бог. А можете вы объяснить — почему?

Он не сводил с меня глаз, покуда я не кончил, и тогда отвернулся. Странное выражение застыло на его лице. «Такое лицо, — подумалось мне, — должно быть у человека, умершего под пытками». Стрикленд молчал. Я понял, что наша беседа окончена.

Глава двадцать вторая

Обосновавшись в Париже, я начал писать пьесу. Жизнь я вел очень размеренную, по утрам работал, а днем бродил в Люксембургском саду или же шатался по улицам. Долгие часы я проводил в Лувре, приветливейшей из всех галерей на свете и всегда влекущей к раздумью, или же торчал у букинистов на набережных, перелистывая старые книги, которые не думал покупать. Я прочитывал страничку то тут, то там, затем шел дальше и таким образом просмотрел множество книг, с которыми мне и не хотелось знакомиться подробнее. По вечерам я навещал друзей. Частенько заходил к Струве и, случалось, делил с ними их скромный ужин. Дирк Струве похвалялся своим искусством приготовлять итальянские блюда, и надо сознаться, что его спагетти значительно превосходили его картины. Поистине то было королевское пиршество, когда в огромной миске он вносил макароны, щедро пропитанные томатом, и мы ели их с чудесным домашним хлебом, запивая красным вином. Я ближе узнал Бланш Струве, и, может быть, потому, что я англичанин, а она редко встречалась

со своими соотечественниками, ее, видимо, всегда радовал мой приход. Она была приветлива, проста в обращении, хотя по большей части молчалива, и, не знаю почему, мне казалось, что на сердце у нее какая-то тайна. Впрочем, может быть, это была всего лишь врожденная сдержанность, подчеркнутая болтливой откровенностью мужа. Дирк ни о чем не умел молчать. Самые интимные вопросы он обсуждал без малейшего стеснения. Жена его конфузилась, но только раз я заметил, что она вышла из себя, когда он пожелал во что бы то ни стало сообщить мне, что принял слабительное, и пустился в длинный и весьма натуралистический рассказ. Абсолютная серьезность, с которой он повествовал о своей беде, заставила меня покатываться со смеху, а миссис Струве окончательно смешалась.

— Не понимаю, что за охота строить из себя дурачка! — воскликнула она.

Когда он увидел, что она сердится, его круглые глаза стали еще круглее, а брови взметнулись.

— Душенька моя, ты недовольна? Никогда больше не стану принимать слабительного. Это из-за разлития желчи. Сидячий образ жизни. Надо больше двигаться. Подумать только, что три дня у меня не было…

— Бога ради, придержи свой язык, — перебила она мужа со слезами досады на глазах.

Лицо его вытянулось, губы надулись, как у наказанного ребенка. Он бросил на меня умоляющий взгляд, взывая о помощи, но я, не в силах совладать с собой, корчился от смеха.

Однажды мы зашли к торговцу картинами, в лавке которого, по словам Струве, находились две или три вещи Стрикленда, но хозяин сообщил нам, что Стрикленд на днях забрал их. Почему — неизвестно.

— По правде сказать, я не очень-то огорчаюсь. Я взял их только из уважения к мосье Струве и, конечно, пообещал продать, если удастся, хотя, ей-богу… — он пожал плечами, — я, конечно, стараюсь поддерживать молодых художников, но тут, voyons[15], мосье Струве, вы сами знаете, таланта ни на грош.

— Даю вам честное слово, нет в наши дни более даровитого художника. Помяните мое слово, вы упускаете выгодное дело. Придет время, когда эти картины будут стоить дороже всех, что имеются у вас в лавке. Вспомните Моне, которому не удавалось сбыть свои вещи за сотню франков. А

---

[15] Примечания: 15
Право же (*фр.*).

сколько они стоят теперь?

— Правильно. Но десятки художников не хуже Моне не могут сбыть свои картины, которые и теперь ничего не стоят. Что тут можно знать? Разве успех дается по заслугам? Вздор. Du reste[16] надо еще доказать, что этот ваш приятель достоин успеха. Кроме вас, мосье Струве, никто этого не считает.

— А как вы в таком случае определяете, кто его достоин? — спросил Дирк, красный от гнева.

— Только одним способом — по успеху.

— Филистер! — крикнул Дирк.

— А вы вспомните великих художников прошлого: Рафаэля, Микеланджело, Энгра, Делакруа — все они имели успех.

— Пойдем, — оборотился ко мне Струве, — или я убью этого человека.

---

[16] Примечания: 16
К тому же (*фр.*).

Глава двадцать третья

Я встречал Стрикленда довольно часто и время от времени даже играл с ним в шахматы. Он был человек очень неровного характера. То молча сидел в углу, рассеянный и никого не замечающий, то вдруг, придя в хорошее расположение духа, начинал говорить, как всегда отрывисто и косноязычно. Я ни разу не слышал от него ничего особенно умного, но его жестокий сарказм порою был занимателен; и говорил Стрикленд только то, что думал. Ему ничего не стоило больно уязвить человека, и когда на него обижались, он только веселился. Дирку Струве, например, он наносил обиды столь горькие, что тот убегал, клянясь никогда больше не встречаться с ним. Но могучая натура Стрикленда неодолимо влекла к себе толстяка голландца, и он возвращался, виляя хвостом, точно провинившийся пес, хотя отлично знал, что его снова встретят пинком, которого он так боялся.

Не знаю почему, Стрикленд охотно водился со мной. Отношения у нас сложились своеобразные. Однажды он попросил меня дать ему взаймы пятьдесят франков.

— И не подумаю, — отвечал я.

— Почему?

— А с какой радости я стану ссужать вас деньгами?

— Мне сейчас очень туго приходится.

— Не интересуюсь.

— Не интересуетесь, если я сдохну с голоду?

— Мне-то что до этого? — в свою очередь, спросил я.

Минуту-другую он смотрел на меня, теребя свою косматую бороду. Я улыбался.

— Что вас смешит, хотел бы я знать? — Глаза его гневно блеснули.

— Неужели вы так наивны? Вы ведь никаких обязательств не признаете, следовательно, и вам никто ничем не обязан.

— А каково вам будет, если я сейчас пойду и повешусь, потому что мне нечем заплатить за комнату и меня выгоняют на улицу?

— Мне наплевать, что с вами будет.

Он фыркнул.

— Хвастовство! Сделай я это, и вас совесть загрызет.

— Попробуйте, тогда увидим, — отвечал я.

Улыбка промелькнула у него в глазах, и он молча допил свой абсент.

— Не сыграть ли нам в шахматы? — предложил я.

— Пожалуй.

Когда мы расставили фигуры, он с довольным видом оглядел доску. Отрадно видеть, что твои солдаты готовы к бою.

— Вы вправду вообразили, что я дам вам денег? — спросил я.

— А почему бы вам и не дать?

— Вы меня удивляете и разочаровываете.

— Чем?

— Оказывается, в глубине души вы сентиментальны. Я бы предпочел, чтобы вы не взывали так наивно к моим чувствам.

— Я презирал бы вас, если бы вы растрогались, — отвечал он.

— Так-то оно лучше, — рассмеялся я.

Мы сделали первые ходы и оба углубились в игру. А когда кончили, я сказал:

— Вот что я вам предлагаю: если у вас дела так плохи, покажите мне ваши картины. Возможно, какая-нибудь из них мне понравится, и я ее куплю.

— Идите к черту, — отрезал он.

Он встал и уже шагнул было к двери. Я его остановил ехидным замечанием:

— Вы забыли заплатить за абсент!

Он обругал меня, швырнул на стол монету и ушел.

После этого я несколько дней его не видел. Но однажды вечером, когда я сидел в кафе и читал газету, он вошел и уселся рядом со мной.

— Как видно, вы все же не повесились, — заметил я.

— Нет, я получил заказ. За двести франков пишу портрет старого жестянщика[17].

— Как это вам удалось?

— Меня рекомендовала булочница, у которой я покупаю хлеб. Он ей сказал, что ищет, кто бы мог написать его портрет. Пришлось дать ей двадцать франков за комиссию.

— А каков он собой?

— Великолепен. Красная рожа, жирная, как баранья нога, и на правой щеке громадная волосатая бородавка.

Стрикленд был в отличном расположении духа и, когда к нам подсел Дирк Струве, со свирепым добродушием обрушился на беднягу. С ловко-

---

[17] Примечания: 17

Эта картина ранее принадлежала богатому фабриканту в Лилле, бежавшему при приближении немцев. Теперь она находится в Национальной галерее в Стокгольме. Шведы — мастера ловить рыбу в мутной воде. — *Примеч. авт.*

стью, которой я даже не предполагал в нем, он отыскивал наиболее уязвимые места злополучного голландца. На сей раз Стрикленд донимал его не рапирой сарказма, но дубиной брани. Это была атака настолько неспровоцированная, что Струве, застигнутый врасплох, оказался совершенно беззащитным и походил на вспугнутую овцу, бессмысленно тыкающуюся из стороны в сторону. Он был так поражен и озадачен, что в конце концов слезы потекли у него из глаз. Но самое печальное, что любой свидетель этой безобразной сцены, при всей ненависти к Стрикленду, не мог бы удержаться от смеха. Дирк Струве принадлежал к тем несчастным, чьи самые глубокие чувства поневоле смешат вас.

И все же приятнейшее мое воспоминание о той парижской зиме — Дирк Струве. Его скромный домашний очаг был проникнут очарованием. Вид этой уютной четы радовал душу, а наивная любовь Дирка к жене так и светилась заботливой нежностью. Бестолковая искренность его страсти невольно вызывала симпатию. Я понимал, какие чувства она должна была питать к нему, и радовался, видя ее теплую привязанность. Если у нее есть чувство юмора, думал я, она забавляется его преклонением, тем, что он вознес ее так высоко,

но ведь, и смеясь, она не может не быть польщена и растрогана. Дирк — однолюб, и даже когда она постареет, утратит приятную округлость линий и миловидность, для него она все равно будет самой молодой и прекрасной на свете. Образ жизни этой четы отличался успокоительной размеренностью. Кроме мастерской, в их квартире была только спальня и крохотная кухонька. Миссис Струве собственноручно делала всю домашнюю работу; покуда Дирк писал плохие картины, она ходила на рынок, стряпала, шила — словом, хлопотала, как муравей, а вечером, снова с шитьем в руках, сидела в мастерской и слушала, как Дирк играет на рояле, хотя он любил серьезную музыку, вероятно, недоступную ее пониманию. Он играл со вкусом, но вкладывал в игру слишком много чувства, в игре звучала вся его честная, сентиментальная, любвеобильная душа.

Их жизнь была своего рода идиллией. Комичность, печать которой ложилась решительно на все вокруг Дирка Струве, вносила в нее своеобразную нотку, некий диссонанс, делавший ее, однако, более современной и человечной; подобно грубой шутке, вкрапленной в серьезную сцену, она только еще горше делала горечь, неизбежно заложенную в красоте.

Глава двадцать четвертая

Незадолго до Рождества Дирк Струве пришел просить меня встретить праздник вместе с ними. Сочельник неизменно вызывал в нем прилив сентиментальности, и он жаждал провести его среди друзей и со всеми подобающими церемониями. Оба мы не видели Стрикленда уже около месяца: я — потому, что занимался друзьями, приехавшими на некоторое время в Париж, Струве — потому, что разобиделся сильнее, чем обычно, и дал себе наконец слово никогда больше не искать его общества. Стрикленд — ужасный человек, и он отныне знать его не желает. Однако наступающие праздники вновь преисполнили его добрых чувств, и он содрогнулся при мысли, что Стрикленд проведет Рождество в полном одиночестве. Приписывая ему свои чувства, он не мог вынести, чтобы в день, когда друзья собираются за праздничным столом, бедняга пребывал наедине со своими мрачными мыслями. Дирк устроил елку в своей мастерской, и я подозревал, что самые неподходящие подарки для каждого из нас уже висят на ее разукрашенных ветвях. В глубине души он все-таки боялся встречи со

Стриклендом, сознавая, что унизительно так легко прощать жестокую обиду, и потому непременно хотел, чтобы я был свидетелем сцены примирения.

Мы вместе отправились на авеню Клиши, но Стрикленда в кафе не оказалось. Сидеть на улице было холодно, и мы облюбовали себе кожаный диван в зале, не устрашившись духоты и воздуха, сизого от сигарного дыма. Стрикленд не появлялся, но вскоре мы заметили художника-француза, с которым он иногда играл в шахматы. Я его окликнул, и он подсел к нашему столику. Струве спросил, давно ли он видел Стрикленда.

— Стрикленд болен, — отвечал художник, — разве вы не знали?

— И серьезно?

— Очень, насколько мне известно.

Струве побелел.

— Почему он мне не написал? Какой я дурак, что поссорился с ним. Надо сейчас же к нему пойти. За ним, вероятно, и присмотреть некому. Где он живет?

— Понятия не имею, — отвечал француз.

Оказалось, что никто из нас не знает, как найти Стрикленда. Дирк был в отчаянии.

— Он может умереть, и ни одна живая душа об

этом не узнает! Ужас! Даже подумать страшно! Мы обязаны немедленно разыскать его.

Я пытался втолковать Струве, что наугад гоняться за человеком по Парижу — бессмыслица. Сначала надо составить план действий.

— Отлично! А он, может быть, лежит при смерти, и, когда мы его разыщем, будет уже поздно.

— Да замолчи ты, дай подумать! — прикрикнул я на него.

Мне был известен только один адрес — «Отель де Бельж», но Стрикленд давно оттуда выехал и вряд ли там даже помнят его. А если еще принять во внимание его навязчивую идею скрывать свое местожительство, то не остается уже почти никакой надежды, что он сообщил портье свой адрес. Вдобавок это было пять с лишком лет назад. Но наверняка он жил где-то поблизости, раз продолжал ходить в то же кафе, что и в бытность свою постояльцем «Отель де Бельж».

И вдруг я вспомнил, что заказ на портрет достался ему через булочницу, у которой он покупал хлеб. Вот у кого узнаем мы, возможно, где он живет. Я спросил адресную книгу и стал выискивать булочные. Неподалеку отсюда их было пять, нам оставалось только все их обойти. Струве неохотно последовал за мной. У него был

свой собственный план — заходить во все дома по улицам, расходящимся от авеню Клиши, и спрашивать, не здесь ли проживает Стрикленд. Моя несложная схема вполне себя оправдала, ибо уже во второй булочной женщина за прилавком сказала, что знает Стрикленда. Она только не была уверена, в каком из трех домов напротив он живет. Но удача нам сопутствовала, и первая же спрошенная нами консьержка сообщила, что комната Стрикленда находится на самом верху.

— Он, кажется, нездоров, — начал Дирк.

— Все может быть, — равнодушно отвечала консьержка. — En effet[18] я уже несколько дней его не видела.

Струве помчался по лестнице впереди меня, а когда и я наконец взобрался наверх, он уже разговаривал с каким-то рабочим в одной жилетке, открывшим на его стук. Рабочий велел нам стучать в соседнюю дверь. Тамошний жилец и вправду, кажется, художник. Но он не попадался ему на глаза уже целую неделю. Струве согнул было палец, чтобы постучать, но вдруг с отчаянным лицом обернулся ко мне.

— А что, если он умер?

---

[18] Примечания: 18
В самом деле (*фр.*).

— Кто-кто, а Стрикленд жив!

Я постучал. Ответа не было. Я нажал ручку, дверь оказалась незапертой, и мы вошли — я впереди, Струве за мной. В комнате было темно. Я с трудом разглядел, что это мансарда под стеклянной крышей; слабый свет с потолка лишь чуть-чуть рассеивал темноту.

— Стрикленд! — позвал я.

Ответа не было. Это уже и мне показалось странным, а Струве, стоявший позади меня, дрожал как в лихорадке. Я не решался зажечь свет. В углу я смутно различил кровать, и мне стало жутко: а вдруг при свете мы увидим на ней мертвое тело?

— Что, у вас спичек, что ли, нет, дурачье?

Я вздрогнул, услышав из темноты жесткий голос Стрикленда.

— Господи Боже ты мой! — закричал Струве. — Я уж думал, вы умерли!

Я зажег спичку и, оглянувшись в поисках свечи, успел увидеть тесное помещение, одновременно служившее жильем и мастерской. Тут только и было что кровать, холсты на подрамниках, повернутые лицом к стене, мольберт, стол и стул. Ни ковра на полу, ни камина. На столе, заваленном красками, шпателями и всевозможным мусором,

нашелся огарок свечи. Я зажег его. Стрикленд лежал в неудобной позе, потому что кровать была коротка для него, навалив на себя всю имевшуюся у него одежду. С первого взгляда было ясно, что у него жестокий жар. Струве бросился к нему и срывающимся от волнения голосом забормотал:

— О бедный мой друг, что же это с вами? Я понятия не имел, что вы больны. Почему вы меня не известили? Вы же знаете, я все на свете сделал бы для вас. Не думайте о том, что я вам сказал тогда. Я был не прав. Глупо, что я обиделся…

— Убирайтесь к черту, — проговорил Стрикленд.

— Будьте же благоразумны. Позвольте мне устроить вас поудобнее. Неужели здесь никого нет, кто бы присмотрел за вами?

Он в полном смятении оглядел убогий чердак. Поправил одеяло и подушку. Стрикленд тяжело дышал и хранил злобное молчание. Потом сердито взглянул на меня. Я спокойно стоял и, в свою очередь, смотрел на него.

— Если хотите что-нибудь для меня сделать, принесите молока, — сказал он наконец. — Я два дня не выхожу из комнаты.

Возле кровати стояла пустая бутылка из-под молока, в кусок газеты были завернуты огрызки

хлеба.

— Что вы ели это время? — спросил я.

— Ничего.

— С каких пор? — закричал Струве. — Неужели вы два дня провели без еды и питья? Это ужасно!

— Я пил воду.

Глаза его остановились на большой кружке, до которой можно было дотянуться с кровати.

— Сейчас я сбегаю за едой, — суетился Струве, — скажите, чего бы вам хотелось?

Я вмешался, сказав, что надо купить градусник, немного винограду и хлеба. Струве, радуясь, что может быть полезен, кубарем скатился по лестнице.

— Чертов дуралей! — пробормотал Стрикленд.

Я пощупал его пульс. Он бился часто и чуть слышно. На мои вопросы Стрикленд ничего не ответил, а когда я настойчиво повторил их, со злостью отвернулся к стене. Мне оставалось только молча ждать. Минут через десять возвратился запыхавшийся Струве. Помимо всего прочего, он принес свечи, бульон, спиртовку и, как расторопный хозяин, тотчас же принялся кипятить молоко. Я измерил Стрикленду температуру. Градусник показал сорок и три десятых. Он был серьезно болен.

Глава двадцать пятая

Вскоре мы его оставили. Дирку надо было домой обедать, а я сказал, что приведу к Стрикленду врача. Но едва мы оказались на улице, где дышалось особенно легко после спертого чердачного воздуха, как голландец стал умолять меня немедленно пойти вместе с ним в его мастерскую. У него есть одна идея, какая — он мне сейчас не скажет, но я непременно, непременно должен сопровождать его. Я не думал, чтобы врач в данный момент мог сделать больше, чем сделали мы, и поэтому согласился. Когда мы вошли, Бланш Струве накрывала на стол. Дирк прямо направился к ней и взял ее руки в свои.

— Милочка моя, я хочу кое о чем попросить тебя, — сказал он.

Она посмотрела на него тем серьезным и ясным взглядом, который был едва ли не главной ее прелестью. Красная физиономия Струве лоснилась от пота, вид у него был до смешного перебудораженный, но в его круглых, всегда удивленных глазах светилась решимость.

— Стрикленд очень болен. Возможно, при смерти. Он живет совсем один на грязном чердаке, где

некому даже присмотреть за ним. Позволь мне перевезти его к нам.

Она быстро вырвала руки из его рук, я никогда еще не видел у нее такого стремительного движения; бледное лицо ее вспыхнуло.

— Ах нет!

— Дорогая моя, не отказывай мне. Я не в силах оставить его там одного. Я глаз не сомкну, думая о нем.

— Пожалуйста, иди и ухаживай за ним, я ничего не имею против.

Голос ее звучал холодно и высокомерно.

— Но он умрет.

— Пусть.

Струве даже рот раскрыл, потом вытер пот с лица и обернулся ко мне, ища поддержки, но я не знал, что сказать.

— Он великий художник.

— Какое мне дело? Я его ненавижу.

— Дорогая, любимая моя, не говори так. Заклинаю тебя, позволь мне привезти его. Мы его устроим здесь, может быть, спасем ему жизнь. Он тебя не обременит. Я все буду делать сам. Я постелю ему в мастерской. Нельзя же, чтобы он подыхал как собака. Это бесчеловечно.

— Почему его нельзя отправить в больницу?

— В больницу? Он нуждается в любовном, заботливом уходе.

Меня удивило, что Бланш так взволновалась. Она продолжала накрывать на стол, но руки у нее дрожали.

— Не выводи меня из терпения! Заболей ты, Стрикленд бы пальцем не пошевельнул для тебя.

— Ну и что с того? За мной ходила бы ты. Его помощь мне бы не понадобилась. А кроме того, я — дело другое, много ли я значу?

— Ты как неразумный щенок. Валяешься на земле и позволяешь людям топтать себя.

Струве хихикнул. Ему показалось, что он понял причину ее гнева.

— Деточка моя, ты все вспоминаешь, как он пришел сюда смотреть мои картины. Что за беда, если ему они показались скверными? С моей стороны было глупо показывать их. А кроме того, они ведь и вправду не очень-то хороши.

Он унылым взором окинул мастерскую. Незаконченная картина на мольберте изображала улыбающегося итальянского крестьянина; он держал гроздь винограда над головой темноглазой девушки.

— Даже если они ему не понравились, он обязан

был соблюсти вежливость. Зачем он оскорбил тебя? Чтобы показать, что он тебя презирает? А ты готов ему руки лизать. О, я ненавижу его!

— Деточка моя, ведь он гений. Не думаешь же ты, что я себя считаю гениальным художником. Конечно, я бы хотел им быть. Но гения я вижу сразу и всем своим существом преклоняюсь перед ним. Удивительнее ничего нет на свете… Но это тяжкое бремя для того, кто им осенен. К гениальному человеку надо относиться терпимо и бережно.

Я стоял в сторонке, несколько смущенный этой семейной сценой, и удивлялся, почему Струве так настаивал на моем приходе. У его жены глаза уже были полны слез.

— Пойми, я умоляю тебя принять его не только потому, что он гений, но еще и потому, что он человек, больной и бедный человек!

— Я никогда не впущу его в свой дом! Никогда!

Струве обернулся ко мне.

— Объясни хоть ты ей, что речь идет о жизни и смерти. Нельзя же оставить его в этой проклятой дыре.

— Конечно, ухаживать за больным было бы проще здесь, — сказал я, — но, с другой стороны, это очень стеснит вас. Его ведь нельзя будет оста-

вить одного ни днем, ни ночью.

— Любовь моя, не может быть, чтобы ты страшилась заботы и отказала в помощи больному человеку.

— Если он будет здесь, то уйду я! — вне себя воскликнула миссис Струве.

— Я тебя не узнаю. Ты всегда добра и великодушна.

— Ради Бога, оставь меня в покое. Ты меня с ума сведешь!

Слезы наконец хлынули из ее глаз. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Плечи ее судорожно вздрагивали. Дирк в мгновение ока очутился у ее ног. Он обнимал ее, целовал ей руки, называл нежными именами, и слезы умиления катились по его щекам. Она высвободилась из его объятий и вытерла глаза.

— Пусти меня, — сказала миссис Струве уже мягче и, силясь улыбнуться, обратилась ко мне: — Что вы теперь обо мне думаете?

Струве хотел что-то сказать, но не решался и смотрел на нее отчаянным взглядом. Лоб его сморщился, красные губы оттопырились. Он почему-то напомнил мне испуганную морскую свинку.

— Значит, все-таки «нет», родная?

Она уже изнемогла и лишь устало махнула рукой.

— Мастерская твоя. Все здесь твое. Если ты хочешь привезти его сюда, как я могу этому препятствовать?

Улыбка внезапно озарила его круглое лицо.

— Ты согласна? Я так и знал! Родная моя!

Она вдруг овладела собой и бросила на него взгляд, полный муки. Потом прижала обе руки к сердцу, словно стараясь утишить его биение.

— О Дирк, за всю мою жизнь я никогда ни о чем не просила тебя.

— Ты же знаешь, нет ничего на свете, чего бы я для тебя не сделал.

— Умоляю тебя, не приводи сюда Стрикленда. Кого хочешь, только не его. Приведи вора, пропойцу, первого попавшегося бродягу с улицы, и я обещаю тебе с радостью ходить за ним. Только не Стрикленда, заклинаю тебя, Дирк.

— Но почему?

— Я боюсь его. Он приводит меня в ужас. Он причинит нам страшное зло. Я это знаю. Чувствую. Если ты приведешь его, это добром не кончится.

— Что за безумие!

— Нет-нет! Я знаю, что говорю. Что-то ужасное

случится с нами.

— Из-за того, что мы сделаем доброе дело?

Она прерывисто дышала, ужас исказил ее лицо. Я не знал, какие мысли проносились у нее в голове, но чувствовал, что какой-то безликий страх заставил ее потерять самообладание. И ведь обычно она была так спокойна и сдержанна; ее смятение было непостижимо. Струве некоторое время смотрел на нее, оцепенев от изумления.

— Ты моя жена, и ты мне дороже всех на свете. Ни один человек не переступит этого порога без твоего согласия.

Миссис Струве на минуту закрыла глаза. Мне показалось, что она теряет сознание. Я не знал, что она такая невропатка, и чувствовал глухое раздражение. Затем опять послышался голос Струве, как-то странно прорезавший тишину:

— Разве ты не была в великой беде, когда тебе протянули руку помощи? И ты еще помнишь, как много это значит. Неужели ты не хотела бы, если тебе представляется случай, вызволить из беды другого человека?

Это были самые обыкновенные слова, правда, на мой слух они звучали несколько назидательно, так что я едва сдержал улыбку. Действие их поразило меня. Бланш Струве вздрогнула и

долгим взглядом в упор посмотрела на мужа. Он уставился в пол и, как мне показалось, смешался. Щеки ее слегка заалели, но тут же страшная мертвенная бледность проступила на лице; казалось, вся кровь застыла в ее жилах, даже руки у нее побледнели. Она задрожала. Тишина в мастерской стала плотной, почти осязаемой. Я был окончательно сбит с толку.

— Привези Стрикленда, Дирк. Я сделаю для него все, что в моих силах.

— Родная моя, — улыбнулся он и протянул к ней руки, но она отстранилась.

— Я не люблю нежностей на людях, Дирк. Это глупо.

Она опять была прежней Бланш, и никто не сказал бы, что минуту назад ее потрясало такое страшное волнение.

Глава двадцать шестая

На следующий день мы перевезли Стрикленда. Понадобилось немало настойчивости и еще больше терпения, чтобы побудить его к этому, но он действительно был очень болен и не имел сил сопротивляться мольбам Струве и моей решительности. Мы одели его, причем он все время слабым голосом чертыхался, свели с лестницы, усадили в фиакр и доставили в мастерскую Струве. Стрикленд так изнемог от всех этих перипетий, что без возражений позволил уложить себя в постель. Он прохворал месяца полтора. Бывали дни, когда нам казалось, что он не проживет и нескольких часов, и я убежден, что выкарабкался он только благодаря необычному упорству Струве.

Я в жизни не видывал более трудного пациента. Он не был ни требователен, ни капризен, напротив — никогда не жаловался, ничего не спрашивал и почти все время молчал; но его как будто злили наши заботливые попечения. На вопрос, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь, он отвечал насмешками или бранью. Я его просто возненавидел и, как только

он оказался вне опасности, напрямик ему об этом заявил.

— Убирайтесь к черту, — был его ответ. Вот и все.

Дирк Струве окончательно забросил работу и ходил за Стриклендом, как преданная нянька. Он удивительно ловко оправлял ему постель и с хитростью, какой я никогда бы не заподозрил в нем, заставлял принимать лекарства. Никакие труды и хлопоты его не останавливали. Хотя средств у него хватало на безбедную жизнь вдвоем с женой, но никаких излишеств он себе, конечно, позволить не мог; теперь же он сумасбродно расточал деньги на всевозможные деликатесы, которые могли бы возбудить капризный аппетит Стрикленда. Никогда я не забуду, с какой терпеливой деликатностью уговаривал он его побольше есть. Грубости, которые тот говорил ему в ответ, никогда не выводили Дирка из себя; угрюмой злобы он старался не замечать; если его задирали, только посмеивался. Когда Стрикленд начал поправляться, его хорошее настроение выражалось в насмешках над Струве, и тот нарочно дурачился, чтобы повеселить его, украдкой бросая на меня радостные взгляды: вот, мол, дело пошло на поправку! Струве был великолепен.

Но еще больше меня удивляла Бланш. Она себя зарекомендовала не только способной, но и преданной сиделкой. Трудно было поверить, что она так яростно противилась желанию мужа водворить больного Стрикленда в их мастерскую. Она пожелала ухаживать за больным наравне с Дирком. Устроила постель так, чтобы менять простыни, не тревожа Стрикленда. Умывала его. Когда я подивился ее сноровке, она улыбнулась своей милой, тихой улыбкой и сказала, что ей пришлось одно время работать в больнице. Ни словом, ни жестом не выказала она своей отчаянной ненависти к Стрикленду. Она мало говорила с ним, но угадывала все его желания. В течение двух недель его даже ночью нельзя было оставлять одного, и она дежурила возле его постели по очереди с мужем. О чем она думала, часами сидя около него в темноте? На Стрикленда было страшно смотреть: он лежал, уставившись воспаленными глазами в пустоту, еще более худой, чем обычно, с всклокоченной рыжей бородой; от болезни его неестественно блестевшие глаза казались еще огромнее.

— Говорит он когда-нибудь с вами по ночам? — спросил я однажды.

— Никогда.

— Вы по-прежнему его не терпите?

— Больше, чем когда-либо.

Она взглянула на меня своими ясными глазами. Лицо ее было безмятежно, и как-то не верилось, что эта женщина способна на бурный взрыв ненависти, свидетелем которого я был.

— А поблагодарил он вас хоть однажды за все, что вы для него сделали?

— Нет, — улыбнулась она.

— Страшный человек!

— И отвратительный.

Струве, конечно, был в восторге и не знал, как благодарить жену за ту чистосердечную готовность, с которой она приняла на свои плечи это бремя. Его смущало лишь то, как относились друг к другу Стрикленд и Бланш.

— Ты понимаешь, они часами не обмениваются ни единым словом.

Как-то раз — Стрикленду было уже настолько лучше, что через денек-другой он собирался встать с постели, — мы все сидели в мастерской. Дирк что-то рассказывал мне, миссис Струве шила; мне показалось, что она чинит рубашку Стрикленда. Стрикленд лежал на спине и ни слова не говорил. Случайно я подметил, что его глаза с насмешкой и любопытством устремлены

на Бланш Струве. Почувствовав его взгляд, она, в свою очередь, подняла на него глаза, и несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Мне было не совсем ясно, что выражал ее взор. В нем была странная растерянность и, бог весть почему, смятение. Но тут Стрикленд отвел глаза и снова праздно уставился в потолок, она же все продолжала смотреть на него с непонятным и загадочным выражением.

Через несколько дней Стрикленд начал ходить по комнате. От него остались только кожа да кости, одежда болталась на нем как на вешалке. Взлохмаченная рыжая борода, отросшие волосы, необычно крупные черты лица, заострившиеся от болезни, придавали ему странный вид — странный настолько, что он уже не был отталкивающим. В самой несуразности этого человека проглядывало какое-то монументальное величие. Я не знаю, как точно передать впечатление, которое он на меня производил. Не то чтоб его насквозь проникала духовность, хотя телесная оболочка и казалась прозрачной, — слишком уж била в глаза чувственность, написанная на его лице; быть может, то, что я сейчас скажу, смешно, но это была одухотворенная чувственность. От Стрикленда веяло первобытностью, точно и

в нем была заложена частица тех темных сил, которые греки воплощали в образах получеловека-полуживотного — сатира, фавна. Мне пришел на ум Марсий, поплатившийся своей кожей за дерзостную попытку состязаться в пении с Аполлоном. Стрикленд вынашивал в своем сердце причудливые гармонии, невиданные образы, и я предвидел, что его ждет конец в муках и отчаянии. «Он одержим дьяволом, — снова думал я, — но этот дьявол не дух зла, ибо он — первобытная сила, существовавшая прежде добра и зла».

Стрикленд был еще слишком слаб, чтобы писать, и молча сидел в мастерской, предаваясь бог весть каким грезам, или читал. Я видел у него книги самые неожиданные, стихи Малларме — он читал их, как читают дети, беззвучно шевеля губами, и я недоумевал, какие чувства порождают в нем эти изысканные каденции и темные строки; в другой раз я застал его углубившимся в детективный роман Габорио. Меня забавляла мысль, что в выборе книг сказываются противоречивые свойства его необыкновенной натуры. Интересно было и то, что, даже ослабев телом, он ни в чем себе не потакал. Струве любил комфорт, и в мастерской стояли два мягких глубоких кресла и большой диван. Стрикленд к ним даже не

подходил, и не из показного стоицизма — как-то раз я застал его там совсем одного сидящим на трехногом стуле, — а просто потому, что он не нуждался в удобстве и любому креслу предпочитал кухонный табурет. Меня это раздражало, я никогда не видел человека более равнодушного к окружающей обстановке.

Глава двадцать седьмая

Прошло две или три недели. Однажды утром, когда моя работа вдруг застопорилась, я решил дать себе отдых и отправился в Лувр. Бродя по залам, я разглядывал хорошо знакомые картины и тешил свою фантазию чувствами, которые они во мне пробуждали. В одном из переходов я вдруг увидел Струве. Я улыбнулся, ибо его кругленькая особа неизменно вызывала улыбку, но, подойдя ближе, заметил, что вид у него против обыкновения понурый. Чем-то очень удрученный, Струве тем не менее был смешон, как человек, неожиданно упавший в воду: только что спасенный от смерти, он насквозь промок, еще не оправился от испуга, но понимает свое дурацкое положение. Его круглые голубые глаза тревожно блестели за очками.

— Струве, — окликнул я его.

Он вздрогнул, затем улыбнулся, но какой-то горестной улыбкой.

— Что это вы, сэр, вдруг вздумали бездельничать? — весело осведомился я.

— Я давно не был в Лувре. И вот решил посмотреть, нет ли чего-нибудь нового.

— Но ведь ты говорил, что должен на этой неделе закончить картину?

— Стрикленд работает в моей мастерской.

— Ну и что с того?

— Я сам ему предложил. Он еще слишком слаб, чтобы вернуться домой. Я думал, мы будем работать вдвоем. В Латинском квартале многие так работают. Мне казалось, что это очень славно получится. Я всегда думал: как хорошо перемолвиться словом с товарищем, когда устанешь от работы.

Он говорил медленно, с запинками, глядя на меня своими добрыми, глуповатыми глазами. Они были полны слез.

— Я тебя что-то не понимаю.

— Стрикленд не может работать, когда в мастерской еще кто-то есть.

— А тебе какое дело, черт возьми! Ведь это же твоя мастерская!

Струве бросил на меня жалобный взгляд. Губы его дрожали.

— В чем дело, объясни, — потребовал я.

Он молчал, весь красный. Потом с несчастным видом уставился на какую-то картину.

— Он не позволил мне писать. Сказал, чтобы я убирался.

— Да почему ты-то не сказал ему, чтобы он убирался ко всем чертям?

— Он меня выгнал. Не драться же мне с ним. Швырнул мне вслед мою шляпу и заперся.

Я готов был убить Стрикленда, но злился и на себя, так как, глядя на беднягу Струве, едва удерживался от смеха.

— А что на это сказала твоя жена?

— Она ушла за покупками.

— А ее-то он впустит?

— Не знаю.

Я оторопело уставился на Дирка. Он стоял, точно провинившийся школьник перед учителем.

— Хочешь, я сейчас пойду и выгоню Стрикленда?

Он слегка вздрогнул, и его лоснящееся красное лицо стало еще краснее.

— Нет. Ты лучше не вмешивайся.

Он кивнул мне и ушел. Я понял, что почему-то он не хочет обсуждать эту историю, но почему — мне было не ясно.

Глава двадцать восьмая

Неделю спустя все выяснилось. На скорую руку пообедав в ресторане, я вернулся домой и сел читать в своей маленькой гостиной. Часов около десяти вечера в передней раздался надтреснутый звон колокольчика. Я открыл дверь. Передо мной стоял Струве.

— Можно к тебе?

На полутемной лестнице я толком не разглядел его, но в голосе его было что-то странное. Не знай я, что он трезвенник, я бы подумал, что он пьян. Я провел его в гостиную и усадил в кресло.

— Слава Богу, наконец-то я тебя застал! — воскликнул он.

— А в чем дело? — спросил я, удивленный такой горячностью.

Только сейчас я его разглядел. Всегда очень тщательно одетый, Дирк выглядел растерзанным и даже неопрятным. Я улыбнулся, решив, что он выпил лишнего, и уже хотел над ним подшутить.

— Я не знал, куда деваться, — выпалил он. — Я уже приходил сюда, но тебя не было дома.

— Я сегодня поздно обедал.

Теперь я понял, что не хмель привел Дирка в такое состояние. Лицо его, обычно такое розовое, пошло багровыми пятнами. Руки тряслись.

— Что с тобой? — спросил я.

— От меня ушла жена.

Он с трудом выговорил эти слова, задохнулся, и слезы потекли по его круглым щекам. Я не знал, что сказать. Первая моя мысль была, что ее терпение лопнуло и, возмущенная циническим поведением Стрикленда, она потребовала, чтобы Дирк выгнал его. Я знал, на какие вспышки она способна, несмотря на свое внешнее спокойствие. И если Струве не согласился на ее требование, она могла выбежать из мастерской, клянясь никогда больше не возвращаться. Впрочем, бедняга был в таком отчаянии, что я даже не улыбнулся.

— Да не убивайся ты так, дружище. Она вернется. Нельзя же всерьез принимать слова, которые женщина говорит в запальчивости.

— Ты не понимаешь… Она влюбилась в Стрикленда.

— Что-о?! — Я был ошеломлен, но едва смысл его слов дошел до меня, как я понял, что это вздор. — Какую чепуху ты несешь. Уж не приревновал ли ты ее к Стрикленду? — Я готов был рассмеяться. — Ты знаешь не хуже меня, что она

его не выносит.

— Ничего ты не понимаешь, — простонал он.

— Ты истеричный осел, — нетерпеливо крикнул я. — Пойдем-ка, я напою тебя виски с содовой, и у тебя легче станет на душе.

Мне подумалось, что по той или иной причине — а ведь один Бог знает, как изобретателен человек по части самоистязания, — Дирк забрал себе в голову, что его жене нравится Стрикленд, и, со своей удивительной способностью высказываться не к месту, он оскорбил ее, а она, чтобы ему отплатить, притворилась, будто его подозрения основательны.

— Вот что, — сказал я, — пойдем сейчас к тебе. Раз уж ты заварил кашу, так ты ее и расхлебывай. Твоя жена, по-моему, женщина незлопамятная.

— Но как же я туда пойду? — устало отозвался Дирк. — Ведь они там. Я им оставил мастерскую.

— Значит, не жена ушла от тебя, а ты ушел от жены?

— Ради Бога, не говори так!

Я все еще не принимал его слова всерьез, ни на минуту не веря тому, что он сказал. Однако Дирк был вне себя от горя.

— Ты ведь пришел поделиться со мной, так расскажи все по порядку.

— Сегодня я почувствовал, что больше не выдержу. Я сказал Стрикленду, что, по-моему, он уже вполне здоров и может возвратиться домой. Мастерская нужна мне самому.

— Кроме Стрикленда, на свете, верно, нет человека, которому нужно было бы это говорить, — заметил я. — Ну и что же он?

— Он усмехнулся. Ты же знаешь его манеру усмехаться так, что другой чувствует себя набитым дураком. И сказал, что уйдет немедленно. Он начал собирать свои вещи — помнишь, я взял из его комнаты все, что могло ему понадобиться. Потом спросил у Бланш бумагу и веревку.

Струве запнулся, он прерывисто дышал и, казалось, был близок к обмороку. Признаться, я не это ожидал от него услышать.

— Бланш, очень бледная, все ему принесла. Он не сказал ни слова. Стал что-то насвистывать и увязал вещи. На нас не обращал никакого внимания. А глаза — насмешливые. Ты не можешь себе представить, как у меня было тяжело на сердце. Мне казалось, сейчас случится что-то страшное, и я жалел, что заговорил с ним. Он оглянулся, стал искать шляпу. Тут она сказала: «Дирк, я ухожу со Стриклендом. Я не могу больше жить с тобой». Я хотел заговорить, но слова не шли у меня с языка.

Стрикленд молчал. Только насвистывал, словно все это его не касалось.

Струве опять запнулся и вытер пот с лица. Я молчал. Теперь я уже верил ему и был потрясен, но все равно ничего не понимал.

Затем он рассказал мне — голос у него при этом срывался и по щекам текли слезы, — как он бросился к жене, хотел обнять ее, но она отшатнулась, умоляя не прикасаться к ней. Он заклинал ее не уходить. Говорил, как страстно ее любит, старался воскресить в ее памяти счастливые дни и то обожание, которым он окружал ее, твердил, что не сердится на нее и ни в чем ее не упрекает.

— Пожалуйста, Дирк, дай мне спокойно уйти, — сказала она наконец. — Разве ты не понимаешь, что я люблю Стрикленда? Я пойду за ним куда угодно.

— Но ведь ты никогда не будешь счастлива с ним. Останься ради своего же блага. Ты не знаешь, что тебя ждет.

— Это твоя вина. Ты настоял на том, чтобы привести его сюда.

Тогда он бросился к Стрикленду.

— Сжальтесь над ней, — умолял он. — Не допускайте ее до этого безумия.

— Она вольна поступать, как ей заблагорассу-

дится, — отвечал Стрикленд. — Я не принуждаю ее идти со мной.

— Мой выбор сделан, — глухим голосом сказала Бланш.

Оскорбительное спокойствие Стрикленда отняло у Дирка последнее самообладание. В слепой ярости, уже не понимая, что делает, он бросился на Стрикленда. Стрикленд, захваченный врасплох, покачнулся, но он был очень силен, даже после болезни, и Дирк в мгновение ока — как это случилось, он не понял, — очутился на полу.

— Смешной вы человечишка, — сказал Стрикленд.

Струве поднялся. Жена его все это время оставалась спокойной, и его унижение стало еще нестерпимее оттого, что он оказался смешным в ее глазах. Очки соскочили у него во время борьбы, и он беспомощно озирался вокруг. Она подняла их и молча подала ему. Внезапно он почувствовал всю глубину своего несчастья и, сознавая, как он смешон и жалок, все же заплакал в голос. Он закрыл лицо руками. Те двое молча смотрели на него и не двигались с места.

— Любимая моя, — простонал он наконец, — как ты можешь быть такой жестокой?

— Я ничего не могу с собой поделать, Дирк, —

отвечала она.

— Я боготворил тебя, как никто не боготворил женщину. Если я в чем-нибудь провинился перед тобой, почему ты не сказала, я бы загладил свою вину. Я делал для тебя все, что мог.

Она не отвечала, лицо у нее стало каменное, он видел, что только докучает ей. Она надела пальто, шляпу и двинулась к двери. Дирк понял: еще мгновение — и она уйдет. Он ринулся к ней, схватил ее руки, упал перед нею на колени; чувство собственного достоинства окончательно его оставило.

— Не уходи, моя родная! Я не могу жить без тебя! Я покончу с собой! Если я чем-нибудь тебя обидел, умоляю тебя, прости! Дай мне возможность заслужить прощение. Я сделаю все, все, чтобы ты была счастлива!

— Встань, Дирк! Не строй из себя шута.

Шатаясь, он поднялся, но все не имел сил отпустить ее.

— Куда ты пойдешь? — торопливо заговорил он. — Ты не представляешь себе, как живет Стрикленд. Ты не можешь там жить. Это было бы ужасно.

— Если мне это все равно, то чего же тебе волноваться?

— Подожди минуту. Я должен сказать… Ты не можешь мне запретить…

— Зачем? Я решилась. Что бы ты ни сказал, я не переменю своего решения.

Он всхлипнул и, словно унимая боль, схватился руками за сердце.

— Я не прошу тебя перерешать, но только выслушай меня. Это моя последняя просьба. Не отказывай мне.

Она остановилась и посмотрела на него своим задумчивым взглядом, теперь таким отчужденным и холодным, отошла от двери и встала у шкафа.

— Я тебя слушаю.

Струве сделал неимоверное усилие, чтобы взять себя в руки.

— Будь же хоть немного благоразумной. Ты не можешь жить воздухом. У Стрикленда гроша нет за душой.

— Я знаю.

— Ты будешь терпеть страшные лишения. Знаешь, почему он так долго не поправлялся? Он ведь голодал невесть сколько времени.

— Я буду зарабатывать для него.

— Чем?

— Не знаю. Что-нибудь придумаю.

Страшная мысль промелькнула в голове у бедняги, он вздрогнул.

— Ты, наверно, с ума сошла. Что с тобою делается?

Она пожала плечами.

— Мне можно теперь идти?

— Погоди еще секунду.

Он обвел взглядом мастерскую. Он любил ее, потому что присутствие Бланш делало все вокруг приветливым и уютным; на мгновение закрыл глаза, снова открыл их и посмотрел на жену так, словно хотел навеки запечатлеть в душе ее облик. Потом взялся за шляпу.

— Оставайся. Уйду я.

— Ты?

Она опешила и ничего не понимала.

— Я не могу допустить, чтобы ты жила на этом грязном чердаке. В конце концов, этот дом такой же твой, как и мой. Тебе здесь будет лучше. Хоть от самых страшных лишений ты будешь избавлена.

Он открыл шкаф и достал небольшую пачку денег.

— Я дам тебе половину того, что у меня есть.

Он положил деньги на стол. Стрикленд и Бланш молчали.

— Я попрошу тебя уложить мои вещи и передать их консьержке. Завтра я приду за ними. — Он сделал попытку улыбнуться. — Прощай, моя дорогая. Спасибо тебе за все счастье, которое ты дала мне.

Он вышел и прикрыл за собою дверь. Мне вдруг ясно представилось, как после его ухода Стрикленд бросил на стол свою шляпу, сел и закурил папиросу.

Глава двадцать девятая

Я довольно долго молчал, размышляя о том, что рассказал мне Струве. Нелегко мне было снести такое малодушие, и он это заметил.

— Ты не хуже меня знаешь, как живет Стрикленд, — сказал он дрожащим голосом. — Я не мог допустить, чтобы и она жила в таких условиях… просто не мог.

— Это твое дело, — отвечал я.

— Как бы ты поступил на моем месте?

— Она знала, на что идет. Если бы ей пришлось страдать от известных неудобств, ее воля.

— Да, но ты не любишь ее.

— А ты все еще ее любишь?

— О, больше прежнего! Стрикленд не из тех людей, что могут сделать женщину счастливой. Долго это не продлится. Пусть она знает, что я никогда не покину ее.

— Как понимать твои слова? Ты готов взять ее обратно?

— Я бы ни на секунду не задумался. Даня буду ей тогда всего нужнее. Страшно подумать — она останется одна, униженная, сломленная, и вдруг ей некуда будет деваться!

Он даже не чувствовал себя оскорбленным. А я, естественно, возмущался его малодушием. Вероятно, он догадался, о чем я думаю, так как сказал:

— Я и не мог надеяться, что она будет любить меня так же, как я ее. Я шут. Женщины таких не любят. Я всегда это знал. Не вправе я обвинять ее за то, что она полюбила Стрикленда.

— Ты начисто лишен самолюбия, это редчайшее свойство.

— Я люблю ее куда больше, чем самого себя. Мне кажется, самолюбие примешивается к любви, только когда ты больше любишь самого себя. Ведь женатые мужчины сплошь и рядом увлекаются другими женщинами; а потом все проходит, они возвращаются в семью, и люди считают это вполне естественным. Почему с женщинами должно быть по-другому?

— Рассуждение довольно логичное, — рассмеялся я, — но большинство мужчин иначе устроено; они не могут простить, и этим все сказано.

Я говорил и в то же время ломал себе голову над внезапностью случившегося. Неужели Струве ничего не подозревал? Мне вспомнилось странное выражение, однажды промелькнувшее в глазах Бланш Струве, может быть, она уже смутно по-

нимала тогда, что роковое чувство зарождается в ее сердце.

— Ну а до сегодняшнего дня ты не замечал, что между ними что-то есть? — спросил я.

Струве не ответил. Он взял со стола карандаш и машинально рисовал на промокательной бумаге какую-то женскую головку.

— Скажи прямо, если тебе неприятны мои вопросы.

— Нет, мне легче говорить… Ох, если бы ты знал, какие страшные муки терзали меня. — Он отшвырнул карандаш. — Да, я знал об этом уже две недели. Знал раньше, чем узнала она.

— Почему же, скажи на милость, ты не выставил Стрикленда за дверь?

— Я не верил. Мне это казалось неправдоподобным. Она его терпеть не могла. Более того — невероятным. Я считал, что это просто ревность. Понимаешь ли, я всегда был ревнив, но приучил себя не подавать виду! Я ревновал ее ко всем нашим знакомым мужчинам, ревновал и к тебе. Я знал, что она не любит меня так, как я люблю ее. Иначе и быть не могло. Но она позволяла мне любить себя, и этого мне было довольно для счастья. Я заставлял себя на долгие часы уходить из дому, чтобы оставить их одних; так я себя

наказывал за недостойные подозрения; а когда я возвращался, я видел, что им это неприятно… вернее, ей. Стрикленду было все равно, дома я или нет. Бланш содрогалась, когда я подходил поцеловать ее. Когда я наконец убедился, я не знал, что делать. Устроить сцену? Да они бы только посмеялись надо мной. И вот мне подумалось: может быть, если держать язык за зубами и делать вид, что ничего не замечаешь, то все как-нибудь образуется. А его я решил выжить спокойно, без всяких ссор. Ох, если бы ты знал, как я мучился!

Затем Дирк повторил свой рассказ о том, как он просил Стрикленда уехать. Он выбрал подходящую минуту и постарался высказать эту просьбу как бы между прочим; да только не совладал со своим голосом и сам почувствовал, что в слова, которые должны были звучать легко и дружелюбно, вкралась горечь ревности. Он никак не ожидал, что Стрикленд тотчас же начнет собираться, и, уж конечно, не думал, что Бланш решит уйти вместе с ним. Я видел, как он жалеет теперь, что не сдержался и заговорил со Стриклендом. Мучения ревности он предпочитал мучениям разлуки.

— Я хотел убить его — и только разыграл из себя шута.

Он долго сидел молча, прежде чем произнести то, что я ожидал от него услышать.

— Если бы я не поторопился, может, все и обошлось бы. Нельзя быть таким нетерпеливым. О, бедная моя девочка, до чего я ее довел!

Я только пожал плечами. Бланш Струве была мне не симпатична, но сказать то, что я о ней думаю, значило бы причинить ему новую боль.

Он дошел до той степени возбуждения, когда человек говорит и уже не может остановиться. Без конца возвращался он к пресловутой сцене. То вспоминал что-то, чего еще не успел мне сообщить, то пускался в рассуждения о том, что ему следовало бы ей сказать, и затем опять принимался жаловаться на свою слепоту. Сожалел, что поступил так, а не этак. Между тем давно уже спустилась ночь, и я устал не меньше его самого.

— Что ж ты намерен делать дальше? — спросил я наконец.

— Что делать? Буду дожидаться, покуда она не пришлет за мной.

— Почему тебе не уехать, хотя бы ненадолго?

— Нет-нет, я могу понадобиться ей и должен быть под рукой.

Это был совсем потерянный человек. Он не в силах был собраться с мыслями. Когда я сказал,

что пора ему лечь в постель, он возразил, что все равно не уснет. Он хотел уйти и до рассвета бродить по улицам. Его, безусловно, нельзя было оставлять одного. Наконец мне удалось уговорить его переночевать у меня, и я уложил его в свою кровать. В гостиной у меня стоял диван, на котором я отлично мог выспаться. Дирк был уже вконец измучен и не имел сил мне противиться. Чтобы заставить его забыться хоть на несколько часов, я дал ему изрядную дозу веронала. И лучшей услуги, пожалуй, нельзя было оказать бедняге.

Глава тридцатая

Мой диван оказался не слишком удобным ложем, и я не столько спал, сколько думал о Струве. Поступок Бланш меня не очень-то озадачил: я считал, что это не что иное, как зов плоти. Она, вероятно, никогда по-настоящему не любила Дирка, и то, что я принял за любовь, было лишь чисто женским откликом на заботу и ласку, которые женщины нередко принимают за любовь. Это пассивное чувство, оно способно обратиться на любой объект, как виноградная лоза способна обвить любое дерево. Людская мудрость воздает должное этой способности, ибо как иначе объяснить, что девушку насильно выдают замуж за человека, который захотел ее, считая, что любовь придет сама собой. Такого рода чувство составляется из приятного ощущения благополучия, гордости собственницы, из удовольствия сознавать себя желанной, из радости домоводства. И «духовным» женщины называют его только из тщеславия. Это чувство беззащитно против страсти. Я подозревал, что к неистовой ненависти Бланш Струве к Стрикленду с первых же дней примешивался некий элемент полового

влечения. Но кто я, чтобы тщиться разгадать запутанные тайны пола? Возможно, что страсть Дирка возбуждала ее, не давая удовлетворения, и она возненавидела Стрикленда, почувствовав, что он может дать ей то, чего она алчет. Наверно, она с полной искренностью восставала против желания мужа привезти его к ним; Стрикленд пугал ее, а почему, она и сама не знала, но предчувствовала несчастье. Ее ужас перед Стриклендом, так ее волновавшим, вероятно, был ужасом перед самою собой. Внешность у Стрикленда была странная и грубая, его глаза смотрели равнодушно, а рот свидетельствовал о чувственности. Он был рослым, сильным мужчиной, вероятно, необузданным в страсти, и не исключено, что и она почуяла в нем темную стихию, натолкнувшую меня на мысль о диких доисторических существах, которые хоть и не утратили еще первобытной связи с землей, но уже обладали и собственным разумом. Если он взволновал ее, она неизбежно должна была полюбить его или возненавидеть. Она возненавидела.

Да и ежедневное близкое общение с ним, когда он был болен, тоже, должно быть, странно ее возбуждало. Она кормила его, поддерживая его голову, а потом заботливо вытирала его чув-

ственные губы и огненную бороду. Она мыла его руки, поросшие жесткой щетиной, и, вытирая их, чувствовала, что, несмотря на болезнь, они сильны и мускулисты. У него были длинные пальцы, чуткие, созидающие пальцы художника, и они пробуждали в ее мозгу тревожные мысли. Он спал очень спокойно, не двигаясь, точно мертвый, и был похож на дикого зверя, отдыхающего после долгой охоты, а она сидела подле него, гадая, какие видения посещают его во сне. Может быть, ему снилась нимфа, мчащаяся по лесам Греции, и сатир, неотступно преследующий ее? Она неслась, быстроногая, испуганная, но расстояние между ними все сокращалось, его горячее дыхание уже обжигало ей шею, и все-таки она молча стремилась вперед, и сатир так же молча преследовал ее, а когда он наконец ее настиг, кто знает, в ужасе или в упоении забилось ее сердце.

Жестокий голод снедал Бланш Струве. Может быть, она еще ненавидела Стрикленда, но только он один мог утолить этот голод, и все, что было до этих дней, больше не имело для нее значения. Она уже не была женщиной со сложным характером, доброй и вспыльчивой, деликатной и бездумной. Она была менадой. Она была вся — желание.

Но, может быть, это лишь поэтические домыс-

лы, может быть, ей просто наскучил муж и она сошлась со Стриклендом из бессердечного любопытства? Даже не питая к нему горячей любви, уступила его желанию, потому что была праздной и похотливой, а потом уже запуталась в сетях собственного коварства? Откуда мне знать, какие мысли и чувства таились за холодным взглядом этих серых глаз, под чистым безмятежным лбом?

Человек — существо столь переменчивое, что о нем ничего наверное знать нельзя, и все же поступку Бланш Струве нетрудно было подыскать правдоподобное объяснение. Что же касается Стрикленда, то тут, сколько я ни ломал себе голову, я все равно ничего не понимал. То, что он сделал, прямо противоречило моему представлению о нем. Мне не казалось странным, что он так жестоко обманул доверие друга и, не задумываясь, причинил страшное горе человеку, только бы удовлетворить свою прихоть. Такова была его натура. О благодарности он не имел ни малейшего понятия. Он не знал сострадания. Чувства, обычные для каждого из нас, ему были несвойственны, и винить его за это было так же нелепо, как винить тигра за свирепую жестокость. Но самая прихоть — вот что было непостижимо.

Я не мог поверить, что Стрикленд влюбился

в Бланш Струве. И не верил, что он вообще способен любить. Любовь — это забота и нежность, а Стрикленд не знал нежности ни к себе, ни к другим; в любви есть милосердие, желание защитить любимое существо, стремление сделать добро, обрадовать — если это и не самоотречение, то, во всяком случае, удивительно хорошо замаскированный эгоизм, — но в ней есть и некоторая робость. Нет, в Стрикленде ничего этого не было. Любовь — всепоглощающее чувство. Она отрешает человека от самого себя, и даже завзятый ясновидец хоть и знает, что так оно будет, но реально не в состоянии себе представить, что его любовь пройдет. Любовь облекает в плоть и кровь иллюзию, и человек, отдавая себе отчет в том, что это иллюзия, все же любит ее больше действительности. Она делает его больше, чем он есть, и в то же время меньше. Он перестает быть самим собой. Он уже не личность, а предмет, орудие для достижения цели, чуждой его «я». Любви всегда присуща доля сентиментальности, но Стрикленд меньше, чем кто-либо, был подвержен этому недугу. Я не верил, что Стрикленд может подчиниться чьей-то воле, никакого ига он бы не потерпел. Я знал, что он вырвет из сердца, может быть со страшной мукой, которая обессилит и

обескровит его, все, что станет между ним и тем непонятным влечением, которое не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Если мне удалось воссоздать образ Стрикленда во всей его сложности, то я возьму на себя смелость сказать еще и это: Стрикленд, казалось мне, слишком велик для любви и в то же время ее не стоит.

Впрочем, представление о страсти у каждого складывается на основе его собственных симпатий и антипатий и, следовательно, у всех разное. Такой человек, как Стрикленд, должен был любить на свой лад. И потому копаться в его чувствах бессмысленно.

Глава тридцать первая

На следующий день, несмотря на все мои уговоры, Струве ушел от меня. Я предложил сходить за его чемоданом в мастерскую, но он хотел во что бы то ни стало идти сам. По-моему, он надеялся, что они позабыли собрать его вещи и ему представится случай еще раз повидать жену и, кто знает, может быть, убедить ее к нему вернуться. Но он нашел все свои пожитки внизу, в комнате консьержки, которая сказала ему, что Бланш нет дома. Вероятно, он не устоял перед соблазном поделиться с нею своим горем. Он рассказывал о нем всем встречным и поперечным; он ждал сочувствия, но над ним только подсмеивались.

Дирк вел себя из рук вон глупо. Зная, в какое время его жена ходит за покупками, и не имея сил так долго не видеться с нею, он однажды подстерег ее на улице. Она не хотела говорить с ним, но он настаивал, чтобы она хоть выслушала его. Он бормотал какие-то непонятные извинения за все, чем мог когда-либо огорчить ее, говорил, как преданно ее любит, умолял вернуться к нему. Она не отвечала и шла, не оглядываясь, все быстрей и быстрей. Я словно видел, как он едва

поспевает за ней на своих толстеньких ножках. Задыхаясь от быстрой ходьбы, он говорил о том, как он несчастен, заклинал ее сжалиться над ним, обещал делать все, что она пожелает, лишь бы она его простила. Он умолял ее уехать с ним куда-нибудь далеко, предостерегал, что она скоро наскучит Стрикленду. Когда он рассказал мне об этой безобразной сцене, я вышел из себя. До такой степени утратить рассудок и чувство собственного достоинства! Он сделал решительно все, чтобы добиться презрения жены, ибо нет жестокости более страшной, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит; в ней не остается больше ни доброты, ни терпимости, одно только безумное раздражение. Бланш Струве внезапно остановилась и наотмашь ударила мужа по лицу. Затем, пользуясь его растерянностью, убежала наверх, в мастерскую. И все это молча, без единого слова.

Рассказывая об этом, Струве схватился за щеку, словно еще чувствуя боль от удара; при этом в глазах его стояла душераздирающая тоска и забавное недоумение. Он был похож на побитого школьника, и я, от души жалея его, едва удерживался от смеха.

Затем он стал ежедневно бродить возле лавок,

в которых она делала покупки, и, стоя за углом или на другой стороне улицы, смотрел, как она проходит мимо. Заговаривать с нею он больше не отваживался, но старался вложить во взгляд своих круглых глаз всю мольбу, переполнявшую его сердце. Он, кажется, надеялся, что вид его страданий смягчит ее. Она его попросту не замечала. Даже не потрудилась поискать другую дорогу или изменить время своего хождения по лавкам. В ее равнодушии была немалая доля жестокости; может быть, ей даже нравилось мучить его. Я не понимал, за что она его возненавидела.

Я упрашивал Струве образумиться. Нельзя же быть такой тряпкой!

— Все это тебя до добра не доведет, — говорил я. — Лучше бы ты хорошенько отколотил ее. Тогда бы она перестала презирать тебя.

Я советовал ему уехать на время домой. Он часто рассказывал мне о тихом городке на севере Голландии, где и сейчас жили его родители, люди очень скромные. Отец его был плотник. Их опрятный старый домишко из красного кирпича стоял на берегу заброшенного канала. Улицы там были широкие и безлюдные. Уже двести лет городок умирал, но дома еще сохраняли величавую простоту доброго старого времени. В них неко-

гда жили в покое и довольстве богатые купцы, посылавшие свои товары в далекую Индию, и обветшалые здания, казалось, были еще проникнуты ароматом тех счастливых дней. Берегом канала можно было выйти в зеленеющие поля, где там и сям стояли ветряные мельницы и белые с черным коровы лениво пощипывали траву. Мне казалось, что в этих краях, полных воспоминаний детства, Дирк Струве сумеет позабыть о своем несчастье. Но он не хотел уезжать.

— Я должен быть здесь на случай, если понадоблюсь ей, — твердил он. — Вдруг случится что-нибудь ужасное, а меня здесь не будет.

— А что, по-твоему, должно случиться?

— Не знаю, но мне страшно.

Я пожал плечами.

Несмотря на все свое горе, Дирк Струве оставался комической фигурой. Если бы он хоть немножко похудел и осунулся, он, наверно, возбуждал бы жалость. Но ничего подобного с ним не случилось. Он был по-прежнему кругл, как шар, и его налитые красные щеки блестели, точно спелые яблоки. Своей щеголеватой опрятности Дирк тоже не утратил и ходил, как обычно, в изящном черном костюме и в котелке, который был ему маловат и потому сидел на голове как-то

лихо и весело. Дирк уже успел обзавестись брюшком, которое ничуть не уменьшалось от всех его горестей. Он теперь больше, чем когда-либо, походил на преуспевающего коммивояжера. Очень печально, когда внешность человека находится в таком несоответствии с его душой. В данном случае страсть Ромео пылала в теле сэра Тоби Белча. У Дирка было нежное, великодушное сердце и повадки шута, безошибочное чувство красоты и умение писать только пошлые картинки, удивительная душевная деликатность и вульгарные манеры. Он проявлял немало такта в чужих делах, но в своих собственных отличался удивительной бестактностью. Да, жестокую шутку сыграла старуха природа, когда соединила в одном человеке столь противоречивые качества и столкнула его лицом к лицу с беспощадной и равнодушной вселенной.

Глава тридцать вторая

Я не видел Стрикленда уже больше месяца. Он был мне отвратителен, и при случае я с удовольствием высказал бы ему свое мнение о нем; однако разыскивать его с этой целью мне казалось излишним. Я всегда побаивался выступать в качестве поборника нравственности, ибо в этой роли обязательно становишься самодовольным, а человеку, не лишенному чувства юмора, это не совсем приятно. Если я уж рискую выставить себя в смешном виде, то лишь из-за чего-то очень мне дорогого. А Стрикленду была свойственна язвительная прямота, которая заставляла меня избегать всего хотя бы чуть-чуть похожего на позу.

Но однажды вечером, идя по авеню Клиши мимо излюбленного Стриклендом кафе, куда я теперь не заглядывал, я нос к носу столкнулся с ним. Стрикленд был не один, а с Бланш Струве, и они направлялись к столику в углу, где он обычно сидел.

— Где вы, черт вас возьми, пропадали столько времени? Я уж думал, вы уехали.

Судя по сердечному тону, Стрикленд догады-

вался о моем нежелании с ним разговаривать. Впрочем, с ним особых церемоний разводить не приходилось.

— Нет, — сухо возразил я, — никуда я не уезжал.

— Почему же вы сюда не заглядывали?

— В Париже много кафе, где можно посидеть от скуки часок-другой.

Бланш подала мне руку и пожелала доброго вечера. Я почему-то был убежден, что она очень изменилась; но на ней было то же изящное и скромное серое платье, в котором я привык видеть ее, и лоб у нее был такой же чистый, и глаза такие же безмятежные, как в ту пору, когда она хлопотала по хозяйству в доме Струве.

— Пойдемте сыграем партию в шахматы, — предложил Стрикленд.

Не знаю почему, но я не сумел отказаться и угрюмо пошел за ним к его постоянному столику. Стрикленд велел принести доску и фигуры. Они оба вели себя так, словно ничего не произошло, и я почувствовал, что было бы глупо мне держаться по-другому. Миссис Струве невозмутимо наблюдала за нашей игрой. Она молчала, но она и всегда была молчалива. Я взглянул на ее губы. Может быть, по ним мне удастся прочесть, что

она чувствует? Я следил, не промелькнет ли в ее глазах тень страха или горечи, смотрел на ее лоб: может быть, хоть одна мимолетная черточка будет свидетельствовать о скрытом волнении. Ее лицо было ничего не говорящей маской. Мирно сложенные руки покоились на коленях. Я уже знал, что она женщина больших страстей, а судя по тому страшному удару, который она нанесла Дирку, так беззаветно ей преданному, способна и на стремительный порыв, и на отчаянную жестокость. Она ушла из-под надежного крова от доброго мужа, поставила крест на обеспеченной жизни, всем рискнула для преходящего — этого она не могла не знать — сердечного приключения. Если же вспомнить, что она была рачительной хозяйкой и примерно вела свой дом, тем замечательней покажется ее безрассудство, готовность жить в нужде и лишениях. Видимо, у этой женщины была очень сложная натура, едва ли не трагически противоречившая ее повадкам смиренницы.

Эта встреча взбудоражила меня, и мое воображение лихорадочно работало, покуда я старался сосредоточиться на игре. Я всегда очень старался победить Стрикленда, так как он был из тех игроков, что презирают побежденного противника;

от его нескрываемого торжества поражение становилось еще неприятнее. Но надо отдать ему справедливость — собственный проигрыш он сносил вполне добродушно. Препротивный победитель, он был симпатичным побежденным. Те, кто считает, что характер человека отчетливее проступает в игре, могут сделать отсюда довольно тонкие выводы.

По окончании игры я подозвал официанта, заплатил за выпитое и откланялся. Наша встреча прошла совсем неинтересно. Ни одно слово не дало пищи моей фантазии, и какие бы предположения я ни строил, ничто их не подтверждало. Я терялся в догадках. Как складывается их жизнь? Много бы я дал, чтобы бесплотным духом проникнуть в стены мастерской и послушать, о чем говорят эти двое. Но моему воображению не за что было зацепиться.

Глава тридцать третья

Дня через два ко мне явился Дирк Струве.

— Говорят, ты видел Бланш, — выпалил он.

— С чего ты взял?

— Мне говорил один человек, он видел тебя с ними в кафе. Почему ты мне ничего не сказал?

— Не хотел тебя расстраивать.

— Пустое. Ты же знаешь, я хочу все, все знать о ней, каждую мелочь.

Я приготовился отвечать на его вопросы.

— Как она выглядит?

— Ничуть не изменилась.

— По-твоему, она счастлива?

Я пожал плечами.

— Что я могу тебе сказать? Мы сидели в кафе, играли в шахматы. Я с нею и словом не перемолвился.

— Да разве по лицу не видно?

Я покачал головой. Мне оставалось только повторить, что ни словом, ни жестом она не выдала своих чувств. Ему, Дирку, лучше меня известно ее удивительное самообладание.

Он стиснул руки.

— О-о, я так боюсь! Я уверен, случится что-то

страшное, и я не в силах этому помешать.

— Но что именно? — осведомился я.

— Не знаю, — простонал он, сжимая голову руками. — Я предвижу ужасную катастрофу.

Струве и всегда-то легко приходил в волнение, но сейчас он был положительно вне себя и никаких резонов не слушал. Я думал, что Бланш скоро станет невтерпеж со Стриклендом. Неправду говорят, будто что посеешь, то и пожнешь. Люди часто делают все от них зависящее, чтобы навлечь на себя беду, но потом каким-то образом умудряются избежать последствий своего безумия. Поссорившись со Стриклендом, Бланш, конечно, оставит его и вернется к мужу, который в своем смирении только и ждет возможности все простить и забыть. Признаться, ни симпатии, ни сострадания она мне не внушала.

— Да, но ты не любишь ее, — повторял Струве.

— А почему надо полагать, что она несчастна? Насколько мне известно, эта парочка премило устроилась.

Струве посмотрел на меня скорбными глазами.

— Тебе все это, разумеется, безразлично, а для меня это важно, бесконечно важно.

Мне сделалось совестно за свою легкомысленную резкость.

— Можешь ты исполнить одну мою просьбу? — сказал Дирк.

— Охотно.

— Напиши Бланш от моего имени.

— А почему ты сам не можешь написать?

— Я уже не раз писал ей. Но ответа мне ждать не приходится. Она, видно, даже не читает моих писем.

— Ты забываешь о женском любопытстве. Неужели ты думаешь, она устоит против соблазна?

— Да, поскольку он исходил от меня.

Я взглянул на него. Он опустил глаза. Его ответ показался мне до боли унизительным. Дирк знал, что он настолько ей безразличен, что она даже не вскрывает его писем.

— И ты веришь, что она со временем к тебе вернется? — спросил я.

— Пусть она знает, что, если ей станет уж совсем плохо, она может смело на меня рассчитывать.

Я взял листок бумаги.

— Скажи точнее, что я должен писать?

И я написал:

Дорогая миссис Струве,

Дирк просит меня сказать, что в любое время, когда бы он вам ни понадобился,

он будет счастлив возможностью быть вам полезным. Он не питает к вам недобрых чувств из-за того, что случилось. Его любовь неизменна. Вы всегда застанете его по нижеследующему адресу...

Глава тридцать четвертая

Хотя я не хуже Струве знал, что связь Стрикленда и Бланш добром не кончится, я все же не предвидел столь трагической развязки. Настало лето, душное и знойное, даже ночь не приносила отдыха перенапряженным нервам. Раскаленные солнцем улицы, казалось, отдавали назад весь дневной жар, и пешеходы еле волочили ноги. Я очень давно не видел Стрикленда. Занятый другим, я вовсе перестал о нем думать. Дирк наскучил мне своими тщетными ламентациями, и я избегал его. Нехорошая это была история, и я больше не собирался забивать ею себе голову.

Как-то утром я сидел в пижаме и работал. Мысли мои блуждали далеко, я думал о солнечных заливах Бретани, о свежем морском ветре. На столе возле меня стоял кофейник, в котором консьержка принесла мне традиционное café au lait[19], и остатки недоеденного печенья. Я слышал, как за стеной консьержка спускает воду после моей утренней ванны. Зазвенел звонок. Она открыла дверь, и раздался голос Струве,

---

[19] Примечания: 19
Кофе с молоком (*фр.*).

спрашивающий, дома ли я. Не вставая с места, я крикнул ему: «Входи». Он ворвался в комнату и бросился ко мне.

— Она покончила с собой, — хрипло проговорил он.

— Что ты хочешь сказать? — крикнул я, пораженный.

Струве шевелил губами, но ни один звук больше не слетал с них. Затем он стал что-то лопотать как помешанный. Сердце у меня заколотилось, и, сам не зная почему, я вдруг обозлился.

— Да возьми же себя в руки! Что ты такое несешь?

Он делал отчаянные жесты, но слова у него по-прежнему не выговаривались. Он точно лишился языка. Не знаю, что на меня нашло, но я схватил его за плечи и встряхнул. Вспоминая об этом, я, конечно, досадую на себя, но последние бессонные ночи, видимо, расшатали мои нервы сильнее, чем я думал.

— Дай мне сесть, — задыхаясь, проговорил он наконец.

Я налил стакан «Сен-Гальмье» и хотел подать ему, но мне пришлось поить его, как ребенка, держа стакан у самых его губ. Он с трудом сделал первый глоток, и несколько капель пролилось на

его манишку.

— Кто покончил с собой?

Не знаю, почему я задал этот вопрос, мне ведь и так было понятно, о ком он говорит.

Он сделал усилие, чтобы овладеть собой.

— Вчера вечером они поссорились. Он ушел от нее.

— Она умерла?

— Нет, ее увезли в больницу.

— Так что ж ты мне толкуешь? — крикнул я. — Почему ты говоришь, что она покончила с собой?

— Не сердись на меня… я ничего не могу сказать, когда ты со мною так…

Я крепко сжал руки, силясь сдержать себя, и даже попытался улыбнуться.

— Извини. Я тебя не тороплю. Успокойся и расскажи все по порядку.

Круглые голубые глаза Дирка были полны ужаса, стекла очков делали их взгляд еще страшнее.

— Сегодня утром консьержка поднялась наверх, чтобы передать письмо, ей не открыли на звонок. Изнутри слышались стоны. Дверь оказалась незапертой, и она вошла. Бланш лежала на кровати, а на столе стояла бутылка со щавелевой кислотой.

Струве закрыл лицо руками и, всхлипывая, раскачивался взад и вперед.

— Она была в сознании?

— Да. Ох, если бы ты знал, как она мучилась! Я этого не вынесу! Не вынесу!

Он кричал в голос.

— Черт тебя возьми, тебе и выносить-то нечего. Ей надо вынести.

— Как ты жесток!

— Что же дальше?

— Они послали за доктором и за мной, дали знать в полицию. Я давно уже сунул консьержке двадцать франков и просил послать за мной, если что случится. — Он перевел дыхание, и я понял, как трудно ему продолжать. — Когда я пришел, она не хотела говорить со мной. Велела им меня прогнать. Я клялся, что все простил ей, но она не слушала. Она пыталась биться головой о стену. Доктор сказал, что мне нельзя оставаться с нею. Она все твердила: «Уведите его!» Я вышел из спальни и стал ждать в мастерской. Когда приехала карета и они уложили ее на носилки, мне велели уйти в кухню, чтобы она не знала, что я здесь.

Покуда я одевался — Струве хотел, чтобы я немедля отправился с ним в больницу, — он

говорил, что ему удалось устроить для Бланш отдельную палату и таким образом хотя бы оградить ее от больничной сутолоки. По дороге он объяснил мне, зачем я ему нужен. Если она опять не пожелает впустить его, то, может быть, впустит меня. Он умолял меня снова сказать ей, что он любит ее по-прежнему, не станет ни в чем упрекать ее и хочет только одного — помочь ей. Он ничего не требует и никогда не станет принуждать ее к нему вернуться. Она будет совершенно свободна.

Но когда мы пришли в больницу — это было мрачное, угрюмое здание, от одного вида которого делалось скверно на душе, — и после бесконечных расспросов и хождений по лестницам и коридорам добрались наконец до лечащего врача, он объявил нам, что больная слишком слаба и сегодня никого принимать не может. Для врача, маленького бородатого человечка в белом халате и с грубоватыми манерами, случай Бланш был самым обыкновенным, а взволнованные родственники — докучливыми просителями, с которыми надо обходиться покруче. Да и что тут могло показаться ему из ряда вон выходящим? Истерическая женщина, поссорившись с любовником, приняла яд — это бывает нередко.

Сначала он подумал, что Дирк — виновник несчастья, и был с ним незаслуженно груб. Когда я объяснил, что он муж, готовый все простить, врач посмотрел на него любопытным, испытующим взглядом. Мне показалось, что в этом взгляде промелькнула еще и насмешка. Дирк являл собою классический тип обманутого мужа. Врач слегка пожал плечами.

— В настоящую минуту опасности нет, — ответил он на наши расспросы. — Но мы не знаем, сколько она выпила кислоты. Не исключено, что она отделается испугом. Женщины часто пытаются покончить с собой из-за любви, но обычно так, чтобы в этом не преуспеть. Как правило, это жест, которым они хотят испугать или разжалобить любовника.

В тоне его слышалось нескрываемое презрение. Бланш Струве явно была для него только единицей, которую предстояло внести в число лиц, покушавшихся на самоубийство в текущем году в городе Париже. На долгие разговоры с нами у него не было времени, и он назначил нам час, когда прийти завтра: если больной станет лучше, он разрешит мужу повидать ее.

Глава тридцать пятая

Не знаю, как мы прожили этот день. Струве ни на минуту не мог остаться один, и я из кожи лез, пытаясь развлечь его. Я потащил его в Лувр, и он делал вид, что смотрит картины, но я знал, что мысленно он там, у жены. Я заставлял его есть и после завтрака насильно уложил в постель, но он не мог уснуть. Он охотно согласился пожить несколько дней у меня. Я совал ему книги, но, пробежав глазами страницу-другую, он бессмысленно уставлялся в пространство. Вечером мы сыграли неисчислимое множество партий в пикет, и он, чтобы мои старания не пропали зря, храбро притворялся заинтересованным. Кончилось тем, что я дал ему снотворного, и он впал в тревожное забытье.

На следующий день в больнице к нам вышла сиделка, ухаживавшая за Бланш, и сказала, что больной немного лучше; по нашей просьбе сиделка пошла узнать, не хочет ли она видеть мужа. Мы слышали голоса за дверью. Наконец сиделка вернулась и объявила, что больная отказывается принять кого бы то ни было. Мы сказали, что если она не хочет видеть Дирка, то, может быть,

согласится принять меня, но и на это последовал отказ. Губы Дирка дрожали.

— Я не вправе настаивать, — сказала сиделка. — Больная слишком слаба. Возможно, что через день-два она передумает.

— Может быть, она все-таки хочет кого-нибудь видеть? — тихо, почти шепотом спросил Дирк.

— Она говорит, что у нее только одно желание — пусть ее оставят в покое.

Руки Дирка как-то странно дергались, словно они ничего общего не имели с его телом.

— Пожалуйста, скажите ей, что если она хочет видеть одного человека, то я приведу его. Я хочу только, чтобы она была счастлива.

Сиделка взглянула на него своими спокойными, добрыми глазами, которые видели всю земную боль и горечь, но оставались безмятежными, ибо перед ними стояло видение иного, безгрешного мира.

— Я скажу это ей, когда она немного успокоится.

Дирк, изнемогая от сострадания, умолял ее спросить Бланш сейчас же.

— Может быть, от этого ей станет лучше. Заклинаю вас, спросите ее.

По лицу сиделки пробежала слабая, жалостли-

вая улыбка; она повернулась и пошла к Бланш. Я слышал ее приглушенный голос, и потом другой, незнакомый мне голос ответил:

— Нет. Нет. Нет!

Выйдя к нам, сиделка покачала головой.

— Неужели это она говорила? — спросил я. Я не узнал ее голоса.

— Голосовые связки больной, видимо, сильно обожжены.

Дирк чуть слышно вскрикнул в отчаянии. Я велел ему выйти и подождать меня внизу мне хотелось остаться с глазу на глаз с сиделкой. Он не спросил, зачем мне это нужно, и покорно вышел. Он утратил остатки воли и стал похож на послушного ребенка.

— Объяснила она вам, почему она это сделала? — спросил я.

— Нет. Она не хочет говорить. Она лежит на спине, не шевелясь иногда целыми часами. И плачет. Ее подушка все время мокрая. Она слишком слаба, чтобы пользоваться платком, и слезы льются у нее по щекам.

Меня словно кольнуло в сердце. В ту минуту я готов был убить Стрикленда, и, помнится, голос у меня дрожал, когда я прощался с сиделкой.

Дирк Струве ждал меня на лестнице. Он, ка-

залось, ничего вокруг не видел и не заметил моего приближения, покуда я не тронул его за рукав. По улице мы шли молча. Я старался представить себе, что могло толкнуть бедняжку на этот страшный шаг? Я полагал, что Стрикленду все уже известно. К нему, наверно, приходили из полиции снимать допрос. Где он сейчас? Возможно, вернулся на старый чердак, служивший ему мастерской. Странно, что она не пожелала видеть его. Или она боялась послать за ним, зная, что он откажется прийти? В какую же бездну жестокости заглянула она, если после этого отказывалась жить.

Глава тридцать шестая

Следующая неделя была ужасна. Струве дважды в день ходил в больницу справляться о жене, которая по-прежнему не желала его видеть. Первое время он приходил оттуда довольный и воспрянувший духом, так как дело, видимо, шло на поправку, а затем в отчаянии, так как осложнение, которого врач все время опасался, отняло надежду на благополучный исход. Сиделка сочувствовала его горю, но ей нечего было сказать ему в утешение. Бедная женщина лежала неподвижно и отказывалась говорить; глаза ее, устремленные в одну точку, казалось, уже видели смерть. Теперь это был вопрос двух-трех дней, не более. И когда Струве пришел ко мне поздно вечером, я понял, что она умерла. Он был совершенно обессилен. От его обычной говорливости не осталось и следа. Он молча опустился на диван. Я оставил его в покое, так как знал, что здесь слова утешения бесполезны. Боясь, что он сочтет меня бессердечным, я не решался читать и с трубкой в зубах сидел у окна, покуда он не нашел в себе силы заговорить со мной.

— Ты был так добр ко мне, — сказал он нако-

нец. — Все были так добры…

— Глупости, — отвечал я не без смущения.

— В больнице мне сказали, чтобы я подождал. Дали мне стул, и я сел в коридоре у ее дверей. Когда она была уже без памяти, они меня впустили. У нее рот и подбородок были обожжены. Ужасно, ее прелестный подбородок — весь израненный. Она умерла совсем спокойно, я даже не знал, что она мертва, покуда сиделка не сказала мне.

Он был слишком утомлен, чтобы плакать. В полной прострации он лежал на спине, точно в теле его не осталось уже ни капли сил, и вскоре я заметил, что он уснул. Впервые по-настоящему уснул за целую неделю. Природа, временами столь жестокая, иногда бывает милосердна. Я накрыл его пледом и потушил свет. Утром, когда я проснулся, он все еще спал. Он даже не переменил положения, и очки в золотой оправе по-прежнему сидели у него на носу.

Глава тридцать седьмая

Бланш Струве умерла при таких обстоятельствах, что нам пришлось пройти через множество отвратительных формальностей, прежде чем мы получили разрешение ее похоронить. Дирк и я вдвоем тащились за гробом в карете, но обратно ехали быстрей, так как возница на дрогах, покачивавшийся впереди нас, нахлестывал лошадей, казалось, спеша стряхнуть с себя даже самое воспоминание о покойнице. Страшное и незабываемое зрелище!

Я тоже чувствовал неодолимое желание выбросить из головы всю эту мрачную историю. Меня уже тяготила трагедия, собственно говоря, непосредственно меня не касавшаяся, и, делая вид перед самим собой, что я стараюсь для Дирка, я с облегчением заговорил о другом.

— Не думаешь ли ты на время уехать? — сказал я. — Право же, тебе сейчас лучше побыть вдали от Парижа.

Он не отвечал, но я безжалостно настаивал.

— Есть у тебя какие-нибудь планы на ближайшее будущее?

— Нет.

— Ты должен вернуться к жизни. Почему бы тебе не поехать в Италию и не начать снова работать?

Он опять промолчал, но мне на выручку пришел наш возница. На мгновение придержав лошадей, он перегнулся с козел и что-то сказал — что именно, я не разобрал и высунулся из окошка кареты, чтобы расслышать: он спрашивал, куда нас везти.

— Погодите минутку, — отвечал я. — Я бы хотел, чтобы мы вместе позавтракали, — обратился я к Дирку. — Я велю ему свезти нас на площадь Пигаль.

— Нет, я пойду в мастерскую.

— Хочешь, я пойду с тобой?

— Нет, я лучше пойду один.

— Хорошо.

Я крикнул кучеру адрес, и мы опять продолжали свой путь в молчании. Дирк не был у себя в мастерской с того злосчастного утра, когда Бланш отвезли в больницу. Я был рад, что он хочет остаться один, и, проводив его до дверей, с чувством облегчения с ним распрощался. Я снова наслаждался парижскими улицами и радовался, глядя на снующую взад и вперед толпу. День выдался ясный, солнечный, и радость жизни

бурлила во мне. Я ничего не мог с собой поделать. Струве и его беда вылетели у меня из головы. Я хотел радоваться.

Глава тридцать восьмая

Я не видел его почти целую неделю. Но наконец под вечер, часов около семи, он зашел за мною и потащил меня обедать. Он был в глубоком трауре, котелок его обвивала черная лента, и даже носовой платок был оторочен черной каймой. Глядя на этот скорбный наряд, можно было подумать, что внезапная катастрофа разом унесла всех его родных и даже какого-нибудь двоюродного дядюшки у него не осталось на свете. Его кругленькая фигурка и толстые красные щеки смешно контрастировали с траурной одеждой. Жестокая участь — даже на беспредельное горе Дирка ложился налет шутовства!

Он объявил мне, что решился уехать, только не в Италию, как я советовал, а в Голландию.

— Завтра я уезжаю. Скорей всего, мы никогда больше не увидимся.

Я попытался что-то возразить, но он слабо улыбнулся.

— Я пять лет не был дома. Мне казалось, что все это отошло далеко-далеко. Я так оторвался от родных краев, что меня пугала мысль съездить туда даже на время, а теперь я вижу, что это един-

ственное мое пристанище.

Он был измучен, подавлен и мыслями то и дело возвращался к своей нежной, любящей матери. Годами он терпеливо сносил свою смехотворность, но теперь она, казалось, придавливала его к земле. Последний удар, нанесенный изменой Бланш, отнял у него ту живость нрава, которая ему помогала весело с этим мириться. Больше он уже не мог смеяться заодно с теми, что смеялись над ним. Он стал парией. Он рассказывал мне о своем детстве, о чистеньком кирпичном домике и о страсти матери к опрятности и порядку. Кухня ее была истинным чудом белизны и блеска. Нигде ни пылинки, и все на своем месте. Аккуратность ее переходила в манию. Я как живую видел эту румяную хлопотливую старушку, что всю жизнь с утра и до поздней ночи пеклась о том, чтобы домик ее сиял чистотой и нарядностью. Отец Дирка, рослый, сухощавый старик с руками, заскорузлыми от неустанного труда, скупой на слова, по вечерам читал вслух газеты, а его жена и дочь (теперь она была замужем за капитаном рыболовецкой шхуны), чтобы не терять времени даром, шили. Ничего никогда не случалось в этом городке, отброшенном назад цивилизацией, и год сменялся годом, покуда не приходила смерть,

как друг, несущий отдых тем, что усердно потрудились.

— Мой отец хотел, чтобы я тоже стал плотником. В пяти поколениях переходило у нас это ремесло от отца к сыну. Может быть, в этом мудрость жизни: идти по стопам отца, не оглядываясь ни направо, ни налево. Маленьким мальчиком я говорил, что женюсь на дочке соседа-шорника. У девочки были голубые глаза и косички, белые, как лен. При ней все в моем доме блестело бы, как стеклышко, и наш сын перенял бы мое ремесло.

Струве вздохнул и умолк. Мысли его унеслись к тому, что могло бы быть, и благополучие этой жизни, которым он некогда пренебрег, исполнило тоской его сердце.

— Жизнь груба и жестока. Никто не знает, зачем мы здесь и куда мы уйдем. Смирение подобает нам. Мы должны ценить красоту покоя. Должны идти по жизни смиренно и тихо, чтобы судьба не заметила нас. И любви мы должны искать у простых, немудрящих людей. Их неведение лучше, чем все наше знание. Надо нам жить тихо, довольствоваться скромным своим уголком, быть кроткими и добрыми, как они. Вот и вся мудрость жизни.

Я считал, что это говорит в нем его сломленный

дух, и восстал против такого самоунижения. Но вслух сказал другое:

— А как ты напал на мысль сделаться художником?

Он пожал плечами.

— У меня обнаружились способности к рисованию. В школе я получал награды за этот предмет. Бедная матушка очень гордилась моим талантом и однажды подарила мне ящик с акварельными красками. Она носила мои наброски к пастору, к доктору и судье. Они-то и послали меня в Амстердам экзаменоваться в школу живописи. Я выдержал экзамен. Бедняжка, как она была горда! Сердце у нее разрывалось при мысли о разлуке со мной, но она силилась не показать своего горя. Она так радовалась, что ее сын будет художником. Отец с матерью берегли каждый грош и прикопили довольно денег, чтобы мне прожить в Амстердаме, а когда была выставлена моя первая картина, они все приехали — отец, мать и сестра; мать смотрела на нее и плакала. — Его добрые глаза увлажнились. — И теперь нет такой стены в нашем домишке, на которой не висела бы моя картина в красивой золотой раме.

Лицо Дирка на мгновение засветилось тихой радостью. Я вспомнил его холодные жанровые

сценки — живописных крестьян под кипарисами или оливами. Как странно они должны выглядеть в своих аляповатых рамах на стене крестьянского домика.

— Добрая душа, она думала, что невесть как облагодетельствовала сына, сделав из него художника, но, может, лучше бы я покорился воле отца и был бы теперь просто-напросто честным плотником.

— Ну а сейчас, когда ты знаешь, что дает человеку искусство, ты мог бы пойти по другой дороге? Мог бы отказаться от того упоения, которое испытывал благодаря ему?

— Выше искусства ничего нет на свете, — помолчав, ответил Дирк.

Он долго в задумчивости смотрел на меня, наконец сказал:

— Ты знаешь, я виделся со Стриклендом.

— Ты?

Я был поражен. Мне казалось, что Струве невыносимо будет его видеть. Он слабо улыбнулся:

— Ты же сам говорил, что я лишен чувства гордости.

— Что ты имеешь в виду?

И он рассказал мне удивительную историю.

Глава тридцать девятая

Когда мы расстались после похорон бедной Бланш, Струве с тяжелым сердцем вошел в дом. Смутное стремление к самомучительству гнало его в мастерскую, хотя он и содрогался при мысли о страданиях, которые его ждут. Он едва втащился по лестнице, ноги отказывались ему служить, и, прежде чем войти, долго стоял у дверей, собираясь с силами. Ему было дурно. Он едва не бросился за мною, чтобы умолить меня вернуться: ему все казалось, что в мастерской кто-то есть. Он вспомнил, как часто стоял перед дверью мастерской, чтобы отдышаться после подъема на крутую лестницу, и как от нетерпеливого желания поскорее увидеть Бланш у него снова захватывало дух. Видеть ее — это было счастье, никогда не утихавшее, и, даже выходя из дому на какие-нибудь полчаса, он рвался к встрече так, словно они не виделись целый месяц. Вдруг ему стало казаться, что она не умерла. Все, что случилось, только сон, страшный сон, сейчас он повернет ключ, войдет и увидит ее склоненной над столом в грациозной позе женщины с «Bénédicité» Шардена, представлявшейся ему

образцом прелести. Он быстро вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел.

Мастерская не имела запущенного вида. Аккуратность была одной из тех черт, которые так пленяли его в жене; он с молоком матери впитал любовь к той радости, которую дают чистота и порядок, и когда заметил, что Бланш инстинктивно кладет каждый предмет на отведенное ему место, то теплое и благодарное чувство поднялось в его сердце. В спальне все было так, словно она только что вышла оттуда: на туалетном столике лежали две щетки и между ними изящная гребенка; кто-то застелил постель, на которой Бланш провела свою последнюю ночь дома, и на подушке, в вышитом конверте, лежала ее ночная сорочка. Невозможно было поверить, что она уже никогда не войдет в эту комнату.

У Дирка пересохло в горле, и он пошел в кухню напиться воды. Здесь тоже все было в полном порядке. Над плитой на полке стояли тщательно вымытые тарелки, с которых она и Стрикленд ели в последний вечер перед ссорой. Ножи и вилки были убраны в стол. Под колпаком лежали остатки сыра, в жестяной коробке — горбушка хлеба. Она покупала продукты ежедневно и ровно столько, сколько нужно, так что со дня на

день у нее в хозяйстве ничего не оставалось. Из протокола, составленного полицией, Струве знал, что Стрикленд ушел из дому тотчас после обеда, и дрожь охватила его при мысли, что у Бланш достало силы все вымыть и убрать, как обычно. Эта методичность лишний раз доказывала, как обдуманно она действовала. Ее самообладание было страшно. Острая боль внезапно пронзила его, ноги у него подкосились. Он доплелся до спальни, бросился на постель и стал звать: «Бланш! Бланш!»

Мысль о ее страданиях была ему нестерпима. Он вдруг ясно увидел, как она стоит в кухне — кухня у них была крошечная, — моет тарелки, стаканы, вилки, ложки, до блеска чистит ножи; затем все расставляет по местам, моет раковину, встряхнув полотенце, вешает его сушиться — оно все еще висит здесь, истрепанный серый лоскут, — и оглядывается кругом, все ли в порядке. Он видел, как она спускает засученные рукава, снимает фартук — вот он на гвозде за дверью, — достает пузырек со щавелевой кислотой и идет в спальню.

Не в силах терпеть эту муку, он вскочил с кровати и бросился вон из спальни. Вошел в мастерскую. Там было темно, так как кто-то задернул

занавеси на огромном окне. Струве торопливо раздвинул их, и рыдания сдавили ему горло при первом же взгляде на комнату, в которой он был так счастлив. И здесь тоже все осталось без перемен. Стрикленд был равнодушен к тому, что его окружало, и жил в чужой мастерской, ровно ничего не меняя в ней. Обстановка у Струве была продуманно артистична, в соответствии с его представлением о том, как должен жить художник. На стенах там и сям старинная парча, на рояле — кусок дивного поблекшего шелка. В одном углу копия Венеры Милосской, в другом — Венеры Медицейской. Две итальянские горки с дельфтским фаянсом, несколько барельефов. Была здесь в прекрасной золоченой раме и копия с «Иннокентия X» Веласкеса, сделанная Струве в Риме, и множество его собственных картин, повешенных так, чтобы производить наибольший эффект, тоже в великолепных рамах. Струве всегда очень гордился своим вкусом. Он страстно любил романтическую атмосферу мастерской художника, и хотя сейчас вид всех этих вещей был ему как нож в сердце, он машинально чуть-чуть передвинул столик в стиле Людовика XV, принадлежавший к лучшим его сокровищам. Вдруг он заметил холст, повернутый лицом к стене и по

размерам больший, чем те холсты, которыми он обычно пользовался. Дирк подошел и повернул его. На холсте была изображена нагая женщина. Сердце его учащенно забилось, он мигом понял, что это работа Стрикленда. Он отшвырнул картину — какого черта Стрикленд ее здесь оставил? — но от его резкого движения она упала на пол лицом вниз. Не важно, чья это работа. Дирк все равно не мог оставить ее валяться в пыли и поднял, но тут его одолело любопытство. Чтобы получше рассмотреть картину, он поставил ее на мольберт и отошел на несколько шагов.

У него сперло дыхание. Картина изображала женщину, лежащую на диване; одна рука ее была закинута за голову, другая спокойно лежала вдоль тела; одно колено чуть согнуто, другая нога вытянута. Классическая поза. Все поплыло перед глазами Струве. Это была Бланш. Отчаяние, ревность и ярость душили его, он стал громко кричать что-то нечленораздельное; сжимал кулаки и грозил невидимому врагу. Потом опять кричал не своим голосом. Он был вне себя. Это было уж слишком, этого он снести не мог. Он стал оглядываться по сторонам, ища, чем бы искромсать, изрезать картину, уничтожить ее сию же минуту, но ничего подходящего ему под руку не

попадалось; он рылся в своих инструментах, и тоже тщетно, он сходил с ума. Наконец он нашел то, что искал, большой шпатель, и с ликующим криком схватил его. Размахивая им, словно кинжалом, он ринулся к картине.

Рассказывая, Струве снова пришел в неописуемое волнение и, схватив подвернувшийся под руку столовый нож, взмахнул им. Потом занес руку, как для удара, но тотчас разжал ее, и нож со стуком упал на пол. Струве посмотрел на меня с виноватой улыбкой и замолчал.

— Продолжай, — сказал я.

— Не знаю, что на меня нашло. Я уже совсем собирался продырявить картину, как вдруг я увидел ее.

— Кого ее?

— Картину. Это было подлинное произведение искусства. Я не мог к ней прикоснуться. Я испугался.

Он опять замолчал и смотрел на меня с открытым ртом, его голубые глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

— Это была удивительная, дивная картина. Меня охватил благоговейный трепет. Еще секунда — и я бы совершил ужаснейшее преступление. Я хотел получше разглядеть ее и споткнулся о

шпатель. Ужасно!

В какой-то мере я заразился волнением Струве. Странное действие произвел на меня его рассказ. Мне вдруг почудилось, что я перенесся в мир, где смещены все ценности, и я стоял недоумевая, словно чужеземец в стране, где люди совсем по-иному, совсем непривычно реагируют на самые простые явления. Струве пытался рассказывать мне о картине, но речь его была бессвязна, и мне приходилось догадываться, что он имеет в виду. Стрикленд разорвал путы, связывавшие его. Он нашел не себя, как принято говорить, но свою новую душу, насыщенную силами, о которых никто не подозревал. Это было не только дерзкое упрощение линий, которое так полно и неповторимо выявляло личность художника, не только живопись, хотя тело было написано с такой проникновенной чувственностью, которая уже граничила с чудом; это было не только торжество плоти, хотя вы реально ощущали вес этого распростертого тела; нет, картина Стрикленда была пронизана духовностью, по-новому понятым трагизмом, который вел воображение по неведомым тропам в пустынные просторы, где прорезают мглу только вечные звезды и где душа, сбросив все покровы, трепетно приступает

к разгадкам новых тайн.

Я впал в риторику, потому что и Струве был риторичен. (Кто не знает, что в волнении человек выражается, словно герой романа.) Он пытался выразить чувства, ранее ему незнакомые, не смог втиснуть их в будничные слова и уподобился мистику, который тщится описать несказанное. Одно только стало мне ясно из его речей: люди говорят о красоте беззаботно, они употребляют это слово так небрежно, что оно теряет свою силу и предмет, который оно должно осмыслить, деля свое имя с тысячью пошлых понятий, оказывается лишенным своего величия. Словом «прекрасное» люди обозначают платье, собаку, проповедь, а очутившись лицом к лицу с прекрасным, не умеют его распознать. Они стараются фальшивым пафосом прикрыть свои ничтожные мысли, и это притупляет их восприимчивость. Подобно шарлатану, фальсифицирующему тот подъем духа, который он некогда чувствовал в себе, они злоупотребляют своими душевными силами и утрачивают их. Но Струве, этот вечный шут с искренней и честной душой, также искренне и честно любил и понимал искусство. Для него искусство значило то же, что значит Бог для верующего, и когда он видел его, ему делалось

страшно.

— Что ж ты сказал Стрикленду, когда встретился с ним?

— Предложил ему поехать со мной в Голландию.

Я опешил и с дурацким видом уставился на Струве.

— Мы оба любили Бланш. В доме моей матери для него нашлась бы комнатка. Мне казалось, что соседство простых бедных людей принесет успокоение его душе. И еще я думал, что он научится у них многим полезным вещам.

— Что же он сказал?

— Улыбнулся и, кажется, подумал, что я дурак. А потом заявил, что «ерундить» ему неохота.

Я бы предпочел, чтобы Стрикленд сформулировал свой отказ в других выражениях.

— Он отдал мне портрет Бланш.

Я удивился, зачем Стрикленд это сделал, но не сказал ни слова. Мы оба довольно долго молчали.

— А как ты распорядился своими вещами? — спросил я наконец.

— Позвал еврея-скупщика, и он неплохо заплатил мне на круг. Картины я увезу с собой. Кроме них, у меня сейчас ничего не осталось, разве что

чемодан с одеждой да несколько книг.

— Хорошо, что ты едешь домой.

Я понимал, что единственное спасение для него — порвать с прошлым. Быть может, его горе, сейчас еще нестерпимое, со временем уляжется и благодатное забвение поможет ему сызнова взвалить на себя бремя жизни. Он молод и через несколько лет с грустью, не лишенной известной сладости, будет вспоминать о своем несчастье. Раньше или позже он женится на доброй голландке и будет счастлив. Я улыбнулся при мысли о бесчисленном множестве плохих картин, которые он успеет написать до конца своей жизни.

На следующий день я проводил его в Амстердам.

Глава сороковая

Занятый своими собственными делами, я целый месяц не встречал никого, кто бы мог напомнить мне об этой прискорбной истории, и постепенно она выветрилась у меня из головы. Но в один прекрасный день, когда я спешил куда-то, на улице со мною поравнялся Стрикленд. Вид его напомнил мне об ужасе, который я так охотно забыл, и я внезапно почувствовал отвращение к виновнику всего этого. Кивнув ему — не поклониться было бы ребячеством, — я ускорил шаг, но через минуту почувствовал, что меня трогают за плечо.

— Вы очень торопитесь? — добродушно осведомился Стрикленд.

Характерная его черта: он сердечно обходился с теми, кто не желал с ним встречаться, а мой холодный кивок не оставлял в том ни малейшего сомнения.

— Да, — сухо ответил я.

— Я немного провожу вас, — сказал он.

— Зачем?

— Чтобы насладиться вашим обществом.

Я смолчал, и он тоже молча пошел рядом со

мною. Так мы шли, наверное, с четверть мили. Положение становилось комическим. Но мы как раз оказались возле магазина канцелярских товаров, и я решил: может же мне понадобиться бумага. Это был хороший предлог, чтобы отделаться от него.

— Мне сюда, — сказал я, — всего хорошего.

— Я вас подожду.

Я пожал плечами и вошел в магазин. Но тут же подумал, что французская бумага никуда не годится и что, раз уж моя хитрость не удалась, не стоит покупать ненужные вещи.

Я спросил что-то, чего мне заведомо не могли дать, и вышел на улицу.

— Ну как, купили то, что хотели?

— Нет.

Мы опять молча зашагали вперед и вышли на площадь, в которую вливалось несколько улиц. Я остановился и спросил:

— Вам куда?

— Туда, куда и вам, — улыбнулся он.

— Я иду домой.

— Я зайду к вам выкурить трубку.

— По-моему, вам следовало бы подождать приглашения, — холодно отвечал я.

— Конечно, будь у меня надежда получить его.

— Видите вы вон ту стену? — спросил я.

— Вижу.

— В таком случае, я полагаю, вы должны видеть и то, что я не желаю вашего общества.

— Признаюсь, я уже подозревал это.

Я не выдержал и фыркнул. Беда моя в том, что я не умею ненавидеть людей, которые заставляют меня смеяться. Но я тут же взял себя в руки.

— Вы гнусный тип. Более мерзкой скотины я, по счастью, в жизни еще не встречал. Зачем вам нужен человек, который не терпит и презирает вас?

— А почему вы, голубчик мой, полагаете, что я интересуюсь вашим мнением обо мне?

— Черт возьми, — сказал я злобно, ибо у меня уже мелькнула мысль, что доводы, которые я привел, не делают мне чести, — я просто знать вас не желаю.

— Боитесь, как бы я вас не испортил?

Откровенно говоря, я почувствовал себя смешным. Он искоса смотрел на меня с сардонической улыбкой, и мне под этим взглядом стало не по себе.

— Вам, видно, сейчас туго приходится, — нахально заметил я.

— Я был бы отъявленным болваном, если бы

надеялся взять у вас взаймы.

— Видно, здорово вас скрутило, если уж вы начинаете льстить.

Он осклабился:

— А все равно я вам нравлюсь, потому что нет-нет да и даю вам повод сострить.

Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Он высказал роковую истину. Мне нравятся люди пусть дурные, но которые за словом в карман не лезут. Я уже ясно почувствовал, что только усилием воли могу поддерживать в себе ненависть к Стрикленду. Я сокрушался о своей моральной неустойчивости, но знал, что мое порицание Стрикленда смахивает на позу, и уж если я это знал, то он, со своим безошибочным чутьем, знал и подавно. Конечно, он подсмеивался надо мной. Я не стал возражать ему и попытался спасти свое достоинство гробовым молчанием и пожатием плеч.

Глава сорок первая

Мы подошли к дому, в котором я жил. Я не просил его войти и стал молча подниматься по лестнице. Он шел за мной по пятам. Он был у меня в первый раз, но даже не взглянул на убранство комнаты, хотя я потратил немало труда, чтобы сделать ее приятной для глаза. На столе стояла коробка с табаком, он тотчас же набил свою трубку и сел не в одно из удобных кресел, а на единственный стул, да и то боком.

— Если уж вы решили устраиваться здесь как дома, почему бы вам не сесть в кресло? — раздраженно спросил я.

— А почему вы так заботитесь о моем удобстве?

— Не о вашем, а о своем. Когда кто-нибудь сидит на неудобном стуле, мне самому становится неудобно.

Он фыркнул, но не двинулся с места и молча продолжал курить, не замечая меня и, видимо, погруженный в свои мысли. Я недоумевал, зачем он пришел сюда.

Писатель, покуда долголетняя привычка не притупит его чувствительности, сам робеет пе-

ред инстинктом, внушающим ему столь жгучий интерес к странностям человеческой натуры, что он не в состоянии осудить их и от них отвернуться. То артистическое удовольствие, которое он получает от созерцания зла, его самого немного пугает. Впрочем, честность заставляет его признать, что он не столько осуждает иные недостойные поступки, сколько жаждет доискаться их причин. Подлец, которого писатель создал и наделил логически развитым и завершенным характером, влечет его наперекор требованиям законности и порядка. По-моему, Шекспир придумывал Яго с большим смаком, нежели Дездемону, точно сотканную из лунного света. Возможно, что, создавая образы мошенников и негодяев, писатель стремится удовлетворить инстинкты, заложенные в нем природой, но обычаями и законами цивилизованного мира оттесненные в таинственную область подсознательного. Облекая в плоть и кровь создания своей фантазии, он тем самым как бы дарует отдельную жизнь той части своего «я», которая иначе не может себя выразить. Его радость — это радость освобождения.

Писатель скорее призван знать, чем судить.

Стрикленд внушал мне неподдельный ужас и наряду с этим холодное любопытство. Он меня

озадачивал, и в то же время я жаждал узнать мотивы его поступков, а также отношение к трагедии, которую он навязал людям, приютившим и пригревшим его. И я смело вонзил скальпель.

— Струве сказал мне, что картина, которую вы писали с его жены, — лучшая из всех ваших работ.

Стрикленд вынул трубку изо рта, в глазах его промелькнула улыбка.

— Да, писать ее было забавно.

— Почему вы отдали ему картину?

— Я ее закончил, так на что она мне?

— Вы знаете, что Струве едва ее не загубил?

— Она мне не слишком удалась.

Он помолчал, затем вынул трубку изо рта и усмехнулся:

— А вы знаете, что этот пузан приходил ко мне?

— Неужто вас не тронуло то, что он вам предложил?

— Нет. По-моему, это было глупо и сентиментально.

— Вы, видимо, забыли, что разрушили его жизнь, — сказал я.

Он в задумчивости теребил свою бороду.

— Он очень плохой художник.

— Но очень хороший человек.

— И отличный повар, — насмешливо присовокупил Стрикленд.

В его бездушии было что-то нечеловеческое, и я отнюдь не собирался деликатничать с ним.

— А скажите, я спрашиваю из чистого любопытства, чувствовали вы хоть малейшие угрызения совести после смерти Бланш Струве?

Я внимательно следил за выражением его лица, но оно оставалось бесстрастным.

— Чего мне, собственно, угрызаться?

— Сейчас я приведу вам ряд фактов. Вы умирали, и Дирк Струве перевез вас к себе. Он ходил за вами, как родная мать. Принес вам в жертву свое время, удобства, деньги. Он вырвал вас из когтей смерти.

Стрикленд пожал плечами.

— Бедняга обожает делать что-нибудь для других. В этом его жизнь.

— Предположим, что вы не были обязаны ему благодарностью, но разве вы были обязаны уводить от него жену? До вашего появления они были счастливы. Почему вы не могли оставить их в покое?

— А почему вы думаете, что они были счастливы?

— Это было очевидно.

— До чего же у вас проницательный ум! По-вашему, она была в состоянии простить ему то, что он для нее сделал?

— Что вы хотите сказать?

— Известно вам, как он на ней женился?

Я покачал головой.

— Она была гувернанткой в семье какого-то римского князя, и сын хозяина совратил ее. Она думала, что он на ней женится, а ее выгнали на улицу. Она была беременна и пыталась покончить с собой. Струве ее подобрал и женился на ней.

— Вполне в его духе. Я в жизни не видывал человека с таким мягким сердцем.

Я нередко удивлялся, что могло соединить этих столь несхожих людей, но подобное объяснение мне никогда в голову не приходило. Так вот причина необычной любви Дирка к жене. В его отношении к ней было нечто большее, чем страсть. И помнится, в ее сдержанности мне всегда чудилось что-то такое, чему я и не мог подыскать определения; только сейчас я понял: это было не просто желание скрыть позорную тайну. Ее спокойствие напоминало затишье, воцарившееся на острове, над которым пронесся

ураган. Ее веселость была веселостью отчаяния. Стрикленд вывел меня из задумчивости замечанием, поразительным по своему цинизму:

— Женщина может простить мужчине зло, которое он причинил ей, но жертв, которые он ей принес, она не прощает.

— Уж вам-то не грозит опасность остаться непрощенным.

Чуть заметная улыбка тронула его губы.

— Вы всегда готовы пожертвовать своими принципами ради красного словца, — сказал он.

— Что же сталось с ребенком?

— Ребенок родился мертвым три или четыре месяца спустя после их женитьбы.

Тут я спросил о том, что всегда было для меня самым непонятным:

— А почему, скажите на милость, вы заинтересовались Бланш Струве?

Он не отвечал так долго, что я уже собирался повторить свой вопрос.

— Откуда я знаю? — проговорил он наконец. — Она меня терпеть не могла. Это было забавно.

— Понимаю.

Стрикленд вдруг разозлился.

— Черт подери, я ее хотел.

Но он тут же овладел собой и с улыбкой взгля-

нул на меня.

— Сначала она была в ужасе.

— Вы ей сказали?

— Зачем? Она и так знала. Я ей слова не говорил. Она меня боялась. В конце концов я взял ее.

По тому, как он это сказал, я понял, до чего неистово было его желание. И невольно содрогнулся. Вся жизнь этого человека была беспощадным отрешением от материального, и, видимо, тело временами жестоко мстило духу. И в случае с Бланш сатир возобладал в нем, и, беспомощный в тисках инстинкта, могучего, как первобытные силы природы, он уже не мог противиться своему влечению, ибо в душе его не осталось места ни для благоразумия, ни для благодарности.

— Но зачем вам вздумалось уводить ее от мужа? — поинтересовался я.

— Я этого не хотел, — отвечал он нахмурясь. — Когда она сказала, что уйдет со мной, я удивился не меньше Струве. Я ей сказал, что, когда она мне надоест, ей придется собирать свои манатки, и она ответила, что идет на это. — Он сделал паузу. — У нее было дивное тело, а мне хотелось писать обнаженную натуру. После того как я закончил портрет, она уже меня не интересовала.

— А ведь она всем сердцем любила вас.

Он вскочил и заходил по комнате.

— Я в любви не нуждаюсь. У меня на нее нет времени. Любовь — это слабость. Но я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть свое желание, но я его ненавижу: оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе. Женщины ничего не умеют, только любить, любви они придают бог знает какое значение. Им хочется уверить нас, что любовь — главное в жизни. Но любовь — это малость. Я знаю вожделение. Оно естественно и здорово, а любовь — это болезнь. Женщины существуют для моего удовольствия, но я не терплю их дурацких претензий быть помощниками, друзьями, товарищами.

Я никогда не слышал, чтобы Стрикленд подряд говорил так много и с таким страстным негодованием. Но, впрочем, я сейчас, как и раньше, не пытаюсь воспроизвести точные его слова: лексикон его был беден, дар красноречия у него начисто отсутствовал, так что его мысли приходилось конструировать из междометий, выражения лица, жестов и отрывочных восклицаний.

— Вам бы жить в эпоху, когда женщины были

рабынями, а мужчины рабовладельцами, — сказал я.

— Да, я просто нормальный мужчина.

Невозможно было не рассмеяться этому замечанию, сделанному с полной серьезностью; но он, шагая из угла в угол, точно зверь в клетке, все силился хоть относительно связно выразить то, что было у него на душе.

— Если женщина любит вас, она не угомонится, пока не завладеет вашей душой. Она слаба и потому неистово жаждет полновластия. На меньшее она не согласна. Так как умишко у нее с куриный носок, то абстрактное для нее непостижимо, и она его ненавидит. Она занята житейскими мелочами, все идеальное вызывает ее ревность. Душа мужчины уносится в высочайшие сферы мироздания, а она старается втиснуть ее в приходо-расходную книгу. Помните мою жену? Бланш очень скоро пустилась на те же штуки. С потрясающим терпением готовилась она заарканить и связать меня. Ей надо было низвести меня до своего уровня; она обо мне ничего знать не хотела, хотела только, чтобы я целиком принадлежал ей. И ведь готова была исполнить любое мое желание, кроме одного — отвязаться от меня.

Я довольно долго молчал.

— А как по-вашему, что она должна была сделать после того, как вы ее бросили?

— Она могла вернуться к Струве, — сердито отвечал он. — Струве готов был принять ее.

— Возмутительное рассуждение, — отвечал я. — Впрочем, толковать с вами о таких вещах — все равно что расписывать красоту заката слепорожденному.

Он остановился и посмотрел мне в лицо с презрительным недоумением.

— Неужто вам и вправду не все равно, жива или умерла Бланш Струве?

Я задумался, ибо во что бы то ни стало хотел честно ответить на этот вопрос.

— Наверно, я черствый человек, потому что ее смерть не слишком меня огорчает. Жизнь сулила ей много хорошего. И ужасно, что все это с такой бессмысленной жестокостью отнято у нее, что же касается меня, то, к стыду моему, ее трагедия оставляет меня сравнительно спокойным.

— Взгляды у вас смелые, а отстаивать их смелости не хватает. Жизнь не имеет цены. Бланш Струве покончила с собой не потому, что я бросил ее, а потому, что она была женщина вздорная и неуравновешенная. Но хватит говорить о ней, не такая уж она важная персона. Пойдемте, я

покажу вам свои картины.

Он говорил со мной как с ребенком, внимание которого надо отвлечь. Я был зол, но больше на себя, чем на него. Мне все вспоминалась счастливая жизнь четы Струве в уютной мастерской на Монмартре, их отзывчивость, доброта и гостеприимство. Жестоко, что безжалостный случай все это разрушил. Но самое жестокое — что ничего не изменилось. Жизнь шла своим чередом, и мимолетное несчастье ни в чьем сердце не оставило следа. Я думал, что Дирк, человек скорее пылких, чем глубоких чувств, скоро позабудет свое горе, но Бланш… один Бог знает, какие радужные грезы посещали ее в юности, Бланш — зачем она жила на свете? Все это было так бессмысленно и глупо.

Стрикленд отыскал свою шляпу и стоял, выжидательно глядя на меня.

— Вы идете?

— Почему вы держитесь за знакомство со мною? — спросил я. — Вы же знаете, что я ненавижу и презираю вас.

Он добродушно ухмыльнулся.

— Вы злитесь только из-за того, что мне наплевать, какого вы обо мне мнения.

Я почувствовал, как кровь прилила у меня к лицу от гнева. Нет, этот человек не в состоянии

понять, что его безжалостный эгоизм вызывает ненависть. Я жаждал пробить броню этого полнейшего безразличия. Но, увы, зерно истины все-таки было в его словах. Ведь мы, скорей всего бессознательно, свою власть над другими измеряем тем, как они относятся к нашему мнению о них, и начинаем ненавидеть тех, которые не поддаются нашему влиянию. Для человеческой гордости нет обиды жесточе. Но я не хотел показать, что слова Стрикленда меня задели.

— Дозволено ли человеку полностью пренебрегать другими людьми? — спросил я не столько его, сколько самого себя. — Человек в каждой мелочи зависит от других. Попытка жить только собою и для себя заведомо обречена на неудачу. Рано или поздно старым, усталым и больным вы приползете обратно в стадо. И когда ваше сердце будет жаждать покоя и сочувствия, вам станет стыдно. Вы ищете невозможного. Повторяю, рано или поздно человек в вас затоскует по узам, связывающим его с человечеством.

— Пойдемте смотреть мои картины.

— Вы когда-нибудь думаете о смерти?

— Зачем? Она того не стоит.

Я смотрел на него в удивлении. Он стоял передо мной неподвижно, в глазах его мелькнула

насмешка, и, несмотря на все это, я вдруг прозрел в нем пламенный, мученический дух, устремленный к цели более высокой, чем все то, что сковано плотью. На мгновение я стал свидетелем поисков неизреченного. Я смотрел на этого человека в обшарпанном костюме, с большим носом, горящими глазами, с рыжей бородой и всклокоченными волосами и, странным образом, видел перед собой не эту оболочку, а бесплотный дух.

— Что ж, пойдем посмотрим ваши картины, — сказал я.

Глава сорок вторая

Не знаю, почему Стрикленду вдруг вздумалось показать их мне. Но я очень обрадовался. Человек открывается в своих трудах. В светском общении он показывает себя таким, каким хочет казаться, и правильно судить о нем вы можете лишь по мелким и бессознательным его поступкам да непроизвольно меняющемуся выражению лица. Присвоивши себе ту или иную маску, человек со временем так привыкает к ней, что и вправду становится тем, чем сначала хотел казаться. Но в своей книге или в своей картине он наг и беззащитен. Его претензии только подчеркивают его пустоту. Деревяшка и есть деревяшка. Никакими потугами на оригинальность не скрыть посредственности. Зоркий ценитель даже в эскизе усматривает сокровенные душевные глубины художника, его создавшего.

Не скрою, что я волновался, взбираясь по нескончаемой лестнице в мансарду Стрикленда. Мне чудилось, что я на пороге удивительного открытия. Войдя наконец в его комнату, я с любопытством огляделся. Она показалась мне меньше и голее, чем прежде. «Интересно, — подумал я, —

что сказали бы о ней мои знакомые художники, работающие в огромных мастерских и убежденные, что они не могут творить, если окружающая обстановка им не по вкусу».

— Станьте вон там. — Стрикленд показал мне точку, с которой, как он считал, картины представали в наиболее выгодном освещении.

— Вы, наверно, предпочитаете, чтобы я молчал? — осведомился я.

— Конечно, черт вас возьми, можете попридержать свой язык.

Он ставил картину на мольберт, давал мне посмотреть на нее минуты две, затем снимал и ставил другую. Он показал мне, наверно, холстов тридцать. Это были плоды его работы за шесть лет, то есть с тех пор, как он начал писать. Он не продал ни одной картины. Холсты были разной величины. Меньшие — натюрморты, покрупнее — пейзажи. Было у него штук шесть портретов.

— Вот и все, — объявил он наконец.

Мне бы очень хотелось сказать, что я сразу распознал их красоту и необычайное своеобразие. Теперь, когда я снова видел многие из них, а с другими ознакомился по репродукциям, я не могу не удивляться, что с первого взгляда испытал горькое разочарование. Нервная дрожь — воздей-

ствие подлинного искусства — не потрясла меня. Картины Стрикленда привели меня в замешательство, и я не могу простить себе, что мне даже в голову не пришло купить хотя бы одну из них. Я упустил счастливый случай. Большинство их попало в музеи, остальные украшают коллекции богатых меценатов. Я стараюсь подыскать для себя оправдание. Мне все-таки кажется, что у меня хороший вкус, только ему недостает оригинальности. В живописи я мало что смыслю и всегда иду по дорожке, проложенной для меня другими. В ту пору я преклонялся перед импрессионистами. Я мечтал приобрести творения Сислея и Дега и приходил в восторг от Мане. Его «Олимпия» казалась мне шедевром новейших времен, а «Завтрак на траве» трогал меня до глубины души. Я воображал, что эти произведения — последнее слово в живописи.

Не буду описывать картины, которые показывал мне Стрикленд. Такие описания всегда наводят скуку, а кроме того, его картины знакомы решительно всем, кто интересуется живописью. Теперь, после того как искусство Стрикленда оказало столь грандиозное воздействие на современную живопись и неведомая область, в которую он проник одним из первых, уже, так

сказать, нанесена на карту, всякий, впервые видящий его картину, внутренне подготовлен к ней, я же никогда ничего подобного не видел. Прежде всего я был поражен тем, что мне показалось топорной техникой. Привыкнув к рисунку старых мастеров и убежденный, что Энгр был величайшим рисовальщиком нового времени, я решил, что Стрикленд рисует из рук вон плохо. О том, что упрощение — его цель, я не догадывался. Помню, как меня раздражало, что круглое блюдо в одном из натюрмортов было неправильной формы и на нем лежали кособокие апельсины. Лица на портретах он делал больше натуральной величины, и это производило отталкивающее впечатление. Я воспринимал их как карикатуры. Написаны они были в совершенно новой для меня манере. Пейзажи еще сильнее меня озадачили. Два или три из них изображали лес в Фонтенбло, остальные — улицы Парижа; на первый взгляд они казались нарисованными пьяным извозчиком. Я просто ошалел. Нестерпимо кричащие краски, и все в целом какой-то дурацкий, непонятный фарс. Вспоминая об этом, я еще больше поражаюсь чутью Струве. Он с первого взгляда понял, что здесь речь шла о революции в искусстве, и почти еще в зародыше признал гения, перед которым

позднее преклонился весь мир.

Растерянный и сбитый с толку, я тем не менее был потрясен. Даже при моем колоссальном невежестве я почувствовал, что здесь тщится проявить себя великая сила. Все мое существо пришло в волнение. Я ясно ощущал, что эти картины говорят мне о чем-то очень для меня важном, но о чем именно, я еще не знал. Они казались мне уродливыми, но в них была какая-то великая и нераскрытая тайна, что-то странно дразнящее и волнующее. Чувства, которые они во мне возбуждали, я не умел проанализировать: слова тут были бессильны. Мне начинало казаться, что Стрикленд в материальных вещах смутно провидел какую-то духовную сущность, сущность до того необычную, что он мог лишь в неясных символах намекать о ней. Точно среди хаоса вселенной он отыскал новую форму и в безмерной душевной тоске неумело пытался ее воссоздать. Я видел мученический дух, алчущий выразить себя и таким образом найти освобождение.

Я обернулся к Стрикленду:

— Мне кажется, вы избрали неправильный способ выражения.

— Что за околесицу вы несете?

— Вы, видимо, стараетесь что-то сказать — что

именно, я не знаю, но сомневаюсь, можно ли это высказать средствами живописи.

Я ошибся, полагая, что картины Стрикленда дадут мне ключ к пониманию его странной личности. На деле они только заставили меня еще больше ему удивляться. Теперь я уже вовсе ничего не понимал. Единственное, что мне уяснилось — но, может быть, и это была игра воображения, — что он жаждал освободиться от какой-то силы, завладевшей им. А какая это была сила и что значило освобождение от нее, оставалось туманным. Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темей и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их, и потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы похожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная ее языка: им хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные фразы из разговорника. В мозгу их бурлят идеи одна интересней другой,

а сказать эти люди могут разве что: «Тетушка нашего садовника позабыла дома свой зонтик».

Итак, основное, что я вынес из картин Стрикленда, — неимоверное усилие выразить какое-то состояние души; в этом усилии, думал я, и следует искать объяснение тому, что так меня поразило. Краски и формы, несомненно, имели для Стрикленда значение, ему самому не вполне понятное. Он испытывал неодолимую потребность выразить то, что чувствовал, и единственно с этой целью создавал цвет и форму. Он, не колеблясь, упрощал, даже извращал и цвет, и форму, если это приближало его к тому неведомому, что он искал. Факты ничего не значили для него, ибо под грудой пустых случайностей он видел лишь то, что считал важным. Казалось, он познал душу вселенной и обязан был выразить ее. Пусть эти картины с первого взгляда смущали и озадачивали, но и волновали они до глубины души. И вот, сам не знаю отчего, я вдруг почувствовал, совсем уж неожиданно, жгучее сострадание к Стрикленду.

— Теперь я, кажется, знаю, почему вы поддались своему чувству к Бланш Струве, — сказал я.

— Почему?

— Мужество покинуло вас. Ваша телесная сла-

бость сообщилась вашей душе. Я не знаю, какая тоска грызет вас, толкает вас на опасные одинокие поиски того, что должно изгнать демона, терзающего вашу душу. По-моему, вы вечный странник, стремящийся поклониться святыне, которой, возможно, не существует. К какой непостижимой нирване вы стремитесь? Я не знаю. Да и вы, вероятно, не знаете. Может быть, вы ищете Правды и Свободы, и на мгновение вам почудилось, что любовь принесет вам вожделенное освобождение? Ваш утомленный дух искал, думается мне, покоя в объятиях женщины, но, не найдя его, вы эту женщину возненавидели. Вы были к ней беспощадны, потому что вы беспощадны к самому себе. Вы убили ее из страха, так как все еще дрожали перед опасностью, которой только что избегли.

Он холодно улыбнулся и потеребил свою бороду.

— Ну и сентиментальны же вы, дружище.

Через неделю я случайно услышал, что Стрикленд отправился в Марсель. Больше я никогда его не видел.

Глава сорок третья

То, что я написал о Стрикленде, конечно, никого удовлетворить не может, задним числом я вполне отдаю себе в этом отчет. Я пересказал кое-какие события, совершившиеся на моих глазах, но они остались темными, ибо я не знаю первопричин этих событий. Самое странное из случившегося — решение Стрикленда стать художником — в моем пересказе выглядит простой причудой; между тем он, разумеется, неспроста принял такое решение, хотя что именно его на это толкнуло, я не знаю. Из собственных его слов мне ничего не уяснилось. Если бы я писал роман, а не просто перечислял известные мне факты из жизни незаурядного человека, я бы придумал уйму всевозможных объяснений для этого душевного переворота. Наверно, я рассказал бы о неудержимом влечении Стрикленда к живописи, в детстве подавленном волей отца или же принесенном в жертву необходимости зарабатывать свой хлеб; я бы изобразил, как гневно он относился к требованиям жизни; обрисовав борьбу между его страстью к искусству и профессией биржевого маклера, я бы мог даже привлечь на

его сторону симпатии читателя. Я сделал бы из него весьма внушительную фигуру. Возможно, что кто-нибудь даже увидел бы в нем нового Прометея, и оказалось бы, что я создал современную версию о герое, во имя блага человечества обрекшем себя всем мукам Прометеева проклятия. А это неизменно захватывающий сюжет.

С таким же успехом я мог бы сыскать мотивы его поступка в семейной жизни. Тут к моим услугам имелся бы добрый десяток вариантов. Например, скрытый дар пробивается наружу благодаря знакомству с писателями и художниками, в обществе которых вращается его жена; или: не удовлетворенный семейным кругом, он углубляется в себя; и еще: любовная история раздувает в пламя маленький огонек, который, в моем изображении, сначала бы едва-едва тлел в его душе. В таком случае миссис Стрикленд мне, вероятно, пришлось бы обрисовать совсем по-другому. Не церемонясь с фактами, я бы сделал ее брюзгливой, надоедливой женщиной или ханжой, не понимающей духовных запросов мужа. Брак их я бы изобразил как нескончаемую цепь мучений, разорвать которую можно только бегством. Я бы, наверно, расписал яркими красками его терпеливое отношение к душевно чуждой

ему жене и жалость, которая долго не позволяла ему сбросить тяжкое ярмо. О детях, пожалуй, упоминать бы и вовсе не следовало.

Не менее эффектно было бы свести Стрикленда со стариком художником, которого либо нужда, либо жажда наживы некогда заставили отказаться от своего призвания. Видя в Стрикленде возможности, им самим некогда упущенные, старик уговаривает его покончить с прежней жизнью и всецело предаться священной тирании искусства. Этот старый человек, добившийся богатства и высокого положения в свете, который пытается в другом пережить все, на что у него самого недостало мужества, хотя он и сознавал, что искусство — это лучшая доля, должен быть дан слегка иронически.

Факты куда менее значительны. Стрикленд прямо со школьной скамьи поступил в контору биржевого маклера, не испытывая при этом никаких моральных терзаний. До женитьбы он жил, как все молодые люди его круга: понемножку играл на бирже, во время дерби или гребных гонок, случалось, терял два-три соверена. В свободное время он занимался боксом, а на камине у него стояла фотография миссис Лангтри и Мэри Андерсон. Он читал «Панч» и «Спортинг таймс».

Ходил на танцы в Хэмпстед.

То, что я потерял Стрикленда из виду на довольно долгий срок, особого значения не имеет. Годы, которые он провел в борьбе за овладение трудным искусством кисти, были достаточно однообразны, а то, чем ему приходилось заниматься, чтобы заработать себе на жизнь, вряд ли представляло хоть какой-нибудь интерес. Рассказывать об этом — значило бы рассказывать о событиях в жизни других людей. Да к тому же эти события не наложили отпечатка на характер Стрикленда. Он видел много сцен, которые могли бы послужить великолепным материалом для плутовского романа о современном Париже, но ничем этим не интересовался и, судя по его разговорам, не вынес ровно никаких впечатлений из своей парижской жизни. Возможно, что, приехав сюда, он был уже слишком стар и потому неподатлив колдовству большого города. Самое странное, что вопреки всему этому он казался мне не только практическим, но и сухо-деловитым человеком. Жизнь его в те годы, несомненно, была полна романтики, но он не подозревал об этом. Для того чтобы почувствовать романтику, надо, вероятно, быть немного актером и уметь, отрешившись от самого себя, наблюдать за своими действиями с

глубокой заинтересованностью, но в то же время как бы и со стороны. Стрикленд был абсолютно неспособен на такое раздвоение. Я в жизни не встречал человека, менее занятого собой. К несчастью, я не могу описать тот тернистый путь, идя по которому он сумел покорить себе свое искусство. Если бы я показал, как неустрашимо он переносил неудачи, как мужественно не поддавался отчаянию, как упорно вел борьбу с сомнением — заклятым врагом художника, я вызвал бы симпатию к человеку, который — я это понимаю — покажется весьма несимпатичным. Но мне тут не за что зацепиться. Я никогда не видел Стрикленда за работой, как, вероятно, никто не видел. Тайны своей борьбы он хранил про себя. Если в полном одиночестве своей мастерской он и единоборствовал с ангелом Господним, то ни одна живая душа не знала о его страданиях.

Теперь, когда речь пойдет о его связи с Бланш Струве, я с огорчением вижу, что в моем распоряжении нет ничего, кроме отрывочных, не связанных между собою фактов. Чтобы придать слитность своему рассказу, я должен был бы объяснить, как и почему их союз завершился трагедией, но я ничего не знаю об их жизни в течение этих трех месяцев. Не знаю, как они

проводили время и о чем разговаривали. В сутках двадцать четыре часа, а вершины своей чувство достигает лишь в редкие минуты. Я могу только воображать, что они делали все остальные часы. Покуда было светло и Бланш еще не выбивалась из сил, он, вероятно, писал ее, а она сердилась, видя, как он углублен в работу. Она существовала для него только как модель, не как любовница. Но затем оставались еще долгие часы, и они жили бок о бок в полном молчании. Ее это, наверно, пугало. Говоря, что своим уходом к нему Бланш как бы мстила Дирку Струве, пришедшему ей на помощь в трагическую минуту жизни, Стрикленд давал повод ко многим страшным догадкам. Но я надеюсь, что он ошибся. Иначе это было бы слишком печально. Хотя кто может разобраться во всех мельчайших движениях человеческого сердца? Разумеется, не тот, кто ждет от него только благопристойных и нормальных чувств. Когда Бланш поняла, что, несмотря на мгновения страсти, Стрикленд остается чужим ей, она, должно быть, впала в отчаяние, и тут, когда ей уяснилось, что она для него не личность, а только орудие наслаждения, она стала делать жалкие усилия, чтобы привязать его к себе. Она окружала его комфортом, не замечая, что комфорт ничего

не значит для этого человека. Она изощрялась, готовя ему лакомые кушанья, и не замечала, что он совершенно равнодушен к еде. Она боялась оставить его одного, преследовала его своим вниманием и, когда его страсть утихала, старалась снова возбудить ее, ибо только в эти мгновения могла питать иллюзию, что он принадлежит ей. Возможно, она умом и понимала, что цепи, которыми она его опутывала, будили в нем только инстинкт разрушения — так, когда видишь зеркальное стекло в окне, руки чешутся запустить в него камнем, — но ее сердце не внимало голосу разума, и она все шла по пути, который — тут она не заблуждалась — был для нее роковым. Должно быть, она была очень несчастна. Но слепая любовь заставила ее верить в то, во что ей хотелось верить, да и обожала она Стрикленда так, что ей казалось невозможным, чтобы он не платил ей любовью.

Беда в том, что мой рассказ о Стрикленде грешит большими недостатками, чем неполное знание фактов из его жизни. Я много написал о его отношениях с женщинами, потому что эти отношения очень бросались в глаза, а между тем им принадлежало весьма скромное место в его жизни. И право же, издевка судьбы, что для

женщин, приближавшихся к нему, они оборачивались трагедией. По-настоящему его жизнь состояла из мечты и титанического труда.

Тут-то и начинается литературная неправда. Любовь, как правило, только один из эпизодов в жизни человека, в романах же ей отводится первое место, и это не соответствует жизненной правде. Мало найдется мужчин, для которых любовь — самое важное на свете, и это по большей части неинтересные мужчины; их презирают даже женщины, для которых любовь превыше всего. Преклонение льстит женщинам, волнует их, и все же они не могут отделаться от чувства, что мужчины, все на свете забывающие из-за любви, — убогие создания. Даже в краткие периоды, когда мужчина страстно любит, он занят еще и другими делами, отвлекающими его от любимой. Внимание одного сосредоточено на работе, которая дает ему средства к жизни; другой увлекается спортом или искусством. Большинство мужчин развивают свою деятельность в различных областях; они способны всецело сосредоточиваться на том, что их в данную минуту занимает, и досадуют, если одно перебивает другое. В любви разница между мужчиной и женщиной в том, что женщина любит весь день

напролет, а мужчина — только урывками.

В жизни Стрикленда желание занимало очень мало места. Для него оно было чем-то второстепенным и докучным. Душа его рвалась в иные пределы. Он знал буйную страсть, и желание временами терзало его плоть, требуя неистовых оргий чувственности, но он ненавидел этот инстинкт, отнимавший у него власть над самим собой. Мне кажется, Стрикленд ненавидел и ту, что должна была делить с ним вакханалию страсти. Овладев собою, он испытывал отвращение к женщине, которой только что наслаждался. Мысли его уносились в горние страны, и женщина внушала ему ужас, какой может внушить пестрокрылому мотыльку, порхающему с цветка на цветок, неприглядная куколка, из которой он, торжествуя, возник. Мне думается, искусство — это проявление полового инстинкта. Одно и то же чувство заставляет усиленно биться человеческое сердце при виде красивой женщины, Неаполитанского залива в лунном свете и «Положения во гроб» Тициана. Вполне возможно, что Стрикленд ненавидел нормальное проявление полового инстинкта, оно казалось ему низменным по сравнению со счастьем художественного творчества. Мне самому странно, что, описав

человека жестокого, эгоистического, грубого и чувственного, я в конце концов прихожу к выводу, что он был подлинным идеалистом. Но факты — упрямая вещь.

Он жил беднее любого батрака. И работал тяжелее, нимало не интересуясь тем, что большинство людей считает украшением жизни. К деньгам он был равнодушен, к славе тоже. Но не стоит воздавать ему хвалу за то, что он противостоял искушению и не шел ни на один из тех компромиссов с обществом, на которые мы все так охотно идем. Он не знал искушения. Ему ни разу даже не пришла на ум возможность компромисса. В Париже он жил более одиноко, чем отшельник в Фиваидской пустыне. Он ничего не требовал от людей, разве чтобы они оставили его в покое. Стремясь к одной лишь цели, он для ее достижения готов был пожертвовать не только собою — на это способны многие, — но и другими. Он был визионер и одержимый.

Да, Стрикленд был плохой человек, но и великий тоже.

Глава сорок четвертая

Немалое значение имеют взгляды художника на искусство, и потому я считаю нужным сказать здесь несколько слов о том, как Стрикленд относился к великим мастерам прошлого. Многого я, конечно, не знаю. Стрикленд был не слишком словоохотлив и то, что ему хотелось сказать, не умел облечь в точные слова, запоминающиеся слушателю. Он не был остроумен. Юмор его, как видно из предыдущего — конечно, если мне хоть в какой-то мере удалось воспроизвести его манеру говорить, — носил сардонический характер. Острил он грубо. Он иногда заставлял собеседника смеяться тем, что говорил правду, но этот вид юмора действителен только в силу своей необычности: если бы чаще слышали правду, никто бы не смеялся.

Стрикленд, я бы сказал, был от природы не слишком умен, и его взгляды на искусство не отличались оригинальностью. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о художниках, работы которых были в известной мере родственны его работам, например о Сезанне или Ван Гоге; я даже не уверен, что он когда-нибудь видел их

произведения. Импрессионистами он особенно не интересовался. Технику их он признавал, но я склонен думать, что импрессионистическая манера казалась ему пошлой. Однажды, когда Струве на все лады прославлял Моне, он заметил: «Я предпочитаю Винтерхальтера». Впрочем, он, вероятно, сказал это, чтобы позлить Струве, и, конечно, достиг цели.

Мне очень жаль, что я не могу привести какие-нибудь из ряда вон выдающиеся суждения Стрикленда о старых мастерах. В характере этого человека столько странностей, что возмутительные высказывания о старших собратьях могли бы успешно завершить его портрет. Мне бы очень хотелось навязать ему какие-нибудь фантастические теории относительно его предшественников, но, увы, я должен признаться, что его взгляды мало чем отличались от общепринятых. Я подозреваю, что он не знал Эль Греко, но к Веласкесу относился с каким-то нетерпеливым восторгом. Шарден его восхищал, а Рембрандт приводил в экстаз. Он говорил о впечатлении, которое на него производит Рембрандт, с такой откровенной грубостью, что я не решаюсь повторить его слова. Но вот что было уже совсем неожиданно, так это его живой интерес к Брей-

гелю-старшему. В то время я почти не знал этого художника, а Стрикленд не умел выражать свои мысли. Я запомнил то, что он говорил о нем, только потому, что это ровно ничего не объясняло.

— Этот настоящий, — заявил Стрикленд. — Бьюсь об заклад, что с него семь потов сходило, когда он писал.

Позднее, увидев в Вене картины Питера Брейгеля, я, кажется, понял, что в нем привлекало Стрикленда. Брейгелю тоже виделся какой-то особый мир, его самого удивлявший. Я тогда хотел написать о нем и сделал ряд заметок в своей записной книжке, но потом потерял ее, и в воспоминании у меня осталось только чувство, вызванное его картинами. Люди представлялись ему уродливыми и комичными, и он был зол на них за то, что они уродливы и комичны, жизнь — смешением комических и подлых поступков, достойных только смеха, но горько ему было над этим смеяться. Мне всегда казалось, что Брейгель средствами одного искусства тщится выразить то, что лучше поддалось бы выражению средствами другого; может быть, поэтому-то и смутно тянуло к нему Стрикленда. Видно, оба они хотели в живопись вложить идеи, бывшие более под стать литературе.

Стрикленду в то время было около сорока семи лет.

Глава сорок пятая

Выше я уже говорил, что, если бы не случайный мой приезд на Таити, я бы никогда не написал этой книги. Дело в том, что после долгих скитаний на Таити очутился Чарлз Стрикленд и там создал картины, на которых главным образом и зиждется его слава. Я думаю, что ни одному художнику не суждено полностью воплотить мечту, властвующую над ним, и Стрикленд, вконец измученный своей борьбой с техникой, сделал, быть может, меньше, чем другие, чтобы воплотить видение, вечно стоявшее перед его духовным взором, но на Таити обстоятельства ему благоприятствовали. В этом новом мирке он нашел много элементов, необходимых для того, чтобы его вдохновение стало плодотворным. Последние картины Стрикленда уже дают некоторое представление о том, что он искал. Они являются какой-то новой и странной пищей для нашей фантазии. Словно в этом далеком краю дух его, до той поры бестелесно бродивший по свету в поисках приюта, обрел наконец плоть и кровь. Выражаясь тривиально, Стрикленд здесь нашел себя.

Казалось бы, что, приехав на этот отдаленный остров, я должен был немедленно вспомнить о Стрикленде, в свое время так сильно меня интересовавшем, но я весь ушел в работу, кроме нее ни о чем не думал и лишь несколько дней спустя вспомнил о том, что его имя связано с Таити. Впрочем, я видел его пятнадцать лет назад, и уже девять прошло с тех пор, как он умер. Кроме того, впечатления от Таити вытеснили из моей головы даже дела, я все еще не мог прийти в себя. Помнится, в первое утро я проснулся чуть свет и вышел на веранду отеля. Нигде ни живой души. Я отправился в кухню, но она была заперта, на скамейке возле двери спал мальчик-туземец. Надежду позавтракать пока что приходилось оставить, и я пошел вниз, к морю. Китайцы уже раскладывали товар в своих лавчонках. Предрассветное небо было бледно, и над лагуной стояла призрачная тишина. В десяти милях от берега высился остров Муреа, хранивший свою тайну, словно твердыня святого Грааля.

Я все еще не верил своим глазам. Дни, прошедшие со времени моего отплытия из Веллингтона, были так необычны, так непохожи на все другие дни. Веллингтон — чистенький, совсем английский городок, точь-в-точь такой, как все портовые

городки южной Англии. В море три дня бушевал шторм. Серые, рваные тучи тянулись по небу друг за дружкой. Затем ветер стих, море успокоилось, стало синим. Тихий океан пустыннее других морей, просторы его кажутся безграничными, а самое заурядное плавание по нему отдает приключением. Воздух, который мы вдыхаем, — это эликсир, подготавливающий к неожиданному и неизведанному.

Лишь раз в жизни дано смертному испытать чувство, что он вплывает в золотое царство фантазии, — когда взору его открываются берега Таити. Вы видите еще и соседний остров Муреа, каменное диво, таинственно вздымающееся среди водной пустыни. Со своими зубчатыми очертаниями он точно Монтсеррат Тихого океана, и вам начинает казаться, что полинезийские рыцари свершают там диковинные обряды, охраняя недобрую тайну. Красота этого острова раскрывается по мере приближения к нему, когда становятся отчетливо видны восхитительные изломы его вершин, но он бережно хранит свою тайну и, стоит вам поравняться с ним, весь как бы съеживается, замыкается в скалистую, неприступную суровость. И если б он исчез, покуда вы ищете проход между рифами, и перед вами

простерлась бы лишь синяя пустыня океана, то и в этом, кажется, не было бы ничего удивительного.

Таити — высокий зеленый остров, с полосами более темной зелени, в которых вы угадываете молчаливые долины; в их темной таинственной глубине журчат и плещутся студеные потоки, и чувствуешь, что жизнь в этих тенистых долах с незапамятных времен шла по одним и тем же незапамятным путям. В таком чувстве есть печаль и страх. Но это мимолетное впечатление лишь обостряет радость минуты. Так на миг промелькнет печаль в глазах шутника, когда веселые сотрапезники до упаду смеются над его остротами, — рот его улыбается, шутки становятся веселее, но одиночество его еще нестерпимее. Таити улыбается, приветствуя вас; этот остров как обворожительная женщина, что расточает свою прелесть и красоту, и нет на свете ничего милее гавани Папеэте. Шхуны, стоящие на якоре у причала, сияют чистотой, городок, что тянется вдоль бухты, бел и наряден, а тамаринды, полыхающие под синью неба, яростны, словно крик страсти. Дух захватывает от того, как они чувственны в своем бесстыдном неистовстве. Встречать пароход на пристань высыпает весе-

лая, жизнерадостная толпа; она шумит, радуется, жестикулирует. Это море коричневых лиц. Точно все цвета радуги волнуются и колышутся здесь под лазурным, блистающим небом. Суматоха все время отчаянная — при разгрузке багажа, при таможенном досмотре, и кажется, что все улыбаются вам. Солнце печет нестерпимо. Пестрота ослепляет.

Глава сорок шестая

В первые же дни моего пребывания на Таити я свел знакомство с капитаном Николсом. Однажды утром, когда я завтракал на веранде, он вошел и представился мне. Прослышав, что я интересуюсь Чарлзом Стриклендом, капитан Николс явился поговорить со мной. На Таити судачат не хуже, чем в английской деревне, и слух о том, что я раза два или три спросил относительно картин Стрикленда, распространился с молниеносной быстротой. Я поинтересовался, завтракал ли капитан.

— Да, — отвечал он, — я рано пью кофе, но от глоточка виски не откажусь.

Я кликнул боя-китайца.

— А может, не стоит пить спозаранку? — сказал капитан.

— Ну, это уж вы спрашивайте вашу печень, — отвечал я.

— Собственно, я трезвенник, — заметил капитан, наливая себе добрых полстакана канадского виски.

Смеясь, он показывал желтые поломанные зубы. Капитан был очень худой человек, среднего

роста, с седой шевелюрой и седыми топорщившимися усами. Он явно не брился уже два дня. Лицо его, коричневое от постоянного пребывания на солнце, было изборождено морщинами, а голубые глазки смотрели удивительно плутовато. Они бегали быстро-быстро, следя за каждым моим движением, и придавали капитану изрядно жуликоватый вид, хотя в настоящую минуту он был, можно сказать, сама доброжелательность. Его костюм цвета хаки выглядел весьма неопрятным, а руки очень нуждались в воде и мыле.

— Я хорошо знал Стрикленда, — начал он, закурив сигарету, которую я ему предложил, и поудобнее устраиваясь в кресле. — Благодаря мне он и попал на эти острова.

— Где вы с ним повстречались? — спросил я.

— В Марселе.

— Что вы там делали?

Он заискивающе улыбнулся.

— Гм, я там, собственно, сидел без работы.

Судя по виду моего нового приятеля, он и теперь находился не в лучшем положении; я уже приготовился поддержать это приятное знакомство. Такие шалопаи, как правило, вознаграждают нас за мелкие моральные издержки, которые несешь, общаясь с ними. Они легко сближаются,

разговорчивы. Заносчивость чужда им, а предложение выпить — вернейший путь к их сердцу. Вам нет нужды завоевывать их расположение, и за то, что вы будете внимательно слушать их россказни, они заплатят вам не только доверием, но и благодарностью.

Для них первейшее удовольствие в жизни — почесать язык и заодно щегольнуть своей образованностью, и надо признать, по большей части они превосходные рассказчики. Излишество их жизненного опыта приятно уравновешивается живостью воображения. Простаками их, конечно, не назовешь, но они уважают закон, когда он опирается на силу. Играть с ними в покер — рискованное занятие, но их сноровка придает дополнительную своеобразную прелесть этой лучшей в мире игре. Я хорошо узнал капитана Николса за время своего пребывания на Таити, и это знакомство, безусловно, обогатило меня. Сигары и виски, за которые я платил (от коктейля он, как заядлый трезвенник, раз и навсегда отказался), так же как и те несколько долларов, которые капитан взял у меня взаймы с видом, ясно говорившим, что он делает мне величайшее одолжение, отнюдь не эквивалентны тому, что я от него получил: он развлекал меня. Я остался

его должником и не вправе отделаться от него двумя словами.

Не знаю, почему капитану Николсу пришлось уехать из Англии. Он об этом старательно умалчивал, а задавать вопросы людям его склада — заведомая бестактность. Он намекал на какую-то беду, незаслуженно его постигшую, и вообще считал себя жертвой несправедливости. Я полагал, что речь идет о мошенничестве или о насилии, и охотно поддакивал ему: да, судейские чиновники в старой Англии — отчаянные формалисты. Зато как это хорошо, что, несмотря на все неприятности, испытанные им в родной стране, он остался пламенным патриотом. Он неоднократно заявлял, что Англия — лучшая страна в мире, и живо чувствовал свое превосходство над американцами и жителями колоний, итальяшками, голландцами и канаками.

Но счастливым капитан все-таки не был. Он страдал от дурного пищеварения и то и дело глотал таблетки пепсина; по утрам у него не было аппетита, что, впрочем, не ухудшало его настроения. У него имелись и другие основания роптать на жизнь. Восемь лет назад он опрометчиво женился. Есть люди, которым милосердное провидение предуказало холостяцкое житье, но

они из своенравия или по случайному стечению обстоятельств нарушают его волю. Нет на свете ничего более жалкого, чем женатый холостяк. А капитан Николс был женатым холостяком. Я знал его жену, ей было лет двадцать восемь — впрочем, она принадлежала к тому типу женщин, возраст которых не определишь; такой она была, вероятно, в двадцать лет и в сорок тоже едва ли выглядела старше. Мне казалось, что она вся как-то стянута. Ее плоское лицо с узкими губами было стянуто, кожа плотно обтягивала кости, рот кривился в натянутой улыбке, волосы были стянуты в тугой узел, платье сидело в обтяжку, а белое полотно, из которого оно было сшито, выглядело как черная бумазея. Я никак не мог понять, почему капитан Николс на ней женился, а женившись, почему от нее не удрал. Впрочем, кто знает, может быть, он не раз пытался это сделать; меланхолия же его именно тем и объяснялась, что все эти попытки терпели крушение. Как бы далеко он ни уходил, в какое бы укромное местечко ни забивался, миссис Николс, неумолимая, как судьба, и беспощадная, как совесть, немедленно настигала его. Он не мог избавиться от нее, как причина не может избавиться от следствия.

Мошенник, артист, а может быть, и джентль-

мен не принадлежит ни к какому классу. Его не проймешь нахальной бесцеремонностью бродяги и не смутишь чопорным этикетом королевского двора. Но миссис Николс принадлежала к сословию, так сказать, ниже среднего. Папаша ее был полисменом — и, я уверен, весьма расторопным. Не знаю, чем она привязала к себе капитана, но не думаю, чтобы узами любви. Я от нее слова не слышал, но не исключено, что в домашней обстановке это была весьма говорливая особа. Так или иначе, но капитан Николс смертельно ее боялся. Иногда мы с ним сидели на террасе отеля, и он вдруг замечал, что она проходит по улице. Она его не окликала, ни словом, ни жестом не показывала, что видит его, а невозмутимо шагала туда и обратно. Странное беспокойство овладевало тогда капитаном Николсом: он начинал смотреть на часы и вздыхать.

— Ну, мне пора, — говорил он наконец.

И тут уже ничем нельзя было удержать его, даже стаканом виски. А ведь он неустрашимо встречал ураганы, тайфуны и, вооруженный одним только револьвером, не задумываясь вступил бы в драку с десятком безоружных негров. Случалось, что миссис Николс посылала за ним дочь, бледную, сердитую девочку лет семи.

— Тебя мама зовет, — говорила она плаксивым голосом.

— Иду, иду, деточка, — отвечал капитан Николс.

Он вскакивал и шел за дочерью. Прекрасный пример торжества духа над материей, а следовательно, в отступлении, которое я себе позволил, по крайней мере имеется мораль.

Глава сорок седьмая

Я постарался придать некоторую слитность отрывочным рассказам капитана Николса о Стрикленде, которые и перескажу сейчас по возможности последовательно. Они познакомились зимой того же года, когда я в последний раз видел Стрикленда в Париже. Как он жил эти месяцы после нашей встречи, я не знаю, но, видно, ему пришлось очень круто, так как Николс встретился с ним в ночлежном доме. В Марселе в то время была всеобщая забастовка, и Стрикленд, оставшись без денег, не мог заработать даже те гроши, которые были ему необходимы, чтобы душа не рассталась с телом.

Монастырский ночлежный дом в Марселе — это большое мрачное здание, где бедняки и безработные получали право одну неделю пользоваться койкой, если у них были в порядке документы и они могли доказать монахам, что не являются беспаспортными бродягами. Капитан Николс тотчас же заметил Стрикленда, выделявшегося своим ростом и оригинальной наружностью, в толпе возле дверей ночлежки; они ждали молча: кто шагал взад и вперед, кто

стоял, прислонившись к стене; многие сидели на обочине дороги, свесив ноги в канаву. Когда их наконец впустили в контору, капитан услышал, что проверявший документы монах обратился к Стрикленду по-английски. Но капитану не удалось заговорить с ним: как только их впустили в общую комнату, туда тотчас же явился монах с громадной Библией и с кафедры, стоявшей в конце помещения, начал проповедь, которую эти несчастные должны были слушать в уплату за то, что их здесь приютили. Капитан и Стрикленд были назначены в разные спальни, а в пять часов утра, когда дюжий монах объявил подъем и капитан заправлял свою койку и умывался, Стрикленд уже исчез. Капитан около часу пробродил по улицам, дрожа от холода, а потом отправился на площадь Виктора Желю, где обычно собирались безработные матросы. Там он опять увидел Стрикленда, дремлющего у пьедестала памятника. Он разбудил его пинком.

— Пошли, браток, завтракать!

— Иди ко всем чертям, — отвечал Стрикленд.

Я узнал лаконичный стиль Стрикленда и решил, что свидетельству капитана Николса можно верить.

— Сидишь на мели? — спросил капитан.

— Проваливай, — сказал Стрикленд.

— Пойдем со мной, я тебе раздобуду завтрак.

Поколебавшись секунду-другую, Стрикленд встал, и они пошли в столовую «Ломоть хлеба», где голодным и вправду давали по куску хлеба с условием, что он будет съеден на месте: «навынос» хлеб не выдавался. Оттуда они двинулись в «Ложку супа», там в одиннадцать утра и в четыре дня бедняки получали по тарелке жидкой соленой похлебки. Столовые эти находились в разных концах города, так что только вконец изголодавшийся человек мог соблазниться таким завтраком. С этого началась своеобразная дружба Чарлза Стрикленда и капитана Николса.

Они провели в Марселе месяца четыре. Жизнь их текла без всяких приключений, если под приключением понимать неожиданные и яркие происшествия, ибо они с утра до вечера были заняты поисками заработка, которого хватило бы на оплату койки в ночлежном доме и на кусок хлеба, достаточный, чтобы заглушить муки голода. Мне бы очень хотелось воспроизвести здесь те характерные и красочные картины, которые развертывались передо мною в передаче капитана Николса. Оба они такого навидались за время своей жизни «на дне» большого портового

города, что из этого получилась бы преинтересная книжка, а разговоры действующих лиц в рассказе капитана Николса могли бы послужить отличным материалом для составления полного словаря блатного языка. Но, к сожалению, я могу привести здесь лишь отдельные эпизоды. Начнем с того, что это было примитивное, грубое, но не унылое существование. И Марсель, который я знал, Марсель оживленный и солнечный, с комфортабельными гостиницами и ресторанами, наполненными сытой толпой, стал казаться мне банальным и серым. Я завидовал людям, которые собственными глазами видели все то, что я только слышал из уст капитана Николса.

После того как двери ночлежного дома закрылись перед ними, они оба решили прибегнуть к гостеприимству некоего Строптивого Билла. Это был хозяин матросской харчевни, рыжий мулат с тяжеленными кулаками, который давал приют и пищу безработным матросам и сам же подыскивал им места. Стрикленд и Николс прожили у него, наверно, с месяц, спали на полу вместе с другими матросами — шведами, неграми, бразильцами — в двух совершенно пустых комнатах, отведенных хозяином для своих постояльцев, и каждый день отправлялись вместе

с ним на площадь Виктора Желю, куда приходили капитаны пароходов в поисках рабочей силы. Строптивый Билл был женат на толстой обрюзгшей американке, бог весть каким образом дошедшей до такой степени падения, и его постояльцам вменялось в обязанность поочередно помогать ей по хозяйству. Капитан Николс считал, что Стрикленд ловко увильнул от этой работы, написав портрет Билла. Последний не только уплатил за холст, краски и кисти, но еще дал Стрикленду в придачу фунт контрабандного табаку. Полагаю, что эта картина и по сей день украшает гостиную полуразрушенного домишка неподалеку от набережной и теперь наверняка стоит полторы тысячи фунтов. Стрикленд мечтал поступить на какое-нибудь судно, идущее к берегам Австралии или Новой Зеландии, и уже оттуда пробраться на Самоа или на Таити. Почему Стрикленда потянуло в Южные моря, не знаю, но, помнится, ему давно представлялся остров, зеленый и солнечный, среди моря, более синего, чем моря северных широт. Он, наверно, и привязался к капитану Николсу потому, что тот знал эти далекие края. Мысль отправиться именно на Таити тоже исходила от Николса.

— Таити ведь принадлежит французам, —

пояснил мне капитан, — а французы не такие чертовские формалисты, как англичане.

Я понял, что он имеет в виду.

У Стрикленда не было нужных бумаг, но подобные пустяки Билла не смущали, когда можно было хорошо подработать (он забирал у матросов, которых устраивал на корабль, жалованье за весь первый месяц). Итак, он снабдил Стрикленда документами одного английского кочегара, весьма кстати умершего у него в харчевне. Но оба они, и капитан Николс, и Стрикленд, рвались на восток, а работа, как назло, представлялась только на пароходах, идущих на запад. Стрикленд дважды отказался от места на судах, отправляющихся в Соединенные Штаты, и в третий раз — на угольщике, идущем в Ньюкасл. Строптивый Билл не терпел упрямства, из-за которого мог остаться внакладе, и без всяких церемоний вышвырнул обоих из своего заведения. Они снова сели на мель.

Еда у Строптивого Билла не отличалась роскошеством, из-за стола его нахлебники вставали почти такими же голодными, как и садились за него, и все-таки Стрикленд и Николс в течение нескольких дней с нежностью вспоминали об этих обедах. «Ложка супа» и ночлежный дом

были закрыты для них, и они поддерживали свое существование только тем, на что расщедривался «Ломоть хлеба». Спали они где придется: в товарных вагонах на запасных путях или под повозками у пакгауза, но холод стоял лютый, и, продремав часа два, они начинали бегать по улицам. Больше всего оба страдали без табаку, и капитан отправлялся «на охоту» к пивному заведению — подбирать окурки папирос и сигар, брошенные вечерними посетителями.

— Я бог знает чем набивал свою трубку, — заметил капитан, меланхолически пожимая плечами, и взял из ящика, который я ему пододвинул, сразу две сигары: одну он сунул в рот, другую — в карман.

Временами им удавалось зашибить немножко денег. Когда приходил почтовый пароход, они работали на его разгрузке, так как капитан Николс ухитрился завязать знакомство с боцманом. Иногда они хитростью проникали на бак английского парохода, и команда угощала земляков сытным завтраком. При этом они рисковали наткнуться на корабельное начальство и кубарем скатиться по трапу да еще получить пинок вдогонку.

— Ну, да пинок в зад — беда небольшая, если брюхо полно, — заметил капитан Николс, — и

лично я на это дело не обижался. Начальству положено наблюдать за дисциплиной.

Я живо представил себе, как капитан Николс вверх тормашками летит по узенькому трапу и, будучи истым англичанином, восхищается дисциплиной английского торгового флота.

Чаще всего они промышляли на рыбном рынке, а как-то раз получили по франку за погрузку на товарную платформу неисчислимого количества ящиков с апельсинами, сваленных у причала. Однажды им сильно повезло: знакомый «хозяин» взял подряд на покраску судна, которое прибыло с Мадагаскара, обогнув мыс Доброй Надежды, и они несколько дней кряду провисели в люльке, нанося слой краски на его заржавленные борта. Положение это, безусловно, должно было вызвать сардонические реплики Стрикленда. Я спросил Николса, как вел себя Стрикленд во время всех этих испытаний.

— Ни разу не слыхал, чтобы он хоть выругался, — отвечал капитан. — Иногда он, конечно, хмурился, но, если у нас с утра до вечера маковой росинки во рту не бывало и нечем было заплатить китаезе за ночлег, он только посмеивался.

Меня это не удивило. Стрикленд никогда не падал духом от неблагоприятных обстоятельств,

но было ли то следствием невозмутимости характера или гордости, судить не берусь.

«Головой китаезы» портовый сброд прозвал грязный притон на улице Бутери; его содержал одноглазый китаец, и там за шесть су можно было получить койку, а за три выспаться на полу. Здесь оба они завели себе друзей среди таких же горемык и, когда у них не было ни гроша, а на дворе стояла стужа, не стесняясь, брали у них взаймы несколько су из случайно заработанного франка, чтобы оплатить ночлег. Эти бродяги, не задумываясь, делились последним грошом с такими же, как они. В марсельский порт стекались люди со всего света, но различие национальностей не служило помехой доброй дружбе, все они чувствовали себя свободными гражданами единой страны — великой страны Кокейн.

— Но зато рассвирепевший Стрикленд бывал страшен, — задумчиво процедил капитан Николс. — Как-то раз мы зашли в логово Строптивого Билла, и тот спросил у Чарли документы, которыми когда-то ссудил его.

— А ну, возьми, попробуй! — сказал Чарли.

Строптивый Билл был здоровенным детиной, но вид Чарли ему не понравился, и он стал на все лады честить его. А когда Билл ругался, его, право

же, небезынтересно было послушать. Чарли терпел-терпел, а затем шагнул вперед и сказал: «Вон отсюда, скотина!» Тут важно не что он сказал, а как сказал! Билл ни слова ему не ответил, пожелтел весь и смотался так быстро, точно спешил на свидание.

В передаче капитана Николса Стрикленд обозвал Билла вовсе не «скотиной», но, поскольку эта книга предназначена для семейного чтения, я, в ущерб точности, решил вложить в уста Стрикленда слова, принятые в семейном кругу.

Но не таков был Строптивый Билл, чтобы стерпеть унижение от простого матроса. Его власть зависела от престижа, и прошел слух, что он поклялся прикончить Стрикленда.

Однажды вечером капитан Николс и Стрикленд сидели в кабачке на улице Бутери. Это узкая улица, застроенная одноэтажными домишками — по одной комнате в каждом, похожими не то на ярмарочные балаганы, не то на клетки в зверинце. У каждой двери там стоят женщины. Одни, лениво прислонившись к косяку, мурлычут какую-то песенку, хриплыми голосами зазывают прохожих, другие молча читают. Есть здесь француженки, итальянки, испанки, японки и темнокожие. Есть худые и толстые. Густой слой

белил, подведенные брови, ярко-красные губы не скрывают следов, оставленных временем и развратом. Некоторые из этих женщин одеты в черные «рубашки» и телесного цвета чулки; на других короткие муслиновые платьица, как у девочек, а крашеные волосы завиты в мелкие кудряшки. Через открытую дверь виднеется пол, выложенный красным кафелем, широкая деревянная кровать, кувшин и таз на маленьком столике. Пестрая толпа слоняется по улице — индийцы-матросы, белокурые северяне со шведского парусника, японцы с военного корабля, английские моряки, испанцы, щеголеватые молодые люди с французского туристического парохода, негры с американских торговых судов.

Днем улица Бутери грязна и убога, но по ночам, освещенная только лампами в окнах хибарок, она красива какой-то зловещей красотой. Омерзительная похоть, пронизывающая воздух, гнетет и давит, и тем не менее есть что-то таинственное в этой картине, что-то тревожное и захватывающее. Все здесь насыщено первобытной силой; она внушает отвращение и в то же время очаровывает. Могучим потоком снесены условности цивилизации, и люди на этой улице стоят лицом к лицу с сумрачной действительностью. Атмо-

сфера напряженная и трагическая.

В кабачке, где сидели Стрикленд и Николс, пианола громко отбарабанивала танцы. По стенам за столиками расселись пьяные в дым матросы и несколько человек солдат; посредине, сбившись в кучу, танцевали пары. Бородатые загорелые моряки с большими мозолистыми руками крепко прижимали к себе девиц, на которых не было ничего, кроме рубашки. Случалось, что два матроса вставали из-за столика и шли танцевать в обнимку. Шум стоял оглушительный. Посетители пели, ругались, хохотали. Когда какой-нибудь мужчина долгим поцелуем впивался в сидящую у него на коленях девицу, английские матросы оглушительно мяукали. Воздух был тяжелый от пыли, поднимаемой сапогами мужчин, и сизый от табачного дыма. Жара стояла отчаянная. Женщина, сидевшая за стойкой, кормила грудью ребенка. Официант, низкорослый парень с прыщавым лицом, носился взад и вперед с подносом, уставленным кружками пива.

Вскоре туда явился Строптивый Билл в сопровождении двух дюжих негров; с первого взгляда можно было определить, что он уже основательно хлебнул. Он тотчас же стал напрашиваться на скандал. Толкнул столик, за которым сидело трое

солдат, и опрокинул кружку пива. Началась свара, хозяин вышел и предложил Биллу убираться вон. Малый он был здоровенный, скандалов в своем заведении не терпел, и Билл заколебался. Связываться с кабатчиком не имело смысла, полиция всегда была на его стороне; итак, Билл крепко выругался и пошел к двери. Но тут ему на глаза попался Стрикленд. Ни слова не говоря, он ринулся к его столику и плюнул ему в лицо. Стрикленд швырнул в него пивной кружкой. Танцующие остановились. На мгновение воцарилась полная тишина, но, когда Строптивый Билл бросился на Стрикленда, всех до одного охватила жажда драки, и началась свалка. Столы опрокидывались, осколки летели на пол. Шум поднялся адский. Женщины врассыпную бросились на улицу и за стойку. Прохожие вбегали и вмешивались в потасовку. Теперь уже слышались проклятия на всех языках, удары, вопли; посреди комнаты в яростный клубок сцепились человек десять матросов. Откуда ни возьмись явилась полиция, и все, кто мог, постарались улизнуть. Когда зал был очищен, на полу без сознания остался лежать Строптивый Билл с глубокой раной на голове. Капитан Николс выволок на улицу Стрикленда, рука у него была ранена, лицо и изодранная

одежда — в крови; Николсу разбили нос.

— Лучше тебе смотаться из Марселя, покуда Билл не вышел из больницы, — сказал он Стрикленду, когда они уже добрались до «Головы китаезы» и по мере возможности приводили себя в порядок.

— Это, пожалуй, почище петушиного боя, — заметил Стрикленд.

При этих словах мне сразу представилась его сардоническая улыбка.

Капитан Николс был в тревоге. Он хорошо знал мстительность Строптивого Билла. Стрикленд дважды одолел мулата, а когда Билл трезв, с ним лучше не связываться. Он теперь будет действовать исподтишка. Торопиться он не станет, но в одну прекрасную ночь Стрикленд получит удар ножом в спину, а через день-два тело неизвестного бродяги будет выловлено из грязной воды в гавани. На следующий день капитан отправился на разведку к дому Строптивого Билла. Он еще лежал в больнице, но жена, которая ходила его навещать, сказала, что он поклялся убить Стрикленда, как только вернется домой.

Прошла целая неделя.

— Я всегда говорил, — задумчиво продолжал капитан Николс, — что если уж ты дал тумака,

то пусть это будет основательный тумак. Тогда у тебя по крайней мере хватит времени поразмыслить о том, что делать дальше.

Но Стрикленду вдруг повезло. В бюро по найму матросов поступила заявка — на пароход, идущий в Австралию, срочно требовался кочегар, так как прежний в приступе белой горячки бросился в море возле Гибралтара.

— Беги скорей в гавань и подписывай контракт, — сказал капитан Николс. — Бумаги у тебя, слава Богу, есть.

Стрикленд последовал его совету, и больше они не виделись. Пароход простоял в гавани всего шесть часов, и вечером, когда он уже рассекал студеные волны, капитан увидел на востоке исчезающий дымок.

Я старательно изложил все слышанное от капитана потому, что меня привлек контраст между этими событиями и той жизнью, которой при мне жил Стрикленд на Эшли-Гарденз, занятый биржевыми операциями. Но, с другой стороны, я знаю, что капитан Николс — отъявленный враль и, возможно, в его рассказе нет ни слова правды. Я бы не удивился, узнав, что он никогда в жизни не видел Стрикленда и что все его описания Марселя вычитаны из иллюстрированных журналов.

Глава сорок восьмая

На этом я предполагал закончить свою книгу. Сперва мне хотелось описать последние годы Стрикленда на Таити и его страшную кончину а затем обратиться вспять и познакомить читателей с тем, что мне было известно о его первых шагах как художника. И не потому, что так мне заблагорассудилось, а потому, что я сознательно хотел расстаться со Стриклендом в пору, когда он с душою, полной смутных грез, покидал Европу для неведомого острова, давно уже дразнившего его воображение. Мне нравилось, что этот человек в сорок семь лет, то есть в возрасте, когда другие живут налаженной, размеренной жизнью, пустился на поиски нового света. Я уже видел серое море, вспененное мистралем, и пароход; с борта его Стрикленд смотрит, как скрываются вдали берега Франции, на которые ему не суждено вернуться; и я думал, что много все-таки бесстрашия было в его сердце. Я хотел, чтобы конец моей книги был оптимистическим. Как это подчеркнуло бы несгибаемую силу человеческой души! Но ничего у меня не вышло. Не знаю почему, повесть моя не желала строиться, и

после нескольких неудачных попыток я отказался от этого замысла, начал, как положено, книгу сначала и решил рассказать читателю только то, что я знал о жизни Стрикленда, последовательно излагая факты.

Но в моем распоряжении были лишь самые отрывочные сведения. Я оказался в положении биолога, которому по одной кости предстоит восстановить не только внешний вид доисторического животного, но и его жизненный уклад. Стрикленд не произвел сильного впечатления на людей, которые соприкасались с ним на Таити. Для них он был просто бродяга без гроша за душой, отличавшийся от других бродяг разве тем, что малевал какие-то чудные картины. И лишь через несколько лет после его смерти, когда на остров из Парижа и Берлина съехались агенты крупных торговцев картинами в надежде, что там еще можно будет разыскать кое-что из творений Стрикленда, они стали догадываться, что среди них жил человек весьма недюжинный. Тут их осенило, что они за медный грош могли купить полотна, которые стоили теперь огромных денег, и они очень сокрушались об упущенных возможностях. Среди жителей Папеэте, знавших Стрикленда, был один французский еврей

по имени Коэн, у которого случайно оказалась картина Стрикленда. Маленький старичок с добродушными глазками и приветливой улыбкой, наполовину торговец, наполовину моряк, он курсировал на собственной шхуне между Паумоту и Маркизскими островами, привозя туда всевозможные товары и взамен забирая копру, перламутр и жемчуг. Мне сказали, что он собирается недорого продать большую черную жемчужину, и я пошел к нему; когда же выяснилось, что жемчужина мне все равно не по карману, я заговорил с ним о Стрикленде. Старик хорошо знал его.

— Я, видите ли, интересовался им, потому что он был художник. У нас на островах художник — редкость, и я очень жалел его за то, что он так слаб в своем ремесле. Я первый дал ему работу. У меня есть плантация на полуострове, и туда требовался надсмотрщик. От туземцев ведь работы не добьешься, если над ними нет белого надсмотрщика. Я ему сказал: «У вас останется куча времени, чтобы писать картины, и денег немножко подработаете». Я знал, что он голодает, и предложил ему хорошее жалованье.

— Не думаю, чтобы он был хорошим надсмотрщиком, — улыбнулся я.

— Я смотрел на это сквозь пальцы, потому что всегда любил художников. Это ведь у нас в крови. Но он прослужил у меня всего два или три месяца и ушел, как только заработал денег на холст и краски. Он восхищался здешней природой, и его опять потянуло бродяжничать. Но я иногда продолжал с ним встречаться. Он изредка наведывался в Папеэте и по нескольку дней жил там, а потом, если ему удавалось достать у кого-нибудь денег, опять исчезал. В один из таких наездов он пришел ко мне и попросил взаймы двести франков. Вид у него был такой, словно он не ел целую неделю, и у меня не хватило духу ему отказать. На этих деньгах я, конечно, поставил крест. И вдруг через год он является и приносит мне картину. Он словом не обмолвился о долге, а только сказал: «Вот вам вид вашей плантации, я его написал для вас». Я взглянул на нее и не знал, что сказать, но, конечно, поблагодарил, а когда он ушел, я показал ее жене.

— Что же это была за картина? — спросил я.

— Лучше не спрашивайте. Я в ней ровно ничего не понял, так как отродясь подобного не видывал. «Что нам с ней делать?» — сказал я жене. «О том, чтобы повесить ее, нечего и думать, — отвечала она, — люди будут смеяться над нами». Она снес-

ла картину на чердак, где у нас лежала пропасть всякого хлама, потому что моя жена не в состоянии выбросить ни одной вещи. Это ее мания. Можете себе представить мое изумление, когда перед самой войной брат написал мне из Парижа: «Не знаешь ли ты чего-нибудь об английском художнике, который жил на Таити? Оказалось, что он гений и его картины идут по очень высокой цене. Постарайся разыскать что-нибудь из его вещей и пришли мне. Можно хорошо заработать». Я спрашиваю жену, как насчет картины, которую мне подарил Стрикленд? Может, она все еще на чердаке? «Конечно, на чердаке, — говорит жена, — ты же знаешь, что я никогда ничего не выбрасываю, это моя мания». Мы с ней полезли на чердак и среди бог знает какого хлама, накопившегося за тридцать лет нашей жизни в этом доме, разыскали картину. Я опять смотрю на нее и говорю: «Ну кто бы мог подумать, что надсмотрщик с моей плантации, которому я дал взаймы двести франков, окажется гением? Скажи на милость, что хорошего в этой картине?» — «Не знаю, — отвечала она, — на нашу плантацию это нисколько не похоже, и кокосовых пальм с синими листьями я никогда не видала. Но они там все с ума посходили в Париже и, может, твоему брату

удастся продать ее за двести франков, которые тебе задолжал Стрикленд». Сказано — сделано. Мы запаковали и отправили картину. В скором времени пришло письмо от брата. И что же, вы думаете, он написал? «Получив твою картину, я сначала решил, что тебе вздумалось надо мной подшутить. Я бы лично не дал за нее и того, что стоила пересылка. Я даже боялся показать ее тому человеку, который надоумил меня послать тебе запрос. Можешь себе представить, как я был удивлен, когда он объявил, что это замечательное произведение искусства, и предложил мне тридцать тысяч франков. Он, может быть, дал бы и больше, но я, откровенно говоря, совсем обалдел и согласился, не успев даже собраться с мыслями».

И затем мосье Коэн сказал нечто совершенно очаровательное:

— Как жаль, что бедняга Стрикленд не дожил до этого дня. Воображаю его удивление, когда я бы вручил ему за его картину двадцать девять тысяч восемьсот франков.

Глава сорок девятая

Я жил в «Отель де ля флёр», и хозяйка его, миссис Джонсон, поведала мне печальную историю о том, как она прозевала счастливый случай. После смерти Стрикленда часть его имущества продавалась с торгов на рынке в Папеэте. Миссис Джонсон отправилась на торги, потому что среди его вещей была американская печка, которую ей хотелось приобрести. В конце концов она и купила ее за двадцать семь франков.

— Там было еще штук десять картин, да только без рам, — рассказывала она, — и никто на них не льстился. Некоторые пошли за десять франков, а большинство за пять или за шесть. Подумать только, если бы я их купила, я бы теперь была богатой женщиной.

Нет, Тиаре Джонсон ни при каких обстоятельствах не стала бы богатой женщиной. Деньги текли у нее из рук. Она была дочерью туземки и английского капитана, обосновавшегося на Таити. Когда я с ней познакомился, ей было лет пятьдесят, но выглядела она старше — прежде всего из-за своих громадных размеров. Высокая и страшно толстая, она казалась бы величествен-

ной, если б ее лицо способно было выразить что-нибудь, кроме добродушия. Руки ее напоминали окорока, грудь — гигантские кочны капусты; лицо миссис Джонсон, широкое и мясистое, почему-то казалось неприлично голым, а громадные подбородки переходили один в другой — сколько их было, сказать не берусь: они утопали в ее бюсте. Она с утра до вечера ходила в розовом капоте и широкополой соломенной шляпе. Но когда она распускала свои темные, длинные и вьющиеся волосы, а делала она это нередко, потому что они составляли предмет ее гордости, то ими нельзя было не залюбоваться, и глаза у нее все еще оставались молодыми и задорными. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь смеялся заразительнее, чем она. Смех ее, начавшись с низких раскатов где-то в горле, становился все громче и громче, причем сотрясалось все ее огромное тело. Превыше всего на свете она ставила веселую шутку, стакан вина и красивого мужчину. Знакомство с нею было истинным удовольствием.

Лучшая повариха на острове, Тиаре обожала вкусно покушать. С утра до поздней ночи восседала она в кухне на низеньком стуле, вокруг нее суетились повар-китаец и три девушки-тузем-

ки, а она отдавала приказания, весело болтала со всеми и пробовала пикантные кушанья собственного изобретения. Если ей хотелось почтить кого-нибудь из друзей, она собственноручно стряпала обед. Гостеприимство ее не знало границ, и не было человека на острове, который ушел бы без обеда из «Отель де ля флёр», пока в ее кладовой были хоть какие-нибудь припасы. Тиаре никогда не выгоняла постояльцев, не плативших по счетам, надеясь, что со временем дела их поправятся и они отдадут свой долг. Один из них попал в беду, и она в течение многих месяцев ничего с него не спрашивала за стол и квартиру, а когда в китайской прачечной отказались бесплатно стирать ему, она стала отдавать в стирку его белье вместе со своим. «Нельзя же, чтоб бедный малый разгуливал в грязных рубашках», — говорила Тиаре, а поскольку он был мужчина — мужчины же должны курить, — то она ежедневно выдавала ему по франку на папиросы. При этом она была с ним ничуть не менее обходительна, чем с другими постояльцами.

Годы и тучность сделали ее неспособной к любви, но она с живейшим интересом вникала в любовные дела молодежи. Любовь, по ее убеждению, была естественнейшим занятием для

мужчин и женщин, и в этой области она всегда охотно давала советы и указания на основе своего обширного опыта.

— Мне еще пятнадцати не было, когда отец узнал, что у меня есть возлюбленный, третий помощник капитана с «Тропической птицы». Настоящий красавчик.

Она вздохнула. Говорят, женщины всегда с нежностью вспоминают своего первого возлюбленного, — но всегда ли им удается вспомнить, кто был первым?

— Мой отец был умный человек.

— И что же он сделал? — полюбопытствовал я.

— Сначала избил меня до полусмерти, а потом выдал за капитана Джонсона. Я не противилась. Конечно, он был старше меня, но тоже красавец собою.

Тиаре — отец назвал ее по имени душистого белого цветка (таитяне говорят, что если человек хоть раз услышит его аромат, то непременно вернется на Таити, как бы далеко он ни уехал), — Тиаре хорошо помнила Стрикленда.

— Иногда он заглядывал к нам, а кроме того, я часто видела его на улицах Папеэте. Я так его жалела — тощий, всегда без денег. Бывало, стоит мне услышать, что он в городе, и я сейчас же

посылала боя звать его обедать. Раз-другой я даже раздобыла для него работу, но он как-то ни к чему не мог прилепиться. Пройдет немного времени, его опять уже тянет в лес — и он исчезает.

Стрикленд добрался до Таити через полгода после того, как покинул Марсель. Проезд свой он заработал матросской службой на судне, совершавшем рейсы между Оклендом и Сан-Франциско, и высадился на берег с этюдником, мольбертом и дюжиной холстов. В кармане у него было несколько фунтов стерлингов, заработанных в Сиднее. Высадившись на Таити, он, видимо, сразу почувствовал себя дома. Стрикленд поселился у туземцев в маленьком домишке за городом.

По словам Тиаре, он как-то сказал ей:

— Я мыл палубу, и вдруг один матрос говорит мне: «Вот и пришли!» Я поднял глаза, увидал очертания острова и мигом понял — это то самое место, которое я искал всю жизнь. Когда мы подошли ближе, мне показалось, что я узнаю его. Мне и теперь случается видеть уголки, как будто давно знакомые. Я готов голову дать на отсечение, что когда-то уже жил здесь.

— Это случается, — заметила Тиаре, — я знавала людей, которые сходили на берег на несколько

часов, покуда пароход грузится, и никогда не возвращались домой. А другие приезжали сюда служить на один год и всячески поносили Таити, потом они уезжали и клялись, что лучше повесятся, чем снова приедут сюда. А через несколько месяцев мы снова встречали их на пристани, и они говорили, что уже нигде больше не находят себе места.

Глава пятидесятая

Мне думается, что есть люди, которые родились не там, где им следовало родиться. Случайность забросила их в тот или иной край, но они всю жизнь мучаются тоской по неведомой отчизне. Они чужие в родных местах, и тенистые аллеи, знакомые им с детства, равно как и людные улицы, на которых они играли, остаются для них лишь станцией на пути. Чужаками живут они среди родичей; чужаками остаются в родных краях. Может быть, эта отчужденность и толкает их вдаль, на поиски чего-то постоянного, чего-то, что сможет привязать их к себе. Может быть, какой-то глубоко скрытый атавизм гонит этих вечных странников в края, оставленные их предками давно-давно, в доисторические времена. Случается, что человек вдруг ступает на ту землю, к которой он привязан таинственными узами. Вот наконец дом, который он искал, его тянет осесть среди природы, ранее им не виданной, среди людей, ранее не знаемых, с такою силой, точно это и есть его отчизна. Здесь, и только здесь, он находит покой.

Я рассказал Тиаре историю одного человека, с

которым я познакомился в лондонской больнице Святого Фомы. Это был еврей по имени Абрахам, белокурый, плотный молодой человек, нрава робкого и скромного, но на редкость одаренный. Медицинская школа дала ему стипендию, и все пять лет учения он был лучшим студентом. Затем Абрахам был оставлен при больнице как хирург и терапевт. Блистательные его таланты признавались всеми. Вскоре он получил постоянную должность, будущее его было обеспечено. Если вообще можно что-нибудь с уверенностью предрекать человеку, то уж Абрахаму, конечно, можно было предречь самую блестящую карьеру. Его ждали почет и богатство. Прежде чем приступить к своим новым обязанностям, он решил взять отпуск, а так как денег у него не было, то он поступил врачом на пароход, отправлявшийся в страны Леванта; там не очень-то нуждались в судовом враче, но один из ведущих хирургов больницы был знаком с директором пароходной линии — словом, все отлично устроилось.

Через месяц или полтора Абрахам прислал в дирекцию письмо, в котором сообщал, что никогда не вернется в больницу. Это вызвало величайшее удивление и множество самых странных слухов. Когда человек совершает какой-нибудь неожи-

данный поступок, таковой обычно приписывают недостойным мотивам. Но очень скоро нашелся врач, готовый занять место Абрахама, и об Абрахаме забыли. О нем не было ни слуху ни духу.

Лет примерно через десять, когда экскурсионный пароход, на котором я находился, вошел в гавань Александрии, мне вместе с другими пассажирами пришлось подвергнуться врачебному осмотру. Врач был толстый мужчина в потрепанном костюме; когда он снял шляпу, я заметил, что у него совершенно голый череп. Мне показалось, что я с ним где-то встречался. И вдруг меня осенило.

— Абрахам, — сказал я.

Он в недоумении оглянулся, узнал меня, горячо потряс мне руку. После взаимных возгласов удивления, узнав, что я собираюсь заночевать в Александрии, он пригласил меня обедать в Английский клуб. Вечером, когда мы встретились за столиком, я спросил, как он сюда попал. Должность он занимал весьма скромную и явно находился в стесненных обстоятельствах. Абрахам рассказал мне свою историю. Уходя в плавание по Средиземному морю, он был уверен, что вернется в Лондон и приступит к работе в больнице Святого Фомы. Но в одно прекрасное

утро его пароход подошел к Александрии, и Абрахам с палубы увидел город, сияющий белизной, и толпу на пристани; увидел туземцев в лохмотьях, суданских негров, шумливых, жестикулирующих итальянцев и греков, важных турок в фесках, яркое солнце и синее небо. Тут что-то случилось с ним, что именно, он не мог объяснить. «Это было как удар грома, — сказал он и, не удовлетворенный таким определением, добавил: — Как откровение». Сердце его сжалось, затем возликовало — и сладостное чувство освобождения пронзило Абрахама. Ему казалось, что здесь его родина, и он тотчас же решил до конца дней своих остаться в Александрии. На судне ему особых препятствий не чинили, и через двадцать четыре часа он со всеми своими пожитками сошел на берег.

— Капитан, верно, принял вас за сумасшедшего, — смеясь, сказал я.

— Мне было все равно, что обо мне думают. Это действовал не я, а какая-то необоримая сила во мне. Я решил отправиться в скромный греческий отель и вдруг понял, что знаю, где он находится. И правда, я прямо вышел к нему и тотчас же его узнал.

— Вы бывали раньше в Александрии?

— Я до этого никогда не выезжал из Англии.

Он скоро поступил на государственную службу в Александрии, да так и остался на этой должности.

— Жалели вы когда-нибудь о своем поступке?

— Никогда, ни на одну минуту. Я зарабатываю достаточно, чтобы существовать, и я доволен. Я ничего больше не прошу у судьбы до самой смерти. И, умирая, скажу, что прекрасно прожил жизнь.

Я уехал из Александрии на следующий день и больше не думал об Абрахаме; но не так давно мне довелось обедать с другим старым приятелем, тоже врачом, неким Алеком Кармайклом, очень и очень преуспевшим в Англии. Я столкнулся с ним на улице и поспешил поздравить его с рыцарским званием, которое было ему пожаловано за выдающиеся заслуги во время войны. В память прошлых дней мы сговорились пообедать и провести вечер вместе, причем он предложил никого больше не звать, чтобы всласть наговориться. У него был великолепный дом на улице Королевы Анны, обставленный с большим вкусом. На стенах столовой я увидел прелестного Беллотто и две картины Зоффани, возбудившие во мне легкую зависть. Когда его жена, высокая

красивая женщина в платье из золотой парчи, оставила нас вдвоем, я, смеясь, указал ему на перемены, происшедшие в его жизни с тех пор, как мы были студентами-медиками. В те времена мы считали непозволительной роскошью обед в захудалом итальянском ресторанчике на Вестминстер-Бридж-роуд. Теперь Алек Кармайкл состоял в штате нескольких больниц и, надо думать, зарабатывал в год не менее десяти тысяч фунтов, а рыцарское звание было только первой из тех почетных наград, которые, несомненно, его ожидали.

— Да, мне жаловаться грех, — сказал он, — но самое странное, что всем этим я обязан счастливой случайности.

— Что ты имеешь в виду?

— Помнишь Абрахама? Вот перед кем открывалось блестящее будущее. В студенческие годы он во всем меня опережал. Ему доставались все награды и стипендии, на которые я метил. При нем я всегда играл вторую скрипку. Не уйди он из больницы, и он, а не я, занимал бы теперь это видное положение. Абрахам был гениальным хирургом. Никто не мог состязаться с ним. Когда его взяли в штат Святого Фомы, у меня не было никаких шансов остаться при больнице. Я бы сде-

лался просто практикующим врачом без всякой надежды выбиться на дорогу. Но Абрахам ушел, и его место досталось мне. Это была первая удача.

— Да, ты, пожалуй, прав.

— Счастливый случай. Абрахам — чудак. Он совсем опустился, бедняга. Служит чем-то вроде санитарного врача в Александрии и зарабатывает гроши. Я слышал, что он живет с уродливой старой гречанкой, которая наплодила ему с полдюжины золотушных ребятишек. Да, одного ума и способностей еще недостаточно. Характер — вот самое важное. Абрахам был бесхарактерный человек.

Характер? А я-то думал, надо иметь очень сильный характер, чтобы после получасового размышления поставить крест на блестящей карьере только потому, что тебе открылся иной жизненный путь, более осмысленный и значительный. И какой же нужен характер, чтобы никогда не пожалеть об этом внезапном шаге! Но я не стал спорить, а мой приятель задумчиво продолжал:

— Конечно, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрахам так поступил. Я-то ведь на этом немало выиграл. — Он с удовольствием затянулся дорогой

сигарой. — Но не будь у меня тут личной заинтересованности, я бы пожалел, что даром пропал такой талант. Черт знает что, и надо же так исковеркать себе жизнь!

Я усомнился в том, что Абрахам исковеркал себе жизнь. Разве делать то, к чему у тебя лежит душа, жить так, как ты хочешь жить, и не знать внутреннего разлада — значит исковеркать себе жизнь? И такое ли уж это счастье быть видным хирургом, зарабатывать десять тысяч фунтов в год и иметь красавицу жену? Мне думается, все определяется тем, чего ты ищешь в жизни, и еще тем, что ты спрашиваешь с себя и с других. Но я опять придержал язык, ибо кто я, чтобы спорить с рыцарем?

Глава пятьдесят первая

Когда я рассказал эту историю Тиаре, она похвалила меня за сдержанность, и последующие несколько минут мы работали молча — лущили горох. Но затем ее взгляд, всегда бдительный в кухонных делах, отметил какое-то упущение повара-китайца, вызвавшее в ней бурю негодования. Она излила на него целый поток брани. Китаец не остался в долгу, и разгорелась отчаянная перепалка. Они кричали на туземном языке — я знал на нем не больше десятка слов, — и так, что казалось, вот-вот начнется светопреставление; но мир внезапно был восстановлен, и Тиаре протянула повару сигарету. Они оба спокойно закурили.

— А вы знаете, что это я нашла ему жену? — вдруг сказала Тиаре, и все ее необъятное лицо расплылось в улыбке.

— Повару?

— Нет, Стрикленду.

— Но он был женат.

— Он мне так и сказал, но я отвечала, что та жена в Англии, а Англия на другом конце света.

— Это верно, — согласился я.

— Он появлялся в Папеэте каждые два или три месяца — словом, когда ему нужны были краски, табак и деньги, и бродил по улицам, точно бездомный пес. Я очень его жалела. У меня здесь была горничная девушка, ее звали Ата, моя дальняя родственница; родители у нее умерли, и я взяла ее жить к себе. Стрикленд иногда к нам захаживал — хорошенько пообедать или сыграть с боем в шахматы. Я заметила, что она на него поглядывает, и спросила, нравится ли он ей. Она сказала, что очень даже нравится. Вы же знаете этих девчонок, они всегда готовы пойти за белым человеком.

— Разве она была туземка? — спросил я.

— Да, чистокровная туземка. Так вот, после разговора с ней я послала за Стриклендом и сказала ему: «Пора тебе остепениться, Стрикленд. В твоем возрасте уже не пристало возиться с девчонками на набережной. Это дрянные девчонки, и ничего хорошего от них ждать не приходится. Денег у тебя нет, и ни на одной службе ты больше двух месяцев не продержался. Теперь тебя уже никто не возьмет на работу. Ты говоришь, что можешь просуществовать, живя в лесу то с одной, то с другой из местных женщин, благо они так охочи до белых мужчин, но это-то как раз белому

мужчине и не подобает. А теперь слушай меня внимательно, Стрикленд…»

Тиаре мешала французские слова с английскими, ибо одинаково бегло говорила на обоих языках, хотя и с певучим акцентом, не лишенным приятности. Слушая Тиаре, я думал, что так, наверно, говорила бы птица, умей она говорить по-английски.

— «Как ты насчет того, чтобы жениться на Ате? Она хорошая девочка, и ей всего семнадцать лет. Она привередница, не чета другим нашим девчонкам; капитан или первый помощник, ну это еще куда ни шло, но ни один туземец к ней не прикасался. Elle se respecte, vois-tu[20]. Эконом с «Оаху», когда был здесь в последний раз, сказал, что не видел на островах девушки красивее Аты. Ей пора обзавестись семьей, а кроме того, капитан и первые помощники тоже ведь любят разнообразие. Я у себя долго девушек не держу. У Аты есть клочок земли возле Таравао, у самого въезда на мыс, и при нынешних ценах на копру вы вполне проживете. Там есть дом, и ты будешь писать картины сколько твоей душе угодно. Ну как?»

---

[20] Примечания: 20
Она себя уважает, понимаешь (*фр.*).

Тиаре перевела дыхание.

— Вот тогда он мне и сказал про свою жену в Англии. «Бедный мой Стрикленд, — отвечала я, — у каждого мужчины где-нибудь есть жена, поэтому они и бегут к нам на острова. Ата — разумная девушка, и ей не нужны церемонии у мэра. Она протестантка, а протестанты, как тебе известно, смотрят на это иначе, чем католики». Тут он сказал: «А что думает сама Ата?» — «Ата, по-моему, к тебе неравнодушна, — заметила я. — За ней дело не станет. Позвать ее?» Он фыркнул как-то отрывисто и сердито, у него была такая манера, и я позвала Ату. Она знала, о чем я говорю с ним, плутовка; я краешком глаза видела, что она подслушивает, хотя она и делала вид, что гладит мою блузку. Ата подошла; она смеялась и немножко робела. Стрикленд, ни слова не говоря, смотрел на нее.

— Она была хорошенькая? — спросил я.

— Недурна. Да вы, наверно, видели ее на картинах. Стрикленд без конца ее писал, иногда в парео, а иногда и совсем голую. Да, она была очень недурна. И стряпать умела хорошо. Я сама ее выучила. Я вижу, что Стрикленд задумался, и говорю: «Ата получала у меня хорошее жалованье и принакопила деньжат, да еще капитаны и пер-

вые помощники иной раз давали ей, у нее теперь не одна сотня франков». Он потеребил свою рыжую бороду и улыбнулся. «Ну как, Ата, — сказал он, — гожусь я тебе в мужья?» Она ничего не отвечала, только хихикнула. «Я же говорю, милый мой Стрикленд, что девочка к тебе неравнодушна», — настаивала я. «Я буду бить тебя», — сказал Стрикленд, глядя на Ату. «А как иначе я узнаю, что ты меня любишь?» — ответила она.

Тиаре прервала свой рассказ, задумалась и потом сказала:

— Мой первый муж, капитан Джонсон, постоянно колотил меня. Он был настоящий мужчина. Красавец собой, высокий — шесть футов три дюйма, и пьяный никакого удержу не знал. В такие дни я ходила вся в синяках и кровоподтеках. Ох, как я плакала, когда он умер. Думала, что не переживу его. Но по-настоящему я узнала цену своей потери, только выйдя замуж за Джорджа Рейни. Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. В жизни у меня не было большего разочарования. Рейни тоже был видный мужчина. Ростом чуть пониже капитана Джонсона и с виду крепкий. Но только с виду. Спиртного он в рот не брал. Ни разу меня не ударил. Ему бы быть миссионером. Я крутила романы с офицерами

всех судов, которые заходили в нашу гавань, а Джордж Рейни ничего не замечал. Под конец мне стало невтерпеж, и я развелась с ним. Зачем нужен такой муж? Ужас, как некоторые мужчины обращаются с женщинами.

Я повздыхал вместе с Тиаре, прочувствованно заметил, что мужчины спокон веков были обманщиками, и попросил продолжать рассказ о Стрикленде.

— «Ладно, — сказала я ему, — спешить некуда. Обдумай все хорошенько. У Аты чудная комнатка во флигеле. Поживи с ней хотя бы месяц и проверь, понравится ли она тебе. Столоваться можешь у меня. А через месяц, если решишь жениться на ней, прямо переезжайте в ее дом и устраивайтесь». Он согласился. Ата продолжала работать по дому, а он ел у меня, как я и обещала. Кроме того, я научила Ату готовить несколько блюд, которые он любил. Писал он в то время мало, больше бродил по горам и купался. Часто сидел на берегу, не сводя глаз с лагуны, а под вечер ходил смотреть на остров Муреа или ловил рыбу. Любил он еще шататься в гавани и болтать с туземцами. Да, Стрикленд был славный, тихий малый. Каждый вечер после обеда они с Атой уходили во флигель. Я видела, что его уже тянет в

лес, и в конце месяца спросила, на что он решился. Он отвечал, что, если Ата согласна, он готов уйти с ней. Я устроила им свадебный обед, своими руками приготовила гороховый суп, омара à la portugaise[21], карри и салат из кокосовых орехов — кстати, вы, кажется, еще не пробовали у меня этого салата? Обязательно надо угостить вас, пока вы здесь. И на сладкое я подала им мороженое. А сколько мы выпили шампанского и потом еще ликеров! Я уж решила устроить пир на славу. После обеда мы танцевали в гостиной. Я еще так не разжирела тогда и до смерти любила танцевать.

Роль гостиной в «Отель де ля флёр» выполняла небольшая комната со старым пианино и аккуратно расставленной вдоль стен мебелью красного дерева, обитой тисненым бархатом. На круглых столиках лежали альбомы фотографий, а стены были украшены увеличенными фотографическими портретами Тиаре и ее первого мужа, капитана Джонсона. И хотя Тиаре была уже стара и толста, мы как-то раз скатали брюссельский ковер, позвали девушек, кое-кого из друзей Тиаре и устроили танцы, правда, под визгливые звуки граммофона. На веранде воздух был пропитан

[21] Примечания: 21
По-португальски (*фр.*).

приятным ароматом тиаре, и над нашими головами в безоблачном небе сиял Южный Крест.

Тиаре снисходительно улыбнулась, вспоминая былое веселье.

— Мы танцевали до трех часов, — продолжала она свой рассказ, — и спать пошли еще очень навеселе. Я сказала молодым, чтоб они, пока есть дорога, ехали на моей двуколке, дальше им надо было большой путь пройти пешком. Участок Аты находился далеко в горах, в ущелье. Они выехали на рассвете, и бой, которого я послала с ними, вернулся только на следующий день.

Да, так вот женился Стрикленд.

Глава пятьдесят вторая

Следующие три года были, наверно, самыми счастливыми в жизни Стрикленда. Домик Аты стоял в восьми километрах от большой дороги, опоясывавшей остров, и добираться к нему надо было по извилистой тропинке, осененной кронами пышных тропических деревьев. В этом бунгало из некрашеного дерева было всего две комнатки, рядом под навесом была устроена кухня. Все убранство дома состояло из нескольких циновок, служивших постелями, да качалки на веранде. Бананы с огромными растрепанными листьями, что похожи на изодранную одежду императрицы в изгнании, толпились вокруг. Была там еще и аллигаторова груша, и множество кокосовых пальм; кокосовые орехи — главный доход этих краев. Отец Аты насадил вокруг своего участка кротоновые кусты, и они росли теперь в буйном изобилии, словно ограда из веселых праздничных огней. Перед домом высилось манговое дерево, а по краям росчисти багряные цветы двух сросшихся тамариндов спорили с золотом кокосовых орехов.

Здесь жил Стрикленд, кормясь тем, что давала

земля, и лишь изредка наведываясь в Папеэте. Возле дома его и Аты протекала речка, в которой он купался. Случалось, что в нее заходили косяки морской рыбы. Тогда туземцы сбегались на берег, вооруженные острогами, и с шумом и криком вонзали их в огромных испуганных рыб, беспорядочно стремившихся назад, в море. Иногда Стрикленд ходил на мыс; он возвращался оттуда с омаром или с полной корзиной пестроперых рыбок, которых Ата жарила в кокосовом масле. Она стряпала еще и лакомое кушанье из крупных земляных крабов, то и дело попадающихся под ноги в тех краях. В горах росли дикие апельсины, и Ата время от времени отправлялась туда с несколькими женщинами из соседней деревушки и приходила домой, сгибаясь под тяжестью зеленых, сладких, пахучих плодов. Когда поспевали кокосовые орехи, родичи Аты (у нее, как и у всех туземцев, была пропасть родни) взбирались на деревья и сбрасывали вниз огромные зрелые плоды. Они вскрывали их и раскладывали на солнце сушиться. Затем вырезали копру и набивали ею мешки, женщины взваливали их на себя и несли к скупщику, в деревню у лагуны; в обмен они получали рис, мыло, мясные консервы и немножко денег. В деревне по случаю праздника

изредка закалывали свинью, тогда гости и хозяева наедались до тошноты, плясали и распевали религиозные песнопения.

Но дом Аты стоял на отшибе, а таитяне ленивы. Они любят кататься, любят судачить, но ходить пешком — это не для них; Стрикленд и Ата месяцами жили в полном одиночестве. Он писал картины, читал, а когда становилось темно, они сидели на веранде, курили и вглядывались в ночь. Потом у Аты родился ребенок, и бабка, принимавшая его, осталась жить у них. Вскоре к бабке явилась ее внучка, а вслед за ней какой-то юнец — никто толком не знал, чей он и откуда, — но он тоже, не чинясь, поселился в доме. И все они зажили вместе.

Глава пятьдесят третья

— Tenez, voilà le Capitaine Brunot[22], — сказала однажды Тиаре, когда я пытался придать слитность тому, что она рассказала мне о Стрикленде. — Он хорошо знал Стрикленда и бывал у него в доме.

Передо мной стоял француз, уже в летах, с окладистой черной бородой, в которой виднелась проседь, с загорелым лицом и большими блестящими глазами. Одет он был в белоснежный полотняный костюм. Я обратил на него внимание еще за завтраком, и А-Лин, китаец-бой, сказал мне, что он прибыл сегодня на пароходе с Паумоту. Тиаре познакомила нас, и он вручил мне визитную карточку, на которой стояло: «Рене Брюно» — и пониже: «Капитан дальнего плавания». Мы сидели на маленькой веранде возле кухни, и Тиаре занималась кройкой платья для одной из горничных девушек. Капитан подсел к нам.

— Да, я был хорошо знаком со Стриклендом, — сказал он. — Я большой любитель шахмат, а

---

[22] Примечания: 22
А вот и капитан Брюно (*фр.*).

Стрикленд всегда охотно играл. Я приезжал на Таити по делам раза три-четыре в год, и, если мне удавалось застать его в Папеэте, мы приходили играть в «Отель де ля флёр». Когда он женился, — капитан Брюно с улыбкой пожал плечами, — enfin[23], когда он стал жить с девушкой, которую ему подсунула Тиаре, он позвал меня к себе. — Капитан взглянул на Тиаре, и они оба рассмеялись. — Приблизительно через год, зачем и почему, уж не помню, я очутился в той части острова. Покончив с делами, я сказал себе: «Voyons, почему бы мне не навестить беднягу Стрикленда?» Я стал расспрашивать туземцев, не знают ли они чего о нем, и выяснил, что он живет в каких-нибудь пяти километрах от того места, где я был. Ну, я и отправился к нему. Никогда мне не забыть этого посещения. Я живу на атолле — это низкая полоска земли, которая окружает лагуну, и красота там значит — море и небо, изменчивые краски лагуны и стройность кокосовых пальм. Но место, где жил Стрикленд, — поистине то были райские кущи. Ах, если бы я мог описать всю прелесть этого уголка, спрятанного от мира, синее небо и пышно разросшиеся деревья! Это было какое-то

---

[23] Примечания: 23
Здесь: словом (*фр.*).

пиршество красок. Воздух благоухающий и прохладный. Нет, словами нельзя описать этот рай. И там он жил, не думая о мире и миром забытый. На европейский глаз все это, наверно, выглядело убого. Дом полуразрушенный и не слишком чистый. Когда я пришел, на веранде валялось несколько туземцев. Вы же знаете, они народ общительный. Один малый лежал, вытянувшись во весь рост, и курил, на нем не было ничего, кроме парео. (Парео — это длинный лоскут красного или синего ситца с белым узором. Туземцы обвязывают его вокруг бедер так, что впереди он спускается до колен.) Девушка лет пятнадцати плела шляпу из листьев пандануса, — продолжал капитан Брюно, — какая-то старуха, сидя на корточках, курила трубку. Затем я увидел Ату. Она кормила грудью новорожденного, другой ребенок, совершенно голый, играл у ее ног. Увидев меня, она крикнула Стрикленда, и он появился в дверях. На нем тоже не было ничего, кроме парео. Право же, мне не забыть эту фигуру: всклокоченные волосы, рыжая борода, широкая волосатая грудь. Ноги у него были сбитые, все в мозолях и царапинах: я понял, что он всегда ходит босиком. Он стал настоящим туземцем. Мне он, по-видимому, обрадовался и тотчас же велел Ате зарезать к обеду цыпленка.

Затем он потащил меня в дом показывать картину, над которой сейчас работал. В углу комнаты была навалена куча циновок, посредине стоял мольберт и на нем холст. Мне было жалко Стрикленда, и я купил у него по дешевке несколько картин для себя и для своих друзей во Франции. И хотя покупал я эти картины просто из сострадания, но постепенно полюбил их. Честное слово, мне в них виделась какая-то странная красота. Все считали меня сумасшедшим, а вот вышло-то, что я был прав. Я был первым его поклонником на островах.

Он бросил злорадный взгляд на Тиаре, которая снова, охая и ахая, принялась рассказывать о том, как на распродаже Стриклендова имущества она не обратила внимания на картины, а купила американскую печку за двадцать семь франков.

— И эти картины еще у вас? — полюбопытствовал я.

— Да, я держу их, покуда моя дочь не станет невестой. Тогда я их продам, а деньги пойдут ей в приданое.

Затем он продолжил рассказ о своем посещении Стрикленда.

— Никогда я не забуду этого вечера. Я думал пробыть у него не больше часа, но он настойчиво

просил меня остаться ночевать. Я колебался, мне, признаться, не очень-то нравился вид циновок, на которых мне предлагалось спать, но в конце концов согласился. Когда я строил себе дом на Паумоту, я месяцами спал на худшей постели, и над головой у меня были только ветки тропического кустарника; что же касается насекомых, то кожа у меня толстая и укусов не боится. Мы пошли на реку купаться, покуда Ата стряпала обед, а пообедав, сидели на веранде. Курили и болтали. Туземный юнец играл на концертино песенки, певшиеся в мюзик-холлах лет десять назад. Странно они звучали среди тропической ночи, за тысячи миль от цивилизованного мира. Я спросил Стрикленда, не тяготит ли его жизнь в глуши, среди всего этого народа. Нет, сказал он: ему удобно иметь модели под рукой. Вскоре туземцы, громко зевая, ушли спать, а мы с ним остались одни. Не знаю, как описать непроницаемую тишину этой ночи. На моем острове никогда не бывает такой полной тишины. У моря там стоит шорох мириад живых существ, и крабы, шурша, копошатся в песке. По временам слышно, как где-то в лагуне прыгнула рыба, или вдруг доносятся торопливые громкие всплески — это рыбы спасаются бегством от акулы. И надо всем

этим — извечный глухой шум прибоя. Но здесь ничто, ничто не нарушало тишины, и воздух был напоен ароматом белых ночных цветов. Так дивно хороша была эта ночь, что душа, казалось, не могла больше оставаться в темнице тела. Вы ясно чувствовали: вот-вот она унесется в горние страны, и даже смерть принимала здесь обличье друга.

Тиаре вздохнула.

— Ах, если бы мне было пятнадцать лет!

Тут она увидела кошку, крадущуюся к блюду с креветками на кухонном столе, проворно запустила книжкой ей вдогонку да еще излила на негодницу целый поток брани.

— Я спросил его, счастлив ли он с Атой. «Ата не пристает ко мне, — отвечал Стрикленд. — Она готовит мне пищу и смотрит за своими детьми. Она делает все, что я ей велю. И дает мне то, что я спрашиваю с женщины». — «И вы никогда не жалеете о Европе? Не скучаете по огням парижских или лондонских улиц, по друзьям, по людям, вам равным, или… que sais-je[24] — по театрам, газетам? Не хотите снова услышать, как омнибусы грохочут по булыжной мостовой?» Он долго мол-

---

[24] Примечания: 24
Да мало ли (*фр.*).

чал, потом ответил: «Я останусь здесь до самой смерти». — «Но неужто вам не бывает тоскливо, одиноко?» Он фыркнул: «Mon pauvre ami[25], вы, видно, не понимаете, что такое художник».

Капитан Брюно мягко улыбнулся, и в его темных добрых глазах появилось странное выражение.

— Стрикленд был несправедлив ко мне: я знаю, что такое мечты. И мне являлись видения. По-своему и я художник.

Мы умолкли, а Тиаре вытащила из своего объемистого кармана пачку папирос, дала нам по одной, и мы все трое закурили. Наконец Тиаре прервала молчание:

— Раз уж monsieur так интересуется Стрикленд ом, почему бы вам не свести его к доктору Кутра? Доктор мог бы рассказать кое-что о его болезни и смерти.

— Volontiers[26], — отвечал капитан, глядя на меня.

Я поблагодарил. Он вынул часы.

— Уже седьмой. Мы застанем его дома, если пойдем сейчас же.

---

[25] Примечания: 25
Мой бедный друг (*фр.*).

[26] Примечания: 26
С удовольствием (*фр.*).

Я встал без дальнейших церемоний, и мы двинулись по дороге к докторскому дому. Он жил в предместье, но так как и «Отель де ля флёр» находился на окраине, то мы быстро вышли за город. Широкую дорогу осеняли перечные деревья, по обе ее стороны простирались плантации кокосовых пальм и ванили. Птицы-пираты переговаривались среди пальмовых листьев. Проходя по каменному мосту, переброшенному через мелководную реку, мы остановились посмотреть на купающихся мальчишек. Они гонялись друг за дружкой, пронзительно крича и смеясь, их мокрые коричневые тела блестели на солнце.

Глава пятьдесят четвертая

Покуда мы шли, я думал о том, что в последнее время, когда я столько слышал о Стрикленде, невольно привлекло мое внимание. На этом далеком острове к нему, видимо, относились не с озлоблением, как в Англии, но, напротив, сочувственно и охотно мирились со всеми его выходками. Эти люди — туземцы и европейцы — считали его чудаком, но чудаки были им не внове. Они считали вполне естественным, что мир полон странных людей, которые совершают странные поступки. Они понимали, что человек не то, чем он хочет быть, но то, чем не может не быть. В Англии и во Франции Стрикленд был не к месту, а здесь находилось место для самых различных людей, не подходящих ни под какую мерку. Не то чтобы он на Таити стал добр, менее эгоистичен и груб, но оказался в условиях более благоприятных. Если бы он прожил здесь всю жизнь, то и считался бы не хуже людей. Здесь он получил то, чего не хотел, да и не ждал от своих соотечественников, — доброжелательное отношение.

Я попытался объяснить капитану Брюно, по-

чему все это удивляло меня, и он минуту-другую молчал.

— Ничего нет удивительного, — сказал он наконец, — что я доброжелательно относился к Стрикленду, ведь у нас, хотя мы, быть может, и не подозревали об этом, были общие стремления.

— Какое же, скажите на милость, могло быть общее стремление у столь различных людей, как вы и Стрикленд? — улыбаясь, спросил я.

— Красота.

— Понятие довольно широкое, — пробормотал я.

— Вы ведь знаете, что люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей любви. Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галере. Стриклендом владела страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь.

— Как странно, что вы это говорите! — воскликнул я. — Я давно думал, что Стрикленд был одержим бесом.

— Его страсть была — создать красоту. Она не давала ему покоя. Гнала из страны в страну. Демон в нем был беспощаден — и Стрикленд стал вечным странником, его терзала божественная ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды

так страстно, что готовы расшатать устои мира, лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд, только правду ему заменяла красота. Я чувствовал к нему лишь глубокое сострадание.

— И это тоже странно. Человек, которого Стрикленд жестоко оскорбил, однажды сказал мне, что чувствует к нему глубокую жалость. — Я немного помолчал. — Неужели вы впрямь нашли объяснение человеку, который всегда казался мне непостижимым? Как вам это пришло в голову?

Он с улыбкой повернулся ко мне.

— Разве я вам не говорил, что и я, на свой лад, был художником? Меня снедало то же желание, что и Стрикленда. Но для него средством выражения была живопись, а для меня сама жизнь.

И капитан Брюно рассказал мне историю, которую я должен повторить на этих страницах, ибо она, хотя бы по контрасту, кое-что добавляет к моему представлению о Стрикленде. Для меня лично она имеет еще и собственную прелесть.

Капитан Брюно, бретонец по рождению, служил во французском флоте. Женившись, он вышел в отставку и поселился в своем именьице под Кемпером, чтобы в тиши и покое прожить остаток своих дней, но из-за внезапного банкротства нотариуса, который вел его дела, остался

без гроша. Ни капитан Брюно, ни его жена не пожелали жить нищими там, где недавно занимали видное положение в обществе. В свое время капитан плавал в Южных морях и теперь решил там искать счастья.

Несколько месяцев он прожил в Папеэте, чтобы оглядеться и набраться опыта; затем на деньги, взятые взаймы у одного друга во Франции, купил островок из группы Паумоту. Это была узкая полоска земли вокруг лагуны, необитаемая и заросшая кустарником да дикой гуавой. Вместе с бесстрашной молодой женщиной, своею женой, и несколькими туземцами он высадился на этот островок и принялся за постройку дома и расчистку земли под плантацию кокосовых пальм. Это было двадцать лет назад, а теперь бесплодный остров стал цветущим садом.

— Раньше это был адский труд, и мы с женой выбивались из сил. Я вставал на заре, корчевал, строил, сажал, а ночью бросался на постель и засыпал как убитый. Моя жена работала наравне со мной. Потом у нас родились дети, сын и дочь. Мы с женой обучали их всему, что знали сами. Я выписал пианино из Франции, и она стала учить их музыке и английскому языку, а я — латыни и математике. Мы все вместе читали книги по

истории. Мои дети умеют управлять парусом. Плавают не хуже туземцев. Знают все о здешних краях. Деревья на моей плантации приносят щедрый урожай, и в лагуне есть перламутр. Сейчас я приехал на Таити покупать шхуну. Я могу добыть столько перламутра, что это не будет напрасным расходом, и кто знает, не удастся ли мне найти жемчуг. Там, где ничего не было, теперь все цветет. Я тоже создал красоту. Ах, вы не понимаете, что значит смотреть на высокие, крепкие деревья и думать: каждое посажено моими руками!

— Позвольте мне задать вам вопрос, который вы некогда задали Стрикленду. Неужели вы никогда не жалеете о Франции и своем старом доме в Бретани?

— Со временем, когда наша дочь выйдет замуж, а сын женится и сможет заменить меня на острове, мы с женой вернемся на родину и кончим свои дни в старом доме, где я родился.

— Вспоминая о счастливо прожитой жизни, — заметил я.

— Evidemment[27], на моем острове нет развлечений. Мы живем вдали от мира: ведь нам нужно четыре дня, чтобы добраться даже до Таити, — но

---

[27] Примечания: 27
Разумеется (*фр.*).

мы счастливы. Мало кому дано начать работу и завершить ее. Наша жизнь простая и чистая. Мы не знаем честолюбия и гордимся только одним: тем, что пожинаем плоды своих трудов. Ни злоба, ни зависть не мучают нас. Ах, mon cher monsieur[28], я часто слышал разговоры о благости труда, обычно это только пустые фразы, но для меня они полны глубочайшего смысла. Я счастливый человек.

— И вы, безусловно, это заслужили, — улыбаясь, заметил я.

— Я хотел бы так думать. Но я и сам не знаю, чем я заслужил такую жену — друга, помощницу, прекрасную возлюбленную и прекрасную мать моих детей.

Я задумался над тем, что рассказал мне капитан Брюно.

— Для того чтобы вести такую суровую жизнь и добиться такого большого успеха, вам обоим надо было обладать сильной волей и решительным характером.

— Возможно, но к этому добавилось еще и другое, иначе бы мы ничего не достигли.

— Что же именно?

---

[28] Примечания: 28
Сударь мой (*фр.*).

Он остановился и несколько театральным жестом вытянул руку.

— Вера в Бога. Без нее бы нам пропасть…

Мы как раз подошли к дому доктора Кутра.

Глава пятьдесят пятая

Доктор Кутра был старый француз, огромного роста и очень толстый. Фигура его напоминала гигантское утиное яйцо, а глаза, пронзительные, голубые и добродушные, частенько с самодовольным выражением уставлялись на его громадное брюхо. Лицо у него было румяное, волосы седые. Такие люди, как он, с первого взгляда внушают симпатию. Доктор Кутра принял нас в комнате, какую можно увидеть в любом доме провинциального французского городка; две-три полинезийские редкости странно выглядели в ней. Он потряс мою руку обеими руками — кстати сказать, огромными — и посмотрел на меня дружелюбным, хотя и очень хитрым взглядом. Здороваясь с капитаном Брюно, он учтиво осведомился о супруге и детках. Несколько минут они обменивались любезностями, затем немного посплетничали, обсудили виды на урожай копры и ванили и наконец перешли к цели моего визита.

Я перескажу своими словами то, что узнал от доктора Кутра, так как мне все равно не воссоздать его живого, образного рассказа. У доктора был низкий, звучный голос, вполне соответство-

вавший его мощному облику, и безусловный актерский талант. Слушать его было интереснее, чем сидеть в театре.

Как-то раз доктору Кутра пришлось поехать в Таравао к захворавшей правительнице племени; он живо описал, как эта тучная старуха возлежала на огромной кровати, куря папиросы, а вокруг нее суетилась толпа темнокожих приближенных. После того как он ее осмотрел, его пригласили в другую комнату и стали потчевать обедом: сырой рыбой, жареными бананами, цыплятами — que sais-je[29], излюбленными кушаньями туземцев, — и за едой он заметил заплаканную молодую девушку, которую гнали прочь от двери. Он не обратил на это особого внимания, но когда вышел садиться в свою двуколку, чтобы ехать домой, опять увидел ее; она стояла в сторонке, и слезы градом лились по ее щекам. Он спросил какого-то малого, почему она плачет, и в ответ услышал, что она пришла с гор звать его к белому человеку, который тяжко заболел. А ей сказали, что доктора нельзя беспокоить. Тогда он подозвал девушку и спросил, чего она хочет. Она ответила, что ее послала Ата, которая раньше служила в

[29] Примечания: 29
Одним словом (*фр.*).

«Отель де ля флёр», и что Красный болен. Девушка сунула ему в руку измятый кусок газеты, в котором оказался стофранковый билет.

— Кто такой Красный? — спросил доктор у кого-то из туземцев.

Ему объяснили, что так называют англичанина, который живет с Атой в долине, километрах в семи отсюда. По описанию он узнал Стрикленда. Но в долину можно добраться только пешком, а доктору ходить пешком не подобает, поэтому-то они и отгоняли от него девушку.

— Признаюсь, — сказал доктор Кутра, обернувшись ко мне, — что меня взяло сомнение. Отмахать четырнадцать километров по горной тропинке — не слишком большое удовольствие, да и ночевать домой уж не попадешь. Вдобавок Стрикленд был мне не по нутру. Тунеядец, который предпочитал жить с туземкой, чем зарабатывать свой хлеб, как все мы, грешные. Mon Dieu[30], ну откуда мне было знать, что со временем весь мир признает его гением? Я спросил девушку, неужто он так болен, что не может сам прийти ко мне. И еще спросил, что с ним такое. Она молчала. Я настаивал, пожалуй, сердито; она

---

[30] Примечания: 30
Господи (*фр.*).

опустила глаза и опять расплакалась. Я пожал плечами: в конце концов, мой долг идти, и я пошел за ней в прескверном настроении.

Настроение доктора, конечно, не улучшилось, когда он наконец добрался до них, весь в поту и умирая от жажды. Ата дожидалась его и пошла по тропинке ему навстречу.

— Первым делом дайте мне пить, — закричал он, — не то я сдохну от жажды. Pour Г amour de Dieu[31], дайте кокосовый орех.

Она кликнула какого-то мальчишку, он примчался, влез на дерево и сбросил спелый орех. Ата проткнула дырку в скорлупе, и доктор жадно припал к освежающей струйке. Затем он свернул папиросу, и настроение его улучшилось.

— Ну, где же ваш Красный?

— Он в доме, рисует картину. Я не сказала ему, что вы придете. Пожалуйста, взгляните на него.

— А на что он жалуется? Если он в состоянии работать, то мог бы сам прийти в Таравао и избавить меня от этой проклятой беготни. Я полагаю, что мое время не менее дорого, чем его.

Ата промолчала и вместе с мальчиком пошла за доктором к дому. Девушка, которая привела

---

[31] Примечания: 31
Ради всего святого (*фр.*).

его, уже сидела на веранде; здесь же, у стены, лежала какая-то старуха и крутила папиросы на туземный манер.

Ата указала ему на дверь. Доктор, сердясь на то, что все они так странно себя ведут, вошел и увидел Стрикленда, занятого чисткой палитры. Стрикленд в одном парео стоял спиной к двери возле мольберта с картиной. Он обернулся на шум шагов и бросил на доктора неприязненный взгляд. Он был удивлен и рассержен этим вторжением. Но у доктора перехватило дыхание, ноги его приросли к полу: он во все глаза смотрел на Стрикленда. Нет, этого он не ждал. Мороз пробежал у него по коже.

— Вы входите довольно бесцеремонно, — сказал Стрикленд. — Чем могу служить?

Доктор уже справился с собой, но голос не сразу вернулся к нему. Всю его злость как рукой сняло, и он почувствовал — et bien, oui je ne le nie pas[32], — как его захлестнула жалость.

— Я доктор Кутра. Я был в Таравао, у старой правительницы, и Ата послала туда за мной.

— Ата — дура. У меня, правда, были какие-то боли в суставах и небольшая лихорадка, но это

---

[32] Примечания: 32
Что ж, я этого не отрицаю (*фр.*).

пустяки и скоро пройдет. Когда кто-нибудь пойдет в Папеэте, я велю купить мне хины.

— Посмотрите на себя в зеркало.

Стрикленд взглянул на него, улыбнулся и подошел к дешевенькому зеркальцу в узкой деревянной рамке, висевшему на стене.

— Ну и что?

— Разве вы не замечаете перемены в вашем лице? Не замечаете, как утолстились ваши черты и стали походить... в книгах это называется львиный лик. Mon pauvre ami, неужели мне надо говорить вам, какая у вас страшная болезнь?

— У меня?

— Посмотрите на себя еще раз, и вы увидите ее типичные признаки.

— Вы шутите, — сказал Стрикленд.

— Я был бы счастлив, если бы мог шутить.

— Вы хотите сказать, что у меня проказа?

— К несчастью, в этом нет сомнения.

Доктор Кутра многим объявлял смертный приговор, и все же не мог победить ужаса, который его при этом охватывал. Он всякий раз чувствовал, как яростно должен приговоренный ненавидеть его, доктора, цветущего, здорового, обладающего бесценным правом — жить. Стрикленд молча смотрел на него. Лицо его, уже обезображенное

страшной болезнью, не выражало ни малейшего волнения.

— Они знают? — спросил он наконец, кивнув головою в сторону тех, что сидели на веранде в непривычном, странном молчании.

— Туземцы хорошо знают признаки этой болезни, — ответил доктор. — Они боялись сказать вам.

Стрикленд шагнул к двери и выглянул. Наверно, страшное у него было лицо, потому что на веранде все разом завопили и запричитали, а потом разразились плачем. Стрикленд молчал. Посмотрев на них несколько секунд, он вернулся в комнату.

— Как долго я, по-вашему, смогу протянуть?

— Кто знает? Иногда болезнь длится двадцать лет. Это счастье, если она протекает быстро.

Стрикленд подошел к мольберту и задумчиво посмотрел на картину.

— Вы проделали нелегкий путь. По справедливости тот, кто принес важные вести, должен быть вознагражден. Возьмите эту картину. Сейчас она ничего для вас не значит, но, возможно, когда-нибудь вы обрадуетесь, что она у вас есть.

Доктор Кутра протестовал. Ему не нужно никакой платы: стофранковый билет он уже успел

вернуть Ате. Но Стрикленд настаивал. Затем они вместе вышли на веранду. Туземцы плакали в голос.

— Успокойся, женщина. Вытри слезы, — сказал Стрикленд Ате. — Тебе нечего бояться. Я очень скоро оставлю тебя.

— А тебя не отнимут у меня?

В те времена на островах еще не было закона об обязательной изоляции прокаженных; они могли оставаться на свободе.

— Я уйду в горы, — сказал Стрикленд.

Тогда Ата поднялась и посмотрела ему прямо в глаза.

— Пусть другие уходят, если хотят, я тебя не оставлю. Ты мой муж, а я твоя жена. Если ты уйдешь от меня, я повешусь вон на том дереве за домом. Богом клянусь тебе.

Она говорила грозно и властно. Это была уже не покорная робкая девушка-туземка, а женщина сильная и решительная. Она стала неузнаваемой.

— Зачем тебе оставаться со мной? Ты можешь вернуться в Папеэте, там ты скоро найдешь себе другого белого мужчину. Старуха присмотрит за твоими детьми, а Тиаре охотно возьмет тебя обратно.

— Ты мой муж, а я твоя жена. Где будешь ты, там буду и я.

На мгновение силы изменили Стрикленду: слезы выступили у него на глазах и медленно покатились по щекам. Затем он опять улыбнулся обычной своей сардонической улыбкой.

— Удивительные существа эти женщины, — сказал он доктору. — Можно обращаться с ними хуже, чем с собакой, можно бить их, пока руки не заболят, а они все-таки любят вас. — Он пожал плечами. — Одна из нелепейших выдумок христианства — будто у них есть душа.

— Что ты говоришь доктору? — подозрительно спросила Ата. — Ты не уйдешь от меня?

— Если ты хочешь, я останусь с тобой, девочка.

Ата бросилась перед ним на колени, обхватила руками его ноги и поцеловала. Стрикленд смотрел на доктора Кутра со слабой улыбкой.

— В конце концов они покоряют вас, и вы беспомощны в их руках. Белые или коричневые, все они одинаковы.

Доктор Кутра знал, что глупо говорить слова соболезнования по поводу такого страшного несчастья, и молча откланялся. Стрикленд велел Танэ, мальчику, проводить его до деревни. Доктор помолчал и, обращаясь ко мне, прибавил:

— Я ведь вам уже говорил, что Стрикленд был мне не по нутру. Я его недолюбливал. Но, когда я медленно спускался в Таравао, я с невольным восхищением думал о мужестве этого человека: так стоически перенести это страшнейшее несчастье! На прощание я сказал Танэ, что пришлю кое-какие лекарства, но я не очень надеялся, что Стрикленд будет принимать их, и еще меньше — что они принесут какую-нибудь пользу. Я также просил мальчика передать Ате, что приду, когда бы она за мной ни послала. Жизнь — жестокая штука, и природа иногда страшно глумится над своими детьми. С тяжелым сердцем вернулся я в свой уютный дом в Папеэте.

Долгое время мы все молчали.

— Но Ата не присылала за мной, — снова начал доктор, — и как-то так получилось, что я долго не был в той части острова. О Стрикленде я ничего не знал. Раза два я, правда, слышал, что Ата приходила в Папеэте покупать краски, но видеть ее мне не довелось. Прошло больше двух лет, прежде чем я снова попал в Таравао, все к той же старой правительнице. Там я спросил, не слышно ли чего о Стрикленде. Теперь все уже знали, что у него проказа. Первым из дому ушел Танэ, а вскоре старуха и ее внучка. Стрикленд с Атой и детьми

остались совершенно одни. Никто даже близко не подходил к их плантации, вы не можете себе представить, какой ужас здешние люди испытывают перед этой болезнью; в старину, если у человека обнаруживалась проказа, они просто убивали его. Только мальчишки из ближней деревни, забравшись далеко в горы, видели иногда белого человека с косматой рыжей бородой. Тогда они в страхе удирали. Случалось еще, что Ата ночью спускалась в деревню и будила лавочника, чтобы купить у него самое необходимое. Она знала, что на нее смотрят с не меньшим испугом и отвращением, чем на Стрикленда, и всячески старалась избегать встреч с людьми. Однажды женщины, случайно оказавшиеся вблизи плантации, увидели, что она стирает белье в речке, и забросали ее камнями. После этого лавочнику велено было передать ей, что, если ее еще раз застанут на речке, мужчины из деревни подожгут ее дом.

— Звери, — сказал я.

— Mais non, mon cher monsieur[33], люди — всегда люди. Страх толкает их на жестокость… Я решил навестить Стрикленда, и после осмотра

[33] Примечания: 33
Вовсе нет, сударь мой (*фр.*).

больной попросил, чтобы мне дали кого-нибудь в проводники. Но никто не решился идти со мной, и я отправился один.

Когда доктор Кутра пришел на плантацию, щемящая тоска сдавила его сердце. Он дрожал, хотя и разгорячился от ходьбы. Что-то зловещее носилось в воздухе и мешало идти дальше. Словно таинственные силы преграждали ему путь. Чьи-то невидимые руки тянули его назад. Никто не приходил сюда собирать кокосовые орехи, и они гнили на земле. Запустение царило повсюду. Кустарник буйно разросся, и девственный лес, казалось, готов был вновь захватить эту полоску земли, отнятую у него ценой такого тяжкого труда. «Это обитель страдания», — подумалось доктору. Когда он подошел к дому, нездешняя тишина поразила его; он решил, что дом покинут. Затем он увидел Ату. Она сидела на корточках под навесом, служившим им кухней, и что-то варила в котелке. Ребенок молча возился в грязи рядом с нею. Увидев доктора, она не улыбнулась.

— Я пришел взглянуть на Стрикленда, — сказал он.

— Пойду скажу ему.

Она направилась к дому, взошла по ступенькам на веранду и отворила дверь. Доктор Кутра

шел за нею, но помедлил, повинуясь ее знаку. Когда дверь приоткрылась, на него пахнуло тошнотворно сладким запахом, который делает нестерпимой близость прокаженного. Доктор услышал, как что-то сказала Ата, затем услышал ответ Стрикленда, но не узнал его голоса. Он звучал хрипло, слов было не разобрать. Доктор Кутра поднял брови, он понял: болезнь уже бросилась на голосовые связки. Ата опять вышла на веранду.

— Он не хочет вас видеть. Вам надо уйти.

Доктор настаивал, но Ата не впускала его. Тогда он пожал плечами и повернул обратно. Ата пошла за ним. Он чувствовал, что ей тоже хочется поскорей его спровадить.

— Значит, я ничего не смогу сделать для вас? — спросил он.

— Вы можете прислать ему красок, больше он ничего не хочет.

— Он еще может работать?

— Он рисует на стенах дома.

— Какая страшная жизнь для вас, дитя мое.

Тогда она наконец улыбнулась, и сверхчеловеческая любовь засветилась в ее глазах. Доктор Кутра был потрясен. Благоговейное чувство охватило его. Он не нашелся что сказать.

— Он мой муж, — сказала Ата.

— Где ваш второй ребенок? — спросил он. — Прошлый раз я видел двоих.

— Он умер. Мы похоронили его под манговым деревом.

Ата прошла с ним еще немного и сказала, что ей пора возвращаться. Доктор Кутра понял, что она боится встретить кого-нибудь из деревни. Он повторил, что, если понадобится ей, пусть она пришлет за ним, он придет тотчас же.

Глава пятьдесят шестая

Прошло еще года два, может быть, и три, ибо время на Таити течет незаметно, и нелегко вести ему счет, когда к доктору Кутра пришла весть, что Стрикленд умирает. Ата остановила почтовую повозку на дороге в Папеэте и умолила возницу заехать к доктору. Но доктора не оказалось дома, и печальная весть дошла до него только вечером. Ехать в такой поздний час было немыслимо, и доктор пустился в дорогу следующим утром на рассвете. Он доехал до Таравао и в последний раз прошел пешком семь километров до дома Аты. Тропинка заросла, по ней явно никто не ходил в последние годы. Идти было трудно. Он то шел, спотыкаясь, по высохшему руслу ручья, то продирался сквозь заросли колючего кустарника; чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие с деревьев над его головой, ему приходилось карабкаться на скалы. Вокруг стояла мертвая тишина.

У доктора вырвался вздох облегчения, когда он наконец увидел маленький некрашеный домишко, теперь совсем обветшавший и грязный; но и возле дома царила та же нестерпимая тишина. Он подошел поближе, и маленький мальчик,

беспечно игравший на солнцепеке, испуганно шарахнулся от него — здесь любой незнакомец был враг. Доктору показалось, однако, что ребенок следит за ним из-за ствола пальмы. Дверь на веранду стояла настежь. Он крикнул — никто не отозвался. Он вошел. Постучался, но и на этот раз ответа не было. Он нажал ручку второй двери и открыл ее. От зловония, которым пахнуло на него, ему сделалось дурно. Он прижал платок к носу и заставил себя войти в комнату. Она тонула в полумраке, и после яркого солнечного света он в первую минуту ничего не видел. Потом он вздрогнул. Он не понимал, где находится. Какой-то сказочный мир окружал его. Ему смутно чудился девственный лес, в котором обнаженные люди расхаживали под деревьями. Потом он понял, что это так расписаны стены.

— Mon Dieu, неужто у меня солнечный удар, — пробормотал доктор.

Легкое движение в комнате привлекло его внимание, и он увидел Ату. Она лежала на полу и тихо плакала.

— Ата, — позвал он, — Ата!

Она не подняла головы. Его опять затошнило от омерзительного запаха, и он закурил сигару. Глаза его привыкли к темноте, и страшное волнение

овладело им, когда он всмотрелся в расписанные стены. Он ничего не понимал в живописи, но здесь было что-то такое, что потрясло его. От пола до потолка стены покрывала странная и сложная по композиции живопись. Она была неописуемо чудесна и таинственна. У доктора захватило дух. Чувства, поднявшиеся в его сердце, не поддавались ни пониманию, ни анализу. Благоговейный восторг наполнил его душу, восторг человека, видящего сотворение мира. Это было нечто великое, чувственное и страстное; и в то же время это было страшно, он даже испугался. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны — прекрасные и пугающие. Руками человека, познавшего то, что человеку познать не дозволено. Это было нечто первобытное и ужасное. Более того — нечеловеческое. Доктор невольно подумал о черной магии. Это было прекрасно и бесстыдно.

— Бог мой, он гений!

Эти слова вырвались у доктора помимо его воли.

Затем его взгляд упал на груду циновок в углу, он приблизился и увидел то страшное, изувеченное, безобразное, что когда-то было Стриклендом. Стрикленд был мертв. Доктор Кутра взял себя в

руки и склонился над изуродованным трупом. Но тут же вздрогнул, сердце его на миг перестало биться от ужаса: кто-то стоял за ним! Это была Ата. Он не слышал, как она подошла. Она стояла рядом и смотрела на то же, на что смотрел он.

— Господи ты Боже мой, мои нервы никуда не годятся. Вы меня до смерти напугали.

Он еще раз бросил взгляд на жалкие останки того, что было человеком, и вдруг отшатнулся.

— Он был слеп!

— Да, он ослеп уже год назад.

Глава пятьдесят седьмая

Но тут наш разговор был прерван появлением мадам Кутра. Она делала визиты и теперь вернулась домой. Мадам Кутра вплыла, как корабль на всех парусах; весьма представительная дама, высокая, дородная, с пышным бюстом, с телесами, скованными устрашающе тугим корсетом. У нее был крупный нос крючком и тройной подбородок. Держалась она очень прямо. Она ни на мгновение не поддалась расслабляющему очарованию тропиков; напротив, была даже более деятельной, более светской и энергичной, чем можно представить себе даму в умеренном климате. Неистощимая говорунья, она тотчас же излила на нас поток новостей и сенсаций. С ее приходом разговор, который мы только что вели, стал казаться далеким и нереальным.

Наконец доктор Кутра прервал ее:

— У меня в кабинете все еще висит картина Стрикленда. Хотите взглянуть?

— С удовольствием.

Мы поднялись, и он повел меня на веранду, вернее, на галерею, окружавшую дом. Там мы постояли, любуясь буйной яркостью цветов в

его саду.

— Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах дома Стрикленда, — задумчиво проговорил он.

Я думал о том же. Мне казалось, что Стрикленд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем. Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он, верно, сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И, кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был наконец изгнан, и вместе с завершением работы, изнурительной подготовкой к которой была вся его жизнь, покой снизошел на его исстрадавшуюся мятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение.

— А что изображала эта роспись?

— Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские кущи, Адама и Еву, que sais-je?[34] — это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского, славословие природе, величавой, равнодушной, прельстительной и жестокой. Дух захватывало от ощущения бесконечности

---

[34] Примечания: 34
Как вам объяснить? (*фр.*)

пространства и нескончаемости времени. Стрикленд написал деревья, которые я видел каждый день: кокосовые пальмы, баньяны, тамаринды, аллигаторовы груши, — и с тех пор вижу совсем иными, словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомые мне — и в то же время другие. В них было собственное, им одним присущее значение. А эти нагие люди, мужчины и женщины! Земные и, однако, чуждые земному. В них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра божества. Перед вами был человек во всей наготе своих первобытных инстинктов, и мороз подирал вас по коже, потому что это были вы сами.

Доктор Кутра пожал плечами и усмехнулся.

— Вы будете смеяться надо мной. Я материалист и вдобавок грузный, толстый мужчина — Фальстаф, что ли? Лирика мне не к лицу. Я выставляю себя на посмешище. Но даю вам слово, никогда в жизни искусство не производило на меня такого впечатления. Tenez[35], то же самое чувство я испытал в Сикстинской капелле. Я

---

[35] Примечания: 35
Право (*фр.*).

благоговел перед человеком, расписавшим этот потолок. Это было гениально и грандиозно. Я чувствовал себя ничтожным червем. Но к величию Микеланджело мы подготовлены. Нельзя было быть подготовленным к тому чуду, которое явилось мне в туземной хижине, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье над Таравао. Микеланджело здоров и нормален. В его творениях — спокойствие величия, но здесь что-то смущало душу. Не знаю, что именно. Но мне было не по себе. Как вам объяснить это чувство? Точно сидишь у дверей комнаты, наверное зная, что в ней никого нет, и в то же время с ужасом сознаешь, что в ней все-таки кто-то есть. В таких случаях бранишь себя: ведь это пустое, нервы… и тем не менее… Минута-другая — и ты уже не можешь бороться со страхом, непостижимый ужас душит тебя. Да, скажу по правде, я не был особенно огорчен, когда узнал, что эти странные шедевры уничтожены.

— Уничтожены! — воскликнул я.

— Mais oui[36], разве вы не знали?

— Откуда мне знать? Я никогда раньше не слыхал об этих вещах, но, слушая вас, надеялся,

---

[36] Примечания: 36
Ну да (*фр.*).

что они попали в руки какого-нибудь любителя-коллекционера. Ведь полного списка работ Стрикленда еще и поныне не существует.

— Когда он ослеп, он часами сидел в этих двух расписанных им комнатушках, незрячими глазами смотрел на свои творения и видел, может быть, больше, чем прежде, больше, чем за всю свою жизнь. Ата говорила мне, что он никогда не жаловался на судьбу, никогда не терял мужества. До самого конца дух его оставался ясным и добрым. Но он взял с нее слово, что когда она похоронит его — я, кажется, не сказал вам, что своими руками вырыл для него могилу, так как никто из туземцев не решался подойти к зараженному дому, мы с ней завернули его тело в три парео, сшитых вместе, и похоронили под манговым деревом, — так вот, он взял с нее слово, что она подожжет дом и не уйдет, покуда он не сгорит дотла.

Я довольно долго молчал и думал, потом сказал:

— Значит, он до конца остался таким, как был.

— Вы полагаете? А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия.

— Даже после того, что вы мне рассказали?

— Да, я ведь уже понял, что это создание гения,

и думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но Ата меня и слушать не хотела. Она дала слово. Я ушел, не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах, и уже позднее узнал, что она исполнила его волю. Облила керосином пол, панданусовые циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки, великого произведения искусства более не существовало.

— По-моему, Стрикленд знал, что это шедевр. Он достиг того, чего хотел. Его жизнь была завершена. Он сотворил мир и увидел, что он прекрасен. Затем из гордости и высокомерия он уничтожил его.

— Ну, да пора уже показать вам картину, — сказал доктор Кутра и пошел к двери.

— А что сталось с Атой и ее ребенком?

— Они уехали на Маркизские острова. У нее там родственники. Я слышал, что ее сын служит на какой-то шхуне. Говорят, он очень похож на отца.

У самой двери в кабинет доктор остановился.

— Это натюрморт с фруктами, — улыбаясь, сказал он. — Вы скажете, сюжет не слишком подходящий для кабинета врача, но моя жена не желает терпеть эту картину в гостиной. По ее

мнению, она слишком непристойна.

— Непристойна! Но ведь это натюрморт! — в изумлении воскликнул я.

Мы вошли в кабинет, и картина сразу бросилась мне в глаза. Я долго смотрел на нее.

Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек.

Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпис-лазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскрешавшей в памяти смутные видения Римской империи времен Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось Рождество в Англии, снег, доброе веселье и ра-

достные возгласы детей, — но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в противоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их — значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли нежданными опасностями, и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога. Все здоровое и естественное, все приверженное добру и простым радостям простых людей должно было в страхе отшатнуться от этих плодов — и все же была в них необоримо притягательная сила: подобно плоду от древа познания добра и зла, они были чреваты всеми возможностями Неведомого.

Я не выдержал и отвел глаза. Теперь я знал, что Стрикленд унес свою тайну в могилу.

— Voyons, René, mon ami[37], — послышался громкий бодрый голос мадам Кутра. — Что вы там делаете так долго? Вас ждут аперитивы. Спроси мосье, не хочет ли он рюмочку дюбоннэ.

— Volontiers[38], мадам, — ответил я, выходя на веранду.

Чары были разрушены.

---

[37] Примечания: 37
Послушай, Рене, друг мой (*фр.*).

[38] Примечания: 38
Охотно (*фр.*).

Глава пятьдесят восьмая

Пришло время моего отъезда с Таити. Согласно гостеприимному обычаю острова, все, с кем я здесь встречался, преподнесли мне подарки: корзиночки, сплетенные из листьев кокосовой пальмы, циновки из пандануса, веера. Тиаре подарила мне три маленькие жемчужины и три банки желе из гуавы, сваренного ее собственными пухлыми руками. Когда почтовый пароход, по пути из Веллингтона в Сан-Франциско на сутки заходивший на Таити, дал последний гудок, призывая пассажиров на борт, Тиаре прижала меня к своей могучей груди — я точно погрузился в зыблющиеся волны — и крепко поцеловала в губы. На глазах у нее блестели слезы. И когда мы медленно выбирались из лагуны, осторожно лавируя между рифами, и наконец вышли в открытое море, на душе у меня было печально. Бриз все еще доносил до нас чарующие ароматы острова. Таити — дальний край, и я знал, что больше никогда не увижу его. Еще одна глава моей жизни закончилась, и я почувствовал себя ближе к неизбежной смерти.

Через месяц я был уже в Лондоне; устроив свои

наиболее неотложные дела, я написал миссис Стрикленд, полагая, что ей интересно будет послушать мой рассказ о последних годах ее мужа. В последний раз я виделся с нею задолго до войны, и теперь мне пришлось разыскивать ее адрес по телефонной книге. Она назначила мне день, и я пришел в ее новый нарядный домик на Кэмпден-Хилл. Ей, должно быть, было уже под шестьдесят, но она легко несла бремя своих лет, и больше пятидесяти никто бы ей не дал. Лицо ее, худое и не слишком морщинистое, принадлежало к тому типу лиц, что в старости становятся особенно благообразными. По теперешнему виду миссис Стрикленд можно было предположить, что в молодости она была очень хороша собой, чего на самом деле никогда не было. Волосы, не седые, но с проседью, она причесывала очень элегантно, и ее черное платье было сшито по последней моде. Кто-то мне говорил, и теперь я это вспомнил, что ее сестра, миссис Мак-Эндрю, пережившая мужа всего на два года, оставила ей свое состояние; судя по дому и нарядной горничной, которая открыла мне дверь, это была сумма, вполне достаточная для пристойного существования вдовы.

В гостиной я застал еще одного гостя и, узнав, кто он, понял, что меня не без умысла пригла-

сили именно на этот час. Миссис Стрикленд представила меня мистеру ван Бюсе-Тэйлору с такой очаровательной улыбкой, что казалось, она извиняется за меня перед этим почтенным американцем.

— Мы, англичане, так ужасно невежественны. Вы уж простите меня за вынужденное объяснение. — С этими словами она обернулась ко мне. — Мистер ван Бюсе-Тэйлор — выдающийся американский критик. Если вы не читали его книги, это большой пробел в вашем образовании, и вам следует немедленно его восполнить. Сейчас мистер Тэйлор пишет о нашем дорогом Чарли и приехал ко мне с просьбой кое в чем помочь ему.

Мистер ван Бюсе-Тэйлор был весьма сухопарый мужчина с большим лысым черепом, отчего его желтое лицо, изборожденное глубокими морщинами, казалось совсем маленьким. Он говорил с американским акцентом и был необыкновенно учтив и сдержан. Глядя на его ледяное спокойствие, я невольно спрашивал себя, какого черта он заинтересовался Чарлзом Стриклендом. Меня позабавила нежность, с которой миссис Стрикленд упомянула о своем муже, и, покуда они оба разговаривали, я рассмотрел комнату. Миссис

Стрикленд не отстала от времени. Обои Морриса и строгий кретон исчезли бесследно, равно как и гравюры Эренделя, некогда украшавшие ее гостиную на Эшли-Гарденз. Теперь здесь сверкали яркие краски, и я задавался вопросом, знает ли миссис Стрикленд, что эти фантастические тона, предписанные модой, обязаны своим возникновением мечтам бедного художника на далеком острове в Южных морях? Она сама ответила мне на этот вопрос.

— Какие у вас изумительные подушки, — сказал мистер ван Бюсе-Тэйлор.

— Вам они нравятся? — улыбаясь, спросила она. — Это Бакст.

А на стенах висели цветные репродукции с лучших картин Стрикленда, выпущенные в свет неким берлинским издателем.

— Вы смотрите на мои картины, — сказала миссис Стрикленд, проследив за моим взглядом. — Оригиналы, конечно, мне недоступны, но я рада и этим копиям. Мне прислал их издатель. Это большое утешение для меня.

— Должно быть, очень приятно жить среди этих картин, — заметил мистер ван Бюсе-Тэйлор.

— Да, они так декоративны.

— Мое глубочайшее убеждение, — сказал ми-

стер ван Бюсе-Тэйлор, — что подлинное искусство всегда декоративно.

Глаза его и миссис Стрикленд остановились на обнаженной женщине, кормящей грудью ребенка. Рядом с ней молодая девушка, стоя на коленях, протягивала цветок не видящему ее младенцу. На них смотрела старая морщинистая ведьма. Это была Стриклендова версия святого семейства. Я подозревал, что моделями для этих фигур служили его таитянские домочадцы, а женщина и ребенок были Ата и ее первенец. «Но знает ли что-нибудь об этом миссис Стрикленд?» — спрашивал я себя.

Разговор продолжался, и мне оставалось только дивиться такту, с которым мистер ван Бюсе-Тэйлор обходил все, что могло бы смутить хозяйку, и ловкости миссис Стрикленд: не говоря ни слова лжи, она давала ему понять, что с мужем у нее всегда были наилучшие отношения. Наконец мистер ван Бюсе-Тэйлор поднялся и стал прощаться. Держа руку миссис Стрикленд, он рассыпался в изящнейших и изысканнейших благодарностях.

— Надеюсь, он не очень наскучил вам, — сказала она, едва только за ним закрылась дверь. — Конечно, это утомительное занятие, но я считаю себя обязанной рассказать людям о Чарли все, что

могу рассказать. Быть женою гения — немалая ответственность.

Она посмотрела на меня открытым и ясным взглядом, таким же, как двадцать с лишним лет назад. «Уж не смеется ли она надо мною?» — подумал я.

— Вы, конечно, закрыли свое дело? — спросил я.

— О да, — небрежно отвечала миссис Стрикленд. — Я ведь тогда занялась этим больше от скуки, чем еще по каким-нибудь причинам, и дети уговорили меня продать контору. Они считали, что я переутомляюсь.

Миссис Стрикленд явно позабыла, что в свое время ей пришлось «унизиться» до того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Безошибочный инстинкт красивой женщины говорил ей, что жить прилично только на чужой счет.

— Мои дети сейчас здесь, — сказала она. — Я подумала, что им интересно будет послушать об отце. Вы помните Роберта? Могу похвалиться. Он представлен к «Военному кресту».

Она открыла дверь и позвала детей. В комнату вошел высокий мужчина в хаки, но с пасторским воротником, несколько тяжеловатый, красивый, все с теми же правдивыми глазами, которые

были у него в детстве. Следом шла его сестра. Ей, верно, было столько же лет, сколько ее матери, когда я с ней познакомился, и она очень на нее походила. По ее виду тоже казалось, что в детстве она была очень хорошенькой, хотя на самом деле это было не так.

— Вы их, конечно, не узнаете, — горделиво улыбаясь, заметила миссис Стрикленд. — Моя дочь теперь миссис Роналдсон. Ее муж майор артиллерии.

— Он у меня настоящий солдат, — весело сказала миссис Роналдсон. — Потому он и не пошел дальше майора.

Мне вспомнилось, как я почему-то был уверен, что она выйдет замуж за военного. Это было неизбежно. У нее все повадки «военной» дамы. Очень любезная и скромная, миссис Роналдсон не могла скрыть своего убеждения, что она не такая, как все. У Роберта манеры были непринужденные.

— Как это удачно, что я оказался в Лондоне к вашему возвращению, — сказал он. — У меня отпуск всего на три дня.

— Он всей душой рвется назад, в свою часть, — заметила его мать.

— Не скрою, что я там отлично провожу время. У меня завелось много приятелей. Это настоящая

жизнь. Война, конечно, ужасная штука и так далее и тому подобное, но она выявляет в человеке все лучшее, это несомненно.

Я рассказал им все, что слышал о жизни Чарлза Стрикленда на Таити. Говорить об Ате и ее сыне я счел излишним, но во всем остальном был по мере возможности точен. Кончил я рассказом о страшной его смерти. Минуту-другую в комнате царило молчание. Затем Роберт Стрикленд чиркнул спичкой и закурил.

— Жернова Господни мелют хоть и медленно, но верно, — внушительно сказал он.

Миссис Стрикленд и миссис Роналдсон благочестиво опустили глаза долу, они явно сочли эти слова цитатой из Священного Писания. Мне показалось, что и Роберт Стрикленд разделяет это заблуждение. Сам не знаю почему, я вдруг подумал о сыне Стрикленда и Аты. Мне говорили на Таити, что он веселый, приветливый юноша. Я словно воочию увидел его на шхуне, полуголым, только в коротких штанах. День у него проходит в труде, а вечером, когда шхуна легко скользит по волнам, подгоняемая попутным ветерком, матросы собираются на верхней палубе; покуда капитан с помощниками отдыхают в шезлонгах, попыхивая трубками, он неистово пляшет с дру-

гим юношей под визгливые звуки концертино. Над ним густая синева небес, звезды и, сколько глаз хватает, пустыня Тихого океана.

Цитата из Библии вертелась у меня на языке, но я попридержал его, зная, что духовные лица считают кощунством, если простые смертные забираются в их владения. Мой дядя Генри, двадцать семь лет бывший викарием в Уитстебле, в таких случаях говаривал, что дьявол всегда сумеет подыскать и обернуть в свою пользу цитату из Библии. Он еще помнил те времена, когда за шиллинг можно было купить даже не дюжину лучших устриц, а целых тринадцать штук.

Узорный покров

© Перевод. М. Лорие, наследники, 2013.

Предисловие автора

На замысел этой книги меня натолкнули следующие строки из Данте:

«Deh, quando tu sarai tomato al mondo,
e riposato de la lunga via»,
seguitò'l terzo spirito al secondo,
«recorditi di me ehe son la Pia:
Siena mi fe'; disfecimi Maremma;
saisi colui che'nnanellata pria
disposando m'avea con la sua gemma».

«Прошу тебя, когда ты возвратишься в мир и отдохнешь от долгих скитаний, — заговорила третья тень, сменяя вторую, — вспомни обо мне, я — Пия. Сиена породила меня, Маремма меня погубила — это знает тот, кто, обручившись со мной, подарил мне кольцо и назвал своею су-

пругой»[39].

Я тогда учился в медицинской школе при больнице Св. Фомы и, оказавшись свободным на шесть недель пасхальных каникул, пустился в путь с небольшим чемоданом, в котором уместилась вся моя одежда, и с двадцатью фунтами стерлингов в кармане. Мне было двадцать лет. Через Геную и Пизу я приехал во Флоренцию. Там, на Виа Лаура, я снял комнату с видом на прелестный купол собора у вдовы с дочерью, которая, поторговавшись сколько следует, согласилась сдать мне эту комнату с пансионом за четыре лиры в день. Боюсь, для вдовы эти условия оказались не очень выгодными: аппетит у меня был зверский, я с легкостью поглощал целые горы макарон. В тосканских горах у вдовы был виноградник, и, сколько помнится, нигде в Италии я больше никогда не пил такого вкусного

---

[39] Примечания: 39

Последние строки песни пятой «Чистилища» Данте. В переводе М. Лозинского они звучат так:

Когда ты возвратишься в мир земной
И тягости забудешь путевые, —
Сказала третья тень вослед второй, —
То вспомни также обо мне, о Пиа!
Я в Сьене жизнь, в Маремме смерть нашла,
Как знает тот, кому я в дни былые,
Меняясь перстнем, руку отдала.

кьянти. Ее дочь ежедневно давала мне урок итальянского языка. Мне она казалась женщиной едва ли не пожилой, хотя было ей, как я теперь понимаю, лет двадцать шесть, не больше. Она пережила большое горе. Ее жених, офицер, был убит в Абиссинии, и она дала обет безбрачия. Было решено, что по смерти матери (женщины седовласой, но цветущей и жизнерадостной, не собиравшейся покинуть этот мир ни на день раньше, чем повелит Господь) Эрсилия пойдет в монастырь. Такая перспектива ничуть ее не удручала. Она любила пошутить, посмеяться. Обеды и завтраки проходили у нас весело, но к нашим занятиям она относилась серьезно и, когда я бывал непонятлив или невнимателен, стукала меня по рукам черной линейкой. Я бы вознегодовал, что со мной обращаются как с ребенком, однако это напомнило мне об учителях былых времен, о которых я читал, а тогда мне стало смешно.

Дни мои были заполнены до отказа. Каждое утро я для начала переводил несколько страниц из какой-нибудь пьесы Ибсена, чтобы овладеть техникой естественного диалога; затем с томиком Рескина в руках шел осматривать достопримечательности Флоренции. Согласно предписаниям, я восхищался башней Джотто и бронзовой дверью

Гильберти. Как полагалось, приходил в восторг от Боттичелли в галерее Уффици и по крайней своей молодости пренебрежительно отворачивался от того, чего мой кумир и наставник не одобрял. После завтрака был урок итальянского, а потом я опять уходил из дому, посещал церкви и мечтал, бродя по берегам Арно. После обеда я пускался на поиски приключений, но был до того невинен или, во всяком случае, робок, что всегда возвращался домой, не потеряв и грана добродетели. Синьора, хоть и дала мне ключ от входной двери, вздыхала с облегчением, когда слышала, как я вхожу и задвигаю засов — она вечно боялась, что я забуду это сделать, — а я принимался за чтение истории гвельфов и гибеллинов с того места, где остановился накануне. Я с горечью сознавал, что не так проводили время в Италии поэты-романтики (хотя едва ли хоть один из них сумел прожить здесь шесть недель за двадцать фунтов стерлингов), и от души наслаждался моей трезвой и деятельной жизнью.

«Ад» Данте я уже прочел раньше (с помощью перевода на английский, но добросовестно отыскивая незнакомые слова в словаре), так что с Эрсилией мы начали с «Чистилища». Когда мы дошли до того места, которое я процитировал

выше, она объяснила мне, что Пия была сиенской дворянкой, чей муж, заподозрив ее в неверности, но опасаясь мести ее знатной родни в том случае, если он велит ее убить, увез ее в свой замок в Маремме, в расчете, что тамошние ядовитые испарения с успехом заменят палача; однако она не умирала так долго, что он потерял терпение и приказал выбросить ее из окна. Откуда Эрсилия все это знала — понятия не имею, в моем издании примечание было не столь подробное, но история эта почему-то поразила мое воображение, я мысленно поворачивал ее так и этак в течение многих лет, снова и снова размышлял над ней по два-три дня кряду. Я все повторял про себя строку «Сиена породила меня, Маремма меня погубила». Но это был лишь один из многих сюжетов, теснившихся у меня в голове, и я подолгу вообще не вспоминал о нем. Я, разумеется, представлял себе какую-то современную повесть и никак не мог придумать, в какой современной обстановке такие события могли бы произойти, не утратив правдоподобия. Нашел я такую обстановку лишь после того, как совершил долгое путешествие в Китай.

Пожалуй, это единственный из моих романов, который я писал, исходя не столько из характеров,

сколько из фабулы. Объяснить, как соотносятся характеры и фабула, нелегко. Нельзя создать персонаж в безвоздушном пространстве: как только начинаешь о нем думать, представляешь его себе в какой-то ситуации, он совершает какие-то поступки; и выходит, что характер и хотя бы основное действие зарождаются в воображении одновременно. Но в данном случае персонажи были подобраны в соответствии с сюжетом; и списаны они были с людей, которых я давно знал — правда, при других обстоятельствах.

С этой книгой у меня не обошлось без неприятностей из тех, что подстерегают каждого писателя. Сначала я дал своим героям фамилию Лейн, довольно распространенную, но оказалось, что какие-то люди с такой фамилией живут в Гонконге. Они предъявили иск издателю журнала, в котором печатался роман, и он был вынужден уплатить 250 фунтов, а я изменил фамилию героев на Фейн. Затем помощник гонконгского губернатора, усмотрев в романе клевету на себя, пригрозил подать в суд. Это меня удивило. Ведь в Англии мы можем показать на сцене премьер-министра, вывести в романе архиепископа Кентерберийского или лорд-канцлера, и эти высокопоставленные лица и бровью не поведут.

Мне показалось странным, что человек, временно занимавший столь незначительный пост, мог счесть себя оскорбленным, но, чтобы избежать лишнего шума, я изменил Гонконг на вымышленную колонию Цинянь[40]. К тому времени книга была уже отпечатана, но тираж так и не поступил в продажу. Некоторые из рецензентов, успевших получить книгу от издателя, под тем или иным предлогом ее не вернули, и эти экземпляры стали библиографической редкостью. Насколько я знаю, их насчитывается штук шестьдесят, и коллекционеры платят за них большие деньги.

[40] Примечания: 40
В более поздних изданиях Гонконг был восстановлен. — *Примеч. авт.*

1

О, не приподнимай покров узорный,
Который люди жизнью называют.

Она испуганно вскрикнула.

— Что случилось? — спросил он.

Ставни были закрыты, но он и в темноте увидел, что лицо ее исказилось от ужаса.

— Кто-то пробовал отворить дверь.

— Наверно, ама[41] или кто-нибудь из слуг.

— Они в это время никогда не приходят. Им известно, что после второго завтрака я всегда отдыхаю.

— Так кто же это мог быть?

— Уолтер, — прошептали ее дрогнувшие губы.

Она указала на его ботинки. Он попытался их надеть, но ее тревога передалась и ему — руки не слушались, к тому же ботинки были тесноваты. С коротким раздраженным вздохом она протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и босиком прошла к туалетному столику. Волосы ее были коротко острижены, и она привела их в порядок еще до того, как он успел зашнуровать второй

---

[41] Примечания: 41
Служанка, горничная.

ботинок. Она сунула ему в руки пиджак.

— Как мне выйти?

— Лучше подожди немного. Я пойду взгляну, свободен ли путь. — Не мог это быть Уолтер. Он ведь никогда не уходит из лаборатории раньше пяти.

— А кто же?

Они говорили шепотом. Ее трясло. У него мелькнула мысль, что в критическую минуту она способна потерять голову, и неожиданно он обозлился. Если риск был, какого черта она уверяла, что риска нет? Она ахнула и схватила его за руку. Он проследил за ее взглядом. Они стояли лицом к стеклянным дверям, выходившим на веранду. Ставни были закрыты, засовы задвинуты. Белая фарфоровая ручка двери медленно повернулась. А они и не слышали, чтобы кто-нибудь прошел по веранде. Среди полного безмолвия это было очень страшно. Прошла минута — ни звука. Потом так же бесшумно, так же пугающе, словно повинуясь сверхъестественной силе, повернулась белая фарфоровая ручка второй двери. Это было так жутко, что Китти не выдержала, открыла рот, готовая закричать, но он, заметив это, быстро накрыл ей рот ладонью, и крик замер у него между пальцев.

Молчание. Она прислонилась к нему, колени у нее дрожали, он боялся, что она потеряет сознание. Хмурясь, сжав зубы, он подхватил ее и отнес на кровать. Она была белее простыни, и сам он побледнел под загаром. Он стоял, не в силах оторвать взгляд от фарфоровой ручки. Оба молчали. Потом он увидел, что она плачет.

— Ради Бога, перестань, — шепнул он сердито. — Попались так попались. Как-нибудь выкрутимся.

Она стала искать платок, и он подал ей ее сумочку.

— Где твой шлем?

— Оставил внизу.

— О Господи!

— Да ну же, возьми себя в руки. Ручаюсь, что это был не Уолтер. С какой стати ему было приходить домой в это время? Ведь он никогда не приходит среди дня?

— Никогда.

— Ну вот. Голову даю на отсечение, что это была ама.

Она чуть заметно улыбнулась. Его теплый, обволакивающий голос немного успокоил ее, она взяла его руку и ласково пожала. Он дал ей время собраться с силами, потом сказал:

— Ну знаешь, надо на что-то решаться. Может, выйдешь на веранду, оглядишься?

— Мне кажется, если я встану, то сразу упаду.

— Бренди у тебя здесь есть?

Она покачала головой. Он помрачнел, чувствуя, что теряет терпение, не зная, как быть. Вдруг она крепче стиснула его руку.

— А если он там дожидается?

Он заставил себя улыбнуться и отвечал тем же мягким, ласкающим голосом, силу которого так хорошо сознавал:

— Ну, это едва ли. Да не трусь ты, Китти. Не мог это быть твой муж. Если бы он пришел и увидел в прихожей чужой шлем, а поднявшись наверх, обнаружил, что твоя дверь заперта, уж он не стал бы молчать. Конечно же, это был кто-нибудь из слуг. Только китаец мог повернуть ручку так осторожно.

У нее немного отлегло от сердца.

— Не очень-то это приятно, даже если это была ама.

— С ней можно договориться, а в случае чего я ее припугну. Быть правительственным чиновником не так уж сладко, но кое-какие преимущества это дает.

Наверно, он прав. Она встала, повернулась к

нему, протянула руки, он обнял ее и поцеловал в губы. Она задохнулась от счастья, как от боли. Она боготворила его. Он отпустил ее, и она пошла к двери. Отодвинула засов, приоткрыла ставень, выглянула. Ни души. Она скользнула на веранду, заглянула в туалетную комнату мужа, потом в свой будуар. Пусто и там и тут. Она вернулась в спальню и поманила его:

— Никого.

— Скорее всего это был обман зрения.

— Не смейся. Я до смерти перепугалась. Пройди в мой будуар и подожди там, я только обуюсь.

2

Он послушался, и через пять минут она тоже пришла в будуар. Он курил папиросу.

— Ну что, получу я теперь бренди с содовой?

— Да, сейчас позвоню.

— Тебе и самой не мешало бы выпить.

Они молча дождались, пока явился бой и, выслушав приказание, вышел из комнаты, а потом она сказала:

— Позвони в лабораторию, спроси, там ли Уолтер. Твоего голоса они не знают.

Он взял трубку, назвал номер. Попросил к телефону доктора Фейна. Положил трубку и сообщил:

— Ушел еще до завтрака. Спроси боя, приходил ли он домой.

— Боюсь. Странно получится, если он приходил, а я его не видела.

Бой принес поднос с напитками, и Таунсенд налил себе стакан. Предложил и ей, но она отказалась.

— Как же быть, если это был Уолтер? — спросила она.

— Может, он посмотрит на это сквозь пальцы?

— Кто, Уолтер?

В ее голосе прозвучало сомнение.

— Мне он всегда казался человеком застенчивым. Есть, знаешь ли, мужчины, которые не выносят сцен. У него хватит ума понять, что устраивать скандал — не в его интересах. Я ни на минуту не допускаю, что это был Уолтер, но, даже если это был он, сдается мне, что он ничего не предпримет. Просто оставит без внимания.

Она отозвалась не сразу.

— Он в меня сильно влюблен.

— Ну что ж, тем лучше. Ты усыпишь его подозрения.

Он подарил ее той чарующей улыбкой, которую она всегда находила неотразимой. Улыбка была медленная, она возникала в его ясных синих глазах и зримо спускалась к красиво очерченному рту, обнажая ровные мелкие белые зубы. Очень чувственная улыбка, от которой у нее все таяло внутри.

— А мне все равно, — сказала она почти весело. — Дело того стоило.

— Это я виноват.

— Да, зачем ты пришел? Я просто глазам не поверила.

— Не мог удержаться.

— Милый.

Она склонилась к нему, страстно глядя ему в глаза своими темными блестящими глазами, приоткрыв губы, и он обнял ее. С блаженным вздохом она отдалась под защиту этих сильных рук.

— Ты же знаешь, что можешь на меня положиться, — сказал он.

— Мне с тобой так хорошо. Если б знать, что тебе так же хорошо со мной.

— И страхи прошли?

— Я ненавижу Уолтера, — ответила она.

Что сказать на это, он не знал и только поцеловал ее, вдохнув прелесть ее нежной кожи.

А потом взял ее руку и посмотрел на золотые часики-браслет.

— Ты знаешь, что мне теперь пора делать?

— Бежать? — улыбнулась она.

Он кивнул. На мгновение она крепче прильнула к нему, но, почувствовав, что ему не терпится уйти, тут же отстранилась.

— Просто безобразие так запускать работу. Уходи сию же минуту.

Он никогда не мог устоять перед искушением пококетничать.

— Надо же, как ты спешишь от меня избавить-

ся! — парировал он шутливо.

— Ты сам знаешь, я не хочу, чтобы ты уходил.

Это было сказано тихо, искренне, серьезно. Он усмехнулся, польщенный.

— Не ломай себе головку над нашим таинственным гостем. Я уверен, это была ама. А если возникнут затруднения, не сомневайся, я тебя выручу.

— У тебя в этом смысле богатый опыт?

Он улыбнулся весело и самодовольно.

— Нет, но смею думать, у меня есть голова на плечах.

3

Она вышла на веранду и видела, как он уходил. Он помахал ей. Она смотрела ему вслед, и сердце ее трепетало. Сорок один год, а фигура легкая и походка пружинистая, как у юноши.

Веранда была в тени, и она еще помедлила там, разнеженная, утомленная любовью. Дом их стоял в Счастливой долине, на склоне холма. Более фешенебельная, но и более дорогая Вершина была им не по средствам. Но ее рассеянный взор почти не воспринимал синеву моря и гавань, заполненную судами. Все ее мысли были о любовнике.

Сегодня они, конечно, допустили страшную глупость, но возможно ли осторожничать, если он ее хочет? Два-три раза он уже заходил к ней после второго завтрака, когда все спасаются по домам от жары, и даже бои не видели, как он входил в дом и выходил на улицу. В Гонконге с этим было очень трудно. Она ненавидела китайскую часть города, всегда нервничала, входя в грязный домишко близ Виктория-роуд, где обычно происходили их свидания. Дом принадлежал торговцу-антиквару, и китайцы, рассевшись в лавке, глазели на нее. Она ненавидела угодливую улыб-

ку на лице старика хозяина, когда он провожал ее в глубину дома и вверх по темной лестнице. Комната, куда он вводил ее, была неопрятная, душная, от большой деревянной кровати, стоявшей у стены, ее бросало в дрожь.

— Неприглядно здесь, правда? — сказала она, когда встретилась там с Чарли в первый раз.

— Было неприглядно, пока ты не вошла, — ответил он.

И конечно же, стоило ему обнять ее, как она обо всем забыла.

О, как ужасно, что она не свободна, что они не свободны!

Его жена ей не нравилась. И сейчас она снова вспомнила Дороти Таунсенд. Даже имя ей досталось неудачное — Дороти. Такое имя старит женщину. Ей лет тридцать восемь, никак не меньше. Но Чарли о ней никогда не говорит. Он, разумеется, не любит ее, она ему до смерти надоела. Но он джентльмен. Китти улыбнулась ласково и насмешливо. Вот дурачок — изменять жене считает возможным, но не позволит себе ни единого осудительного слова по ее адресу. Она была высокого роста, выше Китти, не худая и не толстая, с густой русой шевелюрой. Красотой, вероятно, никогда не блистала, разве что

красотой молодости. Черты лица недурны, но ничего особенного, голубые глаза холодные. Кожа неважная, щеки без румянца. И одевается, как… ну, как и следует одеваться жене помощника губернатора в Гонконге. Китти улыбнулась и слегка пожала плечами.

Никто, конечно, не стал бы отрицать, что голос у Дороти Таунсенд приятный. Она прекрасная мать, Чарли вечно об этом толкует, а мать Китти говорит о таких женщинах, что они «из благородного семейства». Но Китти ее не любила. Ей не нравилось, что Дороти держится так непринужденно, ее бесила вежливость, которую та проявляла, когда они бывали приглашены к Таунсендам на чаепитие или на обед, — сразу чувствовалось, что ты ей глубоко безразлична. Наверно, вся беда в том, думала Китти, что ее ничего не интересует, кроме собственных детей. Два ее сына учились в школе в Англии, и был еще младший, шести лет, того она собиралась отвезти в Англию на будущий год. А лицо у нее было как маска. Она улыбалась и приятным, воспитанным тоном говорила то, что от нее ожидали услышать, но при всей сердечности держала людей на расстоянии. Было у нее в городе несколько близких приятельниц, те все как одна восхищались

ею. Китти подумалось, не считает ли ее миссис Таунсенд немного вульгарной. Она вспыхнула. А кто она такая, эта Дороти, чтобы задирать нос? Правда, отец ее был губернатором целой колонии, это, конечно, очень почетно — когда входишь в комнату, все встают, когда проезжаешь в автомобиле, мужчины на улице снимают шляпы, — но стоит колониальному губернатору уйти в отставку, и он — ничто, ноль без палочки. Отец Дороти Таунсенд живет теперь на пенсию в маленьком доме на Эрлс-Корт, в Лондоне. Мать Китти еще подумала бы, стоит ли идти к Дороти в гости, если бы та ее пригласила. Отец Китти, Бернард Гарстин, — королевский адвокат, не сегодня завтра будет назначен судьей. И живут они как-никак в Саут-Кенсингтоне.

4

Когда Китти после свадьбы приехала в Гонконг, ей было нелегко примириться с тем, что ее положение в обществе определяется специальностью ее мужа. Да, встретили ее очень радушно, и первые два-три месяца они чуть не каждый вечер бывали в гостях. Когда их пригласили на обед в губернаторский дом, губернатор сам повел ее к столу, как новобрачную; но она быстро смекнула, что как жена правительственного бактериолога котируется невысоко. Это ее рассердило.

— Какое идиотство, — заявила она мужу. — Да таких, как эти люди, мы в Англии в грош не ставили. Моей маме и в голову не пришло бы пригласить их к нам на обед.

— Пусть это тебя не волнует, — ответил он. — Ведь это не имеет значения.

— Конечно, не имеет значения, это только показывает, какие они идиоты, но, когда вспомнишь, какие люди бывали у нас в доме, как-то странно, что здесь на нас смотрят сверху вниз.

Он улыбнулся.

— С точки зрения света, ученый — величина несуществующая. Теперь-то она это знала — не

знала тогда, когда выходила за него замуж.

— Не могу сказать, что меня очень радует, когда меня сажают за столом рядом с агентом пароходной компании, — сказала она и засмеялась, чтобы он не усмотрел в ее словах снобизма.

Может быть, за наигранной легкостью ее тона он почувствовал упрек, потому что робко пожал ее руку.

— Мне очень жаль, Китти, милая, но ты не огорчайся.

— А я и не думаю огорчаться.

5

Нет, не мог это быть Уолтер. Не иначе как кто-нибудь из слуг, а это, в конце концов, не важно. Слуги-китайцы все равно все знают. Но умеют держать язык за зубами.

Сердце ее чуть екнуло, когда она вспомнила, как поворачивалась белая фарфоровая дверная ручка. Нельзя больше так рисковать. Лучше встречаться в лавке у антиквара. Никто ничего не подумает, даже если увидит, как она туда входит, а уж там они в безопасности. Хозяин лавки знает, какой пост занимает Чарли, и не такой он дурак, чтобы вызвать недовольство помощника губернатора. И вообще все не важно, кроме того, что Чарли ее любит.

Она вернулась в свой будуар, бросилась на диван и потянулась за папиросой. Увидела какую-то записку, лежащую на книге, и развернула ее. Записка была наспех написана карандашом.

Милая Китти! Вот книга, которую Вы хотели прочесть. Я как раз собиралась послать ее Вам, но встретила д-ра Фейна, и он сказал, что сам ее Вам передаст,

так как будет проходить мимо дома.
Ваша В. Х.

Она позвонила и, когда вошел бой, спросила, кто принес эту книгу и когда.

— Принес хозяин, мисси, после завтрак.

Значит, это был Уолтер. Она тут же позвонила по телефону в канцелярию губернатора и, попросив соединить ее с Чарли, сообщила ему эту новость. Ответ последовал не сразу.

— Что мне делать? — спросила она.

— У меня идет важное совещание. К сожалению, сейчас говорить с вами не могу. Мой совет — никакой паники.

Она положила трубку. Значит, он не один. Экая досада, вечно у него дела.

Она села к столу и, опустив лицо в ладони, попробовала спокойно все обдумать. Конечно, Уолтер мог просто решить, что она заснула, а что заперлась в спальне — что ж тут такого? Постаралась вспомнить, разговаривали ли они с Чарли. Если и разговаривали, то, во всяком случае, негромко. И еще этот шлем. Болван, как он мог оставить его внизу? Впрочем, какой смысл ругать Чарли, это было вполне естественно, да Уолтер, возможно, и не заметил его. Он, вероятно,

торопился, забросил книгу и записку по дороге на какое-нибудь деловое свидание. Странно только, что он попробовал все двери — и внутреннюю, и обе с веранды. Если он решил, что она спит, едва ли стал бы ее тревожить. Как она могла так оплошать!

Она встрепенулась и, как всегда при мысли о Чарли, опять ощутила в сердце сладкую боль. Да, дело того стоило. Он сказал, что выручит ее, а в худшем случае — что ж… Пусть Уолтер устраивает скандал. У нее есть Чарли, не все ли ей равно? Может, и лучше, если он узнает. Она никогда не любила Уолтера, а с тех пор, как полюбила Чарли Таунсенда, ласки мужа стали ей в тягость. Не захочет больше с ней жить — и очень хорошо. Доказать-то он ничего не может. Если вздумает приставать к ней с расспросами, она все будет отрицать, а если отрицать станет невозможно — выложит ему все начистоту, и пусть делает что хочет.

6

Через три месяца после свадьбы она уже знала, что ошиблась, но виновата в этом не столько она сама, сколько ее мать.

Портрет матери висел тут же на стене, измученный взгляд Китти задержался на нем. Она сама не знала, зачем повесила его, — большой любви к матери у нее не было. Имелась в доме и фотография отца, та стояла внизу на рояле. Он тогда только что стал королевским адвокатом и по этому случаю был снят в парике и в мантии, но даже это не придало ему внушительности. Он был низенький, сухонький, с усталыми глазами и длинной верхней губой, прикрывающей нижнюю, такую же тонкую. Шутник-фотограф попросил его сделать веселое лицо, но лицо получилось не веселое, а строгое. Именно поэтому миссис Гарстин, просматривая пробные снимки, остановила свой выбор на нем: обычно опущенные уголки губ и грустные глаза придавали ему покорно-скорбное выражение, а в этом снимке она усмотрела нечто глубокомысленное. Сама она снялась в том туалете, в котором представлялась ко двору, когда ее муж был повышен в звании.

Она выглядела очень величественно в бархатном платье с длинным шлейфом, ниспадающим эффектными складками, с перьями в волосах и цветами в руке. Держалась она очень прямо. В пятьдесят лет это была худая, плоскогрудая женщина с выдающимися скулами и крупным, благородной формы носом. Волосы у нее были густые, черные, гладко причесанные. Китти всегда подозревала, что она их если не красит, то слегка подцвечивает. Ее большие черные глаза никогда не оставались в покое — это, пожалуй, было в ней самое приметное: разговаривая с ней, люди сжимались при виде этих неуемных глаз на бесстрастном, без единой морщинки желтом лице. Они скользили по собеседнику вверх и вниз, перебегали на других гостей и возвращались обратно; чувствовалось, что она вас зондирует, оценивает, в то же время улавливая все, что происходит вокруг, и что слова, которые она произносит, не имеют ничего общего с ее мыслями.

7

Миссис Гарстин была женщина жестокая, властная, честолюбивая, скупая и недалекая. Она была одной из пяти дочерей ливерпульского юриста, и Бернард Гарстин познакомился с ней, когда приезжал в Ливерпуль на выездную сессию суда. Он производил тогда впечатление многообещающего молодого человека, ее отец уверял, что он далеко пойдет. Этого не случилось. Он был старательный, трудолюбивый, способный, но слишком слабовольный, чтобы выдвинуться. Миссис Гарстин презирала его. Однако она пришла к выводу, правда малоутешительному, что сама может добиться успеха только через мужа, и принялась подгонять его по выбранной ею дороге. Она немилосердно пилила его. Она убедилась, что при большом желании можно заставить его сделать и то, что претит его деликатности, — нужно только без отдыха бить в одну точку, и рано или поздно он смирится и уступит. Со своей стороны она поставила себе целью поддерживать знакомство только с нужными людьми. Она льстила адвокатам, которые могли передать ее мужу то или иное дело, и дружила с их женами.

Лебезила перед судьями и их благоверными. Обхаживала подающих надежды политических деятелей.

За двадцать пять лет миссис Гарстин ни разу не пригласила в гости человека просто потому, что он ей нравился. Через определенные промежутки времени она давала званые обеды. Но честолюбие в ней вечно боролось со скупостью. Она терпеть не могла тратить деньги. Она уверяла себя, что не хуже других умеет пустить пыль в глаза, а обходится это ей вдвое дешевле. Обеды ее были долгие, обдуманы тщательно, но рассчитаны экономно, и до ее сознания просто не доходило, что люди, когда едят и беседуют, разбираются в том, что пьют. Обернув бутылку шипучего мозельвейна салфеткой, она воображала, что ее гости принимают его за шампанское.

Практика у Бернарда Гарстина была приличная, но не обширная. Многие юристы с меньшим, чем у него, стажем давно его обскакали. Миссис Гарстин заставила его выставить свою кандидатуру в парламент. Расходы по предвыборной кампании взяла на себя партия, но и тут на пути ее честолюбия встала скупость, и она не смогла заставить себя истратить достаточно денег, чтобы заручиться симпатиями избирателей.

Бесчисленные пожертвования, которых ждали от Бернарда Гарстина, как от любого кандидата, всякий раз оказывались поменьше, чем следовало. На выборах он не прошел. Миссис Гарстин было бы очень приятно стать женой члена парламента, но неудача не сломила ее. Во время предвыборной кампании она свела знакомство с целым рядом видных общественных деятелей, чем сильно повысила собственный престиж. Она знала, что в палате общин ее муж все равно бы не отличился. Победа на выборах была ей нужна только для того, чтобы он мог рассчитывать на благодарность своей партии, а такая благодарность, конечно, ему обеспечена, если он соберет для нее хоть несколько лишних голосов.

Но он все еще был рядовым адвокатом, а многие, моложе его годами, уже получили шелковую мантию. Ему тоже необходимо было добиться этой чести не только потому, что иначе он не мог надеяться стать судьей, но и просто ради нее: очень уж обидно было, входя в банкетный зал, уступать дорогу женщинам на десять лет ее моложе. Однако тут ее муж оказал упорное сопротивление, от которого она давно успела отвыкнуть. Он боялся, что, став королевским адвокатом, лишится работы. Лучше синица в ру-

ках, чем журавль в небе, сказал он ей, на что она возразила, что поговорки — это последнее прибежище людей умственно отсталых. Он дал ей понять, что доход его может сократиться вдвое, зная, что для нее это самый веский аргумент. Она ничего не желала слушать. Назвала его трусом. Не оставляла его в покое, и кончилось тем, что он, как всегда, уступил. Подал прошение, и оно было быстро уважено.

Опасения его оправдались. Карьеры он не сделал, дела вел редко. Но он не жаловался и если упрекал жену, так только в душе. Стал, пожалуй, еще молчаливее, но дома он всегда был неразговорчив, и домашние его не заметили в нем перемены. Дочери всегда видели в нем только источник дохода; им казалось вполне естественным, что он с ног сбивается, чтобы обеспечить им еду и кров, туалеты, курорты и деньги на булавки. И теперь, когда они уразумели, что по его милости денег стало меньше, их безразличное отношение к нему окрасилось раздраженным презрением. Им и в голову не приходило спросить себя, каково приходится этому незаметному человечку, который рано утром уезжает из дому, а возвращается вечером, когда уже пора переодеваться к обеду. Он был им чужой, но оттого, что это был их отец,

они считали само собой разумеющимся, что он должен их любить и лелеять.

8

Но мужество миссис Гарстин поистине достойно было восхищения. В том кругу, в котором она вращалась и который для нее представлял весь мир, она от всех сумела скрыть, как тяжело ей далось крушение ее заветных планов. Старательно рассчитывая каждый шиллинг, она продолжала устраивать званые обеды и по-прежнему, принимая гостей, бывала весела и радушна. Она в совершенстве владела искусством пустой болтовни, которая у них именовалась светской беседой. Она была незаменимой гостьей там, где другим такая болтовня не давалась, у нее всегда находилось о чем поговорить, неловкое молчание она умела сразу прервать каким-нибудь подходящим к случаю замечанием.

Увидеть мужа членом Верховного суда она уже почти не надеялась, но он еще мог рассчитывать на должность судьи в каком-нибудь графстве, а на худой конец — на пост в колониях. Пока же она утешалась тем, что его назначили выездным мировым судьей в каком-то городке в Уэльсе. Но все свои надежды она теперь возложила на дочерей. Удачно выдать их замуж — вот возмещение,

которого она ждала за долгие годы бесплодных усилий. Дочерей было две: Китти и Дорис. Дорис всегда была дурнушкой — слишком длинный нос, нескладная фигура; для нее миссис Гарстин не метила высоко — в женихи мог сгодиться любой молодой человек со средствами и приемлемой профессией. Зато Китти росла красавицей. Это стало ясно, еще когда она была маленькой девочкой, — большие темные глаза, живые и лучистые, вьющиеся каштановые волосы с рыжеватым отливом, прелестные зубы и изумительная кожа. Черты лица оставляли желать лучшего: подбородок был слишком широк и нос, хоть и не такой длинный, как у Дорис, все же великоват. Главный секрет ее красоты — молодость, думала миссис Гарстин и чувствовала, что Китти следует выдать замуж, пока не облетело это раннее цветение. Когда она стала выезжать в свет, она была ослепительна — кожа и румянец как у ребенка, к тому же влажные глаза между длинных ресниц сияют как звезды, взглянешь на них — сердце замирает. А до чего весела, до чего кокетлива! Миссис Гарстин сосредоточила на ней всю любовь, на какую была способна, — любовь жесткую, практичную, расчетливую. Она опять лелеяла честолюбивые мечты — эта ее дочь должна сделать не просто

хорошую, а блестящую партию, на меньшее она не согласна.

Китти, которой с детства внушили, что она будет красавицей, догадывалась о честолюбивых замыслах матери. Они совпадали с ее желаниями. Она стала выезжать, и миссис Гарстин всеми правдами и неправдами добывала приглашения на балы, где ее дочь могла познакомиться с подходящими мужчинами. Китти произвела фурор. Красивая, к тому же не скучная, она очень быстро пленила десятка полтора мужчин. Но подходящих среди них не было, и Китти, хоть и была со всеми одинаково мила и приветлива, ни одному не оказывала предпочтения. По воскресеньям в гостиную в Саут-Кенсингтоне валом валили влюбленные молодые люди, но миссис Гарстин с одобрительной улыбочкой отметила, что Китти и без ее помощи умеет держать их на расстоянии. Китти с ними флиртовала, для забавы сталкивала их лбами, но, когда они делали предложение — а без этого не обходилось, — отказывала им тактично, но решительно.

Так прошел и ее первый, и второй сезон, а идеальный поклонник все не появлялся на горизонте; но Китти была молода, и миссис Гарстин рассудила, что время терпит. Своим знакомым

она разъясняла, что, по ее мнению, девушки, которые выходят замуж до двадцати одного года, достойны жалости. Однако миновал и третий год, и четвертый. Некоторые из прежних воздыхателей сделали предложение по второму разу, но они все еще были бедны; предложили руку и сердце два-три совсем зеленых юнца, моложе Китти, а затем — некий отставной чиновник гражданской службы в Индии, награжденный орденом Индийской империи, тому было пятьдесят три года. Китти по-прежнему много танцевала, ездила на теннисные турниры и на крикетные матчи, на скачки в Аскот и на регаты в Хенли; она от души наслаждалась жизнью, но ни один мужчина с удовлетворительным доходом и положением в обществе так и не предложил ей стать его женой. Миссис Гарстин начала нервничать. Она заметила, что Китти стали оказывать внимание мужчины лет сорока и старше, и уже не раз напоминала дочери, что красота ее через год-другой поблекнет и что к каждому сезону подрастают новые дебютантки. В семейном кругу миссис Гарстин не стеснялась в выражениях и однажды без обиняков заявила дочери, что так недолго и остаться на бобах.

Китти только плечами пожала. Она-то считала,

что все так же хороша собой, возможно даже еще похорошела, поскольку за четыре года научилась одеваться, а времени впереди достаточно. Если б ей хотелось выйти замуж только для того, чтобы быть замужем, нашлось бы сколько угодно желающих хоть завтра вести ее под венец. А рано или поздно подходящий претендент не может не появиться. Однако миссис Гарстин оценивала обстановку более трезво: негодуя в душе на красивую дочку, упустившую время, она немного снизила свои требования и, вспомнив о существовании мужчин, зарабатывающих на жизнь той или иной профессией (раньше, в гордыне своей, она эту категорию вообще отметала), стала присматривать для Китти какого-нибудь молодого юриста или бизнесмена, способного, на ее взгляд, добиться успеха.

Китти минуло двадцать пять лет, и она все еще не была замужем. Миссис Гарстин совсем извелась, и нередко ее разговоры с дочерью принимали очень неприятный оборот. Она спрашивала, долго ли еще Китти намерена сидеть на шее у отца. Он, мол, и так живет не по средствам, чтобы предоставить ей больше возможностей, а она ими не пользуется. Миссис Гарстин ни разу не подумала, что, может быть, это она сама своей

излишней предупредительностью отпугнула не одного сына богатых родителей или наследника титула, которых так беспардонно поощряла. Неудачу Китти она приписывала ее глупости. А тут подошло время вывозить в свет Дорис. У Дорис по-прежнему был длинный нос и нескладная фигура, и танцевала она плохо. И в первый же сезон обручилась с Джеффри Деннисоном. Он был единственным сыном процветающего хирурга, во время войны получившего титул баронета. Джеффри предстояло унаследовать этот титул (конечно, медицинский баронет — это не бог весть что, но титул как-никак есть титул), а также весьма солидное состояние.

Китти с перепугу вышла замуж за Уолтера Фейна.

9

Познакомилась она с ним совсем недавно, особенного внимания ему не уделяла. Она даже не помнила, когда впервые с ним встретилась, он сам уже после их помолвки сказал ей, что это произошло на одном балу, куда его привели какие-то знакомые. В тот вечер она его, можно сказать, вообще не заметила и если танцевала с ним, так только потому, что по доброте сердечной танцевала со всеми, кто ее приглашал. Она и не узнала его, когда дня через два, на другом балу, он подошел и заговорил с ней. А потом заметила, что он бывает во всех домах, куда она ездит, и однажды смеясь сказала ему:

— Вы знаете, я с вами танцевала не меньше десяти раз, не мешало бы мне знать, кто вы есть.

Он был явно поражен.

— Как, вы не знаете? Ведь нас знакомили.

— Ой, люди всегда говорят так невнятно. Я бы не удивилась, если б и вы не знали мою фамилию.

Он улыбнулся. Лицо у него было серьезное, даже немного суровое, но улыбка очень славная.

— Конечно, я ее знаю. — Он сделал паузу, потом спросил: — А вы не любопытны?

— Не больше, чем всякая другая женщина.

— И вам даже не пришло в голову кого-нибудь спросить, кто я такой?

Забавно, подумала она, неужели он воображает, что это может ее интересовать? Но она не любила обижать людей и подарила его своей ослепительной улыбкой, а ее глаза, два озерка в чаще деревьев, так и лучились добротой.

— Так как же вас зовут?

— Уолтер Фейн.

Ей было непонятно, зачем он ездит на балы. Танцевал он неважно и, видимо, мало с кем был знаком. Мелькнула мысль, что он влюблен в нее, но она только пожала плечами: некоторым девушкам кажется, что в них все влюблены, она всегда считала, что это глупо. Но Уолтер Фейн стал изредка занимать ее мысли. Он вел себя совсем не так, как все те молодые люди, которые за ней ухаживали. Те сразу признавались в любви и выражали желание поцеловать ее, многие и целовали. А Уолтер Фейн никогда не говорил о ней и очень мало о себе. Он вообще был неразговорчив, но это ее не смущало: она всегда находила о чем поболтать, и было приятно, что он смеется ее шуткам; но если он говорил, то говорил неглупо. Наверно, был из робких. Выяснилось, что он жи-

вет на Востоке, а в Англию приехал в отпуск.

Однажды в воскресенье он появился у них в гостиной. Собралось человек пятнадцать гостей, он посидел немного, явно стесняясь, потом ушел. Позже мать спросила ее, кто он такой.

— Понятия не имею. Это ты его пригласила?

— Да, я с ним познакомилась у Бэддели. Он сказал, что встречался с тобой на балах. Я сказала, что по воскресеньям всегда рады гостям.

— Фамилия его Фейн. Он служит где-то на Востоке.

— Да, он доктор. Он в тебя влюблен?

— Честное слово, не знаю.

— Пора бы знать, как бывает, когда молодой человек в тебя влюблен.

— Если б и был влюблен, замуж за него я не пошла бы, — небрежно бросила Китти.

Миссис Гарстин промолчала. Молчание было неодобрительное. Китти вспыхнула: она уже знала, что матери дела нет, за кого она выйдет замуж, лишь бы сбыть ее с рук.

10

В течение следующей недели она встретила его на трех балах, и теперь он, поборов, вероятно, свою робость, кое-что рассказал о себе. Да, у него медицинское образование, но он не практикующий врач, а бактериолог (Китти очень смутно представляла себе, что это такое) и служит в Гонконге. Осенью он туда возвращается. О Китае он говорил охотно. Китти давно взяла за правило делать вид, будто ей интересно все, что ей рассказывают, но жизнь в Гонконге и правда показалась ей привлекательной: там, оказывается, были и клубы, и теннис, и скачки, и поло, и гольф.

— А танцуют там много?

— По-моему, да.

И зачем он все это ей рассказывает? Он как будто ищет ее общества, но ни разу ни пожатием руки, ни словом, ни взглядом не дал понять, что она для него нечто большее, чем знакомая девушка, с которой можно потанцевать. В следующее воскресенье он опять к ним пришел. Случайно дома оказался ее отец — шел дождь, играть в гольф было нельзя, — и они с Уолтером Фейном долго беседовали вдвоем. Позже она спросила

отца, о чем они разговаривали.

— Он, оказывается, служит в Гонконге. С тамошним главным судьей мы давнишние приятели, вместе учились. Этот молодой человек показался мне на редкость серьезным и умным.

Она знала, что, как правило, отцу бывало до смерти скучно с молодыми людьми, которых он ради нее, а теперь и ради ее сестры столько лет был вынужден занимать разговорами.

— Мои молодые люди не часто тебе нравятся, папа.

Его добрые усталые глаза обратились на нее.

— Ты уж не собираешься ли за него замуж?

— Ни в коем случае.

— Он в тебя влюблен?

— Что-то незаметно.

— Он тебе нравится?

— Да не особенно. Он меня почему-то раздражает.

Он был совсем не в ее вкусе. Небольшого роста, но не коренастый, скорее худощавый; смуглый, безусый, с очень правильными, четкими чертами лица. Глаза почти черные, но небольшие, не слишком живые, взгляд упорный, в общем, странные глаза, не очень приятные. При том, что нос у него прямой, аккуратный, лоб высокий, рот

хорошо очерчен, он должен бы быть красив. А его, как ни странно, красивым не назовешь. Когда Китти стала о нем задумываться, ее поразило, какие хорошие у него черты лица, если брать их по отдельности. Выражение у него было чуть язвительное. Узнав его поближе, Китти почувствовала, что ей с ним как-то неловко. В нем не было легкости.

Сезон подходил к концу, они часто виделись, но он оставался все таким же отчужденным и непроницаемым. Он не то чтобы робел перед ней, но держался несвободно и в разговоре по-прежнему избегал личных тем. Китти пришла к выводу, что он нисколечко в нее не влюблен. Сейчас он не прочь беседовать с ней, но в ноябре, когда он вернется в Гонконг, он и думать о ней забудет. Не исключено, что в Гонконге у него есть невеста — какая-нибудь сестра милосердия в больнице, дочка священника, работящая, скучная, некрасивая, с большими ногами. Вот такая жена ему и нужна.

А потом состоялась помолвка Дорис с Джеффри Деннисоном. У Дорис в восемнадцать лет вполне приличный жених, а ей уже двадцать пять, и у нее никого, даже на примете. А вдруг она вообще не выйдет замуж? За весь этот год ей сделал

предложение только двадцатилетний юнец, еще учится в Оксфорде. Не брать же в мужья мальчика на пять лет моложе себя! В прошлом году она отказала кавалеру ордена Бани, вдовцу с тремя детьми. Пожалуй, зря отказала. Мать теперь поедом ее будет есть, а Дорис… Дорис, которую всегда приносили в жертву, потому что блестящее замужество прочили не ей, а Китти, — Дорис, можно не сомневаться, будет торжествовать победу. У Китти больно сжималось сердце.

11

Но как-то днем, по дороге домой из магазина «Хэрродз», она встретила на Бромптон-роуд Уолтера Фейна. Он остановился, заговорил с ней, спросил как бы мимоходом, не хочет ли она пройтись по Гайд-парку. Домой ее не тянуло — в эти дни ее ждало там мало приятного. Они пошли рядом, как всегда переговариваясь о том о сем, и он, между прочим, спросил, где она думает провести лето.

— О, мы всегда забираемся в какую-нибудь глушь. Понимаете, папа страшно устает за зиму, и мы стараемся выбрать самое тихое местечко.

Китти хитрила — она отлично знала, что работы у ее отца не так много, чтобы ему валиться с ног от усталости, да к тому же при выборе летнего пристанища никто не стал бы считаться с его удобствами. Но тихое местечко означало недорогое.

— Не находите ли вы, что эти кресла выглядят соблазнительно? — спросил он вдруг.

Проследив за его взглядом, она увидела два зеленых кресла, стоявших особняком на траве, под деревом.

— Так давайте на них посидим, — сказала она.

Но когда они сели, он словно впал в непонятную задумчивость. Чудак-человек! Впрочем, она продолжала весело болтать и только дивилась мысленно, зачем он пригласил ее пройтись по парку. Может, вздумал посвятить ее в тайну своей любви к большеногой медсестре в Гонконге? Внезапно он повернулся к ней, перебив ее на полуслове, так что ей стало ясно, что он не слушал. Лицо его побелело как мел.

— Мне нужно вам сказать одну вещь.

Она бросила на него быстрый взгляд и прочла в его глазах тяжкую тревогу. Голос его прозвучал глухо, не совсем твердо. Но она еще даже не успела подумать о причине его волнения, как он снова заговорил:

— Я хотел просить вас стать моей женой.

— Вот уж не ожидала, — сказала она и от удивления уставилась на него во все глаза.

— Неужели вы не знали, что я вас люблю безумно?

— Вы этого никак не проявили.

— Я очень нелепо устроен. Мне всегда труднее высказать то, что есть, чем то, чего нет.

Сердце у нее забилось чуть сильнее. Ей так часто признавались в любви, но либо весело, либо

сентиментально, и она отвечала в тон. Никто еще не делал ей предложения так неожиданно и на таких трагических нотах.

— Вы очень добры… — протянула она с сомнением.

— Я полюбил вас с первого взгляда. Давно хотел признаться, но все не мог себя заставить.

Она усмехнулась:

— Дипломат из вас, прямо сказать, неважный.

Она была рада случаю посмеяться — в этот ясный солнечный день в воздухе вдруг повеяло предчувствием беды. Он угрюмо нахмурился.

— Неужели не ясно? Я не хотел терять надежду. Но теперь вы вот-вот уедете, а осенью я должен вернуться в Китай.

— Я никогда и не думала о вас в этом смысле, — сказала она жалобно.

Он молчал, упорно не поднимая глаз. Очень, очень странный человек. Но сейчас, когда он высказался, она ощутила непонятную уверенность в том, что такой любви она еще не встречала. Ощущение это вселяло и легкий страх, и радость. И даже его невозмутимость чем-то ей импонировала.

— Дайте мне время подумать.

Он и тут ничего не сказал. Не шелохнулся. Что

же, он намерен держать ее здесь, пока она не надумает? Но это глупо. Она ведь должна все обсудить с матерью. Нужно было встать, как только он заговорил, а она пропустила минуту, думала, он еще что-нибудь скажет, и вот теперь неизвестно почему не решается даже пальцем пошевелить. Она не смотрела на него, но четко представляла себе его внешность. Никогда бы она не поверила, что может выйти за мужчину лишь совсем немного выше ее ростом. Когда сидишь рядом с ним, особенно заметно, какие у него правильные черты лица и какие холодные глаза. Странно это, если вспомнишь, что он изнемогает от любви.

— Я вас не знаю, совсем вас не знаю, — произнесла она нерешительно.

Он посмотрел на нее так, словно и ее вынуждал заглянуть в его глаза. В них была нежность, которой она раньше никогда в них не читала, но была и мольба, как у побитой собаки, и это вызывало легкую досаду.

— При ближайшем знакомстве я, мне кажется, не так плох.

— Вы, наверно, очень робкий, правда?

Да, такого диковинного предложения ей еще никто не делал. Ей и сейчас казалось, что они

говорят друг другу все самое неподходящее к случаю. Она нисколько в него не влюблена. И все же что-то мешает ей сразу отказать ему.

— Я такой бестолковый, — отвечал он. — Хочу сказать вам, что люблю вас больше всего на свете, но сказать это так трудно.

И — тоже странно — почему-то эти слова ее растрогали. Нет, он, конечно, не холодный, просто у него такая невыигрышная манера. Сейчас она, как никогда, сочувствовала ему. Дорис в ноябре выходит замуж. Он в это время будет уже на пути в Китай, и она, если они поженятся, будет с ним. Не очень-то приятно стоять с букетом на свадьбе у Дорис! Без этого она предпочла бы обойтись. А потом… Дорис замужем, а она девица! Все знают, что Дорис намного моложе ее, а тут она покажется еще старше, чуть ли не старой девой. Брак для нее не очень блестящий, но все-таки брак, и к тому же она уедет в Китай, и то хлеб. А чего только не наговорит мать, если она ему откажет? Да что там, все девушки, которые стали выезжать в свет одновременно с ней, давно замужем, у многих уже есть дети. Ей до смерти наскучило ходить к ним в гости и умиляться на их младенцев. Уолтер Фейн предлагает ей совсем новую жизнь. Она поглядела на него с безошибочно рассчитанной

улыбкой.

— А если б я решила броситься головой в омут, когда бы вы хотели на мне жениться?

У него вырвался короткий счастливый вздох, бледные щеки залила краска.

— Сейчас. Теперь же. Как можно скорее. В свадебное путешествие уедем в Италию. На август и сентябрь.

Значит, не придется проводить лето с родителями в каком-нибудь пасторском домике, снятом за пять гиней в неделю. Перед глазами сверкнуло объявление о помолвке на странице «Морнинг пост» — ввиду того что жених должен вернуться на Восток по месту работы, свадьба состоится теперь же. Свою мать она знает — можно не сомневаться, она и по этому случаю сумеет наделать шума; на какое-то время Дорис, во всяком случае, окажется в тени, а когда будут праздновать свадьбу Дорис, куда более пышную, она, Китти, уже будет далеко.

Она протянула Уолтеру Фейну руку.

— Мне кажется, вы мне очень нравитесь. Только дайте мне время к вам привыкнуть.

— Значит, согласны? — перебил он.

— Похоже, что так.

12

В то время она его почти не знала, да и теперь, хоть они были женаты уже около двух лет, знала немногим лучше. Поначалу она ценила его доброту, ей льстила его страстность, явившаяся для нее полной неожиданностью. Он был до крайности внимателен и заботлив, спешил исполнить каждое ее желание. Вечно дарил ей какие-то мелочи. Если ей случалось прихворнуть, никакая сиделка не могла бы лучше за ней ухаживать. Самое скучное ее поручение он воспринимал как милость. И был безукоризненно вежлив. Вставал, когда она входила в комнату, подавал ей руку, чтобы выйти из машины; встретив ее на улице, снимал шляпу, никогда не входил без стука к ней в спальню или в будуар. Обращался с ней не так, как у нее на глазах большинство мужчин обращались со своими женами, а так, будто оба они были гостями в имении у общих друзей. Все это было приятно, но немножко смешно. Ей было бы с ним легче, будь он попроще. И супружеские их отношения не способствовали душевной близости. Его страстность граничила с яростью, истеричность сменялась слезливой чувствительностью.

Ее сбивало с толку, до чего это оказалась эмоциональная натура. Сдержанность его происходила то ли от робости, то ли от многолетнего самообуздания. И недостойным казалось, что, когда она лежала в его объятиях, он, так всегда боявшийся сболтнуть глупость, показаться смешным, утолив свою страсть, способен был нелепо сюсюкать. Однажды она жестоко его оскорбила — рассмеялась и сказала, что он болтает несусветную чушь. Она почувствовала, как разом ослабели обнимавшие ее руки, он умолк, а через минуту отодвинулся от нее и ушел к себе в спальню. Ей не хотелось обижать его, и дня через два она сказала:

— Дурачок ты, да говори все, что хочешь, я не против.

Он ответил виноватым смешком. Очень скоро она поняла, что он, несчастный, не умеет отвлечься от себя и это его связывает. Когда на каком-нибудь сборище начинали петь хором, он не мог заставить себя раскрыть рот. Сидел, улыбался, чтобы показать, что ему весело, но улыбка была наигранная, смахивала на язвительную усмешку, и чувствовалось, что, на его взгляд, вся эта веселящаяся публика — дурачье. Он не мог заставить себя участвовать в играх и развлечениях, которые общительная Китти так любила.

На пароходе, когда они плыли в Китай, устроили маскарад, но он наотрез отказался наряжаться. И ее расхолаживало, что он так явно считал все это пустой тратой времени.

Сама она готова была болтать без умолку, смеяться по любому поводу. Его молчаливость сбивала с толку. Выводила из себя его манера оставлять ее беглые замечания без ответа. Правда, ответа они не требовали, но все же какого-то отклика она ждала. Если шел дождь и она говорила: «Льет как из ведра», ей хотелось услышать: «Да, прямо ужас!» А он молчал. Иногда ее подмывало встряхнуть его хорошенько.

— Я сказала: льет как из ведра, — повторила она.

— Я слышал, — отозвался он с ласковой улыбкой.

Значит, он не хотел ее обидеть. Промолчал, потому что нечего было сказать. Но если бы люди говорили, только когда им есть что сказать, улыбнулась про себя Китти, они очень скоро совсем разучились бы общаться.

13

Все горе в том, решила она, что у него нет обаяния. Потому он не пользуется успехом, а что это так — она поняла скоро по приезде в Гонконг. Его работу она представляла себе очень смутно. Зато быстро усвоила, что правительственный бактериолог — не бог весть какая персона. В эту сторону своей жизни он, видимо, не склонен был ее посвящать. Всегда готовая заинтересоваться чем-нибудь новым, она сперва пыталась его расспрашивать. Он отделался шуткой, а в другой раз сказал:

— Скучная это материя, долго объяснять. И оплачивается безобразно низко.

Замкнутый человек. Все, что Китти было известно о его прошлом, о его детстве, учении, вообще о его жизни до того, как он познакомился с ней, она узнала только потому, что сама его расспрашивала. А его, как ни странно, если что и раздражало, так именно расспросы. И когда она, движимая естественным любопытством, принималась выпаливать один вопрос за другим, его ответы становились все лаконичнее. У нее хватило ума понять, что вызвано это вовсе не

желанием что-то утаить от нее, а врожденной скрытностью. Ему тяжело было говорить о себе. Он стеснялся, конфузился, просто не умел откровенничать. Он любил читать, но книги, которые он читал, казались Китти ужасно скучными. Какие-то научные трактаты, а не то книги о Китае или исторические труды. Он не давал себе отдыха — наверно, тоже не умел. А из игр признавал только теннис и бридж.

И как он мог в нее влюбиться? Казалось бы, кто-кто, а она уж никак не должна была пленить этого скрытного, холодного, застегнутого на все пуговицы человека. Однако же он, несомненно, любил ее, любил больше жизни. Готов был сделать все на свете, лишь бы угодить ей. Она могла из него веревки вить. При мысли о той стороне его натуры, которая открывалась только ей, она испытывала легкое презрение. Возможно, его язвительность, его снисходительное высокомерие по отношению к людям, которыми она восхищалась, — это всего лишь ширма, скрывающая глубоко упрятанную слабость? Наверно, он ужасно умный, думала она, все его, видимо, таким считают; но ей он не казался интересным, разве что очень редко, в обществе считанных людей, которые ему действительно нравились,

да и то если бывал в настроении. Он не то чтобы нагонял на нее тоску, она просто была к нему равнодушна.

14

С женой Чарлза Таунсенда Китти встречалась уже несколько раз, его же увидела впервые, лишь когда прожила в Гонконге месяца три. Она познакомилась с ним на званом обеде у Таунсендов, куда приехала с мужем. Китти заранее приготовилась постоять за себя. Чарлз Таунсенд был помощник губернатора, и она твердо решила не допустить с его стороны того небрежно-покровительственного отношения, которое при всей своей воспитанности проявляла к ней миссис Таунсенд. Принимали гостей в большой, просторной комнате, обставленной — как и все гостиные в Гонконге, где ей уже пришлось побывать, — комфортабельно и уютно. Гостей съехалось много. Фейны прибыли последними, когда ливрейные слуги-китайцы уже обносили собравшихся коктейлями и маслинами. Миссис Таунсенд, поздоровавшись с ними, заглянула в список приглашенных и сказала Уолтеру, с кем ему предстоит сидеть за столом.

Китти увидела, что к ним направляется высокий, очень красивый мужчина.

— Знакомьтесь, мой муж.

— Мне выпало счастье сидеть рядом с вами, — сказал он.

Она сразу почувствовала себя легко и свободно, настороженность как рукой сняло.

Глаза его улыбались, но она успела заметить в них вспышку удивления. Она прекрасно поняла этот взгляд и еле удержалась от смеха.

— Я ни куска не смогу проглотить, — сказал он. — А жаль, обед будет отличный. Дороти в этом знает толк.

— Так за чем же дело стало?

— Просто грех, что мне не сказали. Кто-нибудь должен был меня предупредить.

— О чем?

— Никто ни словом не обмолвился. Откуда мне было знать, что я увижу писаную красавицу?

— Что я должна на это ответить?

— Ничего. Говорить буду я. И буду повторять это снова и снова.

Китти стало интересно, как же все-таки отозвалась о ней его жена. Он наверняка ее спрашивал. А он, глядя на Китти смеющимися глазами, вдруг вспомнил. «И какая же она?» — спросил он, когда Дороти рассказала ему, что познакомилась с молодой женой доктора Фейна. «Очень миленькая. Разыгрывает светскую даму». — «Она была актри-

сой?» — «Нет, едва ли. Ее отец врач или юрист, не помню точно. Надо будет, очевидно, пригласить их на обед». — «Успеется».

Сейчас, когда они сидели рядом, он сообщил ей, что знает Уолтера Фейна с тех пор, как приехал в колонию.

— Мы с ним играем в бридж. Он, без всякого сомнения, чемпион здешнего клуба.

По дороге домой она передала его слова Уолтеру.

— Ну, это еще не большая похвала.

— А он сам как играет?

— Неплохо. Даже очень хорошо, когда ему идет карта, а вот если не везет, тут он теряется.

— Он играет так же хорошо, как ты?

— Насчет себя я не строю иллюзий. Я бы сказал так: я очень хороший игрок второй категории. Таунсенд воображает, что принадлежит к первой. Но ошибается.

— Он тебе не нравится?

— Ни да ни нет. Работник он, говорят, толковый и слывет превосходным спортсменом. Он меня не особенно интересует.

Уже не в первый раз половинчатые суждения Уолтера выводили ее из себя. К чему такая осторожность? Либо человек тебе нравится, либо

нет. Ей Чарлз Таунсенд очень понравился. При том, что она этого не ожидала. Наверно, он самая популярная фигура в колонии. Губернатор скоро должен уйти в отставку, и все надеются, что Таунсенд займет его место. Он играет в теннис, в поло, в гольф. Держит скаковых лошадей. Всегда готов всем помочь. Презирает волокиту. Нисколько не важничает. Китти понять не могла, почему до сих пор все эти похвальные отзывы вызывали у нее протест, почему она решила, что он задается. Глупости, вот уж в чем его не обвинишь.

Тот вечер прошел чудесно. Они болтали о лондонских театрах, о скачках и регате, все было так знакомо, точно встреча их произошла в доме у каких-нибудь друзей на Леннокс-Гарденз; а позже, когда мужчины тоже перешли в гостиную, он не спеша пересек комнату и опять подсел к ней. Ничего такого уж очень остроумного он не говорил, но несколько раз рассмешил ее. Наверно, все дело в том, как люди говорят. В его низком, бархатном голосе таилась ласка, в добрых синих глазах была неизъяснимая прелесть, от этого с ним было так легко. Да, ему не откажешь в обаянии, а ведь это самое главное.

Росту в нем шесть футов два дюйма, не меньше, вспоминала она, и сложен прекрасно; видимо,

он в отменной форме: одни мускулы, ни капли жира. А как одевается, лучше всех, и все сидит на нем так ловко, все ему к лицу. Хорошо, когда мужчина следит за собой. Она перевела взгляд на Уолтера — вот кому не мешало бы немножко подумать о своей внешности. Она отметила и запонки Таунсенда, и пуговицы на жилете — такие она видела в витрине у Картье. Ясно, что у Таунсендов есть доходы и помимо его жалованья. Загорел он страшно, но и сквозь загар проступает здоровый румянец. И симпатичные аккуратные усики не закрывают полных красных губ. Черные волосы коротко острижены, гладко прилизаны. Но лучше всего в нем, конечно, эти глаза под густыми косматыми бровями — такие синие, такие веселые и ласковые, сразу видно, какой он хороший человек.

Она, конечно, сознавала, что произвела на него впечатление. Даже если бы он не наговорил ей комплиментов, его выдали бы эти потеплевшие от восхищения взгляды. И пленяла его полная раскованность, никаких тормозов, никакой оглядки. Китти хорошо разбиралась в таких вещах и оценила, как ловко он умел ввернуть в самый, казалось бы, банальный разговор что-нибудь личное, лестное для нее. На прощание он

пожал ей руку крепко, со значением, которого она не могла не понять.

— Надеюсь, мы прощаемся ненадолго, — сказал он светским тоном, а остальное досказали его глаза.

— В Гонконге трудно не встретиться, — сказала она.

15

Кто бы мог тогда предсказать, чем это кончится? Позже он говорил ей, что она уже в тот первый вечер свела его с ума. Что такой очаровательной женщины он в жизни не видел. Он помнил, как она была одета: на ней было ее подвенечное платье, и он сказал, что вся она была похожа на ландыш. Она поняла, что он влюблен, до того, как он в этом признался, и, оробев, попробовала держать его на расстоянии. При его пылкости это было нелегко. Она боялась его поцелуев — от одной мысли, что он может ее обнять, у нее колотилось сердце. Впервые в жизни она любила. Это было упоительно. И теперь, узнав, что такое любовь, она вдруг поняла, как ее любит Уолтер. Она стала ласково его поддразнивать и чувствовала, что ему это приятно. До сих пор она его, возможно, побаивалась, теперь же держалась увереннее. Она подтрунивала над ним, и забавно было видеть, как он улыбается в ответ, столько было в этой улыбке удивления и счастья. Смотри-ка, думалось ей, этак он скоро станет совсем нормальным. Теперь, когда она узнала, что такое настоящая страсть, ей нравилось играть на его

чувствах — так арфистка легко пробегает пальцами по струнам арфы. Она смеялась, видя, в какое блаженное смущение это его повергает.

И когда Чарли стал ее любовником, она особенно остро ощутила свои отношения с Уолтером как абсурд. Ей трудно было без смеха смотреть на него, такого серьезного, степенного. Сердиться на него она не могла, слишком была счастлива. Ведь как-никак, не будь его, она не встретила бы Чарли. Какое-то время она колебалась, прежде чем преступить последнюю черту, — не потому, что не хотела ответить на страсть Чарли, она и сама сгорала от страсти, а потому, что этому противилось ее воспитание, все условности ее прежней жизни. Впоследствии (а в конце концов все вышло случайно, ни он, ни она этой возможности не предусмотрели) ее изумило открытие, что она нисколько не изменилась. Она-то думала, что с ней произойдет какая-то сказочная метаморфоза, что она станет на себя не похожа; и, взглянув наконец в зеркало, даже растерялась, увидев ту самую женщину, что гляделась в него накануне.

— Ты на меня сердишься? — спросил он, и она ответила:

— Я тебя люблю.

— А не кажется ли тебе, что тянуть так долго

не стоило?

— Это было просто глупо.

16

От счастья, порой казавшегося нестерпимым, вновь расцвела ее красота. В последний год перед замужеством, когда стала блекнуть первая свежесть, вид у нее бывал усталый, издерганный. Злые языки поговаривали, что она линяет. Но есть огромная разница между двадцатипятилетней девушкой и замужней женщиной того же возраста. Как бутон белой розы, у которого лепестки стали было желтеть по краям, она вдруг распустилась пышным цветом. Глаза-звезды приобрели новую глубину; ослепительной стала кожа (всегда бывшая ее гордостью и предметом неустанных забот): ее нельзя было сравнить ни с персиком, ни с цветком — скорее и персик, и цветок напрашивались на сравнение с этой кожей. Снова она выглядела на восемнадцать лет. Она была обворожительна. Не заметить этого было нельзя, и знакомые дамы, тактично понизив голос, спрашивали ее, не ждет ли она ребенка. Те равнодушные, что раньше утверждали, будто она всего лишь миловидная девушка с длинным носом, теперь признали, что недооценивали ее. Писаная красавица — правильно назвал ее Чарли

в тот день, когда впервые ее увидел.

Свою близость они ловко скрывали от посторонних глаз. У него-то плечи широкие, сказал он однажды (и она шутливо его одернула: «Стыдно так кичиться своей фигурой!»), за себя он не боится, но ради нее они не могут позволить себе ни малейшего риска. Часто встречаться наедине им нельзя, об этом он может только мечтать, но для него главное — не подвергать ее опасности: только время от времени в доме антиквара, еще реже — у нее среди дня, когда в доме пусто, — но видались они много, встречались то тут, то там. И ее забавляло, что в этих случаях он разговаривал с ней как добрый знакомый, непринужденно и весело, как со всеми, не изменяя своей обычной светской манере. Услышав их веселую пикировку, никто не подумал бы, что совсем недавно он сжимал ее в объятиях.

Она его боготворила. До чего же он хорош, когда в сапогах и в белых бриджах играет в поло! На теннисном корте его можно принять за юношу. Немудрено, что он гордится своей фигурой, такой фигуры поискать. И правильно, что не хочет располнеть. Он не ест ни хлеба, ни масла, ни картошки, очень много двигается. За руками следит, это тоже хорошо, — каждую неделю де-

лает маникюр. Спортсмен он первоклассный — в прошлом году завоевал первенство по теннису. И уж конечно, танцует лучше всех, с кем ей приходилось танцевать, не танцор, а мечта. Никто не даст ему сорока лет. Она как-то сказала, что просто ему не верит.

— По-моему, ты это выдумал, на самом деле тебе двадцать пять.

Он рассмеялся, очень довольный.

— Дорогая моя, у меня пятнадцатилетний сын. Я типичный мужчина средних лет. Годика через три буду толстый и старый.

— Ты и в сто лет будешь неотразим.

Она любовалась его густыми черными бровями. Не они ли придают его глазам такое тревожащее выражение?

Талантов его не счесть. Он вполне порядочно играет на рояле — ну конечно, только регтаймы — и комические песенки исполняет выразительно и с юмором. Он все, все умеет. И на службе на отличном счету, какая это для нее радость, когда он рассказывает, как губернатор хвалил его, если ему удавалось ловко провернуть какое-нибудь трудное дело.

— Не хочу хвастаться, — говорил он, глядя на нее своими дивными глазами, в которых так и

светилась любовь, — но во всей колонии нет человека, который с этим справился бы так здорово.

О, как ей хотелось, чтобы он, а не Уолтер был ее мужем!

17

Еще неизвестно, конечно, знает ли Уолтер правду, и если нет, спокойнее, может быть, оставить все как есть; но если знает, для них для всех это будет лучший выход. Сначала ей было достаточно встречаться с Чарли только украдкой — во всяком случае, она с этим мирилась; но страсть ее росла, и чем дальше, тем сильнее она роптала на преграды, мешавшие им всегда быть вместе. Сколько раз он говорил ей, что проклинает свое служебное положение, и те узы, что его связывают, и те, что связывают ее, и как было бы замечательно, если б они оба были свободны! Она понимала его точку зрения: публичный скандал никому не улыбается, и надо очень и очень подумать, прежде чем ломать свою жизнь; но если свобода придет сама собой, насколько это упростило бы дело!

И никому это не грозит особенными мучениями. О его отношениях с женой ей все известно. Она — холодная женщина, между ними уже давно нет любви. Связывает их привычка, удобство, ну и, конечно, дети. Ей-то труднее, чем ему: Уолтер ее любит. Но, в конце концов, он поглощен

своей работой; и у мужчины всегда есть такое прибежище, как клуб; сначала ему будет тяжело, но это пройдет, и ничто не мешает ему жениться вторично. Чарли говорил ей, что просто отказывается понять, как она так мало ценила себя, что вышла за Уолтера.

Даже смешно — почему всего несколько часов назад она пришла в такой ужас от мысли, что Уолтер поймал их на месте преступления. Было, правда, жутко, когда ручка двери медленно повернулась. Но ведь они знают, на что способен Уолтер даже в худшем случае, и готовы к этому. Чарли, как и она, вздохнет с облегчением, когда их вынудят к тому, чего оба они хотят больше всего на свете.

Уолтер порядочный человек, этого нельзя не признать, и он ее любит; он сделает все, что нужно, чтобы она могла подать на развод. Они совершили ошибку, и очень хорошо, что они это поняли, пока не поздно. Она уже придумала все, что скажет ему и как будет с ним держаться — ласково, с улыбкой, но твердо. Им вовсе незачем ссориться. Она всегда будет рада его видеть. И ей очень хочется, чтобы об их недолгой совместной жизни он сохранил самое лучезарное воспоминание.

«Дороти Таунсенд, надо полагать, будет не прочь развестись с Чарли, — думала она. — Сейчас, когда и младший ее сын уедет в Англию, ей и самой там будет гораздо лучше. В Гонконге ей совершенно нечего делать. Все каникулы мальчики будут проводить с ней. И родители ее живут в Англии».

Все очень просто. Все можно уладить без скандала и без взаимных обид. А потом они с Чарли поженятся. Китти глубоко вздохнула. Они будут очень счастливы. Ради этого стоит претерпеть кое-какие неприятности. В голове у нее, сменяя одна другую, роились мысли о том, как интересно они будут жить, куда съездят, какой у них будет дом, до какого поста дослужится Чарли и как она будет ему помогать. Он будет гордиться ею, а она — она его обожает.

Но за всеми этими радужными мечтами словно таилось предчувствие беды. Как будто в оркестре духовые и струнные выводят пасторальные мелодии, а в басах тихо, но зловеще отбивают такт барабаны. Вот-вот вернется домой Уолтер — при мысли об этом начинает стучать сердце. Странно, почему он только заглянул домой, а потом опять ушел, не сказав ей ни слова. Она, конечно, не боится его, твердила себе Китти, ну что он может

ей сделать? Но тревога не отпускала. Она еще раз вспомнила все, что решила ему сказать. К чему устраивать сцену? Ей очень жаль, видит Бог, она не хотела делать ему больно, но не ее вина, что она его не любит. Нечего притворяться, всегда лучше говорить правду. Она надеется, что он не будет несчастлив, но они совершили ошибку и единственный разумный выход — признать это. Она всегда будет вспоминать его с теплым чувством.

Но не успела она так подумать, как от внезапно налетевшего страха у нее вспотели ладони. А оттого, что ей стало страшно, она рассердилась на него. Если ему угодно устраивать сцену — пожалуйста; но пусть не удивляется, услышав кое-какие горькие истины. Она ему скажет, что никогда ни капельки его не любила и не проходило дня после их свадьбы, когда бы она не пожалела, что вышла за него замуж. Он ей надоел. С ним скучно, скучно, скучно! Он считает себя лучше всех, это же курам на смех; у него нет чувства юмора, ей ненавистно его высокомерие, его холодная сдержанность. Нетрудно быть сдержанным, когда тебя никто и ничто не интересует, кроме тебя самого. Он ей противен. Его поцелуи вызывают гадливость. И с чего он о себе

возомнил? Танцует отвратительно, в компании только портит всем настроение, не умеет ни петь, ни играть и в поло не играет, а теннисист самый посредственный. Бридж? Подумаешь, кому это интересно?

Китти взвинтила себя до полного исступления. Пусть только попробует попрекать. Он сам виноват во всем, что случилось. Очень хорошо, что он наконец узнал правду. Она его ненавидит, глаза бы ее на него не глядели. Да, она рада, что между ними все кончено. И пусть оставит ее в покое. Он столько времени изводил ее, пока уговорил стать его женой. Теперь с нее хватит.

— Хватит, — твердила она вслух, дрожа от ярости. — Хватит! Хватит!

У ворот их сада остановился автомобиль. А вот и шаги Уолтера на лестнице.

18

Когда он вошел в комнату, сердце ее бешено колотилось и руки тряслись, хорошо, что она лежала на диване. Она держала открытую книгу, делая вид, будто он застал ее за чтением. Он секунду постоял на пороге, и взгляды их встретились. Сердце у нее упало, холод пробежал по всему телу, она передернулась. Появилось то чувство, о котором говорят — точно кто-то прошел по твоей могиле. Он был бледен как мел, таким она видела его лицо только раз, когда они сидели в Гайд-парке и он просил ее стать его женой. Темные глаза, неподвижные и непроницаемые, казались неестественно большими. Он все знает.

— Ты сегодня рано, — сказала она.

Губы у нее дрожали, едва выговаривая слова. Она боялась, что от страха потеряет сознание.

— Да нет, как обычно.

И голос показался незнакомым. Как будто он нарочно хотел придать своим словам небрежно-вопросительную интонацию. Заметил он, что она дрожит всем телом? Она еще удержалась, чтобы не вскрикнуть. Он опустил глаза.

— Сейчас оденусь.

Он вышел из комнаты. Она была совсем разбита. Несколько минут оставалась неподвижной, наконец с трудом приподнялась, словно еще не оправилась от долгой болезни, и встала с дивана. Боялась, что не удержится на ногах. Хватаясь за столы и стулья, выбралась на веранду и кое-как по стенке дошла до двери в свою спальню. Надела вечернее платье, а когда вернулась в будуар (гостиной они пользовались только для званых вечеров), он стоял у столика и разглядывал иллюстрации в журнале. Она замерла на пороге.

— Пойдем вниз? Обед готов.

— Я заставила тебя ждать?

Ужас как дрожат губы. Когда же он заговорит?

Они сели за стол, и на минуту воцарилось молчание. Потом он что-то сказал, и самая обыденность его слов придала им какой-то зловещий смысл.

— «Эмпресс» сегодня не прибыл, — сказал он, — очевидно, задержался из-за шторма.

— А должен был прибыть сегодня?

— Да.

Она взглянула на него и увидела, что он смотрит вниз, в тарелку. Он сказал еще что-то, такое же незначащее, насчет предстоящего теннисного турнира. Обычно голос у него был приятный,

богатый интонациями, но сейчас он говорил на одной ноте, до странности неестественно. Казалось, его голос доносится откуда-то издалека. И взгляд был обращен то в тарелку, то на стол, то на стену, где висела картина. Но от Китти он упорно отводил глаза. Она поняла, что смотреть на нее он не в силах.

— Пойдем наверх? — спросил он, когда обед кончился.

— Как хочешь.

Она встала, он отворил дверь, пропуская ее вперед, не поднимая глаз. В будуаре он опять взял в руки журнал.

— Этот «Скетч» новый? Я, кажется, его не видел.

— Не знаю. Не заметила.

Журнал лежал там уже недели две, она знала, что Уолтер просмотрел его от корки до корки. Он взял его со стола и сел. Она опять прилегла на диван с книгой. Вечерами они, если бывали одни, обычно играли в кункен или раскладывали пасьянс. Он удобно откинулся в кресле и, казалось, внимательно разглядывал какую-то иллюстрацию. А страницы не переворачивал. Китти попыталась читать, но строки плыли и сливались перед глазами. Разболелась голова.

Когда же он заговорит?

Они просидели в молчании целый час. Она уже не притворялась, что читает, и, отложив книгу, смотрела в пустоту. Боялась вздохнуть, пошевелиться. Он сидел тихо-тихо, все в той же удобной позе, устремив неподвижные, широко открытые глаза на страницу журнала. В его неподвижности таилась угроза. Как хищный зверь перед прыжком, подумалось Китти.

Вдруг он встал с места. Она вздрогнула, стиснула руки и почувствовала, что бледнеет. Вот оно!

— Мне еще нужно поработать, — проговорил он все тем же негромким мертвым голосом, не глядя на нее. — Пойду в кабинет. К тому времени, когда я кончу, ты, вероятно, уже ляжешь спать.

— Да, я сегодня что-то устала.

— Ну так спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

И он ушел.

19

Наутро она в первую же удобную минуту позвонила Таунсенду на службу.

— Да, что случилось?

— Нам нужно повидаться.

— Дорогая моя, я страшно занят. Я, знаешь ли, рабочий человек.

— Дело очень важное. А можно, я сейчас заеду?

— О нет, ни в коем случае.

— Тогда приезжай сюда.

— Не могу я сейчас отлучиться. Разве что во второй половине дня. И стоит ли мне вообще приходить к вам домой?

— Мне надо сейчас же с тобой повидаться.

Последовала пауза, точно их разъединили.

— Ты здесь? — спросила она испуганно.

— Да, я соображаю. Что-нибудь стряслось?

— По телефону сказать не могу.

Снова пауза, потом его голос:

— Так вот, послушай. Если это тебя устроит, могу встретиться с тобой на десять минут в час дня. Приходи в Гу-джоу, я зайду туда, как только смогу вырваться.

— В лавку? — переспросила она растерянно.

— А ты что, предлагаешь вестибюль отеля «Гонконг»?

Она уловила в его голосе нотку раздражения.

— Хорошо, я буду у Гу-джоу.

20

Она отпустила рикшу на Виктория-роуд и по узкой крутой улочке поднялась к лавке. Задержалась на минуту у витрины, словно разглядывая выставленный товар. Но мальчик, стоявший в дверях в ожидании покупателей, сразу узнал ее и приветствовал широкой заговорщицкой улыбкой. Оглянувшись через плечо, он сказал что-то по-китайски, и из лавки с поклоном вышел хозяин, низенький, круглолицый, в черном халате. Она поспешно вошла в лавку.

— Мистер Таунсенд еще нет. Вы идти наверх, да?

Она прошла через лавку, поднялась по шаткой темной лестнице. Китаец поднялся следом за ней и отпер дверь в спальню. Там было душно, стоял приторный запах опиума. Она села на ларь сандалового дерева.

Очень скоро ступеньки заскрипели под тяжелыми шагами. Вошел Таунсенд и закрыл за собою дверь. При виде ее его хмурое лицо разгладилось. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой, обнял ее и поцеловал в губы.

— Так в чем же дело?

— Как увидела тебя, сразу легче стало, — улыбнулась она в ответ.

Он сел на постель и закурил.

— Что-то ты неважно выглядишь.

— Еще бы, я, кажется, всю ночь глаз не сомкнула.

Он посмотрел на нее. Он все еще улыбался, но улыбка стала чуть натянутой, неестественной. И в глазах как будто мелькнула тревога.

— Он знает, — сказала Китти.

Он чуть запнулся, прежде чем спросить:

— Что он сказал?

— Ничего не сказал.

— Да? — Он бросил на нее беспокойный взгляд. — Почему же ты решила, что он знает?

— По всему. Как он смотрел. Как говорил за обедом.

— Был резок?

— Напротив. Был изысканно вежлив. В первый раз с тех пор, как мы женаты, он не поцеловал меня, когда прощался на ночь.

Она потупилась, неуверенная, понял ли Чарли. Обычно Уолтер обнимал ее и целовал в губы долгим поцелуем, словно не мог оторваться. Все его тело становилось страстным и нежным.

— Как тебе кажется, почему он ничего не ска-

зал?

— Не знаю.

Пауза. Китти сидела не шевелясь на ларе сандалового дерева и смотрела на Таунсенда тревожно и пристально. Лицо его опять стало хмурым, между бровями пролегли морщинки. Уголки рта опустились. Но вдруг он поднял голову и в глазах загорелись лукавые огоньки.

— Очень может быть, что он ничего и не скажет.

Она не ответила, не поняла значения этих слов.

— Между прочим, не он первый предпочтет закрыть глаза на такую ситуацию. Если бы он поднял шум, что бы это ему дало? А если б хотел поднять шум, так заставил бы нас отпереть дверь. — Глаза его заблестели, на губах заиграла веселая улыбка. — И хороши бы мы с тобой тогда были!

— Не видел ты, какое у него было лицо вчера вечером.

— Ну да, он расстроился. Это естественно. Любой мужчина в таком положении сочтет себя опозоренным. И над ним же будут смеяться. Уолтер, мне кажется, не из тех, кто склонен предавать гласности свои личные неурядицы.

— Да, пожалуй, — проговорила она задумчиво. — Он очень щепетилен. Я в этом убедилась.

— А нам это на руку. Знаешь, иногда бывает очень полезно влезть в чужую шкуру и подумать, как бы ты сам поступил на месте этого человека. У того, кто попал в такой переплет, есть только один способ не уронить свое достоинство — притвориться, что ничего не знаешь. Ручаюсь, Уолтер именно так и поступит.

Чем больше Таунсенд говорил, тем жизнерадостнее звучал его голос. Его синие глаза сверкали. Он снова стал самим собой — веселым, благодушным. Он излучал уверенность и бодрость.

— Видит Бог, я не хочу говорить о нем плохо, но, в сущности, бактериолог — не ахти какая персона. Не исключено, что, когда Симмонс уйдет в отставку, я стану губернатором, и не в интересах Уолтера со мной ссориться. Ему, как и всем нам, нужно думать о хлебе насущном: едва ли в министерстве по делам колоний хорошо посмотрят на человека, который стал виновником скандала. Поверь мне, для него самое безопасное — помалкивать и самое опасное — поднимать шум.

Китти беспокойно повела плечами. Она знала, как Уолтер застенчив, готова была поверить, что

на него может повлиять страх перед оглаской, перспектива оказаться в центре внимания; но чтобы им руководили материальные соображения — нет, в это не верилось. Возможно, она знает его не так уж хорошо, но Чарли-то его совсем не знает.

— А что он меня безумно любит, об этом ты забыл?

Он не ответил, но в глазах засветилась озорная улыбка, которую она так хорошо знала и любила.

— Что ж ты молчишь? Сейчас скажешь какую-нибудь гадость.

— Да знаешь ли, женщина нередко обольщается мыслью, что мужчина любит ее безумнее, нежели оно есть на самом деле.

Тут она рассмеялась. Его самоуверенность заражала.

— Надо же такое сболтнуть!

— Сдается мне, что в последнее время ты не слишком много думала о своем муже. Может, он тебя любит поменьше, чем прежде.

— Насчет тебя-то я, во всяком случае, не строю себе иллюзий, — отпарировала она.

— А вот это уже зря.

Какой музыкой прозвучали для нее эти слова!

Она в это верила, его страсть согревала ей сердце. Он встал с кровати, подошел, сел рядом с ней на ларь, обнял за плечи.

— Сию же минуту перестань терзаться. Говорю тебе, бояться нечего. Руку даю на отсечение, он сделает вид, что ничего не знает. Ведь доказать такие вещи почти невозможно. Ты говоришь, он тебя любит; возможно, он не хочет тебя потерять окончательно. Будь ты моей женой, я и сам, честное слово, согласился бы ради этого на любые условия.

Она прильнула к нему. Безвольно откинулась на его руку, изнывая от любви, как от боли. Последние его слова поразили ее: может быть, Уолтер любит ее до того, что готов принять любое унижение, лишь бы иногда она ему позволяла любить ее. Это она может понять: ведь так она сама любит Чарли. В ней волной поднялась гордость и в то же время — смутное презрение к человеку, способному унизиться в любви до такого рабства.

Она обвила рукой его шею.

— Ты просто чародей. Я, когда шла сюда, дрожала как осиновый лист, а теперь совсем спокойна.

Он взял ее лицо в ладони, поцеловал в губы.

— Родная.

— Ты так умеешь утешить.

— Вот и хорошо, и хватит нервничать. Ты же знаешь, я всегда тебя выручу. Я тебя не подведу.

Страхи улеглись, но на какое-то безрассудное мгновение ей стало обидно, что ее планы на будущее пошли прахом. Теперь, когда опасность миновала, она готова была пожалеть, что Уолтер не будет требовать развода.

— Я знала, что могу на тебя положиться, — сказала она.

— А как же иначе?

— Тебе, наверно, надо пойти позавтракать?

— К черту завтрак. — Он притянул ее ближе, крепко сжал в объятиях.

— Ох, Чарли, отпусти меня.

— Никогда в жизни.

Она тихонько засмеялась, в этом смехе было и счастье любви, и торжество. Его взгляд отяжелел от желания. Он поднял ее на ноги и, не отпуская, крепко прижав к груди, запер дверь.

21

Весь день она думала о том, что Чарли сказал про Уолтера. В тот вечер им предстояло обедать в гостях, и, когда Уолтер вернулся домой, она уже одевалась. Он постучал в дверь.

— Да, войди.

Он не стал входить.

— Сейчас переоденусь. Ты скоро будешь готова?

— Через десять минут.

Он больше ничего не сказал и прошел к себе. Голос его прозвучал так же напряженно, как накануне вечером. Но она теперь чувствовала себя уверенно. Она оделась первая и, когда он спустился вниз, уже сидела в машине.

— Извини, что заставил тебя ждать, — сказал он.

— Ничего, переживу, — отозвалась она и даже сумела улыбнуться.

Пока машина катилась вниз с холма, она раза два заговорила о каких-то пустяках, но он отвечал односложно. Она пожала плечами. Что ж, если хочет дуться, пусть дуется, ей все равно. Оставшийся путь они проехали в молчании. Обед был

многолюдный. Слишком много гостей и слишком много блюд. Весело болтая с соседями по столу, Китти наблюдала за Уолтером. Он был очень бледен, лицо осунулось.

— Ваш муж плохо выглядит. Я думал, он хорошо переносит жару. Он что, завален работой?

— Он всегда завален работой.

— Вы, наверно, скоро уедете?

— О да, — отвечала она. — Вероятно, съезжу в Японию, как в прошлом году. Доктор говорит, что здешняя жара мне вредна, того и гляди совсем расклеюсь.

Обычно, когда они обедали в гостях, Уолтер время от времени с улыбкой поглядывал на нее, сегодня же он ни разу на нее не взглянул. Она заметила, что он отвел глаза еще тогда, когда садился в машину, и потом, когда подал ей руку, помогая выйти. Сейчас, разговаривая со своими соседками справа и слева, он не улыбался, смотрел на них в упор, не мигая, и глаза его на бледном лице казались огромными, черными как уголь. А лицо точно каменное.

«Веселенький, должно быть, собеседник», — насмешливо подумала Китти, и ей стало забавно от мысли, как трудно несчастным женщинам поддерживать светскую беседу с этим мрачным

истуканом.

Разумеется, он знает. В этом-то можно не сомневаться. И зол на нее как черт. Но почему он ничего не сказал? Неужели и правда, несмотря на боль и гнев, боится, что она его бросит? Однако презрение ее было вполне благодушно: как-никак он ее муж, он ее содержит; и, если только он не будет ей мешать, ставить ей палки в колеса, она не собирается его обижать. А с другой стороны, возможно, что его молчание объясняется болезненной стеснительностью. Чарли правильно говорит, для Уолтера скандал — нож острый. Он по возможности избегает всяких публичных выступлений. Он рассказывал ей, что, когда его однажды вызвали в суд как свидетеля и эксперта, он на целую неделю лишился сна. Робость просто ненормальная.

И еще: ведь мужчины очень тщеславны. Пока не начались пересуды, Уолтер тоже, может быть, будет делать вид, что ничего не случилось. А потом подумалось — может, Чарли и в этом прав, и Уолтер действительно блюдет свою выгоду. Чарли — самый популярный человек в английской колонии и скоро станет губернатором. Он может быть очень полезен Уолтеру, но, если Уолтер вздумает ерепениться, может и очень

ему повредить. У нее даже сердце забилось от радости при мысли о том, как энергичен и решителен ее любовник; сама-то она совершенно беззащитна перед его властностью. Мужчины — странный народ: ей бы и в голову не пришло, что Уолтер способен на такую подлость, но как знать? Вдруг за его серьезностью скрывается гадкая, расчетливая натура? Чем больше она думала, тем вероятнее ей казалось, что Чарли прав; и она снова взглянула на мужа. Теперь в ее взгляде не было снисхождения.

Случилось так, что как раз в эту минуту Уолтеровы дамы беседовали каждая со своим другим соседом и он остался в одиночестве. Он смотрел прямо перед собой, забыв об окружающем, и в глазах его была смертельная тоска. Китти стало жутко.

22

На следующий день, когда она прилегла после второго завтрака, в дверь постучали.

— Кто там? — крикнула она сердито. В это время дня ее не полагалось тревожить.

— Это я.

Она узнала голос Уолтера и быстро села в постели.

— Войди.

— Я тебя разбудил? — спросил он, входя.

— Представь себе, да, — отвечала она тем невозмутимо веселым тоном, каким говорила с ним последние два дня.

— Выйди, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить.

Сердце ее точно подпрыгнуло в груди.

— Сейчас надену халат.

Он ушел. Она сунула босые ноги в ночные туфельки и накинула кимоно. Посмотрелась в зеркало, обнаружила, что очень бледна, и слегка подрумянилась. Постояла в дверях, собираясь с духом, потом с решительным видом вошла в будуар.

— Как это ты вырвался из лаборатории в такой

час? Я в это время редко тебя вижу.

— Может быть, сядешь?

Он не смотрел на нее. Говорил очень серьезно. Китти с облегчением опустилась на стул: колени дрожали, и она молчала, не в силах продолжать в том же шутливом тоне. Он тоже сел и закурил. Взгляд его беспокойно блуждал по комнате. Казалось, ему трудно начать.

Вдруг он в упор посмотрел на нее, и, оттого что он так долго отводил от нее глаза, этот взгляд ужасно испугал ее, она чуть не вскрикнула.

— Ты знаешь, что такое Мэй-дань-фу? — спросил он. — Последнее время о нем много писали в газетах.

Она в изумлении уставилась на него. Не сразу решилась спросить.

— Это тот город, где холера? Мистер Арбетнот только вчера о нем говорил.

— Да, там эпидемия. Самая сильная вспышка за много лет. Там работал врач-миссионер. Три дня назад он умер от холеры. Там есть французский монастырь и, конечно, таможенный чиновник. Все остальные европейцы уехали.

Он смотрел на нее не отрываясь, и она, как завороженная, не опускала глаз. Пыталась прочесть выражение его лица, но от волнения не смогла

ничего в нем уловить, кроме какой-то странной настороженности. И как он может смотреть так пристально? Даже не моргая.

— Монахини-француженки делают, что могут. Свой детский приют отдали под больницу. Но люди мрут как мухи. Я предложил поехать туда и возглавить медицинскую службу.

— Ты?!

Она вздрогнула. Первой ее мыслью было, что, если он уедет, она будет свободна, сможет без помехи видаться с Чарли. Но она тут же устыдилась этой мысли и густо покраснела. Почему он так смотрит на нее? Она смущенно потупилась и пролепетала:

— Это необходимо?

— Там нет ни одного врача-европейца.

— Но ты же не врач, ты бактериолог.

— У меня, как тебе известно, законченное медицинское образование, и до того, как специализироваться, я успел поработать в больнице. А то, что я в первую очередь бактериолог, это очень кстати. Будет широкое поле для научной работы.

Он говорил небрежно, даже развязно, и она с удивлением увидела в его глазах насмешку. Что-то тут было непонятно.

— Но это ведь очень опасно?

— Очень.

Он улыбнулся. Не улыбка, а издевательская гримаса. Она подперла голову рукой. Самоубийство. Вот это что такое. Ужас. Не думала она, что он так к этому отнесется. Не может она это допустить. Это жестоко. Не виновата она, что не любит его. Но чтобы он из-за нее покончил с собой… По щекам ее потекли слезы.

— О чем ты плачешь? — Голос прозвучал холодно.

— Тебе не обязательно ехать?

— Нет, я еду добровольно.

— Не надо, Уолтер, пожалуйста. А вдруг что-нибудь случится? Вдруг ты умрешь?

Лицо его оставалось бесстрастным, только в глазах опять мелькнула насмешка. Он не ответил.

— А где этот город? — спросила она, помолчав.

— Мэй-дань-фу? На одном из притоков Западной реки. Поедем мы по Западной реке, а дальше в паланкинах.

— Кто это мы?

— Ты и я.

Она бросила на него быстрый взгляд. Может, ослышалась? Но теперь улыбались уже и глаза, и губы. А взгляд был устремлен на нее.

— Ты что же, воображаешь, что и я поеду?

— Я думал, тебе захочется.

Она задышала часто-часто. Всю ее пронизала дрожь.

— Но там не место женщинам. Тот миссионер еще когда отправил свою жену и детей к морю. И чиновник казначейства с женой тоже здесь. Мы с ней недавно познакомились. Я только что вспомнила — она сказала, что уехала откуда-то из-за холеры.

— Там живут пять монахинь-француженок.

Ее охватил безумный страх.

— Ничего не понимаю. Мне туда ехать никак нельзя. Ты же знаешь, какое у меня слабое здоровье. Доктор Хэйуорд сказал, что в жару мне нужно уезжать из Гонконга. А тамошнюю жару я просто не вынесу. Да еще холера. Я от одного страха сойду с ума. Что мне, нарочно себя губить? Незачем мне туда ехать. Я там умру.

Он не ответил. В отчаянии она взглянула на него и чуть не вскрикнула, до того страшным ей вдруг показалось его посеревшее лицо. В нем читалась ненависть. Неужели он хочет, чтобы она умерла? Она сама ответила на эту чудовищную догадку.

— Это глупо. Если ты считаешь, что должен

ехать, — дело твое. Но от меня ты не можешь этого требовать. Я ненавижу болезни. А тут эпидемия холеры. Пусть я не бог весть какая храбрая, а скажу — на такую авантюру я не решусь. Я останусь здесь, а потом поеду в Японию.

— А я-то думал, что ты захочешь сопровождать меня в эту опасную экспедицию.

Теперь он откровенно издевался над ней. Она смешалась. Не разобрать было, серьезно он говорит или только хочет ее запугать.

— Никто, по-моему, меня не осудит, если я откажусь ехать в опасное место, где мне нечего делать и где от меня не будет никакой пользы.

— От тебя могла бы быть большая польза. Ты могла бы утешать и подбадривать меня.

Она побледнела.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— А казалось бы, большого ума для этого не требуется.

— Я не поеду, Уолтер. И не проси, это просто дико.

— Тогда и я не поеду. И сейчас же подам в суд.

23

Она смотрела на него, не понимая. Так неожиданны были его слова, что она не сразу уловила их смысл.

— Ты о чем? — еле выговорила она.

Даже для нее самой это прозвучало фальшиво, а суровое лицо Уолтера выразило презрение.

— Ты, видно, считала меня совсем уж круглым дураком.

Что на это сказать? Она колебалась — то ли изобразить оскорбленную невинность, то ли возмутиться, осыпать его гневными упреками. Он словно прочел ее мысли.

— Все необходимые доказательства у меня есть.

Она заплакала. Слезы лились по щекам, это были легкие слезы, и она не отирала их, выгадывала время, собиралась с мыслями. Но мыслей не было. Он смотрел на нее совершенно спокойно. Это ее пугало. Он стал терять терпение.

— Слезами, знаешь ли, горю не поможешь.

Его голос, сухой, холодный, пробудил в ней дух протеста. К ней возвращалось самообладание.

— Мне все равно. Ты, надеюсь, не будешь возра-

жать, если я с тобой разведусь. Для мужчины это ничего не значит.

— Разреши спросить, с какой стати мне ради тебя подвергать себя каким-либо неудобствам?

— Тебе это должно быть безразлично. Я, кажется, немногого прошу — только чтобы ты поступил как порядочный человек.

— Твое будущее не может меня не беспокоить.

Тут она выпрямилась в кресле и вытерла слезы.

— Ты что, собственно, имеешь в виду?

— Таунсенд на тебе женится, только если будет соответчиком на суде и дело примет такой скандальный оборот, что его жена будет вынуждена с ним развестись.

— Ты сам не знаешь, что говоришь! — воскликнула она.

— Дура ты дура.

Столько презрения было в его тоне, что она вспыхнула от гнева. И гнев ее, возможно, разгорелся потому, что до сих пор она слышала от мужа только ласковые, лестные, приятные слова. Она так привыкла, что он готов выполнить любую ее прихоть.

— Хочешь знать правду — пожалуйста. Он только о том и мечтает, чтобы на мне жениться.

Дороти Таунсенд готова хоть сейчас дать ему развод, а как только он будет свободен, мы поженимся.

— Он говорил это тебе в точности такими словами или у тебя просто сложилось такое впечатление?

В глазах Уолтера была злая насмешка. Китти стало не по себе. Она была не вполне уверена, что Чарли когда-либо произнес в точности такие слова.

— Говорил, сто раз говорил.

— Это ложь, и ты это знаешь.

— Он меня любит всем сердцем. Любит так же страстно, как я его. Ты все узнал. Я не намерена отпираться. К чему? Мы уже год как любовники, и я этим горжусь. Он для меня — все на свете, и очень хорошо, что ты это наконец узнал. Нам осточертело скрываться, врать, идти на всякие уловки. Мое замужество было ошибкой, я сглупила. Я никогда тебя не любила. У нас никогда не было ничего общего. Таких людей, какие тебе нравятся, я не люблю, то, что тебе интересно, мне скучно. Слава Богу, теперь с этим покончено.

Он слушал ее застыв. Слушал внимательно, хотя ни взглядом, ни жестом не показывал, что ее слова как-то на него действуют.

— Ты знаешь, почему я за тебя вышла?

— Знаю. Потому что не хотела, чтобы твоя сестра Дорис вышла замуж раньше тебя.

Так оно и было, но ее немного смутило, что он это знал. Странно, даже в эту минуту страха и гнева ей стало жаль его. Он чуть заметно улыбнулся.

— Я насчет тебя не обольщался, — сказал он. — Я знал, что ты глупенькая, легкомысленная, пустая. Но я тебя любил. Я знал, что твои мечты и помыслы низменны, пошлы. Но я тебя любил. Я знал, что ты — посредственность. Но я тебя любил. Смешно, как подумаешь, как я старался найти вкус в том, что тебя забавляло, как старался скрыть от тебя, что сам-то я не пошляк и невежда, не сплетник, не идиот. Я знал, как тебя отпугивает ум, и всячески пытался внушить тебе, что я такой же болван, как и другие мужчины, с которыми ты была знакома. Я знал, что ты пошла за меня только ради удобства. Я так любил тебя, что решил — пусть так. Насколько я могу судить, те, кто любит без взаимности, обычно считают себя обиженными. Им ничего не стоит озлобиться, очерстветь. Я не из их числа. Я никогда не надеялся, что ты меня полюбишь. С чего бы? Я никогда не считал, что достоин любви. Я благода-

рил судьбу за то, что мне разрешено любить тебя, замирал от восторга, когда мне казалось, что ты мною довольна, или когда читал в твоих глазах проблеск добродушной симпатии. Я старался не докучать тебе моей любовью, знал, что это обошлось бы мне слишком дорого, подстерегал малейшие признаки раздражения с твоей стороны. То, что большинство мужей считают своим по праву, я готов был принимать как милость.

Китти, с детства привыкшей к лести, еще не доводилось слышать таких слов. Слепая ярость поднялась в ней, вытеснив страх, и душила ее, в висках стучало. Оскорбленное тщеславие способно привести женщину в бешенство, уподобить ее львице, у которой отняли детенышей. Китти по-обезьяньи выпятила вперед нижнюю челюсть, и всегда-то слишком тяжелую, а ее красивые глаза почернели от злости. Но она еще сдерживалась.

— Если мужчина не способен внушить женщине любовь, виноват в этом он, а не она.

— Надо полагать, что так.

Этот издевательский тон пуще разжег ее ярость. Она почувствовала, что может больнее его ранить, если сохранит спокойствие.

— Я не очень образованная и не очень умная. Я самая нормальная молодая женщина. Мне

нравится то, что нравится людям, среди которых я выросла. Я люблю танцы, теннис, театр, люблю хороших спортсменов. Ты прав, с тобой мне всегда было скучно. То, что тебе нравится, для меня пустой звук, и я об этом не жалею. В Венеции ты таскал меня по бесконечным музеям, когда мне гораздо интереснее было бы играть в гольф в Сандвиче[42].

— Знаю.

— Мне очень жаль, что я не оправдала твоих ожиданий. К сожалению, как мужчина ты всегда был мне противен. За это ты вряд ли можешь меня осуждать.

— Я и не осуждаю.

Китти легче было бы справиться с такой ситуацией, если бы он злобствовал, бушевал. За это она могла бы отплатить той же монетой. В его сдержанности было что-то сверхчеловеческое, и никогда еще он не вызывал у нее такой ненависти.

— По-моему, ты вообще не мужчина. Почему ты не вломился в спальню, когда знал, что я там с Чарли? Мог хотя бы попробовать исколотить его. Побоялся, да?

---

[42] Примечания: 42

Сандвич — городок на юге Англии, славившийся своими площадками для игры в гольф. — *Здесь и далее примеч. пер.*

Но не успела она это выговорить, как залилась краской — ей стало стыдно. Он не ответил, но в его глазах она прочла ледяное презрение. На губах его промелькнула тень улыбки.

— Возможно, мне, как некоему историческому персонажу, гордость не позволяет лезть в драку[43].

Китти, не придумав ответа, только пожала плечами. Еще минуту он не спускал с нее неподвижного взгляда.

— Кажется, я сказал все, что хотел сказать. Раз ты отказываешься ехать со мной в Мэй-дань-фу, я подаю на развод.

— Почему ты не согласен, чтобы истицей была я?

Наконец-то он отвел глаза. Он откинулся в кресле, закурил.

Молча докурил сигарету до конца. Потом бросил окурок, улыбнулся и опять посмотрел на Китти.

— Если миссис Таунсенд заверит меня, что разведется с мужем, и если он даст мне письменное

---

[43] Примечания: 43

В своей речи, произнесенной в Филадельфии 10 мая 1915 года, президент США Вудро Вильсон, отстаивая нейтралитет США в Первой мировой войне, сказал: «Бывает, что человеку гордость не позволяет лезть в драку».

обещание жениться на тебе не позже чем через неделю после того, как оба судебных решения вступят в силу, тогда я выполню твою просьбу.

Что-то было в его тоне обескураживающее. Но чтобы не уронить себя, она приняла его слова милостиво и с достоинством:

— Ты очень великодушен, Уолтер.

К ее удивлению, он громко расхохотался. Она вспыхнула от гнева.

— Чему ты смеешься? Не вижу ничего смешного.

— Прошу прощенья. Видно, чувство юмора у меня несколько своеобразное.

Она нахмурилась. Хотелось сказать ему что-нибудь злое, обидное, но ничего подходящего не пришло в голову. Он взглянул на часы.

— Ты смотри не опоздай, если хочешь застать Таунсенда на работе. Если ты решишь ехать со мной в Мэй-дань-фу, выезжать нужно послезавтра.

— Ты хочешь, чтобы я ему сказала сегодня?

— Да, чем скорее, тем лучше.

Сердце у нее забилось. Беспокойства она не ощущала, но что-то… что-то тут было не так. Жаль, что у нее нет времени, Чарли следовало бы подготовить. Правда, в нем она вполне уверена,

он любит ее не меньше, чем она его, стыдно было даже усомниться в том, что он ухватится за эту возможность обрести свободу. Она горделиво повернулась к Уолтеру.

— Ты, видимо, не знаешь, что такое любовь. Ты даже отдаленно не представляешь себе, какое чувство связывает меня с Чарли. Только это и имеет значение, и нам ничего не стоит пойти на любую жертву, какой наша любовь может потребовать.

Он молча отвесил ей легкий поклон, а потом провожал ее глазами, пока она неспешной поступью не вышла из комнаты.

24

Она послала Чарли записку: «Нужно повидаться. Дело срочное». Китаец-рассыльный просил ее обождать и вернулся с ответом, что мистер Таунсенд примет ее через пять минут. Она почему-то взволновалась. Когда ее наконец пригласили в кабинет Чарли, он поднялся ей навстречу, пожал руку, но стоило бою выйти и закрыть за собой дверь, как вся официальная любезность с него слетела.

— Слушай, дорогая, не приходи ты сюда в рабочее время. У меня нет ни минуты свободной, да и не стоит давать людям повод для пересудов.

Она посмотрела на него долгим взглядом и попыталась улыбнуться, но губы словно одеревенели и не слушались.

— Если б можно было не прийти, я не пришла бы.

Он с улыбкой взял ее под руку.

— Ну, раз пришла, так садись.

Комната была голая, узкая, с высоким потолком. Стены выкрашены в терракотовые тона, светлый и темный. Всю обстановку составляли большой письменный стол, кресло-вертушка для

Таунсенда и кожаное кресло для посетителей. Китти с опаской в него опустилась. Таунсенд сел за стол. Она еще никогда не видела его в очках, даже не знала, что он их носит. Поймав ее взгляд, он снял очки.

— Я их надеваю только для работы.

У Китти слезы всегда были наготове, и сейчас она ни с того ни с сего расплакалась. В этом не было умышленного обмана, скорее инстинктивное желание вызвать сочувствие. Он вопросительно посмотрел на нее.

— Что-нибудь случилось? Да ну же, дорогая, не надо плакать.

Она достала платок и попыталась сдержать рыдания. Он позвонил и сам подошел к двери встретить рассыльного.

— Если меня будут спрашивать, говорить, что меня нет.

— Понятно, сэр.

Бой закрыл дверь. Чарли присел на ручку кожаного кресла и обнял Китти за плечи.

— Теперь рассказывай, девочка.

— Уолтер требует развода, — сказала она.

Она почувствовала, что его рука уже не так крепко ее обнимает. Все его тело застыло. Последовало короткое молчание, потом Таунсенд встал

и пересел на свое кресло-вертушку.

— Как это надо понимать? — спросил он.

Она кинула на него быстрый взгляд, потому что голос его прозвучал хрипло, и увидела, что все лицо его побагровело.

— У нас был разговор. Я сейчас прямо из дому. Он говорит, у него доказательств больше чем нужно.

— Ты, надеюсь, не проболталась? Ничего не признала?

У нее упало сердце.

— Нет.

— Ты хорошо это помнишь?

— Да, — солгала она снова.

Он откинулся в кресле и устремил взгляд на карту Китая, висевшую перед ним на стене. Китти с тревогой следила за ним. То, как он принял ее новость, озадачило ее. Она-то думала, что он заключит ее в объятия, скажет, как он счастлив, что отныне они всегда будут вместе; но мужчины — странный народ. Она тихо заплакала — теперь уже не из желания вызвать его сочувствие, а просто потому, что это казалось так естественно.

— В хорошенькую мы влипли историю, черт возьми, — заговорил он наконец. — Но нельзя терять голову. Слезами, знаешь ли, горю не по-

можешь.

Она уловила в его голосе досаду и вытерла глаза.

— Я не виновата, Чарли. Я не могла иначе.

— Конечно, не могла. Нам просто не повезло. Тут столько же моей вины, сколько и твоей. Теперь вопрос в том, как нам выпутаться. Тебе, надо полагать, тоже не улыбается роль ответчицы.

Она чуть не ахнула от изумления и постаралась что-нибудь прочесть в его лице. О ней он не думает.

— Интересно, какие у него доказательства. Мне не ясно, как он может доказать, что мы тогда были вместе. Вообще-то мы вели себя достаточно осторожно. И старик Гу-джоу, я уверен, не мог нас выдать. Даже если Уолтер видел, как мы входили в лавку, — ну и что? Почему бы нам вместе не поинтересоваться антикварными вещицами?

Он словно рассуждал сам с собой.

— Предъявить обвинение легко, а вот доказать — чертовски трудно; это тебе всякий юрист подтвердит. Наше дело — все отрицать, а если он пригрозит подать в суд — черт с ним, будем бороться.

— Я не могу судиться, Чарли.

— Это еще почему? Очень может быть, что и

придется. Видит Бог, скандала я не жажду, но не можем же мы сдаться без боя.

— А зачем нам защищаться?

— Ну и вопрос! Во-первых, дело это касается не только тебя, но и меня. Тебе-то, мне кажется, бояться нечего. С твоим мужем мы уж как-нибудь договоримся. Важно только решить, как половчее за это взяться.

Ему словно пришла в голову какая-то забавная мысль — он повернулся к Китти со своей неотразимой улыбкой и сменил резкий, деловой тон на заискивающий.

— Бедняжка моя, нелегко тебе пришлось, я понимаю. — Он потянулся через стол и сжал ее руку. — Попались мы с тобой, но как-нибудь выкрутимся, мне это… — Он осекся, и Китти показалось, что он чуть не сказал, что ему не впервой выкручиваться из таких передряг. — Главное — не терять голову. Ты же знаешь, я тебя не подведу.

— Я не боюсь. Пусть делает что хочет.

Он еще улыбался, но теперь уже чуть наигранно.

— В крайнем случае придется мне покаяться губернатору. Он меня отчитает по первое число, но он добрый малый, и к тому же человек свет-

ский. Он это как-нибудь уладит. Ему публичный скандал тоже не пошел бы на пользу.

— А что он может сделать? — спросила Китти.

— Оказать нажим на Уолтера. Попробует сыграть на его самолюбии, а если не выйдет, тогда на его чувстве долга — это уж дело верное.

Китти приуныла. Ну как Чарли не понимает, до чего это все серьезно! Его легкомысленный тон совсем неуместен. Напрасно она пришла к нему на службу. Здешняя обстановка подавляет ее. Куда легче было бы все ему объяснить, если б они сидели обнявшись.

— Не знаешь ты Уолтера, — сказала она.

— Зато знаю, что купить можно каждого.

Она любила Чарли всем сердцем, но его ответ обескуражил ее: как мог такой умный человек сболтнуть такую глупость?

— Ты, наверно, не понимаешь, до чего Уолтер рассержен. Ты не видел, какое у него было лицо, какие глаза.

Он ответил не сразу, только поглядел на нее с легкой усмешкой. Она поняла, о чем он думает. Уолтер — бактериолог, положение его подчиненное; едва ли у него хватит наглости пойти наперекор высокому начальству.

— Не обольщайся, Чарли, — сказала она очень

серьезно. — Если Уолтер решил подать в суд, слова на него не подействуют, ни твои, ни чьи бы то ни было.

Лицо его снова помрачнело.

— Он уж не хочет ли сделать меня соответчиком?

— Сначала хотел, но я его отговорила, он согласился, чтобы я сама подала на развод.

— Ну, тогда это не так страшно. — В его глазах она снова прочла облегчение. — Это, по-моему, превосходный выход. Что же и остается мужчине, если он порядочный человек.

— Но он ставит условие.

Он посмотрел на нее вопросительно, как бы что-то соображая.

— Я, конечно, не богач, но все, что могу, сделаю.

Китти промолчала. Чарли сегодня говорит совсем непохоже на себя. И от этого ей особенно трудно. Она-то думала, что выложит ему все сразу, спрятав пылающее лицо у него на груди!

— Он согласен, чтобы я развелась с ним, если твоя жена разведется с тобой.

— Это все?

Китти выговорила, запинаясь:

— Ужасно трудно это сказать, Чарли, это звучит

так страшно… и если ты пообещаешь жениться на мне не позже чем через неделю после того, как судебные решения войдут в силу.

25

Он ответил не сразу. Снова ласково сжал ее руку.

— Вот что, девочка. Как бы ни обернулось дело, Дороти мы не должны в это впутывать.

Она изумилась:

— Но я не понимаю. Как же так?

— Ну, знаешь ли, в этой жизни нельзя думать только о себе. При прочих равных условиях я бы завтра же на тебе женился. Но это исключено. Я знаю Дороти: ничто не заставит ее развестись со мной.

Китти почувствовала, что ее охватывает ужас. Она опять заплакала. Он встал, подсел к ней, обнял.

— Мужайся, девочка. Нельзя терять голову.

— Я думала, ты меня любишь…

— Конечно, люблю, — произнес он нежно. — Неужели ты в этом сомневаешься?

— Если она с тобой не разведется, Уолтер сделает тебя соответчиком.

Он выдержал заметную паузу, прежде чем ответить. Голос его звучал холодно.

— Это, конечно, означало бы конец моей ка-

рьеры, но боюсь, что и тебе бы не помогло. Если дойдет до крайности, я во всем признаюсь Дороти. Для нее это будет страшный удар, большое горе, но она простит меня. — Новая мысль пришла ему в голову. — Пожалуй, самое лучшее — рассказать ей все теперь же. Если она встретится с твоим мужем, то, возможно, сумеет уговорить его держать язык за зубами.

— Проще говоря, ты не хочешь, чтобы она с тобой развелась?

— Я и о сыновьях должен подумать, разве не так? И конечно, мне не хочется доставлять ей страдания. Мы всегда с нею ладили. Она, знаешь ли, жена каких мало.

— Зачем же ты говорил мне, что она для тебя ничто?

— Я этого не говорил. Я говорил, что не влюблен в нее. Мы уже давно не спим вместе, разве что в исключительных случаях, на Рождество, например, или накануне ее отъезда в Англию, или в день возвращения. Для нее это вообще не так уж важно. Но мы всегда оставались друзьями. Могу тебе прямо сказать — никто даже представления не имеет о том, как всецело я на нее полагаюсь.

— В таком случае не лучше ли было оставить меня в покое?

Странно, что она может говорить так спокойно, когда сердце сжимается от ужаса.

— Такой прелестной женщины, как ты, я не встречал уже много лет. Я безумно тобой увлекся. За это ты едва ли можешь меня осуждать.

— И между прочим, ты говорил, что не подведешь меня.

— О Господи, да я и не собираюсь тебя подводить. Мы влипли в пренеприятную историю, и я сделаю все, что в моих силах, чтоб тебя вызволить.

— Все, кроме того, что только и было бы логично и естественно.

Он встал и пересел в свое кресло.

— Дорогая моя, будь же благоразумна. Лучше отнестись к этой ситуации трезво. Мне не хочется огорчать тебя, но я должен сказать тебе правду. Я очень дорожу моей карьерой; не сегодня завтра я могу оказаться в губернаторском кресле, а пост губернатора колонии — это, черт возьми, не шутка. Если мы не сумеем замять это дело, все мои планы вылетят в трубу. Со службы меня, возможно, и не выгонят, но и продвинуться не дадут — репутация-то подмочена. А если все же придется расстаться со службой, тогда надо будет вступить в какое-нибудь дело здесь, в Китае, где

у меня есть связи и много знакомых. И в том, и в другом случае я смогу добиться успеха, только если Дороти меня не бросит.

— Так нужно ли было говорить мне, что тебе ничего на свете не нужно, кроме меня?

Его губы капризно скривились.

— Ох, моя милая, нельзя же понимать буквально каждое слово влюбленного мужчины.

— Значит, ты мне лгал?

— В ту минуту — нет.

— А что будет со мной, если Уолтер со мной разведется?

— Если мы убедимся, что дело безнадежное, тогда, конечно, защищаться не будем. Особенной огласки я не предвижу, в наше время к таким вещам относятся снисходительно.

В первый раз Китти подумала о своей матери. Она поежилась. Опять поглядела на Таунсенда. К ее боли теперь примешивалась обида.

— Ты-то, конечно, с легкостью перенесешь все неудобства, какие выпадут мне на долю.

— Не вижу, какой нам смысл обмениваться колкостями.

У нее вырвался крик отчаяния. Какая мука — так страстно его любить и так в нем разочароваться. Нет, это немыслимо, не может он не

понимать ее состояния.

— Чарли! Неужели ты не знаешь, как я люблю тебя?

— Но, дорогая моя, я тоже тебя люблю. Только мы живем не на необитаемом острове, и надо мириться с обстоятельствами, когда они сильнее нас. Будь же благоразумна.

— Как я могу быть благоразумной? Для меня наша любовь была всем на свете, в тебе была вся моя жизнь. Не очень-то приятно узнать, что в твоей жизни я была всего лишь эпизодом.

— Неправда, какой там эпизод. Но знаешь ли, когда ты требуешь, чтобы со мною развелась жена, к которой я очень привязан, и чтобы я погубил свою карьеру, женившись на тебе, ты требуешь очень многого.

— Не больше того, на что я готова пойти ради тебя.

— Обстоятельства-то у нас не одинаковые.

— Вся разница в том, что ты меня не любишь.

— Можно любить женщину очень сильно и все же не мечтать о том, чтобы прожить с нею всю жизнь.

Отчаяние овладело ею. Тяжелые слезы поползли по щекам.

— О, как это жестоко! Как ты можешь быть

таким бессердечным!

Она истерически зарыдала. Он бросил тревожный взгляд на дверь.

— Постарайся взять себя в руки, милая.

— Ты не знаешь, как я тебя люблю, — всхлипнула она. — Я не могу без тебя жить. Неужели тебе не жаль меня?

Не в силах продолжать, она опять дала волю слезам.

— Я не хочу быть жестоким и, видит Бог, не хочу оскорблять твои чувства, но сказать тебе правду я должен.

— Вся моя жизнь пошла прахом. Почему ты не мог оставить меня в покое? Что я тебе сделала плохого?

— Конечно, если для тебя легче взвалить всю вину на меня, сделай одолжение.

Китти вскипела от ярости.

— Я, значит, вешалась тебе на шею? Не успокоилась, пока ты не внял моим мольбам?

— Этого я не говорю. Но мне, безусловно, и в голову не пришло бы за тобой ухаживать, если бы ты не дала понять, совершенно недвусмысленно, что готова принять мои ухаживания.

О, какой стыд! И ведь она знает, что это правда. Лицо у него стало угрюмое, озабоченное, руки

беспокойно двигались. Он поглядывал на нее, уже не скрывая раздражения.

— Ты думаешь, муж тебя не простит? — спросил он, помолчав.

— Я не просила у него прощения.

Он невольно стиснул кулаки. Она увидела, что он с трудом удержался от крепкого словца.

— А ты пойди к нему, изобрази кающуюся грешницу. Если он любит тебя так, как ты уверяешь, он не может не простить.

— Плохо же ты его знаешь.

26

Она утерла слезы, постаралась успокоиться.

— Чарли, если ты меня бросишь, я умру.

Ей оставалось одно — взывать к его состраданию. Надо было сразу сказать ему. Когда он узнает, перед каким выбором она поставлена, его великодушие, чувство справедливости, мужское достоинство, наконец, так возмутятся, что он забудет обо всем, кроме грозящей ей опасности. О, как хотелось ей сейчас ощутить себя под надежной защитой любимых рук!

— Уолтер хочет, чтобы я поехала в Мэй-даньфу.

— Что? Но ведь там холера. Самая сильная вспышка за пятьдесят лет. Там женщинам не место. Не можешь ты туда ехать.

— Если ты от меня отступишься — придется.

— То есть как? Я не понимаю.

— Уолтер решил сменить того врача-миссионера, который умер. И хочет, чтобы я поехала с ним.

— Когда?

— Теперь же. Сразу.

Таунсенд отодвинулся назад вместе с креслом

и воззрился на нее.

— Наверно, я совсем поглупел, я просто не могу взять в толк, что ты такое говоришь. Если он хочет, чтобы ты ехала с ним, при чем же тогда развод?

— Он предложил мне выбор: либо я еду с ним, либо он подает на развод.

— Ах вот как. — Тон его чуть заметно изменился. — По-моему, это очень благородно с его стороны, ты не находишь?

— Благородно?!

— Ну как же, сам вызвался ехать в такое место. Я бы, прямо скажу, не рискнул. Конечно, по возвращении ему обеспечен орден Михаила и Георгия.

— А я-то, Чарли! — воскликнула она с болью в голосе.

— Что ж, если он хочет взять тебя с собой, в данных обстоятельствах отказываться как-то некрасиво.

— Но это смерть, верная смерть.

— Это уж ты, черт возьми, преувеличиваешь. Не повез бы он тебя туда, если б так думал. И для тебя там меньше риска, чем для него. Риска вообще, можно сказать, никакого — надо только соблюдать осторожность. При мне здесь была одна вспышка, ну и ничего. Главное — не есть

ничего в сыром виде: ни фруктов, ни салатов из овощей — и воду пить только кипяченую.

Он говорил все более уверенно и свободно, и лицо оживилось, вся угрюмость пропала, он был почти весел.

— Как-никак это его специальность. Он интересуется микробами. В сущности, для него это редкая удача.

— Но я-то, Чарли! — повторила она уже не с болью, а с ужасом.

— Чтобы понять человека, нужно поставить себя на его место. С его точки зрения, ты вела себя далеко не примерно, и он хочет оградить тебя от соблазнов. Мне с самого начала казалось, что разводиться с тобой он не хочет, не в его это характере, и он предложил тебе выход, по его мнению великодушный, а ты отказалась, вот он и взбеленился. Я не хочу тебя обвинять, но мне кажется, что ради нас всех тебе следовало бы отнестись к этому не так опрометчиво.

— Но как ты не понимаешь, что это меня убьет? И разве не ясно, что он потому и тащит меня туда, что знает это?

— Да перестань ты, девочка. Положение наше хуже некуда, и, право же, сейчас не время разыгрывать мелодраму.

— А ты нарочно не желаешь ничего понять.

О, какая это мука, и как страшно. Впору закричать в голос.

— Не можешь ты послать меня на верную смерть. Пусть у тебя нет ко мне ни любви, ни жалости, но должно же быть какое-то человеческое отношение.

— Ты, пожалуй, ко мне несправедлива. Сколько я могу понять, твой муж поступил очень великодушно. Он готов тебя простить, а ты отказываешься. Он хочет тебя увезти, и вот представилась возможность увезти тебя в такое место, где ты на несколько месяцев будешь ограждена от соблазнов. Я не утверждаю, что Мэй-дань-фу — курорт. Этого ни про один китайский город не скажешь. Но это еще не причина для паники. Поддаться панике — самое опасное дело. Я уверен, что во время эпидемий столько же людей умирает от страха, сколько и от самой болезни.

— А мне уже сейчас страшно. Когда Уолтер об этом заговорил, я чуть в обморок не упала.

— Ну понятно, в первую минуту ты струхнула, но потом посмотришь на это трезво, и все обойдется. Такое захватывающее приключение мало кому доводится пережить.

— Я думала, я думала…

Она корчилась, как от физической боли. Он молчал, и опять на лице его появилось угрюмое выражение, которого она до последнего времени на нем никогда не видела. Теперь Китти не плакала. Она сидела спокойно, с сухими глазами, и голос ее прозвучал тихо, но твердо.

— Значит, ты хочешь, чтобы я уехала?

— Выбора-то у нас нет.

— Разве?

— Скажу честно: если бы твой муж подал в суд на развод и выиграл дело, я все равно не мог бы на тебе жениться.

Минуты, пробежавшие до ее ответа, вероятно, показались ему вечностью. Она медленно встала с места.

— Я думаю, мой муж и не собирался подавать в суд.

— Так какого же черта ты меня напугала до полусмерти?

Она смерила его спокойным взглядом.

— Он знал, что ты от меня отступишься.

И умолкла. Постепенно, как бывает, когда изучаешь иностранный язык и целая страница сперва кажется совсем непонятной, а потом ухватишься за какую-нибудь одну фразу или слово, и внезапно твой усталый мозг хотя бы прибли-

зительно осмысливает всю страницу, — так же постепенно и приблизительно ей открывался ход мыслей Уолтера. Словно темный, мрачный пейзаж озаряла молния и тут же снова поглощала тьма. И она содрогалась от того, что успевала увидеть.

— Он пустил в ход эту угрозу только потому, что знал, что ты перед ней спасуешь, Чарли. Поразительно, как безошибочно он тебя расценил. А подвергнуть меня такому жестокому разочарованию — это на него похоже.

Чарли опустил глаза на лежавший перед ним лист промокашки. Он надул губы и слегка хмурился, но не отвечал.

— Он знал, что ты трус, тщеславный, корыстный. И хотел, чтобы я сама в этом убедилась. Он знал, что стоит возникнуть опасности, и ты пустишься наутек, как заяц. Он знал, как страшно я ошибалась, воображая, что ты меня любишь, потому что знал, что ты способен любить только себя. Он знал, что ты с легкостью мною пожертвуешь, лишь бы спасти свою шкуру.

— Если тебе доставляет удовольствие поливать меня грязью, что ж, я, наверно, не вправе возражать. Женщины вообще несправедливы, и обычно им удается свалить всю вину на мужчи-

ну. Но и у другой стороны могут найтись веские доводы.

Она будто и не слышала.

— Теперь я знаю все, что он знал давно. Знаю, что ты черствый, бессердечный. Что ты эгоист до мозга костей, что храбрости у тебя как у кролика, что ты лжец и притворщик, презренный человек. И самое ужасное, — лицо ее исказилось от боли, — самое ужасное то, что все-таки я люблю тебя без памяти.

— Китти!

Она горько усмехнулась. Он произнес ее имя тем вкрадчивым, проникновенным тоном, который давался ему так легко и значил так мало.

— Болван! — сказала она.

Он отшатнулся, ошеломленный, разобиженный до глубины души. В ее глазах светилась насмешка.

— Я тебе, кажется, стала меньше нравиться? Ну ничего, пусть так и будет. Мне теперь все равно. — И стала натягивать перчатки.

— Как же ты поступишь? — спросил он.

— А ты не бойся, тебе ничего не грозит. Ты не пострадаешь.

— Ради Бога, Китти, не надо так говорить. — В его звучном голосе слышалась тревога. — Ты же

знаешь, все, что касается тебя, касается меня. Я не успокоюсь, пока не буду знать, что будет дальше. Что ты скажешь мужу?

— Скажу, что согласна ехать с ним в Мэй-дань-фу.

— Если ты согласишься, он, может быть, не будет настаивать.

Почему она так странно посмотрела на него в ответ на эти слова?

— И ты не боишься?

— Нет, — ответила она, — ты вселил в меня мужество. Пожить в холерном городе — это интереснейшее приключение, а если я умру, значит, так тому и быть.

— Я старался обойтись с тобой как можно мягче.

Она опять на него взглянула. Слезы выступили на глазах, сердце разрывалось. Неудержимо тянуло броситься ему на шею, впиться губами в его губы. Ни к чему это.

— Если хочешь знать, — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, — в сердце у меня ужас и смерть. Я не знаю, что там у Уолтера в его темной, путаной душе, но сама трясусь от страха. Может быть, смерть даже будет для меня избавлением.

Чувствуя, что самообладание ее иссякло, она

быстро пошла к двери и выскользнула из комнаты, не дав ему даже времени встать с места. У Таунсенда вырвался долгий вздох облегчения. Больше всего ему сейчас хотелось выпить бренди с содовой.

27

Уолтера она застала дома. Она хотела пройти прямо к себе, но он был внизу, в прихожей, — давал распоряжения одному из боев. Она была так измучена, что с готовностью пошла на неминуемое унижение. Задержавшись около мужа, она сказала:

— Я еду с тобой.

— Вот и отлично.

— Когда мы уезжаем?

— Завтра вечером.

Его равнодушие подействовало на нее как укол копья. Она даже сама удивилась, когда сказала с вызовом:

— Наверно, достаточно будет взять с собой несколько летних платьев и саван?

По его лицу она поняла, что ее легкомысленный тон рассердил его.

— Я уже сказал твоей горничной, что отобрать.

Она кивнула и поднялась к себе в спальню. В лице ее не было ни кровинки.

28

Наконец-то они приближались к месту своего назначения. Уже сколько времени, день за днем, их несли в паланкинах по узкой грунтовой дороге между нескончаемых рисовых полей. Они выступали с рассветом и двигались до тех пор, пока дневная жара не загоняла их в какую-нибудь придорожную харчевню, а потом снова в путь — до того города, где намечено было остановиться на ночлег. Возглавлял шествие паланкин Китти, за ней следовал Уолтер; последними шли кули, сгибаясь под тяжестью постелей, съестных припасов и прочей клади. Китти ничего не видела вокруг. В долгие часы, когда молчание лишь изредка нарушал возглас носильщика или обрывок несуразной песни, она мучительно перебирала в памяти все подробности душераздирающей сцены в служебном кабинете у Чарли. Вспоминая, что он сказал ей и что она сказала ему, она ужасалась, до чего же прозаический и деловой получился их разговор. Она не сказала того, что хотела сказать, говорила не тем тоном, каким собиралась. Если бы она сумела объяснить ему, как безгранично, как страстно она его любит, он не

показал бы себя таким бесчеловечным, не бросил бы ее на произвол судьбы. Она просто не успела опомниться. Не поверила своим ушам, когда он дал ей понять — без слов, но до ужаса ясно, — что она для него ничто. Потому она и плакала тогда так мало — слишком была ошарашена. Потом-то наплакалась.

По ночам в харчевнях, где им с мужем отводили лучшую комнату, лежа без сна и зная, что Уолтер на своей походной койке в нескольких футах от нее тоже не спит, она кусала подушку, чтобы он не услышал ни звука. Но днем, за шторками паланкина, давала себе волю. Боль ее была так сильна, что впору кричать на крик; она и не знала, что бывает такое жгучее страдание, и в отчаянии спрашивала себя, чем она его заслужила. Почему, почему Чарли ее не любит? Наверно, она сама виновата, но ведь она сделала все, чтобы удержать его любовь. Им всегда так хорошо бывало вместе, они все время смеялись, были не только любовниками, но и добрыми друзьями. Нет, она отказывалась понять и чувствовала, что сломлена. Она твердила себе, что ненавидит его, презирает, но как жить дальше, если она никогда больше его не увидит? Если Уолтер везет ее в Мэй-дань-фу в наказание, это глупо с его стороны:

не все ли ей теперь едино, что с ней станется? Жить больше незачем. Тяжело это — покончить счеты с жизнью в двадцать семь лет.

29

На пароходе, увозившем их вверх по Западной реке, Уолтер не отрываясь читал, но за столом пытался как-то поддерживать разговор. Говорил он с ней, как со случайной попутчицей, о всяких пустяках — из вежливости, думала Китти, или чтобы еще подчеркнуть разделявшую их пропасть.

В минуту прозрения она сказала Чарли, что Уолтер пригрозил разводом в случае, если она с ним не поедет в зараженный город, чтобы она сама могла убедиться, какой он, Чарли, бездушный эгоист и трус. Да, так оно и было, такой маневр отлично вязался с его издевательским юмором. Он в точности знал, что случится, еще до того, как она вернулась домой, и дал ее горничной нужные распоряжения. В его глазах она прочла презрение, словно относившееся и к ней, и к ее любовнику. Возможно, он говорил себе, что, будь он на месте Таунсенда, ничто не помешало бы ему пойти ради нее на любые жертвы. И это тоже была правда. Но после того, как она прозрела, как мог он заставить ее подвергнуть себя такой опасности, да еще зная, как это ее страшит? Сначала

она думала, что он шутит, — до самого отъезда, нет, дольше, до того, как они сошли на берег и двинулись дальше в паланкинах, все ждала, что он скажет, со своим сдержанным смешком, что она, если хочет, может вернуться. Что у него на уме — ей не понять. Не может же он в самом деле желать ее смерти, ведь он так любил ее. Она теперь знает, что такое любовь, тысячу раз он доказывал, как сильно ее любит. Каждое ее слово было для него закон. Не может быть, чтобы он ее разлюбил. Неужели можно разлюбить, если с тобой обошлись жестоко? Она не ранила его так больно, как Чарли ранил ее, а ведь она, несмотря ни на что, по первому знаку Чарли, хоть теперь она его знает, махнула бы рукой на все блага мира и кинулась ему на грудь. Пусть он принес ее в жертву, пусть он бездушный эгоист, но она его любит.

Сперва она думала, что нужно только подождать, рано или поздно Уолтер простит ее. Она была слишком уверена в своей власти над ним, не могла допустить и мысли, что этой власти пришел конец. «Большие воды не могут потушить любви…»[44] Раз он любил ее, значит, был слабый,

[44] Примечания: 44
Библия. «Песнь песней Соломона», 8:7.

а потому и разлюбить ее не должен. Но теперь ее уверенность поколебалась. Вечерами, когда он читал, сидя на жестком стуле, и свет лампы «молния» падал на его лицо, она могла без помехи его разглядывать. Она лежала в тени, на тюфяке, где ей должны были постелить постель. Лицо его с правильными прямыми чертами казалось очень строгим. Кто бы поверил, что порой его озаряет такая ласковая улыбка. Он читал спокойно, точно был от нее за тысячу миль; она видела, как он переворачивает страницы, как переводит глаза со строчки на строчку. О ней он не думал. А когда стол накрывали и появлялся обед, он откладывал книгу и коротко взглядывал на нее (забыв, что лицо его на свету, он не старался смягчить его выражение), и она с испугом читала в его глазах физическую гадливость. Это пугало ее. Неужели от его любви ничего не осталось? Неужели он действительно задумал ее погубить? Да нет же, это был бы поступок сумасшедшего. И легкая дрожь пробирала ее при мысли, что Уолтер, может быть, не вполне нормален.

30

Ее носильщики, долго шагавшие молча, вдруг заговорили, и один из них попытался жестом и непонятными словами привлечь ее внимание. Она посмотрела в ту сторону, куда он указывал, и там, на вершине холма, увидела ворота. Она уже знала, что ворота воздвигнуты в память какого-нибудь знаменитого ученого или добродетельной вдовы, — с тех пор как они сошли на берег, она уже видела много таких сооружений; но эти ворота, черные на фоне заходящего солнца, показались ей особенно причудливыми и прекрасными. А между тем зрелище это почему-то ее встревожило: в нем таился какой-то смысл — она смутно чувствовала это, но не могла бы выразить словами. Что это, угроза, насмешка? Они вступили в бамбуковую рощу, и стволы склонялись над дорогой, словно хотели задержать паланкин; и, хотя в этот вечер не было ни ветерка, узкие зеленые листья чуть подрагивали. Создавалось впечатление, будто меж стволов кто-то прячется и следит за ней. Они подошли к подошве холма, рисовые поля кончились. Носильщики бодрым шагом стали подниматься в гору. Весь склон

покрывали зеленые холмики, теснившиеся близко-близко друг к другу, так что поверхность получалась рубчатая, как песчаный пляж во время отлива. И это тоже было знакомо: в точности такое место встречалось им на подходе к каждому густонаселенному городу. Кладбище! Теперь стало ясно, почему носильщик обратил ее внимание на ворота, венчающие холм: конец пути был уже близок.

Они прошли под воротами, и носильщики остановились, чтобы переложить палки от паланкина с плеча на плечо. Один из них вытер потное лицо грязной тряпкой. Дорога пошла под гору. По обеим сторонам лепились грязные домишки. Уже темнело. И вдруг носильщики взволнованно залопотали и одним прыжком, резко встряхнув паланкин, прижались к стене. Китти тут же поняла, чего они испугались: пока они стояли, громко переговариваясь, навстречу быстро и молча прошло четверо крестьян, несущих гроб, новый, некрашеный, в сумерках он казался совсем белым. Сердце у Китти заколотилось от страха, гроб проплыл мимо, а носильщики все стояли как вкопанные, словно не могли заставить себя сдвинуться с места. Но вот сзади раздался окрик, и они тронулись. Теперь

они шли молча.

Еще через несколько минут они круто свернули в ограду. Паланкин опустили на землю. Долгая дорога осталась позади.

31

Дом был одноэтажный, с верандами. Сразу с порога Китти оказалась в гостиной. Она села и стала смотреть, как кули один за другим вносят в дом тяжелую кладь. Уолтер во дворе распоряжался, что куда нести. Она очень устала и даже вздрогнула, услышав незнакомый голос:

— Можно войти?

Ее познабливало. В таком нервном состоянии ей вовсе не улыбалось с кем-то знакомиться. Какой-то человек выступил из темноты — длинная узкая комната была освещена всего одной лампой — и протянул ей руку.

— Уоддингтон. Я помощник полицейского комиссара.

— А-а, знаю, таможня. Мне говорили, что вы здесь.

В полумраке она разглядела только, что он худой и маленький, не выше ее ростом, с лысой головой и бритым лицом.

— Я живу внизу, в начале подъема, но вы мимо моего дома не ехали. Я подумал, вы, наверно, совсем выдохлись, пойти ко мне обедать не захотите, потому и заказал для вас обед здесь и сам

назвался к вам в гости.

— Очень приятно слышать.

— Повар неплох, вот увидите. Я всех слуг Уотсона для вас тут оставил.

— Уотсон — это тот миссионер, который здесь жил?

— Да. Отличный был малый. Завтра я, если хотите, покажу вам его могилу.

— Вы очень любезны, — улыбнулась Китти.

Тут вошел Уолтер. Уоддингтон представился ему еще во дворе, а теперь сказал:

— Я тут предупредил вашу супругу, что буду у вас обедать. С тех пор как умер Уотсон, мне и поговорить-то не с кем, разве что с монахинями, но я во французском не силен, к тому же и говорить с ними можно далеко не обо всем.

— Сейчас бой принесет напитки, — сказал Уолтер.

Слуга принес виски и содовой, и Китти заметила, что Уоддингтон налил себе изрядную порцию. Еще когда он только вошел, она по его манере говорить и частым смешкам заподозрила, что он не совсем трезв.

— Ваше здоровье, — сказал он, а потом обратился к Уолтеру: — Работы вам здесь хватит. Люди мрут как мухи. Городской голова уже ничего не

соображает, а полковник Ю, он командует гарнизоном, все силы тратит на то, чтобы не дать своим солдатам пуститься в мародерство. Если в самом скором времени что-нибудь не изменится, нас всех убьют в постели. Я пытался уговорить монахинь, чтоб уезжали отсюда, но они, конечно, ни в какую. Все как одна желают заработать мученический венец, чтоб им пусто было.

Говорил он легким, поверхностным тоном, и в голосе слышался призрак смеха, так что, слушая его, трудно было удержаться от улыбки.

— А вы почему не уехали? — спросил Уолтер.

— Да как вам сказать, половину моих подчиненных я потерял, и остальные вот-вот лягут и умрут. Кто-то должен же остаться и поддерживать хотя бы видимость порядка.

— Прививку сделали?

— Да. Еще Уотсон заставил. Он и себе сделал прививку, но ему, бедняге, это не очень-то помогло. — Он повернулся к Китти, его забавная рожица весело сморщилась. — Большого риска, по-моему, нет, надо только соблюдать осторожность. Молоко и воду обязательно кипятить, не есть сырых фруктов и овощей. Вы граммофонных пластинок не привезли?

— Кажется, нет, — сказала Китти.

— Вот это жаль. Я-то надеялся. Давненько я не покупал пластинок, а свои старые слушать больше не могу.

Вошел бой узнать, можно ли подавать обед.

— Вы ведь нынче не будете переодеваться? — спросил Уоддингтон. — У меня бой на прошлой неделе умер, а новый — олух, так что я перестал переодеваться к обеду.

— Пойду сниму шляпу, — сказала Китти.

Ее комната была рядом с той, где они сидели. На полу, поставив рядом с собой лампу, сидела служанка и распаковывала ее пожитки.

32

Столовая была маленькая, почти всю ее занимал огромный стол. На стенах висели гравюры на библейские темы и иллюминованные тексты.

— У миссионеров всегда большие столы, — объяснил Уоддингтон. — Им на каждого ребенка полагается прибавка к жалованью, а столы они покупают, когда женятся, чтобы было где усадить весь выводок.

С потолка свисала большая керосиновая лампа, так что Китти могла теперь получше рассмотреть Уоддингтона. Оттого, что он был лысый, она было подумала, что он уже немолод, но теперь увидела, что ему, конечно, нет и сорока. Лицо под высоким выпуклым лбом было свежее и без морщин, безобразное, как у обезьянки, но не отталкивающее; очень занятное лицо. Нос и рот маленькие, как у ребенка, и небольшие ярко-голубые глаза. Похож на смешного старенького мальчика. Он не скупясь подливал себе вина — и к концу обеда был порядком пьян. Но пьянел он безобидно, весело, точно сатир, стащивший бурдюк у вздремнувшего пастуха.

Он болтал о Гонконге, где у него было много

знакомых, расспрашивал о них. В прошлом году он побывал там на скачках и теперь вспоминал лошадей и их владельцев.

— Кстати, а как там Таунсенд? — спросил он вдруг. — Займет он пост губернатора?

Китти почувствовала, что краснеет, но муж не смотрел на нее. Он ответил:

— Очень возможно.

— Да, он из таких.

— Вы с ним знакомы? — спросил Уолтер.

— А как же. Один раз вместе плыли из Англии.

Из-за реки послышались удары гонга и треск хлопушек. Там, совсем близко от них, корчился в страхе город, и смерть, внезапная и безжалостная, металась по извилистым улицам. А Уоддингтон заговорил о Лондоне, о театрах. Он был в курсе всего, что шло на лондонских сценах, рассказал, какие спектакли видел сам, когда в последний раз приезжал в Англию в отпуск. Он смеялся, вспоминая шутки низкопробного комика, вздыхал, восторгаясь красотой опереточной дивы. С явным удовольствием похвастался, что на одной из самых среди них знаменитых женился его родственник, он однажды завтракал у них, и она подарила ему свою фотографию — непременно покажет, когда они будут обедать у него в управ-

лении.

Уолтер поглядывал на гостя с холодной насмешкой, но гость, очевидно, забавлял его, и он старался проявить интерес к вещам, в которых, как знала Китти, ничего не смыслил. А Китти, сама не зная почему, снова поддалась страху. В доме умершего миссионера, так близко от зараженного города, они словно были отрезаны от всего мира. Три одиноких человека, чужие друг другу.

Обед кончился, она встала.

— Вы не обидитесь, если я пожелаю вам спокойной ночи? Я иду спать.

— А я откланяюсь, — ответил Уоддингтон. — Доктор, наверно, тоже валится с ног. Завтра нам надо выйти пораньше.

Он пожал Китти руку. На ногах он держался твердо, а глаза блестели ярче прежнего.

— Я за вами зайду, — сказал он Уолтеру. — Поведу вас знакомиться с городским головой и с полковником Ю, а потом в монастырь. Да, работы вам здесь хватит.

33

В ту ночь ее мучили странные сны. Словно ее несут в паланкине, и чувствуется, как его покачивает, потому что носильщики идут размашистым, неровным шагом. Они входили в города, большие и сумрачные, и к ним сбегались толпы любопытных. Улицы были узкие, кривые, а в открытых лавках, полных экзотических товаров, с их появлением прекращалась торговля — и продавцы, и покупатели замирали на месте. Потом они приблизились к мемориальным воротам, и причудливые их очертания внезапно ожили, стали похожи на машущие руки индусского бога, а сверху раздавались отзвуки язвительного смеха. Но тут появился Чарли Таунсенд, обнял ее, поднял с сиденья и сказал, что все это было ошибкой, он совсем не хотел обойтись с ней так дурно, ведь он ее любит и не может без нее жить. Она чувствовала на губах его поцелуи и, плача от счастья, спрашивала, почему же он поступил так жестоко, но, спрашивая, уже знала, что это не имеет значения. А потом раздался хриплый возглас, их разлучили, и между ними торопливо и молча прошли кули в синих лохмотьях — они

несли гроб.

Она проснулась от страха.

Их дом стоял на склоне крутого холма, из окна ей была видна узкая река глубоко внизу, а за рекой — город. Только что рассвело, от реки поднимался белый туман, окутавший джонки, причаленные тесно одна к другой, как горошины в стручке. Сотни джонок, беззвучных и загадочных в призрачном свете, словно обитатели их во власти колдовских чар, словно не просто сон, а некто странный и грозный обрек их на эту неподвижность и безмолвие.

Утро разгоралось, и солнце коснулось тумана, так что он засветился белым, как призрак снега на угасающей звезде. На реке уже было светло, стали видны несчетные джонки и густой лес их мачт, но выше, впереди, поднималась непроницаемая светящаяся стена. И вдруг из этого белого облака выступила высокая, массивная, мрачная крепость. Казалось, ее не просто открыло взору всепроникающее солнце — скорее, она возникла из пустоты, по мановению волшебной палочки. Она повисла над рекой, как твердыня жестокого владыки варварского племени. Но волшебник, строивший ее, работал быстро, и вот уже с одной стороны ее увенчала зубчатая стена;

а еще через минуту из тумана проглянуло, все в пятнах солнечных бликов, скопище зеленых и желтых крыш. Они казались громадными, не складывались в общий рисунок. Если и образовали узор, то неуловимый для глаза, капризный и замысловатый, но невообразимо прекрасный. То была уже не крепость и не храм, но волшебные чертоги некоего владыки богов, недоступные для смертных. Таким воздушным, сказочным, невещественным не могло быть творение рук человеческих; его породила мечта, сновиденье.

По лицу Китти бежали слезы, а она все смотрела не отрываясь, прижав к груди руки, приоткрыв рот, едва дыша. Никогда еще она не испытывала такой душевной легкости, ей казалось, что тело ее, как сброшенная оболочка, лежит у ее ног, а сама она обратилась в чистейший дух. Перед ней была Красота, и Китти впивала ее, как верующий вкушает облатку, которая есть тело Христово.

34

Уолтер уходил рано утром, позавтракать забегал только на полчаса, а потом возвращался уже вечером, к обеду, так что Китти много бывала одна. Несколько дней она вообще не выходила из дому. Было очень жарко, и большую часть дня она проводила в шезлонге у открытого окна, пытаясь читать. Резкий дневной свет лишил волшебный дворец всякой таинственности, теперь это был просто храм, построенный на городской стене, кричаще яркий и облупленный, но оттого, что однажды она увидела его в таком неземном сиянии, он уже никогда не казался ей совсем обыденным; и нередко на заре или в сумерках, а порой и ночью ей удавалось снова уловить отблеск той красоты. То, что она приняла за неприступную крепость, было всего лишь городской стеной, и эта стена, массивная и темная, снова и снова притягивала ее взгляд. Там, за ее зубцами, лежал город, сжавшись от страха перед смертоносной эпидемией.

Кое-что об ужасах, творившихся там, она знала — не от Уолтера, тот отвечал на ее расспросы (сам он редко с ней заговаривал) с небрежной

усмешкой, от которой ее бросало в дрожь, а от Уоддингтона и от своей служанки. Каждый день умирало около ста человек, почти никто из заболевших не выздоравливал; изображения богов вынесли из покинутых храмов и поставили на улицах; им приносили жертвы, но болезнь не внимала молитвам. Люди умирали так быстро, что их едва успевали хоронить. В некоторых домах вымирали целые семьи, и некому было совершать погребальные обряды. Начальник гарнизона был человек решительный и властный, и только благодаря ему город уберегся от грабежей и пожаров. Он заставлял солдат хоронить тех, у кого не осталось родственников, и своими руками застрелил офицера, не решавшегося войти в зараженный дом.

Китти бывало так страшно, что сердце заходилось и ее трясло как в лихорадке. Пусть кто угодно уверяет, что риск невелик, если соблюдать осторожность, — она была в панике. В голове у нее рождались безумные планы бегства. Чтобы вырваться отсюда, она была готова бросить все и одна, в чем была, добираться до какого-нибудь безопасного места. Подумывала о том, чтобы отдаться на милость Уоддингтону, все ему рассказать и умолять помочь ей вернуться в Гон-

конг. Или броситься в ноги мужу, сказать, как ей страшно, — хоть он теперь ненавидит ее, он же все-таки человек, он должен над ней сжалиться.

Но нет, и думать нечего. Если даже она вырвется отсюда, куда ей себя девать? Не ехать же к матери — та не скроет, что, выдав ее замуж, считает себя свободной от дальнейших обязательств; да ей и не хочется ехать к матери. Ей хочется только к Чарли, а ему она не нужна. Ей известно, что он скажет, если она вдруг перед ним появится. Она не забыла его угрюмое лицо и холодный расчет за прелестной улыбкой. Нелегко ему будет найти для нее приемлемые слова. Она стискивала руки. Чего бы она не дала, чтобы унизить его так, как он ее унизил! Порой ее охватывала такая ярость, что она жалела, что не дала Уолтеру подать на развод — ну и погибла бы, но и его бы тоже погубила. Вспоминая некоторые его фразы, она от стыда краснела до корней волос.

35

В первый же раз, как они с Уоддингтоном остались одни, она навела разговор на Чарли. Уоддингтон упоминал о нем в вечер их приезда. Она притворилась, будто он просто знакомый ее мужа.

— Я о нем невысокого мнения, — сказал Уоддингтон, — мне он всегда казался ужасно скучным.

— На вас, наверно, трудно угодить, — возразила она тем светским шутливым тоном, который так легко ей давался. — Он ведь, кажется, самый популярный человек в Гонконге.

— Знаю. Это его козырь. Он возвел популярность в искусство. Умеет кому угодно внушить, что он для него самый нужный человек. Всегда готов оказать услугу, если ему это ничего не стоит, и, даже если не сделает того, о чем вы его просили, умудряется создать впечатление, что ваша просьба вообще невыполнима.

— А ведь это привлекательная черта.

— По-моему, обаяние как таковое в конце концов приедается. Хочется для разнообразия обратиться к человеку пусть не столь обходитель-

ному, но более искреннему. Чарли Таунсенда я знаю уже много лет и несколько раз видел его без маски — понимаете, я для него никто, какой-то таможенный чиновник, при мне нечего стесняться, — и я уверен, что ему наплевать на всех, кроме самого себя.

Китти сидела в непринужденной позе в своем кресле, смотрела на него улыбающимися глазами и вертела на пальце обручальное кольцо, а он продолжал:

— Разумеется, он далеко пойдет. Знает все ходы и выходы. Не сомневаюсь, что мне еще доведется величать его «ваше превосходительство» и вставать, когда он входит в комнату.

— Все считают, что это заслуженный успех, что у него выдающиеся способности.

— Способности? Какая чушь! Он очень недалекий человек. Впечатление такое, что со своей работой он справляется блестяще, шутя и играя. Ничего подобного. Он трудяга, старателен, как счетовод-евразиец.

— Почему же его считают таким талантливым?

— Дураков на свете много, и, когда человек, занимающий довольно-таки высокий пост, не задается, хлопает их по плечу и клянется, что

сделает для них все на свете, им недолго и наделить его всеми талантами. Ну и потом, конечно, жена. Вот это действительно умница. Голова у нее работает, к ее совету всегда стоит прислушаться. Пока у Чарли Таунсенда есть такая опора в жизни, он может не бояться, что сядет в лужу, а, чтобы продвинуться на правительственной службе, это главное. Способные люди там не нужны: у способных появляются идеи, а это чревато лишними хлопотами. Там нужны люди обаятельные, тактичные, за которых не страшно, что они попадут впросак. О да, Чарли Таунсенду обеспечено будущее.

— Интересно, почему вы его не любите?

— Кто сказал, что я его не люблю?

— Но его жена вам нравится больше? — улыбнулась Китти.

— Я человек старого закала, люблю, когда женщина хорошо воспитана.

— Если бы вдобавок она хорошо одевалась…

— А она разве плохо одевается? Я не заметил.

— Я слышала, они отличная пара, — сказала Китти, наблюдая за ним сквозь ресницы.

— Он к ней очень привязан. Тут нужно отдать ему должное. Пожалуй, это самое ценное, что в нем есть.

— Маловато для похвального отзыва.

— Бывают у него интрижки на стороне, но это несерьезно. У него хватает ума не доводить их до такого этапа, когда это уже грозит ему неудобствами. И как мужчина он, конечно, не способен на сильные чувства, он только тщеславен. Любит, чтобы им восхищались. Сейчас-то он немного раздобрел, слишком себя ублажает, а когда только приехал в колонию, был очень красив. Жена подтрунивает над его победами, я сам слышал.

— Она не принимает его интрижки близко к сердцу?

— О нет, она знает, что слишком далеко он не зайдет. Она говорит, что охотно дружила бы с теми бедняжками, которые пленяются Чарли, но очень уж они все неинтересные. По ее словам, для нее не бог весть как лестно, что ее мужем увлекаются сплошь посредственности.

36

Когда Уоддингтон ушел, Китти обдумала все, что он так неосторожно выболтал. Слушать это было не очень приятно, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать, как близко это ее касается. Горько было думать, что все сказанное им — чистая правда. Она знала, что Чарли недалек и тщеславен, что он жаден до лести, она вспомнила, как самодовольно он рассказывал всякие случаи, долженствующие доказать, какой он умный и ловкий. Он гордится своей низкопробной хитростью. Какое же она ничтожество, если могла полюбить человека за... за то, что у него красивые глаза и хорошая фигура! Ей хотелось ощутить к нему презрение, потому что пока она его только ненавидела, она еще была слишком близка к любви и знала это. После того как он с ней обошелся, у нее должны были открыться глаза. Уолтер, тот всегда отзывался о нем презрительно. Ах, если б можно было выбросить его из головы! Значит, жена над ним подтрунивала, видя, что она, Китти, им увлечена? Дороти рада была бы с ней подружиться, но сочла ее слишком неинтересной? Китти невольно улыбнулась:

как вознегодовала бы ее мать, узнав, что ее дочь считают посредственностью!

А ночью он опять ей снился. Она чувствовала его руки, крепко обнявшие ее, страстность его поцелуев. Что из того, что он немного раздобрел? Она ласково смеялась над его огорчениями, любила еще сильнее за его ребяческое тщеславие, рвалась пожалеть и утешить. Когда она проснулась, лицо ее было мокро от слез.

Она сама не знала, почему плакать во сне показалось ей такой трагедией.

37

С Уоддингтоном она виделась каждый день — покончив с работой, он всегда поднимался к их дому, и за какую-нибудь неделю они сблизились так, как при других обстоятельствах не сблизились бы и за год. Однажды, когда Китти сказала, что не знает, что бы она без него делала, он ответил смеясь:

— Понимаете, только мы с вами и ходим спокойно и мирно по твердой земле. Монахини витают в раю, а ваш муж бродит во мраке.

Она отделалась легким смешком, однако задумалась над его словами. Она уже не раз замечала, что его веселые голубые глазки вглядываются в нее — дружелюбно, но очень уж внимательно. Она уже поняла, что он прозорлив, и ей казалось, что к ее отношениям с Уолтером он проявляет нездоровое любопытство. Морочить его было забавно. Он ей нравился, она знала, что и он относится к ней дружески. Он не блистал особенным остроумием, но умел выразить свою мысль язвительно и ехидно, так что слушать его было не скучно; а порой, когда его мальчишья рожица под лысым черепом кривилась веселой

гримасой, слова его звучали просто уморительно. Он много лет провел на разных аванпостах империи, где часто бывал единственным европейцем, и никакие посторонние воздействия не влияли на свободное развитие его характера. Откровенность его была неотразима. Жизнь он словно бы не принимал всерьез, гонконгскую колонию высмеивал едко, но смеялся и над китайскими чиновниками в Мэй-дань-фу, и над холерой, опустошавшей город. Всякий рассказ о какой-нибудь трагедии или о подвиге в его устах звучал иронично. За двадцать лет, прожитых в Китае, у него накопилось множество анекдотов, из которых можно было заключить, что земной шар — весьма неуютное, фантастическое и смехотворное местожительство.

Он отрицал, что разбирается в китаистике (уверял, что все синологи — сумасшедшие), однако говорил по-китайски вполне свободно. Читал он мало, то, что знал, почерпнул из разговоров. Но он часто пересказывал Китти страницы из китайских романов или книг по истории Китая, и, хотя рассказы его сопровождались обычными для него шуточками, он вкладывал в них сочувствие и даже нежность. Ей казалось, что он, может быть бессознательно, проникся представ-

лением китайцев, будто европейцы — варвары, а их жизнь — сплошное безумие; только в Китае жизнь устроена так, что разумный человек может усмотреть в ней что-то реальное. Тут было о чем подумать: до сих пор Китти слышала только, что китайцы — народ вырождающийся, грязный, отвратительный. Словно приподнялся на минутку уголок занавеса, и ей открылся мир, полный красок и значения, какой ей и во сне не снился.

А Уоддингтон все болтал, смеялся и пил.

— Вам не кажется, что вы слишком много пьете? — спросила Китти без обиняков.

— Это моя лучшая услада в жизни, — ответил он. — И от холеры предохраняет.

Уходил он от нее обычно пьяный. Во хмелю бывал весел, но не противен.

Как-то вечером Уолтер, вернувшись домой раньше обычного, предложил ему остаться у них пообедать. И тут произошел странный случай. Они съели суп, рыбу, а потом были цыплята, и бой подал Китти салат из свежей зелени.

— Боже правый, вы что, хотите это есть? — вскричал Уоддингтон, увидев, что Китти накладывает себе салат.

— Да, мы его каждый вечер едим.

— Моя жена его любит, — добавил Уолтер.

Салат поднесли Уоддингтону, но тот покачал головой.

— Благодарю, я пока еще не собираюсь кончать жизнь самоубийством.

Уолтер с угрюмой улыбкой последовал примеру Китти. Уоддингтон больше ничего не сказал, сразу помрачнел и вскоре после обеда откланялся.

А они и правда ели салат каждый вечер. На третий день после их приезда повар, фаталист, как все китайцы, приготовил его, и Китти, не подумав, взяла себе порцию. Уолтер быстро подался вперед.

— Не ешь салат. Зря бой его подал.

— Почему? — спросила Китти, глядя ему прямо в лицо.

— Это вообще опасно, а сейчас это безумие. Ты убьешь себя.

— А мне казалось, что так и было задумано, — сказала Китти.

Она преспокойно стала есть. Какая-то бесшабашная удаль овладела ею. Она с насмешкой поглядела на Уолтера. Он как будто побледнел, но, когда ему подали салат, тоже не отказался. Повар, убедившись, что блюдо понравилось, стал готовить его день за днем, и день за днем, с риском для жизни, они его ели. У Китти, па-

нически боявшейся заразы, было такое чувство, словно она не только мстит Уолтеру, но и глумится над собственными страхами.

38

На следующий день Уоддингтон явился не поздно, посидел немного, а потом предложил Китти пойти погулять. Она с самого приезда не выходила за пределы участка и с радостью согласилась.

— Прогулок здесь, правда, мало, — сказал он, — но мы с вами поднимемся на вершину холма.

— Да-да, туда, где ворота. Я часто смотрю на них с веранды.

Один из боев отворил тяжелую калитку, и они вышли на пыльную улочку. Не прошли они и нескольких шагов, как Китти вцепилась Уоддингтону в рукав и вскрикнула:

— Ой, гляньте!

— В чем дело?

У стены, окружавшей участок, лежал на спине человек, ноги его были вытянуты, руки закинуты за голову, судя по спутанной шевелюре и синим лохмотьям, это был нищий-китаец.

— Лежит как мертвый, — прошептала Китти.

— Он и есть мертвый. Пошли, вы лучше не смотрите в ту сторону. Когда мы вернемся, я распоряжусь, чтобы его убрали.

Но Китти так дрожала, что не могла сдвинуться

с места.

— Я еще никогда не видела мертвеца.

— Значит, пора привыкать. В этом веселеньком местечке вы еще наглядитесь на них вволю.

Он взял ее руку и продел себе под локоть. Несколько минут они шли молча.

— Он умер от холеры?

— Скорее всего.

Они поднялись в гору к самым воротам. Ворота, покрытые замысловатой резьбой, высились над окружающей местностью как ориентир и иронический символ. Они сели у подножия одного из столбов, лицом к широкой равнине. Склон густо усеяли зеленые холмики мертвых, расположенные не рядами, а как попало, так что казалось, что под землей им неудобно и тесно. Узкая дорога вилась среди рисовых полей, исчезала вдали. Маленький мальчик проехал домой, усевшись на шее у буйвола, три крестьянина в широкополых соломенных шляпах протрусили мимо, сгибаясь под тяжестью огромных тюков. После дневной жары лицо здесь приятно ласкал ветерок, и необозримый простор вливал в измученное сердце покой и грусть. Но Китти не могла забыть про мертвого нищего.

— Как вы можете болтать, смеяться и пить

виски, когда вокруг вас все время умирают люди? — спросила она неожиданно.

Уоддингтон не ответил. Он повернулся, поглядел на нее и, положив руку ей на плечо, сказал очень серьезно:

— А знаете, здесь не место для белой женщины.

Она искоса взглянула на него из-под длинных ресниц, и на губах у нее мелькнула тень улыбки.

— Я бы сказала, что в таких условиях место жены — рядом с мужем.

— Когда я получил телеграмму, что Фейн едет с женой, я удивился. А потом подумал, что вы, может быть, работали медицинской сестрой и это для вас обычное дело. Я ожидал, что вы окажетесь одной из тех мегер, что тиранят вас, стоит только угодить в больницу. Я просто глазам не поверил, когда вошел в ваш дом и вижу — вы там сидите и отдыхаете, такая хрупкая, бледная, усталая.

— Вряд ли я могла выглядеть здоровой и бодрой после девяти дней в дороге.

— У вас и сейчас вид хрупкий, бледный, усталый и, уж не посетуйте на меня, бесконечно несчастный.

Китти вспыхнула, но заставила себя рассмеяться.

— Мне очень жаль, что выражение моего лица вам не нравится. А вид у меня может быть несчастный только потому, что мне с двенадцати лет внушали, что у меня слишком длинный нос. Но лелеять тайное горе — это очень выигрышная поза, вы представить себе не можете, сколько очаровательных молодых людей пытались меня утешить.

Ярко-голубые глаза Уоддингтона были обращены на нее, и она поняла, что он не поверил ни единому ее слову. Ну и пусть, лишь бы делал вид, что верит.

— Я знал, что вы замужем еще не так давно, и решил, что вы с мужем безумно влюблены друг в друга. Что он звал вас с собой — в это я не мог поверить, но, может быть, вы сами наотрез отказались отпустить его без себя.

— Это очень правдоподобная версия, — уронила она.

— Да, но неправильная.

Она ждала продолжения, опасаясь того, что еще он может сказать — в его прозорливости она уже убедилась, знала, что высказывать свои мнения он не стесняется, — но сильно было и желание, чтобы он говорил о ней.

— Я не допускаю и мысли, что вы любите мужа.

По-моему, он вам антипатичен. Очень возможно, что вы его ненавидите. В чем я уверен, так это что вы его боитесь.

Она отвернулась. Не собирается она показать Уоддингтону, что его слова могут больно задеть ее.

— Сдается мне, что мой муж вам не очень нравится, — съязвила она.

— Я его уважаю. Он умен и с характером, а это, поверьте, весьма необычное сочетание. Чем он здесь занят, вы, вероятно, не знаете, ведь он, как я подозреваю, не склонен посвящать вас в свои дела. Если возможно, чтобы один человек положил конец этой злосчастной эпидемии, он это сделает. Он лечит больных, наводит в городе чистоту, пытается обеззараживать питьевую воду. По двадцать раз в день рискует жизнью. Полковника Ю он так прибрал к рукам, что тот предоставил ему солдат в полное распоряжение. Он даже городского голову взбодрил, и старик пытается кое-что предпринимать. А монахини в нем души не чают, для них он герой.

— А для вас нет?

— Строго говоря, ведь это не его работа. Он бактериолог. Никто не заставлял его сюда ехать. И не кажется мне, что им движет сострадание

ко всем этим умирающим китайцам. Уотсон был не такой. Тот любил людей. Хоть он и был миссионером, для него и христиане, и буддисты, и конфуцианцы были просто люди. Ваш муж не потому здесь находится, что его беспокоит, как это сто тысяч китайцев умрут от холеры, и не потому, что хотел послужить науке. Почему он здесь?

— Вы его спросите.

— Мне интересно видеть вас вместе. Иногда я гадаю, как вы ведете себя наедине. При мне вы играете комедию, и очень плохо играете, черт подери. Если это лучшее, на что вы способны, ни вам, ни ему и тридцати шиллингов в неделю не положат в гастрольной поездке.

— Не пойму, о чем вы, — улыбнулась Китти, хотя уже знала, что ее показная фривольность его не обманывает.

— Вы красивая женщина. Странно, что муж никогда на вас не смотрит. Когда он к вам обращается, у него и голос становится чужой.

— Вы думаете, он меня не любит? — спросила она тихо и хрипло, вдруг отбросив легкомысленный тон.

— Не знаю. То ли вы ему так противны, что он не может к вам подойти без содрогания, то ли он сохнет от любви, которую по каким-то причи-

нам считает нужным скрывать. Я уж спрашивал себя, не в порядке ли самоубийства вы оба сюда приехали.

Китти еще во время эпизода с салатом заметила, как удивился Уоддингтон и как испытующе потом оглядел их.

— По-моему, вы придаете слишком большое значение нескольким листикам латука, — пошутила она и тут же встала. — Пошли домой? Вы наверняка соскучились по стаканчику виски с содовой.

— Вы-то, во всяком случае, не героиня. Вы напуганы до смерти. Вы уверены, что не хотите отсюда уехать?

— А вам какое дело?

— Я бы вам помог.

— Неужели выражение тайного горя, написанное на моем лице, и вас покорило? Взгляните на мой профиль, нос-то длинноват.

Он задумчиво поглядел на нее, и в его ярких глазах светилась лукавая насмешка, но рядом с ней, как тень, как отражение дерева в реке, у которой оно растет, была удивительная доброта. У Китти даже слезы на глаза навернулись.

— Вы не можете уехать?

— Не могу.

Они прошли под раскрашенными воротами и спустились с холма. Подходя к дому, опять увидели труп нищего. Уоддингтон взял ее под руку, но она высвободилась. Остановилась.

— Ужасно, правда?

— Что именно? Смерть?

— Да, все остальное кажется таким мелким, пошлым. Он и на человека не похож. Смотришь на него, и не верится, что когда-то был живой. А ведь еще не так давно он мальчонкой носился по холмам, запуская змея.

Она едва удержалась, чтобы не разрыдаться.

39

Несколько дней спустя Уоддингтон, сидя у Китти и потягивая из большого стакана виски с содовой, завел речь о монастыре.

— Тамошняя аббатиса — весьма примечательная женщина, — сказал он. — Сестры мне рассказывали, что она принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции, но к какому — не говорят. Она, видите ли, не хочет, чтобы это стало известно.

— Что же вы ее не спросите, если это вас интересует? — улыбнулась Китти.

— Знали бы вы ее, вы бы поняли, что ей просто невозможно задавать нескромные вопросы.

— Уж наверно, она примечательная, если даже вас держит в страхе Божием.

— У меня к вам от нее поручение. Она просила вам передать, что хотя вы, вполне возможно, и не отважитесь сунуться в самый очаг эпидемии, но, если вы не против, ей доставило бы большое удовольствие показать вам монастырь.

— Очень любезно с ее стороны. Я и понятия не имела, что она знает о моем существовании.

— Я говорил ей о вас. Я туда заглядываю раза

два в неделю узнать, не требуется ли моя помощь. Ну и муж ваш, вероятно, рассказывал им о вас. Вы должны быть готовы к тому, что они вами безмерно восхищаются.

— Вы католик?

Его лукавые глазки блеснули, забавная рожица сморщилась от смеха.

— Ну что вы ухмыляетесь?

— «Из Назарета может ли быть что доброе?»[45] Нет, я не католик. Я причисляю себя к англиканской церкви. Это, пожалуй, самая безобидная формула, когда хочешь сказать, что, в сущности, ни во что не веруешь. Десять лет назад, когда аббатиса сюда приехала, она привезла с собой семерых монахинь, сейчас из них осталось в живых только три. Понимаете, Мэй-дань-фу даже в лучшие времена не курорт. Они живут в самом центре города, в самом бедном квартале, тяжело работают и никогда не отдыхают.

— Значит, их теперь только три, не считая аббатисы?

— О нет, кое-кто прибавился. Сейчас их там шесть. Одна умерла от холеры в самом начале эпидемии, тогда на ее место приехали из Кантона

---

[45] Примечания: 45
Евангелие от Иоанна, 1:46.

еще две.

Китти поежилась.

— Вам холодно?

— Нет, просто кто-то прошел по моей могиле.

— Когда они уезжают из Франции, то уезжают навсегда. Это протестантские миссионеры время от времени на год отбывают в отпуск. Я всегда думаю, что это и есть самое трудное. Мы, англичане, не так крепко привязаны к земле, мы в любом уголке земного шара чувствуем себя как дома, а французов связывают с родиной прямо-таки физические узы. Вдали от родины они не могут жить полной жизнью. Это, мне кажется, самая серьезная из жертв, на которые идут эти женщины. Будь я католиком, это, наверно, казалось бы мне в порядке вещей.

Китти бросила на него критический взгляд. Волнение, с каким он говорил, было ей не совсем понятно: может быть, это поза, а может, виной выпитое виски?

Он тут же разгадал ее мысль и улыбнулся.

— Побывайте там, убедитесь сами. Это не так рискованно, как есть сырые помидоры.

— Раз вы не боитесь, мне тоже нечего бояться.

— Я думаю, вам будет интересно. Увидите кусочек Франции.

40

Через реку они переправились в сампане. На пристани Китти ждал паланкин, в котором ее и внесли в гору, к «водяным» воротам. Через эти ворота кули ходили к реке за водой, и теперь они сновали вверх и вниз с огромными ведрами на коромыслах, расплескивая воду на дорогу, мокрую, как после сильного дождя. Носильщики паланкина резкими криками сгоняли их на обочины.

— В городе вся жизнь приостановилась, — сказал Уоддингтон, шагая рядом с паланкином. — В обычное время тут не протолкаться, столько кули бегают с грузами к реке и обратно.

Улица, в которую они вступили, была узкая, кривая, и Китти сразу перестала соображать, в какую сторону она ведет. Многие лавки стояли закрытые. По пути от парохода она привыкла к неряшливому виду китайских улиц, но здесь за много недель скопились целые горы отбросов и мусора, и пахло так невыносимо, что она зажала нос платком. Проезжая через китайские города, она стеснялась любопытства зевак, теперь же заметила, что ее удостаивают только равнодуш-

ными взглядами. Редкие прохожие спешили по своим делам, глядя прямо перед собой, запуганные, апатичные. Временами из какого-нибудь дома доносились удары гонга и пронзительные жалобы каких-то неведомых музыкальных инструментов. За этими закрытыми дверями лежал покойник.

— Приехали, — сказал наконец Уоддингтон.

Паланкин опустили перед узкой, осененной крестом дверью в длинной белой стене, и Китти сошла на землю. Уоддингтон позвонил.

— Только не ждите ничего грандиозного. Бедность у них тут вопиющая.

Дверь отворила молоденькая китаянка и, выслушав Уоддингтона, провела их в небольшую комнату, выходившую в коридор. В комнате стоял длинный стол под клетчатой клеенкой, а по стенам жесткие стулья. В одном конце возвышалась гипсовая статуя Богородицы. Через минуту вошла монахиня, толстушка с простецким лицом, румяными щечками и веселыми глазами. Уоддингтон, знакомя с ней Китти, назвал ее сестра Сен-Жозеф.

— C'est la dame du docteur?[46] — спросила она,

---

[46] Примечания: 46
Это жена нашего доктора? (*фр.*)

широко улыбаясь, и добавила, что настоятельница сейчас к ним выйдет.

Сестра Сен-Жозеф не говорила по-английски, а Китти лишь кое-как изъяснялась по-французски; зато Уоддингтон бегло, хоть и с ошибками, болтал и шутил без умолку, и добродушная монахиня так и заходилась от смеха. Эта смешливость удивила Китти: ей представлялось, что монахини неизменно торжественны и серьезны, и детская веселость сестры Сен-Жозеф растрогала ее.

41

Дверь отворилась — Китти почудилось, что произошло это само собой, без постороннего вмешательства, — и вошла настоятельница. Секунду она стояла на пороге, и снисходительная улыбка тронула ее губы, когда она взглянула на смеющуюся монахиню и сморщенную плутоватую физиономию Уоддингтона. Потом она с протянутой рукой подошла к Китти.

— Миссис Фейн? — Она чуть заметно поклонилась. По-английски она говорила правильно, но с сильным акцентом. — Это для меня большое удовольствие — познакомиться с женой нашего доброго, храброго доктора.

Китти чувствовала на себе ее оценивающий взгляд, долгий и откровенный, до того откровенный, что не казался невежливым. Словно эта женщина считала своим долгом о каждом составить себе собственное мнение и у нее даже мысли не возникало о необходимости притворяться. Степенно и учтиво она предложила гостям садиться и села сама. Сестра Сен-Жозеф, все еще улыбающаяся, но присмиревшая, осталась стоять чуть позади настоятельницы.

— Я знаю, вы, англичане, любите чай, сейчас его подадут. Но должна извиниться, это будет чай по-китайски. Мистер Уоддингтон, я знаю, предпочел бы виски, но этим я, к сожалению, не могу его угостить.

— Полноте, ma mère, вы говорите так, как будто я завзятый алкоголик.

— Хорошо бы вы могли сказать, что вы вообще не пьете, мистер Уоддингтон.

— Во всяком случае, я не могу сказать, что пью умеренно.

Она засмеялась и перевела его непочтительное замечание на французский для сестры Сен-Жозеф, а на него поглядела с нескрываемой лаской.

— К мистеру Уоддингтону мы не должны быть слишком строги. Он столько раз выручал нас, когда мы оказывались совсем без денег и не знали, как накормить наших сирот.

Молоденькая китаянка, та, что открыла им дверь, вошла с подносом, на котором стояли китайские чашки, чайник и тарелка с бисквитным печеньем под названием «мадлен».

— Попробуйте «мадлен», — сказала настоятельница, — сестра Сен-Жозеф испекла их сегодня специально для вас.

Они заговорили о всякой всячине. Настоятель-

ница спросила у Китти, давно ли она в Китае, очень ли утомила ее дорога из Гонконга. Спросила, бывала ли она во Франции и как переносит гонконгский климат. Разговор шел дружеский, но самый обыденный, однако окружающая обстановка придавала ему особенную остроту. В комнате было тихо, не верилось, что находишься в гуще большого города. Здесь царил покой. А за стенами свирепствовала эпидемия, и горожан, со страху потерявших голову, удерживала от эксцессов только сильная воля человека, который и сам был наполовину бандит. Лазарет в монастырской ограде был полон больных и умирающих солдат, в сиротском приюте, которым ведали монахини, четвертая часть детей погибла.

Китти, как-то невольно притихнув, поглядывала на знатную даму, что так любезно занимала ее разговором. Она была в белом, белизну ее одеяния нарушал только красный крест на груди. Среднего возраста, лет сорок — пятьдесят, точнее сказать трудно, бледное лицо почти без морщин, а впечатление, что она уже не молода, создавала главным образом ее величавая осанка, уверенная манера и худоба ее сильных красивых рук. Лицо удлиненное, с большим ртом и крупными ровными зубами, нос изящный, хотя

и не маленький; но напряженное, трагическое выражение придавали всему лицу глаза под тонкими черными бровями. Глаза очень большие, черные, не то чтобы холодные — спокойно-внимательные, гипнотизирующие. При виде ее сразу думалось, как хороша она, должно быть, была в молодости, но потом становилось ясно, что она из тех женщин, чья красота с годами проступает все явственнее. Голос у нее был низкий, звучный, хорошо поставленный, и говорила она медленно как по-английски, так и по-французски. Но самым поразительным в ней была властность, смягченная милосердием; чувствовалось, что она привыкла повелевать и послушание принимает как должное, но со смирением. Она как бы сознательно опиралась на авторитет церкви. И все же Китти догадывалась, что к человеческим слабостям она может отнестись по-человечески терпимо, а стоило увидеть улыбку, с какой она слушала неуемную болтовню Уоддингтона, чтобы с уверенностью сказать, что она не лишена живого чувства юмора.

Однако было еще в ней и нечто такое, что Китти чувствовала, но не могла назвать. Нечто такое, что, несмотря на ее сердечный тон, держало собеседника на расстоянии.

42

— Monsieur ne mange rien[47], — сказала сестра Сен-Жозеф.

— У мосье вкус испорчен маньчжурской кухней, — отозвалась настоятельница.

Сестра Сен-Жозеф перестала улыбаться и чопорно поджала губы. Уоддингтон озорно блеснул глазами и потянулся за печеньем. Китти не поняла этого обмена репликами.

— Чтобы доказать, как вы несправедливы, ma mère, я авансом загублю превосходный обед, который меня ожидает.

— Если миссис Фейн хочет осмотреть монастырь, я буду рада все ей показать. — Настоятельница обратилась к Китти с виноватой улыбкой: — Жаль, что вы увидите его сейчас, когда у нас такой беспорядок. Работы так много, а сестер не хватает. Полковник Ю пожелал, чтобы наш лазарет мы предоставили больным солдатам, так что лазарет для наших сирот пришлось перевести в трапезную.

В дверях она пропустила Китти вперед, и они,

---

[47] Примечания: 47
Мосье ничего не ест (*фр.*).

в сопровождении сестры Сен-Жозеф и Уоддингтона, пустились в путь по прохладным белым коридорам. Сначала они зашли в большую голую комнату, где группа девочек-китаянок прилежно занималась вышиванием. При виде гостей девочки встали, и настоятельница показала Китти образцы их рукоделия.

— Мы продолжаем эти занятия, несмотря на эпидемию, так у них остается меньше времени думать об опасности.

В другой комнате девочки помоложе учились простому шитью — подрубали, сметывали; в третьей помещались самые младшие: малыши от двух до четырех лет. Они шумно возились на полу, а завидев настоятельницу, сбежались к ней, черноглазые, черноволосые, хватали ее за руки, зарывались лицом в ее широкие юбки. Чудесная улыбка озарила ее лицо, она гладила их по голове, произносила какие-то слова, в которых Китти, и не зная китайского, уловила нежную ласку. Китти брезгливо передернулась — в этих детишках, одинаково одетых, желтокожих, чахлых, с приплюснутыми носами, не было ничего человеческого. Они вызывали отвращение. А настоятельница стояла среди них как воплощенное Милосердие. Заметив, что она собралась уходить,

они вцепились в нее и не отпускали, так что ей пришлось, все так же улыбаясь и приговаривая, высвободиться силой. Эти-то крохи, во всяком случае, не видели в знатной даме ничего устрашающего.

— Вам, вероятно, известно, — сказала она, когда они опять очутились в коридоре, — что сироты они только в том смысле, что родители от них отказались. Мы даем им несколько медяков за каждого ребенка, которого они сюда приводят, иначе они бы и трудиться не стали, а просто приканчивали бы их. — Она обратилась к сестре: — Сегодня новенькие есть?

— Четверо.

— Сейчас, с этой холерой, они больше, чем когда-либо, озабочены тем, чтобы не обременять себя лишними девочками.

Она показала Китти спальни, потом они оказались перед дверью с надписью «Лазарет». Китти услышала стоны, громкие крики, словно жалобы бессловесных тварей.

— Лазарет я вам не покажу, — сказала настоятельница невозмутимо. — Это зрелище не из приятных. — Она вдруг словно что-то вспомнила. — Доктор Фейн сейчас здесь?

В ответ на ее вопросительный взгляд монахиня,

весело улыбаясь, отворила дверь и проскользнула в лазарет. Китти отшатнулась — при открытой двери несусветный шум зазвучал еще громче. Сестра Сен-Жозеф вернулась к ним.

— Нет, он был раньше и обещал еще заглянуть.

— А как номер шесть?

— Умер, pauvre garçon[48].

Настоятельница перекрестилась, и губы ее зашевелились в безмолвной молитве.

Они пересекли внутренний дворик, там Китти увидела два длинных предмета, лежащие на земле и прикрытые синим полотнищем. Настоятельница обратилась к Уоддингтону:

— У нас такая нехватка кроватей, что приходится класть их по двое на одну. А как только кто-нибудь умирает, его выносят из помещения, чтобы освободить место для следующего. — Потом улыбнулась гостье. — Теперь мы вам покажем капеллу. Это наша гордость. Один из наших друзей во Франции недавно прислал нам статую Пресвятой Девы в натуральную величину.

---

[48] Примечания: 48
Бедняжка (*фр.*).

43

Капеллой звалась попросту длинная низкая комната с выбеленными стенами и рядами деревянных скамей; в глубине был алтарь, и там стояла статуя, гипсовая, грубо раскрашенная, очень яркая, новая, кричащая. Позади нее картина маслом — распятие и обе Марии у подножия креста, в позах непомерной скорби. Рисунок беспомощный, темные краски выбраны живописцем, слепым к красоте цвета. По стенам шли изображения крестного пути, размалеванные той же незадачливой рукой. Капелла была некрасивая, вульгарная.

Войдя, монахини преклонили колени и сотворили молитву, а поднявшись, настоятельница опять заговорила с Китти:

— Когда сюда что-нибудь везут, все, что может разбиться, разбивается, а статуя, которую подарил нам наш благодетель, доехала из Парижа целехонькая. Это, безусловно, было чудо.

У Уоддингтона лукаво блеснули глаза, но он придержал язык.

— Запрестольный образ и путь на Голгофу написала одна из наших сестер, сестра Сент-Ан-

сельм. — Настоятельница перекрестилась. — Она была подлинная художница. К несчастью, ее унесла эпидемия. Очень красиво это выполнено, правда?

Китти пробормотала что-то в знак согласия. На алтаре лежали букеты бумажных цветов, подсвечники были до ужаса вычурны.

— Нам разрешено хранить здесь святые дары.

— Да что вы! — сказала Китти, ничего не поняв.

— В такое трудное время это для нас большое подспорье.

Они вышли из капеллы и повернули обратно, к той приемной, где сидели вначале.

— Хотите перед уходом посмотреть на тех крошек, которых нам принесли сегодня?

— Очень хочу, — сказала Китти.

Настоятельница отворила дверь в маленькую комнату через коридор. На столе под покрывалом шло какое-то шевеление. Сестра Сен-Жозеф откинула покрывало, и взору их предстали четыре крошечных голых младенца. Они были очень красные и делали беспомощные движения ручками и ножками, на их китайских мордашках застыли смешные гримаски. В них было мало человеческого — какие-то зверюшки неизвест-

ной породы, — но было и что-то трогательное. Настоятельница смотрела на них и улыбалась.

— Эти как будто здоровенькие. Иногда их приносят сюда только умирать. Мы, конечно, первым делом совершаем над ними обряд крещения.

— Наш доктор будет ими доволен, — сказала сестра Сен-Жозеф. — Он, кажется, может часами играть с этими крошками. Чуть заплачут, берет их на руки, да так ловко, удобно держит, что они смеются от радости.

И вот Китти и Уоддингтон очутились у входной двери, Китти от души попросила у настоятельницы прощения, что доставила ей столько хлопот. Та поклонилась любезно, но с большим достоинством.

— Я была очень рада. Вы не представляете себе, как много мы обязаны вашему мужу. Нам его Бог послал. Так хорошо, что вы с ним приехали. Какое это для него утешение, когда он вечером приходит домой, а там его ждет ваша любовь и ваше… ваше милое лицо. Вы заботьтесь о нем получше, не давайте переутомляться. Берегите его ради всех нас.

Китти покраснела и не нашлась что ответить. Настоятельница пожала ей руку, и она опять почувствовала на себе спокойный, задумчивый

взгляд, отрешенный и все же исполненный глубокого понимания.

Сестра Сен-Жозеф затворила за ними дверь, и Китти села в паланкин. Они пустились в обратный путь по узким извилистым улицам. Уоддингтон что-то сказал, Китти не ответила. Он оглянулся, но шторки у паланкина были задернуты, и он ее не увидел. Дальше он шел молча. Но когда они спустились к реке и Китти вышла, он с удивлением увидел, что глаза ее полны слез.

— Что случилось? — спросил он, и лицо его озабоченно сморщилось.

Китти попыталась улыбнуться.

— Так, ничего. Глупости.

44

Снова оставшись одна в неуютной гостиной умершего миссионера, лежа в шезлонге у окна и устремив взгляд на храм за рекой (сейчас, в наступающих сумерках, он опять казался сказочным и прекрасным), Китти пыталась разобраться в своих впечатлениях. Никогда бы она не подумала, что посещение монастыря так ее взволнует. Привело ее туда любопытство. Делать ей было нечего, и, насмотревшись на обнесенный стеною город на том берегу, она была не прочь хоть одним глазком взглянуть на его таинственные улицы.

Но стоило ей переступить порог монастыря, как она словно перенеслась в другой мир, существующий вне времени и пространства. В этих аскетически строгих голых комнатах и белых коридорах словно веяло чем-то далеким, мистическим. Маленькая капелла, некрасивая и вульгарная, умиляла самой своей безвкусицей; там было что-то, чего не хватает пышным соборам с их витражами и картинами великих мастеров: она была очень смиренна, и вера, украсившая ее, любовь, которая ее лелеяла, наделили ее неуловимой красотой души. Методичность,

с какой монахини продолжали свою работу вопреки эпидемии, доказывала их хладнокровие перед лицом опасности и здравую деловитость, почти парадоксальную, но вызывающую глубокое уважение. Мысленно Китти все еще слышала жуткие звуки, донесшиеся до нее, когда сестра Сен-Жозеф на минуту открыла дверь в лазарет.

Поразило ее и то, как они говорили про Уолтера — сначала монахиня, а потом и сама настоятельница, как тепло звучал ее голос, когда она его хвалила. Странно, Китти даже ощутила прилив гордости, узнав, как высоко они его ценят. Уоддингтон тоже говорил ей, что Уолтер творит чудеса; но монашенки превозносили не только его деловые способности (что он хороший работник, она знала еще в Гонконге), они называли его заботливым, нежным. Да, он может быть очень нежен, думала она. Лучше всего проявляет себя, когда заболеешь. Он не раздражает разговорами, касается тебя удивительно бережно, успокаивающе. От одного его присутствия становится легче. Она знала, что никогда уже ей не прочесть в его глазах той нежности, что в прошлом была привычной и только злила. Она знала, каким огромным запасом любви он наделен; теперь он, видно, изливает эту любовь на несчастных,

которым больше не от кого ждать помощи. Она не ощущала ревности, только пустоту — словно у нее внезапно отняли опору, к которой она так привыкла, что перестала ее замечать, и вот теперь шатается из стороны в сторону, как будто потеряла центр тяжести.

К себе она чувствовала только презрение за то, что когда-то презирала Уолтера. Он не мог не знать, как она к нему относилась, и принял ее оценку, не озлобившись. Она была дурой, и он это знал, и, пока он любил ее, это его не смущало. Теперь у нее нет к нему ненависти и нет обиды, а скорее растерянность и страх. Нельзя не признать за ним замечательных достоинств, иногда она даже видела в нем какое-то странное, непривлекательное величие духа. Почему же тогда она не могла его полюбить, а продолжает любить человека, чье ничтожество теперь для нее несомненно? Она столько передумала за эти долгие дни, что наконец поняла, что такое Чарлз Таунсенд. Пошляк, посредственность. Если б только вырвать из сердца любовь, которая все еще там гнездится! Если б забыть о нем!

Уоддингтон тоже высокого мнения об Уолтере. Только она, Китти, не разглядела его достоинств. Почему? Потому что он любил ее, а она его не

любила. Что это за выверт человеческого сердца — презирать человека за то, что он тебя любит. А вот Уоддингтон признался, что недолюбливает Уолтера. Как и другие мужчины. Эти две монашенки чуть не влюблены в него, сразу видно. С женщинами он и держится иначе; несмотря на его застенчивость, в нем угадывается чудесная доброта.

45

Но самое сильное впечатление произвели на нее именно монахини. Сестра Сен-Жозеф, ее веселые глаза и щечки-яблочки… она была одной из тех немногих, что приехали в Китай вместе с настоятельницей десять лет назад; на ее глазах ее товарки одна за другой умирали от болезней, лишений и тоски по родине, а она не поддалась ни унынию, ни страху. Откуда в ней эта прелестная простодушная веселость? А настоятельница… Китти вспомнила, как стояла с ней рядом, и опять ощутила смиренную робость и стыд. Держится так просто, естественно, но ее врожденный аристократизм внушает благоговение, невозможно даже вообразить, что кто-нибудь может обойтись с ней непочтительно. Для сестры Сен-Жозеф ее власть непререкаема, это сказывается и в ее позе и жестах, и в том, как она отвечает на вопросы; и Уоддингтон, нахал и насмешник, явно перед нею робеет. Китти подумалось, что ей могли и не говорить, что настоятельница принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции: вся ее повадка свидетельствует о родовитости, ее властность — черта женщины, даже не допускающей

мысли, что ее могут ослушаться. В ней сочетается милостивая снисходительность владетельницы замка и смирение святой. В ее сильном, красивом, исхудалом лице строгость мученицы, и в то же время от нее исходит ласковая заботливость, и маленькие дети льнут к ней без стеснения и страха, уверенные, что она их не обидит. Когда она смотрела на четверых новорожденных, улыбка ее была печальна, но прелестна — как луч солнца на дикой, безлюдной пустоши. Слова, которые сестра Сен-Жозеф мимоходом сказала про Уолтера, тоже взволновали Китти; она знала, что он страстно желал иметь от нее ребенка, но никак не ожидала, что он, такой сдержанный, способен без всякого смущения, весело и ласково возиться с маленькими детьми. Ведь обычно мужчины ведут себя с детьми беспомощно и глупо. Странный он человек!

Но на этом волнующем переживании лежала какая-то непонятная тень (нет, видно, добра без худа!). В спокойной веселости сестры Сен-Жозеф, а тем более в безупречной учтивости настоятельницы она чувствовала гнетущую отчужденность. Они были приветливы, даже сердечны, но что-то держали про себя, тем давая ей почувствовать, что она для них — посторонний человек, всего

лишь случайная знакомая. Между ними и ею стояла преграда. Они говорили на другом языке, не только вслух, но и в мыслях. И она догадывалась, что, как только за нею закрылась дверь, они поспешили вернуться к прерванной работе и начисто забыли о ней, словно ее и на свете не было. Она чувствовала, что ей заказан вход не только в этот нищий монастырь, но и в некий таинственный сад, о котором тоскует ее душа. Она вдруг ощутила такое одиночество, какого не знала доселе. Потому она тогда и заплакала.

И теперь, устало откинувшись в кресле, она вздыхала:

— Какое же я ничтожество!

46

В тот вечер Уолтер вернулся домой пораньше обычного. Китти лежала в шезлонге у окна. В комнате уже почти стемнело.

— Тебе не нужна лампа? — спросил он.

— Принесут, когда обед поспеет.

Говорил он с ней, как всегда, о пустяках, как с хорошей знакомой, ничто в его манере не позволяло заподозрить, что он таит в душе злобу. Он никогда не смотрел ей в глаза и никогда не улыбался. Но был неукоснительно вежлив.

— Уолтер, — спросила она, — что ты намерен делать, если мы не умрем от холеры?

Он ответил не сразу, лицо его было в тени.

— Я об этом не думал.

В прежние времена она говорила все, что придет в голову, не обдумывала вперед, что скажет; теперь она его боялась. Губы у нее дрожали, сердце билось.

— Я сегодня была в монастыре.

— Слышал.

Она заставила себя продолжать:

— Ты, когда увез меня сюда, правда хотел, чтобы я умерла?

— Стоит ли ворошить прошлое, Китти. Бессмысленно, мне кажется, говорить о том, о чем лучше забыть.

— Но ты не забыл, и я тоже. Я очень много думаю с тех пор, как приехала сюда. Ты не хочешь меня выслушать?

— Нет, отчего же.

— Я очень плохо с тобой поступила. Я тебе изменяла.

Он весь застыл. Его неподвижность пугала.

— Не знаю, поймешь ли ты меня. Для женщины, когда такое кончается, оно уже не имеет большого значения. Мне кажется, женщина даже не может понять позицию, которую занимают мужчины. — Она говорила отрывисто, не узнавая собственного голоса. — Ты знал, что представляет собой Чарли, и знал, как он поступит. Что ж, ты оказался совершенно прав. Он ничтожество. Наверно, я бы им не увлеклась, если бы сама не была таким же ничтожеством. Я не прошу у тебя прощения. Не прошу полюбить, как любил когда-то. Но неужели мы не можем быть друзьями? Когда вокруг нас люди умирают тысячами, и эти монахини…

— А они тут при чем? — перебил он.

— Я не могу объяснить. Когда я там сегодня

была, у меня появилось такое странное чувство. Все это полно значения. Кругом столько ужасов, их самопожертвование просто поразительно. Пойми меня правильно, мне кажется, что нелепо, несообразно терзаться оттого, что какая-то глупая женщина тебе изменила. Стоит ли вообще думать о такой пустышке.

Он не ответил, но и не отодвинулся от нее; он словно ждал, что еще она скажет.

— Мистер Уоддингтон и монашенки мне много чего рассказали про тебя. Я горжусь тобой, Уолтер.

— Раньше-то не гордилась, раньше ты меня презирала. Это что же, прошло?

— Разве ты не чувствуешь, что я тебя боюсь?

Он опять помолчал, прежде чем ответить.

— Не понимаю я тебя. Чего тебе, собственно, нужно?

— Для себя — ничего. Я только хочу, чтобы тебе стало полегче.

Он опять застыл, и голос его прозвучал очень холодно.

— Напрасно ты думаешь, что мне тяжело. Я так занят, что мне некогда особенно о тебе беспокоиться.

— Я тут думала, может быть, монахини разре-

шат мне поработать у них. Они с ног сбиваются, я была бы рада принести хоть какую-нибудь пользу.

— Работа там нелегкая и не из приятных. Сомневаюсь, чтобы этого развлечения тебе хватило надолго.

— Ты до такой степени меня презираешь, Уолтер?

— Нет. — Он запнулся, голос его прозвучал странно. — Я презираю себя.

47

Они отобедали. Уолтер, как обычно, сидел у лампы и читал. Он читал каждый вечер, пока Китти не уходила спать, а потом шел в лабораторию, под которую приспособил одну из пустующих комнат, и работал там до поздней ночи. Спал он очень мало. Был занят какими-то экспериментами. Ей он ничего об этом не рассказывал — он и в прежние дни не посвящал ее в свою работу, по натуре был необщителен. Сейчас она обдумывала его слова. Их разговор кончился ничем. Она так плохо его знала, что даже не могла решить, правду он говорил или нет. Неужели сейчас, когда его существование для нее так бесспорно и страшно, она вообще перестала для него существовать? Когда-то он с удовольствием слушал ее болтовню, потому что любил ее; что, если теперь, когда он ее разлюбил, слушать ее ему просто скучно? Обидно это до слез.

Она посмотрела на него. В свете лампы его профиль был обрисован четко, как камея. Черты правильные, красивые, но все лицо — мало что строгое, почти злое. До ужаса неподвижное, только глаза передвигаются вниз по странице… Кто

бы поверил, что это каменное лицо так преображается в минуты страсти? Она-то знала, каким нежным оно может быть, и это ей претило. Поразительно, что она так и не смогла его полюбить, притом что он не только красив, но честен, надежен, талантлив. Хорошо хоть, что ей больше никогда не придется терпеть его ласки.

Он не пожелал ответить, когда она спросила, действительно ли он вынудил ее сюда приехать, чтобы убить ее. Ведь он очень добрый, как мог у него зародиться такой дьявольский умысел? Скорее всего он только хотел ее припугнуть и расквитаться с Чарли (в это можно поверить, зная его саркастический склад ума), а потом из упрямства или из боязни показаться смешным решил довести свою затею до конца.

Да, он сказал, что презирает себя. Как это понять? Китти снова бросила взгляд на его спокойное, сосредоточенное лицо. О ней он забыл, точно ее здесь и нет.

— За что ты себя презираешь? — спросила она, не сознавая, что говорит вслух, как бы продолжая только что прерванный разговор.

Он отложил книгу и задумчиво посмотрел на нее. Казалось, он возвращается мыслями откуда-то очень издалека.

— За то, что любил тебя.

Она вспыхнула и отвернулась, не в силах вынести его холодный, оценивающий взгляд. Теперь она его поняла. И заговорила не сразу.

— Мне кажется, ты ко мне несправедлив, — сказала она. — Нельзя осуждать меня за то, что я была глупенькая, легкомысленная, пустая. Такой меня воспитали. Все мои подруги были такие… Это все равно что упрекать человека, лишенного слуха, в том, что он скучает на симфоническом концерте. Разве справедливо осуждать меня за то, что ты приписывал мне достоинства, которых у меня не было? Я не пыталась ввести тебя в заблуждение, притвориться не тем, что есть. Просто была хорошенькая и веселая. На ярмарке человек не пытается купить жемчуг и соболье манто, а покупает жестяную дудку и воздушные шарики.

— Я тебя не осуждаю.

Голос был усталый. В ней закипала досада. Как он не может понять то, что для нее стало так ясно, понять, до чего мелки их личные дела по сравнению со смертельной опасностью, которая над ними нависла, и с той высокой красотой, которая ей приоткрылась сегодня? Что с того, если какая-то дурочка изменила мужу, и стоит ли мужу обращать на это внимание? Странно, что у Уолте-

ра при его уме нет чувства соразмерности. Оттого, что он нарядил куклу в роскошный костюм и поклонялся ей как богине, а потом убедился, что кукла-то набита опилками, он теперь не может простить ни ее, ни себя. Душа у него изранена. Он долго жил сказкой, которую сам выдумал, а когда жизнь разрушила сказку, решил, что рухнула жизнь. Вот уж правда: он потому ее не прощает, что не может простить себя.

Ей показалось, что он тихо вздохнул, и она вскинула на него глаза. Странная мысль пришла ей в голову, так неожиданно, что она чуть не вскрикнула.

Может быть, у него… как это говорится… разбито сердце?

48

Весь следующий день Китти думала о монастыре, а еще через день рано утром, вскоре после ухода Уолтера, взяв с собой служанку, чтобы послать за паланкинами, переправилась через реку. Солнце только что взошло, и китайцы, заполнившие паром, — крестьяне в синих ситцевых рубахах и почтенные горожане в черном — наводили на мысль о душах умерших, которых перевозят через реку в царство теней. А ступив на берег, они еще постояли на пристани, словно не зная, куда двинуться, и лишь потом по двое, по трое стали медленно подниматься в гору.

Улицы в этот час были безлюдны, так что город более чем когда-либо казался городом мертвых. Редкие прохожие выступали из утренней дымки неясно, как призраки. Небо было безоблачное; первые лучи солнца лили на землю ласковый свет; в это прохладное, погожее, радостное утро трудно было вообразить, что город задыхается в безжалостных когтях болезни, как человек, которого душит маньяк-убийца. Не верилось, что природа (эта небесная лазурь, ясная, как сердце ребенка) так равнодушно взирает на то, что люди

корчатся в муках и умирают во власти страха. Когда паланкин опустили у дверей монастыря, нищий, лежавший на земле, поднялся и протянул руку за подаянием. На нем были выцветшие бесформенные лохмотья, словно подобранные на свалке, в прорехах проглядывала кожа, жесткая, шершавая, выдубленная, как козлиная шкура; босые ноги поражали худобой, голова с шапкой грязно-серых волос (запавшие глаза, блуждающий взгляд) была головой юродивого. Китти в испуге отшатнулась, носильщики стали грубо его отгонять, и, чтобы отделаться от него, Китти пришлось дать ему пару медяков.

Дверь отворилась, служанка объяснила, что Китти хотелось бы видеть настоятельницу. Ее провели в уже знакомую душную приемную, где, казалось, никогда не открывали окна, и там она просидела так долго, что уже думала, о ней забыли доложить. Наконец настоятельница появилась.

— Простите, что заставила вас ждать, — сказала она. — Меня не предупредили о вашем приходе, и я была занята.

— Это мне надо просить у вас прощения за беспокойство. Я, кажется, пришла в неподходящее время.

Настоятельница с ласковой улыбкой предложила ей стул. Но Китти заметила, что глаза у нее заплаканные. Китти изумилась: у нее осталось впечатление, что к земным горестям эта женщина относится спокойно.

— У вас, наверно, что-нибудь случилось, — промолвила она смущенно. — Мне лучше уйти? Я могу прийти в другой раз.

— Нет-нет. Скажите мне, чем я могу быть вам полезна. Дело в том… дело в том, что вчера вечером скончалась одна из наших сестер. — Голос ее сорвался, глаза наполнились слезами. — Скорбеть о ней грешно, я знаю, что ее простая, добрая душа отлетела к Богу, она была святая женщина; но не всегда легко побороть свою слабость. Боюсь, и я бываю неразумна.

— Мне так жаль, — сказала Китти, — так ужасно жаль… — и всхлипнула от искреннего сочувствия.

— Она была из тех, что приехали со мной из Франции десять лет тому назад. Теперь нас осталось только трое. Я помню, мы сбились кучкой на конце парохода (как это сказать, на носу?), и когда пароход выходил из марсельского порта и мы увидели золотую статую на церкви Святой Марии Милостивой, мы все вместе прочитали

молитву. С тех самых пор, как я приняла постриг, я мечтала, что мне разрешат поехать в Китай, но, когда земля стала удаляться, я не удержалась и заплакала. Не очень-то хороший пример я тогда подала моим дочерям, ведь я была их духовной матерью. А сестра Сен-Франсис Ксавье — та, что вчера скончалась, — взяла меня за руку и стала утешать. Где бы мы ни были, сказала она, там и Франция, там и Бог.

Ее строгое прекрасное лицо исказилось от простого человеческого горя и от усилия сдержать слезы, противные ее рассудку и ее вере. Китти отвернулась. Она почувствовала, что наблюдать за этой борьбой непристойно.

— Я написала ее отцу. Она, как и я, была единственной дочерью. Они рыбаки, живут в Бретани. Для них это будет тяжелый удар. Ох, когда же кончится эта ужасная эпидемия? Сегодня утром у нас заболели две девочки. Спасти их может только чудо. У этих китайцев нет никакой сопротивляемости. Утрата сестры Сен-Франсис для нас очень чувствительна. Работы так много, а нас теперь осталось еще меньше. Наши сестры есть в других монастырях в Китае, они бы приехали с радостью; я думаю, любая монахиня нашего ордена отдала бы все на свете, чтобы сюда приехать

(правда, отдавать-то им нечего). Но это почти верная смерть, и, пока мы хоть как-то справляемся, мне бы не хотелось множить жертвы.

— Вы облегчили мне дело, ma теге, — сказала Китти. — А то я уж думала, что явилась сюда в самую неудачную минуту. В тот раз вы сказали, что сестрам трудно управляться с работой, и я хотела спросить, нельзя ли мне приходить сюда и помогать им. Что делать — мне все равно, лишь бы приносить пользу. Заставьте меня мыть полы, я и то скажу спасибо.

Настоятельница улыбнулась веселой улыбкой, и Китти подивилась, как легко эта гибкая натура поддается новым настроениям.

— Полы вам мыть не нужно. Это, плохо ли, хорошо ли, делают сиротки. — Она примолкла и ласково оглядела Китти. — Милое мое дитя, вы не думаете, что сделали достаточно, приехав сюда с мужем? Не у многих жен хватило бы на это мужества, да и может ли для вас быть занятие лучше, чем веселить и ублажать его, когда он возвращается к вам после рабочего дня? Поверьте мне, ему тогда нужна вся ваша любовь и забота.

Китти трудно было выдержать ее взгляд, строго-оценивающий и в то же время насмешливо-ласковый.

— Мне решительно нечего делать с утра до вечера. А когда у всех столько работы, бездельничать просто невыносимо. Я не хочу вам надоедать, я знаю, что не могу посягать ни на вашу доброту, ни на ваше время, но говорю я вполне серьезно, и, право же, вы окажете мне благодеяние, если позволите хоть немножко вам помогать.

— На вид вы не особенно крепкая. Третьего дня, когда вы были у нас, мне показалось, что вы очень бледненькая. Сестра Сен-Жозеф даже подумала, что вы, может быть, ждете ребенка.

— Нет-нет! — воскликнула Китти и покраснела до корней волос.

Настоятельница рассмеялась негромким серебристым смехом.

— Тут нечего стыдиться, дитя мое, и ничего невероятного в этом предположении нет. Вы сколько времени замужем?

— Бледная я всегда, но я очень здоровая и, уверяю вас, не боюсь никакой работы.

Настоятельница тем временем совсем овладела собой. Она бессознательно приняла свой обычный властный вид и смотрела на Китти спокойно, словно оценивая ее возможности. Китти ждала и нервничала.

— Вы по-китайски говорите?

— К сожалению, нет.

— Вот это жаль. Я бы могла приставить вас к старшим девочкам. С ними сейчас особенно трудно, боюсь, как бы они не… не отбились от рук? — закончила она на вопросительной ноте.

— А за больными я не могла бы ухаживать? Я совсем не боюсь холеры. Могла бы ходить либо за девочками, либо за солдатами.

Настоятельница, уже без улыбки, раздумчиво покачала головой.

— Вы не знаете, что такое холера. Зрелище это страшное. В лазарете санитарами работают солдаты, сестра только надзирает за ними. А что касается девочек… нет-нет, я уверена, что ваш муж не одобрил бы этого. Это тяжелая, пугающая картина.

— Я бы привыкла.

— Нет, это исключено. Мы все это делаем, потому что в этом наш долг и наше призвание, но для вас это вовсе не обязательно.

— Выходит, я ни на что не гожусь и ничего не умею. Не могу я поверить, что меня совсем нельзя использовать.

— Вы мужу говорили о вашем желании?

— Да.

Настоятельница поглядела на нее так, словно

хотела проникнуть в самую глубину ее сердца, но при виде встревоженного, умоляющего лица Китти опять улыбнулась.

— Вы, конечно, протестантка? — спросила она.

— да.

— Это ничего. Доктор Уотсон, миссионер, который умер, тоже был протестант, ну и что же? Он относился к нам как нельзя лучше. Мы ему очень, очень благодарны.

Теперь улыбка мелькнула на губах Китти, но она промолчала. Настоятельница, видимо, что-то обдумывала. И вот она встала с места.

— Вы очень добры. Думаю, что я подберу вам занятие. Теперь, когда сестра Сен-Франсис нас покинула, мы действительно не должны отказываться от помощи. Когда вы могли бы приступить к работе?

— Хоть сейчас.

— Вот и хорошо. Я довольна вашим ответом.

— Обещаю вам, я буду очень стараться. Спасибо, что разрешаете мне попробовать.

Настоятельница отворила дверь в коридор, но на пороге задержалась. Еще раз окинула Китти долгим проницательным взглядом, потом мягко коснулась ее руки.

— Не забывайте, дитя мое, душевный покой

можно обрести не в работе или в удовольствиях, не в миру или в монастыре, а только в своем сердце.

Китти вздрогнула, но настоятельница уже вышла из комнаты.

49

Окунувшись в работу, Китти воспрянула духом. Она отправлялась в монастырь каждое утро вскоре после восхода солнца, а домой возвращалась, когда солнце, клонясь к закату, уже заливало узкую реку и скопище джонок жидким золотом. Настоятельница поручила ей группу младших девочек. Мать Китти привезла в Лондон из своего родного Ливерпуля бесспорные хозяйственные способности, и Китти, несмотря на свой легкомысленный образ жизни, отчасти их унаследовала, хотя упоминала об этом только в шутку. Она была неплохой кулинаркой и прекрасно шила. Когда обнаружился этот ее талант, ей поручили обучать шитью младшую группу девочек. Они кое-что понимали по-французски, а она каждый день узнавала от них по нескольку китайских слов, так что общаться им было нетрудно. Другие часы она проводила с самыми маленькими, одевала и раздевала их, укладывала поспать. Грудные младенцы были на попечении няни-китаянки, но Китти попросили присматривать и за ней. Вся эта работа была не такая уж важная, и Китти хотелось делать что-нибудь потруднее,

но настоятельница не внимала ее мольбам, а Китти относилась к ней с таким почтением, что перестала настаивать.

Первые несколько дней она лишь с усилием преодолевала легкое отвращение, которое вызывали в ней эти девчушки, все одинаково одетые, с торчащими черными волосами, круглыми желтыми лицами и глазами-смородинами. Но она вспоминала, как в день ее первого посещения чудесно преобразилось лицо настоятельницы, когда ее обступили эти уродцы, и старалась побороть это чувство. И постепенно, когда она брала на руки кого-нибудь из этих плачущих крошек — эта упала и расшиблась, у той режется зуб — и раз за разом убеждалась, что несколько ласковых слов, пусть и произнесенных на непонятном для них языке, прикосновение ее рук, ее мягкая щека, к которой прижималась плачущая желтая рожица, способны успокоить и утешить, неприятное чувство совсем пропадало. Малышки безбоязненно тянулись к ней со своими младенческими горестями, и их доверие наполняло ее счастьем. То же было и с девочками постарше, теми, которых она учила шить; ее трогали их широкие, понимающие улыбки и радость, которую им доставляли ее похвалы. Она чувствовала, что они ее

любят, и, польщенная, гордая, сама проникалась к ним любовью.

Но к одной из девочек она никак не могла привыкнуть. Это была шестилетняя кретинка с огромной тяжелой головой на худеньком теле, большими пустыми глазами и слюнявым ртом, говорить она не умела, только хрипло бормотала отдельные слова. Она внушала гадливость и страх, и почему-то именно она особенно привязалась к Китти, ходила за ней по пятам, в какой бы конец комнаты она ни направилась, цеплялась за ее юбку, терлась лицом о ее колени. Пыталась гладить ей руки. Китти мутило от отвращения. Она понимала, что девочка жаждет ласки, но не могла заставить себя до нее дотронуться.

Однажды в разговоре с сестрой Сен-Жозеф она высказала мнение, что такому ребенку лучше не жить. Сестра Сен-Жозеф улыбнулась и протянула кретинке руку, а та подошла и ткнулась в эту руку своим выпуклым лбом.

— Бедняжка, — сказала монахиня. — Ее доставили сюда еле живую. Волею провидения я как раз в это время оказалась у дверей. Я увидела, что нельзя терять ни минуты, и тут же ее окрестила. Вы не поверите, сколько труда мы положили на то, чтобы сохранить ей жизнь. Три или четыре

раза мы уже были готовы к тому, что ее душа вот-вот упорхнет на небо.

Китти молчала. Сестра Сен-Жозеф, как всегда словоохотливая, стала судачить о чем-то другом. А на следующий день, когда девочка подошла к Китти и тронула за руку, Китти заставила себя положить руку на ее большую безволосую голову. Но девочка, с непоследовательностью помешанной, вдруг убежала, словно потеряв к ней всякий интерес, и ни в тот день, ни в последующие дни не обращала на нее внимания. Китти не могла понять, чем она ей не угодила, пыталась приманить ее улыбками и жестами, но та отворачивалась и притворялась, что не видит ее.

50

Монахини были заняты каждая своим делом с утра и до позднего вечера, так что Китти почти не встречалась с ними, кроме как на богослужениях в смиренной голой капелле. Увидев ее там в первый же день — она сидела на задней скамье позади старших девочек, — настоятельница остановилась и заговорила с ней:

— Вы не думайте, что вам положено бывать в капелле вместе с нами. Вы протестантка, у вас свои порядки.

— Но мне тут нравится, ma mère. Для меня это отдых.

Настоятельница степенно склонила голову.

— Ну конечно, поступайте согласно своему желанию. Я только хотела вам объяснить, что никто вас не принуждает.

А с сестрой Сен-Жозеф у Китти скоро завязались если не близкие, то, во всяком случае, более простые отношения. Она ведала монастырским хозяйством, и заботы о материальном благополучии этой большой семьи не оставляли ей ни минуты, чтобы посидеть спокойно. Она сама говорила, что единственный ее отдых — это время,

посвященное молитве. Но ближе к вечеру, когда Китти занималась с девочками, ей случалось к ним заглянуть и, поклявшись для начала, что она совсем вымоталась и у нее нет ни минуты свободной, посидеть и посудачить. Когда настоятельницы не было поблизости, она давала волю своей говорливости, любила пошутить и была не прочь посплетничать. Ее-то Китти не боялась: сестра Сен-Жозеф и в монашеской одежде была добродушной, уютной болтушкой, при ней Китти не стеснялась делать ошибки во французском языке, они вместе смеялись ее промахам. От нее Китти тоже узнала много нужных китайских слов. Она была дочкой фермера и в душе оставалась крестьянкой.

— В детстве я пасла коров, как Жанна д'Арк, — рассказывала она. — Но явлений мне, при моем дурном поведении, не бывало. Оно, наверно, и к лучшему, а то отец непременно бы меня выдрал. Он, царство ему небесное, и так часто меня порол, ведь я была ох какая озорница. Вспомнить совестно, каких только шалостей не выдумывала.

Китти рассмеялась, представив себе, что эта толстая, немолодая монахиня была когда-то своенравным ребенком. Но что-то детское было в ней до сих пор и привлекало к ней сердце; от

нее словно исходил сладкий запах деревни в осеннюю пору, когда ветки яблонь гнутся под тяжестью спелых яблок, а хлеб сжат и убран в закрома. В ней, в отличие от настоятельницы, не было строгой, трагической святости, а была простая, безмятежная веселость.

— И вас никогда не тянет домой? — спросила однажды Китти.

— О нет. Вернуться было бы трудно. Мне тут хорошо, особенно с нашими сиротками. Они такие славные, такие благодарные. Но монашка-то я монашка, а все же у меня есть мать, и разве забудешь, что она меня своей грудью выкормила! Мать у меня старая, тяжко думать, что я ее уж никогда больше не увижу. Но и то сказать, снохой своей она довольна, и брат мой ее уважает. У него уже подрастает сынок, хороший работник на ферме пригодится. Когда я уезжала из Франции, он был совсем еще маленький, но и тогда кулачок у него был ого какой сильный.

В этой тихой комнате, слушая неторопливые речи монахини, почти невозможно было поверить, что за стенами свирепствует холера. Безмятежность сестры Сен-Жозеф передавалась и Китти.

Она по-детски наивно интересовалась внеш-

ним миром и его обитателями. Расспрашивала Китти про Лондон, про Англию, воображая, что туман там такой густой — даже днем собственной руки не видно; она спрашивала Китти, ездит ли она на балы, очень ли богатый дом у ее родителей, есть ли у нее братья и сестры. Часто говорила об Уолтере. Мать-настоятельница им не нахвалится, все они каждый день молятся за него Богу. Счастливица Китти, что муж у нее такой добрый, и храбрый, и умный.

51

Но рано или поздно сестра Сен-Жозеф в своих рассказах неизменно возвращалась к настоятельнице. Китти с самого начала поняла, что личность этой женщины подчинила себе весь монастырь. Все его обитатели взирали на нее с любовью и восхищением, но также и с почтительным страхом. Китти и та чувствовала себя перед нею школьницей. Держаться с ней свободно мешало чувство, которое нельзя было назвать иначе как благоговением. Простодушная сестра Сен-Жозеф для вящей внушительности рассказала Китти, к какому знатному семейству принадлежит настоятельница. Среди ее предков есть исторические личности, она состоит в родстве чуть не со всеми европейскими монархами. Альфонс Испанский охотился в угодьях ее отца, и по всей Франции у них есть фамильные замки. Трудно было, наверно, расстаться со всем этим великолепием. Китти слушала и улыбалась, но рассказы эти производили на нее впечатление.

— Да на нее стоит только посмотреть, — сказала сестра Сен-Жозеф, — сразу видно, что знатнее ее и на свете нет.

— У нее удивительно красивые руки, — сказала Китти.

— А вы бы знали, как мало она их жалеет. Она никакой работой не гнушается.

Когда они прибыли в этот город, здесь ничего не было. Они построили монастырь. Настоятельница сама нарисовала план и надзирала за работами. С первого же дня они стали спасать бедненьких, никому не нужных девочек от «башни» и от жестоких рук повивальных бабок. Вначале у них ни кроватей не было, ни стекла, чтобы отгородиться от ночного холода (ведь ночной холод — самое вредное для здоровья, добавила сестра Сен-Жозеф); временами у них не оставалось денег не только платить рабочим, но и на еду для себя; они жили, как простые крестьяне, да что там, во Франции крестьяне, вот хоть батраки ее отца, бросали бы такую пищу свиньям. Тогда настоятельница созывала своих дочерей, они преклоняли колени и молились, и Пресвятая Дева присылала им денег. То назавтра придет тысяча франков по почте, то какой-нибудь незнакомец, англичанин (подумать только — протестант!) или даже китаец, постучит в дверь в ту самую минуту и принесет пожертвование. А один раз они дошли до того, что дали Богородице обет

посвятить ей neuvaine[49], если она их выручит, и, поверите ли, на следующий день явился этот забавный мистер Уоддингтон, сказал, что вид у нас такой, будто мы не отказались бы от ростбифа, и подарил нам сто долларов.

Вот уж правда забавный он человечек, голова лысая, глаза хитрющие, а уж эти его шуточки… Mon Dieu[50], как же он калечит французский язык! Но сердиться на него невозможно. Никогда не унывает. И эпидемия ему нипочем, веселится как на празднике. Сердце у него французское и язык острый, прямо не поверить, что англичанин. Вот только акцент. Но иногда думается, что он говорит так плохо нарочно, чтобы посмешить. Нравственностью он особой не отличается, это да, но, в конце концов, это его личное дело, — тут она, вздохнув и кивнув, пожала плечами, — он ведь холостяк, молодой мужчина.

— А чем плоха его нравственность? — спросила Китти с улыбкой.

— Да неужто вы не знаете? Грех мне про это говорить, ну да что уж там. Он живет с китаянкой, то есть не то чтобы с китаянкой, а с маньчжуркой.

---

[49] Примечания: 49
Девять дней молитвы (*фр.*).

[50] Примечания: 50
Боже мой (*фр.*).

Она, говорят, принцесса и любит его до безумия.

— Не может быть! — воскликнула Китти.

— А вот и может, я вам правду говорю. Это большой грех, Бог этого не велит. Вы разве не слышали, когда первый раз сюда приходили, он не хотел есть «мадлен», которые я нарочно для него испекла, а мать-настоятельница сказала, что он испортил себе желудок маньчжурской кухней? Она тогда на это самое намекала, он еще такую рожу скорчил. А история эта очень даже интересная. Он, говорят, работал в Ханькоу во время революции, когда там маньчжурцев резали, и по доброте своей спас жизнь нескольким членам одного из их знатных семейств. Они в родстве с императорской фамилией. И девушка эта в него влюбилась, ну а дальше сами можете догадаться. А когда он уехал из Ханькоу, она сбежала из дому и последовала за ним, и так с тех пор и ездит за ним повсюду, так что он, бедный, смирился и содержит ее и очень, говорят, к ней привязан. Эти маньчжурки, они бывают очень миловидные… Но что же это я, меня дела ждут, а я тут с вами рассиделась. Хороша монахиня. Стыд, да и только.

52

У Китти появилось странное ощущение, будто она взрослеет. Постоянная работа отвлекала ее мысли, то, что она узнавала о жизни и взглядах других людей, будило воображение. Она приободрилась и чувствовала себя лучше. Ей долго казалось, что она способна только плакать; теперь же она, к своему удивлению и даже стыду, то и дело ловила себя на том, что смеется. Жить посреди страшной эпидемии стало казаться вполне естественным. Она знала, что вокруг люди умирают сотнями, но почти перестала об этом думать. Настоятельница запретила ей ходить в лазареты, и эти закрытые двери возбуждали ее любопытство. Ей очень хотелось туда заглянуть, но она, конечно, попалась бы кому-нибудь на глаза, и тогда неизвестно, какому наказанию подвергнет ее настоятельница. Вдруг ее прогонят, это было бы ужасно. Она так привязалась к детям, они будут по ней скучать, они вообще не смогут жить без нее.

А однажды она вдруг подумала, что уже неделю как не вспоминала Чарлза Таунсенда и не видела его во сне. Сердце громко стукнуло в груди — она

исцелилась! Теперь она может думать о нем равнодушно. Она его больше не любит. О, какое это облегчение — чувствовать, что ты свободна! Даже странно оглянуться назад, вспомнить, как страстно она по нему тосковала. Узнав о его вероломстве, она думала, что умрет, не ждала от жизни ничего, кроме страданий. А вот она, оказывается, уже может смеяться. Ничтожество. Какой же она была дурой! Теперь, успокоившись, она не могла понять, что она в нем нашла. Хорошо, что Уоддингтон ничего не знает, трудно было бы сносить его лукавые взгляды и иронические намеки. Наконец-то она свободна, свободна! Она чуть не расхохоталась от счастья.

Девочки в это время затеяли веселую возню; обычно она смотрела на них, снисходительно улыбаясь, усмиряла, когда они слишком шумели, следила, чтобы не ушиблись и не поранились. Но сегодня она сама почувствовала себя ребенком и вступила в игру. Девочки приняли ее с восторгом. Они гонялись за ней по всей комнате, пронзительно крича от непонятной, почти дикарской радости. От возбуждения они прыгали и топали ногами. Шум стоял оглушительный.

И вдруг отворилась дверь и на пороге выросла настоятельница. Китти страшно сконфузилась и

с трудом высвободилась из десятка вцепившихся в нее маленьких рук.

— Так-то вы стараетесь, чтобы дети вели себя тихо? — спросила настоятельница с улыбкой.

— Мы играли, ma mère. Они разволновались. Это я виновата. Я их взбудоражила.

Настоятельница вошла в комнату, и дети, как всегда, окружили ее. Она обнимала их за узенькие плечи, теребила их желтые ушки. Посмотрела на Китти долгим ласковым взглядом. Китти раскраснелась, часто дышала. Ее влажные глаза сияли, чудесные волосы растрепались.

— Как вы прелестны, дитя мое, — сказала настоятельница. — Сердце радуется, на вас глядя. Немудрено, что дети вас обожают.

Китти покраснела еще гуще, и почему-то слезы брызнули у нее из глаз. Она закрыла лицо руками.

— О, ma mère, мне стыдно.

— Полно, какие глупости. Красота тоже дар Божий, один из редчайших и драгоценнейших. Мы должны быть благодарны, если удостоились его, а если нет, должны быть благодарны, что другие удостоились его, нам на радость.

Она опять улыбнулась Китти и тоже, как ребенка, легонько потрепала ее по щеке.

53

С тех пор как Китти начала работать, она реже виделась с Уоддингтоном. Два-три раза он встречал ее у перевоза, и они вместе поднимались к ее дому. Он заходил, выпивал стаканчик, но обедать не оставался. И вот однажды под воскресенье он предложил ей назавтра захватить с собой закуску и отправиться в паланкинах в буддийский монастырь. Монастырь этот находился в десяти милях от города и когда-то славился как место паломничества. Настоятельница, полагая, что Китти хоть раз в неделю нужно отдыхать, не велела ей приходить по воскресеньям, а Уолтер, конечно, и в воскресные дни работал с утра до ночи.

Чтобы прибыть на место до большой жары, они пустились в путь очень рано по узкой дороге меж рисовых полей. Миновали несколько крепких крестьянских домов, приютившихся в бамбуковых рощах. Китти наслаждалась бездельем. Хорошо было после заточения в душном городе видеть вокруг деревенское раздолье. Они добрались до монастыря — низких построек, разбросанных по берегу реки в тени деревьев, — и улыбающиеся монахи повели их дворами,

торжественно пустынными, и показали храмы, где кривлялись диковинные боги. В святилище восседал Будда, отрешенный, печальный, с чуть заметной улыбкой на губах. На всем лежала печать запустения; великолепие было дешевое, обветшалое; боги запылились, вера, породившая их, умирала. Монахи словно доживали здесь последние дни, готовые к тому, что их вот-вот попросят очистить помещение, а в улыбке благостно учтивого настоятеля таилась ироническая покорность судьбе. Скоро, скоро монахи покинут эти тенистые кущи, и заброшенные здания начнут разрушаться от зимних бурь и под натиском вступающей в свои права природы. Ползучие растения обовьют умершие статуи, во дворах вырастут деревья. И обитать здесь будут уже не боги, а злые духи тьмы.

54

Они сидели на ступеньках маленькой пагоды (четыре лакированных столбика и высокая крыша, осеняющая бронзовый колокол) и смотрели на реку, как она лениво, по бесконечным излучинам уходила к зараженному городу. Отсюда были видны его зубчатые стены. Зной навис над ним, как погребальный покров. Но река, хоть и текла так медленно, все же была в движении, и от этого возникало грустное чувство быстротечности жизни. Все проходит, и если оставляет после себя след, то какой? Китти казалось, что все они, все люди на земле, подобны каплям воды в этой реке, что безымянный поток всех влечет к морю. Когда все так преходяще и ничтожно, стоит ли людям, раздувая мелочи до размеров важных событий, так терзать себя и других?

— Вы Харрингтон-Гарденз знаете? — спросила она Уоддингтона, задумчиво улыбаясь.

— Нет, а что?

— Да ничего, просто это очень далеко отсюда. Там живут мои родители.

— А вы подумываете об отъезде домой?

— Нет.

— Отсюда вы, надо полагать, сниметесь месяца через два. Эпидемия как будто пошла на убыль, а станет холоднее, так и совсем прекратится.

— Мне, пожалуй, будет жалко отсюда уезжать.

Она задумалась о будущем. Какие у Уолтера планы, она не знала. С нею он не делился. Был холоден, вежлив, молчалив, непроницаем. Две капли в реке, бесшумно текущей в неизвестность, такие неповторимые друг для друга, а на посторонний глаз неразличимые в общем потоке.

— Смотрите, как бы монахини не обратили вас в свою веру, — сказал Уоддингтон со своей лукавой усмешкой.

— Им некогда этим заниматься. Да это для них и не важно. Они бесконечно добры, вообще это удивительные женщины. А все-таки… не умею я это объяснить… нас разделяет стена. Не знаю, в чем тут дело. Как будто им известен секрет, который и есть для них самое важное, а я недостойна к нему приобщиться. Это не вера, а что-то более глубокое и значительное. Они пребывают в своем мире, а нам туда доступа нет и не будет. Каждый день, когда за мной закрывается дверь монастыря, я чувствую, что перестала для них существовать.

— Ну понятно, для вашего тщеславия это чув-

ствительный афронт, — поддразнил он.

— Тщеславия? — Китти пожала плечами. Потом с ленивой улыбкой обратилась к нему: — Почему вы мне никогда не рассказывали, что живете с маньчжурской принцессой?

— Чего еще эти старые сплетницы вам наболтали? Для монахинь это же смертный грех — обсуждать частную жизнь таможенных чиновников.

— Почему вы так болезненно это воспринимаете?

Уоддингтон скосил глаза вниз, словно придумывая ответ похитрее, а потом слегка пожал плечами.

— Афишировать тут нечего. Навряд ли это способствовало бы моему продвижению по службе.

— Вы ее очень любите?

Он поднял голову, теперь на его некрасивом лице было выражение как у провинившегося школьника.

— Она ради меня бросила все — дом, семью, обеспеченное положение. Уже много лет как от всего отказалась, лишь бы не расставаться со мной. Я несколько раз прогонял ее, а она возвращалась. И сам от нее сбегал, а она меня опять настигала. А теперь я махнул рукой — придется,

видно, терпеть ее до конца дней.

— Она, наверно, любит вас до безумия.

— Странное это ощущение, — отозвался он, растерянно морща лоб. — Я ни минуты не сомневаюсь, что, если б я решительно ее отставил, она покончила бы с собой. Не от обиды на меня, а совершенно естественно, потому что жить без меня не захотела бы. Очень странно сознавать это. От такого не отмахнешься.

— Но главное ведь — любить, а не быть любимым. К тем, кто тебя любит, даже благодарности не чувствуешь, с ними бывает только скучно.

— Как во множественном числе — не знаю. По опыту могу говорить только о единственном.

— И она в самом деле принцесса и в родстве с императорской фамилией?

— Нет, это уж романтические фантазии монахинь. Она из очень знатной семьи, но в революцию они, конечно, разорились. Впрочем, она все же очень знатная леди.

Он произнес это с гордостью, так что Китти невольно улыбнулась.

— Значит, вы останетесь здесь на всю жизнь?

— В Китае? Да. Что ей делать в другой стране? Когда уйду в отставку, куплю в Пекине китайский домик и буду доживать там свои дни.

— А дети у вас есть?

— Нет.

Она с интересом на него посмотрела. Очень странно, что этот лысый человечек с обезьяньей мордочкой мог внушить чужестранке такую испепеляющую страсть. Говорил он о ней небрежно, не слишком уважительно, и все-таки безраздельное чувство этой женщины производило сильное впечатление, задевало какую-то струну.

— Да, далеко отсюда до Харрингтон-Гарденз, — улыбнулась она.

— Почему вы это сказали?

— Ничего я не понимаю. Жизнь вообще непонятна. Я чувствую себя так, будто всегда жила на берегу пруд очка, а мне вдруг показали море. Даже дух захватывает, но совсем не страшно. Я не хочу умирать, я хочу жить. Я чувствую в себе какое-то новое мужество. Как старый моряк пускается под парусом на поиски новых неведомых морей, так, наверно, и моя душа стремится все изведать.

Уоддингтон задумчиво поглядел на нее. Ее взгляд застыл на далекой глади реки. Две капли, что тихо, бесшумно движутся к вечному морю.

— Можно мне навестить маньчжурскую леди? — вдруг спросила она, подняв голову.

— Она ни слова не говорит по-английски.

— Вы были ко мне очень добры, вы много для меня сделали, может быть, я и без слов сумела бы ей выразить, как хорошо к ней отношусь.

Уоддингтон усмехнулся чуть язвительно, однако ответил вполне дружелюбно:

— Я как-нибудь зайду за вами, и она угостит вас жасминовым чаем.

Китти не стала говорить ему, что эта повесть о чужеземной любви с самого начала поразила ее воображение, и теперь маньчжурская принцесса сделалась для нее символом чего-то, что смутно, но неотступно манило ее, как загадочный перст, указующий на мистическую обитель духа.

55

Но несколько дней спустя Китти сделала совсем уже неожиданное открытие.

С утра, придя в монастырь, она, как всегда, первым делом пошла проследить, чтобы детей как следует умыли и одели. Поскольку монахини твердо держались мнения, что ночной воздух вреден для здоровья, атмосфера в спальнях была несвежая, спертая. После утренней прохлады Китти особенно это чувствовала и спешила открыть те из окон, которые вообще открывались. Но в этот день ей прямо-таки стало дурно, закружилась голова, и она остановилась у окна, чтобы немного прийти в себя. Так плохо ей еще никогда не бывало. Тошнота подступила к горлу, ее вырвало. Она вскрикнула, перепугала детей, к ней подбежала старшая девочка, помогавшая ей, и, увидев, что она изменилась в лице и вся дрожит, в страхе застыла на месте. Холера! Мысль эта пронеслась у Китти в мозгу, и ей показалось, что она умирает. Ее охватил ужас. Минуту она еще мучительно боролась с темной силой, словно разлившейся по жилам, а потом провалилась во мрак.

Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Словно бы она лежала на полу, а когда пошевелила головой, почувствовала под головой подушку. Она ничего не помнила. Рядом с ней стояла на коленях настоятельница, подносила к ее носу нюхательную соль, и тут же маячила сестра Сен-Жозеф. Потом сразу вспомнилось все. Холера! На лицах монахинь написан ужас. Сестра Сен-Жозеф стала огромная, контуры ее расплылись. Китти снова ощутила смертельный страх.

— O, ma mère, — простонала она, — я умру? Я не хочу умирать.

— С чего вы это взяли?

Настоятельница была совершенно спокойна, а глаза даже веселые.

— Но это холера! Где Уолтер? За ним послали? О Господи!

И она разрыдалась. Настоятельница протянула ей руку, и Китти ухватилась за эту руку, словно то была сама жизнь, которую она так боялась упустить.

— Полно, полно, дитя мое, будьте благоразумны. Никакая это не холера.

— Где Уолтер?

— Ваш муж занят, и незачем его зря беспокоить. Через пять минут вы будете совершенно

здоровы.

Китти ответила ей изумленным, непонимающим взглядом. Почему она не волнуется? Это жестоко.

— Полежите еще немножко, — сказала настоятельница. — А тревожиться не о чем.

У Китти бешено заколотилось сердце. Она так свыклась с мыслью о холере, что уже перестала было бояться за себя. Какая же она была дура! Вот она и умирает. Девочки внесли в комнату низкое плетеное кресло и поставили у окна.

— Давайте-ка мы вас поднимем, — сказала настоятельница. — В шезлонге вам будет удобнее. На ногах вы стоите?

Она подхватила Китти под мышки, сестра Сен-Жозеф помогла ей встать. Она без сил опустилась в кресло.

— Я лучше закрою окно, — сказала сестра Сен-Жозеф. — Ну как утренний воздух ей повредит.

— Нет-нет, — взмолилась Китти. — Пожалуйста, не закрывайте.

Хорошо было увидеть синее небо. Ее еще трясло, но ей безусловно стало лучше.

Обе монахини смотрели на нее, потом сестра Сен-Жозеф сказала настоятельнице что-то, чего Китти не разобрала. Потом настоятельница села

с ней рядом и взяла ее за руку.

— Послушайте, дитя мое…

Она задала ей кой-какие вопросы. Китти отвечала, не понимая их смысла. Губы у нее дрожали и не слушались.

— И сомневаться нечего, — сказала сестра Сен-Жозеф. — Меня в этих делах не обманешь.

Она залилась смехом, в котором Китти послышалось и радостное волнение, и участие. Настоятельница, все еще держа Китти за руку, улыбнулась с нескрываемой нежностью.

— Сестра Сен-Жозеф разбирается в этом лучше меня, дитя мое, она сразу определила, что с вами такое. И очевидно, не ошиблась.

— А что со мной? — встрепенулась Китти.

— Все ясно как день. Неужели такая возможность не приходила вам в голову? Вы беременны.

Китти как на пружине подкинуло. Она спустила ноги на пол, готовая вскочить.

— Тихо, тихо, — сказала настоятельница.

Китти, красная как рак, прижала руки к груди.

— Не может этого быть. Это неправда.

— Qu'est ce qu'elle dit?[51] — спросила сестра

---

[51] Примечания: 51
Что она говорит? (*фр.*)

Сен-Жозеф.

Настоятельница перевела. Румяное лицо сестры Сен-Жозеф расплылось в улыбке.

— Уж вы мне поверьте. Даю честное слово.

— Вы сколько времени замужем, дитя мое? — спросила настоятельница. — Ну вот, у жены моего брата через столько же времени после свадьбы уже было двое детей.

Китти устало откинулась в кресле. В душе ее была смерть.

— Мне так стыдно, — прошептала она.

— Стыдно, что у вас будет ребенок? Это же так естественно.

— Quelle joie pour le docteur[52], — добавила сестра Сен-Жозеф.

— Да, подумайте только, какая это радость для вашего мужа. Он будет вне себя от счастья. Надо видеть, какое у него делается лицо, когда он возится с нашими младенцами, а уж своему-то и подавно будет рад.

Китти умолкла. Монахини продолжали ласково ее разглядывать, настоятельница гладила по руке.

— Глупо, как я раньше не догадалась, — сказала

---

[52] Примечания: 52
Какая радость для доктора (*фр.*).

Китти. — Во всяком случае, я рада, что это не холера. Мне уже гораздо лучше, пойду работать.

— Сегодня бы не стоило, милая, — сказала настоятельница. — Вы переволновались, ступайте-ка лучше домой и отдохните.

— Нет-нет, я лучше останусь здесь.

— Старших надо слушаться. Что бы сказал наш милый доктор, если бы я разрешила вам поступить так неосторожно? Приходите завтра, если будет охота, или послезавтра, но на сегодня с вас хватит. Сейчас пошлю за паланкином. Отрядить мне кого-нибудь из девочек вам в провожатые?

— Не надо. Я отлично доберусь и одна.

56

Китти лежала на своей постели при закрытых ставнях. Шел третий час дня, слуги спали. После того что она узнала утром (а теперь у нее не осталось сомнений), она пребывала в полном оцепенении. С самого возвращения домой она старалась собраться с мыслями, но в голове было пусто, мысли разбегались. Вдруг за стеной послышались шаги, шел кто-то в обуви — значит, не слуги; у нее екнуло сердце, это мог быть только Уолтер. Он прошел в гостиную, окликнул ее, она не ответила. После короткой паузы — стук в дверь.

— Да?

— Можно войти?

Китти встала и накинула халат.

— Входи.

Он вошел. Хорошо, что ставни закрыты, так что ее лицо в тени.

— Я тебя не разбудил? Я постучал совсем тихо.

— Я не спала.

Он подошел к одному из окон и распахнул ставни. В комнату хлынул поток теплого света.

— Что случилось? — спросила она. — Почему

ты так рано?

— Монахини сказали, что ты плохо себя чувствуешь. Я зашел узнать, в чем дело.

На минуту в ней вспыхнул гнев.

— Что ты сказал бы, если б это была холера?

— Будь это холера, ты, безусловно, не добралась бы домой.

Чтобы оттянуть время, она подошла к туалетному столику, провела гребенкой по стриженым волосам. Потом села и закурила.

— Утром мне нездоровилось, настоятельница решила, что мне надо побыть дома. Но сейчас все прошло. Завтра пойду туда, как обычно.

— Так что же с тобой было?

— А они тебе не сказали?

— Нет, настоятельница говорит, что ты мне сама расскажешь.

Тут случилось то, чего уже давно не бывало: он в упор посмотрел на нее; профессиональный инстинкт оказался сильнее личного чувства. Она заколебалась, потом заставила себя встретиться с ним глазами.

— У меня будет ребенок.

Она уже привыкла, что он встречает молчанием слова, которые должны бы вызвать удивленный возглас, но никогда еще это молчание не

казалось ей таким убийственным. Он не вздрогнул, не шелохнулся, ни словом, ни выражением глаз не показал, что слышал ее. Ей захотелось плакать. Когда муж и жена любят друг друга, в такие минуты глубокое волнение еще больше их сближает. Молчание было нестерпимо, и она не выдержала.

— Не знаю, почему я раньше об этом не подумала. Глупо, конечно, но… я как-то запуталась…

— И сколько времени ты уже… когда ты должна родить?

Слова как будто давались ему с трудом. Она чувствовала, что у него пересохло в горле. И надо же, как у нее дрожат губы. Если он не каменный, это должно вызывать жалость.

— У меня сейчас срок два или три месяца.

— Отец ребенка я?

Она судорожно вздохнула. Голос его слегка дрогнул, или ей показалось? Будь проклята эта его холодная сдержанность, при которой малейшее проявление чувства так потрясает. Почему-то ей вдруг вспомнился прибор, который ей показывали в Гонконге, на нем чуть заметно колебалась стрелка, и ей объяснили, что это значит: за тысячу миль от них произошло землетрясение, унесшее около тысячи человеческих жизней.

Она взглянула на Уолтера. Он был бледен как полотно. Таким она видела его только раз, нет, два раза. Он смотрел в пол, слегка скосив глаза.

— Ну?

Она стиснула руки. Как ему сейчас нужно, чтобы она ответила «да»! Он ей поверит, непременно поверит, потому что хочет поверить. И простит. Она знала, сколько нежности он таит в душе и как, вопреки своей робости, мечтает излить ее на кого-то. Она знала, что он не злопамятен; он простит, если только дать ему для этого повод, который затронул бы его сердце, и простит до конца. Никогда не попрекнет ее тем, что было, этого можно не бояться. Пусть он жесток, мрачен, холоден, но он не подл и не мелочен. Все пойдет по-другому, стоит ей сказать «да».

А она жаждала сочувствия. Когда ей так неожиданно открылось, что она беременна, в ней зародились странные надежды, неосознанные желания. Она чувствовала себя слабой, оробевшей, одинокой, без единого друга на свете. Как ни далеки они были с матерью, ее остро потянуло под материнское крыло. Она тосковала о помощи, об утешении. Уолтера она не любила и знала, что никогда не полюбит, но сейчас ей страстно хотелось, чтобы он ее обнял и можно

было прижаться головой к его груди и заплакать счастливыми слезами. Хотелось, чтобы он поцеловал ее, хотелось обвить руками его шею.

Она заплакала. Она столько лгала в последние месяцы, ложь давалась ей так легко. Чем плоха ложь, если она — на благо? Так легко сказать «да». Она уже видела потеплевшие глаза Уолтера, его руки, протянутые к ней. И не могла выговорить это слово. Не могла, и все. Она столько пережила за эти горькие недели. Чарли и его отступничество, холера и бесконечные смерти со всех сторон, монахини, даже забавный пьянчужка Уоддингтон — все это произвело в ней перемену, она сама себя не узнавала. Ей казалось, будто какой-то двойник следит за ней с удивлением и страхом. Нет, она *должна* сказать правду. Какой смысл лгать. Мысль ее сделала странный скачок: она вдруг увидела того мертвого нищего на земле, у стены участка. Почему он ей вспомнился? Она не рыдала. Слезы ее лились рекой, глаза были открыты. Наконец она вспомнила про его вопрос. Он ее спросил, он ли отец ребенка. И теперь она ответила:

— Не знаю.

Послышался тихий смешок, от которого ее бросило в дрожь.

— Нескладно получилось, а?

Как это на него похоже. Именно такого замечания от него можно было ждать, но у Китти упало сердце. Понял ли он, как трудно ей было сказать правду (впрочем, поправилась она, совсем было не трудно, а просто невозможно иначе), оценил ли ее честность? Собственные слова «не знаю, не знаю» стучали в мозгу. Теперь уж их не возьмешь обратно. Она достала из сумки платок и вытерла слезы. Оба молчали. На столе у кровати стоял сифон, Уолтер налил ей воды. Он поддерживал стакан, пока она пила, и она заметила, как исхудала эта рука, красивая, с длинными пальцами, но буквально кожа да кости. И чуть дрожит. С лицом он мог совладать, а рука его выдала.

— Ты не обращай внимания, что я плачу, — сказала она. — Это я так, просто слезы сами из глаз льются.

Она выпила воду, он отнес стакан на место, сел на стул и закурил. Вот он легонько вздохнул. Ей уже доводилось слышать такие вздохи, от них всякий раз щемило сердце. Он устремил невидящий взгляд в окно, а она, присмотревшись к нему, поразилась, до чего он похудел за последние недели. Виски запали, кости лица выпирают наружу. Платье висит на нем как на вешалке. Кожа под

загаром зеленовато-бледная. Вид изможденный. Он слишком много работает, спит мало, ничего не ест. Несмотря на собственные горести и тревоги, она нашла в себе силы пожалеть его. Как больно думать, что ничем не можешь ему помочь.

Он приложил руку ко лбу, словно у него разболелась голова, и ей представилось, что у него в мозгу тоже неотступно стучат слова «не знаю, не знаю». Странно, что этот холодный, хмурый, застенчивый человек наделен любовью к самым маленьким. Мужчины часто и к своим-то равнодушны, но про него монахини сколько раз ей рассказывали, это их и трогало, и смешило. Если он так любит этих китайчат, как же он любил бы своего ребенка! Китти закусила губу, чтобы опять не расплакаться.

Уолтер взглянул на часы.

— Пора мне обратно в город. У меня сегодня еще уйма работы. Ты как, ничего?

— Обо мне не беспокойся.

— Ты вечером не дожидайся меня. Я, возможно, вернусь очень поздно, а накормит меня полковник Ю.

— Хорошо.

Он встал.

— Советую сегодня не переутомляться, дай себе

передышку. Тебе что-нибудь подать, принести?

— Нет, спасибо. Ничего не нужно.

Он еще постоял как бы в нерешительности, потом, не глядя на нее, взял шляпу и вышел. Она слышала, как он шел от крыльца к воротам. Одна, до ужаса одна. Сдерживаться теперь было не нужно, и она дала волю слезам.

57

Вечер был душный, и, когда Уолтер наконец вернулся, Китти сидела у окна, глядя на причудливые крыши китайского храма, черные на фоне звездного неба. Глаза ее опухли от слез, но она успокоилась. Странная тишина снизошла в душу, несмотря на все треволнения, — может быть, просто от усталости.

— Я думал, ты уже спишь, — сказал Уолтер входя.

— Мне не спалось. Когда сидишь, не так жарко. Тебя покормили?

— Еще как.

Он прошелся взад-вперед по длинной комнате, и она поняла, что он хочет о чем-то поговорить с ней, но не знает, как начать. Без тени волнения она ждала, чтоб он собрался с духом. И дождалась.

— Я обдумал то, что ты мне сегодня рассказала. Мне кажется, тебе лучше отсюда уехать. Я уже поговорил с полковником Ю, он согласен предоставить тебе охрану. Можешь взять с собой служанку. Ты будешь в полной безопасности.

— А куда я могла бы уехать?

— Можешь уехать к матери.

— Думаешь, она мне обрадуется?

— Тогда можешь поехать в Гонконг.

— А что мне там делать?

— Тебе сейчас нужен уход, внимание. Я просто не вправе удерживать тебя здесь.

В ее улыбке была не только горечь, но и веселая насмешка. Она взглянула на него и чуть не рассмеялась.

— С чего это ты вдруг так беспокоишься о моем здоровье?

Он подошел к окну и остановился, глядя в ночь. Никогда еще в безоблачном небе не было столько звезд.

— Женщине в твоем положении нельзя здесь оставаться.

Его легкий белый костюм пятном выделялся во мраке; в чеканном профиле было что-то зловещее, но, как ни странно, сейчас он не внушал ей ни малейшего страха. Неожиданно она спросила:

— Когда ты добился, чтобы я сюда поехала, ты хотел моей смерти?

Он не отвечал так долго, что она успела подумать, не притворяется ли он, будто не слышал.

— Сначала — да.

Она нервно поежилась — ведь это он впервые сознался в своем намерении. Но зла она на него не держала. Она сама себе удивлялась — сейчас он даже внушал ей восхищение и в то же время был немного смешон. А когда она вдруг вспомнила про Чарли Таунсенда, то решила, что он просто глуп.

— Ты шел на страшный риск, — отозвалась она. — При твоей сверхчувствительной совести ты не простил бы себе, если бы я умерла.

— Ну вот, а ты не умерла. Ты даже поздоровела.

— Я в жизни не чувствовала себя лучше.

Ее подмывало воззвать к его чувству юмора. После всего, что они пережили, среди всех этих ужасов и невзгод, идиотством казалось придавать значение такой ерунде, как блуд. Когда смерть подстерегает за каждым углом и уносит свои жертвы, как крестьянин — картошку с поля, не все ли равно, хорошо или плохо тот или иной человек распоряжается своим телом. Если б он только мог понять, как мало значит для нее теперь Чарли — даже лицо его вспоминается уже с трудом, — как безвозвратно эта любовь ушла из ее сердца! У нее не осталось к Таунсенду ни капли чувства, и потому обессмыслилось все, в чем они

были повинны. Сердце ее снова свободно, а что тут было замешано тело — да наплевать на это! Ей хотелось сказать Уолтеру: «Слушай, не пора ли нам образумиться? Мы дулись друг на друга, как дети. Давай помиримся. Любви между нами нет, но почему нам не быть друзьями?»

Он стоял очень тихо. Бесстрастное лицо в свете лампы было мертвенно-бледно. Она не надеялась на него: если скажешь не то, он обрушит на тебя такой ледяной сарказм! Она уже знала, какая ранимость скрывается под этой язвительной маской, как быстро он может замкнуться, если будут задеты его чувства. Надо же быть таким идиотом! Для него важнее всего удар по его самолюбию — наверно, от такого удара вообще труднее всего оправиться. Чудаки эти мужчины, что придают такое значение верности жен. Сама-то она, когда сошлась с Чарли, думала, что изменилась неузнаваемо, а оказалось, что она все такая же, только счастливее и жизнерадостнее. И почему она не смогла сказать Уолтеру, что ребенок его? Ей эта ложь ничего бы не стоила, а для него была бы такая радость. А может, это и не было бы ложью; даже удивительно, что в своих интересах она не подумала о такой лазейке, а вот не подумала… До чего же мужчины глупые! Их роль в этом

деле так ничтожна. Это женщина долгие, тягостные месяцы носит ребенка, женщина в муках рождает его, а мужчина, сбоку припека, туда же, со своими претензиями. Почему это должно влиять на его отношение к ребенку? И мысли Китти обратились к тому ребенку, которого ей самой предстояло родить; она подумала о нем не с волнением, не в радостном предвкушении материнства, а с ленивым любопытством.

— Тебе, конечно, еще хочется это обдумать, — сказал Уолтер, нарушая долгое молчание.

— Что обдумать?

Он оглянулся, словно удивленный ее вопросом.

— Когда тебе лучше ехать.

— Но я не хочу уезжать.

— Почему?

— Мне нравится работать в монастыре. По-моему, я приношу там пользу. Я предпочла бы дождаться тебя.

— Мне, пожалуй, следует тебе объяснить, что в твоем теперешнем положении ты особенно подвержена любой инфекции.

— Как деликатно ты это выразил, — сказала Китти с усмешкой.

— Ты не ради меня остаешься?

Она замялась. Откуда ему знать, что сейчас самое сильное чувство, какое он у нее вызывает, и самое неожиданное — это жалость.

— Нет. Ты меня не любишь. Тебе со мной, наверно, скучно.

— Не подумал бы я, что женщина твоего склада способна пожертвовать своими удобствами ради нескольких праведных монахинь и оравы китайских детишек.

Она улыбнулась.

— Это несправедливо — презирать меня за то, что ты так неправильно меня расценил. Я не виновата, что ты был таким олухом.

— Если ты твердо решила остаться, я, конечно, не собираюсь тебе перечить.

— К сожалению, я не могу дать тебе повод проявить великодушие. — Почему-то ей сейчас было трудно говорить с ним всерьез. — И между прочим, ты совершенно прав: я остаюсь не только ради бедных сироток. Я, понимаешь ли, оказалась в таком положении, что у меня во всем мире нет ни одной родной души. Я не знаю никого, кто принял бы меня с радостью. Никого, кому есть дело, жива я или умерла.

Он нахмурился, но не от гнева.

— Хорошеньких дел мы с тобой натворили,

а? — сказал он.

— Ты все еще собираешься подать на развод? Мне это теперь безразлично.

— Ты же знаешь, что, привезя тебя сюда, я тем самым отказался от права обвинения.

— Нет, я не знала. Я, понимаешь, не специалист по супружеским изменам. Что же мы будем делать, когда уедем отсюда? По-прежнему будем жить вместе?

— Ох, давай лучше не загадывать так далеко вперед.

В голосе его была смертельная усталость.

58

Три дня спустя Уоддингтон зашел за Китти в монастырь (она, не находя себе места от беспокойства, сразу вернулась к работе) и повел, как было обещано, на чашку чаю к своей сожительнице. Китти уже не раз обедала у него. Дом был белый, квадратный, парадный, из тех, какие Таможня строит для своих служащих по всему Китаю. Столовая, где они обедали, гостиная, где пили кофе, были обставлены добротно и строго. В обстановке ничего домашнего, не то отель, не то канцелярия, сразу видно, что эти дома — всего лишь случайное, временное жилище для сменяющихся обитателей. Никому бы и в голову не пришло, что на втором этаже скрыта от посторонних глаз тайна, притом романтического свойства. Они поднялись по лестнице. Уоддингтон отворил дверь. Китти оказалась в большой голой комнате с белыми стенами, на которых развешаны были свитки со столбиками иероглифов. За квадратным черным столом, в жестком кресле тоже черного дерева и покрытого сложной резьбой, сидела маньчжурка. При виде Китти и Уоддингтона она встала, но не двинулась

им навстречу.

— Вот она, — сказал Уоддингтон и добавил что-то по-китайски. Женщина поздоровалась за руку. Она была очень стройная, в длинном вышитом платье и выше ростом, чем ожидала Китти, привыкшая к уроженкам южного Китая. На ней была бледно-зеленая кофта с узкими рукавами, прикрывавшими запястья; на черных, тщательно причесанных волосах красовался головной убор маньчжурских женщин. Лицо было густо напудрено, щеки от глаз до самого рта нарумянены, выщипанные брови как тонкие черные черточки, рот ярко-алый. На этой маске большие черные, слегка раскосые глаза горели, как два озера живого агата. Не женщина, а раскрашенный идол. Движения ее были неспешны, уверенны. Китти показалось, что она немного робеет, но полна любопытства. Пока Уоддингтон говорил с ней, она изредка кивала и взглядывала на Китти. Китти поразили ее руки — невероятно длинные, тонкие, цвета слоновой кости, с накрашенными ногтями. Никогда еще она не видела таких прелестных, томных, грациозных рук. В них угадывалась родовитость несчетных поколений.

Она заговорила высоким, резким голосом —

словно птицы защебетали в саду, — и Уоддингтон перевел Китти ее слова, что она рада ее видеть, и сколько ей лет, и сколько у нее детей? Они сели на три жестких кресла вокруг квадратного стола, и бой подал чай, бледный и ароматизированный жасмином. Маньчжурка предложила Китти зеленую жестянку с сигаретами «Три замка». Кроме стола и кресел, в комнате почти не было мебели, только широкий спальный тюфяк с вышитым валиком в изголовье и два ларя сандалового дерева.

— Что она делает целыми днями? — спросила Китти.

— Немного рисует красками, изредка пишет стихи. А по большей части просто сидит. Курит, но умеренно, и я этому рад, поскольку в мои обязанности входит пресекать торговлю опиумом.

— А сами вы курите? — спросила Китти.

— Очень редко. Честно говоря, я предпочитаю виски. В комнате стоял слабый приторно-едкий запах, не то чтобы неприятный, но характерный, свойственный восточным домам.

— Скажите ей, что мне жаль, что я не могу с ней поговорить. У нас, я уверена, нашлось бы что сказать друг другу.

Когда Уоддингтон перевел, маньчжурка броси-

ла на Китти быстрый взгляд, в котором светилась улыбка. Она сидела в своем пышном наряде, очень величественная, нисколько не смущенная, а глаза на раскрашенном лице были настороженные, загадочные, бездонные. Она была неестественна, как кукла, и притом до того грациозна, что Китти перед ней казалась себе неуклюжей. До сих пор Китти воспринимала Китай, куда забросила ее судьба, без особого внимания, немного свысока. Так было принято в ее кругу. Теперь же на нее повеяло чем-то потусторонним, таинственным. Вот он, Восток, древний, неведомый, непостижимый. Верования и идеалы Запада показались ей грубыми по сравнению с теми идеалами и верованиями, что словно воплотились в этом изысканно-прекрасном создании. Перед ней была совсем другая жизнь, жизнь в совершенно ином измерении. Перед лицом этой куклы с накрашенным ртом и настороженными раскосыми глазами искания и боли повседневного мира утрачивали всякий смысл. Словно за размалеванной маской скрывалось огромное богатство глубоких, значительных переживаний, словно эти тонкие, изящные руки с длинными пальцами держали ключ к неразрешимым загадкам.

— О чем она думает целыми днями? — спро-

сила Китти.

— Ни о чем, — улыбнулся Уоддингтон.

— Она изумительна. Скажите ей, что я еще никогда не видела таких прекрасных рук. Хотела бы я знать, за что она вас любит.

Уоддингтон улыбаясь перевел ее вопрос.

— Она говорит, что я хороший.

— Как будто женщины любят мужчин за их добродетели, — фыркнула Китти.

Рассмеялась маньчжурка всего один раз. Это случилось, когда Китти, чтобы поддержать разговор, стала восхищаться ее нефритовым браслетом. Она сняла браслет, и Китти попробовала его примерить, но, хотя рука у нее была маленькая, браслет на нее не налез. Вот тут маньчжурка и рассмеялась, как ребенок. Она сказала что-то Уоддингтону. Потом позвала служанку, дала ей какое-то поручение, и та, исчезнув на минуту, вернулась с парой очень красивых маньчжурских туфель.

— Она хочет подарить их вам, если окажутся впору, — объяснил Уоддингтон. — Для комнат это очень удобная обувь.

— Они мне как раз, — сказала Китти не без самодовольства, но, заметив, как хитро ухмыльнулся Уоддингтон, быстро спросила: — А ей они

велики?

— О да.

Китти рассмеялась, а когда Уоддингтон перевел, посмеялись и маньчжурка и служанка.

Немного позднее, когда Китти и Уоддингтон поднимались к ее дому, она повернулась к нему с дружеской улыбкой.

— Вы мне и не сказали, как сильно ее любите.

— А с чего вы это взяли?

— По глазам видно. Странно. Это, наверно, все равно как любить призрак или грезу. Мужчины вообще непредсказуемы. Я думала, вы как все, а теперь чувствую, что ничегошеньки о вас не знаю.

Проводив ее до калитки, он неожиданно спросил:

— Зачем вам нужно было ее увидеть?

Китти ответила, немного подумав:

— Я чего-то ищу, чего — сама не знаю. Но знаю, что это очень важно и что, если найти, все пойдет по-другому. Может быть, это известно монахиням; но когда я с ними, я чувствую, что они знают секрет, которым не хотят делиться. Почему-то мне пришло в голову, что, если я увижу эту женщину, мне станет понятно, чего я ищу. Может, она мне и сказала бы, если б могла.

— А почему вы думаете, что она это знает?

Китти искоса поглядела на него и ответила вопросом на вопрос:

— А вы это знаете?

Он пожал плечами.

— Дао. Путь. Одни из нас ищут его в опиуме, другие в Боге, кто в вине, кто в любви. А Путь для всех один и ведет в никуда.

59

Китти вернулась в уже привычную для нее рабочую колею и, хотя с утра чувствовала себя очень неважно, не давала себе распускаться. Ее удивило, какой интерес стали проявлять к ней монашенки. Раньше, встречая ее в коридоре, они только здоровались, теперь же, по-детски волнуясь, норовили под каким-нибудь пустячным предлогом зайти в комнату, где она находилась, посмотреть на нее и поболтать. Сестра Сен-Жозеф раз за разом вспоминала, что она уже давно что-то приметила и все думала: «Что бы это значило?» или «Скорее всего это самое», а потом, когда Китти стало дурно, — «И сомневаться нечего, сразу видно». Она не уставала рассказывать о том, как проходили роды у ее невестки, и некоторые подробности могли бы сильно встревожить Китти, не обладай она чувством юмора. В сестре Сен-Жозеф приятно сочетались памятливость (по лугу на ферме ее отца протекала река, и тополя, что росли на берегу, дрожали от малейшего ветра) и короткое знакомство с библейскими героями. Твердо убежденная в том, что еретичка ничего в этом не может смыслить, она однажды рассказа-

ла Китти про Благовещение.

— Я, когда читаю про это в Священном Писании, всегда плачу, — сказала она. — Сама не знаю почему, просто сердце как-то дрожит.

И процитировала по-французски слова, показавшиеся Китти незнакомыми и суховатыми: «Ангел, вошед к ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами»[53].

Тайна рождения веяла в стенах монастыря, как легкий ветерок среди цветущих яблонь. Мысль, что Китти ждет ребенка, смущала и будоражила этих бесплодных женщин. Они и робели перед Китти, и тянулись к ней. Физическую сторону ее состояния они воспринимали вполне здраво, ибо были дочерями крестьян и рыбаков; но детские их сердца были полны благоговения. Мысль о бремени, которое она носит под сердцем, тревожила их и в то же время вызывала душевный подъем. Сестра Сен-Жозеф говорила, что все они за нее молятся, а сестра Сен-Мартен выразила сожаление, что Китти не католичка. Но настоятельница побранила ее и объяснила, что и протестантка может быть хорошей женщиной

---

[53] Примечания: 53
Евангелие от Луки, 1:28.

— une brave femme — и le bon Dieu[54] так или иначе все это уладит.

Китти и трогало, и забавляло, что она вызывает такой интерес, но по-настоящему ее удивило то, что даже настоятельница, столь строгая в своей святости, стала относиться к ней по-новому. Она всегда была добра к Китти, однако не снисходила до нее; теперь же проявляла к ней чуть не материнскую нежность. И голос ее звучал по-новому мягко, и в глазах мелькали веселые искорки, словно она любовалась Китти, как смышленым ребенком, сумевшим заслужить ее расположение. Китти все это умиляло. Словно в эту душу, спокойную и величавую, как серое море, пугающее своей сумрачной мощью, внезапно проник луч солнца, и оно ожило, подобрело, повеселело. По вечерам она теперь часто заходила посидеть с Китти.

— Я должна следить, чтобы вы не переутомлялись, дитя мое, — сказала она однажды, явно выдумав себе оправдание, — а то доктор Фейн ни за что мне не простит. Ах эта британская сдержанность! Вот ведь он какой, себя не помнит от радости, но, стоит заговорить с ним про это, сразу

---

[54] Примечания: 54
Боженька (*фр.*).

бледнеет.

Она ласково потрепала Китти по руке.

— Доктор Фейн рассказал мне, что советовал вам уехать, но вы отказались, потому что не хотели расстаться с нами. Это очень похвально, дитя мое, и не думайте, что мы не ценим вашей помощи. Но я подозреваю, что вы и с ним не захотели расстаться, а это еще лучше, ибо ваше место — рядом с ним, вы ему нужны. Да, просто не знаю, что бы мы делали без этого замечательного человека.

— Мне отрадно думать, что он кое-что сделал для вас, — сказала Китти.

— Любите его всем сердцем, милая. Он — святой.

Китти улыбнулась и подавила вздох. Для Уолтера она могла теперь сделать только одно, но как это сделать — не знала. Она хотела, чтобы он простил ее — уже не ради нее, но ради себя, ведь только это могло дать ему душевный покой. Просить его прощения бесполезно, если он догадается, что она желает добра не столько себе, сколько ему, он в своем упорном тщеславии тем более ей откажет (его тщеславие почему-то перестало ее раздражать, оно казалось естественным и только усиливало жалость, которую он внушал

ей); единственный шанс — что какое-нибудь непредвиденное внешнее обстоятельство поможет застигнуть его врасплох. Он, возможно, даже ждет эмоционального взрыва, который избавил бы его от кошмара затаенной обиды, но и в этом случае будет в своей одержимости всеми силами бороться с собой.

Ну не позор ли, что люди, которым отпущено так мало времени в полном страданий мире, так безжалостно себя мучат?

60

Хотя настоятельница подолгу беседовала с Китти всего три или четыре раза да еще изредка по нескольку минут, впечатление она произвела на Китти очень глубокое. Ее образ был подобен некой стране, на первый взгляд прекрасной, но негостеприимной; лишь потом обнаруживаешь в складках суровых гор приветливые деревушки под сенью фруктовых деревьев и веселые речки, бегущие по сочным лугам. Но этих отрадных картин, хоть они и удивляют и успокаивают, еще мало, чтобы чувствовать себя дома в этой стране бурых кряжей и просвистанных ветром равнин. Сойтись с настоятельницей по-человечески близко было бы невозможно, в ней было что-то безличное, что Китти ощущала и в общении с другими монахинями, даже с добродушной болтушкой сестрой Сен-Жозеф, но от настоятельницы ее отделяла почти физически осязаемая преграда. Как-то неуютно и страшновато делалось при мысли, что она ходит по одной с тобою земле, по горло занята мирскими делами и все же явственно обитает на уровне, для тебя недосягаемом. Однажды она сказала Китти:

— Монахине мало пребывать в непрестанной молитве Иисусу, она сама должна быть молитвой.

Хотя речь ее была неотделима от ее веры, Китти чувствовала, что это получается само собой, без всякого намерения повлиять на еретичку. Ее удивляло, что настоятельница, столь милосердная к людям, даже не пытается вывести ее, Китти, из состояния, которое не может не казаться ей греховным невежеством.

Как-то вечером они засиделись за разговором. Дни стали короче, мягкий вечерний свет и радовал, и навевал легкую грусть. У настоятельницы вид был очень усталый. Трагическое бледное лицо осунулось, прекрасные темные глаза потеряли блеск. Может быть, это усталость склонила ее к несвойственной ей откровенности.

— Сегодня для меня памятный день, дитя мое, — сказала она, словно пробуждаясь от долгой задумчивости. — Годовщина того дня, когда я окончательно решила посвятить себя Богу. Я уже два года об этом думала, но призвание это меня отпугивало, я боялась, как бы меня вновь не одолели мирские помыслы. Но в то утро, во время причастия, я дала обет, что в этот же день, еще до вечера, сообщу о своем желании матери. После

причастия я помолилась Иисусу о ниспослании мне душевного покоя и явственно услышала в ответ: «Ты тогда обретешь его, когда перестанешь его желать».

Настоятельница словно унеслась мыслями в прошлое.

— В тот день наш близкий друг мадам Вьерно ушла к кармелиткам, не сказавшись никому из родных. Она знала, что они не сочувствуют ее планам, но считала, что, как вдова, имеет право сама собой распоряжаться. Одна из моих кузин ездила к ней проститься и вернулась только вечером, очень взволнованная. Я еще не говорила с матерью, я дрожала при мысли, что нужно ей открыться, но не хотела и нарушить обет, данный во время святого причастия. Я стала расспрашивать кузину о ее поездке. Моя мать, казалось поглощенная рукоделием, внимательно слушала, а я мысленно подгоняла себя: если говорить, то нельзя терять ни минуты.

Странно, до чего отчетливо я помню эту сцену. Мы сидели за столом, круглым столом под красной скатертью, и работали при свете лампы с зеленым абажуром. Две мои кузины гостили у нас, и мы все вместе вышивали гладью сиденья и спинки, чтобы обновить стулья в гостиной. Поду-

майте только, на них не меняли обивку с времен Людовика XIV, когда их только купили, и они, как говаривала моя мать, выцвели и обтрепались до безобразия.

Я пробовала заговорить, но не могла выдавить из себя ни слова, и вдруг моя мать, до того молчавшая, сказала, обращаясь ко мне: «Не понимаю поведения твоей подруги. Как это можно — уйти, не сказав ни слова тем, кому она так дорога. Это какой-то театральный жест, на мой взгляд безвкусный. Воспитанная женщина не сделает ничего такого, что заставило бы о ней судачить. Я надеюсь, что если ты когда-нибудь вздумаешь нас покинуть, что было бы для нас большим горем, то все же не сбежишь тайком, словно совершила преступление».

Вот когда нужно было заговорить, но так велика была моя слабость, что я могла только вымолвить: «О, не беспокойтесь, maman, у меня на это не хватило бы сил».

Мать ничего не ответила, и мне стало стыдно, что я не осмелилась выразиться яснее. Я словно услышала слова Иисуса, обращенные к святому Петру: «Петр, любишь ли ты меня?»[55] Какая же я

---

[55] Примечания: 55
Евангелие от Иоанна, 21:15–17.

слабая, подумала я, какая неблагодарная! Я люблю мою спокойную, обеспеченную жизнь, люблю мою семью, мои развлечения. Немного погодя, когда я еще предавалась этим горьким размышлениям, моя мать сказала, словно наш разговор и не прерывался: «А все же мне думается, моя Одетта, что в своей жизни ты еще совершишь что-то такое, о чем люди будут долго помнить».

Я еще не очнулась от своих мыслей, а мои кузины, не ведая, как колотится у меня сердце, продолжали спокойно вышивать, но матушка вдруг выронила из рук работу и, внимательно посмотрев на меня, сказала: «Дорогое мое дитя, я почти не сомневаюсь, что рано или поздно ты примешь постриг».

«Вы не шутите, маменька? — отозвалась я. — Вы ведь только что описали самое сокровенное мое желание».

«Ну еще бы! — вскричали мои кузины, не дав мне договорить. — Одетта уже два года только об этом и мечтает. Но вы не дадите вашего согласия, тетя? Нельзя вам на это соглашаться!»

«А по какому праву мы можем это запретить, мои милые дети, если на то будет воля Божия?»

Тогда мои кузины, желая обратить все в шутку, стали меня спрашивать, как я намерена

распорядиться всякими безделушками, принадлежащими лично мне, и затеяли шутливый спор о том, кому из них что достанется. Однако веселье это длилось очень недолго, а потом мы заплакали. И тут на лестнице послышались шаги моего отца.

Настоятельница умолкла и глубоко вздохнула.

— Для моего отца это был тяжелый удар. Я была единственной дочерью, а мужчины часто любят дочек сильнее, чем сыновей.

— Великое это несчастье — иметь сердце, — улыбнулась Китти.

— Зато великое счастье — посвятить это сердце любви к Спасителю.

Тут к настоятельнице подошла одна из младших девочек и, уверенная, что ее не прогонят, показала ей неизвестно где раздобытую очень страшную игрушку. Настоятельница обняла девочку за плечи своей прекрасной худощавой рукой, а та доверчиво к ней прижалась. И Китти опять отметила, как ласкова ее улыбка и как безлична.

— Просто поразительно, ma mère, как эти сиротки вас обожают. Я бы загордилась, если б могла вызывать такое преклонение.

И ей настоятельница тоже подарила отрешен-

ную и, однако же, прекрасную улыбку.

— Единственный способ завоевывать сердца — это уподоблять себя тем, чью любовь мы хотим заслужить.

61

Уолтер в тот вечер не вернулся к обеду. Китти подождала немного — обычно он, если задерживался в городе, находил способ известить ее, — но в конце концов села обедать одна. Она больше для вида отведала каждого из пяти-шести блюд, которые повар неизменно готовил, соблюдая обеденный обряд, несмотря на эпидемию и трудности со снабжением; а поев, растянулась в низком плетеном кресле у открытого окна и дала околдовать себя звездной ночи. Тишина сулила ей отдых.

Читать она не пыталась. Мысли проплывали по поверхности ее сознания, как белые облачка, отраженные в тихом пруду. Она так устала, что не в силах была ухватиться за какое-нибудь одно такое облачко, последовать за ним, проследить его путь. Она лениво пробовала подытожить впечатления, оставшиеся у нее от разговоров с монахинями. Казалось странным, что, хотя их образ жизни внушал ей такое уважение, вера, толкавшая их на такой образ жизни, оставляла ее равнодушной. Она даже вздыхала легонько: может быть, все стало бы проще, если бы душу

ее озарило это широкое белое сияние. Бывали минуты, когда ей хотелось рассказать настоятельнице о своем горе и чем оно вызвано, но не хватало духу: слишком страшно было, что эта строгая женщина будет плохо о ней думать. В ее глазах поведение Китти, несомненно, являет собой тяжкий грех. Странно, думалось Китти, что ей самой оно кажется не столько греховным, сколько некрасивым и глупым.

Может, это недомыслие с ее стороны, но, если связь с Таунсендом и представляется ей достойной сожаления, даже неприличной, в ней не раскаиваться надо, а поскорее о ней забыть. Все равно как если допустишь какой-нибудь промах на званом вечере — очень, конечно, обидно, но ничего не поделаешь, а придавать этому серьезное значение просто неумно. При воспоминании о Чарли ее пробирала дрожь — эта его крупная, упитанная фигура, безвольный подбородок и манера выпячивать грудь, чтобы не казалось, что у него брюшко. Жизнелюбие проявляется у него в тонких красных жилках, которые скоро затянут щеки сплошной сеткой. Когда-то ей так нравились его косматые брови, теперь же ей виделось в них что-то грубое, отталкивающее.

А будущее? Она была к нему до странности рав-

нодушна, вообще о нем не задумывалась. Может быть, она умрет, когда родится ребенок. Ее сестра Дорис всегда считалась здоровее ее, а Дорис ведь чуть не умерла от родов. (Она исполнила свой долг — подарила наследника новой династии баронетов. Китти улыбнулась, вспомнив, какой радостью это было для ее матери.) Раз будущее так темно, это может означать, что ей не суждено его увидеть. Уолтер, вероятно, препоручит ребенка заботам ее матери… если ребенок выживет; а Уолтера она знает: он, даже если не будет уверен в своем отцовстве, не бросит ребенка на произвол судьбы. На Уолтера можно положиться, он в любых обстоятельствах покажет себя с наилучшей стороны. Какая жалость, что при всех его достоинствах — честности, готовности к самоотречению, чуткости и уме — его так трудно полюбить! Она теперь нисколько его не боится, она его жалеет, и все же он кажется ей глуповат. Глубина его чувства — вот что сделало его особенно уязвимым, но когда-нибудь, как-нибудь она сумеет добиться его прощения. Ее не оставляла мысль, что, только вернув ему душевный покой, она искупит боль, которую причинила ему. Как жаль, что у него не развито чувство юмора: она-то может себе представить, что когда-нибудь они вместе посмеются,

вспомнив, как сами себя терзали.

Она устала. Унесла лампу к себе в спальню, разделась. Легла и вскоре уснула.

62

Но ее разбудил громкий стук. Он вплелся в ее сновидения, так что она не сразу сообразила, что это не сон. Стук продолжался, и она поняла, что стучат в калитку. Было совсем темно. Она посмотрела на свои часики со светящимися стрелками: половина третьего. Наверно, Уолтер — как он поздно! — а бой не слышит. Стук продолжался, все громче и громче, в молчании ночи он звучал очень тревожно. Потом он прекратился, она услышала, как отодвинули тяжелый засов. Никогда еще Уолтер не возвращался так поздно. Бедняга, наверно, совсем вымотался. Хоть бы у него хватило ума сразу лечь, а не корпеть, как всегда, в этой своей лаборатории!

Послышались голоса, кто-то вошел во двор. Странно, ведь Уолтер, когда возвращается поздно, старается не шуметь, чтобы не беспокоить ее. Не то два, не то три человека взбежали на крыльцо и вошли в соседнюю комнату. Китти испугалась. В глубине ее сознания всегда жила боязнь антиевропейских волнений. Что-нибудь началось? Сердце у нее забилось. Но смутные опасения еще только зародились в ее мозгу, когда кто-то подо-

шел к ее двери и постучал.

— Миссис Фейн!

Она узнала голос Уоддингтона.

— Да. Что случилось?

— Встаньте, пожалуйста. Я к вам по делу.

Она встала и, надев халат, отперла и распахнула дверь. За дверью стоял Уоддингтон в китайских шароварах и чесучовом пиджаке, бой с фонарем в руке, а немного позади них — три китайских солдата в хаки. Она вздрогнула, увидев расстроенное лицо Уоддингтона, и весь он выглядел так, будто только что вскочил с постели.

— Что случилось? — повторила она чуть слышно.

— Не надо волноваться. Но нельзя терять ни минуты. Одевайтесь поскорее, и идемте.

— Но почему? Что-нибудь произошло в городе?

При виде солдат она сразу решила, что начались беспорядки и они присланы охранять ее.

— Ваш муж заболел. Идемте скорее.

— Уолтер! — вскрикнула она.

— Держите себя в руках. Я сам еще точно не знаю, в чем дело. Полковник Ю прислал ко мне этого офицера и просил меня немедленно доставить вас в его резиденцию.

Китти, вся похолодев, тупо посмотрела на него,

потом отступила от двери.

— Я буду готова через две минуты.

— Я пришел в чем был, — отозвался он. — Я тоже спал. Надел только пиджак и туфли.

Она не слышала. Натянула на себя первое, что попалось под руку, пальцы не слушались, она с трудом застегнула какие-то крючки на платье. На плечи накинула кантонскую шаль, которая была на ней вечером.

— Шляпу можно не надевать?

— Да.

Бой с фонарем пошел впереди, они поспешно спустились с крыльца и вышли на улицу.

— Осторожней, не упадите, — сказал Уоддингтон. — Вот моя рука, цепляйтесь.

Военные не отставали от них ни на шаг.

— Полковник Ю выслал паланкины. Они ждут на том берегу.

Они быстро спустились к реке. Китти не могла заставить себя задать вопрос, мучительно стучавший в мозгу, — слишком боялась ответа. На пристани их ждал сампан с фонариком на носу. Тут она спросила:

— Это холера?

— Видимо, так.

Она вскрикнула и остановилась.

— Не будем задерживаться, пошли. — Он шагнул в лодку и подал ей руку. Переправа была недолгая, они сгрудились на носу, а перевозчица с привязанным к бедру младенцем одним веслом погнала лодку по неподвижной воде.

— Он заболел сегодня днем, — сказал Уоддингтон. — Вернее, вчера днем.

— Почему за мной сразу не послали?

Таиться было не от кого, но они говорили шепотом. В темноте лица Уоддингтона не было видно, и Китти только чувствовала, как он весь напряжен.

— Полковник Ю хотел послать, он сам не позволил. Полковник Ю все это время не отходил от него.

— Он должен был за мной послать. Разве так можно?

— Ваш муж знал, что вы никогда не видели холерного больного. Это очень страшно и отвратительно. Он хотел избавить вас от этого зрелища.

— Как-никак он мой муж, — выговорила она задыхаясь. Уоддингтон не ответил. — А почему теперь меня вызвали?

Уоддингтон дотронулся до ее руки.

— Дорогая моя, наберитесь мужества. Нужно

быть готовой к самому худшему.

Она громко застонала и тут же отвернулась, заметив, что солдаты на нее смотрят. Глаза их таинственно блеснули во мраке.

— Он умирает?

— Я знаю только, какое поручение полковник Ю дал этому офицеру, когда посылал его за мной. Сколько я понимаю, он уже без сознания.

— И никакой надежды?

— Мне страшно жаль, но боюсь, мы можем не застать его в живых.

Она содрогнулась. Из глаз хлынули слезы.

— Понимаете, он очень истощен, никакой сопротивляемости.

Она раздраженно оттолкнула его руку. Ее бесило, что он говорит таким тихим, сдавленным голосом.

Они причалили, и два кули, стоявшие на берегу, помогли ей выйти из лодки. Паланкины их ждали. Подсаживая ее, Уоддингтон сказал:

— Постарайтесь не распускаться. Нервы вам еще понадобятся.

— Скажите носильщикам, чтобы торопились.

— Им дан приказ — бежать как можно быстрее.

Офицер, уже сидя в паланкине, крикнул что-то

ее носильщикам. Они подхватили паланкин, приладили палки на плечах и дружно тронули с места. Подъем они одолели бегом, впереди каждого паланкина бежал человек с фонарем, а наверху, у водяных ворот, стоял сторож с факелом. Офицер окликнул его, он распахнул одну створку ворот и пропустил их, обменявшись с носильщиками какими-то непонятными возгласами. Эти гортанные звуки на чужом языке прозвучали в ночной темноте загадочно и тревожно. Они стали подниматься по мокрым и скользким булыжникам мостовой, один из носильщиков офицера споткнулся. До Китти донесся гневный окрик офицера, визгливый ответ носильщика, потом головной паланкин помчался дальше. Улицы были узкие, извилистые. Здесь, в городе, было совсем темно. Город мертвых. Они пронеслись по узкому переулку, свернули за угол, взбежали вверх по каким-то ступеням. Запыхавшиеся носильщики уже не бежали, а шли, молча, быстрым размашистым шагом; один из них на ходу достал рваный платок и вытер пот, заливавший глаза. Они без конца сворачивали то вправо, то влево, как в лабиринте. Порой можно было угадать, что у порога какой-нибудь запертой лавки лежит человеческая фигура, но невозможно было опре-

делить, проснется ли этот человек рано утром или не проснется никогда. В узких безлюдных улочках стояла жуткая тишина, и, когда где-то залаяла собака, натянутые нервы Китти совсем сдали. Куда ее несут? Этой дороге не будет конца. Неужели нельзя побыстрее? Быстрее, быстрее. Время не ждет. А что, если они уже опоздали?

63

В длинной глухой стене, вдоль которой лежал их путь, появились ворота с будками по бокам, и паланкины стали. Уоддингтон бросился к Китти. Она уже соскочила на землю. Офицер постучал, что-то крикнул, открылась калитка, и они вошли во двор. Двор был большой, квадратный. У стен его, под стропилами выступающих крыш, лежали вповалку солдаты, завернувшись в одеяла. У ворот офицер, задержавшись на минуту, перекинулся словами с военным, судя по всему — начальником караула. Потом офицер сказал что-то Уоддингтону.

— Он еще жив, — сказал Уоддингтон. — Осторожно, не споткнитесь.

По-прежнему следуя за огоньками фонарей, они пересекли двор, поднялись по ступенькам к широкой двери, потом вниз, в другой просторный двор. Вдоль одной его стороны тянулась длинная освещенная комната. Сквозь рисовую бумагу чернел сложный узор оконных переплетов. Провожатые довели их до этой комнаты, офицер постучал. Дверь тотчас отворилась, и офицер, взглянув на Китти, отступил в сторону.

— Входите, — сказал Уоддингтон.

Комната была длинная, низкая, лампы тускло горели в зловещем полумраке. У противоположной стены лежал на тюфяке человек, укутанный одеялом. В ногах стоял навытяжку военный.

Китти подбежала и склонилась над тюфяком. Уолтер лежал с закрытыми глазами. В сумрачном свете его серое лицо казалось мертвым. Он был до ужаса неподвижен.

— Уолтер, Уолтер, — проговорила она задыхаясь.

Тело чуть шевельнулось. Это был только призрак движения — легкий, как дуновение ветра, которого не чувствуешь, только видишь, как оно шевельнуло неподвижную поверхность воды.

— Уолтер, Уолтер, скажи мне что-нибудь.

Глаза медленно раскрылись, словно поднять тяжелые веки стоило ему неимоверных усилий, но он не смотрел на нее, он уставился в стену, приходившуюся в нескольких дюймах от его лица. Он заговорил; в голосе, тихом и слабом, можно было угадать улыбку.

— Вот в какой я попал переплет, — сказал он.

Китти затаила дыхание. Ни звука, ни намека на жест, только глаза, темные, холодные, прикованы к белой стене (какие тайны им сейчас

открылись?). Китти встала на ноги и растерянно обратилась к своему спутнику:

— Неужели ничего нельзя сделать? Вы так и будете стоять как истукан?

Она стиснула руки. Уоддингтон заговорил с офицером, стоявшим в ногах постели.

— Видимо, они сделали все, что могли. При нем был полковой врач. Его обучил ваш муж. Он сделал все то же, что доктор Фейн сам бы сделал.

— Это и есть врач?

— Нет, это полковник Ю. Он не отходит от вашего мужа.

Китти бросила на него отчаянный взгляд. Он был высокого роста, крепкого сложения, защитная форма казалась ему тесна. Он смотрел на Уолтера, и она заметила в его глазах слезы. У нее защемило сердце. С какой стати у этого чужого человека с круглым желтым лицом глаза полны слез? Это невыносимо.

— Какой ужас, что ничего нельзя сделать.

— Сейчас он хотя бы уже не страдает, — сказал Уоддингтон.

Она опять склонилась над мужем. Его пугающие глаза по-прежнему смотрели прямо вперед. Непонятно было, видит он что-нибудь или нет, слышит ли, что говорится. Она придвинула губы

к его уху.

— Уолтер, чего тебе дать?

Ей казалось, что должно быть какое-то лекарство, которое можно ему дать, чтобы задержать эту быстро уходящую жизнь. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, она видела, что лицо его ссохлось. Он был неузнаваем. Немыслимым казалось, что за каких-нибудь несколько часов он стал настолько непохож на себя. Он вообще не был похож на человека: не человек, а сама смерть. Ей показалось, что он хочет что-то сказать. Она пригнулась ближе.

— Не суетись. Было скверно, очень скверно, а сейчас ничего.

Китти ждала, что он еще скажет, но он молчал. Самое страшное, что он лежит так тихо, точно уже приготовился к молчанию могилы. Подошел какой-то человек, санитар или врач, и жестом велел ей отойти, а сам, склонившись над умирающим, обтер мокрой тряпкой его губы. Китти еще раз шепотом воззвала к Уоддингтону:

— И никакой, никакой надежды?

Он покачал головой.

— Сколько он еще может прожить?

— Точно не скажешь. Может быть, час.

Китти обвела глазами голую комнату, и взгляд

ее остановился на внушительной фигуре полковника Ю.

— Можно мне побыть с ним вдвоем? — спросила она. — Совсем недолго, всего минуту.

— Разумеется.

Уоддингтон подошел к полковнику и поговорил с ним. Тот поклонился и вполголоса отдал приказ.

— Мы будем за дверью, — сказал Уоддингтон, выходя с остальными. — Если что, позовите.

Теперь, когда неотвратимое завладело ее сознанием, как наркотик, разлившийся по жилам, когда она уже не сомневалась, что Уолтер умрет, у нее осталось одно желание — облегчить ему последние минуты, выдернув из его души отравленную занозу старой обиды. Ей казалось, что если он перед смертью помирится с нею, то помирится и с самим собой. Она думала не о себе, только о нем.

— Уолтер, умоляю, прости меня, — сказала она. Из опасения сделать ему больно она его не касалась. — Я так перед тобой виновата. Я так горько раскаиваюсь.

Он молчал. Как будто не слышал. Она не сдавалась. Ей чудилось, что его душа — как бабочка, что бьется о стекло, и крылья ее отяжелели от

ненависти.

— Милый.

Тень прошла по землистому, изможденному лицу. Лицо даже не шевельнулось, но ей показалось, что его свела судорога. Никогда еще она так к нему не обращалась. Может быть, в его угасающем мозгу мелькнула мысль, смутная, почти неуловимая, что раньше она употребляла это слово не думая, относя его к собакам, к детям, к автомобилям. А потом случилось самое страшное. Она сжала руки, изо всех сил стараясь сдержаться: две слезы медленно поползли по его исхудалым щекам.

— О дорогой мой, родной, если ты когда-нибудь меня любил, а ты любил меня, я знаю, и я так ужасно с тобой поступила — прости меня. Я уже не смогу доказать тебе, как я раскаиваюсь. Сжалься надо мной. Прости меня, умоляю.

И умолкла. Смотрела на него не дыша, страстно ждала ответа. И вот он попытался заговорить. Сердце ее подскочило. Да, она искупит все страдания, которые причинила ему, если сейчас, в последнюю минуту, ей удастся освободить его от груза застарелой злобы. Губы его дрогнули. Он не смотрел на нее. Невидящие глаза упирались в белую стену. Она наклонилась, чтобы лучше слы-

шать. Но он произнес совершенно отчетливо:

— Собака околела.

Она застыла, словно обратилась в камень. Ничего не поняв, смотрела на него в горестной растерянности. Это бессмыслица. Бред. Он не понял ни единого ее слова.

Не может быть, чтобы человек был так неподвижен — и все-таки жив. Она ждала. Глаза у него открыты. Дышит или нет — не понять. Ей стало тревожно.

— Уолтер, — шепнула она. — Уолтер.

Она рывком поднялась, внезапно охваченная страхом. Повернулась и пошла к двери.

— Подите сюда, пожалуйста. Он, кажется, не…

Они вошли. Врач-китаец приблизился к постели, зажег электрический фонарик и посветил Уолтеру в глаза. А потом закрыл их. Сказал что-то по-китайски. Уоддингтон обнял Китти за плечи.

— Умер.

Китти глубоко вздохнула. Несколько слезинок скатилось по щекам. Это было не потрясение, какая-то оторопь нашла на нее. Китайцы стояли кучкой, с беспомощным видом, словно не зная, что делать дальше. Уоддингтон молчал. Потом китайцы стали тихо переговариваться.

— Давайте я провожу вас домой, — сказал Уод-

дингтон. — Его перенесут туда.

Китти устало провела рукой по лбу. Подошла к постели, наклонилась, осторожно поцеловала Уолтера в губы. Она уже не плакала.

— Простите, что доставила вам столько хлопот.

Военные отдали честь, она с достоинством им поклонилась. Они снова пересекли один двор, потом другой и сели в паланкины. Уоддингтон закурил. Дымок папиросы растаял в воздухе — вот она, человеческая жизнь!

64

Уже светало, кое-где китайцы открывали свои лавки, убирали ставни. В темном закутке при свете свечи умывалась женщина. В чайном домике на углу закусывала группа рабочих. Серый, холодный утренний свет крался по узким улочкам, как вор. На реке лежал белесый туман, мачты джонок пронзали его, как копья призрачных воинов. На воде было холодно, Китти закуталась в свою веселую цветастую шаль. На безоблачном небе взошло солнце. Оно светило как всегда, как будто ничего не случилось и этот день был как все остальные.

— Вам бы прилечь? — сказал Уоддингтон, когда они вошли в дом.

— Нет, я посижу у окна.

За прошедшие недели она сидела здесь так часто и долго, глаза ее так привыкли к сказочному, прекрасному и загадочному храму на городской стене, что зрелище это навевало покой. Но даже в трезвом свете дня оно казалось таким нереальным, что отвлекало мысли от действительности.

— Я скажу бою, чтобы подал вам чай. Похоронить его, к сожалению, придется сегодня же. Я

обо всем договорюсь.

— Спасибо.

65

Три часа спустя его хоронили. Китти покоробило, что его положили в громоздкий китайский гроб, она не могла отделаться от чувства, что ему будет неудобно, но выбора не было. Монахини, узнав о смерти Уолтера, как они узнавали обо всем, что творилось в городе, прислали с посыльным крест из георгинов, парадный и казенный, словно сделанный опытными руками в цветочном магазине, и этот крест на голой крышке китайского гроба выглядел нелепо, не у места. Когда все было готово, пришлось еще подождать полковника Ю — он прислал к Уоддингтону солдата передать, что желает присутствовать на похоронах. Он прибыл в сопровождении адъютанта. Шестеро кули внесли гроб на склон холма, к небольшому участку, где покоилось тело миссионера, которого сменил Уолтер. Среди пожитков последнего Уоддингтон нашел английский молитвенник и теперь тихим голосом и явно смущаясь, что было ему так несвойственно, прочитал заупокойную службу. Возможно, что, произнося эти торжественные, но грозные слова, он думал о том, что, если сам в свой черед падет

жертвой эпидемии, прочесть их над ним будет уже некому. Гроб опустили в могилу могильщики стали забрасывать его землей.

Полковник Ю, стоявший у могилы обнажив голову надел фуражку почтительно отдал честь Китти, простился с Уоддингтоном и отбыл, сопровождаемый адъютантом. Кули еще потолкались на месте — им любопытно было поглядеть на христианские похороны, — потом забрали свои веревки и не спеша поплелись восвояси. Китти и Уоддингтон дождались, пока могилу засыплют, и на холмик, пахнущий свежей землей, положили крепко связанные в крест георгины монахинь. Китти не плакала, но, когда по крышке гроба застучали первые комья земли, чуть не застонала от горя.

Она заметила, что Уоддингтон ее дожидается.

— Вы торопитесь? — спросила она. — Не хочется мне сразу возвращаться в дом.

— Я совершенно свободен, целиком в вашем распоряжении.

66

Они добрели по дороге до вершины холма, где стояли ворота, этот памятник безутешной вдове, занявший такое значительное место в здешних впечатлениях Китти. Это был символ, но что он символизировал — неизвестно, и непонятно было, почему ей мерещилась в нем такая злая ирония.

— Посидим? Мы так давно здесь не были. — Равнина привольно раскинулась перед ней, тихая, безмятежная под безоблачным небом. — Всего несколько недель я здесь прожила, а кажется — целую жизнь.

Он не ответил, и она помолчала, задумавшись. Потом вздохнула и спросила:

— Как вы думаете, душа бессмертна?

Он, казалось, не удивился ее вопросу.

— Откуда мне знать?

— Час назад, когда Уолтера обмывали, я смотрела на него. На вид он был совсем молодой, таким рано умирать. Помните того нищего, которого мы видели, когда вы в первый раз вытащили меня погулять? Я тогда испугалась не потому, что он был мертвый, а что выглядел так, будто никогда

и не был человеком. Просто мертвое животное. А Уолтер выглядел как машина, у которой кончился завод. Вот что ужасно. Ведь если это только машина, до чего же ничтожны и бессмысленны все наши страдания, боли, душевные муки!

Не отвечая, он бродил взглядом по широкому ландшафту, расстилавшемуся у их ног. Бескрайний простор в это солнечное утро наполнял сердце ликованием. Аккуратные квадратики рисовых полей тянулись вдаль сколько хватал глаз, на многих из них копошились фигурки — буйволы, крестьяне в синей одежде. Мирная, счастливая картина. Китти нарушила молчание:

— Не могу вам выразить, как меня взволновало то, что я увидела в монастыре. Эти монахини — поразительные женщины, перед ними я чувствую себя полным ничтожеством. Они от всего отказались, бросили все: дом, родину, любовь, детей, свободу; и все те мелочи, от которых отказаться, может быть, еще труднее, — цветы и зеленые луга, прогулки осенним днем, книги, музыку, комфорт — на всем поставили крест. И ради чего? Что их ждет взамен? Жизнь, полная самопожертвования и лишений, послушание, изнуряющая работа и молитва. Этот мир для них поистине место изгнания. Жизнь — крест, кото-

рый они несут добровольно, но в сердце их не умирает ожидание — да что там, это куда сильнее — не ожидание, а страстное желание смерти, которая откроет перед ними жизнь бесконечную.

Китти стиснула руки в горестном недоумении.

— И что же?

— А если «жизни бесконечной» нет? Подумайте, что это значит, если со смертью действительно кончается все? Они от всего отказались — и не получили ничего. Их обманули. Одурачили.

Уоддингтон ответил не сразу.

— Вот не знаю. Не знаю, так ли уж это важно, что их высокая цель оказалась иллюзией. Жизнь их сама по себе прекрасна. Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удается прожить. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это — самое высокое произведение искусства.

Китти вздохнула. Его рассуждения показались ей сухими. Ей было этого мало.

— Вы бывали на симфонических концертах? — продолжал он.

— Бывала, — улыбнулась она. — В музыке я мало что смыслю, но слушать очень люблю.

— Каждый музыкант в оркестре играет на своем инструменте, и много ли ему известно о тех сложных гармониях, что из этого рождаются? Он играет только свою, порой очень скромную партию. Но он знает, что симфония чудесна, чудесна, даже если никто ее не слышит, и он доволен тем, что в ней участвует.

— Вы как-то говорили о Дао, — сказала Китти. — Объясните мне, что это такое.

Уоддингтон кинул на нее быстрый взгляд, секунду колебался, а потом заговорил с едва заметной улыбкой:

— Это Путь и Путник. Это вечная дорога, по которой движется все живое, но ее никто не создал, ибо она сама — живая. Она все и ничто. От нее все возникает, ей подчиняется и к ней в конечном счете возвращается. Это квадрат без углов, звук, не слышный уху, образ без формы. Это необъятная сеть, и, хотя ячейки ее огромны, как море, она ничего сквозь себя не пропускает. Это святая святых, где все могут найти прибежище. Оно — нигде, но его можно увидеть и не выглянув из окна. Не желай желать, учит оно, предоставь всему идти своими путями. Смиряющийся будет

сохранен. Сгибающийся будет выпрямлен. Неудача — основа успеха, а в успехе таится зародыш неудачи; но кто скажет, когда одно сменится другим? Стремящийся к нежности может уподобиться малому ребенку. Доброта приносит победу нападающему и спасение защищающемуся. Могуществен тот, кто одолеет себя.

— А это что-нибудь значит?

— Когда вольешь в себя стаканчиков десять и смотришь на звезды, иногда кажется, что как будто и значит.

Наступило молчание, и опять его нарушила Китти:

— Скажите, «Собака околела» — это цитата?

Уоддингтон улыбнулся и уже готов был ответить. Но возможно, что в эту минуту восприятие его было обострено больше обычного. Китти не смотрела на него, но что-то в ее лице заставило его поостеречься.

— Не знаю, — ответил он. — Вполне возможно. А что?

— Так. Просто вспомнилось. Как будто что-то знакомое.

И снова молчание.

— Когда вы остались наедине с вашим мужем, — заговорил Уоддингтон, — я побеседовал

с полковым врачом. Мне хотелось узнать кое-какие подробности.

— И что же?

— Он был очень возбужден. Я, возможно, неправильно его понял. Насколько я мог разобрать, ваш муж заразился во время какого-то эксперимента.

— Он все время ставил эксперименты. Ведь он был не практикующим врачом, а бактериологом. Потому ему так и хотелось сюда попасть.

— Но я не понял вот чего: то ли он заразился нечаянно, то ли сознательно экспериментировал на себе.

Китти сильно побледнела. Мысль эта привела ее в содрогание. Уоддингтон коснулся ее руки.

— Простите, что возвращаюсь к этому, — сказал он мягко. — Я подумал, может быть, это послужит вам утешением… в таких случаях ужасно трудно сказать что-то нужное… я подумал, что для вас это важно — знать, что Уолтер умер на посту, как мученик за науку.

Китти пожала плечами и ответила чуть раздраженно:

— Уолтер умер от разбитого сердца.

Уоддингтон промолчал. Она медленно повернулась и посмотрела на него. Лицо ее было бледно, сосредоточенно.

— Почему он сказал «Собака околела»? Откуда это?

— Это последняя строка «Элегии» Голдсмита[56].

[56] Примечания: 56

У английского поэта, драматурга и романиста Оливера Голдсмита (1728–1774) есть хрестоматийно известная «Элегия на смерть бешеной собаки» — шуточное стихотворение о том, как человека укусила бешеная собака и все прочили ему близкую смерть. Но случилось чудо — так заканчивается стихотворение: «Укушенный остался жив, собака околела». (*Перевод Б. Рогова.*)

67

На следующее утро Китти отправилась в монастырь. Девочка, открывшая ей дверь, как будто удивилась, увидев ее, а через несколько минут в комнате, где она приступила к своим занятиям, появилась настоятельница, подошла к ней и взяла ее за руку.

— Я рада вас видеть, дитя мое. Это очень мужественно с вашей стороны — прийти сюда так скоро после постигшего вас несчастья — и очень разумно: я уверена, что работа отвлечет вас от тяжелых мыслей.

Китти потупилась и покраснела; ей не хотелось, чтобы настоятельница читала в ее сердце.

— Нечего и говорить о том, как мы все вам сочувствуем.

— Вы очень добры, — прошептала Китти.

— Все мы за вас молимся Господу, за вас и за душу того, кого вы потеряли.

Китти не ответила. Настоятельница отпустила ее руку и, как всегда, спокойным, непререкаемым тоном поручила ей кое-какую работу. Погладила по головке двух-трех малышей, улыбнулась им своей ласковой, но отрешенной улыбкой и ушла,

куда призывали ее более срочные дела.

68

Прошла неделя. Китти сидела за шитьем. Вошла настоятельница и, подсев к ней, внимательно разглядела ее рукоделие.

— Вы очень хорошо шьете, дитя мое. Среди молодых женщин вашего круга это сейчас редкий талант.

— У меня мать прекрасная рукодельница.

— Вот будет радость для вашей мамы опять с вами свидеться.

Китти подняла голову. Что-то было в манере настоятельницы, что не позволяло принять ее слова как простое проявление вежливости. А она продолжала:

— Я разрешила вам приходить сюда после смерти вашего мужа, полагая, что это отвлечет ваши мысли. Мне казалось, что в то время вам еще не по силам было бы совершить в одиночестве долгий путь в Гонконг, и не хотелось мне, чтобы вы целыми днями сидели одна дома без дела и только думали о своей утрате. Но теперь прошло уже восемь дней. Пора вам и в путь.

— Я не хочу уезжать, ma mère. Я хочу остаться здесь.

— Здесь вам незачем оставаться. Вы приехали, чтобы не разлучаться с мужем. Ваш муж скончался. В вашем положении вам скоро потребуется уход и забота, каких здесь не найти. Милое мое дитя, ваш долг — сделать все возможное для благополучия того существа, которое Бог препоручил вашим заботам.

Китти молча понурила голову.

— Мне казалось, что я приношу здесь какую-то пользу. Это ощущение доставляло мне много радости. Я надеялась, что вы разрешите мне работать у вас до конца эпидемии.

— Мы все вам признательны за помощь, — отозвалась настоятельница с легкой улыбкой. — Но сейчас, когда эпидемия пошла на убыль, приезд сюда уже не связан с таким риском, и я жду двух наших сестер из Кантона. Они должны прибыть в ближайшее время, а тогда ваши услуги мне, пожалуй, уже не понадобятся.

У Китти упало сердце. Тон настоятельницы не допускал возражений. Китти уже достаточно ее знала, чтобы понять: никакие мольбы на нее не подействуют. Одно то, что ей пришлось уговаривать Китти, внесло в ее голос нотку если не раздражения, то опасной категоричности.

— Мистер Уоддингтон был так любезен, что

спросил моего совета.

— Лучше бы он не совался не в свое дело, — перебила Китти.

— Если бы он и не обратился ко мне, я все равно была бы вынуждена сказать ему мое мнение, — мягко возразила настоятельница. — Сейчас ваше место не здесь, а у вашей матери. Мистер Уоддингтон уже договорился с полковником Ю, он дает вам охрану, так что в пути вы будете в полной безопасности. Уже наняты и кули, и носильщики. С вами поедет служанка, она позаботится о ночлегах. Словом, комфорт вам всячески обеспечен.

Китти стиснула губы. Могли бы, кажется, хоть посоветоваться с нею, ведь все это касается только ее. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответ ее не прозвучал резко:

— И когда же я должна отбыть?

Настоятельница и бровью не повела.

— Чем скорее вы вернетесь в Гонконг, а оттуда отплывете в Англию, тем лучше, дитя мое. Мы решили, что вам удобно будет пуститься в дорогу послезавтра рано утром.

— Уже?!

Китти чуть не заплакала. Но они правы: здесь она лишняя.

— Все вы, как видно, очень спешите от меня

отделаться, — сказала она уныло.

И сразу уловила в манере настоятельницы какое-то облегчение. Поняв, что Китти готова сдаться, та бессознательно перешла на более милостивый тон. Чувство юмора часто выручало Китти, и теперь глаза ее весело блеснули при мысли, что и святые любят поставить на своем.

— Не подумайте, что мы не ценим вашу доброту, дорогая, и похвальное сострадание, в силу которого вы так неохотно расстаетесь с добровольно взятыми на себя обязанностями.

Китти, глядя прямо перед собой, слегка повела плечами. Она знала, что таких высоких добродетелей за ней не водится. Остаться ей хотелось потому, что некуда было ехать. Странное это чувство, что во всем мире нет человека, которому не было бы безразлично, жива она или умерла.

— Я даже не понимаю, почему вам так не хочется вернуться на родину, — дружелюбно продолжала настоятельница. — Здесь, в Китае, есть немало иностранцев, которые много бы дали за такую возможность.

— Но вы не из их числа, ma mère?

— Ну мы — это другое дело. Мы, когда уезжаем сюда, знаем, что расстаемся с родиной навсегда.

Оттого, что ей самой было грустно и больно, у

Китти возникло желание — недоброе желание отыскать щелку в той броне религии, что так надежно защищала монахинь от всех естественных человеческих чувств. Захотелось проверить, неужели в настоятельнице не осталось ничего от слабости, присущей всем обыкновенным людям.

— Я-то думала, хоть изредка, наверно, становится тяжело, когда вспомнишь, что никогда больше не увидишь дорогих тебе людей и те места, где прошло твое детство.

Настоятельница ответила не сразу, но Китти, наблюдая за ней, не заметила ни малейшей перемены в безмятежном выражении ее прекрасного строгого лица.

— Это тяжело для моей матери, ведь я у нее единственная дочь, а она уже старая, и, конечно, самое заветное ее желание — еще раз повидать меня перед смертью. Мне жаль, что я не могу доставить ей эту радость. Но этому не бывать, так что подождем того часа, когда свидимся с нею в раю.

— И все-таки, как подумаешь о тех, кто тебя любит, невольно задаешься вопросом, правильно ли было порывать с ними всякую связь.

— Вы хотите знать, жалею ли я когда-нибудь о своем поступке? — Лицо настоятельницы вне-

запно преобразилось. — Никогда, никогда! Я отказалась от никчемной, пошлой жизни ради другой, посвященной самопожертвованию и молитве. — После короткой паузы она продолжала уже не так торжественно: — Я попрошу вас захватить с собой посылочку и отправить ее почтой из Марселя. Не хотелось бы вверять ее китайской почтовой службе. Сейчас принесу.

— Вы можете дать мне ее завтра, — сказала Китти.

— Завтра, дитя мое, вы будете так заняты, что и побывать здесь не успеете. Лучше уж мы простимся сегодня.

Она поднялась и с непринужденной грацией, которую не могли скрыть даже тяжелые складки ее одежды, выплыла из комнаты. А тут явилась сестра Сен-Жозеф. Она пришла проститься. Надеется, что Китти доберется благополучно. Опасности никакой, ведь полковник Ю обещал ей сильную охрану. Сестры то и дело ездят этим путем поодиночке, и никогда с ними ничего не случается. А море она любит? Mon Dieu, как же ей было плохо во время шторма в Индийском океане! А как ее мать обрадуется, и пусть бережет себя, ей теперь надо думать и о ребеночке. Все они будут за нее молиться, и она будет молиться и

за нее, и за ребеночка, и за душу бедного храброго доктора. Она говорила без умолку, приветливая, ласковая; а между тем Китти чувствовала, что для сестры Сен-Жозеф все измеряется вечностью, а сама она, Китти, всего лишь бесплотный, бестелесный дух. Ее так и подмывало схватить толстую добродушную монашенку за плечи, тряхнуть хорошенько и крикнуть: «Неужели вам невдомек, что я — живая женщина, несчастная, одинокая, что меня нужно утешить, подбодрить? Неужели вы ни на минуту не можете забыть о Боге, уделить мне немножко сочувствия? Не того христианского сочувствия, которое у вас припасено для всех страждущих, а простого, человеческого, личного?»

Китти даже улыбнулась. Вот удивилась бы сестра Сен-Жозеф, если б могла прочесть ее мысли! Уж наверняка решила бы, что все англичане сумасшедшие, она давно это подозревала!

— Я, к счастью, отлично переношу качку, — ответила Китти. — Ни разу в жизни не страдала морской болезнью.

Вернулась настоятельница с аккуратным пакетиком в руках.

— Это носовые платки, — сказала она, — подарок моей матери к именинам. Монограммы

вышивали наши девочки.

Сестра Сен-Жозеф высказала мнение, что Китти интересно будет посмотреть, какая это искусная работа, и настоятельница, снисходительно улыбаясь, развернула пакет. Платки были из тончайшего батиста, над замысловатой монограммой вышита корона из земляничных листьев. Когда Китти, как от нее и ожидали, рассыпалась в похвалах, платки были снова завернуты и вручены ей. Сестра Сен-Жозеф, еще раз повторив свои вежливо-безличные напутствия, удалилась со словами: «Eh bien, Madame, je vous quitte», и Китти поняла, что пришло время проститься с настоятельницей. Она поблагодарила за все, что было для нее сделано. Вместе они пустились в путь по голым выбеленным коридорам.

— Вас не затруднит послать этот пакет заказным из Марселя? — спросила настоятельница.

— Что вы, конечно, нет, — ответила Китти.

Она взглянула на адрес. Фамилия выглядела очень внушительно, но ее больше заинтересовало название места.

— Да ведь это один из тех замков, которые мы осматривали! Я как-то совершила с друзьями автомобильную поездку по Франции.

— Вполне возможно. Он открыт для обозрения

два раза в неделю.

— Если б я жила в таком изумительном месте, у меня ни за что не хватило бы духу оттуда уехать.

— Это, конечно, известный памятник архитектуры. Но жить в нем неуютно. Если бы я о чем-нибудь жалела, так не об этом замке, а о другом, маленьком, где я жила ребенком. Он находится в Пиренеях. Там день и ночь шумит море. Не скрою, порой мне хочется услышать, как волны разбиваются о скалы.

Китти почудилось, что настоятельница, угадав, какими мыслями подсказано ее последнее замечание, лукаво над нею подтрунивает. Но они уже дошли до узкой, скромной наружной двери. К великому удивлению Китти, настоятельница обняла ее и поцеловала сначала в одну щеку, потом в другую. Это было так неожиданно, что Китти залилась краской и чуть не расплакалась.

— Прощайте, мое милое дитя. Да благословит вас Бог. — Она на минуту прижала Китти к груди. — Помните, исполнять возложенные на вас обязанности — это еще мало, это не более похвально, чем омыть руки, когда они грязные. Что действительно важно — это исполнять свой долг с любовью. Когда долг и любовь будут слиты воедино, вот тогда на вас снизойдет благодать и

вы познаете радость несказанную.

Дверь монастыря закрылась за нею в последний раз.

69

Уоддингтон проводил Китти до вершины холма; по дороге они ненадолго свернули к могиле Уолтера. Они простились у мемориальных ворот, и Китти, взглянув на них в последний раз, почувствовала, что может ответить на их загадочную иронию такой же иронией, своей собственной. Она села в паланкин.

Один день сменялся другим. Окружающие картины служили фоном для ее мыслей. Каждую из них она видела как бы удвоенной, заключенной в круг, как в стереоскопе, и по-новому значительной, потому что ко всему, что она видела сейчас, добавлялось воспоминание о том, что она видела за неполных два месяца до того, когда проделывала тот же путь в обратном направлении. Кули со своими ношами растягивались по дороге — то шли парами, тройками, то какой-нибудь один отставал и к нему примыкали еще двое; солдаты из охраны шагали вразвалку, со скоростью, рассчитанной на двадцать пять миль в день; служанку несли два носильщика, а Китти — четыре, не потому, что она была тяжелее, а чтобы не уронить ее достоинство. Навстречу двигалась то вереница

тяжело нагруженных кули, то чиновник-китаец в портшезе, бросавший на белую женщину испытующие взгляды; шли на рынок крестьяне в синих рубахах и огромных шляпах, семенили забинтованными ногами женщины, то молодые, то старые. На пологих подъемах и спусках проплывали мимо квадратики рисовых полей, крепкие крестьянские дома, приютившиеся в бамбуковых рощах; проплывали нищие деревушки и людные города, окруженные стеной, как на картинках в старинном требнике. Солнце уже не палило, как в разгаре лета; на заре, когда поля в неверном предутреннем свете мерцали как сказочные, было холодно, и тем приятнее потом казалось тепло. Оно наполняло Китти тихим блаженством, которому она и не пыталась противиться.

Эти яркие картины, такие изысканные по краскам, поражающие своим изяществом и своеобразием, были как гобелен, на фоне которого, подобные призракам, плясали загадочные тени, порожденные ее воображением. Они казались совершенно нереальными. Мэй-дань-фу с его зубчатыми стенами вспоминался как раскрашенный холст в старинной пьесе, где сцена должна изображать город. Монахини, Уоддингтон и маньчжурская принцесса, которая его любит, —

персонажи в старинной пантомиме; а остальные — те, что крались по узким улочкам, и те, что умирали, — как безымянные статисты. Конечно, все это что-то значит, но что именно? Все они словно исполняют ритуальный танец, сложный и древний, и знаешь, что эти замысловатые телодвижения полны смысла, который очень важно понять, но ключа к разгадке нет и нет.

Китти казалось невероятным (по дороге шла старая женщина в синем, синее под солнцем блестело как лазурит, лицо ее, изборожденное мелкими морщинками, было как маска потемневшей слоновой кости; она шла, мелко перебирая крошечными ножками и опираясь на большой черный посох), казалось невероятным, что еще недавно она и Уолтер тоже участвовали в этом странном, непонятном танце, и притом исполняли в нем важные роли. Она вполне могла умереть, а он и вправду умер. Это не шутки. Может, это всего лишь сон, от которого она внезапно проснется со вздохом облегчения? Все это будто случилось очень давно, где-то очень далеко. Удивительно, какими призрачными кажутся персонажи этой пьесы на солнечном фоне действительной жизни. А временами Китти казалось, что она читает про все это в книжке

и удивляется, почему судьба героев так мало ее трогает. Даже лицо Уоддингтона, такое, казалось бы, знакомое, она уже не могла припомнить отчетливо.

Сегодня к вечеру они прибудут в город на Западной реке, где она сядет на пароход. А оттуда всего одна ночь до Гонконга.

70

Сперва ей было стыдно, что она не плакала, когда Уолтер умер. Такая бессердечность! Ведь даже у этого китайца полковника Ю глаза были полны слез! Смерть мужа ошеломила ее. Не укладывалось в голове, что он больше никогда не войдет в комнату, никогда она не услышит, как рано утром он моется в деревянной китайской ванне. Был живой человек — и нет его. Монашенки ахали над ее христианским смирением, восхищались тем, как мужественно она несла свою утрату. Уоддингтон — тот более прозорлив. От нее не ускользнуло, что при самом искреннем сочувствии он в душе все же чуточку над ней подсмеивался. Конечно же, смерть Уолтера была для нее ударом. Она не хотела, чтобы он умер. Но и то сказать, ведь она его не любила, никогда не любила. Держаться с подобающим случаю печальным видом — этого требовали приличия; некрасиво, даже вульгарно было бы посвятить кого-нибудь в свои чувства; но притворяться перед самой собой она не могла, слишком много ей пришлось пережить. Ей казалось, что хотя бы этот урок она извлекла из опыта последних

месяцев — что, если бывает иногда необходимо солгать другим, лгать самой себе всегда отвратительно. Ей было жаль, что Уолтер умер при таких трагических обстоятельствах, но жаль чисто по-человечески, как если бы речь шла о любом знакомом человеке. Да, у него было много неоспоримых достоинств, горе в том, что ей он не нравился, он всегда нагонял на нее скуку. Не то чтобы его смерть явилась для нее облегчением; она не покривив душой могла сказать, что если бы одно ее слово могло вернуть его к жизни, она бы произнесла это слово; но было и смутное чувство, что с его смертью ей самой жить стало в каком-то смысле полегче. Вместе они никогда не были бы счастливы, а расстаться было бы страшно трудно. Такие мысли пугали ее: всякий, кто узнал бы о них, наверняка счел бы ее бессердечной, жестокой. Ну так никто не узнает. Возможно, что каждый хранит в сердце какую-нибудь позорную тайну и всю жизнь только и делает, что старается уберечь ее от посторонних глаз.

В будущее она особенно не заглядывала, никаких планов не строила. Знала одно — что в Гонконге хочет провести как можно меньше времени. О возвращении туда она не могла думать без ужаса. Уж лучше бы странствовать без конца

в паланкине по этим светлым, приветливым краям и, равнодушно взирая на фантасмагорию жизни, каждую ночь проводить под новой крышей. Однако следовало все же обдумать хотя бы ближайшее будущее. В Гонконге она остановится в гостинице, надо разделаться с домом, заняться продажей мебели. С Таунсендом можно вообще не встречаться. У него хватит такта не попадаться ей на глаза. А все-таки один раз хотелось бы его повидать — только чтобы сказать ему, сколь невысокого она о нем мнения.

Но какое ей дело до Чарли Таунсенда?

Как полнозвучная мелодия арфы порой покрывает ликующим арпеджио сложные гармонии оркестра, так одна мысль неумолчно звучала в ее сердце. Эта-то мысль придавала экзотическую красоту крестьянским полям, вызывала на ее бледных губах улыбку, когда проходил по дороге на рынок безусый юнец с горделивой осанкой и дерзким взором, населяла попутные города колдовской круговертью жизни. Охваченный эпидемией город был тюрьмой, из которой она вырвалась, и новой, неведомой доселе стала синева небес и прелесть бамбуковых рощ, с неподражаемой грацией склонившихся над дорогой. Свободна! Вот мысль, которая пела в

ее сердце, так что будущее, хоть и было темно, искрилось, как туман над рекой под первыми лучами солнца. Свободна! Свободна не только от докучных цепей и тех уз, что не давали дышать полной грудью; и не только от смертельной опасности, нависавшей над ней, но и от любви, ее унизившей; свободна от всяческих духовных связей, свободна, как бесплотный дух. А свобода означала и мужество, и готовность стойко встретить все, что бы еще ни ждало ее в жизни.

71

Когда пароход бросил якорь в Гонконге, Китти, до тех пор стоявшая на палубе, откуда любовалась оживленным движением в гавани, вернулась в каюту проверить, не забыла ли служанка что-нибудь уложить. На ходу она погляделась в зеркало. Платье на ней было черное (это монашенки перекрасили), но не траурное, и мелькнула мысль, что нужно будет сразу же этим заняться. Траур послужит эффектным прикрытием для ее крамольных настроений. В дверь каюты постучали. Служанка открыла.

— Миссис Фейн!

Китти обернулась и увидела лицо, которого в первое мгновение не узнала. Потом сердце ее подскочило, и она вспыхнула. Дороти Таунсенд! Это было так неожиданно, что она не знала, как быть, что сказать. Но миссис Таунсенд переступила порог и для начала крепко ее обняла.

— О моя дорогая, я вам так сочувствую!

Китти дала себя поцеловать. Ее немного удивила такая экспансивность в женщине, которую она всегда считала сухой и надменной.

— Вы очень добры, — проговорила она еле

слышно.

— Пойдемте на палубу. Ама позаботится о вещах, а я привела своих боев.

Она взяла Китти за руку, и Китти, покорно следуя за ней, увидела, что ее доброе загорелое лицо выражает искреннюю озабоченность.

— Ваш пароход пришел раньше времени, — сказала миссис Таунсенд. — Я чуть не опоздала. Я бы не простила себе, если б мы разминулись.

— Неужели вы приехали меня встретить? — воскликнула Китти.

— Ну разумеется.

— Но откуда вы знали, когда я приеду?

— Мистер Уоддингтон известил меня телеграммой.

Китти отвела глаза. К горлу подступил комок. Странно, что этот неожиданный знак внимания так на нее подействовал. Она боялась расплакаться, ей хотелось, чтобы Дороти Таунсенд ушла. Но Дороти взяла ее руку и ласково пожала. И то, что эта сдержанная женщина не постеснялась проявить свои чувства, смутило ее.

— У меня к вам большая просьба. Мы с Чарли очень хотели бы, чтобы вы поселились у нас на то время, пока будете в Гонконге.

Китти вырвала руку.

— Это очень любезно с вашей стороны, но я не могу.

— Что вы, я этого и слышать не хочу. Как вы будете жить одна в своем доме? Вы там изведетесь. Я уже все приготовила. У вас будет свой будуар. Обедать и завтракать можете там, если не захочется приходить в столовую. Мы оба вас приглашаем.

— Я не собиралась ехать к себе. Я хотела снять номер в отеле «Гонконг». Не могу я подвергать вас таким неудобствам.

Предложение Дороти застало ее врасплох. Она была сбита с толку и раздосадована. Будь у Чарли хоть малейшее чувство приличия, он не разрешил бы жене пригласить ее. Не желает она быть обязана ни ему, ни ей.

— О нет, о гостинице бросьте и думать. А уж отель «Гонконг» вам был бы сейчас просто противен. Там столько народу, с утра до ночи музыка. Ну пожалуйста, скажите, что согласны. Мы с Чарли не будем вам мешать, обещаю.

— Не знаю, чем я заслужила такую любезность. — У Китти уже истощались доводы, а отказаться наотрез она не решалась. — Боюсь, я сейчас малоподходящая компания для посторонних людей.

— Но разве мы для вас посторонние? О, мне бы так этого не хотелось, мне так хотелось бы, чтобы вы позволили мне быть вашим другом. — Дороти стиснула руки, и в ее голосе, ее спокойном, светском, воспитанном голосе, послышались слезы. — Мне так хочется, чтобы вы согласились. Понимаете, мне нужно загладить мою вину перед вами.

Китти не поняла. Чем провинилась перед ней жена Чарли?

— Дело в том, что сначала вы мне не очень понравились. Показались мне немножко легкомысленной. Я, понимаете, воспитана в старых правилах, и меня можно назвать нетерпимой.

Китти искоса взглянула на нее. Слова Дороти означали, что сначала она сочла Китти вульгарной. Лицо у Китти не дрогнуло, но в душе она посмеялась. Какое ей теперь дело до того, кто как о ней судит!

— А когда я узнала, что вы без минуты колебания уехали с мужем навстречу смертельной опасности, я почувствовала себя такой свиньей. Мне стало так стыдно. Вы поступили так смело, так благородно, что все мы тут оказались по сравнению с вами сплошной посредственностью. — По ее доброму, простому лицу уже

катились слезы. — Не могу выразить, как я вами восхищаюсь, как уважаю вас. Я знаю, что бессильна утешить вас в вашем страшном несчастье, но хочу, чтобы вы знали, как искренне и глубоко я вам сочувствую. И для меня была бы такая радость вам помочь. Не сердитесь на меня за то, что неверно о вас судила. Вы героиня, а я всего лишь глупая женщина.

Китти упорно не поднимала глаз от настила палубы. Она была очень бледна. Ну к чему эти безудержные излияния? Да, все это очень трогательно, но досада берет, как подумаешь, что эта простушка верит в такие небылицы. Наконец она вздохнула:

— Что ж, если вам правда так хочется меня приютить, спасибо.

72

Таунсенды жили на Вершине, в доме с широким видом на море, и Чарли, как правило, не приезжал домой завтракать; но в день ее приезда Дороти (они уже звали друг друга по имени) сказала, что, если Китти хочется его повидать, он будет рад заглянуть домой. Китти подумала, что, раз встреча все равно неизбежна, можно повидаться и сразу, и, невесело усмехаясь в душе, представляла себе, как неловко ему будет с ней встретиться. Она отлично понимала, что идея пригласить ее исходила от Дороти, а он, что бы ни думал про себя, горячо ее поддержал. Китти знала, как он всегда стремился угождать мнению света, а проявив сейчас гостеприимство, он мог как нельзя лучше этому мнению угодить. Но вспоминать их последний разговор едва ли было ему приятно: для такого тщеславного человека этот разговор должен был остаться незаживающей ссадиной. Надо надеяться, что она причинила ему такую же боль, как он ей. Теперь он ее, наверно, ненавидит. Хорошо, что у нее самой нет к нему ненависти, а только презрение. И злобную радость доставляла мысль, что ему предстоит забыть о своих

чувствах и оказывать ей радушное внимание. Когда она в тот день вышла из его кабинета, он, наверно, мечтал об одном — никогда больше ее не видеть.

И вот она сидела у Дороти и ждала его появления. Она упивалась строгой роскошью хозяйской гостиной. Глубокие кресла, вазы с чудесными цветами, картины на стенах радуют глаз. Комната тенистая, прохладная. Она поежилась, вспомнив голую, пустую гостиную в доме миссионера, плетеные кресла и кухонный стол под холщовой скатертью, обшарпанные полки с книгами в дешевых изданиях и куцые красные занавески, словно пропитанные пылью. Ох, как там было неуютно! Дороти, наверно, и представить себе такого не может.

К дому подъехала машина. В комнату большими шагами вошел Чарли.

— Опоздал? Я вас, надеюсь, не заставил ждать? Раньше никак не мог вырваться, меня вызывал к себе губернатор.

Он подошел к Китти и пожал ей обе руки.

— Я очень, очень рад, что вы здесь. Дороти, конечно, вам сказала, что мы просим вас пожить у нас сколько захочется, считать этот дом своим. Но я и сам хочу это повторить. Если я хоть чем-

нибудь могу вам быть полезен, скажите слово, я буду счастлив. — Он смотрел на нее с подкупающей искренностью, а она думала, замечает ли он в ее взгляде насмешку. — Не умею я говорить высокие слова, а болваном казаться не хочется, но, поверьте, я всей душой вам сочувствую. Ваш муж был молодец каких мало, здесь всем его будет недоставать.

— Довольно, Чарли, — остановила его жена, — Китти все понимает… А вот и коктейли.

В согласии с расточительными замашками иностранцев в Китае два ливрейных слуги внесли в комнату закуски и коктейли. Китти пить отказалась.

— Ну хоть один, — уговаривал ее Таунсенд своим бодрым, сердечным тоном. — Вам будет полезно. Ручаюсь, что вы в глаза не видели коктейля с тех пор, как отсюда уехали. В Мэй-дань-фу, если не ошибаюсь, льда не достать.

— Вы не ошибаетесь, — сказала Китти.

На мгновение перед ее мысленным взором возник мертвый нищий у стены их участка — растрепанный, в синих лохмотьях, сквозь которые проглядывало исхудалое тело.

73

Они пошли в столовую. Чарли, усевшись во главе стола, легко завладел разговором. Покончив с короткими соболезнованиями, он обращался с Китти так, словно она не пережила сокрушительную трагедию, а всего лишь приехала в гости из Шанхая, где ей соперировали аппендицит. Ее требовалось развлечь, и он готов был развлекать ее. Чтобы дать ей почувствовать себя как дома, лучше всего было обращаться с ней как с членом семьи. Он завел речь о пустяках: об осенних скачках, о поло — честное слово, впору бросать поло, если не удастся сбавить вес, — о своем утреннем разговоре с губернатором. Поговорили о приеме, который адмирал устроил на флагманском корабле, о положении в Кантоне, о гольфе в Лушане. Вскоре у Китти уже было такое чувство, будто она отлучалась отсюда на два-три дня, не больше. Уже невероятным казалось, что там, в глубине страны, всего в шестистах милях (столько же, как от Лондона до Эдинбурга?), еще недавно умирали тысячами мужчины, женщины, дети. Скоро она уже поймала себя на том, что расспрашивает о старых знакомых — поправился ли такой-то, ведь

он сломал ключицу, когда играл в поло, и уехала ли в Англию миссис А, и будет ли миссис В участвовать в теннисном турнире. Чарли отпускал свои шуточки, и Китти принимала их с улыбкой. Дороти, как всегда немного свысока (только теперь она ставила Китти рядом с собой, так что это было не обидно, а только еще больше сближало их), иронизировала над членами английской колонии. Китти понемногу оживала.

— Смотри-ка, она уже и выглядит получше, — сказал Чарли жене. — Перед завтраком была такая бледная, я даже испугался, а сейчас и щечки порозовели.

А Китти, принимая участие в разговоре если не весело (она знала, что этого не одобрили бы ни Дороти, ни Чарли, великий знаток этикета), то достаточно оживленно, втихомолку поглядывала на хозяина дома. За те долгие недели, что она думала о нем и лелеяла планы мщения, в ее воображении сложился очень яркий образ. Свои густые волнистые волосы он стрижет недостаточно коротко и расчесывает слишком старательно; чтобы скрыть седину, слишком сильно их помадит; лицо у него слишком красное, на щеках сетка мельчайших жилок; челюсть слишком массивная; когда он не задирает голову, видно,

что у него двойной подбородок; и в косматых седеющих бровях есть что-то обезьянье, слегка тошнотворное. Движения у него тяжеловесные, и ни диета, ни спорт не уберегли его от полноты: кости затянуло жирком, суставы утратили былую гибкость. И безупречный костюм ему тесноват и выглядит на нем слишком молодо.

Но когда он перед завтраком вошел в гостиную, она испытала настоящее потрясение (потому, наверно, и побледнела). Оказалось, что воображение ее подвело: он был совсем не похож на этот созданный ею образ. Она чуть не рассмеялась над своим заблуждением. Волосы у него вовсе не седые, ну да, есть на висках несколько серебряных волосков, но это ему идет; и лицо не красное, а загорелое; и посадка головы хороша, и не толстый он, и не старый. Наоборот, он даже стройный, фигура отличная — немудрено, что он ею всегда немного гордился, молодой человек, да и только. И носить костюм он, конечно, умеет, смешно было бы это отрицать; и весь вид аккуратный, подтянутый, элегантный. Счастье ее, что она знает, какое он ничтожество. Что голос у него чарующий, она всегда признавала, а голос точно такой, каким она его помнит, потому так и ужасно, что речи его насквозь фальшивы; эти

бархатные, теплые ноты — одно притворство, и как только она могла им поверить? А глаза прекрасны, это главное его обаяние: они лучатся таким мягким синим светом и, даже когда он болтает чепуху, выражение у них такое, что устоять почти невозможно.

Наконец завтрак кончился, подали кофе, и Чарли закурил сигару. Потом взглянул на часы и поднялся.

— Ну вот, девочки, я вас покидаю. Мне пора на работу. — И добавил, ласково глядя на Китти: — Денек-другой я дам вам отдохнуть, не буду вас тревожить, а потом намерен побеседовать с вами о делах.

— Со мной?

— Ну да, ведь надо решить, как быть с вашим домом, и о мебели подумать.

— Но я могу обратиться к юристу. Ни к чему нагружать вас еще и этим.

— Не воображайте, что я разрешу вам тратить деньги на юридические консультации. Я сам обо всем позабочусь. Вы ведь имеете право на пенсию. Я поговорю с губернатором, очень возможно, что, если обратиться в соответствующие инстанции, можно выхлопотать для вас побольше. Положитесь на меня. Но торопиться некуда. Пока

нам требуется, чтобы вы отдохнули и окрепли, ведь так, Дороти?

— Конечно.

Он кивнул Китти, а проходя мимо стула жены, взял ее руку и поцеловал. Обычно англичанин, когда целует женщине руку, выглядит глуповато, а у него это получилось легко и изящно.

74

Только освоившись немного в доме у Таунсендов, Китти поняла, до чего она устала. Комфорт и непривычные удобства сняли напряжение, в котором она до сих пор жила. Она уже успела забыть, как приятно никуда не торопиться, видеть вокруг себя красивые вещи, быть окруженной вниманием. Со вздохом облегчения она вновь окунулась в бестревожную жизнь богатого Востока. И неплохо было ощущать себя предметом сочувственного интереса, выражаемого тактично и ненавязчиво. Она овдовела так недавно, что устраивать в ее честь какие-нибудь увеселения было нельзя, но самые уважаемые в колонии дамы (супруга губернатора, супруги адмирала и главного судьи) по-дружески заезжали к ней на чашку чаю. Ее превосходительство сообщила, что его превосходительство очень хотел бы ее повидать и будет рад, если она приедет как-нибудь позавтракать в губернаторский дом («Не званый завтрак, конечно, только мы и адъютанты!»). Эти леди обращались с Китти, как с фарфоровой чашкой, драгоценной и очень хрупкой. Она видела, что они носятся с ней, как с юной героиней,

и у нее хватало ума играть эту роль скромно и сдержанно. Порой ей хотелось, чтобы рядом оказался Уоддингтон: уж он-то, такой лукавый и прозорливый, оценил бы весь комизм этой ситуации, и они могли бы, оставшись вдвоем, вдоволь посмеяться вместе. Дороти получила от него письмо, в котором он много чего наговорил о ее самоотверженной работе в монастыре, о ее мужестве и стойкости. Плут этакий, конечно же, он просто подшучивал над ними.

75

Не понять было, случайно так выходит или нет, но Китти ни на минуту не оставалась одна с Чарли. Он держался неизменно дружески, приветливо, любезно. Никто бы не догадался, что когда-то они были не просто знакомы. Но однажды днем, когда она читала, лежа на кушетке, он появился на веранде и подошел к ней.

— Что это вы читаете?

— Книжку.

И посмотрела на него насмешливо. Он улыбнулся.

— Дороти уехала на прием в губернаторском саду.

— Я знаю. А вы почему не поехали?

— Я отвез ее туда, а потом решил: нет, хватит, вернусь-ка я лучше домой. Машина ждет, не хотите ли прокатиться по острову?

— Нет, благодарю.

Он сел в ногах кушетки.

— Нам с самого вашего приезда не удалось поговорить по душам.

Она подняла на него высокомерный взгляд.

— А вы думаете, нам есть что сказать друг

другу?

— А как же иначе.

Она отодвинула ноги в сторону, чтобы не касаться его.

— Вы все еще на меня сердитесь? — спросил он, и тень улыбки, тронувшей было его глаза и губы, растаяла.

— Нисколько, — рассмеялась она.

— Что-то не верится, а то бы не смеялись.

— Ошибаетесь. Как я могу на вас сердиться, когда я вас так презираю?

Он принял это спокойно.

— Вы, мне кажется, ко мне несправедливы. Ну хоть теперь-то, задним числом, признайтесь, что я был прав.

— С вашей точки зрения — да.

— Теперь, когда вы поближе узнали Дороти, согласитесь, что она милая женщина.

— Еще бы. Я век буду ей благодарна за ее доброту.

— Она удивительный человек. Я бы никогда себе не простил, если б мы тогда сбежали. Это было бы подло по отношению к ней. Дано детях надо было подумать. Это основательно испортило бы им жизнь.

С минуту она задумчиво смотрела на него. Она

чувствовала себя полной хозяйкой положения.

— Я очень внимательно за вами наблюдаю с тех пор, как живу здесь, и пришла к выводу, что вы действительно любите Дороти. Я не думала, что вы на это способны.

— Я же вам говорил, что люблю ее. Мне было бы совестно доставить ей хоть малейшее огорчение. Такой жены днем с огнем не сыщешь.

— А вам не приходило в голову, что вы должны бы быть ей верны?

— Чего глаз не видит, о том сердце не болит, — улыбнулся он.

Она пожала плечами.

— Какой же вы дрянной человек.

— Не дрянной, а самый обыкновенный. Вас послушать, так я мерзавец потому, что по уши в вас влюбился. Это, знаете ли, было непреднамеренно.

Сердце ее горестно дрогнуло от этих слов.

— Я оказалась легкой добычей, — отозвалась она горько.

— Я, конечно, не мог предвидеть, что мы так грандиозно влипнем.

— И во всяком случае, знали наперед, что если кто и пострадает, то не вы.

— Ну, знаете, это уже слишком. Теперь, когда

все это позади, вы должны согласиться, что я поступил, как было лучше для нас обоих. Вы тогда потеряли голову, так скажите спасибо, что я не растерялся. Вы думаете, если б я исполнил ваше желание, что-нибудь хорошее из этого вышло бы? Нам и так пришлось несладко, а уж тогда и вовсе попали бы из огня да в полымя. И с вами ничего худого не случилось. Так, может, забудем прошлое и помиримся?

Она чуть не рассмеялась.

— Вы думаете, я могу забыть, что вы без зазрения совести послали меня почти на верную смерть?

— Ну что за вздор! Я же вам говорил, что никакого риска нет, если соблюдать осторожность. Думаете, я бы вас отпустил туда, если б не был в этом убежден?

— Были убеждены, потому что вам этого хотелось. Вы из породы тех трусов, которые убеждены только в том, что им выгодно.

— Тогда судите по результатам. Вы вернулись целехоньки и даже, да простятся мне столь предосудительные речи, еще похорошели.

— А Уолтер?

Он не мог удержаться от улыбки, от шутки, которая сама просилась на язык.

— Вам ни один цвет не идет так, как черный.

Она не нашлась что ответить. Глаза наполнились слезами. Прелестное лицо исказилось от горя. Она и не старалась его скрыть, лежала на спине и плакала.

— Ради Бога, не плачьте. Я не хотел вас обидеть, я просто пошутил. Вы же знаете, как я вам сочувствую.

— Ох, придержите вы свой глупый язык.

— Я бы отдал что угодно, чтобы вернуть Уолтера к жизни.

— Он умер из-за нас с вами.

Он взял ее за руку, но она отдернула руку и разрыдалась.

— Об одном прошу, уйдите от меня. Я вас ненавижу, презираю. Уолтер был в сто раз лучше вас, только я, идиотка, не понимала этого. Уйдите, уйдите.

Увидев, что он опять готов заговорить, она вскочила с кушетки и ушла к себе в комнату. Он последовал за ней и, войдя, машинально задернул шторы, так что они очутились в почти полной темноте.

— Не могу я тебя оставить, — сказал он, обнимая ее. — Я ведь не со зла это сказал.

— Не касайся меня. Ради Бога, уйди.

Она попыталась вырваться, он не отпускал. Теперь она рыдала безудержно.

— Дорогая моя, неужели ты не знаешь, что я всегда тебя любил? — сказал он своим глубоким, чарующим голосом. — И теперь люблю больше прежнего.

— Лжешь! Пусти меня сейчас же. Пусти, черт тебя побери!

— Не гневайся на меня, Китти. Ну да, я поступил с тобой по-свински. Прости меня!

Содрогаясь и плача, она отбивалась от него, но прикосновение его крепких рук было неизъяснимо отрадно. Она так истосковалась по его объятиям, так мечтала еще хоть раз испытать это счастье, и теперь вся дрожала, слабела. Словно все тело ее растаяло и скорбь по Уолтеру переплавилась в жалость к самой себе.

— О, как ты мог поступить со мной так жестоко! — рыдала она. — Ведь я тебя любила больше жизни. Никто никогда тебя так не любил.

— Родная.

Он стал ее целовать.

— Нет, нет, — молила она.

Он пригнулся к ее лицу; она отвернулась; он искал ее губы. Что это он говорит? Горячие, несвязные слова любви. А руки держат ее крепко,

как ребенка, который заблудился и вот наконец дома, в безопасности. Она тихо застонала. Глаза ее были закрыты, лицо мокро от слез. А потом он нашел ее губы, и божественный огонь разлился по жилам. Это было блаженство, она сгорала дотла и вновь разгоралась, преображенная. В своих одиноких снах, вот когда она бывала так счастлива. Что он с ней делает? Все равно. Она уже не женщина, не человек, она — одно желание. Он взял ее на руки, подхватил легко, как перышко, и понес, а она в упоении прижималась к нему. Голова ее упала на подушку, и не осталось ничего, кроме его поцелуев.

76

Она сидела на краю постели, закрыв лицо руками.

— Воды хочешь?

Она помотала головой.

Он подошел к умывальнику, налил в стакан воды и принес ей.

— На-ка выпей, тебе станет лучше.

Он поднес стакан к ее губам, она отпила немного, а потом в ужасе воззрилась на него. Он стоял, глядя на нее сверху, и в глазах его поблескивал самодовольный огонек.

— Ну что, ты все еще считаешь меня негодяем?

Она опустила глаза.

— Да, но я знаю, что и сама не лучше. Мне так стыдно.

— По-моему, ты очень неблагодарна.

— Теперь ты уйдешь?

— По правде говоря, пора. Надо привести себя в порядок, пока Дороти не вернулась.

И вышел из комнаты пружинистой походкой.

Китти еще посидела на краю постели, вся сжавшись, как побитый щенок. В голове было пусто. Ее пробрал озноб. Она с трудом встала на ноги и

рухнула в кресло перед туалетным столом. Погляделась в зеркало. Глаза опухли от слез; лицо в красных пятнах. Оно внушало ужас. Но это было ее лицо. Она не могла бы сказать, какое клеймо позора ожидала на нем увидеть.

— Свинья, — бросила она своему отражению. — Свинья.

И горько заплакала, склонившись головой на вытянутые руки. Стыдно, так стыдно! Что это было, что на нее нашло? Ужас. Она ненавидела его, ненавидела себя. Но какое это было блаженство. Она никогда больше не решится посмотреть ему в лицо. Он во всем оказался прав. Правильно сделал, что не женился на ней, она ничтожество, не лучше шлюхи. Нет, хуже, ведь эти несчастные отдаются за кусок хлеба. Да еще в этом доме, куда Дороти привезла ее, одинокую, убитую горем! Плечи ее затряслись от рыданий. Теперь все пропало. Она думала, что изменилась, что она теперь сильнее, что вернулась в Гонконг обновленной; новые мысли порхали в душе, как желтые бабочки на солнце, она так надеялась, что стала лучше; свобода, как светоч, манила ее за собой, и мир расстилался перед ней широкой равниной, по которой она могла идти легким шагом, с высоко поднятой головой. Она думала, что избавилась от

похоти и низменных страстей, что может впредь жить чистой, здоровой духовной жизнью. Она сравнивала себя с белыми цаплями, что в сумерки не спеша пролетают над рисовыми полями, подобно высоким мыслям, переставшим враждовать друг с другом. А оказалась рабой. Слабой, безвольной. Впереди безнадежность, напрасны старания, она — падшая женщина.

Обедать она не пошла. Послала слугу сказать Дороти, что у нее болит голова и она лучше побудет у себя в комнате. Дороти явилась и, увидев ее заплаканные глаза, мягко и сочувственно поговорила о каких-то пустяках. Китти поняла: Дороти решила, что она плакала об Уолтере, и, как хорошая, любящая жена, уважает ее столь естественную скорбь.

— Я понимаю, как вам тяжело, дорогая, — сказала она уходя. — Но мужайтесь. Ваш муж, я уверена, не хотел бы, чтобы вы так о нем горевали.

77

Но на следующий день Китти встала рано и, оставив Дороти записку, что ушла по делам, села в трамвай и поехала вниз, в город. По людным улицам, среди машин, паланкинов и рикш, в пестрой толпе европейцев и китайцев, она добралась до конторы пароходства. Через два дня отходил пароход, первый за долгое время, и она решила во что бы то ни стало попасть на него. Когда кассир сказал ей, что все места проданы, она попросила провести ее к директору. Она назвалась, и директор, с которым она была знакома, вышел в приемную и пригласил ее к себе в кабинет. Он был осведомлен о ее положении и, когда она изложила свою просьбу, велел принести список пассажиров. Пока он, растерянно хмурясь, просматривал список, Китти твердила свое:

— Умоляю вас, сделайте для меня, что можете.

— Любой человек в колонии сделает для вас все возможное, миссис Фейн.

Он послал за клерком, задал ему несколько вопросов, потом кивнул.

— Сообразим кое-какие передвижки. Я знаю, как вам важно уехать поскорее, уж мы для вас

постараемся. Могу предложить вам небольшую отдельную каюту. Думаю, это вам подойдет.

Она поблагодарила его и вышла приободренная. Бежать! Больше она ни о чем не думала: бежать! Она послала телеграмму отцу, предупредить о дне приезда. О смерти Уолтера она его уже известила. А потом поехала обратно к Дороти и все ей рассказала.

— Ужасно жаль расставаться с вами, — сказала эта добрая душа, — но я, конечно, понимаю, как вас тянет к родителям.

После возвращения в Гонконг Китти еще не была в своем доме, откладывала со дня на день. Она боялась войти в этот дом, встретиться с населяющими его воспоминаниями. Но больше откладывать было нельзя. Таунсенд договорился о продаже мебели и нашел, кому передать аренду. Но оставалась еще одежда, ее и Уолтера, ведь в Мэй-дань-фу они взяли с собой совсем немного; оставались книги, фотографии, всякие мелочи. Китти все это было безразлично, ей хотелось одного — поскорее порвать с прошлым, но она понимала, что в колонии косо посмотрели бы на ее распоряжение пустить все это добро с торгов. Нужно было упаковать его и отправить ей в Англию. И после второго завтрака она собралась в

путь. Дороти предложила поехать с ней и помочь, но Китти сказала, что предпочитает все сделать одна. Согласилась только на предложение Дороти послать с нею двух слуг — пусть укладывают вещи под ее руководством.

Дом оставался на попечении старшего боя, он и открыл Китти дверь. Странно было переступить этот порог как чужой. В доме было чисто прибрано, все по своим местам, хоть сейчас пользуйся, но, хотя день был теплый и солнечный, в молчащих комнатах царило холодное запустение. Мебель была расставлена в точности так, как полагалось, и вазы, в которых уже не было цветов, стояли на прежних местах; книга, которую Китти когда-то положила на столик, так и лежала открытая, обложкой вверх. Казалось, люди покинули эти комнаты всего минуту назад, но в эту минуту вместилась вечность, так что уже невозможно было вообразить, что когда-нибудь здесь снова зазвучат человеческие голоса и смех. На рояле стояли раскрытые ноты, фокстрот словно ждал, чтобы его сыграли, но чудилось, что, если ударить по клавишам, звука не последует. В комнате Уолтера все было так же аккуратно прибрано, как и при нем. На комоде стояли две большие фотографии — Китти в том платье, в

котором ее представляли ко двору, и Китти в подвенечном наряде.

Но слуги уже притащили из чулана сундуки и стали укладывать вещи, а она стояла над ними и командовала. Работали они проворно. Китти прикинула, что за оставшиеся два дня все сборы можно с легкостью закончить. Только не давать себе думать — на это времени не было. Вдруг она услышала за спиной шаги и, оглянувшись, увидела Чарли Таунсенда.

— Что вам здесь нужно? — спросила она.

— Может быть, пройдем в ваш будуар? Мне нужно кое-что вам сказать.

— Я очень занята.

— Ну, всего на несколько минут.

Она не стала возражать, велела боям продолжать без нее и вышла в соседнюю комнату, а Чарли за ней. Садиться она не стала, давая ему понять, что надолго задерживаться не намерена. Она чувствовала, что побледнела, и сердце колотилось, но во взгляде была только спокойная враждебность.

— Так что же вам нужно?

— Я только что узнал от Дороти, что вы едете послезавтра. Она сказала, что вы поехали сюда укладываться, и велела мне позвонить и спро-

сить, не могу ли я быть полезен.

— Спасибо, но я отлично справлюсь и одна.

— Я так и думал. И не за этим сюда приехал. Я приехал узнать, не связан ли ваш внезапный отъезд с тем, что произошло вчера.

— Вы с Дороти были ко мне очень добры, не хотелось злоупотреблять вашим гостеприимством.

— Ответ весьма двусмысленный.

— А вам не все равно?

— Конечно, нет. Мне не хочется думать, что это я как-то повлиял на ваше решение.

Она стояла у стола. Взгляд ее упал на номер «Скетча», старый-престарый. Тот самый номер, от которого Уолтер не мог оторваться в тот страшный вечер, когда… а Уолтера нет… Она подняла голову.

— Я вконец опозорена. Вы не можете презирать меня сильнее, чем я сама себя презираю.

— Но я вас вовсе не презираю. И вчера говорил от чистого сердца. Зачем спасаться бегством? Почему нам не остаться друзьями? Не хочется мне, чтобы вы думали, что я плохо с вами обошелся.

— Неужели нельзя было оставить меня в покое?

— О черт, я же не ледышка, не камень. Ты смотришь на это неразумно, как-то болезненно. Я

думал, что после вчерашнего ты ко мне подобреешь. В конце концов, мы живые люди.

— Я не чувствую себя человеком. Я животное. Свинья, или кролик, или собака. О, я тебя не виню. Я и сама не лучше. Я тебе уступила, потому что хотела тебя. Но это была не я — та мерзкая, скверная, развратная женщина. Это не я лежала на постели, задыхаясь от твоих ласк, когда моего мужа только что опустили в могилу, а твоя жена была так добра ко мне, так бесконечно добра. То был зверь, который живет во мне, темный, страшный, как злой дух, и я его не признаю, я его ненавижу, презираю. Стоит про это вспомнить, тошно становится, как будто меня сейчас вырвет.

Он слегка нахмурился и ответил с коротким смешком:

— Я, знаешь ли, человек достаточно терпимый, но иногда ты меня просто шокируешь.

— Что ж поделаешь, очень жаль. А теперь уходи. Ты очень неинтересный и мелкий человек, с тобой и говорить всерьез глупо.

По тому, как потемнели его глаза, она поняла, что он рассержен не на шутку. Каким же облегчением будет для него с ней распроститься — как всегда, учтиво, по-дружески. Ей стало

смешно, когда она представила себе, как вежливо они пожимают друг другу руки и он желает ей счастливого пути, а она благодарит его за гостеприимство. Но тут выражение его изменилось.

— Дороти мне сказала, что ты ждешь ребенка.

Она слегка покраснела, но осталась неподвижна.

— Совершенно верно.

— Уж не я ли, случайно, отец?

— Нет-нет, это ребенок Уолтера.

В тоне ее была излишняя горячность, и она сама услышала, что прозвучало это неубедительно.

— Ты уверена? — Он озорно улыбнулся. — Как-никак вы с Уолтером были женаты не день и не два, а ничего не случилось. И сроки совпадают. Мне кажется, что он скорее мой, а не Уолтера.

— Я бы лучше себя убила, чем родить от тебя ребенка.

— Да брось, что за глупости. А я так был бы очень рад и горд. И хорошо бы родилась девочка, а то с Дороти у нас были одни мальчишки. Впрочем, долго сомневаться ты не будешь, мои все трое — вылитый мой портрет.

К нему вернулось хорошее настроение, и она поняла почему. Если ребенок его, то она никогда не будет от него свободна, хоть бы им и не

довелось больше свидеться. Его власть над ней сохранится, и это, пусть косвенно, но неотвратимо, наложит печать на все дни ее дальнейшей жизни.

— Такого законченного болвана я еще не встречала, — сказала она.

78

Когда пароход входил в марсельскую гавань, Китти, любуясь ломаными очертаниями залитого солнцем берега, вдруг заметила золотую статую Мадонны, воздвигнутую на церкви Святой Марии Милостивой как символ защиты плавающих по морям. Ей вспомнилось, что сестры монастыря в Мэй-дань-фу, навсегда покидая родину, смотрели на эту статую, пока она не превратилась в маленький язычок золотого пламени в синем небе, и пытались молитвой смягчить щемящую боль расставания. Она стиснула руки и вся обратилась в мольбу неведомо каким силам.

Во время долгого, спокойного морского перехода она непрестанно думала о том страшном, что с нею случилось. Она не понимала себя. Это было так неожиданно. Что же это ею овладело, когда она, всем сердцем презирая Чарли, сладострастно уступила его нечистым ласкам? Ярость, отвращение к самой себе переполняли ее. Казалось, ей вовек не забыть этого унижения. Она плакала. Но по мере удаления от Гонконга эти ощущения постепенно теряли свою остроту. Уже казалось, что все это произошло в другом мире.

Так бывает с человеком, который, очнувшись от внезапного припадка безумия, испытывает смятение и стыд, смутно припоминая нелепые, безобразные поступки, совершенные им, когда он перестал быть самим собой. Но, зная, что он тогда не был самим собой, он чувствует, что хотя бы в собственных глазах заслуживает снисхождения. Китти думала, что, может быть, у кого-нибудь и хватило бы великодушия не осудить, а пожалеть ее. Но сама она только вздыхала при мысли о том, какой удар был нанесен ее самонадеянности. Ей-то казалось, что дорога ее уходит вдаль прямая, легкая, а оказывается — дорога эта извилистая, и на каждом шагу ухабы. Необозримые пространства Индийского океана с его трагически прекрасными закатами немного успокоили ее. Она словно неслась на крыльях в какую-то страну, где сможет вновь обрести себя. А если вернуть себе самоуважение можно только ценой жестокой борьбы — что ж, нужно найти в себе силы и бороться.

Будущее рисовалось одиноким и трудным. В Порт-Саиде ее ждало письмо от матери — ответ на ее телеграмму. Письмо было длинное, написанное крупным витиеватым почерком, какому обучали молодых девиц в те далекие

годы. Почерк был такой вычурно аккуратный, что производил впечатление неискренности. Миссис Гарстин выражала сожаление по поводу смерти Уолтера и приличествующие случаю соболезнования. Она опасается, что Китти осталась почти без средств, но, конечно же, министерство по делам колоний назначит ей пенсию. Она рада, что Китти возвращается в Англию, и до рождения ребенка ее место, разумеется, под родительским кровом. Дальше шли всевозможные советы и наставления, а также кое-какие подробности касательно родов ее сестры Дорис. Сейчас мальчик уже весит столько-то фунтов, его дед с отцовской стороны уверяет, что в жизни не видел такого отличного ребенка. Дорис опять в положении, они надеются, что второй тоже будет мальчик, тогда за баронетский титул и вовсе можно будет не опасаться.

Китти уловила, что главная цель этого письма — точно установить срок, на который ее приглашают. Миссис Гарстин не намерена взвалить на себя такое бремя, как овдовевшая дочь в стесненных обстоятельствах. Когда вспомнишь, как мать с ней когда-то носилась, странно, что теперь, обманувшись в своих надеждах, она видит в ней только обузу. Странная это вещь вообще

— отношения между родителями и детьми! Пока они маленькие, родители чуть не молятся на них, ночей не спят, когда дети болеют, а дети льнут к ним с благоговейной любовью. Проходит несколько лет, дети подрастают, и важнее для их счастья становятся уже не отец с матерью, а вовсе, казалось бы, посторонние люди. На смену слепой, инстинктивной любви приходит равнодушие. Встречаясь, они испытывают скуку или раздражение. Когда-то расстаться на месяц казалось им трагедией, теперь они хладнокровно думают о предстоящей им многолетней разлуке. Пусть ее мать не тревожится: она и сама предпочитает жить своим домом. Но ей нужно немножко времени, чтобы оглядеться, сейчас все так туманно, представить себе будущее она просто не в силах. Возможно, она еще умрет от родов, это было бы разрешением многих проблем.

Но когда они причалили в Марселе, ей передали два письма. Она с удивлением узнала почерк отца — он, сколько помнится, никогда не писал ей писем. Письмо было недлинное и начиналось «Дорогая Китти». Он сообщал, что пишет вместо матери — та заболела, ей пришлось лечь в больницу на операцию. Пусть Китти не пугается и не меняет своих планов добраться до Англии морем.

Поездом ехать гораздо дороже, к тому же, пока матери нет дома, Китти будет неудобно жить на Харрингтон-Гарденз. Второе письмо было от Дорис, оно начиналось «Китти, милая» — не потому, что Дорис питала к ней особенно нежные чувства, а потому, что она обращалась так ко всем без разбора.

Китти, милая, папа тебе, наверно, уже написал. Маму будут оперировать. Отзывается, она уже год как тяжело больна, но ты ведь ее знаешь, докторов она терпеть не может и пила какие-то патентованные средства. Я не знаю точно, что с ней такое, а она все держит в секрете, а если спросишь, тут же взрывается. Вид у нее ужасный, я бы на твоем месте приехала из Марселя поездом, чтобы поскорее попасть домой, только не говори, что это я тебе посоветовала, ведь она уверяет, что ничего серьезного нет, и не хочет, чтобы ты приезжала, пока она еще в больнице. С врачей она взяла обещание, что ее выпишут через неделю.

Целую, Дорис.

P.S. Ужасно мне жалко Уолтера. Нелегко тебе досталось, бедняжка. Безумно хочу тебя видеть. Забавно, что мы с тобой одновременно ждем младенцев. Сможем держаться за руки.

Китти, задумавшись, стояла на палубе. Она не могла вообразить свою мать больной. Всегда она была такая живая, энергичная и ненавидела, когда кто-нибудь в семье хворал.

К ней подошел стюард с телеграммой:

Глубоким прискорбием сообщаю мама скончалась сегодня утром. Отец.

79

Китти позвонила у подъезда знакомого дома на Харрингтон-Гарденз. Горничная сказала, что ее отец у себя в кабинете, и она тихонько отворила дверь: он сидел у огня с вечерней газетой в руках. Когда она вошла, он поднял голову, отложил газету и суетливо вскочил с места.

— А-а, Китти, а я ждал тебя следующим поездом.

— Не хотелось тебя беспокоить, ты бы еще вздумал встречать меня, вот я и не сообщила точное время.

Он подставил ей щеку для поцелуя движением, которое она помнила с детства.

— А я тут просматривал газету, — сказал он. — Я уже два дня газет не читал.

Он, видимо, считал нужным оправдаться в том, что занимался таким обычным делом.

— Ну и правильно, — сказала она. — Ты, наверно, устал ужасно. Ведь мамина смерть явилась для тебя неожиданностью?

С тех пор как они не виделись, он постарел, похудел. Маленький, сухонький, аккуратный.

— Хирург сразу сказал, что надежды нет. Она

была больна больше года, но не хотела обращаться к врачам. Хирург сказал, что у нее должны были быть сильные боли, просто чудо, как она их терпела.

— И никогда не жаловалась?

— Говорила иногда, что ей нездоровится, а на боли не жаловалась, нет. — Он помолчал, посмотрел на Китти. — Ты очень устала с дороги?

— Не очень.

— Хочешь взглянуть на нее?

— А она здесь?

— Да, ее привезли сюда из больницы.

— Да, пойду сейчас же.

— Мне пойти с тобой?

Что-то в его тоне заставило Китти бросить на него быстрый взгляд. Он слегка отвернулся, отводя от нее глаза. За последнее время Китти научилась безошибочно читать чужие мысли. Недаром она изо дня в день прилагала все силы, чтобы по случайному слову или необдуманному жесту угадать тайные мысли мужа. И сейчас она сразу уловила то, что отец пытался от нее скрыть. Облегчение, вот что он чувствовал, огромное облегчение, и это его пугало. Почти тридцать лет он был верным и преданным мужем, ни разу ни словом не отозвался плохо о своей жене, и теперь

ему следовало горевать о ней. Он всегда делал то, чего от него ожидали. Он счел бы непозволительным хотя бы неосторожным взглядом или намеком выдать тайну — что он не испытывает того, что в данных обстоятельствах полагалось бы испытывать безутешному вдовцу.

— Нет, я лучше пойду одна, — сказала Китти.

Она поднялась по лестнице и вошла в большую, холодную, претенциозно обставленную комнату, материнскую спальню. Как хорошо она помнила эту массивную мебель красного дерева и на стенах — гравюры по Маркусу Стоуну. На туалетном столе все было расставлено и разложено в том неукоснительном порядке, которого миссис Гарстин всегда придерживалась. Цветы казались не у места: миссис Гарстин нашла бы, что держать цветы в спальне глупо, аффектированно и нездорово. Их аромат не заглушал чуть едкого, кисловатого запаха, как от свежевыстиранного белья, который у Китти всегда связывался с этой комнатой.

Миссис Гарстин лежала на постели, руки ее были скрещены на груди, словно выражая покорность, которой она в жизни не одобрила бы. Лицо было благообразно, даже внушительно — крупные, резкие черты, щеки, ввалившиеся от долгих

страданий, запавшие виски. Смерть убрала с этого лица все мелкое, злое, оставила только силу характера. Супруга древнеримского императора, да и только. Китти поразило, что из всех мертвых людей, каких ей довелось видеть, только ее мать и в смерти выглядела так, словно эта неподвижная оболочка когда-то была обиталищем духа. Горя она не чувствовала: долголетняя отчужденность в ее отношениях с матерью не оставила места для дочерней любви; и, вспоминая ту девочку, какой она сама когда-то была, она думала, что такой ее сделала мать. Но, глядя на эту жесткую, властную, честолюбивую женщину, что лежала перед ней такая тихая и безмолвная сейчас, когда все ее суетные помыслы развеяны смертью, она смутно прозревала в этом некое возмездие. Всю жизнь она ловчила, интриговала, все ее желания были низменны и недостойны. Может быть, теперь, из какого-то иного мира, она оглядывается на свою земную жизнь с содроганием.

Вошла Дорис.

— Я так и думала, что ты приедешь этим поездом. Решила забежать хоть на минутку. Какой ужас, правда? Бедная мамочка.

И бросилась Китти на шею, заливаясь слезами. Китти поцеловала ее. Она помнила, как мать

всегда пренебрегала Дорис и баловала ее, Китти, как она ругала Дорис за то, что та некрасивая и скучная. Неужели же Дорис в самом деле так потрясена ее смертью? Впрочем, Дорис всегда отличалась чувствительностью. Китти пожалела, что не может заплакать: Дорис сочтет ее бессердечной. А она столько всего перенесла, что не в состоянии изображать скорбь, которой не чувствует.

— Ты к папе зайдешь? — спросила она, когда рыдания сестры поутихли.

Дорис утерла слезы. Китти отметила, что от беременности Дорис еще подурнела и в черном платье вид у нее какой-то грубый и неряшливый.

— Нет, пожалуй. Только опять расплачусь. Бедный папочка, как он стойко держится.

Китти проводила ее в переднюю и вернулась к отцу. Он стоял перед камином, газета была аккуратно сложена — видимо, с тем расчетом, чтобы она убедилась, что он больше не читает.

— Я не переодевался к обеду, — сказал он. — Решил, что теперь это не обязательно.

80

Они пообедали. Мистер Гарстин обстоятельно рассказал Китти о болезни и смерти жены, упомянул, как тепло откликнулись на это событие друзья и знакомые (на столе лежали груды писем, и он вздохнул при мысли, что придется на них отвечать) и как он распорядился насчет похорон. Потом они вернулись в кабинет. Это была единственная во всем доме комната, где топили. Он машинально взял с каминной полки свою трубку и стал ее набивать, но потом с сомнением поглядел на дочь и отложил трубку.

— Разве ты не будешь курить? — спросила она.

— Твоя мама не очень-то любила запах трубочного дыма после обеда, а от сигар я отказался еще во время войны.

У Китти сжалось сердце — надо же, шестидесятилетний мужчина не решается покурить у себя в кабинете!

— А я люблю запах трубки, — улыбнулась она.

Тень облегчения скользнула по его лицу, он снова взял трубку и закурил. Они сидели друг против друга по обе стороны камина. Он, видимо, почувствовал, что должен поговорить с дочерью

о ее затруднениях.

— Ты, наверно, получила письмо, которое мама послала тебе в Порт-Саид. Весть о смерти бедного Уолтера нас обоих сразила. Мне он очень нравился.

Китти молчала, не зная, что ответить.

— Мама мне сказала, что ты ждешь ребенка.

— Да.

— И когда же?

— Месяца через четыре.

— Это будет тебе большим утешением. Ты побывай у Дорис, посмотри ее мальчика. Очень хороший мальчуган.

Они говорили более отчужденно, чем если б только что познакомились: ведь чужому человеку было бы с ней интереснее, а общее прошлое воздвигло между ними стену равнодушия. Китти отлично понимала, что никогда не старалась заслужить его любовь, в доме с ним никто не считался, его принимали как должное — кормилец, которого слегка презирали, потому что он не мог обеспечить семье более роскошного существования; но ей-то казалось, что он как отец не может не любить ее, и неожиданностью явилось открытие, что никаких чувств он к ней не питает. Она помнила, что он на всех нагонял

скуку, но ей в голову не приходило, что и ему с ними скучно. В нем, как и прежде, чувствовалась мягкая покорность, но невеселая прозорливость, рожденная страданием, подсказывала Китти, что хотя он, вероятно, никогда в этом не признавался даже самому себе и никогда не признается, — что, в сущности, она ему не симпатична.

Трубка его плохо тянула, он встал, чтобы поискать, чем бы ее прочистить. А может, просто хотел скрыть неловкость.

— Мама хотела, чтобы ты пожила здесь до рождения ребенка, она собиралась распорядиться, чтобы тебе приготовили твою прежнюю комнату.

— Да, я знаю. Обещаю, что не буду тебе мешать.

— Дело не в этом. В то время было совершенно ясно, что тебе следует ехать не куда-нибудь, а только в отчий дом. Но мне, понимаешь ли, только что предложили пост главного судьи на Багамах, и я принял это предложение.

— Ох, папа, как я рада! Поздравляю тебя.

— Предложение это немного запоздало, я уже не мог сообщить о нем твоей покойной матери. Оно доставило бы ей большое удовлетворение.

Вот она, горькая ирония судьбы! После всех

своих хлопот, унижений и разочарований миссис Гарстин умерла, так и не узнав, что ее честолюбивый замысел все же осуществился.

— Я отплываю в начале будущего месяца. Этот дом я, разумеется, поручу продать, думал продать и мебель. Мне очень жаль, что ты не сможешь остаться здесь жить, но, если тебе захочется взять что-нибудь из мебели, чтобы обставить квартиру, мне доставит истинное удовольствие тебе это подарить.

Китти глядела в огонь. Сердце у нее колотилось, даже странно было, до чего она вдруг разволновалась. Наконец она заставила себя заговорить. Голос слегка дрожал.

— А мне с тобой нельзя поехать, папа?

— Тебе? Ох, моя дорогая… — Лицо его вытянулось. Китти часто слышала это выражение, но считала, что так просто говорится, а тут впервые увидала воочию, да так явственно, что даже испугалась. — Но ведь все твои друзья здесь, и Дорис здесь. Я думал, тебе будет гораздо лучше, если ты снимешь квартиру в Лондоне. Я не знаю в точности, какими средствами ты располагаешь, но рад буду вносить квартирную плату.

— Денег у меня на жизнь достаточно.

— Я еду в совершенно незнакомое место. Какие

там условия — понятия не имею.

— К незнакомым местам мне не привыкать. Лондон для меня теперь ничто. Мне здесь нечем было бы дышать.

Он закрыл глаза, и ей показалось, что он сейчас заплачет. Лицо его выражало безграничное горе. Сердце разрывалось, на него глядя. Она не ошиблась: смерть жены была для него избавлением, и теперь эта возможность полностью порвать с прошлым сулила ему свободу. Он уже видел впереди новую жизнь и наконец, после стольких лет, покой и призрак счастья. Сердцем она поняла, как он настрадался за тридцать лет. И вот он открыл глаза, не удержавшись от тяжелого вздоха.

— Разумеется, если тебе хочется ехать, я буду очень рад.

Жалкое зрелище. Борьба была короткой, он покорился чувству долга. В этих немногих словах было отречение от последней надежды. Она встала и, подойдя к его креслу, опустилась на колени, сжала его руки.

— Нет, папа, я поеду, только если ты этого захочешь. Довольно ты жертвовал собой. Хочешь ехать один — поезжай. А обо мне не думай.

Он высвободил руку и погладил ее по пышным волосам.

— Разумеется, поедем вместе, милая. Ведь я как-никак твой отец, а ты вдова и одна на свете. Раз тебе хочется быть со мной, с моей стороны было бы дурно не хотеть этого.

— Да нет же, я не предъявляю на тебя никаких прав как дочь, ты мне ничего не должен.

— Ну что ты, моя дорогая…

— Ничего! — повторила она страстно. — У меня сердце болит, как подумаю, что мы всю жизнь тянули из тебя жилы, а тебе ничего не давали взамен. Даже немножко ласки. Боюсь, жизнь у тебя была не очень счастливая. Так позволь мне хоть отчасти возместить тебе то, чего я не дала тебе в прошлом!

Он нахмурился. Эти излияния приводили его в замешательство.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Мне не в чем тебя упрекнуть.

— Ах, папа, я столько всего пережила, я была так несчастна! Я не та Китти, которая уезжала отсюда. Я очень слабая, но, кажется, уже не такая дрянь, какой была тогда. Позволь мне хоть попытаться. У меня никого не осталось, кроме тебя. Позволь мне попытаться заслужить твою любовь. Ах, папа, мне так одиноко, так тоскливо, твоя любовь мне так нужна!

Она уткнулась лицом в его колени и заплакала горькими слезами.

— Китти, маленькая моя, — приговаривал он, наклонившись над ней.

Она подняла голову, обняла его за шею.

— Папа, помоги мне. Давай помогать друг другу.

Он поцеловал ее в губы, как любовник, щеки его были мокры от слез.

— Разумеется, поедем вместе.

— Ты так хочешь? Правда, хочешь?

— Да.

— Я так тебе благодарна!

— Дорогая моя, не говори мне таких вещей, ты меня конфузишь.

Он достал платок, вытер ей глаза. И улыбнулся такой улыбкой, какой она никогда у него не видела. Она опять обняла его.

— Нам с тобой будет так хорошо, папочка. Ты даже не знаешь, как славно мы с тобой заживем.

— А ты не забыла, что скоро будешь матерью?

— Я рада, что она родится где-то там, близко от моря, под широким синим небом.

— Ты уже твердо решила, что будет девочка? — спросил он с легкой, сухой усмешкой.

— Я хочу девочку, потому что хочу вырастить

ее так, чтобы она не повторила моих ошибок. Когда я оглядываюсь на свое детство, я себя ненавижу. Но у меня и возможностей не было стать иной. Я воспитаю свою дочку свободной, самостоятельной. Не для того произведу ее на свет и буду любить и растить, чтобы какому-то мужчине так сильно захотелось с ней спать, что он ради этого согласится до конца жизни давать ей кров и пищу.

Она почувствовала, что отец весь сжался. Он никогда не говорил о таких вещах и был шокирован, услышав эти речи из уст родной дочери.

— Дай мне хоть раз высказаться откровенно, папа. Я была глупая, скверная, отвратительная. Я была жестоко наказана. Мою дочь я хочу от всего этого уберечь. Хочу, чтобы она была бесстрашной и честной, чтоб была личностью, независимой от других, уважающей себя. И чтобы воспринимала жизнь как свободный человек и прожила свою жизнь лучше, чем я.

— Дорогая моя, ты говоришь так, точно тебе пятьдесят лет. У тебя еще вся жизнь впереди. Не унывай.

— А я не унываю. Я надеюсь и не боюсь.

С прошлым покончено. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Разве это так уж бессердечно?

От всей души она надеялась, что научилась состраданию и милосердию. Что ждет ее в будущем — неизвестно, но в себе она ощущала способность встретить любую долю без жалоб. И вдруг, непонятно почему, из глубины подсознания возникла память о том, как они, она и бедный Уолтер, добирались в охваченный эпидемией город, где его ждала смерть: однажды утром они выступили в путь еще затемно, и, когда стало рассветать, она не столько увидела, сколько угадала картину такой несказанной прелести, что на какое-то время улеглась ее душевная боль. Все людские треволнения отступили перед этой красотой. Взошло солнце, туман растаял, и стало видно, как далеко впереди, до самого горизонта, меж рисовых полей, через узкую речку и дальше по отлогим холмам вьется дорога, по которой им предстояло пройти. Быть может, не напрасны были все ее ошибки и заблуждения, все муки, перенесенные ею, если теперь она сумеет пройти той дорогой, которую смутно различает впереди, — не тем путем, ведущим в никуда, о котором говорил забавный чудак Уоддингтон, а тем, которым так смиренно следовали монахини, — путем, что ведет к душевному покою.

Пироги и пиво, или скелет в шкафу

© Перевод. А. Иорданский, наследники, 2014.

Предисловие автора

Этот роман я сначала задумал как рассказ, и к тому же не очень длинный. Вот какую запись я сделал, когда появился его замысел: «Меня просят написать воспоминания о знаменитом романисте, друге моего детства, живущем в У. с женой, заурядной женщиной, отнюдь не сохраняющей ему верности. Там он пишет свои великие произведения. Позже он женится на своей секретарше, которая с ним нянчится и делает из него выдающуюся личность. Мои размышления о том, не вызывает ли у него даже в преклонном возрасте некоторого беспокойства то, что его превращают в монумент».

В то время я писал серию рассказов для журнала «Космополитен». Согласно контракту, каждый из них должен был иметь размер от 1200 до 1500 слов, чтобы вместе с картинкой занимать не больше полосы журнала. Иногда я давал себе волю — тогда картинка переходила на противоположную полосу, и мне освобождалось еще немного места. Я решил, что этот сюжет пригодится для такой цели, и держал его в запасе.

Но образ Рози я вынашивал уже давно. Многие

годы я хотел о ней написать, но для этого все не представлялось удобного случая. Я никак не мог изобрести такую ситуацию, в которой для нее нашлось бы подходящее место, и уже начал было думать, что из этого так ничего и не получится. Да и не очень я об этом жалел. Персонаж, живущий в голове автора, еще не написанный, остается в полной его власти; мысли автора постоянно к нему возвращаются, воображение понемногу его обогащает, и все это время автор испытывает своеобразное наслаждение от того, что там, у него в голове, живет разнообразной и трепетной жизнью некто покорный капризам его фантазии и в то же время каким-то странным образом наделенный собственной, от него не зависящей волей. Но как только образ перенесен на бумагу, он больше не принадлежит писателю. Он забыт. Просто удивительно, насколько безвозвратно перестает после этого существовать личность, которая на протяжении, может быть, многих лет занимала ваши мысли.

И вдруг мне пришло в голову, что в моем наброске есть тот самый подходящий для этого персонажа фон, который я искал. Сделаю-ка я ее женой моего знаменитого романиста! Я понял, что такой сюжет мне никак не втиснуть и в две

тысячи слов, и поэтому решил немного повременить и воспользоваться этим материалом для одного из рассказов подлиннее, на 14–15 тысяч слов, с которыми, начиная с «Дождя», я не без успеха выступал. Но чем больше я размышлял, тем меньше мне хотелось потратить свою Рози даже на такой рассказ. На меня нахлынули старые воспоминания. Я понял, что сказал еще далеко не все, что хотел, о городке У. из своего наброска, который в «Бремени страстей человеческих» назвал Блэкстеблом. Почему бы теперь спустя столько лет не подойти ближе к подлинным фактам? Так дядя Уильям, священник из Блэкстебла, и его жена Изабелла превратились в приходского священника дядю Генри и его жену Софи. А Филип Кэри из той, ранней, книги в «Пирогах и пиве» стал «мною».

Когда книга вышла, она навлекла на меня с разных сторон обвинения в том, будто под именем Эдуарда Дриффилда я изобразил Томаса Гарди. Но я такого намерения не имел. Гарди подразумевался мной не в большей степени, чем Джордж Мередит или Анатоль Франс. Как видно из того первого наброска, моя мысль состояла в том, что преклонение, окружающее писателя, когда он находится на склоне лет и на вершине славы,

должно быть, раздражает в нем ту живую искорку духа, которая все еще сохранила способность откликаться на полеты его фантазии. Я подумал, что ему, наверное, приходит в голову множество странных, беспокойных дум, хотя внешне он хранит то достоинство, какого требуют от него почитатели.

Когда я в восемнадцатилетнем возрасте прочитал «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», я пришел в такой восторг, что твердо решил жениться на молочнице; но другие книги Гарди не производили на меня такого сильного впечатления, как на большинство моих современников, и я не считал его таким уж блестящим стилистом. Он никогда не интересовал меня так, как одно время Джордж Мередит, а позже — Анатоль Франс. Биографию Гарди я знал плохо. Да и теперь я знаю ее лишь настолько, чтобы с уверенностью утверждать: совпадения между ней и жизнью Эдуарда Дриффилда очень незначительны. Они сводятся только к тому, что оба начинали в бедности и оба были женаты дважды.

Встречался с Томасом Гарди я всего один раз. Это было на обеде у леди Сент-Хельер, более известной в светском обществе того времени под именем леди Жен. Она, хотя и жила в гораздо

более чопорном мире, чем нынешний, любила приглашать к себе каждого, кто так или иначе привлек внимание публики. А я был тогда популярным и модным драматургом. Это был один из тех пышных обедов, какие устраивались до войны, — с множеством блюд, с супом и бульоном, рыбой, несколькими горячими закусками, шербетом (чтобы гости могли перевести дух); жарким, дичью, десертом, мороженым и сладким. За столом сидело двадцать четыре человека, и каждый из них был персона, чем-нибудь выдающаяся: или почетным титулом, или положением в обществе, или своим вкладом в искусство. Когда дамы удалились в гостиную, моим соседом оказался Томас Гарди. Помню, это был маленький человечек с грубыми чертами лица. Одетый во фрак и крахмальную рубашку со стоячим воротничком, он все равно чем-то странно напоминал о земле. Он был любезен и учтив. Меня тогда поразила в нем какая-то любопытная смесь застенчивости и самоуверенности. Не помню, о чем мы говорили, но знаю, что разговор продолжался три четверти часа. Под конец он удостоил меня большого комплимента — спросил (не слышав раньше моего имени), чем я занимаюсь.

Говорят, что в образе Элроя Кира два-три писа-

теля нашли намек на себя. Но они ошиблись. Этот персонаж — собирательный: от одного писателя я взял внешность, от другого — тягу к хорошему обществу, от третьего — сердечность, от четвертого — гордость своей спортивной удалью, и вдобавок довольно много — от себя самого. Дело в том, что я обладаю незавидной способностью сознавать свою собственную наивность и нахожу в себе много достойного осмеяния. Думаю, именно поэтому (если верить всему, что я часто о себе слышу и читаю) я вижу людей в не столь лестном свете, как многие авторы, таким злополучным свойством не обладающие. Ведь все образы, которые мы создаем, — это лишь копии с нас самих. Конечно, не исключено, что другие писатели и в самом деле благороднее, бескорыстнее, добродетельнее и возвышеннее меня. В таком случае естественно, что они, будучи сами ангелами во плоти, создают своих героев по собственному образу и подобию.

Когда же я захотел нарисовать портрет писателя, который пользуется любыми средствами, чтобы разрекламировать свои книги и обеспечить им сбыт, мне не нужно было присматриваться к какому-то определенному человеку: это слишком обычное явление. К тому же оно не может

не вызывать сочувствия. Каждый год остаются незамеченными сотни книг, многие из которых обладают большими достоинствами. Автор каждой такой книги писал ее много месяцев, а думал о ней, может быть, много лет; он вложил в нее какую-то часть самого себя, которой он после этого уже навсегда лишился. Сердце разрывается, когда думаешь, как велика вероятность, что эта книга потеряется в потоке произведений, загромождающих столы критиков и обременяющих полки книжных лавок. Ничего нет противоестественного в том, что автор пользуется для привлечения внимания публики любыми доступными ему средствами. Что именно следует для этого делать, его учит опыт. Он должен превратиться в общественного деятеля; он должен постоянно находиться в поле зрения. Он должен давать интервью и добиваться, чтобы его фотографии печатали в газетах. Он должен писать письма в «Таймс», выступать на митингах и заниматься социальными проблемами; он должен произносить послеобеденные речи; он должен высказываться о книгах, которые рекламируют издатели; и он должен неукоснительно появляться там, где нужно, в те моменты, когда нужно. Он не должен допускать, чтобы о нем забыли. Это нелегкая и

беспокойная работа, ибо ошибка может дорого ему обойтись. Было бы жестоко не сочувствовать автору, прилагающему такие усилия, чтобы уговорить мир прочесть книгу, которую он искренне считает этого достойной.

Есть лишь один вид рекламы, который я презираю, — это вечера, устраиваемые по выходе книги. Автор обеспечивает присутствие на таком вечере фотографа, приглашает светских хроникеров и всех выдающихся людей, с которыми знаком. Хроникеры по крайней мере хоть уделяют ему абзац в своих статьях, а фотографии печатаются в иллюстрированных журналах — выдающиеся же люди приходят только за тем, чтобы получить даром экземпляр книги с автографом. Этот позорный обычай не становится менее предусмотрительным в тех случаях, когда предполагается (иногда, несомненно, справедливо), что вечер устроен за счет издателя. Когда я писал «Пироги и пиво», такие вечера еще не вошли в моду, а они могли бы дать мне материал еще для одной яркой главы.

I

Я заметил, что, когда кто-нибудь звонит вам по телефону и, не застав вас дома, просит передать, чтобы вы немедленно, как только придете, позвонили ему по важному делу, дело это обычно оказывается важным не столько для вас, сколько для него. В тех случаях, когда речь идет о том, чтобы сделать вам подарок или оказать услугу, большинство людей способно взять себя в руки и не проявлять чрезмерного нетерпения. Поэтому когда я пришел домой как раз вовремя, чтобы успеть выпить рюмочку, покурить, прочитать газету и одеться к обеду, и узнал от своей квартирной хозяйки мисс Феллоуз, что меня просил немедленно позвонить мистер Элрой Кир, то я решил, что вполне могу пренебречь его просьбой.

— Это не тот писатель? — спросила она.

— Он самый.

Она ласково взглянула на телефон.

— Соединить вас с ним?

— Нет, спасибо.

— А что сказать, если он опять будет звонить?

— Спросите его, что мне передать.

— Хорошо, сэр.

Мисс Феллоуз осталась недовольна. Она захватила пустой сифон, окинула взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и вышла. Мисс Феллоуз — большая любительница литературы. Я не сомневаюсь, что она прочла все книги, написанные Роем. И была от них в восторге — об этом свидетельствовало то, что она явно не одобрила мое пренебрежение к его звонку.

Вернувшись домой снова, я нашел на буфете записку, написанную ее крупным, разборчивым почерком: «Мистер Кир звонил два раза. Не можете ли вы завтра с ним пообедать? Если нет, то какой день был бы вам удобен?»

Я удивленно поднял брови. В последний раз я виделся с Роем три месяца назад, да и то всего каких-нибудь несколько минут на одном званом обеде. Он был, как всегда, очень дружелюбен и, когда мы расставались, выразил сожаление, что мы так редко видимся.

— Ужасное место этот Лондон, — сказал он. — Вечно не хватает времени повидать тех, кого хочется. Давайте на будущей неделе как-нибудь вместе пообедаем, а?

— С удовольствием, — ответил я.

— Я загляну в свою записную книжку, как приеду домой, и позвоню вам.

— Ладно.

Я знаком с Роем уже двадцать лет и знаю, что маленькая записная книжка, куда он записывает все назначенные свидания, всегда у него с собой, в верхнем левом кармане жилета. Поэтому я не удивился, так и не дождавшись его звонка. И теперь я никак не мог заставить себя поверить, что он бескорыстно стремится проявить гостеприимство. Куря трубку перед сном, я перебирал возможные причины, по которым Рою могло понадобиться, чтобы я с ним пообедал. Может быть, какая-нибудь его поклонница пристала к нему с просьбой познакомить ее со мной; может быть, эту встречу просил организовать приехавший на несколько дней в Лондон американский издатель. Но я был бы несправедлив к своему старому приятелю, если бы подумал, что у него не хватит изобретательности выкрутиться. Кроме того, он просил назначить день по моему выбору, а значит, вряд ли собирался с кем-то меня свести.

Никто не может лучше Роя проявить самую искреннюю сердечность по отношению к собрату-писателю, чье имя у всех на устах; и никто не может столь же добродушно отвернуться от него, когда бездеятельность, неудача или чужой успех затмевают его славу. У всякого писателя

бывают взлеты и падения, и я прекрасно сознавал, что в тот момент не находился в центре внимания публики. Очевидно, я мог бы найти повод вежливо отклонить приглашение Роя, хотя он человек решительный, и если бы ему для каких-то своих целей понадобилось встретиться со мной, то остановить его можно было бы, только недвусмысленно послав к черту. Но меня одолело любопытство. Кроме того, я питаю к Рою самые теплые чувства.

Я с восхищением следил за его успехами в литературном мире. Его карьера могла бы служить образцом для любого начинающего писателя. Не припомню ни одного из своих современников, кто добился бы такого значительного положения с таким небольшим талантом. Талант Роя, как умеренная доза лекарства, мог бы уместиться в одной столовой ложке. Он прекрасно это понимал, и временами ему, должно быть, казалось почти чудом, что он ухитрился сочинить уже около тридцати книг. Я не могу не предположить, что он впервые прозрел, прочитав, что гениальность, как сказал однажды в послеобеденной речи Томас Карлайл, — не что иное, как бесконечная работоспособность. Это запало ему в голову. «Если все дело в этом, — сказал, вероятно,

он себе, — то и я могу быть гением не хуже других». И когда один экзальтированный критик на страницах дамского журнала впервые назвал его гением (а в последнее время критики делают это все чаще), он, наверное, удовлетворенно вздохнул, как человек, после многочасовых стараний решивший кроссворд. Ни один из тех, кто многие годы был свидетелем его неустанного труда, не может отрицать, что право на гениальность он, во всяком случае, заработал.

Свой жизненный путь Рой начал при довольно благоприятных обстоятельствах. Он был единственный сын государственного деятеля, который, прослужив много лет в колониальной администрации Гонконга, закончил свою карьеру губернатором Ямайки. Отыскав Элроя Кира на убористых страницах справочника «Кто есть кто», вы могли бы прочесть: «Един. с. сэра Реймонда Кира (см.), КОМГ[57], КОВ[58], и Эмили, мл. доч. покойного генерал-майора Перси Кэмпердауна (Индийская армия)».

Образование Рой получил в Винчестере и в Новом колледже Оксфорда. Он был президентом

---

[57] Примечания: 57
КОМГ — командир ордена Св. Михаила и Св. Георгия.

[58] Примечания: 58
КОВ — командир ордена Виктории.

студенческого общества, и если бы, к несчастью, не заболел корью, то вполне мог бы войти в университетскую команду на ежегодных лодочных гонках. Годы учения он провел без особого блеска, но зато вполне добропорядочно и долгов к окончанию университета не имел. Даже тогда он отличался бережливостью, не проявлял склонности сорить деньгами и был примерным сыном. Он знал, что его родители многим пожертвовали, чтобы дать ему такое дорогостоящее образование. Отец его, выйдя в отставку, жил в скромном, но вполне приличном доме близ Струда, в Глостершире, и время от времени приезжал в Лондон, чтобы присутствовать на парадных обедах, имевших отношение к колониям, которыми он когда-то управлял. В таких случаях он обычно заходил в клуб «Атенеум», где состоял членом. Через старого приятеля по клубу он сумел добиться, чтобы Роя по окончании Оксфорда взяли в наставники к сыну одного очень знатного лорда, отличавшемуся слабым здоровьем. Это позволило Рою смолоду познакомиться с высшим светом. Такой возможности он не упустил. В его книгах не найти тех ляпсусов, какие попадаются в произведениях писателей, изучавших жизнь светского общества лишь по иллюстрирован-

ным журналам. Он знал, как разговаривают между собой герцоги и как к ним адресуются члены парламента, адвокаты, букмекеры и камердинеры. Есть что-то пленительное в том изяществе, с каким он в своих первых повестях обращается с вице-королями, посланниками, премьер-министрами, членами королевской семьи и высокопоставленными дамами. Он дружелюбен без покровительственности и фамильярен без дерзости. Он не дает вам забыть об их положении, но вместе с вами с удовлетворением сознает, что они созданы из той же плоти, как и каждый из нас. Я всегда жалел, что по приговору моды жизнь аристократии перестала быть подходящей темой для серьезной литературы, и Рой, всегда чуткий к веяниям времени, вынужден в поздних повестях ограничиваться духовным миром присяжных, поверенных, бухгалтеров и маклеров. В этих кругах он чувствует себя далеко не так свободно.

Я впервые познакомился с ним вскоре после того, как он перестал быть наставником и целиком посвятил себя литературе. Тогда это был видный, статный молодой человек шести футов роста, атлетического сложения, с широкими плечами и уверенными движениями. Он был некрасив, но по-мужски приятен на вид, с большими,

честными голубыми глазами и волнистыми светло-каштановыми волосами; у него был довольно короткий, широкий нос и квадратный подбородок. Сразу видно — честный, чистый, здоровый человек.

Он много занимался спортом. Прочитав в его ранних книгах такие точные и яркие описания охоты с гончими, нельзя было усомниться в том, что он писал по собственному опыту; до самого последнего времени он, бывало, покидал свой письменный стол, чтобы денек поохотиться. Его первый роман вышел в те времена, когда литераторы, чтобы показать свою мужественность, пили пиво и играли в крикет; и в течение нескольких лет трудно было найти такую литературную команду, где не фигурировало бы его имя. Не знаю почему, но эта литературная школа сейчас утратила былое великолепие, на ее книги не обращают внимания, и хотя их авторы остались крикетистами, им все труднее печатать свои произведения. Рой уже много лет назад бросил крикет и выработал у себя тонкий вкус к красным сухим винам.

Когда вышла первая повесть Роя, он держался очень скромно. Повесть была невелика, написана добротно и, как и все, что он писал с тех пор, без

единой погрешности против хорошего вкуса. Он послал ее с любезным письмом всем тогдашним ведущим писателям и каждому написал, как он восхищается его произведениями, как много почерпнул, изучая их, и как искренне стремится следовать, пусть на подобающем расстоянии, по пути, проложенному адресатом. Он приносит свою книгу к ногам великого художника как дань уважения со стороны молодого, начинающего литератора к тому, кого он всегда будет считать своим учителем. Умоляя о снисхождении, сознавая, какая с его стороны дерзость — просить столь занятого человека тратить время на жалкие потуги новичка, он все-таки надеется услышать критическое слово и полезные указания.

Лишь немногие из авторов, к которым он обратился, прислали в ответ вежливые отписки. Остальные были польщены и ответили подробно. Книгу они похвалили, а автора многие пригласили на обед. Их не могла не покорить такая искренность, не мог не согреть такой энтузиазм. Он просил их совета с трогательным смирением и обещал последовать ему с внушающей доверие непосредственностью. Вот человек, почувствовали они, на которого стоит потратить кое-какие усилия.

Повесть имела значительный успех. Она принесла ему обширные знакомства в литературных кругах, и вскоре ни одно парадное чаепитие в Блумсбери, Кэмден-Хилле или Вестминстере не обходилось без Роя, передающего бутерброды или поспешающего на помощь пожилой леди, чтобы взять у нее пустую чашку. Он был так молод, весел, прям, так заразительно смеялся чужим шуткам, что не мог не нравиться. Он вступил в обеденные клубы, члены которых — литераторы, молодые адвокаты и дамы в ярких платьях, увешанные бусами, — собирались в отелях Виктория-стрит или Холборна, чтобы съесть обед за три с половиной шиллинга и поговорить об искусстве и литературе. Скоро у него обнаружились немалые способности к произнесению послеобеденных речей. Он был так мил, что собратья-писатели, его современники и соперники, простили ему даже благородное происхождение. Он не скупился на похвалы их незрелым произведениям, а получая на отзыв рукопись, никогда не находил в ней недостатков. Все решили, что он не просто славный парень, но и хороший ценитель литературы.

Рой написал вторую повесть. Он очень старался и не пренебрег советами, полученными

от старших собратьев по ремеслу. Было лишь справедливо, что многие из них по его просьбе написали рецензии для газет, с редакторами которых договорился Рой, и было лишь естественно, что рецензии оказались лестными. Повесть имела успех, но не такой, чтобы возбудить у его соперников ревнивые чувства. Наоборот, она подтвердила их подозрение, что он звезд с неба не хватает. Он был отличный парень, ничуть не чванился, и каждый с удовольствием помогал человеку, который никогда не поднимется так высоко, чтобы стать помехой ему самому. Я знаю, что кое-кто теперь горько улыбается, размышляя о своей ошибке.

Но когда говорят, что слава вскружила Рою голову, это неправда. Рой не утратил той скромности, которая в молодости была самой привлекательной его чертой.

— Я знаю, что я не великий писатель, — говорит он. — В сравнении с гигантами я просто не существую. Я думал, что когда-нибудь напишу действительно великую вещь, но уже давно перестал об этом даже мечтать. Я только хочу, чтобы обо мне говорили: он делает все, на что способен. Я тружусь. Я не позволяю себе никакой небрежности. По-моему, я хорошо умею строить

сюжет, могу создавать героев, похожих на живых людей. Ну и, в конце концов, все проверяется на практике: в Англии было продано тридцать пять тысяч экземпляров «Игольного ушка», а в Америке — восемьдесят тысяч, и за право печатать мою следующую вещь предлагают столько, сколько мне никогда еще не платили.

В конце концов, что, кроме скромности, побуждает его даже сейчас писать рецензентам, благодарить их за похвалу и приглашать на обед? Больше того, когда кто-нибудь резко его критикует — а Рой, особенно с тех пор, как его репутация упрочилась, не раз подвергался очень злобным нападкам, — он, в отличие от большинства из нас, не может просто пожать плечами, обругать про себя негодяя, которому не понравилась книга, и забыть об этом. Рой посылает критику длинное письмо, рассказывает, как ему жаль, что книга показалась плохой, но что рецензия сама по себе так интересна и, он берет на себя смелость сказать, свидетельствует о таком критическом чутье и вкусе, что он чувствует себя обязанным написать это письмо. Никто более его не стремится совершенствоваться, и он надеется, что еще способен чему-то научиться. Он не хотел бы навязываться, но если у критика нет никаких

дел в среду или четверг, то не может ли критик пообедать с ним в «Савое» и объяснить, почему же именно он счел книгу столь плохой?

Никто не может заказать обед лучше Роя, и обычно оказывается, что, проглотив полдюжины устриц и хороший кусок седла молодого барашка, критик проглотил и свои претензии к Рою. Всего лишь справедливо, что, когда выходит следующая книга Роя, критик видит в ней большой шаг вперед.

Одна из трудностей, с которыми приходится сталкиваться в жизни, состоит в том, как быть с людьми, которые когда-то были вашими друзьями, но со временем перестали вас интересовать. Если положение обеих сторон по-прежнему скромно, то разрыв происходит сам собой и не оставляет никакого следа. Но если один из двоих достиг известности, то дело осложняется. У него множество новых друзей, но старые неумолимы; он очень занят, но они считают, что имеют преимущественное право на его время; если он не бежит по первому их зову, они вздыхают и, пожав плечами, говорят: «Ну что ж, ты, наверное, не лучше других. Как стал теперь большим человеком, так со мной и видеться не пожелаешь».

Разумеется, именно так он и хотел бы посту-

пить, если бы у него хватило мужества. Но в большинстве случаев мужества не хватает. Он поддается и принимает приглашение на воскресный ужин. Холодный ростбиф оказывается чересчур холодным, сделанным из мороженого австралийского мяса, да еще пережаренным; а уж бургундское… и почему только они называют это бургундским? Неужели они никогда не бывали в Боне и не жили в «Отель-де-ля-пост»? Конечно, приятно поболтать о добром старом времени, когда вы делили в мансарде корку хлеба; но вам становится немного не по себе при мысли о том, как недалеко ушла от мансарды комната, в которой вы сидите. Вы успокаиваетесь, когда друг начинает рассказывать про свои книги, которых не покупают, и про свои рассказы, которых не печатают; режиссеры даже не читают его пьес, а когда он сравнивает их с тем, что ставят теперь (тут он бросает на вас укоряющий взгляд), то это, знаешь ли, просто обидно. Вы смущенно отводите глаза и преувеличиваете собственные неудачи, чтобы он понял, что и вам нелегко живется. Вы как можно пренебрежительнее отзываетесь о собственных произведениях, и вас слегка коробит, когда выясняется, что мнение о них хозяина совпадает с вашими словами. Вы говорите о

непостоянстве публики, давая ему возможность утешиться мыслью, что и ваша популярность недолговечна. Он дружески, но строго критикует вас.

«Я не читал твоей последней книги, — говорит он, — но читал предпоследнюю. Забыл, как она называется».

Вы называете ее.

«Я ожидал от нее большего. По-моему, она не так хороша, как те, что ты писал раньше. Ты знаешь, конечно, какая мне больше всех нравится?»

Это не первый такой случай в вашей практике, и вы смело называете самую первую свою книгу. Вам тогда было двадцать лет, книга была бесхитростной и неумелой, и на каждой ее странице запечатлена ваша неопытность.

«Лучше тебе не написать, — говорит он от души, и вы чувствуете, что вся ваша карьера представляет собой долгий путь упадка по сравнению с той, первой, удачей. — Мне все кажется, что ты не совсем оправдал те надежды, которые тогда подавал».

Газовое пламя в камине обжигает вам ноги, но ваши руки холодны как лед. Вы тайком поглядываете на часы и думаете, не обидится ли ваш друг, если вы уйдете в десять. Вы велели шоферу ждать

за углом, чтобы машина не стояла у дверей и не оскорбляла своим великолепием бедности друга, но в дверях он говорит:

«Остановка автобуса в конце улицы. Я тебя провожу».

Вы в смущении сознаетесь, что у вас есть машина. Ему кажется очень странным, что она ждет за углом. Вы отвечаете, что это одна из причуд шофера. Когда вы садитесь в машину, друг смотрит на вас со снисходительным превосходством. Вы нервничаете и приглашаете его как-нибудь с вами пообедать. Пообещав прислать ему записку вы уезжаете, размышляя, не подумает ли он, что вы хвастаете своей шикарной жизнью, если пригласите его в «Кларидж», или что вы скупердяй, если предложите Сохо.

Рой Кир избавлен от подобных переживаний. Если сказать, что он бросал людей, получив от них все, что мог, это прозвучит грубовато; но чтобы выразить то же самое деликатнее, потребуется столько времени и нужно будет так тонко подбирать легкие, игривые намеки и полутона, что поскольку, в сущности, дело обстоит именно так, то этим можно и ограничиться. Большинство из нас, поступив с кем-нибудь нехорошо, сохраняет к нему злобное чувство. Однако ничем не смуща-

емая душа Роя чужда такой мелочности. Сделав кому-нибудь большую гадость, он способен не питать потом к этому человеку никакой злобы.

«Бедный старина Смит, — говорит он. — Я так его люблю, он просто прелесть. Жаль, что он на меня злится. Я хотел бы что-нибудь для него сделать. Нет, я его уже много лет не видел. Не стоит пытаться поддерживать старую дружбу. Это болезненно для обеих сторон. Ведь человек вырастает из своих старых привязанностей, и тут уж ничего не поделаешь».

Но если он сталкивается с тем же Смитом на каком-нибудь приеме вроде закрытого вернисажа в Королевской академии — никто не может быть более сердечным. Он трясет Смита за руку и говорит, как восхищен встречей. Лицо его сияет. Он источает дружеские чувства, как благостное солнце — свои лучи. Смит приходит в восторг от такой удивительной сердечности: со стороны Роя было чертовски мило сказать, что он не пожалел бы ничего, лишь бы написать что-нибудь похожее на последнюю книгу Смита.

Если же Рою кажется, что Смит его не видит, он старается отвернуться и смотреть в другую сторону. Однако Смит его видел и остается недоволен тем, что Рой им пренебрег. Смит принимается

язвить. Он говорит, что прежде Рой был рад разделить с ним бифштекс в скверном ресторанчике или провести с ним отпуск в рыбачьей хижине в Сент-Айвсе. Смит говорит, что Рой — предатель. Он говорит, что Рой — сноб. Он говорит, что Рой — лицемер.

Однако в этом Смит не прав. Самая яркая черта Элроя Кира — его искренность. Нельзя лицемерить на протяжении двадцати пяти лет. Лицемерие — самый трудный и утомительный порок из всех, которым человек может предаваться. Оно требует достоянной бдительности и редкой целеустремленности. В нем нельзя упражняться на досуге, как в прелюбодеянии или чревоугодии; оно занимает все ваше время. Лицемерие требует еще и циничного юмора, и, хотя Рой много смеется, я никогда не думал, что чувство юмора у него сильно развито; а уж циником он быть не способен — в этом я уверен. Хоть я дочитал до конца лишь некоторые его книги, но начинал читать многие из них. По-моему, печать искренности лежит на каждой из их многочисленных страниц. Именно это, очевидно, и было главной причиной их устойчивой популярности. Рой всегда искренне верил в то, во что в тот момент верили все остальные. Когда он писал повести об

аристократии, он искренне верил, что ее представители развращены и аморальны, но все же им присуще известное благородство и врожденная способность управлять Британской империей. Позже, начав писать о средних классах, он искренне верил, что это хребет нации. Его негодяи всегда были гнусными, герои — возвышенными, а девы — чистыми.

Когда Рой приглашает на обед автора лестной рецензии, то делает это потому, что искренне ему благодарен за доброе мнение; а когда приглашает автора нелестной рецензии, то делает это потому, что искренне стремится исправиться. Когда в Лондон приезжают его неизвестные поклонники из Техаса или Западной Австралии, он водит их по Национальной галерее не только из уважения к своим читателям; он делает это потому, что искренне интересуется впечатлением, которое производит на них искусство.

Чтобы убедиться в его искренности, достаточно послушать, как он читает лекции. Когда он стоит на кафедре в великолепно сидящем фраке или, если это более уместно, в свободном, не очень новом, но безукоризненно сшитом пиджаке, и серьезно, открыто, но с подкупающей скромностью смотрит на слушателей, нельзя сомневаться, что

он относится к своей задаче с полной ответственностью. Хотя время от времени он притворяется, будто не может найти нужное слово, это делается только для того, чтобы оно прозвучало более эффектно. Его голос глубок и мужествен. Он хороший рассказчик и никогда не бывает скучным. Он любит читать лекции о молодых писателях Англии и Америки и разъясняет аудитории их достоинства с жаром, свидетельствующим о его великодушии. Быть может, он говорит даже слишком много, потому что, прослушав его лекцию, вы чувствуете, что уже все о них знаете и что вам вовсе не обязательно читать их книги. Я полагаю, именно поэтому после того, как Рой читает лекцию в каком-нибудь провинциальном городке, никто не покупает ни единой книги тех авторов, о которых он рассказывал, но зато спрос на его собственные всегда повышается.

Его энергия неистощима. Он не только совершал успешные турне по Соединенным Штатам, но и изъездил с лекциями всю Великобританию. Нет такого крохотного клуба или ничтожного кружка самообразования, которым Рой не уделил бы хоть часа. Время от времени он обрабатывает свои лекции и издает их в виде маленьких, аккуратных томиков. Большинство людей, этим

интересующихся, по крайней мере листали его книги «Современные романисты», «Русская литература» и «Некоторые писатели»; и лишь немногие будут отрицать, что в них чувствуется глубокое понимание литературы и личное обаяние автора.

Но этим отнюдь не исчерпывается его деятельность. Он активный член организаций, призванных защищать интересы авторов или облегчать их участь, когда болезнь или старость доводят их до нищеты. Он всегда рад помочь, когда в законодательных органах рассматриваются вопросы авторского права, и всегда готов войти в состав делегаций, посылаемых за границу для установления дружественных отношений между писателями разных стран. На приемах можно рассчитывать на его ответное слово от имени литературы, и он неизменно входит в комиссии для подобающей встречи какой-нибудь заморской литературной знаменитости. Ни один благотворительный базар не обходится без экземпляра хотя бы одной из его книг с автографом. Он никогда не отказывает в интервью. Он справедливо говорит, что никто лучше его не знает трудностей литературного ремесла, и что если он может, приятно поболтав с каким-нибудь скромным

журналистом, помочь тому заработать несколько гиней, то у него не хватит жестокости ответить отказом. Обычно он приглашает интервьюера пообедать и редко производит на него невыгодное впечатление. Единственное условие, которое он ставит, заключается в том, чтобы просмотреть статью перед ее опубликованием. Его никогда не выводят из себя газетчики, которые в самые неподходящие моменты звонят знаменитому человеку и требуют сообщить читателям, верит ли он в Бога или что ест на завтрак. Он принимает участие во всех публичных диспутах, и все знают, что он думает о сухом законе, вегетарианстве, джазе, чесноке, спорте, браке, политике и месте женщины в доме.

Его взгляды на брак остались абстрактными, ибо он успешно избежал этого состояния, которое столь многие деятели искусства с таким трудом пытались примирить со служением своему призванию. Всем известно, что в течение нескольких лет он питал безнадежную страсть к одной замужней даме из высшего света, и, хотя он говорил о ней не иначе как с рыцарственным преклонением, все догадывались, что она обошлась с ним жестоко. Об этом пережитом им испытании напоминает необычная горечь,

которой проникнуты повести, написанные им в середине творческого пути.

Душевные муки, перенесенные им в то время, помогают ему вежливо уклоняться от авансов дам с сомнительной репутацией, которые когда-то были украшением веселых компаний, а теперь стремятся сменить непрочное настоящее на надежный брак с известным писателем. Как только он замечает в их ясных глазах тень брачной конторы, он говорит им, что память о его единственной большой любви не позволит ему принять на себя какие бы то ни было постоянные узы. Его донкихотство может их раздражать, но не может оскорбить. Он едва заметно вздыхает при мысли, что навсегда лишен радостей домашнего очага и отцовства, но он готов на эту жертву. Он заметил, что публика не желает иметь дела с женами писателей и художников. Художник, который повсюду, куда бы ни шел, берет с собой жену, лишь всем надоедает и поэтому часто оказывается не приглашенным туда, куда бы ему хотелось. Если же он оставляет жену дома, то по возвращении его ждет сцена. Это лишает человека покоя, столь необходимого, чтобы добиться всего, на что он способен. Элрой Кир холост, и теперь, когда ему минуло пятьдесят лет, ему,

вероятно, предстоит таковым и остаться.

Он являет собой пример того, что может сделать и до каких высот может подняться писатель благодаря трудолюбию, здравому смыслу, честности и умелому сочетанию разнообразных хитростей и уловок. Он неплохой человек, и лишь злостный критикан мог бы позавидовать его успеху. Я почувствовал, что, если засну с мыслями о нем, это обеспечит мне безмятежный сон. Я нацарапал записку мисс Феллоуз, выколотил пепел из трубки, погасил свет в гостиной и лег спать.

II

Когда на следующее утро мне принесли газеты и письма, среди них был и ответ на записку, которую я оставил мисс Феллоуз. Он гласил, что мистер Элрой Кир ожидает меня в час пятнадцать в своем клубе на Сент-Джеймс-стрит. Около часа я заглянул в собственный клуб и выпил коктейль — на то, что меня угостит коктейлем Рой, я не особенно надеялся. Потом я не спеша прошелся по Сент-Джеймс-стрит, разглядывая витрины магазинов, и так как до назначенного времени оставалось еще несколько минут (я не хотел быть чересчур пунктуальным), то я зашел в аукционный зал «Кристи» посмотреть, не приглянется ли мне там что-нибудь. Аукцион уже начался, и стоявшие кучкой смуглые низкорослые люди передавали друг другу серебряные викторианские вещи, а аукционист, скучающим взглядом следя за их движениями, монотонно бормотал: «Предложено десять шиллингов, одиннадцать, одиннадцать с половиной...» Было начало июня, стояла прекрасная погода, воздух на улице был чист и прозрачен, и от этого картины на стенах аукционного зала казались очень тусклыми. Я

вышел. Люди шли по улице весело и беззаботно, как будто им в душу проник покой этого дня и среди своих дел они с удивлением ощутили внезапное желание остановиться и вглядеться в картину жизни.

Клуб Роя принадлежал к числу степенных. В вестибюле находились лишь швейцар преклонных лет и рассыльный, и мне неожиданно пришла в голову печальная мысль, что все члены клуба отправились хоронить метрдотеля. Когда я произнес фамилию Роя, рассыльный повел меня в пустой коридор, где я оставил шляпу и трость, а потом в пустой холл, стены которого были увешаны портретами государственных мужей эпохи Виктории в натуральную величину. Рой встал с кожаного дивана и радостно поздоровался со мной.

— Пойдемте прямо наверх? — сказал он.

Я оказался прав, полагая, что он не угостит меня коктейлем, и похвалил себя за предусмотрительность. Он повел меня по величественной парадной лестнице, покрытой тяжелым ковром; ни единой души не попалось нам навстречу. Мы вошли в столовую для гостей, где тоже оказались единственными посетителями. Это была комната солидных размеров, очень чистая и белая,

с большим окном, украшенным роскошными лепными гирляндами. Мы уселись около него, и сдержанный официант подал нам карточку. Говядина, баранина, холодная лососина, пирог с ревенем, пирог с крыжовником… Пробегая этот неизбежный список, я вздохнул при мысли о ресторанах за углом, где была французская кухня, кипела жизнь и сидели хорошенькие, накрашенные женщины в летних платьях.

— Рекомендую паштет из телятины с ветчиной, — сказал Рой.

— Ладно.

— Салат я смешаю сам, — сказал он официанту небрежно, но властно, а потом, еще раз взглянув в карточку, великодушно добавил: — А как насчет спаржи?

— Очень хорошо.

Он сделался еще величественнее.

— Спаржу на двоих, и скажите шефу, чтобы выбрал сам. Ну а что бы вы хотели выпить? Что вы скажете о бутылке рейнвейна? Мы здесь большие любители рейнвейна.

Когда я согласился, он велел официанту позвать управляющего винным погребом. Я не мог не восхищаться тем властным, но безукоризненно вежливым тоном, каким он отдавал приказания.

Чувствовалось, что именно так должен хорошо воспитанный король посылать за каким-нибудь своим фельдмаршалом. Дородный управляющий в черном костюме с серебряной цепью на шее — знаком своей должности — поспешил явиться с картой вин в руках. Рой кивнул ему со сдержанной фамильярностью:

— Здравствуйте, Армстронг. Мы хотим «Либфраумильх» двадцать первого года.

— Хорошо, сэр.

— Много его еще осталось? Знаете, ведь больше его не достать.

— Боюсь, что нет, сэр.

— Ну, нечего тревожиться раньше времени. Верно, Армстронг?

Рой добродушно улыбнулся управляющему. Опыт многолетнего общения с членами клуба подсказал тому, что это замечание требовало ответа.

— Да, сэр.

Рой засмеялся и взглянул на меня. Занятный человек этот Армстронг.

— Так вот, заморозьте его, Армстронг. Не слишком, а в самую меру. Покажите моему гостю, что мы здесь понимаем в этом толк.

Он повернулся ко мне:

— Армстронг служит у нас уже сорок восемь лет.

Когда управляющий ушел, Рой сказал:

— Надеюсь, вы не пожалеете, что пришли сюда. Здесь тихо, и мы сможем как следует поговорить. Давненько нам это не удавалось. А вы как будто в прекрасной форме.

Это привлекло мое внимание к внешности Роя.

— Но до вас мне далеко, — ответил я.

— Плоды честной, трезвой и праведной жизни, — засмеялся он. — Много работы. Много спорта. Как ваши успехи в гольфе? Надо будет нам как-нибудь сыграть партию.

Я знал, что Рой прекрасно играет в гольф и что меньше всего он стремится к тому, чтобы потерять целый день с посредственным игроком вроде меня. Но я почувствовал, что мне ничего не грозит, если даже я и приму столь неопределенное приглашение.

Рой выглядел воплощением здоровья. В его вьющихся волосах появилась сильная проседь, но она ему шла и делала еще моложе его открытое, загорелое лицо. Глаза его, глядевшие на мир с таким неподдельным чистосердечием, были ясны и чисты. Он уже утратил былую стройность,

и я не удивился, что, когда официант принес булочки, Рой попросил для себя диетических хлебцев. Легкая полнота лишь усугубляла его достоинство: она придавала больший вес его словам. Из-за того, что его движения стали более неторопливыми, чем раньше, вас охватывало приятное чувство доверия к нему; он так плотно заполнял свое кресло, что трудно было отделаться от впечатления, будто он сидит на постаменте.

Не знаю, удалось ли мне, излагая здесь разговор Роя с официантом, показать, что его беседа обычно не отличалась ни остроумием, ни блеском, но он говорил непринужденно и так много смеялся, что иногда казалось, будто его слова и вправду остроумны. У него всегда находилось что сказать, и он мог обсуждать злободневные темы с такой легкостью, что его собеседники не чувствовали никакого напряжения мысли.

Писатели всю жизнь работают над словом, и многим из них свойственна дурная привычка слишком точно подбирать выражения в разговоре. Сами того не замечая, они правильно строят фразы, означающие именно то, что они хотят сказать, — не больше и не меньше. Этим они несколько отпугивают лиц из высших слоев общества, чей лексикон ограничен их нехитрыми

духовными потребностями, и такие лица не без колебаний вступают с ними в беседу. С Роем никто никогда не чувствовал подобного стеснения. С танцором-гвардейцем он мог разговаривать, пользуясь совершенно понятными ему словами, с графиней — любительницей скачек мог вести беседу на языке конюхов. О нем с восторгом и облегчением говорили, что он ничуть не похож на писателя. Не было комплимента, который доставлял бы ему большее удовольствие.

Благоразумные люди всегда употребляют множество ходячих фраз, общепринятых эпитетов, глаголов, смысл которых известен лишь тем, кто вращается в определенном кругу; эти дешевые блестки украшают светскую беседу и избавляют от необходимости думать. Американцы, самые изобретательные люди на земле, довели такой способ до столь высокого совершенства и выдумали столь широкий ассортимент многозначительных банальностей, что могут вести занимательный и оживленный разговор, ни на мгновение не задумываясь над тем, что говорят. Это освобождает их мозг для размышления о более важных вопросах — например, о большом бизнесе или о прелюбодеянии. У Роя тоже был обширный репертуар, а чутьем на модные словечки

он обладал безошибочным; они в изобилии, но всегда к месту уснащали его речь, и он вставлял их каждый раз с радостной готовностью, как будто только сию минуту их породило его воображение.

На этот раз он говорил о том о сем, о наших общих знакомых, о новых книгах, об опере. Он был очень весел. Он всегда отличался жизнерадостностью, но сегодня от его веселья просто захватывало дух. Он сетовал на то, что мы так редко видимся, и с той прямотой, которая была одной из его приятнейших черт, говорил мне, как он меня любит и какого высокого обо мне мнения. Я чувствовал, что должен ответить ему тем же дружелюбием. Он расспрашивал меня о книге, которую писал я, а я расспрашивал его о книге, которую писал он. Мы пожаловались друг другу, что ни один из нас не пользуется тем успехом, какого заслуживает. Мы съели паштет из телятины с ветчиной, и Рой рассказал мне, как он смешивает салат. Мы пили рейнвейн и одобрительно причмокивали губами.

А я все думал, когда же он доберется до сути дела. Я не мог заставить себя поверить, что в разгар лондонского сезона Элрой Кир способен потратить целый час на собрата по перу, который

не ведет критического раздела и не пользуется никаким влиянием решительно нигде, — только для того, чтобы поговорить о Матиссе, русском балете и Марселе Прусте. Кроме того, за его весельем я смутно чувствовал, что он как будто чего-то ждет. Не знай я, что он процветает, я бы заподозрил его в намерении занять у меня сотню фунтов.

Дело шло к тому, что обед кончится, а ему так и не представится случай высказаться. Я знал, что он осторожен. Может быть, он решил, что лучше воспользоваться этой первой после столь долгой разлуки встречей лишь для восстановления дружеских отношений, и рассматривал нашу приятную, обильную трапезу лишь как приманку?

— Пойдемте пить кофе в соседнюю комнату? — предложил он.

— Пожалуйста.

— По-моему, там удобнее.

Я прошел за ним в другую комнату, гораздо более просторную, с огромными кожаными креслами и необозримыми диванами; на столах здесь лежали газеты и журналы. В углу вполголоса разговаривали два старых джентльмена. Они враждебно взглянули на нас, но это не помешало

Рою дружески их приветствовать.

— Здравствуйте, генерал, — воскликнул он, весело кивнув головой.

Я постоял у окна, глядя на открывавшийся за ним радостный день, и пожалел, что плохо знаю исторические события, связанные с Сент-Джеймс-стрит. К моему стыду, я не знал даже названия клуба напротив, а спросить Роя боялся, чтобы он не начал презирать меня за незнание вещей, известных каждому приличному человеку. Он подозвал меня, спросив, буду ли я пить с кофе коньяк, и когда я отказался, продолжал настаивать. Клуб славился своим коньяком. Мы сели рядом на диван у элегантного камина и закурили сигары.

— Здесь со мной обедал Эдуард Дриффилд, когда в последний раз перед смертью был в Лондоне, — небрежно сказал Рой. — Я заставил старика попробовать наш коньяк, и он был в восторге. В прошлое воскресенье я побывал в гостях у его вдовы.

— В самом деле?

— Она передавала вам всяческие приветы.

— Очень мило с ее стороны. Я не думал, что она меня помнит.

— Ну как же, конечно, помнит. Вы обедали там лет шесть назад, верно? Она говорит, что старик

был так рад вас видеть.

— Она-то, по-моему, была не очень рада.

— О нет, вы ошибаетесь. Ну конечно, ей приходилось соблюдать большую осторожность. Старика просто осаждали люди, которые хотели с ним увидеться, и она должна была беречь его силы. Она всегда боялась, что он переутомится. Уж если на то пошло, вообще удивительно, как это он у нее продержался, да еще в здравом уме и твердой памяти, до восьмидесяти четырех лет. После его смерти я довольно-таки часто ее видел. Она очень одинока. В конце концов, она двадцать пять лет только и делала, что ухаживала за ним. А это, знаете, нелегко. Мне ее вправду жаль.

— Она сравнительно молода. Пожалуй, еще выйдет замуж.

— О нет, она не сможет этого сделать. Это было бы ужасно.

Мы пригубили коньяк и помолчали.

— Вы, кажется, один из тех немногих, кто знал Дриффилда, пока он еще не пользовался известностью. Вы когда-то часто с ним виделись, верно?

— Более или менее. Я был почти мальчишкой, а он уже был в летах. Так что закадычными приятелями мы не были.

— Может быть, и нет, но вы, наверное, знаете о

нем много такого, чего другие не знают.

— Пожалуй, да.

— А вам никогда не приходило в голову написать о нем воспоминания?

— Что вы, конечно, нет!

— А не кажется ли вам, что вы должны это сделать? Это же был один из великих романистов нашего времени. Последний из викторианцев. Исполин. Если каким-нибудь книгам, написанным за последние сто лет, суждено бессмертие, то это его романы.

— Сомневаюсь. Мне они всегда казались довольно скучными.

Рой поглядел на меня смеющимися глазами.

— Как это похоже на вас! Во всяком случае, вы должны признать, что находитесь в меньшинстве. Я не стыдясь сознаюсь, что читал его книги не раз и не два, а раз по пять, и с каждым разом они кажутся мне все лучше и лучше. Вы читали, что писали о нем после его смерти?

— Кое-что.

— Единодушие было просто потрясающим. Я прочел все.

— Но если везде говорилось одно и то же, стоило ли все читать?

Рой добродушно пожал плечами, но не отве-

тил.

— По-моему, великолепно выступил «Таймс литерари сапплмент». Старик был бы рад, если бы прочел. Я слышал, что «Куортерли» готовит о нем статью в следующем номере.

— А я все равно считаю, что романы у него довольно скучные.

Рой снисходительно улыбнулся:

— Вас не смущает то, что ваше мнение расходится со всеми авторитетами?

— Ничуть. Я пишу уже тридцать пять лет, и вы не можете себе представить, сколько писателей на моих глазах были провозглашены гениями, час-другой наслаждались славой и погружались в забвение. Любопытно, что потом с ними случилось. Умерли они, или попали в сумасшедший дом, или где-нибудь служат? Может быть, они живут в захолустных деревушках и украдкой дают почитать свои книги местному доктору и старым девам из благородных семей? А может, их все еще считают великими людьми в каком-нибудь итальянском пансионе?

— Да, это неудачники. Я знавал таких.

— Вы даже читали о них лекции.

— Приходится. Почему не помочь людям, если можешь и если знаешь, что из них все равно

ничего не получится? Черт возьми, можем же мы себе позволить быть великодушными! И потом, у Дриффилда нет с ними ничего общего. В полном собрании его сочинений тридцать семь томов, и последний экземпляр был продан на аукционе у «Сотбис» за семьдесят восемь футов. Это говорит само за себя. Тиражи его книг росли из года в год и в прошлом году были больше, чем когда-либо раньше. Можете мне поверить, эти цифры показывала мне миссис Дриффилд, когда я был там в последний раз. Дриффилд останется навсегда.

— Кто знает?

— Ну, по-вашему, вы все знаете, — съязвил Рой в ответ, но я не смутился. Я знал, что мои слова раздражают его, и это доставляло удовольствие.

— По-моему, первые впечатления, оставшиеся у меня с детства, были правильными. Мне говорили, что Карлайл — великий писатель, и мне было очень стыдно, когда я убедился, что не могу прочесть «Французскую революцию» и «Сартор ресартус». А кто их читает теперь? Чужие мнения казались мне вернее собственных, и я заставлял себя считать великолепным писателем Джорджа Мередита. Но про себя я думал, что он пишет выспренне, неискренне и многословно. Сейчас многие так считают. Мне говорили, что куль-

турный молодой человек должен восхищаться Уолтером Патером, и я им восхищался, но, Боже мой, какая скучища его «Мариус»!

— Ну конечно, Патера, по-моему, теперь в самом деле никто не читает, и от Мередита уже ничего не осталось, а что до Карлайла, то это попросту претенциозный болтун…

— Но вы не представляете, как уверены были все в их бессмертии тридцать лет назад.

— И вы никогда не делали ошибок?

— Одну или две. Я и наполовину так не ценил Ньюмена, как ценю сейчас, а звонкие четверостишия Фицджеральда нравились мне гораздо больше, чем теперь. Я не смог одолеть «Вильгельма Мейстера» Гете, а теперь считаю его шедевром.

— А что из того, что казалось вам хорошим тогда, нравится и сейчас?

— Ну, «Тристрам Шенди», и «Эмилия», и «Ярмарка тщеславия». «Мадам Бовари», «Пармская обитель» и «Анна Каренина». И Вордсворт, и Китс, и Верлен.

— Вы, конечно, извините, но я позволю себе заметить, что это не особенно оригинально.

— Пожалуйста. Я и не думаю, что это оригинально. Но вы спросили, почему я доверяю

своему собственному суждению, и я попытался объяснить: что бы я ни утверждал из робости и из уважения к тогдашнему просвещенному мнению, на самом деле я не восхищался некоторыми авторами, которых тогда считали достойными восхищения. И время как будто показало, что я был прав. А то, что мне тогда откровенно и инстинктивно нравилось, выдержало испытание временем и для меня, и для критики вообще.

Рой помолчал. Он заглянул в свою чашку — не знаю, хотел ли он посмотреть, не осталось ли там еще кофе, или пытался найти что сказать. Я поднял глаза на часы над камином. Через минуту я смогу уйти, не нарушая приличий. Может быть, я все-таки ошибался и Рой пригласил меня лишь для того, чтобы поболтать о Шекспире и музыкальных новинках? Я упрекнул себя за то, что так дурно о нем думал, и бросил на него сочувственный взгляд. Если такова была его единственная цель, это могло означать одно: он устал и разочарован. Такое бескорыстие могло свидетельствовать лишь о том, что, по крайней мере в данный момент, у него на душе скверно.

Но он заметил, что я посмотрел на часы, и заговорил:

— Не понимаю, как вы можете отрицать, что

если человек на протяжении шестидесяти лет пишет книгу за книгой и пользуется все растущей популярностью, — значит, в нем что-то есть? Ведь в Ферн-Корте целые шкафы забиты переводами книг Дриффилда на языки всех цивилизованных народов. Конечно, я согласен, многое из того, что он написал, в наше время кажется слегка старомодным. Он расцвел в неудачную эпоху, и у него осталась склонность к пустословию. Большая часть его сюжетов мелодраматична. Но вы должны согласиться, что одно достоинство у него есть — это чувство прекрасного.

— В самом деле? — сказал я.

— В конце концов, это самое главное, а у Дриффилда нет такой страницы, которая не была бы проникнута чувством прекрасного.

— Да? — сказал я.

— Жаль, что вас не было, когда мы поехали преподносить ему к восьмидесятилетнему юбилею его портрет. Это было действительно памятное событие.

— Я читал об этом в газетах.

— Знаете, там были не только писатели — это было очень представительное общество: наука, политика, деловой мир, искусство, высший свет. Не часто собирается такая коллекция зна-

менитостей, как та, что вышла тогда из поезда в Блэкстебле. Все были ужасно тронуты, когда премьер вручил старику орден «За заслуги». Он произнес прекрасную речь. Я не стыжусь сказать, что у многих в тот день навернулись слезы на глаза.

— А Дриффилд тоже плакал?

— Нет, он держался на удивление спокойно. Он был, как всегда — такой, знаете, чуть застенчивый, скромный, с безупречными манерами. Он, конечно, был полон благодарности, но немного суховат. Миссис Дриффилд боялась, чтобы он не переутомился, и когда мы сели обедать, он остался в кабинете, а она велела отнести ему кое-что на подносе. Пока все пили кофе, я улизнул к нему. Он курил трубку и глядел на портрет. Я спросил, понравился ли ему портрет. Он ничего не ответил, только чуть улыбнулся. Потом он спросил, как я считаю, можно ли ему вынуть зубные протезы, а я сказал, что нет и что вся депутация сейчас придет прощаться. Потом я спросил, не думает ли он, что это удивительные минуты. «Занятно, — сказал он. — Очень занятно». По-моему, он был просто потрясен. В последние годы он очень неопрятно ел, да и курил тоже — весь обсыпался табаком, когда набивал трубку. Миссис Дриффилд не лю-

била, чтобы он в таком виде показывался людям, но я-то, конечно, был не в счет. Я почистил его, а потом все пришли пожать ему руку, и мы возвратились в город. Я встал.

— Ну, мне в самом деле пора. Я очень рад, что с вами повидался.

— Я сейчас собираюсь на закрытый вернисаж в Л естерскую галерею. Я там кое-кого знаю. Если хотите, я вас проведу.

— Это очень любезно с вашей стороны, но они прислали мне приглашение. Нет, я, пожалуй, не пойду.

Мы спустились по лестнице, и я взял шляпу. Когда мы вышли на улицу и я повернул в сторону Пиккадилли, Рой сказал:

— Я провожу вас до угла.

Он зашагал со мной в ногу.

— Вы ведь знали его первую жену?

— Чью?

— Дриффилда.

— А! — Я уже забыл о нем. — Да.

— Хорошо знали?

— Достаточно хорошо.

— Кажется, она была просто ужасна.

— Этого я что-то не припомню.

— Как будто страшно вульгарная женщина.

Ведь она была буфетчицей, да?

— Верно.

— Не понимаю, как его угораздило на ней жениться. Я везде слышал, что она изменяла ему на каждом шагу.

— Да, на каждом шагу.

— Вы вообще-то помните, какая она была?

— Прекрасно помню. — Я улыбнулся. — Она была прелесть.

Рой усмехнулся:

— Большинство о ней другого мнения.

Я промолчал. Мы дошли до Пиккадилли, и я, остановившись, протянул ему руку. Он пожал ее, но, как мне показалось, без своей обычной сердечности. У меня осталось впечатление, будто он разочарован нашей встречей. Я не мог понять почему. Он не добился от меня, чего хотел, по той простой причине, что не дал мне ни малейшего намека на то, что бы это могло быть. Не спеша шагая мимо аркады отеля «Ритц» и вдоль ограды парка до угла Хаф-Мун-стрит, я размышлял, не было ли мое поведение более обычного отпугивающим. Ясно, что Рой счел случай неподходящим, чтобы просить меня о каком-то одолжении.

Я свернул на Хаф-Мун-стрит. После веселой суматохи Пиккадилли здесь царила приятная

тишина. Это была почтенная, респектабельная улица. В большинстве домов здесь сдавались квартиры, но об этом не извещали вульгарные объявления: на некоторых об этом гласили начищенные до блеска медные таблички, какие вывешивают врачи, на окнах других было аккуратно выведено: «Квартиры». На одном-двух особенно благопристойных домах просто была обозначена фамилия владельца: не зная, в чем дело, можно было подумать, что здесь помещается портной или ростовщик. В отличие от Джермин-стрит, где тоже сдают комнаты, здесь не было такого напряженного уличного движения; только кое-где у дверей стояли пустые шикарные машины да иногда такси высаживало какую-нибудь пожилую леди. Чувствовалось, что здесь живут не веселые обитатели Джермин-стрит с их чуть сомнительной репутацией — любители скачек, встающие по утрам с головной болью и требующие рюмочку, чтобы прийти в себя, — а респектабельные дамы, приехавшие из провинции на шесть недель в разгар лондонского сезона, и пожилые джентльмены, принадлежащие к клубам, куда не всякого пускают. Чувствовалось, что они из года в год приезжают в один и тот же дом и, может быть, знавали его владельца, еще

когда он был в услужении. Моя хозяйка мисс Феллоуз когда-то служила кухаркой в нескольких очень хороших домах, но вы бы никогда об этом не догадались, увидев ее идущей за покупками на рынок. Она была ни толстой, ни краснолицей, ни неряшливой, какими мы обычно представляем себе кухарок: это была женщина средних лет, худая, с решительным выражением лица; держалась она очень прямо, одевалась скромно, но по моде, красила губы и носила монокль. Она отличалась деловитостью, хладнокровием, спокойным цинизмом и брала очень дорого.

Я снимал у нее комнаты в первом этаже. Гостиная была оклеена старыми обоями под мрамор, а на стенах висели акварели, изображавшие всякие романтические сцены: кавалеров, расстающихся со своими дамами, и рыцарей былых времен, пирующих в роскошных залах. В комнате стояли высокие папоротники в горшках, а кресла были обиты выцветшей кожей. Комната чем-то странно напоминала о восьмидесятых годах, только за окном вместо собственных экипажей проезжали «крайслеры». Окна задергивались занавесями из тяжелого красного репса.

III

В этот день у меня было много дел, но разговор с Роем и то ощущение, которое, не знаю почему, сильнее обычного охватило меня, как только я вошел в свою комнату, — ощущение позавчерашнего дня, продолжающего жить в памяти еще не старых людей, — все это побуждало к тому, чтобы погрузиться в воспоминания. Как будто меня обступили все, кто когда-то жил в этой комнате, с их старомодными манерами, в странных одеждах: мужчины с подстриженными бачками и в сюртуках, женщины в юбках с турнюрами и в оборках. Отдаленный городской шум, который я не то слышал, не то воображал (дом стоял в самом конце Хаф-Мун-стрит), и прелесть солнечного июньского дня (le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui[59]) придали моим грезам особую остроту, не лишенную приятности. Казалось, прошлое, в которое я вглядывался, потеряло свою реальность, и я как будто из заднего ряда темной галерки смотрел сцену из какой-то пьесы. Но возникавшие передо мной картины не смазы-

---

[59] Примечания: 59
Начало стихотворения Ст. Малларме «Лебедь».

вались, как в жизни, когда непрестанная толчея впечатлений лишает их отчетливости, а были четкими, резкими и определенными, как пейзаж, тщательно выписанный художником середины викторианской эпохи.

По-моему, жизнь сейчас стала интереснее, чем сорок лет назад, и мне кажется, что люди стали общительнее. Конечно, может быть, тогда они были достойнее и добродетельнее или, как говорят, мудрее. Не знаю; знаю только, что они были сварливее, слишком много ели, частенько слишком много пили и вели слишком малоподвижную жизнь. У них вечно была не в порядке печень, а нередко — и пищеварение. Они были раздражительны. Я говорю не о Лондоне, которого совершенно не знал, пока не стал взрослым, и не о знати, увлекавшейся охотой; я имею в виду провинцию и людей помельче — джентльменов с небольшим доходом, священников, отставных офицеров и тому подобных, тех, кто составлял местное общество. Их жизнь была невероятно скучной. В гольф тогда не играли; кое-где были скверные теннисные корты, но играла в теннис лишь молодежь; раз в год в собрании устраивались танцы; в послеобеденное время те, у кого были экипажи, ездили кататься, а остальные

«делали моцион»!

Конечно, они не сознавали, что лишены развлечений, о существовании которых и не подозревали, и увеселяли себя тем, что время от времени устраивали маленькие приемы (чай, на который приходили со своими музыкальными инструментами и исполняли песни Мод Валери Уайт и Тости); но дни тянулись долго, и люди скучали. Соседи, обреченные прожить до конца своих дней в миле друг от друга, ссорились не на жизнь, а на смерть и, ежедневно встречаясь в городе, не здоровались на протяжении двадцати лет. Они были тщеславны, упрямы и своенравны. Такая жизнь нередко порождала необычные типы: люди не были так похожи друг на друга, как сейчас, и создавали себе некоторую известность своими причудами, но поладить с ними было нелегко. Может быть, мы в самом деле легкомысленны и беззаботны, но мы не питаем друг к другу такой подозрительности. Мы грубоваты, но добродушны, более уживчивы и не так чванливы.

Я жил у дяди и тети на окраине маленького приморского городка в Кенте. Город назывался Блэкстебл, и дядя был в нем приходским священником. Тетя происходила из очень знатной, но обедневшей немецкой семьи и принесла с собой

в приданое только письменный стол-маркетри, изготовленный по заказу одного из ее предков в семнадцатом веке, и набор бокалов. К тому времени, как я появился на сцене, из них осталось лишь несколько штук, служивших украшением гостиной. Мне очень нравился выгравированный на них большой герб. Там было не знаю сколько полей, значение которых тетя объясняла мне с полной серьезностью, прекрасные геральдические звери и невероятно романтичный шлем, возвышавшийся над короной. Тетя была простодушная, кроткая и благожелательная старая леди, но, хоть она и прожила тридцать лет замужем за скромным священником с очень небольшим доходом сверх жалованья, она не забыла своего высокородного происхождения. Когда соседний дом снял на лето богатый лондонский банкир, сейчас хорошо известный в финансовых кругах, и мой дядя нанес ему визит (я полагаю, главным образом ради того, чтобы добиться от него пожертвования в фонд поощрения священнослужителей), она отказалась поехать к нему — ведь он был не дворянин. И никто не упрекнул ее в снобизме: все сочли это вполне естественным. У банкира был сын примерно моего возраста, и, уж не помню как, я с ним познакомился. Я до

сих пор не забыл, какой последовал спор, когда я попросил разрешения пригласить его к нам. Разрешение было нехотя дано, но побывать в гостях у него мне не позволили. Тетя сказала, что так я, чего доброго, попрошусь в гости и к угольщику, а дядя добавил:

— Дурные знакомства портят хорошие манеры.

Каждое воскресенье банкир приходил в церковь на утреннюю службу и каждый раз оставлял на блюде для пожертвований полсоверена. Но если он думал, что его щедрость производит благоприятное впечатление, он сильно ошибался. Об этом знал весь Блэкстебл, но все считали, что он лишь кичится своим богатством.

Блэкстебл состоял из одной извилистой улицы, выходившей к морю, с маленькими двухэтажными домами. Часть их составляли особняки, но немало было и лавок. От этой улицы отходили короткие улочки, заканчивавшиеся с одной стороны в поле, а с другой — в болотах. Гавань была окружена лабиринтом узких кривых переулков. Уголь в Блэкстебл доставляли пароходами из Ньюкасла, и в гавани кипела жизнь. Когда я подрос настолько, что мне разрешили гулять одному, я часами бродил здесь, разглядывал грубоватых

перемазанных моряков в шерстяных фуфайках и смотрел, как разгружают уголь.

В Блэкстебле я и встретился впервые с Эдуардом Дриффилдом. Мне тогда было пятнадцать лет, и я только что приехал на каникулы. В первое же утро я взял полотенце и купальные трусы и отправился на пляж. Небо было чистое, воздух горячий и прозрачный, а Северное море придавало ему особенный привкус, так что просто жить и дышать было наслаждением. Зимой жители Блэкстебла торопливо шагали по пустым улицам, съежившись и стараясь подставить жгучему восточному ветру как можно меньшую поверхность тела. Но теперь они никуда не спешили и стояли кучками между «Герцогом Кентским» и расположенным чуть дальше по улице «Медведем и ключом». Слышался их протяжный восточноанглийский говор; может быть, он и некрасив, но я до сих пор по старой памяти нахожу в нем какое-то ленивое очарование. У них были розовые лица с голубыми глазами и высокими скулами и светлые волосы. Они производили впечатление чистых, честных и искренних людей. Не думаю, чтобы они отличались особенным умом, но были бесхитростны и простодушны. Выглядели они здоровыми и, несмотря на невысокий рост, бы-

ли по большей части сильны и подвижны. В то время уличного движения в Блэкстебле почти не существовало, и кучкам людей, болтавших между собой там и сям на дороге, почти не приходилось уступать место экипажам — разве что проезжала двуколка доктора или фургон булочника.

Мимоходом я зашел в банк, чтобы поздороваться с управляющим, который состоял у моего дяди церковным старостой, и, выходя оттуда, встретил дядиного помощника. Он остановился, чтобы пожать мне руку. Его сопровождал какой-то незнакомец, которому он меня не представил. Это был невысокий бородатый человек, одетый довольно безвкусно: светло-коричневый костюм с бриджами, туго обтягивающими ноги ниже колен, темно-синие чулки, черные башмаки и шляпа с низкой тульей и широкими полями. Тогда бриджей почти не носили, и я по молодости лет тут же решил, что это человек дурного тона. Но пока я болтал с дядиным помощником, он дружелюбно смотрел на меня с улыбкой в светло-голубых глазах. Я чувствовал, что ему ничего не стоит присоединиться к нашему разговору, и принял надменный вид. Я не желал, чтобы со мной заговорил этот мужлан, одетый в бриджи, как лесничий, а фамильярно-добродушное вы-

ражение его лица меня возмущало. Сам я был одет безукоризненно: белые фланелевые брюки, голубая фланелевая куртка с гербом школы на нагрудном кармане и черно-белая шляпа с очень широкими полями.

Вскоре дядин помощник сказал, что ему пора идти (я был счастлив, потому что никогда не отличался умением закончить уличный разговор и вечно сгорал от застенчивости, тщетно поджидая удобного случая), но добавил, что после обеда зайдет к нам, и попросил передать это дяде. Незнакомец кивнул и улыбнулся мне на прощанье, но я смерил его ледяным взглядом. Я решил, что он дачник, а с дачниками мы в Блэкстебле дела не имели, считая Лондонцев вульгарными. Мы говорили: ужасно, что каждый год сюда приезжает вся эта городская шваль, но, конечно, это необходимо для блага торгового сословия. Впрочем, даже оно вздыхало с некоторым облегчением, когда сентябрь подходил к концу и Блэкстебл вновь погружался в свой обычный мир и покой.

Придя домой к обеду с еще мокрыми, прилипшими к голове волосами, я сказал, что встретил дядиного помощника и что он после обеда придет.

— Сегодня ночью умерла старая миссис Шеперд, — объяснил дядя.

Дядиного помощника звали Гэллоуэй; это был высокий, тощий, нескладный человек с растрепанными черными волосами и маленьким, болезненным смуглым лицом. Вероятно, он был еще совсем молод, но мне казался пожилым. Говорил он очень быстро и сильно жестикулировал. Из-за этого люди считали его немного странным, и мой дядя не взял бы его к себе в помощники, если бы не его огромная энергия: дядя был крайне ленив и очень обрадовался, что нашелся человек, готовый принять на себя столько работы.

Покончив с делами, мистер Гэллоуэй зашел попрощаться с тетей, и она пригласила его остаться пить чай.

— С кем это вы были сегодня утром? — спросил я его, как только он сел.

— О, это Эдуард Дриффилд. Я вас не познакомил, потому что не знал, будет ли ваш дядя доволен таким знакомством.

— Я думаю, это было бы крайне нежелательно, — сказал дядя.

— А почему? Кто он такой? Он не из Блэкстебла?

— Он родился в нашем приходе, — сказал дя-

дя. — Его отец был управляющим у старой мисс Вулф в Ферн-Корте. Но они не принадлежали к нашей церкви.

— Он женился на девушке из Блэкстебла, — сказал мистер Гэллоуэй.

— И венчались, кажется, по нашему обряду, — сказала тетя. — Правда, что она была буфетчицей в «Железнодорожном гербе»?

— Судя по ее виду, вполне могла быть, — ответил мистер Гэллоуэй с улыбкой.

— Надолго они сюда?

— Да, как будто. Они сняли дом в том переулке, где церковь конгрегационалистов.

Хотя новые улицы Блэкстебла, несомненно, имели названия, никто в городе тогда их не знал и не употреблял.

— А он в церковь ходит? — спросил дядя.

— Еще не спрашивал, — ответил мистер Гэллоуэй. — Знаете, он вполне образованный человек.

— Трудно поверить.

— Насколько я знаю, он кончил хэвершемскую школу и получил массу всяких стипендий и призов. Его послали учиться в Уодхэм, но он сбежал и поступил в матросы.

— Я слышал, что он человек довольно легко-

мысленный, — сказал дядя.

— Но он не похож на моряка, — заметил я.

— О, он это занятие бросил много лет назад. С тех пор кем он только не перебывал.

— Всего понемногу, и ничего толком, — сказал дядя.

— А теперь, насколько мне известно, он писатель.

— Ну, это ненадолго.

Я никогда еще не видел писателя и заинтересовался.

— А что он пишет? — спросил я. — Книги?

— Кажется, — ответил дядин помощник, — и еще статьи. В прошлом году весной он напечатал повесть. Он обещал дать ее почитать.

— На вашем месте я не стал бы тратить время на всякую чушь, — сказал дядя, который никогда ничего не читал, кроме «Таймс» и «Гардиан».

— А как она называется? — спросил я.

— Он говорил мне название, но я забыл.

— Во всяком случае, тебе совершенно не обязательно это знать, — сказал дядя мне. — Я категорически возражаю против того, чтобы ты читал эту дрянь. Самое лучшее для тебя — провести каникулы на воздухе. К тому же у тебя, кажется, есть задание на лето?

Задание действительно было — «Айвенго». Я читал его, когда мне было десять дет, и теперь перспектива перечитывать его и писать о нем сочинение приводила меня в отчаяние.

Думая о том величии, которого достиг впоследствии Эдуард Дриффилд, я не могу не улыбаться при воспоминании о том, как его персону обсуждали за столом моего дяди. Недавно, после смерти Дриффилда, когда его почитатели начали кампанию за то, чтобы он был погребен в Вестминстерском аббатстве, нынешний блэкстеблский священник, третий по счету после моего дяди, написал письмо в редакцию «Дейли мейл», в котором указал, что Дриффилд родился в этом приходе и не только провел здесь многие годы, особенно на протяжении последних двадцати пяти лет, но и сделал город местом действия нескольких самых знаменитых своих книг; поэтому было бы естественно, чтобы его прах покоился на том кладбище, где под сенью кентских вязов почиют в мире его отец и мать. Блэкстебл был в восторге, когда вестминстерский настоятель довольно резко отказал в разрешении захоронить Дриффилда в аббатстве и миссис Дриффилд напечатала в газетах полное достоинства открытое письмо, где выражала уверенность, что испол-

няет заветное желание покойного мужа, хороня его среди простых людей, которых он так хорошо знал и любил. Если только почтенные горожане Блэкстебла не изменились в корне с тех пор, как я их знал, им должны были не очень понравиться эти слова насчет «простых людей», но, как я узнал впоследствии, они так или иначе всегда терпеть не могли вторую миссис Дриффилд.

IV

Два или три дня спустя после обеда с Элроем Киром я, к своему удивлению, получил письмо от вдовы Эдуарда Дриффилда. Оно гласило:

Дорогой друг,

я слышала, что Вы на прошлой неделе имели долгий разговор с Роем об Эдуарде Дриффилде, и была очень рада, узнав, что Вы так хорошо о нем отзывались. Он часто говорил мне о Вас. Он восхищался Вашим талантом и был так рад, когда Вы приехали к нам обедать. Я подумала – нет ли у Вас каких-нибудь писем от него; если есть, не предоставите ли Вы мне их копии? Я была бы очень рада, если бы смогла уговорить Вас приехать сюда ко мне на два-три дня. Я теперь живу очень уединенно, здесь никто не бывает, так что приезжайте, когда Вам будет удобно. Я с удовольствием снова повидаюсь с Вами, и мы поболтаем о прежних временах. Я хочу попросить Вас об одном одолжении и уверена, что ради моего дорогого покой-

ного мужа Вы мне не откажете.

Всегда искренне Ваша,

Эми Дриффилд.

Я встречался с миссис Дриффилд лишь однажды, и она не вызывала у меня особого интереса. Я не люблю, когда ко мне обращаются «дорогой друг» — одного этого было бы достаточно, чтобы я не принял ее приглашения. Кроме того, меня вообще возмутил самый тон письма: оно было написано так, что какой бы повод для отказа я ни изобрел, все равно было бы совершенно очевидно, что я просто не пожелал приехать. Писем от Дриффилда у меня не было. Кажется, много лет назад я несколько раз получал от него коротенькие записки, но тогда он был еще никому не известен, и даже если бы я имел привычку хранить письма, мне никогда не пришло бы в голову сохранить эти. Откуда я мог знать, что его провозгласят величайшим романистом нашего времени? Я заколебался только потому, что, по словам миссис Дриффилд, она хотела о чем-то меня попросить. Это наверняка будет что-нибудь нудное, но отказать было бы невежливо и, в конце концов, ее муж был человек весьма достойный.

Письмо пришло рано утром, и после завтрака

я позвонил Рою. Как только его секретарь услышал мое имя, он соединил нас. Если бы я писал детективный рассказ, то немедленно заподозрил бы, что моего звонка ждали, и мои подозрения подтвердил бы бодрый и мужественный голос Роя. Это неестественно, чтобы человек в столь ранний час проявлял такую жизнерадостность.

— Надеюсь, я не разбудил вас? — сказал я.

— Конечно же, нет! — Он залился здоровым смехом. — Я на ногах с семи часов. Катался верхом в парке, а теперь как раз собираюсь завтракать. Приезжайте — позавтракаем вместе.

— Я очень люблю вас, Рой, — ответил я, — но вы — не тот человек, завтрак с которым мне доставил бы удовольствие. Кроме того, я уже завтракал. Послушайте, я только что получил письмо от миссис Дриффилд с просьбой приехать к ней в гости.

— Да, она говорила мне, что собирается вас пригласить. Мы можем поехать вместе. У нее вполне приличный корт, и принимает она очень хорошо. Думаю, вам понравится.

— А чего ей от меня нужно?

— Ну, вероятно, она хотела бы сказать вам это сама.

Голос Роя сделался настолько сладким, что

мне пришло в голову: именно так он объявил бы будущему отцу семейства о том, что его жена намерена вскорости исполнить его заветное желание. Но на меня это не подействовало.

— Бросьте, Рой, — сказал я. — Старого воробья на мякине не проведешь. Выкладывайте.

Наступила секундная пауза. Я почувствовал, что Рою мой тон не понравился.

— Вы заняты сегодня утром? — спросил он вдруг. — Я хотел бы к вам заехать.

— Хорошо, приезжайте. Я буду дома до двух.

— Я приеду через час.

Я повесил трубку, закурил и еще раз просмотрел письмо от миссис Дриффилд.

Тот обед, о котором она писала, я прекрасно помнил. Как-то я несколько дней отдыхал недалеко от Теркенбери у некой леди Ходмарш — неглупой и хорошенькой американки, жены одного баронета, совершенно лишенного интеллекта, но обладавшего очаровательными манерами. Вероятно, чтобы скрасить монотонность семейной жизни, она часто принимала у себя людей, имевших отношение к искусству, собирая разнообразную и оживленную компанию. Представители знати и дворянства с изумлением и некоторой робостью встречались у нее

с художниками, писателями и актерами. Леди Ходмарш не читала книг и не видела картин, написанных людьми, которым оказывала гостеприимство, но ей нравилось их общество, и она любила чувствовать свою причастность к миру искусства. Однажды разговор у нее коснулся Эдуарда Дриффилда — самого знаменитого из ее соседей. Я заметил, что когда-то очень хорошо его знал, и она предложила в понедельник, когда большинство гостей возвратится в Лондон, съездить к нему пообедать. Я заколебался: Дриффилда я не видел уже тридцать пять лет и не мог предположить, чтобы он меня вспомнил, а если и вспомнил бы (впрочем, об этом я умолчал), то, по всей вероятности, без особой радости. Но при этом случился один молодой пэр — некий лорд Скэллион, который проявлял такой бурный интерес к литературе, что, вместо того чтобы править Англией в соответствии со всеми законами Божескими и человеческими, тратил всю свою энергию на сочинение детективных романов. Он выразил сильнейшее желание повидать Дриффилда и, как только леди Ходмарш высказала свое предложение, заявил, что это было бы восхитительно. Самой главной гостьей была одна толстая молодая герцогиня, чье преклонение пе-

ред знаменитым писателем оказалось настолько сильным, что она была готова отменить назначенные в Лондоне дела и остаться здесь до самого вечера.

— Вот нас уже четверо, — сказала леди Ходмарш. — Думаю, больше они принять и не смогут. Я сейчас же отправлю телеграмму миссис Дриффилд.

Мне ничуть не улыбалось явиться к Дриффилду в этой компании, и я попытался охладить их пыл.

— Мы надоедим ему до смерти, — сказал я. — Он терпеть не может, когда на него сваливается такая толпа незнакомых людей. Он же очень стар.

— Именно поэтому, если они хотят повидать его, пусть сделают это сейчас. Долго он не протянет. А миссис Дриффилд говорит, что он любит общество. У них бывают только доктор и священник, и наш визит будет для него все-таки развлечением. Миссис Дриффилд говорила, что я всегда могу привозить каких-нибудь интересных людей. Конечно, ей приходится быть очень осторожной: к нему навязываются всякие люди, которые мечтают на него поглазеть, и интервьюеры, и авторы, которые хотят, чтобы он прочел их книги, и глупые восторженные женщины.

Но миссис Дриффилд просто удивительна. Она к нему никого не пускает, кроме тех, кого посчитает сама, ему нужно повидать. То есть он бы не выдержал и недели, если бы принимал каждого, кто хочет с ним встретиться. Ей приходится беречь его силы. Но к нам, конечно, все это не относится.

Ко мне-то, подумал я, это и в самом деле не относится; но, поглядев на герцогиню и на лорда Скэллиона, я заметил, что про себя они тоже так думают, и решил промолчать.

Мы поехали в светло-желтом «роллс-ройсе». Ферн-Корт находился примерно в трех милях от Блэкстебла. Это был оштукатуренный дом, построенный, вероятно, около тысяча восемьсот сорокового года, некрасивый и без всяких претензий, но основательный. И спереди и сзади по обе стороны двери выступали вперед два широких эркера, и еще два таких же были на втором этаже. Низкую крышу скрывал простой парапет. Дом был окружен садом, занимавшим около акра, где деревья стояли, пожалуй, слишком часто, но выглядели хорошо ухоженными, а из окна гостиной открывался красивый вид на леса и зеленую низину. Гостиная была обставлена в точности так, как полагается обставлять гостиную в скромном

загородном доме, и от этого почему-то становилось немного не по себе. На удобных креслах и большом диване были чистые чехлы из яркого ситца, и занавеси из того же ситца висели на окнах. На маленьких чиппендейловских столиках стояли большие восточные вазы с душистыми сухими лепестками. На кремовых стенах висели красивые акварели работы художников, пользовавшихся популярностью в начале столетия. Повсюду были изящно расположенные цветы, а на рояле стояли в серебряных рамках фотографии знаменитых актрис, покойных писателей и младших представителей царствующего дома.

Герцогиня, разумеется, воскликнула, что это чудная комната. Как раз такая комната, в какой знаменитый писатель должен проводить остаток своих дней.

Миссис Дриффилд приняла нас скромно, но уверенно. Это была женщина, по-моему, лет сорока пяти, с резкими чертами маленького смуглого лица, в черной шляпке, плотно облегавшей голову, и сером костюме. Стройная, среднего роста, она выглядела оживленной, деловой и больше всего напоминала овдовевшую дочь помещика, наделенную незаурядными организаторскими способностями и заправляющую делами при-

хода.

Миссис Дриффилд познакомила нас с каким-то священником и дамой, которые встали, когда мы вошли. Это оказался приходский священник Блэкстебла с женой. Леди Ходмарш и герцогиня тут же принялись рассыпаться в любезностях, как делают все высокопоставленные особы в разговоре с низшими, чтобы показать, будто они не чувствуют никакой разницы в положении.

Тут вошел Эдуард Дриффилд. Время от времени в иллюстрированных журналах мне попадались на глаза его портреты, но, увидев его воочию, я испугался. Дриффилд оказался меньше ростом, чем я его помнил, и очень худ. Редкие серебристые волосы едва покрывали его голову, а чисто выбритое лицо выглядело как будто прозрачным. У него были выцветшие голубые глаза с красными веками. Казалось, душа еле держится в этом старом-старом человеке. Он носил очень белые зубные протезы, и из-за этого его улыбка производила впечатление натянутой и искусственной. Я в первый раз увидел его без бороды, и оказалось, что у него тонкие, бледные губы. На нем был новый, хорошо сшитый голубой шерстяной костюм, а из-за воротничка, на два-три номера больше, чем нужно, виднелась морщи-

нистая, тощая шея. Аккуратный черный галстук был заколот жемчужной булавкой. Дриффилд напоминал переодетого в штатское настоятеля собора, отправившегося отдыхать в Швейцарию.

Миссис Дриффилд быстро окинула его взглядом и ободряюще улыбнулась: вероятно, его безукоризненная внешность ее удовлетворила. Он поздоровался с гостями, сказав каждому несколько вежливых слов. Когда очередь дошла до меня, он заметил:

— Как это мило со стороны такого занятого и пользующегося успехом человека — приехать в эту даль, чтобы повидаться со старым чудаком.

Я был немного огорошен: он говорил так, как будто никогда меня не видел, и я испугался, не подумают ли мои спутники, что я хвастал, говоря о нашем с ним прежнем близком знакомстве. Неужели он совершенно меня забыл?

— Сколько же лет прошло с тех пор, когда мы в последний раз виделись? — сказал я, стараясь говорить бодро.

Он пристально поглядел на меня — вероятно, это продолжалось всего несколько секунд, но мне они показались очень долгими, — и тут я вздрогнул от неожиданности: он мне подмигнул. Это произошло так быстро, что никто, кроме меня, не

успел ничего заметить, и так не соответствовало достойному облику старого человека, что я не поверил своим глазам. Уже в следующий момент его лицо снова стало неподвижным, умным, благосклонным и спокойно-выжидательным. В этот момент объявили, что обед подан, и мы гурьбой пошли в столовую.

Столовая тоже представляла собой вершину изящного вкуса. Чиппендейловский буфет украшали серебряные подсвечники. Мы сидели на чиппендейловских стульях за чиппендейловским столом. Посередине в серебряной вазе стояли розы, а вокруг — серебряные блюда с шоколадом и мятными конфетами. Серебряные солонки были начищены до блеска и явно относились к эпохе Георгов. На кремовых стенах висели меццо-тинто работы сэра Питера Лели с изображением дам, а на камине стояли фигурки из дельфтского фаянса. Прислуживали нам две девушки в коричневой форме, за которыми миссис Дриффилд, не переставая оживленно болтать, внимательно приглядывала. Мне было непонятно, как это она ухитрилась так вышколить этих цветущих кентских девиц (их местное происхождение выдавали здоровый цвет лица и высокие скулы). Обед был как раз такой, какой нужно,

приличный, но не парадный: рулет из рыбного филе под белым соусом, жареный цыпленок с молодым картофелем и горошком, спаржа, пюре из крыжовника со взбитыми сливками. И столовая, и обед, и обхождение — все в точности соответствовало положению литератора с большой славой, но умеренными средствами.

Как большинство жен литераторов, миссис Дриффилд любила поговорить и не давала беседе на своем конце стола утихнуть; поэтому как бы нам ни хотелось услышать, что говорит на другом конце ее муж, это оказалось невозможно. Она была весела и полна энергии. Хотя слабое здоровье и почтенный возраст Эдуарда Дриффилда вынуждал ее большую часть года жить за городом, она тем не менее ухитрялась достаточно часто наведываться в Лондон, чтобы быть в курсе всех событий, и вскоре она уже оживленно обсуждала с лордом Скэллионом пьесы, идущие в лондонских театрах, и эти ужасные толпы в Королевской академии. Ей пришлось ходить туда два раза, чтобы посмотреть все картины, и все-таки на акварели времени не хватило. Ей так нравятся акварели — они бесхитростны, а она так ненавидит претенциозность.

Чтобы хозяин и хозяйка могли сидеть напро-

тив друг друга, священник сел рядом с лордом Скэллионом, а его жена — рядом с герцогиней. Герцогиня развлекала ее беседой о жилищах рабочего класса, о которых явно была гораздо лучше осведомлена, чем жена священника, так что я мог беспрепятственно наблюдать за Эдуардом Дриффилдом. Он разговаривал с леди Ходмарш. По всей видимости, она рассказывала ему, как нужно писать романы, и рекомендовала ему книги, которые он обязательно должен прочесть. Он слушал ее, казалось, с вежливым интересом, время от времени вставляя какое-нибудь замечание — слишком тихо, чтобы я мог расслышать, а когда она отпускала шутку (она это делала часто, и нередко не без успеха), он усмехался и поглядывал на нее с таким видом, как будто хотел сказать: «А эта женщина вовсе не такая уж дура!» Мне вспомнилось прошлое, и я спросил себя — любопытно, что он думает об этом великолепном обществе, о своей прекрасно одетой супруге, такой деловой и уверенной в себе, и об изящной обстановке, в которой живет? Я размышлял о том, не вспоминает ли он с сожалением свою полную приключений молодость, нравится ли ему все это или под его дружелюбной вежливостью скрывается страшная скука? Вероятно, почувствовав,

что я на него смотрю, он поднял на меня глаза. Его задумчивый взгляд, мягкий и в то же время испытующий, остановился на мне, а потом — на этот раз ошибки быть не могло — он вдруг снова мне подмигнул. В сочетании со старым, морщинистым лицом это было не просто неожиданно — это ошарашивало: я не знал, что делать, и на всякий случай улыбнулся.

Но тут герцогиня вмешалась в разговор на другом конце стола, и жена священника повернулась ко мне.

— Вы знали его много лет назад, ведь верно? — спросила она тихо.

— Да.

Она оглянулась, не слушает ли нас кто-нибудь.

— Знаете, его жена боится, как бы вы не пробудили в нем старых воспоминаний, которые могли бы причинить ему вред. Он ведь очень слаб и может взволноваться от любой мелочи.

— Я буду очень осторожен.

— Просто удивительно, как она о нем заботится. Такая преданность — всем нам пример. Она понимает, какое бесценное сокровище находится на ее попечении. Ее самоотверженность невозможно описать.

Она еще понизила голос:

— Конечно, он очень стар, а со стариками иногда бывает нелегко, но я ни разу не видела, чтобы она потеряла терпение. Она по-своему не меньше достойна восхищения, чем он.

На такие замечания трудно что-то ответить, но я чувствовал, что ответа от меня ждут.

— Я думаю, при данных обстоятельствах он выглядит прекрасно, — пробормотал я.

— И всем этим он обязан ей.

После обеда мы перешли в гостиную и продолжали разговор стоя. Через две-три минуты ко мне подошел Эдуард Дриффилд. Я в это время беседовал со священником и, не в состоянии придумать ничего лучшего, восхищался прелестным видом из окна. Обратившись к хозяину, я сказал:

— Я как раз говорил, как живописен этот ряд коттеджей там, внизу.

— Отсюда — да. — Дриффилд бросил взгляд на их неровный силуэт, и его тонкие губы изогнулись в иронической усмешке. — В одном из них я родился. Занятно, а?

Но тут к нам подошла миссис Дриффилд — воплощение веселья и общительности. Ее голос был оживлен и мелодичен:

— О Эдуард, герцогине очень хотелось бы посмотреть твой кабинет. Она вот-вот должна

уезжать.

— Мне очень жаль, но я должна попасть на поезд в три пятнадцать из Теркенбери, — сказала герцогиня.

Мы один за другим потянулись в кабинет Дриффилда. Это была большая комната в другом конце дома, выходящая на ту же сторону, что и столовая, с большим выступающим наружу окном. Комната была обставлена в точности так, как преданная жена должна обставлять кабинет своего мужа-писателя. Все здесь было аккуратнейшим образом прибрано, и большие вазы с цветами напоминали о женской руке.

— Вот стол, за которым он написал все свои последние произведения, — сказала миссис Дриффилд, закрывая лежавшую на нем переплетом вверх книгу. — Он изображен на фронтисписе третьего тома роскошного издания его сочинений. Это музейная вещь.

Мы повосхищались столом, а леди Ходмарш, улучив минуту, когда никто на нее не смотрел, потрогала снизу его крышку, чтобы удостовериться, настоящий ли он. Миссис Дриффилд быстро и весело улыбнулась нам.

— Хотите посмотреть одну из его рукописей?

— С огромным удовольствием, — ответила гер-

цогиня, — а потом я просто должна лететь.

Миссис Дриффилд достала с полки рукопись, переплетенную в голубой сафьян, и, пока все остальные гости благоговейно разглядывали ее, я занялся книгами, которыми были заставлены все стены комнаты. Сначала, как каждый автор, я окинул их взглядом, чтобы посмотреть, нет ли среди них моих, но ни одной не нашел; зато здесь были все книги Элроя Кира и множество романов в ярких обложках, которые выглядели подозрительно не тронутыми. Я сообразил, что это книги, которые авторы присылают Дриффилду в знак уважения к его таланту и, может быть, в надежде получить в ответ несколько похвальных слов, которые можно было бы использовать для рекламы. Но все книги были такие новенькие и так аккуратно расставлены, что, по-моему, их читали очень редко. Стоял тут и оксфордский словарь, и полные собрания большинства английских классиков в пышных переплетах — Филдинг, Босуэлл, Хэзлитт и так далее, и еще много книг о море: я узнал разноцветные тома лоций, изданных адмиралтейством. Было еще довольно много книг по садоводству. Комната напоминала скорее не мастерскую писателя, а мемориальный кабинет великого человека; я легко представил себе

одинокого туриста, случайно забредшего сюда от нечего делать, и ощутил затхловатый, спертый запах музея, который почти никто не посещает. У меня возникло подозрение, что если сейчас Дриффилд и читает что-нибудь, то это «Альманах садовода» и «Мореходная газета», пачку номеров которой я заметил на столе в углу.

Когда дамы посмотрели все, что хотели увидеть, мы попрощались с хозяевами. Но леди Ходмарш отличалась большим тактом, и ей, вероятно, пришло в голову, что хоть я и был главным поводом для визита, но почти не имел возможности поговорить с Дриффилдом. Во всяком случае, уже в дверях она сказала ему, одарив меня дружеской улыбкой:

— Мне было так интересно узнать, что вы с мистером Эшенденом знали друг друга много лет назад. Он был хорошим мальчиком?

Дриффилд бросил на меня свой спокойный иронический взгляд. Мне почудилось, что, если бы тут никого не было, он показал бы мне язык.

— Робок он был, — ответил он. — Я учил его ездить на велосипеде.

Мы снова сели в огромный желтый «роллс-ройс» и уехали.

— Он прелесть, — сказала герцогиня. — Я очень

рада, что мы к нему съездили.

— У него такие приятные манеры, не правда ли? — сказала леди Ходмарш.

— Не думали же вы, что он ест горошек с ножа? — спросил я.

— Очень жаль, что нет, — сказал Скэллион. — Это было бы так живописно.

— По-моему, это очень трудно, — заметила герцогиня. — Я много раз пробовала, но горошины все время падают.

— А их нужно натыкать на нож, — сказал Скэллион.

— Вовсе нет, — возразила герцогиня. — Их нужно удерживать на плоской стороне, а они катаются, как черти.

— А как вам понравилась миссис Дриффилд? — спросила леди Ходмарш.

— По-моему, она на высоте, — ответила герцогиня.

— Он так стар, бедняжка, кто-то должен за ним присматривать. Вы знаете, что она была больничной сиделкой?

— Разве? — удивилась герцогиня. — Мне казалось, она была его секретаршей, или машинисткой, или чем-то в этом роде.

— Она очень мила, — вступилась леди Ходмарш

за свою приятельницу.

— О да, вполне.

— Лет двадцать назад он долго болел, и она была у него сиделкой, а потом он поправился и женился на ней.

— Странно, что мужчины делают такие вещи. Она же на много лет моложе его. Ей ведь не больше — ну, сорока, сорока пяти.

— Нет, не думаю. Лет сорок семь. Мне говорили, что она очень много для него сделала. То есть сделала из него вполне приличного человека. Элрой Кир говорил мне, что до того он вел слишком богемную жизнь.

— Как правило, писательские жены просто ужасны.

— Такая тоска иметь с ними дело, верно?

— Невероятная. Удивительно, как они сами этого не понимают.

— Бедняжки, они часто уверены, что люди считают их интересными, — тихо сказал я.

Мы добрались до Теркенбери, высадили герцогиню на станции и поехали дальше.

V

Эдуард Дриффилд и в самом деле учил меня кататься на велосипеде. С этого и началось наше знакомство. Не знаю, задолго ли до того времени велосипед был изобретен; знаю лишь, что в захолустном уголке Кента, где я тогда жил, он был в диковинку, и, завидев человека, несущегося на литых шинах, каждый оборачивался и провожал его взглядом, пока тот не скрывался из виду. Велосипед все еще оставался предметом острот для пожилых джентльменов, которые говорили, что пока еще вполне могут передвигаться на своих двоих, и пугалом для пожилых дам, которые при виде его шарахались на обочину. Я долго завидовал мальчикам, приезжавшим в школу на своих велосипедах. Они имели прекрасную возможность покрасоваться, когда въезжали в ворота, не держась за руль. Я выпросил у дяди позволение завести велосипед, как только начнутся летние каникулы, и хотя тетя была против и говорила, что я только шею на нем сломаю, но дядя поддался на мои уговоры, в особенности потому, что платил за велосипед, конечно, я сам из собственных денег. Я заказал велосипед еще до

конца занятий, и через несколько дней посыльный доставил мне его из Теркенбери.

Я был полон решимости научиться ездить самостоятельно: ребята из школы говорили, что им понадобилось на это каких-нибудь полчаса. После многократных попыток я наконец пришел к выводу, что отличаюсь из ряда вон выходящей неуклюжестью. И, даже унизившись до того, чтобы позволить садовнику меня поддерживать, я к концу первого дня все равно был так же далек от умения самостоятельно садиться на велосипед, как и в самом начале. Тем не менее на следующий день я решил, что дорожка для экипажей, которая вела к нашему дому, слишком извилиста, и выкатил велосипед на шоссе невдалеке от дома, которое было, как я знал, совершенно ровным, прямым и достаточно безлюдным, чтобы никто не видел, как я буду срамиться. Несколько раз я пытался сесть на велосипед, но каждый раз падал. Я ободрал щиколотки о педали, весь вспотел и обозлился. Примерно через час я пришел к выводу, что Господу не угодно, чтобы я научился кататься, но твердо решил наперекор Ему добиться своего, боясь и подумать о тех издевках, которые ждут меня со стороны Его представителя в Блэкстебле — моего дяди. Тут я

с неудовольствием увидел на пустынной дороге двух велосипедистов. Я немедленно откатил свою машину на обочину и уселся на ступеньку перелаза под изгородью, беззаботно глядя на море, как будто я накатался и теперь просто сижу, погрузившись в созерцание океанских далей. Я старался не глядеть в сторону приближавшихся людей, но знал, что они все ближе и ближе, и уголком глаза мог разглядеть, что это мужчина и женщина. Когда они поравнялись со мной, женщина вдруг резко свернула вбок, врезалась в меня и упала.

— Ох, извините, — сказала она. — Я так и поняла, что упаду, как только вас увидела.

При таких обстоятельствах было совершенно невозможно притворяться, будто ничего не замечаешь, и я, покраснев до ушей, сказал, что это пустяки.

Увидев, что она упала, мужчина слез с велосипеда.

— Не ушиблась? — спросил он.

— О нет.

Тут я узнал его — это был Эдуард Дриффилд, тот писатель, которого я несколько дней назад встретил с дядиным помощником.

— Я только учусь ездить, — сказала его спутни-

ца. — И стоит мне что-нибудь увидеть на дороге, как я падаю.

— Вы не племянник священника? — спросил Дриффилд. — Я видел вас на днях. Гэллоуэй сказал мне, кто вы. Познакомьтесь — это моя жена.

Она как-то очень непосредственно протянула мне руку и, когда я взял ее, горячо и крепко пожала мою. Она улыбалась и губами, и глазами, и в этой улыбке я даже тогда почувствовал что-то странно привлекательное. Я смутился. С незнакомыми людьми я всегда впадал в ужасную застенчивость, и поэтому никаких подробностей ее внешности я не заметил. У меня осталось только общее впечатление — довольно крупная светловолосая женщина. Не знаю, заметил ли я тогда или только вспомнил потом, что на ней была широкая синяя шерстяная юбка, розовая блузка с крахмальным передом и воротничком, а на пышных золотистых волосах — соломенная шляпка, какие в те годы назывались «канотье».

— Мне очень нравится кататься на велосипеде, а вам? — спросила она, поглядев на мою великолепную новую машину, прислоненную к изгороди. — Это, должно быть, замечательно, когда хорошо умеешь.

Я почувствовал в ее словах нотку восхищения

моей сноровкой.

— Это дело практики, — ответил я.

— У меня сегодня третий урок. Мистер Дриффилд говорит, что у меня прекрасно получается, но я чувствую себя такой неуклюжей, что просто досадно. Сколько вам понадобилось времени, чтобы научиться?

Я покраснел до корней волос и едва выдавил из себя позорное признание.

— Я не умею, — сказал я. — Я только что купил велосипед и пробую в первый раз.

Здесь я немного слукавил, но успокоил свою совесть, добавив про себя: «Если не считать вчерашнего, у себя в саду».

— Если хотите, я вас поучу, — добродушно предложил Дриффилд. — Поехали!

— Нет, что вы, — возразил я. — Разве я могу…

— А почему бы и нет? — сказала его жена, а ее голубые глаза все так же дружески мне улыбались. — Мистер Дриффилд с удовольствием это сделает, а я пока немного отдохну.

Дриффилд взял мой велосипед, а я хоть и стеснялся, но не мог противиться его дружескому настоянию и неловко взгромоздился в седло. Меня качало из стороны в сторону, но он поддерживал меня сильной рукой.

— Быстрее, — подгонял он.

Мотаясь от одной обочины к другой, я нажимал на педали, а он бежал рядом. Когда, несмотря на его усилия, я все-таки свалился, нам обоим было очень жарко. При таких обстоятельствах трудновато сохранять высокомерие, подобающее племяннику священника по отношению к сыну управляющего мисс Вулф, и, когда я пустился в обратный путь и какие-нибудь тридцать или сорок метров проехал сам, а миссис Дриффилд, подбоченясь, выбежала на середину дороги и закричала: «Давай! Давай! Два против одного на фаворита!» — я так смеялся, что совершенно забыл о своем положении в обществе. Мне удалось слезть самостоятельно, и мое лицо, несомненно, выражало полное торжество, когда я без всякой застенчивости выслушивал поздравления Дриффилдов с тем, что в первый же день научился ездить.

— Попробую — может, и я смогу сама, — сказала миссис Дриффилд, я снова присел на ступеньку и вместе с Дриффилдом смотрел на ее безуспешные старания.

Потом, немного огорченная, но неунывающая, она уселась отдохнуть рядом со мной. Дриффилд закурил трубку, и мы принялись болтать. Тогда

я еще, конечно, этого не понимал, но теперь знаю, что она держалась с обезоруживающей простотой, так что каждый чувствовал себя с ней совершенно свободно. Говорила она оживленно, как ребенок, кипящий радостью жизни, а в ее глазах постоянно светилась обаятельная улыбка. Я не понимал тогда, почему эта улыбка мне так нравится. Я бы, пожалуй, назвал ее чуть-чуть лукавой, но лукавство — качество неприятное, а она улыбалась слишком невинно. Ее улыбка была скорее шаловливой, как у ребенка, который сделал что-то, что он считает смешным, но не сомневается, что вам это покажется озорством; и в то же время он знает, что вы на самом деле не очень рассердитесь, и, если сами не догадаетесь сразу, он придет и все расскажет. Но тогда я, конечно, понимал только одно: когда она улыбалась, мне становилось хорошо.

Вскоре Дриффилд посмотрел на часы и сказал, что им пора. Он предложил нам всем вместе с шиком поехать обратно. Как раз в это время дядя и тетя должны были возвращаться домой после ежедневной прогулки по городу, и мне не хотелось рисковать, что меня увидят с людьми, которые им не нравились. Поэтому я попросил Дриффилдов ехать вперед: ведь они едут быст-

рее меня. Миссис Дриффилд не хотела об этом и слышать, а Дриффилд как-то странно на меня взглянул, и у него в глазах проскочила веселая искорка. Я подумал, что он понял мою уловку, и покраснел, а он сказал:

— Пусть едет один, Рози. В одиночку ему будет легче.

— Ну ладно. Вы будете здесь завтра? Мы приедем.

— Постараюсь, — ответил я.

Они уехали, а я через несколько минут последовал за ними. Очень довольный собой, я доехал до самых ворот и ни разу не упал. Наверное, за обедом я немало хвастался, но о своей встрече с Дриффилдами умолчал.

На следующий день, около одиннадцати часов, я вывел свой велосипед из каретного сарая (так его называли, хотя там не было даже двуколки, — садовник держал в нем свою косилку для газонов и каток да Мэри-Энн — корм для цыплят). Я подвел велосипед к воротам, не без труда сел на него и поехал по дороге на Теркенбери до старого шлагбаума, а там свернул на проселок.

Небо было голубое, воздух теплый и в то же время свежий, как будто потрескивал от жары. Яркий, но не слепящий солнечный свет падал на

дорогу и, казалось, отскакивал от нее, как резиновый мячик.

Я катался взад и вперед, поджидая Дриффилдов, и скоро они показались. Я помахал им, развернулся (для чего мне пришлось слезть), и мы покатили вместе. Миссис Дриффилд и я поздравили друг друга с достигнутыми успехами. Мы ехали старательно, мертвой хваткой вцепившись в руль, но торжествовали, и Дриффилд сказал, что, как только мы освоимся, нужно будет объездить все окрестности.

— Я хочу снять оттиски с нескольких бронзовых надгробий здесь поблизости, — сказал он.

Я не знал, что это такое, но он не стал объяснять.

— Потерпите, я вам покажу, — пообещал он. — Как вы думаете, под силу вам будет завтра проехать четырнадцать миль — семь туда и семь обратно?

— Конечно.

— Я захвачу для вас бумаги и воску, и вы сами сможете снять оттиски. Только попросите разрешения у дяди.

— Это вовсе не обязательно.

— Все-таки лучше попросите.

Миссис Дриффилд бросила на меня этот свой

особенный взгляд, озорной и в то же время дружеский, и я покраснел. Я знал, что если спрошусь у дяди, то он скажет «нет», лучше уж ничего ему не говорить. Но как только мы двинулись дальше, я увидел, что навстречу едет в двуколке доктор. Когда он проезжал мимо, я глядел прямо перед собой в тщетной надежде, что, если я на него не посмотрю, он меня не заметит. Мне было не по себе. Если он меня видел, об этом быстро станет известно дяде или тете, и я размышлял, не будет ли безопаснее самому раскрыть секрет, который все равно больше хранить не удастся. Прощаясь со мной у наших ворот (мне пришлось вместе с ними доехать до самого дома), Дриффилд сказал, что, если мне можно будет завтра кататься с ними, лучше всего зайти к ним как можно раньше.

— Вы знаете, где мы живем? Рядом с церковью конгрегационалистов. Дом называется Лайм-коттедж.

За обедом я только и ждал повода невзначай сообщить, что случайно повстречал Дриффилда; но в Блэкстебле слухи распространяются быстро.

— С кем это ты катался утром? — спросила тетя. — Мы встретили в городе доктора Энсти, и он сказал, что видел тебя.

Дядя с недовольным видом жевал ростбиф,

угрюмо глядя в тарелку.

— Это Дриффилды, — ответил я небрежно. — Знаете, тот писатель. Мистер Гэллоуэй их знает.

— Они очень дурные люди, — сказал дядя. — Я не желаю, чтобы ты с ними общался.

— А почему? — спросил я.

— Я не собираюсь тебе объяснять. Достаточно того, что я этого не желаю.

— Как тебя угораздило с ними познакомиться? — спросила тетя.

— Просто я катался, и они катались, и предложили мне проехаться с ними, — приврал я.

— Какая навязчивость, — сказал дядя.

Я надулся. Тут подали сладкое, и, хотя это был мой любимый пирог с малиной, я, чтобы показать, как я обижен, отказался от своей порции. Тетя спросила, не заболел ли я.

— Нет, — ответил я как только мог надменно, — я чувствую себя хорошо.

— Ну съешь кусочек, — сказала тетя.

— Я не голоден.

— Ну ради меня!

— Не хочет — не надо, — возразил дядя.

Я покосился на него.

— Ну разве что маленький кусочек, — сказал я.

Тетя положила мне изрядный ломоть пирога, и

я съел его с видом человека, который из чувства долга делает что-то крайне ему неприятное. Пирог был очень вкусный. Песочное тесто, которое делала Мэри-Энн, так и таяло во рту. Но когда тетя спросила меня, не осилю ли я еще кусочек, я с холодным достоинством отказался. Она не настаивала. Дядя произнес благодарственную молитву, и я, по-прежнему в оскорбленных чувствах, пошел в гостиную.

Но как только прислуга, по моим расчетам, кончила обедать, я пришел на кухню. Эмили чистила серебро, а Мэри-Энн мыла посуду.

— Послушай, чем плохи эти Дриффилды? — спросил я ее.

Мэри-Энн работала у нас с восемнадцати лет. Она купала меня еще маленького, давала мне порошки в сливовом джеме, когда это было нужно, собирала меня в школу, нянчила, когда я болел, читала мне, когда я скучал, и ругала, когда я шалил. Горничная Эмили была молода и легкомысленна, и, как говорила Мэри-Энн, неизвестно, что стало бы со мной, если бы ухаживать за мной поручили Эмили. Мэри-Энн родилась в Блэкстебле. За всю жизнь она ни разу не была в Лондоне, да и в Теркенбери, по-моему, бывала не больше трех-четырех раз. Она никогда не болела.

Она никогда не брала выходных. Платили ей двенадцать фунтов в год. Раз в неделю она уходила вечером в город повидаться с матерью, которая на нас стирала, да по воскресеньям ходила в церковь. Тем не менее Мэри-Энн знала все, что происходит в Блэкстебле. Она знала всех: кто на ком женился, от чего умер чей отец, и сколько у кого детей, и как их зовут.

Когда я задал Мэри-Энн свой вопрос, она с плеском швырнула в раковину мокрую тряпку.

— Правильно сделал твой дядя, — сказала она. — На его месте я тоже не пустила бы тебя с ними, будь ты моим племянником. Подумать только — предложили тебе с ними кататься! Вот уж действительно есть такие люди, от которых всего можно ожидать.

Я догадался, что ей рассказали о нашем разговоре за обедом.

— Я не ребенок, — возразил я.

— Тем хуже. И как у них хватило наглости вообще сюда приехать! Сняли дом и делают вид, как будто они леди с джентльменом. Не тронь пирог.

Пирог с малиной стоял на кухонном столе; я отломил кусочек корки и сунул его в рот.

— Это на ужин. Если тебе хотелось добавки, почему не ел за обедом? Тед Дриффилд всегда был

непоседой. А ведь хорошее образование получил. Кого мне жаль, так это его мать. Он доставлял ей хлопоты с самого рождения. А потом взял и женился на Рози Гэнн. Мне говорили, когда он сказал матери, что у него на уме, она слегла и лежала три недели и ни с кем не хотела разговаривать.

— Миссис Дриффилд была до замужества Рози Гэнн? Это же какие Гэнны?

Фамилия Гэнн была одной из самых распространенных в Блэкстебле. Могильные плиты на кладбище так и пестрели ею.

— О, ты их не знаешь. Ее отец был старый Джозия Гэнн. Тоже непутевый. Пошел в солдаты, вернулся с деревянной ногой. Он малярничал, но чаще сидел без работы. Рядом с нами они жили, в соседнем доме. Мы с Рози вместе ходили в воскресную школу.

— Но она же моложе тебя, — сказал я со всей прямотой своего возраста.

— Ей уж давно стукнуло тридцать.

Мэри-Энн была небольшого роста, курносая и с плохими зубами, но прекрасным цветом лица; не думаю, чтобы ей тогда было больше тридцати пяти.

— Рози на четыре-пять лет моложе меня, не

больше, как бы она там ни молодилась. Говорят, ее теперь не узнать — разодета в пух и прах, и все такое.

— А правда, что она была буфетчицей? — спросил я.

— Да, в «Железнодорожном гербе», а потом в «Перьях принца Уэльского» в Хэвершеме. В «Железнодорожный герб» взяла ее на работу миссис Ривз, только кончилось это плохо, и ей пришлось от нее избавиться.

«Железнодорожный герб» был очень скромный маленький трактир как раз напротив станции на линии Лондон — Чатам — Дувр. В нем всегда царило какое-то зловещее веселье. Зимними вечерами, проходя мимо, можно было увидеть через стеклянную дверь мужчин, коротавших время у стойки. Мой дядя очень не любил это заведение и на протяжении многих лет добивался, чтобы его хозяев лишили разрешения на торговлю. Завсегдатаями трактира были железнодорожные носильщики, матросы с угольщиков и батраки. Респектабельные жители Блэкстебла брезговали заходить туда и если хотели выпить стаканчик пива, то шли в «Медведь и ключ» или в «Герцога Кентского».

— Да ну? А что же она такого натворила? —

спросил я, вытаращив глаза.

— А чего она только не вытворяла, — ответила Мэри-Энн. — Как ты думаешь, что сказал бы твой дядя, если бы узнал, что я тебе все это рассказываю? Не было такого человека из тех, кто заходил туда выпить, с кем бы она не путалась. Все равно, кто бы он ни был. И ни с кем не оставалась надолго — меняла их одного за другим. Просто стыд и срам — так все и говорили. Там и началась эта история с Лордом Джорджем. Он в такие места не ходил — слишком важный был, — но, говорят, случайно забрел туда, когда его поезд опоздал, и увидел ее. А потом так оттуда и не вылезал и водился со всеми этими забулдыгами, и все, конечно, знали, почему он там сидит, и это при жене и трех детях! Да мне было просто ее жаль. А сколько было разговоров! Ну и в конце концов миссис Ривз объявила, что больше ни единого дня не намерена этого терпеть, дала ей расчет и велела забрать вещи и сматываться. Туда ей и дорога — вот что я сказала.

Лорда Джорджа я прекрасно знал. Его звали Джордж Кемп, а это ироническое прозвище он получил за то, что очень важничал. Он торговал у нас углем, но, кроме того, подрабатывал продажей недвижимости и был в доле с владель-

цами нескольких угольщиков. Жил он в новом кирпичном доме на собственной земле и ездил в собственной двуколке. Это был дородный человек с остроконечной бородкой, красным лицом и нахальными голубыми глазами. Сейчас, припоминая его, я думаю, что он, наверное, был похож на какого-нибудь веселого краснолицего купца с картин старых голландцев. Одевался он всегда очень крикливо, и, когда он резвой рысцой проезжал по середине Хай-стрит в коротком пальто песочного цвета с большими пуговицами, надетом набекрень коричневом котелке и с красной розой в петлице, не поглядеть на него было просто невозможно. По воскресеньям он обычно являлся в церковь в глянцевом цилиндре и сюртуке. Все знали, что он хотел стать церковным старостой, и с его энергией он, конечно, принес бы много пользы, но дядя сказал, что только через его труп, и стоял на своем, хотя Лорд Джордж, обидевшись, целый год ходил в церковь конгрегационалистов. Встречая его на улице, дядя с ним не разговаривал. Потом их помирили, и Лорд Джордж снова стал ходить к нам в церковь, но дядя смягчился лишь настолько, что назначил его помощником старосты. Местные землевладельцы-дворяне считали его вульгарным, и я не сомневаюсь, что

он был в самом деле тщеславен и хвастлив. Ему ставили в упрек громкий голос и резкий смех — когда он с кем-нибудь разговаривал, каждое слово было слышно на другой стороне улицы, — а его манеры считали ужасными. Он был слишком общителен и вел себя с ними так, как будто вовсе и не занимался торговлей, и они говорили, что он чересчур навязчив. Но если он надеялся, что его панибратство, участие в общественных мероприятиях, щедрые взносы на проведение ежегодной регаты или праздника урожая и готовность оказать всякому услугу могут пробить для него дорогу в Блэкстебле, то он ошибался. Его общительность вызывала к нему лишь враждебное отношение.

Помню, как-то у тети сидела в гостях жена доктора. Вошла Эмили и сказала дяде, что с ним хочет поговорить мистер Джордж Кемп.

— Но ведь звонили, по-моему, в парадную дверь, — сказала тетя.

— Да, он пришел с парадного хода.

Наступила неловкая пауза. Никто не знал, как себя вести при таких необычных обстоятельствах, и даже Эмили, прекрасно понимавшая, кто должен входить через парадную дверь, кто — через боковую, а кто — с черного хода, и та немного

растерялась. Думаю, что добродушная тетя была просто поражена, как это кто-то может поставить себя в такое ложное положение; а жена доктора презрительно фыркнула. Наконец дядя собрался с мыслями.

— Проведите его в кабинет, Эмили, — сказал он. — Я приду туда, как только допью чай.

Но Лорд Джордж был по-прежнему полон кипучей энергии, весел и шумен. Он говорил, что наш город — как мертвый и что он его разбудит. Он добьется, чтобы сюда пустили экскурсионные поезда. Почему бы Блэкстеблу не стать вторым Маргетом? И потом, почему бы нам не иметь своего мэра? В Ферн-Бей есть мэр.

— Наверное, сам метит в мэры, — говорили в Блэкстебле, брезгливо морщась. — Не доведет его гордыня до добра.

А дядя замечал, что насильно мил не будешь.

Я должен добавить, что относился к Лорду Джорджу с тем же высокомерным презрением, как и все вокруг. Меня возмущало, что он осмеливается останавливать меня на улице, называть по имени и говорить со мной так, будто у нас одинаковое положение в обществе. Он даже предлагал мне играть в крикет с его сыновьями — моими ровесниками. Но они ходили в среднюю школу

в Хэвершеме, и я, конечно же, не желал иметь с ними никакого дела.

То, что рассказала Мэри-Энн, заинтриговало и поразило меня, но мне трудно было этому поверить. Слишком много романов я прочел и слишком многое усвоил в школе, чтобы не знать кое-что про любовь, — но я думал, что все это относится только к молодым людям. Я не мог представить себе, чтобы такие чувства испытывал бородатый человек, у которого есть сыновья, мои ровесники. Я думал, что после женитьбы все это кончается. То, что могут влюбляться люди, которым за тридцать, казалось мне отвратительным.

— Не хочешь же ты сказать, что они делали что-то нехорошее? — спросил я у Мэри-Энн.

— Судя по тому, что я слыхала, чего только Рози Гэнн не делала. И Лорд Джордж был не единственным.

— Ну погоди, почему же у нее не было ребенка?

В романах я читал, что стоит красивой женщине не устоять перед искушением, как у нее появляется ребенок. Суть дела всегда излагалась с бесконечной осторожностью, иногда на нее просто намекало многоточие, но результат был

неизбежным.

— Везеньем, думаю, взяла, а не умом, — сказала Мэри-Энн, но тут же опомнилась и перестала вытирать тарелки. — Сдается мне, уж очень много ты знаешь, — сказала она.

— Конечно, знаю, — важно ответил я. — Черт возьми, ведь я уже почти взрослый, верно?

— Одно могу сказать, — продолжала Мэри-Энн. — Когда миссис Ривз выгнала ее, Лорд Джордж устроил ее в «Перья принца Уэльского» в Хэвершеме и вечно таскался туда в своей двуколке. Не говори мне только, будто пиво там лучше, чем здесь.

— А почему тогда Тед Дриффилд на ней женился? — спросил я.

— Спроси что-нибудь полегче, — ответила Мэри-Энн. — Там, в «Перьях», он ее и увидел. Должно быть, больше никто за него не хотел идти. Ни одна приличная девушка за него бы не вышла.

— А он знал про нее?

— Это уж у него спроси.

Я умолк. Все это очень озадачивало.

— А как она теперь выглядит? — спросила Мэри-Энн. — Я не видала ее с тех пор, как она вышла замуж. Я даже не разговаривала с ней, как услышала про все эти делишки в «Железнодорожном

гербе».

— Она выглядит хорошо, — сказал я.

— Вот и спроси ее, помнит ли она меня, — посмотрим, что она скажет.

VI

Я окончательно решил на следующее утро ехать вместе с Дриффилдами, но знал, что если спрошу разрешения у дяди, то ничего хорошего из этого не получится. Если он узнает об этом потом и будет ругаться — тут уж ничего не поделаешь, а если Тед Дриффилд спросит, разрешил ли мне дядя ехать, то я был готов ответить, что разрешил. Но в конце концов врать мне не пришлось. После обеда, во время прилива, я собрался на пляж купаться, а дядя пошел со мной: у него были какие-то дела в городе. Не успели мы миновать «Медведь и ключ», как оттуда вышел Тед Дриффилд. Он заметил нас и прямо направился к дяде. Я был поражен его спокойствием.

— Добрый день, священник, — сказал он. — Вы меня помните? Я еще мальчишкой пел у вас в хоре. Я Тед Дриффилд. Мой папаша служил управляющим у мисс Вулф.

Мой дядя, человек очень робкий, был захвачен врасплох.

— Да-да, здравствуйте. Я был очень огорчен, когда узнал, что ваш отец умер.

— Я познакомился с вашим юным племян-

ником. Вы не разрешите ему завтра со мной прокатиться? Одному ему кататься скучно, а я собираюсь снять оттиски с одной надгробной доски в Ферн-Черче.

— Это очень любезно с вашей стороны, но…

Дядя собирался было ответить отказом, но Дриффилд перебил его:

— Я присмотрю, чтобы он вел себя хорошо. Наверное, он тоже захочет сделать для себя оттиск — все-таки польза. Бумаги и воску я дам, так что ему это ничего не будет стоить.

Дядя не отличался последовательностью в рассуждениях, и предложение Дриффилда заплатить за мою бумагу и воск так его обидело, что он совсем забыл о своем намерении запретить мне ехать.

— Он вполне может и сам купить бумагу и воск, — сказал дядя. — У него хватает карманных денег, и уж лучше пусть тратит их на что-нибудь в этом роде, чем объедаться лакомствами.

— Ну ладно, пусть зайдет в писчебумажный магазин Хэйуорда и попросит такой же бумаги, какую я брал, и воску.

— Я пойду сейчас, — сказал я и, пока дядя не передумал, помчался через улицу.

VII

Не знаю, почему Дриффилды так заботились обо мне, — разве что просто по доброте сердечной. Я не был ни умен, ни разговорчив, и если развлекал Теда Дриффилда, то без всякого намерения с моей стороны. Может быть, его забавляло мое высокомерие. Я оставался при своем убеждении, что снисхожу до общения с сыном управляющего мисс Вулф, да еще к тому же писакой, как его называл дядя; и когда я, вероятно, с легким оттенком презрения попросил у него почитать какую-нибудь его книжку, а он сказал, что мне будет неинтересно, я поверил ему на слово и настаивать не стал.

Мой дядя, однажды разрешив мне покататься с Дриффилдами, больше не возражал против нашего знакомства. Иногда мы вместе ходили под парусами, иногда ездили в какое-нибудь живописное место, где Дриффилд делал наброски акварелью. Не знаю, был ли тогда климат в Англии лучше или это просто юношеская иллюзия, но мне помнится, будто все это лето солнечные дни шли один за другим непрерывной чередой. Я начал чувствовать странную привязанность к

этой холмистой, плодородной и уютной местности. Мы ездили на далекие прогулки то в одну, то в другую церковь, снимая оттиски с бронзовых надгробных досок, на которых были изображены рыцари в доспехах и дамы в пышных фижмах. Тед Дриффилд заразил меня своим увлечением, и я со страстью предавался этому нехитрому занятию. Плоды своего усердия я с гордостью показывал дяде, а он, по-моему, думал, что, находясь в церкви, я не могу натворить ничего плохого, в каком бы обществе ни был.

Пока мы работали, миссис Дриффилд обычно оставалась снаружи — не читала и не шила, а просто гуляла вокруг; по-видимому, она была способна сколько угодно времени ничего не делать, не испытывая скуки. Иногда я выходил к ней, и мы сидели на траве, болтая о моей школе, о моих тамошних приятелях, об учителях, о жителях Блэкстебла и просто так, ни о чем. Мне было приятно, что она называет меня «мистер Эшенден». Думаю, что она первая начала меня так называть, и из-за этого я чувствовал себя взрослым. Я терпеть не мог, когда меня называли «мастер Уилли», потому что это казалось мне смешным. Если на то пошло, мне вообще не нравились ни мое имя, ни моя фамилия, и я проводил много времени,

придумывая новые, более подходящие. Больше всего мне нравилось имя Родрик Рэвенсуорт, и я исписывал целые листы бумаги, подписываясь этим именем с соответствующим лихим росчерком. Не стал бы я возражать и против того, чтобы меня звали Людовик Монтгомери.

Я никак не мог переварить то, что Мэри-Энн рассказала мне про миссис Дриффилд. Хотя в теории я знал, что делают люди, когда женятся, и вполне мог изложить фактическую сторону дела в самых прямых выражениях, но в действительности я этого не понимал. Подобные вещи казались мне довольно противными, и в конечном счете я всему этому не совсем верил. В конце концов, я же понимал, что земля круглая, но ведь я прекрасно знал, что она плоская! Миссис Дриффилд выглядела такой искренней, так открыто смеялась, во всем ее поведении было что-то такое молодое и ребячливое, что я не мог представить себе ее «путающейся» с матросами, не говоря уж о таком ужасном и неприличном человеке, как Лорд Джордж. Она была совсем не похожа на тех «падших женщин», о которых я читал в романах. Конечно, я знал, что она — «не из хорошего общества», и говорила она с блэкстеблским акцентом и время от времени делала ошибки в

произношении, а ее грамматика иногда просто шокировала, — но она мне нравилась, и я ничего не мог с этим поделать. Я пришел к выводу, что Мэри-Энн все наврала.

Как-то я сказал ей, что Мэри-Энн — наша кухарка.

— Она говорит, что была вашей соседкой на Райлейн, — добавил я, готовый услышать в ответ, что миссис Дриффилд никогда о ней не слыхала. Но она улыбнулась, и ее голубые глаза радостно засияли.

— Это верно. Она водила меня в воскресную школу. Ох, и билась она, чтобы заставить меня сидеть спокойно! Я слыхала, что она пошла служить к священнику. Надо же, что она все еще там! Я не видела ее не знаю сколько времени. Хорошо было бы как-нибудь ее повидать и поболтать о старине. Передайте ей привет от меня, ладно? И скажите, чтобы она заглянула, когда у нее будет свободный вечер. На чашку чаю.

Я был озадачен. В конце концов, Дриффилды снимали целый дом и поговаривали о том, чтобы его купить, и имели свою прислугу. Им вовсе не подобало принимать к чаю Мэри-Энн, а меня это поставило бы в очень неловкое положение. Они как будто не понимали, что можно делать, а чего

просто нельзя. Меня всегда удивляло, как это они говорят о таких эпизодах из своего прошлого, о которых, по-моему, и заикаться не должны. Не знаю, в самом ли деле люди, среди которых я жил, были так претенциозны, так стремились выглядеть богаче или важнее, чем были на самом деле, но теперь мне кажется, что вся их жизнь была полна притворства. Они жили под непроницаемой маской респектабельности. Их никогда нельзя было застать без пиджака, с ногами на столе. Дамы не показывались на людях, не нарядившись в вечерние платья; в каждодневной жизни они соблюдали жестокую экономию, так что забежать к ним пообедать было нельзя, но уж если они принимали гостей, то столы ломились от яств. Какая бы катастрофа ни разражалась в семье, они высоко держали голову и не показывали виду. Пусть даже один из сыновей женился на актрисе — они никогда не упоминали об этом несчастье, и, хотя все соседи говорили, что это ужасно, в присутствии потерпевших они тщательно следили, чтобы разговор не зашел о театре. Все мы знали, что жена майора Гринкорта, который арендовал поместье «Три фронтона», была связана с торговлей, но ни она, ни майор никогда даже не намекали на эту позорную тайну;

и хотя мы за глаза презрительно фыркали по их адресу, мы были слишком вежливы, чтобы даже упомянуть в их присутствии о посуде (источнике приличного дохода миссис Гринкорт). Не были диковинкой и такие случаи, когда разгневанный родитель лишал сына наследства или запрещал своей дочери, вышедшей замуж, как моя мать, за поверенного, переступать порог его дома. Все это было для меня привычным и естественным. А вот рассказы Теда Дриффилда о том, как он работал официантом в холборнском ресторане, звучавшие так, будто тут нет ничего особенного, меня шокировали. Я знал, что когда-то он сбежал из дома и нанялся матросом: это было романтично — я знал, что мальчики часто так поступают, во всяком случае в книгах, и сталкиваются с захватывающими приключениями, прежде чем жениться на дочке герцога с огромным состоянием. Но Тед Дриффилд был еще и кебменом в Мейдстоне, и клерком в конторе букмекера в Бирмингеме.

Как-то мы проезжали мимо «Железнодорожного герба», и миссис Дриффилд небрежно сказала, что здесь она проработала три года, как будто это самое обыкновенное дело.

— Здесь была моя первая работа, — сказала

она. — Потом я перешла в «Перья» в Хэвершеме и работала там, пока не вышла замуж.

Она засмеялась, как будто это воспоминание доставило ей радость. Я не знал, что сказать и куда смотреть, и покраснел до ушей.

В другой раз, когда мы ехали через Ферн-Бей, возвращаясь после долгой прогулки по жаре, и всем очень хотелось пить, она предложила зайти в «Дельфин» и выпить по стакану пива. Она разговорилась с девушкой, которая торговала за стойкой, и я с ужасом услышал, как она сказала, что сама пять лет этим занималась. К нам вышел хозяин, и Тед Дриффилд угостил его, а миссис Дриффилд заказала стакан портвейна для буфетчицы, и все дружески болтали о торговле, и о поставщиках, и о том, как растут цены. Меня бросало то в жар, то в холод, и я не знал, что делать. Когда мы вышли, миссис Дриффилд заметила:

— Мне понравилась эта девушка, Тед. Кажется, она неплохо устроилась. Я ей говорю: это жизнь трудная, но зато веселая. Видишь, что происходит кругом, а если будешь правильно себя вести, то неплохо выйдешь замуж. Я заметила у нее обручальное кольцо, но она сказала, что носит его просто так, потому что это дает повод парням с ней заигрывать.

Дриффилд засмеялся. Она повернулась ко мне:

— Веселое это было время, когда я работала буфетчицей. Но конечно, всю жизнь так нельзя. Нужно подумать и о будущем.

Но меня ждало еще большее потрясение. Дело было в середине сентября, и мои каникулы близились к концу. Я был весь полон Дриффилдами, но дома дядя не давал мне о них говорить.

— Мы не желаем, чтобы ты совал повсюду своих друзей, — говорил он. — Есть более подходящие темы для разговора. Но я думаю, что раз Тед Дриффилд родился в этом приходе и видится с тобой почти каждый день, он мог бы и в церковь иногда заглядывать.

Однажды я сказал Дриффилду:

— Дядя хотел бы, чтобы вы ходили в церковь.

— Ладно. Пойдем в следующее воскресенье вечером, а, Рози?

— Пожалуйста, — ответила она.

Я сказал Мэри-Энн, что они придут. Я сидел на скамье, отведенной для семьи священника, сразу за лендлордом, и не мог оглянуться, но по тому, как вели себя соседи по другую сторону прохода, было видно, что они пришли, и как только мне на следующий день представился случай, я спросил Мэри-Энн, видела ли она их.

— Видела, будь покоен, — мрачно ответила Мэри-Энн.

— А ты говорила с ней потом?

— Я? — Она вдруг рассердилась. — А ну убирайся с кухни. Что ты тут целый день вертишься? Просто работать невозможно, когда ты все время попадаешься под ноги.

— Ладно, — сказал я, — нечего ругаться.

— Не знаю, что думает твой дядя, когда разрешает тебе шляться с такими людьми. Да еще вон какие цветы на шляпке. Как ей не стыдно на людях-то показываться! Уходи, мне некогда.

Почему Мэри-Энн так рассердилась, я не понял. Больше я с ней о миссис Дриффилд не заговаривал. Но два-три дня спустя я зашел за чем-то на кухню. У нас было две кухни: одна маленькая, в которой готовили всегда, и большая, построенная, наверное, в те времена, когда сельские священники имели большие семьи и давали роскошные обеды для окружающих помещиков; в ней Мэри-Энн обычно сидела и шила, закончив дневную работу. В восемь часов она подавала холодный ужин, так что после чая ей было почти нечего делать.

Был седьмой час, смеркалось. Эмили отпустили на вечер, и я думал, что Мэри-Энн одна, но еще в

коридоре услышал голоса и смех. Я догадался, что к Мэри-Энн кто-то зашел. В кухне горела лампа, но ее прикрывал плотный зеленый абажур, и было почти темно. Мэри-Энн пила чай с какой-то приятельницей. Когда я открыл дверь, разговор прекратился, а потом я услышал:

— Добрый вечер.

Вздрогнув от неожиданности, я увидел, что эта приятельница Мэри-Энн не кто иная, как миссис Дриффилд. Заметив мое изумление, Мэри-Энн рассмеялась.

— Рози Гэнн заглянула ко мне на чашку чаю, — сказала она. — Вот сидим и вспоминаем старину.

Мэри-Энн немного смутилась, когда я их застал, но я был смущен куда сильнее. Миссис Дриффилд улыбнулась мне своей ребячливой, озорной улыбкой: она чувствовала себя как дома. Почему-то я обратил внимание на ее платье — наверное, потому, что ни разу не видел ее такой важной. Платье было светло-голубое, очень узкое в талии, с короткими рукавами и длинной юбкой в оборках. На голове у нее красовалась большая черная соломенная шляпка с массой розочек, листочков и бантиков — очевидно, та самая, которую она надевала в воскресенье в церковь.

— Я подумала, что если ждать, пока Мэри-Энн

придет ко мне, то придется прождать до второго пришествия, и решила зайти к ней сама.

Мэри-Энн смущенно усмехнулась, но видно было, что ей это приятно. Взяв что-то, за чем я приходил на кухню, я побыстрее убрался. Погулял в саду, потом оказался у ворот и стал глядеть поверх калитки на дорогу. Было уже темно. Скоро я заметил, что по дороге идет человек. Я не обратил на него внимания, но он ходил взад и вперед, как будто кого-то ждал. Сначала я подумал, что это, наверное, Тед Дриффилд, и уже собрался выйти к нему, когда он остановился и закурил трубку, и я увидел, что это Лорд Джордж. Я удивился, что он может здесь делать, и в этот самый момент мне пришло в голову, что он ждет миссис Дриффилд. У меня заколотилось сердце, и я отступил в тень от кустов, хотя и так стоял в темноте. Прошло еще несколько минут, потом я увидел, как боковая дверь открылась и вышла миссис Дриффилд, которую провожала Мэри-Энн. Я услышал ее шаги по гравию. Она подошла к калитке и отворила ее. Калитка открылась с легким щелчком. При этом звуке Лорд Джордж перешел дорогу и, прежде чем она успела выйти, проскользнул внутрь. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Она тихо засмеялась.

— Осторожно, я в шляпе, — прошептала она.

Я стоял не больше чем в трех футах от них и окаменел от страха при мысли, что они могут меня обнаружить. Я сгорал от стыда за них и весь дрожал от волнения. Целую минуту он держал ее в объятиях.

— Пойдем в сад? — шепнул он.

— Нет, там мальчик. Пойдем в поле.

Они вышли в калитку — он обнимал ее за талию — и скрылись в темноте. Тут сердце у меня заколотилось так, что даже дыхание перехватило. Я был настолько потрясен, что потерял всякую способность соображать. Все на свете я бы отдал за то, чтобы рассказать кому-нибудь о том, что видел, но это была тайна, которую я должен был хранить. Это придавало мне особую важность в собственных глазах. Не спеша направившись к дому, я вошел через боковую дверь. Мэри-Энн услышала, как она открылась, и окликнула меня:

— Это ты, мастер Уилли?

— Да.

Я заглянул на кухню. Мэри-Энн ставила на поднос ужин, чтобы нести его в столовую.

— На твоем месте я бы не стала говорить дяде, что Рози Гэнн была тут, — сказала она.

— Ну конечно, нет.

— Я просто сил нет как удивилась. Услышала стук в дверь, открываю, а там Рози! У меня ноги так и подкосились. «Мэри-Энн», — говорит, и не успела я опомниться, как она принялась меня целовать. Пришлось ее пригласить, а уж раз она вошла, пришлось попить с ней чаю.

Мэри-Энн старалась оправдаться. После всего, что она говорила про миссис Дриффилд, мне должно было показаться странным, что они сидели тут, болтали и смеялись. Но я не стал пользоваться своей победой.

— Она не так уж плоха, верно? — сказал я.

Мэри-Энн улыбнулась. Несмотря на черные, испорченные зубы, ее улыбка была милой и трогательной.

— Не знаю уж почему, но есть в ней что-то такое, что нельзя ее не любить. Она сидела здесь чуть ли не час, и я смело скажу — ни разу не начала задаваться. А я собственными ушами слышала, как она сказала, что этот материал у нее на платье стоит тринадцать шиллингов и одиннадцать пенсов за ярд, и я верю — так оно и есть. Она все помнит — и как я ее причесывала, когда она была совсем крошка, и как заставляла ее мыть ручки перед чаем. Ее мать иногда присы-

лала ее к нам пить чай. Красивая она была тогда, как картинка.

Мэри-Энн углубилась в воспоминания, и ее смешное морщинистое лицо стало задумчивым.

— Ну ладно, — сказала она, помолчав. — В общем, она не хуже многих других, если бы только мы про них знали всю правду. Просто соблазнов у нее было больше. И вот что я скажу — что бы там они про нее ни говорили, а представься им самим случай, и они были бы не лучше.

VIII

Погода резко переменилась: похолодало, пошли проливные дожди. Нашим прогулкам пришел конец. Я не жалел об этом: я не представлял себе, как теперь буду смотреть в глаза миссис Дриффилд, зная, что она встречается с Джорджем Кемпом. Я был не столько шокирован, сколько поражен, и не мог понять, как ей может нравиться, когда ее целует этот пожилой человек. Мне, начитавшемуся романов, даже приходила в голову фантастическая мысль, будто Лорд Джордж каким-то образом держит ее в своей власти и, владея неким ужасным секретом, заставляет ее соглашаться на его отвратительные объятья. У меня рождались страшные предположения — о двоемужии, убийствах, подделке документов. В книгах почти каждый негодяй угрожал какой-нибудь беззащитной женщине разоблачением одного из этих преступлений. Может быть, миссис Дриффилд за кого-нибудь поручилась — я никогда не мог понять, что именно это означает, но знал, что последствия бывают самые катастрофические. Я рисовал себе картины ее отчаяния (долгие бессонные ночи, которые она проси-

живает в одной рубашке у окна, распустив до колен свои светлые волосы, и без всякой надежды ждет рассвета) и видел себя (не пятнадцатилетнего мальчишку, получающего шесть пенсов в неделю карманных денег, а высокого мужчину с нафабренными усами и стальными мускулами, в безукоризненном фраке), спасающего ее благодаря своему героизму и находчивости из лап гнусного шантажиста. Но с другой стороны, не похоже было, чтобы она так уж против своей воли принимала ухаживания Лорда Джорджа, и в ушах у меня продолжал звучать ее смех. В нем слышалась нотка, которой я еще никогда не слыхал и от которой у меня почему-то захватывало дух.

За весь остаток каникул я только один раз видел Дриффилдов. Мы случайно встретились в городе. Они остановились и заговорили со мной. Я опять очень смутился, а поглядев на миссис Дриффилд, не мог не покраснеть в замешательстве: по ее лицу ничуть не заметно было, что она чувствует свою тайную вину. Она смотрела на меня своими мягкими голубыми глазами, где таилось ребяческое игривое озорство. Ее полные розовые губы часто приоткрывались, как будто готовые улыбнуться. А честное лицо ее выража-

ло невинность и неподдельную откровенность — это я очень хорошо почувствовал, хотя тогда и не сумел бы выразить. Если бы я попробовал подобрать для этого слова, я, вероятно, сказал бы: «С виду она честнее честного». Было просто невероятно, чтобы она могла «гулять» с Лордом Джорджем. Должно было существовать какое-то объяснение; я не верил в то, что видел своими глазами.

И вот настал день, когда мне нужно было возвращаться в школу. Возчик взял мой чемодан, и я налегке пошел на станцию. Предложение тети проводить меня я отверг: мне казалось, что идти одному более подобает мужчине, но, когда я шел по улице, я чувствовал себя несколько подавленным. В Теркенбери вела маленькая железнодорожная ветка, и станция была на другом конце города, недалеко от пляжа. Я взял билет и устроился в уголке вагона третьего класса. Вдруг я услышал голос: «Вот он!» — и в вагон весело ворвались Дриффилды.

— Мы решили прийти и проводить вас, — сказала Рози. — Вам, наверное, грустно?

— Нет, вовсе нет.

— Ну ничего, это ненадолго. У нас будет масса времени, когда вы вернетесь на Рождество. Вы

умеете кататься на коньках?

— Нет.

— А я умею. Я вас научу.

Ее веселье ободрило меня, и в то же самое время при мысли, что они приехали на станцию попрощаться со мной, у меня к горлу подкатил клубок. Я изо всех сил старался, чтобы на моем лице ничего нельзя было прочесть.

— В этом году я собираюсь много играть в регби, — сказал я. — Думаю, что попаду во вторую сборную.

Она посмотрела на меня сияющими добротой глазами с улыбкой на полных розовых губах. В ее улыбке было что-то такое, что всегда мне нравилось, а голос ее, казалось, чуть дрожит не то от смеха, не то от слез. На мгновение я с ужасом подумал, что сейчас она меня поцелует, и перепугался до полусмерти. Она продолжала разговор слегка шутливым тоном, как обычно взрослые говорят со школьниками, а Дриффилд стоял молча, смотрел на меня улыбающимися глазами и теребил бородку. Потом кондуктор дал резкий свисток и замахал красным флажком. Миссис Дриффилд пожала мне руку. Подошел и Дриффилд.

— До свидания, — сказал он. — Вот вам кое-

что. — Он сунул мне в руку маленький сверток, и поезд тронулся. Развернув сверток, я нашел там две полкроны, обернутые в клочок бумаги. Я покраснел до ушей. Иметь лишние пять шиллингов было приятно, но мысль о том, что Тед Дриффилд осмелился дать мне подачку, наполнила меня яростью и унижением. Взять что-нибудь от него было для меня немыслимо. Правда, я катался с ним на велосипеде и ходил в море, но он не принадлежал к числу «сагибов» (это я усвоил от майора Гринкорта), и дать мне пять шиллингов было с его стороны оскорблением. Сначала я было решил вернуть ему деньги без единого слова, показав своим молчанием, как я возмущен таким нарушением приличий; потом я сочинил в уме полное достоинства ледяное письмо, в котором благодарил его за великодушие, но указывал, что он должен понять, насколько невозможно для джентльмена принять подачку, по сути дела, от постороннего человека. Я размышлял об этих двух полукронах несколько дней, и с каждым днем мне все больше казалось, что Дриффилд не имел в виду ничего плохого, и к тому же ведь он очень дурно воспитан и ничего не понимает в жизни; мне не хотелось огорчить его, отослав деньги обратно, и в конце концов я их истратил.

Но я успокоил свое ущемленное самолюбие тем, что не стал писать Дриффилду письмо с благодарностью за подарок.

Но когда настало Рождество и я вернулся в Блэкстебл на каникулы, больше всего я стремился повидать Дриффилдов. В этом унылом, затхлом городке они одни, казалось, как-то связаны с внешним миром, который уже начинал вызывать у меня тревожное любопытство. Я не мог преодолеть свою застенчивость настолько, чтобы зайти к ним, и надеялся, что встречу их в городе. Но стояла ужасная погода, со свистом налетал неистовый ветер, пронизывая до костей, и немногих женщин, выходивших из дому по своим делам, несло по улице с развевающимися широкими юбками, как рыболовные шхуны в шторм. Внезапными шквалами обрушивался холодный дождь, а небо, которое летом так уютно окутывало гостеприимную местность, теперь превратилось в полную угрозы, давящую плотную пелену. Случайно встретиться с Дриффилдами надежды было мало, и наконец я собрался с духом и однажды после чая ускользнул из дома.

До самой станции дорога была окутана кромешной тьмой, а дальше редкие и тусклые фонари

все-таки позволяли держаться тротуара. Дриффилды жили в переулке, в маленьком двухэтажном доме с закопченными стенами из желтого кирпича и эркером на фасаде. Я постучал, и скоро маленькая горничная открыла дверь. Я спросил, дома ли миссис Дриффилд. Она неуверенно посмотрела на меня, сказала, что сейчас узнает, и ушла, оставив меня в коридоре. Я уже слышал голоса в следующей комнате, но они затихли, когда она открыла дверь и, войдя, закрыла ее за собой. Я ощутил какую-то таинственность; в домах друзей моего дяди, даже когда в камине не горел огонь и с вашим приходом приходилось зажигать газ, вас все равно сразу приглашали в гостиную. Но дверь открылась, и вышел Дриффилд. В коридоре было почти темно, и сначала он не мог разглядеть, кто пришел, но тут же узнал меня.

— А, это вы! А мы думали, когда с вами увидимся!

И он крикнул:

— Рози, это молодой Эшенден.

Миссис Дриффилд вскрикнула и, в мгновение ока появившись в коридоре, уже пожимала мне руку.

— Заходите, заходите. Раздевайтесь. Какая ужасная погода, да? Вы, наверное, закоченели.

Она помогла мне снять пальто и шарф, выхватила из рук шапку и потащила меня в теплую и душную маленькую комнату, заставленную мебелью. В камине горел огонь, а три газовые горелки с круглыми колпаками из матового стекла (у нас дома газа не было) заливали комнату ярким светом. В воздухе стояли клубы табачного дыма. Сначала, ошарашенный бурным приемом, я не разглядел, кто были два человека, которые встали, когда я вошел. Потом я увидел, что это дядин помощник мистер Гэллоуэй и Лорд Джордж Кемп. Мне показалось, что дядин помощник пожал мне руку с неохотой.

— Здравствуй. Я только зашел вернуть книги, которые брал у мистера Дриффилда, а миссис Дриффилд любезно предложила мне остаться и попить чаю.

Я не то что увидел, а почувствовал лукавый взгляд, который бросил на него Дриффилд. Он что-то сказал о богатстве неправедном — я понял, что это цитата, но не уловил ее смысла. Мистер Гэллоуэй рассмеялся.

— Ну, не знаю, — сказал он. — А как насчет мытарей и грешников?

Я подумал, что это замечание весьма дурного вкуса, но тут в меня вцепился Лорд Джордж. Он

чувствовал себя вполне непринужденно.

— Ну, молодой человек, приехали домой на каникулы? Честное слово, вы необыкновенно выросли.

Я довольно холодно пожал ему руку. «Лучше бы я не приходил», — подумал я.

— Дайте-ка я вам налью чашку хорошего крепкого чаю, — предложила миссис Дриффилд.

— Я уже пил.

— Ну выпейте еще, — вмешался Лорд Джордж с таким видом, как будто хозяин здесь он, что было вполне в его духе. — У такого здорового парня всегда должно найтись место еще для одного бутерброда с джемом, а миссис Д. отрежет вам кусочек пирога своими собственными прелестными ручками.

Чайная посуда была еще на столе, за которым они сидели. Мне подставили стул, и миссис Дриффилд дала мне кусок пирога.

— А мы как раз уговаривали Теда спеть нам песню, — сказал Лорд Джордж. — Давайте, Тед.

— Спой «Все из-за того солдата», Тед, — сказала миссис Дриффилд. — Мне она очень нравится.

— Нет, спойте «Тут взялись мы за него».

— Смотрите, как бы я не спел обе, — пошутил Дриффилд.

Он взял с пианино банджо, подстроил его и запел. У него был прекрасный баритон. Я привык к пению: когда у нас устраивали званый чай или когда мы шли в гости к майору или доктору, гости всегда приносили с собой инструменты и оставляли их в передней, чтобы не казалось, будто они навязываются со своей музыкой и пением. Но после чая хозяйка спрашивала, принесли ли они инструменты, они робко признавались, что принесли, и, если это происходило у нас, меня посылали за ними. Бывало и так: какая-нибудь молодая дама говорила, что она совсем уже забросила музыку и ничего с собой не взяла, и тогда вмешивалась ее мать и говорила, что инструмент захватила она. Но пели они не комические песенки, а «Напев Аравии», или «Доброй ночи, любовь моя», или «Королеву моей души». Однажды на ежегодном концерте в собрании мануфактурщик Смитсон спел комическую песенку, и, хотя в задних рядах бурно аплодировали, общество нашло, что в ней нет ничего смешного. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, перед следующим концертом его попросили более тщательно выбирать, что петь («Не забудьте, мистер Смитсон, здесь присутствуют леди!»), и он исполнил «Смерть Нельсона».

Следующая песенка Дриффилда была с припевом, который рьяно подхватили дядин помощник и Лорд Джордж. С тех пор я слышал ее много раз, но могу вспомнить только четыре строчки:

Тут взялись мы за него —
Открывал он двери лбом,
И ступеньки все считал,
И валялся под столом.

Когда песенка кончилась, я, как хорошо воспитанный человек, обратился к миссис Дриффилд:

— А вы не поете?

— Петь-то пою, но так, что молоко прокисает, и Тед не очень это приветствует.

Дриффилд отложил банджо и закурил трубку.

— Ну а как подвигается твоя книга, Тед? — дружески спросил Лорд Джордж.

— Да ничего, работаю.

— Чудак ты, Тед, со своими книгами, — засмеялся Лорд Джордж. — Почему бы тебе не остепениться и не заняться для разнообразия чем-нибудь приличным? Я бы взял тебя к себе на работу.

— Да мне и так хорошо.

— Оставь его в покое, Джордж, — сказала миссис Дриффилд. — Ему нравится писать, и я думаю

так: пока это доставляет ему удовольствие, пусть его.

— Ну конечно, я не говорю, что понимаю что-нибудь в книжках… — начал Джордж Кемп.

— Так и не рассуждай о них, — перебил с улыбкой Дриффилд.

— По-моему, человек, который написал «Тихую гавань», может этого не стыдиться, — сказал мистер Гэллоуэй, — что бы там ни писали критики.

— Слушай, Тед, я знаю тебя с детства и все-таки не смог ее прочитать, как ни старался.

— Нет, нет, не надо говорить о книгах, — вмешалась миссис Дриффилд. — Спой нам еще, Тед.

— Мне пора, — сказал дядин помощник и повернулся ко мне. — Мы можем пойти вместе. Дриффилд, вы дадите мне что-нибудь почитать?

Дриффилд указал на кучу новых книг, наваленных на столе в углу.

— Выбирайте.

— Боже, сколько их! — сказал я, жадно на них глядя.

— О, это все дрянь. Прислали на рецензию.

— А что вы с ними делаете?

— Отвожу в Теркенбери и продаю, за сколько могу. Все-таки подспорье.

Дядин помощник выбрал несколько книг и

вышел со мной, неся их под мышкой.

— Ты сказал дяде, что идешь к Дриффилдам? — спросил он.

— Нет. Я просто вышел погулять, и мне вдруг пришло голову к ним заглянуть.

Это, конечно, не совсем соответствовало действительности, но мне не хотелось говорить мистеру Гэллоуэю, что хоть я уже практически взрослый, дядя мало с этим считается и вполне может запретить мне видеться с людьми, которые ему не по душе.

— На твоем месте я бы не стал об этом рассказывать без особой нужды. Дриффилды — хорошие люди, но твой дядя их не очень одобряет.

— Знаю, — сказал я. — Все это чепуха.

— Конечно, они простоваты, но пишет он неплохо, и, если подумать, в какой обстановке он вырос, вообще удивительно, что он пишет.

Я понял, куда он клонит, и обрадовался. Мистер Гэллоуэй не хотел, чтобы дядя знал о его дружбе с Дриффилдами. В любом случае я мог быть уверен: он меня не выдаст.

Наверное, то, что дядин помощник так снисходительно отзывался о человеке, который уже давно признан одним из величайших поздневикторианских романистов, теперь может вызвать

улыбку; но именно так о Дриффилде обычно говорили в Блэкстебле. Как-то нас пригласила к чаю миссис Гринкорт, у которой гостила ее двоюродная сестра, жена преподавателя из Оксфорда, слывшая весьма образованной особой. Эта миссис Энкомб была маленького роста, с живым морщинистым лицом; она поразила нас тем, что коротко стригла свои седые волосы и носила черную шерстяную юбку, едва доходившую до верхнего края туфель с квадратными носами. Это была первая Современная Женщина, появившаяся в Блэкстебле. Мы были потрясены и сразу же заняли оборонительные позиции, потому что она выглядела умной, а мы от этого робели. (Потом все мы издевались над ней, и дядя говорил тете: «Нет, дорогая, я рад, что ты не так умна, по крайней мере от этого я избавлен»; а когда тетя была в игривом настроении, она надевала поверх своих туфель дядины шлепанцы, согревавшиеся у огня, и говорила: «Смотрите — я современная женщина». И потом мы все говорили: «Какая смешная эта миссис Гринкорт: никогда не знаешь, что она еще придумает. А все-таки она — не совсем то...» Мы никак не могли простить ей того, что ее отец был хозяином фарфоровой фабрики, а дед — рабочим.)

Но всем нам было очень интересно слушать, как миссис Энкомб рассказывает о людях, которых она знала. Дядя учился в Оксфорде, но оказалось, что все, о ком он спрашивал, уже умерли. Миссис Энкомб была знакома с миссис Хэмфри Уорд и восхищалась «Робертом Элсмиром». Дядя считал его скандальной книгой и был удивлен, когда узнал, что мистер Гладстон, по крайней мере называвший себя христианином, сказал о ней несколько хороших слов. Дядя даже поспорил с миссис Энкомб. Он сказал, что, по его мнению, эта книга внесет в умы смуту и внушит людям такие мысли, которых им лучше бы не иметь. Миссис Энкомб отвечала, что он так не думал бы, если бы знал миссис Хэмфри Уорд. Это весьма достойная женщина, племянница мистера Мэтью Арнольда, и, что бы вы ни думали о самой книге (а она, миссис Энкомб, готова признать, что кое-что в ней лучше было бы убрать), совершенно очевидно, что она написала ее из наилучших побуждений. Миссис Энкомб знала и мисс Браутон. Она из очень хорошей семьи, и странно, что она пишет такие книги.

— Я не вижу в них ничего плохого, — сказала миссис Хэйфорт, жена доктора. — Мне они нравятся, особенно «Красна, как розочка».

— А вы хотели бы, чтобы их прочли ваши девочки? — спросила миссис Энкомб.

— Пока еще нет, вероятно, — ответила миссис Хэйфорт, — но, когда они выйдут замуж, я ничего не буду иметь против.

— Тогда вам, может быть, интересно будет узнать, — сказала миссис Энкомб, — что, когда на прошлую Пасху я была во Флоренции, меня познакомили с Уйда.

— Это совсем другое дело, — возразила миссис Хэйфорт. — Я не представляю, чтобы хоть одна леди могла читать книги Уйда.

— Я прочла одну из любопытства, — сказала миссис Энкомб. — Должна сказать, что такого скорее можно было ждать от француза, чем от порядочной англичанки.

— Но, насколько я понимаю, она на самом деле — не англичанка. Я слышала, что ее настоящее имя — мадемуазель де Ла Раме.

Тут-то мистер Гэллоуэй и завел речь об Эдуарде Дриффилде.

— Знаете, а у нас здесь тоже живет писатель, — вставил он.

— Мы не очень им гордимся, — сказал майор. — Это сын управляющего старой мисс Вулф, а женился он на буфетчице.

— А хорошо ли он пишет? — спросила миссис Энкомб.

— Сразу видно, что он — не джентльмен, — ответил дядин помощник, — но если принять во внимание, какие трудности ему пришлось преодолеть, это просто замечательно, что он так пишет.

— Он приятель нашего Уилли, — сказал дядя.

Все посмотрели на меня, и я очень смутился.

— Прошлым летом они вместе катались на велосипеде, и, когда Уилли вернулся в школу, я взял в библиотеке одну из книг Дриффилда, чтобы посмотреть, на что они похожи. Я прочел первый том, отослал его обратно, написал довольно резкое письмо библиотекарю и был рад, когда узнал, что он больше эту книгу не выдает. Если бы она была моя, я бы тут же отправил ее в печь.

— Я сам пробежал одну его книгу, — признался доктор. — Мне было интересно, потому что действие происходит в наших местах, и я кое-кого в ней узнал. Но не могу сказать, чтобы она мне понравилась: по-моему, слишком груба.

— Я говорил ему об этом, — сказал мистер Гэллоуэй, — он ответил, что матросы с угольщиков, что ходят в Ньюкасл, и рыбаки, и работники на фермах ведут себя не так, как леди и джентльме-

ны, и говорят совсем иначе.

— Так зачем о таких писать? — возразил дядя.

— Вот именно, — отозвалась миссис Хэйфорт. — Все мы знаем, что на свете есть грубые, и злые, и плохие люди, но я не понимаю, какой смысл о них писать.

— Я не защищаю его, — сказал мистер Гэллоуэй, — я просто рассказываю вам, как он сам это объясняет. Ну и, конечно, он вспомнил Диккенса.

— Диккенс — совсем другое дело, — заявил дядя. — Я не представляю, чтобы кто-нибудь мог что-то возразить против «Пиквикского клуба».

— По-моему, это дело вкуса, — сказала тетя. — Я всегда считала, что Диккенс очень груб. Я не желаю читать о людях, которые неправильно говорят. Очень хорошо, что стоит плохая погода и Уилли не может больше кататься с мистером Дриффилдом. По-моему, это не такой человек, с которым стоит общаться.

Я и мистер Гэллоуэй смущенно потупились.

IX

Все время, какое мне оставляли скромные рождественские развлечения Блэкстебла, я проводил в домике Дриффилдов рядом с конгрегационалистской церковью. Там я постоянно встречал Лорда Джорджа и часто — мистера Гэллоуэя. Общая тайна сблизила нас, и, встречаясь у нас дома или в ризнице после службы, мы лукаво переглядывались. Мы не говорили о своем секрете, но наслаждались им; по-моему, мы оба были очень довольны, что водим дядю за нос. Но как-то мне пришло в голову, что Джордж Кемп, встретившись с дядей на улице, может между прочим заметить, что часто видит меня у Дриффилдов. Я сказал мистеру Гэллоуэю:

— А как насчет Лорда Джорджа?

— Ну, это я уладил.

Мы ухмыльнулись. Лорд Джордж начинал мне нравиться. Сначала я был с ним весьма холоден и изысканно вежлив, но он, казалось, совершенно не ощущал разницы в нашем социальном положении, и мне пришлось признать, что своей высокомерной вежливостью я не смог поставить его на место. Он был неизменно добродушен, ве-

сел, даже шумлив; он запросто подшучивал надо мной, а я отвечал ему школьными остротами; мы смешили всех остальных, и это располагало меня к нему. Он вечно распространялся о своих грандиозных планах, но не обижался на мои шутки по их поводу. Я с интересом слушал, как он высмеивает блэкстеблсских знаменитостей, и когда он подражал их повадкам, я покатывался со смеху. Он был криклив и вульгарен, и его манера одеваться всегда меня шокировала (я никогда не бывал на ипподроме в Ньюмаркете и не видел ни одного тренера с бегов, но именно так я представлял себе ньюмаркетского тренера), и за столом он держался ужасно, но мое отвращение к нему все больше и больше ослабевало. Каждую неделю он давал мне почитать «Розовый журнал». Я брал его с собой, тщательно пряча в карман пальто, и читал у себя в спальне.

Я ходил к Дриффилдам всегда только после чая и там пил чай во второй раз. Потом Тед Дриффилд пел комические песни, аккомпанируя себе иногда на банджо, а иногда на пианино. Он мог часами петь, улыбаясь и глядя в ноты своими немного близорукими глазами, и любил, когда мы подхватывали припев. Потом мы играли в вист. Я обучился этой игре еще в детстве: дядя,

тетя и я коротали дома за картами долгие зимние вечера. Дядя всегда садился с болваном и, хотя никаких денежных ставок, конечно, не было, но, когда мы с тетей проигрывали, я залезал под стол и плакал. Тед Дриффилд говорил, что ничего в картах не понимает, и, когда мы садились играть, устраивался у камина и с карандашом в руке читал какую-нибудь книгу, присланную ему из Лондона на рецензию. Играть вчетвером мне до тех пор не приходилось, и игрок я был, конечно, плохой, зато миссис Дриффилд оказалась прирожденной картежницей. Обычно она двигалась спокойно и неторопливо, но, когда дело касалось карт, действовала быстро, всегда была начеку и всех нас обыгрывала. Говорила она тоже, как правило, немного и медленно, но когда после каждой сдачи добродушно принималась растолковывать мне мои ошибки, что получалось у нее понятно и доступно, то становилась даже разговорчивой. Лорд Джордж подшучивал над ней, как и над всеми остальными. Она улыбалась его шуткам — смеялась она очень редко — и иногда удачно отшучивалась. Они вели себя не как любовники, а как старые приятели, и я бы совсем забыл, что о них говорили и что я видел сам, если бы время от времени она не смотрела на него так, что я

приходил в замешательство. Ее взгляд спокойно останавливался на нем, как будто он был не человек, а стул или стол, и в глазах ее появлялась озорная, детская улыбка. Я заметил, что Лорд Джордж в таких случаях весь как будто надувался и начинал беспокойно ворочаться на стуле. Я посматривал на дядиного помощника, боясь, как бы он чего-нибудь не заметил, но он или был поглощен картами, или разжигал трубку.

Час-другой, которые я проводил каждый день в этой душной, тесной, прокуренной комнате, проносились как одно мгновение. По мере того как каникулы близились к концу, я начал приходить в отчаяние от мысли, что мне предстоит еще три месяца томиться в школе.

— Не знаю, что мы без вас будем делать, — говорила миссис Дриффилд. — Придется играть с болваном.

Я был рад, что мой отъезд испортит им игру. Мне не хотелось, делая уроки, думать о том, что они сидят в этой маленькой комнате и развлекаются, как будто меня нет на свете.

— Сколько времени у вас продолжаются пасхальные каникулы? — спросил мистер Гэллоуэй.

— Около трех недель.

— То-то весело мы проведем время, — сказала

миссис Дриффилд. — Погода, наверное, будет хорошая. По утрам мы будем кататься, а после чая играть в вист. Вы стали играть гораздо лучше. Вот поиграем три-четыре раза в неделю во время ваших каникул, и можете смело садиться с кем угодно.

X

Но вот наконец занятия кончились. В прекрасном настроении я опять сошел с поезда в Блэкстебле. Я немного подрос, заказал себе в Теркенбери новый костюм — синий шерстяной, очень шикарный, и купил новый галстук. Я собирался идти к Дриффилдам сразу же, как только попью чаю, и надеялся, что посыльный вовремя принесет костюм и я смогу его надеть. В нем я выглядел совсем взрослым. Я уже начал каждый вечер мазать себе вазелином верхнюю губу, чтобы быстрее росли усы. Проходя по городу, я с надеждой заглянул в переулок, где жили Дриффилды. Мне хотелось забежать к ним, чтобы поздороваться, но я знал, что мистер Дриффилд по утрам пишет, а миссис Дриффилд «не в форме». У меня было что им порассказать. Я выиграл забег на сто ярдов и занял второе место по барьерному бегу. Осенью я собирался претендовать на приз по истории и для этого предполагал на каникулах подзаняться. Хотя дул восточный ветер, небо было голубое, и в воздухе пахло весной. Хай-стрит играла свежими красками, как будто промытая ветром, а четкие очертания домов были похожи

на рисунок пером Сэмюела Скотта — спокойный, наивный и уютный. Мне так кажется сейчас, когда я вспоминаю тот день; тогда же это была для меня просто Хай-стрит в Блэкстебле. Проходя мимо железнодорожного моста, я заметил два или три строящихся дома. «Вот это да, — подумал я. — Лорд Джордж и в самом деле развернулся».

В поле за городом резвились белые ягнята. Вязы только начинали зеленеть. Я вошел в боковую дверь. Дядя сидел в своем кресле у огня и читал «Таймс». Я позвал тетю, она прибежала вниз, раскрасневшаяся от возбуждения, и обняла меня старыми худыми руками. При этом она сказала все, что полагалось: и «Как ты вырос!», и «Боже мой, у тебя скоро будут усы!»

Я поцеловал дядю в лысую макушку и встал спиной к камину, широко расставив ноги, чувствуя себя очень взрослым и важным. Потом я поднялся наверх поздороваться с Эмили, а потом — на кухню, к Мэри-Энн, и в сад — повидать садовника.

Когда я, голодный, уселся обедать и дядя резал мясо, я спросил тетю:

— Ну, что происходило в Блэкстебле, пока меня не было?

— Ничего особенного. Миссис Гринкорт уезжа-

ла на шесть недель в Ментону, но несколько дней назад вернулась. У майора был приступ подагры.

— А твои друзья Дриффилды сбежали, — добавил дядя.

— Что?! — воскликнул я.

— Сбежали. Однажды ночью забрали свои вещи и смылись в Лондон. Остались должны всем и каждому. Ни за квартиру не заплатили, ни за мебель. Мяснику Харрису задолжали чуть ли не тридцать фунтов.

— Ужасно, — сказал я.

— Это бы еще ничего, — вставила тетя, — но они как будто даже не заплатили горничной, которая у них работала три месяца.

Я был потрясен настолько, что даже почувствовал дурноту.

— Надеюсь, впредь, — сказал дядя, — ты станешь умнее и не будешь якшаться с людьми, которых мы с тетей считаем не подходящими для тебя знакомыми.

— Остается только пожалеть тех торговцев, которых они обманули, — сказала тетя.

— Так им и надо, — возразил дядя. — Нечего было предоставлять кредит таким людям! По-моему, всякий мог видеть, что это просто авантюристы.

— Я всегда удивлялась, зачем вообще они сюда

приехали.

— Просто хотели пустить пыль в глаза. И наверное, думали, что раз здесь люди их знают, то им будет легче получать все в кредит.

Мне это показалось не очень логичным, но я был слишком подавлен, чтобы спорить.

При первой же возможности я расспросил Мэри-Энн, что она знает об этом деле. К моему удивлению, она отнеслась к этому вовсе не так, как дядя и тетя.

— Здорово они всех надули, — хихикнула она. — Швырялись деньгами направо и налево, и все думали, что у них кошелек битком набит. Грудинку у мясника брали самую лучшую, а уж если на жаркое, то только вырезку. И спаржу, и виноград, и я не знаю что. У них были счета в каждой лавке по всему городу. Не знаю, как это можно быть такими дураками.

Но она явно имела в виду не Дриффилдов, а торговцев.

— А как же им удалось удрать, чтобы никто не знал? — спросил я.

— Вот этого никто и не может понять. Говорят, им Лорд Джордж помог. Скажи-ка, как же они могли бы дотащить вещи на станцию, если бы он не подвез их в своей тележке?

— А он что говорит?

— Говорит, что ничего не знает. Тут такое творилось, когда до всех дошло, что Дриффилды улизнули! Просто смех. Лорд Джордж говорит, он не подозревал, что у них ничего нет, и прикидывается, будто тоже удивлен, как и все. Но я-то ни слову его не верю. Все мы знаем, что у него было с Рози до того, как она вышла замуж, да, между нами, я и не верю, что на этом все кончилось. Говорят, кто-то видел, как они прошлым летом прогуливались за городом, да и у них он бывал каждый Божий день.

— А как все это стало известно?

— А вот как. У них там работала одна девушка, и они сказали ей, что она может идти к матери ночевать, но чтобы вернулась не позже восьми утра. Ну пришла она и не может попасть в дом. Стучала, звонила — никто не отвечает. Она пошла к соседям и спросила там, что ей делать, и соседка говорит, что лучше всего пойти в полицию. Пришел сержант, он тоже звонил и стучал, и никакого ответа. Тогда он спросил ее, заплатили ли они ей, а она сказала — нет, за целых три месяца, и тогда он сказал: «Можешь мне поверить, они смылись, вот что». И когда вошли в дом, то увидели, что они взяли всю одежду и все книги

— говорят, у Теда Дриффилда их было ужасно много — и все до последнего, что у них там было.

— И с тех пор никто о них ничего не слышал?

— Да, в общем, нет, только, когда их не было уже с неделю, эта девушка получила письмо из Лондона, и, когда его распечатала, там не было никакого письма и ничего, а только почтовый перевод на те деньги, что она заработала. И если ты спросишь меня, то, по-моему, они просто молодцы, что не обманули бедную девушку.

Я был гораздо сильнее шокирован, чем Мэри-Энн. Я был весьма респектабельным юнцом. Читатель не мог не заметить, что я разделял все предрассудки своего класса, считая их такими же незыблемыми, как законы природы, и, хотя огромные долги, о которых я читал в книгах, казались мне романтичными, а кредиторы с ростовщиками были обычными персонажами в мире моих фантазий, — я не мог не счесть неуплату долга торговцам подлым поступком, достойным презрения. Я смущенно слушал, когда в моем присутствии говорили о Дриффилдах, а как только речь заходила о моей дружбе с ними, я говорил: «Ну, знаете, я ведь едва был с ними знаком»; и когда меня спрашивали: «А правда, что они были ужасно вульгарны?», я отвечал:

«Да, пожалуй, потомственной аристократией от них не пахло».

Бедный мистер Гэллоуэй был ужасно расстроен.

— Конечно, я не думал, что они богаты, — говорил он мне, — но полагал, что хоть концы с концами они сводят. Дом был очень прилично обставлен, и пианино новое. Мне и в голову не могло прийти, что они ни за что не платили. Они никогда себя не стесняли. Что меня больше всего огорчает — это обман. Я много у них бывал и, мне казалось, нравился им. Они всегда были такие гостеприимные. Вы не поверите, но, когда я последний раз с ними виделся, миссис Дриффилд на прощанье пригласила меня прийти на следующий день, а Дриффилд сказал: «Завтра к чаю горячие булочки». А в это время наверху у них все уже было упаковано, и в ту же ночь они уехали последним поездом в Лондон.

— А что говорит об этом Лорд Джордж?

— Сказать вам правду, я последнее время не очень стремился с ним повидаться. Это мне хороший урок. Есть такая пословица о дурных знакомствах, которую я решил теперь твердо помнить.

Я относился к Лорду Джорджу примерно так же

и тоже немного нервничал. Если бы ему пришло в голову рассказать кому-нибудь, что в рождественские каникулы я чуть ли не каждый день бывал у Дриффилдов, и если бы это дошло до дядиных ушей, мне грозило неприятное объяснение. Дядя обвинил бы меня в обмане, двуличии, непослушании и неджентльменском поведении, и мне было бы нечего ответить. Я достаточно хорошо его знал и мог быть уверен, что он дела так не оставит и будет напоминать мне об этом проступке многие годы. Я тоже был рад, что не встречался с Лордом Джорджем. Но однажды я столкнулся с ним лицом к лицу на Хай-стрит.

— Хэлло, юноша! — крикнул он, хотя такое обращение я особенно не любил. — Снова на каникулы?

— Вы совершенно правы, — ответил я, как мне показалось, с уничтожающим сарказмом. Увы, он только разразился хохотом.

— До чего же острый у вас язык — смотрите не обрежьтесь, — добродушно ответил он. — Что ж, теперь нам с вами, похоже, в вист поиграть не придется? Видите, что получается, когда живешь не по средствам. Я так и говорю своим ребятам: если у тебя есть фунт и ты тратишь девятнадцать с половиной шиллингов, то ты богатый чело-

век; а если тратишь двадцать с половиной, ты нищий. По мелочи, по мелочи большие деньги собираются!

Но хотя он это и говорил, в его голосе не слышалось никакого неодобрения, а только усмешка, как будто про себя он потешался над этими прописными истинами.

— Говорят, вы помогли им улизнуть, — заметил я.

— Я? — Его лицо выразило крайнее удивление, но в глазах поблескивала хитрая усмешка. — Что вы! Когда мне сказали, что Дриффилды удрали, у меня так ноги и подкосились. Они мне были должны за уголь четыре фунта и семнадцать с половиной шиллингов. Всех нас надули, даже бедного Гэллоуэя — так он и не получил булочку к чаю.

Такого нахальства я не ожидал от Лорда Джорджа. Мне хотелось сказать ему напоследок что-нибудь сокрушительное, но я ничего не мог придумать, а просто сказал, что мне надо идти, и расстался с ним, холодно кивнув на прощанье.

XI

Перебирая в памяти прошлое в ожидании Элроя Кира, я усмехнулся, когда сравнил этот недостойный эпизод из забытого периода жизни Эдуарда Дриффилда с невероятной респектабельностью его последних лет. Мне пришло в голову: а не потому ли, что в годы моего отрочества окружавшие нас люди так мало ценили его как писателя, — не потому ли я никогда не мог увидеть в нем те потрясающие достоинства, которые со временем стала приписывать ему критика?

Его язык долго считали очень плохим, и в самом деле ощущение было такое, будто он писал тупым огрызком карандаша; в его вымученном стиле смешались архаизмы и просторечие, а его персонажи разговаривали так, как не говорит ни один живой человек. Когда он в конце жизни диктовал свои книги, его стиль, приобретя разговорную легкость, стал плавным и водянистым; и тогда критики, вернувшись к произведениям поры его расцвета, нашли, что там язык был сильным, выразительным и колоритным. Расцвет Дриффилда пришелся на ту пору, когда были в моде изящные отрывки, и некоторые описания

из его книг попали во все хрестоматии английской прозы. Особенно прославились его картины моря, весны в кентских лесах и заката на Нижней Темзе. Мне следовало бы стыдиться, но, читая их, я всегда испытываю неловкость.

Во времена моей молодости его книги расходились плохо, а одна или две не были допущены в библиотеки; и все же восхищаться им считалось признаком культуры. Его находили смелым реалистом. Это была удобная дубинка для побиения филистеров. Кто-то в приступе вдохновения обнаружил, что его моряки и крестьяне — поистине шекспировские типы, а когда собирались вместе тонко понимающие натуры, их приводил в экстаз сдержанный соленый юмор его деревенских персонажей. На это Эдуард Дриффилд не скупился. Когда он вводил меня в корабельный кубрик или в трактир, у меня падало сердце: я знал, что предстоит полдюжины страниц жаргона с остроумными высказываниями о жизни, этике и бессмертии. Правда, и шекспировские комические герои всегда наводят на меня скуку, а их бесчисленное потомство и вовсе невыносимо.

Сильной стороной Дриффилда, вероятно, было изображение того круга людей, который он знал лучше всего: фермеров и батраков, лавочников

и трактирщиков, шкиперов, помощников капитана, коков и матросов. Когда у него появляются персонажи более высокого общественного положения, надо полагать, даже его самым ярым почитателям становится немного не по себе. Его джентльмены так невероятно благородны, его знатные леди так безгрешны, так чисты и возвышенны — неудивительно, что выражаться они могут только очень длинно и с большим достоинством. Женщины в его книгах какие-то неживые. Но и здесь я должен добавить, что это только мое личное мнение; широкая публика и самые видные критики единодушно соглашаются, что это обаятельные примеры английской женственности — жизненные, величавые, великодушные; их часто сравнивали с героинями Шекспира. Конечно, мы знаем, что женщины обычно страдают запором, но изображать их в литературе так, как будто они вовсе лишены заднего прохода, — по-моему, уж чрезмерная галантность. Удивительно, как это может нравиться им самим.

Критики способны заставить мир обратить внимание на очень посредственного писателя; мир может сходить с ума по писателю вовсе не достойному; но в обоих случаях это не может продолжаться долго. Сохранять же популярность

столько времени, сколько это удалось Эдуарду Дриффилду, писатель может, надо думать, только если он наделен значительным талантом. Снобы презирают популярность; они даже склонны утверждать, будто это доказательство посредственности; но они забывают, что потомство делает свой выбор не среди неизвестных авторов данного периода, а среди тех, кто пользовался известностью. Может случиться, что появится некий великий шедевр, заслуживающий бессмертия, но, если он увидел свет мертворожденным, потомство о нем так ничего и не узнает. Не исключено, что потомки отправят в макулатуру все наши нынешние бестселлеры, но выбирать им придется все-таки из них. А слава Эдуарда Дриффилда, во всяком случае, не меркнет. Мне его романы кажутся скучными; на мой взгляд, они затянуты; на меня не производят впечатления мелодраматические события, которыми он пытается оживить гаснущий интерес читателя; но что у него есть — так это искренность. В его лучших книгах чувствуется биение жизни, и нет среди них такой, где бы вы не ощутили присутствия загадочной личности автора. Первое время его превозносили или ругали за реализм; критики в зависимости от своих взглядов либо хвалили

его за правдивость, либо упрекали в грубости. Но с тех пор реализм перестал вызывать споры, и читатель сейчас легко преодолевает такие препятствия, которые устрашили бы его всего лишь поколение назад.

Те, кто читает эти страницы, может быть, помнят передовую статью в «Таймс литерари сапплмент», появившуюся по случаю смерти Дриффилда. Воспользовавшись его романами в качестве повода, автор воспел настоящий гимн прекрасному. На всякого, кто читал статью, не могли не произвести впечатления ее высокопарные периоды, напоминающие возвышенную прозу Джереми Тейлора, ее благоговение и благочестие, короче, все эти высокие чувства, выраженные стилем, витиеватым без излишества и нежным без слащавости. Статья была сама по себе исполнена прекрасного. Если же кто-нибудь скажет, что Эдуард Дриффилд был некоторым образом юморист и что в этой хвалебной статье не помешала бы острота-другая, то на это нужно будет возразить, что она представляла собой как-никак надгробное слово. К тому же хорошо известно, что Прекрасное не очень благосклонно к робким авансам Юмора. Когда Рой Кир говорил со мной о Дриффилде, он заявил, что каковы бы

ни были его недостатки, их искупает чувство прекрасного, которым проникнуты его книги. Сейчас, вспоминая наш разговор, я думаю, что именно это замечание меня больше всего возмутило.

Тридцать лет назад в литературных кругах была мода на Бога. Вера в него считалась хорошим вкусом, а журналисты пользовались им для украшения слога. Потом мода на Бога прошла (как ни странно, вместе с модой на крикет и пиво), и начался культ Пана. В сотнях книг его раздвоенное копытце оставляло след на траве; поэты видели его в сумерках лондонских улиц, а литературные дамы Серрея — эти нимфы индустриального века — загадочным образом лишались невинности в его грубых объятиях и духовно уже не могли стать прежними. Но прошла мода и на Пана, и теперь его место заняло Прекрасное. Его находят в отдельной фразе, в рыбном блюде, в собаке, в погоде, в картине, в поступке, в платье. Когорты молодых женщин, написавших по одной добротной многообещающей повести каждая, щебечут о нем всякая на свой манер — иносказательно или игриво, пылко или очаровательно. А окончившие Оксфорд, но все еще окутанные ореолом его славы молодые люди, которые учат нас на стра-

ницах еженедельников, что мы должны думать об искусстве, о жизни и о Вселенной, небрежно расшвыривают это слово по убористым страницам своих статей. Оно уже безнадежно изношено — Боже мой, как безжалостно его затрепали! Идеал можно называть по-разному, и прекрасное — лишь одно из его имен. Может быть, этот шум вокруг прекрасного — всего лишь крик отчаяния тех, кому не по себе в нашем героическом мире машин, а их тяга к прекрасному, к этой крошке Нелл нынешнего века, стыдящегося своих чувств, не что иное, как сентиментальность? Может быть, следующее поколение, которое лучше приспособится к напряженной современной жизни, будет искать вдохновения не в бегстве от действительности, а в приятии ее?

Не знаю, как другие, но про себя могу сказать, что долго заниматься созерцанием прекрасного не могу. По-моему, ни один поэт не ошибался больше, чем Китс в первой строчке «Эндимиона». Насладившись волшебным ощущением, которое доставило мне нечто прекрасное, я быстро отвлекаюсь; я не верю людям, которые говорят, что могут часами как зачарованные смотреть на какую-нибудь картину. Прекрасное — это экстаз: оно так же просто, как голод. О нем, в

сущности, ничего не расскажешь. Оно — как аромат розы: его можно понюхать, и все. Вот почему так утомительны все критические рассуждения об искусстве — если не считать тех, которые не касаются прекрасного и поэтому не имеют отношения к искусству. Все, что может сказать критик по поводу «Положения во гроб» Тициана — картины, которая, может быть, больше всех в мире исполнена чистой красоты, это посоветовать вам пойти и на нее посмотреть. Все остальное, что он скажет, будет или историей, или биографией, или чем-нибудь еще. Но люди связывают с прекрасным другие качества — возвышенность, человечность, нежность, любовь, потому что само прекрасное не может их надолго удовлетворить. Прекрасное — это совершенство, а совершенство (такова уж природа человека) лишь ненадолго задерживает наше внимание. Математик, который, посмотрев «Федру», спросил: «Qu'est ce que ça prouve?»[60] — был не таким уж дураком, как обычно считают. Никто еще не смог объяснить, почему дорический храм в Пестуме более прекрасен, чем стакан холодного пива, если только не привлекать соображений, не

[60] Примечания: 60
А что это доказывает? (*фр.*)

имеющих к прекрасному никакого отношения. Прекрасное — это тупик. Это горная вершина, достигнув которой дальше идти некуда. Вот почему нас, в конце концов, больше очаровывает Эль Греко, чем Тициан, несовершенство Шекспира нам ближе, чем безупречность Расина. О прекрасном написано слишком много. Вот почему я написал немного еще. Прекрасное — это то, что удовлетворяет эстетический инстинкт. Но кому нужно полное удовлетворение? Только тупицы считают, что от добра добра не ищут. Будем откровенны: прекрасное немного скучно.

Но все, что писали критики про Эдуарда Дрифилда, было, конечно, сплошной чепухой. Не реализм, придававший жизненность его произведениям, составлял его выдающееся достоинство, не красота, которой они исполнены, не четко очерченные образы мореплавателей, не поэтические описания болот, шторма и штиля или уютных деревушек — этим достоинством была его долговечность. Уважение к возрасту — одна из самых замечательных человеческих черт, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни в одной стране она не проявляется так заметно, как у нас. Другие нации нередко относятся к старости с платоническим почтением и любовью;

у нас же это проявляется на практике. Кто, кроме англичан, способен заполнять зал Ковент-Гардена, чтобы послушать престарелую безголосую примадонну? Кто, кроме англичан, готов платить за удовольствие смотреть на таких дряхлых танцоров, что они еле передвигают ноги, да еще говорить друг другу в антракте: «Вот это да; а вы знаете, что ему уже за шестьдесят?» Но в сравнении с политическими деятелями и писателями это просто мальчишки, и мне часто кажется, что jeune premier[61], если он не наделен из ряда вон выходящим добродушием, должен с горечью подумывать, что ему в семьдесят лет придется закончить свою карьеру, а общественный деятель и писатель в этом возрасте только входят в самую пору Сорокалетний политик становится к семидесяти государственным деятелем. Именно в этом возрасте, когда он слишком стар, чтобы быть клерком, или садовником, или полицейским судьей, он созревает для руководства государством. Это не так уж удивительно, если вспомнить, что с самой глубокой древности старики внушают молодым, что они умнее, — а к тому времени, как молодые начинают понимать, какая это чушь,

[61] Примечания: 61
Герой-любовник (*фр.*).

они сами превращаются в стариков и им выгодно поддерживать это заблуждение. Кроме того, каждый, кто вращался в политических кругах, не мог не заметить, что если судить по результатам, то для управления страной не требуется особых умственных способностей. Но вот почему писатели заслуживают тем большего почета, чем старше они становятся, — это давно приводит меня в недоумение. Одно время я думал, что похвалы, расточаемые им тогда, когда они уже двадцать лет как не написали ничего интересного, объясняются в основном тем, что более молодые люди, уже не боясь их конкуренции, без опаски превозносят их достоинства: хорошо известно, что хвалить человека, соперничество которого вам не грозит, — часто очень хороший способ ставить палки в колеса тому, чьей конкуренции вы опасаетесь. Но это слишком низкое мнение о человеческой природе, а я ни за что на свете не хотел бы навлечь на себя обвинения в дешевом цинизме. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что причина всеобщих рукоплесканий, скрашивающих последние годы писателя, который превысил обычную продолжительность человеческой жизни, на самом деле в том, что интеллигентные люди после тридцати лет вовсе

ничего не читают. И по мере того как они стареют, книги, прочитанные ими в молодости, окрашиваются радужными воспоминаниями того времени, и с каждым годом их автору приписываются все большие достоинства. Он, конечно, должен продолжать писать, чтобы не быть забытым публикой. Он не должен думать, что достаточно написать один-два шедевра; он должен подвести под них пьедестал из сорока — пятидесяти книг, не представляющих особого интереса. На это нужно время. Производительность писателя должна быть такой, чтобы оглушить читателя массой, если уж нельзя удержать его интерес качеством.

И если, как я полагаю, долговечность — это тоже гениальность, то мало кто в наше время оказался наделенным ею в такой степени, как Эдуард Дриффилд. Когда он был всего лишь шестидесятилетним юнцом (и просвещенная публика уже с ним покончила), его положение в литературном мире было всего лишь респектабельным; лучшие судьи хвалили его, но умеренно, а молодежь была склонна над ним подтрунивать. Все соглашались, что он не лишен таланта, но никому не приходило в голову, что он — слава английской литературы. Потом он отпраздновал свой семидесятилетний юбилей; литературный мир слегка

заволновался — как гладь Индийского океана, когда где-то вдалеке назревает тайфун. Стало очевидно, что все эти годы среди нас жил великий романист, о чем мы и не подозревали. В библиотеках начали хватать его книги, и сотни писак из Блумсбери, Челси и других мест, где собираются литераторы, принялись строчить одобрительные рецензии, исследования, очерки, труды — краткие и легкомысленные или длинные и серьезные — о его романах. Они переиздавались — полными собраниями, избранными произведениями, дешевыми и роскошными изданиями. Его стиль анализировали, его философию изучали, его технику разбирали. В семьдесят пять все единодушно признали Эдуарда Дриффилда гением. К восьмидесяти же он стал Великим Корифеем английской литературы и это положение сохранял до самой смерти.

Теперь мы с грустью видим, что занять его место некому. Есть несколько писателей, которым за семьдесят, — они, очевидно, полагают, что могли бы с удобством расположиться на пустующем троне. Но им явно чего-то не хватает.

Эти воспоминания, которые я так долго излагал, пронеслись передо мной очень быстро. Они шли вперемежку — то какой-нибудь случай, то

обрывок предшествовавшего ему разговора, а я расположил их последовательно для удобства читателя и еще потому, что не терплю беспорядка. При этом меня удивило, что я даже в таком отдалении явственно помню, как выглядели люди и даже что они говорили, но очень смутно — как они были одеты. Я, конечно, знаю, что сорок лет назад одежда, особенно женская, сильно отличалась от нынешней, но если я и помню ее, то не по собственным впечатлениям, а по картинам и фотографиям, которые видел много позже.

Я все еще был погружен в эти праздные мысли, когда услышал, как у дверей остановилось такси, раздался звонок и через секунду послышался раскатистый голос Элроя Кира, который говорил швейцару, что у него со мной назначена встреча. Он вошел — большой, толстый и добродушный, и его энергия в ту же минуту сокрушила хрупкое здание, выстроенное мной из давно ушедшего прошлого. Как неистовый мартовский ветер, он принес собой агрессивное и неизбежное настоящее.

— Я как раз думал, — сказал я, — кто мог бы сменить Дриффилда в качестве Великого Корифея английской литературы, — и вот вы приехали, чтобы разрешить мое недоумение.

Он весело рассмеялся, но в его глазах мелькнуло подозрение.

— Не думаю, чтобы кому-нибудь это было по плечу, — ответил он.

— А вы сами?

— О мой милый, но мне ведь еще нет пятидесяти. Давайте подождем еще лет двадцать пять.

Он засмеялся снова, но при этом все время смотрел мне в глаза.

— Никогда не могу угадать, разыгрываете вы меня или нет.

Вдруг он опустил взгляд.

— Конечно, иногда думаешь о будущем. Все, кто сейчас на самом верху, лет на пятнадцать — двадцать старше меня. Они не вечны, а кто их заменит? Конечно, есть Олдос; он намного моложе меня, но не очень крепок здоровьем и, по-моему, не очень следит за собой. Если не считать случайностей — то есть если вдруг не объявится какой-нибудь гений, который смешает все карты, то я, пожалуй, лет через двадцать — двадцать пять неизбежно останусь без всяких соперников. Нужно только продолжать работать и пережить всех остальных.

Рой опустился своим могучим телом в кресло моей хозяйки, и я предложил ему виски с со-

довой.

— Нет, я никогда не пью спиртного раньше шести, — сказал он и огляделся вокруг. — Занятное у вас жилье.

— Это верно. Так о чем вы хотели со мной поговорить?

— Я думал поболтать с вами об этом приглашении миссис Дриффилд. По телефону довольно трудно все объяснить. Дело в том, что я взялся писать биографию Дриффилда.

— О! Почему вы не сказали сразу?

Я преисполнился к Рою самых дружеских чувств. Было приятно, что я не ошибся в нем, когда заподозрил, что он пригласил меня на обед не просто ради моего общества.

— Я тогда еще не решил. Миссис Дриффилд очень на этом настаивает. Она будет помогать мне, чем может. Она предоставляет мне все материалы, какие у нее есть. Она собирала их много лет. Это нелегкое дело, и сделать его кое-как я просто не могу себе позволить. Но если я справлюсь, это принесет мне большую пользу. Люди очень уважают писателя, который время от времени создает что-нибудь серьезное. На свои критические работы я ухлопал много сил, а денег они не принесли никаких, но я ни минуты об этом не

жалею. Без них я бы не имел такого положения, какое имею сейчас.

— По-моему, это очень хороший замысел. Последние двадцать лет вы знали Дриффилда ближе, чем кто бы то ни было.

— Да, пожалуй. Но когда мы познакомились, ему было уже за шестьдесят. Я написал ему, как восхищен его книгами, и он пригласил меня к себе. А о раннем периоде его жизни я ничего не знаю. Миссис Дриффилд часто наводила его на разговор об этих временах и подробно записывала, что он говорил. Потом есть дневники, которые он несколько раз принимался вести, и, конечно, многое в его романах явно автобиографично. Но есть огромные пробелы. Я скажу вам, какую книгу я хочу написать: нечто о личной жизни, с множеством тех мелких подробностей, которые, знаете, согревают человека, и все это будет переплетено с исчерпывающим разбором его литературных работ, конечно, не тяжеловесным, но доброжелательным, тщательным и… тонким. Над этим, конечно, придется поработать, но миссис Дриффилд, кажется, думает, что я справлюсь.

— Я уверен, что справитесь, — вставил я.

— А почему бы и нет? — сказал Рой. — Я критик, я писатель. У меня явно есть для этого кое-какие

литературные данные. Но у меня ничего не выйдет, если мне не будут помогать все, кто может.

Я начал понимать, зачем я здесь понадобился, но постарался, чтобы на моем лице ничего не отразилось. Рой наклонился ко мне:

— Я тогда спросил вас, не собираетесь ли вы написать сами что-нибудь про Дриффилда, и вы сказали, что нет. Это определенно?

— Конечно.

— Тогда вы не возражаете против того, чтобы предоставить мне свои материалы?

— Но у меня нет никаких материалов!

— Ну, бросьте, — добродушно сказал Рой тоном врача, который уговаривает ребенка открыть ротик. — Когда он жил в Блэкстебле, вы, наверное, много виделись.

— Я был тогда еще мальчишкой.

— Но вы, наверное, чувствовали в нем что-то необычное. В конце концов, каждый, кто общался с Дриффилдом хотя бы полчаса, не мог не видеть, что имеет дело с необыкновенной личностью. Это должен был понять даже шестнадцатилетний мальчик — а вы, вероятно, были более наблюдательны и восприимчивы, чем обычно бывают люди в этом возрасте.

— Не знаю, показалась бы его личность необык-

новенной, если бы за ней не стояла его репутация. Как вы думаете, если вы появитесь на морском курорте под видом мистера Аткинса, бухгалтера, приехавшего лечить больную печень, вы произведете на людей впечатление необыкновенной личности?

— Думаю, они скоро поняли бы, что я не просто обычный бухгалтер, — ответил Рой с улыбкой, которая лишила его слова всякого оттенка самодовольства.

— Так вот, я могу сказать вам одно: больше всего меня тогда поразил в Дриффилде ужасно кричащий костюм, который он носил. Мы часто катались на велосипеде, и мне всегда было немного не по себе, когда меня с ним видели.

— Теперь это звучит комично. А о чем он говорил?

— Не знаю. Ни о чем в особенности. Он очень интересовался архитектурой и о сельском хозяйстве говорил, а если попадался какой-нибудь уютный на вид трактир, он обычно предлагал остановиться минут на пять и выпить по стакану пива, а потом болтал с хозяином про урожай, цены на уголь и все такое.

Я продолжал в том же духе, хотя по лицу Роя было заметно, что он разочарован. Он слушал, но

ему было неинтересно; а я обратил внимание, что когда ему неинтересно, у него становится сердитый вид. Но хоть я и не помнил, чтобы Дриффилд когда-нибудь сказал что-нибудь значительное во время этих наших долгих прогулок, в моей памяти прекрасно сохранились связанные с ними незабываемые ощущения. У Блэкстебла была одна особенность: хотя он стоял на морском берегу между длинным галечным пляжем и прибрежным болотом, но стоило пройти всего с полмили от моря, как вы попадали в самую сельскую местность во всем Кенте. Дороги извивались между обширными плодородными зелеными полями и рощами огромных коренастых вязов, скромно-величавых, как старые добрые кентские фермерши, краснощекие и дюжие, растолстевшие на хорошем масле, домашнем хлебе, сливках и свежих яйцах. А иногда дорога превращалась просто в тропинку между густыми живыми изгородями из боярышника, а с обеих сторон над ней свешивались зеленые вязы, так, что, если посмотреть вверх, видна только узкая полоска голубого неба. Воздух был теплым и свежим, и когда вы ехали по такой тропинке, то казалось, что весь мир застыл неподвижно и что жизнь будет продолжаться вечно. Несмотря на то что вы энергично работали

ногами, вас охватывало восхитительное чувство лени. Лучше всего было, когда все молчали, а если кто-то от полноты чувств вдруг прибавлял ходу и уносился вперед, это всех смешило, и следующие несколько минут мы изо всех сил налегали на педали. Добродушно подтрунивая друг над другом, мы от души смеялись собственным шуткам. Время от времени нам попадались коттеджи с маленькими палисадниками, где росли штокрозы и лилии, а в стороне от дороги стояли фермы с просторными амбарами и сушилками для хмеля; попадались и хмелевые плантации, где гирляндами свисали созревающие шишки. В трактирах было весело и уютно, они почти не отличались с виду от коттеджей, и на крыльце у них часто росла жимолость. Они носили привычные названия: «Веселый матрос», «Веселый пахарь», «Корона и якорь», «Красный лев».

Но все это, конечно, было неинтересно Рою, и он прервал меня:

— А он никогда не говорил о литературе?

— По-моему, нет. Он был не из тех писателей. Вероятно, он думал о своей работе, но никогда о ней не говорил. Он обычно давал нашему помощнику приходского священника почитать книги. Той зимой, во время каникул, я почти каждый

день пил у него чай, и иногда они говорили о книгах, но мы всегда это прекращали.

— И вы не помните, что он говорил?

— Только одно. Помню потому, что не читал тех вещей, о которых он говорил, а после этого я их прочел. Он сказал, что если Шекспир когда-нибудь и думал о своих пьесах после того, как вернулся в Стратфорд-он-Эйвон и стал респектабельным, то с самым большим интересом он, вероятно, вспоминал две: «Мера за меру» и «Троила и Крессиду».

— Ну, в этом смысле немного. А он ничего не говорил о более современных писателях, чем Шекспир?

— Нет, тогда — не помню; но, когда я несколько лет назад обедал у Дриффилдов, я слышал, как он сказал, что Генри Джеймс повернулся спиной к одному из величайших событий мировой истории — возникновению Соединенных Штатов, чтобы писать о застольной болтовне в английских поместьях. Дриффилд назвал это «il gran rifiuto». Я удивился, что старик сказал это по-итальянски, и меня позабавило, что, кроме одной чванливой герцогини, никто и не понял, о чем это он. Он сказал: «Бедный Генри, он целую вечность бродит вокруг величественного парка,

а ограда слишком высокая — не заглянуть, и чай пьют слишком далеко, так что ему не слышно, что говорит графиня».

Рой внимательно выслушал этот анекдот и задумчиво покачал головой:

— Не думаю, чтобы я смог это использовать. Вся банда поклонников Генри Джеймса кинулась бы на меня, как свора собак… А что вы тогда делали вечерами?

— Ну, играли в вист, пока Дриффилд читал книги, которые присылали на рецензию, а потом он пел.

— Это интересно, — сказал Рой, встрепенувшись. — Вы не помните, что он пел?

— Прекрасно помню. Его любимыми песнями были «Все из-за того солдата» и «Заходи, здесь пиво лучше».

— О!

Я видел, что Рой разочарован.

— А вы ожидали, что он будет петь Шумана? — спросил я.

— Почему бы и нет? Это было бы неплохо. Но я скорее думал, что он пел морские песенки или старые английские народные баллады — знаете, в таком роде, как певали на ярмарках слепые скрипачи и деревенские красавцы, пляшущие с

девушками на току, и все в таком роде. Из этого я сделал бы что-нибудь изящное. Но я не могу представить себе Эдуарда Дриффилда, распевающего куплеты из оперетт. В конце концов, когда рисуешь портрет человека, нужно иметь определенную точку зрения; если вставлять то, что совершенно выпадает из общего тона, обязательно испортишь все впечатление.

— А вы знаете, что вскоре после этого он смылся, не заплатив долгов?

Рой молчал целую минуту, задумчиво глядя на ковер.

— Да, я знаю, там были кое-какие неприятности. Миссис Дриффилд говорила. Насколько я понимаю, все было выплачено потом, еще до того, как он купил Ферн-Корт и поселился в тех местах. По-моему, нет никакой необходимости напирать на этот случай — ведь он, в сущности, не имел никакого влияния на его творческий путь. В конце концов, это произошло почти сорок лет назад. Знаете, у старика был очень любопытный характер. Кто бы мог подумать, что после такой скандальной истории он, когда прославится, выберет именно окрестности Блэкстебла, чтобы провести остаток своих дней, — особенно если иметь в виду, что здесь он в самых скромных

условиях начинал свою жизнь? Но это его ничуть не смущало. Он как будто считал все это занятной шуткой. Он не стеснялся рассказывать об этом гостям за обедом, и миссис Дриффилд чувствовала себя очень неловко. Вам бы надо поближе познакомиться с Эми. Это замечательная женщина. Конечно, старик написал все свои великие книги еще до того, как с ней повстречался, но, по-моему, нельзя отрицать, что тот внушительный и достойный образ, который весь мир знал последние двадцать пять лет, создала она. Она мне откровенно рассказывала, как нелегко это ей далось. У старого Дриффилда были разные странные привычки, и от нее требовался большой такт, чтобы заставить его вести себя прилично. В некоторых вещах он был очень упрям, и я думаю, что менее настойчивая женщина потерпела бы здесь поражение. Эми, например, стоило большого труда отучить его от привычки, доев свое жаркое с подливкой, вытирать тарелку хлебом и съедать его.

— А знаете, что это значит? — спросил я. — Это значит, что долгое время он недоедал и дорожил каждой крошкой.

— Ну, возможно, но ведь такая привычка не очень украшает знаменитого писателя. И потом,

он хоть и не был пьяницей, но очень любил заглядывать в «Медведь и ключ» в Блэкстебле и выпивать там по нескольку кружек пива за общей стойкой. Конечно, ничего плохого тут нет, но это привлекало к нему всеобщее внимание, особенно летом, когда в Блэкстебле полно приезжих. Ему было все равно, с кем он разговаривает. Он как будто не понимал, что должен оставаться на высоте своего положения. Согласитесь — было очень неловко, когда он, пообедав с разными интересными людьми — вроде Эдмунда Госса или лорда Керзона, — шел в трактир и рассказывал слесарям, булочникам и санитарным инспекторам, что он об этих людях думает. Ну, это еще, конечно, можно объяснить. Можно сказать, что он искал местный колорит и интересовался человеческими типами. Но были у него и такие привычки, с которыми неизвестно что делать. Знаете ли вы, с каким трудом Эми заставляла его принимать ванну?

— Но он родился в такое время, когда считалось, что слишком часто мыться вредно. Я думаю, до пятидесяти лет он и не жил никогда в таком доме, где была бы ванна.

— Ну да, он говорил, что никогда не мылся чаще, чем раз в неделю, и не собирается в этом возрасте

менять свои привычки. Потом Эми настаивала, чтобы он каждый день менял белье, но он и против этого возражал. Говорил, что привык носить рубашку и кальсоны целую неделю и что все это ерунда — от частой стирки они только быстрее изнашиваются. Миссис Дриффилд делала все, что могла, чтобы заставить его принимать ванну каждый день — пробовала заманить его всевозможными экстрактами и ароматами, но ничто не помогало, а еще позже он не мылся даже и раз в неделю. Она говорила мне, что за последние три года жизни он вообще ни разу не принимал ванну. Все это, конечно, между нами; я просто хочу сказать, что нужен очень большой такт, чтобы писать о его жизни. Приходится признать, что он не был чересчур щепетилен в денежных делах и почему-то находил большое удовольствие в обществе людей ниже себя, и некоторые его привычки были довольно непривлекательны, — но я не думаю, чтобы именно эта сторона была в нем главной. Я не хочу писать неправду, но думаю, что кое о чем лучше не упоминать.

— А не думаете ли вы, что было бы гораздо интереснее не останавливаться на полпути и нарисовать его таким, каким он был?

— О, это невозможно. Эми Дриффилд потом со

мной всю жизнь не будет разговаривать. Она попросила меня написать о нем только потому, что уверена в моем благоразумии. Я должен вести себя как джентльмен.

— Очень трудно быть одновременно джентльменом и писателем.

— Нет, почему? И потом, вы ведь знаете критиков. Если напишешь правду, они назовут тебя циником, а такая репутация не идет на пользу писателю. Конечно, я не отрицаю, что, если отбросить все условности, я мог бы произвести сенсацию. Было бы очень заманчиво показать этого человека с его тягой к прекрасному и легкомысленным отношением к своим обязательствам, с его великолепным стилем и острой ненавистью к мылу и воде, с его идеализмом и выпивками в подозрительных заведениях. Но, если говорить честно, разве это окупится? Все скажут только, что я подражаю Литтону Стрэчи. Нет, я думаю, будет лучше написать об этом обиняками, приятно и тонко, знаете, полегче. По-моему, начиная писать книгу, нужно ее сначала увидеть. Так вот, я это вижу, пожалуй, как портрет работы Ван Дейка — знаете, с таким настроением, и серьезностью, и такой аристократической утонченностью. Понимаете, что я хочу сказать?

Тысяч на восемьдесят слов.

Некоторое время он сидел, погруженный в эстетический экстаз. Он уже видел перед собой эту книгу ин-октаво, изящную и нетяжелую, напечатанную с большими полями, на хорошей бумаге, ясным и красивым шрифтом; наверное, он видел и переплет из гладкой черной ткани с золотыми украшениями и буквами. Но Элрой Кир был всего лишь человек, и поэтому он, как я отмечал несколькими страницами ранее, не мог долго предаваться созерцанию прекрасного. Он чистосердечно улыбнулся мне:

— Но как мне ухитриться обойти первую миссис Дриффилд?

— Скелет в шкафу, — пробормотал я.

— Чертовски трудная фигура. Она была замужем за Дриффилдом много лет. У Эми на это очень определенная точка зрения, но я не вижу, как бы я мог ее удовлетворить. Видите ли, она считает, что Рози Дриффилд оказывала на мужа самое вредное влияние и сделала все возможное, чтобы разорить его и погубить морально и физически. Что она была ниже его во всех отношениях, во всяком случае в интеллектуальном и духовном, и он спасся только благодаря огромной силе духа и жизнеспособности. Это, конечно, была очень

неудачная пара. Правда, Рози уже много лет как умерла, и не хочется ворошить старые сплетни и стирать у всех на виду грязное белье, но факт остается фактом: самые великие произведения Дриффилд написал, когда жил с ней. Как бы я ни ценил его поздние вещи — а я, как никто, сознаю их подлинные достоинства, в них есть восхитительная сдержанность и какая-то классическая умеренность, — и все-таки я признаю, что в них не хватает огонька, живости, аромата и шума жизни, какие есть в ранних книгах. Мне кажется, что нельзя совсем отрицать влияния первой жены на его творчество.

— Ну и что вы собираетесь с этим делать? — спросил я.

— Что ж, я не вижу, почему нельзя было бы рассказать об этой стороне его жизни как можно сдержаннее и деликатнее, чтобы не оскорбить самый щепетильный вкус, и в то же время с этакой мужественной откровенностью — вы меня понимаете? Получилось бы даже трогательно.

— Легко сказать…

— На мой взгляд, вовсе ни к чему ставить все точки над i. Важно только взять нужный тон. Я бы попробовал писать об этом как можно меньше, но намеками передать все самое существенное,

что важно знать читателю. Знаете, самую непристойную тему можно смягчить, если подойти к ней с достоинством. Но я ничего не могу сделать, пока не знаю всех фактов.

— Разумеется, чтобы подать их, нужно их знать.

Рой говорил легко и свободно, как опытный и пользующийся успехом оратор. Мне пришло в голову, что, во-первых, хорошо бы и мне научиться выражать свои мысли так точно и гладко, никогда не подыскивая нужного слова, чтобы фразы катились без малейшей задержки, и что, во-вторых, я был бы очень рад, если бы не чувствовал себя столь плачевно недостойным представлять в своем ничтожном лице обширную и сочувствующую аудиторию, к которой Рой инстинктивно обращался. Но тут он умолк. На его лице, раскрасневшемся от энтузиазма и покрытом испариной от полуденной жары, появилось добродушное выражение, а повелительно сверкавшие глаза смягчились и заулыбались.

— Вот тут вы мне и нужны, — продолжал он дружелюбно.

Я давно уже убедился: если нечего сказать или не знаешь, что ответить, лучше всего промолчать. Не говоря ни слова, я с тем же дружелюбием

смотрел на Роя.

— Вы больше всех знаете о его жизни в Блэкстебле.

— Ну, вряд ли. В Блэкстебле, наверное, немало людей, которые виделись с ним тогда не меньше моего.

— Возможно, но ведь это люди незначительные, и вряд ли их мнение так уж существенно.

— А, понимаю. Вы хотите сказать, что только я могу проболтаться?

— Грубо говоря, я имел в виду примерно это, если уж вам так угодно шутить.

Я видел, что моя шутка не позабавила Роя. Я не огорчился: я давно привык к людям, которых мои шутки не смешат. Нередко мне приходит в голову, что самый чистый тип художника — это юморист, который один смеется собственным шуткам.

— И насколько я знаю, потом в Лондоне вы тоже часто его видели.

— Да.

— Это когда он снимал квартиру где-то в Нижней Белгрэвии?

— Ну, не совсем так. Всего лишь комнатку в Пимлико.

Рой сухо улыбнулся:

— Не будем спорить из-за точного адреса. Вы тогда были с ним очень близки.

— Более или менее.

— Сколько времени это продолжалось?

— Год-два.

— Сколько вам тогда было лет?

— Двадцать.

— Так вот, слушайте. Я прошу вас оказать мне большую услугу. Это не займет у вас много времени, а для меня будет просто неоценимая помощь. Я хотел бы, чтобы вы набросали свои воспоминания о Дриффилде как можно полнее, — все, что вы помните о его жене и их отношениях, и так далее, и про Блэкстебл, и про Лондон.

— Ну, знаете ли, вы просите не так уж мало. У меня сейчас хватает работы.

— Не надо тратить много времени. Вы можете набросать это в самом черновом виде. Не надо думать о стиле и прочем. Стиль я возьму на себя. Мне нужны только факты. В конце концов, вы один их знаете. Я не хочу, чтобы это прозвучало напыщенно, но Дриффилд был великий человек, и ради его памяти и ради английской литературы вы обязаны рассказать все, что вам известно. Я не просил бы вас об этом, но вы тогда говорили, что не хотите ничего о нем писать сами. Не будьте

собакой на сене и не держите про себя материал, который вам не нужен.

Так Рой одним махом воззвал к моему чувству долга, к моей лени, к моему великодушию и к моей честности.

— А зачем миссис Дриффилд хочет, чтобы я приехал в гости в Ферн-Корт? — спросил я.

— Мы с ней это обсудили. Там очень хорошо. Она прекрасно принимает гостей, а в это время года за городом божественно. Она подумала, что, если вы согласитесь писать там свои воспоминания, вам будет очень уютно и спокойно; конечно, я сказал, что не могу ей этого обещать, но, естественно, когда вы будете так близко от Блэкстебла, вам будут вспоминаться всякие вещи, которые иначе вы бы забыли. И потом, если вы будете жить в его доме, среди его книг и вещей, прошлое будет казаться гораздо реальнее. Мы могли бы беседовать о нем — знаете, как в разговоре вспоминается то одно, то другое. Эми очень сообразительна и умна. Она в течение многих лет привыкла записывать разговоры Дриффилда, и ведь, очень возможно, вы скажете что-то такое, о чем не стали бы писать, а она потом это запишет. И мы с вами можем играть в теннис и купаться.

— Я не очень люблю жить в гостях, — сказал

я. — Терпеть не могу вставать к девятичасовому завтраку и есть, что дадут, даже если не хочу. Не люблю ходить на прогулки и не интересуюсь чужими цыплятами.

— Она сейчас очень одинока. Это была бы большая любезность по отношению к ней и ко мне тоже.

Я задумался.

— Вот что я сделаю. Я поеду в Блэкстебл, но поеду сам по себе. Я поселюсь в «Медведе и ключе», а к миссис Дриффилд буду приходить в гости, пока вы там. Вы можете сколько угодно разговаривать о Дриффилде, а когда мне станет с вами невмоготу, я смогу удрать.

Рой добродушно засмеялся:

— Ладно, годится. И вы будете записывать все, что вспомните и что, по-вашему, может мне пригодиться?

— Попробую.

— Когда вы приедете? Я отправлюсь в пятницу.

— Я поеду с вами, если вы пообещаете не разговаривать со мной по дороге.

— Ладно. Самый удобный поезд — пять десять. Заехать за вами?

— Я способен добраться до вокзала Виктория сам. Встретимся на платформе.

Не знаю — может быть, Рой боялся, что я передумаю, но он тут же встал, сердечно пожал мне руку и ушел. На прощанье он напомнил мне, чтобы я ни в коем случае не забыл теннисную ракетку и купальный костюм.

XII

Обещание, которое я дал Рою, напомнило мне о первых годах, проведенных в Лондоне. Особых дел у меня в тот день не было, и мне пришло в голову пройтись и выпить чаю у своей старой квартирной хозяйки. Миссис Хадсон мне порекомендовал секретарь медицинского училища при больнице Св. Луки, когда я, еще зеленым юнцом, только что приехал в город и искал себе квартиру. Ее дом стоял на Винсент-сквер. Я прожил там, в двух комнатах первого этажа, пять лет, а надо мной, в бельэтаже, жил преподаватель вестминстерской школы. Я платил за комнаты фунт в неделю, а он — двадцать пять шиллингов. Миссис Хадсон была живая, суетливая женщина маленького роста, с худым лицом, крупным орлиным носом и самыми яркими, самыми жизнерадостными черными глазами, какие я видел в жизни. Свои пышные, очень темные волосы она каждый вечер и каждое воскресенье собирала в пучок на затылке, оставляя на лбу маленькую челку, как можно сейчас видеть на

старых фотографиях Джерсейской Лилии[62]. У нее было золотое сердце (хотя тогда я об этом не догадывался, потому что в молодости мы принимаем доброту к себе как должное), а готовила она превосходно. Никто не мог лучше ее сделать omelette soufflée[63]. Каждое утро она вставала спозаранку, чтобы затопить камины в гостиных у своих джентльменов: «Не завтракать же им в этом холодище — уж так сегодня морозит!»; и если она не слышала, как вы берете ванну (в плоском жестяном тазу, который задвигался под кровать, а воду в него наливали с вечера, чтобы немного согрелась), то говорила: «Ну вот, мой второй этаж еще не встал, опять он на лекцию опоздает», поднималась наверх, колотила в дверь и кричала: «Если сейчас же не встанете, не успеете позавтракать, а у меня для вас чудная треска». Работая весь день напролет, она напевала и всегда оставалась веселой, счастливой и улыбающейся. Муж ее был гораздо старше. Он был когда-то дворецким в очень хороших домах, носил бакенбарды и имел безупречные манеры;

---

[62] Примечания: 62

Прозвище знаменитой актрисы Лили Лэнгтри (1852–1929), слывшей одной из первых красавиц Англии.

[63] Примечания: 63

Воздушный омлет (*фр.*).

он прислуживал в соседней церкви, где пользовался большим уважением, а дома подавал на стол, чистил обувь и помогал мыть посуду. Передохнуть миссис Хадсон могла только тогда, когда, подав обед (я обедал в половине седьмого, а жилец бельэтажа — в семь), поднималась наверх, чтобы немного поболтать со своими джентльменами. Я очень жалею, что у меня тогда не хватало ума записывать ее разговоры (как Эми Дриффилд записывала разговоры своего знаменитого мужа), потому что миссис Хадсон была наделена великолепным лондонским народным юмором. За словом в карман она не лезла, выражалась живо, словарь ее был обширен, и в нем всегда находилась какая-нибудь смешная метафора или меткое замечание. Она была образцом добропорядочности, никогда не потерпела бы в своем доме женщины («Никогда не знаешь, что у них на уме, вечно мужчины, мужчины, мужчины, и чаи всякие, и дверь открывать приходится, и воду им носи, и не знаю что»), но в разговоре, не моргнув глазом, пользовалась довольно рискованными для того времени выражениями. Про нее можно было сказать то же самое, что она говорила про Мэри Ллойд: «Что мне нравится — с ней не соскучишься. Случается, ходит по самому краеш-

ку, ан не соскользнет». От своих шуток миссис Хадсон сама получала большое удовольствие и, по-моему, охотнее разговаривала со своими квартирантами, чем с мужем, потому что он был человек серьезный («Так и должно быть, — говорила она, — он и в процессиях ходит, и на свадьбах бывает, и на похоронах, и все такое») и не питал большой склонности к шуткам. «Я ему что говорю: смейся, пока можно, а то помрешь, похоронят, тогда уж не посмеешься».

Юмор никогда не покидал миссис Хадсон, и история ее вражды с мисс Бьючер, которая сдавала комнаты в доме четырнадцать, была настоящей комической эпопеей, продолжавшейся из года в год. «Она старая сварливая кошка, но, поверьте мне, жаль будет, если Господь как-нибудь ее приберет. Хотя что Он с ней будет делать, ума не приложу. Немало она меня посмешила в свое время».

У миссис Хадсон были очень плохие зубы, и в течение двух или трех лет она с невероятной комической изобретательностью обсуждала вопрос о том, не стоит ли ей их вырвать и вставить искусственные.

— Я что сказала Хадсону вчера? Он мне: «Да пойди ты и вырви их, и дело с концом», а я ему:

«А о чем же мне тогда говорить?»

Я не видел миссис Хадсон уже два или три года. В последний раз я заходил к ней, получив записку, в которой она приглашала меня заглянуть на чашку доброго чая и сообщала: «Хадсон умер, вот уже три месяца в субботу будет, и было ему семьдесят девять лет, а Джордж и Эстер Вам с почтением кланяются». Джордж был ее сын — теперь уже взрослый мужчина, рабочий Вуличского арсенала; мать в течение двадцати лет твердила, что он вот-вот приведет в дом жену. А Эстер была прислуга за все, которую миссис Хадсон наняла незадолго до того, как я с ней расстался, и все еще говорила о ней — «эта моя паршивая девчонка».

Когда я только поселился у миссис Хадсон, ей было порядочно за тридцать, а с тех пор прошло тридцать пять лет — и все равно сейчас, проходя не спеша по Грин-парку, я не допускал и мысли, что ее вдруг не окажется в живых: настолько она стала неотъемлемой частью воспоминаний моей юности. Я спустился по ступенькам, и мне открыла дверь Эстер — теперь уже женщина под пятьдесят и изрядно пополневшая, но в ее застенчиво улыбающемся лице все еще оставалось что-то от легкомыслия той «паршивой девчон-

ки». Когда я вошел в гостиную, миссис Хадсон штопала Джорджу носки и сняла очки, чтобы взглянуть на меня.

— Никак, это мистер Эшенден! И кто бы мог подумать? Эстер, кипит там чайник? Ведь вы выпьете со мной чашечку чаю?

Миссис Хадсон немного отяжелела с тех пор, как я впервые с ней познакомился, и ее движения стали помедленнее, но в волосах ее почти не было седины, а глаза, черные и блестящие, как пуговицы, сверкали весельем. Я сел в ветхое маленькое кресло, обитое коричневой кожей.

— Ну, как дела, миссис Хадсон? — спросил я.

— Да жаловаться не на что — разве что не такая уж я теперь молодая, как была, — отвечала она. — Уж не могу столько делать, как в то время, когда вы тут жили. Теперь я джентльменам не готовлю обед — только завтрак.

— Вы все комнаты сдаете?

— Слава Богу, все.

Благодаря возросшим ценам миссис Хадсон теперь получала за комнаты больше, чем в мое время, и, я думаю, жила хотя и скромно, но вполне обеспеченно. Но конечно, теперь у людей и потребности побольше.

— Вы не поверите, сначала пришлось устроить

ванную, потом электричество, а потом вынь да положь им телефон. Не знаю уж, что им еще понадобится.

— Мистер Джордж говорит, не пора ли миссис Хадсон подумать об отдыхе, — сказала Эстер, накрывавшая на стол.

— Не лезь не в свое дело, девчонка, — резко ответила миссис Хадсон. — На кладбище отдохну. Подумайте только — чтобы я жила совсем одна, с Джорджем и Эстер; ведь и поболтать будет не с кем!

— Мистер Джордж говорит, ей надо бы снять домик за городом и жить там одной, — продолжала Эстер, ничуть не смутившись.

— Нечего ко мне приставать с этим загородом. Прошлым летом доктор велел мне поехать за город на шесть недель. Я чуть не померла, поверьте. Этот вечный шум — и птицы все время поют, и петухи кричат, и коровы мычат, просто сил нет. Проживите с мое в тишине и спокойствии — и вы тоже не сможете привыкнуть к такому шуму и крику.

В нескольких домах отсюда проходила Воксхолл-Бридж-роуд, по которой с грохотом и звоном мчались трамваи, ревели грузовики, гудели такси. Но если миссис Хадсон и слышала эти звуки,

они были голосом Лондона, который убаюкивал ее, как мать баюкает колыбельной песенкой беспокойного ребенка.

Я оглядел уютную, скромную, небогатую гостиную, где так долго прожила миссис Хадсон, и подумал, нельзя ли что-нибудь для нее сделать. Единственное, что пришло мне в голову, — это граммофон, но я заметил, что он у нее уже есть.

— Что бы вам хотелось иметь, миссис Хадсон? — спросил я.

Она задумчиво поглядела на меня своими блестящими глазами, похожими на бусины.

— Да уж не знаю; разве что, пожалуй, здоровья и сил еще лет на двадцать, чтобы я могла и дальше работать…

Я как будто не сентиментален, но, услышав этот неожиданный, хотя и такой характерный для нее ответ, почувствовал, что у меня к горлу подступил комок.

Когда пришло время уходить, я спросил, нельзя ли посмотреть комнаты, где я прожил пять лет.

— Эстер, сбегай наверх, посмотри, дома ли мистер Грэхем. Если его нет, конечно, можно их посмотреть.

Эстер поспешила наверх, тут же, слегка запыхавшись, вернулась и сказала, что мистера

Грэхема дома нет. Миссис Хадсон пошла со мной. В спальне стояла та же самая узкая железная кровать, на которой я спал и предавался грезам, и тот же комод, и тот же умывальник. Но в гостиной царил мрачновато-мужественный спортивный дух: на стенах висели фотографии крикетных команд и гребцов в шортах, в углу стояли клюшки для гольфа, а на каминной полке были разбросаны трубки и кисеты, украшенные гербом колледжа. В мое время мы верили в искусство ради искусства, и это воплотилось в том, что я задрапировал каминную полку мавританским ковром, повесил саржевые занавески ядовито-зеленого цвета и увешал стены автотипиями картин Перуджино, Ван Дейка и Гоббемы.

— Была у вас склонность к искусству, а? — заметила миссис Хадсон не без иронии.

— Да, изрядная, — пробормотал я.

Я не мог не почувствовать горечь, подумав о годах, прошедших с тех пор, как я жил в этой комнате, и обо всем, что было со мной за это время. Вот за этим столом я съедал обильный завтрак и скудный обед, читал медицинские книги и писал свой первый роман. Вот в этом кресле я впервые прочел Вордсворта и Стендаля, елизаветинских драматургов и русских романистов, Гиббона,

Босуэлла, Вольтера и Руссо. «Кто сиживал здесь после меня? — подумал я. — Студенты-медики, клерки, молодежь, пробивающая себе дорогу в Сити, и пожилые люди, вернувшиеся из колоний или неожиданно выброшенные в мир крахом старого дома?» Что-то в этой комнате было такое, от чего у меня, как сказала бы миссис Хадсон, мурашки по спине забегали. Все надежды, которые здесь рождались, все светлые видения будущего, страсти молодости, сожаления, разочарования, усталость, смирение — так много было перечувствовано здесь столь многими людьми, что этот обширный мир человеческих эмоций, казалось, придал комнате какую-то загадочную индивидуальность. Не знаю почему, но мне представилась некая женщина, которая стоит на распутье, оглядываясь назад и держа палец на губах, а другой рукой манит вперед. Эти смутные чувства передались и миссис Хадсон, потому что она усмехнулась и характерным жестом потерла свой длинный нос.

— Ну и занятные же люди, — сказала она. — Вспомнить только всех джентльменов, что тут у меня жили, — вы бы не поверили, если бы я вам о них кое-что рассказала. Один чуднее другого. Иногда лежу в кровати, думаю о них и смеюсь.

Конечно, совсем никуда не годился бы этот мир, если бы не над чем было посмеяться, но, Боже мой, жильцы — это уж чересчур!

XIII

Я прожил у миссис Хадсон года два, прежде чем снова повстречался с Дриффилдами. Жизнь я вел очень размеренную, весь день проводил в больнице, а около шести возвращался пешком на Винсент-сквер. У Ламбетского моста я покупал «Стар» и читал, пока мне не подавали обед. Потом я час или два занимался серьезным чтением, потому что был старательным, вдумчивым и трудолюбивым молодым человеком, а потом писал романы и пьесы, пока не приходило время ложиться спать. Не знаю, почему в тот день, в конце июня, рано освободившись в больнице, я решил пройтись по Воксхолл-Бридж-роуд. Я любил шумную суматоху этой улицы. Ее грязноватая жизнерадостность приятно возбуждала — возникало чувство, что вот-вот, в любую минуту, с вами может произойти какое-нибудь приключение. Я шагал, погруженный в раздумье, и вдруг услышал, как кто-то меня окликнул. Я остановился — и, к своему изумлению, увидел перед собой улыбающуюся миссис Дриффилд.

— Не узнаете? — вскричала она.

— Ну что вы, конечно, миссис Дриффилд!

И хотя я был уже взрослый, я почувствовал, что краснею, как будто мне шестнадцать лет. Я растерялся. С моими — увы! — вполне викторианскими представлениями о честности я был очень шокирован поведением Дриффилдов, сбежавших из Блэкстебла, не заплатив долгов. Это казалось мне весьма непорядочным. Я глубоко переживал тот стыд, который, по моему мнению, должны были испытывать они, и был поражен, что миссис Дриффилд способна разговаривать с человеком, который знает об этом позорном случае. Если бы я заметил ее приближение, я бы отвернулся, предполагая, что она захочет избежать унизительной встречи со мной; но она протянула мне руку с явной радостью.

— Как я рада видеть живую душу из Блэкстебла, — сказала она. — Вы же знаете, мы уезжали оттуда в такой спешке.

Она засмеялась, и я тоже; но ее смех был веселым и детски радостным, а мой, я это чувствовал, — несколько напряженным.

— Я слышала, там был большой шум, когда узнали, что мы смылись. Тед чуть не помер со смеху, когда ему об этом рассказывали. Что говорил ваш дядюшка?

Я быстро взял нужный тон. Мне не хотелось,

чтобы она приняла меня за человека, лишенного чувства юмора.

— Ну, вы же знаете, он так старомоден.

— Да, вот этим и плох Блэкстебл. Нужно было их расшевелить. — Она дружелюбно взглянула на меня. — А вы здорово выросли с тех пор, как я вас видела. И даже усы отрастили!

— Да, — ответил я, закрутив их, насколько позволяла длина. — Уже давным-давно.

— Как летит время, правда? Четыре года назад вы были совсем мальчик, а теперь — настоящий мужчина.

— Ну конечно, — ответил я с некоторым высокомерием. — Мне ведь почти двадцать один.

Я посмотрел на миссис Дриффилд. На ней были очень маленькая шляпка с перьями и светло-серое платье с пышными рукавами и длинным треном. На мой взгляд, выглядела она шикарно. Я всегда думал, что у нее очень милое лицо, но тут впервые заметил, что она просто красавица. Ее глаза были еще синее, чем мне помнилось, а кожа — как слоновая кость.

— Знаете, мы живем тут за углом, — сказала она.

— И я тоже.

— Мы живем на Лимпус-роуд. Мы тут почти с

самого отъезда из Блэкстебла.

— Ну а я живу на Винсент-сквер уже почти два года.

— Я знала, что вы в Лондоне. Мне сказал Джордж Кемп, и я часто думала, где же вы. Вы не проводите меня домой? Тед будет очень рад вас видеть.

— С удовольствием, — ответил я.

По дороге она рассказала, что Дриффилд теперь стал редактором литературного отдела одного еженедельника; его последняя книга прошла гораздо лучше всех остальных, и он надеялся получить изрядный аванс под следующую. Казалось, она знает почти все блэкстеблские новости, и я вспомнил, что в содействии их бегству подозревали Лорда Джорджа. Я догадался, что он время от времени им пишет. Я заметил, что встречные мужчины иногда заглядываются на миссис Дриффилд, и мне пришло в голову, что они, наверное, тоже считают ее красавицей. Я шел очень важный.

Лимпус-роуд, длинная, широкая, прямая улица, идет параллельно Воксхолл-Бридж-роуд. Дома на ней все одинаковые — оштукатуренные, выкрашенные в блеклые цвета, солидные, с внушительными портиками. Вероятно, когда-то они строились для людей с положением в

лондонском Сити, но улица или потеряла свою респектабельность, или же так и не привлекла нужных жильцов и теперь, какая-то потертая на вид, выглядит так, будто робко прячется от посторонних взглядов и в то же время втихомолку предается разгулу, — как человек, который видел лучшие времена и теперь любит слегка под хмельком разглагольствовать о том, какое высокое положение прежде занимал.

Дом, где жили Дриффилды, был выкрашен в тускло-красный цвет. Миссис Дриффилд ввела меня в узкий темный коридор, отворила дверь и сказала:

— Входите. Я скажу Теду, что вы здесь.

Она пошла дальше по коридору, а я вошел в гостиную. Дриффилды занимали полуподвальный и первый этажи дома, которые снимали у дамы, жившей наверху. Комната, куда я вошел, выглядела так, будто ее обставили всякой всячиной, купленной на распродажах. Тут были тяжелые бархатные занавеси с длинной бахромой, все в сборках и фестонах, и позолоченный гарнитур, обитый желтым шелком, с множеством пуговиц, а посередине комнаты — огромный пуф. В позолоченных шкафчиках со стеклянными дверцами стояло множество мелочей — фарфор, фигурки из

слоновой кости, деревянные резные украшения, индийская бронза; на стенах висели большие картины маслом, изображавшие шотландские долины, оленей и охотников.

Через минуту миссис Дриффилд привела мужа, и он радостно со мной поздоровался. На нем были поношенный альпаковый сюртук и серые брюки; бороду он сбрил, оставив только эспаньолку и усы. Я впервые заметил, как он мал ростом; но выглядел он достойнее, чем раньше. Что-то в нем напоминало иностранца — я подумал, что для писателя он выглядит очень солидно.

— Ну, что вы думаете о нашем новом пристанище? — спросил он. — Богато выглядит, правда? По-моему, это внушает доверие.

Он с довольным видом огляделся.

— А там, дальше, у Теда есть кабинет, где он может писать, а внизу у нас столовая, — сказала миссис Дриффилд. — Мисс Каул много лет была компаньонкой одной титулованной дамы, и когда та умерла, то оставила ей свою мебель. Видите, какое здесь все добротное, правда? Сразу видно, что это из дома джентльмена.

— Рози влюбилась в эту квартирку, как только ее увидела, — сказал Дриффилд.

— Да, и ты тоже, Тед.

— Мы так долго жили в стесненных обстоятельствах; для разнообразия приятно пожить в роскоши. Мадам Помпадур, и все такое.

Когда я уходил, меня радушно пригласили приходить еще, сказав, что они принимают каждую субботу после обеда и к ним заглядывают всякие люди, с которыми мне будет интересно встретиться.

XIV

Я пришел. Мне понравилось. Я опять пришел. Осенью, вернувшись в Лондон на занятия, я стал заходить сюда каждую субботу. Здесь я знакомился с миром литературы и искусства. Я держал в строгом секрете то, что дома сам много писал; мне было очень интересно встречаться с людьми, которые тоже пишут, и я слушал их разговоры как зачарованный. Всякие люди приходили сюда: в те времена редко кто ездил по выходным за город, над гольфом еще смеялись, и в субботу после обеда почти всем было нечего делать. Не думаю, чтобы к Дриффилдам ходили по-настоящему крупные фигуры; во всяком случае, из всех художников, писателей и музыкантов, которых я здесь встречал, не могу припомнить ни одного, чья репутация выдержала бы испытание временем; но общество собиралось образованное и живое. Здесь можно было встретить молодых актеров, мечтавших получить роль, и пожилых певцов, жалующихся на немузыкальность англичан; композиторов, которые исполняли свои произведения на маленьком пианино Дриффилдов, шепотом приговаривая, что по-настоящему это

звучит только на большом концертном рояле; поэтов, которые после больших уговоров соглашались прочесть одну только что написанную вещичку, и художников, которые сидели без заказов. Время от времени обществу придавала некоторый блеск какая-нибудь титулованная персона; правда, это бывало редко: в те дни аристократия еще не увлекалась богемной жизнью, и если какая-нибудь высокопоставленная особа и появлялась в обществе художников, то обычно потому, что из-за скандального развода или карточных осложнений жизнь в собственной среде становилась для нее (или для него) не совсем приятной. Теперь мы все это изменили. Одним из самых больших благодеяний, какие принесло с собой обязательное образование, стало широкое распространение занятий литературой среди высших кругов и дворянства. Когда-то Хорэс Уолпол составил «Каталог писателей королевской и благородной крови»; в наши дни такой труд оказался бы размером с энциклопедию. Титул, даже благоприобретенный, может прославить чуть ли не любого писателя, и можно смело утверждать, что нет лучшего пропуска в мир литературы, чем благородное происхождение.

Иногда мне даже приходило в голову, что

теперь, когда палата лордов неизбежно будет вскоре распущена, было бы неплохо законом закрепить литературные занятия за ее членами, их женами и детьми. Это будет щедрая компенсация пэрам со стороны британского народа за их отказ от наследственных привилегий. Она станет средством к жизни для тех (слишком многих), кого разорила приверженность к общественной деятельности, то есть к содержанию хористок, скаковых лошадей и к игре в железку, и приятным занятием для остальных, кто в ходе естественного отбора стал негодным ни на что иное, кроме управления Британской империей. Но наш век — век специализации, и если мой проект будет принят, то ясно, что к еще большей славе английской литературы послужит закрепление различных жанров за определенными кругами высшего общества. Поэтому я предложил бы, чтобы более скромными видами литературы занималась знать помельче, а бароны и виконты посвятили себя исключительно журналистике и драме. Художественная проза могла бы стать привилегией графов. Они уже доказали свои способности к этому нелегкому искусству, а число их столь велико, что им вполне по плечу удовлетворить спрос. Маркизам можно смело оставить

ту часть литературы, которая известна (я так и не знаю почему) под названием belles lettres[64]. Она, может быть, и не столь прибыльна с денежной точки зрения, но ей свойственна некоторая возвышенность, вполне соответствующая этому романтическому титулу.

Вершина литературы — поэзия. Это ее цель и завершение, это самое возвышенное занятие человеческого разума, это олицетворение прекрасного. Прозаик может лишь посторониться, когда мимо него идет поэт: рядом с ним лучшие из нас превращаются в ничто. Ясно, что писание стихов должно быть предоставлено герцогам, и их права хорошо бы защитить самыми суровыми законами: нельзя допускать, чтобы этим благороднейшим из искусств занимался кто бы то ни было, кроме благороднейших из людей. А так как и здесь должна одержать верх специализация, то я предвижу, что герцоги (как преемники Александра Македонского) разделят царство поэзии между собой, и при этом каждый ограничится тем аспектом, в котором он сильнее всего благодаря влиянию наследственности и естественным склонностям. Например, я вижу герцогов Ман-

[64] Примечания: 64
Беллетристика (*фр.*).

честерских, пишущих морально-дидактические поэмы; герцогов Вестминстерских, сочиняющих вдохновенные оды Долгу и Ответственности Империи; в то время как герцоги Девонширские, скорее всего, будут писать любовную лирику и элегии в духе Проперция, а герцоги Мальборо почти неизбежно в идиллических тонах воспоют такие темы, как семейное счастье, воинскую повинность и довольство своим скромным положением.

Но если вам покажется, что все это чересчур серьезно, и вы напомните мне, что муза не всегда ступает только величественной поступью, но иногда изящно и легко пританцовывает; если, вспомнив мудреца, сказавшего, что не важно, кто предписывает нации законы, а важно, кто пишет для нее песни, вы спросите меня (справедливо полагая, что это не подобает герцогам), кто же будет играть на тех струнах лиры, которых иногда жаждет разносторонняя и непостоянная душа человеческая, — то я отвечу (по-моему, это очевидно): герцогини! Я считаю, что прошли те дни, когда влюбленные пейзане Романьи пели своим возлюбленным строфы Торквато Тассо, а миссис Хэмфри Уорд напевала над кроваткой маленького Арнольда отрывки из «Эдипа в Колоне». Наш

век требует чего-то более современного. Поэтому я предлагаю, чтобы наиболее положительные герцогини-домоседки слагали нам гимны и колыбельные, а те, кто порезвее, кто склонен смешивать виноградную лозу с клубникой, должны писать тексты для музыкальных комедий, юмористические стишки для газет и стихотворные пожелания для рождественских открыток и хлопушек. Этим они сохранят в сердцах британской публики то место, которое до сих пор удерживали лишь благодаря своему высокому положению.

На этих субботних вечерах я, к своему большому удивлению, обнаружил, что Эдуард Дриффилд пользуется известностью. Он написал около двадцати книг и хотя получил за них всего лишь жалкие гроши, но приобрел довольно прочную репутацию. Его книгами восхищались лучшие ценители, а друзья, приходившие к нему в гости, единогласно утверждали, что его вот-вот ждет признание. Они ругали публику, неспособную заметить великого писателя, и поскольку для человека самый легкий способ возвыситься — это давать пинки ближнему, то они поносили всех романистов, чья слава в тот момент затмевала Дриффилда. Если бы я знал тогда о литературных кругах столько, сколько знаю сейчас, я по неред-

ким визитам миссис Бартон Траффорд должен был бы догадаться, что близится час, когда Эдуард Дриффилд ринется вперед, как бегун на длинной дистанции, который внезапно отрывается от кучки остальных спортсменов.

Признаюсь, что, когда меня впервые познакомили с этой дамой, ее имя для меня ничего не значило. Дриффилд сказал ей, что я его молодой деревенский сосед, студент-медик. Она удостоила меня медоточивой улыбки, пробормотала что-то про Тома Сойера и, взяв предложенный мной бутерброд, продолжала говорить с хозяином. Но я заметил, что ее прибытие произвело большое впечатление и что разговоры, до того шумные и веселые, поутихли. Спросив вполголоса, кто она такая, я убедился, что мое невежество поразительно: как мне сказали, она «создала» такого-то и такого-то. Через полчаса она встала, весьма благосклонно пожала руки тем, с кем была знакома, и с нежным изяществом выпорхнула из комнаты. Дриффилд проводил ее до двери и посадил в экипаж.

Миссис Бартон Траффорд тогда было лет пятьдесят. Она была небольшого роста, хрупкая, но с довольно крупными чертами лица, из-за которых ее голова казалась непомерно большой по срав-

нению с телом. Курчавые светлые волосы она причесывала, как Венера Милосская и, вероятно, в молодости была очень красива. Одета она была скромно, в черный шелк, а на шее носила бренчащие бусы из бисера и раковин. Говорили, что в молодости она неудачно вышла замуж, но теперь уже много лет живет в счастливом супружестве с Бартоном Траффордом, чиновником министерства внутренних дел и известным авторитетом по первобытному человеку. Она производила странное впечатление, как будто ее тело лишено костей; казалось, если ущипнуть ее за ногу (что сделать, разумеется, никогда мне не позволило бы уважение к ее полу и какое-то спокойное достоинство ее поведения), то пальцы сомкнутся. Здороваясь с ней, вы как будто брали в руку кусок рыбного филе. И даже ее лицо, несмотря на крупные черты, было какое-то бесформенное. Когда она сидела, можно было подумать, что у нее нет хребта, а вместо этого она, как дорогая подушка, набита лебяжьим пухом.

Вся она была какая-то мягкая: и голос, и улыбка, и смех; ее глаза, маленькие и светлые, отличались нежностью цветка; ее манеры были приятны, как летний дождь. Это необыкновенное и очаровательное свойство и делало ее такой

замечательной подругой. Именно этим она завоевала свою славу, которой теперь наслаждалась. Все знали о ее дружбе с великим романистом, чья смерть несколько лет назад так потрясла англоязычную публику. Каждый читал бесчисленные письма, которые он ей писал и которые ее уговорили опубликовать вскоре после его кончины. На каждой странице сквозило восхищение ее красотой и уважение к ее мнению; у него не хватало слов, чтобы отблагодарить ее за поддержку, за сочувствие, за такт, за вкус; и если кое-какие из его страстных выражений, по мнению отдельных лиц, могли вызвать у мистера Бартона Траффорда совершенно недвусмысленные чувства, то это только увеличивало интерес к книге. Но мистер Бартон Траффорд был выше вульгарных предрассудков (подобное несчастье — если это можно назвать несчастьем — величайшие исторические персонажи переносят с философским спокойствием) и, оставив свои исследования ориньякских кремней и неолитических топоров, согласился написать «Биографию» покойного романиста, где вполне определенно показал, какой существенной частью своего таланта тот был обязан благотворному влиянию его жены.

Но интерес к литературе, страсть к искусству

не могли покинуть миссис Бартон Траффорд лишь потому, что ее друг, для которого она так много сделала, стал при ее немалом содействии частью истории. Она была большая любительница чтения. От нее не ускользало почти ничто из заслуживающего внимания, и она быстро устраивала себе знакомство с каждым молодым писателем, подававшим надежды. Теперь, особенно после появления «Биографии», ее слава была такова, что она могла быть уверена: никто не может отвергнуть ее симпатии. Конечно же, ее талант к дружбе неизбежно должен был рано или поздно найти себе какое-нибудь применение. Когда что-то из прочитанного ей нравилось, мистер Бартон Траффорд, сам неплохой критик, посылал автору теплое письмо и приглашал его на обед, а после обеда, спеша в министерство внутренних дел, оставлял автора поболтать с миссис Бартон Траффорд. Такие приглашения получали многие. У каждого из них было что-то, но этого «чего-то» было недостаточно. Миссис Бартон Траффорд обладала чутьем, которому она доверяла; и это чутье велело ей повременить.

Она была настолько осторожна, что даже чуть не прохлопала Джаспера Гиббонса. Из истории мы знаем о писателях, которые прославились

за одну ночь, но в наши более рассудительные дни об этом что-то не слышно. Критики норовят подождать, пока не убедятся, куда подует ветер, а публику столько раз обводили вокруг пальца, что теперь она предпочитает не рисковать. Но как раз Джаспер Гиббонс совершил восхождение на вершину славы с необыкновенной быстротой. Теперь, когда он совершенно забыт, а критики, превозносившие его, рады были бы проглотить свои слова, если бы они не были запечатлены в подшивках бесчисленных газет, — трудно поверить, какую сенсацию произвел первый том его стихотворений. Самые важные газеты отвели рецензиям на него не меньше места, чем репортажу о боксерском матче; самые влиятельные критики, толпясь и толкаясь, спешили его приветствовать. Они уподобляли его Мильтону (за звучность его белого стиха), Китсу (за сочность его чувственных образов) и Шелли (за легкость фантазии); и, пользуясь им как палкой для побиения наскучивших идолов, они отвесили во имя его немало звучных шлепков по тощим ягодицам лорда Теннисона и несколько увесистых плюх по лысой макушке Роберта Браунинга. Публика пала, как стены Иерихона. Выпускалось издание за изданием; изящные томики Гиббонса можно

было увидеть в будуаре графини в Мэйфере, в гостиной священника от Уэльса до Шотландии и в салонах многих честных, но образованных торговцев Глазго, Эбердина и Белфаста. Когда стало известно, что сама королева Виктория приняла преподнесенный ей верноподданным издателем экземпляр книги в специальном переплете и в обмен подарила ему (издателю, не поэту) экземпляр «Страниц из шотландского дневника», восторгу нации не было предела.

Все это произошло как будто в мгновение ока. В Греции семь городов оспаривали честь быть родиной Гомера, и хотя место рождения Джаспера Гиббонса (Уолсолл) было хорошо известно, но семью семь критиков претендовали на честь открытия его таланта; видные ценители литературы, вот уже двадцать лет певшие друг другу панегирики в еженедельниках, затеяли из-за него такую ссору, что один даже перестал здороваться с другим, встречая его в «Атенеуме». Гиббонса поспешило признать и высшее общество. Его приглашали на обеды и чаепития вдовствующие герцогини, супруги членов кабинета и вдовы епископов. Говорят, что первым литератором, допущенным в английское общество на правах равного, был Гаррисон Эйнсуорт (и меня время

от времени удивляет, почему ни один предприимчивый издатель не воспользуется этим, чтобы выпустить полное собрание его сочинений); но Джаспер Гиббонс был, по-моему, первым поэтом, чье имя в списке приглашенных звучало так же заманчиво, как имя оперного солиста или чревовещателя.

В результате миссис Бартон Траффорд опоздала поднять целину — об этом не могло быть и речи. Ей пришлось вступить в открытую борьбу. Не знаю уж, к какой гениальной стратегии она была вынуждена прибегнуть, какие пришлось ей проявить чудеса такта, нежности, утонченной симпатии и скрытой лести: могу лишь теряться в догадках и восхищаться. Но она заполучила Джаспера Гиббонса, и очень скоро он уже повиновался каждому движению ее нежной ручки. Она была восхитительна. Она устраивала обеды, на которых он мог встретиться с нужными людьми; она давала приемы, где он читал свои стихи в присутствии первых знаменитостей Англии; она знакомила его с прославленными артистами, которые заказывали ему пьесы; она следила за тем, чтобы его произведения печатались только в достойных журналах; она договаривалась с издателями и устраивала для него такие кон-

тракты, которые ошеломили бы и министра; она заботилась о том, чтобы он принимал только те приглашения, которые она одобряла; она даже не поленилась развести его с женой, с которой он счастливо прожил десять лет, потому что поэт, по ее убеждению, должен быть свободен, а его талант не обременен семейными узами. И когда случилась катастрофа, миссис Бартон Траффорд могла бы, если бы пожелала, сказать, что сделала для него все возможное.

Но катастрофа пришла. Джаспер Гиббонс издал второй томик стихов. Он был ничуть не лучше и не хуже первого, он был очень похож на первый. К нему отнеслись уважительно, но не без оговорок; некоторые критики даже позволили себе кое-какие придирки. Книга не принесла ни успеха, ни денег. И к несчастью, Джаспер Гиббонс оказался склонен попивать. Он не привык иметь столько денег, не привык к такому обилию развлечений и увеселений, а может быть, ему недоставало его простой, скромной женушки. Раз-другой он появился на обеде у миссис Бартон Траффорд в таком состоянии, какое человек, не наделенный ее светскостью и простодушием, мог бы назвать «пьяным до бесчувствия». Она же кротко говорила гостям, что наш бард сегодня

не в ударе.

Третья его книга потерпела провал. Критики растерзали его на части, топтали ногами и, если можно процитировать здесь одну из любимых песенок Эдуарда Дриффилда, «швыряли по углам и валяли по столам». Они испытывали вполне понятную досаду от того, что приняли бойкого стихоплета за бессмертного поэта, и решили наказать его за свою ошибку. Потом Джаспера Гиббонса арестовали на Пиккадилли за появление в пьяном виде и нарушение общественного порядка, и мистеру Бартону Траффорду пришлось в полночь отправиться на Вайн-стрит, чтобы взять его на поруки.

При таком положении вещей миссис Бартон Траффорд вела себя великолепно. Она не роптала. Ни одно резкое слово не слетело с ее уст. Можно было бы простить, если бы она была немного обижена на человека, для которого столько сделала и который так ее подвел. Но она оставалась нежной, ласковой и чуткой. Она все понимала. Она бросила его, но не так, как бросают раскаленный кирпич или горячую картофелину. Это было сделано с бесконечной мягкостью, столь же тихо, как катились по ее щекам слезы, которые она, без сомнения, пролила, когда приняла решение

поступить столь противно своему характеру. Она бросила его с таким тактом, с таким благоразумием, что Джаспер Гиббонс, возможно, даже и не понял, что его бросили. Но в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Ничего плохого она про него не говорила, даже вообще не хотела о нем говорить, и, когда о нем заходил разговор, просто улыбалась чуть грустной улыбкой и вздыхала. Но ее улыбка была для него coup de grâce[65], а ее вздох — камнем на его могилу.

Миссис Бартон Траффорд слишком искренне любила литературу, чтобы позволить себе долго огорчаться из-за такой неудачи; и каким бы сильным ни было ее разочарование, она была слишком бескорыстна, чтобы те сокровища такта, симпатии и понимания, которыми ее наделило Небо, могли пропадать втуне. Она продолжала вращаться в литературных кругах, посещать чаепития, приемы и вечера, всегда очаровательная, нежная, внимательная, но при этом осторожная, бдительная и преисполненная решимости в следующий раз, если можно так грубо выразиться, поставить на победителя. Вот тогда-то она и встретила Эдуарда Дриффилда и составила

---

[65] Примечания: 65
Смертельный удар, наносимый умирающему из сострадания (*фр.*).

себе благоприятное мнение о его способностях. Правда, он был немолод, но тем меньше было шансов, что он, как Джаспер Гиббонс, не выдержит бремени славы. Она предложила ему свою дружбу. Он не мог не растрогаться, когда она со свойственной ей мягкостью сказала ему, что это просто безобразие, когда столь замечательные произведения остаются достоянием лишь узкого круга. Он был польщен. Каждому приятно услышать, что он гений. Она сказала ему, что Бартон Траффорд подумывает, не написать ли о нем серьезную статью для «Куортерли ревью». Она пригласила его на обед, чтобы он встретился с людьми, которые ему могут пригодиться. Она хотела, чтобы он познакомился с равными себе по уму. Время от времени она прогуливалась с ним по набережной, беседуя о поэтах прошлого, о любви и дружбе, и пила с ним чай в кафе-кондитерской. Когда миссис Бартон Траффорд появилась в субботу днем на Лимпус-роуд, она выглядела как царица пчелиного улья, готовящаяся в свой свадебный полет.

С миссис Дриффилд она вела себя безупречно, была любезна, но не снисходительна, всегда очень мило благодарила за разрешение зайти в гости и говорила комплименты. Расхваливая

ей Эдуарда Дриффилда и объясняя с оттенком зависти в голосе, какая честь — наслаждаться обществом столь великого человека, она делала это исключительно по доброте сердечной, а не потому, что прекрасно знала: ничто сильнее не раздражает жену литератора, чем лестные отзывы о нем, исходящие от другой женщины. Разговаривая с миссис Дриффилд, она выбирала темы попроще, которые могли быть для нее интересны: говорила о хозяйстве, о слугах, о здоровье Эдуарда, о том, какая ему нужна забота. Миссис Бартон Траффорд вела себя с ней в точности так, как следовало женщине из очень хорошей шотландской семьи (каковой она и была) вести себя с бывшей буфетчицей, на которой угораздило жениться видного писателя: она была сердечна, игрива и старалась, чтобы миссис Дриффилд чувствовала себя с ней свободно.

И все-таки Рози почему-то терпеть ее не могла; миссис Бартон Траффорд была, насколько я знаю, единственным человеком, которого она не любила. В те годы даже буфетчицы не злоупотребляли «чертями» и «проклятьями», которые сейчас составляют неотъемлемую часть словаря самых благовоспитанных молодых дам, и я никогда не слыхал от Рози ничего такого, что могло бы

шокировать мою тетю Софи. Когда кто-нибудь рассказывал при ней сомнительный анекдот, она краснела до ушей. Но миссис Бартон Трафорд она называла не иначе как «эта проклятая старая кошка». Ближайшим друзьям Рози стоило величайших трудов уговорить ее вести себя с ней вежливо. «Не дури, Рози, — говорили они. Все звали ее «Рози», и скоро я тоже, хоть и очень робко, начал так ее называть. — Она может сделать ему карьеру, если захочет. Он должен к ней подлизываться. Она все может».

Хотя большинство субботних гостей появлялось у Дриффилдов раз в две-три недели, небольшая компания, в которую входил и я, бывала у них почти еженедельно. Мы составляли костяк собиравшегося здесь общества, приходили рано и оставались допоздна. И самыми верными из всех были Квентин Форд, Гарри Ретфорд и Лайонел Хильер.

Квентин Форд был коренастый человек с прекрасной головой того типа, который впоследствии одно время вошел в моду в кино: прямой нос, красивые глаза, коротко стриженные седые волосы и черные усы; будь он на четыре-пять дюймов выше, он выглядел бы классическим злодеем из мелодрамы. Мы знали, что у него «очень

хорошие связи» и он богат; единственное его занятие составляло поощрение искусств. Он посещал все премьеры и все закрытые вернисажи, отличался требовательностью знатока и питал к произведениям своих современников вежливое, но огульное презрение. Как я обнаружил, к Дриффилдам он ходил не потому, что Эдуард гений, а потому, что Рози — красавица.

Теперь, вспоминая об этом, я не перестаю удивляться, что не видел столь очевидных вещей, пока меня не тыкали в них носом. Когда я впервые с ней познакомился, мне и в голову не пришло подумать о том, хороша она собой или дурна, а когда пять лет спустя, снова увидев ее, я впервые заметил, что она очень красива, я почувствовал некоторый интерес, но особенно об этом не задумывался. Я воспринял это как обычный порядок вещей — как солнце, садящееся над Северным морем, или как башни собора в Теркенбери. Я был поражен, когда услышал разговоры о красоте Рози, и, когда Эдуарду говорили, как она хороша, а он на мгновение взглядывал на нее, я следовал его примеру. Лайонел Хильер был художник и просил Рози позировать ему. Когда он рассказывал о картине, которую собирался писать с Рози, и объяснял мне, что он в ней видит, я слушал

его с глупым видом, озадаченный и смущенный. Гарри Ретфорд знал одного из модных фотографов того времени и, договорившись о каких-то особых условиях, повел Рози сниматься. Спустя неделю-другую мы получили отпечатки и долго их разглядывали. Я еще никогда не видел Рози в вечернем платье. Оно было из белого атласа, с длинным треном, пышными рукавами и низким вырезом; причесана она была тщательнее обычного и совсем не походила на ту крепкую молодую женщину в соломенной шляпке и крахмальной блузке, которую я впервые встретил на Джой-лейн. Но Лайонел Хильер нетерпеливо отшвырнул фотографии.

— Дрянь, — сказал он. — Разве может быть Рози на фотографиях похожа на себя? В ней самое главное — краски. — Он повернулся к ней. — Рози, вы знаете, что ваши краски — это чудо из чудес?

Она молча взглянула на него, но ее полные красные губы сложились в ту самую детскую, озорную улыбку.

— Если я смогу передать хотя бы намек на это, я прославлюсь на всю жизнь, — сказал он. — Все жены богатых биржевиков приползут ко мне на коленях и будут умолять нарисовать их так же.

Вскоре я узнал, что Рози ему позирует. Я еще

никогда не был в мастерской художника и считал ее вратами в мир романтики. Но когда я спросил, нельзя ли мне зайти взглянуть, как продвигается картина, Хильер сказал, что пока не хочет никому ее показывать. Это был тридцатипятилетний человек с цветущей внешностью, похожий на портрет Ван Дейка, если бы изысканность в нем заменить добродушием. Он был чуть выше среднего роста, строен, носил пышную гриву черных волос, длинные усы и эспаньолку. Ходил он в испанских плащах и широкополых сомбреро. Он долго жил в Париже и с восхищением рассказывал о художниках, про которых мы и не слыхивали: о Моне, Спелее, Ренуаре; а о сэре Фредерике Лейтоне, мистере Алма-Тадема и мистере Дж. Ф. Уоттсе, которыми в глубине души восхищались мы, отзывался с презрением. Я часто подумываю, что с ним сталось потом. Несколько лет он провел в Лондоне, пытаясь пробить себе дорогу, но, по-видимому, потерпел неудачу и уехал во Флоренцию. Мне говорили, что у него там художественная школа, но, когда много лет спустя я туда попал и начал о нем расспрашивать, я так и не нашел никого, кто бы о нем слыхал. По-моему, у него был кое-какой талант, потому что я до сих пор явственно помню написанный им порт-

рет Рози Дриффилд. Интересно, что случилось с этим портретом? Погиб ли он или затерялся, прислоненный лицом к стене, на чердаке лавки старьевщика в Челси? Мне хотелось бы верить, что он нашел себе место хотя бы в какой-нибудь провинциальной художественной галерее.

Когда я наконец получил разрешение зайти посмотреть на портрет, я совсем осрамился. Мастерская Хильера находилась на Фулхэм-роуд, позади ряда лавок, и в нее вел темный, вонючий коридор. Дело было в воскресенье днем, в марте, погода стояла прекрасная, и я шел туда пешком с Винсент-сквер по пустынным улицам. Хильер жил в мастерской; там стоял большой диван, где он спал, а сзади была крохотная комната, где он готовил завтрак, мыл кисти и, я полагаю, мылся сам.

Когда я вошел, Рози была все еще в том же платье, в котором позировала, и они пили чай. Хильер открыл мне дверь и, не выпуская моей руки, подвел меня к большому полотну.

— Вот она, — сказал он.

Он написал Рози во весь рост, чуть меньше натуральной величины, в белом шелковом вечернем платье. Картина была совсем не похожа на привычные мне академические портреты. Я

не знал, что сказать, и ляпнул первое, что пришло мне в голову:

— А когда она будет готова?

— Она готова, — ответил он.

Я покраснел до ушей, чувствуя себя полным идиотом. Тогда я еще не приноровился со знанием дела судить о работах современных художников, как, льщу себя мыслью, умею сейчас. Если бы это было здесь уместно, я бы мог написать отличное маленькое руководство, которое позволило бы любителю искусства, к полному удовлетворению художников, высказываться о самых разнообразных проявлениях творческого инстинкта. Например, произнесенное от всего сердца «Вот это да!» — показывает, что вы признаете мощь безжалостного реалиста; «Это так искренне!» — скрывает ваше замешательство при виде раскрашенной фотографии вдовы олдермена; тихий свист свидетельствует о вашем восхищении работой постимпрессиониста; «Очень, очень занятно» — выражает ваши чувства по поводу кубиста; «О!» — означает, что вы потрясены, а «А!» — что у вас захватило дух.

— Очень похоже. — Это было все, на что я был способен тогда.

— Вы слишком привыкли к бонбоньеркам, —

сказал Хильер.

— По-моему, это замечательно, — быстро возразил я, защищаясь. — Вы пошлете ее в Академию?

— Что вы! Я мог бы еще послать ее в Гровнор.

Я перевел взгляд с картины на Рози, потом снова на картину.

— Встаньте в позу, Рози, — сказал Хильер, — пусть он на вас посмотрит.

Она поднялась на подставку. Я глядел то на нее, то на картину. В сердце у меня что-то странно шевельнулось, будто кто-то мягко погрузил в него острый нож, но это вовсе не было неприятно: я ощутил легкую, но какую-то сладкую боль, а потом у меня вдруг ослабели ноги. Не могу понять, помню ли я сейчас живую Рози или Рози с той картины, потому что, когда я думаю о ней, она представляется мне не в блузке и шляпке, как я ее увидел впервые, и не в каком-нибудь другом костюме из тех, что я на ней потом видел, а в белом шелке, который написал Хильер, с черным бархатным бантом в волосах и в той позе, какую он ей велел принять.

Я никогда не знал точно, сколько Рози лет; по моим примерным подсчетам получается, что тогда ей было тридцать пять. Но выглядела она куда моложе. На ее лице не было ни единой морщины,

и кожа оставалась гладкой, как у ребенка. Не думаю, чтобы ее черты лица отличались особой правильностью. Во всяком случае, в них не было аристократической утонченности знатных леди, чьи фотографии в то время продавались во всех лавках; они были скорее грубоваты. Короткий, чуть толстоватый нос, небольшие глаза, крупный рот; но глаза ее были васильковой голубизны, и они улыбались вместе с губами, очень яркими и чувственными, и я никогда не видел улыбки более веселой, дружеской и милой. Держалась Рози от природы немного угрюмо и замкнуто, но, когда она улыбалась, эта замкнутость вдруг становилась бесконечно привлекательной. В лице ее не играли краски; оно было только чуть смугловатое, а под глазами лежала легкая синева. Светло-золотистые волосы она причесывала по тогдашней моде, вверх ото лба с замысловатой челкой.

— Чертовски трудно ее писать, — сказал Хильер, глядя то на нее, то на картину. — Видите ли, она вся золотая, и лицо и волосы, а общий колорит все равно вовсе не золотистый, а серебристый.

Я понимал, что он хочет сказать. Она вся светилась, но не ярким солнечным, а скорее бледным

лунным сиянием, и если все же сравнивать ее с солнцем, то с солнцем в белом утреннем тумане. Хильер поместил ее в середине полотна, и она стояла, опустив руки с повернутыми к зрителю ладонями, слегка откинув голову, что особенно подчеркивало жемчужную прелесть ее груди и шеи. Она стояла, как актриса, вышедшая кланяться и смущенная неожиданными аплодисментами, но в ней было что-то столь девственное, столь неуловимо весеннее, что такое сравнение теряло всякий смысл. Это бесхитростное существо никогда не знало ни грима, ни света рампы. Она стояла, как дева, созревшая для любви, простодушно предлагающая себя возлюбленному, выполняя предназначение Природы. Поколение, к которому принадлежала Рози, не боялось некоторой пышности линий; она была стройна, но груди ее были полными, а бедра — хорошо обрисованными. Когда позже картину увидела миссис Бартон Траффорд, она сказала, что Рози напоминает ей жертвенную телку.

XV

Вечерами Эдуард Дриффилд работал, а Рози делать было нечего, и она с удовольствием ходила куда-нибудь то с одним, то с другим из своих друзей. Она любила роскошь. Квентин Форд, располагавший средствами, заезжал за ней на извозчике и возил ее обедать к Кеттнеру или в «Савой», для чего она наряжалась в самые шикарные свои платья. Гарри Ретфорд, хоть у него никогда не было и шиллинга, тоже вел себя так, как будто был при деньгах, и тоже возил ее в экипаже и угощал обедами у Романо или в каком-нибудь из ресторанчиков Сохо, входивших в моду. Он был актер, и неплохой, но очень привередливый, и часто сидел без работы. Ему было лет тридцать. Это был человек с некрасивым, но симпатичным лицом и отрывистой манерой говорить, благодаря которой все его слова казались остроумными. Рози нравилось, как легко он относится к жизни, как лихо носит костюмы, сшитые у лучшего портного Лондона и неоплаченные, как безрассудно может поставить на какую-нибудь лошадь пять фунтов, которых у него нет, и как щедро швыряет деньги направо и

налево, если выиграет. Он был весел, обаятелен, тщеславен, хвастлив и не слишком щепетилен. Рози рассказывала мне, что однажды он заложил часы, чтобы пригласить ее на обед, а потом занял пару фунтов у возглавлявшего труппу премьера, который предоставил им место в театре, и пригласил его же с ними поужинать.

Но она с таким же удовольствием ходила и в мастерскую Лайонела Хильера, где они вместе жарили себе отбивные, а потом проводили вечер за разговорами. И только очень редко она обедала со мной. Обычно я заходил за ней, уже пообедав на Винсент-сквер, а она обедала с Дриффилдом. Потом мы садились на автобус и ехали в мюзик-холл. Мы ходили то в один, то в другой, то в «Павильон», то в «Тиволи», иногда — в «Метрополитен», если хотели посмотреть какой-нибудь определенный номер, но больше всего любили «Кентербери». Места там были недорогие, а программа хорошая. Мы заказывали пару пива, я курил трубку, а Рози восхищенно разглядывала огромный, темный, прокуренный зал, битком набитый обитателями южного Лондона.

— Мне нравится «Кентербери», — говорила она. — Там так уютно.

Я обнаружил, что она — большая любительни-

ца чтения. Ей нравилась история, но не всякая, а только определенного рода — биографии королев и королевских любовниц, и она с детским удивлением рассказывала мне необыкновенные вещи, о которых читала. Она была прекрасно знакома со всеми шестью супругами короля Генриха VIII, знала всю подноготную миссис Фицгерберт и леди Гамильтон. Ее неутолимая любознательность простиралась от Лукреции Борджиа до жен Филиппа Испанского и включала длинный список любовниц французских королей. Она знала всех, и про каждую из них, от Агнес Сорель до мадам Дюбарри, знала все.

— Люблю читать про настоящую жизнь, — говорила она. — А романы мне не нравятся.

Любила она и посплетничать про Блэкстебл, и мне казалось, что и ходить-то со мной ей нравится потому, что я сам оттуда. Она, похоже, знала все, что там происходит.

— Я езжу туда раз в две-три недели повидаться с матерью, — как-то сказала она. — Всего на один вечер.

— В Блэкстебл? — удивился я.

— Нет, не в Блэкстебл, — улыбнулась она. — Туда меня пока что не тянет. В Хэвершем. Мать приезжает туда повидаться со мной. Я останав-

ливаюсь в гостинице, где раньше работала.

Она никогда не отличалась разговорчивостью. Часто, погожими вечерами, когда мы решали пройтись из мюзик-холла пешком, она всю дорогу молчала. Но молчание ее было задушевным и уютным. Оно не исключало вас из круга занимавших ее мыслей; наоборот, вы становились частью всеохватывающего довольства жизнью.

Однажды я говорил о ней с Лайонелом Хильером и сказал, что не могу понять, как она превратилась из свежей молодой женщины крестьянского вида, которую я знал в Блэкстебле, в это очаровательное существо, чью красоту теперь признавали практически все. (Были люди, которые соглашались с этим не без оговорок. «Конечно, у нее прекрасная фигура, — говорили они, — но я не очень люблю такие лица». А другие говорили: «О да, очень красива; хорошо бы еще, если бы она была более утонченной».)

— Могу объяснить это вам в двух словах, — сказал Лайонел Хильер. — Когда вы впервые ее встретили, она была всего лишь свежей, миловидной девицей. Красавицей сделал ее я.

Не помню, что я ответил, — знаю только, что какую-то непристойность.

— Ну вот! Это говорит только о том, что вы ни-

чего не понимаете в красоте. Никто не обращал особого внимания на Рози, пока я не увидел ее в образе серебристого солнца. Пока я ее не написал, никто не догадывался, что у нее красивейшие в мире волосы.

— А ее шея, грудь, осанка, телосложение — все это тоже вы сделали?

— Ну да, черт возьми, именно я!

Когда Хильер говорил о Рози при ней, она слушала с улыбчивой серьезностью, и на ее бледных щеках появлялся слабый румянец. По-моему, сначала, когда он заговаривал с ней о ее красоте, она думала, что он просто ее разыгрывает; но и потом, когда она убедилась, что это не так, и когда он написал ее в серебристо-золотых тонах, особенного впечатления на нее это не произвело. Ей было немного забавно, она, конечно, испытывала удовольствие и отчасти удивление, но голову ей это не вскружило. Она считала его немного сумасшедшим. Я нередко задумывался над тем, было ли между ними что-нибудь. Я не мог забыть всего, что слышал о Рози в Блэкстебле, и того, что видел в нашем саду; я подумывал и о Квентине Форде, и о Гарри Ретфорде. Я следил за тем, как они с ней себя ведут. Она обращалась с ними не то чтобы фамильярно — скорее по-приятельски:

совершенно открыто, при всех, договаривалась о встречах и поглядывала на них с той озорной детской улыбкой, которая, как я теперь обнаружил, таила в себе такую необъяснимую прелесть. Иногда, сидя с ней рядом в мюзик-холле, я заглядывал ей в лицо; не думаю, чтобы я был влюблен в нее, мне просто было приятно спокойно сидеть с ней и глядеть на бледное золото ее волос и кожи. Конечно, Лайонел Хильер был прав: самое удивительное было то, что это золото каким-то странным образом напоминало о лунном свете. В ней чувствовалась безмятежность летнего вечера, когда свет медленно меркнет на безоблачном небе. Ее безбрежное спокойствие было не монотонным, а таким же полным жизни, как море у берегов Кента, гладкое и сверкающее под августовским солнцем. Она напоминала мне сонатину какого-нибудь старинного итальянского композитора, задумчивую, но изысканно-игривую, проникнутую журчащим весельем, в котором легким, трепещущим эхом все еще звучит недавний вздох. Иногда, ощутив на себе мой взгляд, она поворачивалась и несколько мгновений смотрела мне прямо в лицо. При этом она не говорила ни слова. О чем она думала, я не знал.

Помню, однажды я зашел за Рози на Лимпус-

роуд, и горничная, сказав, что хозяйка еще не готова, попросила меня подождать в гостиной. Рози вошла вся в черном бархате, в модной шляпке, увенчанной страусовыми перьями (мы собирались в «Павильон», и она по этому случаю приоделась). Выглядела она такой красивой, что у меня перехватило дыхание. Я был потрясен. Платья, которые тогда носили, придавали женщине достоинство, и было что-то удивительно привлекательное в том, как ее девственная красота (иногда она была похожа на замечательную статую Психеи в неаполитанском музее) оттенялась величавостью наряда. Ее отличала одна особенность, которая, по-моему, встречается очень редко, — кожа у нее под глазами, слегка голубоватая, всегда была влажной. Временами я не верил, что это естественная влага, и как-то спросил ее, не втирает ли она под глазами вазелин: это выглядело именно так. Она улыбнулась, вынула платок и протянула мне.

— Вытрите и посмотрите, — сказала она.

Однажды вечером, когда мы возвращались из «Кентербери» и я, прощаясь с ней у дверей, протянул ей руку, она негромко засмеялась и прильнула ко мне.

— Дурачок, — сказала она.

И поцеловала меня в губы. Этот поцелуй не был ни поспешным, ни страстным. Ее губы, ее полные яркие губы были прижаты к моим как раз столько времени, чтобы я мог ощутить их форму, их тепло, их мягкость. Потом, по-прежнему не спеша, она отстранилась, молча открыла дверь, скользнула в дом и исчезла. Я так удивился, что не мог произнести ни слова. Я просто, как дурак, принял ее поцелуй, не почувствовав никакого возбуждения. Потом я повернулся и пошел домой, а в ушах у меня продолжал звучать ее смешок. Он был не презрительным и не обидным, а откровенным и дружеским, как будто она засмеялась потому, что я ей нравлюсь.

XVI

После этого я целую неделю никуда не ходил с Рози. Она ездила в Хэвершем провести вечер с матерью, потом была занята в Лондоне. А потом она попросила меня пойти с ней в Хеймаркетский театр. Там шла очень модная пьеса и билетов не было, поэтому мы решили пойти на ненумерованные места в партер. Мы закусили бифштексом и стаканом пива в кафе «Монико», а потом стали ждать вместе с толпой. В те времена правильных очередей не бывало, и, когда открывали двери, начиналась страшная толкотня и давка. Изрядно вспотевшие, запыхавшиеся и несколько помятые, мы наконец пробились и заняли места.

Обратно мы шли пешком через Сент-Джеймс-парк. Ночь была так хороша, что мы присели на скамейку. При свете звезд лицо и волосы Рози как будто слегка светились. Вся она излучала дружелюбие, одновременно искреннее и нежное (я не очень удачно это выразил, но я не знаю, как передать это ощущение). Она была как серебристый ночной цветок, благоухающий только под лучами луны. Я обнял ее за талию, она повернулась ко мне, и на этот раз поцеловал ее я. Она

не двинулась; ее мягкие алые губы подались с тихой, страстной покорностью, как вода озера принимает лунный свет.

Не знаю, сколько времени мы там сидели. Вдруг она сказала:

— Я ужасно проголодалась.

— Я тоже, — засмеялся я.

— Не подкрепиться ли нам где-нибудь жареной рыбой?

— Пожалуй.

В те времена я хорошо знал Вестминстер — тогда еще не модный квартал парламентариев и прочих важных персон, а захолустный, бедный уголок. Когда мы, выйдя из парка, перешли Виктория-стрит, я повел Рози в лавку на Хорсферри-роуд, где торговали жареной рыбой. Было уже поздно, и единственным человеком, которого мы встретили, был кучер экипажа, ожидавший кого-то на улице. Мы заказали рыбу с картошкой и бутылку пива. Зашла какая-то бедная женщина, которая купила на два пенса рыбы и унесла ее, завернув в клочок бумаги. Мы ели с аппетитом.

Наш обратный путь лежал через Винсент-сквер, и, когда мы проходили мимо моего дома, я сказал ей:

— Может быть, зайдете на минуту? Вы еще не

видели, как я живу.

— А ваша хозяйка? Я не хочу, чтобы у вас были неприятности.

— О, она спит как убитая.

— Ну, зайдем ненадолго.

Я тихо открыл ключом дверь и провел Рози за руку по темному коридору. Войдя в свою гостиную, я зажег газ. Рози сняла шляпку и крепко почесала в голове. Потом она поискала глазами зеркало, но я старался следовать самому изысканному вкусу и в свое время снял зеркало, висевшее над камином, так что в этой комнате никто не мог посмотреть, как он выглядит.

— Зайдите в спальню, — сказал я. — Там есть зеркало.

Я отворил дверь и зажег свечу. Рози вошла вслед за мной, и я высоко поднял свечу, чтобы ей было видно. Я смотрел в зеркало, как она поправляет волосы. Она вынула две или три шпильки, сунула их в рот и, взяв мою головную щетку, взбила вверх волосы с затылка. Потом она скрутила их, пришлепнула и опять воткнула шпильки. При этом она поймала в зеркале мой взгляд и улыбнулась. Воткнув последнюю шпильку, она повернулась ко мне, не говоря ни слова и спокойно глядя на меня все с той же едва

заметной дружеской улыбкой в голубых глазах. Я поставил свечу. Комната была очень маленькая, и туалетный столик стоял рядом с кроватью. Она подняла руку и нежно погладила меня по щеке.

Сейчас я очень жалею, что начал писать эту книгу от первого лица. Это очень хорошо, когда есть возможность выставить самого себя в благожелательном или трогательном свете, и нет ничего более эффектного, чем скромно-героический или грустно-юмористический тон, который широко применяется в этом грамматическом варианте. Очень приятно писать о себе, предвидя слезу, которая блеснет на глазах у читателя, и нежную улыбку на его губах; но это не доставляет вовсе никакого удовольствия, если приходится выставлять себя попросту последним дураком.

Некоторое время назад я прочел в «Ивнинг стандард» статью мистера Ивлина Во, где он, между прочим, заметил, что писать романы от первого лица — прием недостойный. Очень жаль, что он не объяснил почему, а просто бросил это замечание походя — хотите — верьте, хотите — нет, наподобие Евклида с его знаменитым наблюдением о параллельных прямых. Я очень заинтересовался этим и тотчас попросил Элроя Кира (он читает все, в том числе даже книги,

к которым пишет предисловия) порекомендовать мне какие-нибудь труды по литературному мастерству. По его совету я прочел «Искусство беллетриста» мистера Перси Лаббока, откуда узнал, что единственный способ писать романы — писать, как Генри Джеймс; потом я прочел «Некоторые аспекты романа» мистера Э. М. Форстера, откуда узнал, что писать романы нужно только так, как писал Э. М. Форстер; потом я прочел «Композицию романа» мистера Эдвина Мюйра, откуда вообще ничего не узнал. Но ни в одной из этих книг я не нашел ничего о том, что мне было нужно. Тем не менее я могу указать одну причину, по которой некоторые романисты — такие, как Дефо, Стерн, Теккерей, Диккенс, Эмилия Бронте и Пруст, хорошо известные в свое время, но теперь, несомненно, позабытые, — прибегали к методу, который осудил мистер Ивлин Во. Становясь старше, мы все в большей степени осознаем людскую сложность, непоследовательность и неразумие, и это служит единственным оправданием для писателя, который в пожилом или преклонном возрасте вместо того, чтобы размышлять о вещах посерьезнее, интересуется мелкими побуждениями воображаемых персонажей. Ибо если для постижения рода человеческого следует изучать

человека, то явно разумнее взять в качестве предмета для изучения непротиворечивые, осязаемые и содержательные вымышленные образы, чем иррациональные и смутные фигуры из реальной жизни. Иногда романист, как всеведущий Бог, готов рассказать вам все о своих персонажах; но иногда бывает и иначе, и тогда он рассказывает вам не все, что можно о них знать, а лишь то немногое, что знает сам; и поскольку, становясь старше, мы все в меньшей степени ощущаем себя богоподобными, то не следует удивляться, что с возрастом романист все более утрачивает склонность описывать что бы то ни было сверх того, что он познал из собственного опыта. А для этой ограниченной цели первое лицо единственного числа очень удобно.

Рози подняла руку и нежно погладила меня по щеке. Не знаю, почему я сделал то, что сделал вслед за этим; обычно я представлял себе свое поведение в подобном случае совершенно иным. Рыдание перехватило мне горло; не знаю, от того ли, что я был робок и одинок (не телом, потому что я целый день проводил в больнице с разнообразными людьми, но душой), или от того, что слишком велико было мое желание, но я заплакал. Мне было ужасно стыдно; я пытался

взять себя в руки, но не мог — слезы хлынули у меня из глаз и потекли по щекам. Рози заметила их и тихо ахнула:

— Милый, что с тобой? В чем дело? Не надо, ну не надо!

Она обняла меня за шею и тоже заплакала, целуя мои губы, глаза и мокрые щеки. Она расстегнула корсаж, положила мою голову себе на грудь, гладила мое лицо и укачивала меня, как малого ребенка, а я целовал ее груди и беломраморную шею. Потом она сбросила корсаж и юбку, и я обнял ее за талию, затянутую в корсет; потом она расстегнула его, на мгновение задержав дыхание, и встала передо мной в одной сорочке. Когда я положил руки ей на бедра, я почувствовал складки на коже от корсета.

— Задуй свечу, — прошептала она.

Она разбудила меня, когда рассвет заглянул за занавески и вырвал из темноты уходящей ночи кровать и шкаф. Я проснулся от того, что она поцеловала меня в губы, щекоча мне лицо рассыпавшимися волосами.

— Мне надо вставать, — сказала она. — Не хочу, чтобы меня видела твоя хозяйка.

— Еще есть время.

Она склонилась надо мной, и ее груди тяжело

легли мне на грудь. Вскоре она встала. Я зажег свечу. Она повернулась к зеркалу, поправила волосы, а потом оглядела свое нагое тело. У нее от природы была тонкая талия, и, несмотря на хорошо развитую фигуру, она отличалась стройностью. Ее крепкие, высокие груди выступали вперед, как будто изваянные из мрамора. В свете свечи, уже боровшемся с крепнущим днем, все ее тело, как будто предназначенное для любви, казалось серебристо-золотым, и единственным цветным пятном были ало-розовые крепкие соски.

Мы молча оделись. Корсет она надевать не стала, а просто сложила, и я завернул его в газету. На цыпочках мы прошли по коридору, и, когда я отворил дверь и мы шагнули наружу, рассвет бросился нам навстречу, как кошка по ступенькам. Площадь была пуста; солнце уже освещало окна, выходящие на восток. Я чувствовал себя таким же юным, как этот начинавшийся день. Держась за руки, мы дошли до угла Лимпус-роуд.

— Теперь я пойду одна, — сказала она. — На всякий случай.

Я поцеловал ее и долго глядел ей вслед. Она шла медленно, держась прямо, твердой поступью деревенской женщины, которая привыкла, что под

ногами у нее прочная земля. Я не мог возвратиться в постель и бродил по улицам, пока не вышел на набережную. Раннее утро ярко окрашивало реку. Под Воксхоллским мостом плыла вниз по течению коричневая баржа, а у берега в маленькой лодке гребли двое мужчин. Я почувствовал, что голоден.

XVII

Это продолжалось больше года. Каждый раз, когда мы с Рози куда-нибудь ходили, по пути домой она заглядывала ко мне — иногда на часок, иногда до тех пор, пока рассвет не предупреждал нас, что служанки скоро примутся за мытье крылечек. Я помню теплые солнечные утра, когда усталый лондонский воздух наполнялся желанной свежестью; помню звуки наших шагов, казавшиеся такими громкими на пустынных улицах; помню, как мы молча, но весело спешили под зонтиком, когда зима принесла с собой холода и дожди. Полисмены, стоявшие на посту, поглядывали на нас, когда мы проходили мимо, — иногда подозрительно, а иногда с понимающим блеском в глазах. Время от времени нам попадался бездомный бродяга, прикорнувший где-нибудь под колоннадой. Рози дружески сжимала мою руку, когда я клал серебряную монету ему на колени или в костлявую ладонь (главным образом напоказ, чтобы произвести впечатление на Рози, потому что денег у меня было немного). Рози сделала меня счастливым. Я очень к ней привязался. С ней было легко и уютно. Ее безмятежность передава-

лась всем вокруг, так что каждый мог разделить с ней наслаждение переживаемой минутой.

До того как я стал ее любовником, я часто думал, была ли она любовницей других — Форда, Гарри Ретфорда и Хильера, а после этого как-то ее спросил. Она поцеловала меня.

— Не говори глупости. Они мне нравятся, ты это знаешь. Мне приятно с ними ходить, вот и все.

Я хотел еще спросить ее, была ли она любовницей Джорджа Кемпа, но так и не решился. Правда, я ни разу не видел, чтобы она сердилась, но подозревал, что она вполне на это способна, и смутно чувствовал, что именно этот вопрос может вывести ее из себя. Я не хотел, чтобы ей представился случай сказать мне что-нибудь обидное, чего я не смог бы ей простить. Я был молод, мне только что исполнился двадцать один год, Квентин Форд и все остальные казались мне стариками, и мне представлялось вполне естественным, что для Рози они — просто приятели. Я гордился тем, что я ее любовник. Глядя, как она во время субботних чаепитий смеется и болтает со всеми и каждым, я прямо светился самодовольством. Я думал о тех ночах, которые мы проводили вместе, и мне становилось смешно при мысли, что никто не догадывается о моей великой тайне. Но время

от времени мне казалось, что Лайонел Хильер посматривает на меня лукаво, как будто подсмеиваясь, и я с беспокойством спрашивал себя, не сказала ли ему Рози, что у нас роман. «Не выдает ли нас мое поведение?» — думал я. Как-то я сказал Рози, что боюсь, как бы Хильер чего-нибудь не заподозрил, но она поглядела на меня своими голубыми глазами, которые, казалось, постоянно были готовы улыбнуться.

— Не беспокойся, — ответила она. — У него всегда всякие гадости на уме.

С Квентином Фордом я никогда не был близок. Он считал меня нудным и неинтересным молодым человеком (каким я, конечно, и был) и хотя держался всегда вежливо, но особого внимания на меня не обращал. Я решил, что мне, скорее всего, только кажется, будто он теперь стал со мной еще более холоден, чем раньше. А Гарри Ретфорд однажды, к моему удивлению, пригласил меня пообедать с ним и пойти в театр. Я сказал об этом Рози.

— О, конечно, сходи. Ты прекрасно проведешь время. Гарри — мой старый приятель, с ним всегда весело.

Я с ним пообедал. Он был очень любезен, и на меня произвели впечатление его рассказы об

актерах и актрисах. Он отличался саркастическим юмором и много острил по адресу Квентина Форда, которого недолюбливал; я пытался перевести разговор на Рози, но о ней он говорить не стал. Он был большой весельчак. Подмигивая, он смешными намеками дал мне понять, каким успехом пользуется у девушек. Я не мог не задуматься о том, не потому ли он угощает меня этим обедом, что знает о моих отношениях с Рози и поэтому дружески ко мне расположен. Но если знает он, то знают, конечно, и все остальные. В душе я, разумеется, относился к ним несколько покровительственно, хотя надеюсь, что по мне этого не видно было.

А потом, зимой, в конце января, на Лимпус-роуд появилось новое лицо. Это был голландский еврей по имени Джек Кейпер, торговец бриллиантами из Амстердама, приехавший в Лондон на несколько недель по делам. Не знаю, как он познакомился с Дриффилдами и привело ли его к ним преклонение перед литературным талантом хозяина, но, во всяком случае, не оно заставило его прийти вновь. Это был высокий, плотный, темноволосый человек с лысой головой и большим крючковатым носом. Ему было лет пятьдесят, но выглядел он сильным, чувствен-

ным, решительным и веселым. Он не скрывал своего восхищения Рози. Очевидно, он был богат, потому что каждый день посылал ей цветы; она корила его за такое расточительство, но это ей льстило. Я его терпеть не мог. Он был развязен и криклив. Я ненавидел его бесконечные разговоры на правильном, но каком-то ненастоящем английском языке, ненавидел экстравагантные комплименты, которые он отпускал Рози, ненавидел добродушие, которое он проявлял к ее друзьям. Я обнаружил, что Квентину Форду Кейпер так же не нравился, как и мне, и мы с ним почти подружились.

— К счастью, он скоро уедет. — Квентин Форд поджимал губы и поднимал черные брови; со своими белыми волосами и длинным, худым лицом он выглядел невероятно аристократично. — Женщины все одинаковы: они обожают нахалов.

— Он так ужасно вульгарен, — жаловался я.

— Этим и берет, — говорил Квентин Форд.

Следующие две-три недели я Рози почти не видел. Джек Кейпер вечер за вечером приглашал ее с собой то в один, то в другой ресторанчик, то на один, то на другой спектакль. Я был встревожен и обижен.

— Он же никого в Лондоне не знает, — говорила

Рози, стараясь меня утешить. — Он хочет, пока здесь, повидать все, что можно. Было бы неудобно, если бы ему пришлось ходить все время одному. Он пробудет здесь еще всего две недели.

Я не видел в таком самопожертвовании с ее стороны никакого смысла.

— Но неужели ты не видишь, что он отвратителен? — спросил я.

— Нет. По-моему, с ним весело. Он меня смешит.

— А ты знаешь, что он от тебя без ума?

— Ну что ж, ему это доставляет удовольствие, а меня от этого не убудет.

— Он старый, толстый и противный. У меня мурашки по спине бегают, когда я его вижу.

— Не так уж он плох, по-моему, — ответила Рози.

— Как ты можешь иметь с ним дело? — возразил я. — Он же такой хам!

Рози почесала в голове — была у нее такая скверная привычка.

— Чудно, что иностранцы совсем не такие, как англичане, — сказала она.

Я был рад, когда Джек Кейпер отправился к себе в Амстердам. Рози обещала на следующий день пообедать со мной, и на радостях мы договори-

лись пообедать в Сохо. Она заехала за мной на извозчике, и мы отправились.

— Ну как, уехал твой ужасный старик? — спросил я.

— Да, — засмеялась она.

Я обнял ее за талию (где-то я уже замечал, насколько для этого приятного и почти необходимого момента человеческих отношений извозчичий экипаж удобнее нынешнего такси, и здесь приходится воздержаться от дальнейшей разработки этой темы). Я обнял ее за талию и поцеловал. Ее губы были как весенние цветы.

Мы приехали в ресторан. Я повесил на крючок свою шляпу и пальто (очень длинное, в талию, с бархатным воротником и бархатными обшлагами — все по моде) и предложил Рози взять ее накидку.

— Я останусь в ней, — сказала она.

— Тебе будет страшно жарко. А когда выйдем на улицу, ты простудишься.

— Не важно… Я в первый раз ее надела. Красивая, правда? И смотри: такая же муфта.

Я взглянул на накидку. Она была меховая. Я тогда не знал, что это соболь.

— Выглядит очень роскошно. Откуда она у тебя?

— Джек Кейпер подарил. Мы вчера пошли и купили ее, перед самым его отъездом. — Она погладила гладкий мех, счастливая, как ребенок с новой игрушкой. — Как ты думаешь, сколько она стоит?

— Не представляю.

— Двести шестьдесят фунтов. Знаешь, у меня в жизни еще не было такой дорогой вещи. Я говорила ему, что это слишком, но он слушать не хотел и заставил меня ее взять.

Она радостно засмеялась. Глаза ее блестели. Но у меня сжались губы, а по спине пробежал холодок.

— А Дриффилду не покажется странным, что Кейпер подарил тебе такую дорогую меховую накидку? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал естественно.

Рози ответила озорным взглядом:

— Ты же знаешь Теда — он ничего никогда не замечает. Если он что-нибудь спросит, я скажу, что дала за нее двадцать фунтов в ломбарде. Он ни о чем не догадается. — Рози потерлась лицом о воротник. — Она такая мягкая. И всякому видно, что стоила больших денег.

Я пытался есть и, чтобы скрыть охватившую мое сердце горечь, всячески старался поддержать

разговор. Рози не очень меня слушала. Она думала только о своей новой накидке, и каждую минуту взгляд ее возвращался к муфте, которую она все-таки взяла с собой. В нежности, с которой она посматривала на муфту, было что-то ленивое, чувственное и самодовольное. Я злился на нее, она казалась мне глупой и вульгарной. Я не мог удержаться, чтобы не съязвить:

— Ты — как кошка, которая полакомилась птичкой.

Она только хихикнула:

— Я так себя и чувствую.

Двести шестьдесят фунтов были для меня огромной суммой. Я даже не знал, что накидка может столько стоить. Я жил на четырнадцать фунтов в месяц, и жил вовсе неплохо; а на случай, если читатель не силен в арифметике, добавлю, что это означает сто шестьдесят восемь фунтов в год. Я не верил, чтобы кто-нибудь мог сделать такой дорогой подарок просто из дружбы; что это могло означать, кроме того, что Джек Кейпер спал с Рози каждую ночь, все время, пока был в Лондоне, а перед отъездом расплатился с ней? Как могла она на это согласиться? Неужели она не понимает, как это для нее унизительно? Неужели не видит, как вульгарно с его стороны подарить

ей такую дорогую вещь? Очевидно, она этого не видела, потому что сказала мне:

— Очень мило с его стороны, правда? Но евреи все щедрые.

— Вероятно, он мог себе это позволить, — сказал я.

— О да, у него куча денег. Он сказал, что хочет мне перед отъездом что-нибудь подарить, и спросил, чего бы мне хотелось. Ладно, говорю, неплохо было бы иметь накидку и к ней муфту. Но я никак не думала, что он купит такую. Когда мы пришли в магазин, я попросила показать что-нибудь из каракуля, но он сказал: «Нет, соболя, и самого лучшего». И когда увидел эту, просто заставил меня ее взять.

Я представил себе ее белое тело с такой молочной кожей в объятьях этого старого, толстого, грубого человека и его толстые, оттопыренные губы на ее губах. И тут я понял, что все подозрения, которым я отказывался верить, были правдой. Я понял, что, когда она обедала с Квентином Фордом, и с Гарри Ретфордом, и с Лайонелом Хильером, она спала с ними, точно так же, как спала и со мной. Я не мог произнести ни слова: я знал, что стоит мне раскрыть рот, как я скажу что-нибудь оскорбительное. По-моему, я был не

столько охвачен ревностью, сколько подавлен. Я понял, что она провела меня, как последнего дурака. Я напрягал все силы, чтобы сдержать горькие насмешки, готовые слететь с губ.

Мы пошли в театр. Я не слушал актеров. Я только чувствовал на своей руке прикосновение гладкого соболиного меха и видел, как ее пальцы непрерывно поглаживают муфту. С мыслью об остальных я мог примириться, но Джек Кейпер меня потряс. Как она могла? Ужасно быть бедным. Были бы у меня деньги, я бы сказал ей — отошли обратно этому типу его гнусные меха, я куплю другие, гораздо лучше! Наконец она заметила мое молчание.

— Ты сегодня что-то очень тихий.

— Разве?

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Я чувствую себя прекрасно.

Она искоса поглядела на меня. Я отвел взгляд, но знал, что ее глаза улыбаются той самой озорной и в то же время детской улыбкой, которую я так хорошо знал. Больше она ничего не сказала. Когда спектакль кончился, шел дождь, и мы взяли извозчика. Я дал кучеру ее адрес на Лимпус-роуд. Она молчала, пока мы не доехали до Виктория-стрит, потом спросила:

— Разве ты не хочешь, чтобы я зашла к тебе?

— Что ж, если угодно.

Она приоткрыла окошечко и сказала кучеру мой адрес. Потом взяла меня за руку и не отпускала ее, но я остался холоден. С чувством уязвленного достоинства я глядел прямо в окно. Когда мы приехали на Винсент-сквер, я помог ей выйти и впустил ее в дом, не говоря ни слова. Я снял шляпу и пальто, она швырнула на диван накидку и муфту.

— Почему ты дуешься? — спросила она, подходя ко мне.

— Я не дуюсь, — отвечал я, глядя в сторону.

Она обеими руками схватила мое лицо:

— Ну почему ты такой глупый? Стоит ли злиться из-за того, что Джек Кейпер подарил мне меховую накидку? Ведь ты же не можешь такую купить, верно?

— Конечно, нет.

— И Тед не может. Не отказываться же мне от меховой накидки, которая стоит двести шестьдесят фунтов! Я всю жизнь о такой мечтала. А для Джека это ничего не стоит.

— Не думаешь же ты, что я поверю, будто он сделал это просто по дружбе?

— А почему бы и нет? Во всяком случае, он

уехал в Амстердам, и кто знает, когда он приедет снова?

— Да он и не единственный.

Я смотрел на Рози с гневом, обидой, возмущением, а она улыбалась мне — как жаль, что я не умею описать милую доброту ее чудесной улыбки! Голос ее звучал удивительно мягко.

— Милый, ну зачем тебе думать о каких-то других? Разве тебе это мешает? Разве тебе со мной плохо? Разве ты со мной не счастлив?

— Очень.

— Ну и хорошо. Глупо злиться и ревновать. Почему не радоваться тому, что у тебя есть? Я всегда говорю — наслаждайся жизнью, пока можешь; через сотню лет мы все будем в могиле, и тогда уж ничего не будет. А пока можно, надо проводить время с удовольствием.

Она обняла меня за шею и прижалась губами к моим губам. Я забыл свой гнев — я мог думать только о ее прелести, о ее всепоглощающей доброте.

— Придется уж тебе принимать меня такой, какая я есть, — прошептала она.

— Придется, — ответил я.

XVIII

За все это время я очень мало виделся с Дрифилдом. Большую часть дня он занимался своими редакторскими делами, а по вечерам писал. Конечно, субботние вечера он проводил с нами, дружелюбно болтая и забавляя нас своими ироническими замечаниями. Казалось, он всегда был рад меня видеть и разговаривать со мной на всякие общие темы, хотя и не подолгу, потому что больше внимания, естественно, уделял гостям постарше и поважнее. И все-таки у меня было ощущение, что между ним и нами растет какое-то отчуждение; он уже не был тем веселым, чуть вульгарным собеседником, которого я знал в Блэкстебле. Может быть, дело было просто в моей обострившейся чувствительности, которая и позволила мне ощутить невидимый барьер между ним и теми, с кем он болтал и шутил. Похоже было, что он живет какой-то воображаемой жизнью, рядом с которой повседневность кажется чуть призрачной. Время от времени его приглашали говорить речи на публичных обедах; он вступил в литературный клуб, познакомился с множеством людей за пределами того узкого

кружка, с которым его связывала литературная работа, и все чаще получал приглашения на обеды и чаепития от дам, стремившихся собирать вокруг себя известных писателей. Рози тоже приглашали, но она ходила в гости редко, говоря, что не любит приемов, и потом, ведь не она же им нужна — им нужен только Тед. Я думаю, в таких случаях она робела и чувствовала себя не в своей тарелке. Может быть, хозяйки не раз давали ей понять, как им неприятно, что приходится принимать и ее, а уж пригласив ее приличия ради, они ее игнорировали, потому что их раздражала необходимость обходиться с ней вежливо.

Как раз тогда Эдуард Дриффилд напечатал «Чашу жизни». Разбирать его произведения — не мое дело, к тому же за последнее время о них написано столько, что этого вполне хватит для любого обычного читателя. Но я позволю себе сказать, что «Чаша жизни» хоть и не самая знаменитая и не самая популярная из его книг, но, на мой взгляд, самая интересная. В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко — от нее сводит скулы, но в то же время в ней

чувствуется какой-то едва заметный и очень приятный горьковато-сладкий привкус. Из всех книг Дриффилда это единственная, которую я был бы рад написать сам. Каждому, кто ее читал, надолго запомнится страшная, душераздирающая, но описанная без всякой слюнявости и ложной чувствительности сцена смерти ребенка и следующий за ней странный эпизод.

Именно эта часть книги и вызвала внезапный шквал, обрушившийся на голову бедного Дриффилда. Первые несколько дней после выхода книги казалось, что все пойдет так же, как и с прежними его романами: что она будет удостоена обстоятельных рецензий, в целом похвальных, хотя и не без оговорок, и будет раскупаться понемногу, но в общем неплохо. Рози рассказывала мне, что он надеялся заработать фунтов триста, и поговаривала о том, как бы на лето снять дачу у реки. Первые два или три отзыва были ни к чему не обязывающими; а потом одна из утренних газет разразилась целым столбцом резких нападок. Книга была объявлена намеренно оскорбительной и непристойной; попало и выпустившим ее издателям. Газета рисовала ужасные картины того разлагающего влияния, которое возымеет книга на английскую молодежь, и называла

ее вопиющим оскорблением женственности. Рецензент возмущался тем, что книга может попасть в руки юношей и невинных девушек. Другие газеты последовали примеру первой. Те, что поглупее, требовали запретить книгу, и кое-кто с серьезным видом задавал вопрос, не следует ли тут вмешаться прокурору. Осуждение было единодушным; если время от времени какой-нибудь отважный писатель, привычный к более реалистической континентальной литературе, и утверждал, что Эдуард Дриффилд не написал ничего лучше этой книги, то на него не обращали внимания, приписывая его искреннее мнение низменному желанию угодить галерке. Библиотеки прекратили выдачу книги, а хозяева книжных киосков на железнодорожных станциях отказывались ее брать.

Все это, естественно, было Эдуарду Дриффилду очень неприятно, но он держался с философским спокойствием и только пожимал плечами.

— Они говорят, что это неправда, — улыбался он. — Пусть катятся к черту — там все истинная правда.

Немалую поддержку в то трудное время он черпал в верности своих друзей. Восхищаться «Чашей жизни» стало признаком эстетической

проницательности; возмущаться ею — значило сознаться в своем филистерстве. Миссис Бартон Траффорд без колебаний объявила книгу шедевром, и, хотя для появления статьи Бартона в «Куортерли» момент был сочтен неподходящим, ее вера в будущее Эдуарда Дриффилда осталась незыблемой. Сейчас странно (и поучительно) читать эту книгу, вызвавшую такую сенсацию: в ней нет ни одного слова, способного заставить покраснеть даже самого невинного читателя, ни одного эпизода, который мог бы хоть чуточку смутить человека, привыкшего к нынешним романам.

XIX

Месяцев через шесть шум, поднятый вокруг «Чаши жизни», пошел на убыль, и Дриффилд начал писать роман, позднее опубликованный под названием «По плодам их». Я в то время учился на четвертом курсе и работал в перевязочной. Однажды на дежурстве я вышел в вестибюль больницы, где должен был подождать хирурга, чтобы идти с ним на обход. Я взглянул на стойку для писем, потому что иногда люди, не знавшие моего домашнего адреса, писали мне в больницу. С большим удивлением я обнаружил телеграмму на свое имя. В ней говорилось:

«Пожалуйста, непременно зайдите ко мне сегодня в пять часов. Это важно. Изабел Траффорд».

Зачем я ей понадобился? За последние два года я видал ее, может быть, раз десять, но она никогда не обращала на меня внимания, и у нее я ни разу не был. Я знал, какой большой спрос в это время дня на мужчин; может быть, хозяйка в последнюю минуту обнаружила, что среди гостей их окажется меньше, чем женщин, и решила, что студент-медик все же лучше, чем ничего? Но, судя по тексту телеграммы, речь шла не о приеме.

Хирург, которому я ассистировал, был нуден и болтлив. Я освободился только в шестом часу, и мне понадобилось добрых двадцать минут, чтобы добраться до Челси. Миссис Бартон Траффорд занимала квартиру в большом доме на набережной. Было уже почти шесть, когда я позвонил у ее дверей и спросил, дома ли она. Но когда меня провели в гостиную и я начал объяснять, почему опоздал, она перебила меня:

— Мы так и думали, что вы задержались. Это пустяки.

Ее муж был тут же.

— Наверное, он не откажется от чашки чаю, — сказал он.

— По-моему, для чая уже поздно, не правда ли? — Она нежно взглянула на меня своими мягкими, прекрасными, полными доброты глазами. — Ведь вы не хотите чаю?

Я был голоден и хотел пить, потому что мой обед состоял из чашки кофе и булочки с маслом, но я об этом умолчал и от чая отказался.

— Вы знакомы с Олгудом Ньютоном? — спросила миссис Бартон Траффорд, сделав движение в сторону человека, который, когда я вошел, сидел в большом кресле, а теперь встал. — Я думаю, вы встречали его у Эдуарда.

Я его встречал. Он приходил не часто, но его имя было мне знакомо, и я его помнил. Я всегда очень волновался в его присутствии и, кажется, ни разу с ним не разговаривал. Хотя сейчас он совершенно забыт, но в те дни он был самым известным в Англии критиком. Это был крупный, толстый блондин с мясистым бледным лицом, светло-голубыми глазами и седеющими волосами. Галстук он обычно носил тоже светло-голубой, под цвет глаз. Он очень дружелюбно обращался с авторами, которых встречал у Дриффилдов, говорил им приятные и лестные слова, но, когда они уходили, отпускал по их адресу очень смешные шутки. Он разговаривал тихим, ровным голосом, умело подбирая слова; никто не мог с большим ехидством рассказать про своего приятеля злую сплетню.

Олгуд Ньютон обменялся со мной рукопожатием, а миссис Бартон Траффорд, стараясь со своей всегдашней заботливостью, чтобы я чувствовал себя свободно, взяла меня за руку и усадила на диван рядом с собой. Чай еще стоял на столе, и она, взяв сандвич с джемом, изящно откусила кусочек.

— Вы бывали у Дриффилдов в последнее время? — спросила она, как будто занимая меня разговором.

— Был, в прошлую субботу.

— А с тех пор вы никого из них не видели?

— Нет.

Миссис Бартон Траффорд взглянула на Олгуда Ньютона, потом на мужа, потом снова на Ньютона, как будто молча призывая их на помощь.

— Обиняками мы ничего не добьемся, Изабел, — сказал Ньютон своим масленым отчетливым голосом, и в глазах у него едва заметно блеснуло ехидство.

Миссис Бартон Траффорд повернулась ко мне:

— Значит, вы не знаете, что миссис Дриффилд сбежала от мужа?

— Что?!

Я был ошарашен и не мог поверить своим ушам.

— Может быть, вы лучше изложите ему все факты, Олгуд? — предложила миссис Траффорд.

Критик откинулся назад в своем кресле, сложил руки перед собой, соединив кончики пальцев, и со смаком заговорил:

— Вчера вечером я должен был встретиться с Эдуардом Дриффилдом по поводу одной статьи, которую пишу для него, и после обеда, поскольку погода была хорошая, я решил пройтись до его дома пешком. Он ждал меня; кроме того, я знал,

что он никогда никуда не ходит по вечерам, если не считать особенно важных случаев — скажем, банкета у лорд-мэра или обеда в Академии. И представьте себе мое удивление, нет, мое полное и абсолютное изумление, когда я, приблизившись, увидел, как открывается дверь его дома и появляется Эдуард Дриффилд собственной персоной! Вы, конечно, знаете, что Иммануил Кант ежедневно выходил на прогулку в определенное время с такой точностью, что жители Кенигсберга привыкли проверять по этому событию свои часы, и, когда однажды он вышел из дома на час раньше обычного, они пришли в ужас, поняв, что случилось нечто страшное. Они не ошиблись. Иммануил Кант только что получил сообщение о падении Бастилии.

Олгуд Ньютон на мгновение остановился, чтобы насладиться произведенным впечатлением. Миссис Бартон Траффорд удостоила его понимающей улыбки.

— Правда, когда я увидел, как Эдуард спешит мне навстречу, у меня не возникло предчувствия какой-нибудь столь же потрясающей мировой катастрофы, но я тут же понял, что произошло какое-то несчастье. При нем не было ни трости, ни перчаток. Он был одет в свою рабочую куртку

— почтенное одеяние из черной альпаки, и широкополую шляпу. В лице у него я заметил что-то дикое, а в поведении — что-то безумное. Зная превратности супружеской жизни, я спросил себя, не семейный ли разлад заставил его сломя голову выбежать из дома, или же он просто спешит к почтовому ящику, чтобы отправить письмо. Он бежал, как Гектор в погоне за благороднейшими из ахейцев. Меня он, казалось, не заметил, и у меня блеснуло подозрение, что он сделал это намеренно. Я остановил его. «Эдуард», — сказал я. Он вздрогнул. Готов поклясться, что в первое мгновение он меня не узнал. «Какие мстительные фурии гонят вас с такой поспешностью по темным закоулкам Пимлико?» — спросил я. «Ах, это вы», — сказал он. «Куда вы идете?» — спросил я. «Никуда», — ответил он.

Я понял, что при таком темпе Олгуд Ньютон никогда не кончит свой рассказ и миссис Хадсон будет сердиться на меня за получасовое опоздание к обеду.

— Я сообщил ему, по какому делу направляюсь к нему, и предложил ему вернуться домой, где мы могли бы более спокойно обсудить вопрос, который меня волновал. «Не могу я идти домой, мне не сидится на месте, — сказал он. — Давайте

пройдемся. Мы можем поговорить по дороге». Согласившись, я повернул назад. Но он шел слишком быстро, и я был вынужден просить его умерить шаги. Даже доктор Джонсон не смог бы поддерживать разговор, несясь по Флит-стрит со скоростью экспресса. Эдуард выглядел так странно и вел себя так возбужденно, что я счел разумным повести его по менее людным улицам. Я начал говорить о своей статье. Предмет, который меня занимал, оказался значительно обширнее, чем выглядел с первого взгляда, и я пребывал в сомнении, смогу ли я вообще отдать ему должное на страницах еженедельника. Я обстоятельно и беспристрастно изложил дело и спросил его мнение. «Рози ушла от меня», — ответил он. В первое мгновение я не понял, о чем он говорит, но тут же мне пришло в голову, что он имеет в виду ту свежую и не лишенную привлекательности особу, из рук которой я иногда принимал чашку чаю. По его тону я предположил, что он ждет от меня скорее соболезнования, чем поздравления.

Олгуд Ньютон снова сделал паузу, и его голубые глаза блеснули.

— Вы великолепны, Олгуд! — сказала миссис Бартон Траффорд.

— Неповторимы, — сказал ее муж.

— Поняв, что в данном случае от меня требуется сочувствие, я начал: «Мой дорогой друг!» Он прервал меня. «Я только что получил письмо, — сказал он. — Она сбежала с Лордом Джорджем Кемпом».

У меня захватило дух, но я промолчал. Миссис Траффорд бросила на меня быстрый взгляд.

— «Кто такой Лорд Джордж Кемп?» — «Один человек из Блэкстебла», — ответил он. Я не имел времени на размышления и решил быть откровенным. «Ну и скатертью дорога», — сказал я. «Олгуд!» — вскричал он. Я остановился и положил ему руку на плечо. «Вы должны знать, что она изменяла вам со всеми вашими друзьями. Она вела себя просто скандально. Дорогой Эдуард, давайте посмотрим фактам в глаза: ваша жена была не кто иная, как самая обыкновенная потаскуха». Он стряхнул с плеча мою руку и издал нечто вроде рычания, как орангутанг из лесов Борнео, у которого силой отняли кокосовый орех. И прежде чем я успел остановить его, он вырвался и побежал прочь. Я был так потрясен, что не мог ничего сделать, а только стоял и слушал, как вдали затихают его вопли и поспешные шаги.

— Вы не должны были его отпускать, — сказала миссис Бартон Траффорд. — В этом состоянии он

может броситься в Темзу.

— Эта мысль приходила мне в голову, но я заметил, что он побежал не в сторону реки, а скрылся в убогих переулках той части города, где мы находились. Кроме того, я подумал, что история литературы не знает случая, чтобы писатель совершил самоубийство, не закончив своего произведения. Как бы велико ни было его горе, он не захочет оставить потомкам незавершенный опус.

То, что я услышал, поразило меня и привело в ужас; тревожило меня и то, что я не мог понять, зачем миссис Траффорд послала за мной. Она слишком мало меня знала, чтобы полагать, что эта история может представить для меня особый интерес; не стала бы она и трудиться только ради того, чтобы поскорее сообщить мне такую новость.

— Бедный Эдуард, — сказала она. — Конечно, никто не может отрицать, что в конечном счете все получилось к лучшему, но я боюсь, не принял бы он это слишком близко к сердцу. К счастью, он не совершил никаких опрометчивых поступков. — Она повернулась ко мне. — Как только мистер Ньютон рассказал нам, что произошло, я отправилась на Лимпус-роуд. Эдуарда не было,

но горничная сказала, что он только что ушел; значит, он побывал дома после того, как убежал от Олгуда. Вы, наверное, удивляетесь, зачем я пригласила вас к себе.

Я молча ждал, что она скажет дальше.

— Вы впервые познакомились с Дриффилдами в Блэкстебле, верно? Вы можете рассказать нам, что за человек этот Лорд Джордж Кемп. Эдуард сказал, что он из Блэкстебла.

— Он средних лет, у него жена и двое детей. Мои ровесники.

— Но я не могу понять, кто он такой. Я не нашла его в справочнике Дебретта.

Я чуть не рассмеялся.

— О, на самом деле он не лорд. Он местный торговец углем. В Блэкстебле его зовут Лорд Джордж потому, что он очень важный. Это просто шутка.

— Причуды буколического юмора нередко с трудом доступны непосвященным, — заметил Олгуд Ньютон.

— Мы все должны помочь дорогому Эдуарду, чем можем, — сказала миссис Бартон Траффорд. Ее глаза задумчиво остановились на мне. — Если Кемп сбежал с Рози Дриффилд, он, вероятно, ушел от своей жены.

— Вероятно, — ответил я.

— Вы не можете оказать одну услугу?

— Конечно, если это в моих силах.

— Не съездите ли вы в Блэкстебл и не выясните ли, что на самом деле произошло? Мне кажется, нам надо было бы связаться с его женой.

Я никогда не любил совать нос в чужие дела.

— Не знаю, смогу ли я это сделать, — отвечал я.

— Разве вы не можете с ней встретиться?

— Нет.

Если миссис Бартон Траффорд сочла мой ответ резким, она этого не показала и только слегка улыбнулась.

— В конце концов, это можно отложить. Самое срочное сейчас — узнать все про Кемпа. Сегодня вечером я попытаюсь увидеться с Эдуардом. Я не могу и подумать о том, чтобы он оставался в этом ужасном доме один. Мы с Бартоном решили привезти его сюда. У нас есть свободная комната, и я устрою так, чтобы он мог здесь работать. Олгуд, вы согласны, что это для него было бы самое лучшее?

— Абсолютно.

— Я не вижу, почему бы ему не остаться здесь на неопределенное время, и уж во всяком случае на несколько недель, а на лето он может уехать вместе с нами. Мы собираемся в Бретань. Я уве-

рена, что ему там понравится. Это будет для него полная перемена обстановки.

— Вопрос, который нас интересует сейчас, — сказал Бартон Траффорд, устремив на меня свой взгляд, почти столь же добрый, как и у его жены, — состоит в том, поедет ли этот молодой костоправ в Блэкстебл, чтобы выяснить все, что сможет. Мы должны знать, что произошло. Это самое главное.

Бартон Траффорд искупал свой интерес к археологии добродушием и шутливой, даже жаргонной манерой выражаться.

— Он не может отказаться, — сказала его супруга, бросив на меня нежный, умоляющий взгляд. — Вы ведь не откажетесь? Это так важно, и только вы можете нам помочь.

Она, конечно, не подозревала, что мне так же, как и ей, не терпится узнать, что случилось; ей и в голову не могло прийти, какая горькая, ревнивая боль пронзила мое сердце.

— Я не могу оставить больницу раньше субботы, — сказал я.

— Это годится. Очень мило с вашей стороны. Все друзья Эдуарда будут вам благодарны. Когда вы вернетесь?

— Я должен быть в Лондоне в понедельник

рано утром.

— Тогда приходите вечером ко мне на чашку чаю. Я буду ждать вас с нетерпением. Слава Богу, это улажено. Теперь я должна попытаться разыскать Эдуарда.

Я догадался, что мне пора уходить. Олгуд Ньютон тоже распрощался и вместе со мной спустился вниз.

— Сегодня в нашей Изабел было что-то от Екатерины Арагонской. Это ей необыкновенно идет, — прошептал он, когда дверь за нами закрылась. — Ей представился блестящий случай, и я думаю, что мы можем быть уверены — она его не упустит. Очаровательная женщина, золотое сердце. Vénus toute entière à sa proie attachée[66].

Я не понял, что он имел в виду; то, что я уже рассказал читателям про миссис Бартон Траффорд, я узнал много позже. Но я сообразил, что он сказал о ней что-то довольно злое и, вероятно, смешное, так что я усмехнулся.

— Полагаю, ваша молодость располагает вас к пользованию тем, что наш добрый Дизраэли неудачно назвал лондонской гондолой?

— Я поеду на автобусе, — ответил я.

---

[66] Примечания: 66

Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче (Ж. Расин, «Федра»).

— Да? Если бы вы хотели поехать на извозчике, то я собирался попросить вас подвезти меня до дому, но раз вы намерены воспользоваться этим скромным средством передвижения, которое я по своей старомодности все еще предпочитаю называть омнибусом, то я все же взгромозжу свое неуклюжее тело в экипаж.

Он помахал извозчику и протянул мне два мягких пальца.

— Я зайду в понедельник — узнать результаты вашей утонченно-щекотливой миссии, как назвал бы это старина Генри.

XX

Но прошло много лет, прежде чем я снова увиделся с Олгудом Ньютоном. Приехав в Блэкстебл, я нашел там письмо от миссис Бартон Траффорд (которая позаботилась записать мой адрес) с просьбой — по причинам, которые она объяснит при встрече, не приходить к ней домой, а встретиться с ней в шесть часов в зале ожидания первого класса на вокзале Виктория. Поэтому, как только я в понедельник смог освободиться из больницы, я направился туда и после недолгого ожидания увидел ее. Она приближалась ко мне легкими быстрыми шажками.

— Ну, можете ли вы мне что-нибудь рассказать? Давайте найдем тихий уголок и присядем.

Мы отыскали себе место.

— Я должна объяснить, почему пригласила вас сюда, — сказала она. — У меня живет Эдуард. Сначала он не хотел, я его едва уговорила. Но он нервничает, болен и раздражителен. Мне не хотелось бы, чтобы он вас видел, и я решила не рисковать.

Я вкратце рассказал миссис Траффорд то, что узнал; она внимательно слушала, время от вре-

мени кивая головой. Но я при всем желании не сумел бы дать ей почувствовать то смятение, какое застал в Блэкстебле. Город был вне себя от возбуждения. Много лет здесь не случалось ничего столь захватывающего, и никто больше ни о чем и говорить не мог. Шалтай-Болтай упал со стены! Лорд Джордж Кемп сбежал! С неделю назад он объявил, что собирается в Лондон по делу, а два дня спустя против него было возбуждено дело о банкротстве. Оказалось, что его строительная деятельность была неудачной, его попытки превратить Блэкстебл в модный морской курорт не встретили поддержки, и ему пришлось добывать деньги всеми доступными способами. По городку ходили всевозможные слухи. Множество людей скромного достатка, доверивших ему свои сбережения, теперь потеряли все, что у них было. Подробности были довольно туманными, потому что ни мой дядя, ни тетя ничего не понимали в делах, а я тоже не разбирался в них достаточно, чтобы понять, о чем они рассказывали. Но дом Джорджа Кемпа был заложен, а его имущество должны были продать с молотка. Жена его осталась без гроша. Двое сыновей, один двадцати, другой двадцати одного года, были партнерами его углеторговой фирмы, но и ее кос-

нулось общее разорение. Джордж Кемп скрылся со всеми наличными деньгами, какие только мог собрать, — примерно с полутора тысячами фунтов, как мне сказали, хотя я и не мог понять, откуда это стало известно; говорили также, что есть приказ о его аресте. Предполагали, что он уехал за границу: одни называли Канаду, другие — Австралию.

— Надеюсь, что его поймают, — сказал дядя. — Его надо бы отправить на пожизненную каторгу.

Все были возмущены. Прощения ему не было — потому что он всегда был таким шумным и жизнерадостным, потому что он подшучивал над ними, угощал их и устраивал для них приемы, потому что ездил в такой шикарной тележке и так лихо заламывал свою коричневую мягкую шляпу. Но самое ужасное рассказал моему дяде воскресным вечером после богослужения в ризнице церковный староста. Последние два года Лорд Джордж почти каждую неделю встречался в Хэвершеме с Рози Дриффилд, и они вместе проводили ночь в гостинице. Хозяин ее вложил деньги в одно из сумасшедших предприятий Лорда и разболтал все, обнаружив, что деньги пропали. Он бы еще смирился, если бы Лорд Джордж надул других, но тот надул и его, хоть и прибегал к его

помощи и считал его своим приятелем, — это было уж слишком.

— Я думаю, они сбежали вместе, — сказал дядя.

— Я бы не удивился, — сказал староста.

После ужина, пока горничная убирала со стола, я зашел на кухню поболтать с Мэри-Энн. Она тоже была в церкви и слышала эту историю. Не думаю, чтобы прихожане с большим вниманием слушали проповедь моего дяди.

— Дядя говорит, они сбежали вместе, — сообщил я. О том, что было мне известно, я не проронил ни слова.

— Ну конечно же! — ответила Мэри-Энн. — Он один только ей и нравился. Стоило ему только пальцем поманить, и она бросила бы кого угодно.

Я опустил глаза. Меня мучила горькая обида; я был зол на Рози и считал, что она поступила со мной очень нехорошо.

— Мы, уж наверное, ее больше не увидим, — сказал я, почувствовав при этих словах внезапную боль в сердце.

— Да уж наверное, — весело ответила Мэри-Энн.

Когда я рассказал миссис Бартон Траффорд ту часть всей этой истории, которую ей, по моему

мнению, следовало знать, она вздохнула — но я не понял, с грустью или с удовлетворением.

— Ну что ж, во всяком случае, с Рози на этом покончено, — сказала она, встала и протянула мне руку. — И почему все эти литераторы так неудачно женятся? Очень, очень жаль. Большое спасибо за то, что вы сделали. Теперь мы знаем, как обстоит дело. Самое главное — чтобы это не помешало Эдуарду работать.

Ее замечания показались мне несколько бессвязными. Не сомневаюсь, что на меня она не обращала ни малейшего внимания. Мы вышли на улицу, и я посадил ее в автобус, шедший по Кингз-роуд, а потом пешком направился домой.

XXI

Я потерял связь с Дриффилдом. Разыскивать его я стеснялся; кроме того, я был занят экзаменами, а когда сдал их, уехал за границу. Смутно припоминаю, что как-то видел в газете сообщение о его разводе с Рози. Больше ничего о ней слышно не было. Ее мать время от времени получала небольшие суммы денег — по десять, двадцать фунтов. Они приходили в конвертах с нью-йоркским штемпелем, но обратный адрес указан не был, никаких писем не было тоже, и считалось, что они приходят от Рози, только потому, что больше некому было посылать деньги миссис Гэнн. Потом мать Рози в преклонном возрасте умерла, и можно предположить, что известие об этом как-то дошло до Рози, потому что деньги приходить перестали.

XXII

Мы встретились с Элроем Киром, как и договорились, в пятницу на вокзале Виктория незадолго до отправления поезда 5.10 на Блэкстебл. Мы с удобством расположились друг против друга в купе для курящих. Теперь я наконец узнал от него в общих чертах, что произошло с Дриффилдом после того, как сбежала его жена. Со временем Рой очень близко сошелся с миссис Бартон Траффорд. Зная его и помня ее, я понял, что это было неизбежно. Я не удивился, услышав, что он вместе с ней и с Бартоном путешествовал по континенту, целиком разделяя их страстное восхищение Вагнером, картинами постимпрессионистов и архитектурой барокко. Он аккуратно обедал у них в Челси, а когда преклонные годы и слабеющее здоровье не позволили миссис Траффорд покидать свою гостиную, он, несмотря на крайнюю занятость, регулярно раз в неделю приходил посидеть с ней. У Роя было доброе сердце. После ее смерти он написал о ней очень прочувствованную статью, в которой отдал должное ее чуткости и прозорливости.

Я с удовлетворением подумал, что за свою доб-

роту он неожиданно оказался вознагражден по справедливости; миссис Бартон Траффорд много рассказала ему об Эдуарде Дриффилде, и это не могло не пригодиться ему в работе над книгой, которой он был сейчас занят. Когда после бегства жены Эдуард Дриффилд находился в таком состоянии, какое Рой мог описать только французским словом desemparé[67], — миссис Бартон Траффорд не только мягко настояла на том, чтобы он переехал к ним, но и убедила его прожить у них почти год. Она проявила к нему любовную заботливость, неисчерпаемую доброту и мудрую чуткость подруги, сочетающей женский такт с мужской энергией и золотое сердце с безошибочной оценкой ситуации. Здесь, у нее, он окончил свой роман «По плодам их». Она с полным правом считала этот роман своей книгой, а то, что он был ей посвящен, показывает, что Дриффилд сознавал, насколько он ей обязан. Она возила Дриффилда в Италию (конечно, с Бартоном: миссис Траффорд слишком хорошо знала злокозненность человеческой натуры, чтобы дать пищу для сплетен) и там с томиком Рескина в руке раскрывала перед ним бессмертную красоту

---

[67] Примечания: 67
Покинутый (*фр.*).

этой страны. Потом она подыскала ему комнаты в Темпле и там, очень мило выступая в качестве хозяйки, устраивала небольшие обеды, на которые он мог приглашать людей, привлеченных его растущей известностью.

Нужно признать, что этой растущей известностью он был во многом обязан ей. Слава пришла к нему только в последние годы его жизни, когда он уже давно перестал писать, но основы ее были, несомненно, заложены неустанными усилиями миссис Траффорд. Она не только вдохновила (а может быть, отчасти и написала: у нее было бойкое перо) статью, которую Бартон в конце концов представил в «Куортерли» и в которой впервые говорилось, что Дриффилда следует поставить в один ряд с мастерами английской литературы, — она еще и организовывала хороший прием каждой выходящей его книге. Она везде бывала, встречалась с редакторами и, что еще важнее, с владельцами влиятельных изданий; она давала вечера, на которые приглашала каждого, кто мог оказаться полезным. Она заставляла Эдуарда Дриффилда читать отрывки из своих произведений на благотворительных собраниях в домах самых высокопоставленных персон; она следила за тем, чтобы его фотография появлялась в ил-

люстрированных еженедельниках; она лично просматривала каждое интервью, которое он давал. В течение десяти лет она была неутомимым литературным агентом. Она упорно держала его в центре внимания публики.

Миссис Бартон Траффорд наслаждалась вовсю. Но она оставалась верна себе. Приглашать его в гости одного, без нее, было бесполезно: он отказывался. А когда на какой-нибудь обед приглашали ее, Бартона и Дриффилда, они и приезжали вместе, и уезжали вместе. Она ни на минуту не спускала с него глаз. Хозяйки могли приходить в ярость, но им предоставлялось только мириться с этим. Как правило, они мирились. Если миссис Бартон Траффорд случалось быть немного не в духе, это проявлялось только через него: сама она оставалась очаровательной, а Эдуард Дриффилд становился необычно резок. Но она прекрасно знала, как его расшевелить, и, когда общество было достаточно изысканным, умела заставить его блистать. С ним она вела себя безукоризненно. Она не скрывала от него своего убеждения, что он — величайший писатель современности; она не только за глаза неизменно называла его мастером, но и в глаза всегда так к нему обращалась, и это звучало, может быть, отчасти шутливо, но

лестно. Некоторую игривость она сохранила до самого конца.

А потом произошло нечто ужасное. Дриффилд схватил воспаление легких и был серьезно болен; некоторое время его даже считали безнадежным. Миссис Бартон Траффорд делала все, что могла сделать такая женщина, и с радостью ухаживала бы за ним сама, но ей было уже за шестьдесят, и здоровье не позволяло — пришлось нанять профессиональных сиделок. Когда в конце концов он поправился, доктора рекомендовали ему пожить за городом и, поскольку он был все еще очень слаб, настояли на том, чтобы с ним поехала сиделка. Миссис Траффорд хотела, чтобы он отправился в Борнмут, куда она могла бы каждую неделю приезжать к нему и присматривать, чтобы все было в порядке, но Дриффилду нравился Корнуолл, и доктора согласились, что мягкий климат Пензанса будет ему полезен. Можно было бы ожидать, что женщина, наделенная тонкой интуицией Изабел Траффорд, почувствует приближающееся несчастье; но нет — она его отпустила. Она внушила сиделке, что возлагает на нее серьезную ответственность, что ее заботам поручается если не будущее английской литературы, то, по крайней мере, жизнь и благополучие

самого выдающегося из ее живых представителей — сокровище, не имеющее цены.

Три недели спустя Эдуард Дриффилд сообщил ей в письме, что женился на своей сиделке.

Я думаю, еще никогда миссис Бартон Траффорд не проявляла столь выдающимся образом величие своей души. Кричала ли она «Иуда! Иуда!»? Рвала ли на себе волосы, катаясь по полу и колотя ногами в истерике? Кидалась ли на кроткого ученого Бартона, называя его презренным старым идиотом? Поносила ли неверность мужчин и распущенность женщин или изливала свои оскорбленные чувства, выкрикивая во весь голос те непристойности, с которыми, как уверяют нас психиатры, ко всеобщему удивлению, оказываются знакомы чистейшие из женщин? Нет, нет и нет. Она написала Дриффилду очаровательное поздравление, а его новоиспеченной супруге — письмо, где выражала свою радость при мысли, что у нее теперь будет два любимых друга, а не один. Она умоляла их обоих после возвращения в Лондон пожить у нее. Она рассказывала каждому встречному и поперечному, что эта женитьба сделала ее очень-очень счастливой, потому что Эдуард скоро уже будет стар и нужно, чтобы кто-нибудь за ним ухаживал — а кто может де-

лать это лучше больничной сиделки? Она ни разу не произнесла худого слова о новой миссис Дриффилд, а только хвалила ее. «Она не очень красива, — говорила миссис Бартон Траффорд, — но лицо у нее очень приятное. Конечно, она не то чтобы настоящая леди, но Эдуарду было бы только не по себе с какой-нибудь очень знатной дамой. Это как раз такая жена, какая ему нужна». По-моему, будет вполне справедливо сказать, что миссис Бартон Траффорд просто источала бальзам доброты и благоволения; и тем не менее мне сдается, что если когда-либо в бальзам доброты и благоволения была подмешана изрядная доза яда, то это как раз такой случай.

XXIII

Когда мы с Роем прибыли в Блэкстебл, его ждал автомобиль — ни нарочито великолепный, ни явно дешевый, а для меня у шофера была записка от миссис Дриффилд с приглашением к завтрашнему обеду. Я сел в такси и поехал в «Медведь и ключ». От Роя я узнал, что на набережной есть новый отель, но я не хотел променять прибежище моей молодости на роскошь цивилизации. Перемены начались еще на станции, которая оказалась не на своем прежнем месте, а дальше по новой дороге; и, конечно, ехать по Хай-стрит на автомобиле было немного странно. Но «Медведь и ключ» не изменился. Он встретил меня с тем же грубоватым равнодушием: у входа никого не было, шофер поставил мой чемодан и уехал: я позвонил, никто не ответил. Я вошел в бар и обнаружил там стриженую девушку, которая читала книгу мистера Комптона Маккензи. Я спросил ее, нельзя ли мне здесь остановиться. Она бросила на меня слегка обиженный взгляд и сказала, что, наверное, можно, но, так как этим всякий ее интерес ко мне был, по-видимому, исчерпан, я вежливо спросил, не покажет ли

кто-нибудь комнату. Она встала и, открыв дверь, пронзительно крикнула:

— Кэти!

— Чего? — услышал я.

— Тут одному нужна комната.

Через некоторое время показалась древняя и изможденная женщина в замызганном ситцевом платье, с неряшливой седой прической и провела меня на третий этаж, в очень маленькую грязную комнату.

— Нельзя ли найти что-нибудь получше? — спросил я.

— Коммерсанты всегда здесь останавливаются, — ответила она презрительно.

— А других у вас нет?

— Одиночных нет.

— Тогда дайте двухместную.

— Пойду спрошу у миссис Брентфорд.

Я спустился за ней на второй этаж. Она постучала, ей разрешили войти, и, когда дверь открылась, я увидел плотную женщину с тщательно завитыми седыми волосами. Она читала книгу. Очевидно, все население «Медведя и ключа» интересовалось литературой. Когда Кэти сказала, что номер седьмой меня не устраивает, она равнодушно взглянула на меня.

— Покажи ему номер пятый, — сказала она.

Я начал чувствовать, что несколько поторопился, так высокомерно отклонив приглашение миссис Дриффилд пожить у нее, а потом в приливе сентиментальности отвергнув мудрый совет Роя остановиться в отеле. Кэти снова повела меня наверх и показала мне довольно большую комнату, выходившую на Хай-стрит. Немалую часть ее занимала двуспальная кровать. Окна за последний месяц наверняка ни разу не открывались.

Я сказал, что это подойдет, и спросил, как насчет обеда.

— Можете заказать, что хотите, — сказала Кэти. — У нас здесь ничего нет, но я сбегаю и принесу.

Зная английские харчевни, я заказал жареную рыбу и отбивную. Потом я пошел прогуляться. Дойдя до пляжа, я обнаружил, что там построили эспланаду, а в том месте, где на моей памяти были только продуваемые ветром поля, стоял ряд бунгало и вилл. Но они выглядели грязными и запущенными, и я подумал, что даже столько лет спустя мечта Лорда Джорджа о превращении Блэкстебла в популярный морской курорт не сбылась. По потрескавшемуся асфальту шли какой-то отставной военный и две пожилые дамы.

Было невероятно уныло. Резкий ветер нес с моря моросящий мелкий дождь.

Я вернулся в город. Там, между «Медведем и ключом» и «Герцогом Кентским», несмотря на холодную погоду, кучками стояли люди. Глаза у них были такие же бледно-голубые, а выступающие скулы — такие же багровые, как у их отцов. Странно было видеть, что некоторые моряки в синих фуфайках все еще носят в ухе маленькую золотую серьгу, и не только старики, но и парни, которым едва минуло двадцать. Я побрел по улице. Банк отремонтировали, но писчебумажный магазин, где я когда-то покупал бумагу и воск, чтобы снимать оттиски вместе со случайно мною встреченным никому не известным писателем, не изменился. Рядом появилось два или три кинематографа, и их кричащие афиши неожиданно придали чинной улице разгульный вид, сделав ее похожей на респектабельную пожилую даму, хлебнувшую лишнего.

В столовой, где я в одиночестве съел свой обед за обширным столом, накрытым на шестерых, было холодно и безрадостно. Прислуживала грязнуха Кэти. Я спросил, нельзя ли зажечь камин.

— В июне? Нет, — ответила она. — Мы кончаем топить в апреле.

— Я заплачу, — возразил я.

— В июне? Нет. В октябре — пожалуйста, а в июне — нет.

Кончив обедать, я пошел в бар выпить стакан портвейна.

— Очень тихо здесь, — сказал я стриженой буфетчице.

— Да, очень тихо, — ответила она.

— Я думал, в пятницу вечером у вас могло бы быть много на роду.

— Да, могло бы быть, верно.

Из задней комнаты вышел плотный, краснощекий человек с короткими седыми волосами, и я догадался, что это хозяин.

— Не вы ли будете мистер Брентфорд? — спросил я.

— Да, я.

— Я знавал вашего отца. Не хотите ли стаканчик портвейна?

Я сказал ему свое имя, которое в дни его детства было в Блэкстебле известно лучше любого другого, но, к некоторому моему смущению, увидел, что оно ничего ему не говорит. Правда, он согласился принять предложенный мною стакан портвейна.

— По делу сюда? — спросил он. — Тут у нас

частенько бывают деловые люди. Мы всегда стараемся сделать для них, что можем.

Я сказал ему, что приехал повидаться с миссис Дриффилд, и предоставил ему гадать зачем.

— Я старика часто видел, — сказал мистер Брентфорд. — Он очень любил заглянуть сюда и выпить стаканчик пива. Заметьте, я не говорю, что он когда-нибудь напивался, — просто любил посидеть в баре и поговорить. Можете мне поверить, он был готов разговаривать часами, все равно с кем. Миссис Дриффилд очень не нравилось, что он сюда ходит. Он никому дома не говорил, куда идет, просто уходил и ковылял сюда. Это, знаете, не маленькая прогулка для человека в таком возрасте. Конечно, когда там спохватывались, миссис Дриффилд знала, куда он пошел, и звонила сюда, не здесь ли он. Потом она приезжала на автомобиле и шла к моей жене. «Приведите его, миссис Брентфорд, — говорила она, — я не хочу сама показываться в баре, там столько этих мужчин». Миссис Брентфорд приходила и говорила: «Ну-ка, мистер Дриффилд, за вами приехала миссис Дриффилд на машине, так что вы лучше допивайте свое пиво и поезжайте с ней домой». Он просил миссис Брентфорд не говорить, что он здесь, когда миссис Дриффилд

звонит, но мы, конечно, не могли так делать. Все-таки он был старик, и все такое, и мы не хотели брать на себя ответственность. Он, знаете, родился в этом приходе, и его первая жена была из Блэкстебла. Она уж много лет как умерла. Я никогда ее не знал. Чудной он был старикан. Я не хочу ничего сказать — говорят, в Лондоне его превозносили до небес, и, когда он умер, газеты только о нем и писали; но по его разговорам вы бы никогда об этом не догадались. Как будто он просто никто, ну как мы с вами. Конечно, мы всегда старались, чтобы ему было хорошо; усаживали его вон туда, в кресла, но нет, он хотел сидеть у стойки: говорил, что ему нравится чувствовать под ногами перекладину. По-моему, здесь ему было лучше, чем где-нибудь еще. Он всегда говорил, что любит сидеть в барах. Он говорил, что в них можно видеть настоящую жизнь, а жизнь он всегда любил, говорил он. Чудной был человек. Напоминал мне моего отца — только папаша за всю жизнь ни одной книги не прочел, и выпивал в день по бутылке французского коньяка, и умер в семьдесят восемь лет, а до того ни разу не болел. Очень жалко было старого Дриффилда, когда он помер. Я только вчера говорю миссис Брентфорд — надо бы как-нибудь прочесть какую-нибудь его

книгу. Говорят, он о здешних местах несколько книг написал.

XXIV

Следующее утро было холодное и ветреное, но дождя не было, и я направился по Хай-стрит к дому священника. Я узнавал имена на вывесках — кентские имена, переходившие из поколения в поколение веками, все эти Гэнны, Кемпы, Коббзы, Иггалдены, — но ни одного знакомого человека не встретил. Шагая по этой улице, где я когда-то был знаком почти с каждым — а если с кем и не был, то уж в лицо знал всех, — я почувствовал себя каким-то призраком. Вдруг мимо меня проехал очень старый маленький автомобиль, затормозил, дал задний ход, и я увидел, что кто-то с любопытством на меня смотрит. Из машины вышел высокий, толстый пожилой человек и направился ко мне.

— Вы не Уилли Эшенден? — спросил он.

И тут я вспомнил его. Это был сын доктора, я с ним учился в школе. Мы вместе переходили из класса в класс, и я слышал, что он унаследовал у отца его практику.

— Ну, как дела? — спросил он. — Я только что был в доме священника, навещал своего внука. Там теперь начальная школа, я его отдал туда в

этом году.

Он выглядел потрепанным и неухоженным, но у него было прекрасное лицо, и я видел, что в молодости он, наверное, отличался необыкновенной красотой. Странно, что я этого никогда не замечал.

— Ты уже дедушка? — спросил я.

— Уже трижды, — засмеялся он.

Мне стало не по себе. Он родился, научился ходить, потом стал взрослым, женился, имел детей, и они, в свою очередь, имели детей; судя по его виду, он жил в непрестанной работе, в нужде. У него была особая манера поведения, свойственная сельским врачам, — грубоватая, добродушная и покровительственная. Он свою жизнь уже прожил. Я обдумывал планы новых книг и пьес, был полон надежд на будущее и чувствовал, что впереди у меня еще много трудов и радостей, — и все равно другим я, наверное, казался таким же пожилым человеком, каким он показался мне. Я был так потрясен, что у меня не хватило духу спросить о его братьях, с которыми я играл мальчишкой, или о своих старых друзьях, и после нескольких глупых замечаний с ним распрощался. Потом я пошел дальше к дому священника — просторному, широко раскинув-

шемуся, слишком уединенно расположенному для его нынешнего хозяина, который относился к своим обязанностям серьезнее, чем мой дядя, и слишком большому по нынешней стоимости жизни. Дом стоял в большом саду среди зеленых полей. Большая квадратная вывеска у входа гласила, что здесь помещается начальная школа для сыновей джентльменов, и на ней стояли имя и ученые степени директора. Я заглянул через изгородь; сад был запущен и грязен, а пруд, где я когда-то ловил плотву, весь зарос. Церковная земля была поделена на участки для застройки, на ней появились шеренги маленьких кирпичных домиков и неровные, плохо замощенные дороги. Я пошел до Джой-лейн, и там тоже стояли дома — бунгало, обращенные к морю; а в старой сторожке у заставы помещалась нарядная кондитерская.

Я побродил вокруг. Бесчисленные улицы были застроены маленькими домиками из желтого кирпича, но кто там жил, я не знаю, потому что никого не было видно. Я спустился в гавань. Она была пуста. Неподалеку от пирса стоял только один грузовой пароход. У пакгауза сидели два-три моряка, и, когда я проходил мимо, они уставились на меня. Торговля углем пришла в упадок, и

угольщики больше не заходили в Блэкстебл.

Мне было уже пора отправляться в Ферн-Корт, и я вернулся в гостиницу. Хозяин говорил мне, что отдает напрокат «даймлер», и мы тогда же условились, что я поеду на нем. Теперь, когда я подошел, машина стояла у дверей. Это был двухместный лимузин, но такой старый и разбитый, что я еще никогда не видел ничего подобного. По дороге он пыхтел, кашлял, дребезжал и задыхался, время от времени сердито дергаясь, и я сильно сомневался, что доеду до цели. Но что удивительнее всего — в нем стоял точно такой же запах, как и в старом ландо, которое нанимал каждое воскресное утро мой дядя, чтобы ехать в церковь. Это был кислый запах конюшни и гнилой соломы, лежавшей на дне экипажа; я никак не мог понять, откуда спустя столько лет этот запах мог появиться в автомобиле. Но ничто так не пробуждает воспоминания, как запах, и, забыв обо всем вокруг, я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, сидящим на переднем сиденье рядом с блюдом для причастия, напротив тети, слегка пахнущей чистым бельем и одеколоном, в черном шелковом плаще и маленьком капоре с пером, и дяди в сутане, с широкой шелковой лентой вокруг обширной талии и с золотым крестом

на золотой цепи, болтавшимся у него на животе.

— Не забудь, Уилли, ты должен вести себя хорошо. Не вертись и сиди как следует. В доме Господнем не подобает разваливаться на скамье. Тебе следует помнить, что нужно подавать пример другим мальчикам, которые не получили такого воспитания.

Когда я приехал в Ферн-Корт, миссис Дриффилд и Рой гуляли в саду и, как только я вышел из машины, подошли ко мне.

— Я показывала Рою свои цветы, — сказала миссис Дриффилд, подавая мне руку, а потом добавила со вздохом: — Это единственное, что у меня теперь осталось.

Она выглядела не старше, чем в последний раз, когда я ее видел, лет шесть назад. Свой траур она носила со спокойным достоинством. На шее у нее был белый шелковый воротничок, а на запястьях — такие же манжеты. Я заметил, что Рой надел к своему аккуратному синему костюму черный галстук — вероятно, в знак уважения к знаменитому покойнику.

— Я только покажу вам свои цветочные бордюры, — сказала миссис Дриффилд, — а потом мы пойдем обедать.

Пока мы ходили по саду, Рой демонстрировал

свои познания. Он с первого взгляда узнавал любой цветок, и латинские названия слетали у него с языка, как сигареты вылетают из заверточной машины. Он высказывал восхищение одними сортами и сообщал миссис Дриффилд, где она может достать другие, которые обязательно должна у себя завести.

— Пройдем через кабинет Эдуарда? — предложила миссис Дриффилд. — Я сохраняю его в точности таким, как при его жизни. Я ничего не меняла. Просто удивительно, сколько людей приезжает сюда посмотреть дом, и, конечно, все хотят видеть комнату, где он работал.

Мы вошли через открытую стеклянную дверь. На письменном столе красовалась ваза с розами, а на маленьком круглом столике у кресла — комплект «Спектэйтора». Трубки хозяина лежали в пепельницах, а чернильница была полна чернил. Вся обстановка была воспроизведена безукоризненно. Не знаю, почему комната казалась какой-то мертвой — в ней уже стояла музейная затхлость. Миссис Дриффилд подошла к книжным полкам и с полушутливой, полугрустной улыбкой быстро провела рукой по темно-синим корешкам нескольких томиков.

— Вы знаете, как высоко ценил Эдуард ваше

творчество, — сказала миссис Дриффилд. — Он часто перечитывал ваши книги.

— Очень приятно об этом слышать, — ответил я вежливо.

Я прекрасно знал, что в последний мой приезд их тут не было, и, небрежно взяв одну из них, провел пальцами по верхнему обрезу, чтобы посмотреть, есть ли на нем пыль. Пыли не было. Потом я взял еще одну книгу — Шарлотту Бронте — и, продолжая разговор, проделал тот же эксперимент. Нет, пыли не было и здесь. Мне удалось узнать только то, что миссис Дриффилд — прекрасная хозяйка и что у нее добросовестная горничная.

Мы пошли обедать — эта была добрая английская трапеза, ростбиф и йоркширский пудинг, — и за столом говорили о работе, которой был занят Рой.

— Я хочу избавить дорогого Роя от лишнего труда, — сказала миссис Дриффилд, — и сама собираю весь материал, какой могу. Конечно, это не очень радостно, но зато интересно. Я разыскала множество старых фотографий, которые должна вам показать.

После обеда мы перешли в гостиную, и я опять обратил внимание на то, с каким удивительным

тактом миссис Дриффилд ее обставила. Для вдовы видного писателя эта комната подходила чуть ли не лучше, чем для его жены. Дорогие ситцы, вазы с ароматными сухими лепестками, фигурки из дрезденского фарфора — все создавало какую-то неуловимую атмосферу печали; казалось, эти вещи погружены в раздумья о великом прошлом. День был холодный, и я с удовольствием погрелся бы у камина, но англичане не только привержены к традициям, но и выносливы, а придерживаться своих принципов за счет чужих удобств не так уж трудно. Вряд ли миссис Дриффилд могло бы прийти в голову растопить камин раньше первого октября.

Она спросила, видел ли я в последнее время ту даму, которая привела меня к Дриффилдам на обед, и по едва заметной резкости в ее тоне я сделал вывод, что после смерти ее знаменитого мужа высшее общество проявило явное нежелание иметь с ней дело.

Мы приступили к беседе о покойном; Рой и миссис Дриффилд искусно задавали вопросы, чтобы побудить меня выложить все, что я помню, а я держался настороже, чтобы по неосторожности не сболтнуть что-нибудь такое, что решил держать при себе, — как вдруг аккуратная горничная

принесла на небольшом подносе две визитных карточки.

— Два джентльмена на машине, мэм, спрашивают, нельзя ли им посмотреть дом и сад.

— Какая тоска! — воскликнула миссис Дриффилд, но в голосе ее прозвучала необыкновенная готовность. — Забавно, правда? Я ведь только что говорила вам о людях, которые хотят посмотреть дом. У меня нет ни минуты покоя.

— Так почему бы не сказать, что вы просите прощения, но не можете их принять? — спросил Рой, как мне показалось, не без ехидства.

— О, это невозможно. Эдуард этого бы не одобрил.

Она взглянула на карточки.

— У меня нет при себе очков.

Она протянула карточки мне. На одной я прочел: «Генри Бэрд Мак-Дугал, Университет штата Виргиния», и карандашом было приписано: «Преподаватель кафедры английской литературы». На другой стояло: «Жан-Поль Андерхилл», и внизу нью-йоркский адрес.

— Американцы, — сказала миссис Дриффилд. — Скажите, что я буду очень рада, если они зайдут.

Вскоре горничная ввела незнакомцев. Это были высокие широкоплечие молодые люди с тяжелы-

ми, бритыми, смуглыми лицами и приятными глазами; оба носили роговые очки и зачесывали назад густые черные волосы. На обоих были английские костюмы — явно с иголочки; оба несколько стеснялись, но оказались разговорчивыми и крайне вежливыми. Они объяснили, что совершают литературную поездку по Англии и, будучи почитателями Эдуарда Дриффилда, взяли на себя смелость по пути в Рай, где собирались посетить дом Генри Джеймса, остановиться здесь в надежде, что им будет позволено увидеть место, с которым связано так много ассоциаций. Это упоминание о Рае не очень понравилось миссис Дриффилд.

— Кажется, там очень хорошие площадки для гольфа, — сказала она.

Она познакомила американцев с Роем и со мной. Рой меня просто восхитил: он проявил себя с самой лучшей стороны. Оказалось, что он читал лекции в Университете штата Виргиния и жил у одного видного тамошнего ученого, о чем навсегда сохранит приятнейшие воспоминания. Он не знает, что произвело на него большее впечатление: щедрое гостеприимство, которое оказали ему эти очаровательные виргинцы, или же их глубокий интерес к искусству и литературе.

Он спросил, как поживают такой-то и такой-то; он завел там несколько друзей на всю жизнь и встречался, похоже, только с хорошими, умными и добрыми людьми. Вскоре молодой преподаватель уже рассказывал, как ему нравятся книги Роя, а Рой скромно объяснял ему, какие цели ставил перед собой в той или другой из них и как хорошо видит, насколько далек оказался от их осуществления. Миссис Дриффилд слушала, сочувственно улыбаясь, но мне показалось, что ее улыбка стала чуточку натянутой. Может быть, так показалось и Рою, потому что он внезапно прервал свою речь.

— Но я не хочу надоедать вам со своей писаниной, — сказал он, как всегда, громко и добродушно. — Я здесь только потому, что миссис Дриффилд доверила мне великую честь создания биографии Эдуарда Дриффилда.

Это, разумеется, очень заинтересовало гостей.

— Поверьте, это прорва работы, — сказал Рой, шутливо ввернув чисто американское словцо. — К счастью, мне помогает миссис Дриффилд, которая была не только идеальной женой, но и великолепным личным секретарем; материалы, которые она предоставила в мое распоряжение, так удивительно полны, что мне на самом деле

почти ничего не остается, кроме как воспользоваться ее трудолюбием и ее… ее искренним рвением.

Миссис Дриффилд скромно потупилась, а оба молодых американца обратили к ней свои большие темные глаза, в которых можно было прочесть сочувствие, интерес и уважение. Поговорив еще немного — отчасти о литературе, а отчасти все-таки о гольфе (гости признались, что в Рае надеются разок-другой сыграть, и тут Рой снова оказался на высоте, посоветовал им не зевать на такой-то и такой-то лунке и выразил надежду, что, вернувшись в Лондон, они сыграют с ним в Санингдейле), — миссис Дриффилд встала и предложила показать им кабинет и спальню Эдуарда и, конечно, сад. Рой поднялся, очевидно собираясь сопровождать их, но миссис Дриффилд слегка улыбнулась ему — ласково, но решительно.

— Не трудитесь, Рой, — сказала она. — Я проведу их. А вы останьтесь и поговорите с мистером Эшенденом.

— О, хорошо. Конечно.

Гости попрощались с нами, и мы с Роем опять уселись в ситцевые кресла.

— Приятная комната, — сказал Рой.

— Очень.

— Эми это нелегко досталось. Вы знаете, старик купил этот дом за два-три года до того, как они поженились. Она пыталась уговорить его продать дом, но он не хотел. Он иногда бывал очень упрям. Видите ли, дом когда-то принадлежал некоей мисс Вулф, у которой его отец служил управляющим, и он говорил, что еще мальчишкой только и мечтал сам владеть этим домом и теперь, когда его приобрел, с ним не расстанется. Можно было бы ожидать, что ему меньше всего захочется жить в таком месте, где все знали о его скромном происхождении и обо всем прочем. Как-то бедняжка Эми чуть было не наняла одну горничную, и вдруг оказалось, что это внучатая племянница Эдуарда. Когда Эми сюда приехала, дом был от подвала до чердака обставлен в наилучших традициях Тоттенхэм-Корт-роуд: вы себе представляете — турецкие ковры, шкафы красного дерева, плюшевый гарнитур в гостиной и современные инкрустации. Он был убежден, что дом джентльмена должен выглядеть именно так. Эми говорит, что это было просто ужасно. Он не давал ей ничего менять, и ей пришлось браться за дело с чрезвычайной осторожностью; она говорит, что просто не могла бы жить в таком доме

и твердо решила привести его в приличный вид, но заменять вещи ей пришлось по одной, чтобы Дриффилд ничего не заметил. Она говорила, что труднее всего было с его письменным столом. Не знаю, обратили ли вы внимание на тот, который сейчас стоит у него в кабинете. Очень хороший старинный стол, я бы сам от такого не отказался. Так вот, прежде у него было ужасное американское бюро с задвижной крышкой. Он пользовался им уже много лет, написал за ним десяток книг и слышать не хотел о том, чтобы с ним расстаться. В мебели он ничего не понимал, а к бюро был привязан просто потому, что оно у него так долго стояло. Обязательно попросите Эми рассказать, как она в конце концов от этого бюро избавилась. Великолепная история. Знаете, это удивительная женщина — она почти всегда добивается своего.

— Я уже заметил, — сказал я. Она очень быстро отделалась от Роя, когда тот проявил желание сопровождать гостей по дому. Рой взглянул на меня и рассмеялся. Он всегда был неглуп.

— Вы не знаете американцев так, как я, — сказал он. — Они всегда предпочитают живую мышь мертвому льву. Это одна из причин, почему я люблю Америку.

XXV

Когда миссис Дриффилд, спровадив пилигримов, вернулась, у нее под мышкой был портфель.

— Какие милые молодые люди! — сказала она. — Вот бы английской молодежи так интересоваться литературой. Я подарила им тот снимок Эдуарда, где он в гробу, а они попросили мою фотографию, и я им ее надписала.

Потом она очень любезно заметила:

— Вы, Рой, произвели на них большое впечатление. Они сказали, что были очень рады познакомиться с вами.

— Я прочел в Америке много лекций, — скромно сказал Рой.

— Да, но они знают ваши книги. Они говорят, больше всего им нравится то, что ваши книги такие мужественные.

В портфеле хранилось множество старых фотографий: группы школьников, среди которых я узнал в растрепанном мальчишке Дриффилда только после того, как на него указала вдова; команды регбистов, где Дриффилд был уже немного постарше, и одна фотография молодого матроса в фуфайке и бушлате — это был Дриффилд, когда

он убежал из дома.

— Вот это он снимался, когда в первый раз женился, — сказала миссис Дриффилд.

Его украшали борода и брюки в белую и черную клетку; в петлице у него была большая белая роза на фоне листьев папоротника, а рядом на столе лежал цилиндр.

— А вот и новобрачная, — сказала миссис Дриффилд, стараясь сдержать улыбку.

Бедняжка Рози, запечатленная деревенским фотографом больше сорока лет назад, выглядела нелепо. Она стояла в неловкой позе на фоне какого-то замка, держа в руках большой букет; складки на ее платье с перехватом в талии были тщательно расправлены, а сзади был турнюр. Челка спускалась до самых глаз. На голове у нее поверх высокой прически был приколот венок из флердоранжа, от него спускалась назад длинная фата. Только я знал, как она, наверное, была прелестна.

— На вид она страшно вульгарна, — сказал Рой.

— Такой она и была, — подтвердила миссис Дриффилд.

Мы увидели еще много портретов Эдуарда: фотографии, снятые, когда он начал пользоваться

известностью, снимки с усами и более поздние, без усов и бороды. Его лицо понемногу худело, на нем появлялись морщины. Упрямая банальность ранних портретов постепенно переходила в усталую утонченность. Было видно, как изменяют его жизненный опыт, раздумья и успех. Я снова взглянул на фотографию молодого матроса, и мне показалось, что я уже вижу в ней намек на ту отчужденность, которая так бросилась мне в глаза на более поздних фотографиях и которую я смутно ощутил в нем самом много лет назад. Его лицо было просто маской, а поступки не имели никакого значения. Мне подумалось, что подлинная его душа, до самой смерти не распознанная и одинокая, безмолвной тенью сопровождала видимые всем фигуры — автора, написавшего его книги, и человека, прожившего его жизнь, — посмеиваясь с ироническим безразличием над этими двумя марионетками, которые мир принимал за Эдуарда Дриффилда. Я понимаю, что мне не удалось показать его живым человеком из плоти и крови, цельным, с понятными побуждениями и логически оправданными действиями; да я и не пытался — с радостью предоставляю это более ловкому перу Элроя Кира.

Мне попались фотографии Рози, снятые тем

актером — Гарри Ретфордом, а потом снимок с ее портрета, который написал Лайонел Хильер. У меня сжалось сердце. Вот такой я ее помнил лучше всего. Несмотря на старомодное платье, она казалась живой, трепетала от наполнявшей ее страсти и как будто была готова уступить любовному натиску.

— Похоже, что она была девица в теле, — заметил Рой.

— Да, если такие молочницы в вашем вкусе, — ответила миссис Дриффилд. — Мне она всегда напоминала белую негритянку.

Именно так ее любила называть миссис Бартон Траффорд — толстые губы и широкий нос Рози, к сожалению, придавали этой характеристике некоторое правдоподобие. Но они не знали, какие серебристо-золотые были у нее волосы и какая золотисто-серебряная кожа; они не знали и ее чарующей улыбки.

— Ничуть она не была похожа на белую негритянку, — возразил я. — Она была непорочна, как заря. Она была похожа на Гебу. Она была как чайная роза.

Миссис Дриффилд улыбнулась и многозначительно переглянулась с Роем.

— Миссис Бартон Траффорд мне много о ней

рассказывала. Я не хочу злословить, но боюсь, что мне она представляется не такой уж хорошей женщиной.

— Вот тут вы и ошибаетесь, — ответил я. — Она была очень хорошей женщиной. Я никогда не видел ее в плохом настроении. Достаточно было сказать ей, что вы чего-то хотите, как она готова была вам это отдать. Я никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь плохо отозвалась. У нее было золотое сердце.

— Она была ужасная неряха: дома всегда беспорядок, стулья такие пыльные, что страшно садиться, а в углы лучше не заглядывать. И сама она была такая же. Никогда не могла аккуратно надеть платье, вечно сбоку на два дюйма выглядывала нижняя юбка.

— Она не придавала таким вещам большого значения. Они не делали ее менее красивой. И она была столь же добра, как и красива.

Рой расхохотался, а миссис Дриффилд поднесла руку ко рту, чтобы скрыть улыбку.

— О, мистер Эшенден, вы уж слишком. В конце концов, будем называть вещи своими именами — ведь она была нимфоманкой.

— По-моему, это очень глупое слово, — сказал я.

— Ну хорошо, скажем иначе — вряд ли она была такая уж хорошая женщина, если могла так поступать с бедным Эдуардом. Конечно, все вышло к лучшему: если бы она не сбежала от него, ему пришлось бы нести крест до конца своих дней, и с этим бременем он никогда не достиг бы такого положения. Но факт остается фактом: она изменяла ему на каждом шагу. Я слышала, что это было совершенно распутное создание.

— Вы не понимаете, — сказал я. — Она была очень простая женщина. У нее были здоровые и непосредственные инстинкты. Она любила делать людей счастливыми. Она любила любовь.

— Вы называете это любовью?

— Ну хорошо, акт любви. Она была страстной по натуре. Если ей кто-то нравился, для нее было вполне естественно спать с ним. Она об этом даже не задумывалась. Это был не порок и не распущенность — это была ее природа. Она отдавалась так же естественно, как солнце излучает тепло, а цветы — аромат. Это не сказывалось на ее характере: она оставалась искренней, неиспорченной и бесхитростной.

У миссис Дриффилд был такой вид, будто она проглотила ложку касторки и теперь, пытаясь избавиться от ее вкуса, сосет лимон.

— Я этого не понимаю, — сказала она. — Но должна признаться, я никогда не понимала, что Эдуард в ней находил.

— А он знал, что она путается с кем попало? — спросил Рой.

— Уверена, что не знал, — быстро ответила она.

— Вы считаете его большим дураком, чем я, миссис Дриффилд, — сказал я.

— Тогда почему он с этим мирился?

— Думаю, что это я могу объяснить. Видите ли, она была не из таких женщин, которые внушают к себе любовь. Только привязанность. Ее было глупо ревновать. Она была как чистый глубокий родник на лесной поляне — в него божественно приятно окунуться, но он не становится менее прохладным и прозрачным от того, что до вас в нем купались и бродяга, и цыган, и лесник.

Рой снова засмеялся, и на этот раз миссис Дриффилд не скрывала натянутой улыбки.

— Вы очень комичны в таком лирическом настроении, — сказал Рой.

Я подавил вздох. Я заметил, что люди обычно смеются надо мной как раз тогда, когда я серьезнее всего, и в самом деле, перечитывая через некоторое время отрывки, написанные мной

от всего сердца, я сам испытываю побуждение смеяться над собой. Наверное, в откровенном чувстве есть что-то нелепое, хотя я не могу себе представить, почему это так, если только сам человек, эфемерный обитатель крохотной планетки, со всеми его горестями и стремлениями, не есть всего лишь шутка вечного разума.

Я видел, что миссис Дриффилд хочет меня о чем-то спросить, и это повергает ее в некоторое замешательство.

— А как вы думаете, принял бы он ее, если бы она захотела вернуться?

— Вы знали его лучше, чем я. По-моему, нет. Я думаю, что, испытав какое-то чувство, он терял интерес к человеку, это чувство вызвавшему. Я бы сказал, что бурные порывы эмоций странно сочетались у него с крайней бессердечностью.

— Не понимаю, как вы можете так говорить, — вскричал Рой. — Это был добрейший человек из всех, кого я знал!

Миссис Дриффилд посмотрела мне в глаза и потупила взгляд.

— А интересно, что случилось с ней после того, как она уехала в Америку, — сказал Рой.

— По-моему, она вышла замуж за Кемпа, — сказала миссис Дриффилд. — Я слышала, что они

жили под другой фамилией. Конечно, здесь они больше не показывались.

— Когда она умерла?

— О, лет десять назад.

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— От Гарольда Кемпа, его сына; у него какое-то дело в Мейдстоне. Эдуарду я ничего не говорила. Для него она умерла уже много лет назад, и я не видела никакого смысла напоминать ему о прошлом. Всегда полезно поставить себя на место другого, и я сказала себе, что, будь я на его месте, я не хотела бы, чтобы мне напоминали о печальном эпизоде моей юности. Ведь я была права?

XXVI

Миссис Дриффилд очень любезно предложила отправить меня назад в Блэкстебл на ее машине, но я предпочел идти пешком. Я обещал на следующий день пообедать в Ферн-Корте, а до тех пор набросать все, что смогу припомнить о тех двух периодах, когда часто виделся с Эдуардом Дриффилдом. Шагая по безлюдной извилистой дороге, я размышлял, что же мне написать. Разве не считается, что стиль — это искусство умолчания? Если это так, то я наверняка напишу прелестную вещицу — просто жаль, что Рой использует ее лишь как сырой материал. Я усмехнулся при мысли, как мог бы их ошарашить, если бы захотел. Я знал, что есть один человек, который мог бы рассказать все, что им было нужно, про Эдуарда Дриффилда и его первую женитьбу, — но я твердо решил ничего им об этом не говорить. Они думали, что Рози нет в живых. Но они ошибались: Рози была жива — живее некуда.

Как-то я поехал в Нью-Йорк, где ставили одну мою пьесу. Мой приезд был широко разрекламирован усилиями энергичного пресс-секретаря моего импресарио. Однажды я получил пись-

мо. Адрес был написан знакомым почерком, но я не мог припомнить, кому он принадлежит. Крупные и округленные буквы, рука твердая, но непривычная много писать — я прекрасно знал этот почерк и очень досадовал, что не могу вспомнить, чей он. Разумнее всего было бы сразу распечатать письмо, но вместо этого я глядел на конверт и мучительно копался в памяти. Бывают почерки, которые я не могу видеть без тревожного содрогания, а некоторые письма выглядят такими нудными, что я по целым неделям не могу заставить себя их распечатать. Когда я наконец разорвал конверт, то, что я прочел, вызвало у меня какое-то странное чувство. Письмо начиналось без всякого вступления:

Я только что узнала, что вы в Нью-Йорке, и хотела бы с вами повидаться. Я теперь живу не в Нью-Йорке, но Йонкерс не так у ж далеко, и на машине сюда вполне можно добраться за полчаса. Наверное, вы очень заняты, поэтому можете сами назначить время. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло много лет, но я надеюсь, что вы не забыли свою старую знакомую

Роз Иггалден (бывшую Дриффилд).

Я взглянул на адрес. Там стояло «Албемарль» — очевидно, отель или доходный дом, потом были указана улица и город — Йонкерс. Озноб пробежал у меня по спине, как будто кто-то прошел над моей будущей могилой. За все эти годы я иногда думал о Рози, но в последнее время уверил себя, что она наверняка умерла. Некоторое время я размышлял над ее фамилией. Почему Иггалден, а не Кемп? Потом мне пришло в голову, что они взяли эту фамилию — тоже кентскую, когда бежали из Англии. Моим первым побуждением было изобрести какой-нибудь предлог и не встречаться с ней: я всегда стесняюсь встречаться с людьми, которых долгое время не видел. Но потом меня

разобрало любопытство. Мне захотелось узнать, какая она сейчас, и услышать, как она жила. В конце недели я собирался в Доббз-Ферри и должен был проехать через Йонкерс, так что я написал в ответ, что зайду часа в четыре в субботу.

«Албемарль» оказался огромным доходным домом, сравнительно новым и, судя по его виду, населенным состоятельными людьми. Негр-привратник доложил обо мне по телефону, другой повез меня на лифте наверх. Я необыкновенно нервничал. Дверь мне открыла негритянка-горничная.

— Пройдите, — сказала она. — Миссис Иггалден ждет вас.

Меня провели в гостиную, которая служила и столовой: в одном углу стоял квадратный дубовый стол, покрытый обильной резьбой, буфет и четыре стула того стиля, который мебельные фабриканты из Грэнд-Рэпидз наверняка называли эпохой Якова I. Зато в другом углу красовался гарнитур в стиле Людовика XV, с позолотой и светло-голубой камчатной обивкой; там было множество маленьких столиков с богатой резьбой и позолотой, на них стояли севрские вазы с украшениями из золоченой бронзы и полуобнаженные бронзовые женщины в одеждах,

развевающихся, как на сильном ветру, и искусно прикрывающих те части тела, которые не принято показывать; каждая из них держала в кокетливо простертой руке электрическую лампочку. Граммофон был великолепен — такие я видел только в витринах: весь позолоченный, в виде портшеза, разрисованный кавалерами и дамами на манер Ватто.

Я подождал минут пять, дверь отворилась, и быстро вошла Рози. Она протянула мне обе руки.

— Вот это сюрприз, — сказала она. — Ужас, сколько лет мы не виделись. Извините меня. — Она пошла к двери и крикнула: — Джесси, можешь принести чай. Смотри, чтобы вода как следует кипела.

Потом снова обратилась ко мне:

— Вы не представляете, сколько я мучилась с этой девицей, пока не научила ее как следует заваривать чай.

Рози было по меньшей мере семьдесят. На ней было очень шикарное, очень короткое зеленое шелковое платье без рукавов, обильно украшенное бриллиантами, с квадратным вырезом; оно обтягивало ее туго-натуго. Судя по ее фигуре, она носила резиновый корсет. У нее были кроваво-красные ногти и выщипанные брови. Она

располнела, подбородок у нее стал двойной; кожа на груди, несмотря на обильный слой пудры, была красноватая, как и лицо. Но она выглядела здоровой, крепкой и полной энергии. Ее волосы, такие же пышные, как и раньше, но совершенно седые, были коротко острижены и завиты. В молодости они у нее ложились мягкими, естественными волнами, и эти жесткие завитки, как будто только что из парикмахерской, больше всего изменили ее внешность. Единственное, что осталось прежним, — улыбка: в ней сохранилась все та же детская, озорная прелесть. Зубы у Рози были когда-то неправильные и некрасивые; но теперь их заменили искусственные — абсолютно ровные и снежно-белые: они явно стоили больших денег.

Негритянка-горничная изящно накрыла стол к чаю, подав сандвичи, домашнее печенье, конфеты, маленькие ножи и вилки, крохотные салфеточки. Все было очень аккуратно и шикарно.

— Никогда не могла обойтись без чая, — сказала Рози, беря горячую булочку с маслом. — А вот это я люблю больше всего, хоть и знаю, что нельзя. Мой доктор всегда говорит: «Миссис Иггалден, вы никогда не похудеете, если будете съедать за

чаем по полдюжины булочек».

Она улыбнулась мне, и я вдруг почувствовал, что, несмотря на стриженые волосы, пудру и полноту, передо мной все та же прежняя Рози.

— Но я считаю так: чуточка лакомства не повредит.

Мне всегда было легко с ней говорить. Скоро мы уже болтали, как будто с нашей последней встречи прошло всего несколько недель.

— Вы удивились, когда получили мое письмо? Я подписалась «Дриффилд», чтобы вы знали, от кого оно. Мы взяли фамилию Иггалден, когда переехали в Америку. У Джорджа были кое-какие неприятности, когда он уезжал из Блэкстебла — вы, наверное, слышали, и он решил, что на новом месте лучше начать под новым именем, понимаете?

Я кивнул.

— Бедный Джордж! Знаете, он умер десять лет назад.

— Очень печально.

— Ну, ведь он был уже старый. Ему перевалило за семьдесят, хоть по нему вы бы этого никак не сказали. Это был для меня большой удар. О таком муже женщина может только мечтать. Ни одного худого слова с самой свадьбы до того дня,

когда он умер. И к тому же оставил меня вполне обеспеченной.

— Очень приятно слышать.

— Да, у него здесь дела пошли хорошо. Он занялся строительством — у него всегда была к этому склонность — и связался с Таммани. Он всегда говорил: самой большой ошибкой в его жизни было то, что он не приехал сюда на двадцать лет раньше. Здесь ему понравилось с самого первого дня. Он всегда был полон энергии — а тут это и нужно. Как раз такие люди тут и процветают.

— А в Англии вы больше не были?

— Нет, никогда не стремилась. Джордж время от времени поговаривал, чтобы проехаться туда ненадолго, но мы так и не собрались, а теперь, когда его уже нет, мне и не хочется. Я думаю, Лондон показался бы мне скучноват после Нью-Йорка. Мы ведь жили в Нью-Йорке — сюда я переехала только после его смерти.

— А почему вы выбрали Йонкерс?

— Ну, мне он всегда нравился. Я говорила Джорджу: когда удалимся от дел, будем жить в Йонкерсе. Он для меня — как кусочек Англии. Мейдстон, или Гилфорд, или что-то в этом роде.

Я улыбнулся, но понял, что она имела в виду. Несмотря на трамваи и автомобильные гудки,

несмотря на кинотеатры и электрические рекламы, Йонкерс с его извилистой главной улицей слегка напоминал свихнувшийся английский провинциальный город.

— Конечно, я иногда думала, что там поделывают в Блэкстебле. Скорее всего, сейчас их почти никого и в живых нет, да и они, наверное, тоже считают, что я умерла.

— Я не был там тридцать лет.

Я не знал тогда, что слух о смерти Рози дошел до Блэкстебла. Наверное, кто-нибудь привез известие о смерти Джорджа Кемпа, и вышла путаница.

— Здесь, наверное, никто не знает, что вы были первой женой Эдуарда Дриффилда?

— О нет! Что вы, если бы они знали, тут бы вокруг меня репортеры жужжали, как пчелы. Знаете, я еле удерживаюсь от смеха, когда где-нибудь играю в бридж и начинают говорить о книгах Теда. В Америке его обожают. Я сама никогда не была о нем такого высокого мнения.

— Но вы ведь не очень жаловали романы?

— Мне больше нравилась история, а теперь у меня на книги и времени не остается. Самый лучший день для меня — воскресенье: здесь замечательные воскресные газеты. В Англии

нет ничего подобного. И потом, я много играю в бридж — просто без ума от него.

Я вспомнил, что, когда мальчишкой впервые познакомился с Рози, меня поразило ее необыкновенное мастерство в висте. Я мог себе представить, как она играет в бридж, — быстро, смело и точно: хороший партнер и опасный противник.

— Вы бы удивились, если бы знали, какой тут поднялся шум, когда Тед умер. Я знала, что они его очень ценят, но никогда не думала, что он такая большая пташка. Газеты только о нем и писали и печатали его портреты и снимки Ферн-Корта: он всегда говорил, что когда-нибудь будет там жить. И что это он женился на той сиделке? Я всегда думала, что он женится на миссис Бартон Траффорд. У них так и не было детей?

— Нет.

— Тед хотел бы иметь детей. Для него был большой удар, что у меня после первых родов детей больше не будет.

— А я и не знал, что у вас был ребенок, — сказал я удивленно.

— Был. Потому Тед на мне и женился. Но мне пришлось очень тяжело, когда я рожала, и врачи сказали, что больше у меня ребенка не будет. Бедняжка, если бы она осталась жива, я бы, наверное,

никогда не убежала с Джорджем. Ей было шесть лет, когда она умерла. Она была такая милая и красивая, как на картинке.

— Вы никогда о ней не говорили.

— Да, я о ней не могла говорить. Она заболела менингитом, и мы отвезли ее в больницу. Ее положили в отдельную палату, и нам разрешили оставаться с ней. Никогда не забуду, как она мучилась — кричала, кричала, кричала, и никто не мог ничего сделать.

Голос Рози прервался.

— Это ее смерть описал Дриффилд в «Чаше жизни»?

— Да. Я всегда этому удивлялась. Он тоже не мог об этом говорить, как я, а потом взял и все описал. Не забыл ни одну мелочь, даже те, что я тогда и не заметила, а вспомнила только потом. Можно подумать, что он был совсем бессердечный, но он не такой, ему было так же тяжело, как и мне. Когда мы ночью приходили домой, он плакал, как ребенок. Чудной человек, правда?

Это была та самая «Чаша жизни», которая вызвала такую бурю протеста, и именно смерть ребенка и следовавший за ней эпизод навлекли на Дриффилда особенно злобные нападки. Я очень хорошо помнил это описание. Оно было

душераздирающим. В нем не было ничего сентиментального; оно вызывало у читателя не слезы, а скорее гнев при мысли, что такие жестокие страдания вынужден испытывать маленький ребенок. Невольно приходило в голову, что в Судный день Господу Богу придется держать ответ за такие вещи. Это был очень сильно написанный отрывок. Но если этот эпизод был взят из жизни, то не так ли было и с последующим? Он-то и шокировал больше всего публику девяностых годов, и его-то критики осуждали как не только непристойный, но и неправдоподобный. В «Чаше жизни» муж с женой (не помню теперь, как их звали) возвращаются из больницы после смерти ребенка — они бедные люди и живут в меблированных комнатах, едва сводя концы с концами. Они садятся пить чай. Уже поздно — около семи часов. Они измучены после целой недели непрерывной тревоги и потрясены своим несчастьем. Им нечего сказать друг другу. Они сидят молча, погруженные в горе. Проходят часы. Потом жена вдруг встает, идет в спальню и надевает шляпку.

«Пойду пройдусь», — говорит она.

«Ладно».

Они живут около вокзала Виктория. Она проходит по Бекингем-Палас-роуд, через парк, выходит

на Пиккадилли и медленно идет к площади. Какой-то мужчина перехватывает ее взгляд, останавливается и поворачивается к ней.

«Добрый вечер», — говорит он.

«Добрый вечер».

Она останавливается и улыбается.

«Не хотите ли зайти выпить?» — спрашивает он.

«Ничего не имею против».

Они заходят в кабачок в одном из переулков Пиккадилли, где собираются продажные женщины и куда за ними приходят мужчины, и выпивают по стакану пива. Она болтает и смеется с незнакомцем, рассказывает ему о себе вымышленную историю. Вскоре он спрашивает, нельзя ли им пойти к ней. Нет, отвечает она, нельзя, но она может пойти с ним в гостиницу. Они садятся на извозчика и едут в Блумсбери, где снимают на ночь комнату. А на следующее утро она на автобусе доезжает до Трафальгар-сквер и идет через парк. Когда она приходит домой, муж как раз садится завтракать. После завтрака они снова идут в больницу, чтобы заняться устройством похорон.

— Скажите мне вот что, Рози, — начал я. — То, что случилось в книге после смерти ребенка, —

это произошло на самом деле?

Мгновение она нерешительно смотрела на меня; потом на ее губах появилась та же, все еще прелестная улыбка.

— Ну, это было столько лет назад, так что какая разница? Так и быть, скажу. Он немного напутал. Ведь это были только его догадки. Я удивилась, что он и это-то знал: я никогда ничего ему не говорила.

Рози взяла сигарету и задумчиво постучала кончиком по столу, но не закурила.

— Мы пришли из больницы, точно как он написал. Мы шли пешком: я чувствовала, что не смогу усидеть на извозчике, и у меня все внутри было как мертвое. Я столько плакала, что уже больше не могла, и очень устала. Тед пробовал меня утешать, но я сказала: «Ради Бога, замолчи». После этого он не промолвил ни слова. Мы тогда жили в комнатах на Воксхолл-Бридж-роуд, на третьем этаже — всего только гостиная и спальня, вот почему нам пришлось отдать бедную малышку в больницу: мы не могли там за ней ухаживать. И потом, хозяйка была против, да и Тед сказал, что в больнице девочке будет лучше. В общем, неплохая была женщина эта хозяйка; когда-то она была проституткой, и Тед часами с ней болтал.

Она услышала, что мы вернулись, и поднялась к нам. «Ну, как сегодня девочка?» — спросила она. «Умерла», — ответил Тед, а я и слова не могла сказать. Тогда она принесла нам чаю. Я ничего не хотела, но Тед заставил меня съесть немного ветчины. Потом я села у окошка. Я не оглянулась, когда хозяйка пришла убрать со стола: мне не хотелось ни с кем говорить. Тед читал книгу; по крайней мере делал вид, что читает, но ни разу не перевернул страницу, и я видела, как на нее капают слезы. Я все смотрела в окно. Был конец июня, двадцать восьмое число, и дни стояли долгие. Мы жили недалеко от угла, и я смотрела, как люди входят в закусочную и выходят, и как взад-вперед ездят трамваи. Я думала, этот день никогда не кончится, а потом вдруг заметила, что уже вечер. Все фонари горели, на улице было множество людей. Я чувствовала такую усталость, и ноги у меня как свинцом налились. «Почему ты не зажжешь газ?» — спросила я Теда. «Зажечь?» — спросил он. «Что толку сидеть в темноте?» — сказала я. Он зажег газ и закурил трубку. Я знала, что это ему помогает. А я просто сидела и смотрела на улицу. Не могу понять, что на меня тогда нашло. Я почувствовала, что сойду с ума, если буду сидеть в этой комнате. Я захотела пойти куда-нибудь, где

светло и много народу. Я хотела уйти от всего, что Тед думал и чувствовал. У нас было только две комнаты. Я пошла в спальню; там все еще стояла дочкина кроватка, но я не могла на нее смотреть. Я надела шляпку и вуаль и переоделась, а потом вернулась к Теду. «Пойду пройдусь», — сказала я. Тед посмотрел на меня. По-моему, он заметил, что я надела свое новое платье, и, может быть, по тому, как я это сказала, он понял, что без него мне будет лучше. «Ладно», — сказал он. В книге он заставил меня идти через парк, но на самом деле было не так. Я дошла до вокзала Виктория и на извозчике доехала до Черинг-Кросс. Это стоило всего шиллинг. Потом я пошла по Стрэнду. Что я буду делать — это я придумала еще до того, как вышла на улицу. Вы помните Гарри Ретфорда? Так вот, он тогда играл в театре «Эделфи», он был там второй комик. Ну, я подошла к служебному входу и передала ему, что я здесь. Гарри Ретфорд мне всегда нравился. По-моему, он был не очень щепетилен и всегда довольно-таки свободно относился ко всяким денежным делам, но он всегда умел рассмешить, и при всех его недостатках был на редкость хороший человек. Вы знали, что его убили на бурской войне?

— Нет, не знал; знал только, что он исчез, и

никто не видел больше его имени на афишах. Я думал, может быть, он занялся каким-нибудь бизнесом или чем-то в этом роде.

— Нет, он сразу пошел на войну. Его убили под Ледисмитом. Я подождала немного, потом он спустился, и я сказала: «Гарри, давай сегодня гульнем. Как насчет ужина у Романо?» — «Хорошая идея, — сказал он. — Подожди здесь, как только спектакль кончится, я разгримируюсь и спущусь». Мне стало легче уже от того, что я его увидела; он играл бегового жучка, и мне было смешно даже просто смотреть на него в этом клетчатом костюме и шляпе набекрень, с красным носом. Ну, я подождала до конца спектакля, потом он вышел, и мы отправились в «Романо». «Хочешь есть?» — спросил он меня. «Умираю с голоду», — ответила я, да так оно и было. «Закажем все самое лучшее, — сказал он, — и наплевать на расходы. Я сказал Биллу Террису, что иду ужинать со своей любимой девушкой, и стрельнул у него пару фунтов». — «Давай выпьем шампанского», — говорю я. «Да здравствует вдовушка!» — говорит он. Не знаю, бывали ли вы в старину у Романо. Там было замечательно. Все актеры туда ходили, и публика со скачек, и девушки из «Гэйти». Хорошее было место. И потом сам Романо — Гарри знал его, и он

подошел к нашему столику. Обычно он говорил на смешном ломаном английском, я думаю, притворялся, потому что знал, что это смешно. А если кто-нибудь из его знакомых оказывался на мели, всегда давал пятерку взаймы. «Как малышка?» — спросил Гарри. «Лучше», — сказала я. Я не хотела говорить ему правду. Вы знаете, какие странные эти мужчины: есть такие вещи, которых они не понимают. Я уверена, Гарри подумал бы, что это ужасно: что я пошла с ним ужинать, когда бедная девочка лежит в больнице мертвая. Он очень сочувствовал бы и все такое, но мне не это нужно было: я хотела смеяться.

Рози закурила сигарету, которую вертела в руках.

— Знаете, иногда, когда женщина рожает, муж не выдерживает, идет и берет какую-нибудь другую женщину. Потом, когда она об этом узнает, а она узнает до странности часто, она устраивает ужасные сцены, говорит, как это можно, чтобы человек сделал такую вещь, когда ей так плохо, и что это невозможно стерпеть. А я всегда говорю, что нечего быть дурочкой. Это не значит, что он ее не любит и за нее не переживает: ничего это не значит — просто нервы. Если бы он не переживал, ему ничего такого и в голову бы не пришло.

Я знаю, потому что именно так я тогда себя чувствовала. Когда мы кончили ужинать, Гарри сказал: «Ну, что дальше?» — «А что дальше?» — спросила я. В те времена никаких танцулек не было, и пойти было некуда. «А что, если зайти ко мне посмотреть фотографии?» — говорит Гарри. «Почему бы и нет», — говорю я. У него была крохотная квартирка на Черинг-Кросс-роуд — две комнаты, ванная и маленькая кухонька, мы поехали туда, и я осталась там на ночь. Когда я утром вернулась домой, завтрак был уже готов и Тед только что сел за стол. Я решила про себя, что, если он скажет хоть слово, я ему устрою скандал. Мне было все равно, что будет дальше. Я и раньше зарабатывала на жизнь и была готова делать это снова. Я бы в два счета собрала вещи и тут же от него бы ушла. Но он только взглянул на меня. «Как раз вовремя, — говорит. — Я только что собирался съесть твою сосиску». Я села и налила ему чаю, а он продолжал читать газету. Позавтракали мы и пошли в больницу. Он так и не спросил, где я была. Не знаю, что он об этом думал. Он все то время был ко мне ужасно добр. Я чувствовала себя совершенно несчастной, и мне казалось, что я не смогу это пережить, а он делал все, что мог, чтобы мне было легче.

— И что вы подумали, когда прочитали книгу? — спросил я.

— Ну, когда я увидела, что он почти все знает про ту ночь, мне стало не по себе. Но что меня больше всего удивило — это то, что он вообще об этом написал. Я думала — чего-чего, а уж этого он в книгу не вставит. Странные вы люди, писатели.

Тут зазвонил телефон. Рози сняла трубку:

— О, мистер Вануцци, как мило с вашей стороны, что вы позвонили! Дела идут хорошо, спасибо. Ну, и сама хороша, если вам так угодно. В моем возрасте лишним комплиментом не брезгуют.

Она углубилась в разговор, который, судя по ее тону, носил шутливый и отчасти игривый характер. Я не очень вслушивался и, так как разговор оказался долгий, погрузился в размышления о жизни писателя. Она полна испытаний. Сначала ему приходится терпеть нужду и равнодушие; потом, достигнув кое-какого успеха, он должен безропотно принимать все капризы судьбы, которые с этим связаны. Он целиком зависит от ветреной публики. Он отдан на милость журналистов, которые хотят брать у него интервью, и фотографов, которые хотят его фотографировать; на милость редакторов, которые выколачивают

из него рукописи, и сборщиков налогов, которые выколачивают из него подоходный налог; на милость высокопоставленных персон, которые приглашают его на обед, и секретарей всяких обществ, которые приглашают его читать лекции; на милость женщин, которые хотят выйти за него замуж, и женщин, которые хотят с ним развестись; на милость юнцов, которые норовят получить у него роль, и незнакомцев, которые норовят получить у него денег взаймы; на милость словообильных леди, которые просят совета в своих семейных делах, и серьезных молодых людей, которые просят совета в своих литературных поисках; на милость агентов, издателей, антрепренеров, зануд, почитателей, критиков и своей собственной совести. Но есть у него одно возмещение. Что бы ни лежало у него на сердце — тревожные мысли, скорбь о смерти друга, безответная любовь, уязвленное самолюбие, гнев на измену человека, к которому он был добр, короче — какое бы чувство или какая бы мысль его ни смущали — ему достаточно лишь записать это чувство или эту мысль черным по белому, использовать как тему рассказа или как украшение очерка, чтобы о них забыть. Писатель — единственный на свете свободный человек.

Рози положила трубку и повернулась ко мне:

— Это один из моих кавалеров. Я вечером иду играть в бридж, и он позвонил сказать, что заедет за мной на своей машине. Он, конечно, итальяшка, но очень мил. У него была большая бакалейная лавка в Нью-Йорке, но сейчас он отошел от дел.

— А вы никогда не думали еще раз выйти замуж?

— Нет.

Она улыбнулась.

— Не то чтобы мне не делали предложений. Мне просто и так хорошо. Я на это вот как смотрю: за старика я выходить не хочу, а выйти за молодого в мои годы было бы глупо. Я славно пожила в свое время, и хватит с меня.

— А почему вы бежали с Джорджем Кемпом?

— Ну, он мне всегда нравился. Я ведь знала его задолго до того, как познакомилась с Тедом. Конечно, я никогда не думала, что мне удастся выйти за него замуж. Во-первых, он уже был женат, а потом, ему нужно было думать о своем положении. А когда он в один прекрасный день пришел и сказал, что все пропало, что он разорен и вот-вот будет приказ о его аресте, и что он едет в Америку, и не поеду ли я с ним, — что ж я могла

поделать? Не могла же я его отпустить в такую даль одного, может быть, без денег, — ведь он всегда был такой важный, жил в собственном доме и ездил в собственной тележке. Работать-то я не боялась.

— Я иногда думаю, что только его одного вы и любили, — предположил я.

— Пожалуй, отчасти так и есть.

— Не могу понять, что вы в нем такого нашли?

Взгляд Рози упал на портрет на стене, которого я почему-то до сих пор не заметил. Это была увеличенная фотография Лорда Джорджа в резной позолоченной рамке. Судя по внешности, он снялся вскоре после переезда в Америку — возможно, когда они поженились. Он был изображен по колено, в длинном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и цилиндре, лихо сдвинутом набекрень. В петлице у него красовалась крупная роза, под мышкой он держал трость с серебряным набалдашником, а в правой руке — большую дымящуюся сигару. У него были густые усы с нафабренными концами, нахальный взгляд, и выглядел он высокомерным и важным. Его галстук был заколот булавкой в виде подковы, усыпанной бриллиантами. Он походил на трактирщика, который вырядился в свой лучший

костюм, чтобы пойти на дерби.

— Я вам скажу, — ответила мне Рози. — Он всегда был такой образцовый джентльмен.

Театр

© Перевод. Г. Островская, наследники, 2011.

Глава первая

Дверь отворилась, Майкл Госселин поднял глаза. В комнату вошла Джулия.

— Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минутку. Только покончу с письмами.

— Я не спешу. Просто зашла посмотреть, какие билеты послали Деннорантам. Что тут делает этот молодой человек?

С безошибочным чутьем опытной актрисы приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что прошла.

— Это бухгалтер. Из конторы Лоренса и Хэмфри. Он здесь уже три дня.

— Выглядит очень юным.

— Он у них в учениках по контракту. Похоже, что дело свое знает. Поражен тем, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Он не представлял себе, что можно поставить театр на деловые рельсы. Говорит, в некоторых фирмах счетные книги в таком состоянии, что поседеть можно.

Джулия улыбнулась, глядя на красивое лицо мужа, излучающее самодовольство.

— Тактичный юноша.

— Он сегодня кончает. Не взять ли его с собой перекусить на скорую руку? Он вполне хорошо воспитан.

— По-твоему, этого достаточно, чтобы приглашать его к ленчу? Майкл не заметил легкой иронии, прозвучавшей в ее голосе. — Если ты возражаешь, я не стану его звать. Я просто подумал, что это доставит ему большое удовольствие. Он страшно тобой восхищается. Три раза ходил на последнюю пьесу. Ему до смерти хочется познакомиться с тобой.

Майкл нажал кнопку и через секунду на пороге появилась его секретарша.

— Письма готовы, Марджори. Какие на сегодня у меня назначены встречи?

Джулия вполуха слушала список, который читала Марджори, и от нечего делать оглядывала комнату, хотя помнила ее до мелочей. Как раз такой кабинет и должен быть у антрепренера первоклассного театра. Стены были обшиты панелями (по себестоимости) хорошим декоратором, на них висели гравюры на театральные сюжеты, выполненные Зоффани и де-Уайльдом. Кресла удобные, большие. Майкл сидел в чип-

пендейле[68] — подделка, но куплена в известной мебельной фирме, — его стол, с тяжелыми пузатыми ножками, тоже чиппендейл, выглядел необыкновенно солидно. На столе стояли ее фотография в массивной серебряной рамке и, для симметрии, фотография Роджера, их сына. Между ними помещался великолепный серебряный чернильный прибор, который она подарила как-то Майклу в день рождения, а впереди — бювар из красного сафьяна с богатым золотым узором, где Майкл держал бумагу, на случай если ему вздумается написать письмо от руки. На бумаге был адрес: «Сиддонс-театр», на конвертах эмблема Майкла: кабанья голова, а под ней девиз: «Nemo me impune lacessit»[69]. Желтые тюльпаны в серебряной вазе, выигранной Майклом на состязаниях по гольфу среди актеров, свидетельствовали о заботливости Марджори. Джулия бросила на нее задумчивый взгляд. Несмотря на коротко стриженные, обесцвеченные перекисью волосы и густо накрашенные губы, у нее был бесполый вид, отличающий идеальную секретаршу. Она проработала с Майклом пять лет, должна была

[68] Примечания: 68
Стиль английской мебели XVIII века.

[69] Примечания: 69
Никто не тронет меня безнаказанно (*лат.*).

вдоль и поперек изучить его за это время. Интересно, хватило у нее ума влюбиться в него?

Майкл поднялся с кресла:

— Ну, дорогая, я готов.

Марджори подала ему черную фетровую шляпу и распахнула дверь. Когда они вышли в контору, юноша, которого заметила, проходя, Джулия, обернулся и встал.

— Разрешите познакомить вас с миссис Лэмберт, — сказал Майкл. Затем добавил с видом посла, представляющего атташе царственной особе, при дворе которой он аккредитован: — Это тот джентльмен, который любезно согласился привести в порядок наши бухгалтерские книги.

Юноша залился ярким румянцем. На теплую улыбку Джулии, всегда бывшую у нее наготове, он ответил деревянной улыбкой. А сердечно пожав ему руку, она отметила, что ладонь его стала влажной от пота. Его смущение было трогательно. Так, верно, чувствовали себя те, кого представляли Саре Сиддонс[70]. Джулия подумала, что не очень-то любезно ответила Майклу, когда он предложил позвать мальчика на ленч. Она посмотрела ему прямо в глаза своими огромными

---

[70] Примечания: 70

Сиддонс, Сара (1755–1831) — знаменитая английская актриса.

темно-карими лучистыми глазами. Без всякого усилия, так же инстинктивно, как отмахнулась бы от докучавшей ей мухи, она вложила в голос чуть ироничное, ласковое радушие:

— Может быть, вы не откажетесь поехать с нами перекусить? Майкл привезет вас обратно после ленча.

Юноша опять покраснел, кадык на его тонкой шее судорожно дернулся.

— Это очень любезно с вашей стороны. — Он встревоженно осмотрел свой костюм. — Но я невероятно грязен.

— Вы сможете умыться и почиститься, когда приедете к нам.

Машина ждала у служебного входа: длинный черный автомобиль с хромированными деталями, сиденья обтянуты посеребренной кожей, эмблема Майкла скромно украшает дверцы. Джулия села сзади.

— Садитесь со мной. Майкл поведет машину.

Они жили на Стэнхоуп-плейс. Когда они приехали, Джулия велела дворецкому показать юноше, где он может помыть руки. Сама она поднялась в гостиную. В то время как она красила губы, появился Майкл.

— Я сказал ему, чтобы он шел сюда, как только

будет готов.

— Между прочим, как его зовут?

— Понятия не имею.

— Милый, надо же нам знать. Я попрошу его расписаться в книге для посетителей.

— Слишком много чести. — Майкл просил расписываться только самых почетных гостей. — Мы видим его здесь в первый и последний раз.

В этот момент молодой человек появился в дверях. В машине Джулия приложила все старания, чтобы успокоить его, но он, видно, все еще робел. Их уже ждал коктейль, Майкл разлил его по бокалам. Джулия вынула сигарету, и молодой человек зажег спичку, но рука его так сильно дрожала, что ей ни за что бы не удалось прикурить, поэтому она сжала ее своими пальцами.

«Бедный ягненочек, — подумала Джулия, — верно, сегодня самый знаменательный день в его жизни. Будет на седьмом небе от счастья, когда начнет рассказывать об этом. Он станет героем в своей конторе, и все от зависти лопнут».

Язык Джулии сильно разнился, когда она говорила сама с собой и с другими людьми. С собой она не стеснялась в выражениях. Джулия с наслаждением сделала первую затяжку. Право же, если подумать, разве не удивительно, что ленч

с ней и получасовой разговор придаст человеку столько важности, сделает его крупной персоной в его жалком кружке.

Юноша выдавил из себя фразу:

— Какая потрясающая комната.

Джулия одарила его очаровательной улыбкой, слегка приподняв свои прекрасные брови, что он, наверное, не раз видел на сцене.

— Я очень рада, что она вам нравится. — Голос у нее был низкий и чуть хрипловатый. По тону Джулии можно было подумать, что его слова сняли огромную тяжесть с ее души. — Мы в семье считаем, что у Майкла превосходный вкус.

Майкл самодовольно оглядел комнату.

— У меня такой богатый опыт. Я всегда сам придумываю интерьеры для наших пьес. Конечно, у нас есть человек для черновой работы, но идеи мои.

Они переехали в этот дом два года назад, и Майкл так же, как и Джулия, знал, что они отдали его в руки опытного декоратора, когда отправились в турне по провинции, и тот взялся полностью его подготовить к их приезду, причем бесплатно, за то, что они предоставят ему работу в театре, когда вернутся. Но к чему было сообщать эти скучные подробности человеку, даже имя которого было

им неизвестно. Дом был отлично обставлен, в нем удачно сочетались антиквариат и модерн, и Майкл мог с полным правом сказать, что это, вне сомнения, дом джентльмена. Однако Джулия настояла на том, чтобы спальня была такой, как она хочет, и, поскольку ее абсолютно устраивала спальня в их старом доме в Риджентс-парк, где они жили с конца войны, перевезла ее сюда всю целиком. Кровать и туалетный столик были обтянуты розовым шелком, кушетка и кресло — светло-голубым, который так любил Натье[71]; над кроватью порхали пухлые позолоченные херувимы, держащие лампу под розовым абажуром, такие же пухлые позолоченные херувимы окружали гирляндой трюмо. На столе атласного дерева стояли в богатых рамах фотографии с автографами: актеры, актрисы и члены королевской фамилии. Декоратор презрительно поднял брови, но это была единственная комната в доме, где Джулия чувствовала себя по-настоящему уютно. Она писала письма за бюро из атласного дерева, сидя на позолоченном стуле.

Дворецкий объявил, что ленч подан, и они пошли вниз.

---

[71] Примечания: 71
Натье, Жан Марк (1685–1766) — французский портретист.

— Надеюсь, вы не останетесь голодны, — сказала Джулия. — У нас с Майклом очень плохой аппетит.

И действительно: на столе их ждали жареная камбала, котлеты со шпинатом и компот. Эта еда могла утолить законный голод, но не давала потолстеть. Кухарка, предупрежденная Марджори, что к ленчу будет еще один человек, приготовила на скорую руку жареный картофель. Он выглядел хрустящим и аппетитно пахнул. Но ел его только гость. Майкл уставился на блюдо с таким видом, словно не совсем понимал, что там лежит, затем, чуть заметно вздрогнув, очнулся от мрачной задумчивости и сказал: нет, благодарю. Они сидели за длинным и узким обеденным столом, Джулия и Майкл на торцовых концах, друг против друга, в величественных итальянских креслах, молодой человек — посредине, на не очень удобном, но гармонирующем с прочей мебелью стуле. Джулия заметила, что он посматривает на буфет, и наклонилась к нему с обаятельной улыбкой.

— Вам что-нибудь нужно?

Он покраснел.

— Нельзя ли мне ломтик хлеба?

— Конечно.

Джулия бросила на дворецкого выразительный

взгляд — он в этот момент как раз наливал белое сухое вино в бокал Майкла, — и тот вышел из комнаты.

— Мы с Майклом не едим хлеба. Джевонс сглупил, не подумав, что вам он может понадобиться.

— Разумеется, есть хлеб — это только привычка, — сказал Майкл. — Поразительно, как легко от нее отучаешься, если твердо решишь.

— Бедный ягненочек, худой как щепка, Майкл.

— Я отказался от хлеба не потому, что боюсь потолстеть. Я не ем его, так как не вижу в этом смысла. При моем моционе я могу есть все, что хочу.

Для пятидесяти двух лет у Майкла была еще очень хорошая фигура. В молодости его густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос и маленькие уши завоевали ему славу первого красавца английской сцены. Только тонкие губы несколько портили его. Высокий — шести футов роста, — он отличался к тому же прекрасной осанкой. Столь поразительная внешность и побудила Майкла пойти на сцену, а не в армию — по стопам отца. Сейчас его каштановые волосы почти совсем поседели, и он стриг их куда короче, лицо стало

шире, на нем появились морщины, кожа перестала напоминать персик, по щекам зазмеились красные жилки. Но благодаря великолепным глазам и стройной фигуре он все еще был достаточно красив. Проведя пять лет на войне, Майкл усвоил военную выправку, и, если бы вы не знали, кто он (что вряд ли было возможно, так как фотографии его по тому или другому поводу вечно появлялись в иллюстрированных газетах), вы бы приняли его за офицера высокого ранга. Он хвастал, что его вес сохранился таким, каким был в двадцать лет, и многие годы вставал в любую погоду в восемь часов утра, надевал шорты и свитер и бегал по Риджентс-парку.

— Секретарша сказала мне, что вы были на репетиции сегодня утром, мисс Лэмберт, — заметил юноша. — Вы собираетесь ставить новую пьесу?

— Отнюдь, — ответил Майкл. — Мы делаем полные сборы.

— Майкл решил, что мы немного разболтались, и назначил репетицию.

— И очень этому рад. Я обнаружил, что кое-где вкрались трюки, которых я не давал при постановке, и во многих местах актеры позволяют себе вольничать с текстом. Я очень педантичен в этих вопросах и считаю, что надо строго придержи-

ваться авторского слова, хотя, видит Бог, то, что пишут авторы в наши дни, немногого стоит.

— Если вы хотите посмотреть эту пьесу, — любезно сказала Джулия, — я уверена, Майкл даст вам билет.

— Мне бы очень хотелось пойти еще раз, — горячо сказал юноша. — Я видел спектакль уже три раза.

— Неужели? — изумленно воскликнула Джулия, хотя она прекрасно помнила, что Майкл ей об этом говорил. — Конечно, пьеска эта не так плоха, она вполне отвечает своему назначению, но я не представляю, чтобы кому-нибудь захотелось трижды смотреть ее.

— Я не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры.

«Все-таки я вытянула из него это», — подумала Джулия и добавила вслух:

— Когда мы читали пьесу, Майкл еще сомневался. Ему не очень понравилась моя роль. Вы знаете, по сути, это — не для ведущей актрисы. Но я решила, что сумею кое-что из нее сделать. Понятно, на репетициях вторую женскую роль пришлось сильно сократить.

— Я не хочу сказать, что мы заново переписали пьесу, — добавил Майкл, — но, поверьте, то, что

вы видите сейчас на сцене, сильно отличается от того, что предложил нам автор.

— Вы играете просто изумительно, — сказал юноша. («А в нем есть свой шарм».)

— Рада, что я вам понравилась, — ответила Джулия.

— Если вы будете очень любезны с Джулией, она, возможно, подарит вам на прощание свою фотографию.

— Правда? Подарите?

Он снова вспыхнул, его голубые глаза засияли. («А он и впрямь очень-очень мил».) Красивым юношу, пожалуй, назвать было нельзя, но у него было открытое прямодушное лицо, а застенчивость казалась даже привлекательной. Волнистые светло-каштановые волосы были тщательно приглажены, и Джулия подумала, насколько больше бы ему пошло, если бы он не пользовался бриллиантином. У него был свежий цвет лица, хорошая кожа и мелкие красивые зубы. Джулия заметила с одобрением, что костюм сидит на нем хорошо и он умеет его носить. Юноша выглядел чистеньким и славным.

— Вам, верно, раньше не приходилось бывать за кулисами? — спросила она.

— Никогда. Вот почему мне до смерти хотелось

получить эту работу. Вы даже не представляете, что это для меня значит!

Майкл и Джулия благожелательно ему улыбнулись. Под его восхищенными взорами они росли в собственных глазах.

— Я никогда не разрешаю посторонним присутствовать на репетиции, но, поскольку вы теперь наш бухгалтер, вы вроде бы входите в труппу, и я не прочь сделать для вас исключение, если вам захочется прийти, — сказал Майкл.

— Это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Я еще ни разу в жизни не был на репетиции. А вы будете играть в новой пьесе, мистер Госселин?

— Нет, не думаю. Я теперь не очень-то стремлюсь играть. Почти невозможно найти роль на мое амплуа. Понимаете, в моем возрасте уже не станешь играть любовников, а авторы перестали писать роли, которые в моей юности были в каждой пьесе. То, что французы называют «резонер». Ну, вы знаете, что я имею в виду — герцог, или министр, или известный королевский адвокат, которые говорят остроумные вещи и обводят всех вокруг пальца. Не понимаю, что случилось с авторами. Похоже, они вообще разучились писать. От нас ожидают, что мы построим здание, но где кирпичи? И вы думаете, они нам благодарны?

Авторы, я хочу сказать. Вы бы поразились, если бы услышали, какие условия у них хватает наглости ставить!

— Однако факт остается фактом: нам без них не обойтись, — улыбнулась Джулия. — Если пьеса плоха, ее никакая игра не спасет.

— Все дело в том, что и публика перестала по-настоящему интересоваться театром. В великие дни расцвета английской сцены люди не ходили смотреть пьесы, они ходили смотреть актеров. Не важно, что играли Кембл[72] или миссис Сиддонс. Публика шла, чтобы смотреть на их игру. И хотя я не отрицаю, если пьеса плоха, мы горим. Все же, когда она хороша, даже теперь зрители приходят смотреть актеров, а не пьесу.

— Я думаю, никто с этим не станет спорить, — сказала Джулия.

— Такой актрисе, как Джулия, нужно одно — произведение, где она может себя показать. Дайте ей его, и она сделает все остальное.

Джулия улыбнулась юноше очаровательной, но чуть-чуть извиняющейся улыбкой.

— Не надо принимать моего мужа слишком всерьез. Боюсь, там, где дело касается меня, он

---

[72] Примечания: 72
Кембл, Джон (1757–1823) — английский актер.

немного пристрастен.

— Если молодой человек что-нибудь в этом смыслит, он должен знать, что в области актерского искусства ты можешь все.

— Я просто остерегаюсь делать то, чего не могу. Отсюда и моя репутация.

Но тут Майкл взглянул на часы.

— Ну, юноша, нам следует ехать.

Молодой человек проглотил залпом то, что еще оставалось у него в чашке. Джулия поднялась из-за стола.

— Вы не забыли, что обещали мне фотографию?

— Думаю, у Майкла в кабинете найдется что-нибудь подходящее. Пойдемте, вместе выберем.

Джулия провела его в большую комнату позади столовой. Хотя предполагалось, что это будет кабинет Майкла — «Надо же человеку иметь место, где он может посидеть без помех и выкурить трубку», — использовали ее главным образом как гардеробную, когда у них бывали гости. Там стояло прекрасное бюро красного дерева, на нем фотографии Георга V и королевы Марии с их личными подписями. Над камином висела старая копия портрета Кембла в роли Гамлета кисти

Лоренса[73]. На столике лежала груда напечатанных на машинке пьес. По стенам шли книжные полки, закрытые снизу дверцами. Открыв дверцу, Джулия вынула пачку своих последних фотографий. Протянула одну из них юноше:

— Эта, кажется, не так плоха.

— Очаровательна.

— Значит, я здесь не настолько похожа, как думала.

— Очень похожи. В точности как в жизни.

На этот раз улыбка ее была иной, чуть лукавой; Джулия опустила на миг ресницы, затем, подняв их, поглядела на юношу с тем мягким выражением глаз, которое поклонники называли ее бархатным взглядом. Она не преследовала этим никакой цели, сделала это просто механически, из инстинктивного желания нравиться. Мальчик был так молод, так робок, казалось, у него такой милый характер, и она никогда больше его не увидит, ей не хотелось, так сказать, остаться в долгу, хотелось, чтобы он вспоминал об этой встрече, как об одном из великих моментов своей жизни. Джулия снова взглянула на фотографию. Неплохо бы на самом деле выглядеть

---

[73] Примечания: 73

Лоренс, Томас (1769–1830) — английский живописец.

так. Фотограф посадил ее, не без ее помощи, самым выгодным образом. Нос у нее был слегка толстоват, но благодаря искусному освещению это совсем не заметно; ни одна морщинка не портила гладкой кожи, от взгляда ее прекрасных глаз невольно таяло сердце.

— Хорошо. Получайте эту. Вы сами видите, я не красивая и даже не хорошенькая. Коклен[74] всегда говорил, что у меня beaute du diable[75]. Вы ведь понимаете по-французски?

— Для этого — достаточно.

— Я надпишу ее вам.

Джулия села за бюро и своим четким плавным почерком написала: «Искренне Ваша, Джулия Лэмберт».

---

[74] Примечания: 74
Коклен, Бенцо Констан (1841–1909) — французский актер.

[75] Примечания: 75
Бесовская красота (*фр.*).

Глава вторая

Когда мужчины ушли, Джулия снова пересмотрела фотографии перед тем, как положить их на место.

«Неплохо для сорока шести лет, — улыбнулась она. — Я тут похожа, не приходится спорить. — Она оглянулась в поисках зеркала, но не нашла. — Чертовы декораторы. Бедный Майкл. Чего удивляться, что он редко здесь сидит. Конечно, я никогда не была особенно фотогенична».

У Джулии вдруг возникло желание взглянуть на старые снимки. Майкл был человек деловой и аккуратный. Все ее фотографии хранились в больших картонных коробках, в хронологическом порядке. Его собственные, также датированные, были в других коробках в том же шкафу.

— Когда кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой, — говорил он.

С тем же похвальным намерением он с самого первого дня на сцене наклеивал все газетные вырезки в большие конторские книги, и их накопилась уже целая полка.

Там были детские карточки Джулии и снимки,

сделанные в ранней юности; Джулия в первых своих ролях, Джулия — молодая замужняя женщина с Майклом, а затем с Роджером, тогда еще младенцем. Одна их фотография — Майкл, мужественный и неправдоподобно красивый, она сама, воплощенная нежность, и Роджер, маленький кудрявый мальчик, — имела колоссальный успех. Все иллюстрированные газеты отдали ей по целой странице; ее печатали на программках. Уменьшенная до размеров художественной открытки, она в течение многих лет продавалась в провинции. Так досадно, что, поступив в Итон, Роджер наотрез отказался фотографироваться вместе с матерью. Удивительно — не хотеть попасть в газеты!

— Люди подумают, что ты — урод или еще что-нибудь, — сказала она. — В этом нет ничего зазорного. Пойди на премьеру, посмотри, как все эти дамы и господа из общества толпятся вокруг фотографов, все эти министры, судьи и прочие. Они делают вид, будто им это ни к чему, но надо видеть, какие позы они принимают, когда им кажется, что фотограф нацелил на них объектив.

Однако Роджер стоял на своем.

На глаза Джулии попалась ее фотография в роли Беатриче. Единственная шекспировская роль

в ее жизни. Джулия знала, что плохо выглядит в костюмах той эпохи, хотя никогда не могла понять почему: никто лучше нее не умел носить современное платье. Она все шила себе в Париже — и для сцены, и для личного обихода; портнихи говорили, что ни от кого не получают столько заказов. Фигура у нее прелестная, все это признают: длинные ноги и, для женщины, довольно высокий рост. Жаль, что ей не выпало случая сыграть Розалинду, ей бы очень пошел мужской костюм. Разумеется, теперь уже поздно, а может, и хорошо, что она не стала рисковать. Хотя при ее блеске, ее лукавом кокетстве и чувстве юмора она, наверное, была бы идеальна в этой роли. Критикам не очень понравилась ее Беатриче. Все дело в этом проклятом белом стихе. Ее голос, низкий, глубокий, грудной голос с такой эффектной хрипотцой, от которой в чувствительном пассаже у вас сжималось сердце, а смешные строки казались еще смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Опять же ее артикуляция: она всегда была настолько четка, что Джулии не приходилось нажимать, и так каждое слово слышно в последних рядах галерки; говорили, что из-за этого стихи звучат у нее как проза. Все дело в том, думала Джулия, что она слишком современна.

Майкл начал с Шекспира. Это было еще до их знакомства. Он играл Ромео в Кембридже, и после того, как, окончив университет, провел год в драматической школе, его ангажировал Бенсон[76]. Майкл гастролировал по провинции и играл самые разные роли. Он скоро понял, что с Шекспиром далеко не уедешь, и если он хочет стать ведущим актером, ему надо научиться играть в современных пьесах. В Миддлпуле был театр с постоянной труппой и постоянным репертуаром, привлекавший к себе большое внимание; им заведовал некий Джеймс Лэнгтон. Проработав в труппе Бенсона три года, Майкл написал Лэнгтону, когда они собирались в очередную поездку в Миддлпул, и спросил, нельзя ли с ним повидаться. Джимми Лэнгтон, толстый, лысый, краснощекий мужчина сорока пяти лет, похожий на одного из зажиточных бюргеров Рубенса, обожал театр. Он был эксцентричен, самонадеян, полон кипучей энергии, тщеславен и неотразим. Он любил играть, но его внешние данные годились для очень немногих ролей, и слава Богу, так как актер он был плохой. Он не мог умерить

[76] Примечания: 76

Бенсон, Франк Роберт (1858–1939) — английский актер и режиссер, посвятивший себя постановке шекспировских пьес, организатор ежегодных фестивалей на родине Шекспира — в Стратфорде-на-Эйвоне.

присущую ему экспансивность, и, хотя внимательно изучал и обдумывал свою роль, все они превращались в гротеск. Он утрировал каждый жест, чрезмерно подчеркивал каждое слово. Но когда он вел репетицию с труппой — иное дело, тогда он не переносил никакой наигранности. Ухо у Джимми было идеальное, хотя сам он и слова не мог произнести в нужной тональности, сразу замечал, если фальшивил кто-то другой.

— Не *будьте* естественны, — говорил он актерам. — На сцене не место этому. Здесь все — притворство. Но извольте *казаться* естественными.

Джимми выжимал из актеров все соки. Утром, с десяти до двух, шли репетиции, затем он отпускал их домой учить роли и отдохнуть перед вечерним спектаклем. Он распекал их, он кричал на них, он насмехался над ними. Он недостаточно им платил. Но если они хорошо исполняли трогательную сцену, он плакал как ребенок, и когда смешную фразу произносили так, как ему хотелось, он хватался за бока. Если он был доволен, он прыгал по сцене на одной ножке, а когда сердился, кидал пьесу на пол и топтал ее, а по его щекам катились гневные слезы. Труппа смеялась над Джимми, ругала его и делала все, чтобы ему

угодить. Он возбуждал в них покровительственный инстинкт, все они, до одного, чувствовали, что просто не могут его подвести. Они говорили, что он дерет с них три шкуры, у них и минутки нет свободной, такой жизни даже скотина не выдержит, и при этом им доставляло какое-то особое удовольствие выполнять его непомерные требования. Когда он с чувством пожимал руку старого актера, получающего семь фунтов в неделю, и говорил: «Клянусь Богом, старина, ты был просто сногсшибателен», — старик чувствовал себя Чарлзом Кином[77].

Случилось так, что когда Майкл приехал в Миддлпул на встречу, о которой просил в письме, Джимми Лэнгтону как раз требовался актер на амплуа первого любовника. Он догадался, по какому поводу Майкл хочет его видеть, и пошел накануне в театр посмотреть на его игру. Майкл выступал в роли Меркуцио и не очень ему понравился, но когда тот вошел к нему в кабинет, Джимми был поражен его красотой. В коричневом сюртуке и серых брюках из легкой шерсти он, даже без грима, был так хорош, что прямо дух захватывало. У него были непринужденные

[77] Примечания: 77
Кин, Чарлз Джефри (1811–1868) — известный английский актер.

манеры, и говорил он как джентльмен. Пока Майкл излагал цель своего визита, Джимми внимательно за ним наблюдал. Если он хоть как-то может играть, с такой внешностью этот молодой человек далеко пойдет.

— Я видел вашего Меркуцио вчера, — сказал он. — Что вы сами о нем думаете?

— Отвратительный.

— Согласен. Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Вам, наверное, говорили, что вы красивы?

— Потому-то я и пошел на сцену, а не в армию, как отец.

— Черт побери, мне бы вашу внешность, какой бы я был актер!

Кончилась встреча тем, что Майкл подписал контракт. Он пробыл у Джимми Лэнгтона два года. Вскоре он сделался любимцем труппы. Он был добродушен и отзывчив, не жалел труда, чтобы оказать услугу. Его красота произвела сенсацию в Миддлпуле, и у служебного входа вечно торчала куча девиц, поджидавших, когда он выйдет. Они писали ему любовные письма и посылали цветы. Майкл принимал их поклонение как должное, но не позволял вскружить себе голову. Он стремился к успеху и твердо решил, что не свяжет

себя ничем, что может этому помешать. Джимми Лэнгтон скоро пришел к заключению, что, несмотря на настойчивость Майкла и горячее желание преуспеть, из него никогда не получится хороший актер. Спасала Майкла только красота. Голос у него был тонковат и в особо патетические моменты звучал чуть пронзительно. Это скорее было похоже на истерику, чем на бурную страсть. Но самым большим его недостатком в качестве героя-любовника было то, что он не умел изображать любовь. Он свободно вел обычный диалог, умел донести «соль» произносимых им строк, но, когда доходило до признания в любви, что-то его сковывало. Он смущался, и это было видно.

— Черт вас подери, не держите девушку так, словно это мешок с картофелем! — кричал на него Джимми Лэнгтон. — Вы целуете ее с таким видом, будто боитесь заразиться простудой! Вы влюблены в нее. Вам должно казаться, будто вы таете как воск и если через секунду будет землетрясение и земля вас поглотит, черт с ним, с этим землетрясением!

Но все было напрасно. Несмотря на свою красоту, изящество и непринужденные манеры, Майкл оставался холодным любовником. Это не помешало Джулии страстно им увлечься. Произошло

это сразу же, как только Майкл присоединился к их труппе.

У самой Джулии все шло без сучка без задоринки. Родилась Джулия на Джерси, где ее отец, уроженец этого острова, практиковал в качестве ветеринара. Сестра ее матери вышла замуж за француза, торговца углем, который жил в Сен-Мало, и Джулию отправили к ней учиться в местном лицее. По-французски она говорила как настоящая француженка. Она была прирожденная актриса, и, сколько себя помнила, ни у кого не вызывало сомнений, что она пойдет на сцену. Ее тетушка, мадам Фаллу, была «en relations»[78] со старой актрисой, бывшей в молодости sociétaire[79] в Comédie Française[80]. Уйдя из театра, та переселилась в Сен-Мало и жила там на небольшую пенсию, которую назначил ей один из ее любовников, когда они наконец расстались после многих лет верного внебрачного сожительства. К тому времени, когда Джулии исполнилось двенадцать, эта актриса превра-

---

[78] Примечания: 78
«В добрых отношениях» (*фр.*).

[79] Примечания: 79
Постоянный член труппы «Комеди Франсез»; здесь: актриса (*фр.*).

[80] Примечания: 80
«Комеди Франсез» (*фр.*).

тилась в толстую, громогласную и деятельную старуху шестидесяти лет с лишком, больше всего на свете любившую вкусно поесть. У нее был звонкий раскатистый смех и зычный, низкий, как у мужчины, голос. Она-то и давала Джулии первые уроки драматического искусства и научила всем приемам, которые сама в свое время узнала в Conserwatoire[81]. Она же рассказывала ей о Рейхенберг, выступавшей в амплуа инженю до семидесяти лет, о Саре Бернар[82] и ее золотом горле, о величественном Муне-Сюлли[83] и великом Коклене. Она читала Джулии длинные отрывки из трагедий Корнеля и Расина так, как привыкла произносить их в Comédie Française, и следила, чтобы та разучивала их подобным же образом. Девочка прелестно декламировала полные истомы и страсти монологи Федры, подчеркивая ритм александрийского стиха и выговаривая слова так аффектированно и вместе с тем так драматично. В свое время Жанна Тэбу, должно быть, играла в очень нарочитой манере, но она

---

[81] Примечания: 81
Высшее музыкальное и театральное училище (*фр.*).

[82] Примечания: 82
Бернар, Сара (1844–1923) — знаменитая французская актриса.

[83] Примечания: 83
Муне-Сюлли, Жан (1841–1916) — известный французский актер.

научила Джулию превосходной артикуляции, научила ходить и держаться на сцене, научила ее не бояться собственного голоса и отшлифовала ее интуитивное умение установить нужный ритм, которое впоследствии стало одним из самых больших ее достоинств.

— Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, — гремела старая актриса, колотя кулаком по столу, — но уж если сделала, тяни ее, сколько сможешь.

Когда Джулии исполнилось шестнадцать и она пошла в Королевскую академию драматического искусства на Говер-стрит, она уже знала многое из того, чему там учили. Ей пришлось избавиться от некоторых приемов, которые выглядели старомодно, и приучиться к более разговорной манере исполнения. Но она занимала первые места на всех конкурсах, в которых участвовала, и, как только окончила школу, почти сразу получила благодаря своему превосходному французскому небольшую роль горничной в одном из лондонских театров. Какое-то время казалось, что ее знание французского языка обречет ее только на такие роли, где требуется иностранный акцент, так как следом за французской горничной она играла австрийскую официантку. Прошло два

года, прежде чем ее открыл Джимми Лэнгтон. Джулия гастролировала по провинции с мелодрамой, хорошо принятой в Лондоне, в роли итальянки-авантюристки, чьи интриги в конце концов оказываются раскрытыми; она старалась, без особого успеха, изобразить сорокалетнюю женщину Поскольку ведущая актриса, блондинка зрелого возраста, играла молодую девушку, все представление было лишено правдоподобия. Джимми дал сам себе короткий отпуск, который он проводил, посещая театр за театром, в разных городах. После окончания спектакля он пошел за кулисы познакомиться с Джулией. Джимми был достаточно известен в театральных кругах для того, чтобы его комплименты польстили ей, и когда он пригласил ее назавтра к ленчу, Джулия согласилась.

Не успели они сесть за столик, как он без обиняков приступил к делу.

— Я этой ночью и глаз не сомкнул, все думал о вас.

— Вот это сюрприз! И какие же у вас были мысли — честные или бесчестные?

Джимми пропустил мимо ушей легкомысленный ответ.

— Я участвую в этой игре уже двадцать пять

лет. Я был мальчиком, вызывающим актеров на сцену, рабочим сцены, актером, режиссером, рекламным агентом, был даже критиком, черт побери. Я живу среди кулис с самого детства, с тех пор как вышел из школы, и то, чего я не знаю о театре, и знать не стоит. Я думаю, что вы — огромный талант.

— Очень мило с вашей стороны.

— Заткнитесь. Говорить предоставьте мне. У вас идеальные данные. Подходящий рост, подходящая фигура, каучуковое лицо…

— Очень лестно.

— Еще как. Такое лицо и нужно актрисе. Лицо, которое может быть любым, даже прекрасным, лицо, на котором отражается каждая мысль, проносящаяся в уме. Такое лицо было у Дузе[84]. Вчера вечером, хотя вы по-настоящему и не думали о том, что делали, время от времени слова, которые вы произносили, были просто написаны у вас на лице.

— Это ужасная роль. Там и думать-то не о чем. Вы слышали, какую ерунду я должна пороть?

— Ужасными бывают только актеры, а не роли. У вас необыкновенный голос, голос, который мо-

---

[84] Примечания: 84

Дузе, Элеонора (1859–1924) — итальянская актриса.

жет перевернуть всю душу. Как вы в комических ролях — я не знаю, но готов рискнуть.

— Что вы этим хотите сказать?

— Ваше чувство ритма почти безупречно. Этому нельзя научить, должно быть, оно у вас от природы. И это куда лучше. Перехожу к сути дела. Я навел о вас справки. Вы в совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают роли, где нужен ломаный английский язык. На этом, знаете, далеко не уедешь.

— Это все, что я могу получить.

— Вас удовлетворит всю жизнь изображать такие персонажи? Вы застрянете на них, и публика не станет принимать вас ни в каком другом амплуа. Вы всегда будете на второстепенных ролях. Самое большое — двадцать фунтов в неделю и гибель большого таланта.

— Я всегда думала, что наступит день, и я получу настоящую роль.

— Когда? Вы можете прождать десять лет. Сколько вам сейчас?

— Двадцать.

— Сколько вы получаете?

— Пятнадцать фунтов в неделю.

— Неправда. Вы получаете двенадцать, и это куда больше того, что вы сейчас стоите. Вам еще

всему надо учиться. Ваши жесты банальны. Вы даже не догадываетесь, что каждый жест должен что-то означать. Вы не умеете заставить публику смотреть на вас до того, как вы заговорите. Вы слишком грубо накладываете грим. С таким лицом, как у вас, чем меньше грима, тем лучше. Вы хотите стать звездой?

— Кто же не хочет?

— Переходите ко мне, и я сделаю вас величайшей актрисой Англии. Вы быстро запоминаете текст? Наверное, да, в вашем возрасте…

— Думаю, могу слово в слово запомнить любую роль через двое суток.

— Вам нужен опыт, и я — для того чтобы вас сделать. Переходите ко мне, и вы будете иметь двадцать ролей в год. Ибсен, Шоу, Баркер, Зудерман, Хэнкин, Голсуорси. В вас есть огромное обаяние, но, судя по всему, вы еще не имеете ни малейшего представления, как им пользоваться. — Джимми засмеялся коротким смешком. — А если бы имели, эта старая карга в два счета выжила бы вас из труппы. Вы должны брать публику за горло и говорить: «Эй вы, собаки, глядите-ка на меня». Вы должны властвовать над ней. Если у человека нет таланта, никто ему его не даст, но если талант есть, можно научить им пользовать-

ся. Говорю вам, у вас есть все задатки великой актрисы. Я еще никогда в жизни ни в чем не был так уверен.

— Я знаю, что мне не хватает опыта. Конечно, мне надо подумать о вашем предложении. Я бы не прочь перейти к вам на один сезон.

— Идите к черту. Вы воображаете, я смогу за один сезон сделать из вас актрису? Стану тянуть из себя жилы, чтобы вы дали несколько приличных представлений, а потом уехали в Лондон играть какую-нибудь ничтожную роль в коммерческой пьесе? За какого же кретина вы меня принимаете! Я подпишу с вами контракт на три года, я буду платить вам восемь фунтов в неделю, и работать вам придется как лошади.

— О восьми фунтах в неделю не может быть и речи. Это смешно. Такого предложения я принять не могу.

— Прекрасно можете. Это все, чего вы сейчас стоите, и все, что вы будете получать.

Джулия пробыла в театре три года и успела к этому времени многое узнать. К тому же Жанна Тэбу, не отличавшаяся строгой моралью, поделилась с ней массой полезных сведений.

— А не рассчитываете ли вы случайно, что за эти же деньги я стану спать с вами?

— О Господи, неужели вы думаете, у меня есть время крутить романы с актрисами моей труппы? У меня куча куда более важных дел, детка. И вы увидите, что после четырех часов репетиций, не говоря уж об утренних представлениях, да после того, как вы сыграете вечером в спектакле так, что я буду вами доволен, у вас тоже не будет ни времени, ни желания заниматься любовью. Когда вы ляжете наконец в постель, вам одного захочется — спать.

Но тут Джимми Лэнгтон ошибся.

Глава третья

Джулия, захваченная энтузиазмом и фантастической энергией Лэнгтона, приняла предложение. Джимми начал с ней со скромных ролей, которые под его руководством она играла так, как никогда раньше. Он заинтересовал ею критиков, польстил им, сделав вид, будто это они открыли новый необыкновенный талант, и, незаметно для них самих, выудил предложение показать ее публике в роли Магды[85]. Джулия имела колоссальный успех, и тогда Джимми дал ей одну за другой Нору в «Кукольном доме»[86], Энн в «Человек и сверхчеловек»[87] и Гедду Габлер[88]. Миддлпульцы были в восторге, обнаружив в своем театре актрису, которая могла затмить любую лондонскую звезду, и, чтобы увидеть ее, ломились на такие спектакли, на которые рань-

---

[85] Примечания: 85
Героиня драмы Германа Зудермана (1857–1928) «Родина».

[86] Примечания: 86
Драма Г. Ибсена.

[87] Примечания: 87
Пьеса Б. Шоу.

[88] Примечания: 88
Героиня одноименной драмы Г. Ибсена.

ше ходили только из местного патриотизма. О Джулии стали упоминать в столичных газетах, и многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Миддлпул на нее посмотреть. Они возвращались, превознося ее до небес, и два или три лондонских антрепренера послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Те колебались. В драмах Шоу и Ибсена она была хороша, а какой она окажется в обычной пьесе? У антрепренеров уже был печальный опыт. Прельстившись выдающейся игрой какого-нибудь актера в одной из этих чудных пьес, они подчас заключали с ним контракт, а потом обнаруживалось, что во всех остальных пьесах он играет ничуть не лучше других.

Когда Майкл присоединился к их труппе, Джулия играла в Миддлпуле уже целый год. Джимми выпустил его в роли Марчбенкса в «Кандиде»[89]. Это оказался правильный выбор, как того и следовало ожидать, ибо в этой роли красота Майкла была большим преимуществом, а отсутствие темперамента не являлось недостатком.

…Джулия протянула руку и взяла первую из картонных коробок, в которых лежали фото-

---

[89] Примечания: 89
Пьеса Б. Шоу.

графии Майкла. С удобством расположившись на полу, она быстро просматривала его ранние фотографии в поисках той, которая была сделана, когда он впервые приехал в Миддлпул. Когда она наконец нашла снимок, сердце ее вдруг сжалось от острой боли. Несколько секунд Джулия боролась со слезами. Такой он тогда и был. Кандиду играла немолодая актриса, обычно выступавшая в характерных ролях или в ролях матерей и старых тетушек, и Джулия, которая была занята только по вечерам, посещала все репетиции. Она влюбилась в Майкла с первого взгляда. Джулия никогда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Выждав время, Джимми поставил «Привидения»[90], с риском навлечь на себя гнев респектабельного Миддлпула. Майкл играл в нем юношу, Джулия — Регину. Они читали друг другу свои роли, а после репетиции вместе перекусывали — очень скромно, — чтобы их обсудить. Вскоре они стали неразлучны. Джулия не могла совладать с собой и безудержно льстила Майклу. Он не был тщеславен: зная, что красив, он выслушивал комплименты по этому поводу не то чтобы безразлично, но так, словно

[90] Примечания: 90
Драма Г. Ибсена.

речь шла о прекрасном старом доме, который переходил в их семье из поколения в поколение. Было известно, что это один из лучших образчиков архитектуры своей эпохи, им гордились, о нем заботились, но в том, что он существовал, не было ничего особенного, владеть им казалось так же естественно, как дышать. Майкл был неглуп и честолюбив; он знал, что красота — пока его главный козырь, но знал также, что она недолговечна, и твердо решил стать хорошим актером, чтобы в дальнейшем опираться на кое-что еще, кроме внешних данных. Он намеревался научиться у Джимми Лэнгтона всему, чему можно, а затем уехать в Лондон.

— Если я хорошо использую обстоятельства, может быть, я найду какую-нибудь старуху, которая субсидирует меня и поможет открыть собственный театр. Это единственный способ сколотить состояние.

Джулия скоро обнаружила, что Майкл не очень-то любит тратиться, и, когда они завтракали или отправлялись по воскресеньям на небольшую прогулку, не забывала вносить свою долю в их расходы. Джулия ничего не имела против этого. Ей нравилось, что он считает пенни, и, будучи сама склонна сорить деньгами, вечно

запаздывая на неделю, а то и на две с квартирной платой, она восхищалась тем, что он терпеть не может влезать в долги и даже при своем скудном жалованье умудряется регулярно кое-что откладывать. Майкл хотел скопить достаточную сумму к тому времени, как переберется в Лондон, чтобы иметь возможность не хвататься за первую предложенную роль, а подождать, пока подвернется что-нибудь стоящее. Родители его жили на небольшую пенсию и должны были лишить себя самого необходимого, чтобы послать его в Кембридж. Однако отец, которому не очень-то нравилось намерение Майкла идти на сцену, был тверд.

— Если ты решил стать актером, я, по-видимому, не смогу тебе помешать, — сказал он, — но, черт подери, я настаиваю, чтобы ты получил образование, приличествующее джентльмену.

Джулия с удовлетворением узнала, что отец Майкла был полковник в отставке, на нее произвел большое впечатление рассказ об их предке, проигравшем при регентстве в карты все свое состояние, ей нравилось кольцо с печаткой, которое носил Майкл, где была выгравирована кабанья голова и девиз: «Nemo me impune lacessit».

— Мне кажется, ты больше гордишься своей

семьей, чем тем, что похож на греческого бога, — нежно говорила она ему.

— Кто угодно может быть красив, — отвечал он со своей привлекательной улыбкой, — но не всякий может похвалиться добропорядочной семьей. Сказать по правде, я рад, что мой отец — джентльмен.

Джулия собралась с духом и сказала:

— А мой — ветеринар.

На секунду лицо Майкла окаменело, но он тут же справился с собой и рассмеялся.

— Конечно, это не имеет особого значения, кто у тебя отец. Я часто слышал, как мой отец вспоминал о полковом ветеринаре. Он был у них на равных с офицерами. Отец всегда говорил, что он был один из лучших людей в полку.

Джулия была рада, что Майкл окончил Кембридж. Он был в гребной команде своего колледжа, и одно время поговаривали о том, чтобы включить его в университетскую сборную.

— Я, понятно, очень этого хотел. Это бы так пригодилось в дальнейшем. Можно было бы прекрасно использовать для рекламы.

Джулия не могла сказать, знает он, что она в него влюблена, или нет. Сам он никогда никаких авансов не делал. Ему нравилось ее общество, и,

когда они оказывались в компании, он почти не отходил от нее. Иногда их приглашали в воскресенье в гости, на обед или на роскошный холодный ужин, и ему казалось вполне естественным, что они идут туда вместе и вместе уходят. Он целовал ее, прощаясь у двери, но так, как мог бы целовать пожилую актрису, с которой играл в «Кандиде». Майкл был сердечен, добродушен, ласков, но, как ей это ни было больно, Джулия не могла не видеть, что она для него всего лишь товарищ. Однако знала она и то, что ни в кого другого он тоже не влюблен. Любовные письма, которые ему писали, он со смехом читал ей вслух, а когда женщины присылали ему цветы, тут же отдавал их Джулии.

— Вот идиотки, — говорил он. — Какого черта они хотят этим достичь?

— Мне кажется, об этом нетрудно догадаться, — сухо отвечала Джулия. Хотя ей было известно, что он ни во что не ставит эти знаки внимания, она все равно злилась и ревновала.

— Я был бы последним дураком, если бы связался с кем-нибудь здесь, в Миддлпуле. В большинстве это все желторотые девчонки. Не успею я и глазом моргнуть, как на меня накинется разгневанный родитель и скажет: а не хотите ли вы

под венец?

Джулия пыталась узнать, не было ли у него интрижки, когда он играл в труппе Бенсона. Она постепенно выяснила, что некоторые из молодых актрис были склонны ему докучать, но он считал, что связываться с женщинами из своей труппы — страшная ошибка. Это никогда не доводит до добра.

— Ты же знаешь, какие актеры сплетники! Всем все будет известно через двадцать четыре часа. И когда начнешь что-нибудь в этом роде, никогда не скажешь заранее, чем все кончится. Нет, я не собирался рисковать.

Когда Майклу хотелось поразвлечься, он ждал, пока они не окажутся неподалеку от Лондона, мчался туда и подцеплял девчонку в ресторане «Глобус». Конечно, это было дорого и, по сути дела, не стоило затраченных денег; к тому же у Бенсона он много играл в крикет и, если представлялась возможность, в гольф, а всякие такие вещи вредны для глаз.

Джулия выдала ему наглую ложь:

— Джимми говорит, я куда лучше играла бы, если бы завела роман.

— Не верь ему. Он просто грязный старикашка. С кем? Наверное, с ним? Все равно что сказать,

будто я лучше сыграл бы Марчбенкса, если бы писал стихи.

Они столько разговаривали друг с другом, что рано или поздно она должна была выяснить его взгляды на брак.

— Я думаю, актер просто дурак, если он женится молодым. Я знаю кучу примеров, когда это совершенно загубило человеку карьеру. Особенно если он женится на актрисе. Он делается звездой, и тогда она камнем висит у него на шее. Она хочет играть с ним, и, если у него своя труппа, он вынужден отдавать ей первые роли, а пригласи он кого-нибудь другого, она станет устраивать ему ужасные сцены. Всегда есть опасность, что у нее родится ребенок, и ей придется отказаться от превосходной роли. Она на много месяцев исчезнет с глаз публики, а ты сама знаешь, что такое публика — с глаз долой, из сердца вон. Если она не видит тебя каждый день, она вообще забывает о твоем существовании.

Замужество! Что ей было замужество? Сердце таяло у нее в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза, она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми кудрями. Что бы она ему ни отдала, если бы он попросил! Но мысль об

этом ни разу не закралась в его красивую голову.

«Конечно, я ему нравлюсь, — сказала себе Джулия. — Нравлюсь больше, чем кто-либо другой, он даже восхищается мной, но я не привлекаю его как женщина». Джулия сделала все, чтобы его соблазнить, разве что не легла к нему в постель, и то лишь по одной причине — не представлялось удобного случая. Она стала опасаться, что они чересчур хорошо узнали друг друга, вряд ли их отношения смогут теперь принять другой характер, и горько упрекала себя за то, что не довела дела до конца, когда они только познакомились. Майкл слишком искренне сейчас к ней привязан, чтобы стать ее любовником. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар — вещь, которую ему хотелось иметь больше всего на свете. Он стоил куда дороже, чем она могла себе позволить, Майкл с улыбкой попенял ей за мотовство. Он и не догадывался, с каким экстатическим наслаждением тратила она на него деньги. Когда настал ее день рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества. Бедный ягненочек, ему трудно было заставить себя войти в большой расход, но она была очень тронута тем, что он вообще сделал ей

подарок, и чуть не расплакалась.

— Ну и чувствительная ты, крошка, — сказал Майкл, однако он был умилен: ему польстили ее слезы.

Его бережливость казалась Джулии привлекательной чертой. Майкл просто не мог сорить деньгами. Он был не то чтобы скуп, просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту, но когда она отважилась запротестовать, он и ухом не повел. Он давал ровно десять процентов и, если у него не было мелочи и он не мог дать точной суммы, спрашивал сдачу.

«В долг не бери и взаймы не давай», — цитировал он Полония.

Когда кто-либо из членов труппы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Майкла деньги, это было пустой затеей. Но отказывал он так бесхитростно, с такой сердечностью, что на него не обижались.

— Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свищу. Не представляю, как заплачу за жилье в конце недели.

В течение первых месяцев Майкл так был занят собственными ролями, что не имел возможности заметить, какая Джулия прекрасная актриса. Он,

конечно, читал отзывы в газетах, где полно было похвал по ее адресу, но читал бегло, пока не доходил до строк, посвященных лично ему. Он бывал доволен, когда его одобряли, и не расстраивался, когда его бранили. Майкл был слишком скромен, чтобы возмущаться нелестными отзывами.

— Наверное, я и вправду был ужасен, — говорил он.

Самой приятной чертой в характере Майкла было его добродушие. Он переносил все громы и молнии Джимми Лэнгтона с полной невозмутимостью. Когда после долгой репетиции у остальных актеров начинали сдавать нервы, он оставался безмятежен. С ним было просто невозможно поссориться. Однажды Майкл сидел в зрительном зале и смотрел репетицию того акта, где сам он не играл. В конце была очень сильная и трогательная сцена, в которой Джулия имела возможность показать свой талант. Пока готовили декорации для следующего акта, Джулия прошла в зал и села рядом с Майклом. Он продолжал сидеть молча, сурово глядя прямо перед собой.

Джулия удивилась: не улыбнуться ей, не бросить дружеского слова — это было на него не похоже. И тут она увидела, что он стискивает зубы, чтобы они не стучали, и что глаза его пол-

ны слез.

— Что случилось, милый?

— Не заговаривай со мной. Маленькая чертовка, ты заставила меня плакать.

— Ангел!

На глаза Джулии тоже навернулись слезы и потекли по щекам. Она была так счастлива, так польщена!

— А, пропади оно все пропадом, — всхлипнул Майкл. — Ничего не могу с собой поделать.

Он вынул из кармана платок и вытер глаза. («Я люблю его, люблю, люблю!») Майкл высморкался.

— Стало немного лучше, но, клянусь Богом, ты меня потрясла.

— Неплохая сцена, правда?

— При чем тут сцена? Все дело в тебе. Ты перевернула мне всю душу. Критики правы, черт побери, ты — настоящая актриса, ничего не скажешь.

— И ты только сейчас это увидел?

— Я знал, что ты хорошо играешь, но и понятия не имел, что так хорошо. Мы все рядом с тобой ничто. Ты будешь звездой. Что бы ни стояло у тебя на пути.

— Тогда ты будешь моим партнером.

— Черта лысого это мне удастся у лондонских антрепренеров.

Джулию осенило:

— Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей.

Майкл помолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль.

— Знаешь, а это совсем неплохая идея.

За ленчем они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия, Майкл слушал с глубоким интересом.

— Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли — это самому быть антрепренером труппы, — сказал он.

Все упиралось в деньги. Они прикинули, с чего можно начать. Майкл считал, что им надо минимум пять тысяч фунтов. Но как, скажите на милость, им раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из миддлпульских фабрикантов просто купаются в золоте, однако вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на пять тысяч фунтов, чтобы помочь двум молодым актерам, заслужившим только местную славу. К тому же они ревниво относились к Лондону.

— Придется тебе поискать богатую старуху, — весело сказала Джулия.

Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект, который еще больше сблизил бы ее с Майклом. Однако Майкл был вполне серьезен.

— Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают. Самое верное — года три-четыре поиграть в чужих труппах; нужно разведать все ходы и выходы. Это имеет еще одно преимущество — у нас будет время познакомиться с пьесами. Безумие — открывать свой театр, не имея в запасе по крайней мере трех пьес. Одна из них должна стать гвоздем сезона.

— Конечно, и нам надо непременно играть вместе, чтобы публика привыкла видеть наши имена на одной и той же афише.

— Не думаю, чтобы это имело особое значение. Главное — завоевать в Лондоне хорошую репутацию, тогда нам куда легче будет найти людей, которые финансируют наше предприятие.

Глава четвертая

Дело шло к Пасхе, а Джимми Лэнгтон всегда закрывал театр на страстную неделю. Джулия не представляла, куда ей себя девать; вряд ли стоило ехать на Джерси на такое короткое время. Однажды утром она неожиданно получила письмо от миссис Госселин, матери Майкла, где говорилось, что она доставит им с полковником большое удовольствие, если приедет на недельку вместе с Майклом к ним в Челтнем. Когда она показала письмо Майклу, он просиял.

— Я попросил ее тебя пригласить. Я думал, это будет приличнее, чем просто взять тебя с собой.

— Ты — душка. Конечно, я буду очень рада поехать.

Сердце Джулии трепетало от счастья. Что могло быть восхитительней, чем провести целую неделю вместе с Майклом! И это так на него похоже: прийти на выручку, когда ему стало известно, что она не знает, что бы ей предпринять. Но тут она увидела, что он чем-то обеспокоен.

— В чем дело?

Майкл смущенно рассмеялся:

— Понимаешь, дорогая, мой отец немного ста-

ромоден, есть вещи, которые ему уже трудно постигнуть. Конечно, я не хочу, чтобы ты лгала, но боюсь, ему покажется странным, что твой отец был ветеринар. Когда я спросил их в письме, могу ли я тебя привезти, я написал, что он был врач.

— Ну, это не имеет значения.

Джулия сразу увидела, что полковник далеко не так страшен, как она ожидала. Он был худой, невысокого роста, с морщинистым лицом и коротко подстриженными седыми волосами. В его чертах сквозило несколько подержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении. Держался он любезно, но сдержанно. Он не был ни раздражителен, ни деспотичен, как боялась Джулия, знакомая с полковниками только по сцене. Она не представляла себе, как этим учтивым, довольно холодным голосом можно выкрикивать слова команды. По правде говоря, полковник Госселин вышел в отставку с почетным званием шефа полка после ничем не выдающейся службы и уже много лет довольствовался тем, что копался у себя в саду и играл в бридж в клубе. Он читал «Таймс», по воскресеньям ходил в церковь и сопровождал жену на чаепития в гости. Миссис Госселин была высокая

полная пожилая женщина, куда выше мужа; при взгляде на нее чудилось, будто она все время старается съежиться. В ее лице еще сохранились следы былой привлекательности, и можно было поверить, что в молодости она была настоящая красавица. Она носила волосы на прямой пробор и закручивала их узлом на затылке. Благодаря росту и классическим чертам лица миссис Госселин показалась Джулии при первой встрече весьма внушительной, но вскоре она обнаружила, что та на редкость застенчива. Движения ее были неловки и скованны, одета она была безвкусно, со старомодной роскошью, которая совсем ей не шла. Джулия, не смущавшаяся ни при каких обстоятельствах, нашла конфузливость этой немолодой уже женщины трогательной. Миссис Госселин никогда не приходилось встречаться с актрисой, и она не знала, как себя держать в этом затруднительном положении. Дом отнюдь не был великолепным — небольшой оштукатуренный особнячок в саду с живой изгородью из лавровых кустов. Поскольку Госселины несколько лет провели в Индии, в комнатах стояли большие медные подносы и вазы, на замысловатых резных столиках лежали индийские вышивки. Все это была дешевка, которую там продают на базарах,

и приходилось только удивляться, что кто-то счел нужным везти все это домой, в Англию.

Джулия была далеко не глупа. Ей не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что полковник, при всей его сдержанности, и миссис Госселин, при всей ее робости, критически изучают и оценивают ее. У нее мелькнула мысль, что Майкл привез ее родителям на смотрины. Зачем? Ответ мог быть только один, и когда он пришел Джулии в голову, сердце подскочило у нее в груди. Она видела: ему очень хочется, чтобы она произвела хорошее впечатление. Джулия интуитивно поняла, что должна скрыть в себе актрису, и без всякого усилия, без сознательного намерения, просто потому, что чувствовала — это должно понравиться, стала играть роль простой, скромной, простодушной девушки, всю жизнь спокойно жившей на лоне природы. Она гуляла с полковником по саду и, затаив дыхание, слушала разглагольствования о горохе и спарже; она помогала миссис Госселин поливать цветы и стирала пыль с бесчисленных безделушек, которыми была забита гостиная. Она говорила с ней о Майкле. Рассказывала, как талантливо он играет, какой пользуется популярностью, восхищалась его красотой. Джулия видела: мис-

сис Госселин очень им гордится, и внутренний голос ей подсказал, что той понравится, если она покажет, конечно, чрезвычайно тактично, словно предпочла бы держать это в тайне и лишь нечаянно выдала себя, как она, Джулия, прямо по уши влюблена в ее сына.

— Разумеется, мы надеемся, что он добьется успеха, — сказала миссис Госселин. — Мы не очень-то были рады, когда он задумал идти на сцену; мы по обеим линиям потомственные военные, но он ни о чем другом и слышать не хотел.

— Да, конечно, я понимаю, о чем вы говорите.

— Я знаю, сейчас все иначе, чем в дни моей молодости, но ведь он все же настоящий джентльмен.

— О, теперь, знаете, на сцену идут самые порядочные люди. Теперь не то, что в старые времена.

— Вероятно, да. Я так рада, что он привез вас к нам. Я немного волновалась. Я думала, вы будете накрашены и… возможно, несколько вульгарны. Ни одна живая душа не догадалась бы, что вы — актриса.

(«Еще бы, черт побери. Никто бы так не сыграл сельскую барышню, как я это делаю вот уже два дня».)

Полковник начал отпускать по ее адресу шуточки и даже иногда игриво дергал ее за ухо.

— Право, полковник, вы не должны со мной флиртовать! — восклицала она, кидая на него очаровательный плутовской взгляд. — Только потому, что я — актриса, вы думаете, можно позволить себе со мной вольности!

— Джордж, Джордж, — улыбалась миссис Госселин. Затем, обращаясь к Джулии, добавляла: — Он всегда был любитель поухаживать.

(«Черт возьми, все идет как по маслу!»)

Миссис Госселин рассказывала ей об Индии, о том, как странно было, что все слуги — темнокожие, но общество там было очень приличное, только правительственные чиновники и военные, однако дома все же лучше, и она была очень рада, когда приехала обратно в Англию.

Возвращаться они должны были в понедельник, на второй день Пасхи, потому что уже был назначен спектакль, и накануне вечером после ужина полковник сказал, что ему надо пойти в кабинет написать несколько писем; через несколько минут миссис Госселин тоже поднялась с места — пошла поговорить с кухаркой. Когда они остались одни, Майкл закурил, стоя у камина.

— Боюсь, здесь было не очень-то весело. Надеюсь, ты не слишком скучала?

— Здесь было божественно.

— Ты имела колоссальный успех у родителей. Ты им страшно понравилась.

«Господи, я достаточно потрудилась для этого», — подумала Джулия, но вслух она сказала:

— Откуда ты знаешь?

— Вижу. Отец говорит, ты — настоящая леди, ни капли не похожа на актрису, а мать утверждает, что ты очень благоразумна.

Джулия опустила глаза, словно похвалы эти были слишком преувеличены. Майкл пересек комнату и стал перед ней. У нее вдруг мелькнула мысль, что он сейчас похож на красивого молодого лакея, который просит взять его на службу. Он был непривычно взволнован. Сердце чуть не выскакивало у нее из груди.

— Джулия, дорогая, ты выйдешь за меня замуж?

Всю эту неделю она спрашивала себя, сделает ли он ей предложение, но теперь, когда это наконец свершилось, она почувствовала себя странно смущенной.

— Майкл!

— Я не хочу сказать: немедленно. Когда мы ста-

нем на ноги, продвинемся хотя бы на один шаг по пути к успеху. Я знаю, на сцене мне с тобой не тягаться, но вместе мы легче добьемся победы, а когда откроем собственный театр, из нас выйдет неплохая упряжка. Ты ведь знаешь, что ты мне ужасно нравишься. Я хочу сказать, ни одна девушка и в подметки тебе не годится.

(«Дурак несчастный! Ну чего он городит всю эту чепуху?! Неужели не понимает, что я до смерти хочу за него выйти? Почему он не целует меня? Ну почему? Почему? Хватит у меня духу сказать, что я просто больна от любви к нему!»)

— Майкл, ты так красив. Кто может тебе отказать?

— Дорогая!

(«Я лучше встану. Он не догадается сесть. Господи, сколько раз Джимми заставлял его репетировать эту сцену!»)

Джулия встала на ноги и подняла к нему лицо. Он заключил ее в объятия и поцеловал.

— Я должен сказать матери.

Он отстранился от Джулии и пошел к двери.

— Мама, мама!

Через секунду полковник и миссис Госселин вошли в комнату. На лицах было счастливое ожидание.

(«Черт подери, это все было подстроено!»)

— Мама, отец, мы обручились.

Миссис Госселин заплакала. Своей неловкой, тяжелой поступью подошла к Джулии, обняла ее и поцеловала сквозь слезы. Полковник горячо пожал сыну руку и, высвободив Джулию из объятий жены, тоже ее поцеловал. Он был глубоко растроган. Все эти изъявления чувств подействовали на Джулию, и, хотя она счастливо улыбалась, у нее по щекам заструились слезы. Майкл сочувственно наблюдал эту умилительную сцену.

— Как вы смотрите, не открыть ли нам бутылочку шампанского, чтобы отметить это событие? — спросил он. — Похоже, что мама и Джулия совсем расстроились.

— За дам, благослови их Господь, — сказал полковник, когда бокалы были наполнены.

Глава пятая

Теперь Джулия держала в руках фотографию, где она была снята в подвенечном платье.

«Господи, ну и пугало!»

Они решили сохранить помолвку в тайне, и Джулия сказала о ней только Джимми Лэнгтону, двум или трем девушкам в труппе и своей костюмерше. Она брала с них слово молчать и удивлялась, каким образом через двое суток все в театре обо всем знали. Джулия была на седьмом небе от счастья. Она любила Майкла еще более страстно, чем раньше, и с радостью выскочила бы за него немедля, но его благоразумие оказалось сильнее. Что они такое? Двое провинциальных актеров. Начинать завоевание Лондона в качестве соединенной узами брака пары значило ставить на карту возможность достичь успеха. Джулия намекнула так прозрачно, как смогла, яснее некуда, что вполне готова стать его любовницей, но на это он не пошел. Он был слишком порядочен, чтобы воспользоваться ее любовью.

— «Ты б не была мне так мила, не будь мне

честь милее!»[91] — процитировал он.

Майкл был уверен, что, когда они поженятся, они будут горько сожалеть, что стали жить как муж и жена еще до свадьбы. Джулия гордилась его принципами. Он был внимателен, ласков, нежен, но довольно скоро стал смотреть на нее как на что-то привычное, само собой разумеющееся; по его манере, дружеской, но немного небрежной, можно было подумать, будто они женаты уже много лет. Однако с присущей ему добротой он снисходительно и даже благосклонно принимал все знаки ее любви. Джулия обожала сидеть прижавшись к Майклу — его рука обнимает ее за талию, ее щека прижата к его щеке, — а уж если она могла приникнуть алчным ртом к его довольно-таки тонким губам, это было поистине райским блаженством. И хотя Майкл, когда они сидели вот так, предпочитал обсуждать роли, которые они играли, или планы на будущее, она все равно была счастлива. Ей никогда не надоедало восхищаться его красотой. Было сладостно чувствовать, когда она говорила ему, какой точеный у него нос, как прекрасны его кудрявые каштановые волосы, что рука Майкла чуть крепче

[91] Примечания: 91

Из стихотворения Ричарда Лавлейса (1618–1658) «Лукасте, уходя на войну».

сжимает ей талию, видеть нежность в его глазах.

— Любимая, я стану тщеславен, как павлин.

— Но ведь просто глупо отрицать, что ты божественно хорош.

Джулия на самом деле так думала и говорила об этом, потому что это доставляло ей удовольствие, но не только потому — она знала, что и он с удовольствием слушает ее комплименты. Майкл относился к ней с нежностью и восхищением, ему было легко с ней, он ей доверял, но Джулия прекрасно знала, что он в нее не влюблен. Она утешала себя тем, что он любит ее так, как может, и думала, что, когда они поженятся, ее страсть пробудит в нем ответную страсть. А пока она призвала на помощь весь свой такт и проявляла максимальную сдержанность. Она знала, что не может позволить себе ему докучать. Знала, что не должна быть ему в тягость, что он никогда не должен чувствовать, будто обязан чем-то поступаться ради нее. Майкл мог оставить ее ради игры в гольф или завтрака со случайным знакомым — она никогда не показывала ему даже намеком, что ей это неприятно. И, подозревая, что ее сценический успех усиливает его чувство, Джулия трудилась как каторжная, чтобы хорошо играть.

На второй год их помолвки в Миддлпул прие-

хал американский антрепренер, выискивавший новые таланты и прослышавший про труппу Джимми Лэнгтона. Он был очарован Майклом. Он послал ему за кулисы записку с приглашением зайти к нему в гостиницу на следующий день. Майкл, еле живой от волнения, показал записку Джулии; означать это могло только одно: ему хотят предложить ангажемент. У Джулии упало сердце, но она сделала вид, что она в таком же восторге, как он, и на следующий день пошла вместе с ним. Она осталась в холле, а Майкл отправился беседовать с великим человеком.

— Пожелай мне удачи, — шепнул он, подходя к кабине лифта. — Это слишком хорошо, чтобы можно было поверить.

Джулия сидела в кожаном кресле и всем сердцем желала, чтобы антрепренер предложил Майклу такую роль, которую он отвергнет, или жалованье, принять которое Майкл сочтет ниже своего достоинства. Или, наоборот, попросит Майкла прочитать роль, на которую хочет его пригласить, и увидит, что она ему не по зубам. Но когда полчаса спустя Майкл спустился в холл, Джулия поняла по его сияющим глазам и легкой походке, что контракт заключен. На какой-то миг Джулии показалось, будто ей сейчас станет

дурно, и, пытаясь выдавить на губах счастливую улыбку, она почувствовала, что мышцы не повинуются ей.

— Все в порядке. Он говорит, это чертовски хорошая роль — молодого парнишки, девятнадцати лет. Восемь или девять недель в Нью-Йорке, затем гастроли по стране. Сорок недель как одна в труппе Джона Дру[92]. Двести пятьдесят долларов в неделю.

— Любимый, я так за тебя рада!

Было ясно, что он ухватился за предложение обеими руками. Мысль о том, чтобы отказаться, даже не пришла ему в голову.

«А я… я, — думала она, — если бы мне посулили тысячу долларов в неделю, я бы не поехала, чтобы не разлучаться с ним».

Джулия была в отчаянии. Она ничем не сможет ему помешать. Надо притворяться, будто она на седьмом небе от счастья. Майкл был слишком возбужден, чтобы сидеть на месте, и они вышли на людную улицу.

— Это редкая удача. Конечно, в Америке все дорого, но я постараюсь тратить от силы пятьдесят долларов в неделю; говорят, американцы

---

[92] Примечания: 92
Дру, Джон (1853–1927) — американский актер.

очень гостеприимны, и я смогу угощаться на даровщинку. Не вижу, почему бы мне не скопить за сорок недель восемь тысяч долларов, а это тысяча шестьсот фунтов.

(«Он не любит меня. Ему на меня плевать. Я его ненавижу. Я готова его убить. Черт побери этого американца!»)

— А если он оставит меня на второй год, я буду получать триста долларов в неделю. Это значит, что за два года я скоплю большую часть нужных нам четырех тысяч фунтов. Почти достаточно, чтобы начать дело.

— На второй год?! — На какой-то миг Джулия перестала владеть собой, и в голосе ее послышались слезы. — Ты хочешь сказать, что уедешь на два года?

— Ну, летом я, понятно, вернусь. Они оплачивают мне обратный проезд, и я поеду домой, чтобы поменьше тратиться.

— Не знаю, как я тут буду без тебя!

Она произнесла эти слова весело, даже небрежно, словно из одной вежливости.

— Мы с тобой великолепно проведем время летом, и, знаешь, год, даже два пролетят в мгновение ока.

Майкл шел куда глаза глядят, но Джулия все

время незаметно направляла его к известной ей цели, и как раз в этот момент они оказались перед дверьми театра. Джулия остановилась.

— Пока. Мне надо заскочить повидать Джимми.

Лицо Майкла омрачилось.

— Неужели ты хочешь меня бросить? Мне же не с кем поговорить. Я думал, мы зайдем куда-нибудь, перекусим перед спектаклем.

— Мне ужасно жаль. Джимми меня ждет, а ты сам знаешь, какой он.

Майкл улыбнулся ей своей милой, добродушной улыбкой.

— Ну, тогда иди. Я не буду таить на тебя зла за то, что ты подвела меня раз в жизни.

Он направился дальше, а Джулия вошла в театр через служебный вход. Джимми Лэнгтон устроил себе в мансарде крошечную квартирку, попасть в которую можно было через балкон первого яруса. Джулия позвонила у двери. Открыл ей сам Джимми. Он был удивлен, но рад.

— Хелло, Джулия, входи.

Она прошла мимо него, не говоря ни слова, и лишь когда оказалась в его захламленной, усеянной листами рукописей, книгами и просто мусором гостиной, обернулась и посмотрела ему

в лицо. Зубы ее были стиснуты, брови нахмурены, глаза метали молнии.

— Дьявол!

Одним движением она подскочила к нему, схватила обеими руками за расстегнутый ворот рубахи и встряхнула. Джимми попытался высвободиться, но она была сильная, к тому же разъярена.

— Прекрати!

— Дьявол, свинья, грязная, подлая скотина!

Джимми размахнулся и отпустил ей пощечину. Джулия инстинктивно выпустила его и прижала руку к лицу, так как ударил он больно. Джулия заплакала.

— Негодяй! Шелудивый пес! Бить женщину!

— Это ты говори кому-нибудь другому, милочка. Ты разве не знаешь, что, если меня ударят, пусть даже и женщина, я ударю в ответ?

— Я вас не трогала.

— Ты чуть не задушила меня.

— Вы это заслужили. О Господи, да я готова вас убить.

— Ну-ка, сядь, цыпочка, и я дам тебе капельку виски, чтобы ты пришла в себя. А потом все мне расскажешь.

Джулия оглянулась в поисках кресла, куда бы

она могла сесть.

— Господи, настоящий свинушник! Почему вы не пригласите поденщицу, чтобы она здесь убрала?

Сердитым жестом она скинула на пол книги с кресла, бросилась в него и расплакалась, теперь уже всерьез. Джимми налил ей порядочную дозу виски, добавил каплю содовой и заставил выпить.

— Ну а теперь объясни, по какому поводу вся эта сцена из «Тоски»[93]?

— Майкл уезжает в Америку.

— Да?

Она вывернулась из-под руки, обнимавшей ее за плечи.

— Как вы могли? Как вы могли?

— Я тут совершенно ни при чем.

— Ложь. Вы, верно, не знаете даже, что этот мерзкий антрепренер в Миддлпуле? Это ваша работа, нечего и сомневаться. Вы сделали это нарочно, чтобы нас разлучить.

— Душечка, ты несправедлива ко мне. По правде говоря, я сказал, что он может забрать у меня любого члена труппы, кроме Майкла Госселина.

---

[93] Примечания: 93

Опера Джакомо Пуччини (1858–1924), итальянского композитора.

Джулия не видела выражения его глаз при этих словах, иначе она спросила бы себя, почему у него такой довольный вид, словно ему удалось сыграть с кем-то очень хорошую шутку.

— Даже меня? — спросила она.

— Я знал, что актрисы ему не нужны. У них и своих хватает. Им нужны актеры, которые умеют носить костюмы и не плюют в гостиной на пол.

— О, Джимми, не отпускайте Майкла! Я этого не переживу.

— Как я могу ему помешать? Его контракт со мной истекает в конце нынешнего сезона. Это приглашение — большая удача для него.

— Но я его люблю. Я хочу его. А вдруг он в Америке кого-нибудь увидит? Вдруг какая-нибудь богатая наследница увлечется им?

— Если любовь к тебе его не остановит, что ж, скатертью дорожка, сказал бы я.

Его слова вновь привели Джулию в ярость.

— Поганый евнух, что вы знаете о любви?!

— Ох уж эти мне женщины, — вздохнул Джимми. — Если пытаешься лечь с ними в постель, они называют тебя грязным старикашкой, если нет — поганым евнухом…

— Ах, вы не понимаете! Он так потрясающе красив, они станут влюбляться в него одна за

другой, а он так легко поддается лести. За два года многое может случиться.

— За два года?

— Если его хорошо примут, он останется еще на год.

— Ну, насчет этого можешь не волноваться. Он вернется в конце первого же сезона, и вернется навсегда. Этот антрепренер видел его только в «Кандиде». Единственная роль, в которой он более или менее сносен. Помяни мое слово, не пройдет и месяца, как они обнаружат, что совершили невыгодную сделку. Его ждет провал.

— Что вы понимаете в актерах!

— Все.

— Я бы с радостью выцарапала вам глаза.

— Предупреждаю, если ты попробуешь меня тронуть, на этот раз не отделаешься легким шлепком, такую получишь затрещину, что неделю сесть не сможешь.

— О Господи, и не сомневаюсь. И вы называете себя джентльменом?

— Только когда я пьян.

Джулия хихикнула, и Джимми понял, что худшее осталось позади.

— Ты знаешь не хуже меня, что на сцене ему до тебя далеко. Говорю тебе: ты будешь величай-

шей актрисой после миссис Кендел[94]. Зачем тебе связывать себя с человеком, который всегда будет камнем у тебя на шее? Вы хотите иметь собственный театр, он будет претендовать на роль твоего партнера. Майкл никогда не станет хорошим актером.

— У него есть внешность. Я могу вытащить его.

— От скромности ты не умрешь. Но тут ты ошибаешься. Если ты хочешь добиться успеха, ты не можешь позволить себе иметь партнера, который недотягивает до тебя.

— Мне наплевать. Я скорее выйду замуж за него и потерплю провал, чем за кого-нибудь другого, чтобы добиться успеха.

— Ты девственница?

Джулия снова хихикнула.

— Это вас не касается, но, представьте, да.

— Так я и думал. Ну, если это тебе не так важно, почему бы вам с ним не отправиться на пару недель в Париж, когда мы закроемся? Он не отплывет в Америку раньше августа. Может, тогда утихомиришься!

— Он не хочет. Он не такой человек. Он джентльмен.

---

[94] Примечания: 94
Кендел, Мэлж (1849–1935) — английская актриса.

— Даже высшие классы производят себе подобных.

— Ах, вы не понимаете! — надменно проговорила Джулия.

— Спорю, что и ты — тоже.

Джулия не снизошла до ответа. Она действительно была очень несчастна.

— Я не могу без него жить, говорю вам. Что мне с собой делать, когда он уедет?

— Оставаться у меня. Я ангажирую тебя еще на год. У меня есть для тебя куча новых ролей, и я приглядел актера на амплуа первого любовника. Не актер, а находка. Ты не поверишь, насколько легче играть с партнером, когда есть отдача. Я буду платить тебе двенадцать фунтов в неделю.

Джулия подошла к нему и испытующе посмотрела в глаза.

— И вы все это подстроили, чтобы заставить меня пробыть у вас еще сезон? Разбили мне сердце, разрушили всю мою жизнь только ради того, чтобы удержать в своем паршивом театре?!

— Клянусь, что нет. Ты мне нравишься, я восхищаюсь тобой. И за последние два года дела у нас идут как никогда. Но черт подери, такой подлости я бы не совершил.

— Лгун, грязный лгун!

— Клянусь, это чистая правда.

— Докажите это тогда! — горячо сказала она.

— Как я могу доказать? Ты сама знаешь, я действительно порядочный человек.

— Дайте мне пятнадцать фунтов в неделю, и я вам поверю.

— Пятнадцать фунтов в неделю! Тебе известно, какие у нас сборы. Я не могу. А, ладно… Но мне придется добавлять три фунта из собственного кармана.

— Не моя печаль!

Глава шестая

После двух недель репетиций Майкла сняли с роли, на которую его ангажировали, и три или четыре недели он ждал, пока ему подыщут что-нибудь еще. Начал он в пьесе, которая не продержалась в Нью-Йорке и месяца. Труппу послали в турне, но спектакль принимали все хуже и хуже, и его пришлось изъять из репертуара. После очередного перерыва Майклу предложили роль в исторической пьесе, где его красота предстала в таком выгодном свете, что никто не заметил, какой он посредственный актер; в этой роли он и закончил сезон. О возобновлении контракта не было и речи. Пригласивший его антрепренер говорил весьма язвительно:

— Я бы много отдал, чтобы сквитаться с этим типом, Лэнгтоном, сукин он сын! Он знал, что делает, когда подсовывал мне этого истукана.

Джулия регулярно писала Майклу толстые письма, полные любви и сплетен, а он отвечал раз в неделю четким аккуратным почерком, каждый раз четыре страницы, ни больше ни меньше. Он неизменно подписывался «любящий тебя…», но в остальном его послания носили

скорее информационный характер. При всем том Джулия ожидала каждого письма со страстным нетерпением и без конца его перечитывала. Тон у Майкла был бодрый, но хотя он почти ничего не говорил о театре, упоминал только, что роли ему предложили дрянные, а пьесы, в которых пришлось играть, ниже всякой критики, в театральном мире быстро все узнают, и Джулия слышала, что успеха он не имел.

«Конечно, это с моей стороны свинство, — думала она, — но я так рада!»

Когда Майкл сообщил день приезда, Джулия не помнила себя от счастья. Она заставила Джимми так построить программу, чтобы она смогла поехать в Ливерпуль встретить Майкла.

— Если корабль придет поздно, я, возможно, останусь на ночь, — сказала она Джимми.

Он иронически улыбнулся:

— Ты, видно, думаешь, что в суматохе возвращения домой тебе удастся его совратить?

— Ну и свинья же вы!

— Брось, душенька. Мой тебе совет: подпои его, запрись с ним в комнате и скажи, что не выпустишь, пока он тебя не обесчестит.

Но когда Джулия собралась ехать, Джимми проводил ее до станции. Подсаживая в вагон,

похлопал по руке:

— Волнуешься, дорогая?

— Ах, Джимми, милый, я безумно счастлива и до смерти боюсь.

— Ну, желаю тебе удачи. И не забывай: он тебя не стоит. Ты молода, хороша собой, и ты — лучшая актриса Англии.

После отхода поезда Джимми направился в станционный буфет и заказал виски с содовой. «Как безумен род людской»[95], — вздохнул он. А Джулия в это время стояла в пустом купе и глядела в зеркало.

«Рот слишком велик, лицо слишком тяжелое, нос слишком толстый. Слава Богу, у меня красивые глаза и красивые ноги. Не чересчур ли я накрашена? Майкл не любит грима вне сцены. Но я жутко выгляжу без румян и помады. Ресницы у меня что надо. А черт побери, не такая уж я уродина».

Не зная до последнего момента, отпустит ли ее Джимми, Джулия не предупредила Майкла, что встретит его. Он был удивлен и откровенно рад. Его прекрасные глаза сияли.

— Ты стал еще красивее, — сказала Джулия.

---

[95] Примечания: 95
Шекспир, Вильям. «Сон в летнюю ночь».

— Ах, не болтай глупостей, — засмеялся он, обнимая ее. — Ты ведь можешь задержаться до вечера?

— Я могу задержаться до завтрашнего утра. Я заказала две комнаты в «Адельфи», чтобы мы могли вволю поболтать.

— А не слишком «Адельфи» роскошно для нас?

— Ну, не каждый же день ты возвращаешься из Америки. Плевать на расходы.

— Мотовочка, вот ты кто. Я не знал, когда мы войдем в док, поэтому написал домой, что сообщу телеграммой время приезда. Телеграфирую, что приеду завтра.

Когда они оказались в отеле, Майкл по приглашению Джулии пришел в ее комнату, чтобы поговорить без помех. Она села к нему на колени, обвила его шею рукой, прижалась щекой к щеке.

— Ах, как приятно снова быть дома, — вздохнула она.

— Можешь мне этого не говорить, — отозвался он, не догадавшись, что она имеет в виду его объятия, а не Англию.

— Я тебе все еще нравлюсь?

— Еще как!

Она горячо поцеловала его.

— Ты не представляешь, как я по тебе скучала!

— Я полностью провалился в Америке, — сказал Майкл. — Не хотел тебе об этом писать, чтобы зря не расстраивать. Они считали, что я никуда не гожусь.

— Майкл! — вскричала она, словно не могла этому поверить.

— Думаю, я для них слишком типичный англичанин. Я им больше не нужен. Я так и предполагал, но все же для проформы спросил, собираются ли они продлить контракт, и они ответили: нет, ни за какие деньги.

Джулия молчала. Вид у нее был озабоченный, но сердце громко билось от радости.

— Но мне все равно, честно. Мне не понравилась Америка. Конечно, спорить не приходится, это удар по самолюбию, но что мне остается? Улыбнуться, и все. Как-нибудь переживем. Если бы ты знала, с какими типами там приходилось якшаться! Да по сравнению с некоторыми из них Джимми Лэнгтон — настоящий джентльмен. Даже если бы они попросили меня остаться, я бы отказался.

Хотя Майкл делал хорошую мину при плохой игре, Джулия видела, что он глубоко уязвлен. С чем только, должно быть, ему не приходилось мириться! Ей было ужасно его жаль, но, ах, какое

она испытывала колоссальное облегчение.

— Какие у тебя теперь планы? — спокойно спросила она.

— Ну, побуду какое-то время дома и все как следует обдумаю. А потом поеду в Лондон, посмотрю, не удастся ли получить роль.

Она знала, что предлагать ему вернуться в Миддлпул было бесполезно. Джимми Лэнгтон его не возьмет.

— Ты, вероятно, не захочешь поехать со мной?

Джулия не верила собственным ушам.

— Я? Любимый, ты же знаешь, что я с тобой — хоть на край света.

— Твой контракт кончается в конце этого сезона, и, если ты намерена чего-то достичь, пора уже завоевывать Лондон. Я экономил в Америке каждый шиллинг. Они называли меня скупердяем, но я и ухом не вел. Привез домой около полутора тысяч фунтов.

— Как это тебе удалось, ради всего святого?

— Ну, я не очень-то раскошеливался, — радостно улыбнулся он. — Конечно, театр на это не откроешь, но на то, чтобы жениться, хватит; я хочу сказать, нам будет на что опереться, если мы не получим сразу ангажемента или потом окажемся временно без работы.

Джулии понадобилось несколько секунд, чтобы осознать его слова.

— Ты хочешь сказать — пожениться сейчас?

— Конечно, это рискованно, когда у нас нет ничего в перспективе, но иногда стоит пойти и на риск.

Джулия взяла его лицо в ладони и прижалась губами к его губам. Затем от всего сердца вздохнула:

— Любимый, ты замечательный, и ты красив, как греческий бог, но ты — самый большой глупец, какого я знала в жизни.

Вечером они пошли в театр, а за ужином заказали бутылку шампанского, чтобы отпраздновать их воссоединение и поднять тост за счастливое будущее. Когда Майкл проводил Джулию до дверей ее комнаты, она подставила ему щеку.

— Ты хочешь, чтобы я пожелал тебе доброй ночи в коридоре? Может, я зайду к тебе на минуту?

— Лучше нет, любимый, — ответила она со спокойным достоинством.

Джулия ощущала себя высокородной девицей, которая должна блюсти все традиции своей знатной и древней фамилии; ее чистота была бесценной жемчужиной. Она также видела, что производит на редкость хорошее впечатление.

Майкл был настоящий джентльмен, и, черт подери, ей приличествовало вести себя настоящей леди. Джулия была так довольна разыгранной ею мизансценой, что, войдя в комнату и, пожалуй, излишне громко защелкнув дверь, она гордо прошлась взад-вперед, милостиво кивая направо и налево своим раболепным вассалам. Она протянула лилейную руку для поцелуя трепещущему старому мажордому (в детстве он часто качал ее на колене), и, когда он прижался к ней бледными губами, она почувствовала, как на нее что-то капнуло. Слеза.

Глава седьмая

Первый год их брака был бы очень бурным, если бы не ровный характер Майкла. Лишь радость, когда он получал хорошую роль, лихорадка во время премьеры или возбуждение после вечеринки, на которой он выпил несколько бокалов шампанского, были способны обратить практический ум Майкла к любви. Никакая лесть, никакие соблазны не могли его совратить, если на следующий день его ждала деловая встреча, для которой требовалась свежая голова, или предстоял раунд в гольф, для которого был нужен верный глаз. Джулия закатывала ему безумные сцены. Она ревновала его к приятелям по артистическому клубу, к играм, которые уводили его от нее, к официальным завтракам, которые он не пропускал под тем предлогом, что необходимо заводить знакомства среди людей, которые могут им пригодиться. Ее приводило в ярость, что, когда она доходила до истерического припадка, он сидел совершенно спокойно, скрестив на коленях руки, с добродушной улыбкой на красивом лице, словно все это просто забавно.

— Ты же не думаешь, что я бегаю за другими

женщинами? — спрашивал он.

— Почем я знаю? Слепому видно, что на меня тебе наплевать.

— Тебе прекрасно известно, что ты для меня единственная женщина на свете.

— О Боже!

— Я не понимаю, чего ты хочешь.

— Я хочу любви. Я думала, что вышла за самого красивого мужчину в Англии, а я вышла за портновский манекен.

— Не говори глупостей. Я — обыкновенный нормальный англичанин, а не итальянский шарманщик.

Джулия величаво расхаживала взад-вперед по комнате. У них была небольшая квартирка на Бэкингемгейт, и развернуться там было негде, но Джулия старалась как могла. Она вздымала руки к небесам:

— Я могла бы быть кривой и горбатой. Мне могло бы быть пятьдесят. Неужели я настолько непривлекательна? Так унизительно вымаливать твою любовь. Ах, как я несчастна!

— А это был удачный жест, дорогая. Словно ты посылаешь вперед крикетный мяч. Запомни его.

Она бросала на него презрительный взгляд.

— Единственное, о чем ты способен думать. У

меня разрывается сердце, а ты говоришь о каком-то случайном жесте.

Но он видел по выражению ее лица, что она откладывала его в памяти, и знал: когда представится случай, она воспользуется им.

— В конце концов любовь еще не все. Она хороша в положенное время и в положенном месте. Мы неплохо развлекались во время медового месяца, на то он и предназначен, а теперь пора браться за работу.

Им повезло. Оба они умудрились получить вполне приличные роли в пьесе, которая имела успех. У Джулии была одна сильная сцена, всегда вызывавшая бурные аплодисменты; удивительная красота Майкла произвела своего рода сенсацию. Майкл с его корректной предприимчивостью, с его веселым добродушием создал им прекрасную рекламу, фотографии их обоих стали появляться в иллюстрированных газетах. Их часто приглашали на званые вечера, и Майкл, несмотря на свою бережливость, не колеблясь тратил деньги на прием людей, которые могли оказаться им полезны. Джулию прямо поражала его щедрость в этих случаях. Антрепренер театра, в котором они играли, предложил Джулии главную роль в следующей пьесе, и хотя там не

было ничего подходящего для Майкла и ей очень хотелось отказаться, он ей этого не разрешил. Он сказал, что они не могут позволить чувствам мешать делу. А вскоре и Майкл получил роль в исторической пьесе.

Они оба играли, когда разразилась война. К гордости и отчаянию Джулии, Майкл тут же записался в добровольцы, но с помощью одного из старых отцовских сослуживцев, который был важной персоной в военном министерстве, ему очень скоро присвоили офицерское звание. Когда Майкл отправился во Францию, Джулия горько сожалела о всех тех упреках, которыми она так часто осыпала его, и решила, если он будет убит, покончить с собой. Она хотела стать сестрой милосердия и тоже поехать на фронт — по крайней мере станет ходить по одной земле с ним; но Майкл объяснил, что ее патриотический долг — продолжать выступления, и она была не в силах отказать ему в просьбе, которая могла оказаться последней. Майкл от души наслаждался войной. Он пользовался большой популярностью в полковом клубе, и старые кадровые офицеры приняли его как своего, несмотря на то что он был актером. Казалось, будто семья потомственных военных, из которой он вышел, поставила на

нем свою печать, так что он инстинктивно стал держаться и даже думать как профессиональный офицер. Майкл был тактичен, умел себя вести и искусно пускал в ход свои связи, он просто неминуемо должен был попасть в свиту какого-нибудь генерала. Он проявил себя хорошим организатором и последние три года войны провел в ставке главнокомандующего. Вернулся Майкл майором с крестом и орденом Почетного легиона.

Тем временем Джулия сыграла ряд крупных ролей и была признана лучшей актрисой младшего поколения. Театр во время войны процветал, и Джулия немало выгадывала тем, что играла в спектаклях, которые долго не сходили со сцены. Жалованье возросло, и с помощью разумных советов Майкла она умудрилась, хотя и с трудом, выжимать из антрепренеров по восемьдесят фунтов в неделю. Майкл приезжал в Англию в отпуск, и Джулия бывала безумно счастлива. Хотя он не был бы в большей безопасности, занимайся он разведением овец в Новой Зеландии, Джулия вела себя так, будто те коротенькие периоды, что он с ней проводил, — последние дни, которыми ему суждено наслаждаться в этом мире, будто он только что вырвался из кошмара окопной жизни. Она была с ним нежна, заботлива и нетребова-

тельна.

А незадолго до конца войны Джулия его разлюбила.

Она была в то время беременна. По мнению Майкла, заводить тогда ребенка было довольно опрометчиво, но Джулии было уже под тридцать, и она решила, что если они вообще хотят иметь детей, то откладывать больше нельзя. Ее положение в театре настолько упрочилось, что она могла позволить себе исчезнуть со сцены на несколько месяцев, и при том, что Майкла могли в любой момент убить, — конечно, он говорил, что ему абсолютно ничего не грозит, но он просто успокаивал ее, даже генералов и тех убивали, — удержать ее в жизни мог только его ребенок. Роды предстояли в конце года. Джулия ждала следующего отпуска Майкла как никогда раньше. Чувствовала она себя прекрасно, но немного растерянно и беспомощно, страшно тосковала по его объятиям, ей так нужны были его защита и покровительство. Майкл приехал. Он был удивительно красив в своей хорошо скроенной форме с нашивками штабиста и короной на погонах. Он загорел и в результате лишений, которые испытывал в ставке, довольно сильно пополнел. Коротко стриженный, с бравой

выправкой и беспечным видом, он выглядел военным до кончиков ногтей. Настроение у него было великолепное, и не только потому, что он выбрался на несколько дней домой, — уже был виден конец войны. Майкл намеревался уйти из армии как можно скорее. Что толку иметь хоть какие-то связи, если не использовать их? Так много молодых актеров покинули сцену — кто из патриотизма, кто потому, что оставшиеся дома патриоты сделали их жизнь невыносимой, кто по призыву, — что главные роли попали в руки людей или непригодных для военной службы, или уволенных из армии по ранению. Обстановка была на редкость благоприятная, и Майкл понимал, что, если не будет терять времени, он сможет выбирать роли по своему усмотрению. А когда он вновь напомнит о себе публике, они начнут присматривать театр и при той репутации, которой добилась Джулия, без риска начнут собственное дело.

Они проговорили обо всем этом за полночь, а потом легли в постель. Джулия страстно прильнула к нему, он ее обнял. После трех месяцев воздержания Майкл был настроен на любовный лад.

— Ты моя милая женушка, — прошептал он.

Он прижался губами к ее губам. И вдруг Джулию охватило смутное отвращение. Она еле удержалась, чтобы его не оттолкнуть. Раньше ей казалось, что его тело, его юное прекрасное тело пахнет цветами и медом, она жадно вдыхала этот сладостный аромат, такие вот ощущения и приковывали ее к Майклу, но теперь каким-то таинственным образом Майкл утратил свое очарование. Джулия осознала, что он потерял аромат юности и стал просто мужчиной. Она почувствовала легкую тошноту. Она не могла ответить на его пыл, больше всего ей хотелось, чтобы он поскорее удовлетворил желание, перевернулся на другой бок и уснул. Джулия долго лежала без сна. Она была в смятении. Сердце ее щемило, она знала, что лишилась чего-то очень дорогого, ей было себя жаль, она готова была заплакать, но в то же время ее переполняло торжество; казалось, она мстит ему за свои прошлые, такие горькие муки. Она была свободна от уз, которые привязывали ее к Майклу, и ликовала. Теперь она будет с ним на равных. Джулия вытянула ноги и облегченно вздохнула: «Господи, как прекрасно быть самой себе хозяйкой».

Они позавтракали в спальне: Джулия — в постели, Майкл — за маленьким столиком рядом. Она

всматривалась в него, в то время как он читал газету, острым, оценивающим взглядом. Неужели каких-то три месяца могли так его изменить? А может быть, все годы она смотрела на Майкла глазами, которые впервые увидели его, когда он вышел в Миддлпуле на сцену во всем великолепии юности и красоты и поразил ее любовью, как смертельной болезнью? Майкл все еще был удивительно хорош собой. В конце концов ему всего тридцать шесть, но юность осталась позади; с коротко стриженной головой, обветренной кожей, легкими морщинками, уже начинающими бороздить его гладкий лоб и появляться у уголков глаз, он был — решительно и бесповоротно — мужчиной. Он утратил свою щенячью грацию, жесты его стали однообразны. Взятые в отдельности, это были мелочи, но, собранные вместе, они абсолютно все меняли. Майкл постарел.

Они по-прежнему жили в квартирке, снятой, когда они только приехали в Лондон. Хотя последнее время Джулия очень неплохо зарабатывала, казалось, нет смысла переезжать, пока Майкл находится в действующей армии. Однако теперь, когда они ожидали ребенка, квартира, безусловно, была слишком мала. Джулия присмотрела дом в Риджентс-парке, который очень ей понравился.

Она хотела заблаговременно там обосноваться и ждать родов.

Дом выходил окнами в сад. Над бельэтажем, где помещались гостиная и столовая, были две спальни, а на втором этаже еще две комнаты, которые можно было использовать как дневную и ночную детские. Майклу все очень понравилось, даже цена показалась ему умеренной. Джулия за последние четыре года зарабатывала настолько больше его, что предложила меблировать дом за свой счет. Они стояли в одной из двух спален.

— Я могу перевезти для своей спальни то, что у нас есть, — сказала она. — А для тебя куплю хороший гарнитур у Мейпла.

— Я бы не стал входить в большие расходы на мою комнату, — улыбнулся он, — вряд ли я часто стану ею пользоваться.

Майкл любил спать с ней в одной постели. Не будучи страстным, он был нежен, и ему доставляло животное наслаждение чувствовать ее рядом с собой. Много лет это было ее величайшей радостью. Сейчас мысль об этом привела ее в раздражение.

— О, я не уверена, что мы сможем позволить себе эти глупости, пока не родится ребенок. До тех пор тебе придется спать одному.

— Я об этом не подумал. Если ты считаешь, что для малыша так лучше…

Глава восьмая

Майкл демобилизовался буквально в тот же день, как кончилась война, и сразу получил ангажемент. Он вернулся на сцену куда лучшим актером, чем раньше. Беспечные замашки, приобретенные им в армии, были на сцене весьма эффектны. Непринужденный, спортивный, всегда веселый малый, с легкой улыбкой и сердечным смехом, он хорошо подходил для салонных пьес. Его высокий голос придавал особую пикантность фривольной реплике, и, хотя серьезная страсть по-прежнему выглядела у него неубедительно, он мог предложить руку и сердце словно в шутку, объясниться с таким видом, будто сам над собой смеется, и так провести задорную любовную сцену, что публика была в восторге. Майкл никогда и не пытался играть никого, кроме самого себя. Он специализировался на ролях жуиров, богатых повес, джентльменов-игроков, гвардейцев и славных молодых бездельников. Антрепренеры любили его. Майкл усердно работал и подчинялся указаниям. Главное для него было получить роль, а какую — не имело особого значения. Он упорно добивался жалованья, которого, считал, заслужи-

вает, но, если ему это не удавалось, предпочитал согласиться на меньшее, чем сидеть без работы.

Майкл тщательно продумал свои планы. Зимой, сразу после конца войны, разразилась эпидемия инфлюэнцы. Родители Майкла умерли. Он получил в наследство около четырех тысяч фунтов, что вместе с его сбережениями и деньгами Джулии составило почти семь тысяч. Однако плата за театральное помещение чудовищно подскочила, жалованье актерам и рабочим сцены также возросло, и для того, чтобы открыть собственный театр, требовалось теперь куда больше денег. Суммы, которой до войны с избытком могло хватить, теперь было далеко не достаточно. Оставалось одно — заинтересовать богатого человека, который вошел бы с ними в пай, чтобы один или два неудачных спектакля не выбили их из седла. Говорили, что всегда можно найти простофилю, который выпишет чек на кругленькую сумму для постановки новой пьесы, но, когда вы переходили от слов к делу, обнаруживалось, что главную роль в этой пьесе должна играть какая-нибудь красотка, которой он покровительствует, и деньги будут даны только при этом условии. Много лет назад Майкл и Джулия часто шутили насчет того, что какая-нибудь богатая старуха

влюбится в Майкла и поможет ему открыть свой театр, но они уже давно поняли, что молодому актеру, у которого жена — актриса и он ей верен, никакой такой богатой старухи не отыскать. И все же они нашли женщину с деньгами, причем отнюдь не старуху, но интересовалась она не Майклом, а Джулией.

Долли де Фриз была вдова. Эта низенькая, тучная, несколько мужеподобная женщина с красивым орлиным носом, красивыми темными глазами, неуемной энергией, экспансивная и вместе с тем неуверенная в себе обожала театр. Когда Джулия и Майкл решили попытать счастья в Лондоне, Джимми Лэнгтон, к которому она порой приходила на выручку, когда казалось, что ему придется закрыть театр, дал к ней рекомендательное письмо с просьбой по возможности им помочь. Миссис де Фриз уже видела Джулию в Миддлпуле. Она устроила несколько званых вечеров, чтобы познакомить молодых актеров с антрепренерами, и пригласила их в свой великолепный дом возле Гилдфорда, где они окунулись в роскошь, которая никогда им не снилась. Майкл ей совсем не понравился. Джулия восхищалась цветами, которые Долли де Фриз присылала к ней на квартиру и в уборную театра, была в вос-

торге от ее подарков: сумочек, несессеров, бус из полудрагоценных камней, брошей, но никак не показывала, что догадывается, чем вызвана щедрость Долли, и принимала ее исключительно как дань своему таланту. Когда Майкл ушел на войну, Долли настаивала на том, чтобы Джулия переехала к ней, в ее дом на Монтегью-сквер, но Джулия, пылко поблагодарив, отказалась, причем в такой тактичной форме, что Долли, вздохнув и уронив слезу, не могла не восхищаться ею еще сильней. Когда родился Роджер, Джулия пригласила Долли быть его крестной матерью.

Некоторое время Майкл подумывал, не обратиться ли к Долли. Но он был достаточно проницателен и понимал, что даже если бы она и сделала что-то для Джулии, она ничего не сделает для него. А Джулия наотрез отказалась прибегать к ее помощи.

— Она и так была к нам очень добра, право, я не могу еще что-то у нее клянчить, и будет так неприятно, если она откажет.

— Игра стоит свеч, а она, если и потеряет на этом кое-что, даже не почувствует. Я уверен, что ты могла бы ее уломать, если бы захотела.

Джулия ничуть в этом не сомневалась. Майкл так наивен в некоторых вещах; она не считала

нужным указывать ему на очевидные факты.

Но Майкл был не из тех, кто легко отступается от того, что задумал. Госселины ехали в Гилдфорд, чтобы провести субботу и воскресенье у Долли, в новой машине, которую Джулия подарила Майклу ко дню рождения. Был прекрасный теплый вечер. Майкл только недавно купил преимущественное право на постановку трех пьес, которые им обоим понравились, и слышал о здании театра, которое можно было снять на приемлемых условиях. Все было готово, чтобы начать дело, не хватало одного — денег. Майкл уговаривал Джулию воспользоваться предстоящим визитом.

— Сам попроси, если тебе так хочется, — нетерпеливо сказала Джулия. — Говорю тебе: я просить не стану.

— Мне она не даст. А ты можешь из нее веревки вить.

— Мы с тобой уже хорошо знаем, при каких условиях финансируют пьесы. Или человек хочет получить славу, пусть даже плохую, или он в кого-нибудь влюблен. Куча людей болтает об искусстве, но редко увидишь, чтобы они платили за него чистоганом, если не надеются извлечь из этого что-нибудь для самих себя.

— Что ж, предоставим Долли всю славу, какую

она захочет.

— Ей нужно совсем другое.

— Что ты имеешь в виду?

— А ты не догадываешься?

Только тут его осенило. Майкл был так изумлен, что сбавил скорость. Неужели Джулия права? Он всегда считал, что не нравится Долли, а уж предполагать, что она в него влюблена, — это ему и в голову не могло прийти. Конечно, Джулия — женщина проницательная, ничего не пропустит, но она так ревнива, крошка, ей вечно кажется, будто женщины вешаются ему на шею. Спору нет, Долли подарила ему к Рождеству запонки, но он-то полагал, она просто не хочет, чтобы он был в обиде, — ведь Джулии она подарила брошь, которая стоит не меньше двухсот фунтов. Должно быть, это было сделано для отвода глаз. Ну, он может положа руку на сердце сказать, что никогда не подавал ей надежд. Джулия хихикнула:

— Нет, милый, она влюблена, но не в тебя.

Майкл смутился. И как это Джулия всегда угадывает, о чем он думает? Да, от нее ничего не скроешь.

— Тогда зачем ты навела меня на эту мысль? Выражайся, ради всего святого, так, чтобы тебя можно было понять.

Это Джулия и сделала.

— В жизни не слышал такой чепухи! — воскликнул Майкл. — У тебя просто грязное воображение, Джулия.

— Брось, милый.

— Нет, я не верю ни единому твоему слову. В конце концов у меня тоже есть глаза. Неужели я бы ничего не заметил?

Джулия еще никогда не видела его таким рассерженным.

— И даже если это правда, я думаю, ты сумеешь за себя постоять. Это один шанс на тысячу, просто безумие его пропустить.

— Клавдио и Изабелла в «Мере за меру»[96].

— Подло так говорить, Джулия. Я все же джентльмен.

«Nemo me impune lacessit».

Остаток пути прошел в грозовом молчании.

Миссис де Фриз не спала и поджидала их.

— Я не хотела ложиться, пока не увижу вас, — сказала она, заключая Джулию в объятия и целуя в обе щеки. Майклу она едва пожала руку.

Джулия с удовольствием провалялась все утро в постели, просматривая воскресные газеты.

---

[96] Примечания: 96
Комедия Вильяма Шекспира.

Она начинала с театральных новостей, затем переходила к светской хронике, затем к женской странице и, наконец, скользила взглядом по заголовкам остальных статей. Рецензии на книги она не удостаивала вниманием, ей было вообще непонятно, зачем на них тратят так много места. Майкл, спавший в соседней комнате, заглянул пожелать ей доброго утра и вышел в сад. Вскоре раздался негромкий стук в дверь, вошла Долли. Ее большие черные глаза сияли. Она села на край кровати и взяла Джулию за руку.

— Дорогая, я разговаривала с Майклом. Я хочу финансировать ваш театр.

У Джулии громко забилось сердце.

— О, Майкл не должен был вас просить! Я не хочу. Вы и так уже столько для нас сделали.

Долли наклонилась и поцеловала Джулию в губы. Голос ее был ниже, чем обычно, и слегка дрожал.

— Ах, моя любовь, разве вы не знаете, что я сделала бы для вас все на свете! Это будет так замечательно, это так сблизит нас, и я буду так вами горда!

Они услышали, что по коридору, насвистывая, идет Майкл; когда он вошел в комнату и Долли обернулась к нему, ее глаза были полны слез.

— Я ей рассказала.

Майкл не мог сдержать радости.

— Вот это женщина! — Он присел на кровать с другой стороны и взял Джулию за руку, которую только что отпустила Долли. — Ну, что скажешь, Джулия?

Она задумчиво взглянула не него.

— «Vous Pavez voulu, Georges Dandin»[97].

— Что это?

— Мольер.

Как только был подписан договор товарищества и Майкл снял помещение на осенний сезон, он нанял агента по рекламе. В газеты были посланы краткие извещения об открытии нового театра. Майкл вместе с агентом приготовил интервью для Джулии и для себя самого, которые они дадут прессе. В еженедельных газетах появились их фотографии — поодиночке, вдвоем и вместе с Роджером, — они взяли семейный тон и старались выжать из него все что можно. Они еще не решили, которой из трех пьес лучше начать. И вот как-то днем, когда Джулия сидела у себя в спальне и читала роман, вошел Майкл с рукописью в руке.

---

[97] Примечания: 97

«Ты этого хотел, Жорж Данден» (*фр.*).

— Послушай, я хочу, чтобы ты просмотрела эту пьесу. Агент только что прислал ее. По-моему, ее ждет сногсшибательный успех. Но ответ надо дать сразу.

Джулия отложила роман.

— Я сейчас за нее возьмусь.

— Я буду внизу. Передай, когда кончишь, я приду, и мы с тобой ее обсудим. Там для тебя изумительная роль.

Джулия читала быстро, лишь проглядывая те сцены, которые ее не интересовали, уделяя все внимание роли героини, — ведь ее, естественно, будет играть она. Окончив, она дернула колокольчик и попросила служанку (которая была также ее костюмершей) сказать Майклу, что она его ждет.

— Ну, что ты думаешь?

— Пьеса хорошая. Она должна иметь успех.

Он услышал в ее голосе некоторое сомнение.

— В чем же тогда вопрос? Твоя роль замечательная. Такие вещи ты умеешь делать лучше всех. Много комедийных сцен, и чувств хоть отбавляй.

— Роль чудесная, я не спорю; меня смущает мужская роль.

— Она тоже совсем неплоха.

— Да, но ему пятьдесят, и если ты сыграешь его моложе, пропадет самая соль. А роль пожилого человека тебе ни к чему.

— Да я и не собирался его играть. На нее годится только один актер, Монт Вернон. И мы заполучим его. А я буду играть Джорджа.

— Но это такая крошечная роль. Зачем она тебе?

— А почему нет?

— Я думала, мы откроем собственный театр для того, чтобы оба могли выступать в главных ролях.

— Ну, мне на это наплевать. Если в пьесе есть стоящая роль для тебя, меня нечего принимать в расчет. Может быть, в следующей пьесе больше повезет.

Джулия откинулась в кресле, и слезы потекли у нее по щекам.

— Ах, какая я свинья!

Майкл улыбнулся. Его улыбка была так же обаятельна, как прежде. Он подошел и опустился рядом с ней на колени, обнял.

— Что с тобой сегодня, старушка?

Глядя на него теперь, Джулия никак не могла понять, что вызывало в ней раньше такую безумную страсть. Теперь мысль об интимных

отношениях с ним возбуждала в ней тошноту. К счастью, Майклу очень понравилась спальня, которую она для него обставила. Постель никогда не была для него на первом месте, и он испытал даже облегчение, увидев, что Джулия больше не предъявляет к нему никаких претензий. Он удовлетворенно думал, что рождение ребенка успокоило ее, он на это и надеялся, и лишь сожалел, что они не завели его гораздо раньше. Раза два он пытался, больше из любезности, чем по иной причине, возобновить их супружеские отношения, но Джулия выдвигала тот или иной предлог: она устала, не очень хорошо себя чувствует, у нее завтра два выступления, не считая утренней примерки костюмов. Майкл принял это с полнейшим спокойствием. С Джулией теперь было куда легче ладить, она не устраивала больше сцен, и он чувствовал себя счастливее, чем прежде. У него на редкость удачный брак; когда он глядел на другие пары, он не мог не видеть, как ему повезло. «Джулия славная женщина и умна, как сто чертей, с ней можно поговорить обо всем на свете. Лучший товарищ, какой у меня был, клянусь вам. Да, я не стыжусь признаться, что скорее проведу с ней день наедине, чем сыграю раунд в гольф».

Джулия с удивлением обнаружила, что стала жалеть Майкла с тех пор, как разлюбила его. Она была добрая женщина и понимала, каким это будет для него жестоким ударом по самолюбию, если он хотя бы заподозрит, как мало сейчас значит для нее. Она продолжала ему льстить. Джулия заметила, что он уже вполне спокойно выслушивает дифирамбы своему точеному носу и прекрасным глазам. Она посмеивалась про себя, видя, как он глотает самую грубую лесть. Больше она не боялась хватить через край. Взгляд ее все чаще останавливался на его тонких губах. Они делались все тоньше — к тому времени, когда он состарится, рот его превратится в узкую холодную щель. Бережливость Майкла, которая в молодости казалась забавной, даже трогательной чертой, теперь внушала ей отвращение. Когда люди попадали в беду, а с актерами это бывает нередко, они могли надеяться на сочувствие и хорошие слова, но никак не на звонкую монету. Он считал себя чертовски щедрым, когда расставался с гинеей, а пятифунтовый билет был для него пределом мотовства. Скоро он обнаружил, что Джулия тратит на хозяйство много денег, и, сказав, что хочет избавить ее от хлопот, взял бразды правления в свои руки, после этого ничто

не пропадало зря. Каждое пенни было на учете. Джулия не понимала, почему прислуга их не бросает. Видимо, потому, что Майкл был с ними мил. Своим сердечным, приветливым, дружеским обращением он добивался того, что все они стремились ему угодить, и кухарка разделяла его удовлетворение, когда находила мясника, который продавал на пенс с фунта дешевле, чем все остальные. Джулия не могла удержаться от смеха, думая, какая пропасть лежит между ним, с его страстью к экономии в жизни, и теми бесшабашными мотами, которых он так хорошо изображает на сцене. Она была уверена, что Майкл не способен на широкий жест, и вот вам, пожалуйста, словно ничего не может быть естественней, он готов отойти в сторону, чтобы дать ей хороший шанс. Джулия была так глубоко растрогана, что не могла говорить. Она горько упрекала себя за те дурные мысли, которые все последнее время возникали у нее в голове.

Глава девятая

Они поставили эту пьесу, и она имела успех. После того они ставили новые пьесы год за годом. Майкл вел театр тем же методом и с той же бережливостью, что и дом, извлекая каждое пенни из тех спектаклей, которые имели успех, когда же спектакль проваливался, что, естественно, порой случалось, потери их бывали сравнительно невелики. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне не найдется театра, где бы так мало тратили на постановки. Он проявлял великую изобретательность, преображая старые декорации в новые, а используя на все лады мебель, которую он постепенно собрал на складе, не должен был тратиться на прокат. Они завоевали репутацию смелого и инициативного театра, так как Майкл был готов пойти на риск и поставить пьесу неизвестного автора, чтобы иметь возможность платить высокие отчисления известным. Он выискивал актеров, которые не имели случая создать себе имя и не претендовали поэтому на высокую оплату. И сделал несколько очень удачных находок.

Когда прошло три года, положение их настоль-

ко упрочилось, что Майкл смог взять в банке ссуду, чтобы арендовать только что построенное театральное помещение. После длительных дебатов они решили назвать его «Сиддонс-театр». Пьеса, которой они открыли тот сезон, потерпела фиаско, то же произошло и со следующей. Джулия испугалась и пришла в уныние. Она решила, что новый театр неудачливый, что она надоела публике. Вот тогда-то Майкл оказался на высоте. Он был невозмутим.

— В нашем деле всякое бывает, сегодня хорошо, а завтра плохо. Ты — лучшая актриса в Англии. В труппе есть всего три человека, которые приносят деньги в кассу независимо от пьесы, и ты — одна из них. Ну, было у нас два провала. А следующая пьеса пойдет на ура, и мы с лихвой возместим все убытки.

Как только Майкл твердо почувствовал себя на ногах, он попробовал откупиться от Долли де Фриз, но она и слушать его не хотела, а его холодность ничуть не трогала ее. Наконец-то Майкл встретил достойного противника. Долли не видела никаких оснований вынимать свой вклад из предприятия, которое, судя по всему, процветает и участие в котором позволяет ей быть в тесном контакте с Джулией. И вот теперь, набравшись

мужества, он снова попытался избавиться от нее. Долли с негодованием отказалась покинуть их в беде, и Майкл в результате махнул рукой. Он утешался тем, что Долли, наверное, оставит своему крестнику Роджеру кругленькую сумму. У нее не было никого, кроме племянников в Южной Африке, а при взгляде на Долли сразу было видно, что у нее высокое кровяное давление. А пока что Майкла вполне устраивало иметь загородный дом возле Гилдфорда, куда можно было приехать в любое время. Это избавляло от расходов на собственную дачу. Третья пьеса имела большой успех, и Майкл, естественно, напомнил Джулии свои слова — теперь она видит, что он был прав. Майкл говорил так, будто вся заслуга принадлежит ему одному. Джулия чуть было не пожелала, чтобы эта пьеса тоже провалилась, как и две предыдущие, — так ей хотелось хоть немного сбить с него спесь. Майкл чересчур высокого мнения о себе. Конечно, нельзя отрицать, что он в своем роде умен, нет, скорее, хитер и практичен, но далеко не так умен, как он воображает. Не было такой вещи на свете, в которой бы он не разбирался лучше других — по его собственному мнению.

Мало-помалу Майкл все реже стал появляться

на сцене. Его куда больше привлекала административная деятельность.

— Я хочу поставить наш театр на такие же деловые рельсы, на каких стоит любая фирма в Сити, — говорил он.

Майкл считал, что с большей пользой потратит вечер, если, в то время как Джулия выступает, будет посещать периферийные театры в поисках талантов. У него была записная книжка, куда он вносил имена всех актеров, которые, как ему казалось, подавали надежды. Затем Майкл взялся за режиссуру. Его всегда возмущало, что режиссеры требуют такие большие деньги за постановку спектакля, а в последнее время кое-кто из них даже претендовал на долю со сборов. Наконец выпал случай, когда два режиссера, которые больше всего нравились Джулии, были заняты, а единственный оставшийся из тех, кому она доверяла, не мог уделить им все свое время.

— Я бы не прочь сам попытать счастья, — сказал Майкл.

Джулия колебалась. Майкл не отличался фантазией, идеи его были банальны. Она не была уверена, что актеры станут слушать его указания. Но режиссер, которого они могли заполучить, потребовал такой несусветный гонорар, что им

оставалось одно — дать Майклу попробовать свои силы. Он справился куда лучше, чем она ожидала. Он был добросовестен, внимателен, скрупулезен. Он не жалел труда. И к своему изумлению, Джулия увидела, что он извлекает из нее больше, чем любой другой режиссер. Он знал, на что она способна, и, знакомый с каждой ее интонацией, каждым выражением ее чудесных глаз, каждым движением ее грациозного тела, мог преподать ей советы, которые помогли ей создать одну из своих лучших ролей. С актерами труппы он был взыскателен, но дружелюбен. Когда у них начинали сдавать нервы, его добродушие, его искренняя доброжелательность сглаживали все острые углы. После этого спектакля у них уже не возникал вопрос о том, кто будет ставить их пьесы. Авторы любили Майкла, так как, не обладая творческим воображением, он был вынужден предоставлять пьесам говорить самим за себя, и часто, не вполне уверенный в том, что именно хотел сказать автор, он должен был выслушивать их указания.

Джулия стала богатой женщиной. Она не могла не признать, что Майкл так же осмотрителен с ее деньгами, как со своими собственными. Он следил за ее вложениями и, когда ему удава-

лось выгодно продать ее акции, был доволен не меньше, чем если бы они принадлежали ему самому. Он положил ей очень большой оклад и с гордостью заявлял, что она — самая высокооплачиваемая актриса в Лондоне, но, когда играл сам, никогда не назначал себе больше того, что, по его мнению, стоила его роль, а ставя пьесу, записывал в статью расхода гонорар, который они дали бы второразрядному режиссеру. За дом и образование Роджера они платили пополам. Роджера записали в Итон через неделю после рождения. Нельзя было отрицать, что Майкл щепетильно честен и справедлив. Когда Джулия осознала, насколько она богаче его, она захотела взять все издержки на себя.

— Не вижу для этого никаких оснований, — сказал Майкл. — До тех пор пока я смогу вносить свою долю, я буду это делать. Ты получаешь больше меня потому, что стоишь дороже. Я назначаю тебе такую плату потому, что ты зарабатываешь ее.

Можно было только восхищаться его самоотречением, тем, как он жертвовал собой ради нее. Если у него и были раньше честолюбивые планы относительно себя самого, он отказался от них, чтобы способствовать ее карьере. Даже

Долли, не любившая его, признавала его бескорыстие. Какая-то непонятная стыдливость мешала Джулии худо говорить о нем с Долли, но Долли, при ее проницательном уме, уже давно разглядела, как невероятно Майкл раздражает свою жену, и считала долгом время от времени напоминать, насколько он ей полезен. Все его хвалили. Идеальный муж. Джулии казалось, что никто, кроме нее, не представляет, каково жить с мужем, который так чудовищно тщеславен. Его самодовольный вид, когда он выигрывал у своего противника в гольф или брал над кем-нибудь верх при сделке, совершенно выводил ее из себя. Майкл упивался своей ловкостью. Он был зануда, жуткий зануда! Он всегда все рассказывал Джулии, делился замыслами, возникавшими у него. Это было очень приятно в те времена, когда находиться рядом с ним доставляло ей наслаждение, но уже многие годы его прозаичность была ей невыносима. Что бы Майкл ни описывал, он входил в мельчайшие подробности. И он кичился не только своей деловой хваткой — с возрастом он стал невероятно кичиться своей внешностью. В молодости его красота казалась Майклу чем-то само собой разумеющимся, теперь же он начал обращать на нее большое внимание и не жалел

никаких трудов, чтобы уберечь то, что от нее осталось. Это превратилось у него в навязчивую идею. Он чрезвычайно заботился о своей фигуре; не брал в рот ничего, что грозило бы ему прибавкой веса, и не забывал про моцион. Когда ему показалось, что он начинает лысеть, он тут же обратился к врачу-специалисту, и Джулия не сомневалась, что, если бы он мог сохранить это в тайне, он пошел бы на пластическую операцию и подтянул кожу лица. Он взял обыкновение сидеть немного задрав вверх подбородок, чтобы не так были видны морщины на шее, и держался неестественно прямо, чтобы не отвисал живот. Он не мог пройти мимо зеркала, не взглянув в него. Он всячески напрашивался на комплименты и сиял от удовольствия, когда ему удавалось добиться их. Хлебом его не корми — только скажи, как он хорош. Джулия горько усмехалась, думая, что сама приучила к этому Майкла. В течение многих лет она твердила ему, как он прекрасен, и теперь он просто не может жить без лести. Это была его ахиллесова пята. Безработной актрисе достаточно было сказать ему в глаза, что он неправдоподобно красив, как ему начинало казаться, будто она подходит для той роли, на которую ему нужен человек. В течение многих

лет, насколько Джулии было известно, Майкл не имел дела с женщинами, но, перевалив за сорок пять, он стал заводить легкие интрижки. Джулия подозревала, что ни к чему серьезному они не приводили. Он был осторожен, и нужно ему было по-настоящему только одно — чтобы им восхищались. Джулия слышала, что, когда его дамы становились слишком настойчивы, он использовал жену как предлог, чтобы от них избавиться. Или он не мог рисковать тем, что она будет оскорблена в своих чувствах, или она подозревала что-то, или устраивала сцены ревности — не одно, так другое, — но, «пожалуй, будет лучше, если их дружба кончится».

— И что они находят в нем? — воскликнула Джулия, обращаясь к пустой комнате.

Она взяла наугад десяток его последних фотографий и пересмотрела их одну за другой. Пожала плечами.

— Что ж, не мне их винить. Я тоже влюбилась в него. Конечно, тогда он был красивее.

Джулии взгрустнулось при мысли, как сильно она любила его. Ей казалось, что жизнь обманула ее, потому что ее любовь умерла. Она вздохнула.

— И у меня так болит спина, — сказала она.

Глава десятая

В дверь постучали.

— Войдите, — сказала Джулия.

Вошла Эви.

— Вы не собираетесь лечь отдохнуть, мисс Лэмберт? — Она увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий. — Что это вы такое делаете?

— Смотрю сны. — Джулия подняла две фотографии. — «Взгляни сюда — вот два изображенья»[98].

На одной Майкл был снят в роли Меркуцио, во всей сияющей красе своей юности, на другой — в своей последней роли: белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо. У него был невероятно самодовольный вид.

Эви шмыгнула носом.

— Потерянного не воротишь.

— Я думала о прошлом, и у меня теперь страшная хандра.

— Нечего удивляться. Коли начинаешь думать о прошлом, значит, у тебя уже нет будущего.

---

[98] Примечания: 98
Шекспир, Вильям. «Гамлет».

— Заткнись, старая корова, — сказала Джулия; она могла быть очень вульгарной.

— Ну хватит, пошли, не то вечером вы ни на что не будете годны. Я приберу весь этот разгром.

Эви была горничная и костюмерша Джулии. Она появилась у нее в Миддлпуле и приехала вместе с ней в родной Лондон — она была кокни[99]. Тощая, угловатая, немолодая, с испитым лицом и рыжими, вечно растрепанными волосами, которые не мешало помыть; у нее не хватало спереди двух зубов, но, несмотря на неоднократное предложение Джулии дать ей деньги на новые зубы, Эви не желала их вставлять.

— Сколько я ем, для того и моих зубов много. Только мешать будет, коли напихаешь себе полон рот слоновьих клыков.

Майкл уже давно хотел, чтобы Джулия завела себе горничную, чья внешность больше соответствовала бы их положению, и пытался убедить Эви, что две должности слишком трудны для нее, но Эви и слышать ничего не желала.

— Говорите что хотите, мистер Госселин, а только пока у меня есть здоровье да силы, никто

---

[99] Примечания: 99

Кокни — уроженец Ист-Энда (рабочий квартал Лондона); речь кокни отличается особым, нелитературным произношением и грамматическими неправильностями.

другой не будет прислуживать мисс Лэмберт.

— Мы все стареем, Эви, мы все уже немолоды.

Эви, шмыгнув носом, утерла его пальцем.

— Пока мисс Лэмберт достаточно молода, чтобы играть женщин двадцати пяти лет, я тоже достаточно молода, чтобы одевать ее в театре и прислуживать ей дома. — Эви кинула на него проницательный взгляд. — И зачем это вам надо платить два жалованья — такую кучу денег! — когда вы имеете всю работу заодно?

Майкл добродушно рассмеялся:

— В этом что-то есть, Эви, милочка.

…Эви выпроводила Джулию из комнаты и погнала ее наверх. Когда не было дневного спектакля, Джулия обычно ложилась поспать часа на два перед вечерним, а затем делала легкий массаж. Она разделась и скользнула в постель.

— Черт подери, грелка совершенно остыла.

Джулия взглянула на стоявшие на камине часы. Ничего удивительного, грелка прождала ее чуть не час. Вот уж не думала, что так долго пробыла в комнате Майкла, разглядывая фотографии и перебирая в памяти прошлое.

«Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Я уйду со сцены в шестьдесят. В пятьдесят восемь — турне по Южной Африке и Австралии. Майкл

говорит, там можно изрядно набить карман. Сыграю все свои старые роли. Конечно, даже в шестьдесят я смогу играть сорокапятилетних. Но откуда их взять? Проклятые драматурги!»

Стараясь припомнить пьесу, в которой была бы хорошая роль для женщины сорока пяти лет, Джулия уснула. Спала она крепко и проснулась, только когда пришла массажистка. Эви принесла вечернюю газету, и, пока Джулии массировали длинные стройные ноги и плоский живот, она, надев очки, читала те самые театральные новости, что и утром, ту же светскую хронику и страничку для женщин. Вскоре в комнату вошел Майкл и присел к ней на кровать.

— Ну, как его зовут? — спросила Джулия.

— Кого?

— Мальчика, которого мы пригласили к ленчу.

— Понятия не имею. Я отвез его в театр и думать о нем забыл.

Мисс Филиппе, массажистке, нравился Майкл. С ним тебя не ждут никакие неожиданности. Он всегда говорит одно и то же, и знаешь, что отвечать. И нисколько не задается. А красив!.. Даже трудно поверить!

— Ну, мисс Филиппе, сгоняем жирок?

— Ах, мистер Госселин, да на мисс Лэмберт нет

и унции жира. Просто чудо, как она сохраняет фигуру.

— Жаль, что вы не можете массировать меня, мисс Филиппе. Может быть, согнали бы и с меня лишек.

— Что вы такое говорите, мистер Госселин! Да у вас фигура двадцатилетнего юноши. Не представляю, как вы этого добиваетесь, честное слово, не представляю.

— «Скромный образ жизни, высокий образ мыслей»[100].

Джулия не обращала внимания на их болтовню, но ответ мисс Филиппе достиг ее слуха.

— Конечно, нет ничего лучше массажа, я всегда это говорю, но нужно следить и за диетой, с этим не приходится спорить.

«Диета, — подумала Джулия. — Когда мне стукнет шестьдесят, я дам себе волю. Буду есть столько хлеба с маслом, сколько захочу, буду есть горячие булочки на завтрак, картофель на ленч и картофель на обед. И пиво. Господи, как я люблю пиво! Гороховый суп, суп с томатом, пудинг с патокой и вишневый пирог. Сливки, сливки, сливки. И, да поможет мне Бог, никогда в жизни больше не

---

[100] Примечания: 100
Цицерон. «Из писем к близким».

прикоснусь к шпинату».

Когда массаж был окончен, Эви принесла Джулии чашку чаю, ломтик ветчины, с которого было срезано сало, и кусочек поджаренного хлеба. Джулия встала с постели, оделась и поехала с Майклом в театр. Она любила приезжать туда за час до начала спектакля. Майкл пошел обедать в клуб. Эви еще раньше приехала в кебе, и, когда Джулия вошла в свою уборную, там уже все было готово. Джулия снова разделась и надела халат. Садясь перед туалетным столиком, чтобы наложить грим, Джулия заметила в вазе свежие цветы.

— Цветы? От кого? От миссис де Фриз?

Долли всегда присылала ей огромные букеты к премьере, к сотому спектаклю и к двухсотому, если он бывал, а в промежутках, всякий раз когда заказывала цветы для своего дома, отправляла часть их Джулии.

— Нет, мисс.

— Лорд Чарлз?

Лорд Чарлз Тэмерли был самый давний и самый верный поклонник Джулии; проходя мимо цветочного магазина, он обычно заходил туда и выбирал для Джулии розы.

— Там есть карточка, — сказала Эви.

Джулия взглянула на нее. Мистер Томас Феннел. Тэвисток-сквер.

— Ну и название. Кто бы это мог быть, как ты думаешь, Эви?

— Верно, какой-нибудь бедняга, которого ваша роковая красота стукнула обухом по голове.

— Стоят не меньше фунта. Тэвисток-сквер звучит не очень-то роскошно. Чего доброго, неделю сидел без обеда, чтобы их купить.

— Вот уж не думаю.

Джулия наложила на лицо грим.

— Ты чертовски не романтична, Эви. Раз я не хористка, ты не понимаешь, почему мне присылают цветы. А ноги у меня, видит Бог, получше, чем у большинства этих дев.

— Идите вы со своими ногами, — сказала Эви.

— А я тебе скажу, очень даже недурно, когда мне в мои годы присылают цветы. Значит, я еще ничего.

— Ну, посмотрел бы он на вас сейчас, ни в жисть бы не прислал, я их брата знаю, — сказала Эви.

— Иди к черту!

Но когда Джулия кончила гримироваться и Эви надела ей чулки и туфли, Джулия воспользовалась теми несколькими минутами, что у нее оставались, чтобы присесть к бюро и напи-

сать своим четким почерком благодарственную записку мистеру Томасу Феннелу за его великолепные цветы. Джулия была вежлива от природы, а кроме того, взяла себе за правило отвечать на все письма поклонников ее таланта. Таким образом она поддерживала контакт со зрителями. Надписав конверт, Джулия кинула карточку в мусорную корзину и стала надевать костюм, который требовался для первого акта. Мальчик, вызывающий актеров на сцену, постучал в дверь уборной:

— На выход, пожалуйста.

Эти слова все еще вызывали у Джулии глубокое волнение, хотя один Бог знает, сколько раз она их слышала. Они подбадривали ее, как тонизирующий напиток. Жизнь получала смысл. Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности.

Глава одиннадцатая

На следующий день Джулию пригласил к ленчу Чарлз Тэмерли. Его отец, маркиз Деннорант, женился на богатой наследнице, и Чарлзу досталось от родителей значительное состояние. Джулия часто бывала у него на приемах, которые он любил устраивать в своем особняке на Хилл-стрит. В глубине души она питала глубочайшее презрение к важным дамам и благородным господам, с которыми встречалась у него, ведь сама она зарабатывала хлеб собственным трудом и была художником в своем деле, но она понимала, что может завести там полезные связи. Благодаря им газеты писали о великолепных премьерах в «Сиддонс-театре», и когда Джулия фотографировалась на загородных приемах среди кучи аристократов, она знала, что это хорошая реклама. Были одна-две первые актрисы моложе ее, которым не очень-то нравилось, что она зовет по крайней мере трех герцогинь по имени. Это не огорчало Джулию. Джулия не была блестящей собеседницей, но глаза ее так сияли, слушала она с таким внимательным видом, что, как только она научилась жаргону светского общества, с

ней никому не было скучно. У Джулии был большой подражательный дар, который она обычно сдерживала, считая, что это может повредить игре на сцене, но в этих кругах она обратила его в свою пользу и приобрела репутацию остроумной женщины. Ей было приятно нравиться им, этим праздным элегантным дамам, но она смеялась про себя над тем, что их ослепляет ее романтический ореол. Интересно, что бы они подумали, если бы узнали, как в действительности прозаична жизнь преуспевающей актрисы, какого она требует неустанного труда, какой постоянной заботы о себе, насколько необходимо вести при этом монотонный, размеренный образ жизни! Но Джулия давала им благожелательные советы, как лучше употреблять косметику, и позволяла копировать фасоны своих платьев. Одевалась она всегда великолепно. Майкл, наивно полагавший, что она покупает свои туалеты за бесценок, даже не представлял, сколько она в действительности тратит на них.

Джулия имела репутацию добропорядочной женщины в обоих своих мирах. Никто не сомневался, что ее брак с Майклом — примерный брак. Она считалась образцом супружеской верности. В то же время многие люди в кругу Чарлза Тэмер-

ли были убеждены, что она — его любовница. Но эта связь, полагали они, тянется так долго, что стала вполне респектабельной, и когда их обоих приглашали на конец недели в один и тот же загородный дом, многие снисходительные хозяйки помещали их в соседних комнатах. Слухи об их связи распустила в свое время леди Чарлз Тэмерли, с которой Чарлз Тэмерли давно уже не жил, но в действительности в этом не было ни слова правды. Единственным основанием для этого служило то, что Чарлз вот уже двадцать лет был безумно влюблен в Джулию и, бесспорно, разошлись супруги Тэмерли, и так не очень между собой ладившие, из-за нее. Забавно, что свела Джулию и Чарлза сама леди Чарлз. Они трое случайно оказались на вилле Долли де Фриз, когда Джулия, в то время молоденькая актриса, имела в Лондоне свой первый успех. Был большой прием, и ей все уделяли усиленное внимание. Леди Чарлз, тогда женщина лет за тридцать, с репутацией красавицы, хотя, кроме глаз, у нее не было ни одной красивой черты, и она умудрялась производить эффектное впечатление лишь благодаря дерзкой оригинальности своей внешности, перегнулась через стол с милостивой улыбкой:

— О, мисс Лэмберт, я, кажется, знала вашего

батюшку, я тоже с Джерси. Он был врач, не правда ли? Он часто приходил в наш дом.

У Джулии засосало под ложечкой. Теперь она вспомнила, кто была леди Чарлз до замужества, и увидела приготовленную ей ловушку. Она залилась смехом.

— Вовсе нет, — ответила она. — Он был ветеринар. Он ходил к вам принимать роды у сук. В доме ими кишмя кишело.

Леди Чарлз не нашлась сразу, что сказать.

— Моя мать очень любила собак, — ответила она наконец.

Джулия радовалась, что на приеме не было Майкла. Бедный ягненочек, это страшно задело бы его гордость. Он всегда называл ее отца «доктор Ламбёр», произнося имя на французский лад, и когда, вскоре после войны, он умер и мать Джулии переехала к сестре на Сен-Мало, стал называть тещу «мадам де Ламбёр». В начале ее карьеры все это еще как-то трогало Джулию, но теперь, когда она твердо стала на ноги и утвердила свою репутацию большой актрисы, она по-иному смотрела на вещи. Она была склонна, особенно среди «сильных мира сего», подчеркивать, что ее отец — всего-навсего ветеринар. Она сама не могла бы объяснить почему, но чувство-

вала, что ставит их этим на место.

Чарлз Тэмерли догадался, что его жена хотела намеренно унизить молодую актрису, и, рассердившись, лез из кожи вон, чтобы быть с ней любезным. Он попросил разрешения нанести ей визит и преподнес чудесные цветы.

Ему было тогда около сорока. Изящное тело венчала маленькая головка с не очень красивыми, но весьма аристократическими чертами лица. Он казался чрезвычайно хорошо воспитанным, что соответствовало действительности, и отличался утонченными манерами. Лорд Чарлз был ценителем всех видов искусства. Он покупал современную живопись и собирал старинную мебель. Он очень любил музыку и был на редкость хорошо начитан. Сперва ему было просто забавно приходить в крошечную квартирку на Бэкингем-плейс-роуд, где жили двое молодых актеров. Он видел, что они бедны, и ему приятно щекотало нервы знакомство с — как он наивно полагал — настоящей богемой. Он приходил к ним несколько раз, и для него было настоящим приключением, когда его пригласили на ленч, который им подавало форменное пугало по имени Эви, служившее у них горничной. Лорд Чарлз не обращал особого внимания на Майкла, который,

несмотря на свою бьющую в глаза красоту, казался ему довольно заурядным молодым человеком, но Джулия покорила его. У нее были темперамент, характер и кипучая энергия, с которыми ему еще не приходилось сталкиваться. Несколько раз лорд Чарлз ходил в театр смотреть Джулию и сравнивал ее исполнение с игрой великих актрис мира, которых он видел в свое время. Ему казалось, что у нее очень яркая индивидуальность.

Ее обаяние было бесспорно. Его сердце затрепетало от восторга, когда он внезапно понял, как она талантлива.

«Вторая Сиддонс, возможно, больше, чем Эллен Терри[101]».

В те дни Джулия не считала нужным ложиться днем в постель, она была сильна, как лошадь, и никогда не уставала, и они часто гуляли вместе с лордом Чарлзом в парке. Она чувствовала, что ему хочется видеть в ней дитя природы. Джулии это вполне подходило. Ей не надо было прилагать усилий, чтобы казаться искренней, открытой и девически восторженной. Чарлз водил ее в Национальную галерею, в музей Тейта[102] и

[101] Примечания: 101
Терри, Эллен Алисия (1848–1928) — английская актриса.

[102] Примечания: 102
Музей классической и современной живописи в Лондоне.

Британский музей, и она испытывала от этого почти такое удовольствие, какое выказывала. Лорд Тэмерли любил делиться сведениями, Джулия была рада их получать. У нее была цепкая память, и она очень много от него узнала. Если впоследствии она могла рассуждать о Прусте[103] и Сезанне[104] в самом избранном обществе так, что все поражались ее высокой культуре, обязана этим она была лорду Чарлзу. Джулия поняла, что он влюбился в нее, еще до того, как он сам это осознал. Ей казалось это довольно забавным. С ее точки зрения, лорд Чарлз был пожилой мужчина, и она думала о нем, как о добром старом дядюшке. В то время Джулия еще была без ума от Майкла. Когда Чарлз догадался, что любит ее, его манера обращения с ней немного изменилась, он стал стеснительным и часто, оставаясь с ней наедине, молчал.

«Бедный ягненочек, — сказала она себе, — он такой большой джентльмен, что просто не знает, как ему себя вести».

Сама-то она уже давно решила, какой ей держаться линии поведения, когда он откроется

---

[103] Примечания: 103
Пруст, Марсель (1871–1922) — французский писатель.

[104] Примечания: 104
Сезанн, Поль (1839–1906) — французский живописец.

ей в любви, что рано или поздно обязательно должно было произойти. Одно она даст ему понять без обиняков: пусть не воображает, раз он лорд, а она — актриса, что ему стоит только поманить — и она прыгнет к нему в постель. Если он попробует с ней такие штучки, она разыграет оскорбленную добродетель и, вытянув вперед руку — роскошный жест, которому ее научила Жанна Тэбу, — укажет ему пальцем на дверь. С другой стороны, если он будет скован, не сможет выдавить из себя путного слова от смущения и расстройства чувств, она и сама будет робка и трепетна, слезы в голосе и все в этом духе; она скажет, что ей и в голову не приходило, какие он испытывает к ней чувства, и — нет, нет, это невозможно, это разобьет Майклу сердце. Они хорошо выплачутся вместе, и потом все будет как надо. Чарлз прекрасно воспитан и не станет ей надоедать, если она раз и навсегда вобьет ему в голову, что дело не выгорит.

Но когда объяснение наконец произошло, все было совсем не так, как ожидала Джулия. Они с Чарлзом гуляли в Сент-Джеймс-парке, любовались пеликанами и обсуждали — по ассоциации, — будет ли она в воскресенье вечером

играть Милламант[105]. Затем они вернулись домой к Джулии выпить по чашечке чаю. Съели пополам сдобную лепешку. Вскоре лорд Чарлз поднялся, чтобы уйти. Он вынул из кармана миниатюру и протянул Джулии.

— Портрет Клэрон. Это актриса восемнадцатого века, у нее было много ваших достоинств.

Джулия взглянула на хорошенькое умное личико, окаймленное пудреными буклями, и подумала, настоящие ли бриллианты на рамке или стразы.

— О, Чарлз, это слишком дорогая вещь. Как мило с вашей стороны!

— Я так и думал, что она вам понравится. Это — нечто вроде прощального подарка.

— Вы уезжаете?

Джулия была удивлена, он ничего ей об этом не говорил. Лорд Чарлз взглянул на нее с легкой улыбкой.

— Нет. Но я намерен больше не встречаться с вами.

— Почему?

— Я думаю, вы сами это знаете не хуже меня.

И тут Джулия совершила позорный поступок.

---

[105] Примечания: 105

Героиня комедии «Пути светской жизни» У. Конгрива (1670–1729), английского комедиографа.

Она села и с минуту молча смотрела на миниатюру. Выдержав идеальную паузу, она подняла глаза, они встретились с глазами Чарлза. Она могла вызвать слезы по собственному желанию, это был один из ее самых эффектных трюков, и теперь, хотя она не издала ни звука, ни всхлипа, слезы заструились у нее по лицу. Рот чуть-чуть приоткрыт, глаза, как у обиженного ребенка, — все вместе создавало на редкость трогательную картину. Лорд Чарлз не мог этого вынести; его черты исказила гримаса боли. Когда он заговорил, голос его был хриплым от обуревавших его чувств:

— Вы любите Майкла, так ведь?

Джулия чуть заметно кивнула. Сжала губы, словно пытаясь овладеть собой, но слезы по-прежнему катились у нее по щекам.

— У меня нет никаких шансов?

Он подождал ответа, но она лишь подняла руку ко рту и стала кусать ногти, по-прежнему глядя на него полными слез глазами.

— Вы не представляете, какая для меня мука видеть вас. Вы хотите, чтобы я продолжал с вами встречаться?

Она снова чуть заметно кивнула.

— Клара устраивает мне сцены. Она догадалась,

что я в вас влюблен. Простой здравый смысл требует, чтобы мы расстались.

На этот раз Джулия слегка покачала головой. Всхлипнула. Откинулась в кресле и отвернулась. Вся ее поза говорила о том, сколь глубока ее скорбь. Кто бы мог устоять? Чарлз сделал шаг вперед и, опустившись на колени, заключил сломленное горем, безутешное существо в свои объятия.

— Улыбнитесь, ради всего святого. Я не могу этого вынести. О Джулия, Джулия!.. Я так вас люблю, я не могу допустить, чтобы из-за меня вы страдали. Я на все согласен. Я не буду ни на что претендовать.

Джулия повернула к нему залитое слезами лицо («Господи, ну и видок сейчас у меня!») и протянула ему губы. Он нежно ее поцеловал. Поцеловал в первый и единственный раз.

— Я не хочу терять вас, — глухим от слез голосом произнесла она.

— Любимая! Любимая!

— И все будет как раньше?

— В точности.

Она глубоко и удовлетворенно вздохнула и минуты две оставалась в его объятиях. Когда лорд Чарлз ушел, Джулия встала с кресла и посмотрела

в зеркало. «Сукина ты дочь», — сказала она самой себе. Но тут же засмеялась, словно ей вовсе не стыдно, и пошла в ванную комнату вымыть лицо и глаза. Она была в приподнятом настроении. Услышав, что пришел Майкл, она его позвала:

— Майкл, посмотри, какую миниатюру подарил мне только что Чарлз. Она на каминной полочке. Это настоящие драгоценные камни или подделка?

Когда леди Чарлз оставила мужа, Джулия несколько встревожилась: та грозила подать в суд на развод, и Джулии не очень-то улыбалась мысль появиться в роли соответчицы. Недели две-три она сильно нервничала. Она решила ничего не рассказывать Майклу без крайней необходимости, и слава Богу, так как впоследствии выяснилось, что угрозы леди Чарлз преследовали единственную цель: заставить ни в чем не повинного супруга назначить ей как можно более солидное содержание. Джулия удивительно ловко управлялась с Чарлзом. Им было ясно без слов, что при ее любви к Майклу ни о каких интимных отношениях не может быть и речи, но в остальном он был для нее всем: ее другом, ее советчиком, ее наперсником, человеком, к помощи которого она всегда могла

обратиться в случае необходимости, который утешит ее при любой неприятности. Джулии стало немного трудней, когда Чарлз с присущей ему чуткостью увидел, что она больше не любит Майкла; пришлось призвать на помощь весь свой такт. Конечно, она не задумываясь, без особых угрызений совести сделалась бы его любовницей. Будь он, скажем, актером и люби ее так давно и сильно, она бы легла с ним в постель просто из дружеских чувств; но с Чарлзом это было невозможно. Джулия относилась к нему с большой нежностью, но он был так элегантен, так воспитан, так культурен, она просто не могла представить его в роли любовника. Все равно что лечь в постель с object d'art[106]. Даже его любовь к театру вызывала в ней легкое презрение. В конце концов, она была творцом, а он — всего-навсего зрителем. Чарлз хотел, чтобы она ушла к нему от Майкла. Они купят в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива, виллу с огромным садом, заведут шхуну и будут проводить долгие дни на прекрасном темно-красном море. Любовь, красота и искусство вдали от мира.

«Чертов дурак, — думала Джулия. — Как будто

---

[106] Примечания: 106
Предметом искусства (*фр.*).

я откажусь от своей карьеры, чтобы похоронить себя в какой-то дыре».

Джулия сумела убедить Чарлза, что она слишком многим обязана Майклу, к тому же у нее ребенок; не может же она допустить, чтобы его юная жизнь омрачилась сознанием того, что его мать — дурная женщина. Апельсиновые деревья — это, конечно, прекрасно, но на его великолепной вилле у нее не будет и минуты душевного покоя от мысли, что Майкл несчастен, а за ее ребенком присматривают чужие люди. Нельзя думать только о себе, ведь правда? О других тоже надо подумать. Джулия была так прелестна, так женственна! Иногда она спрашивала Чарлза, почему он не разведется и не женится на какой-нибудь милой девушке. Ей невыносима мысль, что из-за нее он зря тратит свою жизнь. Чарлз отвечал, что она единственная, кого он любит и будет любить до конца своих дней.

— Ах, это так печально, — говорила Джулия.

Тем не менее она всегда была начеку, и если ей чудилось, что какая-то женщина собирается подцепить Чарлза на крючок, Джулия делала все, чтобы испортить ей игру. Если опасность казалась особенно велика, Джулия не останавливалась перед сценой ревности. Они уже давно

пришли к соглашению, конечно, не прямо, а при помощи осторожных намеков и отдаленных иносказаний, со всем тактом, которого можно было ждать от лорда Чарлза при его воспитанности, и от Джулии, при ее добром сердце, что, если с Майклом что-нибудь случится, они так или иначе избавятся от леди Чарлз и соединятся узами брака. Но у Майкла было идеальное здоровье.

В этот день Джулия получила огромное удовольствие от ленча на Хилл-стрит. Был большой прием. Джулия никогда не потворствовала Чарлзу в его стремлении приглашать к себе актеров и драматургов, с которыми он где-нибудь случайно встретился, и сегодня она была единственной из гостей, кто когда-либо сам зарабатывал себе на жизнь. Она сидела между старым, толстым, лысым и словоохотливым членом кабинета министров, который лез из кожи вон, чтобы ее занять, и молодым герцогом Уэстри, который был похож на младшего конюха и гордился тем, что знает французское арго лучше любого француза. Услышав, что Джулия говорит по-французски, он потребовал, чтобы она беседовала с ним только на этом языке. После ленча ее уговорили продекламировать отрывок из «Федры» так, как это делают в «Комеди Франсез», и так, как его произнес бы

английский студент, занимающийся в Королевской академии драматического искусства. Джулия заставила общество сильно смеяться и ушла с приема упоенная успехом. Был прекрасный погожий день, и Джулия решила пройти пешком от Хилл-стрит до Стэнхоуп-плейс. Когда она пробиралась сквозь толпу на Оксфорд-стрит, многие ее узнавали, и, хотя она смотрела прямо перед собой, она ощущала на себе их взгляды.

«Черт знает что. Никуда нельзя пойти, чтобы на тебя не пялили глаза».

Джулия замедлила шаг. День действительно был прекрасный.

Она открыла дверь дома своим ключом и, войдя в холл, услышала телефонный звонок. Машинально сняла трубку.

— Да?

Обычно она меняла голос, отвечая на звонки, но сегодня забыла.

— Мисс Лэмберт?

— Я не знаю, дома ли она. Кто говорит? — спросила она на этот раз так, как говорят кокни. Но первое односложное словечко выдало ее. В трубке послышался смешок.

— Я только хотел поблагодарить вас за записку. Вы зря беспокоились. С вашей стороны было так

любезно пригласить меня к ленчу, и мне захотелось послать вам несколько цветков.

Звук его голоса, не говоря о словах, объяснил ей, кто ее собеседник. Это был тот краснеющий юноша, имени которого она так и не узнала. Даже теперь, хотя она видела его карточку, она не могла вспомнить. Она запомнила только то, что он живет на Тэвисток-сквер.

— Очень мило с вашей стороны, — ответила она своим голосом.

— Вы, наверное, не захотите выпить со мной чашечку чаю как-нибудь на днях?

Ну и наглость! Да она не пойдет пить чай и с герцогиней! Он разговаривает с ней как с какой-нибудь хористочкой. Смех, да и только.

— Почему бы и нет?

— Правда? — В голосе зазвучало волнение. («А у него приятный голос».) — Когда?

Ей совсем не хотелось сейчас ложиться отдыхать.

— Сегодня.

— О'кей. Я отпрошусь из конторы пораньше. В половине пятого вас устроит? Тэвисток-сквер, 138.

С его стороны было очень мило пригласить ее к себе. Он мог назвать какое-нибудь модное

место, где все бы на нее таращились. Значит, дело не в том, что ему просто хочется показаться рядом с ней.

На Тэвисток-сквер Джулия поехала в такси. Она была довольна собой. Всегда приятно сделать доброе дело. С каким удовольствием он будет потом рассказывать жене и детям, что сама Джулия Лэмберт приезжала к нему на чай, когда он еще был мелким клерком в бухгалтерской конторе. Она была так проста, так естественна. Слушая ее болтовню, никто бы не догадался, что она — величайшая актриса Англии. А если они ему не поверят, он покажет им ее фотографию, подписанную: «Искренне Ваша, Джулия Лэмберт». Он скажет со смехом, что, конечно, если бы он не был таким желторотым мальчишкой, он бы никогда не осмелился ее пригласить.

Когда Джулия подъехала к дому и отпустила такси, она вдруг подумала, что так и не вспомнила его имени и, когда ей откроют дверь, не будет знать, кого попросить. Но, подойдя к двери, увидела, что там не один звонок, а целых восемь, четыре ряда по два звонка, и рядом с каждым приколота карточка или клочок бумаги с именем. Это был старый особняк, разделенный на квартиры. Джулия без особой надежды стала читать

имена — вдруг какое-нибудь из них покажется ей знакомым, — как тут дверь распахнулась, и он собственной персоной возник перед ней.

— Я видел, как вы подъехали, и побежал вниз. Простите, я живу на четвертом этаже. Надеюсь, вас это не затруднит?

— Конечно, нет.

Джулия стала подниматься по голой лестнице. Она немного запыхалась, когда добралась до последней площадки. Юноша легко прыгал со ступеньки на ступеньку — как козленок, подумала она, — и Джулии не хотелось просить его идти помедленнее. Комната, в которую он ее провел, была довольно большая, но бедно обставленная — выцветшие обои, старая мебель с вытертой обшивкой. На столе стояла тарелка с кексами, две чайные чашки, сахарница и молочник. Фаянсовая посуда была из самых дешевых.

— Присядьте, пожалуйста, — сказал он. — Вода уже кипит. Одну минутку. Газовая горелка в ванной комнате.

Он вышел, и она осмотрелась кругом.

«Ах ты, ягненочек! Видно, беден как церковная мышь».

Комната напомнила Джулии многие меблированные комнаты, в которых ей приходилось

жить, когда она впервые попала на сцену. Она заметила трогательные попытки скрыть тот факт, что жилище это было и гостиной, и столовой, и спальней одновременно. Диван у стены, очевидно, ночью служил ему ложем. Джулия точно скинула с плеч два десятка лет. В воображении она вернулась к дням своей молодости. Как весело жилось в таких комнатах, с каким удовольствием они поглощали самые фантастические блюда, снедь, принесенную в бумажных кульках, или зажаренную на газовой горелке яичницу с беконом!.. Вошел хозяин, неся коричневый чайник с кипятком. Джулия съела квадратное бисквитное пирожное, облитое розовой глазурью. Она не позволяла себе такой роскоши уже много лет. Цейлонский чай, очень крепкий, с сахаром и молоком, вернул ее к тем дням, о которых она, казалось, давно забыла. Она снова была молодой, малоизвестной, стремящейся к успеху актрисой. Восхитительное чувство. Оно требовало какого-то жеста, но Джулии пришел на ум лишь один — она сняла шляпу и встряхнула головой.

Они завели разговор. Юноша казался робким, куда более робким, чем по телефону; что ж, нечему удивляться, теперь, когда она здесь, он, естественно, смущен, очень волнуется, и Джулия

решила, что ей надо его ободрить. Он рассказал ей, что родители его живут в Хайгейте, его отец — поверенный в делах, раньше он жил вместе с ними, но захотел быть сам себе хозяином и сейчас, в последний год учения, отделился от семьи и снял эту крошечную квартирку. Он готовится к последнему экзамену. Они заговорили о театре. Он смотрел Джулию во всех ее ролях, с тех пор как ему исполнилось двенадцать лет. Он рассказал, что стоял однажды после дневного спектакля у служебного входа и, когда она вышла, попросил ее расписаться в его книге автографов. Да, юноша очень мил: эти голубые глаза и светло-каштановые волосы! Как жаль, что он их прилизывает. И такая белая кожа и яркий румянец на скулах; интересно, нет ли у него чахотки? Дешевый костюм сидит хорошо, он умеет носить вещи, ей это нравится; и он выглядит неправдоподобным чистюлей.

Джулия спросила, почему он поселился на Тэвисток-сквер. Это недалеко от центра, объяснил он, и тут есть деревья. Так приятно глядеть в окно. Джулия поднялась взглянуть; это хороший предлог, чтобы встать, а потом она наденет шляпу и попрощается с ним.

— Да, очаровательно. Добрый старый Лондон;

сразу делается весело на душе.

Юноша стоял рядом с ней, и при этих словах Джулия обернулась. Он обнял ее за талию и поцеловал в губы. Ни одна женщина на свете не удивилась бы так. Джулия не верила сама себе и стояла как вкопанная. У него были мягкие губы, и вокруг него витал аромат юности — довольно приятный аромат. Но то, что он делал, не лезло ни в какие ворота. Он раздвигал ей губы кончиком языка и обнимал ее теперь уже двумя руками. Джулия не рассердилась, но и не чувствовала желания рассмеяться, она сама не знала, что чувствует. Она видела, что он нежно тянет ее куда-то — его губы все еще прижаты к ее губам, — ощущала явственно жар его тела, словно там, внутри, была печка — вот удивительно! — а затем обнаружила, что лежит на диване, а он рядом с ней и целует ее рот, шею, щеки, глаза. У Джулии непонятно почему сжалось сердце, она взяла его голову обеими руками и поцеловала в губы.

Через некоторое время она стояла у камина перед зеркалом и приводила себя в порядок.

— Погляди на мои волосы!

Он протянул ей гребень, и она провела им по волосам. Затем надела шляпу. Он стоял позади нее, и она увидела над своим плечом его нетерпе-

ливые голубые глаза, в которых сейчас мерцала легкая усмешка.

— А я-то думала, ты такой застенчивый мальчик, — сказала она его отражению.

Он коротко засмеялся.

— Когда я снова тебя увижу? — спросил он.

— А ты хочешь меня снова видеть?

— Еще как!

Мысли быстро проносились в ее голове. Это все было слишком нелепо; конечно, она не собиралась больше с ним встречаться, достаточно глупо было сегодня позволить ему вести себя таким образом, но, пожалуй, лучше спустить все на тормозах. Он может стать назойливым, если сказать, что этот эпизод не будет иметь продолжения.

— Я на днях позвоню.

— Поклянись.

— Честное слово.

— Не откладывай надолго.

Он настоял на том, чтобы проводить ее вниз и посадить в такси. Джулия хотела спуститься одна, взглянуть на карточки у звонков. «Должна же я по крайней мере знать его имя».

Но он не дал ей этой возможности. Когда такси отъехало, Джулия втиснулась в угол сиденья и чуть не захлебнулась от смеха.

«Изнасилована, голубушка. Самым натуральным образом. В мои-то годы! И даже без всяких там «с вашего позволения». Словно я — обыкновенная потаскушка. Комедия восемнадцатого века, вот что это такое. Я могла быть горничной. В кринолине с этими смешными пышными штуками — как они называются, черт побери? — которые они носили, чтобы подчеркнуть бедра, в передничке и косынке на шее». И, припомнив с пятого на десятое Фаркера[107] и Голдсмита[108], она начала воображаемый диалог: «Фи, сэр, как не стыдно воспользоваться неопытностью простой сельской девушки! Что скажет миссис Эбигейл, камеристка ее светлости, когда узнает, что брат ее светлости похитил у меня самое дорогое сокровище, каким владеет девушка моего положения, — лишил меня невинности».

Когда Джулия вернулась домой, массажистка уже ждала ее. Мисс Филиппе болтала с Эви.

— Куда это вас носило, мисс Лэмберт? — спросила Эви. — И когда вы теперь отдохнете, хотела бы я знать!

— К черту отдых!

---

[107] Примечания: 107
Фаркер, Джордж (1677–1707) — англо-ирландский драматург.

[108] Примечания: 108
Голдсмит, Оливер (1728–1774) — английский писатель.

Джулия сбросила платье и белье, с размаху расшвыряла его по комнате. Затем, абсолютно голая, вскочила на кровать, постояла на ней минуту, как Венера, рожденная из пены, затем кинулась на постель и вытянулась в струнку.

— Что на вас нашло? — спросила Эви.

— Мне хорошо.

— Ну, кабы я вела себя так, люди сказали бы, что я хватила лишку.

Мисс Филиппе начала массировать Джулии ноги. Она терла ее несильно, чтобы дать отдых телу, а не утомить его.

— Когда вы сейчас, как вихрь, ворвались в комнату, — сказала она, — я подумала, что вы помолодели на двадцать лет.

— Ах, оставьте эти разговоры для мистера Госселина, мисс Филиппе! — сказала Джулия, затем добавила, словно сама тому удивляясь: — Я чувствую себя как годовалый младенец.

То же самое было позднее в театре. Ее партнер Арчи Декстер зашел к ней в уборную о чем-то спросить. Джулия только кончила гримироваться. На его лице отразилось изумление.

— Привет, Джулия. Что это с тобой сегодня? Ты выглядишь грандиозно. Да тебе ни за что не дать больше двадцати пяти!

— Когда сыну шестнадцать, бесполезно притворяться, будто ты так уж молода. Мне сорок, и пусть хоть весь свет знает об этом.

— Что ты сделала с глазами? Я еще не видел, чтобы они так у тебя сияли.

Джулия давно не чувствовала себя в таком ударе. Комедия под названием «Пуховка», которая шла в тот вечер, не сходила со сцены уже много недель, но сегодня Джулия играла так, словно была премьера. Ее исполнение было блестящим. Публика смеялась как никогда. В Джулии всегда было большое актерское обаяние, но сегодня казалось, что его лучи осязаемо пронизывают весь зрительный зал. Майкл случайно оказался в театре на последних двух актах и после спектакля пришел к ней в уборную.

— Ты знаешь, суфлер говорит, мы кончили на девять минут позже обычного, — так много смеялась публика, — сказал он.

— Семь вызовов. Я думала, они никогда не разойдутся.

— Ну, вини в этом только себя, дорогая. Во всем мире нет актрисы, которая смогла бы сыграть так, как ты сегодня.

— Сказать по правде, я и сама получала удовольствие. Господи, я такая голодная! Что у нас

на ужин?

— Рубец с луком.

— Великолепно! — Джулия обвила Майкла руками и поцеловала. — Обожаю рубец с луком. Ах, Майкл, если ты меня любишь, если в твоем твердокаменном сердце есть хоть искорка нежности ко мне, ты разрешишь мне выпить бутылку пива.

— Джулия!

— Только сегодня. Я не так часто прошу тебя что-нибудь для меня сделать.

— Ну что ж, после того как ты провела этот спектакль, я, наверное, не смогу сказать «нет», но, клянусь Богом, уж я прослежу, чтобы мисс Филиппе не оставила на тебе завтра живого места.

Глава двенадцатая

Когда Джулия легла в постель и вытянула ноги, чтобы ощутить приятное тепло грелки, она с удовольствием окинула взглядом свою розово-голубую спальню с позолоченными херувимчиками на туалете и удовлетворенно вздохнула. Настоящий будуар мадам де Помпадур. Она погасила свет, но спать ей не хотелось. С какой радостью она отправилась бы сейчас к Квэгу потанцевать, но не с Майклом, а с Людовиком XV, или Людовиком Баварским, или Альфредом де Мюссе. Клэрон и Bal de l'Opéra[109]. Она вспомнила миниатюру, которую когда-то подарил ей Чарлз. Вот как она сегодня себя чувствовала. У нее уже целую вечность не было такого приключения. Последний раз нечто подобное случилось восемь лет назад. Ей бы, конечно, следовало стыдиться этого эпизода, и как она потом была напугана! Все так, но, что греха таить, она не могла вспоминать о нем без смеха.

Произошло все тоже случайно. Джулия играла много недель без перерыва, и ей необходимо

---

[109] Примечания: 109
Бал в Оперном театре (*фр.*).

было отдохнуть. Пьеса переставала привлекать публику, и они уже собирались начать репетиции новой, как Майклу удалось сдать помещение театра на шесть недель французской труппе. Это позволяло Джулии уехать. Долли сняла в Канне дом на весь сезон, и Джулия могла погостить у нее. Выехала она как раз накануне Пасхи. Поезда были так переполнены, что она не смогла достать купе в спальном вагоне, но в железнодорожном бюро компании Кука ей сказали, чтоб она не беспокоилась — при пересадке в Париже ее будет ждать спальное место. К ее крайнему смятению, на вокзале в Париже, судя по всему, ничего об этом не знали, и chef de train[110] сказал ей, что спальные места заняты все до одного, разве что ей повезет и кто-нибудь в последний момент опоздает. Джулии совсем не улыбалась мысль просидеть всю ночь в углу купе вагона первого класса, и она пошла в вокзальный ресторан обедать, весьма всем этим взволнованная. Ей дали столик на двоих, и вскоре какой-то мужчина занял свободное кресло. Джулия не обратила на него никакого внимания. Через некоторое время к ней подошел chef de train и сказал, что, к вели-

[110] Примечания: 110
Начальник поезда, главный кондуктор (*фр.*).

чайшему сожалению, ничем не может ей помочь. Джулия устроила ему сцену, но все было напрасно. Когда тот ушел, сосед Джулии обратился к ней. Хотя он бегло говорил по-французски, она поняла по его акценту, что он не француз. В ответ на его вежливые расспросы она поведала ему всю историю и поделилась с ним своим мнением о компании Кука, французской железнодорожной компании и всем человеческом роде. Он выслушал ее очень сочувственно и сказал, что после обеда сам пройдет по составу и посмотрит, нельзя ли что-нибудь организовать. Чего только не сделает проводник за хорошие чаевые!

— Я страшно устала, — вздохнула Джулия, — и с радостью отдам пятьсот франков за спальное купе.

Между ними завязался разговор. Собеседник сказал ей, что он атташе испанского посольства в Париже и едет в Канн на Пасху. Хотя Джулия проговорила с ним уже с четверть часа, она не потрудилась как следует его рассмотреть. Теперь она заметила, что у него черная курчавая бородка и черные курчавые усы. Бородка росла очень странно: пониже уголков губ были два голых пятна, что придавало ему курьезный вид. Эта бородка, черные волосы, тяжелые полуопущен-

ные веки и довольно длинный нос напоминали ей кого-то, но кого? Вдруг она вспомнила и так удивилась, что, не удержавшись, воскликнула:

— Знаете, я никак не могла понять, кого вы мне напоминаете. Вы удивительно похожи на тициановский портрет Франциска I, который я видела в Лувре!

— С этими его поросячьими глазками?

— Нет, глаза у вас большие. Я думаю, тут все дело в бороде.

Джулия внимательно всмотрелась в него: кожа под глазами гладкая, без морщин, сиреневатого оттенка. Он еще совсем молод, просто борода старит его; вряд ли ему больше тридцати. Интересно, вдруг он какой-нибудь испанский гранд? Одет он не очень элегантно, но с иностранцами никогда ничего не поймешь, и не очень хорошо скроенный костюм может стоить кучу денег. Галстук, хотя и довольно кричащий, был явно куплен у Шарвье. Когда им подали кофе, он попросил разрешения угостить ее ликером.

— Очень любезно с вашей стороны. Может быть, я тогда лучше буду спать.

Он предложил ей сигарету. Портсигар у него был серебряный, что несколько обескуражило Джулию, но, когда он его закрыл, она увидела

на уголке крышки золотую корону. Верно, какой-нибудь граф или почище того. Серебряный портсигар с золотой короной — в этом есть свой шик. Жаль, что ему приходится носить современное платье. Если бы его одеть как Франциска I, он выглядел бы весьма аристократично. Джулия решила быть с ним как можно любезней.

— Я, пожалуй, лучше признаюсь вам, — сказал он немного погодя, — я знаю, кто вы. И разрешите добавить, что я очень восхищаюсь вами.

Джулия одарила его долгим взглядом своих чудесных глаз.

— Вы видели мою игру?

— Да. Я был в Лондоне в прошлом месяце.

— Занятная пьеска, не правда ли?

— Только благодаря вам.

Когда к ним подошел официант со счетом, ей пришлось настоять на том, чтобы расплатиться за свой обед. Испанец проводил ее до купе и сказал, что пойдет по вагонам, может быть, ему удастся найти для нее спальное место. Через четверть часа он вернулся с проводником и сказал, что нашел купе, пусть она даст проводнику свои вещи, и он проводит ее туда. Джулия была в восторге. Испанец кинул шляпу на сиденье, с которого она встала, и она пошла следом за ним

по проходу. Когда они добрались до купе, испанец велел проводнику отнести чемодан и сумку, лежавшие в сетке, в тот вагон, где была мадам.

— Неужели вы отдали мне собственное место? — вскричала Джулия.

— Единственное, которое я мог найти во всем составе.

— Нет, я и слышать об этом не хочу.

— Allez[111], — сказал испанец проводнику.

— Нет, нет…

Незнакомец кивнул проводнику, и тот забрал вещи.

— Это не имеет значения. Я могу спать где угодно, но я бы и глаз не сомкнул от мысли, что такая великая актриса будет вынуждена провести ночь с тремя чужими людьми.

Джулия продолжала протестовать, но не слишком рьяно. Это так мило, так любезно с его стороны! Она не знает, как его и благодарить. Испанец не позволил ей даже отдать разницу за билет. Он умолял ее, чуть не со слезами на глазах, оказать ему честь, приняв от него этот пустяковый подарок. У нее был с собой только дорожный несессер с кремами для лица, ночной сорочкой и

---

[111] Примечания: 111
Идите (*фр.*).

принадлежностями для вечернего туалета, и испанец положил его на столик. Его единственная просьба — разрешить у нее посидеть, пока ей не захочется лечь, и выкурить одну-две сигареты. Джулии трудно было ему отказать. Постель уже была приготовлена, и они сели поверх одеяла. Через несколько минут появился проводник с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Недурное приключеньице! Джулия искренне наслаждалась. Удивительно любезно с его стороны. Да, эти иностранцы знают, как надо вести себя с большой актрисой! С Сарой Бернар такие вещи, верно, случались каждый день. А Сиддонс! Когда она входила в гостиную, все вставали, словно вошла сама королева.

Испанец отпустил ей комплимент по поводу того, как прекрасно она говорит по-французски. Родилась на острове Джерси, а образование получила во Франции? Тогда понятно. Но почему она решила играть на английской сцене, а не на французской? Она завоевала бы не меньшую славу, чем Дузе. Она и в самом деле напоминает ему Дузе: те же великолепные глаза и белая кожа, та же эмоциональность и потрясающая естественность в игре.

Когда они наполовину опорожнили бутылку

с шампанским, Джулия сказала, что уже очень поздно.

— Право, я думаю, мне пора ложиться.

— Ухожу.

Он встал и поцеловал ей руку. Когда он вышел, Джулия заперла дверь в купе и разделась. Погасив все лампы, кроме той, что была у нее над головой, она принялась читать. Через несколько минут раздался стук в дверь.

— Да?

— Мне страшно неловко вас беспокоить. Я оставил в туалете зубную щетку. Можно мне войти?

— Я уже легла.

— Я не могу спать, пока не вычищу зубы.

«А он по крайней мере чистоплотен».

Пожав плечами, Джулия протянула руку к двери и открыла задвижку. При создавшихся обстоятельствах просто глупо изображать из себя слишком большую скромницу. Испанец вошел в купе, заглянул в туалет и через секунду вышел, размахивая зубной щеткой. Джулия заметила ее, когда сама чистила зубы, но решила, что ее оставил человек из соседнего купе. В те времена на два купе был один туалет. Джулия перехватила взгляд испанца, брошенный на бутылку с шампанским.

— Меня ужасно мучит жажда, вы не возражаете, если я выпью бокал?

На какую-то долю секунды Джулия задержалась с ответом. Шампанское было его, купе — тоже. Что ж, назвался груздем — полезай в кузов.

— Конечно, нет.

Он налил себе шампанского, закурил сигарету и присел на край постели. Она чуть посторонилась, чтобы ему было свободнее. Он держался абсолютно естественно.

— Вы не смогли бы заснуть в том купе, — сказал он, — один из попутчиков ужасно сопит. Уж лучше бы храпел. Тогда можно было бы его разбудить.

— Мне очень неловко.

— О, не важно. На худой конец свернусь калачиком в проходе у вашей двери.

«Не ожидает же он, что я приглашу его спать здесь, со мной, — сказала себе Джулия. — Уж не подстроил ли он все это специально? Ничего не выйдет, голубчик». Затем произнесла вслух:

— Очень романтично, конечно, но не очень удобно.

— Вы очаровательная женщина!

А все же хорошо, что у нее нарядная ночная сорочка и она еще не успела намазать лицо кре-

мом. По правде говоря, она даже не потрудилась стереть косметику. Губы у нее были пунцовые, и она знала, что, освещенная лишь лампочкой для чтения за головой, она выглядит очень даже неплохо. Но ответила она иронически:

— Если вы решили, что я соглашусь с вами переспать за то, что уступили мне свое купе, вы ошибаетесь.

— Воля ваша. Но почему бы нет?

— Я не из тех «очаровательных» женщин, за которую вы меня приняли.

— А какая вы женщина?

— Верная жена и нежная мать.

Он вздохнул:

— Ну что ж, тогда спокойной ночи.

Он раздавил в пепельнице окурок и поднес к губам ее руку. Поцеловал ладонь. Медленно провел губами от запястья до плеча. Джулию охватило странное чувство. Борода слегка щекотала ей кожу. Затем он наклонился и поцеловал ее в губы. От его бороды исходил какой-то своеобразный душный запах. Джулия не могла понять, противен он ей или приятен. Удивительно, если подумать, ее еще ни разу в жизни не целовал бородатый мужчина. В этом есть что-то не совсем пристойное. Щелкнул выключатель, свет погас.

Он ушел лишь тогда, когда узкая полоска между неплотно закрытыми занавесками возвестила, что настало утро. Джулия была совершенно разбита, морально и физически.

«Я буду выглядеть форменной развалиной, когда приеду в Канн».

И так рисковать! Он мог ее убить или украсть ее жемчужное ожерелье. Джулию бросало то в жар, то в холод от мысли, какой опасности она подвергалась. И он тоже едет в Канн. А вдруг он станет претендовать там на ее знакомство! Как она объяснит, кто он, своим друзьям? Она была уверена, что Долли он не понравится. Еще попробует ее шантажировать… А что ей делать, если ему вздумается повторить сегодняшний опыт? Он страстен, в этом сомневаться не приходится. Он спросил, где она остановится, и, хотя она не сказала ему, выяснить это при желании не составит труда. В таком месте, как Канн, вряд ли удастся избежать встречи. Вдруг он окажется назойлив? Если он так влюблен в нее, как говорит, он от нее не отвяжется, это ясно. И с этими иностранцами ничего нельзя сказать заранее, еще станет устраивать ей публичные сцены. Утешало ее одно: он сказал, что едет только на Пасху; она притворится, будто очень устала и хочет первое

время спокойно побыть на вилле.

«Как я могла так сглупить!»

Долли, конечно, приедет ее встречать, и, если испанец будет настолько бестактен и подойдет к ней прощаться, она скажет Долли, что он уступил ей свое купе. В этом нет ничего такого. Всегда лучше придерживаться правды… насколько это возможно. Но в Канне на платформе была куча народу, и Джулия вышла со станции и села в машину Долли, даже не увидев испанца.

— Я никого не приглашала на сегодня, — сказала Долли. — Я думала, вы устали, и хотела побыть наедине с вами хотя бы один день.

Джулия нежно стиснула ей плечо.

— Чудеснее и быть не может. Будем сидеть на вилле, мазать лицо кремами и сплетничать сколько душе угодно.

Но на следующий день они были приглашены к ленчу, а до этого должны были встретиться с пригласившими их в баре на рю Круазет и выпить вместе коктейли. Когда они вышли из машины, Долли задержалась, чтобы дать шоферу указания, куда за ними заехать, и Джулия поджидала ее. Вдруг сердце подскочило у нее в груди: прямо к ним направлялся вчерашний испанец; с одной стороны, держа его под руку, шла молодая жен-

щина, с другой — он вел девочку. Отворачиваться было поздно. Долли присоединилась к ней, надо было перейти на другую сторону улицы. Испанец подошел вплотную, кинул на нее безразличный взгляд и, оживленно беседуя со своей спутницей, проследовал дальше. Джулия поняла, что он так же мало жаждет видеть ее, как она — его. Женщина и девочка были, очевидно, его жена и дочь, с которыми он хотел провести в Канне Пасху. Какое облегчение! Теперь она может безбоязненно наслаждаться жизнью. Но, идя за Долли к бару, Джулия подумала, какие все же скоты эти мужчины! С них просто нельзя спускать глаз. Стыд и срам, имея такую очаровательную жену и прелестную дочурку, заводить в поезде случайное знакомство! Должно же у них быть хоть какое-то чувство пристойности!

Однако с течением времени негодование Джулии поостыло, и она даже с удовольствием думала об этом приключении. В конце концов они неплохо позабавились. Иногда она позволяла себе предаваться мечтам и перебирать в памяти все подробности этой единственной в своем роде ночи. Любовник он был великолепный, ничего не скажешь. Будет о чем вспомнить, когда она постареет. Все дело в бороде — она так странно

щекотала ей лицо — и в этом душном запахе, который отталкивал и одновременно привлекал ее. Еще несколько лет Джулия высматривала мужчин с бородами; у нее было чувство, что если бы один из них приволокнулся за ней, она была бы просто не в силах ему отказать. Но бороды вышли из моды, и слава Богу, потому что при виде бородатого мужчины у Джулии подгибались колени; к тому же ни один из бородачей, которых она все же изредка встречала, не делал ей никаких авансов. Интересно все же, кто он, этот испанец. Джулия видела его через несколько дней после приезда в казино — он играл в chemin de fer[112] — и спросила о нем двух-трех знакомых. Но никто из них не был с ним знаком, и он так и остался в ее памяти и в ее крови безымянным. Забавное совпадение — как зовут юношу, столь удивившего ее сегодня днем, Джулия тоже не знала.

«Если бы я представляла, что они намерены позволить себе со мной вольности, я бы по крайней мере заранее попросила у них визитные карточки».

С этой мыслью она благополучно уснула.

---

[112] Примечания: 112
Шмэн-де-фер — азартная карточная игра (*фр.*).

Глава тринадцатая

Прошло несколько дней, и однажды утром, когда Джулия лежала в постели и читала новую пьесу, ей позвонили по внутреннему телефону из цокольного этажа и спросили, не поговорит ли она с мистером Феннелом. Имя ей было незнакомо, и она уже было сказала «нет», как ей пришло в голову, не тот ли это юноша из ее приключения. Любопытство побудило ее сказать, чтобы их соединили. Джулия сразу узнала его голос.

— Ты обещала позвонить, — сказал он. — Мне надоело ждать, и я звоню сам.

— Я была ужасно занята все это время.

— Когда я тебя увижу?

— Когда у меня будет свободная минутка.

— Как насчет сегодня?

— У меня дневной спектакль.

— Приходи после него выпить чаю.

Она улыбнулась. («Нет, малыш, второй раз ты меня на ту же удочку не поймаешь».)

— Не получится, — сказала она. — Я всегда остаюсь в театре, отдыхаю у себя в уборной до вечернего представления.

— А мне нельзя зайти в то время, как ты от-

дыхаешь?

Какую-то секунду она колебалась. Пожалуй, это будет лучше всего. При Эви, которая без конца входит в уборную, в ожидании мисс Филиппе ни о каких глупостях не может быть и речи. Удобный случай дружески — мальчик так мил! — но твердо сказать ему, что продолжения не будет. В нескольких удачно подобранных словах она объяснит ему, что это — безрассудство и он весьма ее обяжет, если вычеркнет из памяти весь этот эпизод.

— Хорошо. Приходи в полшестого, я угощу тебя чашкой чаю.

Три часа, которые она проводила у себя в уборной между дневным и вечерним спектаклями, были самым любимым временем в ее загруженном дне. Остальные члены труппы уходили из театра, оставались лишь Эви, готовая удовлетворить все ее желания, и швейцар, следивший, чтобы никто не нарушил ее покоя. Уборная казалась Джулии каютой корабля. Весь остальной мир оставался где-то далеко-далеко, и Джулия наслаждалась своим уединением. Она словно попадала в магический круг, который делал ее еще свободнее. Она дремала, читала или, улегшись на мягкий удобный диван, позволяла мыслям

блуждать без определенной цели. Думала о роли, которую ей предстояло играть, и о своих прошлых ролях. Думала о своем сыне Роджере. Приятные полумечты-полувоспоминания неторопливо проходили у нее в уме, как влюбленные в зеленом лесу. Джулия любила французскую поэзию и иногда читала вслух Верлена. Ровно в половине шестого Эви подала ей карточку. «Мистер Томас Феннел», — прочитала она.

— Проводи его сюда и принеси чай.

Джулия еще утром решила, как она будет с ним держаться. Любезно, но сухо. Проявит дружеский интерес к его работе, спросит насчет экзамена. Затем расскажет о Роджере. Роджеру было семнадцать, через год он поступит в Кембридж. Она постарается исподволь внушить юноше, что по своему возрасту годится ему в матери. Она будет вести себя так, словно между ними никогда ничего не было, и он уйдет, чтобы никогда больше ее не видеть, иначе как при свете рампы, почти поверив, что все это было плодом его фантазии. Но когда Джулия взглянула на него, такого хрупкого, с чахоточным румянцем и голубыми глазами, такого юного и прелестного, сердце ее пронзила внезапная боль. Эви вышла и закрыла дверь. Джулия лежала на диване; она протянула ему

руку с милостивой улыбкой мадам Рекамье[113], но он кинулся рядом с ней на колени и страстно приник к ее губам. Джулия ничего не могла с собой поделать, она обвила его шею руками и так же страстно вернула ему поцелуй.

(«Господи, где мои благие намерения? Неужели я в него влюбилась?»)

— Сядь, ради Бога. Эви сейчас принесет чай.

— Скажи, чтобы она нам не мешала.

— Что ты имеешь в виду?

Но что он имел в виду, было более чем очевидно. Сердце ее учащенно забилось.

— Это смешно. Я не могу. Может зайти Майкл.

— Я тебя хочу.

— И что подумает Эви? Просто идиотизм так рисковать. Нет, нет, нет.

В дверь постучали, вошла Эви с чаем. Джулия велела ей придвинуть столик к дивану и поставить кресло для молодого человека с другой стороны. Она задерживала Эви ненужным разговором и чувствовала на себе его взгляд. Его глаза быстро следовали за ее жестами, следили за выражением ее лица, она избегала их, но все

---

[113] Примечания: 113

Рекамье, Жюли (1777–1849) — знаменитая французская красавица, хозяйка блестящего парижского салона во времена Директории и Консульства, где собирались известные писатели тех дней.

равно ощущала нетерпение, горящее в них, и пыл его желания. Джулия была взволнована. Ей казалось, что голос ее звучит неестественно. («Какого черта! Что это со мной? Я еле дышу!»)

Когда Эви подошла к дверям, юноша сделал движение, которое было так безотчетно, что Джулия уловила его не столько зрением, сколько чувствами, и, не удержавшись, взглянула на него. Его лицо совсем побелело.

— О, Эви, — сказала Джулия, — этот джентльмен хочет поговорить со мной о пьесе. Последи, чтобы нам не мешали. Я позвоню, когда ты мне понадобишься.

— Хорошо, мисс.

Эви вышла и закрыла за собой дверь.

(«Я просто дура. Последняя дура».)

Но он уже отодвинул столик и стоял возле нее на коленях, она уже была в его объятиях.

…Джулия отослала его незадолго до прихода мисс Филиппе и, когда он ушел, позвонила Эви.

— Хорошая пьеса? — спросила Эви.

— Какая пьеса?

— О которой он говорил с вами.

— Он неглуп. Конечно, еще очень молод…

Эви смотрела на туалетный столик. Джулия любила, чтобы ее вещи всегда были на своем месте,

и если вдруг не находила баночки с кремом или краски для ресниц, устраивала скандал.

— Где ваш гребень?

Он причесывался ее гребнем и нечаянно положил его на чайный столик. Увидев его там, Эви с минуту задумчиво на него глядела.

— Как, ради всего святого, он сюда попал? — беззаботно вскричала Джулия.

— Вот и я об этом думаю.

У Джулии душа ушла в пятки. Конечно, заниматься такими вещами в театре, в своей уборной, просто безумие. Да тут даже нет ключа в двери. Эви держит его у себя. А все же риск придает всему этому особую пикантность. Приятно было думать, что она способна до такой степени потерять голову. Так или иначе, теперь они назначили свидание. Том — она спросила, как его зовут дома, и он сказал «Томас», но у нее не поворачивался язык так его называть, — Том хотел пригласить ее куда-нибудь на ужин, чтобы они могли потанцевать, а Майкл уезжал на днях в Кембридж на репетицию нескольких одноактных пьес, написанных студентами, так что у них будет куча времени.

— Ты сможешь вернуться рано утром, когда станут развозить молоко.

— А как насчет спектакля на следующий день?

— Какое это имеет значение?

Джулия не разрешила ему зайти за ней в театр, и когда она вошла в выбранный ими ресторан, Том ждал ее в холле. При виде Джулии лицо его засветилось.

— Уже так поздно. Я испугался, что ты совсем не придешь.

— Мне очень жаль. Ко мне зашли после спектакля разные скучные люди, и я никак не могла отделаться от них.

Это была неправда. Весь вечер Джулия волновалась, как девушка, идущая на первый бал. Она тысячу раз повторяла себе, что это просто нелепо. Но когда она сняла сценический грим и снова накрасилась, чтобы идти на ужин, результаты не удовлетворили ее. Она наложила голубые тени на веки и снова их стерла, накрасила щеки и вымыла их, затем попробовала другой оттенок.

— Что это вы такое делаете? — спросила Эви.

— Пытаюсь выглядеть на двадцать, дурочка.

— Ну, коли вы сейчас не перестанете, будете выглядеть на все свои сорок шесть.

Джулия еще не видела Тома в смокинге. Мальчик сиял, как медная пуговица. Среднего роста, он выглядел высоким из-за своей худобы. Джу-

лию тронуло, что, хотя ему хотелось казаться человеком бывалым и светским, когда дошло до заказа, он оробел перед официантом. Они пошли танцевать. Танцевал он неважно, но и в неловкости его ей чудилось своеобразное очарование. Джулию узнавали, и она чувствовала, что он купается в отраженных лучах ее славы. Молодая пара, закончив танец, подошла к их столику поздороваться. Когда они отошли, Том спросил:

— Это не леди и лорд Деннорант?

— Да, я знаю Джорджа еще с тех пор, как он учился в Итоне.

Он следил за ними взглядом.

— Ее девичье имя — леди Сесили Лоустон, да?

— Не помню. Разве?

Для нее это не представляло интереса. Через несколько минут мимо них прошла другая пара.

— Посмотри, леди Лепар.

— Кто это?

— Разве ты не помнишь, у них был большой прием в их загородном доме в Чешире несколько недель назад; присутствовал сам принц Уэльский. Об этом еще писали в «Наблюдателе».

А-а, вот откуда он черпает все свои сведения! Бедный крошка! Он читал об этих титулованных господах в газетах и изредка, в ресторане или

театре, видел их во плоти. Конечно, он трепетал от восторга. Романтика. Если бы он только знал, какие они все зануды. Это невинное увлечение людьми, чьи фотографии помещают в иллюстрированных газетах, делало его невероятно простодушным в ее глазах, и она нежно посмотрела на него через стол.

— Ты приглашал когда-нибудь актрису в ресторан?

Он пунцово покраснел:

— Никогда.

Джулии было очень неприятно, что он платит по счету, она подозревала, что сумма равняется его недельному заработку, но не хотела ранить его гордость, предложив заплатить самой. Она спросила мимоходом, который час, и он привычно взглянул на запястье.

— Ой, я забыл надеть часы.

Она испытующе посмотрела на него:

— А ты случайно не заложил их?

Он снова покраснел:

— Нет. Я очень спешил, когда одевался.

Достаточно было взглянуть на его галстук, чтобы увидеть, что это не так. Он ей лгал. Он отнес в заклад часы, чтобы пригласить ее на ужин. В горле у Джулии застрял комок. Она была готова, не

сходя с места, сжать Тома в объятиях и целовать его голубые глаза. Она обожала его.

— Давай уйдем, — сказала Джулия.

Они взяли такси и отправились в его квартирку на Тэвисток-сквер.

Глава четырнадцатая

На следующий день Джулия пошла к Картье и купила часы, чтобы послать их Тому вместо тех, которые он заложил, а две или три недели спустя, узнав, что у него день рождения, купила ему золотой портсигар.

— Ты знаешь, это вещь, о которой я мечтал всю свою жизнь.

Джулии показалось, что у него в глазах слезы. Он страстно ее поцеловал.

Затем, то под одним предлогом, то под другим, Джулия подарила ему булавку для галстука, жемчужные запонки и пуговицы для жилета. Ей доставляло острую радость делать ему подарки.

— Так ужасно, что я ничего не могу тебе подарить, — сказал он.

— Подари мне часы, которые ты заложил, чтобы пригласить меня на ужин, — попросила она.

Это были небольшие золотые часы, не дороже десяти фунтов, но ей нравилось иногда их надевать.

После ночи, которую они провели вместе вслед за ужином в ресторане, Джулия наконец призналась себе, что влюблена. Это открытие ее

потрясло. И все равно она была на седьмом небе от счастья.

«А ведь я думала, что уже никогда не влюблюсь. Конечно, долго это не протянется. Но почему бы мне не порадоваться, пока можно?»

Джулия решила, что постарается снова пригласить его на Стэнхоуп-плейс. Вскоре ей представилась такая возможность.

— Ты помнишь этого своего молодого бухгалтера? — сказала она Майклу. — Его зовут Том Феннел. Я встретила его на днях на званом ужине и предложила прийти к нам в следующее воскресенье. Нам не хватает одного мужчины.

— Ты думаешь, он подойдет?

У них ожидался грандиозный прием. Потому она и позвала Тома. Ему доставит удовольствие познакомиться с людьми, которых он знал только по фотографиям в газетах. Джулия уже увидела, что он немного сноб. Что ж, тем лучше, все фешенебельное общество будет к его услугам. Джулия была проницательна, она прекрасно понимала, что Том не влюблен в нее. Роман с ней льстил его тщеславию. Он был чрезвычайно пылок и наслаждался любовной игрой. Из отдельных намеков, из рассказов, которые она постепенно вытягивала из него, Джулия узнала, что с семна-

дцати лет у него уже было очень много женщин. Главным для него был сам акт, с кем — не имело особого значения. Он считал это самым большим удовольствием на свете. И Джулия понимала, почему он пользуется таким успехом. Была своя привлекательность в его худобе — буквально кожа да кости, вот почему на нем так хорошо сидит костюм, — свое очарование в его чистоте и свежести. Он казался таким трогательным. А его застенчивость в сочетании с бесстыдством была просто неотразима. Как ни странно, женщинам льстит, когда на них смотрят с одной мыслью — повалить поскорей на кровать.

«Да, секс эпил — вот чем он берет».

Джулия понимала, что своей миловидностью он обязан лишь молодости. С возрастом он высохнет, станет костлявым, изможденным и морщинистым; его прелестный румянец сделается багровым, нежная кожа — дряблой и пожелтелой, но чувство, что его прелесть так недолговечна, лишь усиливало нежность Джулии. Том вызывал в ней непонятное сострадание. Он всегда, как это свойственно юности, был в приподнятом настроении, и Джулия впитывала его веселость с такой же жадностью, как котенок лакает молоко. Но развлекать он не умел. Когда

Джулия рассказывала что-нибудь забавное, он смеялся, но сам ничего забавного рассказать не мог. Ее не смущало то, что он скучноват. Напротив, действовало успокаивающе на нервы. У нее еще никогда не было так легко на сердце, как в его обществе, а блеска и остроумия у нее с избытком хватало на двоих.

Все окружающие продолжали твердить Джулии, что она выглядит на десять лет моложе и никогда еще она не играла так хорошо. Джулия знала, что это правда, и знала — почему. Но ей следует быть осмотрительной. Нельзя терять головы. Чарлз Тэмерли всегда говорил, что актрисе не так нужен ум, как благоразумие, наверное, он прав. Быть может, она и неумна, но чувства ее начеку, и она доверяет им. Чувства подсказывали Джулии, что она не должна признаваться Тому в своей любви. Она постаралась дать ему понять, что не имеет никаких притязаний, он сам себе хозяин. Она держалась так, словно все происходящее между ними — пустяк, которому ни он, ни она не придают особого значения. Но она делала все, чтобы привязать его к себе. Том любил приемы, и Джулия брала его с собой на приемы. Она заставила Долли и Чарлза Тэмерли звать его к ленчу. Том любил танцевать, и

Джулия доставала ему приглашения на балы. Ради него она тоже шла туда на часок и видела, какое ему доставляет удовольствие то, что она пользуется таким огромным успехом. Джулия знала, что у него кружится голова в присутствии важных персон, — и знакомила его со всякими именитыми людьми. К счастью, Майклу он очень нравился. Майкл любил поговорить, а Том был прекрасным слушателем. Он превосходно знал свое дело. Однажды Майкл сказал ей:

— Толковый парень Том. Съел собаку на подоходном налоге. Научил меня, как сэкономить две-три сотни фунтов с годового дохода, когда буду платить налог в следующий раз.

Майкл, посещавший в поисках новых талантов чужие театры в самом Лондоне или пригородах, часто брал Тома по вечерам с собой; после спектакля они заезжали за Джулией и ужинали втроем. Время от времени Майкл звал Тома в воскресенье на партию гольфа и, если они не были никуда приглашены, привозил к ним обедать.

— Приятно, когда в доме молодежь, — говорил он, — не дает самому тебе заржаветь.

Том всячески старался быть полезен. Играл с Майклом в триктрак, раскладывал с Джулией пасьянсы, и, когда они заводили граммофон, был

тут как тут, чтобы менять пластинки.

— Он будет хорошим товарищем Роджеру, — сказал Майкл. — У Тома есть голова на плечах, к тому же он старше Роджера. Окажет на него хорошее влияние. Почему бы тебе не пригласить его пожить у нас во время отпуска?

(«К счастью, я хорошая актриса».)

Но Джулии понадобилось значительное усилие, чтобы голос звучал не слишком радостно, а лицо не выдало восторга, от которого неистово билось сердце.

— Неплохая идея, — ответила она. — Я приглашу его, если хочешь.

Театр не закрывался до конца августа, и Майкл снял дом в Тэплоу, чтобы они могли провести там самые жаркие дни лета. Джулия ездила в город на спектакли, Майкл — когда его призывали дела, но будни до вечера, а воскресенье целый день они оставались за городом. Тому полагалось две недели отпуска, и он с готовностью принял их приглашение.

Как-то раз Джулия заметила, что Том непривычно молчалив. Он казался бледен, всегдашняя жизнерадостность покинула его. Она поняла, что у него что-то случилось, но он не пожелал говорить ей, в чем дело, сказал только, что у него

неприятности. Наконец Джулия вынудила его признаться, что он влез в долги и кредиторы настойчиво требуют, чтобы он расплатился. Жизнь, в которую Джулия втянула Тома, была ему не по карману; стыдясь своего дешевого костюма на великосветских приемах, куда она его брала, он заказал себе новые у дорогого портного. Он поставил деньги на лошадь в надежде выиграть и рассчитаться с долгами, а лошадь пришла последней. Для Джулии его долг — сто двадцать пять фунтов — был чепуховой суммой, и ей казалось нелепым, чтобы такой пустяк мог кого-нибудь расстроить. Она тут же сказала, что даст ему эти деньги.

— Нет, я не могу. Я не могу брать деньги у женщины.

Том покраснел до корней волос; ему стало стыдно от одной только мысли. Джулия приложила все свое искусство, применила все уловки, чтобы уговорить его. Она приводила ему разумные доводы, притворялась, будто обижена, даже пустила в ход слезы, и наконец Том согласился, так и быть, взять у нее эти деньги взаймы. На следующий день Джулия послала ему в письме два банковских билета по сто фунтов. Том позвонил и сказал, что она прислала гораздо больше, чем нужно.

— О, я знаю, люди никогда не признаются, сколько они задолжали, — сказала она со смехом. — Я уверена, что ты должен больше, чем мне сказал.

— Честное слово, нет. Я бы не стал тебе лгать ни за что на свете.

— Тогда держи остаток у себя, на всякий случай. Мне неприятно, что тебе приходится расплачиваться в ресторане. И за такси, и за прочее.

— О нет, право, не могу. Это так унизительно.

— Какая ерунда! Ты же знаешь, у меня столько денег, что мне девать их некуда. Неужели тебе трудно доставить мне удовольствие и позволить вызволить тебя из беды?

— Это ужасно мило с твоей стороны. Ты не представляешь, как ты меня выручила. Не знаю, как тебя и благодарить.

Однако голос у него был встревоженный. Бедный ягненочек, не может выйти из плена условностей. Но Джулия говорила правду, она еще никогда не испытывала такого наслаждения, как сейчас, давая ему деньги; это вызывало в ней неожиданный взрыв чувств. И у нее был в уме еще один проект, который она надеялась привести в исполнение за те две недели, что Том проведет у них в Тэплоу. Прошло то время, когда

убогость его комнаты на Тэвисток-сквер казалась ей очаровательной, а скромная меблировка умиляла. Раз или два Джулия встречала на лестнице людей, и ей показалось, что они как-то странно на нее смотрят. К Тому приходила убирать и готовить завтрак грязная, неряшливая поденщица, и у Джулии было чувство, что та догадывается об их отношениях и шпионит за ней. Однажды, когда Джулия была у Тома, кто-то повернул ручку двери, а когда она вышла, поденщица протирала перила лестницы и бросила на Джулию хмурый взгляд. Джулии был противен затхлый запах прокисшей пищи, стоявший на лестнице, и ее острый глаз скоро увидел, что комната Тома отнюдь не блещет чистотой. Выцветшие пыльные занавеси, вытертый ковер, дешевая мебель — все это внушало ей отвращение. Случилось так, что Майкл, все время выискивающий способ выгодно вложить деньги, купил несколько гаражей неподалеку от Стэнхоуп-плейс — раньше там были конюшни. Он решил, что, сдавая часть из них, он окупит те, которые были нужны им самим. Над гаражами был ряд комнат. Майкл сделал из них две квартирки, одну — для их шофера, другую — для сдачи внаем. Она все еще стояла пустая, и Джулия предложила Тому ее снять. Это будет за-

мечательно. Она сможет забегать к нему на часок, когда он будет возвращаться из конторы, иногда ей удастся заходить после спектакля, и никто ничего не узнает. Никто им не будет мешать. Они будут совершенно свободны. Джулия говорила Тому, как интересно будет обставлять комнаты; у них на Стэнхоуп-плейс куча ненужных вещей, он просто обяжет ее, взяв их «на хранение». Чего не хватит, они купят с ним вместе. Тома очень соблазняла мысль иметь собственную квартиру, но о чем было мечтать — плата, пусть и невысокая, была ему не по средствам. Джулия об этом знала. Знала она и то, что, предложи она платить из своего кармана, он с негодованием откажется. Но ей казалось, что в течение праздных двух недель на берегу реки в их роскошном загородном доме она сумеет превозмочь его колебания. Она видела, как прельщает Тома ее предложение, и не сомневалась, что найдет какой-нибудь способ убедить его, что, согласившись, он на самом деле окажет ей услугу.

«Людям не нужен резон, чтобы сделать то, что они хотят, — рассуждала Джулия, — им нужно оправдание».

Джулия с волнением ждала Тома в Тэплоу. Как приятно будет гулять с ним утром у реки, а днем

вместе сидеть в саду! Приедет Роджер, и Джулия твердо решила, что между нею и Томом не будет никаких глупостей, этого требует простое приличие. Но как божественно быть рядом с ним чуть не весь день! Когда у нее будут дневные спектакли, Том сможет развлекаться чем-нибудь с Роджером.

Однако все вышло совсем не так, как она ожидала. Джулии и в голову не могло прийти, что Роджер и Том так подружатся. Между ними было пять лет разницы, и Джулия полагала — хотя, по правде говоря, она вообще об этом не задумывалась, — что Том будет смотреть на Роджера как на ребенка, очень милого, конечно, но с которым обращаются соответственно его возрасту — он у всех на побегушках, и его можно отослать поиграть, когда он надоест. Роджеру только исполнилось семнадцать. Это был миловидный юноша с рыжеватыми волосами и синими глазами, но на этом и кончались его привлекательные черты. Он не унаследовал ни живости и выразительности лица матери, ни классической красоты отца. Джулия была несколько разочарована, он не оправдал ее надежд. В детстве, когда она постоянно фотографировалась с ним вместе, он был прелестен. Теперь он сделался слишком

флегматичным, и у него всегда был серьезный вид. Пожалуй, единственное, чем он мог теперь похвастать, — это волосы и зубы. Джулия, само собой, очень любила его, но считала скучноватым. Когда она оставалась с ним вдвоем, время тянулось необыкновенно долго. Джулия проявляла живой интерес к вещам, которые, по ее мнению, должны были его занимать, — крикету и тому подобному, но у ее сына не находилось, что сказать по этому поводу. Джулия опасалась, что он не очень умен.

— Конечно, он еще мальчик, — оптимистически говорила она, — возможно, с возрастом он разовьется.

С того времени как Рождер пошел в подготовительную школу, Джулия мало его видела. Во время каникул она все вечера бывала занята в театре, и он уходил куда-нибудь с отцом или друзьями, по воскресеньям они с Майклом играли в гольф. Случалось, если Джулию приглашали к ленчу, она не виделась с ним несколько дней подряд, не считая двух-трех минут утром, когда он заходил к ней в комнату пожелать доброго утра. Жаль, что он не мог навсегда остаться прелестным маленьким мальчиком, который тихо, не мешая, играл в ее комнате и, обвив мать ру-

чонкой за шею, улыбался на фотографиях прямо в объектив. Время от времени Джулия ездила повидать его в Итон и пила с ним чай. Ей польстило, когда она увидела в его комнате несколько своих фотографий. Она прекрасно сознавала, что ее приезд в Итон вызывал всеобщее волнение, и мистер Брэкенбридж, старший надзиратель того пансиона, где жил Роджер, считал своим долгом быть с нею чрезвычайно любезным. Когда кончилось полугодие, Джулия и Майкл уже переехали в Тэплоу, и Роджер явился прямо туда. Джулия пылко расцеловала его. Роджер не проявил восторга оттого, что он наконец дома, как она ожидала. Держался он довольно небрежно. Казалось, он вдруг повзрослел не по летам.

Роджер сразу же объявил Джулии, что желает покинуть Итон на Рождество. Он получил там все, что мог, и теперь намерен поехать в Вену на несколько месяцев поучить немецкий, перед тем как поступить в Кембридж. Майкл хотел, чтобы он стал военным, но против этого Роджер решительно воспротивился. Он еще не решил, кем быть. И Майкла и Джулию чуть не с самого рождения сына мучил страх, что вдруг он вздумает пойти на сцену, но, по-видимому, Роджер не имел ни малейшей склонности к театру.

— Так или иначе, толку бы из него все равно не вышло, — сказала Джулия.

Роджер жил в Тэплоу сам по себе. С утра уходил на реку, валялся с книгой в саду. На день рождения Джулия подарила ему быстроходный дорожный велосипед, и теперь он разъезжал на нем по проселочным дорогам с головокружительной скоростью.

— Одно утешение, — говорила Джулия, — что с ним никаких хлопот. Он вполне способен сам себя занять.

По воскресеньям из города к ним наезжала куча людей — актеры, актрисы, какой-нибудь случайный писатель и кое-кто из их более именитых друзей. Джулию это развлекало, и она знала, что люди любят ездить к ним в гости. В первое воскресенье после приезда Роджера к ним нахлынула целая толпа. Роджер был очень вежлив с гостями. Выполнял обязанности сына хозяина дома, как настоящий светский человек. Но Джулии показалось, что внутренне он отчужден, словно играет роль, которой не может целиком отдаться. У нее было неуютное чувство, что он не принимает всех этих людей такими, какие они есть, но хладнокровно судит их со стороны. У Джулии создалось впечатление, что сын не

смотрит на них всерьез.

Они договорились с Томом, что он приедет в следующую субботу, и Джулия привезла его в своей машине после спектакля. Стояла лунная ночь, и в такой час дороги были пусты. Это была волшебная поездка. Джулия хотела бы, чтобы она длилась вечно. Она прильнула к нему, время от времени он целовал ее в темноте.

— Ты счастлив? — спросила она.

— Абсолютно.

Майкл и Роджер уже легли, но в столовой их ждал ужин. Безмолвный дом вызывал в них ощущение, будто они забрались туда без разрешения хозяев. Словно они — два странника, которые проникли из ночного мрака в чужое жилище и нашли там приготовленную для них роскошную трапезу. Было в этом что-то от сказок «Тысячи и одной ночи». Джулия показала Тому его комнату рядом с комнатой Роджера и пошла спать. На следующее утро она проснулась поздно. Был прекрасный день. Джулия никого не пригласила из города, чтобы весь день провести вместе с Томом. Когда она оденется, они пойдут с ним на реку. Джулия позавтракала, приняла ванну. Надела легкое белое платье, которое подходило для прогулки и очень ей шло, и широкополую шляпу

из красной соломки, бросавшую теплый отсвет на лицо. Почти совсем не накрасилась. Джулия поглядела в зеркало и довольно улыбнулась. Она и правда выглядела очень хорошенькой и молодой. Беспечной походкой Джулия направилась в сад. На лужайке, спускавшейся к самой воде, она увидела Майкла в окружении воскресных газет. Он был один.

— Я думала, ты пошел поиграть в гольф.

— Нет, пошли мальчики. Я решил, им будет приятней, если я отпущу их одних. — Он улыбнулся своей дружелюбной улыбкой. — Они для меня чересчур активны. В восемь утра они уже купались и, как только проглотили завтрак, унеслись в машине Роджера играть в гольф.

— Я рада, что они подружились.

Джулия сказала это искренне. Она была немного разочарована, что не смогла погулять с Томом у реки, но ей очень хотелось, чтобы он понравился Роджеру, у нее было подозрение, что Роджер весьма разборчив в своих симпатиях и антипатиях. В конце концов, Том пробудет у них еще целых две недели.

— Не скрою от тебя, рядом с ними я чувствую себя настоящим стариком, — заметил Майкл.

— Какая ерунда! Ты куда красивее, чем любой

из них, и прекрасно это знаешь, мой любимый.

Майкл выдвинул подбородок и втянул живот.

Мальчики вернулись к самому ленчу.

— Простите за опоздание, — сказал Роджер. — Была чертова куча народу, приходилось ждать у каждой метки для мяча. Мы загнали шары в лунки, сделав равное число ударов.

Они были «чертовски» голодны, возбуждены и очень довольны собой.

— Как здорово, что сегодня нет гостей, — сказал Роджер. — Я боялся, что пожалует вся шайка-лейка и нам придется вести себя пай-мальчиками.

— Я решила, что не мешает отдохнуть, — сказала Джулия.

Роджер взглянул на нее:

— Тебе это не повредит, мамочка. У тебя очень утомленный вид.

(«Ну и глаз, черт побери. Нет, нельзя показывать, что меня это трогает. Слава Богу, я умею играть».)

Она весело засмеялась:

— Я не спала всю ночь, ломала себе голову, как тебе избавиться от прыщей.

— Да, ужасная гадость. Том говорит, у него тоже были.

Джулия перевела глаза на Тома. В открытой на

груди тенниске, с растрепанными волосами, уже немного подзагоревший, он казался невероятно юным. Не старше Роджера, по правде говоря.

— А у него облезает нос, — продолжал со смехом Роджер. — Вот будет пугало!

Джулия ощутила легкое беспокойство. Казалось, Том скинул несколько лет и стал ровесником Роджеру не только по годам. Они болтали чепуху. Уплетали за обе щеки и осушили по нескольку кружек пива, и Майкл, который, как всегда, пил и ел очень умеренно, смотрел на них с улыбкой. Он радовался их юности и хорошему настроению. Он напоминал Джулии старого пса, который, чуть помахивая хвостом, лежит на солнце и наблюдает за возней двух щенят. Кофе пили на лужайке. Было так приятно сидеть в тени, любуясь рекой. Том выглядел очень стройным и грациозным в длинных белых брюках. Джулия никогда раньше не видела, что он курит трубку. Ее это почему-то умилило. Но Роджер стал подсмеиваться над ним.

— Ты почему куришь — потому что это тебе нравится или чтобы тебя считали взрослым?

— Заткнись, — сказал Том.

— Ты кончил кофе?

— Да.

— Тогда пошли на реку.

Том нерешительно взглянул на Джулию. Роджер это заметил.

— О, все в порядке, о моих почтенных родителях можешь не беспокоиться. У них есть воскресные газеты. Мама подарила мне недавно гоночный ялик.

(«Спокойно, спокойно… Держи себя в руках. Ну и дура я была, что подарила ему гоночный ялик!»)

— Хорошо, — сказала она со снисходительной улыбкой, — идите на реку, только не свалитесь в воду.

— Ничего не случится, если и свалимся. К чаю вернемся. Папа, теннисный корт размечен? Мы хотели поиграть после чая.

— Пожалуй, твой отец сможет кого-нибудь найти, сыграете два против двух.

— А, не беспокойтесь, одиночная игра еще интереснее, да и лучше разомнемся, — и, обращаясь к Тому: — Кто первый добежит до сарая для лодок?

Том вскочил на ноги и бросился бежать, Роджер — вдогонку. Майкл взял одну из газет и принялся искать очки.

— Они хорошо поладили, правда?

— По-видимому.

— Я боялся, Роджеру будет здесь скучно с нами. Хорошо, что теперь у него есть компания.

— Тебе не кажется, что Роджер ни с кем, кроме себя, не считается?

— Это ты насчет тенниса? Да мне, по правде говоря, все равно, играть или нет. Вполне естественно, что мальчикам хочется поиграть вдвоем. С их точки зрения, я старик и только испорчу им игру. В конце концов главное — чтобы им было хорошо.

Джулия почувствовала угрызения совести. Майкл был прозаичен, прижимист, самодоволен, но он необычайно добр и уж совсем не эгоист! Он не знает зависти. Ему доставляет удовольствие — если это только не стоит денег — делать других счастливыми. Майкл был для Джулии раскрытой книгой. Спору нет, все его мысли банальны; с другой стороны, ни одна из них не бывает постыдна. Ее выводило из себя, что при всех его достоинствах, вместо того чтобы вызывать в ней любовь, Майкл вызывал такую мучительную скуку.

— Насколько ты лучше меня, моя лапушка, — сказала она.

Майкл улыбнулся своей милой дружелюбной улыбкой и покачал головой.

— Нет, дорогая, у меня был замечательный

профиль, но у тебя есть огромный талант.

Джулия засмеялась. Это даже забавно — разговаривать с человеком, который никогда не догадывается, о чем идет речь. Но что имеют в виду, когда говорят об актерском таланте?

Джулия часто спрашивала себя, что именно поставило ее на голову выше других современных актеров.

В первые годы ее карьеры у нее были недоброжелатели. Ее сравнивали — и не в ее пользу — с той или иной актрисой, пользовавшейся благосклонностью публики. Но уже давно никто не оспаривал у нее пальмы первенства. Конечно, известность ее была не так велика, как у кинозвезд. Джулия попытала удачи в кино, но не имела успеха; ее лицо, такое подвижное и выразительное на сцене, на экране почему-то проигрывало, и после первой же пробы она, с одобрения Майкла, отвергала все предложения, которые получала время от времени. Играть в кино? Это ниже ее достоинства. Ее позиция сделала Джулии прекрасную рекламу. Джулия не завидовала кинозвездам: они появлялись и исчезали, она оставалась. Когда выпадал случай, она ходила смотреть игру других ведущих актрис Лондона. Джулия не скупилась на похва-

лы и хвалила от чистого сердца. Иногда чужая игра казалась ей настолько хорошей, что она искренне не понимала, почему люди поднимают такой шум вокруг нее, Джулии. Она прекрасно знала, какой высокой репутацией пользуется у публики, но сама была о себе достаточно скромного мнения. Джулию всегда удивляло, что люди восторгаются какой-нибудь ее интонацией или жестом, которые приходят к ней так естественно, что ей кажется просто невозможным сыграть иначе. Критики восхищались ее разносторонностью. Особенно хвалили способность Джулии войти в образ. Не то чтобы она сознательно кого-нибудь наблюдала и копировала, просто когда она бралась за новую роль, на нее неизвестно откуда мощной волной набегали смутные воспоминания, и она обнаруживала, что знает о своей новой героине множество вещей, о которых раньше и не подозревала. У Джулии часто возникал в памяти кто-нибудь из знакомых или даже случайный человек, которого она видела на улице или на приеме. Она сочетала эти воспоминания с собственной индивидуальностью, и так создавался характер, основанный на реальной жизни, но обогащенный ее опытом, ее владением актерской техникой и личным обаянием. Люди

думали, что она играет только те два-три часа, что находится на сцене; они не знали, что олицетворяемый ею персонаж подспудно жил в ней весь день: и когда она, казалось бы, увлеченно с кем-нибудь беседовала, и когда занималась каким-нибудь делом. Джулии часто казалось, что в ней сочетаются два лица: популярная актриса, всеобщая любимица, женщина, которая одевается лучше всех в Лондоне, но это — лишь иллюзия, и героиня, которую она изображает каждый вечер, и это — ее истинная субстанция.

«Будь я проклята, если я знаю, что такое актерский талант, — говорила она себе, — но зато я знаю другое: я бы отдала все, что имею, за восемнадцать лет».

Однако это была неправда. Если бы ей представилась возможность вернуться назад в юность, еще неизвестно, пожелала бы она это сделать. Скорее нет. И не популярность, даже если хотите — слава, была ей дорога, не ее власть над зрителями, и не та искренняя любовь, которую они к ней питали, и уж, конечно, не деньги, которые принес ей талант; нет, ее опьяняло другое — та неведомая сила, которую она ощущала в себе, ее власть над материалом. Она могла получить роль, и даже не очень хорошую роль, с глупым

текстом, и благодаря своим личным качествам, благодаря своему искусству, благодаря владению актерским ремеслом, на котором она собаку съела, вдохнуть в нее жизнь. Тут ей не было равных. Иногда Джулия чувствовала себя божеством.

«И к тому же, — засмеялась она, — Тома не было бы еще на свете».

В конце концов, только естественно, что ему нравится возиться с Роджером. Ведь они почти ровесники. Они принадлежат к одному поколению. Сегодня первый день его отпуска, пусть повеселятся, впереди еще целых две недели. Тому скоро надоест проводить время с семнадцатилетним мальчишкой. Роджер очень мил, но скучен — материнская любовь не ослепляет ее. Нужно следить за собой и ни в коем случае не показывать, что она сердится. Джулия с самого начала решила, что не будет предъявлять к Тому никаких требований; если он почувствует, что чем-либо ей обязан, это может оказаться для нее роковым.

— Майкл, почему бы тебе не предложить вторую квартирку над гаражом Тому? Теперь, когда он сдал последний экзамен и получил звание бухгалтера-эксперта, ему просто неприлично жить в той его меблированной комнате.

— Неплохая мысль. Я у него спрошу.

— Сэкономишь на плате агенту по сдаче внаем. Поможем ему обставиться. У нас стоит без дела куча старой мебели. Пусть лучше Том ею пользуется, чем она будет просто гнить на чердаке.

Том и Роджер вернулись к чаю, проглотили кучу бутербродов и дотемна играли в теннис. После обеда они засели за домино. Джулия разыграла блестящую сцену — молодая мать с нежностью следит за сыном и его юным другом. Спать она легла рано. Вскоре мальчики тоже поднялись наверх. Их комнаты были расположены прямо над ее спальней. Она слышала, как Роджер зашел к Тому. Они принялись болтать; окна и у нее и у них были открыты, до нее доносились их оживленные голоса. О чем, ради всего святого, они могли столько говорить?! Она ни разу не видела ни одного из них таким разговорчивым. Через некоторое время раздался голос Майкла:

— А ну марш в постель, мальчики! Болтать будете завтра.

Они засмеялись.

— Хорошо, папочка! — закричал Роджер.

— Ну и болтуны вы!

Снова послышался голос Роджера:

— Спокойной ночи, старина.

И сердечный ответ Тома:

— Спокойной ночи, дружище.

«Идиоты!» — гневно вскричала про себя Джулия.

На следующее утро, в то время как она завтракала в постели, к ней зашел Майкл.

— Мальчики уехали в Хантерком играть в гольф. Они намерены сыграть два раунда и спросили, обязательно ли им возвращаться к ленчу. Я ответил, что нет.

— Не скажу, чтобы я была в восторге оттого, что Том смотрит на наш дом как на гостиницу, — заметила Джулия.

— Милая, они же мальчишки. Право, пусть развлекаются как хотят.

Значит, сегодня она вообще не увидит Тома — между пятью и шестью ей надо выезжать, если она хочет попасть в театр вовремя. Майклу хорошо, отчего ему не быть добрым… Джулия была обижена. Ей хотелось плакать. Он, должно быть, совершенно к ней равнодушен — теперь она думала о Томе, — а она-то решила, что сегодня будет иначе, чем вчера. Она проснулась с твердым намерением быть терпимой и принимать вещи такими, каковы они есть, но ей и в голову не приходило, что ее ждет такое разочарование.

— Газеты уже принесли? — хмуро спросила Джулия.

В город она уехала разъяренная.

Следующий день был немногим лучше. Мальчики решили не играть в гольф, зато с утра до вечера сражались в теннис. Их неуемная энергия страшно раздражала Джулию. В шортах, с голыми ногами, в спортивной рубашке Том казался не старше шестнадцати лет. Так как они купались по три-четыре раза в день, он не мог прилизывать волосы, и, стоило им высохнуть, они закручивались непослушными кольцами. От этого он казался еще моложе и, увы, еще прелестней. Сердце Джулии терзала мука. Ей казалось, что его манера вести себя странно изменилась: постоянно находясь в обществе Роджера, он потерял облик светского человека, который так следит за своей внешностью, так разборчив в том, что ему надеть, и снова стал неряшливым подростком. Ни намеком, ни взглядом он не выдавал, что он — ее любовник; он относился к ней так, как приличествует относиться к матери своего приятеля. Каждым замечанием, проказами, даже самой своей вежливостью он заставлял ее чувствовать, что она принадлежит к другому поколению. В его обращении к ней не было и

следа рыцарственной галантности, которую молодой человек должен проявлять по отношению к обворожительной женщине; такую снисходительную доброжелательность скорее пристало выказывать незамужней старой тетушке.

Джулию возмущало, что Том послушно идет на поводу у мальчишки моложе себя. Это говорило о бесхарактерности. Но она не винила его; она винила Роджера. Его эгоизм вызывал в ней отвращение. Все это прекрасно — толковать, что он еще молод. Его безразличие ко всему, кроме собственного удовольствия, говорит о безудержном себялюбии. Он бестактен и невнимателен. Он ведет себя так, словно и дом, и прислуга, и мать, и отец существуют лишь для его удобства. У Джулии уже не раз сорвалось бы резкое слово, но она не осмеливалась при Томе читать Роджеру нотации. Незавидная роль. К тому же стоило побранить Роджера, у него сразу делался глубоко обиженный вид, глаза — как у раненого олененка, и вы чувствовали, что были жестоки и несправедливы к нему. Это доводило Джулию до исступления. Джулия и сама так умела, это выражение глаз Роджер унаследовал от нее, она тысячу раз пользовалась им на сцене с соответствующим эффектом и знала, что оно ровно

ничего не значит, но когда оно появлялось в глазах сына, это страшно расстраивало ее. Даже мысль об этом вызвала в ней нежность. Столь внезапная перемена чувств открыла Джулии правду: она ревновала Тома к Роджеру, безумно ревновала.

Это открытие ее потрясло; она не знала, смеяться ей или сгорать со стыда. Несколько минут она размышляла.

«Ну, я тебе обедню испорчу».

Уж теперь воскресенье пройдет совсем иначе, чем в прошлый раз. К счастью, Том — сноб. «Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем очаровании, и удерживает их возле себя, играя на их пороках», — пробормотала Джулия и подумала: интересно, сама она придумала этот афоризм или припомнила его из какой-нибудь пьесы.

Джулия позвонила кое-кому. Пригласила на конец недели Деннорантов, Чарлза Тэмерли — тот гостил в Хенли у сэра Мейхью Брейнстона, министра финансов. Он принял приглашение приехать и пообещал привезти сэра Мейхью с собой. Чтобы их развлечь — Джулия знала, что аристократы вовсе не интересуются друг другом, когда окунаются, как они воображают, в богему, — она позвала своего партнера по сцене Арчи

Декстера и его хорошенькую жену, игравшую под своим девичьим именем — Грейс Хардуил. Джулия не сомневалась, что, если на горизонте появятся маркиза и маркиз, в обществе которых он сможет вращаться, и член кабинета, на которого ему захочется произвести впечатление, Том не пойдет кататься на ялике или играть в гольф. На таком приеме Роджер займет подобающее ему место школьника, на которого никто не обращает внимания, а Том увидит, какой она может быть блестящей, если пожелает. Предвкушая свое торжество, Джулия смогла стойко перенести оставшиеся дни. Она почти не видела Тома и Роджера, а когда у нее бывали утренние спектакли, не видела их совсем. Если они не играли в теннис или гольф, то носились по окрестностям в машине Роджера.

Джулия привезла Деннорантов после спектакля. Роджер лег спать, но Майкл и Том ждали их к ужину. Это был чудесный ужин. Слуги тоже уже легли, и они сами себя обслуживали. Джулия заметила, как Том старается, чтобы у Деннорантов было все, что им нужно, с какой готовностью он вскакивает, чтобы им услужить. Его вежливость казалась чуть ли не назойливой. Денноранты были скромной молодой парой, им и в голову

не приходило, что их титул может иметь хоть какое-то значение, и Джордж Деннорант порядком смутился, когда Том забрал у него грязную тарелку и протянул ему чистую для следующего блюда.

«Думаю, завтра Роджеру не с кем будет играть в гольф», — сказала себе Джулия.

Они просидели за разговорами до трех часов, и Джулия заметила, что, когда Том желал ей спокойной ночи, глаза его сияли, но от любви или шампанского — этого она не могла сказать. Он сжал ей руку.

— Чудесный вечер! — воскликнул он.

Было уже позднее утро, когда Джулия в платье из органди[114] вышла в сад во всем блеске своей красоты. Роджер сидел в шезлонге с книгой в руках.

— Читаешь? — спросила Джулия, поднимая действительно прекрасные брови. — Почему вы не играете в гольф?

У Роджера был надутый вид.

— Том говорит, что слишком жарко.

— Да? — отозвалась она с очаровательной улыбкой. — А я испугалась, что ты счел своим долгом

---

[114] Примечания: 114
Батист жесткой выделки.

остаться, чтобы занять моих гостей. Будет куча народу, мы вполне сможем без тебя обойтись. Где все остальные?

— Не знаю. Том ухлестывает за Сесили Деннорант.

— Она очень хорошенькая.

— Похоже, сегодня будет жуткая скука.

— Надеюсь, Том этого не скажет, — проговорила Джулия с таким видом, словно это ее сильно беспокоит.

Роджер ничего не ответил.

День прошел в точности так, как ожидала Джулия. Правда, она мало видела Тома, но Роджер видел его еще меньше. Том очень понравился Деннорантам; он объяснил им, каким образом избежать огромного подоходного налога, который им приходилось платить. Он почтительно слушал министра финансов, в то время как тот рассуждал о театре, и Арчи Декстера, когда тот излагал свои взгляды на политическую ситуацию. Джулия еще никогда не была в таком ударе. Арчи Декстер обладал живым умом, неисчерпаемым запасом театральных историй и удивительным даром их рассказывать, и во время ленча они с Джулией на пару заставили весь стол хохотать, а после чая, когда игроки в теннис устали, Джулию

уговорили (нельзя сказать, чтобы она сильно сопротивлялась) доставить всем удовольствие своей пародией на Глэдис Купер, Констанс Колье и Герти Лоренс. Однако Джулия не забыла, что Чарлз Тэмерли — ее преданный и бескорыстный воздыхатель, и улучила минутку в сумерки, чтобы погулять с ним вдвоем. С Чарлзом она не старалась быть ни веселой, ни остроумной, с ним она была мечтательна и нежна. На сердце у Джулии было тоскливо, несмотря на блестящий спектакль, который она играла весь день; когда вздохами, печальными взглядами и недомолвками она дала Чарлзу понять, что жизнь ее пуста и, несмотря на свою успешную карьеру, она не может не чувствовать, что упустила нечто очень важное, она была почти искренна. Как часто она вспоминает о вилле в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива… Прекрасная мечта. Возможно, там ее ждало настоящее счастье, стоило лишь руку протянуть. Она сделала глупость. Что все ее сценические триумфы? Иллюзия. Pagliacci[115]. Люди не понимают, насколько это верно. Vesti lagiubba[116] и прочее. Она так одино-

[115] Примечания: 115
Шутовство (*ит.*).

[116] Примечания: 116
Буквально: сменная одежда; здесь — маскарад (*ит.*).

ка. Естественно, не было необходимости говорить Чарлзу, что сердце ее тоскует не из-за утерянных возможностей, а из-за того, что некий молодой человек предпочитает играть в гольф с ее сыном, а не заниматься любовью с ней.

А потом Джулия и Арчи Декстер сговорились и после обеда, когда все собрались в гостиной, без предупреждения, начав с нескольких ничего не значащих слов, устроили друг другу ужасную сцену ревности, словно были любовниками. В первый момент остальные не догадались, что это шутка, но вскоре их взаимные обвинения стали столь чудовищны и непристойны, что потонули во всеобщем хохоте. Затем они разыграли экспромтом, как подвыпивший джентльмен подбирает уличную девку-француженку на Джермин-стрит. После этого с невозмутимой серьезностью изобразили, как миссис Элвинг из «Привидений» пытается соблазнить пастора Мэндерса. Их небольшая аудитория покатывалась со смеху. Закончили они номером, который часто показывали на театральных приемах и отшлифовали его до блеска. Это был кусок из чеховской пьесы; весь текст шел по-английски, но в особо патетических местах они переходили на тарабарщину, звучавшую совсем как русский

язык. Джулия призвала на помощь весь свой трагедийный талант, но произносила реплики с таким шутовским пафосом, что это производило неотразимо комический эффект. Джулия вложила в исполнение искреннюю душевную муку, но с присущим ей живым чувством юмора сама же над ней подсмеивалась. Зрители хохотали до упаду держались за бока, стонали от неудержимого смеха. Быть может, это было ее лучшее представление, Джулия играла для Тома, и только для него.

— Я видел Сару Бернар и Режан[117], — сказал министр финансов. — Я видел Дузе и Эллен Терри, видел миссис Кендел. «Nunc Dimittis»[118]. Сподобился.

Джулия, сияющая, кинулась в кресло и одним глотком осушила бокал шампанского.

«Черт меня побери, если я не испортила Роджеру обедню», — подумала она.

Но несмотря на все это, когда она спустилась на следующее утро к завтраку, мальчики уже ушли играть в гольф. Майкл успел отвезти Деннорантов в город. Джулия чувствовала себя усталой.

---

[117] Примечания: 117
Режан, Габриэль (1857–1920) — французская актриса.

[118] Примечания: 118
«Ныне отпущаеши» (*лат.*).

Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы весело болтать, когда Роджер и Том пришли к ленчу. Днем они втроем отправились на реку, но у Джулии было чувство, что они взяли ее с собой не потому, что им хотелось, а потому, что не сумели этого избежать. Она подавила вздох, когда подумала, как ждала отпуска Тома. Теперь она считала дни, оставшиеся до его конца. Она испытала облегчение, когда села наконец в машину, чтобы ехать в Лондон. Джулия не сердилась на Тома, но была глубоко уязвлена; сердилась она на себя за то, что потеряла над собой власть. Однако когда Джулия вошла в театр, она почувствовала, что стряхнула это наваждение, как дурной сон, от которого пробуждаешься утром. Здесь, в своей уборной, она вновь стала себе хозяйкой, и все события повседневной жизни утратили важность.

Ей ничто не страшно, пока в ее власти есть такая возможность обрести свободу.

Так прошла вторая неделя. Майкл, Роджер и Том наслаждались жизнью. Они купались, играли в теннис и гольф, слонялись у реки. Осталось четыре дня. Осталось три дня.

(«Ну, теперь уж я дотерплю до конца. Все изменится, когда мы вернемся в Лондон. Нельзя показывать, как я несчастна. Нужно делать вид,

что все в порядке».)

— Повезло нам, отхватили такой кусок хорошей погоды, — сказал Майкл. — А Том пользовался успехом, правда? Жаль, что он не может остаться еще на недельку.

— Да, ужасно жаль.

— Я думаю, Роджеру хорошо иметь такого товарища. Абсолютно нормальный, чистый английский юноша.

— О да, абсолютно. («Ну и дурак! Ну и дурак!»)

— Прямо удовольствие глядеть, как они едят.

— О да, аппетит у них завидный. («Господи, хоть бы они подавились!»)

Том должен был возвращаться в Лондон с ранним поездом в понедельник утром. Декстеры, у которых был загородный дом в Борн-энде, пригласили их всех в воскресенье на ленч. Ехать туда собирались на моторной лодке. Теперь, когда отпуск Тома закончился, Джулия была рада, что ни разу ничем не выдала своего раздражения. Она была уверена, что Том даже не догадывается, какую боль он ей причинил. Надо быть снисходительной; в конце концов, он — всего только мальчик, и если уж ставить точки над i, она годится ему в матери. Конечно, печально, что она потеряла из-за него голову, но что поделаешь,

слезами горю не поможешь, она с самого начала сказала себе, что он не должен чувствовать, будто она как-то на него притязает. В воскресенье они никого не ждали к ужину. Джулии хотелось побыть вдвоем с Томом в этот последний вечер. Конечно, это невозможно, но, во всяком случае, они смогут погулять вместе в саду.

«Интересно, он заметил, что ни разу меня не поцеловал с тех пор, как сюда приехал?»

Можно было бы покататься на ялике. Как божественно будет хоть несколько мгновений побыть в его объятиях, это вознаградило бы ее за все.

У Декстеров собрались в основном актеры. Грейс Хардуил, жена Арчи, играла в музыкальной комедии, и там была целая куча хорошеньких девушек, танцевавших в оперетте, в которой Грейс тогда пела. Джулия с большой естественностью изображала примадонну, которая ничего из себя не строит. Она очаровательно улыбалась девицам с обесцвеченным перекисью перманентом, зарабатывающим в хоре три фунта в неделю. У многих гостей были с собой фотоаппараты, и она любезно позволяла себя снимать. Она восторженно аплодировала, когда Грейс исполнила свою знаменитую арию под аккомпанемент самого композитора. Она громче всех смеялась, когда

комедийная «старуха» изобразила ее, Джулию, в одной из самых известных ролей. Было очень весело, шумно и беззаботно. Джулия искренно наслаждалась, но, когда пробило семь, без сожаления собралась уезжать. В то время как она горячо благодарила хозяев дома за приятный вечер, к ней подошел Роджер.

— Послушай, мам, тут собралась компания, едут в Мейднхед ужинать и потанцевать и зовут нас с Томом. Ты ведь не возражаешь?

Кровь прихлынула к щекам Джулии. Она не могла совладать с собой, и голос ее прозвучал довольно резко:

— А как вы вернетесь?

— Не беспокойся, все будет в порядке. Кто-нибудь нас подкинет.

Джулия беспомощно взглянула на сына. Ей нечего было возразить.

— Будет страшно весело, мама. Том безумно хочет поехать.

Ее сердце упало. Лишь с величайшим трудом ей удалось овладеть собой и не закатить ему сцену.

— Хорошо, милый. Только не возвращайся слишком поздно. Помни, что Тому вставать чуть свет.

В это время Том сам к ним подошел и услышал

ее последние слова.

— Вы действительно ничего не имеете против? — спросил он.

— Конечно, нет. Надеюсь, вы хорошо проведете там время.

Она весело улыбнулась, но глаза ее сверкали холодным блеском.

— А я рад, что мальчики уехали, — сказал Майкл, садясь в лодку. — Мы уже целую вечность не были с тобой вдвоем.

Джулия стиснула зубы, чтобы не взорваться и не попросить его попридержать свой дурацкий язык. Ее душила черная ярость. Это было последней каплей. Том не замечал ее все две недели, он даже не был элементарно вежлив, а она — она вела себя как ангел. Какая женщина проявила бы столько терпения? Любая другая на ее месте велела бы ему убираться вон, если он не знает, что такое простое приличие. Эгоист, дурак, грубиян — вот что он такое. Жаль, что он уезжает завтра сам. С каким удовольствием она выставила бы его за дверь со всеми его пожитками! Как он осмелился так с ней обращаться, этот ничтожный маленький клерк?! Поэты, члены кабинета министров, пэры Англии с радостью отменили бы самую важную встречу, лишь бы

поужинать с ней, а он бросил ее и отправился танцевать с кучей крашеных блондинок, которые совершенно не умеют играть. Ясно, что он глуп как пробка. Что уж тут говорить о благодарности. За последнюю тряпку, которая надета на нем, плачено ее деньгами. А этот портсигар, которым он так гордится, разве не она подарила его? А кольцо? Ну нет, это ему даром не пройдет, она с ним сквитается. И она даже знает как. Она знает его самое уязвимое место, знает, как ранить его всего больней. Уж она сумеет задеть его за живое! Джулии стало немного полегче, когда она приняла в подробностях придумывать план мести. Ей не терпелось поскорее привести его в исполнение, и не успели они вернуться домой, как она поднялась к себе в спальню. Вынула из сумочки четыре купюры по фунту стерлингов и одну — на десять шиллингов. Написала короткую записку:

Дорогой Том.

Вкладываю деньги, которые надо оставить слугам, так как не увижу тебя утром. Три фунта дай дворецкому, фунт – горничной, которая чистила и отглаживала тебе костюмы, десять шиллингов – шоферу.

Джулия.

Она позвала Эви и велела, чтобы горничная, которая разбудит Тома завтра утром, передала ему конверт. Когда Джулия спустилась к ужину, она чувствовала себя гораздо лучше. Пока они ели, вела с Майклом оживленный разговор, потом они сели играть в безик. Даже если бы она целую неделю ломала себе голову, как сильней уколоть Тома, она не придумала бы ничего лучшего.

Но уснуть Джулия не смогла. Она лежала в постели и ждала возвращения Роджера и Тома. Ей пришла в голову мысль, прогнавшая весь ее сон. Возможно, Том поймет, как он мерзко себя вел. Если он хоть на секунду об этом задумается, он увидит, как он ее огорчил; быть может, он пожалеет об этом, и когда они вернутся и Роджер пожелает ему доброй ночи, он прокрадется к ней в комнату. Если Том это сделает, она ему все простит. Письмо, наверное, лежит в буфетной,

ей будет нетрудно спуститься тихонько вниз и забрать его. Наконец подъехала машина. Джулия включила свет, чтобы взглянуть на часы. Три часа. Она слышала, как юноши поднялись наверх и разошлись по своим комнатам. Джулия ждала. Зажгла ночник у кровати, чтобы Тому было видно, когда он откроет дверь. Она притворится, что спит, а когда он подойдет к ней на цыпочках, медленно откроет глаза и улыбнется ему. Джулия ждала. В тишине ночи она услышала, как он лег в постель; щелкнул выключатель. С минуту она глядела прямо перед собой, затем, пожав плечами, открыла ящичек в тумбочке возле кровати и взяла из пузырька две таблетки снотворного.

«Если я не усну, я сойду с ума».

Глава пятнадцатая

Когда Джулия проснулась, был двенадцатый час. Среди писем она нашла одно, которое не пришло по почте. Она узнала аккуратный, четкий почерк Тома и вскрыла конверт. Там не было ничего, кроме четырех фунтов и десяти шиллингов. Джулия почувствовала легкую дурноту. Она и сама не знала, какого ждала ответа на свое снисходительное письмо и оскорбительный подарок. Ей не пришло в голову, что он может просто его вернуть. Джулия была вчера встревожена и расстроена, она хотела его унизить, сделать ему больно, но теперь испугалась, что зашла слишком далеко.

«Надеюсь все же, что он дал прислуге на чай», — пробормотала она, чтобы себя подбодрить. Джулия пожала плечами. «Ничего, опомнится, ему не вредно узнать, что я тоже не всегда сахар».

Но весь день она оставалась в задумчивости. Когда Джулия приехала вечером в театр, ее ждал там пакет.

Как только она взглянула на обратный адрес, она поняла, что в нем. Эви спросила, вскрыть ли пакет.

— Не надо.

Но не успела Джулия остаться одна, как сама его вскрыла. Там лежала булавка для галстука, и пуговицы для жилета, и жемчужные запонки, и часы, и золотой портсигар — гордость Тома. Все до одной вещи, которые она ему подарила. И никакого письма. Ни слова объяснения. Сердце ее упало, она заметила, что вся дрожит.

«Какая я была идиотка! Почему не сдержалась?!»

Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Она не в состоянии выйти на сцену, когда ее терзает такая адская мука. Она будет ужасно играть. Чего бы ей это ни стоило, она должна с ним поговорить. В его доме был телефон с отводом к нему в комнату. Джулия набрала номер. К счастью, Том был дома.

— Том!

— Да?

Он немного помолчал, перед тем как ответить, и голос его звучал раздраженно.

— Что все это значит? Почему ты прислал мне все эти вещи?

— Ты получила утром деньги?

— Да. Я абсолютно ничего не понимаю. Я тебя обидела?

— О нет, — ответил он. — Мне, конечно, очень приятно, чтобы со мной обращались как с содержанкой. Мне, конечно, приятно, когда мне бросают в лицо упрек, что даже чаевые и те я не могу сам заплатить. Удивительно еще, что ты не вложила в конверт деньги на билет третьего класса до Лондона.

Хотя Джулия чуть не плакала от боли и тревоги и с трудом могла говорить, она невольно улыбнулась. Ну и глупыш!

— Неужели ты думаешь, что я хотела тебя оскорбить? Ты достаточно хорошо меня знаешь и должен понимать, что это мне и в голову не могло прийти.

— Тем хуже. («Будь я проклята», — подумала Джулия.) Мне не надо было брать у тебя эти подарки, мне не надо было занимать у тебя деньги.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Все это — какое-то ужасное недоразумение. Зайди за мной после спектакля, и мы во всем разберемся. Я все тебе объясню.

— Я иду обедать к родителям и останусь у них ночевать.

— Тогда завтра.

— Завтра я занят.

— Я должна увидеться с тобой, Том. Мы слиш-

ком много значили друг для друга, чтобы вот так расстаться. Как ты можешь осуждать меня, не выслушав? Это несправедливо — наказывать человека, когда он ни в чем не виноват.

— Я думаю, будет гораздо лучше, если мы перестанем встречаться.

Джулия совсем потеряла голову.

— Но я люблю тебя, Том. Я тебя люблю. Разреши мне еще раз увидеть тебя, и если ты по-прежнему будешь сердиться на меня, что ж, будем считать, что дело кончено.

Его молчание тянулось до бесконечности. Наконец он ответил:

— Хорошо, я зайду во вторник после дневного спектакля.

— Не думай обо мне слишком плохо, Том.

Что бы там ни было, он придет. Джулия снова завернула присланные им вещи и спрятала их туда, где их не увидит Эви. Она разделась, накинула старый розовый халат и начала гримироваться. Настроение у нее было ужасное: она впервые призналась Тому в своей любви. Ее грызло, что пришлось унизительно умолять его, чтобы он к ней пришел. До сих пор он искал ее общества. Было невыносимо думать, что их роли переменились.

Джулия очень плохо играла на дневном представлении во вторник. Стояла страшная жара, публика принимала спектакль вяло. Джулии было все равно. Ее сердце терзали дурные предчувствия. Что ей до того, как идет пьеса! («И какого черта им вообще надо в театре в такой день?») Она была рада, когда представление окончилось.

— Я жду мистера Феннела, — сказала она Эви. — Я не хочу, чтобы меня беспокоили, пока он будет у меня.

Эви не ответила. Джулия взглянула на нее: у Эви был очень хмурый вид.

(«Ну ее к черту. Плевать мне, что она там думает!»)

Том уже должен был к этому времени прийти: шел шестой час. Он не мог не прийти, ведь он же обещал.

Джулия надела халат, не тот старый халат, в котором обычно гримировалась, а мужской, из темно-вишневого шелка. Эви все еще возилась, прибирая ее вещи.

— Ради Бога, Эви, перестань суетиться. Я хочу побыть одна.

Эви не отвечала. Она продолжала методично расставлять на туалетном столике предметы в

том порядке, в каком Джулия всегда желала их там видеть.

— Черт подери, ты почему не отвечаешь, когда я с тобой говорю?

Эви обернулась и посмотрела на Джулию. Задумчиво подтерла пальцем нос. «Может, вы и великая актриса, но…»

— Убирайся к черту!

Сняв сценический грим, Джулия совсем не стала краситься, лишь чуть-чуть подсинила под глазами. У нее была гладкая белая кожа, и без губной помады и румян она выглядела бледной и изнуренной. В мужском халате она казалась беспомощной, хрупкой и вместе с тем элегантной. На сердце у нее было тяжело, ее снедала тревога, но, взглянув в зеркало, она пробормотала: «Мими в последнем акте “Богемы”». Сама не замечая того, она раза два кашлянула, словно у нее чахотка. Джулия погасила яркий свет у туалетного столика и прилегла на диван. Вскоре в дверь постучали, и Эви доложила о мистере Феннеле. Джулия протянула ему белую худую руку.

— Прости, я лежу, мне что-то нездоровится. Возьми себе стул. Очень мило, что ты пришел.

— Нездоровится? Что с тобой?

— О, ничего страшного. — Бескровные губы

шевельнулись в вымученной улыбке. — Просто не очень хорошо спала последние две-три ночи.

Джулия обратила к Тому свои прекрасные глаза и несколько минут пристально смотрела на него в молчании. Вид у него был хмурый, но ей показалось, что он испуган.

— Я жду, что ты объяснишь мне, в чем моя вина. Что ты имеешь против меня? — сказала Джулия наконец тихим голосом.

Она заметила, что голос ее чуть дрожал, но вполне естественно. («Господи, да я, кажется, испугана».)

— Нет смысла к этому возвращаться. Я хотел сказать тебе единственную вещь: боюсь, я не смогу сразу выплатить тебе те двести фунтов, что я должен, у меня их просто нет, но постепенно я все отдам. Мне очень неприятно просить у тебя отсрочку, но нет другого выхода.

Джулия приподнялась и приложила обе руки к своему разбитому сердцу.

— Я не понимаю. Я две ночи пролежала без сна, все думала, в чем дело. Я боялась, что сойду с ума. Я пыталась понять. И не могу. Не могу. («В какой пьесе я это говорила?»)

— Не можешь? Ты все прекрасно понимаешь. Ты рассердилась на меня и решила меня нака-

зать. И сделала это. Ты расквиталась со мной как надо! Ты не могла придумать лучшего способа выразить свое презрение.

— Но почему бы мне было тебя наказывать? За что? Почему я должна была на тебя сердиться?

— За то, что я поехал в Мейднхед с Роджером на эту вечеринку, а тебе хотелось, чтобы я вернулся домой.

— Но я же сама сказала, чтобы вы ехали. Я пожелала вам хорошо провести время.

— Да, конечно, но твои глаза сверкали от ярости. У меня не было особой охоты туда ехать, но Роджеру уж так загорелось. Я говорил ему, что нам лучше вернуться и поужинать с тобой и Майклом, но он сказал — вы будете только рады сбыть нас с рук, и я решил не поднимать из-за этого шума. А когда я увидел, что ты разозлилась, уже было поздно идти на попятную.

— Я вовсе не разозлилась. Не представляю, как это могло прийти тебе в голову. Вполне естественно, что вам хотелось пойти на вечеринку. Неужели ты думаешь, я такая свинья, чтобы быть недовольной, если ты поразвлечешься в свой отпуск? Мой бедный ягненочек, я боялась только одного — что тебе будет там скучно. Я так мечтала, чтобы ты весело провел время!

— Тогда почему ты написала мне эту записку и вложила эти деньги? Это было так оскорбительно.

Голос Джулии сорвался. Губы задрожали, она не могла совладать со своим лицом. Том смущенно отвернулся — сам того не желая, он был тронут.

— Мне было невыносимо думать, что ты выкинешь свои деньги на мою прислугу. Я знаю, что ты не так уж богат и потратил кучу денег на чаевые, когда играл в гольф. Я презираю женщин, которые идут куда-нибудь с молодым человеком и позволяют ему за себя платить. Форменные эгоистки. Я поступила с тобой так, как поступила бы с Роджером. Я никак не думала, что задену твое самолюбие.

— Поклянись!

— Честное слово. Господи, неужели после всех этих месяцев ты так плохо меня знаешь! Если бы то, что ты подумал, было правдой, какой я тогда должна быть подлой, жестокой, жалкой женщиной, какой хамкой, какой бессердечной вульгарной бабой! Ты такой меня считаешь, да?

Трудный вопрос.

— Ну да не важно. Все равно, мне не следовало принимать от тебя дорогие подарки и брать взаймы деньги. Это поставило меня в ужасное

положение. Почему я думал, что ты меня презираешь? Да потому, что сам чувствую — ты имеешь на это право. Я действительно не могу позволить себе водиться с людьми, которые настолько меня богаче. Я был дурак, думая, что могу. Мне было очень весело и интересно, я великолепно проводил время, но теперь с этим покончено. Больше мы видеться не будем.

Джулия глубоко вздохнула.

— Тебе просто на меня наплевать. Вот что все это означает.

— Это несправедливо.

— Ты для меня — все на свете. Ты сам это знаешь. Я так одинока. Твоя дружба так много значит для меня. Я окружена паразитами и прихлебателями, а тебе от меня ничего не надо. Я чувствовала, что могу на тебя положиться. Мне было так с тобой хорошо. Ты — единственный, с кем я могла быть сама собой. Разве ты не понимаешь, какое для меня удовольствие хоть немного тебе помочь? Я не ради тебя дарила эти мелочи, а ради себя: я была так счастлива, видя, что ты пользуешься вещами, которые я купила. Если бы я что-нибудь для тебя значила, тебя бы это не унижало, ты был бы тронут.

Джулия снова посмотрела на него долгим

взглядом. Ей и всегда нетрудно было заплакать, а сейчас она чувствовала себя такой несчастной, что для этого не требовалось даже малейшего усилия. Том еще ни разу не видел ее плачущей. Она умела плакать не всхлипывая, — прекрасные глаза широко открыты, лицо почти неподвижно, и по нему катятся большие тяжелые слезы. Ее оцепенение, почти полная неподвижность трагической позы производили удивительно волнующий эффект. Джулия не плакала так с тех пор, как играла в «Раненом сердце». Господи, как эта пьеса выматывала ее! Джулия не глядела на Тома, она глядела прямо перед собой; она обезумела от боли. Но что это? Другое, внутреннее ее *«я»* прекрасно понимало, что она делает. Это *«я»* разделяло ее боль и одновременно наблюдало, как она ее выражает. Уголком глаза Джулия увидела, как Том побледнел, ощутила, как внезапная мука пронзила его до глубины души, почувствовала, что его плоть и кровь просто не в состоянии выдержать ее страдания.

— Джулия!

Голос изменил ему. Она медленно перевела на него подернутые влагой глаза. Перед ним была не плачущая женщина, перед ним была вся скорбь человеческого рода, неизмеримое, безутешное го-

ре — вечный удел людей. Том кинулся на колени и привлек ее в свои объятия. Он был потрясен.

— Любимая! Любимая!

Джулия не двигалась. Казалось, она не осознает, что он тут, рядом. Том целовал ее плачущие глаза, искал губами ее губы. Она отдала их Тому, словно была беспомощна перед ним, словно она не понимает, что с ней, и утеряла всю свою волю. Почти незаметным движением Джулия прижалась к нему всем телом, руки ее словно ненароком обвились вокруг его шеи. Она лежала в объятиях Тома не то чтобы совсем мертвая, но так, будто все ее силы, вся энергия оставили ее. Он чувствовал во рту соленый вкус ее слез. Наконец, утомленная, все еще обвивая его мягкими руками, Джулия откинулась на диван. Том прильнул к ее губам.

Глядя на нее четверть часа спустя, такую спокойную и веселую, лишь немного раскрасневшуюся, никто бы не догадался, что совсем недавно она так горько плакала. Они выпили оба по бокалу виски с содовой, выкурили по сигарете и с нежностью смотрели сейчас друг на друга.

«Он — душка», — подумала Джулия.

Ей пришло в голову, что она может доставить Тому удовольствие.

— Сегодня на спектакле будут герцог и герцо-

гиня Рикби, потом мы пойдем вместе ужинать в «Савой». Ты, наверное, не пожелаешь разделить с нами компанию? Я без кавалера.

— Если ты этого хочешь, пойду с удовольствием.

Румянец, сгустившийся у него на щеках, явственно сказал ей о том, как он взволнован возможностью встретиться с такими высокопоставленными особами. Джулия не стала говорить ему, что чета Рикби готова отправиться куда угодно, лишь бы угоститься за чужой счет. Том взял обратно ее подарки; смущенно, правда, но взял. Когда он ушел, Джулия присела к туалетному столику и посмотрела на себя в зеркало.

«Как удачно, что у меня не распухают от слез глаза, — сказала она. Она немного помассировала веки. — И все равно, до чего мужчины глупы!»

Джулия была счастлива. Теперь все будет хорошо. Она заполучила Тома обратно.

Но где-то в самых тайниках души она чувствовала к Тому хоть и слабое, но презрение за то, что ей удалось так легко его провести.

Глава шестнадцатая

Ссора, каким-то непонятным образом сломав разделявший их барьер, сблизила Джулию и Тома еще больше. Том не так сильно сопротивлялся, как она ожидала, когда она снова подняла вопрос о квартире. Казалось, после их примирения, взяв обратно ее подарки и согласившись забыть о долге, он сделался глух к угрызениям совести. Как увлекательно было обставлять квартиру! Жена шофера убирала ее и готовила Тому завтрак. У Джулии были свои ключи, и иногда она заходила туда и сидела в гостиной, поджидая Тома из конторы. Раза три в неделю они ужинали где-нибудь вместе, танцевали и возвращались на такси к нему. Эта осень была для Джулии очень счастливой. Пьеса, которая тогда шла, имела успех. Джулия чувствовала себя энергичной и молодой. Роджер должен был приехать к Рождеству, но дома он собирался провести всего две недели, а затем поехать в Вену. Джулия понимала, что он опять завладеет Томом, и решила не расстраиваться по этому поводу. Юность естественно тяготеет к юности, и нет никаких причин волноваться, если в течение нескольких дней

мальчики будут так поглощены друг другом, что Том и думать забудет о ней. Теперь она крепко держала его. Он гордился тем, что он ее любовник, это придавало ему уверенности в себе. Ему льстило быть так близко знакомым со многими более или менее высокопоставленными особами, а это было для него возможно только через нее. Тому страшно хотелось вступить в хороший клуб, и Джулия подготавливала для этого почву. Чарлз никогда ни в чем ей не отказывал, и она не сомневалась, что, если взяться за дело тактично, она уговорит его, и он предложит Тома в члены одного из своих клубов. Тратить свободно деньги также было для Тома новым и восхитительным ощущением; Джулия потворствовала его расточительности. Она вбила себе в голову, что он привыкнет к такому образу жизни и поймет, что без нее ему просто не обойтись.

«Понятно, это не может длиться вечно, — убеждала она себя, — но когда все кончится, ему будет о чем вспомнить. И это так много ему даст! Это сделает из него настоящего мужчину».

Но хотя Джулия говорила себе, что их связь не может длиться вечно, на самом деле она не понимала, почему бы и нет. Со временем Том повзрослеет и постареет, и разница между ними

не будет такой уж большой. Через десять — пятнадцать лет он не будет так молод, а она стареть не собирается. Им было очень хорошо вместе. Мужчины — рабы привычек, это помогает женщинам их удержать. Джулия не чувствовала себя старше его и на день, и, конечно же, сам он и не вспоминает о разнице их лет. Правда, был один момент, когда ее охватило по этому поводу некоторое беспокойство. Том причесывался у туалетного столика. Джулия в чем мать родила лежала на его постели в позе тициановской Венеры, которую как-то видела в одном загородном доме. Она чувствовала, что представляет собой прелестную картину, и, абсолютно убежденная в этом, не меняла положения. Она была счастлива и удовлетворена.

«Как в настоящем любовном романе», — думала она, и быстрая легкая улыбка порхала на ее губах.

Том заметил ее отражение в зеркале, повернулся и, не говоря ни слова, быстрым движением натянул на нее простыню. Хотя она одарила его нежной улыбкой, внутри у нее все перевернулось. В чем дело — он боится, что она простудится, или, по присущей всем англичанам стыдливости, шокирован ее наготой? А вдруг теперь, когда

его юношеское вожделение удовлетворено, ему просто противно глядеть на ее стареющее тело? Вернувшись домой, Джулия вновь разделась догола перед трюмо и подвергла себя внимательному осмотру. Она решила не щадить себя. Она посмотрела на шею — никаких следов ее возраста, особенно если держать повыше подбородок. Грудь у нее маленькая и упругая, совсем девичья. Живот плоский, бедра неширокие, жира на них самая малость, да и у кого его нет; можно приказать мисс Филиппе, чтобы она согнала его совсем. Никто не скажет, что у нее нехороши ноги: длинные, стройные, прекрасной формы. Джулия провела руками по всему телу; кожа как атлас, ни пятнышка, ни шрама. Конечно, под глазами уже прорезалось несколько морщинок, но нужно очень пристально вглядываться, чтобы их заметить; говорят, существует пластическая операция, при помощи которой можно от них избавиться, надо будет разузнать. К счастью, она совсем не седеет; как хорошо ни покрасишь волосы, от крашеных волос грубеет лицо; у нее они до сих пор сохранили свой сочный темно-каштановый цвет. Зубы тоже в полном порядке.

«Излишняя скромность, вот что это было, только и всего».

Однако с того дня Джулия старалась держать себя соответственно понятиям Тома о благопристойности.

У Джулии была такая прочная репутация, что она считала: ей нечего бояться показываться с Томом в публичных местах. Для нее было внове посещать ночные клубы, она наслаждалась этими вылазками, и хотя никто лучше ее не знал, что, где бы она ни появилась, она привлекает к себе внимание, Джулии и в голову не приходило, что такая перемена в ее привычках может вызвать в городе толки. Имея за спиной двадцать лет супружеской верности — Джулия, естественно, не принимала в расчет испанца, такой инцидент мог произойти с кем угодно, — она была убеждена, что никто и на миг не вообразит, будто у нее роман с мальчиком, который годится ей в сыновья. Она не подумала, что сам Том не всегда ведет себя достаточно осмотрительно. Она не подумала также, что ее собственные глаза, когда они с Томом танцуют, выдают ее с головой. Джулия считала, что она — выше подозрений, ей было невдомек, что о ней уже начинают судачить.

Когда сплетни достигли ушей Долли де Фриз, та только расхохоталась. По просьбе Джулии она приглашала Тома к себе на приемы и раза два

звала в свой загородный дом на уик-энд, но она никогда не обращала на него внимания. Славный мальчик, удобный телохранитель для Джулии, когда Майкл занят, но абсолютный нуль. Один из тех людей, которых никто не замечает, чьего лица не можешь вспомнить на следующий день. Человек, которого зовут в последний момент на обед, если не хватает кавалера. Джулия со смехом называла его «мой поклонник» или «мой воздыхатель»; вряд ли она говорила бы о нем так спокойно, так откровенно, если бы между ними что-нибудь было. К тому же Долли знала, что для Джулии существуют только двое мужчин — Майкл и Чарлз Тэмерли. Но конечно, странно — всю жизнь заботиться о своей репутации и вдруг зачастить в ночные клубы. Три-четыре раза в неделю, не реже. Долли редко видела Джулию в последнее время и, сказать по правде, была несколько задета ее невниманием. У Долли было много друзей в театральном мире, и она стала осторожно их расспрашивать. Ей крайне не понравилось то, что она услышала. Она не знала, что и думать. Одно было очевидно: Джулия не подозревает, какие вещи о ней говорят. Кто-то должен ей об этом сказать. У самой Долли не хватит на это смелости. Даже после стольких лет знакомства Долли ее

немного побаивалась. Джулия была женщина уравновешенная, и, хотя язык ее частенько бывал резким и даже грубым, мало что могло вывести ее из себя. Однако было в ней что-то, пресекающее всякую фамильярность; казалось, если зайдешь с ней слишком далеко, горько потом раскаешься. Но надо же что-то сделать! Целых две недели Долли тревожно обдумывала этот вопрос. Она постаралась забыть о своей уязвленной гордости и рассматривать его только с точки зрения того, что полезно или вредно для репутации самой Джулии. Наконец она пришла к заключению, что поговорить с Джулией должен Майкл. Долли он никогда не нравился, но, в конце концов, он муж, ее долг — рассказать ему, чтобы он пресек то, что происходит, не важно даже — что.

Долли позвонила Майклу и условилась встретиться с ним в театре. Майкл любил Долли не больше, чем она его, хотя и по другой причине, и, услышав, что она хочет его видеть, чертыхнулся. Его бесило, что ему так и не удалось убедить ее продать свой пай, и любое ее предложение он считал недопустимым вмешательством.

Но когда Долли провели к нему в кабинет, он встретил ее с распростертыми объятиями и поцеловал в обе щеки.

— Располагайтесь поудобнее, будьте как дома. Заглянули посмотреть, продолжает ли фирма загребать для вас дивиденды?

Долли де Фриз уже стукнуло шестьдесят. Она сильно растолстела, и ее лицо с крупным носом и полными красными губами казалось больше натуральной величины. Было что-то неуловимо мужское в покрое ее черного атласного платья, но на шее у нее висела двойная нитка жемчуга, на поясе сверкала бриллиантовая пряжка, другая красовалась на шляпе. Коротко стриженные волосы были выкрашены в густой рыжий цвет. Губы и ногти были пунцовые. Говорила она громко, низким гортанным голосом; когда приходила в возбуждение, слова обгоняли друг друга и обнаруживался еле заметный акцент кокни.

— Майкл, меня очень расстраивает Джулия.

Майкл — как всегда, безупречный джентльмен — слегка поднял брови и сжал тонкие губы. Он не собирался обсуждать свою жену даже с Долли.

— Мне кажется, она заходит слишком далеко. Не понимаю, что на нее нашло. Все эти вечеринки, на которые она зачастила… Ночные клубы и всякое такое… В конце концов, она уже не так молода, она может переутомиться.

— Ерунда. Она здорова как лошадь и прекрасно

себя чувствует. Она уже давно не выглядела так молодо. Неужели вам жалко, если она немного повеселится, когда закончит свою работу? Роль, которую она сейчас играет, не забирает ее всю целиком, я очень рад, что ее еще хватает на развлечения, это показывает, сколько в ней жизненной силы.

— Она никогда раньше не увлекалась такими вещами. Странно, право, что она вдруг полюбила танцевать допоздна, да еще в ужасной духоте.

— Для нее это единственная физическая разрядка. Нельзя же ожидать, что она наденет шорты и побежит вместе со мной по парку.

— Я думаю, вам следует знать, что о ней уже начинают чесать языки. Это сильно вредит ее репутации.

— Что вы хотите этим сказать, черт подери?

— Ну, что просто нелепо в ее годы ходить повсюду с молоденьким мальчиком. Это, естественно, бросается всем в глаза.

С минуту Майкл глядел на Долли недоуменным взглядом, когда же до него дошел наконец смысл ее слов, он разразился громким смехом.

— С Томом? Не говорите глупостей, Долли.

— Это не глупости. Я знаю, о чем говорю. Когда женщина пользуется такой известностью, как

Джулия, и ее все время видят с одним и тем же мужчиной, люди начинают болтать.

— Но Том такой же друг мне, как и ей. Вы прекрасно знаете, что я не могу водить Джулию на танцы. Мне нужно вставать каждое утро ровно в восемь, чтобы успеть перед работой сделать свой моцион. Полагаю, я как-никак научился разбираться в людях, пробыв в театре тридцать лет. Том — типичный английский юноша, чистый, честный, даже можно сказать — в своем роде джентльмен. Я не спорю, он обожает Джулию, мальчики его возраста часто думают, что они влюблены в женщину старше себя; вряд ли это причинит ему вред, напротив, только пойдет на пользу. Но вообразить, что Джулия способна смотреть на него всерьез… Бедная моя Долли, не смешите меня!

— Он надоедлив, скучен, вульгарен, и он сноб.

— Ну если он таков, не кажется ли вам тем более странным, чтобы Джулия могла им увлечься?

— Только женщина знает, на что способна другая женщина.

— Неплохая реплика, Долли. Мы закажем вам следующую пьесу. Давайте выясним все до конца. Вы можете положа руку на сердце утверждать, что у Джулии роман с Томом?

Долли взглянула Майклу в лицо. В ее глазах была мука. Хотя сперва она только смеялась, слушая, что ей рассказывают о Джулии, она была не в состоянии полностью подавить сомнения, все больше обуревавшие ее. Ей вспоминались десятки мелких подробностей, на которые она в свое время не обращала внимания, но которые, если хладнокровно на них посмотреть, выглядели очень и очень подозрительно. Она не думала, что можно так терзаться. Доказательства? У нее не было никаких доказательств, лишь интуиция, которая никогда не обманывала ее. Долли хотелось ответить «да», это желание казалось неудержимым, но Долли пересилила себя. Она не могла предать Джулию. Вдруг этот дурак Майкл пойдет и все ей выложит? Джулия больше никогда в жизни не станет с ней разговаривать. Вдруг установит за Джулией слежку и поймает ее на месте преступления?! Кто знает, что может случиться, если она, Долли, скажет ему правду.

— Нет, не могу.

Слезы переполнили глаза Долли и покатились по массивным щекам. Майкл видел, что она страдает. Он считал ее комичной, но понимал, что горе ее неподдельно, и, будучи по натуре добрым, принялся ее утешать:

— Ну вот видите. Вы же знаете, как хорошо Джулия к вам относится, право, не надо ревновать ее к другим друзьям.

— Бог свидетель, мне ничего для нее не жалко, — всхлипнула Долли. — Она так изменилась ко мне за последнее время. Стала так холодна. Я всегда была ей верным другом, Майкл.

— Да, дорогая, я в этом не сомневаюсь.

— «Служи я небесам хоть вполовину с таким усердьем, как служил монарху…»[119]

— Ну полно, полно, не так уж все плохо, как кажется. Вы знаете, я не из тех людей, что обсуждают свою жену с другими. Я всегда считал это ужасно дурным тоном. Но честно говоря, вам неизвестно о Джулии самого главного. Физическая любовь для нее ничто. Когда мы только поженились — другое дело. И могу вам признаться — ведь все это было так давно, — что мне тогда нелегко пришлось. Я не хочу сказать, что она была нимфоманкой или что-нибудь в этом роде, но порой она бывала немного утомительной. Постель, конечно, вещь по-своему неплохая, но в жизни существует еще многое другое. К счастью, после рождения Роджера она совершенно

---

[119] Примечания: 119
Шекспир, Вильям. «Генрих VIII».

переменилась. Стала куда более уравновешенной. Все ее инстинкты ушли в игру. Вы читали Фрейда, Долли, как он это называет, когда так происходит?

— Ах, Майкл, что мне до Фрейда!

— Сублимация, вот как. Я часто думаю: потому-то она и стала такой великолепной актрисой. Актерская игра — такое дело, которое требует всего твоего времени, и если хочешь чего-нибудь достичь, надо отдавать себя целиком. Меня просто возмущает наша публика: думают, что актеры и актрисы черт знает чем занимаются. Да у нас для этого просто нет времени.

Слова Майкла так рассердили Долли, что помогли взять себя в руки.

— Но, Майкл, пусть мы с вами и знаем, что Джулия не совершает ничего дурного, то, что она повсюду разгуливает с этим жалким мальчишкой, очень вредит ее репутации. В конце концов, примерная супружеская жизнь была одним из ваших самых верных козырей. Все вас уважали. Зрителям было приятно думать о том, какая вы преданная и дружная пара.

— Но мы такие и есть, черт побери!

Долли начала терять терпение.

— Говорю вам, по городу ходят сплетни. Вы же

не глупы. Неужели вы не понимаете, что иначе и быть не может. Я хочу сказать, если бы она заводила один скандальный роман за другим, никто бы теперь и внимания не обратил, но после примерного поведения в течение стольких лет вдруг так сорваться… Естественно, начались пересуды. Это может повредить театру.

Майкл кинул на нее быстрый взгляд.

— Я понимаю, о чем вы толкуете, Долли. В ваших словах, пожалуй, что-то есть, и при создавшихся обстоятельствах вы имеете полное право так говорить. Вы так нам помогли, когда мы начинали, мне крайне неприятно теперь вас подводить. Знаете, что я предлагаю? Я откуплю у вас пай.

— Откупите у меня пай?

Долли выпрямилась. Ее лицо, еще минуту назад искаженное горем и тревогой, окаменело. Она была объята негодованием. А Майкл вкрадчиво продолжал:

— Я вижу, куда вы клоните. Если Джулия будет болтаться черт знает где целыми ночами, это скажется на ее исполнении. С этим не приходится спорить. У Джулии есть забавные поклонницы. На дневные спектакли приходит куча старых дам, потому что они считают ее такой милой

добропорядочной женщиной. Не могу отрицать — если ей начнут перемывать косточки, это может отразиться на сборах. Я знаю Джулию достаточно хорошо: она не допустит никакого вмешательства в свою жизнь. Я ее муж и должен с этим мириться. Вы — нет. Я не стану вас порицать, если вы захотите выйти из предприятия, пока оно еще на мази.

Долли насторожилась. Она была далеко не глупа и в деловых вопросах вполне могла потягаться с Майклом. Гнев вернул ей самообладание.

— Я думала, что после стольких лет знакомства, Майкл, вы знаете меня лучше. Я считала своим долгом вас предупредить, но меня не испугаешь превратностями судьбы. Я не из тех, кто бежит с тонущего корабля. Осмелюсь сказать, я скорее могу позволить себе потерять деньги, чем вы.

Долли с большим удовольствием наблюдала, как у Майкла вытянулось лицо. Она знала, как много значат для него деньги, и надеялась, что ее слова крепко засядут у него в голове. Майкл быстро овладел собой.

— Что ж, подумайте еще, Долли.

Она взяла сумочку, и они расстались со взаимными заверениями в любви и пожеланиями удачи.

— Старая ведьма, — произнес Майкл, когда за Долли закрылась дверь.

— Старый осел, — произнесла Долли, спускаясь в лифте.

Но когда она села в свой великолепный и очень дорогой лимузин и вернулась к себе на Монтегью-сквер, она не смогла сдержать горьких и жгучих слез. Долли чувствовала себя старой, одинокой, несчастной. Она отчаянно ревновала.

Глава семнадцатая

Майкл гордился своим чувством юмора. Вечером в воскресенье, на следующий день после разговора с Долли, он вошел в комнату Джулии в то время, как она одевалась. Они собирались в кино после раннего ужина.

— Кто идет, кроме Чарлза? — спросил он.

— Я не смогла никого найти и позвала Тома.

— Прекрасно. Я хотел его видеть.

Майкл засмеялся при мысли о шутке, которую он для них припас. Джулия с удовольствием предвкушала ожидающий их вечер. В кино она сядет между Чарлзом и Томом, и тот не выпустит ее руки, в то время как она будет вполголоса болтать с Чарлзом. Дорогой Чарлз, как мило с его стороны столько лет так преданно ее любить; она в лепешку расшибется, чтобы быть ему приятной. Чарлз и Том приехали вместе. Том в первый раз надел новый смокинг, и они с Джулией обменялись украдкой взглядом; в его глазах было удовольствие, в ее — восхищение.

— Ага, попался, молодой человек, — весело сказал Майкл, потирая руки, — а знаешь, что я о тебе слышал? Я слышал, что ты компрометируешь

мою жену.

Том испуганно взглянул на него и залился краской. Привычка краснеть страшно его угнетала, но отучиться от нее он не мог.

— О Господи! — воскликнула весело Джулия. — Как чудесно! Всю жизнь мечтала, чтобы кто-нибудь меня скомпрометировал! Кто тебе рассказал, Майкл?

— Сорока на хвосте принесла, — лукаво ответил он.

— Что ж, Том, если Майкл со мной разведется, знаешь, тебе придется жениться на мне.

Чарлз улыбнулся добрыми грустными глазами.

— Что вы такое натворили, Том? — спросил он.

Чарлз держался нарочито серьезно; Майкл, которого забавляло явное смущение Тома, шутливо; Джулия, хотя внешне разделяла их веселье, была настороже.

— Оказывается, юный распутник водит Джулию по ночным клубам, в то время как ей давно пора «бай-бай».

Джулия завопила от восторга.

— Ну как, Том, признаемся или будем начисто все отрицать?

— И знаете, что я сказал этой сороке, — прервал ее Майкл, — я сказал: до тех пор пока Джулия не

тащит *меня* в ночные клубы…

Джулия перестала прислушиваться к его словам. Долли, подумала она и, как ни странно, употребила те же самые два слова, что и Майкл. Объявили, что ужин подан, и их веселая болтовня обратилась к другим предметам. Но хотя Джулия принимала в ней живейшее участие, хотя, судя по ее виду, она уделяла гостям все свое внимание и даже с величайшим интересом выслушала одну из театральных историй Майкла, которую слышала по меньшей мере двадцать раз, все это время она вела про себя оживленную беседу с Долли. Долли все больше и больше съеживалась от страха, пока Джулия говорила ей, что именно она о ней думает.

«Вы, старая корова, — сказала она Долли, — кто вам позволил совать нос в мои дела? Молчите. Не пытайтесь оправдываться. Я знаю слово в слово, что вы сказали Майклу. Этому нет оправдания. Я думала, вы мне друг. Думала — я могу на вас положиться. Ну, теперь конец. Больше я вас знать не хочу. Ни за что. Думаете, мне очень нужны ваши вонючие деньги? И не пытайтесь говорить, что не имели в виду ничего дурного. Да что бы вы были, если бы не я, хотела бы я знать? Если вы хоть кому-нибудь известны, если что-то и пред-

ставляете собой, так только потому, что случайно знакомы со мной. Благодаря кому все эти годы ваши приемы имели такой успех? Думаете, люди приходили любоваться на вас? Они приходили посмотреть на меня. Все. Конец».

По правде сказать, это был скорее монолог, чем диалог.

Позже, в кино, она сидела рядом с Томом, как и собиралась, и держала его за руку, но рука казалась на редкость безжизненной. Как рыбий плавник. Видно, его встревожили слова Майкла, и теперь он сидит и думает о них. Как бы улучить минутку и остаться с ним наедине? Она сумела бы его успокоить. В конце концов никто, кроме нее, не выпутался бы из положения с таким блеском. Апломб — вот точное слово. Интересно все-таки, что именно Долли сказала Майклу. Надо будет узнать. Майкла спрашивать не годится, еще подумает, что она придала какое-то значение его словам; надо узнать у самой Долли. Пожалуй, не стоит ссориться с ней. Джулия улыбнулась при мысли, какую сцену она разыграет с Долли. Она будет со старой коровой сама нежность, она подластится к ней и выспросит все, та и не догадается, как она, Джулия, на нее сердита. Любопытно все-таки… Ее прямо мороз по коже пробрал при

мысли, что о ней болтают. В конце концов, если она не может поступать как хочет, кто тогда может? Ее личная жизнь никого не касается. Однако если люди начнут над ней смеяться, хорошего будет мало. Интересно, что выкинет Майкл, если узнает правду? Не очень-то ему удобно будет с ней развестись и оставаться ее антрепренером. Самое умное с его стороны было бы закрыть глаза, но в некоторых отношениях Майкл — человек странный: нет-нет да и вспоминает, что его родитель — полковник, и начинает изображать из себя бог весть что. Он вполне может вдруг сказать: пропади оно все пропадом, я должен поступить как джентльмен. Мужчины — такие дураки, они способны наплевать в собственный колодец. Конечно, она не очень-то и расстроится. Поедет на гастроли в Америку на год или два, пока скандал не затихнет, а потом найдет себе нового антрепренера. Но это такая докука! И потом, у них есть Роджер, об этом тоже нельзя забывать; он так станет переживать, бедный ягненочек, все это будет для него так унизительно. Нечего закрывать глаза: она будет крайне глупо выглядеть, разводясь в ее возрасте из-за мальчишки двадцати трех лет. Конечно, замуж она за Тома не выйдет, на это у нее достанет ума. А Чарлз женится на ней?

Джулия обернулась и посмотрела в полумраке на его аристократический профиль. Он безумно любит ее уже много лет, он — один из тех великодушных галантных идиотов, которых женщины запросто обводят вокруг пальца; возможно, он не откажется выступать в суде в роли соответчика при расторжении брака вместо Тома. Это был бы прекрасный выход. Леди Чарлз Тэмерли. Звучит неплохо. Возможно, она и правда была несколько безрассудна. Она всегда следила, чтобы ее никто не заметил, когда шла к Тому, но ее мог увидеть кто-нибудь из шоферов по пути туда или обратно и вообразить невесть что. У таких людей всегда только непристойности на уме. Что до ночных клубов, она с радостью ходила бы с Томом в тихие местечки, где бы их никто не увидел, но он не хотел. Он любил, чтобы была куча народу, ему нравилось вращаться среди элегантных людей, на них посмотреть и себя показать. Он хотел, чтобы их видели вместе.

«Черт подери! — сказала себе Джулия. — Черт подери! Черт подери!»

Да, вечер в кино оказался далеко не таким приятным, как она ожидала.

Глава восемнадцатая

На следующий день Джулия позвонила Долли по ее личному аппарату.

— Милочка, я не видела вас тысячу лет. Что вы поделывали все это время?

— Да ничего особенного.

Голос Долли был холоден.

— Послушайте, завтра возвращается Роджер. Вы знаете, он совсем бросает Итон. Я пошлю утром за ним машину и хочу, чтобы вы приехали к ленчу. Я никого не зову. Только вы и я, Майкл и Роджер.

— Я уже приглашена на завтра к ленчу.

За двадцать лет Долли ни разу не была занята, если Джулия хотела ее видеть. Голос на другом конце провода казался враждебным.

— Долли, как вы можете быть такой злючкой? Роджер будет ужасно разочарован. Его первый день дома; к тому же я сама хочу вас видеть. Я уже целую вечность не видела вас и страшно соскучилась. Вы не можете отложить вашу встречу? Один только раз, милочка, и мы с вами всласть поболтаем после ленча вдвоем, лишь вы да я.

Когда Джулия чего-нибудь хотела, ей просто

немыслимо было отказать: никто не мог вложить столько нежности в голос, быть такой обаятельной, такой неотразимой. Наступило молчание, и Джулия поняла, что Долли борется со своими оскорбленными чувствами.

— Хорошо, дорогая, я как-нибудь ухитрюсь это уладить.

— Милочка! — Но, дав отбой, Джулия процедила сквозь зубы: «Старая корова!»

Долли приехала. Роджер вежливо выслушал, что он сильно вырос, и со своей серьезной улыбкой отвечал как положено на все то, что она считала уместным сказать мальчику его лет. Роджер ставил Джулию в тупик. Хотя сам он говорил мало, он, казалось, внимательно слушал все, что говорили другие, и все же ее не оставляло странное чувство, будто голова его занята собственными мыслями. Казалось, он наблюдает за ними со стороны с тем же любопытством, с каким мог бы наблюдать за зверьми в зоопарке. Это вызывало в ней легкую тревогу. При первом удобном случае Джулия произнесла реплику которую заранее приготовила ради Долли:

— Роджер, милый, твой несчастный отец занят сегодня вечером. У меня есть два билета в «Палладиум» на второе представление, и Том звал тебя

обедать в «Кафе-Ройял».

— Да? — Секундное молчание. — Ладно.

Джулия повернулась к Долли:

— Так хорошо, что у нас есть Том. Можно всюду пускать с ним Роджера. Они большие друзья.

Майкл бросил на Долли многозначительный взгляд. В глазах у него заплясали чертики.

— Том — очень приличный молодой человек. Он не даст Роджеру набедокурить, — сказал он.

— Мне кажется, Роджеру интереснее общаться со своими друзьями по Итону, — отозвалась Долли.

«Старая корова, — думала Джулия, — старая корова!»

После ленча она позвала Долли к себе в комнату.

— Мне надо отдохнуть. Я лягу, а вы мне расскажете все новости. Хорошенько посплетничать, вот чего я хочу.

Она нежно обвила рукой массивную талию Долли и повела ее наверх. Какое-то время они болтали о том о сем: о нарядах, прислуге, косметике; позлословили об общих знакомых; затем Джулия, облокотившись на руку, доверительно посмотрела Долли в глаза.

— Долли, мне надо с вами кое о чем поговорить.

Мне нужен совет, а вы — единственный человек на свете, к кому я обращусь за советом. Я знаю, что вам я могу доверять.

— Ну конечно, дорогая.

— Оказывается, обо мне пошли гадкие сплетни. Кто-то сказал Майклу, что в городе болтают обо мне и бедном Томе Феннеле.

Хотя глаза ее хранили все то же обворожительное и трогательное выражение, перед которым — она это знала — Долли не могла устоять, Джулия внимательно следила за ней. Напрасно: Долли не вздрогнула, на лице не шевельнулся ни один мускул.

— Кто рассказал Майклу?

— Понятия не имею. Он не говорит. Сами знаете, какой он, когда ему вздумается изображать из себя джентльмена.

Ей только показалось или лицо Долли действительно стало менее напряженным?

— Мне нужна правда, Долли.

— Я так рада, что вы обратились ко мне, дорогая. Я терпеть не могу вмешиваться, куда меня не просят, если бы вы сами не затеяли этот разговор, ничто не заставило бы меня его начать.

— Милочка, кому, как не мне, знать, какой вы верный друг.

Долли скинула туфли и уселась поудобнее в кресле, затрещавшем под ее тяжестью. Джулия не спускала с нее глаз.

— Люди злы, для вас это не тайна. Вы всегда вели такой спокойный образ жизни. Так редко выезжали, и то лишь с Майклом или Чарлзом Тэмерли. Чарлз — другая статья: всем известно, что он вздыхает по вас тысячу лет. Естественно, все удивились, что вы вдруг, ни с того ни с сего, начали разгуливать по развеселым местам с клерком фирмы, которая ведет ваши бухгалтерские книги.

— Ну, это не совсем так. Том не клерк. Отец купил ему пай в деле. Он — младший компаньон.

— Да, и получает четыреста фунтов в год.

— Откуда вы знаете? — быстро спросила Джулия.

На этот раз Джулия была уверена в том, что Долли смутилась.

— Вы уговорили меня обратиться к его фирме по поводу подоходного налога. Один из главных компаньонов мне и сказал. Немного странно, что на такие деньги он в состоянии платить за квартиру, одеваться так, как он одевается, и водить вас в ночные клубы.

— Возможно, он получает денежную помощь

от отца.

— Его отец — стряпчий в северной части Лондона. Вы прекрасно понимаете, что, если он купил ему пай в фирме, он не станет помогать ему наличными деньгами.

— Может быть, вы вообразили, будто я его содержу? — сказала Джулия со звонким смехом.

— Я ничего не воображаю, дорогая. Но люди — да.

Джулии не понравились ни слова, произнесенные Долли, ни то, как она их произнесла. Но она никак не выдала своей тревоги.

— Какая нелепость! Том — друг Роджера. Конечно, я с ним выезжаю. Я почувствовала, что мне надо встряхнуться. Я устала от однообразия, только и знаешь — театр и забота о самой себе. Это не жизнь. В конце концов, когда мне и повеселиться, как не сейчас? Я старею, Долли, что уж отрицать. Вы знаете, что такое Майкл. Конечно, он душка, но такой зануда!

— Не больше, чем был все эти годы, — сказала Долли ледяным тоном.

— Мне кажется, я — последняя, кого можно обвинить в шашнях с мальчиком на двадцать лет моложе меня.

— На двадцать пять, — поправила Долли. —

Мне бы тоже так казалось. К сожалению, ваш Том не очень-то осторожен.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ну, он обещал Эвис Крайтон, что получит для нее роль в вашей новой пьесе.

— Что еще за Эвис Крайтон?

— О, одна моя знакомая молодая актриса. Хорошенькая, как картинка.

— Он просто глупый мальчишка. Верно, надеется уломать Майкла. Вы же знаете, как Майкл любит молодежь.

— Он говорит, что может вас заставить сделать все, что хочет. Он говорит — вы пляшете под его дудку.

К счастью, Джулия была хорошая актриса. На миг сердце ее остановилось. Как он мог так сказать? Дурак. Несчастный дурак! Но она тут же овладела собой и весело рассмеялась:

— Какая чепуха! Да я не верю ни единому слову.

— Он очень заурядный, вульгарный молодой человек. Вы так с ним носитесь, ничего удивительного, если это вскружило ему голову.

Джулия, добродушно улыбаясь, посмотрела на Долли невинным взглядом.

— Но, милочка, надеюсь, вы не думаете, что Том

— мой любовник?

— Если и нет, я единственная, кто так не думает.

— Но вы думаете или нет?

Долли молчала. С минуту они, не отводя глаз, смотрели друг на друга; в сердце каждой из них горела черная ненависть, но Джулия по-прежнему улыбалась.

— Если вы поклянетесь, что это не так, конечно, я вам поверю.

Голос Джулии сделался тихим, торжественным, в нем звучала неподдельная искренность.

— Я еще ни разу вам не солгала, Долли, и уже слишком стара, чтобы начинать. Я даю вам честное слово, что Том никогда не был мне никем, кроме как другом.

— Вы снимаете тяжесть с моей души.

Джулия знала, что Долли ей не верит, и Долли это было известно. Долли продолжала:

— Но в таком случае, Джулия, дорогая, ради самой себя будьте благоразумны. Не разгуливайте повсюду с этим молодым человеком. Бросьте его.

— Не могу. Это будет равносильно признанию, что люди были правы, когда злословили о нас. Моя совесть чиста. Я могу позволить себе высоко держать голову. Я стала бы презирать себя, если

бы руководствовалась в своих поступках тем, что кто-то что-то обо мне думает.

Долли сунула ноги обратно в туфли и, достав из сумочки помаду, накрасила губы.

— Что ж, дорогая, вы не ребенок и знаете, что делаете.

Расстались они холодно.

Однако две или три оброненные Долли фразы явились для Джулии очень неприятной неожиданностью. Они не выходили у нее из головы. Хоть кого приведет в замешательство, если слухи о нем так близки к истине. Но какое все это имеет значение? У миллиона женщин есть любовники, и это никого не волнует. Она же актриса. Никто не ожидает от актрисы, чтобы она была образцом добропорядочности.

«Это все моя проклятая благопристойность. Она всему причина».

Джулия приобрела репутацию исключительно добродетельной женщины, которой не грозит злословие, а теперь было похоже, что ее репутация — тюремная стена, которую она сама вокруг себя воздвигла. Но это бы еще полбеды. Что имел в виду Том, когда говорил, что она пляшет под его дудку? Это глубоко уязвило Джулию. Дурачок. Как он осмелился?! С этим она тоже не знала,

что предпринять. Ей бы хотелось отругать его, но что толку? Он все равно не сознается. Джулии оставалось одно — молчать. Она слишком далеко зашла: снявши голову, по волосам не плачут; приходится принимать все таким, как оно есть. Ни к чему закрывать глаза на правду: Том ее не любит, он стал ее любовником потому, что это льстит его тщеславию, что это открывает ему доступ ко многим приятным вещам, и потому, что, по крайней мере в его собственных глазах, это дает ему своего рода положение.

«Если бы я не была дурой, я бы бросила его. — Джулия сердито засмеялась. — Легко сказать! Я его люблю».

И вот что самое странное: заглянув в свое сердце, она увидела, что возмущается нанесенной ей обидой не Джулия Лэмберт — женщина; той было все равно. Ее уязвила обида, нанесенная Джулии Лэмберт — актрисе. Она часто чувствовала, что ее талант — критики называли его «гений», но это было слишком громкое слово, лучше сказать, ее дар — не она сама и не часть ее, а что-то вне ее, что пользовалось ею, Джулией Лэмберт, для самовыражения. Это была неведомая ей духовная субстанция, озарение, которое, казалось, нисходило на нее свыше и посредством нее,

Джулии, свершало то, на что сама Джулия была неспособна. Она была обыкновенная, довольно привлекательная стареющая женщина. У ее дара не было ни внешней формы, ни возраста. Это был дух, который играл на ней, как скрипач на скрипке. Пренебрежение к нему, к этому духу, вот что больше всего ее оскорбило.

Джулия попыталась уснуть. Она так привыкла спать днем, что стоило ей лечь, сразу же засыпала, но сегодня она беспокойно ворочалась с боку на бок, а сон все не шел. Наконец Джулия взглянула на часы. Том часто возвращался с работы после пяти. Она страстно томилась по нему, в его объятиях был покой, когда она была рядом с ним, все остальное не имело значения. Джулия набрала его номер.

— Алло! Да! Кто говорит?

Джулия в панике прижала трубку к уху. Это был голос Роджера. Она дала отбой.

Глава девятнадцатая

Ночью Джулия тоже почти не спала. Она все еще лежала без сна, когда услышала, что вернулся Роджер, и, повернув выключатель, увидела, что было четыре часа. Она нахмурилась. Утром он с грохотом сбежал по ступеням, в то время как она еще только собиралась вставать.

— Можно войти, мамочка?

— Входи.

Он все еще был в пижаме и халате. Она улыбнулась ему: он выглядел таким свежим, таким юным.

— Ты очень поздно вернулся вчера.

— Не очень. Около часа.

— Врунишка! Я поглядела на часы. Было четыре утра.

— Ну, четыре так четыре, — весело согласился он.

— Что вы делали до такого времени, ради всего святого?

— Поехали после спектакля в одно место ужинать. Танцевали.

— С кем?

— С двумя девушками, которых мы там встре-

тили. Том знал их раньше.

— Как их зовут?

— Одну Джил, другую Джун. Фамилий их я не знаю. Джун — актриса. Она спросила, не смогу ли я устроить ее дублершей в твоей следующей пьесе.

Во всяком случае, ни одна из них не была Эвис Крайтон. Это имя не покидало мыслей Джулии с той минуты, как Долли упомянула его.

— Но ведь такие места закрываются не в четыре утра.

— Да. Мы вернулись к Тому. Том взял с меня слово, что я тебе не скажу. Он думал, ты страшно рассердишься.

— Ну, чтобы я рассердилась, нужна причина поважней. Обещаю, что и словом ему не обмолвлюсь.

— Если кто и виноват, так только я. Я зашел к нему вчера днем, и мы обо всем сговорились. Вся эта ерунда насчет любви, которую слышишь на спектаклях и читаешь в книгах… Мне скоро восемнадцать. Я решил, надо самому попробовать, что это такое.

Джулия села в постели и, широко раскрыв глаза, посмотрела на Роджера вопросительным взглядом.

— Роджер, ради всего святого, о чем ты толкуешь?

Он был, как всегда, сдержан и серьезен.

— Том сказал, что он знает двух девчонок, с которыми можно поладить. Он сам с ними обеими уже переспал. Они живут вместе. Ну, мы позвонили им и предложили встретиться после спектакля. Том сказал им, что я — девственник, пусть кидают жребий, кому я достанусь. Когда мы вернулись к нему в квартиру, он пошел в спальню с Джил, а мне оставил гостиную и Джун.

На какой-то миг мысль о Томе была вытеснена ее тревогой за Роджера.

— И знаешь, мам, ничего в этом нет особенного. Не понимаю, чего вокруг этого поднимают такой шум.

У Джулии сжало горло. Глаза наполнились слезами, они потоком хлынули по щекам.

— Мамочка, что с тобой? Почему ты плачешь?

— Но ты же еще совсем мальчик!

Роджер подошел к ней и, присев на край постели, крепко обнял.

— Ну что ты, мамочка! Ну, не плачь. Если бы я знал, что ты расстроишься, я бы не стал ничего тебе рассказывать. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться.

— Но так скоро… Так скоро! Я чувствую себя теперь совсем старухой.

— Ты — старуха?! Только не ты, мамочка. «Над ней не властны годы. Не прискучит ее разнообразие вовек»[120].

Джулия засмеялась сквозь слезы.

— Глупыш ты, Роджер. Думаешь, Клеопатре понравилось бы то, что сказал о ней этот старый осел? Ты бы мог еще немного подождать.

— И хорошо, что этого не сделал. Теперь я все знаю. По правде говоря, все это довольно противно.

Джулия глубоко вздохнула. Ее обрадовало, что он так нежно ее обнимает, но было ужасно жалко себя.

— Ты не сердишься на меня, дорогая? — спросил он.

— Сержусь? Нет. Но уж если это должно было случиться, я бы предпочла, чтобы не так прозаично. Ты говоришь об этом, точно о любопытном научном эксперименте, и только.

— Так оно и было, в своем роде.

Джулия слегка улыбнулась сыну:

— И ты на самом деле думаешь, что это и есть

---

[120] Примечания: 120
Шекспир, Вильям. «Цезарь и Клеопатра».

любовь?

— Ну, большинство так считает, разве нет?

— Нет, вовсе нет. Любовь — это боль и мука, стыд, восторг, рай и ад, чувство, что ты живешь в сто раз напряженней, чем обычно, и невыразимая тоска, свобода и рабство, умиротворение и тревога.

В неподвижности, с которой он ее слушал, было что-то, заставившее Джулию украдкой взглянуть на сына. В глазах Роджера было странное выражение. Она не могла его прочесть. Казалось, он прислушивается к звукам, долетающим до него издалека.

— Звучит не особенно весело, — пробормотал Роджер.

Джулия сжала его лицо, с такой нежной кожей, обеими ладонями и поцеловала в губы.

— Глупая я, да? Я все еще вижу в тебе того малыша, которого когда-то держала на руках.

В его глазах зажегся лукавый огонек.

— Чему ты смеешься, мартышка?

— Чертовски хорошая была фотография, да?

Джулия не могла удержаться от смеха.

— Поросенок. Грязный поросенок.

— Послушай, как насчет Джун? Есть для нее надежда получить роль дублерши?

— Скажи, пусть как-нибудь зайдет ко мне.

Но когда Роджер ушел, Джулия вздохнула. Она была подавлена. Она чувствовала себя очень одиноко. Жизнь ее всегда была так заполнена и так интересна, что у нее просто не хватало времени заниматься сыном. Она, конечно, страшно волновалась, когда он подхватывал коклюш или свинку, но вообще-то ребенок он был здоровый и обычно не особенно занимал ее мысли. Однако сын всегда был к ее услугам, если на нее находила охота с ним повозиться. Джулия часто думала, как будет приятно, когда он вырастет и сможет разделять ее интересы. Мысль о том, что она потеряла его, никогда по-настоящему не обладая им, была для Джулии ударом. Когда она подумала о девице, укравшей у нее сына, губы Джулии сжались.

«Дублерша! Подумать только! Ну и ну!»

Джулия так была поглощена своей болью, что почти не чувствовала горя из-за измены Тома. Джулия и раньше не сомневалась, что он ей неверен. В его возрасте, с его темпераментом, при том, что сама она была связана выступлениями и всевозможными встречами, к которым ее обязывало положение, он, несомненно, не упускал возможности удовлетворять свои жела-

ния. Джулия на все закрывала глаза. Она хотела немногого — оставаться в неведении. Сейчас впервые ей пришлось столкнуться лицом к лицу с реальным фактом. «Придется примириться с этим, — вздохнула она. В ее уме одна мысль обгоняла другую. — Все равно что лгать и не подозревать, что лжешь, вот что самое фатальное. Все же лучше знать, что ты дурак, чем быть дураком и не знать этого».

Глава двадцатая

На Рождество Том уехал к родителям в Истбурн. У Джулии было два выступления в «день подарков»[121], поэтому они остались в городе и пошли в «Савой» на грандиозную встречу Нового года, устроенную Долли де Фриз. Через несколько дней Роджер отправлялся в Вену. Пока он был в Лондоне, Джулия почти не видела Тома. Она не расспрашивала Роджера, что они делают, когда носятся вместе по городу, — не хотела знать; она старалась не думать и отвлекала свои мысли, отправляясь на одну вечеринку за другой. И с ней всегда была ее работа. Стоило Джулии войти в театр, как ее боль, ее унижение, ее ревность утихали. Словно на дне баночки с гримом она находила другое существо, которое не задевали никакие мирские тревоги. Это давало Джулии ощущение силы, чувство торжества. Имея под рукой такое прибежище, она может выдержать все, что угодно.

В день отъезда Роджера Том позвонил ей из

---

[121] Примечания: 121

Второй день Рождества, когда слуги, посыльные и т. п. получают подарки.

конторы.

— Ты что-нибудь делаешь сегодня вечером? Не пойти ли нам кутнуть?

— Не могу. Занята.

Это была неправда, но губы сами за нее ответили.

— Да? А как насчет завтра?

Если бы Том выразил разочарование, если бы попросил отменить встречу, на которую, она сказала, идет, у Джулии достало бы сил порвать с ним без лишних слов. Его безразличие сразило ее.

— Завтра? Хорошо.

— О'кей. Захвачу тебя из театра после спектакля. Пока.

Джулия была уже готова и ждала его, когда Том вошел к ней в уборную. Она была в страшной тревоге. Когда Том увидел ее, лицо его озарилось, и не успела Эви выйти из комнаты, как он привлек Джулию к себе и пылко поцеловал.

— Вот так-то лучше, — засмеялся он.

Глядя на него, такого юного, свежего, жизнерадостного, душа нараспашку, нельзя было поверить, что он причиняет ей жестокие муки. Нельзя было поверить, что он обманывает ее. Том даже не заметил, что они не виделись почти две недели. Это было совершенно ясно.

(«О Боже, если бы я могла послать его ко всем чертям!»)

Но Джулия взглянула на него с веселой улыбкой в своих прекрасных глазах.

— Куда мы идем?

— Я заказал столик у Квэга. У них в программе новый номер. Какой-то американский фокусник. Говорят — первый класс.

Весь ужин Джулия оживленно болтала. Рассказывала Тому о приемах, на которых она была, и о театральных вечеринках, на которые не могла не пойти. Создавалось впечатление, будто они не виделись так долго только потому, что она, Джулия, была занята. Ее обескураживало то, что он воспринимал это как должное. Том был рад ей, это не вызывало сомнений; он с интересом слушал ее рассказы о ее делах и людях, с которыми она встречалась, но не вызывало сомнения и то, что он нисколько по ней не скучал. Чтобы увидеть, как Том это примет, Джулия сказала ему, что получила приглашение поехать с их пьесой на гастроли в Нью-Йорк. Сообщила, какие ей предлагают условия.

— Но это же чудесно! — воскликнул Том, и глаза его заблестели. — Это же верняк. Ты ничего не теряешь и можешь заработать кучу денег.

— Да, все так, но мне не очень-то хочется покидать Лондон.

— Почему, ради всего святого? Да я бы на твоем месте ухватился за их предложение обеими руками. Пьеса уже давно не сходит со сцены, чего доброго, к Пасхе театр совсем перестанут посещать, и, если ты хочешь завоевать Америку, лучшего случая не найдешь.

— Не вижу, почему бы ей не идти все лето. К тому же я не люблю новых людей. Предпочитаю оставаться с друзьями.

— По-моему, это глупо. Твои друзья прекрасно без тебя проживут. И ты здорово проведешь время в Нью-Йорке.

Ее звонкий смех звучал вполне убедительно.

— Можно подумать, ты просто мечтаешь от меня избавиться.

— Конечно же, я буду чертовски по тебе скучать. Но ведь мы расстанемся всего на несколько месяцев. Если бы мне представилась такая возможность, уж я бы ее не упустил.

Когда они кончили ужинать и швейцар вызвал им такси, Том дал адрес своей квартиры, словно это разумелось само собой. В такси он обвил рукой ее талию и поцеловал, и позднее, когда она лежала в его объятиях на небольшой

односпальной кровати, Джулия почувствовала, что вся та боль, которая терзала ее последние две недели, — недорогая цена за счастливый покой, наполнивший теперь ее сердце.

Джулия продолжала ходить с Томом в модные рестораны и ночные кабаре. Если людям нравится думать, что Том ее любовник, пускай, ей это безразлично. Но все чаще, когда Джулии хотелось куда-нибудь с ним пойти, Том оказывался занят. Среди ее аристократических друзей распространился слух, что Том Феннел может дать толковый совет, как сократить подоходный налог. Денноранты пригласили его на уик-энд в свой загородный дом, и он встретил там кучу их приятелей, которые были рады воспользоваться его профессиональными познаниями. Том начал получать приглашения от неизвестных Джулии персон. Общие знакомые могли сказать ей:

— Вы ведь знаете Тома Феннела? Очень неглуп, правда? Я слышал, он помог Джиллианам сэкономить на подоходном налоге несколько сот фунтов.

Джулии все это сильно не нравилось. Раньше попасть к кому-нибудь в гости Том мог только через нее. Похоже, что теперь он вполне способен обойтись без ее помощи. Том был любезен и скро-

мен, очень хорошо одевался и всегда имел свежий и аккуратный вид, располагающий к нему людей; к тому же мог помочь им сберечь деньги. Джулия достаточно хорошо изучила тот мирок, куда он стремился проникнуть, и понимала, что он скоро создаст себе там прочное положение. Джулия была не очень высокого мнения о нравственности женщин, которых он там встретит, и могла назвать не одну титулованную особу, которая будет рада его подцепить. Единственное, что ее утешало: все они были скупы — снега зимой не выпросишь. Долли сказала, что он получает четыреста фунтов в год; на такие деньги в этих кругах не проживешь.

Джулия решительно отказалась от поездки в Америку еще до того, как говорила об этом с Томом; зрительный зал каждый день был переполнен. Но вот неожиданно во всех театрах Лондона начался необъяснимый застой — публика почти совсем перестала их посещать, что немедленно сказалось на сборах. Похоже, спектакль действительно не продержится дольше Пасхи. У них была в запасе новая пьеса, на которую они возлагали большие надежды. Называлась она «Нынешние времена», и они намеревались открыть ею осенний сезон. В ней была великолепная роль для

Джулии и то преимущество, что и Майклу тоже нашлась роль в его амплуа. Такие пьесы не выходят из репертуара по году. Майклу не очень-то улыбалась мысль ставить ее в мае, когда впереди лето, но иного выхода, видимо, не было, и он начал подбирать для нее актерский состав.

Как-то днем во время антракта Эви принесла Джулии записку. Она с удивлением узнала почерк Роджера.

> *Дорогая мама!*
>
> *Разреши представить тебе мисс Джун Денвер, о которой я тебе говорил. Ей страшно хочется попасть в «Сиддонс-театр», и она будет счастлива, если ты возьмешь ее в дублерши даже на самую маленькую роль.*

Джулия улыбнулась официальному тону записки; ее позабавило, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. И тут она вдруг вспомнила, кто такая эта Джун Денвер. Джун и Джил. Та самая девица, которая совратила бедного Роджера. Джулия нахмурилась. Любопытно все же взглянуть на нее.

— Джордж еще не ушел?

Джордж был их привратник. Эви кивнула и

открыла дверь.

— Джордж!

Он вошел.

— Та дама, что принесла письмо, сейчас здесь?

— Да, мисс.

— Скажите ей, что я приму ее после спектакля.

В последнем действии Джулия появлялась в вечернем платье с треном; платье было очень роскошное и выгодно подчеркивало ее прекрасную фигуру. В темных волосах сверкала бриллиантовая диадема, на руках — бриллиантовые браслеты. Как и требовалось по роли, поистине величественный вид. Джулия приняла Джун Денвер сразу же, как закончились вызовы. Она умела в мгновение ока переходить с подмостков в обычную жизнь, но сейчас без всякого усилия со своей стороны Джулия продолжала изображать надменную, холодную, величавую, хотя и учтивую героиню пьесы.

— Я и так заставила вас долго ждать и подумала, что не буду откладывать нашу встречу, потом переоденусь.

Карминные губы Джулии улыбались улыбкой королевы, ее снисходительный тон держал на почтительном расстоянии. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая

вошла в ее уборную. Молоденькая, с кукольным личиком и курносым носиком, сильно и не очень-то искусно накрашенная.

«Ноги слишком коротки, — подумала Джулия, — весьма заурядная девица».

На ней, видимо, было ее парадное платье, и тот же взгляд рассказал о нем Джулии все.

(«Шафтсбери-авеню. Распродажа по сниженным ценам».)

Бедняжка страшно нервничала. Джулия указала ей на стул и предложила сигарету.

— Спички рядом с вами.

Когда девушка попыталась зажечь спичку, Джулия увидела, что руки у нее дрожат. Первая сломалась, второй пришлось три раза чиркнуть по коробку, прежде чем она вспыхнула.

(«Если бы Роджер видел ее сейчас! Дешевые румяна, дешевая помада, и до смерти напугана. Веселая девчушка, так он о ней думал».)

— Вы давно на сцене, мисс… Простите, я забыла ваше имя.

— Джун Денвер. — В горле девушки пересохло, она с трудом могла говорить. Сигарета ее погасла, и она беспомощно держала ее в руке. — Два года, — ответила она на вопрос Джулии.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать.

(«Врешь. Добрых двадцать два».)

— Вы знакомы с моим сыном?

— Да.

— Он только что окончил Итон. Уехал в Вену изучать немецкий язык. Конечно, он еще очень молод, но мы с его отцом решили, что ему будет полезно провести несколько месяцев за границей, прежде чем поступать в Кембридж. А в каких амплуа вы выступали? Ваша сигарета погасла. Возьмите другую.

— О, не важно, спасибо. Я играла в провинции. Но мне страшно хочется играть в Лондоне.

Отчаяние придало ей храбрости, и она произнесла небольшую речь, явно заготовленную заранее:

— Я невероятно восхищаюсь вами, мисс Лэмберт. Я всегда говорила, что вы — величайшая актриса английской сцены. Я научилась у вас больше, чем за все годы, что провела в Королевской академии драматического искусства. Мечта моей жизни — играть в вашем театре, мисс Лэмберт. Если бы вы смогли дать мне хоть самую маленькую роль! Это величайший шанс, о котором только можно мечтать.

— Снимите, пожалуйста, шляпу.

Джун Денвер сняла дешевенькую шляпку и быстрым движением тряхнула своими коротко стриженными кудряшками.

— Красивые волосы, — сказала Джулия.

Все с той же чуть надменной, но беспредельно приветливой улыбкой, улыбкой королевы, которую та дарует подданным во время торжественных процессий, Джулия пристально глядела на Джун. Она ничего не говорила. Она помнила афоризм Жанны Тэбу: «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, но уж если сделала, тяни ее сколько сможешь». Джулия, казалось, слышала, как громко бьется сердце девушки, видела, как та съеживается в своей купленной на распродаже одежде, съеживается в собственной коже.

— Что навело вас на мысль попросить у моего сына рекомендательное письмо?

Джун так покраснела, что это было видно даже под румянами, и, прежде чем ответить, проглотила комок в горле.

— Я встретила его у одного своего приятеля и сказала ему, как я вами восхищаюсь, а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе.

— Я сейчас перебираю в уме все роли.

— Я и не мечтаю о роли. Если бы я могла быть дублершей… Я хочу сказать, это дало бы мне возможность посещать репетиции и изучить вашу технику. Это уже само по себе школа. Все так говорят.

(«Дурочка, пытается мне польстить. Словно я сама этого не знаю. А какого черта я буду ее учить?»)

— Очень мило с вашей стороны так на это смотреть. Я самая обыкновенная женщина, поверьте. Публика так ко мне добра, так добра… Вы — хорошенькая девушка. И молоденькая. Юность прекрасна. Мы всегда старались предоставить молодежи возможность себя показать. В конце концов, мы не вечны, и мы считаем своим долгом перед публикой готовить смену, которая займет наше место, когда придет срок.

Джулия произнесла эти слова своим прекрасно поставленным голосом так просто, что Джун Денвер воспрянула духом. Ей удалось обвести старуху, место дублерши у нее в кармане! Том Феннел сказал: если она не будет дурой, то знакомство с Роджером вполне может к чему-нибудь привести.

— Ну, это случится еще не скоро, мисс Лэмберт, — сказала она, и ее глазки, хорошенькие

темные глазки, засверкали.

(«Тут ты права, голубушка, еще как права. Поспорю, сыграю лучше тебя даже в семьдесят».)

— Я должна подумать. Я еще не знаю, какие дублеры понадобятся нам для следующей пьесы.

— Поговаривают, что Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее.

Эвис Крайтон. На лице Джулии не дрогнул ни один мускул; никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит.

— Мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено. Я ее совсем не знаю. Она талантлива?

— Думаю, что да. Я была вместе с ней в театральной школе.

— И говорят, хорошенькая, как картинка. — Поднявшись, чтобы показать, что аудиенция окончена, Джулия сбросила с себя королевский вид. Она изменила тон и в одну секунду стала славной, добродушной актрисой, которая с радостью окажет дружескую услугу, если это в ее силах. — Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес, и если что-нибудь появится, я вам сообщу.

— Вы не забудете про меня, мисс Лэмберт?

— Нет, милочка, обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться. Вы славная девочка. Найдете сами выход? До свиданья.

«Черта лысого она получит что-нибудь в моем театре, — подумала Джулия, когда та ушла. — Грязная шлюха, совратить моего сыночка! Бедный ягненочек. Стыд и срам, да и только; таких надо карать по всей строгости закона».

Снимая свое великолепное платье, Джулия посмотрела в зеркало. Взгляд у нее был жесткий, губы кривила ироническая усмешка. Она обратилась к своему отражению:

— И могу сказать тебе, подруга, есть еще один человек, который не будет у нас играть ни в «Нынешних временах», ни вообще. Это Эвис Крайтон.

Глава двадцать первая

Но неделю спустя Майкл упомянул ее имя.

— Послушай, ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон?

— Никогда.

— Говорят, она очень неплоха. Леди и все такое прочее. Ее отец из военных. Я подумал, не подойдет ли она на роль Онор.

— Как ты о ней узнал?

— От Тома. Он знаком с ней. Говорит, у нее есть талант. Через неделю будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть.

— Что ж, пойди и посмотри.

— Я собирался поехать на уик-энд в Сэндуич поиграть в гольф. Тебе очень не хочется идти? Пьеса наверняка дрянь, но ты сможешь сказать, стоит ли давать ей читать роль. Том составит тебе компанию.

Сердце Джулии неистово билось.

— Разумеется, я пойду.

В воскресенье она позвонила Тому и пригласила его зайти к ним перекусить перед театром. Том появился раньше, чем Джулия была готова.

— Я задержалась или ты поспешил? — спросила она, входя в гостиную.

Джулия увидела, что Том с трудом сдерживает нетерпение. Он нервничал и сидел как на иголках.

— Третий звонок ровно в восемь, — ответил он. — Терпеть не могу приходить в театр после начала спектакля.

Его возбуждение сказало Джулии все, что она хотела знать. Она не стала торопиться, когда пила свой коктейль.

— Как зовут актрису, которую мы идем смотреть? — спросила она.

— Эвис Крайтон. Мне страшно хочется услышать о ней твое мнение. Я думаю, что она — находка. Она знает, что ты сегодня придешь, и страшно волнуется, но я сказал ей, что для этого нет оснований. Ты сама знаешь, что такое воскресные спектакли: репетиции наспех и все такое; я сказал ей, что ты это понимаешь и примешь все в расчет.

В течение обеда Том беспрестанно посматривал на часы. Джулия занимала его великосветской беседой. Она говорила то на одну тему, то на другую, хотя Том еле слушал. Как только ему удалось, он опять перевел разговор на Эвис Крайтон.

— Конечно, я ей об этом и не заикнулся, но, по-моему, она подойдет для Онор. — Он уже прочел «Нынешние времена», как читал все пьесы, которые ставились у них в театре, еще до постановки. — Она просто создана для этой роли. Ей пришлось побороться, чтобы встать на ноги, и, конечно, это для нее замечательный шанс. Она невероятно тобой восхищается и страшно хочет сыграть вместе с тобой.

— Ничего удивительного. Это значит — пробыть на сцене не меньше года и показаться куче антрепренеров.

— Она — очень светлая блондинка; как раз то, что нужно: будет хорошо оттенять тебя.

— Ну, при помощи перекиси водорода блондинок на сцене хоть пруд пруди.

— Но она — натуральная блондинка.

— Да? Я сегодня получила от Роджера большое письмо. Похоже, он прекрасно проводит время.

Том сразу потерял интерес к разговору. Поглядел на часы. Когда подали кофе, Джулия сказала, что его нельзя пить. Она велела сварить другой, свежий.

— О, Джулия, право, не стоит. Мы опоздаем.

— Какое это имеет значение, даже если мы пропустим несколько минут?

В голосе Тома зазвучало страдание.

— Я обещал, что мы придем вовремя. У нее очень хорошая сцена почти в самом начале.

— Мне очень жаль, но, не выпив кофе, я идти не могу.

Пока они его ждали, Джулия поддерживала оживленный разговор. Том едва отвечал и нетерпеливо посматривал на дверь. Когда наконец принесли кофе, Джулия пила его со сводящей с ума медлительностью. К тому времени как они сели в машину, Том был в состоянии холодного бешенства и просидел всю дорогу с надутой физиономией, не глядя на нее. Джулия была вполне довольна собой. Они подъехали к театру за две минуты до поднятия занавеса, и когда Джулия появилась в зале, раздались аплодисменты. Прося извинить ее за беспокойство, Джулия пробралась на свое место в середине партера. Слабая улыбка выражала признательность за аплодисменты, которыми публика приветствовала ее на редкость своевременное появление, а опущенные глаза скромно отрицали, что они имеют к ней хоть какое-то отношение.

Поднялся занавес, и после короткой вступительной сценки появились две девушки, одна — очень хорошенькая и молоденькая; другая

— не такая молоденькая и некрасивая. Через минуту Джулия повернулась к Тому.

— Которая из них Эвис Крайтон — молодая или та, что постарше?

— Молодая.

— Да, конечно же, ты ведь говорил, что она блондинка.

Джулия взглянула на него. Лицо Тома больше не хмурилось, на губах играла счастливая улыбка. Джулия обратила все внимание на сцену. Эвис Крайтон была очень хороша собой, с этим не приходилось спорить, с прелестными золотистыми волосами, выразительными голубыми глазами и маленьким прямым носиком, но Джулии не нравился такой тип женщин.

«Преснятина, — сказала она себе. — Так, хористочка».

Несколько минут она очень внимательно следила за ее игрой, затем с легким вздохом откинулась в кресле.

«Абсолютно не умеет играть» — таков был ее приговор.

Когда опустился занавес, Том с жадным интересом повернулся к ней. Плохого настроения как не бывало.

— Что ты о ней думаешь?

— Хорошенькая, как картинка.

— Это я и сам знаю. Я спрашиваю о ее игре. Ты согласна со мной — она талантлива?

— Да, у нее есть способности.

— Ты не можешь пойти за кулисы и сказать ей это? Это очень ее подбодрит.

— Я?

Он просто не понимает, о чем просит. Неслыханно! Она, Джулия Лэмберт, пойдет за кулисы поздравлять какую-то третьеразрядную актрисочку!

— Я обещал, что приведу тебя после второго акта. Ну же, Джулия, будь человеком! Это доставит ей такую радость.

(«Дурак! Чертов дурак! Хорошо, я и через это пройду».)

— Конечно, если ты думаешь, что это что-нибудь для нее значит, я — с удовольствием.

После второго акта они прошли через сцену за кулисы, и Том провел Джулию в уборную Эвис Крайтон. Она делила ее с той некрасивой девушкой, с которой появилась в первом акте. Том представил их друг другу. Эвис несколько аффектированно протянула Джулии вялую руку.

— Я так рада познакомиться с вами, мисс Лэмберт. Простите за беспорядок. Что толку было

убирать здесь на какой-то один вечер.

Она отнюдь не нервничала. Напротив, казалась достаточно уверенной в себе.

(«Прошла огонь и воду. Корыстная. Изображает передо мной полковничью дочь».)

— Так любезно с вашей стороны было зайти ко мне. Боюсь, пьеса не очень интересная, но, когда начинаешь, приходится брать, что дают. Я долго колебалась, когда мне прислали ее почитать, но мне понравилась роль.

— Ваше исполнение прелестно, — сказала Джулия.

— Вы очень добры! Конечно, если бы было больше репетиций… Вам мне особенно хотелось показать, что я могу.

— Ну, знаете, я уже не первый год на сцене. Я всегда считала: если у человека есть талант, он проявит его в любых условиях. Вам не кажется?

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, мне не хватает опыта, я не отрицаю, но главное — удачный случай. Я чувствую, что могу играть. Только бы получить роль, которая мне по зубам.

Эвис замолчала, предоставляя Джулии возможность сказать, что в их новой пьесе есть как раз такая роль, но Джулия продолжала с улыбкой молча глядеть на нее. Джулию забавляло, что та

обращается с ней как жена сквайра, желающая быть любезной с женой викария.

— Вы давно в театре? — спросила она наконец. — Странно, что я никогда о вас не слышала.

— Ну, какое-то время я выступала в ревю, но почувствовала, что впустую трачу время. Весь прошлый сезон я была в турне. Мне бы не хотелось снова уезжать из Лондона.

— В Лондоне актеров больше, чем ролей, — сказала Джулия.

— О, без сомнения. Попасть на сцену почти безнадежно, если не имеешь поддержки. Я слышала, вы скоро ставите новую пьесу.

— Да.

Джулия продолжала улыбаться: мало сказать сладко — прямо приторно.

— Если бы для меня нашлась там роль, я была бы счастлива сыграть с вами. Мне очень жаль, что мистер Госселин не смог сегодня прийти.

— Я расскажу ему о вас.

— Вы правда думаете, что у меня есть шансы? — Сквозь всю ее самоуверенность, сквозь манеры хозяйки загородного поместья, которую она решила разыграть, чтобы произвести впечатление на Джулию, проглянула жгучая тревога. — Ах, если бы вы замолвили за меня словечко!

Джулия кинула на нее задумчивый взгляд.

— Я следую советам мужа чаще, чем он моим, — улыбнулась она.

Когда она выходила из уборной Эвис Крайтон — той пора уже было переодеваться к третьему акту, — Джулия поймала вопросительный взгляд, брошенный на Тома, в то время как она прощалась. Джулия была уверена, хотя не заметила никакого движения, что он чуть качнул головой. Все чувства ее в тот момент были обострены, и она перевела немой диалог в слова:

«Пойдешь ужинать со мной после спектакля?»

«Нет, будь оно все проклято, не могу. Надо проводить ее домой».

Третий акт Джулия слушала с суровым видом. И вполне естественно — пьеса была серьезная. Когда спектакль окончился и бледный взволнованный автор произнес с бесконечными паузами и запинками несколько положенных слов, Том спросил, где бы ей хотелось поужинать.

— Поедем домой и поговорим, — сказала Джулия. — Если ты голоден, на кухне наверняка что-нибудь найдется поесть.

— Ты имеешь в виду Стэнхоуп-плейс?

— Да.

— Хорошо.

Джулия почувствовала, что у него отлегло от сердца: он боялся, как бы она не поехала к нему. В машине Том молчал, и Джулия знала почему. Она догадалась, что где-то устраивается вечеринка, на которую идет Эвис Крайтон, и Тому хочется быть там. Когда они подъехали к дому, там было темно и тихо. Слуги уже спали. Джулия предложила, чтобы они спустились вниз, в кухню, и раздобыли себе какой-нибудь еды.

— Я не голоден, но, может быть, ты хочешь есть, — сказал Том. — Выпью виски с содовой и лягу спать. У меня завтра трудный день в конторе.

— Хорошо, принеси мне тоже в гостиную. Я зажгу свет.

Когда Том вошел, Джулия пудрилась и красила губы перед зеркалом и перестала, только когда он налил виски и сел. Тогда она обернулась. Том выглядел таким молодым, таким неправдоподобно прелестным в своем великолепно сшитом костюме, когда сидел вот так, утонув в большом кресле, что вся горечь этого вечера, вся жгучая ревность, снедавшая ее последние дни, внезапно исчезли, растворились в ее страстной любви к нему. Джулия села на ручку кресла и нежно провела рукой по его волосам. Он отпрянул с сердитым жестом.

— Не делай этого, — сказал он. — Терпеть не

могу, когда мне треплют волосы.

Словно острый нож вонзился Джулии в сердце. Том еще никогда не говорил с ней таким тоном. Но она беспечно рассмеялась и, взяв со столика бокал с виски, которое он ей налил, села в кресло напротив. Его слова и жест были непроизвольны, Том даже сам слегка смутился. Он не глядел ей в глаза, лицо снова стало хмурым. Это был решающий момент. Несколько минут они молчали. Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Наконец она заставила себя заговорить.

— Скажи мне, — сказала улыбаясь, — ты спал с Эвис Крайтон?

— Конечно, нет! — вскричал он.

— Почему же? Она хорошенькая.

— Она не из таких. Я ее уважаю.

Лицо Джулии не выдало ни одного из охвативших ее чувств. Никто бы не догадался по ее тону, что речь идет о самом главном для нее — так она могла бы говорить о падении империй и смерти королей.

— Ты знаешь, что бы я сказала? Я бы сказала, что ты в нее безумно влюблен.

Том все еще избегал ее взгляда.

— Ты с ней случайно не помолвлен?

— Нет.

Теперь он глядел на нее, но взгляд его был враждебным.

— Ты просил ее выйти за тебя замуж?

— Как я могу?! Я, последняя дрянь!..

Он говорил с таким пылом, что Джулия даже удивилась.

— О чем, ради всего святого, ты болтаешь?

— Зачем играть в прятки? Как я могу предложить руку приличной девушке? Кто я? Мужчина, живущий на содержании, и — видит Бог! — тебе это известно лучше, чем кому-нибудь другому.

— Не болтай глупостей. Столько шума из-за несчастных нескольких подарков.

— Мне не следовало их брать. Я с самого начала знал, что это дурно. Все делалось так постепенно, я и сам не понимал, что происходит, пока не увяз по самую шею. Мне не по карману жизнь, в которую ты меня втравила. Я не знал, как выйти из положения. Пришлось взять деньги у тебя.

— Почему бы и нет? В конце концов я очень богата.

— Будь проклято твое богатство!

Том держал в руке бокал с виски и, поддавшись внезапному порыву, швырнул его в камин. Бокал разбился на мелкие осколки.

— Ну, разбивать счастливый семейный очаг

все же не стоит, — улыбнулась Джулия.

— Прости. Я не хотел. — Том снова кинулся в кресло и отвернулся от нее. — Я стыжусь самого себя! Потерял к себе всякое уважение. Думаешь, это приятно?

Джулия промолчала. Она не нашлась, что сказать.

— Казалось вполне естественным помочь тебе, когда ты попал в беду. Для меня это было удовольствие.

— О, ты поступала всегда с таким тактом! Ты уверила меня, что я чуть ли не оказываю тебе услугу, когда разрешаю платить мои долги. Ты облегчила мне возможность стать подлецом.

— Мне очень жаль, если ты так думаешь.

Голос ее зазвучал колко. Джулия начала сердиться.

— Тебе не о чем жалеть. Ты хотела меня, и ты меня купила. Если я оказался настолько низок, что позволил себя купить, тем хуже для меня.

— И давно ты так чувствуешь?

— С самого начала.

— Это неправда.

Джулия знала, что пробудило в нем угрызения совести — любовь к чистой, как он полагал, девушке. Бедный дурачок! Неужели он не пони-

мает, что Эвис Крайтон ляжет в постель хоть со вторым помощником режиссера, если решит, что тот даст ей роль.

— Если ты влюбился в Эвис Крайтон, почему не сказал мне об этом?

Том поглядел на нее жалкими глазами и ничего не ответил.

— Неужели ты боялся, что я помешаю ей принять участие в нашей новой пьесе? Ты бы мог уже достаточно хорошо меня знать и понимать, что я не позволю чувствам мешать делу.

Том не верил своим ушам.

— Что ты имеешь в виду?

— Я думаю, что Эвис — находка. Я собираюсь сказать Майклу, что она нам вполне подойдет.

— О, Джулия, ты — молодчина! Я и не представлял, что ты такая замечательная женщина!

— Спросил бы меня, я бы тебе сказала.

Том облегченно вздохнул.

— Моя дорогая! Я так к тебе привязан.

— Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одет со вкусом, любая женщина может тобой гордиться. Мне нравилось с тобой спать, и мне казалось, что тебе тоже нравится со мной спать, но надо смотреть фактам в лицо: я никогда не была в

тебя влюблена, как и ты — в меня. Я знала, что рано или поздно наша связь должна кончиться. Ты должен был когда-нибудь влюбиться, и это, естественно, положило бы всему конец. И теперь это произошло, да?

— Да.

Джулия сама хотела это услышать от него, но боль, которую причинило ей это короткое слово, была ужасна. Однако она дружелюбно улыбнулась.

— Мы с тобой очень неплохо проводили время, но тебе не кажется, что пора прикрыть лавочку?

Джулия говорила таким естественным, даже шутливым тоном, что никто не заподозрил бы, какая невыносимая мука разрывает ей сердце. Она ждала ответа со страхом, вызывающим дурноту.

— Мне ужасно жаль, Джулия, но я должен вернуть себе чувство самоуважения. — Том взглянул на нее встревоженными глазами. — Ты не сердишься на меня?

— За что? За то, что ты перенес свои ветреные чувства с меня на Эвис Крайтон? — Ее глаза заискрились лукавым смехом. — Конечно, нет, милый. В конце концов актерской братии ты не изменил.

— Я так благодарен тебе за все, что ты для меня

сделала. Не думай, что нет.

— Полно, малыш, не болтай чепухи. Ничего я не сделала для тебя. — Джулия поднялась. — Ну, теперь тебе и правда пора ложиться. У тебя завтра тяжелый день в конторе, а я устала как собака.

У Тома гора с плеч свалилась. И все же что-то скребло у него на сердце, его озадачивал тон Джулии, такой благожелательный и вместе с тем чуть-чуть иронический; у него было смутное чувство, будто его оставили в дураках. Он подошел к Джулии, чтобы поцеловать ее на ночь. Какую-то долю секунды она колебалась, затем с дружеской улыбкой подставила по очереди обе щеки.

— Ты ведь знаешь дорогу к себе в комнату? — Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть тщательно продуманный зевок. — Ах, я так хочу спать!

Когда Том вышел, Джулия погасила свет и подошла к окну. Осторожно посмотрела наружу через занавески. Хлопнула входная дверь, и на улице появился Том. Оглянулся по сторонам. Джулия догадалась, что он ищет такси. Видимо, его не было, и Том зашагал пешком по направлению к парку. Она знала, что он торопится на вечеринку, где была Эвис Крайтон, чтобы сообщить ей радостные новости. Джулия упала в кресло. Она играла весь вечер, играла как никогда, и

сейчас чувствовала себя совершенно измученной. Слезы — слезы, которых на этот раз никто не видел, — покатились у нее по щекам. Ах, она так несчастна! Лишь одно помогало ей вынести горе — жгучее презрение, которое она не могла не испытывать к глупому мальчишке: предпочел ей третьеразрядную актрисочку, которая даже не представляет, что такое настоящая игра! Это было нелепо. Эвис Крайтон не знает, куда ей девать руки; да что там, она даже ходить по сцене еще не умеет.

«Если бы у меня осталось чувство юмора, я бы смеялась до упаду, — всхлипнула Джулия. — Ничего смешнее я не видела».

Интересно, как поведет себя Том? В конце квартала надо платить за квартиру. Почти вся мебель принадлежит ей. Вряд ли ему захочется возвращаться в свою жалкую комнату на Тэвисток-сквер. Джулия подумала, что при ее помощи Том завел много новых друзей. Он держался с ними умно, старался быть им полезным; они его не оставят. Но водить Эвис всюду, куда ей захочется, ему будет не так-то легко. Милая крошка весьма меркантильна, Джулия не сомневалась, что она и думать о нем забудет, как только его деньги иссякнут. Надо быть дураком, чтобы попасться

на ее удочку. Тоже мне праведница! Любому ясно, что она использовала его, чтобы получить роль в «Сиддонс-театре», и, как только добьется своего, выставит его за дверь. При этой мысли Джулия вздрогнула. Она обещала Тому взять Эвис Крайтон в «Нынешние времена» потому, что это хорошо вписывалось в мизансцену, которую она разыгрывала, но она не придала никакого значения своему обещанию. У нее всегда был в запасе Майкл, чтобы воспротивиться этому.

— Черт подери, она получит эту роль, — громко произнесла Джулия. Она мстительно засмеялась. — Видит Бог, я женщина незлобивая, но всему есть предел.

Будет так приятно отплатить Тому и Эвис Крайтон той же монетой. Джулия продолжала сидеть, не зажигая света; она обдумывала, как это лучше сделать. Однако время от времени она вновь принималась плакать, так как из глубины подсознания всплывали картины, которые были для нее пыткой. Она вспоминала стройное юное тело Тома, прижавшееся к ней, его жаркую наготу, неповторимый вкус его губ, застенчивую и вместе с тем лукавую улыбку, запах его кудрявых волос.

«Дура, дура, зачем я не промолчала! Пора мне уже его знать. Это — очередное увлечение. Оно

бы прошло, и он снова вернулся бы ко мне».

Джулия была полумертвой от усталости. Она поднялась к себе в спальню. Проглотила снотворное. Легла в постель.

Глава двадцать вторая

Но проснулась она рано, в шесть утра, и принялась думать о Томе. Повторила про себя все, что она сказала ему, и все, что он сказал ей. Она была измучена и несчастна. Утешало ее лишь сознание, что она провела всю сцену их разрыва с беззаботной веселостью и Том вряд ли мог догадаться, какую он нанес ей рану.

Весь день Джулия была не в состоянии думать ни о чем другом и сердилась на себя за то, что она не в силах выкинуть Тома из головы. Ей было бы легче, если бы она могла поделиться своим горем с другом. Ах, если бы кто-нибудь ее утешил, сказал, что Том не стоит ее волнений, заверил, что он безобразно с ней поступил. Как правило, Джулия рассказывала о своих неприятностях Чарлзу или Долли. Конечно, Чарлз посочувствует ей от всего сердца, но это будет для него страшным ударом, в конце концов он безумно любит ее вот уже двадцать лет, и просто жестоко говорить ему, что она отдала самому заурядному мальчишке сокровище, за которое он, Чарлз, пожертвовал бы десятью годами жизни. Она была для Чарлза кумиром, бессердечно с ее стороны свергать

этот кумир с пьедестала. Мысль о том, что Чарлз Тэмерли, такой аристократичный, такой образованный, такой элегантный, любит ее все с той же преданностью, несомненно, пошла Джулии на пользу. Долли, конечно, была бы в восторге, если бы Джулия доверилась ей. Они редко виделись последнее время, но Джулия знала, что стоит ей позвонить — и Долли мигом прибежит. Долли страшно возмутится и сойдет с ума от ревности, когда Джулия сама чистосердечно ей во всем признается; хотя Долли и так подозревает правду. Но она так обрадуется, что все кончено, она простит. С каким удовольствием они станут костить Тома! Разумеется, признаваться, что Том дал ей отставку, удовольствие маленькое, а Долли не проведешь, она и не подумает поверить, если наврать ей, будто Джулия сама бросила его. Джулии хотелось хорошенько выплакаться, а с какой стати плакать, если ты своими руками разорвала связь. Для Долли это очко в ее пользу, при всем ее сочувствии она всего-навсего человек — вполне естественно, если она порадуется в глубине души, что с Джулии немного сбили спесь. Долли всегда боготворила ее. Джулия не была намерена обнаруживать перед ней свое слабое место.

«Похоже, что единственный, к кому я могу

сейчас пойти, — Майкл, — усмехнулась Джулия. — Но пожалуй, все же не стоит».

Она в точности представила себе, что он скажет:

«Дорогая, право же, это не очень удобно — рассказывать мне такие истории. Черт подери, ты ставишь меня в крайне неловкое положение. Я льщу себя мыслью, что достаточно широко смотрю на вещи. Пусть я актер, но в конечном счете я джентльмен, и... ну... ну, я хочу сказать... я хочу сказать, это такой дурной тон».

Майкл вернулся домой только днем, и когда он зашел в комнату Джулии, она отдыхала. Он рассказал, как провел уик-энд и с каким результатом сыграл в гольф. Играл он очень хорошо, некоторые из его ударов были просто великолепны, и он описал их во всех подробностях.

— Между прочим, как эта девушка, которую ты ходила смотреть вчера вечером, ничего? Будет из нее толк?

— Ты знаешь, да. Очень хорошенькая. Ты сразу влюбишься.

— Дорогая, в моем возрасте! А играть она может?

— Она, конечно, неопытна. Но мне кажется, в ней что-то есть.

— Что ж, надо ее вызвать и внимательно к ней присмотреться. Как с ней связаться?

— У Тома есть ее адрес.

— Пойду ему позвоню.

Майкл снял трубку и набрал номер Тома. Том был дома, и Майкл записал адрес в блокнот.

Пауза — Том что-то ему говорил.

— Вот оно что, старина… Мне очень жаль это слышать. Да, не повезло.

— В чем дело? — спросила Джулия.

Майкл сделал ей знак молчать.

— Ну, я на тебя нажимать не буду. Не беспокойся. Я уверен, мы сможем прийти к какому-нибудь соглашению, которое тебя устроит. — Майкл прикрыл рукой трубку и обернулся к Джулии. — Звать его к обеду?

— Как хочешь.

— Джулия спрашивает, не придешь ли ты к нам пообедать в воскресенье. Да? Очень жаль. Ну, пока, старина.

Майкл положил трубку.

— У него свидание. Что, молодой негодяй закрутил романчик с этой девицей?

— Уверяет, что нет. Говорит, что уважает ее. У нее отец полковник.

— О, так она леди?

— Одно не обязательно вытекает из другого, — отозвалась Джулия ледяным тоном. — О чем вы с ним толковали?

— Том сказал, что ему снизили жалованье. Тяжелые времена. Хочет отказаться от квартиры. — У Джулии вдруг кольнуло в сердце. — Я сказал ему, пусть не тревожится. Пусть живет бесплатно до лучших времен.

— Не понимаю этого твоего бескорыстия. В конце концов, у вас чисто деловое соглашение.

— Ну, ему и без того не повезло, а он еще так молод. И знаешь, он нам полезен: когда не хватает кавалера к обеду, стоит его позвать, и он тут как тут, и так удобно иметь кого-нибудь под рукой, когда хочется поиграть в гольф. Каких-то двадцать пять фунтов в квартал.

— Ты — последний человек на свете, от которого я ждала бы, что он станет раздавать свои деньги направо и налево.

— О, не волнуйся. Что потеряю на одном, выиграю на другом, у разбитого корыта сидеть не буду.

Пришла массажистка и положила конец разговору. Джулия была рада, что приближается время идти в театр, — скорее пройдет этот злосчастный день. Когда она вернется, опять примет

снотворное и получит несколько часов забвения. Ей казалось, что через несколько дней худшее останется позади, боль притупится; сейчас самое главное — как-то пережить эти дни. Нужно чем-то отвлечь себя. Вечером она велела дворецкому позвонить Чарлзу Тэмерли, узнать, не пойдет ли он с ней завтра на ленч к Ритцу.

Во время ленча Чарлз был на редкость мил. По его облику, его манерам было видно, что он принадлежит совсем к другому миру, и Джулии вдруг стал омерзителен тот круг, в котором она вращалась из-за Тома весь последний год. Чарлз говорил о политике, об искусстве, о книгах, и на душу Джулии снизошел покой. Том был наваждением, пагубным, как оказалось, но она избавится от него. Ее настроение поднялось. Джулии не хотелось оставаться одной, она знала, что, если пойдет после ленча домой, все равно не уснет, поэтому спросила Чарлза, не сведет ли он ее в Национальную галерею. Она не могла доставить ему большего удовольствия: он любил говорить о картинах и говорил о них хорошо. Это вернуло их к старым временам, когда Джулия добилась своего первого успеха в Лондоне и они гуляли вместе в парке или бродили по музеям. На следующий день у Джулии был дневной спектакль, назавтра

после этого она была куда-то приглашена, но, расставаясь, они с Чарлзом договорились опять встретиться в пятницу и после ленча пойти в галерею Тейта.

Несколько дней спустя Майкл сообщил Джулии, что пригласил для участия в новой пьесе Эвис Крайтон.

— По внешности она прекрасно подходит к роли, в этом нет никаких сомнений, она будет хорошо оттенять тебя. Беру ее на основании твоих слов.

На следующее утро ей позвонили из цокольного этажа и сказали, что на проводе мистер Феннел. Джулии показалось, что у нее остановилось сердце.

— Соедините меня с ним.

— Джулия, я хотел тебе сказать: Майкл пригласил Эвис.

— Да, я знаю.

— Он сказал, что берет ее по твоей рекомендации. Ты молодец!

Джулия — сердце ее теперь билось с частотой ста ударов в минуту — постаралась овладеть своим голосом.

— Ах, не болтай чепухи, — весело засмеялась она. — Я же тебе говорила, что все будет в по-

рядке.

— Я страшно рад, что все уладилось. Она взяла роль, судя о ней только по тому, что я ей рассказывал. Обычно она не соглашается, пока не прочитает всю пьесу.

Хорошо, что он не видел в ту минуту лица Джулии. Ей бы хотелось едко ответить ему, что, когда они приглашают третьеразрядную актрису, они не имеют обыкновения давать ей для ознакомления всю пьесу, но вместо этого она произнесла чуть ли не извиняющимся тоном:

— Ну, я думаю, роль ей понравится. Как по-твоему? Это очень хорошая роль.

— И знаешь, уж Эвис выжмет из нее все что можно. Я уверен, о ней заговорят.

Джулия еле дух перевела.

— Это будет чудесно. Я имею в виду, это поможет ей выплыть на поверхность.

— Да, я тоже ей говорил. Послушай, когда мы встретимся?

— Я тебе позвоню, ладно? Такая досада, у меня куча приглашений на все эти дни…

— Ты ведь не собираешься бросить меня только потому…

Джулия засмеялась низким, хрипловатым смехом, тем самым смехом, который так восхищал

зрителей.

— Ну, не будь дурачком. О Боже, у меня переливается ванна. До свидания, милый.

Джулия положила трубку. Звук его голоса! Боль в сердце была невыносимой. Сидя на постели, Джулия качалась от муки взад-вперед.

«Что мне делать? Что мне делать?»

Она надеялась, что сумеет справиться с собой, и вот этот короткий дурацкий разговор показал, как она ошибалась — она по-прежнему его любит. Она хочет его. Она тоскует по нему. Она не может без него жить.

«Я никогда себя не переборю», — простонала Джулия.

И снова единственным прибежищем для нее был театр. По иронии судьбы главная сцена пьесы, в которой она тогда играла, сцена, которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. Спору нет, расставались они из чувства долга, и в пьесе Джулия приносила свою любовь, свои мечты о счастье и все, что было ей дорого, на алтарь чести. Эта сцена сразу привлекла Джулию. Она всегда была в ней очень трогательна. А сейчас Джулия вложила в нее всю муку души; не у героини ее разбивалось сердце, оно разбивалось на глазах у зрителей у

самой Джулии. В жизни она пыталась подавить страсть, которая — она сама это знала — была смешна и недостойна ее, она ожесточала себя, чтобы как можно меньше думать о злосчастном юноше, который вызвал в ней такую бурю; но когда она играла эту сцену, Джулия отпускала вожжи и давала себе волю. Она была в отчаянии от своей потери, и та любовь, которую она изливала на партнера, была страстная, всепоглощающая любовь, которую она по-прежнему испытывала к Тому. Перспектива пустой жизни, перед которой стояла героиня пьесы, это перспектива ее собственной жизни. Джулии казалось, что никогда еще она не играла так великолепно. Хоть это ее утешало.

«Господи, ради того, чтобы так играть, стоит и помучиться».

Никогда еще она до такой степени не вкладывала в роль самое себя.

Однажды вечером, неделю или две спустя, когда Джулия вернулась после конца спектакля в уборную, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, так как вызывали ее без конца, она неожиданно обнаружила у себя Майкла.

— Привет. Ты был в зале?

— Да.

— Но ты же был в театре несколько дней назад.

— Да, я смотрю спектакль с начала до конца вот уже четвертый вечер подряд.

Джулия принялась раздеваться. Майкл поднялся с кресла и стал шагать взад-вперед по комнате. Джулия взглянула на него: он хмурился.

— В чем дело?

— Это я и хотел бы узнать.

Джулия вздрогнула. У нее пронеслась мысль, что он опять услышал какие-нибудь разговоры о Томе.

— Куда запропастилась Эви, черт ее подери? — спросила она.

— Я попросил ее выйти. Я хочу тебе кое-что сказать, Джулия. И не устраивай мне истерики. Тебе придется выслушать меня.

У Джулии побежали по спине мурашки.

— Ну ладно, выкладывай.

— До меня кое-что дошло, и я решил сам разобраться, что происходит. Сперва я думал, что это случайность. Вот почему я молчал, пока окончательно не убедился. Что с тобой, Джулия?

— Со мной?

— Да. Почему ты так отвратительно играешь?

— Что? — Вот уж чего она не ожидала. В ее глазах засверкали молнии. — Дурак несчастный, да я в жизни не играла лучше!

— Ерунда. Ты играешь чертовски плохо.

Джулия вздохнула с облегчением — слава Богу речь не о Томе, но слова Майкла были так смехотворны, что, как ни была Джулия сердита, она невольно рассмеялась.

— Ты просто идиот, ты сам не понимаешь, что городишь. Чего я не знаю об актерском мастерстве, того и знать не надо. А что знаешь ты? Только то, чему я тебя научила. Если из тебя и вышел толк, так лишь благодаря мне. В конце концов, чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать: судят по результатам. Ты слышал, сколько раз меня сегодня вызывали? За все время, что идет пьеса, она не имела такого успеха.

— Все это мне известно. Публика — куча ослов. Если ты вопишь, визжишь и размахиваешь руками, всегда найдутся дураки, которые будут орать до хрипоты. Так, как играла ты эти последние дни, играют бродячие актеры. Фальшиво от начала до конца.

— Фальшиво? Но я прочувствовала каждое слово!

— Мне не важно, что ты чувствовала. Ты утри-

ровала, ты переигрывала, не было момента, чтобы ты звучала убедительно. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь.

— Свинья чертова! Как ты смеешь так со мной говорить?! Сам ты бездарь!

Взмахнув рукой, Джулия закатила ему звонкую пощечину. Майкл улыбнулся.

— Можешь меня бить, можешь меня ругать, можешь вопить как сумасшедшая, но факт остается фактом — твоя игра никуда не годится. Я не намерен начинать репетиции «Нынешних времен», пока ты не придешь в форму.

— Тогда найди кого-нибудь, кто исполнит эту роль лучше меня.

— Не болтай глупости, Джулия. Сам я, возможно, и не очень хороший актер и никогда этого о себе не думал, но хорошую игру от плохой отличить могу. И больше того — нет такого, чего бы я не знал о тебе. В субботу я повешу извещение о том, что мы закрываемся, и хочу, чтобы ты сразу же уехала за границу. Мы выпустим «Нынешние времена» осенью.

Спокойный, решительный тон Майкла утихомирил Джулию. Действительно, когда речь шла о ее игре, Майкл знал о ней все.

— Это правда, что я плохо играла?

— Чудовищно.

Джулия задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдержать свои эмоции, она выражала свои чувства. По спине у Джулии опять побежали мурашки. Это было серьезно. Разбитое сердце и прочее — все это прекрасно, но если это отражается на ее искусстве… Нет, нет, нет. Дело принимает совсем другой оборот! Ее игра важней любого романа на свете.

— Я постараюсь взять себя в руки.

— Что толку насиловать себя? Ты очень устала. Это моя вина. Я давно уже должен был заставить тебя уехать в отпуск. Тебе необходимо как следует отдохнуть.

— А как же театр?

— Если мне не удастся сдать помещение, я возобновлю какую-нибудь из старых пьес, в которых у меня есть роль. Например, «Сердца — козыри». Ты всегда терпеть ее не могла.

— Все говорят, что сезон будет очень неудачный. От старой пьесы многого не дождешься. Если я не буду участвовать, ты ничего не заработаешь.

— Не важно. Главное — твое здоровье.

— О Боже! — вскричала Джулия. — Не будь так великодушен. Я не могу этого вынести.

Неожиданно она разразилась бурными рыданиями.

— Любимая!

Майкл обнял ее, усадил на диван, сел рядом. Она отчаянно прильнула к нему.

— Ты так добр ко мне, Майкл. Я ненавижу себя. Я — скотина, я — потаскуха, я — чертова сука, я — дрянь до мозга костей!..

— Вполне возможно, — улыбнулся Майкл, — но факт остается фактом: ты очень хорошая актриса.

— Не представляю, как у тебя хватает на меня терпения. Я так мерзко с тобой обращаюсь. Ты такой замечательный, а я бессердечно принимаю все твои жертвы.

— Полно, милая, не говори вещей, о которых сама будешь жалеть. Смотри, как бы я потом не поставил их тебе в строку.

Нежность Майкла растрогала Джулию, и она горько корила себя за то, что так плохо относилась к нему все эти годы.

— Слава Богу, у меня есть ты. Что бы я без тебя делала?

— Тебе не придется быть без меня.

Майкл крепко ее обнимал, и, хотя Джулия все еще всхлипывала, ей стало полегче.

— Прости, что я так грубо говорила сейчас с тобой.

— Ну что ты, любимая.

— Ты правда думаешь, что я — плохая актриса?

— Дузе в подметки тебе не годится.

— Ты честно так считаешь? Дай мне твой носовой платок. Ты никогда не видел Сары Бернар?

— Нет.

— Она играла очень аффектированно.

Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе. Сердце ее захлестнула волна любви к Майклу.

— Ты все еще самый красивый мужчина в Англии, — тихонько проговорила она наконец. — Никто меня в этом не переубедит.

Она почувствовала, что он втянул живот и выдвинул подбородок, и на этот раз ей это показалось умилительным.

— Ты прав. Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение. Меня словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать, только это и поможет мне.

Глава двадцать третья

Джулия была рада, что решила уехать. Возможность оставить позади терзавшую ее муку помогла ей легче ее переносить. Были повешены афиши о новом спектакле, Майкл набрал актеров для пьесы, которую он решил возобновить, и начал репетиции. Джулии было интересно смотреть из первых рядов партера, как другая актриса репетирует роль, которую раньше играла она сама. С первого дня, как Джулия пошла на сцену, она не могла без глубокого волнения сидеть в темном зале на покрытом чехлом кресле и наблюдать, как актеры постепенно лепят образы своих героев, и сейчас, после стольких лет, она все еще испытывала тот же трепет. Даже просто находиться в театре служило ей успокоением. Глядя на репетиции, она отдыхала и к вечернему спектаклю, когда ей надо было выступать самой, была вполне свежа. Джулия поняла, что все, сказанное Майклом, верно, и взяла себя в руки. Отодвинув свои личные переживания на задний план и став хозяйкой своего персонажа, она опять стала играть с привычной виртуозностью. Ее игра перестала быть средством, при помощи ко-

торого она давала выход собственному отчаянию, и вновь сделалась проявлением ее творческого начала. Она добилась прежнего господства над материалом, при помощи которого выражала себя. Это опьяняло Джулию, давало ей ощущение могущества и свободы.

Но победа доставалась Джулии нелегко, и вне театра она была апатична и уныла. Она утратила свою кипучую энергию. Ее обуяло непривычное смирение. У нее появилось чувство, что ее счастливая пора миновала. Она со вздохом говорила себе, что больше никому не нужна. Майкл предложил ей поехать в Вену, да ей и самой хотелось быть поближе к Роджеру, но она покачала головой:

— Я только помешаю ему.

Джулия боялась, что будет сыну в тягость. Он получает удовольствие от своей жизни в Вене, зачем стоять у него на пути? Джулии была невыносима мысль, что он сочтет для себя докучной обязанностью водить ее по разным местам и время от времени приглашать на обед или ленч. Вполне естественно, что ему интереснее с ровесниками-друзьями, которых он там завел.

Джулия решила погостить у матери. Миссис Лэмберт — «мадам де Ламбёр», как упорно на-

зывал ее Майкл, — уже много лет жила со своей сестрой, мадам Фаллу, на острове Сен-Мало. Каждый год она проводила несколько дней в Лондоне у Джулии, но в этом году не приехала, так как у нее было неважно со здоровьем. Она была уже стара — ей давно перевалило за семьдесят, — и Джулия знала, что она будет счастлива, если дочь приедет к ней надолго. Кому в Вене нужна английская актриса? Там она будет никто. А в Сен-Мало она окажется важной персоной, и двум старушкам доставит большое удовольствие хвастаться ею перед своими друзьями: «Ma fille, la plus grande actrice d'Angleterre»[122] и прочее.

Бедняжки так стары, жить им осталось совсем недолго, а влачат такое тоскливое, монотонное существование. Конечно, ей будет смертельно скучно, но зато какая радость для них! Джулия признавалась себе, что, возможно, на своем блестящем и триумфальном жизненном пути она несколько пренебрегала матерью. Теперь она все ей возместит. Она приложит все усилия, чтобы быть очаровательной. Ее теперешняя нежность к Майклу и не оставляющее ее чувство, что она многие годы была к нему несправедлива, пере-

[122] Примечания: 122
Моя дочь, величайшая английская актриса (*фр.*).

полняли ее искренним раскаянием. Она была эгоистка и деспот, но постарается искупить свою вину. Ей хотелось принести себя в жертву, и она написала матери, что обязательно приедет к ней погостить.

Джулия сумела самым естественным образом не встречаться с Томом до последнего дня. Заключительное представление пьесы, в которой она играла, было за день до отъезда. Поезд отходил вечером. Том пришел попрощаться с ней около шести. В доме, кроме Майкла, были Чарлз Тэмерли и несколько друзей, так что ей даже на минуту не грозило остаться с Томом наедине. Джулии оказалось совсем не трудно разговаривать с ним самым непринужденным тоном. Она боялась, что при взгляде на Тома испытает жгучую муку, но почувствовала в сердце лишь тупую боль. Время и место отъезда Джулии хранились в тайне, другими словами — их представитель, поддерживающий связь с прессой, позвонил всего в несколько газет, и когда Джулия с Майклом прибыли на вокзал, там было лишь с десяток газетчиков, среди них три фоторепортера. Джулия сказала им несколько любезных слов. Майкл добавил к ним еще несколько своих, затем их представитель отвел газетчиков в сторону и

коротко сообщил о дальнейших планах Джулии. Тем временем при свете блиц-вспышек фоторепортеры запечатлевали Джулию и Майкла: идущих по перрону под руку, обменивающихся прощальным поцелуем — и последний кадр: Джулия, наполовину высунувшись из окна вагона, протягивает руку Майклу, который стоит на перроне.

— Ну и надоела мне вся эта публика, — сказала Джулия. — Никуда от них не спрячешься.

— Не представляю, как они пронюхали, что ты уезжаешь.

Небольшая толпа, собравшаяся на платформе, стояла на почтительном расстоянии. Подошел их пресс-представитель и сказал Майклу, что репортерам хватит материала на целый столбец. Поезд тронулся.

Джулия отказалась взять с собой Эви. У нее было чувство, что ей надо полностью оторваться от старой жизни, если она хочет вновь обрести былую безмятежность. Эви будет не ко двору в этом французском доме. Мадам Фаллу, тетушка Кэрри, выйдя за француза совсем молоденькой девушкой, сейчас, в старости, с большей легкостью говорила по-французски, чем по-английски. Она вдовела уже много лет, ее единственный сын

был убит во время войны. Она жила в высоком узком каменном доме на вершине холма, и когда вы переступали его порог, вас охватывал покой прошлого столетия. За полвека здесь ничто не изменилось. Гостиная была обставлена гарнитуром в стиле Людовика XV, стоявшим в чехлах, которые снимались раз в месяц, чтобы почистить шелковую обивку. Хрустальная люстра была обернута кисеей — не дай Бог мухи засидят. Перед камином стоял экран из искусно расположенных между двумя стеклами павлиньих перьев. Хотя комнатой никогда не пользовались, тетушка Кэрри каждый день собственноручно вытирала в ней пыль. В столовой стены были обшиты деревянными панелями, мебель тоже стояла в чехлах. На буфете красовались серебряная èpergne[123], серебряный кофейник, серебряный заварочный чайник и серебряный поднос. Тетушка Кэрри и мать Джулии, миссис Лэмберт, проводили дни в длинной узкой комнате с мебелью в стиле ампир. На стенах в овальных рамах висели писанные маслом портреты тетушки Кэрри, ее покойного мужа, родителей ее мужа и пастель, изображающая их убитого сына ребенком. Здесь стояли их

[123] Примечания: 123

Ваза для середины обеденного стола, обычно из нескольких отделений, ярусов (*фр.*).

шкатулки для рукоделия, здесь они читали газеты — католическую «Ла Круа», «Ревю де Де-Монд» и местную ежедневную газету, здесь играли в домино по вечерам, кроме среды, когда к обеду приходили Abbe[124] и Commandant La Garde[125], отставной офицер, здесь же они и ели, но когда приехала Джулия, они решили, что будет удобнее есть в столовой.

Тетушка Кэрри все еще носила траур по мужу и сыну. Лишь в редкие, особенно теплые дни она снимала небольшую черную шаль, которую сама себе вывязывала тамбуром. Миссис Лэмберт тоже ходила в черном, но когда к обеду приходили господин аббат и майор, она накидывала на плечи белую кружевную шаль, подаренную ей Джулией. После обеда они вчетвером играли в plafond[126] со ставкой два су за сотню. Миссис Лэмберт, много лет прожившая на Джерси и до сих пор ездившая в Лондон, знала все о большом свете и говорила, что теперь многие играют в бридж-контракт, но майор возражал, что это

---

[124] Примечания: 124
Аббат (*фр.*).

[125] Примечания: 125
Майор гвардии (*фр.*).

[126] Примечания: 126
Плафон — карточная игра (*фр.*).

годится для американцев, его же вполне удовлетворяет plafond, а аббат добавлял, что он лично очень сожалеет о висте, который совсем забыли в последнее время. Ничего не поделаешь, люди редко бывают довольны тем, что они имеют, им подавай все новое да новое, и так без конца. Каждое Рождество Джулия посылала матери и тетке дорогие подарки, но они никогда не пускали их в ход. Они с гордостью показывали подарки приятельницам — все эти чудесные вещи, которые прибывали из Лондона, — а затем заворачивали в папиросную бумагу и прятали в шкаф. Джулия предложила матери автомобиль, но та отказалась. Они так редко и недалеко выходили, что вполне могли проделать свой путь пешком; шофер станет воровать бензин; если он будет питаться вне дома, это их разорит, если в доме — выведет из душевного равновесия Аннет. Аннет была их кухарка, экономка и горничная. Она прослужила у тетушки Кэрри тридцать пять лет. Черную работу делала ее племянница Анжель; но та была еще молода, ей не исполнилось и сорока, вряд ли удобно, чтобы в доме все время находился мужчина.

Джулию поместили в ту же комнату, где она жила девочкой, когда ее прислали к тетушке

Кэрри на воспитание. Это вызвало в ней какое-то особенно сентиментальное настроение; по правде говоря, несколько минут она была на грани слез. Но Джулия очень легко втянулась в их образ жизни. Выйдя замуж, тетушка Кэрри приняла католическую веру, и когда миссис Лэмберт потеряла мужа и навсегда поселилась в Сен-Мало, она под влиянием аббата в надлежащее время сделала то же. Обе старые дамы были очень набожны. Каждое утро они ходили к мессе, а по воскресеньям — еще и к торжественной мессе. Но кроме церкви, они не бывали почти нигде. Изредка наносили визит какой-нибудь соседке, которая лишилась одного из своих близких или, наоборот, отмечала помолвку внучки. Они читали одни и те же газеты и один и тот же журнал, без конца что-то шили с благотворительной целью, играли в домино и слушали подаренный им Джулией радиоприемник. Хотя аббат и майор обедали у них раз в неделю много лет подряд, каждую среду старушки приходили в страшное волнение. Майор с присущей военным прямотой, как они полагали, мог не колеблясь сказать, если бы какое-нибудь блюдо пришлось ему не по вкусу, и даже аббат, хоть и настоящий святой, имел свои склонности и предубеждения. Например,

ему очень нравилась камбала, но он не желал ее есть, если она не была поджарена на сливочном масле, а при тех ценах на масло, которые стояли после войны, это сущее разорение. Утром в среду тетушка Кэрри брала ключи от винного погреба и собственноручно вынимала бутылку кларета. То, что в ней оставалось после гостей, они с сестрой приканчивали к концу недели.

Старушки принялись опекать Джулию. Пичкали ее ячменным отваром и страшно волновались, как бы ее где-нибудь не продуло. По правде говоря, значительная часть их жизни была занята тем, что они избегали сквозняков. Они заставляли Джулию лежать на диване и заботливо следили за тем, чтобы она прикрывала при этом ноги. Они урезонивали Джулию по поводу ее одежды. Эти шелковые чулки такие тонкие, что сквозь них все видно! А что она носит под платьем? Тетушка Кэрри не удивится, если узнает, что ничего, кроме сорочки.

— Она и сорочки не носит, — сказала миссис Лэмберт.

— Что же тогда на ней надето?

— Трусики, — сказала Джулия.

— И вероятно, soutien-gorge[127].

— Конечно, нет, — колко возразила Джулия.

— Значит, племянница, ты совсем голая под платьем?

— Практически да.

— C'est de la folie![128] — воскликнула тетушка Кэрри.

— C'est vraiment pas raisonnable, ma fille[129], — согласилась миссис Лэмберт.

— И хоть я не ханжа, — добавила тетушка Кэрри, — я должна сказать, что это просто неприлично.

Джулия продемонстрировала им все свои наряды, и в первую же среду после ее прибытия начался спор по поводу того, что ей надеть к обеду. Тетушка Кэрри и миссис Лэмберт чуть не поссорились друг с другом. Миссис Лэмберт считала, что раз Джулия привезла вечерние платья, ей и следует надеть одно из них, а тетушка Кэрри полагала это вовсе не обязательным.

— Когда я приезжала к тебе в Джерси и к обеду

---

[127] Примечания: 127
Бюстгальтер (*фр.*).

[128] Примечания: 128
Ну, это безумие! (*фр.*)

[129] Примечания: 129
Это действительно неразумно, дочь моя (*фр.*).

приходили джентльмены, мне помнится, ты надевала нарядный капот.

— О да, это прекрасно бы подошло.

Обе старые дамы с надеждой посмотрели на Джулию. Она покачала головой:

— Я скорее надену саван.

Тетушка Кэрри носила по средам черное платье с высоким воротничком, сшитое из тяжелого шелка, и нитку гагата, а миссис Лэмберт — такое же платье с белой кружевной шалью и стразовым ожерельем. Майор, низенький крепыш с лицом как печеное яблоко, седыми волосами, подстриженными en brosse[130], и внушительными усами, выкрашенными в иссиня-черный цвет, был весьма галантен и, хотя ему давно перевалило за семьдесят, во время обеда пожимал Джулии под столом ножку, а когда они выходили из столовой, воспользовался случаем ущипнуть ее за зад.

«Секс эпил», — пробормотала про себя Джулия, с величественным видом следуя за старыми дамами в гостиную.

Они носились с Джулией не потому, что она была великая актриса, а потому, что ей нездоровилось и она нуждалась в отдыхе. К своему

---

[130] Примечания: 130
Бобриком (*фр.*).

великому изумлению, Джулия довольно скоро обнаружила, что они не только не гордятся ее известностью, а, напротив, стесняются. Куда там хвалиться ею перед знакомыми — они даже не звали ее с собой, когда наносили визиты. Тетушка Кэрри привезла из Англии обычай пить в пять часов чай и твердо его придерживалась. Однажды, вскоре после приезда Джулии, они пригласили к чаю нескольких дам, и за завтраком миссис Лэмберт обратилась к Джулии со следующими словами:

— Дорогая моя, у нас в Сен-Мало есть несколько очень хороших приятельниц, но, понятно, они все еще смотрят на нас как на чужаков, хотя мы прожили здесь уже столько лет, и нам не хотелось бы делать ничего, что показалось бы им эксцентричным. Естественно, мы не просим тебя лгать, но, если это не будет абсолютно необходимо, тетя Кэрри считает, тебе лучше не говорить, что ты — актриса.

Джулия была поражена, но чувство юмора восторжествовало, и она чуть не расхохоталась.

— Если кто-нибудь из наших приятельниц спросит, кто твой муж, сказать, что он занимается коммерцией, не значит погрешить против истины?

— Ни в коей мере. — Джулия позволила себе улыбнуться.

— Мы, конечно, знаем, что английские актрисы отличаются от французских, — добавила тетушка Кэрри от доброго сердца. — Почти у каждой французской актрисы обязательно есть любовник.

— Боже, Боже, — сказала Джулия.

Лондонская жизнь — со всеми треволнениями, триумфами и горестями — отодвинулась далеко-далеко. Скоро Джулия обнаружила, что может с полной безмятежностью думать о Томе и своей любви к нему. Она поняла, что ранено было больше ее самолюбие, чем сердце. Каждый день в Сен-Мало был похож на другой. Единственное, что заставляло ее вспоминать Лондон, были прибывающие по понедельникам воскресные газеты. Джулия забирала всю пачку и читала их до самого вечера. В этот день у нее было немного тревожно на душе. Она уходила на крепостные валы и глядела на острова, усеивающие залив. Серые облака заставляли ее тосковать по серому небу Англии. Но к утру вторника она вновь погружалась в покой провинциальной жизни. Джулия много читала: романы, английские и французские, которые покупала в местном магазине, и своего любимого Верлена. В его стихах была нежная ме-

ланхолия, которая, казалось ей, подходит к этому серому бретонскому городку, печальным старым каменным домам и тихим крутым, извилистым улочкам. Мирные привычки двух старых дам, рутина их бедной событиями жизни, безмятежная болтовня возбуждали в Джулии жалость. Ничего не случалось с ними за долгие годы, ничего уже не случится до самой их смерти, и как мало значило их существование! Самое странное, что они вполне им удовлетворены. Им была неведома злоба, неведома зависть. Они достигли свободы от общественных уз, которую Джулия ощущала, стоя у рампы и кланяясь в ответ на аплодисменты восторженной публики. Иногда ей казалось, что эта свобода — самое драгоценное из всего, чем она обладает. В ней она была рождена гордостью, в них — смирением. В обоих случаях она давала один неоценимый результат: независимость духа, только у них она была более надежной. От Майкла приходили раз в неделю короткие деловые письма, где он сообщал, каковы сборы и как он готовится к постановке следующей пьесы, но Чарлз Тэмерли писал каждый день. Он передавал Джулии все светские новости, рассказывал своим очаровательным культурным языком о картинах, которые видел, и книгах, которые прочел.

Его письма были полны нежных иносказаний и шутливой эрудиции. Он философствовал без педантизма. Он писал, что обожает ее. Это были самые прекрасные любовные письма, какие Джулия получала в жизни, и ради будущих поколений она решила их сохранить. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь их опубликует, и люди станут ходить в Национальную галерею, чтобы посмотреть на ее портрет, тот, что написал Мак-Эвой[131], и со вздохом вспоминать о романтической любовной истории, героиней которой была она.

Чарлз удивительно поддержал ее в первые две недели ее утраты, Джулия не представляла, что бы она делала без него. Он всегда был к ее услугам. Его беседа, унося Джулию совсем в иной мир, успокаивала ей нервы. Душа Джулии была замарана грязью, и она отмывалась в чистом источнике его духа. Какой покой снисходил на нее, когда она бродила с Чарлзом по картинным галереям… У Джулии имелись все основания быть ему благодарной. Она думала о долгих годах его поклонения. Он ждал ее вот уже двадцать с лишним лет. Она была не очень-то к нему благо-

---

[131] Примечания: 131
Мак-Эвой (1878–1927) — английский портретист.

склонна. Обладание ею дало бы ему такое счастье, а от нее, право, ничего не убудет. Почему она так долго отказывала ему? Возможно, потому, что он был беспредельно ей предан, его самозабвенная любовь — так почтительна и робка; возможно, только потому, что ей хотелось сохранить в его уме тот идеал, который сам он создал столько лет назад. Право, это глупо, а она — просто эгоистка. Джулию охватил возвышенный восторг при мелькнувшей у нее внезапно мысли, что теперь наконец она сможет вознаградить его за всю его нежность, бескорыстие и постоянство. Джулией все еще владело вызванное в ней добротой Майкла чувство, что она его недостойна, все еще мучило раскаяние за то, что все эти годы она была нетерпима по отношению к нему. Желание пожертвовать собой, с которым она покидала Англию, по-прежнему горело в ее груди ярким пламенем. Джулия подумала, что Чарлз — отличный объект для его осуществления. Она засмеялась, ласково и участливо, представив, как он будет поражен, когда поймет ее намерение; в первый миг он просто не поверит себе, но потом — какое блаженство, какой экстаз! Любовь, которую он сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком. Сердце

Джулии переполнилось при мысли о его бесконечной благодарности. И все же ему будет трудно поверить, что фортуна наконец улыбнулась ему; когда все останется позади и она будет лежать в его объятиях, она прижмется к нему и нежно шепнет: «Стоило ждать столько лет?» — «Ты, как Елена, дала мне бессмертье поцелуем»[132]. Разве не удивительно даровать своему ближнему столько счастья?

«Я напишу ему перед самым отъездом из Сен-Мало», — решила Джулия.

Весна перешла в лето, и к концу июля наступило время ехать в Париж — надо было позаботиться о своих туалетах. Майкл хотел открыть сезон в первых числах сентября, и репетиции новой пьесы должны были начаться в августе. Джулия взяла пьесу с собой в Сен-Мало, намереваясь на досуге выучить роль, но та обстановка, в которой она жила, сделала это невозможным. Времени у нее было предостаточно, но в этом сером, суровом, хотя и уютном городке, в постоянном общении с двумя старыми дамами, интересы которых ограничивались приходскими и домашними делами, пьеса, как ни была хороша, не могла

[132] Примечания: 132

Перефразированная строка из «Трагической истории доктора Фауста» К. Марло: «Елена, дай бессмертье поцелуем».

увлечь Джулию.

«Мне давно пора возвращаться, — сказала она себе. — Что будет, если я в результате решу, что театр не стоит всего того шума, который вокруг него поднимают?»

Джулия распрощалась с матерью и тетушкой Кэрри. Они были очень к ней добры, но она подозревала, что они не будут слишком сожалеть о ее отъезде, который позволит им вернуться к привычной жизни. К тому же они успокоятся, что им больше не будет грозить эксцентричная выходка, которую всегда можно ожидать от актрисы, не надо будет больше опасаться неблагосклонных комментариев дам Сен-Мало.

Джулия приехала в Париж днем и, когда ее провели в апартаменты в отеле «Ритц», удовлетворенно вздохнула. Какое удовольствие опять окунуться в роскошь! Несколько друзей прислали ей цветы. Джулия приняла ванну и переоделась. Чарли Деверил, всегда шивший для нее и уже давно ставший ее другом, зашел, чтобы повести ее обедать в «Буа».

— Я чудесно провела время, — сказала ему Джулия, — и, конечно, мой приезд доставил большую радость старым дамам, но у меня появилось ощущение, что еще один день — и я умру со скуки.

Поездка по Елисейским полям в этот прелестный вечер наполнила ее восторгом. Как приятно было вдыхать запах бензина! Автомобили, такси, звуки клаксонов, каштаны, уличные огни, толпа, снующая по тротуарам и сидящая за столиками у кафе, — что может быть чудеснее? А когда они вошли в «Шато де Мадрид», где было так весело, так цивилизованно и так дорого, как приятно было снова увидеть элегантных, умело подкрашенных женщин и загорелых мужчин в смокингах.

— Я чувствую себя как королева, вернувшаяся из изгнания.

Джулия провела в Париже несколько счастливых дней, выбирая себе туалеты и делая первые примерки. Она наслаждалась каждой минутой. Однако она была женщина с характером и когда принимала решение, выполняла его. Прежде чем уехать в Лондон, она послала Чарлзу коротенькое письмецо. Он был в Гудвуде и Каузе и должен был задержаться на сутки в Лондоне по пути в Зальцбург.

Чарлз, милый.

Как замечательно, что я скоро вас снова увижу. В среду я буду свободна. Пообедаем вместе. Вы все еще любите меня?

Ваша Джулия.

Опуская конверт в ящик, она пробормотала: «Bis dat qui cito dat»[133]. Это была избитая латинская цитата, которую всегда произносил Майкл, когда в ответ на просьбу о пожертвовании на благотворительные цели посылал с обратной же почтой ровно половину той суммы, которую от него ждали.

[133] Примечания: 133
«Кто скоро даст, тот дважды даст» (*лат.*) — изречение Сенеки.

Глава двадцать четвертая

Утром в среду Джулия сделала массаж и завилась. Она никак не могла решить, какое платье надеть к обеду: из пестрой органди, очень нарядное и весеннее, приводящее на ум боттичеллевскую «Весну»[134], или одно из белых атласных, подчеркивающих ее стройную девичью фигуру и очень целомудренное, но, пока принимала ванну, остановилась на белом атласном: оно должно было послужить тонким намеком на то, что приносимая ею жертва была своего рода искуплением за ее длительную неблагодарность к Майклу. Джулия не надела никаких драгоценностей, кроме нитки жемчуга и бриллиантового браслета; на том же пальце, где было обручальное кольцо, сверкал бриллиантовый перстень. Ей хотелось напудриться пудрой цвета загара, это молодило ее и очень ей шло, но, вспомнив, что ей предстоит, она отказалась от этой мысли. Не могла же она, как актер, чернящийся с ног до головы, чтобы играть Отелло, покрыть всю себя искусственным загаром. Как всегда пунктуаль-

---

[134] Примечания: 134
Боттичелли, Сандро (1445–1510) — флорентийский живописец.

ная, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарлзом Тэмерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарлз носил теперь свои поредевшие волосы довольно длинно, с годами его интеллигентное, аристократическое лицо несколько обвисло, он немного горбился, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг.

«В странном мире мы живем, — подумала Джулия. — Актеры из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на джентльменов, а джентльмены делают все возможное, чтобы выглядеть как актеры».

Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарлз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала.

— Почему вы так прелестны сегодня? — спросил он.

— Потому что я предвкушаю наше с вами свидание.

Своими прекрасными выразительными глазами Джулия глубоко заглянула в глаза Чарлза. Слегка приоткрыла губы, как на портрете леди

Гамильтон кисти Ромни[135], — это придавало ей такой обольстительный вид.

Обедали они в «Савое». Метрдотель дал им столик у прохода, так что их было превосходно видно. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась и кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарлза было что ей рассказать, Джулия слушала его с неослабным интересом.

— Вы самый лучший собеседник на свете, Чарлз, — сказала она ему.

Пришли они в ресторан поздно, обедали не торопясь, и к тому времени как Чарлз кончал бренди, начали собираться посетители к ужину.

— Господи Боже мой, неужели уже окончились спектакли? — сказал он, взглянув на часы. — Как быстро летит время, когда я с вами. Как вы думаете, они уже хотят избавиться от нас?

— Не имею ни малейшего желания ложиться спать.

— Майкл, вероятно, скоро будет дома?

— Вероятно.

— Почему бы нам не поехать ко мне и не по-

---

[135] Примечания: 135
Ромни, Джордж (1734–1802) — английский портретист.

болтать еще?

Вот это называется понять намек!

— С удовольствием, — ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на ее щеках.

Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарлз провел Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Двустворчатые, до самого пола окна, выходящие в крошечный садик, были распахнуты настежь. Они сели на диван.

— Погасите верхний свет и впустите в комнату ночь, — сказала Джулия. И процитировала строчку из «Венецианского купца»: — «В такую ночь, когда лобзал деревья нежный ветер...»

Чарлз выключил все лампы, кроме одной, затененной абажуром, и, когда он снова сел, Джулия прильнула к нему. Он обнял ее за талию, она положила ему голову на плечо.

— Божественно, — прошептала она.

— Я страшно тосковал по вас все это время.

— Успели набедокурить?

— Да. Купил рисунок Энгра[136] и заплатил за него кучу денег. Обязательно покажу его вам,

---

[136] Примечания: 136

Энгр, Жан Огюст Доминик (1780–1867) — французский художник-классицист.

прежде чем вы уйдете.

— Не забудьте. Где вы его повесили?

С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос: где должно произойти обольщение — в кабинете или наверху.

— У себя в спальне, — ответил Чарлз.

«И правда, там будет куда удобнее», — подумала Джулия.

Она засмеялась в кулак при мысли, что бедняга Чарлз не додумался ни до чего лучшего, чтобы завлечь ее к себе в постель. Ну и глупы эти мужчины! Слишком уж они решительны, вот в чем беда. Сердце Джулии пронзила мгновенная боль — она вспомнила о Томе. К черту Тома! Чарлз такой душка, и она не отступит от своего решения наградить его за многолетнюю преданность.

— Вы были мне замечательным другом, Чарлз, — сказала она своим грудным, чуть хрипловатым голосом. Она повернулась к нему так, что ее лицо оказалось рядом с его лицом, губы — опять как у леди Гамильтон, — чуть приоткрыты. — Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова.

Джулия выглядела такой пленительно податливой — спелый персик, который нельзя не сорвать, — что поцелуй казался неизбежным. Тогда она обовьет его шею своими белыми неж-

ными руками и… Но Чарлз только улыбнулся.

— Не говорите так. Вы всегда были божественны.

(«Он боится, бедный ягненочек!»)

— Меня никто никогда не любил так, как вы.

Он слегка прижал ее к себе.

— Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете. Вы — единственная женщина в моей жизни.

Поскольку Чарлз не принял предложенные ему губы, Джулия чуть отвернулась. Посмотрела задумчиво на электрический камин. Жаль, что он не зажжен. В этой мизансцене камин был бы очень кстати.

— Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоем из Лондона. Хей-хоу!

Джулия никогда не знала, что означает это восклицание, хотя его очень часто употребляли в пьесах, но, произнесенное со вздохом, оно всегда звучало очень печально.

— Англия потеряла бы свою величайшую актрису. Теперь я понимаю, каким я был ужасным эгоистом, когда предлагал вам покинуть театр.

— Успех еще не все. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустила ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить свое глупое мелкое

тщеславие. В конце концов, любовь — единственное, ради чего стоит жить.

Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги, были прекрасны, как никогда.

— Знаете, если бы я снова была молода, я думаю, я сказала бы: увези меня.

Ее рука скользнула вниз, нашла его руку. Чарлз грациозно ее пожал.

— О, дорогая…

— Я так часто думаю об этой вилле нашей мечты! Оливковые деревья, олеандры и лазурное море. Мир и покой. Порой меня ужасают монотонность, скука и вульгарность моей жизни. Вы предлагали мне Красоту. Я знаю, теперь уже поздно; я сама не понимала тогда, как вы мне дороги, я и не помышляла, что с годами вы будете все больше и больше значить для меня.

— Блаженство слышать это от вас, любимая. Это вознаграждает меня за многое.

— Я бы сделала для вас все на свете. Я была эгоистка. Я погубила вашу жизнь, ибо сама не ведала, что творю.

Низкий голос Джулии дрожал, она откинула голову, ее шея вздымалась, как белая колонна. Декольте открывало — и изрядно — ее маленькую упругую грудь; Джулия прижала к ней руки.

— Вы не должны так говорить, вы не должны так думать, — мягко ответил Чарлз. — Вы всегда были само совершенство. Другой вас мне не надо. Ах, дорогая, жизнь так коротка, любовь так преходяща. Трагедия в том, что иногда мы достигаем желаемого. Когда я оглядываюсь сейчас назад, я вижу, что вы были мудрее, чем я. «Какие мифы из тенистых рощ…» Вы помните, как там дальше? «Ты, юноша прекрасный, никогда не бросишь петь, как лавр не сбросит листьев; любовник смелый, ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей — но не беда: она неувядаема, и счастие с тобой, пока ты вечен и неистов».

(«Ну и идиотство!»)

— Какие прелестные строки, — вздохнула Джулия. — Возможно, вы и правы. Хей-хоу!

Чарлз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной.

— «Ах, счастлива весенняя листва, которая не знает увяданья, и счастлив тот, чья музыка нова и так же бесконечна, как свиданье»[137].

Но сейчас это давало ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на

---

[137] Примечания: 137

«Ода греческой вазе» английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821). (Пер. О. Чухонцева.)

незажженный камин, словно завороженная совершенной красотой стихов. Чарлз просто ничего не понял, это видно невооруженным глазом. И чему тут удивляться? Она была глуха к его страстным мольбам в течение двадцати лет, вполне естественно, если он решил, что все его упования тщетны. Все равно что покорить Эверест. Если бы эти стойкие альпинисты, так долго и безуспешно пытавшиеся добраться до его вершины, вдруг обнаруживали пологую лестницу, которая туда ведет, они бы просто не поверили своим глазам; они бы подумали, что перед ними ловушка. Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими i. Она должна, так сказать, подать руку помощи усталому пилигриму.

— Уже поздно, — мягко сказала она. — Покажите мне новый рисунок, и я поеду домой.

Чарлз встал, и она протянула ему обе руки, чтобы он помог ей подняться с дивана. Они пошли наверх. Пижама и халат Чарлза лежали аккуратно сложенные на стуле.

— Как вы, холостяки, хорошо устраиваетесь. Такая уютная, симпатичная спальня.

Чарлз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднес его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный

карандашом портрет полноватой женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, платье — смешным.

— Восхитительно! — вскричала она.

— Я знал, что вам понравится. Хороший рисунок, верно?

— Поразительный.

Чарлз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии, она стояла у кровати, как черкешенка-полонянка, которую главный евнух привел на обозрение великому визирю; в ее позе была прелестная нерешительность — казалось, она вот-вот отпрянет назад — и вместе с тем ожидание непорочной девы, стоящей на пороге своего королевства. Джулия испустила томный вздох.

— Дорогой, это был такой замечательный вечер. Я еще никогда не чувствовала себя такой близкой вам.

Джулия медленно подняла руки из-за спины и с тем поразительным чувством ритма, которое было даровано ей природой, протянула их вперед, вверх ладонями, словно держала невидимое взору роскошное блюдо, а на блюде — свое отданное ему сердце. Ее прекрасные глаза были нежны

и покорны, на губах порхала робкая улыбка: она сдавалась.

Джулия увидела, что лицо Чарлза застыло. Теперь-то он наконец понял, и еще как!

(«Боже, я ему не нужна! Это все было блефом».)

В первый момент это открытие совершенно ее потрясло.

(«Господи, как мне из этого выпутаться? Какой идиоткой я, верно, выгляжу!»)

Джулия чуть не потеряла равновесие, и душевное и физическое. Надо было что-то придумать, да побыстрей. Чарлз стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия была в панике. Что ей делать с этими держащими роскошное блюдо руками? Видит Бог, они невелики, но сейчас они казались ей окороками, висящими на крюке в колбасной лавке. И что ему сказать? С каждой секундой ее поза и вся ситуация становились все более невыносимы.

(«Дрянь, паршивая дрянь! Так дурачить меня все эти годы!»)

Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу. Считая про себя, чтобы не спешить, она соединила ладони и, сцепив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к шее. Эта поза была так

же прелестна, как и прежняя, и она подсказала Джулии нужные слова. Ее глубокий полнозвучный голос слегка дрожал от избытка чувств.

— Когда я думаю о нашем прошлом, я радуюсь, что нам не в чем себя упрекнуть. Горечь жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь. («Что-то в этом роде произносилось в какой-то пьесе»). Если бы мы стали любовниками, я бы вам давным-давно надоела, и что бы нам теперь осталось? Только сожалеть о своей слабости. Повторите эту строчку из Шелли — «…она неувядаема…», — которую вы мне только что читали.

— Из Китса, — поправил он, — «…она неувядаема, и счастье…»

— Вот, вот. И дальше.

Ей надо было выиграть время.

— «…с тобой, пока ты вечен и неистов».

Джулия раскинула руки в стороны широким жестом и встряхнула кудрями. То самое, что ей надо.

— И это правда. Какие бы мы были глупцы, если бы, поддавшись минутному безумию, лишили себя величайшего счастья, которое принесла нам дружба. Нам нечего стыдиться. Мы чисты. Мы можем ходить с поднятой головой и всему свету честно глядеть в глаза.

Джулия нутром чувствовала, что эта реплика — под занавес, и, подкрепляя слова жестом, высоко держа голову, отступила к двери и распахнула ее настежь.

Сила ее таланта была так велика, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его и, обернувшись к Чарлзу, идущему за ней по пятам, сказала донельзя просто:

— Мою накидку.

— Машина ждет, — сказал он, закутывая ее. — Я отвезу вас домой.

— Нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своем сердце. Поцелуйте меня на прощание.

Она протянула ему губы. Чарлз поцеловал их, Джулия, подавив рыдание, вырвалась от него и, одним движением растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю.

Когда она добралась домой и очутилась в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения.

«Дура чертова. Так попасться. Слава Богу, я благополучно выпуталась. Он такой осел, что, верно, даже не додумался, куда я клоню». Но его застывшая улыбка все же приводила ее в смущение. «Ну

может, он и заподозрил, что тут нечисто, точно-то он знать не мог, а уж потом и совсем убедился, что ошибся. Господи, что я несла! Но все сошло в наилучшем виде, он все проглотил. Хорошо, что я вовремя спохватилась. Еще минута, и я бы скинула платье. Тут было бы не до шуток».

Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унизительная, она оказалась в дурацком положении, но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, во всем найдешь свою смешную сторону. Как жаль, что никому нельзя ничего рассказать! Пусть даже она выставила бы себя на посмешище, это такая великолепная история! Смириться она не могла с одним — с тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Конечно, это была только поза, ему нравилось выступать в роли верного воздыхателя, и, по-видимому, меньше всего он хотел, чтобы его верность была вознаграждена.

«Обвел меня вокруг пальца, втер очки, замазал глаза!»

Но тут Джулии пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, она склонна приходить к одному из двух заключений: или он гомосексуалист, или импотент. Джулия

задумчиво зажгла сигарету. Она спрашивала себя, не использовал ли ее Чарлз как ширму для прикрытия иных склонностей. Она покачала головой. Нет, уж на это кто-нибудь ей да намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом. А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. Бедный Чарлз! Джулия снова улыбнулась. Если таково положение вещей, не она, а он оказался в неловком и даже смешном положении. Он, должно быть, до смерти перепугался, бедный ягненочек. Ясно, это не из тех вещей, в которых мужчина охотно признается женщине, особенно если он безумно в нее влюблен. Чем больше Джулия об этом думала, тем более вероятным казалось ей это объяснение. Она почувствовала к Чарлзу прямо-таки материнскую жалость.

«Я знаю, что я сделаю, — сказала она, начиная раздеваться. — Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий».

Глава двадцать пятая

На следующее утро Джулия некоторое время полежала в постели, прежде чем позвонить. Она думала. Вспоминая свое вчерашнее приключение, она похвалила себя за то, что проявила такое присутствие духа. Сказать, что она вырвала победу из рук поражения, было бы преувеличением, но как стратегический маневр отход ее был мастерским. При всем том у нее на сердце кошки скребли. Могло быть еще одно объяснение странному поведению Чарлза. Вполне возможно, что она не соблазнила его просто потому, что больше не была соблазнительна. Джулия вдруг подумала об этом ночью. Тогда она тут же выбросила эту мысль из головы: нет, это невероятно; однако приходилось признать, что утром она показалась куда серьезней. Джулия позвонила. Поскольку Майкл часто заходил к ней в комнату, когда она завтракала в постели, Эви, раздвинув занавески, обычно подавала ей зеркальце, гребень, помаду и пудреницу. Сегодня, вместо того чтобы провести гребнем по волосам и почти не глядя обмахнуть лицо пуховкой, Джулия не пожалела труда. Она тщательно подкрасила губы, подрумянилась,

привела в порядок волосы.

— Говоря бесстрастно и беспристрастно, — сказала она, все еще глядя в зеркало, в то время как Эви ставила на постель поднос с завтраком, — как по-твоему, Эви, я — красивая женщина?

— Я должна знать, как это мне отольется, прежде чем отвечать на такой вопрос.

— Ах ты, чертовка! — вскричала Джулия.

— Ну, знаете, ведь красавицей вас не назовешь.

— Ни одна великая актриса не была красавицей.

— Ну, как вы вырядитесь в пух и прах, вроде как вчера вечером, да еще свет будет сзади, так и похуже вас найдутся.

(«Черта лысого это мне вчера помогло!»)

— Мне вот что интересно: если я вдруг очень захочу закрутить роман с мужчиной, как ты думаешь, я смогу?

— Зная, что такое мужчины, я бы не удивилась. А с кем вы сейчас хотите закрутить?

— Ни с кем. Я говорила вообще.

Эви шмыгнула носом.

— Не шмыгай носом. Если у тебя насморк, высморкайся.

Джулия медленно ела крутое яйцо. Ее голова

была занята одной мыслью. Она посмотрела на Эви. Старое пугало, но — кто знает?..

— А к тебе когда-нибудь приставали на улице, Эви?

— Ко мне? Пусть бы попробовали!

— Сказать по правде, я бы тоже хотела, чтобы кто-нибудь попробовал. Женщины вечно рассказывают, как мужчины преследуют их на улице, а если они останавливаются у витрины, подходят и стараются перехватить их взгляд. Иногда от них очень трудно отделаться.

— Мерзость, вот как я это называю.

— Ну, не знаю, по-моему, скорее лестно. И понимаешь, странно, но меня никто никогда не преследовал. Не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пытался ко мне приставать.

— Прогуляйтесь как-нибудь вечерком по Эдвард-роуд. Не отвяжетесь.

— И что мне тогда делать?

— Позвать полисмена, — мрачно ответила Эви.

— Я знаю одну девушку, так она стояла у витрины шляпного магазина на Бонд-стрит, и к ней подошел мужчина и спросил, не хочется ли ей купить шляпку. Очень, ответила она, и они вошли внутрь. Она выбрала себе шляпку, дала продавцу свое имя и адрес, и мужчина тут же расплатился

наличными. Тогда она сказала ему: «Большое спасибо», — и вышла, пока он дожидался сдачи.

— Это она вам так сказала. — Эви скептически шмыгнула носом, затем с удивлением поглядела на Джулию. — К чему вы все это клоните?

— Да ни к чему. Просто я подумала, почему это мужчины ко мне не пристают? Вроде бы «секс эпила» во мне достаточно.

А вдруг его и правда нет? Джулия решила проверить это на опыте.

В тот же день, после того как отдохнула, Джулия встала, накрасилась немного сильней, чем обычно, и, не позвав Эви, надела платье не совсем уж простое, но и не дорогое на вид и широкополую шляпу из красной соломки.

«Я не хочу быть похожей на уличную девку, — сказала она себе, глядя в зеркало. — С другой стороны, слишком респектабельный вид тоже не подойдет».

Она на цыпочках спустилась по лестнице, чтобы ее никто не услышал, тихонько прикрыла за собой входную дверь. Джулия немного нервничала, но волнение это было ей приятно; она чувствовала: то, что она затеяла, не лезет ни в какие ворота. Джулия пересекла Конот-сквер и вышла на Эдвард-роуд. Было около пяти часов

дня. Сплошной лентой тянулись автобусы, такси, грузовики, мимо них с риском для жизни прокладывали себе путь велосипедисты. Тротуары были забиты людьми. Джулия медленно двинулась в северном направлении. Сперва она шла, глядя прямо перед собой, не оборачиваясь ни направо, ни налево, но вскоре поняла, что так она ничего не добьется. Надо смотреть на людей, если хочешь, чтобы они смотрели на тебя. Два или три раза, увидев, что перед витриной стоят несколько человек, Джулия тоже останавливалась, но никто из них не обращал на нее никакого внимания. Она двигалась дальше. Прохожие обгоняли ее, шли навстречу. Казалось, все они куда-то спешат. Ее никто не замечал. Увидев одинокого мужчину, приближающегося к ней, Джулия смело посмотрела ему прямо в глаза, но он прошел мимо с каменным лицом. Может быть, у нее слишком суровое выражение? На губах Джулии запорхала легкая улыбка. Двое или трое мужчин подумали, что она улыбается им, и быстро отвели глаза. Джулия оглянулась на одного из них, он тоже оглянулся, но тут же ускорил шаг. Джулия почувствовала себя уязвленной и решила не глазеть больше по сторонам. Она шла все дальше и дальше. Ей часто приходилось слышать, что

лондонская толпа самая приличная в мире, но в данном случае это уж чересчур!

«На улицах Парижа, Рима или Берлина такое было бы невозможно», — подумала Джулия.

Джулия решила дойти до Мэрилибоун-роуд и повернуть обратно. Слишком унизительно возвращаться домой, когда на тебя ни разу никто даже не взглянул. Джулия шла так медленно, что прохожие иногда ее задевали. Это вывело ее из себя.

«Надо было пойти на Оксфорд-стрит, — подумала она. — Эта дура Эви! На Эдвард-роуд толку не будет».

Внезапно сердце Джулии торжествующе подпрыгнуло. Она поймала взгляд какого-то молодого человека, и ей показалось, что она заметила в нем огонек. Молодой человек прошел мимо, и она с трудом удержалась, чтобы не оглянуться. Джулия вздрогнула, так как через минуту он ее обогнал — на этот раз он уставился прямо на нее. Джулия скромно опустила ресницы. Он отстал на несколько шагов, но она чувствовала, что он следует за ней по пятам. Все в порядке. Джулия остановилась перед витриной, молодой человек — тоже. Теперь она знала, как себя вести. Джулия сделала вид, будто всецело поглощена товарами,

выставленными на витрине, но, прежде чем двинуться дальше, сверкнула на него своими слегка улыбающимися глазами. Молодой человек был невысок, в сером костюме и мягкой коричневой шляпе. Клерк или продавец скорее всего. Если бы Джулии предложили выбрать мужчину, который бы к ней пристал, она вряд ли остановила бы свой выбор на этом человеке, но что поделаешь, на безрыбье и рак рыба — пристать к ней собирался именно он. Джулия забыла про усталость. Ну а что теперь? Конечно, она не собирается заходить слишком далеко, но все же любопытно, какой будет его следующий шаг. Что он ей скажет? Джулия была в приятном возбуждении, у нее прямо камень с души свалился. Она медленно шла вперед, молодой человек — за ней. Джулия остановилась у витрины, на этот раз он остановился прямо позади нее. Ее сердце неистово билось. Похоже, что ее ждет настоящее приключение.

«Куда он меня поведет? В гостиницу? Вряд ли, это ему не по карману. Скорее, в кино. Вот будет забавно!»

Джулия посмотрела ему прямо в лицо, ее губы слегка улыбались. Молодой человек снял шляпу.

— Мисс Лэмберт, если не ошибаюсь?

Она так и подскочила. Сказать по правде, она

была захвачена врасплох и так растерялась, что даже не подумала это отрицать.

— Мне показалось, что я сразу узнал вас, вот почему я вернулся, чтобы убедиться наверняка. Я сказал себе: я буду не я, если это не Джулия Лэмберт. А тут мне совсем подвезло — вы остановились у витрины, и я смог вас разглядеть. Я почему только сомневался? Что встретил вас тут, на Эдвард-роуд. Не очень-то подходящее место для чистой публики. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Дело было еще более нечисто, чем он думал. Однако, раз он догадался, кто она, это теперь не имеет значения. И как она не подумала, что рано или поздно ее обязательно узнают. Судя по манере говорить, молодой человек — кокни; у него было бледное одутловатое лицо, но Джулия улыбнулась ему веселой дружеской улыбкой. Пусть не подумает, что она задирает нос.

— Простите, что я заговорил с вами, когда мы не знакомы и вообще, но я не мог упустить эту возможность. Не дадите ли вы мне ваш автограф?

У Джулии перехватило дыхание. И ради этого он следовал за ней целых десять минут! Быть не может. Это просто предлог, чтобы с ней заговорить. Что ж, она ему подыграет.

— С удовольствием. Но не могу же я писать на улице. Люди начнут пялить глаза.

— Верно. Слушайте, я как раз шел пить чай. В кондитерскую Лайонза, на следующем углу. Почему бы вам тоже не зайти выпить чашечку чаю?

Что ж, все идет как по маслу. Когда они выпьют чай, он, вероятно, пригласит ее в кино.

— Хорошо, — сказала Джулия.

Они двинулись по улице и вскоре подошли к кондитерской, сели за столик.

— Две чашки чаю, пожалуйста, мисс, — сказал молодой человек официантке и обратился к Джулии: — Может быть, съедите чего-нибудь? — И когда Джулия отказалась, добавил: — И одну ячменную лепешку, мисс.

Теперь Джулия могла как следует его рассмотреть. Низкий и коренастый, с прилизанными черными волосами, он был, однако, недурен, особенно хороши ей показались глаза; однако зубы у него были плохие, а бледная кожа придавала лицу нездоровый вид. Держался он довольно развязно, что не особенно-то нравилось Джулии, но, как она разумно рассудила, вряд ли можно ожидать особой скромности от человека, который пристает к женщинам на Эдвард-роуд.

— Давайте прежде всего напишем этот авто-

граф, э? «Не отходя от кассы» — вот мой девиз.

Он вынул из кармана перо, а из пухлого бумажника карточку.

— Карточка нашей фирмы, — сказал он. — Ничего, сойдет.

Джулии казалось глупым, что он все еще продолжает ломать комедию, но она благодушно расписалась на обратной стороне карточки.

— Вы собираете автографы? — спросила она с легкой усмешкой.

— Я? Нет. Чушь это, я так считаю. Моя невеста собирает. У нее уже есть Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс и бог весть кто еще. Хотите посмотреть на ее фото?

Молодой человек извлек из бумажника моментальный снимок девицы довольно дерзкого вида, показывающей все свои зубы в ослепительной кинематографической улыбке.

— Хорошенькая, — сказала Джулия.

— Еще бы! Идем с ней сегодня в кино. Вот удивится, когда я ей покажу ваш автограф. Как я вас узнал на улице, так перво-наперво сказал себе: умру, а достану для Гвен автограф Джулии Лэмберт. Мы с ней поженимся в августе, когда у меня будет отпуск, поедем на остров Уайт на медовый месяц. Ну и повеселюсь я сегодня. Она

ни в жисть не поверит, что мы с вами пили чай, а тут я покажу ей автограф. Ясно?

Джулия вежливо слушала его, но улыбка с ее лица исчезла.

— Боюсь, мне пора идти, — сказала она. — Я и так задержалась.

— У меня и самого немного времени. Раз я иду на свидание, хочу уйти из магазина минута в минуту.

Официантка принесла чек вместе с чаем, и, вставая из-за стола, Джулия вынула шиллинг.

— Это еще к чему? Неужто думаете, я дам вам платить? Я вас пригласил.

— Очень любезно с вашей стороны.

— Но я вам вот что скажу: разрешите мне привести мою невесту как-нибудь к вам в уборную. Просто поздоровайтесь с ней, и все. Она с ума сойдет от радости. Будет рассказывать всем встречным и поперечным до самой смерти.

За последние минуты обращение Джулии делалось все холоднее, а сейчас, хотя все еще любезное, казалось чуть ли не высокомерным.

— Я очень сожалею, но мы не пускаем посторонних людей за кулисы.

— Простите. Вы не в обиде, что я спросил, нет? Я хочу сказать, я ведь не для себя.

— Ничуть. Я вполне вас понимаю.

Джулия подозвала такси, медленно ползущее вдоль обочины, и подала руку молодому человеку.

— До свидания, мисс Лэмберт. Всего хорошего, желаю успеха и все такое. Спасибо за автограф.

Джулия сидела в уголке такси вне себя от ярости.

«Вульгарная скотина. Пропади он пропадом вместе со своей… невестой! Какая наглость! Спросить, нельзя ли привести ее за кулисы, и к кому? Ко мне!»

Дома она сразу поднялась к себе в комнату. Сорвала шляпу с головы и в сердцах швырнула ее на кровать. Подошла стремительно к туалетному столику и пристально посмотрела на себя в зеркало.

— Старуха, старуха, — пробормотала она. — С какой стороны ни посмотришь: у меня абсолютно нет «секс эпила». Невероятно, да? Противоречит здравому смыслу? Но как же иначе все это объяснить? Я вышагиваю из конца в конец всю Эдвард-роуд, и одетая, как надо для роли, и хоть бы один мужчина на меня взглянул, кроме этого мерзкого продавца, которому понадобился для его барышни мой автограф. Это нелепо. Бесполые

ублюдки! Не представляю, куда катится Англия. Британская империя, ха!

Последние слова были произнесены с таким презрением, которое могло бы испепелить весь кабинет министров. Джулия начала подкреплять слова жестами.

— Смешно предполагать, что я достигла бы своего положения, если бы во мне не было «секс эпила». Почему люди приходят в театр смотреть на актрису? Да потому, что им хотелось бы с ней переспать. Думаете, публика ходила бы три месяца подряд на эту дрянную пьесу, да так, что в зале яблоку упасть негде, если бы у меня не было «секс эпила»? Что такое, в конце концов, этот «секс эпил»?

Джулия приостановилась, задумчиво посмотрела на свое отражение.

«Бесспорно, я могу изобразить «секс эпил». Я могу изобразить все».

Джулия принялась перебирать в памяти актрис, которые пользовались скандальной славой секс-бомб. Особенно хорошо она помнила одну из них, Лидию Мейн, которую всегда ангажировали на амплуа обольстительниц-«вамп». Актриса она была неважная, но в определенных ролях производила огромный эффект. Джулия все-

гда прекрасно подражала, и вот она принялась копировать Лидию Мейн. Веки ее опустились, сладострастно прикрыли глаза, тело под платьем начало извиваться волнообразным движением. Взгляд стал соблазнительно бесстыдным, как у Лидии, змеившиеся жесты — манящими. Она заговорила, как и та, слегка растягивая слова, отчего каждая ее фраза казалась чуть непристойной.

— Ах, мой дорогой, я так часто слышу подобные вещи. Я не хочу вносить раздор в вашу семью. Почему мужчины не могут оставить меня в покое?

Это была безжалостная карикатура. Джулия не знала пощады. Ей стало так смешно, что она расхохоталась.

«Что ж, одно не вызывает сомнений: может, у меня и нет «секс эпила», но кто увидел бы, как я копирую Лидию Мейн, не нашел бы его потом и у нее».

У Джулии стало куда легче на душе.

Глава двадцать шестая

Начались репетиции и отвлекли растревоженные мысли Джулии в другую сторону. Старая пьеса, которую Майкл поставил, когда Джулия уезжала за границу, давала весьма средние сборы, но он предпочитал, чем закрывать театр, не снимать ее с репертуара, пока не будет готов их новый спектакль «Нынешние времена». Поскольку сам он два раза в неделю выступал днем, Майкл решил, что они не будут репетировать до упаду. У них был впереди целый месяц.

Хотя Джулия уже много лет играла в театре, репетиции по-прежнему приводили ее в радостный трепет, а на первой репетиции она так волновалась, что чуть не заболевала. Это было началом нового приключения. Она в это время совсем не ощущала себя ведущей актрисой театра, ей было тревожно и весело, словно она вновь молоденькая девушка, исполняющая свою первую крошечную роль. И вместе с тем она испытывала восхитительное чувство собственного могущества. Ей вновь предоставлялась возможность его проявить.

В одиннадцать часов Джулия поднялась на

сцену. Актеры праздно стояли кто где. Джулия расцеловалась с теми актрисами и пожала руки тем актерам, с которыми была знакома, Майкл учтиво представил ей тех, кого она не знала. Джулия сердечно приветствовала Эвис Крайтон. Сказала ей, какая она хорошенькая и как ей, Джулии, нравится ее новая шляпка, поведала о тех костюмах, которые выбрала для нее в Париже.

— Вы видели Тома в последнее время?

— Нет. Он уехал в отпуск.

— Ах так? Славный мальчик, правда?

— Душка.

Обе женщины улыбнулись, глядя в глаза друг другу. Джулия внимательно следила за Эвис, когда та читала свою роль, вслушивалась в ее интонации. Она хмуро улыбнулась. Конечно, другого она и не ждала. Эвис была из тех актрис, которые абсолютно уверены в себе с первой репетиции. Она и не догадывалась, что ей предстоит. Том теперь ничего не значил для Джулии, но с Эвис она собиралась свести счеты и сведет. Потаскушка!

Пьеса была современной версией «Второй миссис Тэнкори»[138], но поскольку у нового по-

---

[138] Примечания: 138

Пьеса Артура Уинга Пинеро (1855–1934), английского драматурга.

коления были и нравы другие, автор сделал из нее комедию. В нее были введены некоторые старые персонажи, во втором акте появлялся, уже дряхлым стариком, Обри Тэнкори. После смерти Полы он женился в третий раз. Миссис Кортельон решила вознаградить его за злосчастный второй брак; сама она превратилась к этому времени в сварливую и высокомерную старую даму. Элин, его дочь, и Хью Ардейл решили забыть прошлое — кто старое помянет, тому глаз вон — и заключили супружеский союз; казалось, трагическая смерть Полы стерла воспоминания о его экстрабрачных отношениях. Хью в этой пьесе был бригадный генерал в отставке, который играл в гольф и сетовал по поводу упадка Британской империи («Черт побери, сэр, была бы на то моя воля, я поставил бы всех этих проклятых социалистов к стенке»), а Элин, теперь уже далеко не молодая, превратилась из жеманной барышни в веселую, современную, злую на язык женщину. Персонажа, которого играл Майкл, звали Роберт Хамфри. Подобно Обри из пьесы Пинеро, он был вдовец и жил с единственной дочерью. В течение многих лет он был консулом в Китае; разбогатев, вышел в отставку и поселился в поместье, оставленном ему в наследство, неподалеку от того

места, где по-прежнему жили Тэнкори. Его дочь Онор (на роль которой как раз и взяли Эвис Крайтон) изучала медицину с целью практиковать в Индии. Растеряв всех старых друзей за много лет пребывания за границей и не заведя новых, Роберт Хамфри знакомится в Лондоне с известной дамой полусвета по имени миссис Мартен. Это была женщина того же пошиба, что Пола, но менее разборчивая; она «работала» летний и зимний сезон в Канне, а в промежутках жила в квартирке на Элбе-марл-стрит, где принимала офицеров бригады его величества. Она хорошо играла в бридж и еще лучше в гольф. Роль прекрасно подходила Джулии.

Автор почти не отходил от старого текста. Онор объявляет мистеру Хамфри, что отказывается от медицинской карьеры, так как она только что обручилась с молодым гвардейцем, сыном Элин, и до своего замужества собирается жить с отцом. В некотором замешательстве тот открывает ей свое намерение жениться на миссис Мартен. Онор принимает сообщение с полным спокойствием.

«Ты, конечно, знаешь, что она шлюха?» — хладнокровно произносит она.

Отец, еще более смущенный, говорит о несчастной жизни миссис Мартен и о том, как он хочет

вознаградить ее за страдания.

«Ах, не болтай чепухи, — отвечает ему дочь, — это великолепная работа, если только можешь ее иметь».

Сын Элин был одним из бесчисленных любовников миссис Мартен, точно так же, как муж Элин был в свое время любовником Полы Тэнкори. Когда Роберт Хамфри привозит свою новую жену в загородное поместье и этот факт обнаруживается, они решают, что следует сообщить обо всем Онор. К их ужасу, она и бровью не повела: ей уже было об этом известно.

«Я была страшно рада, когда узнала, — сказала она своей мачехе. — Понимаете, душечка, теперь вы можете сказать мне, хорош ли он в постели».

Это была лучшая мизансцена Эвис Крайтон: она продолжалась целых десять минут, и Майкл с самого начала понял, как она важна и эффектна. Холодная, сухая, миловидная Эвис — то самое, что здесь нужно. Но после нескольких репетиций Майкл стал подозревать, что ничего, кроме этого, она дать не сможет, и решил посоветоваться с Джулией.

— Как, по-твоему, Эвис?

— Трудно сказать. Еще слишком рано.

— Я расстроен из-за нее. Ты говорила, она ак-

триса. Пока я этого не вижу.

— Да это готовая роль. Ее просто невозможно испортить.

— Ты знаешь не хуже меня, что нет такой вещи, как готовая роль. Как бы роль ни была хороша, ее надо сыграть, из нее надо извлечь все, что в ней заложено. Может быть, лучше расстаться с Эвис, пока не поздно, и взять вместо нее кого-нибудь другого?

— Это не так просто. Я все же думаю, надо дать ей возможность себя показать.

— Она так неуклюжа, ее жесты так бессмысленны!

Джулия задумалась. У нее были все основания желать, чтобы Эвис осталась в числе исполнителей пьесы. Она уже достаточно ее изучила и была уверена, что, если ее уволить, она скажет Тому, будто Джулия сделала это из ревности. Том ее любит и поверит каждому ее слову. Еще, чего доброго, подумает, что Джулия преднамеренно нанесла ей оскорбление в отместку за его уход. Нет, нет, Эвис должна остаться. Она должна исполнить свою роль и провалить ее. Том должен собственными глазами увидеть, какая она никудышная актриса. Они с Эвис думали, будто пьеса поможет ей «выплыть на поверхность». Дураки!

Пьеса утопит ее.

— Ты же умелый режиссер, Майкл. Я уверена, ты сумеешь ее натаскать, если постараешься.

— В том-то и беда: она совсем не слушает указаний. Я объясняю ей, как надо произнести реплику, и — нате вам! — она опять говорит ее на свой лад. Ты не поверишь, но иногда у меня создается впечатление, что она воображает, будто все знает лучше меня.

— Ты ее нервируешь. Когда ты велишь ей что-нибудь сделать, она пугается и просто перестает соображать.

— Господи, да с кем легче работать, чем со мной! Я ни разу не сказал ей ни одного резкого слова.

Джулия нежно улыбнулась ему:

— И ты хочешь уверить меня, будто не догадываешься, что с ней?

— Нет. А что?

Майкл глядел на Джулию недоумевающим взглядом.

— Брось притворяться, милый. Она по уши в тебя влюблена.

— В меня? Да я думал, она помолвлена с Томом. Глупости. Твои вечные фантазии.

— Но это же видно невооруженным глазом. В конце концов, она не первая жертва твоей роко-

вой красоты и, думаю, не последняя.

— Видит Бог, я не хочу подкладывать свинью бедняге Тому.

— Ты-то в чем виноват?

— Так как же, по-твоему, мне поступить?

— Будь с ней ласков. Она еще так молода, бедняжка. Ей нужна рука помощи. Если бы ты прошел несколько раз роль только с ней одной, я уверена, вы сотворили бы чудеса. Почему бы тебе как-нибудь не пригласить ее к ленчу и не поговорить наедине?

Джулия увидела, что глаза Майкла чуть заблестели, на губах появилась тень улыбки: он обдумывал ее слова.

— Конечно, главное — чтобы пьеса прошла как можно лучше.

— Я понимаю, что для тебя это обуза, но ради пьесы… Право, стоит того.

— Ты же знаешь, Джулия, я ни за что на свете не хотел бы тебя расстраивать. Я бы с удовольствием выставил ее и взял кого-нибудь другого.

— Я думаю, это будет большой ошибкой. Я убеждена, что, если ты поработаешь с Эвис как следует, она прекрасно сыграет.

Майкл прошелся раза два взад-вперед по комнате. Казалось, он рассматривает вопрос со всех

сторон.

— Что ж, моя работа в том и заключается, чтобы заставить каждого исполнителя играть как можно лучше. И в каждом конкретном случае приходится искать самый правильный подход.

Майкл выдвинул подбородок и втянул живот. Выпрямил спину. Джулия поняла, что Эвис Крайтон останется в труппе. На следующий день на репетиции Майкл отвел Эвис в сторонку и долго с ней говорил. По его манере Джулия в точности знала, что именно, и, поглядывая искоса, вскоре заметила, как Эвис Крайтон улыбнулась и кивнула головой. Майкл пригласил ее на ленч. Джулия, успокоенная, углубилась в собственную роль.

Глава двадцать седьмая

Репетиции шли уже две недели, когда Роджер вернулся из Австрии. Он провел несколько недель на Коринфском озере и собирался пробыть в Лондоне день-два, а затем ехать к друзьям в Шотландию. Майкл должен был пообедать пораньше и уйти в театр, и встречала Роджера одна Джулия. Когда она одевалась, Эви, шмыгая, по обыкновению, носом, заметила, что уж она так старается, так старается выглядеть покрасивее, словно идет на свидание. Джулии хотелось, чтобы Роджер ею гордился, и действительно, она выглядела молоденькой и хорошенькой в своем летнем платье, когда ходила взад-вперед по платформе. Можно было подумать — и напрасно, — что она не замечает взглядов, обращенных на нее. Роджер, проведя месяц на солнце, сильно загорел, но от прыщей так и не избавился и казался еще более худым, чем когда уезжал из Лондона на Новый год. Джулия обняла его с преувеличенной нежностью. Он слегка улыбнулся.

Обедать они должны были вдвоем. Джулия спросила, куда он хочет потом пойти: в театр или в кино. Роджер ответил, что предпочел бы

остаться дома.

— Чудесно, — сказала она, — посидим с тобой, поболтаем.

У нее и правда был один предмет на уме, который Майкл просил ее обсудить с Роджером, если представится такая возможность. Совсем скоро он поступит в Кембридж, пора уже было решать, чем он хочет заняться. Майкл боялся, как бы он не потратил там попусту время, а потом пошел служить в маклерскую контору или еще, чего доброго, на сцену. Считая, что Джулия сумеет сделать это тактичнее и что она имеет больше влияния на сына, Майкл настоятельно просил ее нарисовать Роджеру, какие блестящие возможности откроются перед ним, если он пойдет на дипломатическую службу или займется юриспруденцией. Джулия была уверена, что на протяжении двух-трех часов разговора сумеет навести Роджера на эту важную тему. За обедом она пыталась расспросить сына о Вене, но он отмалчивался.

— Ну что я делал? То, что делают все остальные. Осматривал достопримечательности и усердно изучал немецкий. Шатался по пивным. Часто бывал в опере.

Джулия спросила себя, не было ли у него там

интрижек.

— Во всяком случае, невесты ты себе там не завел, — сказала она, надеясь вызвать его на откровенность.

Роджер кинул на нее задумчивый, чуть иронический взгляд. Можно было подумать, что он разгадал, что у нее на уме. Странно: родной сын, а ей с ним не по себе.

— Нет, — ответил он, — я был слишком занят, чтобы тратить время на такие вещи.

— Ты, верно, перебывал во всех театрах.

— Ходил раза два-три.

— Ничего не видел, что могло бы нам пригодиться?

— Знаешь, я совершенно забыл об этом.

Слова его могли показаться весьма нелюбезными, если бы не сопровождались улыбкой, а улыбка у него была премилая. Джулия снова с удивлением подумала, как это вышло, что сын унаследовал так мало от красоты отца и очарования матери. Рыжие волосы были хороши, но светлые ресницы лишали лицо выразительности. Один Бог знает, как он умудрился при таких родителях иметь неуклюжую, даже грузноватую фигуру. Ему исполнилось восемнадцать, пора бы уже ему стать стройнее. Он казался немного

апатичным, в нем не было ни капли ее бьющей через край энергии и искрящейся жизнерадостности. Джулия представляла, как живо и ярко она рассказывала бы о пребывании в Вене, проведи она там полгода. Даже из поездки на Сен-Мало к матери и тетушке Кэрри она состряпала такую историю, что люди плакали от хохота. Они говорили, что ее рассказ ничуть не хуже любой пьесы, а сама Джулия скромно полагала, что он куда лучше большинства из них. Она расписала свое пребывание в Сен-Мало Роджеру. Он слушал ее со своей медленной спокойной улыбкой, но у Джулии возникло неловкое чувство, что ему все это кажется не таким забавным, как ей. Джулия вздохнула про себя. Бедный ягненочек, у него, видно, совсем нет чувства юмора. Роджер сделал какое-то замечание, позволившее Джулии заговорить о «Нынешних временах». Она изложила ему сюжет пьесы, объяснила, как она мыслит себе свою роль, обрисовала занятых в ней актеров и декорации. В конце обеда ей вдруг пришло в голову, что она говорит только о своем. Как это вышло? У нее закралось подозрение, что Роджер сознательно направил разговор в эту сторону, чтобы избежать расспросов о себе и собственных делах. Нет, вряд ли. Он для этого недостаточно

умен. Позднее, когда они сидели в гостиной, курили и слушали радио, Джулия умудрилась наконец задать ему самым естественным тоном приготовленный заранее вопрос:

— Ты уже решил, кем ты хочешь быть?

— Нет еще. А что — это спешно?

— Ты знаешь, я сама в этом ничего не смыслю, но твой отец говорит, что если ты намерен быть адвокатом, тебе надо изучать в Кембридже юриспруденцию. С другой стороны, если тебе больше по вкусу дипломатическая служба, надо браться за современные языки.

Роджер так долго глядел на нее с привычной спокойной задумчивостью, что Джулии с трудом удалось удержать на лице шутливое, беспечное и вместе с тем нежное выражение.

— Если бы я верил в Бога, я стал бы священником, — сказал наконец Роджер.

— Священником?

Джулия подумала, что она ослышалась. Ее охватило острое чувство неловкости. Но его ответ проник в сознание, и, словно при вспышке молнии, она увидела сына кардиналом, в окружении подобострастных прелатов, обитающих в роскошном палаццо в Риме, где по стенам висят великолепные картины, затем — в образе святого

в митре и вышитой золотом ризе, милостиво раздающим хлеб беднякам. Она увидела себя в парчовом платье и жемчужном ожерелье. Мать Борджиа.

— Это годилось для шестнадцатого века, — сказала она. — Ты немножко опоздал.

— Да. Ты права.

— Не представляю, как это пришло тебе в голову. — Роджер не ответил. Джулия была вынуждена продолжать сама: — Ты счастлив?

— Вполне, — улыбнулся он.

— Чего же ты хочешь?

Он опять поглядел на мать приводящим ее в замешательство взглядом. Трудно было сказать, говорит ли он на самом деле всерьез, потому что в глазах у него поблескивали огоньки.

— Правды.

— Что, ради всего святого, ты имеешь в виду?

— Понимаешь, я прожил всю жизнь в атмосфере притворства. Я хочу добраться до истинной сути вещей. Вам с отцом не вредит тот воздух, которым вы дышите, вы и не знаете другого и думаете, что это воздух райских кущ. Я в нем задыхаюсь.

Джулия внимательно слушала, стараясь понять, о чем говорит сын.

— Мы — актеры, преуспевающие актеры, вот почему мы смогли окружить тебя роскошью с первого дня твоей жизни. Тебе хватит одной руки, чтобы сосчитать по пальцам, сколько актеров отправляли своих детей в Итон.

— Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали.

— Тогда за что же ты нас упрекаешь?

— Я не упрекаю вас. Вы дали мне все что могли. К несчастью, вы отняли у меня веру.

— Мы никогда не вмешивались в твою веру. Я знаю, мы не религиозны. Мы актеры, и после восьми спектаклей в неделю хочешь хотя бы в воскресенье быть свободным. Я, естественно, ожидала, что всем этим займутся в школе.

Роджер помолчал. Можно было подумать, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать.

— Однажды — мне было тогда четырнадцать, я был еще совсем мальчишкой — я стоял за кулисами и смотрел, как ты играла. Это была, наверное, очень хорошая сцена, твои слова звучали так искренно, так трогательно, что я не удержался и заплакал. Все во мне горело, не знаю, как тебе это получше объяснить. Я чувствовал необыкновенный душевный подъем. Мне было так жаль

тебя, я был готов на любой подвиг. Мне казалось, я никогда больше не смогу совершить подлость или учинить что-нибудь тайком. И надо же было тебе подойти к заднику сцены, как раз к тому месту, где я стоял. Ты повернулась спиной к залу — слезы все еще струились у тебя по лицу — и самым будничным голосом сказала режиссеру: «Что этот чертов осветитель делает с софитами? Я велела ему не включать синий». А затем, не переводя дыхания, снова повернулась к зрителям с громким криком, исторгнутым душевной болью, и продолжала сцену.

— Но, милый, это и есть игра. Если бы актриса испытывала все те эмоции, которые она изображает, она бы просто разорвала в клочья свое сердце. Я хорошо помню эту сцену. Она всегда вызывала оглушительные аплодисменты. В жизни не слышала, чтобы так хлопали.

— Да, я был, наверное, глуп, что попался на твою удочку. Я верил: ты думаешь то, что говоришь. Когда я понял, что это одно притворство, во мне что-то надломилось. С тех пор я перестал тебе верить. Во всем. Один раз меня оставили в дураках; я твердо решил, что больше одурачить себя не позволю.

Джулия улыбнулась ему прелестной обезору-

живающей улыбкой:

— Милый, тебе не кажется, что ты болтаешь чепуху?

— А тебе, конечно, это кажется. Для тебя нет разницы между правдой и выдумкой. Ты всегда играешь. Эта привычка — твоя вторая натура. Ты играешь, когда принимаешь гостей. Ты играешь перед слугами, перед отцом, передо мной. Передо мной ты играешь роль нежной, снисходительной, знаменитой матери. Ты не существуешь. Ты — это только бесчисленные роли, которые ты исполняла. Я часто спрашиваю себя: была ли ты когда-нибудь сама собой или с самого начала служила лишь средством воплощения в жизнь всех тех персонажей, которые ты изображала. Когда ты заходишь в пустую комнату, мне иногда хочется внезапно распахнуть дверь туда, но я ни разу не решился на это — боюсь, что никого там не найду.

Джулия быстро взглянула на сына. Ее била дрожь, от слов Роджера ей стало жутко. Она слушала внимательно, даже с некоторым волнением: он был так серьезен. Она поняла, что он пытается выразить то, что гнетет его много лет. Никогда в жизни еще Роджер не говорил с ней так долго.

— Значит, по-твоему, я просто подделка? Или шарлатан?

— Не совсем. Потому что это и есть ты. Подделка для тебя правда. Как маргарин — масло для людей, которые не пробовали настоящего масла.

У Джулии возникло ощущение, что она в чем-то виновата. Королева в «Гамлете»: «Готов твое я сердце растерзать, когда бы можно в грудь твою проникнуть». Мысли ее отвлеклись. («Да, наверное, я уже слишком стара, чтобы сыграть Гамлета. Сиддонс и Сара Бернар его играли. Таких ног, как у меня, не было ни у одного актера, которых я видела в этой роли. Надо спросить Чарлза, как он думает. Да, но там тоже этот проклятый белый стих. Глупо не написать «Гамлета» прозой. Конечно, я могла бы сыграть его по-французски в Comédie Française. Вот был бы номер!»)

Она увидела себя в черном камзоле и длинных шелковых чулках. «Увы, бедный Йорик». Но Джулия тут же очнулась.

— Ну, про отца ты вряд ли можешь сказать, что он не существует. Вот уже двадцать лет он играет самого себя. («Майкл подошел бы для роли короля, не во Франции, конечно, а если бы мы рискнули поставить «Гамлета» в Лондоне».)

— Бедный отец. Я полагаю, дело он свое знает,

но он не больно-то умен. И слишком занят тем, чтобы оставаться самым красивым мужчиной в Англии.

— Не очень это хорошо с твоей стороны так говорить о своем отце.

— Я сказал тебе что-нибудь, чего ты не знаешь? — невозмутимо спросил Роджер.

Джулии хотелось улыбнуться, но она продолжала хранить вид оскорбленного достоинства.

— Наши слабости, а не наши достоинства делают нас дорогими нашим близким, — сказала она.

— Из какой это пьесы?

Джулия с трудом удержалась от раздраженного жеста. Слова сами собой слетели с ее губ, но, произнеся их, она вспомнила, что они действительно из какой-то пьесы. Поросенок! Они были так уместны здесь.

— Ты жесток, — грустно сказала Джулия. Она все больше ощущала себя королевой Гертрудой. — Ты совсем меня не любишь.

— Я бы любил, если бы мог тебя найти. Но где ты? Если содрать с тебя твой эксгибиционизм, забрать твое мастерство, снять, как снимают шелуху с луковицы, слой за слоем притворство, неискренность, избитые цитаты из старых ролей и обрывки поддельных чувств, доберешься ли

наконец до твоей души? — Роджер посмотрел на нее серьезно и печально, затем слегка улыбнулся. — Но ты мне очень нравишься.

— Ты веришь, что я тебя люблю?

— Да. По-своему.

На лице Джулии внезапно отразилось волнение.

— Если бы ты только знал, как я страдала, когда ты болел. Не представляю, что бы со мной было, если бы ты умер.

— Ты продемонстрировала бы великолепное исполнение роли осиротевшей матери у гроба своего единственного сына.

— Ну, для великолепного исполнения мне нужно хоть несколько репетиций, — парировала она. — Ты не понимаешь одного: актерская игра не жизнь, это искусство, искусство же — то, что ты сам творишь. Настоящее горе уродливо; задача актера представить его не только правдиво, но и красиво. Если бы я действительно умирала, как умираю в полдюжине пьес, думаешь, меня заботило бы, достаточно ли изящны мои жесты и слышны ли мои бессвязные слова в последнем ряду галерки? Коль это подделка, то не больше, чем соната Бетховена, и я такой же шарлатан, как пианист, который играет ее. Жестоко говорить,

что я тебя не люблю. Я привязана к тебе. Тебя одного я только и любила в жизни.

— Нет, ты была привязана ко мне, когда я был малышом и ты могла со мной фотографироваться. Получался прелестный снимок, который служил превосходной рекламой. Но с тех пор ты не очень много обо мне беспокоилась. Я скорее был для тебя обузой. Ты всегда была рада видеть меня, но тебя вполне устраивало, что я могу сам себя занять и тебе не надо тратить на меня время. Я тебя не виню: у тебя никогда не было времени ни на кого, кроме самой себя.

Джулия начала терять терпение. Роджер был слишком близок к истине, чтобы это доставляло ей удовольствие.

— Ты забываешь, что дети довольно надоедливы.

— И шумны, — улыбнулся он. — Но тогда зачем же притворяться, что ты не можешь разлучаться со мной? Это тоже игра.

— Мне очень тяжело все это слышать. У меня такое чувство, будто я не выполнила своего долга перед тобой.

— Это неверно. Ты была очень хорошей матерью. Ты сделала то, за что я всегда буду тебе благодарен: ты оставила меня в покое.

— Не понимаю все же, чего ты хочешь.

— Я тебе сказал: правды.

— Но где ты ее найдешь?

— Не знаю. Возможно, ее вообще нет. Я еще молод и невежествен. Возможно, в Кембридже, читая книги, встречаясь с людьми, я выясню, где ее надо искать. Если окажется, что она только в религии, я пропал.

Джулия обеспокоилась. То, что говорил Роджер, не проникало по-настоящему в ее сознание, его слова нанизывались в строки, и важен был не смысл их, а доходили они или нет, но Джулия ощущала его глубокое волнение. Конечно, ему всего восемнадцать, было бы глупо принимать его слишком всерьез, она невольно думала, что он набрался этого у кого-нибудь из друзей и во всем этом много позы. А у кого есть собственные представления и кто не позирует, хоть самую чуточку? Но вполне возможно, сейчас он ощущает все, о чем говорит, и с ее стороны будет нехорошо отнестись к его словам слишком легко.

— Теперь мне ясно, что ты имеешь в виду, — сказала она. — Мое самое большое желание — чтобы ты был счастлив. С отцом я управлюсь — поступай как хочешь. Ты должен сам искать спасения своей души, это я понимаю. Но может

быть, твои мысли просто вызваны плохим самочувствием и склонностью к меланхолии? Ты был совсем один в Вене и, наверное, слишком много читал. Конечно, мы с отцом принадлежим к другому поколению и вряд ли во многом сумеем тебе помочь. Почему бы тебе не обсудить все эти вещи с кем-нибудь из ровесников? С Томом, например?

— С Томом? С этим несчастным снобом? Его единственная мечта в жизни — стать джентльменом, и он не видит, что чем больше он старается, тем меньше у него на это шансов.

— А я думала, он тебе нравится. Прошлым летом в Тэплоу ты бегал за ним как собачонка.

— Я ничего не имею против него. И он был мне полезен. Он рассказал мне кучу вещей, которые я хотел знать. Но я считаю его глупым и ничтожным.

Джулия вспомнила, какую безумную ревность вызывала в ней их дружба. Даже обидно, сколько муки она приняла зря.

— Ты порвала с ним, да? — неожиданно спросил Роджер.

Джулия чуть не подскочила.

— Более или менее.

— И правильно сделала. Он тебе не пара.

Роджер глядел на Джулию спокойными задумчивыми глазами, и ей чуть не стало дурно от страха: а вдруг он знает, что Том был ее любовником. Невозможно, говорила она себе, ей внушает это нечистая совесть. В Тэплоу между ними ничего не было. Невероятно, чтобы до ушей сына дошли какие-нибудь мерзкие слухи; и все же выражение его лица неуловимо говорило о том, что он знает. Джулии стало стыдно.

— Я пригласила Тома в Тэплоу только потому, что думала — тебе будет приятно иметь товарища твоего возраста.

— Мне и было приятно.

В глазах Роджера вспыхнули насмешливые огоньки. Джулия была в отчаянии. Ей бы хотелось спросить его, что его забавляет, но она не осмеливалась. Джулия была оскорблена в лучших чувствах. Она бы заплакала, но Роджер только рассмеется. И что она может ему сказать? Он не верит ни единому ее слову. Игра! С ней никогда этого не бывало, но на этот раз Джулия не смогла найти выхода из положения. Она столкнулась с чем-то, чего она не знала, чем-то таинственным и пугающим. Может, это и есть правда? И тут она услышала, что к дому подъехала машина.

— Твой отец! — воскликнула Джулия.

Какое облегчение! Вся эта сцена была невыносима, благодарение Богу, приезд Майкла положил ей конец. Через минуту в комнату стремительно вошел Майкл — подбородок выдвинут, живот втянут — невероятно красивый для своих пятидесяти с лишним лет, и с радушной улыбкой протянул руку — как мужчина мужчине — своему единственному сыну, вернувшемуся домой после шестимесячной отлучки.

Глава двадцать восьмая

Через три дня Роджер уехал в Шотландию. Джулия приложила всю свою изобретательность, чтобы больше не оставаться надолго с ним наедине. Когда они случайно оказывались вместе на несколько минут, они говорили о посторонних вещах. В глубине души Джулия была рада, что он уезжает. Она не могла выкинуть из ума тот странный разговор, который произошел в день его возвращения. Особенно встревожили Джулию его слова о том, что если она войдет в пустую комнату и кто-нибудь неожиданно откроет туда дверь, там никого не окажется. Ей было от этого не по себе.

«Я никогда не считала себя сногсшибательной красавицей, но в одном мне никто не отказывал — в моем собственном «я». Если я могу сыграть сто различных ролей на сто различных ладов, нелепо говорить, что у меня нет своего лица, индивидуальности. Я могу это сделать потому, что я — чертовски хорошая актриса».

Джулия попыталась вспомнить, что происходит, когда она входит одна в пустую комнату.

«Но я никогда не бываю одна, даже в пустой

комнате. Рядом всегда Майкл, или Эви, или Чарлз, или зрители, не во плоти, конечно, а духовно. Надо поговорить о Роджере с Чарлзом...»

К сожалению, Чарлза Тэмерли не было в городе. Однако он скоро должен был вернуться — к генеральной репетиции и премьере; за двадцать лет он ни разу не пропустил этих событий, а после генеральной репетиции они всегда вместе ужинали. Майкл задержится в театре, занятый освещением и всем прочим, и они с Чарлзом будут одни. Они смогут как следует поговорить.

Джулия готовила свою роль. Она не то чтобы сознательно лепила персонаж, который должна была играть. У нее был дар влезть, так сказать, в шкуру своей героини, она начинала думать ее мыслями и чувствовать ее чувствами. Интуиция подсказывала Джулии сотни мелких штрихов, которые потом поражали зрителей своей правдивостью, но когда Джулию спрашивали, откуда она их взяла, она не могла ответить. Теперь ей хотелось показать, что миссис Мартен, которая любила гольф и была своей в мужской компании, при всем ее кураже и кажущейся беззаботности по сути — респектабельная женщина из средних слоев общества, страстно мечтающая о замужестве, которое позволит ей твердо стоять на

ногах.

Майкл никогда не разрешал, чтобы на генеральную репетицию приходила толпа народу, а на этот раз, желая поразить публику во время премьеры, пустил в зал, кроме Чарлза, только тех людей — фотографа и костюмеров, — присутствие которых было абсолютно необходимо. Джулия играла вполсилы. Она не собиралась выкладываться и давать все, что она может, до премьеры. Сейчас достаточно, если ее исполнение будет просто профессионально. Под опытным руководством Майкла все шло без сучка без задоринки, и в десять вечера Джулия и Чарлз уже сидели в зале «Савоя». Первый вопрос, который она ему задала, касался Эвис Крайтон.

— Совсем недурна и на редкость хорошенькая. Во втором акте она прелестно выглядела в этом платьице.

— Я не хочу надевать на премьеру то платье, в котором была сегодня. Чарли Деверил сшил мне другое.

Чарлз не видел злорадного огонька, который сверкнул при этом в ее глазах, а если бы и видел, не понял бы, что он значит. Майкл, последовав совету Джулии, не пожалел усилий, чтобы натаскать Эвис. Он репетировал с ней одной у себя

в кабинете и вложил в нее каждую интонацию, каждый жест. У Джулии были все основания полагать, что он к тому же несколько раз приглашал ее к ленчу и возил ужинать. Все это дало свои результаты — Эвис играла на редкость хорошо. Майкл потирал руки.

— Я ею очень доволен. Уверен, что она будет иметь успех. Я уже подумываю, не заключить ли с ней постоянный контракт.

— Я бы пока не стала, — сказала Джулия. — Во всяком случае, подожди до премьеры. Никогда нельзя быть уверенным в том, как пойдет спектакль, пока не прокатишь его на публике.

— Она милая девушка и настоящая леди.

— «Милая девушка», вероятно, потому, что она от тебя без ума, а «настоящая леди» — так как отвергает твои ухаживания, пока ты не подпишешь с ней контракта?

— Ну, дорогая, не болтай глупостей. Да я ей в отцы гожусь!

Но при этом Майкл самодовольно улыбнулся. Джулия прекрасно знала, что все его ухаживания сводились к пожиманию ручек да одному-двум поцелуям в такси, но она знала также, что ему льстят ее подозрения в супружеской неверности.

Удовлетворив аппетит с соответствующей

оглядкой на интересы своей фигуры, Джулия приступила к предмету, который был у нее на уме.

— Чарлз, милый, я хочу поговорить с вами о Роджере.

— О да, он на днях вернулся. Как он поживает?

— Ах, милый, случилась ужасная вещь. Он стал страшным резонером, не знаю, как с ним и быть.

Джулия изобразила — в своей интерпретации — разговор с сыном. Опустила одну-две подробности, которые ей казалось неуместным упоминать, но в целом рассказ ее был точен.

— Самое трагическое в том, что у него абсолютно нет чувства юмора, — закончила она.

— Ну в конце концов, ему всего восемнадцать.

— Вы представить себе не можете, я просто онемела от изумления, когда он все это мне выложил. Я чувствовала себя в точности как Валаам, когда его ослица завязала светскую беседу.

Джулия весело взглянула на него, но Чарлз даже не улыбнулся. Ее слова не показались ему такими уж смешными.

— Не представляю, где он всего этого набрался. Нелепо думать, будто он своим умом дошел до этих глупостей.

— А вам не кажется, что мальчики этого возраста думают гораздо больше, чем представляем себе

мы, старшее поколение? Своего рода духовное возмужание. Результаты, к которым оно приводит, часто бывают удивительными.

— Таить такие мысли все эти годы и даже словечком себя не выдать! В этом есть что-то вероломное. Он ведь обвиняет меня. — Джулия засмеялась. — Сказать по правде, когда Роджер говорил со мной, я чувствовала себя матерью Гамлета. — Затем, почти без паузы: — Интересно, я уже слишком стара, чтобы играть в «Гамлете»?

— Роль Гертруды не слишком выигрышная.

Джулия откровенно расхохоталась:

— Ну и дурачок вы, Чарлз. Я вовсе не собираюсь играть королеву. Я бы хотела сыграть Гамлета.

— А вы считаете, что это подходит женщине?

— Миссис Сиддонс играла его, и Сара Бернар. Это бы скрепило печатью мою карьеру. Вы понимаете, что я хочу сказать? Конечно, там есть своя трудность — белый стих.

— Я слышал, как некоторые актеры читают его, — не отличишь от прозы.

— Да, но это все же не одно и то же, не так ли?

— Вы были милы с Роджером?

Джулию удивило, что Чарлз вернулся к старой теме так внезапно, но она сказала с улыбкой:

— Обворожительна.

— Трудно относиться спокойно ко всем глупостям молодежи; они сообщают, что дважды два — четыре, будто это для нас новость, и разочарованы, если мы не разделяем их удивления по поводу того, что курица несет яйца. В их тирадах полно ерунды, и все же там не только ерунда. Мы должны им сочувствовать, должны стараться их понять. Мы должны помнить, что многое нужно забыть и многому научиться, когда впервые лицом к лицу сталкиваешься с жизнью. Не так это легко — отказаться от своих идеалов, и жестокие факты нашего повседневного бытия — горькие пилюли. Душевные конфликты юности бывают очень жестоки, и мы так мало можем сделать, чтобы как-то помочь.

— Неужели вы действительно думаете, будто во всей этой чепухе, которую нес Роджер, хоть что-то есть? Я полагаю, это бредни; он наслушался их в Вене. Лучше бы мы его туда не отпускали.

— Возможно, вы и правы. Возможно, года через два он перестанет витать в облаках и стремиться к небесной славе, примирится с цепями. А возможно, найдет то, чего ищет, если не в религии, так в искусстве.

— Мне бы страшно не хотелось, чтобы Роджер пошел на сцену, если вы это имеете в виду.

— Нет, вряд ли это ему понравится.

— И само собой, он не может быть драматургом, у него совсем нет чувства юмора.

— Да, пожалуй, дипломатическая служба подошла бы Роджеру больше всего. Там это стало бы преимуществом.

— Так что вы мне советуете?

— Ничего. Не трогайте его. Это, вероятно, самое лучшее, что вы для него можете сделать.

— Но я не могу не волноваться.

— Для этого нет никаких оснований. Вы считали, что родили гадкого утенка; кто знает — настанет день, и он превратится в белокрылого лебедя.

Чарлз разочаровал Джулию, она хотела от него совсем другого. Она надеялась встретить у него сочувствие.

«Он стареет, бедняжка, — думала она. — Стал хуже разбираться в вещах и людях; он, наверное, уже много лет импотент. И как это я раньше не догадалась?»

Джулия спросила, который час.

— Пожалуй, мне пора идти. Надо как следует выспаться этой ночью.

Спала Джулия хорошо и проснулась с ощущением душевного подъема. Вечером премьера. Она с

радостным волнением вспомнила, что, когда она после репетиции уходила вчера из театра, у касс начали собираться люди, и сейчас, в десять часов утра, там, вероятно, уже стоят длинные очереди.

«Им повезло сегодня с погодой».

В прежние, такие далекие теперь времена Джулия невыносимо нервничала перед премьерой. Уже с утра ее начинало подташнивать, и по мере того как день склонялся к вечеру, она приходила в такое состояние, что начинала подумывать, не оставить ли ей театр. Но сейчас, пройдя через это тяжкое испытание столько раз, Джулия в какой-то степени закалилась. В первую половину дня она чувствовала себя счастливой и чуть-чуть взволнованной, лишь под вечер ей делалось немного не по себе. Она становилась молчаливой и просила оставить ее одну. Она становилась также раздражительной, и Майкл знал по горькому опыту, что в это время лучше не попадаться ей на глаза. Руки и ноги у нее холодели, а когда Джулия приезжала в театр, они превращались в ледышки. И все же тревожное ожидание, томившее ее, было ей даже приятно.

Утро у нее было свободно — ехать в театр на прогон всего спектакля без костюмов надо было лишь в полдень, поэтому встала она поздно. Май-

кл не появился к ленчу, так как должен был еще повозиться с декорациями, и Джулия ела одна. Затем легла и проспала, не просыпаясь, целый час. Она намеревалась отдыхать до самого спектакля. Мисс Филиппе придет в шесть, сделает ей легкий массаж; к семи Джулия хотела снова быть в театре. Но, проснувшись, она почувствовала себя такой свежей и отдохнувшей, что ей показалось скучно лежать в постели; она решила пойти погулять. Был прекрасный солнечный день. Так как городской пейзаж она предпочитала загородному и дома ей нравились больше, чем деревья, Джулия не пошла в парк, а стала медленно прогуливаться по соседним улицам, пустынным в это время года, глядя от нечего делать на особняки и думая, насколько их собственный нравится ей больше. У нее было спокойно и легко на душе. Наконец Джулия решила, что, пожалуй, пора возвращаться. Только она подошла к углу Стэнхоуп-плейс, как услышала голос, звавший ее по имени, не узнать который она не могла.

— Джулия!

Она обернулась, и Том, расплывшись в улыбке, догнал ее. Джулия не видела его еще после возвращения из Франции. Он был весьма элегантен, в нарядном сером костюме и коричневой шляпе.

Лицо покрывал густой загар.

— Я думала, тебя нет в Лондоне.

— Вернулся в понедельник. Не звонил, так как знал, что ты занята на последних репетициях. Я сегодня буду в театре. Майкл дал мне кресло в партере.

— Прекрасно.

Не вызывало сомнений, что он очень рад ее видеть. Он сиял, глаза его блестели. Джулия с удовлетворением отметила, что встреча с Томом не всколыхнула никаких чувств в ее душе. И в то время, как они продолжали разговор, задавалась про себя вопросом, что в нем раньше так глубоко волновало ее.

— С чего, ради всего святого, ты вздумала бродить одна по городу?

— Вышла подышать. Как раз собиралась возвращаться и выпить чаю.

— Пойдем выпьем чаю у меня.

Его квартира была за углом. Том заметил Джулию, когда подходил к своим дверям.

— Ты так рано вернулся с работы?

— Сейчас в конторе не особенно много дел. Знаешь, один из компаньонов умер около двух месяцев назад, и у меня увеличился пай. А это значит — мне все же удастся не расставаться с

квартирой. Майкл вел себя на редкость порядочно, сказал, что я могу не платить до лучших времен. Мне ужасно не хотелось уезжать отсюда. Заходи. Я с удовольствием приготовлю тебе чашку чаю.

Том болтал так оживленно, что Джулии стало смешно. Слушая его, никому бы и в голову не пришло, что между ними когда-нибудь что-нибудь было. В нем не заметно было ни малейшего смущения.

— Хорошо. Но у меня есть всего одна минута.

— О'кей.

Они свернули к его дому, Джулия первой пошла по узкой лестнице наверх.

— Проходи дальше, в гостиную, а я поставлю воду на огонь.

Джулия вошла в комнату и села. Огляделась. В этих стенах разыгралась трагедия ее жизни. Здесь ничего не изменилось. Ее фотография стояла на старом месте, но на каминной полке появилась еще одна — большой снимок Эвис Крайтон. На ней было написано: «Тому от Эвис». Чтобы увидеть все это, Джулии хватило одного взгляда. Комната казалась ей декорацией, в которой она когда-то давно играла; была знакома, но ничего больше не значила для нее. Любовь, которая

снедала ее, ревность, которую она подавляла, исступленный восторг поражения — все это было не более реально, чем любая из ее бесчисленных прошлых ролей. Джулия наслаждалась своим равнодушием. Вошел Том — в руках его была подаренная ею скатерть — и аккуратно расставил чайный сервиз, который тоже подарила она. Джулия и сама не понимала, почему при мысли, что он так вот бездумно пользуется всеми ее подарками, ее начал разбирать смех. Том принес чай, и они выпили его, сидя бок о бок на диване. Он продолжал рассказывать ей, насколько улучшилось его положение. Как всегда, стараясь быть любезным, он признался, что больший пай в фирме ему дали за то, что он привлек туда много новых клиентов, а это ему удалось только благодаря ей, Джулии. Рассказал, как провел отпуск. Джулии было ясно, что Том даже не подозревает, какие жгучие страдания он некогда ей причинял. От этого ей тоже захотелось рассмеяться.

— Я слышал, тебя ждет сегодня колоссальный успех.

— Неплохо бы, правда?

— Эвис говорит, вы оба, ты и Майкл, замечательно относитесь к ней. Смотри, как бы она тебя не обошла.

Том хотел ее подразнить, но Джулия спросила себя, уж не обмолвилась ли ему Эвис, что надеется на это.

— Вы обручены?

— Нет. Эвис нужна свобода. Она говорит, что помолвка помешает ее карьере.

— Чему? — Слово само собой сорвалось у Джулии с губ, но она тут же поправилась: — Ах да, ясно.

— Естественно, я не хочу стоять у нее на пути. Вдруг после сегодняшней премьеры она получит приглашение в Америку? Конечно, я понимаю, ничто не должно помешать ей его принять.

Ее карьера! Джулия улыбнулась про себя.

— Знаешь, я и вправду думаю: ты молодец, что так ведешь себя по отношению к Эвис.

— Почему?

— Ну, тебе самой известно, что такое женщины.

Говоря это, Том обнял ее за талию и поцеловал. Джулия рассмеялась ему в лицо:

— Ну и забавный ты мальчик!

— Может, позанимаемся немного любовью?

— Не болтай глупостей.

— Что в этом глупого? Тебе не кажется, что мы и так слишком долго были в разводе?

— Я за полный развод. И как же Эвис?

— Ну, это другое. Пойдем, а?

— У тебя совсем выскочило из памяти, что у меня сегодня премьера?

— У нас еще куча времени.

Том привлек ее к себе и снова нежно поцеловал. Джулия глядела на него насмешливыми глазами. Внезапно решилась:

— Хорошо.

Они поднялись и пошли в спальню. Джулия сняла шляпу и сбросила платье. Том обнял ее, как обнимал раньше. Он целовал ее закрытые глаза и маленькие груди, которыми она так гордилась. Джулия отдала ему свое тело — пусть делает с ним что хочет, — но душу ее это не затрагивало. Она возвращала ему поцелуи из дружелюбия, но поймала себя на том, что думает о роли, которую ей сегодня предстоит играть. В ней словно сочетались две женщины: любовница в объятиях своего возлюбленного и актриса, которая уже видела мысленным взором огромный полутемный зал и слышала взрывы аплодисментов при своем появлении. Когда немного позднее они лежали рядом друг с другом, ее голова на его руке, Джулия настолько забыла о Томе, что чуть не вздрогнула, когда он прервал затянувшееся молчание.

— Ты меня совсем не любишь больше?

Она слегка прижала его к себе:

— Конечно, люблю, милый. Души не чаю.

— Ты сегодня такая странная.

Джулия поняла, что он разочарован. Бедняжка, она вовсе не хочет его обижать. Право же, он очень милый.

— Я сама не своя, когда у меня впереди премьера. Не обращай внимания.

Окончательно убедившись, что ей ни жарко ни холодно от того, существует Том или нет, Джулия невольно почувствовала к нему жалость. Она ласково погладила его по щеке:

— Леденчик мой. — «Интересно, не забыл ли Майкл послать тем, кто стоит в очереди, горячий чай? Стоит это недорого, а зрители так это ценят». — Знаешь, мне и правда пора. Мисс Филиппе придет ровно в шесть. Эвис с ума сойдет. Она и так, верно, голову себе ломает, что со мной стряслось.

Джулия весело болтала все время, пока одевалась. Она видела, не глядя на Тома, что он не в своей тарелке. Джулия надела шляпу, затем сжала его лицо обеими руками и дружески поцеловала.

— До свидания, мой ягненочек. Надеюсь, ты

хорошо проведешь вечер.

— Ни пуха ни пера.

Он неловко улыбнулся. Она догадалась, что он не может ее понять. Джулия выскользнула из квартиры, и, если бы она не была ведущей английской актрисой и женщиной, которой далеко за сорок, она бы проскакала на одной ножке до самого дома. Она была страшно довольна. Джулия открыла парадную дверь своим ключом и захлопнула ее за собой.

«А в словах Роджера, пожалуй, что-то есть. Любовь и вправду не стоит всего того шума, который вокруг нее поднимают».

Глава двадцать девятая

Четыре часа спустя все было уже позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала; публика, самый бомонд, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить. Это было удачным началом театрального сезона. Каждый акт завершался бурными аплодисментами. После окончания спектакля было больше десяти вызовов. На последние два Джулия выходила одна, и даже она была поражена горячим приемом. Прерывающимся от волнения голосом она произнесла несколько слов, — приготовленных заранее, — которых требовал этот торжественный случай. Затем на сцену вышла вся труппа, и оркестр заиграл национальный гимн. Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще не играла с таким блеском, разнообразием и изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия — удалившаяся на покой проститутка — клеймит легкомыслие, никчемность и амо-

ральность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Монолог занимал в тексте целые две страницы, и вряд ли в Англии нашлась бы еще актриса, которая могла бы удержать внимание публики в течение такого долгого времени. Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками прекрасному голосу, мастерскому владению всей палитрой чувств, Джулия сумела, при ее блестящей актерской технике, сотворить чудо — превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими, никакая, самая неожиданная развязка — столь поразительной. Все актеры играли превосходно, за одним исключением — Эвис Крайтон.

Направляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос.

Майкл зашел почти вслед за ней.

— Что ж, победа за нами, — сказал он и, обняв Джулию, поцеловал ее. — Господи, как ты играла!

— Ты и сам был очень хорош, милый.

— Ну, такую роль я могу сыграть, стоя на голове, — ответил он беззаботно, как всегда скромный

в отношении собственных возможностей. — Ты слышала, какая тишина была в зале во время твоего последнего монолога? Критики будут сражены.

— Ну, ты знаешь, что такое критики. Все внимание чертовой пьесе и три строчки под конец — мне.

— Ты — величайшая актриса Англии, любимая, но, клянусь Богом, ты — ведьма.

Джулия широко открыла глаза, на ее лице было самое простодушное удивление.

— Что ты хочешь этим сказать, Майкл?

— Не изображай из себя невинность. Ты прекрасно знаешь. Старого воробья на мякине не проведешь.

Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха.

— Я невинна, как новорожденный младенец.

— Брось. Если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку, так это ты сегодня — Эвис. Я не мог на тебя сердиться, ты так красиво это сделала.

Тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Похвала всегда приятна артисту. Единственная большая мизансцена Эвис была во втором акте. Кроме нее, в ней участвовала

Джулия, и Майкл поставил сцену так, что все внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке. Это соответствовало и намерению драматурга. Джулия, как всегда, следовала на репетициях всем указаниям Майкла. Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выступала на генеральной репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое, из сверкающей серебряной парчи, и, к удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте. Его блеск и то, как оно отражало свет, отвлекало внимание зрителей. Голубое платье Эвис выглядело рядом с ним линялой тряпкой. Когда они подошли к главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то — как фокусник вынимает из шляпы кролика — большой платок из пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его у себя на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в него. Зрители, как завороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута. Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики,

Эвис приходилось обращаться к залу спиной, а когда они сидели вместе на диване, взяла девушку за руку, словно бы повинуясь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось зрителям, движением и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немного похожа на овцу. Автор вложил в уста Эвис строки, которые были так забавны, что на первой репетиции все актеры покатились со смеху. Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинула ей ответную реплику; зрители, желая услышать ее, подавили свой смех. Сцена, задуманная как чисто комическая, приобрела сардонический оттенок, и персонаж, которого играла Эвис, стал выглядеть одиозным. Эвис, не слыша ожидаемого смеха, от неопытности испугалась и потеряла над собой контроль, голос ее зазвучал жестко, жесты стали неловкими. Джулия отобрала у Эвис мизансцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний удар был случаен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек; этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение: она поглядела на Эвис

встревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатились по ее щекам. Вы чувствовали, что она сгорает со стыда за ветреную девицу, вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, ее жажда честной, добродетельной жизни осмеиваются столь жестоко. Весь эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. С Эвис было покончено навсегда.

— А я, дурак, еще хотел подписать с ней контракт, — сказал Майкл.

— Почему бы и не подписать…

— Когда ты имеешь против нее зуб? Да ни за что. Ах ты, гадкая девчонка, — так ревновать! Неужели ты думаешь, Эвис что-нибудь для меня значит? Могла бы уже знать, что для меня нет на свете никого, кроме тебя.

Майкл вообразил, что Джулия сыграла свою злую шутку с Эвис в отместку за довольно бурный флирт, который он с ней завел, и хотя, конечно, сочувствовал Эвис — ей чертовски не повезло! — не мог не быть польщенным.

— Ах ты, старый осел, — улыбнулась Джулия, слово в слово читая его мысли и смеясь про себя над его заблуждением. — В конце концов, ты

— самый красивый мужчина в Лондоне.

— Полно, полно. Но что скажет автор? Эта мартышка бог весть что мнит о себе, а то, что ты сегодня сыграла, и рядом не лежит с тем, что он написал.

— А, предоставь его мне! Я все улажу.

Послышался стук, и — легок на помине — в дверях возник автор собственной персоной. С восторженным криком Джулия подбежала к нему, обвила его шею руками и поцеловала в обе щеки.

— Вы довольны?

— Похоже, что пьеса имела успех, — ответил он довольно холодно.

— Дорогой мой, она не сойдет со сцены и через год. — Джулия положила ладони ему на плечи и пристально посмотрела в лицо. — Но вы гадкий, гадкий человек!

— Я?

— Вы едва не погубили мое выступление. Когда я дошла до этого местечка во втором акте и вдруг поняла, что вы имели в виду, я чуть не растерялась. Вы же знали, что это за сцена, вы — автор, почему же вы позволили нам репетировать ее так, будто в ней нет ничего, кроме того, что лежит на поверхности? Мы только актеры, вы не

можете ожидать от нас, чтобы мы… чтобы мы постигли всю вашу тонкость и глубину. Это лучшая мизансцена в пьесе, а я чуть было не испортила ее. Никто, кроме вас, не написал бы ничего подобного. Ваша пьеса великолепна, но в этой сцене виден не просто талант, в ней виден гений!

Автор покраснел. Джулия глядела на него с благоговением. Он чувствовал себя смущенным, счастливым и гордым.

(«Через сутки этот олух будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал».)

Майкл сиял.

— Зайдемте ко мне, выпьем по бокальчику виски с содовой. Не сомневаюсь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний.

В то время как они выходили из комнаты, вошел Том. Его лицо горело от возбуждения.

— Дорогая, это было великолепно! Ты поразительна! Черт, вот это спектакль!

— Тебе понравилось? Эвис была хороша, правда?

— Эвис? Ужасна.

— Милый, что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной.

— Да от нее осталось одно мокрое место! Во втором акте она даже не выглядела хорошень-

кой. — «Карьера Эвис!» — Послушай, что ты делаешь вечером?

— Долли устраивает прием в нашу честь.

— Ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной? Я с ума по тебе схожу.

— Что за чепуха! Не могу же я подложить Долли такую свинью.

— Ну пожалуйста!

В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания, и порадовалась своему триумфу. Но она решительно покачала головой. В коридоре послышался шум множества голосов: они оба знали, что в уборную, обгоняя друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее.

— Черт их всех подери! Как мне хочется тебя поцеловать! Я позвоню утром.

Дверь распахнулась, и Долли, толстая, потная, бурлящая энтузиазмом, ворвалась в уборную во главе толпы, забившей комнату так, что в ней нечем стало дышать. Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Среди прочих присутствующих там были три или четыре известные актрисы, и они тоже не скупились на похвалы. Джулия выдала прекрасное исполнение неподдельной скромности. Теперь уже и коридор был

забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. Долли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу.

— Постарайтесь прийти не очень поздно, — сказала она Джулии. — Вечер должен быть изумительным.

— Приду сразу же, как смогу.

Наконец удалось избавиться от последних посетителей, и Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате.

— Послушай, Джулия, придется тебе идти к Долли без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, и я не успею управиться. Ну и наплету я им!

— Ладно.

— Меня уже ждут. Увидимся утром.

Майкл вышел, в комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия намазала лицо очищающим кремом.

— Эви, завтра утром мне будет звонить мистер Феннел. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома.

Эви поймала в зеркале взгляд Джулии.

— А если он позвонит снова?

— Мне очень жаль обижать бедного ягненочка, но почему-то кажется, что все ближайшее время

я буду очень занята.

Эви громко шмыгнула носом и подтерла его указательным пальцем. Отвратительная привычка!

— Понятно, — сухо сказала она.

— Я всегда говорила, что ты не так глупа, как кажешься. Зачем тут это платье?

— Это? Вы же говорили, что наденете его на прием.

— Убери его. Я не могу идти на прием без мистера Госселина.

— С каких это пор?

— Заткнись, старая карга. Позвони туда и скажи, что у меня ужасно разболелась голова и я вынуждена была уехать домой и лечь, а мистер Госселин придет попозже, если сможет.

— Прием устроен в вашу честь. Неужели вы так подведете несчастную старуху?

Джулия топнула ногой:

— Я не хочу идти на прием и не пойду!

— Дома пусто, вам нечего будет есть.

— Я не собираюсь ехать домой. Я поеду ужинать в ресторан.

— С кем?

— Одна.

Эви изумленно взглянула на нее.

— Но пьеса имела успех, так ведь?

— Да. Все было прекрасно. Я на седьмом небе от счастья. Мне очень хорошо. Я хочу быть одна и полностью этим насладиться. Позвони к Баркли и скажи, чтобы мне оставили столик на одного в малом зале. Они поймут.

— Что с вами такое?

— У меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намерена ее делить.

Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась. Снова надела коричневый костюм, в котором пришла в театр, и ту же шляпу. Это была фетровая шляпа с полями, и Джулия низко надвинула ее, чтобы получше прикрыть лицо. Одевшись, посмотрела в зеркало.

— Я похожа на портниху со швейной фабрики, которую бросил муж, — и кто его обвинит? Не думаю, чтоб меня узнали.

Эви ходила звонить к служебному входу, и, когда она вернулась, Джулия спросила, много ли народу поджидает ее на улице.

— Сотни три.

— Черт! — Джулию охватило внезапное желание никого не видеть и ни с кем не встречаться. Захотелось хоть на один час скрыться от своей славы. — Попроси пожарника, чтобы выпустил

меня с парадного входа. Я возьму такси, а как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно.

— Один Бог знает, с чем только мне не приходится мириться, — туманно произнесла Эви.

— Ах ты, старая корова!

Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловала ее в испитые щеки, затем выскользнула тихонько из комнаты на сцену, а оттуда — через пожарный ход в темный зал.

Незатейливый маскарадный костюм Джулии, по-видимому, оказался достаточным, потому что, когда она вошла в малый зал у Баркли, который особенно любила, метрдотель не сразу ее узнал.

— У вас не найдется уголка, куда бы вы могли меня сунуть? — неуверенно произнесла Джулия.

Ее голос и вторично брошенный взгляд сказали ему, кто она.

— Ваш столик ждет вас, мисс Лэмберт. Нам передали, что вы будете одни. — Джулия кивнула, и он провел ее к столику в углу зала. — Я слышал, что вы имели большой успех сегодня, мисс Лэмберт.

Хорошие вести не лежат на месте!

— Что будем заказывать?

Метрдотель был удивлен тем, что Джулия ужи-

нала одна, но единственное чувство, которое он считал уместным показывать клиентам, было удовольствие, которое он испытывал, видя их.

— Я очень устала, Анджело.

— Немного икры для начала, мадам, или устрицы?

— Устрицы, Анджело, только жирные.

— Я собственноручно их отберу, мисс Лэмберт, а потом?

Джулия глубоко вздохнула — наконец-то она могла с чистой совестью заказать то, о чем мечтала с самого конца второго акта. Она чувствовала, что заслужила хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф, и собиралась в кои-то веки забыть о благоразумии.

— Бифштекс с луком, Анджело, жареный картофель и бутылку басса[139]. Принесите его в серебряной кружке с крышкой.

Джулия не ела жареного картофеля, пожалуй, лет десять. Но этот день стоил того. Ей удалось утвердить свою власть над публикой, дав представление, которое она не могла назвать иначе как блестящим, свести старые счеты, одним остроумным ходом избавившись от Эвис и показав

---

[139] Примечания: 139
Сорт пива.

Тому, какого он свалял дурака, и — это было самое главное — доказать себе, что она свободна от раздражавших и подавлявших ее пут. Везет так уж везет. Мысли ее на миг задержались на Эвис.

— Дурочка, захотела сунуть мне палку в колеса. Ладно, завтра я позволю публике посмеяться.

Принесли устрицы; Джулия лакомилась ими с наслаждением. Она съела два куска черного хлеба с маслом с восхитительным чувством, что губит свою бессмертную душу, и отпила большой глоток из высокой пивной кружки.

— «О пиво, славное пиво!»[140] — пробормотала Джулия.

Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает. Бедный Майкл! Воображает, будто она испортила мизансцену Эвис из-за того, что он проявил слишком большое внимание к этой блондиночке. Право, жалость берет, когда подумаешь, как глупы мужчины. Говорят, женщины тщеславны; да они просто сама скромность по сравнению с мужчинами. Джулия не могла без смеха думать о Томе. Он хотел ее сегодня днем и еще больше — сегодня вечером. Только подумать, что он значит теперь

[140] Примечания: 140

Начало стихотворения «Пиво» Чарлза С. Коверли (1831–1884), английского поэта.

для нее не больше, чем один из рабочих сцены. Как замечательно чувствовать, что твое сердце принадлежит тебе одной, это вселяет такую веру в себя.

Зал, в котором она сидела, был соединен тремя арочными проходами с большим залом ресторана. Среди наполнявшей его толпы, несомненно, были люди, видевшие ее сегодня в театре. Вот бы удивились они, узнай, что тихая женщина, лицо которой наполовину скрыто полями фетровой шляпы, за столиком в уголке соседней комнаты, — Джулия Лэмберт. Было так приятно сидеть тут незамечаемой и неизвестной, это давало сладостное ощущение независимости. Теперь посетители ресторана были актерами, разыгрывающими перед ней пьесу, а она — зрителем. Джулия видела их мельком, когда они проходили мимо арок: молодые мужчины и молодые женщины; молодые мужчины и немолодые женщины; мужчины с лысиной, с брюшком; старые греховодницы, отчаянно цепляющиеся за раскрашенную личину юности, надетую ими на себя. Одни были влюблены, другие — равнодушны, третьи сгорали от ревности.

Подали бифштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу, с подрумяненным хрустящим луком.

Джулия ела жареный картофель, деликатно держа его пальцами, смакуя каждый ломтик, с таким видом, словно хотела воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!»

«Что такое любовь по сравнению с бифштексом?» — спросила себя Джулия. Как восхитительно было сидеть одной и бесцельно переходить мыслями с предмета на предмет. Джулия вновь подумала о Томе и пожала в душе плечами: «Это было забавное приключение и кое-что мне дало». Несомненно, в будущем она извлечет из него пользу. Фигуры танцоров, двигающихся мимо полукруглых проходов, напоминали ей сцену из пьесы, и Джулия вновь подумала о том, что впервые пришло ей в голову, когда она гостил а на Сен-Мало. Та мука, которая терзала ее, когда Том ее бросил, привела ей на память «Федру» Расина[141], которую она разучивала в ранней юности с Жанной Тэбу. Джулия перечитала трагедию. Страдания, поразившие супругу Тезея, были те же, что поразили и ее. Джулия не могла не видеть удивительного сходства между своей

[141] Примечания: 141

Согласно греческой мифологии, Федра, дочь критского царя Миноса, супруга Тезея, оклеветала перед Тезеем своего пасынка Ипполита, который отверг ее любовь, и после его насильственной смерти повесилась.

и ее судьбой. Эта роль была создана для нее; уж кому, как не ей, знать, что такое быть отвергнутой юношей намного моложе тебя, когда ты его любишь. Вот это было бы представление! Теперь Джулия понимала, почему весной играла так плохо, что Майкл предпочел снять пьесу и закрыть театр. Это произошло из-за того, что она на самом деле испытывала те чувства, которые должна была изображать. От этого мало проку. Сыграть чувства можно только после того, как преодолеешь их. Джулия вспомнила слова Чарлза, как-то сказавшего ей, что поэзия проистекает из чувств, которые понимаешь тогда, когда они позади, и становишься безмятежен. Она ничего не смыслит в поэзии, но в актерской игре дело обстоит именно так.

«Неглупо со стороны бедняжки Чарлза дойти до такой оригинальной мысли. Вот как неверно поспешно судить о людях. Думаешь, что аристократы — куча кретинов, и вдруг один из них выдаст такое, что прямо дух захватывает, так это чертовски хорошо».

Но Джулия всегда считала, что Расин совершает большую ошибку, выводя свою героиню на сцену лишь в третьем акте.

«Конечно, я такой нелепости не потерплю, если

возьмусь за эту роль. Пол-акта, чтобы подготовить мое появление, если хотите, но и этого более чем достаточно».

И правда, что ей мешает заказать кому-нибудь из драматургов вариант на эту тему, в прозе или в стихах, только чтобы строчки были короткие. С такими стихами она бы справилась, и с большим эффектом. Неплохая идея, спору нет, и она знает, какой костюм надела бы: не эту развевающуюся хламиду, которой обматывала себя Сара Бернар, а короткую греческую тунику, какую она видела однажды на барельефе, когда ходила с Чарлзом в Британский музей.

«Ну, не забавно ли? Идешь во все эти музеи и галереи и думаешь: ну и скучища, а потом, когда меньше всего этого ждешь, обнаруживаешь, что можешь использовать какую-нибудь вещь, которую ты там увидел. Это доказывает, что живопись и все эти музеи — не совсем пустая трата времени».

Конечно, с ее ногами только и надевать тунику, но удастся ли в ней выглядеть трагически? Джулия две-три минуты серьезно обдумывала этот вопрос. Когда она будет изнывать от тоски по равнодушному Ипполиту (Джулия хихикнула, представив себе Тома в его костюмах с Сэвил-роу,

замаскированного под юного греческого охотника), удастся ли ей добиться соответствующего эффекта без кучи тряпок? Эта трудность лишь подстегнула ее. Но тут Джулии пришла в голову мысль, от которой настроение ее сразу упало.

«Все это прекрасно, но где взять хорошего драматурга? У Сары был Сарду[142], у Дузе — Д'Аннунцио[143]. А кто есть у меня? «У королевы Шотландии прекрасный сын, а я — смоковница бесплодная»[144].

Однако Джулия не допустила, чтобы эта печальная мысль надолго лишила ее безмятежности. Душевный подъем был так велик, что она чувствовала себя способной создавать драматургов из ничего, как Девкалион создавал людей из камней, валявшихся на поле[145].

---

[142] Примечания: 142

Сарду, Викторьен (1831–1908) — французский драматург.

[143] Примечания: 143

Д'Аннунцио, Габриэль (1863–1938) — итальянский писатель.

[144] Примечания: 144

Перефразированные слова королевы Елизаветы I, приведенные в «Мемуарах сэра Джеймса Мелвилла», деятеля эпохи Реформации.

[145] Примечания: 145

Девкалион в греческой мифологии — сын Прометея, супруг Пирры, вместе с нею спасся на ковчеге во время потопа, который должен был по воле Зевса погубить греховный род человеческий. Ковчег после потопа остановился на горе Парнас. Новый род людской возник из брошенных по воле оракула Девкалионом и Пиррою за спину камней.

«О какой это ерунде толковал на днях Роджер? А бедный Чарлз еще так серьезно отнесся к этому. Глупый маленький резонер, вот он кто».

Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмостки, где разыгрывается представление.

«Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры»[146]. Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия, лишь мы, артисты, реальны в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди — наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение — быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они инструменты, на которых мы играем, а для чего нужен инструмент, если на нем некому играть?»

Эта мысль развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала ее; собственный ум казался ей удивительно ясным.

«Роджер утверждает, что мы не существуем. Как раз наоборот, только мы и существуем. Они тени,

---

[146] Примечания: 146
Шекспир, Вильям. «Как вам это нравится».

мы вкладываем в них телесное содержание. Мы — символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реален. Говорят: игра — притворство. Это притворство и есть единственная реальность».

Так Джулия своим умом додумалась до платоновской теории «идей». Это преисполнило ее торжества. Джулия ощутила, как ее внезапно залила горячая волна симпатии к этой огромной безымянной толпе, к публике, которая существует лишь затем, чтобы дать ей возможность выразить себя. Вдали от всех, на вершине своей славы, она рассматривала кишащий у ее ног, далеко внизу, людской муравейник. У нее было удивительное чувство свободы от всех земных уз, и это наполняло ее таким экстазом, что все остальное по сравнению с ним не имело цены. Джулия ощущала себя душой, витающей в райских кущах.

К ней подошел метрдотель и спросил с учтивой улыбкой:

— Все в порядке, мисс Лэмберт?

— Все великолепно. Знаете, просто удивительно, какие разные у людей вкусы. Миссис Сиддонс обожала отбивные котлеты; я в этом на нее ни капельки не похожа, я обожаю бифштекс.

Острие бритвы

Трудно пройти по острию бритвы; так же труден, говорят мудрецы, путь, ведущий к спасению.

Катха Упанишады

© Перевод. М. Лорие, наследники, 2015.

Глава первая

I

Никогда еще я не начинал писать роман с таким чувством неуверенности. Да и романом я называю эту книгу только потому, что не знаю, как иначе ее назвать. Сюжет ее беден, и она не кончается ни смертью, ни свадьбой. Смертью кончается все, так что она — естественное завершение любого сюжета, но и брак — неплохая развязка, и напрасно умудренные скептики издеваются над так называемым счастливым концом. Не что иное, как здравый инстинкт подсказывает рядовому человеку, что, поженив героев, автор вполне может поставить точку. Если мужчина и женщина после каких угодно перипетий обретают друг друга, значит, они выполнили свою биологическую функцию, и интерес переключается на то поколение, что идет им на смену. А я вот оставляю моих читателей в неведении. Эта книга содержит мои воспоминания о человеке, с которым я непосредственно сталкивался лишь через большие промежутки времени, и я мало осведомлен о том, что он делал между нашими

встречами. Как беллетрист, я бы мог, вероятно, заполнить эти пробелы достаточно убедительно и таким образом сделать мое повествование более связным; но мне не хочется этим заниматься. Я хочу писать только о том, что мне доподлинно известно.

Много лет тому назад я написал роман под названием «Луна и грош». В нем я вывел знаменитого французского художника Поля Гогена и, пользуясь правом писателя на вымысел, сочинил целый ряд эпизодов, чтобы полнее обрисовать характер, который создал, исходя из скудных фактических данных, бывших в моем распоряжении. В настоящей книге я и не пробовал повторить этот опыт. Чтобы не ставить в неловкое положение людей, которые еще живы, я только дал действующим лицам моей повести вымышленные имена и вообще позаботился о том, чтобы их нельзя было узнать. Человек, о котором я пишу, не знаменит. Возможно, он никогда не прославится. Возможно, уйдя из жизни, он оставит о своем пребывании на земле не более заметный след, чем камень, брошенный в реку, оставляет на поверхности воды. Тогда если мою книгу вообще будут читать, то только как литературное произведение, более или менее интересное. Но

возможно и то, что влияние, которое оказывает на окружающих образ жизни, избранный моим героем, и необычайная сила и прелесть его характера будут распространяться все шире, и со временем, пусть через много лет после его смерти, люди поймут, что между нами жил человек поистине выдающийся. Тогда станет ясно, о ком я пишу в этой книге, и те, кому захочется хоть что-нибудь узнать о ранней поре его жизни, найдут здесь чем поживиться. Думаю, что для биографов моего друга книга эта при всех ее недочетах послужит ценным источником информации.

Разговоры, приведенные в этой книге, не следует воспринимать как стенограммы. Я никогда не записывал того, что говорилось в тот или иной день, но у меня хорошая память на все, что меня лично касается, и, хотя разговоры эти я воспроизвожу своими словами, суть сказанного, думается мне, передана верно. Выше я отметил, что ничего в этой книге не сочинил; здесь требуется некоторая оговорка. Я допустил ту же вольность, какую допускали историки со времен Геродота: вложил в уста моих персонажей речи, которых сам не слышал и не мог слышать. Сделал я это с той же целью, что и историки, — чтобы придать живость и правдоподобие сценам, которые, будь

они только описаны, оставили бы читателя равнодушным. Я хочу, чтобы мои книги читали, и не считаю зазорным по мере сил этого добиваться. Сообразительный читатель с легкостью обнаружит, где именно я прибегаю к этой уловке, и его дело принять ее или отвергнуть.

Приступаю я к этой работе с опаской и по другой причине: люди, о которых мне предстоит говорить, — по большей части американцы. Знание людей — вообще дело трудное, а по-настоящему знать можно, мне кажется, только своих соотечественников. Ведь ни один человек не существует сам по себе. Люди — это и страна, где они родились, и ферма или городская квартира, где они учились ходить, и игры, в которые они играли детьми, и сплетни, которые им довелось подслушать, и еда, которой их кормили, школа, где их обучали, спорт, которым они увлекались, поэты, которых читали, и Бог, в которого верили. Все это и сделало их такими, как они есть, и все это нельзя усвоить понаслышке, а можно постичь, только если сам это пережил. Если это часть тебя самого. И оттого, что представителей другой нации знаешь только по наблюдениям со стороны, очень трудно изобразить их убедительно на страницах книги. Даже такому внимательному и тонкому

наблюдателю, как Генри Джеймс, к тому же сорок лет прожившему в Англии, не удалось изобразить ни одного англичанина так, чтобы в него можно было до конца поверить. Сам я никогда и не пробовал писать ни о ком, кроме англичан, разве что в нескольких коротких рассказах — в этом жанре можно обойтись без углубленных характеристик. Даешь читателю общие контуры, а подробности пусть додумывает сам. Могут спросить, почему, если я превратил Поля Гогена в англичанина, я не поступил так же с героями этой книги. Ответить на это просто: потому что не мог. Они тогда стали бы другими людьми. Я не утверждаю, что они — американцы, какими те себя видят; они — американцы, увиденные глазами англичанина. Я не старался передать особенности их речи. Английские писатели, пытающиеся это делать, терпят неудачу точно так же, как американские писатели, когда пытаются изобразить, как говорят в Англии. Особенно много опасностей таит в себе разговорный язык. В своих английских вещах Генри Джеймс много им пользовался, но всегда не совсем так, как англичане, почему и диалог у него не производит впечатления естественной легкости, к чему он стремился, а сплошь и рядом режет слух английскому читателю.

II

В 1919 году, по дороге на Дальний Восток, я оказался в Чикаго и по причинам, не имеющим никакого касательства к этой повести, задержался там недели на три. Незадолго до того вышел в свет один мой роман. Роман имел успех, и не успел я прибыть в Чикаго, как ко мне явился интервьюер. На следующее утро у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Это говорит Эллиот Темплтон.

— Эллиот? Я думал, вы в Париже.

— Нет, я здесь, гощу у сестры. Приезжайте к нам сегодня завтракать.

— С удовольствием.

Он уточнил время и дал мне адрес.

С Эллиотом Темплтоном я был знаком пятнадцать лет. Сейчас, когда ему шел шестой десяток, это был высокий, представительный мужчина с правильными чертами лица и густыми волнистыми волосами, поседевшими лишь настолько, чтобы придать ему еще более аристократический вид. Одевался он безупречно. Галстуки покупал у Шарве, а костюмы, обувь и шляпы — в Англии. В Париже он снимал квартиру на левом берегу Сены, на фешенебельной улице

Сен-Гийом. Люди, не любившие его, говорили, что он делец, однако он гневно отметал такое обвинение. У него был вкус, были знания, и он не отрицал, что в минувшие годы, когда он только что поселился в Париже, ему случалось давать советы богатым коллекционерам, пополнявшим свои собрания картин; а когда благодаря своим связям в обществе он узнавал, что какой-нибудь обедневший высокородный француз или англичанин не прочь продать первоклассную картину, охотно сводил его со знакомым экспертом из американского музея, которому, как ему было известно, как раз требовался высокий образец работы данного мастера. Во Франции, да и в Англии тоже, имелось немало старинных семейств, в силу обстоятельств вынужденных расставаться то с подписным столиком-буль, то с конторкой собственноручной работы Чиппендейла, и представители этих семейств бывали рады познакомиться с культурным, прекрасно воспитанным человеком, который мог им в этом помочь, деликатно и без огласки. Естественно было предположить, что Эллиоту кое-что перепадало от этих сделок, но упоминать об этом было бы бестактно. Злые языки утверждали, что в его квартире любая вещь продается и что стоит ему

угостить богатых американцев отличным обедом с марочными винами, как из его гостиной исчезают два-три ценнейших рисунка либо вместо секретера-маркетри появляется новый, лакированный. Когда его спрашивали, куда пропала та или иная вещь, он очень правдоподобно объяснял, что она его не вполне удовлетворяла и он обменял ее на другую, более высокого качества. И добавлял, что скучно все время иметь перед глазами одно и то же.

— Nous autres américains, — мы, американцы, — говорил он, — любим разнообразие. В этом и наша сила, и наша слабость.

Некоторые американцы, наезжавшие в Париж, уверяли, что знают про него решительно все, что он из очень бедной семьи, и если сейчас живет так широко, то лишь потому, что сумел проявить большую ловкость. Я не знаю, сколько у него было денег, но титулованный домовладелец, безусловно, брал с него за квартиру недешево и произведений искусства в ней хватало. По стенам висели рисунки великих французских художников: Ватто, Фрагонара, Клода Лоррена, на паркетных полах раскинулись во всей своей красе ковры из Савоннери и Обюссона, а в гостиной стоял обитый вышитым атласом гарнитур в стиле

Людовика XV, такой изящный, что в свое время им и впрямь, как он утверждал, могла владеть мадам де Помпадур. Во всяком случае, Эллиот мог позволить себе не искать заработка и вести жизнь, по его мнению, подобающую джентльмену; а откуда у него взялись на это средства — о том поминали только те, кто был готов с ним раззнакомиться. Избавленный, таким образом, от материальных забот, он целиком отдался своей главной страсти — продвижению по общественной лестнице. Деловые связи с неимущими вельможами как во Франции, так и в Англии добавились к тем первым зацепкам, которые у него оказались, когда он молодым человеком прибыл в Европу с рекомендательными письмами. Некоторые из этих писем были адресованы американкам, породнившимся с европейской знатью, и тут помогло его происхождение: он был из старой виргинской семьи, и один из его предков по материнской линии поставил свою подпись под Декларацией независимости. У него была приятная внешность, он хорошо танцевал, недурно стрелял, прекрасно играл в теннис. Ему везде были рады. Он не скупился на цветы и на коробки дорогих шоколадных конфет; у себя принимал редко, но всегда с выдумкой. Богатым американкам нрави-

лось, когда их возили в богемные ресторанчики Сохо и в бистро Латинского квартала. Он всегда был готов к услугам и выполнял любые просьбы, даже самые обременительные. Не жалея сил, он ублажал стареющих дам и вскоре стал вхож в многие чопорные особняки на правах общего любимца, ami de la maison[147]. Любезности его не было границ. Он и не думал обижаться, если его приглашали в последнюю минуту, лишь потому, что кто-то другой из приглашенных подвел хозяев, и за столом его можно было посадить рядом с очень скучной старухой, не сомневаясь, что он будет с ней отменно остроумен и обходителен.

За два-три года он перезнакомился со всеми, с кем стоило познакомиться молодому американцу, — как в Лондоне, куда он отправлялся в конце сезона и откуда осенью ездил гостить в загородные поместья, так и в Париже, где он обосновался. Дамы, которые первыми ввели его в общество, с удивлением обнаруживали, как быстро разросся круг его знакомств. Это вызывало у них смешанные чувства. С одной стороны, им было приятно, что их молодой протеже не обманул ожиданий, с другой — немного досадно, что он так близко

[147] Примечания: 147
Друга дома (*фр.*).

сошелся с людьми, с которыми сами они поддерживали лишь чисто официальные отношения. Хоть он по-прежнему бывал им полезен и всегда готов услужить, невольно закрадывалась мысль, не использовал ли он их как ступеньки в своей светской карьере. Они подозревали в нем сноба. И не без оснований. Конечно, он был сноб и даже не стыдился этого. Он готов был претерпеть любой афронт, снести любую насмешку, проглотить любую грубость, лишь бы получить приглашение на раут, куда жаждал попасть, или быть представленным какой-нибудь сварливой старой аристократке. Он был неутомим. Наметив себе добычу, он преследовал ее с упорством ботаника, разыскивающего редкостную орхидею, невзирая на наводнения, землетрясения, лихорадки и враждебных туземцев. Война 1914 года позволила ему окончательно утвердиться. Он был зачислен в санитарную часть, служил сперва во Фландрии, потом в Аргонне, а через год вернулся с красной ленточкой в петлице и был назначен на ответственный пост в Красном Кресте в Париже. К тому времени он уже был состоятельным человеком и щедро жертвовал на добрые дела под эгидой разных влиятельных лиц. Он всегда был готов поставить свой безупречный вкус и

организаторские способности на службу любого благотворительного начинания, достаточно широко разрекламированного. Он стал членом двух самых недоступных парижских клубов. Для высокопоставленных французских дам он был теперь ce cher Elliott[148]. Он достиг желанных высот.

III

Я познакомился с Эллиотом, когда был заурядным молодым писателем, и он не удостоил меня вниманием. У него была отличная память на лица, и, встречаясь со мной, он сердечно пожимал мне руку, однако не выказывал желания сойтись со мной ближе, а если я попадался ему на глаза, скажем, в опере, где он был с каким-нибудь титулованным приятелем, мог и вовсе меня не заметить. Но потом я как-то сразу приобрел известность как драматург и убедился, что его отношение ко мне потеплело. Однажды я получил от него записку с приглашением позавтракать в отеле «Кларидж», где он останавливался, когда бывал в Лондоне. Общество собралось небольшое и не самое шикарное, и у меня создалось впечатление, что Эллиот ко мне примеривается. Однако

---

[148] Примечания: 148
Наш милый Эллиот (*фр.*).

благодаря успеху моих пьес у меня появилось много новых друзей, и мы стали встречаться чаще. Тут я как-то провел несколько осенних недель в Париже и встретил его у одних общих знакомых. Он спросил, где я остановился, и через несколько дней я снова получил приглашение на завтрак — на этот раз у него дома, а приехав, с удивлением убедился, что общество у него собралось самое изысканное. Мысленно я посмеялся. Мне было ясно, что с присущим ему безошибочным светским чутьем он сообразил, что в Англии я как писатель не бог весть какая персона, тогда как во Франции, где писателю создает престиж сама его профессия, — другое дело. В последующие годы мы сошлись ближе, хотя друзьями так и не стали. Едва ли Эллиот Темплтон вообще мог стать кому-нибудь другом. Люди интересовали его только с точки зрения их места в обществе. Когда я бывал в Париже или он в Лондоне, он продолжал приглашать меня на обеды, если требовался лишний мужчина или предстояло принимать путешествующих американцев. Среди них, как я подозревал, бывали и прежние его клиенты, и незнакомые ему люди, направленные к нему с рекомендательными письмами. Это был его крест. Он чувствовал, что

должен что-то для них сделать, а вместе с тем ему вовсе не улыбалось знакомить их со своими знатными друзьями. Проще всего было, конечно, накормить их обедом и сводить в театр, но и это порой оказывалось затруднительно, поскольку все вечера у него были обычно расписаны на три недели вперед, да и не верилось ему, что они этим удовлетворятся. Со мною, как с писателем, он особенно не церемонился и не прочь был мне поплакаться.

— В Америке любого готовы снабдить рекомендательным письмом. Я не говорю, сам я всегда рад повидать земляков, но почему я должен навязывать их общество моим друзьям?

Он пробовал отделаться корзинами роз и огромными коробками конфет, но иногда этого оказывалось мало. И вот тогда он немного наивно, если учесть то, что он перед тем мне говорил, приглашал меня на обед.

«Они просто жаждут с вами познакомиться, — писал он, чтобы мне польстить. — Миссис Такая-то очень культурная женщина и ваши книги знает буквально наизусть».

А затем миссис Такая-то сообщала мне, что ей ужасно понравился мой роман «Мистер Перрен и мистер Трэйл», и поздравляла с успехом моей

пьесы «Моллюск». Роман этот написал Хью Уолпол, а пьесу — Хьюберт Генри Дэвис.

IV

Если у читателя создалось впечатление, что Эллиот Темплтон был препротивный тип, значит, я не отдал ему должное.

Прежде всего он был serviable, что в переводе с французского означает примерно: добрый, обязательный, готовый помочь. Он был великодушен, и если в начале своей карьеры задаривал знакомых цветами, конфетами и сувенирами, безусловно, не без задней мысли, то продолжал в том же духе и тогда, когда надобность в этом отпала. Он любил делать подарки. Он был гостеприимен. Повар его был одним из лучших в Париже, и можно было не сомневаться, что к столу будут поданы самые ранние овощи и фрукты. Его вина свидетельствовали об отменном вкусе хозяина. Правда, гостей он выбирал главным образом по признаку их положения в обществе, однако заботился и о том, чтобы среди них оказалось хотя бы двое чем-либо интересных, так что скучно у него почти никогда не бывало. Многие смеялись над ним у него за спиной, называли его бессовестным снобом, но приглашения принимали охотно. По-

французски он говорил правильно и свободно, с безукоризненным произношением. По-английски приучил себя говорить как англичане, так что лишь очень чувствительное ухо время от времени улавливало в его речи американские интонации. Он был отличным собеседником, если только не давать ему разглагольствовать про герцогов и герцогинь; но теперь, когда положение его было прочно, он даже о них позволял себе поговорить забавно, особенно с глазу на глаз. Он умел позлословить, а уж сплетни, ходившие про этих высокопоставленных личностей, знал все до одной. Это он сообщил мне, кто отец последнего ребенка принцессы Н. И кто любовница маркиза Д. Даже Марсель Пруст, по-моему, был осведомлен об интимной жизни аристократии не лучше, чем Эллиот Темплтон.

Бывая в Париже, я часто с ним завтракал — когда у него, когда в ресторане. Я люблю бродить по антикварным лавкам — изредка покупаю что-нибудь, а чаще просто гляжу, — и Эллиот с радостью сопровождал меня в этих походах. Он по-настоящему любил красивые вещи и знал в них толк. Кажется, не было в Париже такой антикварной лавки, о которой бы он не слышал, с владельцем которой не был бы на короткой ноге.

Он обожал вести переговоры и, пускаясь в путь, предупреждал меня:

— Если вам что-нибудь приглянется, не вздумайте покупать сами. Вы только дайте мне знак, остальное я беру на себя.

Он искренне радовался, когда ему удавалось отторговать для меня что-нибудь за полцены. А торговался он мастерски — спорил, улещивал, сердился, взывал к лучшим чувствам продавца, высмеивал его, находил в облюбованной вещи изъяны, грозил, что ноги его здесь больше не будет, вздыхал, пожимал плечами, корил, в гневе поворачивал к выходу, а одержав наконец победу, сокрушенно качал головой, словно принимая неизбежное поражение. И тут же успевал шепнуть мне по-английски:

— Берите. Вдвое больше и то было бы дешево.

Эллиот был ревностным католиком. Еще в первые свои парижские годы он повстречал некоего аббата, известного тем, скольких безбожников и еретиков он вернул в лоно истинной церкви. Аббат этот усердно посещал званые обеды и блистал остроумием. Своим духовным руководством он удостаивал только богачей и аристократов. Как человек скромного происхождения, сделавшийся желанным гостем в самых знатных семействах,

он не мог не импонировать Эллиоту, и последний признался одной богатой американке, недавно обращенной аббатом, что, хотя семья его спокон веку принадлежала к епископальной церкви, сам он давно интересуется католичеством. Дама пригласила его на обед — только его и аббата, — и тот показал себя во всем блеске. Хозяйка дома навела разговор на католичество, и аббат подхватил эту тему благоговейно, но без педантства, как светский человек (хоть и священник) в беседе с другим светским человеком. Эллиоту было лестно убедиться, что аббат хорошо о нем осведомлен.

— На днях мне рассказывала о вас герцогиня Вандомская. Вы произвели на нее впечатление очень умного человека.

Эллиот даже вспыхнул от удовольствия. Да, он был представлен ее светлости, но никак не думал, что она его запомнила. Аббат толковал о религии мудро и мягко, проявил терпимость, широту взглядов и современность подхода. В его изображении церковь предстала перед Эллиотом как некий клуб для избранных, в котором воспитанному человеку ради собственного престижа просто необходимо состоять членом. Через полгода он был туда принят. Обращение его в

сочетании с щедрыми пожертвованиями на католическую благотворительность открыло перед ним двери нескольких домов, в которые он до того не имел доступа.

Можно по-разному расценить мотивы, заставившие его отречься от веры отцов, но, после того как он это сделал, набожность его не вызывала сомнений. Каждое воскресенье он ездил в одну из самых фешенебельных парижских церквей, он регулярно исповедовался и периодически совершал паломничество в Рим. За свое благочестие он со временем был награжден зачислением в папские камергеры, а за усердие, с каким выполнял свои новые обязанности, — орденом (если не ошибаюсь — Гроба Господня). Словом, как католик он преуспел не меньше, чем как homme du monde[149].

Я часто спрашивал себя, в чем причина снобизма, которым был одержим этот человек, такой неглупый, образованный и добрый. Он не был безродным выскочкой. Отец его был ректором университета в одном из южных штатов, дед — вполне почтенным доктором богословия. У Эллиота хватало ума понять, что многие прини-

---

[149] Примечания: 149
Светский человек (*фр.*).

мали его приглашения только ради того, чтобы бесплатно пообедать, что среди них есть и тупицы, и ничтожества. Но блеск их громких титулов затмевал в его глазах любые их недостатки. Я могу только догадываться, что тесное общение с этими родовитыми господами и верная служба их дамам вселяли в него непреходящее чувство одержанной победы и что за всем этим крылась страстная романтическая натура, позволявшая ему видеть в тщедушном французском маркизе того крестоносца, что побывал в Святой земле с Людовиком IX, а в английском графе, хвастающем своей псарней, — предка этого графа, сопровождавшего Генриха VIII на Парчовое поле[150]. Ему, наверно, казалось, что в обществе таких людей он сам живет в каком-то великолепном, доблестном прошлом. И, вероятно, сердце его радовалось, когда он перелистывал Готский альманах, и одно имя за другим вызывало в его памяти давно минувшие войны, исторические осады, прославленные поединки, дипломатические интриги и любовные похождения королей. Вот таким чело-

[150] Примечания: 150

Парчовое поле — равнина близ Кале, где в 1520 году английский король Генрих VIII встретился для переговоров с французским королем Франциском I, причем участники этой встречи блистали пышными нарядами. — *Примеч. пер.*

веком был Эллиот Темплтон.

V

Только я собрался помыться и почиститься, чтобы ехать к Эллиоту и его родным, как мне позвонили от портье сказать, что сам Эллиот ждет меня внизу. Я немного удивился и, как только привел себя в порядок, спустился в вестибюль.

— Я решил зайти за вами, — сказал он, пожимая мне руку. — Я не был уверен, хорошо ли вы знаете Чикаго.

Мне уже приходилось подмечать, что у некоторых американцев, долго проживших за границей, складывается представление, будто Америка — очень трудная, даже опасная страна, в которой европеец рискует пропасть без посторонней помощи.

— Время еще есть, часть дороги можно пройти пешком, — предложил он.

Воздух был чуть морозный, в небе ни облачка, и размяться было приятно.

— Я хотел кое-что рассказать вам о моей сестре, прежде чем вы ее увидите, — сказал Эллиот, бодро шагая со мною рядом. — Она приезжала ко мне в Париж, но вас тогда, помнится, там не было. Сегодня мы завтракаем тесным кружком — только

сестра, ее дочь Изабелла и Грегори Брабазон.

— Специалист по интерьерам?

— Он самый. Дом у моей сестры в ужасном виде, и мы с Изабеллой все уговариваем ее отделать его заново. А тут я случайно услышал, что Грегори сейчас в Чикаго, и подал идею пригласить его к завтраку. Он, конечно, не в полном смысле джентльмен, но вкус у него есть. Мэри Олифант поручала ему всю отделку своего замка, а Сент-Эрты — свой дом в Сент-Клемент-Толбот. Герцогиня не могла им нахвалиться. А дом Луизы… Да вот вы сами увидите. Как она могла прожить в нем столько времени — уму непостижимо. Впрочем, для меня вообще загадка, как она может жить в Чикаго.

Он рассказал мне, что миссис Брэдли — вдова, у нее трое детей: два сына и дочь; но сыновья намного старше, женаты и с ней не живут. Один занимает государственный пост на Филиппинах, другой сейчас в Буэнос-Айресе, он дипломат, пошел по стопам отца. Покойный муж миссис Брэдли представлял свою родину во многих странах, несколько лет был первым секретарем посольства в Риме, а затем был назначен послом в одну из республик на западном побережье Южной Америки, где и скончался.

— Я хотел, чтобы Луиза тогда же продала этот дом, — продолжал Эллиот, — но ей было жаль с ним расстаться. Семейство Брэдли владело им много лет. Брэдли — одно из старейших семейств Иллинойса. Они переселились из Виргинии в тысяча восемьсот тридцать девятом году и обзавелись землей милях в шестидесяти от тогдашнего Чикаго. Земля эта до сих пор им принадлежит. — Эллиот помолчал и взглянул на меня, проверяя, как я отнесся к этим сведениям. — Тот Брэдли, что здесь обосновался, был, в сущности, по нынешним понятиям, фермер. Не знаю, известно ли это вам, но в середине прошлого века, когда началось освоение Среднего Запада, многие виргинцы, всё больше, знаете ли, младшие сыновья из хороших семей, охваченные тягой к неизвестному, стали покидать благоденствующие усадьбы своего родного штата. Отец моего зятя, Честер Брэдли, понял, что у Чикаго есть будущее, и поступил там в юридическую контору. И нажил, между прочим, достаточно денег, чтобы оставить своему сыну вполне порядочное состояние.

Не столько слова Эллиота, сколько его тон означал, что, на его взгляд, Честер Брэдли поступил не совсем прилично, променяв наследственный дом с колоннами и обширные плантации на какую-

то контору, но то обстоятельство, что он нажил состояние, хотя бы частично оправдывало этот шаг. Эллиот был явно раздосадован, когда миссис Брэдли — не в тот день, а позже — показала мне любительские снимки того, что ему угодно было именовать их «поместьем», и я увидел скромный оштукатуренный дом с веселым садиком, но тут же рядом, увы, сарай, коровник и хлев, а вокруг — унылые плоские поля. Мне подумалось, что мистер Честер Брэдли знал, что делал, когда махнул на все это рукой и подался в город.

Дальше мы поехали в такси. Машина остановилась перед кирпичным домом, высоким и узким, к парадной двери которого вело несколько крутых ступеней. Он стоял в ряду других домов, на улице, отходящей от набережной, и выглядел даже в этот яркий осенний день таким бесцветным и скучным, что непонятно было, как можно питать к нему теплые чувства. Дверь отворил дородный седовласый дворецкий-негр, и нас провели в гостиную. Миссис Брэдли поднялась нам навстречу, и Эллиот представил меня. В молодости она, видимо, была хороша собой — у нее были правильные, хоть и довольно крупные черты лица и очень красивые глаза. Но лицо это, желтоватое, почти вызывающе не накрашенное,

уже немного оплыло, и было ясно, что она проиграла битву с полнотой, этим врагом пожилых женщин. Принять свое поражение она, однако, не соглашалась — сидела очень прямо, на стуле с жесткой спинкой, так ей, в тесной броне корсета, было, очевидно, удобнее, чем в мягком кресле. На ней было синее платье, щедро расшитое тесьмой, высокий воротник на китовом усе подпирал подбородок. Ее густые белые волосы были туго завиты и уложены в затейливую прическу.

Второй гость еще не прибыл, и, поджидая его, мы болтали о всяких пустяках.

— Эллиот говорит, вы ехали южным путем, — сказала миссис Брэдли. — Вы в Риме останавливались?

— Да, я провел там неделю.

— Ну, как там поживает дорогая королева Маргарита?

Немного удивленный этим вопросом, я отвечал, что не знаю.

— Как, вы ее не навестили? Такая славная женщина. Она была к нам очень добра, когда мы жили в Риме. Мистер Брэдли был первым секретарем посольства. Что же вы ее не навестили? Вы же не Эллиот, не такой строгий католик, что вам и в Квиринале бывать нельзя?

— Отнюдь нет, — улыбнулся я. — Дело в том, что я с нею не знаком.

— Не знакомы? — Миссис Брэдли словно не поверила своим ушам. — А почему?

— Да потому, что писатели, как правило, не водят дружбу с королями и королевами.

— Но она такая милая женщина, — горячо возразила миссис Брэдли, словно обвиняя меня в высокомерии. — Я уверена, что она бы вам понравилась.

Тут дверь отворилась, и дворецкий доложил о приходе Грегори Брабазона.

Грегори Брабазон, несмотря на свою фамилию, не был романтической фигурой. Низенький, толстый, с лысой, как яйцо, головой — бахрома черных курчавых волос осталась только за ушами и на затылке, — красное бритое лицо, которое, казалось, вот-вот вспотеет, живые серые глаза, чувственные губы и тяжело обвисшие щеки. Он был англичанин, и я несколько раз встречался с ним на артистических вечеринках в Лондоне. Держался он всегда по-дружески весело и открыто, много смеялся, но не требовалось особого знания человеческой природы, чтобы понять, что за этой шумной общительностью скрывается цепкая деловая хватка. Уже несколько лет

он слыл лучшим в Лондоне специалистом по внутренней отделке домов. У него был гулкий бас и маленькие пухлые руки, на редкость выразительные. Красноречивыми жестами, целым потоком взволнованных слов он умел так разжечь воображение сомневающегося клиента, что тот просто не мог не дать ему заказ, а принимал он этот заказ с таким видом, будто сам делает клиенту одолжение.

Дворецкий внес на подносе коктейли.

— Изабеллу ждать не будем, — сказала миссис Брэдли, беря с подноса бокал.

— А где она? — спросил Эллиот.

— Поехала с Ларри играть в гольф. Она предупредила, что, может быть, опоздает.

— Ларри — это Лоренс Даррел, — объяснил мне Эллиот. — Он считается женихом Изабеллы.

— А я и не знал, что вы пьете коктейли, Эллиот, — сказал я.

— Я и не пью, — ответил он мрачно. — Но что поделаешь в этой варварской стране с ее сухим законом? — Он вздохнул. — Теперь коктейли стали подавать и в некоторых домах в Париже. Вредоносные влияния пагубны для чистоты нравов.

— Какая чушь, Эллиот, — сказала миссис Бр-

эдли.

Сказано это было добродушно, но так решительно, что выдало в ней женщину с характером; а по тому взгляду, который она бросила на брата, веселому, но проницательному, я сильно заподозрил, что она не обольщается на его счет. Интересно, подумал я, как она отнесется к Брабазону. Я заметил, что он еще с порога окинул комнату профессиональным взглядом и невольно вздернул косматые брови. А комната и вправду была поразительная. Обои, занавески и кретоновая обивка кресел были одного и того же рисунка; на стенах висели картины в массивных золоченых рамах, очевидно купленные супругами Брэдли в пору их проживания в Риме. Мадонны школы Рафаэля, мадонны школы Гвидо Рени, пейзажи школы Цукарелли, руины школы Паннини. Были тут и трофеи их пребывания в Пекине — столы черного дерева, не в меру изукрашенные резьбой, огромные расписные вазы, были и вещи, вывезенные из Чили и Перу, — обрюзгшие каменные идолы, глиняные сосуды. Был чиппендейловский секретер и столик-маркетри. Абажуры на лампах были из белого шелка, на котором какому-то художнику взбрело в голову изобразить пастушков и пастушек в духе Ватто. Все это было сплошное

уродство и, однако же, не знаю почему, радовало глаз. Вид у комнаты был уютный, обжитой, и чувствовалось, что в этой невероятной мешанине есть какой-то смысл. Все эти несовместимые предметы составляли единое целое, потому что были частью жизни хозяйки.

Не успели мы допить коктейли, как дверь распахнулась и вошла девушка, а за нею молодой человек.

— Мы опоздали? — сказала она. — Я и Ларри привела. Найдется для него что-нибудь поесть?

— Надеюсь, — улыбнулась миссис Брэдли. — Позвони и скажи Юджину, пусть поставит еще один прибор.

— Он нам открывал дверь. Я ему уже сказала.

— Это моя дочь Изабелла, — обратилась миссис Брэдли ко мне. — А это — Лоренс Даррел.

Изабелла наскоро поздоровалась со мной и тут же переключилась на Грегори Брабазона.

— Вы мистер Брабазон? Мне безумно хотелось с вами познакомиться. У Клементины Дормер вы создали просто чудо. Правда, эта комната какой-то кошмар? Я уже сколько лет уговариваю маму что-то с ней сделать, а сейчас, когда вы здесь, просто грех упускать такой случай. Скажите откровенно, что вы о ней думаете?

Я знал, что меньше всего от Брабазона можно ждать откровенности. Он бросил взгляд на миссис Брэдли, но лицо ее было непроницаемо. Тогда он решил, что равняться следует на Изабеллу, и громко, раскатисто рассмеялся.

— Комната, конечно, комфортабельная и все такое, — сказал он, — но, если уж говорить начистоту, эстетическое чувство она оскорбляет.

Изабелла была высокого роста и, видимо, унаследовала семейные черты — удлиненный овал лица, прямой нос, очень красивые глаза и полные губы. Она была хороша, хоть и немного полновата, но я решил, что с годами она постройнеет. И руки ее, красивые и крепкие, могли бы быть потоньше, и ноги, видные из-под короткой юбки, — тоже. У нее была прекрасная кожа и яркий румянец, пуще разгоревшийся после гольфа и возвращения домой в открытом автомобиле. Молодость била в ней ключом. Ее лучезарное здоровье, шаловливая веселость, жизнерадостность, счастье, написанное на ее лице, пьянили, как вино. Она была так естественна, что Эллиот при всей его элегантности выглядел рядом с ней чуть ли не манекеном. Так свежа, что поблекшее, в морщинках, лицо миссис Брэдли сразу показалось усталым и старым.

Мы спустились в столовую, при виде которой Грегори Брабазон растерянно заморгал. Здесь стены были оклеены темно-красными обоями под штоф и увешаны портретами угрюмых, сердитых мужчин и женщин, предков покойного мистера Брэдли. И сам он здесь был — с густыми усами, в парадном сюртуке с крахмальным воротничком. А миссис Брэдли, кисти французского художника девяностых годов, висела над камином в вечернем платье голубого атласа, с жемчугом на шее и бриллиантовой звездой в волосах. Одной рукой, унизанной кольцами, она касалась кружевного шарфа, столь искусно выписанного, что видна была каждая петелька, в другой небрежно держала веер из страусовых перьев. Мебель была массивная, мореного дуба.

— Ну, что вы скажете? — спросила Изабелла Грегори Брабазона, когда мы сели за стол.

— Этот гарнитур, несомненно, стоил больших денег, — отвечал он.

— Еще бы, — сказала миссис Брэдли. — Это отец мистера Брэдли подарил нам к свадьбе. Мы его повсюду с собой возили. В Пекин, в Лиссабон, в Кито, в Рим. Дорогая королева Маргарита очень им восхищалась.

— Что бы вы с ним сделали, если б он был

ваш? — спросила Изабелла Брабазона, но Эллиот не дал ему ответить, а ответил сам:

— Сжег бы.

Они втроем принялись обсуждать, как лучше обставить столовую. Эллиот ратовал за Людовика XV, Изабелле виделся узкий стол, как в монастырских трапезных, и итальянские стулья. Брабазон высказался в том смысле, что с личностью миссис Брэдли будет лучше гармонировать чиппендейл.

— Я придаю огромное значение личности, — сказал он и обратился к Эллиоту: — Вы, конечно, знакомы с герцогиней Олифант?

— С Мэри? Мы с ней близкие друзья.

— Она просила меня придумать ей столовую, и я, как только ее увидел, сказал: Георг Второй.

— И были совершенно правы. Я обратил внимание на эту комнату, когда в последний раз у них обедал. Прелесть что такое.

Разговор продолжался все в том же духе. Миссис Брэдли слушала, но что она думает, было не понять. Я лишь изредка вставлял слово, а Ларри (фамилию его я успел забыть) вообще молчал. Он сидел напротив меня, между Брабазоном и Эллиотом, и я время от времени на него поглядывал. На вид он был очень молод. Худой, голенастый, примерно одного роста с Эллиотом.

Внешность приятная, не красавец и не урод, ничего примечательного. Но вот что меня заинтересовало: хотя он, с тех пор как вошел в дом, не произнес, сколько помнится, и десяти слов, держался он совершенно свободно и, не раскрывая рта, словно бы даже участвовал в разговоре. Мне запомнились его руки — длинные, хотя по его росту и небольшие, красивые, но отнюдь не изнеженные. Мне подумалось, что любой художник был бы рад их написать. В его худобе не было ничего болезненного, напротив, он показался мне жилистым и выносливым. Лицо у него было загорелое, но не богатое красками, черты, хоть в общем правильные, довольно ординарные. Чуть выдающиеся скулы, чуть запавшие виски, волосы темно-каштановые, волнистые. Глаза казались очень большими, потому что были глубоко посажены и опушены длинными густыми ресницами. Необычные эти глаза были не чисто карие, как у Изабеллы, ее матери и дяди, а такие темные, что радужная оболочка сливалась со зрачком, и это делало его взгляд особенно пристальным. Было в нем какое-то прирожденное изящество, и нетрудно было понять, почему Изабелла им пленилась. Когда она взглядывала на него, я читал в ее лице не только любовь, но и ласку. А в его гла-

зах, когда он ловил на себе ее взгляд, светилась чудесная неприкрытая нежность. Нет ничего трогательнее, чем юная любовь, и я, как человек уже не первой молодости, завидовал им, но в то же время, неизвестно почему, испытывал к ним жалость. Это было глупо, ведь, насколько я знал, их счастью ничто не грозило; обстоятельства как будто им благоприятствовали, так почему бы им не пожениться и не жить счастливо весь свой век, как в сказке.

Изабелла, Эллиот и Грегори Брабазон все толковали о новом убранстве дома, пытаясь выведать у миссис Брэдли, считает ли она нужным хоть что-то предпринять, но она отделывалась приветливыми улыбками.

— Не торопите меня. Дайте мне время подумать. — И повернулась к молодому человеку. — А как твое мнение, Ларри?

Он оглядел нас всех, улыбаясь одними глазами.

— По-моему, все равно, что так, что этак.

— Ларри, противный! — вскричала Изабелла. — Я же специально просила тебя нас поддержать.

— Если тете Луизе и так хорошо, зачем нужно что-то менять?

Вопрос его был так к месту и так разумен, что

я рассмеялся.

Тогда он посмотрел на меня и улыбнулся, уже не таясь.

— Ну вот, сболтнул глупость и радуешься, — сказала Изабелла.

Но он только улыбнулся еще шире, и я заметил, что зубы у него мелкие, белые и ровные. Под его взглядом Изабелла вспыхнула и притихла. Судя по всему, она была отчаянно в него влюблена, но у меня, сам не знаю почему, появилось ощущение, что в ее любви есть и что-то материнское. В такой молоденькой девушке это было неожиданно. С мягкой улыбкой на губах она опять повернулась к Грегори Брабазону.

— Не обращайте на него внимания. Он очень глупый и совершенно необразованный. Понятия не имеет ни о чем, кроме полетов.

— Полетов? — удивился я.

— Он был на войне авиатором.

— Я думал, он был слишком молод, чтобы воевать.

— Ну да, так оно и было. Он вел себя очень дурно. Удрал из школы и прямо в Канаду. Наврал там с три короба, убедил их, что ему восемнадцать лет, и поступил в авиацию. К концу войны он сражался во Франции.

— Гостям твоей мамы это неинтересно, Изабелла, — сказал Ларри.

— Я знаю его с пеленок, и, когда он вернулся, такой красавчик, с такими хорошенькими нашивками на френче, я, можно сказать, села у него на пороге и не ушла, пока он не обещал на мне жениться, — верно, для того только, чтобы я от него отстала. Конкуренция была зверская.

— Перестань, Изабелла, — остановила ее мать.

Ларри наклонился ко мне через стол.

— Надеюсь, вы не верите ни одному ее слову. Изабелла неплохая девушка, но любит приврать.

Завтрак кончился, и мы с Эллиотом скоро ушли. Я еще раньше говорил ему, что хочу сходить в музей, и он вызвался меня сопровождать. Смотреть картины я предпочитаю один, но сказать ему это было бы неудобно, и я согласился. По дороге мы заговорили про Изабеллу и Ларри.

— Прелестное это зрелище, молодые влюбленные, — сказал я.

— Молоды они, чтобы жениться.

— Почему? Это так хорошо: быть молодыми, влюбленными и пожениться.

— Бросьте, вздор это. Ей девятнадцать лет, ему только что минуло двадцать. Он нигде не работает. Есть крошечный доход. Луиза говорит

— три тысячи годовых, а Луиза сама небогатая женщина. Лишних денег у нее нет.

— Ну так он может поступить на работу.

— В том-то и дело, что он к этому не стремится. Бездельничает, как будто так и надо.

— На войне ему, надо полагать, пришлось несладко. Наверно, хочется отдохнуть.

— Он уже год как отдыхает. Вполне достаточно.

— Мне показалось, он славный мальчик.

— Да и я ничего против него не имею. Семья вполне почтенная, и все такое. Отец его переехал сюда из Балтимора. Был в Йельском университете профессором по романским языкам или что-то в этом роде. А мать была из Филадельфии, из старинного квакерского рода.

— Вы говорите о них в прошедшем времени. Они что, умерли?

— Да, мать умерла в родах, а отец лет двенадцать тому назад. Его воспитывал университетский товарищ отца, один врач из Марвина. Там Луиза и Изабелла с ним и познакомились.

— А Марвин это где?

— Там же, где поместье Брэдли. Луиза ездит туда на лето. Она жалела мальчика. Доктор Нелсон — холостяк, в воспитании детей ниче-

го не смыслил. Это Луиза настояла, чтобы его отдали заканчивать школу в Сент-Пол, а на рождественские каникулы всегда приглашала его к себе. — Эллиот пожал плечами на французский манер. — Казалось бы, должна была предвидеть, чем это кончится.

Мы уже дошли до музея и теперь занялись картинами. И опять я отдал должное знаниям и вкусу Эллиота. Он водил меня по залам, словно я был группой туристов, и своими рассуждениями мог заткнуть за пояс любого искусствоведа. Я подчинился ему, решив, что приду еще раз и поброжу здесь один в свое удовольствие; через какое-то время он взглянул на часы.

— Пошли, — сказал он. — Я никогда не провожу в музее больше часа. Дольше нельзя — восприятие притупляется. Досмотрим в другой раз.

Я горячо поблагодарил его на прощание и пошел своей дорогой, напичканный сведениями, но несколько утомленный.

Провожая меня, миссис Брэдли сказала, что на следующий день у Изабеллы соберется к обеду кое-кто из молодежи, после обеда они поедут танцевать. Может быть, и я приду, тогда мы с Эллиотом могли бы спокойно побеседовать вечерок.

— Порадуйте его, — добавила она. — Он так долго прожил за границей, что здесь чувствует себя не в своей тарелке. Ни с кем не может найти общий язык.

Я принял приглашение, и теперь, выходя из музея, Эллиот сказал мне, что очень этому рад.

— В этом огромном городе я как в пустыне, — сказал он. — Я обещал Луизе прогостить у нее шесть недель, мы не виделись с тысяча девятьсот двенадцатого года, а теперь жду не дождусь, когда смогу возвратиться в Париж. Только там и можно жить цивилизованному человеку. Дорогой мой, вы знаете, как на меня здесь смотрят? На меня смотрят как на ископаемое. Дикари.

Я посмеялся, и мы простились.

VI

На следующий день Эллиот по телефону предложил заехать за мной, но я отказался и к вечеру вполне благополучно добрался до дома миссис Брэдли. Меня задержал какой-то посетитель, так что я немного опоздал. Когда я поднимался по лестнице, из гостиной несся такой шум, что я ожидал увидеть там целую толпу и был удивлен, насчитав вместе с собой всего двенадцать человек. Миссис Брэдли выглядела весьма

импозантно в зеленых шелках, с ошейником из мелкого жемчуга; Эллиот в отлично сшитом смокинге был сама элегантность. Когда я с ним здоровался, все ароматы Аравии повеяли мне в лицо. Меня познакомили с грузным краснолицым мужчиной, который в вечернем костюме явно чувствовал себя стесненным. Его назвали доктор Нелсон, но в ту минуту это мне ничего не сказало. Остальные гости были друзья Изабеллы, их имена я пропустил мимо ушей. Девушки все были молодые и хорошенькие, мужчины — молодые и ладные. Никого из них я особенно не отметил, кроме разве одного, и то лишь потому, что он был такой огромный — не меньше шести футов трех дюймов ростом, с могучими плечами. Изабелла была очень мила в белом шелковом платье с длинной узкой юбкой, скрывавшей ее толстые ноги; фасон платья подчеркивал ее хорошо развитую грудь, обнаженные руки были полноваты, зато шея прелестна. От веселого волнения красивые ее глаза так и сверкали. Да, несомненно, она была очень хороша и по-женски соблазнительна, но верно и то, что ей следовало остерегаться, как бы не располнеть сверх меры.

За обедом меня посадили между миссис Брэдли и тихой бесцветной девушкой, на вид еще мо-

ложе, чем остальные. Миссис Брэдли сразу же объяснила, что дед и бабушка ее живут в Марвине и она училась в одной школе с Изабеллой. Называли ее Софи, фамилию я не расслышал. Разговор за столом шел громкий, пересыпанный шутками, то и дело прерываемый смехом. Все здесь, видимо, хорошо друг друга знали. Когда хозяйка дома не требовала моего внимания, я пытался поговорить со своей юной соседкой, но без особого успеха. Она была молчаливее других. Красотой не блистала, но мордочка у нее была забавная — вздернутый носик, большой рот и зеленовато-голубые глаза; волосы гладко причесаны, каштановые, с рыжеватым отливом. Очень худенькая и плоскогрудая, почти как мальчик. Шуткам она смеялась, но несколько натянуто, словно больше притворялась, что ей весело. Мне показалось, что она нарочно старается не отстать от других. Я не мог разобрать, то ли она глуповата, то ли болезненно застенчива, и, перепробовав несколько тем разговора, ни одной из которых она не поддержала, с горя попросил ее рассказать мне немножко обо всех, кто сидит за столом.

— Ну, доктора Нелсона вы знаете, — сказала она, указывая глазами на пожилого мужчину, сидевшего напротив меня по другую руку от миссис

Брэдли. — Он опекун Ларри. Наш марвинский доктор. Ужасно умный. Он все изобретает разные приспособления для аэропланов, только никто не хочет их использовать, а в остальное время пьет.

По тому, как блеснули ее светлые глаза, когда она это говорила, я понял, что не так уж она проста. А она между тем стала перечислять мне своих сверстников, сообщая, кто их родители, а про мужчин — в каком колледже они учились и чем теперь занимаются. Это было не слишком вразумительно: «Она — прелесть», «Он хорошо играет в гольф».

— А кто вон тот великан с бровями?

— Этот? О, это Грэй Мэтюрин. У его отца в Марвине большущий дом на реке. Он наш миллионер. Мы им очень гордимся. Как-никак марка. «Мэтюрин, Хобс, Райнер и Смит». Он один из самых богатых людей в Чикаго, а Грэй — его единственный сын.

Она вложила в это перечисление фамилий столько тонкой иронии, что я взглянул на нее вопросительно. Заметив это, она покраснела.

— Расскажите мне еще про мистера Мэтюрина.

— Да рассказывать-то нечего. Он богат. Его все уважают. Он построил нам в Марвине новую церковь и пожертвовал миллион долларов Чи-

кагскому университету.

— Сын его — видный молодой человек.

— Он славный. Даже не верится, что дед у него был нищий эмигрант-ирландец, а бабка — шведка, прислуживала в харчевне.

Внешность у Грэя была не столько красивая, сколько заметная. Черты грубоватые, словно бы недоделанные — тупой короткий нос, чувственный рот, ирландский румянец во всю щеку; волосы, иссиня-черные, гладко прилизаны, под густыми бровями — ясные, ярко-синие глаза. При таком мощном сложении он был очень пропорционален. Я представил его себе обнаженным и залюбовался. Сила в нем угадывалась незаурядная, это был ярко выраженный мужчина. Рядом с ним Ларри, хоть и всего дюйма на три ниже его ростом, казался тщедушным юнцом.

— Он пользуется огромным успехом, — продолжала между тем моя застенчивая соседка. — Многие девушки, я знаю, готовы чуть ли не убийство совершить, лишь бы он им достался. Но шансов у них ни малейших.

— Почему же?

— Вы, наверно, ничего не знаете?

— Откуда мне знать?

— Он до безумия влюблен в Изабеллу, а Изабел-

ла влюблена в Ларри.

— А что ему мешает отбить ее у Ларри?

— Ларри его лучший друг.

— Это, надо полагать, усложняет дело.

— Для такого принципиального человека, как Грэй, — безусловно.

Я не был уверен, сказала она это всерьез или с чуть заметной насмешкой. В ее тоне не было ничего дерзкого или озорного, и все же у меня создалось впечатление, что она наделена и чувством юмора, и проницательностью. Интересно было бы узнать, что у нее на уме, но я понимал, что этого мне не дождаться. Она была явно не уверена в себе, и я подумал, что, вероятно, она единственный ребенок и всю жизнь прожила среди людей намного ее старше. Мне нравилась ее скромность и сдержанность, но если она действительно росла одиноким ребенком, то, вероятно, втихомолку наблюдала за взрослыми, которые ее окружали, и составила себе о них вполне определенное мнение. Мы, зрелые люди, и не подозреваем, как беспощадно, и притом безошибочно, судят о нас дети. Я снова глянул в ее зеленоватые глаза.

— Вам сколько лет?

— Семнадцать.

— Много ли вы читаете? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить, но она не успела ответить, потому что миссис Брэдли, как любезная хозяйка, нашла нужным отвлечь меня каким-то замечанием, а тут и обед подошел к концу. Молодежь сразу уехала выполнять намеченную программу, а мы вчетвером опять поднялись в гостиную.

Я не совсем понимал, зачем меня пригласили на этот вечер: остальные трое чуть не с первых слов заговорили на тему, которую им, казалось бы, удобнее было обсуждать без посторонних. Я уже подумывал о том, чтобы тактично встать и уйти, но меня удерживала мысль, что, может быть, я нужен им на роль беспристрастного свидетеля. Темой обсуждения было странное нежелание Ларри заняться делом, а непосредственным поводом — предложение мистера Мэтюрина, чьего сына я видел за обедом, взять его на работу к себе в контору. Перед Ларри это открывало блестящие возможности. Можно было смело рассчитывать на то, что при должных способностях и усердии он со временем станет зарабатывать большие деньги. Грэй, его товарищ, только об этом и мечтал.

Многое из того, что тогда говорилось, я забыл, но суть разговора запомнил хорошо. Когда Ларри

вернулся из Франции, доктор Нелсон, его опекун, предлагал ему поступить в университет, но Ларри отказался. Все понимали, что ему хочется передохнуть после тягот войны, к тому же он дважды был ранен, хоть и легко. Доктор Нелсон считал, что он еще не оправился — пусть отдохнет до полного выздоровления. Но недели складывались в месяцы, и пошел уже второй год, как он снял военную форму. В авиации он отличился, первое время считался в Чикаго героем, в результате чего несколько крупных фирм приглашали его на работу. Он благодарил, но отказывался. Причин он не приводил, кроме одной: он еще не решил, чем хочет заняться. Он обручился с Изабеллой. Миссис Брэдли это не удивило, поскольку они годами были неразлучны и она знала, что Изабелла в него влюблена. Сама она любила его как сына и верила, что Изабелла будет с ним счастлива.

— У нее характер сильнее, чем у него. В ней есть как раз то, чего ему недостает.

Хотя оба были так молоды, миссис Брэдли была не против того, чтобы они поженились теперь же, но с одним условием: что Ларри сперва поступит на работу. Пусть у него есть кое-какие доходы, но на этом условии она стала бы настаивать, даже будь у него в десять раз больше. Насколько я по-

нял, она и Эллиот надеялись выпытать у доктора Нелсона, каковы намерения Ларри, и просили его употребить свое влияние, чтобы заставить его принять предложение мистера Мэтюрина.

— Вы же знаете, он никогда не прислушивался к моим советам, — отбивался тот. — Мальчишкой и то делал все по-своему.

— Знаю. Вы его запустили. Удивительно еще, как он вообще не сбился с пути.

Доктор Нелсон, немало выпивший за обедом, сердито уставился на миссис Брэдли. Его красная физиономия покраснела еще гуще.

— Я был занят по горло. Работы и без него хватало. Я его взял к себе потому, что ему было некуда деваться, и потому, что дружил с его отцом. А мальчишка был трудный.

— Не понимаю, как вы можете так говорить, — резко возразила миссис Брэдли. — У него чудесный характер.

— Что прикажете делать с парнем, который никогда не спорит, а поступает как ему заблагорассудится, а рассердишься на него, раскричишься — только говорит, что ему очень жаль и кричи, мол, сколько влезет. Будь он моим сыном, я бы его порол. Но не мог я пороть круглого сироту, да и отец мне его завещал в надежде, что я его

не обижу.

— Это к делу не относится, — раздраженно прервал его Эллиот. — Сейчас положение такое: без дела он слонялся достаточно, ему предлагают прекрасную возможность продвинуться и стать обеспеченным человеком, и, если он хочет жениться на Изабелле, он должен это предложение принять.

— Он должен понять, — добавила миссис Брэдли, — что в наше время мужчина не может не работать. Он давно уже выздоровел и окреп. Все мы знаем, как после войны между штатами некоторые мужчины, вернувшись из походов, потом до конца жизни палец о палец не ударили. Были обузой в семье и совершенно бесполезны для общества.

Тут и я вставил свое слово:

— Но как он сам объясняет, что не принял всех этих лестных предложений?

— А никак. Просто говорит, что это ему не подходит.

— Но чем-то заняться ему хочется?

— Видимо, нет.

Доктор Нелсон подлил себе виски. Отхлебнул и поднял глаза на своих старых друзей.

— Сказать вам, какое у меня ощущение? Мо-

жет, я не бог весть какой знаток человеческой природы, но после тридцати пяти лет практики немножко в ней разбираюсь. Это все виновата война. Ларри вернулся не таким, каким уходил. И он не просто возмужал. Что-то с ним там случилось такое, что изменило всю его сущность.

— Что же это могло быть? — спросил я.

— Да вот не знаю. Делиться своими впечатлениями он не любит. — Доктор Нелсон повернулся к миссис Брэдли. — Вам он что-нибудь рассказывал, Луиза?

Она покачала головой.

— Нет. Сначала, когда он вернулся, мы всё расспрашивали его, как там было, а он только улыбался этой своей улыбкой и уверял, что рассказывать нечего. Он даже Изабелле не рассказывал. Уж она как старалась, но так ничего из него и не вытянула.

Мы еще поговорили, все так же невразумительно, а потом доктор Нелсон посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Я хотел было уйти вместе с ним, но Эллиот упросил меня подождать. Когда мы остались втроем, миссис Брэдли извинилась, что надоедала мне их семейными делами, и выразила надежду, что я не очень скучал.

— Но, понимаете, меня это не на шутку забо-

тит, — объяснила она в заключение.

— Мистер Моэм очень деликатный человек, Луиза, ему можно довериться. Я не думаю, чтобы Боб Нелсон откровенничал с Ларри, но все-таки мы с Луизой решили, что о некоторых вещах при нем лучше не упоминать.

— Эллиот!

— Ты столько ему рассказала, можно рассказать и остальное. Скажите, вы за обедом заметили Грэя Мэтюрина?

— Он такой большой, как его не заметить.

— Он поклонник Изабеллы. Пока Ларри не было, он от нее не отходил. Он ей нравится: если бы война не кончилась, она вполне могла за него выйти. Он ей делал предложение. Она не сказала ни да ни нет. Луиза догадалась, что она не хотела решать до возвращения Ларри.

— А почему он сам не был на войне? — спросил я.

— Перетрудил сердце футболом. Ничего страшного, но в армию его не взяли. Так или иначе, когда Ларри вернулся, его шансы свелись к нулю. Изабелла сразу ему отказала.

Не зная, какого отклика на это от меня ожидают, я промолчал. А Эллиот после паузы заговорил снова. Изысканные манеры, оксфордский вы-

говор — ну точь-в-точь какое-нибудь высокое должностное лицо из английского министерства иностранных дел.

— Ларри, конечно, очень милый юноша и показал себя молодцом, когда сбежал и поступил в авиацию, но, уверяю вас, в людях я разбираюсь... — Он позволил себе самодовольную полуулыбку и единственный раз на моей памяти дал понять, что нажил состояние перепродажей произведений искусства. — Иначе я бы сейчас не владел толстенькой пачкой солидных акций. Так вот, я убежден, что из Ларри никогда не выйдет толку. Денег у него, можно сказать, никаких, положения тоже. Грэй Мэтюрин — совсем другое дело. Он носит хорошую старую ирландскую фамилию. У них в роду был и епископ, и драматург, и несколько выдающихся военных и ученых.

— Откуда вам это известно? — спросил я.

— Как-то такие вещи узнаются, — ответил он уклончиво. — Да вот я только на днях просматривал в клубе Американский биографический словарь, и мне там попалась эта фамилия.

Я не счел нужным повторять то, что услышал за обедом от своей соседки про бедняка ирландца и шведку официантку — деда и бабку Грэя. А Эллиот продолжал:

— Генри Мэтюрина мы знаем много лет. Он прекрасный человек и очень богатый. Грэй поступает в лучшую маклерскую контору Чикаго. Перед ним открываются неограниченные возможности. Он хочет жениться на Изабелле, и для нее это безусловно отличная партия. Я бы лучшего не желал, и Луиза, разумеется, тоже.

— Ты слишком долго не был в Америке, Эллиот, — сказала миссис Брэдли, сухо улыбнувшись. — Ты забыл, что девушки здесь выходят замуж не потому, что их матери и дяди лучшего не желали бы.

— И гордиться тут нечем, Луиза, — резко отпарировал Эллиот. — Тридцатилетний опыт убедил меня в том, что брак, устроенный с должным учетом общественного и материального положения и общности интересов, имеет все преимущества перед браком по любви. Во Франции, а это в конечном счете единственная цивилизованная страна в мире, Изабелла не задумываясь вышла бы за Грэя, а через год-другой, если бы захотела, взяла бы Ларри в любовники. А Грэй мог бы снять роскошную квартиру и поселить там какую-нибудь известную актрису, и все были бы довольны.

Миссис Брэдли была не глупа. Она взглянула на брата весело и лукаво.

— Горе в том, Эллиот, что нью-йоркские театры приезжают сюда каждый раз ненадолго, так что обитательницы той роскошной квартиры стали бы очень уж часто сменяться, а это могло бы нарушить семейный покой.

Эллиот улыбнулся.

— Ну, Грэй мог бы купить место на нью-йоркской бирже. В конце концов, если уж нужно жить в Америке, то имеет смысл жить только в Нью-Йорке.

Вскоре за тем я откланялся, но еще до этого Эллиот почему-то решил пригласить меня на завтрак, на который им уже были приглашены Мэтюрины, отец и сын.

— Генри — лучший тип американского бизнесмена, — сказал он. — Хорошо бы вы с ним познакомились. Он уже сколько лет советует нам, как помещать наши деньги.

Особенного желания идти у меня не было, но не было и причин отказываться. Я поблагодарил и согласился.

VII

В Чикаго мне предоставили комнату в одном клубе, располагавшем хорошей библиотекой, и на следующее утро я пошел туда посмотреть

кое-какие университетские журналы, труднодоступные для тех, кто на них не подписан. Было еще рано, и в библиотеке я застал только одного посетителя. Он сидел с книгой в глубоком кожаном кресле. Я с удивлением увидел, что это Ларри. Вот уж кого я не ожидал встретить в таком месте. Он поднял голову, когда я проходил мимо него, узнал меня и хотел было встать.

— Сидите, сидите, — сказал я и спросил почти машинально: — Что хорошего читаете?

— Книжку, — ответил он с улыбкой, до того подкупающей, что этот нахальный ответ совсем не показался мне обидным.

Он закрыл книгу и, глядя на меня своими странными непрозрачными глазами, повернул ее так, чтобы мне не видно было заглавие.

— Хорошо провели вчера время? — спросил я.

— Замечательно. Домой добрался в пять часов утра.

— А сейчас уже здесь? Ну и энергия!

— Я сюда часто прихожу. Обычно в это время здесь никого не бывает.

— Ну, не буду вам мешать.

— Вы мне не мешаете, — сказал он и опять улыбнулся, и тут я подумал, что улыбка у него просто чарующая. Она не сверкала, не вспыхива-

ла, а словно озаряла его лицо изнутри каким-то мягким светом. Он сидел в нише между полками, поставленными под углом к стене, рядом стояло второе кресло. Он коснулся его ручки. — Может быть, присядете?

— Ну что ж.

Он протянул мне свою книгу:

— Я вот что читал.

Это были «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса. Что и говорить, это классический труд, важная веха в развитии психологической науки; к тому же это книга, которая удивительно легко читается; но странно было увидеть ее в руках у очень молодого человека, бывшего авиатора, только что протанцевавшего до пяти часов утра.

— Зачем вы это читаете? — спросил я.

— Я очень невежественный человек.

— И очень еще молодой, — улыбнулся я.

Он молчал так долго, что я начал этим тяготиться и уже готов был встать и отправиться на розыски интересующих меня журналов. Но мне казалось, что он вот-вот что-то скажет. Он смотрел в пространство серьезно и сосредоточенно, словно о чем-то размышляя. Я ждал. Мне было интересно, что за этим кроется. Наконец он заго-

ворил — так, словно разговор и не прерывался, словно он не заметил долгого молчания.

— Когда я вернулся из Франции, все они хотели, чтобы я поступил в университет. А я не мог. После того, что я пережил, я просто думать не мог о том, чтобы опять сесть за парту. Впрочем, я и последний год в школе почти не учился. А первокурсником просто не мог себя представить. На меня смотрели бы косо. Притворяться не тем, что я есть, я не хотел. И боялся, что меня станут обучать совсем не тому, что меня интересовало.

— Конечно, мое дело сторона, — отвечал я, — но я не уверен, что вы были правы. Кажется, я вас понял, и я согласен, что после двух лет на войне вам не улыбалось стать тем вчерашним школьником, каким студент остается и на первом, и на втором курсе. Что на вас стали бы коситься — я не верю. Я мало знаком с американскими университетами, но думаю, что американские студенты не так уж отличаются от английских, разве что тон погрубее и развлечения попроще. Но, в общем, они очень порядочные и неглупые, и я думаю, что, если человек не склонен жить их жизнью и сумеет проявить немного такта, они очень скоро перестанут его замечать. Братья мои учились в Кембридже, а я нет. Имел возможность, но не

захотел. Мне не терпелось окунуться в жизнь. И теперь я об этом жалею. Думаю, что университет уберег бы меня от многих ошибок. А учиться под руководством опытных преподавателей быстрее. Если некому тебя вести, то и дело упираешься в тупик и теряешь даром массу времени.

— Возможно, вы правы. Но ошибки — это ничего. А вдруг в одном из тупиков я найду что-то для себя нужное?

— А чего вы ищете?

Он чуть помедлил.

— В том-то и дело, я еще сам толком не знаю.

Я промолчал, ответить было как будто нечего. Я-то еще в очень раннем возрасте поставил перед собой вполне определенную и ясную цель, поэтому его слова меня немного рассердили, но я тут же себя одернул; чисто интуитивно я угадывал в душе этого мальчика какую-то смутную тревогу — то ли недодуманные мысли, то ли неосознанные чувства не давали ему покоя, гнали его неведомо куда. Он будил во мне непонятное сочувствие. В сущности, я разговаривал с ним впервые и только теперь оценил, какой у него мелодичный голос. Это был до странности убедительный голос, голос-бальзам. Такой голос, и подкупающая улыбка, и эти выразительные

черные-пречерные глаза — да, можно было понять, чем он пленил Изабеллу. В нем и в самом деле было что-то очень пленительное. Он повернулся ко мне и спросил без тени смущения, но глядя на меня пытливо и не без лукавства:

— Правильно я думаю, когда мы вчера уехали танцевать, у вас там был разговор обо мне?

— Был и о вас.

— Я так и думал, раз уж дядю Боба вытащили обедать. Он терпеть не может бывать в гостях.

— Вам, как я понимаю, предлагают хорошее место?

— Замечательное.

— И что же вы, ответите согласием?

— Едва ли.

— Почему?

— Не хочется.

Не люблю я вмешиваться не в свое дело, но тут мне подумалось, что именно потому, что я человек посторонний, да еще приехавший из другой страны, он сам не прочь поговорить со мной.

— Существует мнение, что когда человек ни на что иное не пригоден, он становится писателем, — усмехнулся я.

— Это не для меня. Таланта нет.

— Так что же вам хочется делать?

Он озарил меня своей чарующей улыбкой.

— Бездельничать.

— Едва ли Чикаго самое подходящее для этого место, — сказал я. — Ну, а пока я вас покину. Вы читайте, а я хочу заглянуть в «Йельский альманах».

Я встал. Когда я уходил из библиотеки, Ларри все еще читал Уильяма Джеймса. Я позавтракал в клубе один и решил еще часок посидеть в библиотеке — выкурить в тишине сигару, почитать, написать кое-какие письма. Ларри по-прежнему был погружен в свою книгу. Казалось, он так и не сдвинулся с места после нашей беседы. И в четыре часа, когда я уходил, он все еще был там. Меня поразила его усидчивость. Он не заметил, когда я вошел, когда вышел. У меня было несколько дел в городе, и в клуб «Блекстоун» я вернулся только к вечеру, переодеться, чтобы ехать обедать. Из чистого любопытства я по дороге опять заглянул в библиотеку. Теперь там было порядочно народу, большинство читали газеты. Ларри сидел все в том же кресле, углубившись все в ту же книгу. Чудеса!

VIII

На следующий день в ресторане отеля «Пальмер-Хаус» состоялась предложенная Эллиотом встреча с отцом и сыном Мэтюринами. Завтракали мы только вчетвером. Генри Мэтюрин был почти такого же огромного роста, как его сын, с красным мясистым лицом и таким же, как у сына, тупым, уверенным носом, но глаза у него были меньше, чем у Грэя, не такие синие и очень-очень зоркие. Было ему, очевидно, только-только за пятьдесят, но выглядел он на десять лет старше, и поредевшие волосы уже были белоснежно-седые. На первый взгляд он показался мне малопривлекательным. Впечатление было такое, что он уже много лет ни в чем себе не отказывал, что это человек грубый, смекалистый, знающий свое дело и — во всяком случае, в деловых вопросах — беспощадный. Сперва он говорил мало и словно задался целью меня раскусить. Эллиота, как я сразу заметил, он вообще не принимал всерьез. Грэй держался вежливо и любезно, но почти все время молчал, и настроение за столом было бы совсем никуда, если бы Эллиот с присущим ему тактом и ловкостью не занимал нас светскими разговорами. Я подумал, что в былые годы он

приобрел немалый опыт обращения с дельцами Среднего Запада, когда уговаривал их заплатить бешеные деньги за картину старого мастера. Понемногу мистер Мэтюрин стал оттаивать и отпустил два-три замечания, показавших, что он умнее, чем кажется, и даже наделен суховатым чувством юмора. Разговор коснулся ценных бумаг, и я удивился бы тому, как Эллиот осведомлен в этом вопросе, если бы уже давно не пришел к выводу, что он, несмотря на свои чудачества, очень себе на уме. И тут мистер Мэтюрин вдруг заметил:

— Нынче утром я получил письмо от приятеля Грэя, Ларри Даррела.

— А ты мне и не сказал, папа, — удивился Грэй.

Мистер Мэтюрин обратился ко мне:

— Вы ведь знакомы с Ларри? — Я кивнул. — Грэй уломал меня взять его на работу. Они закадычные друзья. Послушать Грэя — лучше его нет человека на свете.

— И что он пишет, папа?

— Благодарит. И он, мол, понимает, какие это открывает возможности для молодого человека, и очень тщательно все обдумал и пришел к заключению, что он бы обманул мои ожидания, так что лучше ему отказаться.

— Очень глупо с его стороны, — сказал Эллиот.

— Согласен, — сказал мистер Мэтюрин.

— Мне ужасно жаль, папа, — сказал Грэй. — Так было бы здорово, если бы мы работали вместе.

— Насильно мил не будешь.

Говоря это, мистер Мэтюрин посмотрел на Грэя, и взгляд его зорких глаз смягчился. Я понял, что у этого жесткого дельца есть и вторая ипостась: он души не чаял в своем верзиле сыне. Он опять обратился ко мне:

— Вы знаете, в воскресенье этот малый обыграл меня семь к шести. Я чуть не дал ему клюшкой по голове. И что самое обидное — я же и научил его играть в гольф.

Гордость так и распирала его. Он начинал мне нравиться.

— Просто мне повезло, папа.

— Ничего подобного. Разве это везенье, когда человек прямо из впадины кладет мяч в шести дюймах от лунки? Тридцать пять ярдов, не меньше, вот какой это был удар. В будущем году хочу отправить его на чемпионат любителей.

— У меня на это времени не хватит.

— Это мне виднее. Не я, что ли, твой хозяин?

— Знаю, знаю. Недаром ты рвешь и мечешь, если мне случится опоздать в контору хоть на

одну минуту.

Мистер Мэтюрин весело хмыкнул.

— Хочет изобразить меня деспотом, — объяснил он мне. — Вы ему не верьте. Мое дело — это я, компаньоны у меня ни к черту, делом своим я горжусь. И малого своего стал натаскивать с азов, пусть продвигается постепенно, как любой наемный сотрудник, и чтобы был готов занять мое место, когда придет время. Такое дело, как у меня, — это огромная ответственность. Некоторых своих клиентов я обслуживаю по тридцать лет, и они мне доверяют. Я лучше себе в убыток поступлю, лишь бы сберечь их деньги.

Грэй рассмеялся.

— Тут недавно явилась одна старушенция, хотела поместить тысячу долларов в какое-то дутое предприятие, ей, видите ли, священник присоветовал; так он отказался принять у нее распоряжение, а когда она стала спорить, так на нее наорал, что она ушла вся в слезах. А потом позвонил тому священнику и ему тоже намылил голову.

— Про нас, маклеров, много чего говорят, но маклеры-то бывают разные. Я не хочу, чтобы люди теряли деньги, я хочу, чтобы они наживались, а они, во всяком случае большинство, такое

выделывают, точно у них одна забота — как бы поскорее спустить все до последнего цента.

— Ну, что вы о нем скажете? — спросил Эллиот, когда Мэтюрины укатили обратно в свою контору, а мы с ним вышли на улицу.

— Меня новые человеческие разновидности всегда интересуют. Эта взаимная любовь отца и сына очень трогательна. В Англии такое редко встретишь.

— Он обожает сына. А вообще он — странная смесь. То, что он сказал о своих клиентах, — сущая правда. Он опекает сбережения каких-то бесчисленных старух, военных в отставке, бедных священников. Казалось бы, зачем это ему, одна морока, но его самолюбию льстит, что они так свято в него верят. Зато уж если речь идет о крупной сделке, где ему противостоят могущественные интересы, тут он может себя показать и жестким, и безжалостным. Тут от него пощады не жди. Ни перед чем не остановится, а свой фунт мяса получит. Кто ему враг, того он мало что пустит по миру, но еще и руки будет потирать от удовольствия.

Вернувшись домой, Эллиот рассказал миссис Брэдли, что Ларри отклонил предложение Генри Мэтюрина. Как раз в это время в комнату вошла

Изабелла, завтракавшая у подруги. Сказали и ей. Последовал разговор, во время которого Эллиот, если верить тому, как он мне об этом рассказывал, проявил недюжинное красноречие. Хотя сам он последние десять лет не проработал и часа и хотя работа, которой он нажил себе прочный достаток, отнюдь не была изнурительной, он твердо держался того мнения, что рядовому человеку трудиться необходимо. Ларри — самый обыкновенный молодой человек, положения в обществе у него никакого, а значит, нет и причин нарушать похвальные обычаи своей родины. Такому прозорливому человеку, как Эллиот, было ясно, что Америка вступает в пору небывалого в ее истории процветания. Ларри представляется возможность оказаться среди первых, и при должном усердии он к сорока годам свободно может нажить несколько миллионов. А тогда, если он захочет удалиться от дел и вести жизнь джентльмена, скажем, в Париже, на авеню дю Буа, да еще приобрести замок в Турени, — пожалуйста, он, Эллиот, ничего не имеет против.

Луиза Брэдли, со своей стороны, высказалась не столь пространно, но недвусмысленно:

— Если он тебя любит, должен быть готов для тебя поработать.

Не знаю, что ответила на все это Изабелла, но она не могла не признать, что и мать, и дядя рассуждают здраво. Все ее знакомые молодые люди либо учились, готовясь к какой-нибудь профессии, либо уже поступили на службу. Не может же Ларри рассчитывать, что, если он отличился в авиации, этого хватит ему на всю жизнь. Война кончилась, всем она до смерти надоела, и все стараются как можно скорее про нее забыть. Разговор кончился тем, что Изабелла согласилась теперь же выяснить свои отношения с Ларри раз и навсегда. Миссис Брэдли подала мысль, чтобы она попросила Ларри свозить ее в автомобиле в Марвин. Ей нужно заказать новые занавески для тамошней гостиной, а размеры она куда-то затеряла, вот Изабелле и поручение — перемерить их заново.

— Боб Нелсон покормит вас завтраком, — добавила она.

— А еще лучше вот что, — сказал Эллиот. — Дай им корзинку с завтраком, и пусть поедят на веранде, а потом и поговорить можно.

— Это бы хорошо, — сказала Изабелла.

— Ничего нет приятнее, чем импровизированный завтрак на свежем воздухе, — назидательно произнес Эллиот. — Старая герцогиня д'Юсез

говорила мне, что в такой обстановке самый строптивый мужчина и тот поддается на уговоры. Что ты им дашь на завтрак?

— Фаршированных яиц и сандвичей с курицей.

— Глупости. Какой же это пикник без паштета? И еще, на закуску дай им креветок, заливную куриную грудку и салат латук, я его сам заправлю. А после паштета в виде уступки вашим американским вкусам — яблочный пирог.

— Я дам им фаршированных яиц и сандвичей с курицей, Эллиот, — твердо повторила миссис Брэдли.

— Ну так попомни мои слова: ничего не выйдет, и все по твоей вине.

— Ларри ест очень мало, дядя Эллиот, — сказала Изабелла. — Он, по-моему, и не замечает, что ест.

— Надеюсь, ты не ставишь ему это в заслугу, бедная моя девочка, — отозвался Эллиот.

Но миссис Брэдли не дала сбить себя с толку. Позже Эллиот рассказал мне о результатах этой поездки, пожимая плечами, как истый француз.

— Говорил я им, что ничего не выйдет. Я просил Луизу подкинуть хоть бутылку монтраше, из тех, что я прислал ей перед самой войной, но она меня не послушалась. Дала им только термос с

горячим кофе. Чего же было и ждать?

А рассказал он мне, что сидел с Луизой в гостиной, когда автомобиль остановился у подъезда и Изабелла вошла в дом. Совсем недавно стемнело, занавески были задернуты, Эллиот, развалясь в кресле, читал роман, а миссис Брэдли вышивала экран для камина. Изабелла, не заходя в гостиную, прошла к себе в спальню. Эллиот посмотрел поверх очков на сестру.

— Наверно, пошла снять шляпу, — сказала та. — Сейчас явится.

Но Изабелла не явилась. Прошло несколько минут.

— Может быть, устала и прилегла.

— А ты разве не думала, что Ларри тоже зайдет?

— Ох, Эллиот, отстань.

— Да мне что ж. Дело ваше.

Он опять уткнулся в книгу. Миссис Брэдли продолжала вышивать. Но через полчаса она вдруг встала с места.

— Посмотрю, пожалуй, как она там. Если задремала, я не стану ее тревожить.

Она вышла, но очень скоро вернулась.

— Она плакала. Ларри уезжает в Париж. На два года. Она обещала его ждать.

— Зачем ему понадобилось ехать в Париж?

— Не задавай мне вопросов, Эллиот. Я не знаю. Она мне ничего не говорит. Сказала только, что понимает и не хочет ему мешать. Я ей говорю: «Если он готов расстаться с тобой на два года, значит, не очень тебя любит», а она: «Что же делать, главное — я-то его очень люблю». — «Даже после сегодняшнего?» — «После сегодняшнего, говорит, я его еще больше полюбила. Да и он меня любит, я уверена».

Эллиот помолчал, подумал.

— А через два года что будет?

— Говорю же тебе, не знаю.

— Очень это что-то неопределенно.

— Очень.

— Тут можно сказать только одно: оба они еще молоды. Подождать два года им не повредит, а за это время мало ли что может случиться.

Они решили пока оставить Изабеллу в покое. Вечером им предстоял званый обед.

— Я не хочу ее расстраивать, — сказала миссис Брэдли. — А то приедет туда заплаканная, еще пойдут кривотолки.

Но на следующий день, когда они втроем позавтракали дома, миссис Брэдли вернулась к этой теме. Впрочем, легче ей от этого не стало.

— Право же, мама, я уже все тебе рассказала.

— Но что он хочет делать в Париже?

Изабелла улыбнулась — она знала, каким нелепым ее ответ покажется матери.

— Бездельничать.

— Что?! Это как же надо понимать?

— Я только передаю, что он сказал.

— Нет, с тобой всякое терпение потеряешь. Будь у тебя хоть капля гордости, ты бы тут же разорвала помолвку. Он просто над тобой издевается.

Изабелла посмотрела на колечко, которое носила на левой руке.

— А что я могу поделать? Я его люблю.

Тут в разговор вступил Эллиот и, как всегда, проявил бездну такта. «Понимаете, дорогой, я говорил с ней не как дядя с племянницей, а просто как человек, знающий жизнь, с неопытной девушкой», — но тоже ничего не добился. У меня создалось впечатление, что Изабелла предложила ему — в вежливой форме, разумеется, — не соваться не в свое дело. Рассказывал он мне об этом в тот же день ближе к вечеру, сидя у меня в комнате.

— Луиза, конечно, права, — сказал он. — Все это очень неопределенно, но вот так и бывает, когда молодым людям позволяют самостоятельно

устраивать свою судьбу, а для брака у них нет никаких оснований, кроме взаимной склонности. Я уговариваю Луизу не волноваться, по-моему, все устроится не так уж плохо. Ларри будет далеко, а Грэй Мэтюрин — рядом, ну и всякому, кто хоть немножко знает людей, ясно, к чему это приведет. В восемнадцать лет чувства горячи, но недолговечны.

— Житейской мудрости у вас хватает, Эллиот, — сказал я с улыбкой.

— Недаром же я читал Ларошфуко. Что такое Чикаго — вы знаете. Они постоянно будут встречаться. Девушке такая преданность всегда льстит, да еще когда она знает, что любая ее подруга хоть завтра вышла бы за него замуж, — ну скажите сами, в человеческих ли это силах устоять против искушения восторжествовать над всеми? Все равно как ехать на вечер, когда знаешь, что будешь смертельно скучать и вместо ужина подадут только лимонад с печеньем; так нет же, едешь, потому что знаешь, что лучшие твои подруги отдали бы все на свете, лишь бы туда поехать, а их не пригласили.

— Ларри когда уезжает? — спросил я.

— Не знаю. Кажется, это еще не решено.

Эллиот достал из кармана длинный плоский

портсигар, платиновый с золотом, и извлек из него египетскую папиросу. Всякие «Фатимы», «Честерфилды», «Кэмелы» и «Лаки страйк» — это было не для него. Он посмотрел на меня и многозначительно улыбнулся.

— Конечно, Луизе я бы этого не стал говорить, но вам признаюсь: втайне я питаю к этому юноше симпатию. Я понимаю, во время войны он мельком увидел Париж, и не мне его осуждать, если он ощутил прелесть этого города, единственного города в мире для цивилизованного человека. Он молод, и ему, видно, хочется все испытать, прежде чем связать себя браком. Это очень естественно, так и должно быть. Я о нем позабочусь. Познакомлю его с кем нужно: манеры у него хорошие, несколько беглых указаний с моей стороны — и можно будет ввести его в любую гостиную. Я могу показать ему такую сторону парижской жизни, которую видят лишь очень немногие американцы. Поверьте мне, милейший, рядовому американцу куда легче попасть в царствие небесное, чем в особняк на Сен-Жерменском бульваре. Ему двадцать лет, он не лишен обаяния, и я, вероятно, мог бы устроить ему связь с женщиной постарше его. Это придало бы ему лоск. Я всегда считал, что для молодого человека лучшее

воспитание — это стать любовником женщины известного возраста и, разумеется, известного круга, femme du monde[151], вы меня понимаете. Это сразу упрочило бы его положение в Париже.

— А миссис Брэдли вы это говорили? — улыбнулся я.

Эллиот поперхнулся смешком.

— Дорогой мой, если я чем-нибудь горжусь, так это своим тактом. Нет, ей я этого не говорил. Она, бедняжка, и не поняла бы меня. А мне в Луизе одно непонятно, как она, полжизни вращаясь в дипломатических кругах чуть ли не во всех столицах мира, умудрилась сохранить такой безнадежно американский образ мыслей.

IX

В тот вечер я был на обеде в большом каменном доме на Набережной, производившем такое впечатление, словно архитектор начал строить средневековый замок, а достроив до половины, передумал и решил превратить его в швейцарское шале. Приглашенных было не счесть, и, войдя в огромную пышную гостиную — сплошь статуи, пальмы, канделябры, старые мастера

---

[151] Примечания: 151
Светской женщины (*фр.*).

и мягкая мебель, — я был рад увидеть хотя бы несколько знакомых лиц. Генри Мэтюрин представил меня своей худенькой, хрупкой, сильно накрашенной жене. Миссис Брэдли и Изабелла дружески со мной поздоровались. Изабелла была прелестна, красное шелковое платье очень шло к ее темным волосам и ярко-карим глазам. Она, казалось, была в ударе, и никто бы не догадался, что только накануне она прошла через такое мучительное испытание. Ее окружали несколько молодых людей, в том числе Грэй Мэтюрин, и она весело с ними болтала. Обедали мы за разными столами, и я ее не видел, но позже, когда мы, мужчины, просидев невесть сколько времени за кофе с ликером и сигарами, вернулись наконец в гостиную, мне удалось с ней поговорить. Я не был с ней знаком достаточно близко, чтобы прямо коснуться того, о чем рассказал мне Эллиот, но у меня была в запасе новость, которой я надеялся ее порадовать.

— На днях видел в клубе вашего молодого человека, — сказал я как бы мимоходом.

— Правда?

Говорила она так же небрежно, как я, но я заметил, что она сразу насторожилась. Глаза стали внимательные и как будто испуганные.

— Он был в библиотеке, читал, — продолжал я. — Меня поразила его усидчивость. Он читал, когда я пришел туда в начале одиннадцатого, читал, когда я вернулся после завтрака, и все еще читал, когда я заглянул туда перед самым обедом. Очевидно, он часов десять подряд просидел в этом кресле.

— А что он читал?

— «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса.

Она не смотрела на меня, так что трудно было судить, как мои слова были восприняты, но почему-то мне показалось, что они и озадачили ее, и успокоили. Тут хозяин дома потащил меня играть в бридж, а когда мы кончили играть, Изабелла с матерью уже уехали.

X

Через несколько дней я зашел к миссис Брэдли проститься с ней и с Эллиотом. Я застал их за чаем. Вскоре после меня явилась Изабелла. Мы побеседовали о предстоящем мне путешествии. Я поблагодарил их за то, как любезно они приняли меня в Чикаго, и, просидев, сколько нужно, поднялся с места.

— Я дойду с вами до аптеки, — сказала Изабел-

ла. — Я забыла купить там одну вещь.

Последнее, что я услышал от миссис Брэдли, было:

— Когда увидите дорогую королеву Маргариту, не забудьте передать от меня привет, хорошо?

Я уже отчаялся внушить ей, что не знаком с этой коронованной особой, и без запинки ответил, что передам непременно.

Выйдя на улицу, Изабелла лукаво поглядела на меня и спросила:

— Вы как, способны выпить содовой с мороженым?

— Попробую, — ответил я осторожно.

До самой аптеки Изабелла молчала, мне тоже было нечего сказать. Мы вошли и сели за столик, на стулья с гнутой проволочной спинкой и гнутыми проволочными ножками, очень неудобные. Я заказал две порции содовой с мороженым. У прилавка стояли несколько покупателей, еще две-три пары сидели за столиками, но они были заняты своими разговорами, так что мы оказались все равно что одни. Я закурил и стал ждать, пока Изабелла с довольным видом тянула напиток через длинную соломинку. Она, видимо, нервничала.

— Мне нужно было с вами поговорить, — нача-

ла она вдруг.

— Я так и понял, — улыбнулся я.

— Почему вы в тот вечер у Саттеруэйтов сказали мне это про Ларри?

— Думал, вам будет интересно. Я не был уверен, хорошо ли вы себе представляете, что Ларри понимает под словом «бездельничать».

— Дядя Эллиот ужасный сплетник. Когда он сказал, что идет к вам в клуб поболтать, я сразу поняла, что он вам все обо всем расскажет.

— Не забудьте, мы с ним давно знакомы. Его хлебом не корми, дай только посудачить о чужих делах.

— Это верно. — Она улыбнулась, но это был лишь проблеск, глаза ее оставались серьезными. — Что вы скажете о Ларри?

— Я видел его всего три раза. По-моему, очень славный мальчик.

— И это все?

В голосе ее прозвучало разочарование.

— Нет, почему же. Мне, знаете ли, трудно сказать, ведь я его почти не знаю. Но, конечно, в нем много привлекательного: какая-то скромность, мягкость, дружелюбие… И в нем чувствуется редкое для его возраста самообладание. Чем-то он отличается от всех молодых людей, которых я

здесь встречал.

Пока я подыскивал слова, чтобы выразить впечатление, мне самому не совсем ясное, Изабелла не сводила с меня глаз. Когда я умолк, она чуть вздохнула, словно бы с облегчением, а потом одарила меня очаровательной шаловливой улыбкой.

— Дядя Эллиот говорит, что часто дивился вашей наблюдательности. Он говорит, что вы буквально все замечаете, но что главное ваше достоинство как писателя — здравомыслие.

— Я мог бы назвать более ценное качество, — отозвался я сухо. — Например, талант.

— Понимаете, мне не с кем это обсудить. Мама смотрит на все только со своей точки зрения. Она хочет, чтобы мое будущее было обеспечено.

— Что ж, это естественно.

— А для дяди Эллиота значение имеет только положение в обществе. А мои друзья, то есть мои сверстники, считают, что Ларри — жалкий неудачник. Это ужасно обидно.

— Еще бы.

— Они не то что плохо к нему относятся. К нему нельзя относиться плохо. Но они не принимают его всерьез. Они все время его поддразнивают, а ему хоть бы что, он только смеется, и это выводит

их из себя. Как сейчас обстоит дело, вы знаете?

— Только со слов Эллиота.

— Можно, я вам расскажу, что на самом деле произошло, когда мы ездили в Марвин?

— Разумеется.

Этот эпизод я частью восстановил по воспоминаниям о том, что она мне тогда рассказала, частью домыслил сам. Но разговор у них с Ларри был долгий, и сказано было, несомненно, куда больше того, что будет воспроизведено ниже. Думаю, что они, как всегда бывает в таких случаях, не только наговорили много такого, что не относилось к делу, но и без конца повторяли одно и то же.

Проснувшись утром и убедившись, что погода прекрасная, Изабелла позвонила Ларри, сказала, что мать посылает ее в Марвин с поручением, и просила свозить ее туда в автомобиле. На всякий случай она добавила термос с мартини к тому термосу с кофе, который миссис Брэдли велела Юджину уложить в корзинку. Машина у Ларри была новенькая, и он очень ею гордился. Он любил ездить быстро, от бешеной скорости настроение у обоих поднялось. Когда они приехали, Изабелла перемерила занавески, подлежавшие замене, а Ларри записал нужные данные. Потом

они устроились завтракать на веранде. Она была защищена от ветра, а солнце бабьего лета приятно пригревало. К дому вела грунтовая дорога, он выглядел отнюдь не нарядно, не то что старые деревянные дома в Новой Англии, и похвалиться мог разве что тем, что был поместительный и удобный; но с веранды открывался вид на длинный красный сарай с черной крышей, купу старых деревьев и необозримые бурые поля. Скучный вид, но в тот день солнце и яркие осенние краски придавали ему какую-то интимную прелесть. В этих огромных пространствах было что-то бодрящее. Зимой тут, наверно, было холодно, неприютно, уныло, знойным летом сухо, выжжено, нечем дышать, но в эту пору ландшафт веселил душу, самая безбрежность его манила в неведомые дали.

Они позавтракали с аппетитом, как свойственно молодости, им было хорошо вдвоем. Изабелла разлила кофе, Ларри закурил трубку.

— Ну, приступай, дорогая, — сказал он, лукаво улыбаясь глазами.

— К чему приступать? — спросила она, по мере сил разыгрывая удивление.

Он усмехнулся.

— Ты меня совсем уж за дурака принимаешь?

Голову даю на отсечение, что ширина и высота ваших окон в гостиной твоей маме отлично известны. Не для этого ты просила меня сюда съездить.

Овладев собой, она улыбнулась ему ослепительной улыбкой.

— Может быть, я подумала, что хорошо бы нам с тобой провести денек наедине.

— Может быть, но едва ли. Скорее, я подозреваю, что дядя Эллиот тебе сказал, что я отклонил предложение Генри Мэтюрина.

Говорил он легко и весело, и она решила отвечать ему в тон.

— Грэй, должно быть, ужасно разочарован. Ему так хотелось, чтобы вы работали вместе. Когда-то ведь нужно начинать, а чем дольше откладывать, тем будет труднее.

Он попыхивал трубкой, ласково ей улыбаясь, и она не могла разобрать, шутит он или говорит серьезно.

— А мне, знаешь ли, сдается, что я вовсе не мечтаю всю жизнь торговать ценными бумагами.

— Ну хорошо, тогда поступи в обучение к юристу или на медицинский.

— Нет, это тоже не для меня.

— Так чего же тебе хочется?

— Бездельничать, — отвечал он спокойно.

— Не дури, Ларри. Это ведь очень-очень серьезно.

Голос ее дрогнул, глаза наполнились слезами.

— Не плачь, родная. Я не хочу тебя терзать.

Он пересел к ней ближе, обнял ее за плечи. В голосе его было столько ласки, что она не могла сдержать слезы. Но тут же вытерла глаза и заставила себя улыбнуться.

— Говоришь, что не хочешь меня терзать, а сам терзаешь. Пойми, ведь я тебя люблю.

— И я тебя люблю, Изабелла.

Она глубоко вздохнула. Потом сбросила с плеча его руку и отодвинулась.

— Давай говорить как взрослые люди. Мужчина должен работать, Ларри. Хотя бы из самоуважения. Мы — молодая страна, и долг мужчины — участвовать в ее созидательной работе. Генри Мэтюрин только на днях говорил, что мы вступаем в такую пору, рядом с которой все достижения прошлого — ничто. Он сказал, что возможности развития у нас беспредельные, и он убежден, что к тысяча девятьсот тридцатому году мы будем самой богатой и самой великой страной во всем мире. Ведь это ужасно интересно, правда?

— Ужасно.

— Перед молодыми открыты все дороги. Тебе бы надо гордиться, что ты можешь принять участие в работе, которая нас ждет. Это так увлекательно.

— Наверно, ты права, — отвечал он смеясь, — Армор и Свифт будут выпускать все больше мясных консервов все лучшего качества, а Маккормик — все больше жнеек, а Генри Форд — все больше автомобилей. И все будут богатеть и богатеть.

— А почему бы и нет?

— Вот именно, почему бы и нет. Но меня, понимаешь, деньги не интересуют.

Изабелла фыркнула.

— Дорогой мой, не говори глупостей. Без денег не проживешь.

— Немножко у меня есть. Это и позволяет мне делать, что я хочу.

— То есть бездельничать?

— Да, — улыбнулся он.

— Ох, Ларри, с тобой так трудно говорить, — вздохнула она.

— Мне очень жаль, но тут я бессилен.

— Неправда.

Он покачал головой. Помолчал, о чем-то задумавшись. Когда же наконец заговорил, то сказал

нечто совсем уж несуразное:

— Мертвецы, когда умрут, выглядят до ужаса мертвыми.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она растерянно.

— Да то, что сказал, — ответил он с виноватой улыбкой. — Когда находишься в воздухе совсем один, есть время подумать. И всякие странные мысли лезут в голову.

— Какие мысли?

— Туманные, — улыбнулся он. — Бессвязные. Путаные.

Изабелла обдумала его слова.

— А тебе не кажется, что, если бы ты стал работать, они бы прояснились и ты бы разобрался в себе?

— Я думал об этом. Я уже прикидывал, может, пойти работать плотником или в гараж.

— О Господи, Ларри, да люди подумают, что ты помешался.

— А это имеет значение?

— Для меня — да.

Опять наступило молчание. На этот раз первой заговорила она:

— Ты так изменился после Франции.

— Неудивительно. Со мной там много чего

случилось.

— Например?

— Ну, что всегда бывает на войне. Один авиатор, мой лучший друг, спас мне жизнь, а сам погиб. Это было нелегко пережить.

— Расскажи.

Он посмотрел на нее с тоской в глазах.

— Не хочется мне об этом говорить. Да, в общем, такое каждый день случается.

Изабелла, отзывчивая душа, опять чуть не заплакала.

— Ты несчастлив, милый?

— Нет, — улыбнулся он. — Если несчастлив, так только оттого, что делаю тебе больно. — Он взял ее за руку, и в прикосновении его крепкой, сильной руки было что-то до того дружеское, до того бережное и нежное, что она прикусила губу, чтобы не разрыдаться. — Скорее всего я так и не успокоюсь, пока окончательно для себя все не решу, — сказал он задумчиво. — Ужасно трудно выразить это словами. Только начнешь — и сбиваешься. Говоришь себе: «Кто я такой, чтобы копаться в этих сложностях? Может, я просто возомнил о себе? Не лучше ли идти проторенной дорожкой, а там будь что будет?» А потом вспомнишь парня, который час назад был полон жизни,

а теперь лежит мертвый, и так все покажется жестоко и нелепо. Поневоле задаешься вопросом, что такое вообще жизнь и есть ли в ней какой-то смысл или она всего лишь трагическая ошибка незрячей судьбы.

Невозможно было остаться спокойной, когда Ларри говорил этим своим особенным голосом, говорил запинаясь, словно против воли, но с такой щемящей искренностью. Изабелла не сразу нашла в себе силы заговорить.

— А тебе не стало бы легче, если бы на время уехать?

Она задала этот вопрос с замиранием сердца. Он долго не отвечал.

— Вероятно, стало бы. Я очень стараюсь относиться безразлично к тому, что обо мне думают, но это нелегко. Когда тебя осуждают, сам начинаешь осуждать других и делаешься себе противен.

— Так почему ж ты не уезжаешь?

— Из-за тебя, конечно.

— Не будем прятаться друг от друга, милый. Сейчас в твоей жизни для меня нет места.

— Это что значит, что ты расхотела быть со мной помолвленной?

Она заставила себя улыбнуться дрожащими

губами.

— Нет, глупенький, это значит, что я согласна ждать.

— Может быть, год, может быть, два?

— Ничего. Может быть, и меньше. Ты куда поедешь?

Он посмотрел на нее пристально, словно хотел заглянуть ей в самое сердце. Она опять улыбнулась, чтобы скрыть отчаяние.

— Для начала я бы поехал в Париж. Я там никого не знаю. Никто не станет соваться в мою жизнь. Я несколько раз туда ездил в отпуск. Не знаю почему, я вбил себе в голову, что там все мои недоумения прояснятся. Это удивительный город, он рождает ощущение, что там можно без помехи додумать свои мысли до конца. Мне кажется, там я смогу понять, как мне жить дальше.

— А если не сможешь, тогда что?

Он усмехнулся.

— Тогда я вспомню, что, как всякий американец, наделен здравым смыслом, плюну на все, вернусь в Чикаго и возьмусь за любую работу, какую смогу получить.

Эта сцена так повлияла на Изабеллу, что она и рассказывать об этом не могла без волнения, а закончив, устремила на меня жалобный взгляд.

— Как по-вашему, я правильно поступила?

— По-моему, иначе вы поступить не могли, но вы к тому же выказали большую доброту, великодушие и понимание.

— Я его люблю и хочу, чтобы ему было хорошо. И знаете, в каком-то смысле я рада, что он уедет. Я хочу, чтобы он вырвался из этой враждебной атмосферы, и не только ради него хочу, но и ради себя. Я не могу осуждать людей, которые говорят, что из него ничего не выйдет. Я их за это ненавижу, а в глубине души боюсь, как бы они не оказались правы. Но насчет понимания это вы зря. Я абсолютно не понимаю, что ему нужно.

— Может быть, понимаете не столько разумом, сколько сердцем. А почему бы вам не выйти за него замуж теперь же и не уехать с ним в Париж?

В ее глазах мелькнула тень улыбки.

— Я бы с радостью. Но нет, не могу. И знаете, хоть и тяжко это сознавать, но я почти уверена, что без меня ему будет лучше. Если доктор Нелсон прав и у него это действительно затянувшиеся последствия военной травмы, тогда новая обстановка и новые интересы, безусловно, помогут ему вылечиться, а когда он снова придет в равновесие, то вернется в Чикаго и станет работать, как

все. Я не хочу, чтобы мой муж сидел сложа руки.

Изабелла получила соответствующее воспитание и твердо усвоила правила, которые ей внушали с детства. О деньгах она не думала, потому что ей никогда не случалось в чем-либо себе отказывать, но инстинктом чувствовала, как много они значат. Деньги — это власть, влияние, общественный вес. И вполне естественно и очевидно, что обязанность мужчины — их наживать. В этом и должна состоять его работа.

— Меня не удивляет, что вы не понимаете Ларри, — сказал я, — потому что он, как мне кажется, сам себя не понимает. Если он избегает говорить о своей цели в жизни, так это, возможно, потому, что ясной цели у него и нет. Правда, я его почти не знаю и это только догадки, но что, если он сам не знает, чего ищет, и даже не уверен, есть ли чего искать? Может быть, то, что случилось с ним на войне, начисто лишило его душевного покоя. Может, он стремится к какому-то идеалу, скрытому за туманом неизвестности, — как астроном ищет звезду, о существовании которой судит только по математическим вычислениям.

— Я чувствую, что что-то все время его угнетает.

— Может быть, собственная душа? Может быть,

он сам себя немного боится. Может быть, не убежден в подлинности того, что смутно прозревает внутренним оком.

— Он иногда производит на меня такое странное впечатление — как лунатик, который вдруг проснулся в каком-то незнакомом месте и не может сообразить, куда он попал. До войны он был такой нормальный. В нем чувствовался такой неуемный вкус к жизни. Он был веселый, беззаботный, с ним было так легко, такой был смешной и милый. Что могло его до такой степени изменить?

— Трудно сказать. Иногда какая-нибудь мелочь способна оказать на нас действие, совершенно несообразное с ее фактическим значением. Все зависит от обстановки и от нашего настроения в ту минуту. Помню, я как-то в День всех святых, французы называют его Днем поминовения мертвых, пошел к обедне в деревенскую церковь, которую немцы порядком повредили во время своего первого вторжения во Францию. Церковь была полна солдат и женщин в черном. На кладбище выстроились рядами низкие деревянные кресты, и, пока шла служба, торжественная и печальная, и женщины плакали, да и мужчины тоже, мне подумалось, что, может быть, тем, кто лежит

под этими крестами, лучше, чем нам, живым. Я поделился этой мыслью с одним знакомым, и он спросил, что я имею в виду. Объяснить я не мог, и он, конечно же, счел меня идиотом. А еще помню, как-то после боя я видел трупы французских солдат, сложенные в большую кучу. Они напомнили мне марионеток, которых прогоревший актер-кукольник свалил как попало в пыльный угол, потому что они ему больше не нужны. И тогда я подумал то самое, что вам сказал Ларри: мертвецы выглядят до ужаса мертвыми.

Я не хочу внушить читателю, будто нарочно делаю тайну из того, что случилось с Ларри на войне и так сильно его потрясло, с тем чтобы в удобный момент эту тайну раскрыть. Вероятнее всего, он так никому и не рассказал об этом. Правда, много лет спустя он рассказал одной женщине, Сюзанне Рувье, которую мы оба знали, про того молодого пилота, который погиб, спасая ему жизнь. Она пересказала это мне, так что я знаю об этом только из вторых рук, и ее рассказ, как он мне запомнился, перевожу теперь с французского. По ее словам выходило, что во Франции Ларри крепко подружился с одним малым, служившим в той же эскадрилье. Имени его Сюзанна не знала, помнила только шутливую кличку, которой его

называл Ларри.

«Он был небольшого росточку, рыжий, — говорил Ларри. — Ирландец. Мы окрестили его Патси. Живчик был, каких мало. Энергия из него так и перла. Физиономия у него была забавная и ухмылка забавная, при одном взгляде на него смех разбирал. Дисциплины он не признавал, проказничал напропалую, начальники его чуть не каждый день распекали. Он не знал, что такое страх, и, побывав на волосок от смерти, только ухмылялся во весь рот, точно в ответ на хорошую шутку. Но авиатор он был Божьей милостью и в воздухе проявлял и выдержку, и осторожность. Он многому меня научил. Он был чуть постарше меня и оказывал мне покровительство. Очень это было смешно, потому что я был выше его ростом дюймов на шесть и, если б нам случилось сцепиться, в два счета его уложил бы. Один раз в Париже я так и сделал, потому что он был пьян и я боялся, что он влипнет в неприятную историю.

В эскадрилье я сначала не мог освоиться, боялся, что буду хуже всех, так он одними насмешками заставил меня поверить в свои силы. Войну он как-то не принимал всерьез, ненависти к немцам у него не было. Но подраться был не прочь и в воздушный бой вступал с превеликим удоволь-

ствием. Сбивая немецкий аэроплан, он при всем желании не мог в этом усмотреть ничего, кроме хорошей шутки. Он был нахальный, отчаянный, беспардонный, но было в нем что-то такое до того настоящее, что его нельзя было не любить. Отдавал последнее с такой же легкостью, как и брал. А если одолеет тебя тоска по родине или страх, как со мной бывало, сразу заметит, скорчит хитрую рожу и такое скажет, что живо приведет тебя в чувство».

Ларри затянулся трубкой, а Сюзанна молча ждала, что будет дальше.

«Мы с ним ловчили, чтобы одновременно получать увольнительные, и в Париже он совсем с цепи срывался. Мы здорово проводили там время. В начале марта, в восемнадцатом это было, нас как раз обещали отпустить на несколько дней, и мы заранее составили план кампании. Каких только развлечений себе не придумали! Накануне того дня нас послали облетать вражеские позиции и донести обо всем, что увидим. Вдруг откуда ни возьмись несколько германских аэропланов, и не успели мы оглянуться, как завязался бой. Один из них погнался за мной, но я стал стрелять первым. Хотел проверить, сбил я его или нет, и тут краем глаза увидел у себя на

хвосте второго. Я спикировал, чтобы уйти от него, но он мгновенно меня настиг, и я уж думал, что мне крышка; но тут Патси коршуном налетел на него и всыпал ему как следует. Этого с них хватило, они от нас отстали, а мы повернули домой. Мою машину здорово покорежило, я еле дотянул. Патси сел первым. Когда я выбрался из кабины, его только что вынесли и положили на землю. Ждали санитарную машину. При виде меня он ухмыльнулся.

«Дал я тому мерзавцу, что висел у тебя на хвосте», — сказал он.

«А что с тобой, Патси?» — спросил я.

«Да пустяки. Он меня малость подбил».

Он был бледен как смерть. И вдруг лицо его странно изменилось. Он почувствовал, что умирает, а до этого такая возможность даже не приходила ему в голову. Он рывком приподнялся — его не успели удержать. Засмеялся, сказал: «О черт, надо же» — и упал мертвый. Ему было двадцать два года. В Ирландии его ждала невеста».

Через день после моего разговора с Изабеллой я уехал в Сан-Франциско, откуда мне предстояло плыть на Дальний Восток.

Глава вторая

I

С Эллиотом я увиделся только в июне следующего года, когда он приехал в Лондон. Я спросил про Ларри, попал ли он в конце концов в Париж. Да, попал. Раздражение, с каким говорил о нем Эллиот, меня слегка позабавило.

— Я ведь втайне питал к этому мальчику симпатию. Я не осуждал его желание провести годик-другой в Париже и был готов служить ему ментором. Я сказал ему, чтобы, как приедет, немедленно меня известил, но о приезде его узнал только из письма Луизы. Я написал ему до востребования на агентство «Американ экспресс», такой адрес дала мне Луиза, и пригласил его к себе на обед, чтобы кое с кем познакомить. Для начала я наметил несколько дам из франко-американского круга — ну, например, Эмили Монтадур и Грэси де Шато-Гайар. Так знаете, что он мне ответил? Что приехать не может, потому что не привез с собой ни фрака, ни визитки.

Эллиот посмотрел на меня в упор, ожидая прочесть на моем лице изумление и ужас. Убедив-

шись же, что я принял его сообщение спокойно, он презрительно вздернул брови.

— Он ответил мне на листке дешевой бумаги со штампом какого-то кафе в Латинском квартале. Я опять написал, просил дать мне знать, где он остановился. Я чувствовал себя обязанным как-то помочь ему ради Изабеллы и еще подумал, что он, может быть, стесняется. Понимаете, я просто не мог поверить, что молодой человек, если он не сумасшедший, мог приехать в Париж без вечерних костюмов, да, впрочем, и в Париже есть вполне приличные портные, и я пригласил его на завтрак, сказав, что народу будет совсем мало, а он, хотите — верьте, хотите — нет, не только оставил без внимания мою просьбу сообщить какой-нибудь адрес, кроме «Американ экспресс», но написал, что днем никогда не завтракает. После этого я поставил на нем крест.

— Интересно, как он проводит время.

— Не знаю, да, по правде сказать, и знать не хочу. Боюсь, что иметь с ним дело нежелательно, и со стороны Изабеллы было бы серьезной ошибкой выйти за него замуж. Ведь если бы он вел нормальный образ жизни, я бы неизбежно встретил его в баре отеля «Ритц», или у Фуке, или еще где-нибудь.

Я и сам заглядывал иногда в эти фешенебельные рестораны, но заглядывал и в другие, и в начале осени того же года как раз провел несколько дней в Париже по пути в Марсель, откуда собирался отплыть в Сингапур на одном из пароходов компании Мессажери. Как-то вечером я обедал со знакомыми на Монпарнасе, а после обеда мы зашли в кафе «Куполь» выпить пива. Обводя взглядом террасу, я увидел Ларри, он сидел один за мраморным столиком и поглядывал на прохожих, наслаждавшихся вечерней прохладой после душного дня. Я извинился перед своими спутниками и подошел к нему. При виде меня лицо его оживилось, он приветливо мне улыбнулся и пригласил присесть, но я сказал, что не могу, так как я не один.

— Я просто хотел с вами поздороваться.

— Вы здесь надолго?

— Всего на несколько дней.

— Может быть, позавтракаем вместе завтра?

— А я думал, вы днем не завтракаете.

Он усмехнулся.

— Понятно, с Эллиотом вы уже виделись. Да, обычно не завтракаю, времени жалко, выпью стакан молока с бриошью, и все, но вас мне захотелось пригласить.

— Ну что ж.

Мы сговорились, что на следующий день встретимся тут же, выпьем по аперитиву, а потом позавтракаем где-нибудь поблизости. Я вернулся к своему столу. Мы еще посидели, поговорили, а когда я опять хотел найти глазами Ларри, оказалось, что он уже ушел.

II

Следующее утро прошло очень приятно. Я поехал в Люксембургский дворец и провел там час перед некоторыми из своих любимых картин. Потом погулял по саду, воскрешая воспоминания молодости. Здесь ничего не изменилось. Словно те же студенты ходили парами по дорожкам, горячо обсуждая писателей, волновавших их умы. Словно те же дети катали те же серсо под бдительным надзором тех же нянек. Словно те же старики и те же пожилые женщины в трауре сидели на скамейках и обменивались мнениями о ценах на мясо и кознях прислуги. Потом я пошел к театру «Одеон», поглядел, какие книжные новинки выставлены на галереях, и увидел молодых людей, которые так же, как я тридцать лет назад, под недовольными взглядами продавцов в синих блузах норовили прочесть возможно

больше страниц из книг, недоступных для их тощего кошелька. Потом по милым моему сердцу невзрачным улицам я выбрался на бульвар Монпарнас и так дошел до кафе «Куполь». Ларри меня ждал. Мы выпили и отправились в ресторанчик, где можно было поесть на воздухе.

Ларри, пожалуй, немного осунулся с тех пор, как я видел его в Чикаго, так что его темные глаза в глубоких глазницах казались совсем черными, но держался он с тем же самообладанием, удивительным в столь молодом человеке, и улыбался так же неотразимо. Когда он заказывал завтрак, я заметил, что по-французски он говорит свободно и без акцента. Я похвалил его за это.

— Немножко я знал французский и раньше, — объяснил он. — У Изабеллы была гувернантка-француженка, и, когда они жили в Марвине, она заставляла нас весь день говорить по-французски.

Я спросил, нравится ли ему Париж.

— Очень нравится.

— Вы живете на Монпарнасе?

— Да, — ответил он после едва заметной паузы, которую я истолковал как нежелание высказаться точнее.

— Эллиота серьезно огорчило, что вы не дали

ему никакого адреса, кроме «Американ экспресс».

Он улыбнулся, но промолчал.

— Как вы проводите время?

— Бездельничаю.

— Читаете?

— Да, читаю.

— С Изабеллой переписываетесь?

— Изредка. Писать письма мы оба ленимся. Она вовсю веселится в Чикаго. Будущей осенью они с тетей Луизой приедут к Эллиоту погостить.

— Рад за вас.

— Изабелла, по-моему, никогда не была в Париже. Забавно будет все ей здесь показать.

Он расспросил меня о моем путешествии в Китай и слушал мои рассказы внимательно, но навести разговор на него самого мне не удалось. Он так упорно отмалчивался, что я поневоле заключил, что пригласил он меня с единственной целью побыть в моем обществе; это было и лестно, и непонятно. Не успели мы допить кофе, как он подозвал официанта, расплатился и встал.

— Ну, мне надо бежать.

Мы расстались. Ничего нового я о нем так и не узнал и больше его не видел.

III

Когда миссис Брэдли с Изабеллой уже весной, раньше, чем было намечено, приехали к Эллиоту в гости, меня в Париже не было; и снова я вынужден призвать на помощь воображение, рассказывая о том, что произошло за те несколько недель, что они там провели. Пароход доставил их в Шербур, и Эллиот, любезный, как всегда, встретил их на пристани. Они прошли таможенный досмотр. Поезд тронулся. Эллиот не без самодовольства сообщил, что нанял для них очень хорошую горничную, и когда миссис Брэдли сказала, что это лишнее, что горничная им не нужна, он строго отчитал ее.

— Что это такое в самом деле, Луиза, не успела приехать, как уже споришь. Без горничной вам не обойтись, и Антуанетту я нанял, заботясь не только о вас, но и о себе. Для меня очень важно, как вы будете выглядеть.

Он окинул их дорожные костюмы неодобрительным взглядом.

— Вы, конечно, захотите накупить новых платьев. По зрелом размышлении я решил, что лучше всего вам подойдет Шанель.

— Раньше я всегда одевалась у Ворта, — сказала

миссис Брэдли.

Он пропустил ее слова мимо ушей.

— Я сам переговорил с Шанель, и мы условились, что вы будете там завтра в три часа. Затем шляпы. Тут я рекомендую Ребу.

— Я не хочу много тратить, Эллиот.

— Знаю. Все расходы я беру на себя. Вы должны быть одеты так, чтобы я мог вами гордиться. И еще вот что, Луиза, я подготовил для вас несколько интересных вечеров, и я говорю моим друзьям, что Мирон был послом — он, конечно, и был бы послом, проживи он немного дольше, а звучит это эффектнее. Вероятно, речь об этом и не зайдет, но я решил тебя предупредить.

— Чудак ты, Эллиот.

— Вовсе нет. Я знаю жизнь. И знаю, что вдова посла в глазах людей значит больше, чем вдова советника посольства.

Когда показался Северный вокзал, Изабелла, стоявшая у окна, воскликнула:

— А вот и Ларри!

Едва поезд остановился, она соскочила на платформу и побежала ему навстречу. Он обнял ее.

— Откуда он узнал о вашем приезде? — ледяным тоном спросил Эллиот.

— Изабелла послала ему телеграмму с паро-

хода.

Миссис Брэдли расцеловала его, а Эллиот волей-неволей протянул ему руку. Было десять часов вечера.

— Дядя Эллиот, можно Ларри прийти к нам завтра ко второму завтраку? — Она повисла у Ларри на руке, лицо ее светилось, глаза сияли.

— Я был бы очень рад, но он дал мне понять, что днем не завтракает.

— Ну, завтра позавтракает, правда, Ларри?

— Правда, — улыбнулся он.

— Тогда милости прошу к часу дня.

Он снова протянул руку, как бы прощаясь, но Ларри ответил ему откровенной усмешкой.

— Я помогу с багажом и приведу вам такси.

— Мой автомобиль ждет, а о багаже позаботится мой лакей, — произнес Эллиот с достоинством.

— Чудесно. Тогда можно ехать. Если для меня найдется место, я доеду с вами до вашего дома.

— Да, Ларри, обязательно, — сказала Изабелла.

Они пошли по перрону рядом, а Эллиот с сестрой чуть позади. Лицо Эллиота выражало холодное осуждение.

— Quelles manières[152], — пробормотал он, ибо

---

[152] Примечания: 152
Какие манеры (*фр.*).

в некоторых случаях считал уместным выражать свои чувства по-французски.

На следующее утро в одиннадцать часов он закончил свой туалет (рано вставать он не любил), после чего через своего лакея Жозефа и горничную Антуанетту послал сестре записку с просьбой прийти в библиотеку побеседовать без помехи. Когда она пришла, он старательно прикрыл дверь, закурил папиросу в очень длинном агатовом мундштуке и сел.

— Насколько я понял, Ларри и Изабелла все еще считаются женихом и невестой?

— Как будто так.

— К сожалению, я могу тебе сообщить о нем мало хорошего. — И он рассказал сестре, как готовился ввести Ларри в общество, как собирался устроить его подобающим образом. — Я даже присмотрел одну холостую квартирку, которая подошла бы ему как нельзя лучше. Ее снимает молодой маркиз де Ретель, но он хотел ее сдать от себя, потому что получил назначение в посольство в Мадриде.

Но Ларри отклонил его предложение, ясно дав понять, что в его помощи не нуждается.

— Какой смысл приезжать в Париж, если не хочешь взять от Парижа то, что он может дать, —

это выше моего понимания. Мне неизвестно, где и как он проводит время. По-моему, он ни с кем не знаком. Вы хоть знаете, где он живет?

— Он дал только этот адрес — «Американ экспресс».

— Как коммивояжер или школьный учитель на каникулах. Я не удивился бы, узнав, что он живет с какой-нибудь гризеткой в студии на Монмартре.

— Эллиот!

— А как иначе объяснить, что он скрывает свое местожительство и не желает общаться с людьми своего круга?

— Не похоже это на Ларри. А вчера разве тебе не показалось, что он чуть не больше прежнего влюблен в Изабеллу? Не мог бы он так притворяться.

Эллиот только пожал плечами, как бы говоря, что мужскому коварству нет предела.

— А как там Грэй Мэтюрин, еще не отступился?

— Он женился бы на Изабелле хоть завтра, если б она согласилась.

И тут миссис Брэдли рассказала, почему они приехали в Европу раньше, чем предполагали. Она стала плохо себя чувствовать, и врачи нашли

у нее диабет. Форма нетяжелая, и при должной диете и умеренных дозах инсулина она вполне может прожить еще много лет, но сознание, что она больна неизлечимой болезнью, усилило ее тревогу за будущее дочери. Они все обговорили. Изабелла проявила благоразумие. Она согласилась, что если Ларри и после двух лет в Париже откажется вернуться в Чикаго, тогда останется одно — порвать с ним. Но самой миссис Брэдли представлялось обидным дожидаться назначенного срока, а потом увозить его обратно на родину, точно преступника, скрывающегося от правосудия. И для Изабеллы это значило бы поставить себя в унизительное положение. Зато ничего не могло быть естественнее, чем провести лето в Европе, где Изабелла не бывала с детства. Они поживут в Париже, потом поедут на какой-нибудь курорт, где миссис Брэдли сможет полечиться водами, оттуда ненадолго в Австрийский Тироль и дальше, не спеша, по Италии. В планы миссис Брэдли входило пригласить в это путешествие Ларри, чтобы дать им с Изабеллой возможность проверить, не изменились ли их чувства под влиянием долгой разлуки. Тут уж окончательно выяснится, готов ли Ларри, порезвившись на воле, стать взрослым человеком,

ответственным за свои поступки.

— Генри Мэтюрин был очень на него сердит, когда он отказался от предложенного места, но Грэй уломал его, и Ларри, если захочет, будет принят к нему в контору, как только вернется в Чикаго.

— Славный малый этот Грэй.

— Еще бы, — вздохнула миссис Брэдли. — С ним-то Изабелла была бы счастлива, это я знаю.

Затем Эллиот рассказал ей, какие развлечения он для них подготовил. Завтра он дает завтрак, в конце недели — званый обед. Еще он повезет их на раут к Шато-Гайарам и уже заручился для них приглашениями на бал у Ротшильдов.

— Ларри ты ведь тоже пригласишь?

— Он заявил мне, что у него нет вечерних костюмов, — фыркнул Эллиот.

— А ты все равно пригласи. Он как-никак милый, и нет никакого смысла его отстранять, только Изабеллу против себя восстановишь.

— Ну конечно, приглашу, если тебе так хочется.

К завтраку Ларри явился без опоздания, и Эллиот, как человек воспитанный, выказывал ему подчеркнутую сердечность. Это, впрочем, было нетрудно: Ларри был так весел, так оживлен, что только человек, куда более злонравный, чем Эл-

лиот, мог не поддаться его очарованию. Разговор шел о Чикаго и о тамошних общих знакомых, так что Эллиоту, в сущности, оставалось только делать любезное лицо и притворяться, что его интересуют дела людей, не занимающих, по его мнению, никакого положения в обществе. Слушал он, положим, не без удовольствия; его даже умиляло, как они упоминали о том, что такие-то двое помолвлены, такие-то поженились, а такие-то развелись. Кто о них когда слышал? Ему-то, например, известно, что хорошенькая маркиза де Кленшан пыталась отравиться, потому что ее бросил любовник, принц де Коломбе, чтобы жениться на дочери какого-то южноамериканского миллионера. Вот об этом действительно стоило поговорить. Поглядывая на Ларри, он был вынужден признать, что в нем есть что-то привлекательное; эти глубоко посаженные, до странности черные глаза, высокие скулы, бледная кожа и подвижный рот напомнили Эллиоту один портрет кисти Боттичелли, и ему подумалось, что если бы одеть Ларри в костюм той эпохи, он выглядел бы до крайности романтично. Он вспомнил, что подумывал свести его с какой-нибудь именитой француженкой, и лукаво улыбнулся при мысли, что на субботний обед приглашена

Мари-Луиза де Флоримон, сочетающая безупречные семейные связи с заведомо безнравственным поведением. В сорок лет она выглядела на тридцать; она унаследовала утонченную красоту своей бабки, увековеченную на портрете Натье, который сейчас, не без помощи самого Эллиота, попал в одну из знаменитейших американских коллекций; и как женщина была поистине ненасытна. Эллиот решил, что за обедом посадит ее рядом с Ларри. Она, конечно, не замедлит сделать так, чтобы ее желания стали ему понятны. Для Изабеллы у него уже припасен интересный молодой атташе Британского посольства. Поскольку Изабелла очень хорошенькая, а он англичанин, и притом со средствами, то обстоятельство, что она небогата, роли не играет. Разомлев от превосходного монтраше, поданного к первому блюду, и от последовавшего за ним отличного бордо, Эллиот безмятежно созерцал широкие возможности, открывавшиеся его внутреннему взору. Если все пойдет так, как он рассчитывает, у бедной Луизы не будет больше причин тревожиться. Она всегда к нему придиралась; она, бедняжка, очень провинциальна; но он ее любит. Приятно, что, опираясь на свое знание жизни, он может избавить ее от серьезных забот.

Дабы не терять времени, Эллиот подгадал так, чтобы везти своих дам выбирать туалеты сразу после завтрака, а потому, едва все встали из-за стола, с присущим ему тактом намекнул Ларри, что пора и честь знать, однако тут же настойчиво и радушно пригласил его на оба задуманных им приема. Впрочем, он мог особенно не стараться — Ларри принял оба приглашения с полуслова.

Но планы Эллиота рухнули. Он вздохнул с облегчением, когда Ларри явился на обед в очень приличной визитке, ведь он побаивался, что увидит его в том же синем костюме, который был на нем за завтраком; а после обеда, уединившись с Мари-Луизой де Флоримон в углу гостиной, спросил, как ей понравился его молодой друг американец.

— У него красивые глаза и хорошие зубы.

— И только? Я посадил его рядом с вами, потому что решил, что он вполне в вашем вкусе.

Она глянула на него испытующе.

— Он мне сказал, что помолвлен с вашей хорошенькой племянницей.

— Voyons, ma chère[153], то соображение, что мужчина принадлежит другой, никогда еще не

---

[153] Примечания: 153
Полноте, дорогая (*фр.*).

мешало вам хотя бы попытаться его отнять.

— Так вы вот чего от меня хотите? Ну нет, мой бедный Эллиот, таскать для вас каштаны из огня я не намерена.

Эллиот усмехнулся.

— Это, видимо, надо понимать так, что вы испробовали на нем ваши методы и убедились, что ничего не выйдет?

— За что я вас люблю, Эллиот, так это за то, что моральные критерии у вас как у содержательницы борделя. Вы не хотите, чтобы он женился на вашей племяннице. Почему? Он хорошо воспитан и очень обаятелен. Правда, наивен сверх меры. По-моему, он и не догадался, к чему я клоню.

— Вам бы следовало выразиться яснее.

— Я достаточно опытна, чтобы понять, когда я даром трачу время. Ему нужна только ваша маленькая Изабелла, а у нее, между нами говоря, передо мною преимущество в двадцать лет. И она очень мила.

— Платье ее вам понравилось? Это я выбирал.

— Платье красивое и ей к лицу. Но шика у нее, разумеется, нет.

Эллиот воспринял ее слова как упрек по своему адресу и решил, что этого он госпоже де Флоримон не спустит. Он любезно улыбнулся.

— Мой милый друг, такой шик, как у вас, приобретается только в зрелые годы.

Оружием госпоже де Флоримон служила не рапира, а скорее дубина. От ее ответа вся виргинская кровь Эллиота так и вскипела.

— Но это ничего, в вашей прекрасной стране гангстеров (votre beau pays d'apaches) едва ли заметят отсутствие свойства столь тонкого и неподражаемого.

Впрочем, злословила только госпожа де Флоримон, остальные же друзья Эллиота были в восторге и от Изабеллы, и от Ларри. Им нравилась ее прелестная свежесть, ее бьющее в глаза здоровье и жизнерадостность, нравилась его живописная внешность, хорошие манеры и тихий иронический юмор. К тому же оба отлично говорили по-французски, в то время как миссис Брэдли, прожив столько лет среди дипломатов, говорила правильно, но с неистребимым американским акцентом. Эллиот оставался щедрым и радушным хозяином. Изабелла, радуясь своим новым платьям и новым шляпам, жадно хватаясь за все увеселения, какие поставлял ей Эллиот, и счастливая близостью Ларри, чувствовала, что еще никогда так не наслаждалась жизнью.

IV

Эллиот держался того мнения, что утренний завтрак следует вкушать в одиночестве или, в случае крайней необходимости, с совсем уж посторонними людьми; поэтому миссис Брэдли волей-неволей, а Изабелла даже с удовольствием пили утренний кофе каждая у себя в спальне. Но иногда Изабелла просила Антуанетту отнести ее поднос в комнату матери, чтобы поболтать с ней за чашкой кофе с молоком. Жизнь ее была так заполнена, что только в это время суток они и могли побыть наедине. В одно такое утро, когда они прожили в Париже уже около месяца, миссис Брэдли сперва выслушала ее рассказ о том, как она и Ларри с компанией друзей полночи кочевали из одного ночного клуба в другой, а потом задала вопрос, который держала в мыслях с самого их приезда:

— Когда он вернется в Чикаго?

— Не знаю. Он об этом не говорил.

— А ты его не спрашивала?

— Нет.

— Боишься?

— Нет, что ты.

Миссис Брэдли в роскошном матинэ, которое

Эллиот непременно захотел ей подарить, полировала ногти, полулежа на кушетке.

— О чем же вы с ним говорите все время, когда бываете одни?

— А мы не все время говорим. Нам просто хорошо вместе. Ты же знаешь, Ларри всегда был молчаливый. По-моему, когда мы разговариваем, говорю больше я.

— Что он тут поделывал один?

— Право, не знаю. Кажется, ничего особенного. Наверно, жил в свое удовольствие.

— А где он живет?

— И этого не знаю.

— Видно, он стал очень скрытный?

Изабелла закурила сигарету и, выпустив через нос струйку дыма, спокойно поглядела на мать.

— Что ты хочешь этим сказать, мама?

— Дядя Эллиот думает, что он снимает квартиру и живет там с какой-то женщиной.

Изабелла расхохоталась.

— Но ты же в это не веришь?

— Честно говоря, нет. — Миссис Брэдли критически оглядела свои ногти. — Ты сама с ним когда-нибудь говорила о Чикаго?

— Очень часто.

— И он ни разу не упомянул, что собирается

домой?

— По-моему, нет.

— В октябре будет два года, как он уехал.

— Я знаю.

— Что ж, милая, дело твое, поступай как знаешь. Но чем дольше откладываешь, тем бывает труднее. — Она взглянула на дочь, но Изабелла отвела глаза. Миссис Брэдли ласково ей улыбнулась. — Беги принимать ванну, не то еще опоздаешь к завтраку.

— Мы завтракаем с Ларри. Поедем с ним куда-то в Латинский квартал.

— Ну, дай вам Бог.

Ларри зашел за ней через час. Они взяли такси до моста Сен-Мишель, а оттуда не спеша прошлись по бульвару до первого приглянувшегося им кафе. Они сели на террасе и заказали по порции дюбоннэ. Потом опять взяли такси и поехали в ресторан. Аппетит у Изабеллы был отменный, ей нравились все вкусные вещи, которые Ларри для нее заказывал. Ей нравилось смотреть на людей, сидевших к ним вплотную, потому что ресторан был переполнен, ее смешило явное наслаждение, с каким они поглощали пищу; но больше всего она наслаждалась тем, что сидит за крошечным столиком вдвоем с Ларри. Он с таким

интересом слушал ее веселую болтовню. Чудесно было чувствовать себя с ним так свободно. Но где-то в ней гнездилось смутное беспокойство, потому что, хотя и он как будто чувствовал себя свободно, ей казалось, что причина этого не столько в ней, сколько в окружавшей его обстановке. То, что утром сказала ей мать, немного ее смутило, и она, не прекращая своей, казалось бы, такой безыскусной болтовни, зорко вглядывалась в его лицо. Он был не совсем такой же, как до отъезда из Чикаго, но в чем разница — она не могла бы сказать. На вид как будто бы совсем прежний — такой же веселый, открытый, — но выражение лица изменилось. Не то чтобы он стал серьезнее — в покое лицо его всегда было серьезным, — но в нем появилась какая-то новая спокойная уверенность, точно он решил что-то для себя, окончательно в чем-то утвердился.

После завтрака он предложил ей пройтись к Люксембургскому дворцу.

— Нет, картины смотреть мне не хочется.

— Ладно, тогда пойдем посидим в саду.

— Нет, тоже не хочу. Я хочу посмотреть, где ты живешь.

— А там и смотреть нечего. Я живу в паршивой комнатушке в гостинице.

— Дядя Эллиот уверяет, что ты снимаешь квартиру и живешь там с натурщицей.

Он засмеялся.

— Раз так — пошли, сама убедишься. Отсюда два шага, дойдем пешком.

Он повел ее узкими кривыми улочками, мрачноватыми даже под ярко-голубым небом, сиявшим между крышами высоких домов, и вскоре остановился перед небольшой гостиницей с вычурным фасадом.

— Вот и пришли.

Изабелла последовала за ним в тесный вестибюль, в одном углу которого стояла конторка, а за ней читал газету человек без пиджака, в полосатом, желтом с черным, жилете и грязном фартуке. Ларри попросил свой ключ, и человек протянул руку к висевшей позади него доске с гвоздями. Подавая ключ, он бросил на Изабеллу вопросительный взгляд, обернувшийся понимающей усмешкой. Он явно решил, что в номер к Ларри она направляется не за хорошим делом.

Они поднялись по лестнице, устланной потертой красной дорожкой, и Ларри отпер дверь. Изабелла очутилась в небольшой комнате с двумя окнами. Окна выходили на серый доходный дом через улицу, в нижнем этаже которого поме-

щалась писчебумажная лавка. В комнате стояла узкая кровать и рядом с ней тумбочка, стоял массивный гардероб с зеркалом, мягкое, но с прямой спинкой кресло, а между окнами — стол и на нем пишущая машинка, какие-то бумаги и довольно много книг. Книги в бумажных обложках громоздились и на каминной полке.

— Садись в кресло. Оно не слишком уютное, но лучшего предложить не могу.

Он пододвинул себе стул и сел.

— И здесь ты живешь? — в изумлении спросила Изабелла.

Он усмехнулся.

— Здесь и живу. С самого приезда.

— Но почему?

— Место удобное. И до Национальной библиотеки, и до Сорбонны рукой подать. — Он указал на дверь, которую она сперва не заметила. — Даже ванная имеется. Утром я ем здесь, а обедаю обычно в том ресторане, где мы с тобой завтракали.

— Убожество какое.

— Да нет, здесь хорошо. Большего мне не требуется.

— А какие люди здесь живут?

— Толком не знаю. В мансардах — студенты. Есть несколько старых холостяков, государствен-

ных служащих. Есть актриса на покое, когда-то играла в «Одеоне»; вторую комнату с ванной занимает содержанка, ее покровитель навещает ее раз в две недели, по четвергам. Есть, наверно, и проезжий народ. Очень тихая гостиница и очень респектабельная.

Изабелла немного растерялась и, зная, что Ларри это заметил, была готова обидеться.

— Это что за большущая книга у тебя на столе? — спросила она.

— Это? Это мой древнегреческий словарь.

— Что-о?

— Не бойся, он не кусается.

— Ты учишь древнегреческий?

— Да.

— Зачем?

— Просто захотелось.

Он улыбался ей глазами, и она улыбнулась в ответ.

— Может быть, ты мне все-таки расскажешь, чем ты занимался все время, пока жил в Париже?

— Я много читал. По восемь, по десять часов в сутки. Слушал лекции в Сорбонне. Прочел, кажется, все, что есть значительного, во французской литературе, и по-латыни, во всяком случае

латинскую прозу, читаю теперь почти так же свободно, как по-французски. С греческим, конечно, труднее. Но у меня прекрасный учитель. До вашего приезда я ходил к нему по вечерам три раза в неделю.

— А смысл в этом какой?

— Приобретение знаний, — улыбнулся он.

— Практически это как будто ничего не дает.

— Возможно. А с другой стороны, возможно, и дает. Но это страшно интересно. Ты даже представить себе не можешь, какое это наслаждение — читать «Одиссею» в подлиннике. Такое ощущение, что стоит только подняться на цыпочки, протянуть руку — и коснешься звезд.

Он встал со стула, точно поднятый охватившим его волнением, и зашагал взад и вперед по маленькой комнате.

— Последние месяца два я читаю Спинозу. Понимаю, конечно, с пятого на десятое, но чувствую себя победителем. Словно вышел из аэроплана на огромном горном плато. Кругом ни души, воздух такой, что пьянит, как вино, и самочувствие лучше некуда.

— Когда ты вернешься в Чикаго?

— В Чикаго? Не знаю. Я об этом не думал.

— Ты говорил, что если через два года не най-

дешь того, что тебе нужно, то поставишь на этом крест.

— Сейчас я не могу вернуться. Я на пороге. Передо мной раскрылись необъятные пространства духа и манят, и я так хочу их одолеть.

— И что ты рассчитываешь там найти?

— Ответы на мои вопросы. — Он поглядел на нее так лукаво, что, не знай она его наизусть, она подумала бы, что он шутит. — Я хочу уяснить себе, есть Бог или нет Бога. Хочу узнать, почему существует зло. Хочу узнать, есть ли у меня бессмертная душа или со смертью мне придет конец.

Изабелла чуть слышно ахнула. Ей стало не по себе, когда он заговорил о таких вещах, хорошо еще, что говорил он о них легко, самым обычным тоном, и она успела преодолеть свое замешательство.

— Но, Ларри, — сказала она улыбаясь, — люди задают эти вопросы уже тысячи лет. Если бы на них существовали ответы, их уже наверняка нашли бы.

У Ларри вырвался смешок.

— Нечего смеяться, как будто я сболтнула какую-то чушь, — сказала она резко.

— Наоборот, по-моему, то, что ты сказала, очень

умно. Но, с другой стороны, можно сказать и так, что раз люди задают эти вопросы тысячи лет, значит, они не могут их не задавать и будут задавать их и впредь. А вот что ответов никто не нашел — это неверно. Ответов больше, чем вопросов, и много разных людей нашли ответы, которые их вполне удовлетворили. Вот хотя бы старик Рейсброк.

— А он кто был?

— Так, один малый, с которым я не учился в школе, — беспечно сострил Ларри.

Изабелла не поняла, но переспрашивать не стала.

— Мне все это кажется детским лепетом. Такие вещи волнуют разве что второкурсников, а после колледжа люди о них забывают. Им надо зарабатывать на жизнь.

— Я их не осуждаю. Понимаешь, я в особом положении — у меня есть на что жить. Если б не это, мне бы тоже, как всем, пришлось бы зарабатывать деньги.

— Но неужели деньги сами по себе ничего для тебя не значат?

Он широко улыбнулся.

— Ни вот столечко.

— Сколько же времени у тебя на это уйдет?

— Право, не знаю. Пять лет. Десять лет.

— А потом? Что ты будешь делать со всей этой мудростью?

— Если я обрету мудрость, так авось у меня хватит ума понять, что с ней делать.

Изабелла отчаянно стиснула руки и подалась вперед.

— Ты не прав, Ларри. Ты же американец. Здесь тебе не место. Твое место в Америке.

— Я вернусь туда, когда буду готов.

— Но ты столько теряешь. Как ты можешь отсиживаться в этом болоте, когда мы переживаем самое увлекательное время во всей истории? Европа свое отжила. Сейчас мы — самая великая, самая могущественная нация в мире. Мы движемся вперед огромными скачками. У нас есть решительно все. Твой долг — вносить свой вклад в развитие родины. Ты забыл, ты не знаешь, как безумно интересно сейчас жить в Америке. А что, если ты просто трусишь, если тебя страшит работа, которая требуется сегодня от каждого американца?.. Да, я знаю, по-своему ты тоже работаешь, но, может быть, это всего-навсего бегство от ответственности? Может, это просто своего рода старательное безделье? Что бы сталось с Америкой, если бы все вздумали так

отлынивать?

— Ты очень строга, родная, — улыбнулся он. — Могу ответить: не все смотрят на вещи так, как я. Большинство людей, вероятно, к счастью для них, не прочь идти нормальным путем; ты только забываешь, что мое желание учиться не менее сильно, чем… ну, скажем, чем желание Грэя нажить кучу денег. Неужели же я изменяю родине тем, что хочу посвятить несколько лет самообразованию? Может быть, я потом смогу передать людям что-нибудь ценное. Это, конечно, только мечта, но если она и не сбудется, я окажусь не в худшем положении, чем человек, который избрал деловую карьеру и не преуспел.

— А я? Или я ничего для тебя не значу?

— Ты значишь для меня очень много. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.

— Когда? Через десять лет?

— Нет, теперь же. Как можно скорее.

— И на что мы будем жить? У мамы лишних денег нет. Да если бы и были, она бы не дала. Сочла бы, что это неправильно — помогать тебе вести бездельную жизнь.

— Я бы и не хотел ничего брать у твоей матери, — сказал Ларри. — У меня есть три тысячи годовых. В Париже это более чем достаточно.

Могли бы снять квартирку, нанять une bonne à tout faire[154]. И как бы чудесно нам с тобой было!

— Но, Ларри, на три тысячи в год прожить нельзя!

— Очень даже можно. У многих и этого нет, а живут.

— Но я не хочу жить на три тысячи в год. И не вижу для этого оснований.

— Я сейчас живу на полторы.

— Да, но как?

Она окинула взглядом невзрачную комнату и гадливо передернулась.

— Я хочу сказать, что кое-что сумел отложить. В свадебное путешествие мы могли бы поехать на Капри, а осенью побывать в Греции. Туда меня ужасно тянет. Помнишь, как мы с тобой мечтали, что вместе объездим весь свет?

— Путешествовать я, конечно, хочу. Но не так. Я не хочу ехать на пароходе вторым классом, останавливаться в третьеразрядных гостиницах, без ванной, питаться в дешевых ресторанах.

— В прошлом году, в октябре, я вот так проехался по Италии. Замечательно было. На три тысячи годовых мы могли бы объездить весь свет.

---

[154] Примечания: 154
Прислуга (единственная) (*фр.*).

— Но я хочу иметь детей, Ларри.

— Прекрасно. Их тоже заберем с собой.

— Глупыш ты, — рассмеялась она. — Да ты знаешь, сколько это стоит — завести ребенка? Вот Вайолет Томлинсон в прошлом году родила и постаралась обставить это как можно дешевле, и это ей стоило тысячу двести пятьдесят долларов. А няня, ты знаешь, во сколько обходится? — С каждым новым доводом, который приходил ей в голову, она все больше разгорячалась. — Ты такой непрактичный. Ты просто не понимаешь, чего требуешь от меня. Я молода. Я хочу наслаждаться жизнью. Хочу иметь все, что люди имеют. Хочу ездить на балы, на приемы, и верхом кататься, и в гольф играть, хочу хорошо одеваться. Ты понимаешь, что это значит для девушки — быть одетой хуже, чем ее подруги? Ты понимаешь, Ларри, что это значит — покупать у знакомых старые платья, которые им надоели, или говорить спасибо, когда кто-то из милости купит тебе новый туалет? Я не могла бы даже причесываться у приличного парикмахера. Я не хочу ездить в трамваях и в автобусах, мне нужен собственный автомобиль. И что бы я стала делать с утра до ночи, пока ты читаешь в своей библиотеке? Ходить по улицам и глазеть на витрины или сидеть в Люксембург-

ском саду и присматривать за детьми? У нас и знакомых бы не было.

— Ох, Изабелла! — перебил он.

— Не было бы таких, к каким я привыкла. Да, конечно, друзья дяди Эллиота иногда приглашали бы нас в гости, чтобы сделать ему приятное, но мы не могли бы к ним ездить, потому что мне нечего было бы надеть, и не захотели бы, потому что не на что было бы пригласить их к себе. А знаться с какими-то серыми, немытыми личностями я не хочу, мне не о чем с ними говорить, а им со мной. Я хочу жить, Ларри. — Она вдруг заметила, какие у него глаза: ласковые, как всегда, когда они устремлены на нее, но чуть насмешливые. — Ты, наверно, считаешь, что я дура? Что все это пошло и гадко?

— Нет. По-моему, все, что ты говоришь, вполне естественно.

Он стоял спиной к камину. Она встала, подошла и остановилась перед ним.

— Ларри, если бы у тебя не было ни гроша за душой и ты бы получил место на три тысячи в год, я бы, не задумываясь, за тебя вышла. Я стала бы стряпать для тебя, стелить постели, носить что попало, обходиться без чего угодно, и все мне было бы в радость, потому что я знала бы, что

это вопрос времени, что ты добьешься успеха. Но сейчас ты мне предлагаешь это убожество на всю жизнь, и никаких перспектив. Ты предлагаешь мне до смертного часа гнуть спину. И ради чего? Чтобы ты годами мог отыскивать ответы на вопросы, к тому же, как ты сам говоришь, неразрешимые. Это несправедливо. Мужчина обязан работать. Для этого он и создан. Этим он и способствует процветанию общества.

— Короче говоря, его долг — поселиться в Чикаго и поступить в контору к Генри Мэтюрину. Ты думаешь, я так уж сильно буду способствовать процветанию общества, если стану навязывать своим знакомым акции, в которых заинтересован Генри Мэтюрин?

— Без маклеров не обойтись. И это вполне приличный и почтенный способ зарабатывать деньги.

— Ты очень черными красками расписала жизнь в Париже на скромный доход. А ведь на самом деле все иначе. Одеваться со вкусом можно не только у Шанель. И не все интересные люди живут возле Триумфальной арки и авеню Фош. Вернее, там живет очень мало интересных людей, потому что интересные люди, как правило, небогаты. У меня здесь множество знакомых:

художников, писателей, студентов — французов, англичан, американцев и прочих, — и они, думаю, показались бы тебе занятнее, чем Эллиотовы линялые маркизы и длинноносые герцогини. У тебя живой ум, острое чувство юмора. Тебе бы понравилось, как они спорят и шутят за обедом, хотя пьют только дешевое вино и за столом не прислуживают дворецкий и два лакея.

— Не глупи, Ларри. Конечно, понравилось бы. Ты же знаешь, что я не сноб. Мне очень хочется встречаться с интересными людьми.

— Но обязательно в туалетах от Шанель. А ты думаешь, они бы не поняли, что для тебя это своего рода филантропия в интеллектуальном плане? Им это было бы в тягость, как и тебе, а тебе это дало бы одно — возможность рассказать Эмили де Монтадур и Грэси Шато-Гайар, что накануне ты очень весело провела вечер в Латинском квартале среди страховидных представителей богемы.

Изабелла чуть пожала плечами.

— Вероятно, ты прав. Это не те люди, среди каких я воспитана. У меня с ними нет ничего общего.

— И к чему же мы пришли?

— К тому же, с чего начали. Я живу в Чикаго с тех пор, как себя помню. Все мои друзья — там. И

все мои интересы. Там я дома. Там мое место, и твое тоже. Мама больна, на улучшение надежды нет. Я не могла бы ее бросить, если б и захотела.

— Значит, так: если я откажусь теперь же вернуться в Чикаго, ты не выйдешь за меня замуж?

Изабелла минуту колебалась. Она любила Ларри. Она хотела стать его женой. Тянулась к нему всей своей женской сущностью. Знала, что и он ее желает. Она внушала себе, что, если поставить вопрос ребром, он не может не уступить. Было страшно, но она пошла на риск.

— Да, Ларри. Именно так.

Он чиркнул спичкой о камин — старомодной французской серной спичкой, от которых свербит в носу, и раскурил трубку. Потом, минуя Изабеллу, подошел к окну. Выглянул наружу. И молчал, молчал. Она стояла на прежнем месте, глядя теперь в зеркало над камином, но не видя своего отражения. Сердце ее бешено колотилось, от страха сосало под ложечкой. Наконец он обернулся.

— Если б только ты захотела понять, насколько жизнь, которую я тебе предлагаю, содержательнее всего, что ты можешь вообразить. Если б только ты захотела понять, что такое духовная жизнь, как она обогащает человека. Она безгранична. Вот так же, как когда ты один летишь

высоко-высоко над землей и вокруг тебя — бесконечность. Голова кружится от этих безбрежных далей. Упоение такое, что не променял бы его на всю силу и славу земную. Я вот недавно читал Декарта. Такая легкость, изящество, ясность мысли. Э, да что говорить…

— Ларри, пойми! — взмолилась она. — Ведь я для этого не гожусь, мне это неинтересно. Сколько раз тебе повторять, что я самая обыкновенная, нормальная женщина, мне двадцать лет, через десять лет я буду старухой, а пока хочу жить в свое удовольствие. Ларри, я так тебя люблю! А ты играешь в игрушки. Ничего это тебе не даст. Умоляю, ради тебя самого, махни ты на это рукой. Будь мужчиной, Ларри, возьмись за дело, достойное мужчины. Ты даром тратишь самые лучшие годы, когда другие успевают столько сделать. Ларри, если ты меня любишь, ты не променяешь меня на пустые мечты. Ты пожил, как хотел. А теперь поедем с нами домой.

— Не могу, дорогая. Для меня это равносильно смерти, предательству собственной души.

— Господи, Ларри, зачем ты так говоришь? Так говорят только ученые женщины, истерички. Что значат все эти слова? Да ничего, абсолютно ничего.

— Они в точности выражают мою мысль, — отвечал он, поблескивая глазами.

— И ты еще смеешься? А ведь нам сейчас не до смеха. Мы дошли до развилки, и по какой дороге пойдем дальше — от этого зависит вся наша жизнь.

— Я знаю. Поверь, я и не думаю шутить.

Она вздохнула.

— Раз ты не внемлешь голосу разума, говорить больше не о чем.

— Но разума-то я тут не вижу. По-моему, ты говорила сплошную чушь.

— Я?! — Не будь она так подавлена, она бы рассмеялась. — Дорогой мой, ты просто спятил.

Она медленно стянула с пальца обручальное колечко. Положила его на ладонь, полюбовалась. Граненый рубин в тонкой платиновой оправе — оно всегда ей нравилось.

— Если б ты меня любил, не сделал бы ты мне так больно.

— Я тебя люблю. К сожалению, не всегда удается поступить так, как считаешь правильным, не причинив боли другому.

Она протянула ему ладонь, на которой светился рубин, и через силу улыбнулась дрожащими губами.

— Вот, Ларри, возьми.

— Мне оно не нужно. Ты лучше сохрани его на память о нашей дружбе. Носить можно на мизинце. Друзьями-то мы останемся, правда?

— Я всегда буду тебе другом, Ларри.

— Так оставь его себе. Мне это будет приятно.

После минутного колебания она надела кольцо на правый мизинец.

— Велико.

— Можно отдать переделать. Поедем в «Ритц», выпьем.

— Ладно.

Ей все еще не верилось, что все произошло так просто. Она ни разу не заплакала. И ничего как будто не изменилось, только теперь она не выйдет за Ларри. Не укладывалось в голове, что все уже кончено, все позади. Было немножко обидно, что дело обошлось без душераздирающей сцены. Они все обсудили почти так же спокойно, как если бы речь шла о покупке дома. Ей словно чего-то недодали, и вместе с тем радовало сознание, что они вели себя как цивилизованные люди. Она много бы дала, чтобы в точности знать, что чувствует Ларри. Но это всегда бывало трудно. Его невозмутимое лицо, его темные глаза были маской, за которую даже она, знавшая его столь-

ко лет, не надеялась проникнуть. Она взяла с кровати свою шляпу и стала надевать ее, стоя перед зеркалом.

— Интересно, — сказала она, поправляя волосы, — тебе хотелось расторгнуть нашу помолвку?

— Нет.

— А я думала, ты почувствуешь облегчение.

Он не ответил. Она повернулась к нему с веселой улыбкой на губах.

— Ну вот, я готова.

Ларри запер за собой дверь. Человек за конторкой, принимая ключ, окинул их обоих взглядом сообщника. Изабелла не могла не понять, в чем он их подозревает.

— Сомневаюсь, чтобы он под присягой поручился за мою девственность, — сказала она.

Они поехали в «Ритц» на такси, выпили в баре. Болтали о том о сем, по видимости непринужденно, как двое старых друзей, которые видятся изо дня в день. В отличие от молчаливого Ларри Изабелла любила поговорить, недостатка в темах не испытывала, а теперь твердо решила не допустить и минуты молчания, которое было бы трудно нарушить. Пусть Ларри не думает, что она на него в обиде, она из одной гордости не выдаст,

как ей больно и тяжело. Вскоре она попросила Ларри проводить ее домой. Выйдя из такси, она весело ему сказала:

— Ты, надеюсь, помнишь, что завтра у нас завтракаешь?

— А то как же.

Она подставила ему щеку для поцелуя и скрылась в подъезде.

V

Войдя в гостиную, где пили чай, Изабелла застала там несколько человек гостей. Заглянули две американки, живущие в Париже, — изысканно одетые, с жемчугом на шее, бриллиантовыми браслетами на запястьях и дорогими перстнями на пальцах. Хотя волосы у одной из них отливали темной хной, а у другой — ненатуральным золотом, они были до странности одинаковые. Так же густо насурьмлены ресницы, так же ярко накрашены губы, так же нарумянены щеки; те же худощавые фигуры — результат методичного умерщвления плоти, те же четкие, резкие черты, те же беспокойные, голодные глаза; и такое впечатление, что вся их жизнь сводится к неустанным стараниям удержать остатки былой красоты. Говорили они ни о чем, громким ме-

таллическим голосом, без единой паузы, словно опасаясь, что стоит им на минуту умолкнуть, как завод кончится и вся механическая конструкция, которую они собой представляют, развалится на куски. Наведался и один из секретарей американского посольства, лощеный, безмолвный, поскольку ему не давали вставить слово, и, видимо, искушенный в светских тонкостях; и еще — низкорослый и темноволосый румынский князек — сплошь поклоны и сладкие улыбки, с черными бегающими глазками и смуглым лицом, то и дело вскакивавший с места, чтобы поднести спичку, передать чашку с чаем или вазу с печеньем, и без зазрения совести расточавший самые неприкрытые, самые грубые комплименты. Этим он платил за все обеды, поглощенные за столом у объектов своего подхалимства, и авансом за все обеды, которые еще надеялся у них поглотить.

Миссис Брэдли, сидевшая за чайным столом и одетая в угоду Эллиоту более нарядно, чем считала подобающим для такого случая, исполняла обязанности хозяйки со свойственным ей учтивым, но несколько равнодушным спокойствием. Что она думала о гостях своего брата — о том можно только догадываться. Близко я ее не знал, а она не склонна была откровенничать с

кем попало. Она была отнюдь не глупа, за годы, прожитые во всех столицах мира, перевидала великое множество самых разных людей и, вероятно, научилась достаточно четко оценивать их по меркам провинциального виргинского городка, где она родилась и выросла. Думается мне, что наблюдать их ужимки доставляло ей известное удовольствие и что их кривлянье она так же мало принимала всерьез, как горести и страдания действующих лиц в романе, про который с самого начала знала (а то бы не стала читать), что кончится он хорошо. Париж, Рим, Пекин повлияли на ее американскую натуру не больше, чем католичество Эллиота на ее стойкую и, в общем, очень удобную пресвитерианскую веру.

Изабелла, юная, пышущая здоровьем и красотой, словно внесла струю свежего воздуха в эту насквозь искусственную атмосферу. Она вплыла в комнату, как вечно юная богиня земли. Румынский князек кинулся пододвигать ей стул, выразительно при этом жестикулируя. Обе американки, визгливо щебеча любезности, оглядели ее с ног до головы, отметили, как она одета, и, возможно, сердце у них екнуло от встречи лицом к лицу с ее лучезарной молодостью. Американский дипломат мысленно усмехнулся,

до того старыми и облезлыми они сразу показались по контрасту с ней. Но сама Изабелла нашла, что они великолепны. Она восхитилась их роскошными туалетами, их драгоценностями, успела позавидовать их неколебимому апломбу. Удастся ли ей когда-нибудь сравняться с ними в умении держаться? Маленький румын, конечно, уморителен, но очень милый, и даже если все эти очаровательные вещи говорит не от души, выслушивать их приятно. Разговор, прерванный ее приходом, возобновился, и все говорили так бойко, были, казалось, так глубоко убеждены в значительности того, что говорят, что впору было подумать, будто в их речах и правда есть смысл. А говорили они о вечерах, на которых побывали, и о вечерах, на которые собираются. Сплетничали о последнем светском скандале. Перемывали косточки знакомым. Перекидывались громкими именами. Знали, по-видимому, всех и каждого. Были посвящены во все секреты. Чуть ли не в одной фразе умудрялись коснуться последнего спектакля, последнего визита к портнихе, последнего художника-портретиста и последней любовницы нынешнего премьера. Они были осведомлены решительно обо всем. Изабелла слушала затаив дыхание. Ей все это

казалось донельзя культурным. Вот это жизнь. Вот что значит находиться в гуще событий. Это — настоящее. И декорации самые подходящие. Просторная комната, на полу ковер из Савоннери, прелестные рисунки на обшитых деревом стенах, вышитые стулья, на которых они сидят, бесценная мебель маркетри — столики, секретеры, каждый просится в музей. За комнату эту, должно быть, уплачено целое состояние, но результат того стоил. Сегодня строгая красота обстановки особенно ее поразила, потому что так свеж был в памяти маленький гостиничный номер с железной кроватью и жестким, неудобным стулом, на котором сидел Ларри, — комната, в которой он не видел ничего предосудительного. Голая, унылая, отвратительная комната. Изабелла не могла вспомнить о ней без содрогания.

Гости уехали, и она осталась с матерью и Эллиотом.

— Очаровательные женщины, — сказал Эллиот, проводив двух несчастных раскрашенных кукол. — Я знал их, еще когда они только что поселились в Париже. Никак не ожидал, что они сделают такие успехи. Поразительно, как наши женщины умеют приспособиться. Теперь и не заподозришь, что они американки, да еще со

Среднего Запада.

Миссис Брэдли молча подняла брови и бросила на него взгляд, которого он не мог не понять.

— О тебе этого не скажешь, Луиза, — продолжал он полуласково, полунасмешливо. — Хотя, видит Бог, все возможности у тебя были.

Миссис Брэдли поджала губы.

— Боюсь, Эллиот, я тебя не на шутку огорчаю, но, сказать по правде, я вполне довольна собой, как я есть.

— У каждого свой вкус, — сказал Эллиот.

— Мне, наверно, следует сообщить вам, что я уже не помолвлена с Ларри, — сказала Изабелла.

— Ах ты Господи! — воскликнул Эллиот. — Это расстраивает все мои планы на завтра. Где я успею найти другого мужчину?

— О, завтракать он придет.

— После того, как ты расторгла помолвку? Насколько я знаю, это не принято.

Изабелла прыснула. Она не сводила глаз с Эллиота, потому что чувствовала на себе пристальный взгляд матери и не хотела на него ответить.

— Мы не поссорились. Мы сегодня все обговорили и пришли к выводу, что то была ошибка. Он не хочет возвращаться в Америку; хочет остаться в Париже. Думает съездить в Грецию.

— Это еще зачем? В Афинах нет приличного общества. Да и греческое искусство я лично никогда не ставил особенно высоко. В позднем эллинизме есть что-то декадентское, это по-своему прелестно, но Фидий — нет, нет.

— Посмотри на меня, Изабелла, — сказала миссис Брэдли.

Изабелла повернулась к ней с легкой улыбкой на губах. Миссис Брэдли внимательно в нее вгляделась, но произнесла только «гм». Глаза, безусловно, не заплаканы, вид совершенно спокойный.

— Я считаю, что это к лучшему, Изабелла, — сказал Эллиот. — Я готов был с этим примириться, но никогда не сочувствовал вашему браку. Он тебе не пара, а уж его поведение в Париже ясно доказывает, что из него не выйдет ничего путного. С твоей внешностью, с твоими связями ты вполне можешь рассчитывать на что-нибудь получше. По-моему, ты поступила очень разумно.

Миссис Брэдли бросила на нее взгляд, исполненный тревоги.

— Ты не ради меня это сделала, Изабелла?

Изабелла решительно помотала головой.

— Нет, мамочка, я это сделала исключительно ради себя.

VI

Я между тем вернулся с Востока и на время поселился в Лондоне. Как-то утром, недели через две после описанных событий, мне позвонил Эллиот. Я удивился, услышав его голос, — обычно он приезжал в Англию только к самому концу сезона. Он сообщил мне, что миссис Брэдли с Изабеллой тоже здесь, и не зайду ли я к ним сегодня в шесть, мне будут рады. Остановились они, разумеется, в отеле «Кларидж». Я в то время жил неподалеку и не спеша добрался до отеля пешком — по Парк-лейн и дальше, тихими, чинными улицами Мэйфера. Эллиот занимал свой всегдашний номер «люкс». Стены в нем были обшиты панелями цвета сигарных ящиков, комнаты обставлены роскошно, но не кричаще. Эллиота я застал одного: мать с дочерью ездят по магазинам, вернутся с минуты на минуту. Он сразу рассказал мне, что Изабелла разорвала свою помолвку с Ларри.

Эллиот, исповедовавший несколько романтические и чисто традиционные взгляды на то, как людям следует себя вести в тех или иных обстоятельствах, был сбит с толку. Ларри, мало того что явился к завтраку на следующий день после разрыва, вообще держался так, словно положение не

изменилось. Был по-прежнему любезен, внимателен и сдержанно весел. С Изабеллой обращался, как всегда, по-товарищески ласково. Не похоже было, что он издерган, расстроен или убит горем. Да и сама Изабелла не казалась удрученной. На вид она была все так же жизнерадостна, так же беззаботно смеялась и шутила, хотя только что круто и, конечно же, с болью душевной изменила свою жизнь. Эллиот ничего не понимал. Из их разговоров он заключил, что они не собираются отменять намеченные на ближайшее время развлечения. При первом же удобном случае он заговорил об этом с сестрой.

— Это неприлично, — заявил он. — Нельзя им всюду появляться вместе как жениху с невестой. Ларри, видно, совсем уж ничего не смыслит. А Изабеллу это ставит в невыгодное положение. Взять хотя бы Фодерингема, этого молодого человека из Британского посольства. Он явно увлечен Изабеллой; у него есть средства и связи отличные; знай он, что путь свободен, он бы, по всей вероятности, сделал предложение. Мой тебе совет, поговори на этот счет с Изабеллой.

— Дорогой мой, Изабелле двадцать лет, и она научилась очень ловко и без всякой грубости намекать мне, что я суюсь не в свое дело. Поверь,

вести с ней такие разговоры нелегко.

— Значит, ты плохо ее воспитала, Луиза. А дело это, между прочим, как раз твое.

— Вот уж с чем она бы наверняка не согласилась.

— Не испытывай моего терпения, Луиза.

— Если б у тебя, мой милый, была взрослая дочь, ты бы знал, что справиться с брыкливым бычком куда легче. А уж понять, что у нее на уме… нет, спокойнее притворяться наивной старой дурой, какой она скорее всего меня и считает.

— Но ты хоть расспросила ее?

— Пробовала. А она только смеется и говорит, что рассказывать нечего.

— Она как, очень обескуражена?

— Говорю тебе, не знаю. Могу только сказать, что ест она за двоих и спит как младенец.

— Помяни мое слово, если ты не вмешаешься, они в один прекрасный день сбегут и поженятся и слова никому не скажут.

Миссис Брэдли позволила себе улыбнуться.

— Тебе, наверно, утешительно думать, что сейчас мы находимся в стране, где незаконные связи всячески поощряются, а брак обставлен уймой препятствий.

— Так и должно быть. Брак — дело серьезное. На

нем зиждется благополучие семьи и прочность государства. Но престиж брака можно сохранить лишь в том случае, если внебрачные отношения не только поощрять, но и санкционировать. Проституция, милая Луиза…

— Хватит, Эллиот, — перебила она. — Меня не интересуют твои взгляды на социальную и моральную ценность блуда в каком бы то ни было виде.

И тогда он выдвинул план, который положил бы конец беспрестанному общению между Изабеллой и Ларри, столь оскорблявшему его чувство приличия. Парижский сезон подходит к концу, все стоящие люди готовятся отбыть на воды или в Довиль, прежде чем разъехаться на остаток лета по своим родовым замкам в Турени, Анжу или Бретани. Обычно Эллиот уезжал в Лондон в конце июня, но семейное чувство было в нем живо, а любовь к сестре и племяннице непритворна; в угоду им он уже совсем было решил пожертвовать собой и пожить еще в Париже даже тогда, когда Париж опустеет; теперь же ему представилась приятная возможность услужить другим, не отказываясь от собственных привычек. Вот он и предложил миссис Брэдли немедля им всем троим поехать в Лондон, где сезон еще в разгаре

и где новые знакомства и новые интересы отвлекут мысли Изабеллы от тягот ее двусмысленного положения. В газетах писали, что в Лондоне сейчас находится лучший специалист по диабету, и миссис Брэдли захотела ему показаться; этим легко будет объяснить их поспешный отъезд, а также побороть возможное нежелание Изабеллы расстаться с Парижем. Миссис Брэдли этот план понравился. Она устала тревожиться об Изабелле, не понимая, правда ли та весела и беззаботна или же уязвлена, разгневана, грустна, но храбрится и скрывает свои чувства. Миссис Брэдли могла только согласиться с Эллиотом, что посмотреть новых людей и новые места будет Изабелле полезно.

Эллиот стал без промедления названивать по телефону, и когда Изабелла, после дня, проведенного с Ларри в Версале, вернулась домой, уже мог сообщить ей, что знаменитый врач согласился принять ее мать через три дня, что номер «люкс» в «Кларидже» заказан и послезавтра они выезжают. Миссис Брэдли внимательно наблюдала за дочерью, пока Эллиот не без самодовольства излагал ей эти новости, но та и бровью не повела.

— До чего же я рада, что ты пойдешь к этому доктору, мамочка! — вскричала она с обычной

своей экспансивностью. — Ну конечно, такую возможность нельзя упускать. И Лондон посмотреть мне ужасно хочется. Мы там сколько пробудем?

— Возвращаться в Париж нет смысла, — сказал Эллиот. — Через неделю тут уже не будет ни души. Я хочу, чтобы вы прожили у меня в «Клариджe» до конца лондонского сезона. В июле всегда бывает несколько больших балов, ну и, кроме того, конечно, Уимблдон. А потом гудвудские скачки и регата в Каусе. Я не сомневаюсь, что Эллингемы рады будут пригласить нас на свою яхту, а Бантоки всегда ездят целой компанией в Гудвуд.

Изабелла выразила полный восторг, и миссис Брэдли успокоилась. О Ларри она, похоже, и не вспомнила.

Эллиот как раз успел рассказать мне все это, когда явились мать с дочерью. Я не видел их больше полутора лет. Миссис Брэдли немного похудела и обрюзгла, выглядела усталой и больной. Зато у Изабеллы вид был цветущий. Ее яркий румянец, пышные каштановые волосы, сияющие карие глаза, чистая кожа сливались в образ такой победной молодости, такой упоенности жизнью, что, глядя на нее, хотелось смеяться от радости. Сам не знаю почему, она вызвала в моем

представлении грушу, золотистую и сочную, которая только-только созрела и буквально просит, чтобы ее съели. Она излучала тепло, казалось — стоит протянуть руку, оно и тебя обогреет. Она показалась мне выше ростом — то ли от высоких каблуков, то ли благодаря искусству портнихи, сумевшей скроить платье так, чтобы оно ее худило, и держалась она с естественной грацией девушки, с детства занимающейся спортом. Словом, это была чрезвычайно соблазнительная молодая особа. На месте ее матери я бы решил, что пора, очень даже пора выдать ее замуж.

Радуясь случаю хоть в малой мере отблагодарить за гостеприимство, которое миссис Брэдли оказала мне в Чикаго, я пригласил их всех в театр и еще — как-нибудь позавтракать в ресторане.

— Поторопитесь, милейший, — сказал мне Эллиот. — Я уже оповестил моих друзей, что мы здесь, и думаю, что очень скоро наши дни будут расписаны до конца сезона.

Я рассмеялся, поняв, что должны означать эти слова: что для таких, как я, у них скоро не будет времени. Эллиот смерил меня взглядом, в котором сквозила некоторая надменность.

— Но часов в шесть мы, разумеется, почти всегда дома и будем рады вас видеть, — добавил он

милостиво, но с явным намерением напомнить мне, что я — всего лишь писатель.

Однако бывает, что и святой не стерпит.

— Постарайтесь связаться с Сент-Олфердами, — сказал я. — Мне говорили, что они хотят продать своего Констебла — Солсберийский собор.

— Я сейчас картин не покупаю.

— Да, я знаю, я думал, может, вы им поможете сбыть его с рук.

В глазах у Эллиота появился стальной блеск.

— Дорогой мой, англичане — великая нация, но писать маслом они никогда не умели и никогда не научатся. Английская школа меня не интересует.

VII

Весь следующий месяц я почти не видел Эллиота и его родственниц. Их он принимал по-царски. Он возил их на субботу и воскресенье в одну знаменитую родовую усадьбу в Суссексе, а потом в еще более знаменитую в Уилтшире. Водил их в королевскую ложу в опере в качестве гостей некой принцессы, приходившейся родней Виндзорскому дому. Возил на завтраки и обеды к сильным мира сего. Достал для Изабеллы приглашения на несколько балов. Сам принимал

в «Клариджe» целый ряд гостей, чьи имена на следующий день выглядели в газетах очень эффектно. Он давал ужины у Сайро и в ресторане «Посольский». Словом, он делал все, что считал уместным, и у Изабеллы, еще не очень искушенной в жизни высшего света, даже голова покруживалась от роскоши и великолепия, которыми он ее услаждал. Ничто не мешало Эллиоту воображать, что он взвалил на себя эти заботы из чисто альтруистического побуждения — отвлечь мысли племянницы от ее злосчастного романа; однако ему, как я подозреваю, и самому было лестно дать сестре возможность воочию убедиться, что он — свой человек в кругу прославленных и знатных. Принимать гостей он умел и от души наслаждался, проявляя свою виртуозность.

Меня он тоже раза два приглашал, и время от времени я в шесть часов заглядывал в «Клариджe». Изабеллу всегда окружали молодые великаны гвардейцы в ослепительных мундирах или элегантные, но не столь ослепительные молодые люди из министерства иностранных дел. Как-то раз она, ускользнув от своих кавалеров, отвела меня в сторону.

— У меня к вам просьба, — сказала она. — Помните, как мы с вами пили в аптеке содовую с

мороженым?

— Прекрасно помню.

— Вы тогда мне очень помогли. Пожалуйста, помогите мне еще раз.

— Постараюсь.

— Мне нужно с вами поговорить. Может, как-нибудь позавтракаем вместе?

— Скажите только когда.

— Где-нибудь, где не людно.

— Хотите, прокатимся в Хэмптон-Корт? Там и позавтракаем. Парк в это время года хорош как никогда, и я вам покажу кровать королевы Елизаветы.

Она охотно согласилась и назначила день. Но, когда этот день настал, погода, которая до тех пор нас баловала, вдруг резко переменилась. Небо затянуло тучами, моросил дождь. Я позвонил узнать, не предпочтет ли она позавтракать в городе.

— А то сегодня в парке не посидишь, и картины смотреть плохо, когда так темно.

— В парках я насиделась, а от старых мастеров у меня оскомина. Нет, поедем.

— Отлично.

Я заехал за ней, и мы отправились. В Хэмптон-Корте я знал одну небольшую гостиницу с

хорошим рестораном и сразу дал шоферу адрес. По дороге Изабелла со свойственной ей живостью болтала о приемах, на которых побывала, и о людях, с которыми познакомилась. Она была в восторге от своего времяпрепровождения, но из ее замечаний о всяких новых знакомых я понял, что наблюдает она зорко и не обольщается пустыми словами. Из-за плохой погоды экскурсантов не было, и в ресторане мы сидели одни. Гостиница эта славилась простой английской кухней, мы ели вкуснейшую молодую баранину с зеленым горошком, а затем — яблочный пирог со сливками, да еще по кружке светлого пива — завтрак хоть куда. Поев, я предложил Изабелле перейти в пустую кофейню и посидеть в удобных креслах. Там было холодно, но уголь и растопка в камине были приготовлены, и я поднес к ним спичку. Огонь весело запылал, в комнате сразу стало уютнее.

— Вот так-то, — сказал я. — А теперь выкладывайте, о чем вы хотели со мной поговорить.

— О том же, что и в тот раз, — отвечала она со смешком. — О Ларри.

— Я так и думал.

— Вы знаете, что мы расстроили помолвку?

— Да, Эллиот мне говорил.

— У мамы как гора с плеч, и он не нарадуется.

Секунду она колебалась, а потом стала рассказывать про свой разговор с Ларри, тот самый, который я уже попытался правдиво пересказать читателям. Кое-кого может удивить, что Изабелла пожелала так много сообщить человеку, так мало ей знакомому. Я и видел-то ее всего раз десять, причем всегда на людях, если не считать того единственного разговора в аптеке. Но меня это не удивило. Прежде всего писателю люди часто поверяют такое, чего не поверили бы никому другому (любой писатель может это подтвердить). Не знаю, чем это объяснить. Возможно, что, прочитав две-три его книги, они проникаются ощущением, что он — самый близкий им человек; либо, дав волю фантазии, они видят самих себя действующими лицами романа и готовы открыть ему душу, как то делают, по их мнению, вымышленные им персонажи. А еще, мне сдается, Изабелла чувствовала, что я симпатизирую и Ларри, и ей, что их молодость меня умиляет, а их горести вызывают мое сочувствие. Ждать сочувствия от Эллиота не приходилось — он не склонен был уделять внимание молодому человеку, грубо отмахнувшемуся от предоставленной ему совершенно исключительной возможности

проникнуть в высшее общество. Мать тоже не могла ей помочь. У миссис Брэдли был здравый смысл и твердые правила. Здравый смысл подсказывал ей, что, если хочешь добиться успеха в жизни, надо считаться с условностями и человек, который с ними не считается, не хочет поступать, как все, — человек ненадежный. А твердые правила гласили, что долг мужчины — работать в такой области, где он, проявив энергию и инициативу, имеет шанс нажить достаточно денег, чтобы содержать жену и детей в соответствии с требованиями своего положения, дать сыновьям образование, которое позволит им, став взрослыми, честно зарабатывать на жизнь, и после своей смерти оставить жену должным образом обеспеченной.

У Изабеллы была хорошая память, и все перипетии их долгого разговора прочно в ней запечатлелись. Я молча выслушал ее до конца. Один только раз она прервалась, чтобы спросить меня:

— Кто был Рейсдаль?

— Рейсдаль? Голландский художник, пейзажист. А что?

О нем, оказывается, упомянул Ларри. Он сказал, что Рейсдаль нашел ответы на свои вопросы, а ко-

гда она спросила, кто он был, отделался шуткой.

— Как по-вашему, что он имел в виду?

Меня осенила догадка.

— А может быть, он сказал Рейсброк?

— Может, и так. А Рейсброк кто был?

— Фламандец, мистик, жил в четырнадцатом веке.

— А-а, — протянула она разочарованно.

Ей это ничего не сказало. Для меня же кое-что прояснило. Послужило первым указанием на то, куда ведут Ларри его размышления; и, пока Изабелла продолжала свой рассказ, я, хотя и слушал ее по-прежнему внимательно, какой-то частицей мозга обдумывал возможности, скрывавшиеся за этим беглым упоминанием. Я не хотел придавать ему слишком большое значение — возможно, имя Учителя Экстаза понадобилось Ларри просто как аргумент в споре, — но, с другой стороны, может быть и так, что он вложил в свои слова смысл, ускользнувший от Изабеллы. Своим ответом, что Рейсброк был просто «малый, с которым он не учился в школе», он, видимо, хотел окончательно сбить ее со следа.

— И что вы обо всем этом думаете? — спросила она, закончив свою повесть.

Я ответил не сразу.

— Помните, он когда-то говорил, что намерен просто бездельничать? Если то, что он вам рассказал, правда, выходит, что под бездельем он понимает довольно-таки тяжкий труд.

— Конечно, он говорил правду. Но неужели вы не понимаете? Если бы он так же напряженно работал в какой-нибудь практической области, он бы уже сейчас зарабатывал вполне приличные деньги.

— Некоторые люди странно устроены. Иные преступники трудятся до седьмого пота, подготавливая преступление, за которое попадают в тюрьму, а едва выйдя на свободу, начинают все сызнова и опять попадают в тюрьму. Если бы они вложили столько же стараний, столько же находчивости, выдумки, терпения в какое-нибудь честное дело, они бы жили безбедно и занимали высокие должности. Но так уж они устроены. Им нравится совершать преступления.

— Бедный Ларри, — засмеялась она. — Вы уж не хотите ли сказать, что он учит древнегреческий, чтобы подстроить ограбление банка?

Я тоже рассмеялся.

— Нет, конечно. Я пытаюсь внушить вам другое: что есть люди, одержимые таким сильным желанием заниматься чем-то определенным, что

ничего не могут с собой поделать. Они готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы удовлетворить это желание.

— Даже людьми, которые их любят?

— О да.

— А это не самый обыкновенный эгоизм?

— Вот уж не знаю, — улыбнулся я.

— Какая может быть польза от того, что Ларри изучает мертвые языки?

— Некоторым людям свойственна бескорыстная жажда знаний. Ничего постыдного в этом нет.

— А какой толк в знаниях, если не собираешься их применять?

— Он-то, может, и собирается. Может, само знание послужит для него достаточной наградой, как для художника достаточная награда то, что он создал произведение искусства. А может, это только шаг на пути куда-то дальше.

— Если ему нужны были знания, почему он не пошел в университет, когда вернулся с войны? Ему это и доктор Нелсон, и мама советовали.

— Я говорил с ним об этом в Чикаго. Диплом ему ни к чему. Мне кажется, у него уже тогда было довольно точное представление о том, что ему нужно, и он знал, что университет ему этого

не даст. Ведь там, где дело касается знаний, есть не только волки, которые бегают стаей, есть и одинокие волки. И Ларри, мне кажется, из тех, кто способен идти только своим одиноким путем.

— Помню, я как-то спросила его, не хочет ли он стать писателем. Он рассмеялся и сказал, что писать ему не о чем.

— Никогда не слышал, чтобы от писательства отказывались по таким неубедительным причинам, — сказал я улыбаясь.

Изабелла раздраженно от меня отмахнулась. Даже самая невинная шутка казалась ей в ту минуту неуместной.

— Не понимаю, просто не понимаю, почему он стал такой. До войны он был как все. Вы, может, не поверите, но он очень сильный теннисист и недурно играет в гольф. Раньше он делал все, что и мы, остальные. Был самым обыкновенным мальчиком и, судя по всему, должен был стать самым обыкновенным мужчиной. Вы же как-никак писатель. Вы должны найти этому объяснение.

— Кто я такой, чтобы разобраться в бесконечных сложностях человеческой природы?

— Поэтому я и хотела с вами поговорить, — продолжала она, не слушая.

— Вам тяжело?

— Нет, это не то слово. Когда Ларри нет рядом, все как будто в порядке. Это когда мы вместе, я чувствую себя такой слабой. И до сих пор что-то не отпускает, тянет, не дает распрямиться, вот как бывает после верховой прогулки, когда перед тем давно не садилась на лошадь; это не боль, это вполне можно терпеть, но чувствуешь все время. Скоро, наверно, пройдет. Только очень уж обидно, что Ларри себя губит.

— Может, еще и не погубит. Он пустился в долгий, трудный путь, но в конце пути, возможно, и найдет то, что ищет.

— А что он ищет?

— Вы не догадались? А по-моему, из его слов это явствует. Он ищет Бога.

— Бог ты мой! — вскричала она удивленно и недоверчиво. Но мы тут же невольно рассмеялись — очень уж забавно получилось, что одно и то же слово мы употребили так по-разному. Изабелла, впрочем, сразу опять стала серьезной, мне даже показалось, что она немного испугана.

— С чего вы это взяли?

— Это всего лишь догадка. Но вы ведь просили меня как писателя сказать, что я обо всем этом думаю. К сожалению, вы не знаете, какое именно потрясение, пережитое на войне, так сильно

повлияло на Ларри. Вероятно, это был какой-то внезапный удар, к которому он не был подготовлен. Вот мне и кажется, что это переживание, каково бы оно ни было, открыло ему глаза на быстротечность жизни и породило мучительное желание увериться в том, что есть все же воздаяние за все грехи и горести мира.

Я видел, что от такого поворота в нашем разговоре Изабелле стало не по себе. Она почувствовала, что теряет почву под ногами.

— Очень уж мрачно это звучит. Мир надо принимать таким, как он есть. Раз уж мы существуем, надо брать от жизни все, что можно.

— Должно быть, вы правы.

— Я вот знаю, что я самая обыкновенная, нормальная женщина. И хочу жить в свое удовольствие.

— Видимо, это случай полной несовместимости характеров. И хорошо, что вы в этом убедились еще до брака.

— Я хочу выйти замуж, и иметь детей, и жить…

— В той общественной сфере, в которой милостивому провидению угодно было вас поселить, — закончил я с улыбкой.

— А что в этом дурного? Сфера очень приятная,

я ею вполне довольна.

— Вы с Ларри — как двое друзей, которые хотят вместе провести отпуск, только одного прельщает восхождение на ледяные пики Гренландии, а другого — рыбная ловля в атоллах у берегов Индии. Ясно, что им не сговориться.

— На ледяных пиках Гренландии я хоть могла бы добыть себе котиковое манто, а в атоллах у берегов Индии, по-моему, и рыбы-то нет.

— Это еще неизвестно.

— Почему вы так говорите? — спросила она хмурясь. — Мне кажется, вы все время чего-то недоговариваете. Я понимаю, что главную роль здесь играю не я, а Ларри. Он идеалист, он мечтатель, и, даже если его высокая мечта не сбудется, честь ему и слава, что такая мечта у него была. А моя роль — практичной, расчетливой стяжательницы. Здравый смысл обычно не вызывает сочувствия, ведь так? Но вы забываете, что платить-то пришлось бы мне, Ларри витал бы в облаках, а мне осталось бы плестись за ним и сводить концы с концами. А я хочу жить.

— Я этого вовсе не забываю. Когда-то давно, еще в молодости, я знал одного человека, врача, и очень неплохого, но практиковать он не хотел. Он годами просиживал в библиотеке Британского

музея и время от времени, с большими промежутками, производил на свет огромный труд, не то научный, не то философский, которого никто не читал и который он был вынужден издавать на свои средства. Таких никчемных фолиантов он написал четыре или пять. У него был сын, тот мечтал служить в армии, но на учение в Сандхерсте не было денег, он пошел рядовым. И был убит на войне. Была у него и дочь, очень хорошенькая, я слегка за ней ухаживал. Та пошла на сцену, но таланта у нее не оказалось, и она колесила по провинции в составе второразрядных трупп, на крошечных ролях и за грошовое жалованье. Мать ее из года в год гнула спину на тяжелой, нескончаемой домашней работе, здоровье ее сдало, и девушке пришлось вернуться домой и взвалить на себя ту же отупляющую работу, на которую у матери уже не было сил. Исковерканные, впустую прожитые жизни, и ради чего — неизвестно. Да, сойти с проторенного пути — та же лотерея. Много званых, но мало избранных.

— Мама и дядя Эллиот меня одобряют. А вы?

— Милый друг, какое это для вас имеет значение? Я же для вас посторонний человек.

— Вы для меня объективный наблюдатель, — пояснила она с милой улыбкой. — Мне ваше

одобрение важно. Вы ведь тоже считаете, что я поступила правильно?

— Я считаю, что вы поступили правильно для себя, — ответил я, почти уверенный, что она не уловит маленькой разницы между своими словами и моими.

— Тогда почему меня совесть мучает?

— А она мучает?

Все еще улыбаясь, но теперь уже невесело, она кивнула головой.

— Я знаю, это единственный разумный выход. Каждый нормальный человек согласится, что иначе я поступить не могла. С какой практической точки зрения ни взглянуть — с точки зрения житейской мудрости, или приличий, или принятых понятий о том, что хорошо и что плохо, — я сделала то, что должна была сделать. И все-таки в глубине души меня что-то гложет, все кажется, что, будь я лучше, добрее, благороднее, я вышла бы за Ларри и разделила его жизнь. Если б только я достаточно его любила, мне все было бы нипочем.

— Можно сказать и наоборот: если бы он достаточно вас любил, он исполнил бы вашу волю.

— Я и так пробовала думать. Но это не помогает… Наверно, самопожертвование больше

свойственно женщинам, чем мужчинам. — Она усмехнулась. — Ну, знаете, Руфь, и поля моавитские, и все такое.

— Так рискните.

До сих пор мы говорили в легком тоне, словно речь шла об общих знакомых, чьи дела мы не принимаем особенно близко к сердцу, и, даже передавая мне свой разговор с Ларри, Изабелла сдобрила свой рассказ живым, веселым юмором, словно не хотела, чтобы я отнесся к нему слишком серьезно. Но теперь она побледнела.

— Я боюсь.

Мы помолчали. По спине у меня пробежал холодок, как всегда бывает, когда я оказываюсь перед глубоким, подлинным человеческим чувством. Для меня в этом есть что-то грозное, пугающее.

— Вы очень его любите? — спросил я наконец.

— Не знаю. Он меня бесит. Выводит из себя. А тоскую я о нем ужасно.

И опять мы умолкли. Я не знал, что сказать. В маленькой кофейне было полутемно от густых кружевных занавесок на окнах. По стенам, оклеенным желтыми «мраморными» обоями, висели старые гравюры, изображавшие охоту и скачки. И вся комната с ее мебелью красного дерева, потертыми кожаными креслами и влажным,

спертым воздухом напоминала кофейню из романа Диккенса. Я помешал в камине и подбавил угля. Внезапно Изабелла заговорила:

— Понимаете, я думала, если поставить вопрос ребром, он сдастся. Я ведь знала, что он слабый.

— Слабый? — вскричал я. — Из чего вы это заключили? Человек больше года поступал вопреки осуждению всех своих друзей и знакомых, потому что твердо решил не сворачивать с избранного пути…

— Я всегда могла подбить его на что угодно. Я из него веревки вила. И в компании нашей он никогда не верховодил. Куда мы, туда и он.

Я следил, как кольцо дыма от моей папиросы становилось все больше, а потом растаяло в воздухе.

— Мама и Эллиот были очень недовольны, что я после всюду с ним бывала, как будто ничего не случилось, но сама я как-то не принимала это всерьез. Все думала, что в конце концов он уступит. Я просто не могла поверить, что, когда мне удастся вбить в его глупую голову, что я не шучу, он и тогда будет упорствовать. — Она помедлила и одарила меня озорной, лукавой улыбкой. — Вы будете очень шокированы, если я расскажу вам одну вещь?

— Едва ли. Для этого много нужно.

— Когда мы решили уехать в Лондон, я позвонила Ларри и предложила ему провести мой последний вечер в Париже вместе. Дядя Эллиот, когда я им сказала, заявил, что это в высшей степени неприлично, а мама сказала, что, на ее взгляд, это лишнее. Когда мама говорит «это лишнее», надо понимать, что она решительно против. Дядя Эллиот спросил, что мы задумали, и я сказала, что мы решили где-нибудь пообедать, а потом поездить по ночным клубам. Он сказал маме, что она должна запретить эту эскападу. Мама спросила: «Если я тебе это запрещу, ты послушаешься?» А я ответила: «Нет, мамочка, ни в коем случае». Тогда она сказала: «Ну вот, я так и думала. А раз так, много ли проку будет от моего запрета?»

— Ваша мама — на редкость разумная женщина.

— Она все, решительно все замечает. Когда Ларри за мной заехал, я пошла к ней проститься. Я была немножко накрашена, вы ведь знаете, в Париже без этого нельзя, а то чувствуешь себя такой голой, и, когда она увидела, какое я надела платье, она так оглядела меня с головы до ног, что я даже поежилась, — не иначе как догадалась,

что я задумала. Но она ничего не сказала. Только поцеловала меня и пожелала весело провести время.

— А что вы задумали?

Изабелла поглядела на меня с сомнением, словно еще не решила, до конца ли быть со мной откровенной.

— В зеркале я себе понравилась, и это был мой последний шанс. Ларри заранее заказал столик у Максима. Мы ели разные вкусные вещи, все мое самое любимое, и пили шампанское. Тараторили без умолку, во всяком случае я, и Ларри много смеялся. Я всегда могу его рассмешить, отчасти поэтому мне и было с ним так хорошо. Мы потанцевали, потом поехали в кафе «Мадрид». Там встретили знакомых и опять пили шампанское. Потом все вместе поехали в «Акацию». Ларри танцует очень хорошо, и мы с ним станцевались. Жара, музыка, вино — в голове туман, море по колено. Я танцевала с Ларри щекой к щеке и чувствовала, что он меня хочет. А уж я как его хотела… И тут я придумала. Подсознательно-то я, наверно, думала об этом все время. Я решила — пусть он проводит меня домой и войдет, а уж там — там неизбежное неизбежно случится.

— Право же, изящнее выразить вашу мысль

было бы трудно.

— Моя комната была на отлете, далеко от маминой и дяди Эллиота, так что на этот счет я была спокойна. И я решила, что, когда мы вернемся в Америку, я напишу ему, что жду ребенка. Тогда он должен будет приехать и жениться на мне, а уж если он окажется дома, я сумею его там удержать, тем более что мама болеет. Я говорила себе: «Дура же я была, что раньше не додумалась. Ну конечно, теперь все будет в порядке». Когда музыка кончилась, мы еще постояли обнявшись, и я сказала, что уже поздно, а поезд наш отходит в полдень, так что пора ехать домой. Мы взяли такси. Я к нему прижалась, а он обнял меня и стал целовать. Он меня целовал, целовал… это было такое счастье. Я и не заметила, как мы доехали. Ларри расплатился.

— Пойду домой пешком.

Такси укатило, я обняла его за шею и сказала:

— Зайди, выпьем на прощание.

— Ну что ж, давай.

Он позвонил, дверь отворилась. Входя в вестибюль, он включил свет. Я посмотрела ему в глаза. Они были такие честные, доверчивые, такие невинные, так было ясно, что у него и в мыслях нет, что я готовлю ему западню, и я почувство-

вала, что не могу сделать ему такую гадость. Все равно что отнять у ребенка конфету. Знаете, что я сделала? Я сказала: «А в общем, лучше, пожалуй, не стоит. Маме сегодня нездоровилось, может, она уснула, так я боюсь, не разбудить бы ее. Спокойной ночи». Я дала ему еще раз меня поцеловать и вытолкала его за дверь. Тем дело и кончилось.

— И теперь вы об этом жалеете?

— И не жалею, и не рада. Я просто не могла иначе. Как будто это не я сделала. Как будто кто-то действовал за меня. — Она скорчила забавную гримаску. — Мое лучшее «я», так это, кажется, называется.

— Наверно, так.

— Тогда пусть мое лучшее *«я»* и расплачивается. Авось впредь будет осторожнее.

На этом, в сущности, наш разговор закончился. Возможно, Изабелле стало легче на душе оттого, что она выложила кому-то все без утайки, но сделать для нее больше этого я не мог. Чувствуя, что не оправдал ожиданий, я все же попробовал хоть что-то сказать ей в утешение.

— Знаете, — сказал я, — когда бываешь влюблен и все получается тебе наперекор, страдаешь ужасно, и кажется, что пережить это невозмож-

но. Но море — великий целитель, скоро сами узнаете.

— Это как же понимать? — улыбнулась она.

— А вот как: любовь не выносит качки, от морских переездов она хиреет. Когда между вами и Ларри ляжет Атлантический океан, вы сами убедитесь, как мало осталось от той боли, что раньше казалась нестерпимой.

— Вы говорите по личному опыту?

— По опыту бурного прошлого. Когда меня одолевали муки неразделенной любви, я тут же брал билет на океанский лайнер.

Дождь, видимо, зарядил надолго; мы решили, что ничего страшного не будет, если Изабелла не увидит достопримечательностей Хэмптон-Корта, даже кровати королевы Елизаветы, и поехали обратно в Лондон. После этого я видел ее еще два или три раза, но не одну. А потом мне захотелось отдохнуть от Лондона, и я махнул в Тироль.

Глава третья

I

Прошло десять лет, в течение которых я не видел ни Изабеллу, ни Ларри. С Эллиотом я продолжал видаться и даже (по причинам, о которых будет сказано ниже) чаще прежнего, и от него иногда узнавал что-нибудь новое про Изабеллу. О Ларри же он ничего не мог мне сказать.

— Откуда мне знать, может быть, он все еще в Париже, но едва ли мы когда-нибудь встретимся. Мы вращаемся в разных кругах, — пояснил он снисходительно. — Очень прискорбно, что он так опустился. Ведь он из очень хорошей семьи. Если бы он мне доверился, я, несомненно, мог бы вывести его в люди. Нет, Изабелла вовремя с ним рассталась.

Я не был столь разборчив, как Эллиот, и в Париже у меня было несколько знакомых, общаться с которыми он счел бы ниже своего достоинства. Во время моих коротких, но довольно частых наездов я спрашивал кое-кого из них, не встречали ли они Ларри, не слышали ли о нем; иные его помнили, но близко с ним не был знаком никто,

и никто не мог мне сообщить о нем каких-либо сведений. Я побывал в ресторане, где он обычно обедал, там сказали, что он не заходил уже давно, должно быть, уехал. И не попался он мне ни в одном кафе на бульваре Монпарнас, куда часто заглядывают обитатели этого района.

Когда Изабелла уехала, он собирался в Грецию, но потом передумал. А о том, что с ним было дальше, он сам поведал мне много лет спустя, я же расскажу об этом сейчас, потому что события удобнее располагать по возможности в хронологическом порядке. Все лето и почти всю осень он оставался в Париже.

— А потом, — сказал он, — я почувствовал, что хватит с меня книг, надо отдохнуть. Два года я сидел над книгами по восемь — десять часов в сутки. И я пошел работать в угольную шахту.

— Куда? — вскричал я, пораженный.

Он засмеялся.

— Я решил, что несколько месяцев физического труда — это как раз то, что мне нужно. Что это позволит мне разобраться в своих мыслях и перестать спорить с самим собой.

Я не ответил. Только ли это, думал я, было причиной для такого неожиданного шага или же этот шаг был связан с отказом Изабеллы выйти за

него замуж? Ведь я понятия не имел, насколько глубоко он ее любит. Влюбленные находят тысячи способов убедить себя в том, что раз им чего-то хочется, значит, это разумно. Отсюда, думается мне, и огромное число неудавшихся браков. Вот так же люди иногда поручают вести свои дела близкому другу, хоть и знают, что он мошенник: они отказываются верить, что мошенник — в первую очередь мошенник, а потом уже друг; они убеждены, что, хотя с другими он поступает бесчестно, их-то он не обманет. У Ларри хватило сил не пожертвовать ради Изабеллы той жизнью, которую он себе выбрал, но возможно, что потерять ее оказалось горше, чем он ожидал. Возможно, он, как и все мы, грешные, мечтал, что и волки будут сыты, и овцы целы.

— И что же было дальше? — спросил я.

— Я упаковал мои книги и одежду и сдал на хранение в «Американ экспресс». Потом уложил в чемодан сменный костюм и кое-какое белье и пустился в путь. У моего учителя греческого языка сестра была замужем за управляющим одной шахтой в Лансе, и он дал мне к нему письмо. Вы Ланс знаете?

— Нет.

— Это на севере Франции, недалеко от бельгий-

ской границы. Там я переночевал в привокзальной гостинице, а на следующий день рабочим поездом добрался до места. Вы когда-нибудь бывали в шахтерском поселке?

— Только в Англии.

— А они, наверно, везде на одно лицо. Шахта, дом управляющего, и ряд за рядом двухэтажные домики, все одинаковые, один как другой, хоть плачь. Еще — уродская церковь недавней постройки и несколько кабаков. Приехал я туда в холодный, ненастный день, уже начинался дождь. Нашел контору и предъявил управляющему мое письмо. Он был маленький, толстенький, с красными щечками и, как видно, любитель поесть. У них была нехватка рабочих рук, много шахтеров погибло на войне, они даже взяли на работу поляков, человек двести — триста. Он задал мне несколько вопросов, поморщился, когда узнал, что я американец, почему-то это показалось ему подозрительным, но его шурин дал обо мне хороший отзыв, и он меня зачислил. Хотел было дать мне работу на поверхности, но я сказал, что хочу в шахту. Он сказал, что с непривычки трудно будет, я сказал — ничего, и он поставил меня подручным забойщика. Вообще-то это работа для мальчишек, но мальчишек тоже не хватало.

Он был славный человечек, спросил, устроился ли я с жильем, а когда узнал, что нет, написал мне на бумажке адрес одной женщины, которая наверняка сдаст мне койку. Вдова шахтера, муж погиб, оба сына работают в шахте.

Я взял свой чемодан и отправился. Нашел адрес, дверь мне отворила высокая тощая женщина, полуседая, с большими темными глазами. В молодости, наверно, была красивая. Она и тогда еще была бы недурна, несмотря на жуткую худобу, жаль только, двух передних зубов не хватало. Она сказала, что целой комнаты у нее нет, но есть комната с двумя койками: одну снимает поляк, вторая свободна. Наверху в одной комнате живут ее сыновья, в другой — она сама. Нижняя комната, которую она мне показала, раньше, наверно, называлась гостиной; я бы предпочел иметь свой угол, но подумал, что привередничать не стоит, к тому же и дождь разошелся вовсю, я уже успел промокнуть. Не хотелось опять выходить на улицу, и я сказал, что это мне подходит, и остался у нее. Гостиной им теперь служила кухня, там даже стояло несколько ветхих кресел. Во дворе был сарай для угля, он же баня. Братья и поляк брали завтраки с собой на работу, а мне она предложила поесть вместе с нею в полдень.

Потом я сидел в кухне и курил, а она делала свои домашние дела и рассказывала о себе и своей семье. После смены вернулся домой поляк, а вскоре за ним и братья. Поляк молча кивнул мне, когда хозяйка сказала, что я буду жить с ним в одной комнате, взял с плиты большущий чайник и пошел в сарай мыться. Оба парня были рослые, красивые, даже под слоем грязи, и отнеслись ко мне приветливо. Им казалось ужасно смешно, что я американец. Одному было девятнадцать лет, через несколько месяцев идти на военную службу, другому восемнадцать.

Дождавшись, когда поляк вернулся, парни тоже ушли смывать с себя грязь. Имя у поляка было трудное, и все звали его Кости. Был он верзила дюйма на три выше меня и сложения атлетического. Лицо у него было бледное, мясистое, нос картошкой и большой рот. Глаза голубые и как будто подведенные, потому что ему никак не удавалось отмыть брови и ресницы от угольной пыли. Эти черные ресницы придавали его голубым глазам какой-то нестерпимый блеск. Некрасивый он был и нескладный. Сыновья хозяйки переоделись и ушли, а поляк все сидел в кухне, курил и читал газету. Я достал из кармана книгу и тоже стал читать. Он глянул на меня раз,

другой, потом отложил газету и спросил:

«Что читаете?»

Я молча протянул ему книгу. Это была «Принцесса Клевская», я купил ее на вокзале в Париже, благо формат был карманный. Он поглядел на книжку, потом с любопытством на меня и вернул ее. На губах у него мелькнула насмешливая улыбка.

«Вас это забавляет?»

«По-моему, очень интересно, даже увлекательно».

«Я это читал в школе, в Варшаве. Решил, что скука смертная. — По-французски он говорил хорошо, почти без акцента. — Теперь-то я ничего не читаю, только газеты и детективные романы».

Мадам Дюклер, наша хозяйка, сидела у стола и штопала носки, в то же время приглядывая за супом, который варила на ужин. Она рассказала Кости, что меня к ней прислал управляющий, и передала ему то, что я счел нужным сообщить ей о себе. Он слушал, попыхивая трубкой и глядя на меня своими блестящими голубыми глазами. Взгляд был жесткий и проницательный. Он стал меня расспрашивать. Когда я сказал, что никогда не работал в шахте, насмешливая улыбка снова тронула его губы.

«Значит, вы не знаете, что вас ждет. Никто не пойдет работать в шахту, если есть выбор. Но это дело ваше. Не сомневаюсь, что у вас есть свои причины. В Париже вы где жили?»

Я сказал.

«Было время, я каждый год ездил в Париж. Только я держался ближе к Большим бульварам. У Ларю бывали? Это был мой любимый ресторан».

Я удивился. Ресторан, если помните, не из дешевых.

— Нет, куда там.

— Он, конечно, заметил мое удивление — опять я увидел эту насмешливую улыбку, — но от объяснений воздержался. Мы еще потолковали о том о сем, потом вернулись братья, и мы поужинали. А после ужина Кости предложил мне пойти в бистро выпить пива. Там была всего одна комната, в одном конце стойка, а дальше мраморные столики и деревянные стулья. Еще там стояла пианола, кто-то сунул в щель монету, и она орала танцевальный мотив. Кроме нашего, было занято еще только три стола. Кости спросил, играю ли я в белоту. Меня этой игре обучили в Париже молодые люди, с которыми я вместе занимался, и Кости предложил мне сыграть на пиво. Я согласился, он потребовал карты. Я проиграл одну

кружку, проиграл вторую. Тогда он предложил поиграть на деньги. Карта ему шла, а мне не везло. Ставки были ничтожные, но я проиграл несколько франков. От выигрыша и от пива он пришел в хорошее настроение и разговорился. И по манерам его, и по тому, как он говорил, я скоро понял, что человек он образованный. Когда речь опять зашла о Париже, он спросил, не знавал ли я такую-то и такую-то — американок, которых я встречал у Эллиота, когда тетя Луиза с Изабеллой у него гостили. Сам он, видимо, знал их лучше, чем я, и мне стало любопытно, как он дошел до своей теперешней жизни. Было еще не поздно, но вставать нам предстояло с рассветом.

«Давай по последней», — предложил он.

Он потягивал пиво и смотрел на меня своими маленькими зоркими глазками, и тут я сообразил, кого он мне напоминает: сердитого кабана.

«Зачем тебе понадобилось работать в этой треклятой шахте?» — спросил он.

«Хочу обогатить свой опыт».

«Tu es fou, mon petit»[155].

«А вы зачем здесь работаете?»

Он неуклюже вздернул тяжелые плечи.

---

[155] Примечания: 155
С ума сошел, малыш (*фр.*).

«Мой отец был царским генералом. Я учился в кадетском корпусе, а в войну служил офицером в кавалерии. Я ненавидел Пилсудского. Мы сговорились его убить, но кто-то нас выдал. Тех из нас, кого сумели схватить, он расстрелял. Мне в последнюю минуту удалось бежать через границу. Что мне оставалось? Либо Иностранный легион, либо угольная шахта. Я выбрал меньшее из зол».

Я уже говорил Кости, на какую работу меня определили, и тогда он промолчал, а теперь поставил локоть на стол и сказал:

«Ну-ка, отогни мою руку».

Я знал этот старый способ мериться силами и приложил к его ладони свою. Он рассмеялся: «Через неделю ручка у тебя будет не такая нежная». Я стал давить что было силы, но у него ручища была как железная, и постепенно он отвел мою руку назад, до самого стола. И тут же снизошел до похвалы:

«Силенка у тебя ничего. Другие и столько не выдерживают. Знаешь что, подручный у меня никуда не годится, плюгавый такой французишка, силы как у вши. Пойдем-ка завтра со мной, я скажу старшему, пусть лучше даст мне тебя».

«Я бы с удовольствием. А он согласится?»

«Подмазать надо. Лишние пятьдесят франков у

тебя найдутся?»

Он протянул руку, я достал из бумажника кредитку. Мы пошли домой и легли спать. Длинный это получился день, я заснул как убитый.

— И что же, трудная оказалась работа? — спросил я Ларри.

— Сначала было зверски трудно, — признался он ухмыляясь. — Кости договорился со старшим, и меня дали ему в подручные. Он в то время работал в забое размером с ванную комнату в отеле, а попадать туда надо было через штрек, такой низкий, что приходилось ползти на четвереньках. Жарко там было как в пекле, мы работали в одних штанах. И очень было противно смотреть на Кости с его огромным белым торсом — этакий гигантский слизняк. Грохот отбойного молотка в этой тесной норе буквально оглушал. Моя работа состояла в том, чтобы подбирать куски угля, которые он вырубал, складывать их в корзину и протаскивать эту корзину через штрек в штольню, а там его грузили на вагонетки и везли к подъемникам. Я только одну эту угольную шахту и видел, так что не знаю, везде ли принят такой порядок. Мне он казался дилетантским, а работа адова. В середине рабочего дня мы делали перерыв, съедали свой завтрак и курили.

Я еле мог дождаться конца смены, зато мыться потом было чистое наслаждение. Ноги, бывало, никак не отдерешь — черные, как чернила. На руках, конечно, появились волдыри, болели они дьявольски, но потом подсохли. Я привык к этой работе.

— И надолго вас хватило?

— В забое меня держали неполных два месяца. Вагонетки, на которых уголь подвозили к подъемнику, таскал тягач, откатчик на нем работал никудышный, и мотор то и дело глох. Однажды он никак не мог его запустить, совсем умучился. Ну а я в технике разбираюсь, я понял, в чем там дело, и через полчаса он у меня заработал. Старший рассказал про это управляющему, тот меня вызвал и спросил, знаю ли я толк в машинах. В результате мне дали место того откатчика. Работа, конечно, очень однообразная, зато легкая, и мотор перестал шалить, а значит — мною были довольны.

Кости рвал и метал, когда меня от него взяли. Он, мол, на меня не жаловался, он ко мне привык. Я его неплохо узнал за это время: как-никак целыми днями вместе работали, по вечерам вместе ходили в бистро и спали в одной комнате. Странный он был человек. Вас бы такой, вероятно,

заинтересовал. С другими поляками он не знался, мы и в те кафе не ходили, в которых они бывали. Он все не мог забыть, что он дворянин и был кавалерийским офицером, а на них смотрел как на последнюю шваль. Их это, понятно, обижало, но поделать они ничего не могли: он был силен как бык и, если б дошло до драки, даже если б они пустили в ход ножи, один уложил бы их два десятка. Я-то кое с кем из них все же познакомился, и они мне сказали, что кавалерийским офицером он действительно был и служил в отборных частях, а вот что он покинул Польшу по политическим причинам — это враки. Его вышибли из офицерского клуба в Варшаве и уволили из полка, потому что он плутовал в карты и его на этом поймали. И мне они советовали не играть с ним. Уверяли, что он потому их и сторонится, что они слишком много о нем знают и отказываются с ним играть.

А я и правда все время ему проигрывал — так, понемножку, по нескольку франков за вечер, но когда он выигрывал, то непременно платил за выпивку, так что, в сущности, получалось одно на одно. Я думал, что мне просто не везет либо он лучше меня играет, но после этих разговоров стал держать ухо востро и уже не сомневался,

что он передергивает, а вот как он это делает — хоть убей, не мог уловить. Ловок был до черта. Я уже понимал, что не может ему все время идти хорошая карта, следил за ним, как рысь. А он был хитер, как лисица, и наверняка догадался, что мне насчет него намекнули. Как-то вечером мы поиграли немного, а потом он поглядел на меня с этой своей насмешливой, скорее даже жестокой, улыбкой — по-другому он улыбаться не умел — и говорит:

«Хочешь, покажу тебе фокус?»

Взял колоду и велел назвать какую-нибудь карту. Потом стасовал, дал мне вытянуть одну карту, и она оказалась та самая, которую я назвал. Показал и еще пару фокусов, потом спросил, играю ли я в покер. Я сказал, что играю. Он сдал. У меня оказались четыре туза и король. «И много бы ты поставил на такую сдачу?» Я сказал, что поставил бы все, что имел. «Ну и дурак бы был». Он открыл карты, которые сдал себе. Оказалось — флешь. Как он это проделал — не знаю. А он только смеется: «Не будь я честным человеком, я бы тебя давно по миру пустил».

«Вы и так на мне заработали».

Мы продолжали играть почти каждый вечер. Я пришел к выводу, что мошенничает он не столь-

ко ради денег, сколько ради забавы. Ему приятно было сознание, что он меня дурачит, а больше всего, кажется, радовало, что я его раскусил, а за техникой его уследить не могу.

Но это была только одна его сторона, а меня больше интересовала другая. И никак они между собой не вязались. Хоть он и хвастал, что ничего не читает, кроме газет и детективных романов, человек он был культурный. Отлично говорил — язвительно, едко, цинично, но так, что заслушаешься. Был набожным католиком, над кроватью у него висело распятие, и каждое воскресенье он ходил в церковь. А по субботам напивался. Наше бистро в субботу вечером было битком набито, воздух — хоть топор вешай. Туда приходили и степенные пожилые шахтеры с семьями, и молодые горластые парни, и многие мужчины, обливаясь потом, с громкими выкриками сражались в белоту, а их жены сидели немного позади и смотрели. Теснота и шум действовали на Кости своеобразно — он становился серьезным и начинал рассуждать, о чем бы вы думали? — о мистицизме. Я в то время только и знал об этом, что очерк Метерлинка о Рейсброке, попался мне как-то в Париже. А Кости толковал про Плотина, и про Дионисия Ареопагита, и про

сапожника Якоба Бёме, и про мейстера Экхарта. Было что-то фантастическое в том, как этот косолапый проходимец, выброшенный из своего общественного круга, этот озлобленный ерник и бродяга толкует о конечной реальности мира и о блаженстве слияния с Богом. Для меня все это было внове, сбивало с толку, будоражило. Словно человек проснулся в затемненной комнате, и вдруг сквозь щель в занавесках пробился луч света, и он чувствует, что стоит их раздернуть — и перед глазами в сиянии зари откроется широкая равнина. Но если я пытался навести Кости на эту тему, когда он был трезвый, он смотрел на меня злющими глазами и рявкал: «Почем я знаю, что я городил, когда сам не знал, что говорю?»

Но я понимал, что он врет. Он прекрасно знал, о чем говорил. Он много чего знал. Конечно, он был пьян, но выражение его глаз, восторг, написанный на его уродской физиономии, — этого одним алкоголем не объяснишь. Было тут и что-то еще. Когда он в первый раз об этом заговорил, он сказал одну вещь, которую я никогда не забуду, так она меня ужаснула: он сказал, что мир — это не творение, потому что из ничего ничего не бывает; это еще куда ни шло, но дальше он добавил, что зло — столь же непосредственное проявление

божественного начала, как и добро. Странно было услышать такое в прокуренной шумной пивной, под аккомпанемент танцевальных мотивчиков на пианоле.

II

Новую главку я начинаю с единственной целью дать читателю короткую передышку — разговор наш продолжался без перерыва. Пользуясь случаем, скажу, что говорил Ларри не спеша, местами делая паузы, чтобы подобрать нужное слово, и, хотя я, конечно, повторяю его рассказ не дословно, я постарался передать не только смысл его, но и манеру изложения. Его голос приятного музыкального тембра был богат интонациями; он не помогал себе жестами, только изредка умолкал, чтобы раскурить трубку, и, говоря, смотрел мне прямо в лицо ласковыми глазами, в которых то и дело загоралась усмешка.

— Пришла весна, в этой плоской, унылой части Франции она приходит поздно, дожди и холода еще держались, но выпадали и теплые, ясные дни, и тогда особенно не хотелось покидать белый свет и в расшатанной клети, набитой шахтерами в темных комбинезонах, опускаться на сотни футов вниз, в недра земли. Наступить-то весна

наступила, но в этой серой, неприглядной местности выглядела робко, точно была не уверена, что ей рады. Так иногда увидишь цветок в горшке — лилию или нарцисс в окне полусгнившего дома в трущобах, и непонятно, что он тут делает. Как-то в воскресенье утром мы еще валялись в постели — по воскресеньям мы всегда вставали поздно, — я читал, а Кости вдруг и скажи:

«Ухожу я отсюда. Хочешь со мной?»

Я знал, что летом многие здешние поляки уезжают на родину убирать урожай, но для этого время еще не пришло, да и не рискнул бы Кости вернуться в Польшу.

«А вы куда собираетесь?» — спросил я.

«Бродяжить. Через Бельгию и Германию, на Рейн. Можно наняться поработать на какой-нибудь ферме, на лето и хватит».

Я не стал долго раздумывать и сказал, что мне это по душе.

На следующий день мы взяли расчет. Я уговорил одного парня обменять мне рюкзак на мой чемодан. Лишнюю одежку отдал младшему сыну мадам Дюклер, мой размер ему годился. Кости оставил у них мешок, что нужно с собой, тоже уложил в рюкзак, и во вторник, как только хозяйка напоила нас кофе, мы отправились в путь.

Мы не торопились, зная, что на работу нас могут взять не раньше, чем подойдет сенокос, и с прохладцей подвигались по Франции и Бельгии, через Намюр и Льеж, а в Германию вошли у Ахена. В день проходили миль десять — двенадцать, не больше. Приглянется какая-нибудь деревня — делаем остановку. Всегда находился трактир, где переночевать, поесть и выпить пива. С погодой нам, в общем, везло. И замечательно было проводить все дни на воздухе после стольких месяцев в шахте. Я раньше, кажется, и не понимал, какая это радость для глаз — зеленый луг или дерево, когда листья на нем еще не распустились, но ветви словно окутаны легкой зеленой дымкой. Кости стал учить меня немецкому — сам он говорил на нем не хуже, чем по-французски. Он называл мне все, что встречалось нам на пути — корова, лошадь, человек, потом заставлял повторять за ним простые немецкие фразы. Так мы коротали время, а когда вступили в Германию, я уже мог хотя бы попросить, что мне нужно.

Кёльн оказался в стороне от нашего маршрута, но Кости непременно пожелал туда завернуть,

как он сказал — ради Одиннадцати Тысяч Дев[156], а когда мы туда пришли, он загулял. Я не видел его три дня, потом он явился в комнату, которую мы заняли в каком-то рабочем бараке, черный как туча. Под глазом фонарь, губа рассечена, смотреть страшно — это он где-то ввязался в драку. Целые сутки проспал, а потом мы двинулись вверх по долине Рейна на Дармштадт, он сказал, что там земли плодородные и скорее всего можно получить работу.

Чудесно там было. Погода держалась, мы прошли много городов и деревень. В которых было что поглядеть — останавливались и глядели. Ночевали где придется, раза два даже на сеновале. Ели в придорожных харчевнях, и когда добрались до виноградников, перешли с пива на вино. В харчевнях заводили дружбу с тамошними жителями. Кости напускал на себя грубовато-простецкую манеру, весьма располагающую, играл с ними в скат, это такая немецкая карточная игра, и обчищал их так добродушно, с такими

[156] Примечания: 156

Согласно средневековой легенде, возле теперешнего Кёльна погибли в первые века нашей эры 11 000 девушек-христианок, сопровождавших британскую принцессу Урсулу во Францию и в пути убитых гуннами. Туристам в Кёльне до сих пор показывают хранящиеся в стене церкви Святой Урсулы черепа и кости, якобы найденные в земле на месте их захоронения. — *Примеч. пер.*

солеными шуточками, что они отдавали ему свои пфенниги чуть ли не с радостью. А я практиковался на них в немецком. В Кёльне я купил маленький англо-немецкий разговорник, и дело у меня шло на лад. А по вечерам, влив в себя литра два белого вина, Кости странным, замогильным голосом разглагольствовал о полете от Единого к Единому, о Темной Ночи Души и о конечном Экстазе, в котором творение сливается воедино с предметом своего восхищения. Но если я пытался вытянуть из него еще что-нибудь рано утром, когда мы опять шагали среди смеющейся природы и роса еще сверкала на траве, он приходил в такую ярость, что готов был меня поколотить.

«Да ну тебя, идиот несчастный, — огрызался он. — На что тебе понадобился этот вздор? Учи-ка лучше немецкий».

Не очень-то поспоришь с человеком, если у него кулак как паровой молот и он не задумается пустить его в ход. Я видел его приступы бешенства. Я знал, что он способен избить меня до бесчувствия и бросить в канаве, да еще обшарить мои карманы, это тоже с него бы сталось. Он по-прежнему был для меня загадкой. Когда язык у него развязывался от спиртного и он заводил разговор о Неизреченном, он сбрасывал с себя привычное

сквернословие, как тот грязный комбинезон, что носил в шахте, и выражался вполне литературно, даже красноречиво. И был, мне кажется, вполне искренен. Сам не знаю, как я к этому пришел, но однажды мне взбрело в голову, что тяжелая, изнурительная работа в шахте была ему нужна ради умерщвления плоти. Может, он ненавидит свое огромное нескладное тело и нарочно его мучает, а его шулерство, и цинизм, и жестокость — это бунт его воли против… как бы это сказать, против какого-то сокровенного инстинкта святости, против жажды Бога, которая и ужасает его, и владеет им неотступно.

А время-то шло, весна миновала, листва на деревьях стала густая и темная, в виноградниках наливались гроздья. Грунтовые проселочные дороги, по которым мы ходили, стали пыльными. До Дармштадта оставалось совсем немного, и Кости сказал, что пора нам подыскивать работу. Деньги у нас почти все вышли. У меня в бумажнике было несколько аккредитивов, но я решил, что без крайней нужды не буду их разменивать. И вот мы, как увидим ферму побогаче, стали заходить и спрашивать, не требуются ли работники. Вид наш, надо полагать, не внушал доверия. Мы были грязные, потные, все в пыли. Кости — тот

выглядел прямо как разбойник с большой дороги, да и я, наверно, немногим лучше. Раз за разом мы уходили ни с чем. Один фермер сказал, что Кости он согласен взять, а я ему не нужен, но Кости заявил, что мы товарищи и без меня он не пойдет. Я пробовал его уговорить, но он ни в какую. Это меня удивило. Я знал, что чем-то пришелся ему по вкусу, вот только чем — не мог уразуметь, казалось бы, ему нужны были дружки совсем иного сорта. Но чтобы он настолько ко мне привязался, что из-за меня откажется от работы, — этого я не думал. Я даже почувствовал себя виноватым перед ним, потому что он-то мне, в сущности, не нравился, даже был мне противен, но когда я промямлил что-то вроде благодарности, он разом меня оборвал.

В конце концов удача нам улыбнулась. Мы только что прошли одну деревню и, поднявшись в гору, набрели на ферму, она стояла на отшибе и вид имела вполне приличный. Постучались, дверь отворила женщина. Мы, как всегда, предложили свои услуги. Сказали, что платы нам не надо, будем работать за харчи и ночлег, и она, как ни странно, не захлопнула перед нами дверь, а велела подождать. Она кликнула кого-то, и из дома вышел мужчина. Он нас как следует разгля-

дел, спросил, откуда мы, потребовал документы. Увидев, что я американец, еще раз оглядел меня с головы до ног. Что-то ему не понравилось, но он все же пригласил нас зайти, выпить по стакану вина. Он провел нас в кухню, и мы уселись. Женщина принесла жбан и стаканы. Хозяин нам рассказал, что его батрака боднул бык, парень в больнице и всю страду не сможет работать. А с работниками нынче туго, столько мужчин убито на войне, другие уходят на фабрики, вон их сколько понастроили на Рейне. Это нам было известно, мы, собственно, на это и рассчитывали. Ну, короче говоря, он нас нанял. В доме места было сколько угодно, но наше соседство его, видно, не прельщало; как бы то ни было, он предупредил, что на сеновале есть две койки и спать мы будем там.

Работа оказалась не тяжелая. Ухаживать за коровами, за свиньями, привести в порядок инвентарь. Оставалось и свободное время. Я любил поваляться в душистой траве, а вечерами уходил бродить и мечтать. Хорошая была жизнь.

Семья состояла из старика Беккера, его жены, овдовевшей снохи и ее детей. Сам Беккер был грузный седой мужчина лет около пятидесяти; он прошел войну, был ранен в ногу и еще хромал.

Рана сильно болела, и он глушил боль вином. Спать ложился обычно пьяный. С Кости они спелись, после ужина вместе уходили в трактир, резались в скат и пили. Фрау Беккер раньше была батрачкой. Ее взяли из приюта, а после смерти своей первой жены Беккер на ней женился. Она была на много лет моложе его, по-своему недурна — цветущая блондинка, краснощекая, с голодным чувственным взглядом. Кости смекнул, что тут есть чем поживиться. Я сказал ему, чтоб не валял дурака: работа у нас хорошая, глупо будет ее потерять. Он меня высмеял, сказал, что Беккера ей мало и она сама виснет. Я знал, что взывать к его порядочности бесполезно, но советовал ему быть осторожным: Беккер-то, может быть, и не заподозрит ничего дурного, а вот его сноха — та все примечает.

Сноху звали Элли, она была крепкая, ядреная, еще молодая — тридцати не было, черноволосая, с бледным квадратным лицом и угрюмым выражением черных глаз. Она еще носила траур по мужу — он был убит под Верденом. Очень была набожная, по воскресеньям два раза ходила в деревню — утром к ранней обедне, под вечер ко всенощной. У нее было трое детей, младший родился уже после смерти отца, и за столом она

если и открывала рот, так только чтобы на них прикрикнуть. Понемногу работала на ферме, но почти все свое время посвящала детям, а вечерами сидела одна в гостиной, с открытой дверью, чтобы услышать, если кто из них заплачет, и читала романы. Друг друга эти женщины терпеть не могли. Элли презирала фрау Беккер за то, что она приютская и раньше жила в услужении, и не могла ей простить, что она — хозяйка дома и вправе командовать.

Сама Элли была дочерью богатого фермера, за ней дали хорошее приданое. Училась она не в деревенской школе, а в Цвингенберге, ближайшем городке, где была женская гимназия, и образование получила вполне приличное. А бедная фрау Беккер с четырнадцати лет батрачила и только и умела, что кое-как читать и писать. Это тоже служило причиной раздоров. Элли не упускала случая похвалиться своими познаниями, а фрау Беккер, багровая от гнева, возражала, что жене фермера образование ни к чему.

Тогда Элли бросала взгляд на личный знак своего мужа, который носила на руке на стальной цепочке, и с выражением горечи на угрюмом лице говорила:

«Не жене. Всего лишь вдове. Всего лишь вдове

героя, отдавшего жизнь за отечество».

Бедняга Беккер только и делал, что их разнимал.

— А к вам они как относились? — перебил я Ларри.

— А-а, они решили, что я дезертировал из американской армии и не могу вернуться в Америку, а то меня посадят в тюрьму. Этим они объясняли, почему я не хожу в трактир с Беккером и Кости. Думали, я не хочу привлекать к себе внимание и подвергаться расспросам деревенского полицейского. Когда Элли узнала, что я стараюсь научиться немецкому, она достала свои старые учебники и сказала, что будет со мной заниматься. И вот после ужина мы с ней стали уходить в гостиную, оставив фрау Беккер на кухне, и я читал ей вслух, а она поправляла мое произношение и разъясняла непонятные слова. Я подозревал, что делает она это не столько из желания мне помочь, сколько чтобы покичиться перед фрау Беккер.

Кости тем временем обхаживал фрау Беккер, но все без толку. Она была веселая, общительная, не прочь пошутить с ним и посмеяться, а любезничать с женщинами он умел. Она, верно, догадалась, куда он гнет, и это ей, может быть, даже льстило, но, когда он попробовал ее ущипнуть,

приказала рукам воли не давать и закатила ему оплеуху, надо полагать — довольно увесистую.

Ларри чуть помедлил и застенчиво улыбнулся.

— Я никогда не воображал, что женщины за мной гоняются, но у меня появилось ощущение, что фрау Беккер… ну, в общем, что я ей нравлюсь. Мне это было неприятно. Она ведь была намного старше меня, да и старик Беккер, что ни говори, обошелся с нами по-божески. За столом, когда она раскладывала еду, я невольно замечал, что мне достаются самые большие порции, и она как будто искала случая остаться со мной наедине. И улыбалась мне, что называется, вызывающе. Спрашивала, есть ли у меня девушка, а то, мол, такому молодому мужчине, наверно, скучно в их глуши. Ну и все в этом роде. У меня было всего три рубашки, уже порядком сношенные. Она как-то сказала, что стыдно ходить в таких лохмотьях и пусть я их принесу, она зачинит. Это слышала Элли и, когда мы в следующий раз остались вдвоем, предложила починить все, что у меня есть рваного. Я сказал, что Бог с ним, не надо. Но дня через два обнаружил, что носки мои заштопаны, а рубашки залатаны и лежат, где лежали — на лавочке на сеновале, куда мы складывали свои вещи. Которая из них это сделала — я не знал. Я,

конечно, не принимал фрау Беккер всерьез, она была добрая душа, я думал, может, в ней говорят материнские чувства, но однажды Кости мне сказал:

«Слушай, ей не я нужен, а ты. Мое дело табак».

«Чепуха, — сказал я. — Она мне в матери годится».

«Ну и что? Валяй, малыш, я тебе мешать не буду. Хоть она и не молоденькая, но женщина хоть куда».

«Да ладно, хватит болтать».

«А чего ты тянешь? Надеюсь, не из-за меня? Я философ, я понимаю, что на ней свет клином не сошелся. Я ее не виню. Ты молодой. Я тоже был молодой. Jeunesse ne dure qu'un moment»[157].

Меня не очень-то радовало, что Кости так уверен в том, во что сам я не хотел верить. Я растерялся, потом стал припоминать кое-какие мелочи, на которые в свое время не обратил внимания, кое-какие слова Элли, которые пропустил мимо ушей. Теперь я их понял и убедился, что ей тоже все ясно. Она неожиданно появлялась в кухне, когда мы с фрау Беккер бывали там одни. Выходило, что она за нами шпионит, это мне не

---

[157] Примечания: 157
Молодость длится всего мгновение (*фр.*).

понравилось. Я знал, что она ненавидит фрау Беккер и не чает, как ей насолить. Конечно, ни на чем таком поймать она нас не могла, но женщина она была недобрая и мало ли что способна была выдумать и наговорить старику Беккеру. Мне оставалось только притворяться дураком, точно я и не понимал, что хозяйка имеет на меня виды. На ферме мне было хорошо, и работа нравилась, и я не хотел оттуда уходить, пока мы не уберем урожай.

Я невольно улыбнулся — очень уж ясно я себе представил, как выглядел тогда Ларри — в залатанной рубахе и коротких штанах, лицо и шея дочерна загорели под жарким солнцем рейнских берегов, легкое худощавое тело и черные глаза в глубоких глазницах. Нетрудно было поверить, что при виде его белокурая фрау Беккер, полногрудая и дебелая, вся трепыхалась от страсти.

— И что же было дальше? — спросил я.

— Ну, лето подошло к концу. Работали мы как черти. Скосили и заскирдовали сено. Тут поспела вишня. Мы с Кости залезали на лестницы и обирали ее, а обе женщины складывали в огромные корзины, а Беккер возил их в Цвингенберг и продавал. Потом жали рожь. Ну и за скотиной, конечно, по-прежнему ухаживали. Вставали до

зари, работали дотемна. Я успокоился, решил, что фрау Беккер поставила на мне крест. По мере возможности я теперь держал ее на расстоянии. И читать по-немецки по вечерам стало трудно, у меня уже за ужином глаза слипались, и я почти сразу уходил на сеновал и валился на койку. Беккер и Кости продолжали ходить по вечерам в трактир. Но когда Кости возвращался, я уже крепко спал. На сеновале было жарко, и спал я голый.

Как-то ночью меня разбудили. Спросонок я сперва не мог понять, что случилось. Почувствовал на губах горячую ладонь и вдруг понял — кто-то лежит со мной рядом. Я оттолкнул эту ладонь, и тогда чьи-то губы впились в мои, две руки меня обхватили, и я почувствовал, что ко мне прижимаются тяжелые груди фрау Беккер.

«Sei still, — шепнула она. — Тише».

Она прильнула ко мне, целовала жаркими, полными губами, руки ее шарили по моему телу, ноги цеплялись за мои.

Ларри умолк. Я не сдержал смешка.

— И что вы сделали?

— А что мне было делать? Рядом на койке спал Кости, я слышал его тяжелое дыхание. Роль Иосифа Прекрасного всегда казалась мне немного комичной. Мне было двадцать три года. Я не мог

устроить сцену и вытолкать ее вон. Не хотелось ее обижать. Я сделал то, чего от меня ждали.

Потом она осторожно встала и неслышно спустилась вниз. У меня отлегло от сердца, а перетрусил я здорово. Я еще подумал — как она решилась? Вполне возможно, что Беккер вернулся пьяный и заснул как чурбан, но они спали в одной постели, он мог проснуться и обнаружить, что ее нет. А тут еще Элли. Та всегда уверяла, что плохо спит. Если она не спала, так, наверно, слышала, как фрау Беккер спустилась со второго этажа и вышла из дома. И тут меня как ударило. Когда фрау Беккер была со мной в постели, я чувствовал прикосновение чего-то металлического, но не придал этому значения, не тот был момент, я даже потом не спросил себя, что бы это могло быть. А тут меня осенило. Я сидел боком на койке, с тревогой гадая, что теперь может воспоследовать, но от этой мысли вскочил как ужаленный. Металлическое — это был мужнин личный знак, который Элли носила на руке, и приходила ко мне не фрау Беккер, а Элли.

Я покатился со смеху.

— Вам смешно, — сказал Ларри, — а мне тогда было не до смеха.

— Но теперь-то, задним числом, неужели вы

не усматриваете в этом хотя бы легкой примеси комического?

Он слабо, словно против воли, улыбнулся.

— Пожалуй. Но я оказался в нелепейшем положении. Я не представлял себе, что будет дальше. Элли мне не нравилась, я считал ее очень неприятной женщиной.

— Но как вы могли их спутать?

— Темнота была — хоть глаз выколи. Она ничего не говорила, только шепотом велела мне молчать. Обе они были крупные, полные. Я думал, что фрау Беккер ко мне неравнодушна, а насчет Элли у меня этого и в мыслях не было. Та все вспоминала своего мужа. Я закурил и стал обдумывать свое положение, и чем дольше я его обдумывал, тем меньше оно мне нравилось. И я решил, что для меня самое милое дело — смыться.

Сколько раз я злился на Кости за то, что его так трудно будить. Когда мы работали в шахте, я, бывало, умучаюсь, пока его подниму, чтобы не опоздал к смене. Но теперь я только радовался, что он спит так крепко. Я засветил фонарь, оделся, в одну минуту покидал свои вещи в рюкзак, благо их было немного, и продел руки в лямки. По чердаку я прошел в одних носках, а башмаки надел, только когда спустился с лестницы. Ночь

была темная, безлунная, но дорогу я знал и свернул к деревне. Шел быстро, чтобы миновать ее, пока там все спят. До Цвингенберга было всего двенадцать миль, я дошагал туда, когда городок еще только просыпался. Никогда не забуду эту прогулку. Кругом ни звука, только мои шаги по дороге да изредка где-нибудь на ферме прокричит петух. Потом серый полумрак, еще не светло, но и не совсем темно, и первые проблески зари, и солнце всходит под пение птиц, и сочная зелень лугов и рощ, и пшеница, серебристо-золотая в прохладном свете раннего дня. В Цвингенберге я выпил чашку кофе с булочкой, потом зашел на почту и послал телеграмму в «Американ экспресс», чтобы мои книги и одежду переслали мне в Бонн.

— Почему в Бонн? — перебил я.

— А он мне понравился, когда мы останавливались там поблизости по дороге из Кёльна. Понравилось, как свет ложится на крыши и на Рейн, и узкие улицы, и виллы с садами, и проспекты, обсаженные каштанами, и университетские здания в стиле рококо. Я еще в тот раз подумал, что хорошо бы там когда-нибудь пожить. Но я решил, что в таком непрезентабельном виде являться туда не стоит. Я ведь выглядел настоящим

бродягой, и как на меня посмотрят, если я приду в пансион и спрошу комнату. Я уехал поездом во Франкфурт, там купил чемодан и кое-что из одежды. В Бонне я прожил с перерывами год.

— И что же, извлекли вы для себя что-нибудь из своей жизни на шахте и на ферме?

— Да, — сказал Ларри улыбаясь и кивнул головой.

Но уточнять он не стал, а я уже достаточно его знал и убедился, что если ему хочется о чем-то рассказать, он расскажет, а если не хочется — преспокойно отделается шуткой, и тогда настаивать бесполезно. Напомню читателю — все вышеизложенное я услышал от него через десять лет после того, как это случилось. До этой новой встречи я понятия не имел, где он и чем занят. Я даже не знал, жив он или умер. Если бы не общение с Эллиотом, который держал меня в курсе главных событий в жизни Изабеллы и тем самым напоминал о Ларри, я, несомненно, успел бы забыть о его существовании.

III

Изабелла вышла замуж за Грэя Мэтюрина в начале июня, через год после того как расстроилась ее помолвка с Ларри. Как ни жаль было Эллиоту

покидать Париж в разгар сезона, когда его ждали приглашения на столько светских сборищ, семейные чувства не позволили ему пренебречь тем, что он почитал своим долгом. Братья Изабеллы были связаны службой в далеких краях, а значит, ему надлежало совершить утомительное путешествие в Чикаго и быть у племянницы посаженым отцом. Памятуя о том, что французские аристократы шли на гильотину в своих самых пышных нарядах, он не поленился съездить в Лондон, чтобы обзавестись новой визиткой, двубортным жилетом серо-голубого оттенка, а также цилиндром. Вернувшись в Париж, он пригласил меня в гости и показался мне в полном параде. Его очень тревожило, что серая жемчужина, которую он обычно носил в галстуке, совсем теряется на фоне серого же галстука, выбранного им для этого торжественного случая. Я напомнил ему, что у него есть другая булавка — изумруд с бриллиантом.

— Будь я просто гостем — куда ни шло, — возразил он, — но для той роли, которая мне предназначена, жемчужина просто необходима.

Предстоящий брак соответствовал всем его понятиям о приличиях, он был очень доволен и говорил о нем тем елейным тоном, каким вдовствующая герцогиня могла бы изъясняться по

поводу союза между отпрыском рода Ларошфуко и дочерью маркиза Монморанси. В качестве осязаемого знака своего одобрения он вез с собой свадебный подарок — прекрасный портрет одной из французских принцесс королевской крови кисти Натье.

Генри Мэтюрин, как выяснилось, купил для молодых дом на Астор-стрит, в двух шагах от миссис Брэдли и недалеко от его собственного роскошного особняка на Набережной. По счастливой случайности, к которой, прости, Господи, сам Эллиот, возможно, приложил руку, в Чикаго как раз ко времени этой покупки оказался Грегори Брабазон, и внутренняя отделка дома была поручена ему. Когда Эллиот вернулся в Европу — прямо в Лондон, махнув рукой на остаток парижского сезона, — он привез с собой снимки новых интерьеров. Грегори Брабазон не пожалел трудов. В гостиной и столовой царил стиль Георга II, очень получилось величественно. Для библиотеки, долженствовавшей служить Грэю также кабинетом, он вдохновился некой комнатой во дворце Амалиенбург в Мюнхене, и, если не считать того, что в ней не осталось места для книг, получилось прелестно. Спальню для молодой американской четы он устроил такую, что

Людовик XV, зайдя навестить мадам де Помпадур, почувствовал бы себя здесь как дома, разве что удивился бы, зачем нужна вторая кровать; зато ванная комната Изабеллы его бы ошеломила: стены, потолок, ванна — все здесь было стеклянное, а по стенам серебряные рыбки резвились среди позолоченных водорослей.

— Дом, конечно, тесноват, — сказал Эллиот, — но на отделку, если верить Генри, ухлопано сто тысяч долларов. Для иных это целое состояние.

Бракосочетание совершилось со всей помпой, какую могла себе позволить епископальная церковь.

— Не то, разумеется, что венчание в Нотр-Дам, — пояснил он снисходительно, — но для протестантской церемонии совсем не плохо.

Пресса была на высоте — Эллиот небрежно перекинул мне через стол пачку газетных вырезок. Показал он мне и снимки: Изабелла, крепенькая, но очаровательная в подвенечном уборе, и Грэй, грузноватый, но очень эффектный, немного стесняющийся своего парадного костюма. Был там и групповой снимок — новобрачные с подружками невесты, и еще одна группа, где фигурировала миссис Брэдли, разодетая в пух и прах, и Эллиот, с неподражаемой грацией придерживающий

на коленях свой новый цилиндр. Я спросил, как здоровье миссис Брэдли.

— Она сильно убавила в весе, и цвет лица ее мне не нравится, но чувствует себя неплохо. Конечно, ей все это далось нелегко, но теперь зато сможет отдохнуть.

Через год Изабелла родила дочку и назвала ее, по последней моде, Джоун; а еще через два года произвела на свет вторую девочку, и той, опять же следуя моде, дала имя Присцилла.

Один из компаньонов Генри Мэтюрина умер, два других, не без нажима с его стороны, вскоре вышли из дела, так что он остался единственным главою фирмы, которой и всегда-то управлял самовластно. Тогда он осуществил свою давнишнюю мечту — взял в компаньоны Грэя. Дела фирмы шли блестяще.

— Они с каждым днем богатеют, милейший, — сказал мне Эллиот, — Грэй в двадцать пять лет зарабатывает пятьдесят тысяч в год, а это еще только начало. Ресурсы Америки неисчерпаемы. То, что мы сейчас наблюдаем, — не бум, а естественное развитие великой страны.

Грудь его так и распирало от наплыва несвойственных ему патриотических чувств.

— Генри Мэтюрин не вечен, у него высокое

кровяное давление. Грэй к сорока годам будет стоить миллионов тридцать. Это грандиозно, милейший, грандиозно.

Годы шли, Эллиот регулярно переписывался с сестрой и время от времени сообщал мне, о чем она пишет. Грэй и Изабелла очень счастливы, малютки — прелесть. Образ жизни они ведут, на взгляд Эллиота, именно такой, как нужно; гостей принимают по-царски, и друзья так же по-царски принимают их; он даже с удовольствием поведал мне, что за три месяца Изабелла и Грэй ни разу не пообедали вдвоем. Этот вихрь веселья прервала смерть миссис Мэтюрин — той бесцветной, но родовитой особы, на которой Генри Мэтюрин женился, когда еще только завоевывал себе место в Чикаго, куда его отец пришел неотесанным деревенским парнем искать счастья. Из уважения к ее памяти сын и невестка целый год не приглашали к обеду больше шести гостей зараз.

— Я всегда считал, что восемь — идеальное количество, — сказал мне Эллиот, придерживаясь своего правила во всем находить хорошую сторону. — Не слишком много для общего разговора и достаточно, чтобы создать впечатление званого вечера.

Грэй ничего не жалел для жены. На рождение

первого ребенка он подарил ей кольцо с огромным брильянтом, на рождение второго — соболье манто. Дела не позволяли ему надолго отлучаться из Чикаго, но когда у него выдавались свободные дни, они всей семьей проводили их в Марвине, в огромном доме Генри Мэтюрина. Генри обожал сына, ни в чем ему не отказывал и однажды подарил к Рождеству усадьбу в Южной Каролине, чтобы было куда съездить на две недели пострелять уток.

— Наших королей коммерции вполне можно приравнять к тем меценатам времен итальянского Возрождения, которые наживали свои богатства торговлей. Например, Медичи. Два французских короля не погнушались взять в жены девиц из этого прославленного рода, и, помяните мое слово, недалек тот час, когда европейские монархи будут домогаться руки той или иной принцессы долларов. Как это сказал Шелли? «Снова славные дни наступают. Возвращается век золотой».

Генри Мэтюрин много лет указывал миссис Брэдли и Эллиоту, как лучше распоряжаться деньгами, и они имели все основания верить в его прозорливость. Он не поощрял спекуляций и помещал их деньги в самые солидные ценные

бумаги; однако с ростом курса акций их сравнительно скромные состояния тоже росли, что и поражало их, и радовало. Эллиот как-то сказал мне, что, не ударив для этого палец о палец, он оказался в 1926 году почти вдвое богаче, чем был в 1918-м. Ему минуло шестьдесят пять лет, он поседел, на лице пролегли морщины, под глазами появились мешки, но держался он молодцом. Он всегда был воздержан в своих привычках, всегда следил за своей внешностью и не намерен был смиряться перед жестокостью времени, пока мог одеваться у лучшего лондонского портного, пока его подстригал и брил всегда один и тот же проверенный парикмахер и каждое утро к нему являлся массажист, пекущийся о сохранности его стройной фигуры. Он давно забыл, что некогда унизился до такого недостойного занятия, как купля-продажа, и, хотя не говорил этого прямо, ибо у него хватало ума воздерживаться от лжи, в которой его могли уличить, не прочь был туманно намекнуть, что провел молодые годы на дипломатической службе. Должен сказать, что доведись мне когда-нибудь писать портрет посла великой державы, я не задумываясь стал бы писать его с Эллиота.

Но время не стоит на месте. Знатные дамы, с

чьей помощью Эллиот начинал свою карьеру, либо умерли, либо совсем одряхлели. Многие английские аристократки, овдовев, вынуждены были передать родовые поместья невесткам и перебраться на виллу в Челтнеме либо в скромный особняк близ Риджентс-парка. Стаффорд-Хаус обращен в музей, Керзон-Хаус сдан в аренду какому-то учреждению, Девоншир-Хаус продается. Яхта, на которую Эллиота годами приглашали во время регаты, перешла в другие руки. Новые герои светских подмостков не нуждались в постаревшем Эллиоте. Он казался им скучным и нелепым. Они еще принимали его приглашения на изысканные завтраки в отеле «Кларидж», но от него не укрывалось, что приезжают они не столько к нему, сколько чтобы повидать друг друга. Его письменный стол уже не был завален пригласительными карточками — только выбирай, и часто, слишком часто, втайне моля Бога, чтобы никто не узнал о таком его унижении, он теперь обедал один в своем номере «люкс». Знатные англичанки, перед которыми двери в высшее общество оказываются закрыты в результате какой-нибудь скандальной истории, начинают интересоваться искусством и окружают себя художниками, писателями, музыкантами. Эллиоту

гордость не позволяла так себя унижать.

— Налог на наследство и спекулянты, нажившиеся на войне, подорвали основы английского общества, — говорил он мне. — Люди готовы знаться с кем попало. В Лондоне есть еще хорошие портные, сапожники и шляпочники, но в остальном — Лондона больше нет. Известно ли вам, мой милый, что у Сент-Эртов за столом прислуживают не лакеи, а горничные?

Сообщил он мне это, когда мы пешком возвращались с одного званого завтрака, во время которого произошел очень неловкий инцидент. Наш высокородный хозяин обладал прекрасной коллекцией картин, и один из гостей, молодой американец по имени Пол Бартон, выразил желание их посмотреть.

— У вас, кажется, есть Тициан?

— Был когда-то. Теперь он в Америке. Какой-то иудей предложил нам за него кучу денег, а у нас в то время с деньгами было туго, вот мой родитель его и продал.

Я заметил, что Эллиот, весь ощетинившись, бросил на веселого маркиза испепеляющий взгляд, и догадался, что картину купил он. И так посмели обозвать его, уроженца Виргинии, потомка одного из героев, подписавших Декларацию

независимости! Никогда еще он не подвергался такому оскорблению. Мало того, Пола Бартона он люто ненавидел. Этот молодой человек появился в Лондоне вскоре после войны. Двадцать три года, блондин, очень красивый, обаятельный, прекрасный танцор и к тому же богатый. Он явился к Эллиоту с рекомендательным письмом, и тот, по доброте сердечной, представил его кое-кому из своих друзей, да еще преподал ему несколько ценных советов относительно того, как ему себя вести. Опираясь на собственный опыт, он объяснил, сколь полезно чужаку, жаждущему войти в хорошее общество, оказывать мелкие услуги старым дамам и терпеливо выслушивать рассуждения именитых господ, даже самые скучные.

Но мир, в который вступал Пол Бартон, был уже не тот, в который Эллиот Темплтон на целое поколение раньше проник ценой таких упорных усилий. Это был мир, одержимый одним желанием — развлекаться. Пол Бартон благодаря своему живому, общительному нраву и приятной наружности в несколько недель добился того, на что Эллиоту потребовалось много лет неустанных стараний. Вскоре помощь Эллиота стала ему не нужна, и он не пытался это скрывать. При встречах он бывал с ним любезен, но в манере его

сквозила обидная фамильярность. Эллиот приглашал людей в гости не потому, что любил их, а потому, что они умели оживить застольную беседу, и, поскольку Пол Бартон пользовался успехом, продолжал время от времени приглашать его на свои завтраки; но обычно молодой человек оказывался занят, а два раза подвел Эллиота, лишь в самую последнюю минуту предупредив, что не будет. В прошлом Эллиот и сам частенько так поступал и знал, чем это объяснить: не иначе как он только что получил более соблазнительное приглашение.

— Вы можете мне не верить, — бушевал он в тот злосчастный день, — но даю вам слово, он теперь обращается со мной свысока. Со мной! «Тициан, Тициан!» — передразнил он. — Да покажи ему Тициана, он и не поймет, что это такое.

Никогда еще я не видел Эллиота таким разъяренным, и я угадал причину его гнева: он вообразил, что Пол Бартон спросил про Тициана нарочно, пронюхав каким-то образом, что картина была куплена Эллиотом, и теперь превратит ответ благородного лорда в пошлый, порочащий его анекдот.

— Ничтожество он, жалкий сноб, а что может быть на свете отвратительнее снобизма. Только

благодаря мне его вообще принимают в порядочных домах. Чем его отец занимается, вы знаете? Торгует канцелярской мебелью. Канцелярской мебелью. — Он вложил в эти слова убийственный сарказм. — Говоришь людям, что в Америке он ноль и происхождения самого низкого, а им хоть бы что, даже не удивляются. Нет, милейший, на английском обществе пора поставить крест.

И во Франции, на взгляд Эллиота, дело обстояло не лучше. Там знатные дамы его молодости — те, что еще не умерли, — посвящали свои дни бриджу (Эллиот эту игру терпеть не мог), церкви и заботам о внуках. В чинных особняках аристократии обитали фабриканты, аргентинцы, чилийцы, разведенные или разъехавшиеся с мужьями американки, и все они устраивали богатые приемы, но на этих приемах Эллиот, к великому своему смущению, встречал политических деятелей, говоривших по-французски с вульгарным акцентом, журналистов, не умевших держать себя за столом, и даже актеров. Отпрыски титулованных семейств не гнушались жениться на дочерях лавочников. Париж, правда, веселился, но какое убогое это было веселье! Молодежь в безрассудной погоне за удовольствиями не находила ничего более интересного, чем шататься по тес-

ным, душным ночным клубам, пить шампанское за сто франков бутылка и танцевать до пяти часов утра бок о бок с городскими подонками. От дыма, шума и духоты у Эллиота сразу разбаливалась голова. Да, это был не тот Париж, где он тридцать лет назад обрел духовную родину. Не тот Париж, куда души праведных американцев переселяются после смерти.

IV

Но у Эллиота был тонкий нюх. Внутренний голос подсказывал ему, что скоро, скоро прибежищем знати и высшего общества снова станет Ривьера. Он хорошо знал этот кусок побережья, так как не раз проводил по нескольку дней в Монте-Карло, в отеле «Париж», по дороге из Рима, куда его время от времени призывали обязанности папского камергера, или в Каннах, на вилле у кого-нибудь из своих друзей. Но то бывало зимой, теперь же до него доходили слухи, что становится модным проводить на Ривьере и лето. Большие отели не закрывались круглый год, их постояльцы упоминались в светской хронике парижских газет, и Эллиот с одобрением читал там знакомые имена.

— «От суетного света я бегу», — процитировал

он однажды. — Я достиг того возраста, когда человеку пристало насладиться красотами природы.

Слова эти могут показаться загадочными. Но нет, Эллиот всегда воспринимал природу как помеху в жизни хорошего общества и просто отказывался понимать, как люди могут куда-то ехать, чтобы увидеть озеро или гору, когда у них перед глазами есть комод эпохи Регентства или картина Ватто. Но теперь у него неожиданно оказалась в руках изрядная сумма денег. Дело в том, что Генри Мэтюрин, подстрекаемый сыном и не в силах больше смотреть со стороны, как его знакомые биржевики за одни сутки наживают состояния, перестал наконец противиться силе событий и, отбросив свою всегдашнюю осторожность, включился в общий ажиотаж. Он написал Эллиоту, что к рискованным спекуляциям относится, как и раньше, отрицательно, но сейчас это не риск, это подтверждение его веры в неисчерпаемые возможности родной страны. Его оптимизм зиждется на здравом смысле. Ничто не может приостановить бурное развитие Америки. Закончил он письмо сообщением, что недавно купил известное количество солидных акций для нашей милой Луизы Брэдли и рад известить Эллиота, что они принесли ей двадцать тысяч

долларов. Если Эллиот не прочь кое-что заработать и даст ему свободу действий, он об этом не пожалеет. Эллиот, питавший пристрастие к избитым цитатам, ответил, что способен устоять против чего угодно, кроме искушения, и с этого дня, получая вместе с утренним завтраком газету, стал первым делом просматривать не светскую хронику, а биржевые сводки. Операции, которые Генри Мэтюрин провел для него, оказались такими удачными, что у Эллиота очистилась кругленькая сумма в пятьдесят тысяч долларов, доставшаяся ему как бы в подарок.

Он решил истратить эту сумму и купить дом на Ривьере. Бежать от суетного света он собирался в Антиб, расположенный как раз между Каннами и Монте-Карло и связанный удобным сообщением с обоими этими пунктами; но всемогущее ли провидение или собственный безошибочный инстинкт заставил его остановить свой выбор именно на том городке, которому предстояло в скором времени стать средоточием фешенебельной жизни, — это навек останется тайной. Жить на вилле казалось ему по-мещански вульгарным, претило его взыскательному вкусу, поэтому он купил в старом городе два дома, соединил их в один и завел там центральное отопление, ванные и

прочие санитарные удобства, на которые, следуя примеру американцев, стали со скрипом раскошеливаться и по сю сторону океана. В ту пору многие увлекались мореным деревом, и Эллиот обставил свой дом старинной провансальской мебелью, безусловно мореной, но обитой, в угоду современным веяниям, новомодными тканями. Он еще не готов был признать Пикассо и Брака («Это ужас, мой милый, просто ужас!»), с которыми так носились иные ослепленные энтузиасты, но почувствовал, что может наконец-то открыто оказать покровительство импрессионистам, и развесил по стенам несколько превосходных полотен. Мне запомнился его Моне — прогулка в лодке, его Писсарро — кусок набережной и мост через Сену, таитянский пейзаж Гогена и прелестный Ренуар — девушка в профиль, с желтыми волосами, спадающими на спину. Во всей обстановке дома было что-то свежее, веселое, нестандартное и простое — та самая простота, которая, как известно, стоит недешево.

И тут началась самая блестящая полоса в жизни Эллиота. Он привез из Парижа своего первоклассного повара, и кухня его скоро прославилась на всю Ривьеру. Дворецкого и лакея одел в белые костюмы с золотыми погонами. Приемы устра-

ивал со всей роскошью, какую только допускал хороший вкус. Берега Средиземного моря кишмя кишели членами королевских фамилий со всех концов Европы: одних привлек туда климат, другие были в изгнании, третьи считали для себя удобнее жить за границей из-за грехов молодости или предосудительного брака. Здесь были Романовы из России, Габсбурги из Австрии, Бурбоны из Испании, обеих Сицилий и Пармы; были принцы Виндзорского дома и принцы дома Браганса; были королевские высочества из Швеции и из Греции. Эллиот приглашал их в гости. Были там также принцы и принцессы некоролевской крови, всего лишь герцоги и герцогини, князья и княгини из Австрии, Италии, Испании, России и Бельгии. Эллиот приглашал их в гости. Зимой на Ривьеру приезжали король Швеции и король Дании, заглядывал ненадолго Альфонсо Испанский. Их Эллиот тоже приглашал в гости. Я не уставал восхищаться тем, как он, склоняясь в почтительных поклонах перед этими высокими особами, умудрялся сохранять независимую позу гражданина свободной страны, где все, как сказано, рождаются равными.

В то время я, проведя несколько лет в путешествиях, купил дом на Кап-Ферра, так что с

Эллиотом мы виделись часто. Я настолько вырос в его глазах, что иногда он приглашал меня на свои самые парадные вечера.

— Приезжайте, мой милый, сделайте мне одолжение, — говорил он в таких случаях. — Я, конечно, не хуже вашего знаю, что члены царствующих фамилий — скучнейший народ. Но другие люди любят с ними встречаться, и как-никак наш долг оказывать внимание этим несчастным. Впрочем, видит Бог, они этого не заслуживают. Благодарности от них не дождешься, они вас используют, а когда вы им больше не нужны — выбрасывают, как обтрепавшуюся рубашку; принимают от вас бесчисленные услуги, но сами и не подумают чем-то вам услужить.

Эллиот позаботился о том, чтобы установить хорошие отношения с местными властями, и за столом у него можно было встретить и префекта округа, и епископа епархии в сопровождении его старшего викария. Епископ, прежде чем принять духовный сан, был кавалерийским офицером, на войне командовал полком. Это был румяный, коренастый мужчина, охотно прибегавший к грубоватому казарменному жаргону, и его бледнолицый, аскетического вида викарий вечно сидел как на иголках, ожидая, что он вот-вот

сболтнет что-нибудь непристойное. Когда тот рассказывал свои любимые анекдоты, он слушал с виноватой улыбкой на губах. Но епархией своей епископ управлял весьма толково, и проповеди его были столь же красноречивы и возвышенны, сколь забавны были застольные шутки. Он одобрял Эллиота за благочестивую щедрость, которую тот проявлял к церкви, ценил его любезность и умение вкусно накормить, так что они стали добрыми друзьями. Таким образом Эллиот мог льстить себя мыслью, что он не без приятности обеспечивает себе блаженство за гробом, и, если дозволено мне так выразиться, нашел вполне приемлемый компромисс между Богом и мамоной.

Эллиоту очень хотелось показать свой новый дом сестре; он всегда чувствовал, что она одобряет его не безоговорочно, так пусть убедится своими глазами, какой изящный образ жизни он теперь ведет и какими обзавелся друзьями. Это положит конец ее неуверенности. Она будет вынуждена признать, что он преуспел. Он написал ей, приглашая приехать вместе с Изабеллой и Гр-эем и остановиться — не у него, поскольку в доме нет места, но в качестве его гостей в ближайшем отеле. Миссис Брэдли ответила, что для нее время

дальних путешествий миновало, со здоровьем у нее неважно и лучше ей сидеть дома; к тому же и Грэй крепко привязан к Чикаго: в делах небывалое оживление, он наживает много денег, и ему нельзя отлучаться. Эллиот любил сестру, это письмо его встревожило. Он написал Изабелле. Та ответила по телеграфу, что хотя мать ее далеко не здорова, один день в неделю даже проводит в постели, но непосредственной опасности нет, при надлежащем уходе она может прожить еще долго; а вот Грэю необходимо отдохнуть, ничто не мешает ему взять отпуск, ведь за делами может пока присмотреть его отец; так что этим летом — нет, но будущим они обязательно приедут.

А 23 октября 1929 года началась паника на Нью-Йоркской бирже.

V

Я в то время был в Лондоне и хорошо помню, что мы в Англии далеко не сразу поняли, до чего положение серьезно и какими оно чревато последствиями. Сам я, естественно, был огорчен, потеряв порядочную сумму, но потерял я в основном на акциях и, когда пыль осела, убедился, что мой наличный капитал почти весь уцелел. Я знал, что Эллиот в последние годы пустился в

спекуляции, и подозревал, что его как следует стукнуло, но увиделись мы только на Рождество, когда оба вернулись на Ривьеру. Тогда он сообщил мне, что Генри Мэтюрин умер, а Грэй разорен.

Я плохо разбираюсь в финансовых вопросах и вполне допускаю, что в моем изложении его рассказ покажется невразумительным. Насколько я мог понять, в крушении фирмы оказалось повинно и своеволие Генри Мэтюрина, и опрометчивость Грэя. Генри Мэтюрин сперва не поверил, что биржевой крах — не шутка; он убедил себя, что это происки нью-йоркских биржевиков, задумавших околпачить провинциальных собратьев, и, стиснув зубы, стал пригоршнями швырять деньги, чтобы поддержать курс акций. Он осыпал проклятиями чикагских маклеров, которые дали этим нью-йоркским мерзавцам себя запугать. Он всегда кичился тем, что ни один из его мелких клиентов, будь то вдова, живущая на крошечное наследство, или офицер в отставке, не потерял ни цента, следуя его советам, и теперь, вместо того чтобы предоставить им нести убытки, восполнял эти убытки из собственного кармана. Он говорил, что готов обанкротиться, что новое состояние он всегда сумеет нажить, но если маленькие люди, доверившиеся ему, потеряют все,

что имели, он будет навеки опозорен. Он мнил себя великодушным, а был всего-навсего тщеславен. Его огромное состояние растаяло, и однажды ночью с ним случился сердечный приступ. Ему шел седьмой десяток, всю жизнь он и работал, и развлекался, не жалея сил, переедал и пил без меры; промучившись несколько часов, он умер от закупорки сердечной артерии.

Грэю пришлось справляться с положением одному. Он перед тем много спекулировал на стороне, без ведома отца, и свои личные дела запутал окончательно. Пробовал выпутаться, но безуспешно. Банки отказали ему в ссудах, более опытные биржевики твердили, что единственный выход для него — объявить себя неплатежеспособным. Дальнейшее мне не ясно. Он не смог покрыть свои обязательства и был, сколько я понимаю, объявлен банкротом; свой дом он успел заложить и рад был передать его кредиторам по закладной; отцовские дома, и чикагский, и второй, в Марвине, были проданы за бесценок; Изабелла продала свои драгоценности; осталась у них только усадьба в Новой Каролине, в свое время приобретенная на имя Изабеллы, — на нее не нашлось покупателей. Грэй пошел ко дну.

— А вы-то как, Эллиот? — спросил я.

— О, я не жалуюсь, — отвечал он небрежно. — Для стриженой овцы Бог умеряет ветер.

Я не стал его расспрашивать — его финансовые дела меня не касались, — но пребывал в уверенности, что он, как и все мы, в той или иной мере пострадал.

На Ривьере кризис поначалу отразился слабо. Правда, я узнал, что кое-кто понес большие потери, многие виллы остались на зиму закрыты, для нескольких других искали покупателя. В отелях множество номеров пустовало, казино в Монте-Карло сетовало, что сезон выдался не из лучших. Но по-настоящему гром грянул лишь два года спустя. Тут один агент по продаже недвижимости рассказал мне, что на отрезке берега от Тулона до итальянской границы продается 48 000 земельных участков, больших и малых. Акции казино резко упали. Крупные отели снизили цены в тщетной надежде привлечь публику. Из иностранцев остались только потомственные бедняки, которым дальше беднеть было некуда, а они денег не тратили, им просто нечего было тратить. Владельцы магазинов рвали на себе волосы. Однако Эллиот не сократил свой штат прислуги и, в отличие от многих, не уменьшил ей жалованья; как и раньше, для титулованных

гостей у него находились отборные яства и вина. Он купил себе роскошный новый автомобиль — выписал его из Америки, заплатив большую пошлину. Он щедро жертвовал на организованное епископом бесплатное питание для семей безработных. Словом, он жил так, будто кризиса и не было, будто половина населения земного шара не ощущала его последствий.

Причину этого я узнал случайно. Эллиот в эту пору перестал приезжать в Англию, только раз в год наведывался на две недели обновить гардероб, но в свою парижскую квартиру по-прежнему переселялся на три осенних месяца, а также на май и июнь, поскольку на это время его друзья покидали Ривьеру; сам он больше всего любил Ривьеру летом — отчасти из-за купанья, но главным образом, думается, потому, что жаркая погода оправдывала некоторую вольность в одежде, которой он обычно не позволял себе из чувства приличия. А тут он щеголял в ярчайших брюках — красных, зеленых, синих, желтых, подбирая к ним пуловеры контрастирующих тонов — палевые, сиреневые, терракотовые или в пестрый рисунок; а комплименты, на которые напрашивались эти наряды, принимал со стыдливой грацией актрисы, когда ее уверяют, что

новую роль она сыграла божественно.

Весной, возвращаясь в Кап-Ферра, я провел день в Париже и пригласил Эллиота позавтракать. Мы встретились в баре отеля «Ритц», уже не переполненном, как бывало, веселящимися студентами из Америки, а всеми покинутом, как драматург после премьеры провалившейся пьесы. Мы выпили по коктейлю — Эллиот наконец примирился с этим заокеанским обычаем — и заказали завтрак. А позавтракав, он предложил мне пройтись по антикварным лавкам, и я, хотя сам не имел свободных денег, с радостью вызвался его сопровождать. Мы перешли Вандомскую площадь, и тут он, извинившись, попросил меня заглянуть с ним на минутку к Шерве — он там заказал кое-что из белья и хочет узнать, готов ли заказ. Речь шла о нижних сорочках и кальсонах, на которых должны были вышить его монограмму Сорочки еще не поступили из мастерской, кальсоны же приказчик мог показать хоть сейчас.

— Покажите, — сказал Эллиот и, когда приказчик вышел, добавил: — Мне их здесь шьют по моей особой выкройке.

Их принесли, они были шелковые, но в остальном показались мне точно такими же, как те, что я часто покупал у Мейси, но вдруг мне бросилось

в глаза, что над переплетенными буквами Э. и Т. вышита изящная корона. Я не сказал ни слова.

— Очень мило, очень мило, — сказал Эллиот. — Ну что ж, когда сорочки будут готовы, пришлете все вместе.

Мы вышли из магазина, и Эллиот сказал мне с улыбкой:

— Корону заметили? Сказать по правде, я и забыл о ней, когда звал вас зайти со мной к Шерве. Я, кажется, еще не говорил вам, что его святейшество милостиво соизволил восстановить ради меня наш старый семейный титул.

— Чего?! — переспросил я, от удивления забыв о вежливости.

Эллиот неодобрительно вздернул брови.

— Вы разве не знали? Ведь я по женской линии происхожу от графа Лаурия, который прибыл в Англию в свите Филиппа Второго и женился на фрейлине королевы Марии.

— Нашей старой приятельницы Марии Кровавой?

— Да, так, помнится, ее прозвали еретики, — сухо ответил Эллиот. — Я, кажется, не рассказывал вам, что сентябрь тысяча девятьсот двадцать девятого года провел в Риме. Ехал туда с неохотой, ведь в это время из Рима все разъезжаются, но,

на мое счастье, чувство долга перевесило во мне жажду мирских развлечений. Друзья в Ватикане предупредили меня, что биржевой крах — дело ближайшего будущего, и советовали продать все мои американские бумаги. У католической церкви за плечами мудрость двадцати веков, так что я ни минуты не колебался. Я телеграфировал Генри Мэтюрину, чтобы он продал все и купил золото, и Луизе телеграфировал, чтобы тоже так распорядилась. Генри в ответной телеграмме спросил, в своем ли я уме, и отказался действовать до подтверждения моих инструкций. Я тут же категорически предложил ему выполнить их и сообщить об исполнении. Бедная Луиза моего совета не послушалась и поплатилась за это.

— Значит, когда катастрофа разразилась, вы себе и в ус не дули?

— Не знаю, зачем вам понадобилось употребить это вульгарное выражение, но смысл происшедшего оно передает довольно точно. Я ничего не потерял; мало того, сорвал, как вы бы, вероятно, выразились, изрядный куш. Через некоторое время мне удалось купить такие же акции снова, за малую долю их прежней стоимости, и, поскольку я всем этим был обязан прямому вмешательству провидения, иначе не скажешь, я решил, что

простая справедливость требует, чтобы я со своей стороны оказал провидению услугу.

— Да? И что же вы предприняли?

— Вам, конечно, известно, что дуче осушает и заселяет большие земельные площади в Понтийских болотах, а мне дали понять, что его святейшество сильно озабочен отсутствием Божьих храмов для людей, обживающих эти земли. Короче говоря, я построил небольшую церковь в романском стиле, точную копию одной церкви, которую видел в Провансе, скажу не хвастаясь — настоящую игрушечку. Освящена она во имя святого Мартина, потому что мне посчастливилось разыскать старинный витраж с изображением святого Мартина, разрезающего свой плащ, чтобы отдать половину нагому нищему, и, поскольку символ оказался так уместен, я купил этот витраж и поместил над алтарем.

Я не стал перебивать Эллиота вопросом, какую связь он усматривает между знаменитым поступком святого и барышом, который он, Эллиот, получил, вовремя спустив свои акции, а теперь отдал Всевышнему, как комиссию посреднику. Но я — человек прозаический, и символика часто от меня ускользает. А Эллиот продолжал:

— Когда я удостоился чести показать фотогра-

фии святому отцу, он соблаговолил сказать мне, что в них с первого взгляда можно распознать безупречный вкус, и добавил несколько слов о том, как отрадно ему в наш развращенный век встретить человека, в котором благочестие сочеталось бы с редкой художественной одаренностью. То было памятное переживание, мой милый, памятное переживание. Но каково же было мое удивление, когда вскоре после этого мне стало известно, что он удостоил меня титула. Как американский гражданин, я из скромности им не пользуюсь, кроме как в Ватикане, разумеется. Моему Жозефу я запретил величать меня monsieur le comte[158], и вы, надеюсь, сохраните мою тайну. Но я бы не хотел, чтобы его святейшество подумал, будто я не ценю оказанной мне почести, и исключительно из уважения к нему заказываю метки с короной на моем личном белье. Могу добавить, что я испытываю скромную гордость, скрывая свой титул под строгим костюмом джентльмена-американца.

Мы расстались. Эллиот сказал, что переберется на Ривьеру в конце июня. Но случилось иначе. Он уже подготовил переезд своей челяди, сам

---

[158] Примечания: 158
Господин граф (*фр.*).

намереваясь не спеша следовать из Парижа в автомобиле с тем расчетом, чтобы к его приезду жизнь в доме была налажена, как вдруг пришла телеграмма от Изабеллы, извещавшая, что здоровье ее матери резко ухудшилось. Эллиот, движимый любовью к сестре и сознанием родственного долга, сел в Шербуре на первый же пароход и из Нью-Йорка примчался в Чикаго. Он сообщил мне письмом, что миссис Брэдли очень плоха, исхудала до неузнаваемости. Протянуть она может еще несколько недель, а возможно, и месяцев, но так или иначе он считает своей печальной обязанностью остаться с ней до конца. Он писал, что переносить чикагскую жару не так уж трудно, гораздо мучительнее отсутствие подходящего общества, но, впрочем, сейчас у него ни к чему не лежит душа. Соотечественники разочаровали его тем, как поддались воздействию кризиса, — он ожидал, что в несчастье они проявят больше самообладания. Зная, что на свете нет ничего легче, чем стойко сносить чужие невзгоды, я подумал, что Эллиоту, который сейчас богаче, чем когда-либо, такая строгость не к лицу. В конце письма он просил меня кое-что передать кое-кому из его друзей и главное — непременно объяснить всем, кого встречу, почему его дом

остался на лето закрытым.

Спустя примерно месяц я получил от него еще одно письмо, на этот раз с известием, что миссис Брэдли скончалась. Письмо дышало искренним чувством. Я бы не подумал, что он способен изъясняться с таким достоинством, так прочувствованно и просто, если бы уже давно не убедился, что, несмотря на свой снобизм и нелепое жеманство, человек он добрый, благожелательный и порядочный. Он писал, что финансовые дела миссис Брэдли немного запутаны. Ее старший сын, дипломат, замещал сейчас в Токио посла и не смог оставить свой пост. Второй сын, Темплтон, в пору моего первого знакомства с семейством Брэдли служивший на Филиппинах, был затем отозван в Вашингтон и занимал ответственную должность в государственном департаменте. Когда состояние матери было признано безнадежным, он приезжал с женой в Чикаго, но сразу после похорон возвратился в столицу. А раз так, Эллиот не считал себя вправе уехать из Америки до того, как все будет улажено. Миссис Брэдли завещала свое состояние поровну троим детям, но в связи с биржевым крахом 29-го года понесла большие убытки. К счастью, нашелся покупатель на ферму в Марвине, которую Эллиот в письме

назвал «поместьем нашей бедной Луизы».

«Расставаться с родовым гнездом всегда грустно, — писал он, — но за последние годы столько моих друзей в Англии были к этому вынуждены, что я надеюсь, Изабелла и мои племянники смирятся с неизбежным столь же покорно и мужественно. Noblesse oblige»[159].

Продажа чикагского дома миссис Брэдли тоже совершилась беспрепятственно. Городские власти уже давно намечали снести ряд особняков, один из которых принадлежал ей, и построить на их месте громадный квартирный дом; привести этот план в исполнение мешала только упорная решимость миссис Брэдли умереть там, где жила. Стоило ей испустить дух, как явились подрядчики с предложением, которое наследники и поспешили принять. Но и при этом доход у Изабеллы остался ничтожный.

Грэй после краха пробовал получить работу, хотя бы место клерка у одного из маклеров, сумевших удержаться на поверхности, но в делах наступил застой, работники не требовались. Он просил старых знакомых пристроить его на любую, пусть самую скромную и низкооплачи-

---

[159] Примечания: 159
Высокое положение обязывает (*фр.*).

ваемую должность, но безуспешно. Отчаянные попытки предотвратить катастрофу, неотпускающая тревога, унижение — все это привело к нервному срыву, у него начались головные боли, такие сильные, что порой он на сутки выбывал из строя, а потом еще долго чувствовал себя как выжатый лимон. Изабелле подумалось, что лучше всего им сейчас уехать с детьми в усадьбу в Южной Каролине и пожить там, пока Грэй не поправится. Тамошняя земля, когда-то приносившая сто тысяч долларов в год как рисовая плантация, уже давно захирела, превратившись в болота и заросли, способные привлечь только утиной охотой, и покупать ее никто не желал. Там они и жили с тех пор, как Грэй разорился, и туда собирались вернуться и ждать, когда положение улучшится и Грэй сможет найти работу.

«Этого я не мог допустить, — писал Эллиот. — Дорогой мой, они там живут как свиньи. Изабелла без горничной, у детей нет гувернантки, две чернокожие няньки, и больше никакой прислуги. Я предложил им мою парижскую квартиру — пусть поживут там, пока ситуация в этой фантастической стране не изменится. Прислугой я их обеспечу — кстати сказать, моя младшая кухарка отлично готовит, я ее оставлю в Париже, а себе с

легкостью найду кого-нибудь на ее место. Счета буду оплачивать сам, чтобы свой небольшой доход Изабелла могла тратить на туалеты и на мелкие семейные удовольствия. Это, разумеется, означает, что я буду проводить гораздо больше времени на Ривьере, так что и с Вами, милейший, рассчитываю видеться чаще прежнего. При том, во что превратились Лондон и Париж, я на Ривьере и чувствую себя уютнее. Только здесь я еще могу общаться с людьми, с которыми нахожу общий язык. Я, вероятно, буду изредка наезжать в Париж, но эти дни вполне могу перебиться и в «Ритце». Рад сообщить, что наконец уговорил Изабеллу и Грэя принять мое предложение, и, как только здесь все будет закончено, мы приедем все вместе. Продажа мебели и картин (весьма, кстати сказать, посредственных и едва ли даже это подлинники) состоится через две недели, а пока что я перевез Изабеллу с семейством к себе в отель «Дрейк» — им, наверно, тяжело было бы оставаться в старом доме до последней минуты. В Париже посмотрю, как они водворятся, и приеду на Ривьеру. Не забудьте поклониться от меня Вашему коронованному соседу».

Кто усомнится в том, что Эллиот, этот архисноб, был в то же время добрейшим и великодушней-

шим из смертных?

Глава четвертая

I

Итак, Эллиот, водворив Мэтюринов в своей просторной квартире на Левом берегу, в конце года возвратился на Ривьеру. Свой дом он спланировал в расчете на собственные требования, в нем не было места для семьи из четырех человек, так что он, если б и захотел, не мог бы поселить их у себя. Не думаю, чтобы это его огорчало. Он отлично понимал, что как одинокий холостяк ценится выше, чем если бы всюду появлялся в сопровождении племянницы и племянника, и что устраивать изысканные вечера для избранных (которые он всякий раз тщательно обдумывал заранее) ему было бы несравненно труднее, если бы нужно было принимать в расчет двух постоянных обитателей дома.

«Нет, для них будет куда лучше обосноваться в Париже и привыкать к цивилизованной жизни. Да и девочкам пора учиться, мне уже рекомендовали одну школу, привилегированную и близко от моего дома».

Таким образом, с Изабеллой я увиделся только

весной, когда приехал на несколько недель в Париж в связи с одной своей работой и снял номер в гостинице в двух шагах от Вандомской площади. Гостиницу эту я ценил не только за удобное местоположение, но и за ее особенную атмосферу. Это было обширное старое здание с внутренним двором, уже лет двести назад служившее харчевней. Ванные там были отнюдь не роскошные и уборные оставляли желать лучшего, спальни с железными, покрашенными в белый цвет кроватями, старомодными белыми покрывалами и огромными зеркальными шкафами выглядели небогато; но гостиные были обставлены прекрасной старинной мебелью. В моей гостиной диван и кресла, наследие мишурного царствования Наполеона III, хоть и не очень удобные, обладали некой цветистой прелестью. В этой комнате я окунался в эпоху прославленных французских писателей. Глядя на ампирные часы под стеклянным колпаком, я представлял себе, как прелестная женщина в локонах и оборках следит за минутной стрелкой, поджидая Растиньяка, дворянина-авантюриста, чей жизненный путь от его скромного начала до конечного триумфа Бальзак живописал из романа в роман. Легко было вообразить, что доктор Бьяншон, ставший для

своего создателя столь реальной фигурой, что, умирая, Бальзак сказал: «Только Бьяншон мог бы мне помочь», — что именно здесь этот врач щупал пульс и осматривал язык знатной старухи, которая приехала из провинции повидаться со стряпчим по поводу своей тяжбы и, прихворнув, велела привести ей лекаря. А за этим секретером изнывающая от любви красавица в кринолине, возможно, писала страстное письмо неверному любовнику или желчный старик в зеленом сюртуке и воротнике, подпирающем уши, строчил гневный разнос транжире сыну.

На следующий день по приезде я позвонил Изабелле и спросил, угостит ли она меня чаем, если я зайду к ней в пять часов. Когда степенный дворецкий провел меня в гостиную, она сидела на диване с французской книгой, но тут же встала и с теплой очаровательной улыбкой обеими руками пожала мне руки. До этого я разговаривал с ней всего раз десять и только два раза наедине, но она сразу дала мне понять, что мы не случайные знакомые, а старые друзья. Минувшие десять лет уничтожили пропасть, отделяющую юную девушку от средних лет мужчины, и разницы в возрасте я уже почти не ощущал. Она приняла меня как сверстника, и, хотя я усмотрел в этом

тонкую лесть светской женщины, через пять минут мы уже болтали легко и непринужденно, словно товарищи, чье общение и не прерывалось. Она научилась в совершенстве владеть собой, держаться свободно и уверенно.

Но больше всего меня поразила перемена в ее внешности. Я помнил ее миловидной цветущей девочкой, рискующей с годами превратиться в толстушку; то ли она почуяла опасность и приняла героические меры, чтобы сбавить свой вес, то ли это было нечастое, но счастливое последствие родов, только стройна она стала на диво. Тогдашняя мода еще подчеркивала ее стройность. Она была в черном, и я с первого взгляда решил, что ее шелковое платье, не слишком простое и не слишком нарядное, сшито в одном из лучших парижских ателье; и носила она его с небрежной грацией женщины, для которой дорогие туалеты — нечто само собой разумеющееся. Десять лет назад, даже пользуясь советами Эллиота, она одевалась как-то слишком броско и в своих парижских нарядах словно чувствовала себя немного скованно. Теперь Мари-Луиза де Флоримон уже не могла бы сказать, что ей недостает шика. Она была сплошной шик, вся до кончиков ярко-розовых ногтей. Черты лица стали тоньше,

и я только теперь оценил редкостную красоту ее прямого носа. Ни на лбу, ни под карими глазами не было ни морщинки — кожа ее, хоть и утратила свежий румянец юности, осталась чистой и гладкой; несомненно, тут сыграли свою роль массаж, лосьоны и кремы, но они же придали ее лицу какую-то нежную прозрачность, до странности привлекательную. Худые щеки были чуть нарумянены, губы едва заметно подкрашены, пышные каштановые волосы по моде подстрижены и завиты. Я заметил, что на пальцах у нее нет ни одного кольца, и вспомнил, ведь Эллиот писал мне, что она продала все свои драгоценности. Но и руки у нее были красивые, хоть и не особенно маленькие. В тот год женщины днем носили короткие платья, и я видел ее ноги в телесного цвета чулках, длинные и стройные. Ноги нередко подводят даже самых хорошеньких женщин. Ноги Изабеллы, в юности ее самое уязвимое место, теперь были безупречно хороши. Словом, из девочки, пышущей здоровьем, живой и яркой, она превратилась в прекрасную женщину. Что красотой своей она в какой-то мере обязана искусству, выдержке и умерщвлению плоти, дела не меняло — очень уж удачен был результат. Возможно, что грация движений и благородство

осанки дались ей ценою сознательных усилий, но казались они совершенно естественными. Мне подумалось, что эти четыре месяца в Париже добавили последние штрихи к произведению искусства, создававшемуся годами. Даже Эллиот, при всей своей требовательности, не нашел бы к чему придраться. Я, не столь строгий критик, был искренне восхищен.

Она сказала, что Грэй уехал в Мортфонтен играть в гольф, но скоро вернется.

— И девочек моих вы должны посмотреть. Они сейчас на прогулке в саду Тюильри, я их жду с минуты на минуту. Они прелесть.

Мы поболтали о том о сем. В Париже ей нравится, жить в квартире Эллиота очень удобно. Перед отъездом он познакомил их с теми из своих друзей, которые, по его мнению, могли прийтись им по вкусу, и сейчас у них уже составился очень приятный кружок. Он убедительно просил ее и Грэя почаще приглашать гостей.

— Просто умора, живем как богатые люди, а ведь на самом деле мы нищие.

— Будто уж так плохо?

— У Грэя нет ни гроша, а у меня в точности такой же доход, какой был у Ларри, когда он хотел на мне жениться, а я отказалась, потому что

воображала, что на такие деньги не проживешь, а теперь у меня к тому же двое детей. Забавно, правда?

— Это хорошо, что вы способны оценить комизм положения.

— Что вы знаете о Ларри?

— Я? Ничего. В последний раз я его видел еще до того, как вы тогда приезжали в Париж. Я был немного знаком кое с кем из его знакомых и пробовал выяснить, что с ним сталось. Но с тех пор уже сколько лет прошло. И никто о нем ничего не знал. Он как в воду канул.

— Мы знакомы с управляющим того банка в Чикаго, где у Ларри есть счет, он нам рассказывал, что время от времени получает требования из каких-то немыслимых мест. Китай, Бирма, Индия. Видно, он ведет кочевой образ жизни.

На языке у меня вертелся вопрос, и я не постеснялся задать его. В конце концов, если хочешь что-то узнать, самое простое — спросить.

— Вы не жалеете, что не вышли за него замуж?

Она светло улыбнулась.

— Я очень счастлива с Грэем. Он удивительный муж. До краха мы жили чудесно. Нам нравятся одни и те же люди, одни и те же развлечения. Он милый. И приятно, когда тебя обожают. Он до

сих пор влюблен в меня, как в первые дни после свадьбы. Считает, что лучше меня нет женщины на всем свете. Вы не представляете себе, какой он добрый, заботливый. А щедр был просто до глупости, ему, понимаете, казалось, что для меня все недостаточно хорошо. Поверите ли, я за все эти годы не слышала от него ни одного резкого или обидного слова. Да, что и говорить, мне повезло.

Я подумал, уж не кажется ли ей, что она ответила на мой вопрос. Но заговорил о другом:

— Расскажите мне про ваших дочек.

В передней раздался звонок.

— Да вот и они. Сами увидите.

Девочки вошли в сопровождении бонны, и мне представили сперва старшую, Джоун, затем Присциллу. Они по очереди протянули мне ручку и сделали книксен. Одной было восемь лет, другой шесть. Обе были длинненькие: ведь Изабелла была высокого роста, а Грэй, сколько я помнил, — настоящий великан; но миловидны они были лишь постольку, поскольку все дети миловидны. Вид у них был хрупкий. От отца они унаследовали черные волосы, от матери — карие глаза. Присутствие незнакомого человека их не смутило — они наперебой болтали о том, что делали на прогулке, и выразительно поглядывали

на миниатюрные пирожные, поданные к чаю, к которому мы еще не притронулись. Получив разрешение взять по одному, они потоптались на месте, не зная, какое выбрать. Они не скрывали своей нежности к матери и втроем образовали прелестную семейную группу. Когда пирожные были выбраны и съедены, Изабелла велела детям уходить, и они повиновались беспрекословно. У меня осталось впечатление, что она воспитывает их в строгости.

Когда они ушли, я сказал Изабелле все, что принято говорить матерям о их детях, и она выслушала мои комплименты сдержанно, но с явным удовольствием. Я спросил, как Грэй чувствует себя в Париже.

— Да неплохо. Дядя Эллиот оставил нам автомобиль, так что он может хоть каждый день ездить играть в гольф, и еще он записался в клуб путешественников и там играет в бридж. То, что дядя Эллиот предложил нам помощь и эту квартиру, нас, конечно, просто спасло. У Грэя нервы совсем сдали, и до сих пор еще бывают страшные головные боли. Даже если бы подвернулось место, он не мог бы никуда поступить, и это, понятно, его угнетает. Он хочет работать, чувствует, что работать необходимо, а он никому не нужен, и

переживает это как унижение. Понимаете, он считает, что кто не работает, тот не мужчина, а раз он не может работать, так и жить не стоит. Это чувство собственной ненужности для него невыносимо. Он и сюда не хотел ехать, пока я его не убедила, что отдых и перемена обстановки вернут его в нормальное состояние. Но пока он опять не впряжется в работу, он не успокоится, уж это я знаю.

— Трудно вам, наверно, пришлось эти два с половиной года.

— Я вам скажу. Сначала, когда нас стукнуло, я не могла в это поверить. В голове не укладывалось, что мы разорены. Что другие могут разориться, я понимала, но мы — нет, это невозможно. Мне все казалось, что в последнюю минуту что-то случится и мы будем спасены. А потом, когда гром все-таки грянул, мне показалось, что жизнь кончена, впереди один сплошной мрак. Две недели я была безутешна. Это был такой ужас — со всем расстаться, знать, что тебе больше никогда не будет хорошо, что у тебя отнято все самое интересное. А через две недели я сказала: «Нет, к черту, не буду больше ни о чем жалеть» — и, честное слово, больше ни о чем не жалела. Пожила в свое удовольствие, и хватит. Что прошло, то прошло.

— Но, надо полагать, бедность легче сносить в роскошной квартире в фешенебельном районе, с помощью вышколенного дворецкого и превосходной кухарки, которым не надо платить, да еще если прикрыть наготу платьем от Шанель?

— Не угадали, от Ланвена, — засмеялась она. — Вы, я вижу, не изменились за десять лет. Как грубый циник, вы мне не поверите, но я скорее всего приняла предложение дяди Эллиота только ради Грэя и детей. На мои две тысячи восемьсот годовых мы бы отлично просуществовали в Южной Каролине — сеяли бы рис, рожь, кукурузу, разводили свиней. Ведь я как-никак родилась и выросла на ферме в Иллинойсе.

— Допустим. — Я улыбнулся, так как мне было известно, что родилась она в одной из самых дорогих больниц Нью-Йорка.

Тут наш разговор был прерван приходом Грэя. Я видел его два-три раза двенадцать лет назад, но помнил снимок в день свадьбы, который показывал мне Эллиот (снимок этот в красивой рамке стоял потом у него на рояле, так же как и портреты короля Швеции, королевы Испании и герцога де Гиза, с их собственноручными надписями), и вид его меня поразил. Волосы у него отступили со лба, на макушке обозначилась лысина, лицо

было красное, одутловатое и — двойной подбородок. За годы легкой жизни и щедрых возлияний он сильно прибавил в весе, и, если бы не высокий рост, его можно было бы назвать тучным. Но что меня потрясло, так это выражение его глаз. Мне запомнилось, как доверчиво и открыто эти ирландские глаза глядели на мир, когда вся жизнь была у него впереди и не сулила ничего, кроме счастья. Теперь в них застыла горестная растерянность, и, даже не зная его истории, можно было догадаться, что какой-то страшный удар разрушил его веру в себя и в заведенный порядок вещей. В нем чувствовалась какая-то робость, словно он в чем-то провинился, хоть и неумышленно, и теперь ему стыдно. Нервы у него явно были не в порядке. Со мной он поздоровался очень сердечно, даже изобразил радость, словно при встрече со старым другом, но его шумное радушие я воспринял всего лишь как привычку, едва ли отражающую подлинное чувство.

Подали напитки, он смешал нам коктейли. В гольф он поиграл отлично, был доволен своими успехами. Он пустился в пространное повествование о том, какие трудности преодолел у одной из лунок, и Изабелла делала вид, что слушает с живейшим интересом. Я еще немного посидел,

потом пригласил их в ресторан и в театр и откланялся.

II

После этого я стал навещать Изабеллу три-четыре раза в неделю, под вечер, закончив дневную порцию работы. В это время она обычно бывала одна и не прочь поболтать. Люди, с которыми ее познакомил Эллиот, были, за малым исключением, намного старше ее. Мои же знакомые были по большей части заняты до самого вечера, и мне приятнее было беседовать с Изабеллой, чем тащиться в клуб и играть в бридж с нудными французами, не склонными особенно радоваться вторжению чужеземца. Она упорно обращалась со мной как с ровесником, это было прелестно, и говорилось нам легко, мы смеялись, шутили, поддевали друг друга, болтали то о себе, то об общих знакомых, то о картинах и книгах, так что время летело незаметно. Один из моих недостатков состоит в том, что я не способен привыкнуть к некрасивой внешности; обладай мой друг хоть ангельским характером, я и через много лет не примирюсь с тем, что у него плохие зубы или нос немного набок. С другой стороны, я не устаю восхищаться человеческой красотой, и после

двадцати лет близкого знакомства меня, как и в первый день, пленяет хорошо вылепленный лоб или тонко очерченные скулы. Вот так и с Изабеллой: входя в ее гостиную, я всякий раз заново ощущал легкий радостный трепет при виде ее прекрасного удлиненного лица, молочной белизны ее кожи и теплого блеска светло-карих глаз. А потом произошло нечто неожиданное.

III

Во всех больших городах имеются самостоятельные общины, не поддерживающие связи друг с другом, — маленькие мирки внутри большого мира, которые живут каждый своей жизнью, члены которых общаются только между собой, словно обитают на островах, разделенных несудоходными проливами. Опыт убедил меня, что в первую очередь это относится к Парижу. Здесь высшее общество редко когда принимает в свою среду посторонних, политические деятели вращаются в своем собственном продажном кругу, буржуазия, крупная и мелкая, держится особняком, писатели водят дружбу с писателями (читая дневники Андре Жида, поражаешься, как мало у него было близких людей, не принадлежавших к его профессии), художники знаются с худож-

никами, а музыканты — с музыкантами. То же происходит и в Лондоне, но там границы проведены не так четко и есть дома, где за обеденным столом можно одновременно увидеть герцогиню, актрису, художника, члена парламента, адвоката, портниху и писателя.

Обстоятельства моей жизни сложились так, что в разные годы я хотя бы на короткое время входил едва ли не во все миры Парижа, даже (через Эллиота) в замкнутый мир бульвара Сен-Жермен; но всего милее моему сердцу — милее, чем скромный кружок, тяготеющий к тому, что теперь именуется авеню Фош, милее, чем космополитическая компания, ужинающая у Ларю и в кафе «Париж», милее, чем шумное, развязное веселье Монмартра, — тот квартал, главной артерией которого служит бульвар Монпарнас. В молодости я прожил год в крошечной квартирке неподалеку от бронзового Бельфортского льва, на пятом этаже, откуда открывался широкий вид на кладбище. Для меня Монпарнас и теперь еще овеян атмосферой тихого провинциального городка, отмечавшей его в ту пору. На узкой, неказистой улице Одессы у меня и сейчас сжимается сердце при воспоминании о захудалом ресторанчике, где мы когда-то собирались к обеду

— художники, иллюстраторы, скульпторы и я, единственный писатель, если не считать изредка появлявшегося там Арнольда Беннета, — а потом засиживались допоздна, увлеченные жаркими, яростными, нелепыми спорами о литературе и живописи. Мне и сейчас доставляет радость прохаживаться по бульвару, глядя на молодых людей, таких же молодых, каким я был тогда, и выдумывать про них разные истории. Когда выдается свободное время, я беру такси и еду посидеть в старом кафе «Куполь». Теперь там встретишь не только богему; туда зачастили мелкие торговцы с ближайших улиц, приезжают и туристы с другого берега Сены в надежде увидеть канувший в прошлое мир. Конечно, там по-прежнему полно студентов, художников и писателей, только теперь это по большей части иностранцы, и за столиками слышишь русскую, испанскую, немецкую и английскую речь. Но говорят там, думается, примерно то же, что и сорок лет назад, только темой им служит не Моне, а Пикассо, не Гийом Аполлинер, а Андре Бретон. Для меня они как родные дети.

Недели через две после приезда в Париж я приехал однажды в «Куполь», и, так как на террасе почти не было мест, мне пришлось занять столик

у самого края тротуара. День был ясный, теплый. Листья на платанах только-только распустились, и в воздухе было разлито чисто парижское ощущение безделья и легкой душевной приподнятости. Настроение у меня было умиротворенное, но не сонное, а скорее радостное. Вдруг какой-то человек, шедший мимо, остановился возле меня и с улыбкой, обнажившей очень белые зубы, сказал: «Здравствуйте!» Я поглядел на него, не понимая. Он был высокий и худой, без шляпы, с копной темных, давно не стриженных волос. Верхнюю губу и подбородок скрывали густые темные усы и борода. Лоб и шея дочерна загорели. На нем была обтрепанная рубашка без галстука, поношенный коричневый пиджак и старые серые спортивные брюки. Какой-то оборванец, в первый раз вижу. Я решил, что это один из тех бездельников, каких много идет ко дну в Париже, и ожидал услышать жалостливую повесть о злосчастной судьбе — способ выклянчить несколько франков на обед и ночлег. Он стоял передо мной, руки в карманах, поблескивая белыми зубами, с веселой искоркой в темных глазах.

— Не помните меня? — сказал он.

— Я вас никогда в жизни не видел.

Я был готов дать ему двадцать франков, но не

намерен был дать себя одурачить выдумкой, будто мы с ним знакомы.

— Ларри, — сказал он.

— Боже мой! Садитесь. — Он весело хмыкнул, шагнул вперед и сел на свободный стул за моим столиком. — Выпить хотите? — Я сделал знак официанту. — Как я мог вас узнать, когда вы так обросли?

Официант подошел, и он заказал оранжад. Теперь, вглядевшись, я вспомнил его необычные глаза — черная радужка сливалась в одно со зрачком, что придавало его взгляду и пристальность, и непроницаемость.

— И давно вы в Париже?

— Месяц.

— Надолго?

— Как поживется.

Я задавал ему вопросы, а сам спешил кое-что сообразить. Я заметил, что брюки его снизу висят махрами, а пиджак продран на локтях. Одно слово — нищий, сколько таких слонялось на пристанях в портовых городах Востока. В те дни мысли невольно обращались к кризису, и я успел подумать, что он остался без гроша в результате биржевого краха 29-го года. Мысль была не из приятных, и, поскольку я не люблю обиняков, я

прямо спросил его:

— Вы что, на мели?

— Нет, у меня все в порядке. Почему вы так решили?

— Да потому, что вид у вас голодный, а одежда просится на помойку.

— Неужели уж до того дошло? Я как-то об этом не думал. Вернее, я собирался кое-что себе купить, да все руки не доходят.

Я подумал, что в нем говорит либо стеснительность, либо гордость и нечего мне дальше слушать этот вздор.

— Не валяйте дурака, Ларри. Я не миллионер, но и не беден. Если у вас нет денег, возьмите у меня взаймы несколько тысяч франков. Меня это не разорит.

Он рассмеялся мне в лицо:

— Спасибо, конечно, но деньги у меня есть. Больше, чем я в состоянии истратить.

— Несмотря на кризис?

— О, это меня не коснулось. Мои деньги все в государственных бумагах. Может быть, они тоже упали в цене, я не знаю, никогда не интересовался, но одно мне известно: дядя Сэм честный старик, платит по купонам, как и раньше. А я за последние годы тратил так мало, что у меня там

должно было порядочно накопиться.

— Вы сейчас-то откуда явились?

— Из Индии.

— Ах да, я слышал, что вы там были. Мне Изабелла говорила. Она, оказывается, знакома с управляющим вашим чикагским банком.

— Изабелла? А вы когда ее видели?

— Вчера.

— Значит, она в Париже?

— Вот именно. Живет в квартире Эллиота Темплтона.

— Как здорово, ужасно хочется ее повидать.

Пока мы говорили, я внимательно наблюдал за ним, но в глазах его прочел только вполне естественное удивление и радость, никаких более сложных чувств.

— Грэй тоже здесь. Вы ведь знаете, что они поженились?

— Да, мне тогда написал дядя Боб… доктор Нелсон, мой опекун, но он уже несколько лет как умер.

Поскольку доктор Нелсон был, видимо, единственным звеном, связывающим его с Чикаго, я подумал, что он, вероятно, не в курсе дальнейших событий. Я рассказал ему о рождении дочек Изабеллы, о смерти Генри Мэтюрина и миссис

Брэдли, о банкротстве Грэя и великодушии Эллиота.

— А Эллиот тоже здесь?

— Нет.

Впервые за сорок лет Эллиот проводил весну не в Париже. Ему было семьдесят лет, хотя выглядел он моложе, и, как естественно для этого возраста, по временам он чувствовал себя усталым и больным. Он постепенно отказался от всякой гимнастики, кроме ходьбы. Он стал мнителен, и два раза в неделю его навещал врач, делавший ему то в одну, то в другую ягодицу укол модного в то время лекарства. За едой, будь то дома или в гостях, он доставал из кармана крошечную золотую коробочку, извлекал из нее таблетку и проглатывал с видом погруженного в себя человека, совершающего религиозный обряд. Врач посоветовал ему пройти курс лечения в Монтекатино, курорте на севере Италии, а оттуда он собирался в Венецию, присмотреть купель, подходящую по стилю к его романской церкви. Парижем он поступился без труда — столица год от года доставляла ему все меньше удовольствия. Стариков он не любил и обижался, когда его приглашали на вечера, где собирались только люди его возраста, молодые же были ему скучны. Зато

большое место среди его интересов занимало теперь украшение построенной им церкви, тут он мог предаваться своей неистребимой страсти — покупать произведения искусства — в твердой уверенности, что делает это во славу Божию. В Риме он отыскал старинный алтарь из бледно-желтого камня, а во Флоренции уже полгода как торговал триптих сиенской школы, который задумал над ним водрузить.

Ларри спросил меня, нравится ли Грэю в Париже.

— Боюсь, он здесь чувствует себя не в своей тарелке.

Я попробовал объяснить ему, какое впечатление у меня сложилось о Грэе. Он слушал, не сводя с меня задумчивых, немигающих глаз, и почему-то у меня возникло ощущение, что слушает он не ушами, а каким-то внутренним, более чувствительным органом слуха. Это было странно и жутковато.

— Впрочем, увидите сами, — закончил я.

— Да, ужасно хочется их повидать. Адрес, наверно, есть в телефонной книге.

— Только советую вам предварительно постричься и сбрить бороду, а то вы их напугаете до полусмерти, и у детей, чего доброго, родимчик

сделается.

Он засмеялся.

— Да, я сам это подумал. Какой смысл выставлять себя напоказ.

— И заодно могли бы приодеться.

— Пообносился я здорово, это верно. Когда я решил уехать из Индии, оказалось, что у меня только и есть одежки, что на мне.

Он оглядел мой костюм и спросил, у какого портного я шью. Портного я назвал, но добавил, что он в Лондоне, так что едва ли может быть ему полезен. Мы оставили эту тему и вернулись к Изабелле и Грэю.

— Я их часто вижу, — сказал я. — Они живут душа в душу. С Грэем я ни разу не говорил с глазу на глаз, да и вряд ли он стал бы говорить со мной об Изабелле, но я знаю, он по-настоящему ее любит. Лицо у него скорее угрюмое и глаза измученные, но когда он смотрит на Изабеллу, в них столько доброты, мягкости, даже трогательно. Видимо, все это трудное время она была для него крепкой опорой, и он ни на минуту не забывает, скольким ей обязан. А Изабелла сильно изменилась. — Я не сказал ему, какой она стала красавицей. Я не был уверен, сумеет ли он оценить, как хорошенькая, бойкая девушка сама себя превратила

в эту изящную, утонченную, восхитительную женщину. Некоторых мужчин коробит от того, что женская красота призывает себе на помощь искусство. — Она жалеет Грэя. Всеми силами старается вернуть ему веру в себя.

Время клонилось к вечеру, и я предложил Ларри пройтись по бульвару и пообедать.

— Нет, пожалуй, не стоит, спасибо, — отвечал он. — Мне пора.

Он встал, дружески кивнул мне и шагнул на мостовую.

IV

На следующий день я виделся с Изабеллой и Грэем и рассказал им, что встретил Ларри. Они удивились так же, как я накануне.

— До чего же хочется его увидеть, — сказала Изабелла. — Давайте позвоним ему прямо сейчас?

Тут я вспомнил, что не спросил Ларри, где он остановился. Изабелла отчитала меня по первое число.

— Я не уверен, что он сказал бы мне, если б я и спросил, — отбивался я смеясь. — Наверно, тут мое подсознание вмешалось. Вы же помните, он никогда не любил рассказывать, где живет.

Это была одна из его причуд. Он может в любую минуту здесь появиться.

— Да, с него станется, — сказал Грэй. — Его в прежние времена никогда не оказывалось там, где ожидал его встретить. Сегодня он тут, а завтра неведомо где. Бывало, увидишь его в комнате, думаешь, сейчас подойду поздороваюсь, а оглянулся — его и след простыл.

— Правда-правда, — сказала Изабелла. — Я всегда на него за это злилась. Что ж, придется, видно, ждать, пока он сам надумает пожаловать.

Он не явился ни в тот день, ни на следующий, ни еще через день. Изабелла в сердцах решила, что я вообще все это выдумал. Я оправдывался, приводил причины, почему он исчез. Но звучали они неубедительно. Про себя же я подозревал, что ему просто расхотелось встречаться с Изабеллой и Грэем и он подался куда-нибудь вон из Парижа. Мне представлялось, что он не способен где-либо осесть надолго и готов в любую минуту, повинуясь капризу или по причинам, казавшимся ему уважительными, сняться с места.

Наконец он явился. В тот день шел дождь и Грэй не поехал в Мортфонтен. Мы с Изабеллой пили чай, Грэй потягивал виски с минеральной водой, как вдруг дворецкий отворил дверь,

и в комнату не спеша вошел Ларри. Изабелла, вскрикнув, вскочила с места, бросилась ему на шею и поцеловала в обе щеки. Грэй, чья толстая красная физиономия покраснела еще больше, горячо сжал ему руку.

— Рад тебя видеть, старина, — сказал он сдавленным от волнения голосом.

Изабелла прикусила губу, и я видел, что она с трудом сдерживает слезы.

— Выпьем, друг, — еле выговорил Грэй.

Я был тронут их искренней радостью при виде скитальца. Сознание, что он так много для них значит, не могло не быть ему приятно. Он широко улыбался. Однако мне было ясно, что он вполне владеет собой. Он заметил посуду на столе.

— Я бы выпил чашку чаю, — сказал он.

— Брось, какой там чай! — воскликнул Грэй. — Разопьем бутылку шампанского.

— Я предпочитаю чай, — улыбнулся Ларри.

Его хладнокровие, возможно умышленное, возымело свое действие. Они успокоились, хоть и продолжали смотреть на него влюбленными глазами. Я не хочу сказать, что на их вполне естественные излияния он отвечал холодно или свысока: напротив, он был донельзя сердечен и обаятелен; но в его манере я улавливал что-то,

что не мог назвать иначе, как отчужденностью, и причина ее была мне непонятна.

— Почему ты сразу к нам не пришел, ужасный ты человек?! — с притворным негодованием накинулась на него Изабелла. — Я пять дней не отходила от окна, все высматривала тебя, а от каждого звонка у меня сердце екало и во рту пересыхало.

Ларри лукаво усмехнулся.

— Мистер М. сказал мне, что в таком непотребном виде ваш слуга и на порог меня не пустит. Я слетал в Лондон обновить гардероб.

— Уж это вы зря, — улыбнулся я. — Могли бы купить готовый костюм в «Прентан» или «Ля бель жардиньер».

— А я решил — если принимать цивилизованный вид, так по всем правилам. Я десять лет не покупал себе европейской одежды. Я отправился к вашему портному и сказал ему, что мне нужен костюм через три дня. Он сказал, что сошьет за две недели, ну, и мы сошлись на четырех днях. Я вернулся из Лондона час назад.

На нем был синий костюм, отлично сшитый по его сухощавой фигуре, белая рубашка с мягким воротничком, синий шелковый галстук и коричневые ботинки. Волосы коротко подстрижены,

лицо гладко выбрито. Вид не только аккуратный, но элегантный. Он буквально преобразился.

Он был очень худ; скулы выдавались резче, виски запали глубже, глаза стали больше, чем мне помнилось по прежним временам; но выглядел он отлично, и, мало того, его дочерна загорелое, без единой морщины лицо выглядело поразительно молодо. Он был на год моложе Грэя, обоим недавно перевалило за тридцать, но Грэю можно было дать сорок лет, а Ларри — двадцать. У Грэя, большого, погрузневшего, все движения были медлительные и тяжеловесные, у Ларри — свободные, легкие. Держался он по-мальчишески весело и открыто, но я все время ощущал в нем какой-то невозмутимый покой, несвойственный тому юноше, которого я знал когда-то. И все время, что длился разговор, непринужденный, как всегда между старыми друзьями, которым есть что вспомнить, и то Грэй, то Изабелла подкидывали какие-нибудь мелкие чикагские новости, и все дружно смеялись и судачили о том о сем, легко переходя с одного на другое, я не мог отделаться от ощущения, что Ларри, хоть смеялся он от души и оживленную болтовню Изабеллы слушал с явным удовольствием, воспринимал все это как бы издали. Не то чтобы он играл роль — искренность

его не вызывала сомнений. Но что-то в нем — не знаю, как это назвать: настороженность, чувствительность, сила? — отгораживало его от других.

Были вызваны девочки и сделали Ларри вежливый книксен. Он по очереди протянул им руку, глядя на них с подкупающей нежностью, и они, серьезно уставившись на него, подали ему ручку. Изабелла радостно сообщила, что они молодцы и учатся неплохо, дала им по тартинке и отослала в детскую.

— Когда уляжетесь, я приду и десять минут вам почитаю.

Сейчас ей не хотелось отрываться, уж очень она наслаждалась обществом Ларри. Девочки подошли проститься с отцом. И какою же любовью осветилось его грубое красное лицо, когда он прижал их к себе и расцеловал. Было ясно как день, что он гордится ими, души в них не чает, и, когда они ушли, он повернулся к Ларри и сказал с чудесной застенчивой улыбкой:

— Хорошие малышки, верно?

Изабелла ласково глянула на него.

— Грэю дай только волю, он избаловал бы их до смерти. Он бы дал мне умереть с голоду, лишь бы их кормить икрой и паштетом.

Он улыбнулся ей и сказал:

— Неправда, и ты сама это знаешь. Я тебя люблю больше жизни.

В глазах Изабеллы мелькнула ответная улыбка. Да, она это знала, и ее это радовало. Счастливая пара.

Она стала уговаривать нас остаться у них обедать. Я было отказался, думая, что им приятнее будет побыть втроем, но она и слушать не захотела.

— Я велю Мари положить в суп еще одну морковку, и как раз выйдет четыре порции. На второе курица, вам и Грэю дадим ноги, а мы с Ларри будем есть крылышки, а пюре пусть сделает побольше, чтобы на всех хватило.

Грэй тоже как будто упрашивал всерьез, и я дал уговорить себя поступить так, как мне хотелось.

В ожидании обеда Изабелла подробно рассказала Ларри то, что я уже сообщил ему вкратце. Хоть она и старалась поведать эту печальную повесть как можно веселее, на лице Грэя изобразилась угрюмая тоска. Изабелла поспешила его подбодрить:

— Теперь-то это все позади. Мы еще легко отделались. Как только положение улучшится, Грэй получит великолепную должность и наживет миллионы.

Подали коктейли, и после двух бокалов бедняга воспрянул духом. Ларри, хоть и взял бокал, почти не притронулся к нему, и когда Грэй, не заметив этого, предложил ему повторить — отказался. Мы вымыли руки и сели обедать. Грэй велел подать шампанского, но когда дворецкий стал наливать Ларри, тот сделал знак, что пить не будет.

— Ну что ты, хоть немножко! — воскликнула Изабелла. — Это из запасов дяди Эллиота, самое лучшее, только для особенно дорогих гостей.

— Честно говоря, я предпочитаю воду. Когда проживешь так долго на Востоке, нет ничего вкуснее воды, которую можно пить без опаски.

— Но случай-то исключительный.

— Ладно, один бокал выпью.

Обед был превосходный, но Изабелла, как и я, заметила, что Ларри ест очень мало. Вероятно, она спохватилась, что до сих пор без умолку говорила сама, а Ларри оставалось только слушать, и теперь стала расспрашивать его о том, как он провел те десять лет, что они не виделись. Он отвечал охотно и не таясь, но так неопределенно, что, в сущности, сказал нам очень мало.

— Ну, понимаете, бродил по белу свету. Год провел в Германии, пожил в Италии, в Испании. И по Востоку пошатался.

— А сейчас ты откуда?

— Из Индии.

— И сколько ты там пробыл?

— Пять лет.

— Интересно было? — спросил Грэй. — На тигров охотился?

— Нет, — улыбнулся Ларри.

— Что же ты делал в Индии целых пять лет? — спросила Изабелла.

— Небо коптил, — ответил он с незлобивой иронией.

— А факирский фокус с веревкой видел? — спросил Грэй.

— Нет, не видел.

— Что же ты видел?

— Много чего.

Тогда и я задал ему вопрос:

— Верно ли, что йоги вырабатывают в себе способности, которые нам кажутся сверхъестественными?

— Право, не знаю. Могу только сказать, что в Индии это представление очень распространено. Но самые умные не придают таким способностям никакого значения, считают, что они только задерживают духовный рост. Помню, один из них рассказал мне про некоего йога, как он подошел

к реке и у него не было денег заплатить перевозчику, а тот отказался перевезти его даром, и тогда он взял и перешел на другой берег прямо по воде. Тот йог, что мне это рассказывал, презрительно пожал плечами и добавил: «Цена такого рода чудесам — тот самый грош, который был нужен, чтобы переправиться на лодке».

— Но вы-то как думаете, тот йог в самом деле шел по воде?

— Мой собеседник, во всяком случае, в этом не сомневался.

Слушать Ларри доставляло большое удовольствие, потому что у него был на редкость приятный голос, не слишком низкий, но звучный, гибкий, богатый интонациями. После обеда мы снова перешли в гостиную пить кофе. Я никогда не бывал в Индии и жаждал узнать о ней побольше.

— Вы там общались с какими-нибудь писателями или мыслителями? — спросил я.

— А вы, я вижу, проводите между ними различие, — поддразнила меня Изабелла.

— Это как раз и входило в мои планы, — ответил Ларри.

— И как вы с ними разговаривали? По-английски?

— Самые интересные из них если и говорили по-английски, то очень неважно, а уж понимали совсем плохо. Я выучил хиндустани. А когда подался на юг, стал немного объясняться и на тамильском.

— Сколько же языков вы теперь знаете, Ларри?

— Ой, не считал. Штук шесть, наверно.

— Я хочу узнать что-нибудь еще про йогов, — сказала Изабелла. — Ты с кем-нибудь из них был близко знаком?

— Если можно говорить о близком знакомстве с людьми, которые почти все свое время проводят в Бесконечности, — улыбнулся он. — У одного я прожил в ашраме два года.

— Два года? А что такое ашрама?

— Ну, это вроде как обитель отшельника. Там есть святые люди, которые живут в полном одиночестве в каком-нибудь храме в лесу или на склонах Гималаев. Есть и такие, которых окружают ученики. Какой-нибудь добрый человек, алчущий праведности, строит хижину, большую или маленькую, для йога, который поразил его своим благочестием, а ученики селятся поблизости, спят на галерейке, или в кухне, если таковая имеется, или просто под деревьями. У меня была крошечная хибарка, в ней еле помещалась поход-

ная койка, стол, стул и полка для книг.

— Где это было? — спросил я.

— В Траванкуре, это чудесный край зеленых гор, и долин, и медленных рек. В горах водятся тигры, леопарды, слоны и бизоны, но ашрама стояла на берегу речной заводи, среди кокосовых и арековых пальм. До ближайшего города было мили четыре, но люди приходили оттуда, да и из других мест намного дальше, или приезжали на повозках, запряженных волами, чтобы послушать моего йога, если он был в настроении говорить, а не то просто посидеть у его ног и вместе с другими ощутить покой и счастье, которые исходили от него, как аромат от туберозы.

Грэй заерзал на стуле. Видимо, ему стало не по себе от этих разговоров.

— Выпьем? — предложил он мне.

— Нет, спасибо.

— А я выпью. Ты как, Изабелла?

Он грузно поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стояли виски, минеральная вода и стаканы.

— А еще белые люди там были?

— Нет, только я.

— Как ты мог это выдержать два года? — вскричала Изабелла.

— Они промелькнули мгновенно. У меня в жизни бывали дни, которые тянулись куда дольше.

— Но чем ты заполнял свое время?

— Читал. Ходил на далекие прогулки. Плавал в лодке по заводи. Размышлял. Это, знаете ли, тяжелый труд. После двух-трех часов выматываешься так, будто пятьсот миль вел машину, только и мечтаешь, как бы отдохнуть.

Изабелла чуть сдвинула брови. Она была озадачена, пожалуй, даже немного испугана. Должно быть, она начинала догадываться, что тот Ларри, которого она знала в прошлом — такой доверчивый, веселый, своенравный, но пленительный, — и тот, что вошел в комнату несколько часов назад, — два разных человека, хотя внешне он почти не изменился и казался таким же простым и приветливым. Когда-то она уже потеряла его и, увидев его снова, приняв его за прежнего Ларри, решила, что, как бы ни сложились обстоятельства, он все еще ей подвластен; теперь же, когда она словно поймала солнечный луч, а он ускользал у нее между пальцев, она слегка встревожилась. Я много смотрел на нее в тот вечер, это всегда бывало приятно, и я видел, сколько нежности было в ее глазах, когда они обращались на аккуратно подстриженный затылок Ларри и

его небольшие, плотно прижатые к черепу уши, и как выражение их менялось, когда она отмечала его запавшие виски и худобу щек. Она скользила взглядом по его длинным рукам, очень худым, но крепким и сильным, поглядывала на его подвижные губы, изящно очерченные, полные, хоть и не чувственные, на его чистый лоб и точеный нос. Свое новое платье он носил не как Эллиот, на манер джентльмена из модного журнала, а свободно, непринужденно, точно год не надевал ничего другого. Казалось, он будил в Изабелле материнский инстинкт, которого я никогда не замечал в ее отношении к собственным детям. Она была женщина с опытом, он все еще выглядел юным, и мне чудилась в ней гордость матери — смотрите-ка, мой сын стал совсем взрослый и разговаривает так складно, и умные люди его слушают, как будто он и вправду много понимает. Смысл того, что он говорил, по-моему, не доходил до ее сознания.

Сам же я тем временем не отставал от Ларри.

— Какой он был из себя, ваш йог?

— Вы имеете в виду внешность? Ну, роста среднего, не тощий и не толстый, кожа светло-коричневая, бритый, волосы короткие, седые. Ходил в одних трусах, но выглядел франтом, не

хуже молодых людей с рекламы «Братьев Брукс».

— И что в нем особенно вас привлекло?

Ларри ответил не сразу. С минуту его глубоко посаженные глаза словно пытались проникнуть мне в самую душу.

— Святость.

Его ответ немного смутил меня. В этой комнате с красивой мебелью и прелестными рисунками по стенам неожиданное слово брызнуло, как струйка воды, просочившейся сквозь потолок из переполненной ванны.

— Все мы читали о святых, — продолжал Ларри. — Святой Франциск, святой Хуан де ла Крус, но то было много веков назад. Мне и в голову не приходило, что в наше время можно встретить святого во плоти. Но с той минуты, как я его увидел, я уже не сомневался, что он святой. Это было удивительное переживание.

— И что оно вам дало?

— Душевный покой, — ответил он с полуулыбкой, почти небрежно и тут же рывком встал с места. — Мне пора.

— Подожди уходить! — взмолилась Изабелла. — Ведь еще рано.

— Спокойной ночи, — сказал он, все еще улыбаясь и как бы не заметив ее слов. Потом поцеловал

ее в щеку. — На днях увидимся.

— Ты где живешь? Я тебе позвоню.

— Не стоит. Здесь, в Париже, это дело сложное, сама знаешь. К тому же наш телефон все время портится.

В душе я посмеялся тому, как ловко он сумел утаить свой адрес. Почему-то он всегда норовил скрыть, где живет. Я пригласил их всех пообедать в Булонском лесу послезавтра вечером. В такую чудесную весеннюю погоду хорошо будет посидеть на воздухе под деревьями, Грэй может отвезти нас туда в своей машине. Я ушел вместе с Ларри и охотно прогулялся бы с ним, но, как только мы очутились на улице, он пожал мне руку и быстро зашагал прочь. Я подозвал такси.

V

Мы сговорились встретиться у Мэтюринов и выпить по коктейлю, прежде чем пуститься в путь. Я приехал раньше Ларри. Пригласив их в очень шикарный ресторан, я ожидал увидеть Изабеллу в полном параде: там все женщины будут разодеты в пух и прах, неужели же она даст им себя затмить? Но на ней было простенькое шерстяное платье.

— У Грэя опять мигрень, — сказала она. — Му-

чается ужасно. Я не могу его оставить. Кухарку я на вечер отпустила — уйдет, как только накормит детей ужином, придется самой что-то для него сготовить и заставить его съесть. Вы с Ларри поезжайте без нас.

— Грэй в постели?

— Нет, он с этими болями никогда не ложится. Нужно бы, конечно, но он не хочет. Он в библиотеке.

То была небольшая, обшитая деревом комната, коричневая с золотом, которую Эллиот целиком вывез из какого-то старинного замка. От любопытных книги были защищены золочеными решетками и заперты на ключ. Это, пожалуй, было и к лучшему: большую часть их составляли эротические, украшенные гравюрами произведения восемнадцатого века. Впрочем, в новых сафьяновых переплетах они выглядели очень мило. Мы вошли. Грэй сидел мешком в большом кожаном кресле, на полу возле него валялись иллюстрированные журналы. Глаза у него были закрыты, лицо, обычно красное, посерело. Он попытался встать, но я остановил его.

— Аспирин вы ему давали? — спросил я Изабеллу.

— Не помогает. У меня есть один американский

рецепт, но от него тоже никакого толку.

— Не беспокойся, родная, — сказал Грэй. — До завтра пройдет. — Он попробовал улыбнуться. — Простите, что так подвел, — обратился он ко мне. — Поезжайте-ка вы все обедать.

— И не подумаю, — сказала Изабелла. — Представляешь, как мне будет весело, когда ты тут терпишь все муки ада?

— Бедная девочка, она, кажется, меня любит, — сказал Грэй и опять закрыл глаза.

Вдруг лицо его исказилось. Режущая боль, пронизавшая ему голову, была почти зримой. Дверь тихо отворилась, и вошел Ларри. Изабелла объяснила ему, в чем дело.

— Ой, как нехорошо, — сказал он, бросив на Грэя сострадательный взгляд. — Неужели ничего нельзя сделать?

— Ничего, — сказал Грэй, не открывая глаз. — Я об одном прошу, оставьте меня в покое и поезжайте веселиться.

Я и сам подумал, что это было бы единственным разумным решением, но принять его Изабелле не позволит совесть.

— Можно, я попробую тебе помочь? — спросил Ларри.

— Никто мне не может помочь, — ответил Грэй

устало. — Когда-нибудь она меня доконает, иногда думаешь — уж поскорей бы.

— Я неправильно сказал, что хочу тебе помочь: может, мне удастся помочь тебе помочь самому себе.

Грэй медленно открыл глаза.

— А как ты можешь это сделать?

Ларри достал из кармана какую-то серебряную монету и вложил ее Грэю в руку.

— Зажми ее в кулак и держи руку ладонью книзу. Не противься мне. Не напрягайся, только держи монету в кулаке. Еще до того, как я сосчитаю до двадцати, пальцы у тебя разожмутся и монета выпадет.

Грэй повиновался. Ларри сел у письменного стола и начал считать. Изабелла и я стояли не шевелясь. Раз, два, три, четыре… Пока он считал до пятнадцати, рука Грэя оставалась неподвижной, а потом чуть дрогнула, и я не то чтобы увидел, но каким-то образом уловил, что пальцы расслабляются. Вот большой палец отделился от кулака. Теперь было ясно видно, что и другие пальцы пришли в движение. Когда Ларри досчитал до девятнадцати, монета упала на пол и покатилась мне под ноги. Я поднял ее и рассмотрел. Она была тяжелая, неправильной формы, и с одной

стороны был выбит рельефный портрет молодого мужчины, в котором я узнал Александра Македонского. Грэй растерянно уставился на свою руку.

— Я не ронял монету, — сказал он. — Она сама упала.

Его правая рука лежала на подлокотнике кожаного кресла.

— Тебе удобно сидеть? — спросил Ларри.

— Если вообще может быть удобно, когда голова раскалывается.

— Ладно, ты расслабься. Ничего не делай. Не думай. Не сопротивляйся. Когда я досчитаю до двадцати, твоя правая рука оторвется от кресла и окажется у тебя над головой. Раз, два, три, четыре…

Он считал медленно, своим чудесным звучным голосом, и, когда досчитал до девяти, кисть Грэя чуть приподнялась, оторвавшись от кожаной поверхности, и, повиснув в каком-нибудь дюйме от нее, на секунду задержалась.

— Одиннадцать, двенадцать, тринадцать…

Рука дернулась и теперь уже вся, от плеча, пошла вверх. Она уже не касалась кресла. Изабелла, немного испуганная, вцепилась мне в руку. Картина и вправду была захватывающая.

Мне не приходилось видеть, как люди ходят во сне, но я представляю себе, что они двигаются так же странно, как двигалась рука Грэя. Воля тут словно не участвовала. Мне подумалось, что сознательным усилием руку и невозможно было бы поднять так медленно и равномерно. Ее словно поднимала какая-то подсознательная сила, независимая от разума. Так — медленно, туда-сюда — ходит поршень в цилиндре.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…

Слова падали медленно-медленно, точно капли из неисправного крана. Рука поднималась все выше, выше, и вот она уже у Грэя над головой, а вот, со счетом двадцать, тяжело падает обратно на подлокотник.

— Я не поднимал руку, — сказал Грэй. — Я ничего не мог с ней поделать. Она сама.

Ларри чуть заметно улыбнулся.

— Это не важно. Я просто хотел, чтобы ты в меня поверил. Где эта монета?

Я протянул ее.

— Держи. — Грэй взял ее в руку. Ларри глянул на свои часы. — Сейчас тринадцать минут девятого. Через шестьдесят секунд веки у тебя так отяжелеют, что ты закроешь глаза. И уснешь. Ты проспишь шесть минут. В восемь двадцать ты

проснешься здоровый.

Мы с Изабеллой молчали, не спуская глаз с Ларри. Он больше ничего не сказал. Он устремил пристальный взгляд на Грэя, но смотрел словно не на него, а сквозь него, куда-то дальше. В охватившем нас молчании было что-то таинственное, так молчат цветы в саду, когда сгущаются сумерки. Вдруг пальцы Изабеллы крепче впились в мою руку. Я взглянул на Грэя. Глаза у него были закрыты, дыхание легкое и ровное: он спал. Так мы простояли, казалось, целую вечность. Мне очень хотелось курить, но я не решался чиркнуть спичкой. Ларри застыл в неподвижности. Глаза его смотрели в какую-то неведомую даль. Не будь они открыты, можно б было подумать, что он в трансе. И вдруг он весь обмяк, глаза приняли свое обычное выражение, и он посмотрел на часы. В то же мгновение Грэй открыл глаза.

— Тьфу, — сказал он, — я, кажется, задремал. — И разом встряхнулся. Я заметил, что он уже не так бледен. — Голова-то прошла!

— Вот и хорошо, — сказал Ларри. — Выкури папиросу, и поедем все вместе обедать.

— Но это просто чудо. Я совсем здоров. Как ты это сделал?

— Это не я. Ты сам это сделал.

Изабелла убежала переодеваться, а тем временем мы с Грэем выпили по коктейлю. Хотя Ларри был явно против, Грэй упорно толковал о случившемся. Он был в полном недоумении.

— Вот уж не ожидал, что у тебя что-нибудь выйдет. Согласился, потому что лень было спорить, так паршиво себя чувствовал.

И он стал подробно описывать, как начинаются его мигрени, как они его мучают и какой он бывает разбитый, когда боль отпускает. Ему все не верилось, что сейчас он в норме, точно ничего и не было. Вернулась Изабелла. На ней было платье, которого я еще не видел, длинное, до полу, белый футляр из материи, которая, кажется, называется марокен, с воланом из черного тюля. Да, с такой дамой каждому было бы лестно появиться на людях.

В «Шато де Мадрид» царило веселье, и мы все были в ударе. Ларри без конца смешил нас всякой забавной чепухой — я не знал за ним такого таланта. Мне подумалось, что он задался целью отвлечь наши мысли от его поразительного дара, проявлению которого мы так неожиданно стали свидетелями. Но Изабеллу трудно было сбить с толку. Какое-то время она готова была подпевать ему, однако не забывала, что желает

удовлетворить свое любопытство. После обеда, когда подали кофе и ликеры и она, очевидно, решила, что под влиянием вкусной еды, одного-единственного стакана вина и дружеской беседы тормоза у Ларри ослабли, она устремила на него ясный взгляд.

— А теперь расскажи нам, как ты вылечил Грэя.

— Ты же сама видела, — улыбнулся он.

— Ты этому выучился в Индии?

— Да.

— Он ужасно мучается. Может, ты и вообще мог бы избавить его от этих мигреней?

— Не знаю. Возможно.

— Это было бы для него так важно. Ведь он не может и надеяться получить приличное место, пока рискует в любой день на двое суток выбыть из строя. А без работы он все равно что не живет.

— Я, знаешь ли, не чудотворец.

— Но это было настоящее чудо. Я своими глазами видела.

— Нет. Я просто внушил Грэю идею, а остальное он сделал сам. — Он повернулся к Грэю. — Ты завтра что делаешь?

— Играю в гольф.

— Я к тебе загляну в шесть часов, побеседу-

ем. — И снова Изабелле, с обворожительной улыбкой: — Мы с тобой не танцевали десять лет. Может быть, я разучился, хочешь, проверим?

VI

После этого мы видели Ларри часто. Всю следующую неделю он приходил каждый день и на полчаса уединялся с Грэем в библиотеке. Он, по собственному выражению, пытался убедить его отделаться от этих противных мигреней, и Грэй проникся к нему чисто детским доверием. Из того немногого, что сказал Грэй, я понял, что Ларри, кроме того, пытается вернуть ему подорванную веру в себя. Дней через десять у Грэя опять разболелась голова, а Ларри ждали только вечером. На этот раз мигрень была сравнительно легкая, но Грэй так верил в могущество Ларри, что твердил: надо его найти, он в несколько минут с ней справится. Изабелла позвонила мне по телефону, но я тоже не знал, где он живет. Когда Ларри наконец явился и избавил Грэя от боли, тот попросил его оставить свой адрес, чтобы в случае необходимости можно было сразу его призвать. Ларри улыбнулся.

— Звони в «Американ экспресс» и проси передать. Я буду им звонить каждое утро.

Позже Изабелла спросила меня, почему Ларри скрывает свой адрес. Ведь он и раньше делал из этого тайну, и тогда оказалось, что он просто живет в третьеразрядной гостинице в Латинском квартале.

— Понятия не имею, — отвечал я. — Могу только предложить весьма произвольную догадку, скорее всего неверную. Возможно, он инстинктивно относит некую духовную обособленность и к своему жилищу.

— О Господи, это еще что за головоломка? — вскричала она сердито.

— Вы не задумывались над тем, что, когда он с нами и как будто держится так просто, открыто, дружески, в нем чувствуется какая-то отчужденность, словно он отдает не всего себя, а где-то в тайнике души что-то придерживает… какое-то напряжение, или тайну, или замысел, или знание… не знаю, что именно… и это позволяет ему оставаться от всех в стороне?

— Я знаю его с детства, — раздраженно перебила она.

— Иногда он напоминает мне большого актера, виртуозно играющего в ерундовой пьесе. Как Элеонора Дузе в «Хозяйке гостиницы».

Изабелла на минуту задумалась.

— Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. С ним бывает так весело, и он вроде бы такой же, как мы, как все люди, а потом вдруг такое ощущение, точно он ускользнул, как колечко дыма, когда хочешь его поймать. Что же это в нем есть, отчего он такой чудной, как вы думаете?

— Может быть, что-то до того элементарное, что этого и не замечаешь.

— Например?

— Ну, например, доброта.

Изабелла нахмурилась.

— Пожалуйста, не говорите таких вещей. У меня от них начинает болеть под ложечкой.

— А может, в глубине сердца?

Она посмотрела на меня долгим взглядом, словно хотела прочесть мои мысли. Потом взяла со столика папиросу, закурила и откинулась в кресле, глядя, как дым колечками поднимается в воздух.

— Хотите, чтобы я ушел?

— Нет.

Я помолчал, глядя на нее и, как всегда, любуясь ее точеным носиком и прелестной линией подбородка.

— Вы сильно влюблены в Ларри?

— Ну вас к дьяволу, я всю жизнь только его и

любила.

— Зачем же вы вышли замуж за Грэя?

— Надо было за кого-то выходить. Грэй меня обожал, и маме хотелось, чтобы мы поженились. Все мне твердили, какое счастье, что я разделалась с Ларри. А к Грэю я очень хорошо относилась и сейчас отношусь. Вы не знаете, какой он милый. Нет человека добрее его, заботливее. Многим кажется, что у него ужасный характер, но со мною он всегда был сущий ангел. Когда у него были деньги, он только и хотел, чтобы я у него что-нибудь попросила, такую радость ему доставляло мне угождать. Как-то я сболтнула, что хорошо бы иметь свою яхту и поплыть вокруг света, так, если бы не крах, он бы и яхту купил.

— Бывают же такие люди, — ввернул я вполголоса.

— Мы жили чудесно. Я всегда буду ему за это благодарна. Он дал мне много счастья.

Я взглянул на нее, но промолчал.

— По-настоящему я его, наверно, не любила, но можно прекрасно прожить и без любви. В глубине души я тосковала по Ларри, но, когда его не было рядом, это меня особенно не тревожило. Помните, вы мне когда-то сказали, что, когда вас разделяют три тысячи миль океана, сносить

муки любви не так трудно? Тогда это показалось мне циничным, но вы, разумеется, правы.

— Если вам больно видеться с Ларри, не разумнее ли перестать с ним видеться?

— Но боль-то эта — блаженство. И потом, вы же знаете, какой он. В любой день может исчезнуть, как тень, когда солнце спрячется, и жди, когда еще его опять увидишь.

— Вы не подумываете развестись с Грэем?

— У меня нет причин с ним разводиться.

— Это не мешает вашим соотечественницам разводиться с мужьями, когда им вздумается.

Она рассмеялась.

— Почему же они так поступают?

— А вы не знаете? Потому что американка желает обрести в своем муже идеал, который англичанка мечтает обрести разве что в своем дворецком.

Изабелла вскинула голову так надменно, что вполне могла растянуть мышцу на шее.

— Оттого, что Грэй не умеет себя выразить, вам кажется, что в нем нет ничего хорошего.

— Вот это уж неверно, — перебил я. — Мне кажется, в нем есть что-то очень ценное. Он умеет любить. Стоит только увидеть его лицо, когда он смотрит на вас, сразу понимаешь, как беззавет-

но он вам предан. И детей своих он любит куда больше, чем вы.

— Вы еще, чего доброго, скажете, что я плохая мать.

— Напротив, вы, по-моему, превосходная мать. Вы хотите, чтобы они были здоровы и веселы. Вы следите за тем, как они питаются и каждый ли день у них работает кишечник. Вы учите их правилам поведения, читаете им вслух и заставляете молиться на сон грядущий. Если они заболеют, вы сейчас же вызовете врача и будете прилежно их выхаживать. Но вы не боготворите их так, как он.

— А это и не нужно. Я человек — и с ними обращаюсь как с людьми. Мать только вредит своим детям, если ничем, кроме них, не интересуется.

— По-моему, вы совершенно правы.

— И они, между прочим, меня обожают.

— Это я заметил. Вы для них самая красивая, самая прелестная и удивительная. Но с вами им не так просто, не так уютно, как с Грэем. Вас они обожают, это верно, но его они любят.

— Его нельзя не любить.

Мне понравилось, как она это сказала. Она никогда не обижалась на правду, это было одно из ее самых привлекательных свойств.

— После краха Грэй совсем погибал. Он неделями работал в конторе до полуночи, а я сидела дома и терзалась от страха, боялась, что он пустит себе пулю в лоб, до того он чувствовал себя опозоренным. Понимаете, и он, и его отец так гордились своей фирмой, и своей честностью, и здравостью суждений. Для него горше всего было не то, что мы сами разорились, а что разорены люди, которые ему доверились, — вот чего он не мог пережить. Ему все казалось, что он чего-то не предусмотрел. Я никак не могла внушить ему, что он не виноват.

Изабелла достала из сумочки помаду и подмазала губы.

— Но я не об этом хотела вам рассказать. Единственное, что у нас осталось, — это усадьба, а Грэя необходимо было куда-то увезти, ну вот мы и подкинули девочек маме, а сами укатили. Он всегда любил туда ездить, но мы еще ни разу не жили там одни — возили с собой целую компанию и веселились напропалую. А тут ему и на охоту ходить не хотелось, хоть стреляет он хорошо. Он брал лодку и часами плавал один по болотам, наблюдая птиц. Плавал по всем протокам, где с обеих сторон камыши, а над головой небо. Там бывают дни, когда протоки синие, как Средизем-

ное море. Дома он не распространялся о своих впечатлениях. Скажет, что было чудесно, и все. Но я-то понимала. Я знала, что этот простор, и красота, и тишина глубоко его волнуют. Там бывает такой час перед закатом, когда освещение просто сказочное. Он, бывало, стоит и смотрит как завороженный. И верхом он подолгу ездил по глухим, таинственным лесам, они там как в пьесах Метерлинка — серые, безмолвные, даже жутко. А весной бывает короткая пора — каких-нибудь две недели, — когда цветет кизил, и распускаются листья на кустарнике, и вся эта свежая зелень на фоне серого испанского мха как радостный гимн, а на земле ковер из огромных белых лилий и дикой азалии. Грэй не умел выразить, что это для него значит, но значило это очень много. Он упивался этой красотой. Я, конечно, описываю все это нескладно, но вы не поверите, какое это было волнующее зрелище — такой большой, взрослый мужчина, и весь во власти чистого, высокого чувства. Если есть на небе Бог, Грэй в такие минуты бывал к нему близок.

Изабелла и сама немного расчувствовалась и крошечным платочком смахнула две слезинки, блеснувшие в уголках ее глаз.

— Может быть, вы фантазируете? — улыбнулся

я. — Приписываете Грэю мысли и чувства, которыми сами его наделили?

— Как я могла бы их выдумать, если бы не видела? Меня-то вы знаете. Я-то счастлива только тогда, когда у меня под ногами асфальтовый тротуар, а по всей улице — зеркальные витрины, и в них шляпы, меховые манто, браслеты с брильянтами и несессеры с золотыми застежками.

Я посмеялся, и с минуту мы молчали. Потом она вернулась к прежней теме:

— Я ни за что не разведусь с Грэем. Слишком много мы пережили вместе. И он без меня как без рук. Это даже лестно и накладывает известную ответственность. А кроме того…

— Продолжайте.

Она искоса взглянула на меня, в глазах блеснул озорной огонек. Словно она не была уверена, как я отнесусь к тому, что она надумала мне сказать.

— Он изумительный любовник. Мы женаты десять лет, а он такой же страстный, как был вначале. Это не вы в какой-то пьесе сказали, что ни один мужчина не желает одну и ту же женщину дольше пяти лет?.. Так вот, вы не знали, о чем говорите. Грэй меня желает так же, как в первую ночь. В этом смысле он дал мне много радости. Я ведь очень чувственная женщина, хотя по виду

этого не скажешь.

— Ошибаетесь. Как раз скажешь.

— И что же, это можно поставить мне в упрек?

— Напротив. — Я испытующе взглянул на нее. — Так вы не жалеете, что десять лет назад не вышли за Ларри?

— Нет. Это было бы безумием. Но, конечно, если б я знала то, что знаю теперь, я бы уехала куда-нибудь и прожила с ним три месяца, а потом раз и навсегда вычеркнула его из своей жизни.

— Думаю, для вас лучше, что вы не пошли на такой эксперимент: вы рисковали убедиться, что связаны с ним такими узами, которых вам не разорвать.

— Не думаю. То было всего лишь физическое влечение. Вы ведь знаете, часто лучший способ превозмочь желание состоит в том, чтобы его удовлетворить.

— А известно ли вам, что вы заядлая собственница? Вы мне сказали, что у Грэя поэтическая натура и что он — пылкий любовник; охотно верю, что и то и другое вам дорого; но вы мне не сказали, что вам дороже, чем то и другое, вместе взятое, а это — ощущение, что вы крепко держите его в ваших прелестных, хоть и не таких уж маленьких ручках. Ларри всегда ускользал от вас.

Вы помните эту оду Китса? «Любовник смелый, никогда тебе ее не целовать, хоть цель близка».

— Напрасно вам кажется, что вы знаете все на свете, — сказала она чуть язвительно. — Удержать мужчину женщина может только одним способом. И запомните: важен не первый раз, когда она ложится с ним в постель, а второй. Если она после этого его удержит, значит, удержит навсегда.

— Что и говорить, вы набрались любопытных сведений.

— А я много где бываю, смотрю, слушаю и мотаю на ус.

— Если не секрет, откуда у вас эта последняя информация?

В ее улыбке была бездна лукавства.

— От одной женщины, с которой я подружилась на выставке мод. Продавщица сказала мне, что это самая шикарная кокотка в Париже, и я решила с ней познакомиться. Адриенна де Труа. Слышали про такую?

— Никогда.

— Какой пробел в вашем образовании! Ей сорок пять лет, она даже не красива, но осанка благороднее, чем у всех Эллиотовых герцогинь. Я к ней подсела и разыграла наивную молодую

американочку. Сказала, что должна с ней поговорить, потому что в жизни не видела никого более восхитительного, что она совершенна, как греческая камея.

— Ну и нахальство!

— Сперва она держалась холодно, этак «не тронь меня», но я продолжала щебетать, и она оттаяла. Мы хорошо поболтали. Когда показ окончился, я пригласила ее как-нибудь позавтракать в «Ритце». Сказала, что всегда восхищалась ее неподражаемым шиком.

— Разве вы ее и раньше видели?

— Никогда. От моего приглашения она отказалась — не хочет, мол, меня компрометировать, в Париже столько злых языков, — но ей было приятно, что я ее пригласила, и, когда она увидела, что у меня губы дрожат от огорчения, сама пригласила меня позавтракать у нее дома. А когда увидела, что я буквально сражена ее любезностью, даже потрепала меня по руке.

— И вы пошли?

— А как же. У нее премиленький домик на авеню Фош, а прислуживал нам дворецкий, вылитый Джордж Вашингтон. Я просидела у нее до четырех часов. Мы, так сказать, распустили волосы, сняли корсеты и всласть потрепались

о всяких женских делах. В тот день я столько узнала нового, что хоть книгу пиши.

— Вот бы и написали. Как раз подходящий материал для дамского журнала «Домашний очаг».

— Да ну вас, — рассмеялась она.

Я заговорил не сразу, мне хотелось что-то додумать.

— Вот не знаю, был Ларри когда-нибудь в вас влюблен или нет.

Она выпрямилась в кресле. Куда девалась светская любезность! Глаза ее метали молнии.

— То есть как? Конечно, он был в меня влюблен. Вы что же думаете, девушка не знает, когда мужчина в нее влюблен?

— Ну да, в каком-то смысле, вероятно, был. Он ни с одной девушкой не был так близко знаком. Вы вместе росли. Он не представлял себе, что может быть иначе. Жениться на вас казалось ему так естественно. И ничего особенно нового это бы в ваши отношения не внесло, только жили бы под одной крышей и спали вместе.

Изабелла, немного смягчившись, ждала продолжения, и я, зная, как любят женщины слушать рассуждения о любви, продолжал:

— Моралисты пытаются нас убедить, что половой инстинкт имеет мало общего с любовью. Они

склонны зачислить его в эпифеномены.

— О Господи, это еще что за зверь?

— Видите ли, некоторые психологи считают, что сознание сопровождает работу мозга и определяется ею, но само на нее не влияет. Представьте себе отражение дерева в воде: без дерева оно не могло бы существовать, но никакого воздействия на дерево не оказывает. На мой взгляд, утверждение, что может быть любовь без страсти, — абсурд; когда люди уверяют, что любовь может длиться, даже если страсть умерла, они имеют в виду другое: привязанность, дружбу, общность интересов и вкусов, привычку. Главное — привычку. Половые сношения могут продолжаться по привычке, вот так же у людей пробуждается голод к тому часу, когда они привыкли есть. Влечение без любви, разумеется, возможно. Влечение — это не страсть. Это — естественное проявление полового инстинкта, и значит оно не больше, чем любая другая функция животного организма. Поэтому-то и неразумны женщины, воображающие, что все пропало, когда их мужья изредка позволяют себе согрешить на стороне, если время и место тому способствуют.

— Это относится только к мужчинам?

Я улыбнулся.

— Если вы настаиваете, я готов допустить здесь полное равноправие. Единственная разница в том, что мужчин такие мимолетные связи не задевают сколько-нибудь глубоко, а женщин задевают.

— Смотря какая женщина.

Но я упорно гнул свою линию.

— Если любовь — не страсть, значит, это не любовь, а что-то другое; а страсти, чтобы не угаснуть, нужно не удовлетворение, а преграды. Как вы думаете, почему Ките призывал влюбленного на своей греческой урне не горевать? «Навеки ты влюблен, навек она прекрасна». Почему? Да потому, что она недостижима, и, сколько бы он за ней ни гнался, она всегда будет от него ускользать. Ведь оба они вмурованы в мрамор урны, боюсь — не лучшего образца своей эпохи. Ваша любовь к Ларри и его любовь к вам была проста и естественна, как любовь Паоло и Франчески или Ромео и Джульетты. К счастью для вас, она не кончилась трагедией. Вы вышли замуж за богача, а Ларри пустился бродить по свету в поисках смысла жизни. Страсть здесь была ни при чем.

— А вы откуда знаете?

— Страсть не торгуется. Паскаль сказал, что у сердца свои доводы, неподвластные рассудку.

Если я правильно его понял, смысл этих слов в том, что, когда сердцем завладевает страсть, оно находит свои доводы, не только убедительные, но и безусловно доказывающие, что для любви не жаль ничего. Оно убеждает вас, что честью пожертвовать нетрудно, что и стыд — недорогая цена. Страсть пагубна. Она погубила Антония и Клеопатру, Тристана и Изольду, Парнелла и Китти О'Ши. А если она не губит, то умирает сама. И тогда приходит горестное сознание, что лучшие годы растрачены впустую, что ты навлек на себя позор, терпел лютые муки ревности, сносил самые горькие унижения, излил всю свою нежность, все богатства твоей души на потаскушку, безмозглую дуру, тень, в которой ты воплотил свою мечту и которой вся-то цена — полушка.

Еще не закончив эту тираду, я заметил, что Изабелла меня не слушает, потому что занята другими мыслями. Но ее следующий вопрос меня удивил.

— Как вы думаете, Ларри девственник?

— Дорогая моя, ему тридцать два года.

— А я в этом уверена.

— Но на каком основании?

— Такие вещи женщина угадывает безошибочно.

— Я знавал одного молодого человека, который несколько лет имел бешеный успех, потому что уверял одну красавицу за другой, что никогда не знал женщин. По его словам, это оказывало магическое действие.

— Можете говорить что хотите, я верю в свою интуицию.

Время шло к вечеру, Изабелла и Грэй были приглашены в гости, и ей пора было одеваться. А у меня вечер оказался свободным, и я с удовольствием прошелся по весеннему бульвару Распай. В женскую интуицию я никогда особенно не верил — очень уж часто она подсказывает то, во что им хочется верить, — и теперь, вспомнив конец нашего длинного разговора с Изабеллой, я невольно рассмеялся. А заодно мне вспомнилась Сюзанна Рувье, и я сообразил, что не видел ее уже несколько дней. Если она не занята, то, вероятно, согласится пообедать со мной и сходить в кино. Я остановил проползавшее мимо такси и дал шоферу ее адрес.

VII

Сюзанна Рувье была мною упомянута в начале этой книги. Я знал ее лет десять — двенадцать, и в то время, о котором сейчас идет речь, ей, веро-

ятно, было под сорок. Красотой она не блистала, скорее наоборот. Высокого для француженки роста, с коротким туловищем, но длинноногая и длиннорукая, она держалась не очень ловко, словно не знала, куда девать свои длинные руки и ноги. Цвет волос она меняла как ей вздумается, но чаще всего он бывал каштановый с рыжеватым отливом. У нее было небольшое квадратное личико с резко выдающимися нарумяненными скулами и большой рот с густо накрашенными губами. Казалось бы — ничего привлекательного, но вот поди ж ты, а еще у нее была хорошая кожа, крепкие белые зубы и большие ярко-синие глаза. Глаза свои она ценила по достоинству и, чтобы еще усилить их прелесть, красила ресницы и веки. Взгляд у нее был зоркий, трезвый, дружелюбный, и неподдельное добродушие сочеталось в ней с изрядной долей бесстыдства. А бесстыдство при ее образе жизни было ей необходимо. Ее мать, вдова мелкого государственного чиновника, после смерти мужа вернулась в свою родную деревню в Анжу и жила на пенсию, а Сюзанну, когда той исполнилось пятнадцать лет, отдала в обучение портнихе в ближайшем городке, откуда она могла приезжать домой на воскресенье. И тут, во время двухнедельного отпуска, когда ей

было семнадцать лет, ее соблазнил один художник, приехавший в их деревню на лето писать пейзажи. Она к тому времени уже знала, что без денег ее шансы на замужество равны нулю, и, когда в конце лета художник предложил увезти ее в Париж, согласилась не задумываясь. Он поселил ее у себя в студии на Монмартре, и там она провела с ним очень приятный год.

А когда год кончился, он сказал ей, что не продал ни одного холста и больше не может позволить себе такую роскошь, как любовница. Он спросил, не хочет ли она уехать на родину, а когда она ответила, что не хочет, сказал, что ее с радостью взял бы к себе другой художник, живущий в том же доме. Человек, которого он ей назвал, уже несколько раз пытался с нею заигрывать, но она его неизменно одергивала, но так добродушно и весело, что он не обижался. Он не был ей противен, так что переезд совершился вполне мирно. Было даже удобно, что не надо тратиться на такси, чтобы перевезти ее чемодан. Ее второй любовник, намного старше первого, но еще представительный и бодрый, писал ее во всевозможных позах, одетой и обнаженной, и она прожила с ним два счастливых года. Она гордилась тем, что первого настоящего успеха он

добился с ее помощью, и позже показывала мне вырезанную из журнала репродукцию с картины, после которой о нем заговорили. Картину купили для одного из американских собраний. Сюзанна была изображена в натуральную величину, обнаженная и примерно в той же позе, как Олимпия Мане. Художник сразу усмотрел в ее фигуре нечто современное и занятное; из худощавой он сделал ее болезненно худой, еще удлинил ее длинные ноги и руки, подчеркнул выдающиеся скулы, а синим глазам придал неестественную величину. Судить о цвете по репродукции было, разумеется, невозможно, но изящество рисунка я не мог не признать. Благодаря этой картине он приобрел известность, что и позволило ему жениться на восхищавшейся им богатой вдове, и Сюзанна, искренне убежденная в том, что всякий мужчина должен думать о своем будущем, приняла конец их сердечных отношений без слова жалобы.

Но она уже знала себе цену. Ей нравилось быть близко к искусству, нравилось позировать, а после рабочего дня она с удовольствием сидела в кафе с художниками, их женами и любовницами и слушала, как они спорят о живописи, поносят торговцев и рассказывают неприличные анекдоты. И теперь, поняв, что дело идет к концу, она

заранее подготовила почву. Выбор ее пал на молодого человека, не имеющего постоянной подруги и, как ей показалось, талантливого. Она улучила минуту, когда он сидел в кафе один, обрисовала ему ситуацию и без дальних слов подала ему мысль, что хорошо бы им жить вместе.

— Мне двадцать лет, я хорошая хозяйка. Я и на хозяйстве сэкономлю, и натурщице не придется платить. Ты только посмотри на свою рубашку, просто срам на что она похожа, и в студии у тебя от пыли не продохнешь. За тобой нужен женский глаз.

Он знал, что она славный малый. Ее предложение показалось ему забавным, и, поняв, что он готов согласиться, она добавила:

— В конце концов, попробовать-то можно. Если дело не пойдет, останемся с чем были.

Как художник нового толка, он писал с нее портреты сплошь из квадратов и кубов. Писал ее с одним глазом и без рта. Писал в виде геометрического чертежа в черных, коричневых и серых тонах. Писал в виде решетки из линий, сквозь которую смутно угадывалось человеческое лицо. Она прожила с ним полтора года и ушла от него по собственной воле.

— Почему? — спросил я ее. — Разве он вам не

нравился?

— Да нет, он был славный мальчик. Но мне показалось, что он не движется вперед. Он стал повторяться.

Преемника она ему нашла без труда. Она осталась верна художникам.

— Я всегда была при живописи, — заявила она. — Один раз полгода жила со скульптором, но это совсем не то, сама даже не знаю почему.

Она с удовольствием вспоминала, что со всеми своими любовниками расставалась по-хорошему. Она была не только отличной натурщицей, но и отличной хозяйкой. Она наводила идеальный порядок во всех студиях, на какое-то время служивших ей жилищем, для нее это был вопрос чести. Она прекрасно стряпала и умела приготовить вкусное блюдо буквально за гроши. Она штопала своим сожителям носки и пришивала пуговицы к рубашкам.

«Хоть ты и художник, а неряхой ходить негоже».

Только раз у нее вышла осечка — с молодым англичанином, самым богатым из всех ее знакомых, у него даже был автомобиль.

— Но длилось это недолго, — рассказывала она. — Он часто напивался и тогда бывал

несносный. Это бы еще ладно, будь он хороший художник, но, дорогой мой, писал он безобразно. Я предупредила, что уйду от него, а он расплакался. Сказал, что любит меня. «Мой бедный друг, — сказала я ему, — любишь ты меня или нет, не имеет ровно никакого значения. Важно, что у тебя нет таланта. Уезжай-ка ты к себе в Англию и займись оптовой торговлей. На большее ты не способен».

— И что он на это сказал? — поинтересовался я.

— Вломился в амбицию и велел мне убираться вон. Но совет я ему дала правильный. Надеюсь, он меня послушался. Человек он был неплохой, но художник никудышный.

Здравый смысл и покладистый характер сильно облегчают жизненный путь женщине легкого поведения, но профессии Сюзанны, как и всякой иной профессии, присущи и взлеты, и спады. Вот, например, тот швед. Она допустила оплошность — она в него влюбилась.

— Это был юный бог, — рассказывала она. — Ростом с Эйфелеву башню, с широченными плечами, могучей грудью, а талия такая тонкая, чуть не пальцами можно обхватить, живот плоский, совсем плоский, как ладонь, и мускулы как у

боксера. У него были золотые волнистые волосы и кожа цвета меда. И писал он недурно — мазок смелый, размашистый, и очень богатая палитра.

Она захотела иметь от него ребенка. Он был против, но она сказала, что всю ответственность берет на себя. «А когда ребеночек родился, сам не мог налюбоваться. Такая прелестная была крошка — волосики светлые, глаза голубые, вся в папу».

Сюзанна прожила с ним три года.

— Он был глуповат, с ним бывало скучно, но очень был милый и уж до того красив, за это что угодно можно простить.

А потом он получил из Швеции телеграмму — отец при смерти, выезжай немедленно. Он обещал вернуться, но у нее сердце чуяло, что нет, не вернется. Он оставил ей все деньги, какие при нем были. Месяц от него не было известий, потом пришло письмо — он писал, что отец умер, дела его оказались порядком расстроены, и он считает своим долгом остаться с матерью и пойти по стопам отца — торговать лесом. Не в ее характере было предаваться отчаянию. Решив, что ребенок свяжет ей руки, она без промедления увезла дочку и десять тысяч франков к матери и препоручила то и другое ее заботам.

— У меня сердце разрывалось от горя. Я обожала девочку но, что поделаешь, приходится быть практичной.

— И что же было дальше?

— Да ничего, обошлось. Нашла себе друга.

Но потом она заболела брюшным тифом. Она всегда говорила о нем «мой брюшной тиф», как миллионер говорит «мой дом в Палм-Бич» или «мои охотничьи угодья». Она чуть не умерла, три месяца пролежала в больнице. Выписалась — кожа да кости, слабая, как мышь, а уж нервная — только и могла, что плакать с утра до ночи. И никому она в то время не была нужна, позировать у нее не хватало сил, а денег осталось всего ничего.

— О-ля-ля, — сокрушенно вспоминала она, — тяжелые настали времена, что и говорить. Хорошо хоть, друзья были. Но вы знаете, что такое художники, они и сами-то еле сводят концы с концами. Красавицей я никогда не была, что-то, конечно, во мне было, но это раньше, а тут и годы начали сказываться. И вот однажды, совершенно случайно, я встретила своего кубиста. Мы сколько лет не видались, он за это время успел жениться и развестись, покончил с кубизмом и заделался сюрреалистом. Он сказал, что я могу

ему быть полезна и вообще одному жить плохо, предложил мне кров и еду, и, будьте уверены, я не заставила себя просить.

Сюзанна жила с ним, пока не встретила своего фабриканта. Фабриканта привел в студию один их приятель в надежде, что тот пожелает купить какую-нибудь картину бывшего кубиста, и Сюзанна, загоревшись этой мыслью, постаралась принять его как можно любезнее. В тот день он ничего не купил, но попросил разрешения еще раз зайти посмотреть картины. Зашел он через две недели, и на этот раз у нее создалось впечатление, что его интересуют не столько картины, сколько она сама. На прощание, так ничего и не купив, он с излишней сердечностью пожал ей руку. На другой день тот приятель, что его привел, подстерег Сюзанну, когда она шла на рынок за провизией, и сообщил ей, что фабрикант ею пленился и просил узнать, не пообедает ли она с ним в следующий раз, когда он будет в Париже, — он хочет ей кое-что предложить.

— Что он во мне нашел, вы не знаете?

— Он увлекается современным искусством. Он видел ваши портреты. Вы его заинтриговали. Он провинциал и делец. Для него вы олицетворяете Париж — искусство, романтику, все, чего ему не

хватает в Лилле.

— А он богатый? — осведомилась она с присущей ей деловитостью.

— И даже очень.

— Ладно, пообедаю с ним. Послушаю, что он скажет, от этого вреда не будет.

Он повез ее к Максиму, это ей польстило; одета она была очень строго и, глядя на окружающих женщин, чувствовала, что вполне может сойти за респектабельную замужнюю даму. Он заказал бутылку шампанского, чем убедил ее, что понимает светское обхождение. Когда подали кофе, он изложил ей свой план, на ее взгляд, очень похвальный. Он рассказал ей, что раз в две недели приезжает в Париж на заседание правления и по вечерам ему скучно обедать одному или, если захочется женского общества, ходить в публичный дом. Он женат, у него двое детей, и для человека с его положением это как-то неудобно. Их общий знакомый все ему про нее рассказал, он знает, что она женщина тактичная. Он уже не молод и не хочет связываться с какой-нибудь легкомысленной девчонкой. Он понемножку коллекционирует картины современной школы, и ее причастность к искусству для него не безразлична. Затем он перешел к делу. Он готов снять и

обставить для нее квартиру и обеспечить ее ежемесячным доходом в две тысячи франков. Взамен за это он хотел бы раз в две недели одну ночь наслаждаться ее обществом. Сюзанна еще никогда не имела в своем распоряжении столько денег и быстро прикинула, что на такую сумму сможет не только жить и одеваться согласно требованиям своего нового положения, но и содержать дочку и кое-что отложить на черный день. Однако она ответила не сразу. Она ведь всегда состояла «при живописи», как она выражалась, и была твердо убеждена, что, становясь любовницей дельца, она себя роняет.

— C'est à prendre ou à laisser, — сказал он. — Ваше дело — принять или отказаться.

Он не вызывал у нее отвращения, а ленточка ордена Почетного легиона доказывала, что он человек заслуженный. Она улыбнулась.

— Je prends, — ответила она. — Принимаю.

VIII

До этого Сюзанна всегда жила на Монмартре, но теперь, решив, что с прошлым нужно порвать, выбрала себе квартиру на Монпарнасе, у самого бульвара. Квартира эта, состоявшая из двух комнат, крошечной кухоньки и ванной, помещалась

на шестом этаже, но в доме был лифт. А ванная и лифт — пусть даже он вмещал всего двух человек и двигался со скоростью улитки, а спускаться надо было пешком — свидетельствовали, на ее взгляд, не только о роскоши, но и о хорошем тоне.

В первые месяцы их союза мосье Ашиль Гаен, так его звали, наезжая раз в две недели в Париж, останавливался в отеле и, проведя с Сюзанной столько часов, сколько требовалось для утоления его любовных томлений, возвращался к себе в номер и спал там в одиночестве, пока не наступало время вставать, чтобы поспеть на поезд, увозивший его к повседневным трудам и тихим радостям семейной жизни; но затем Сюзанна высказалась в том смысле, что он зря тратит деньги и что для него было бы экономнее, да и удобнее, оставаться у нее до утра. Он не мог не согласиться с ее доводами. Заботливость Сюзанны его тронула — ведь и в самом деле, ничего приятного не было в том, чтобы в холодную зимнюю ночь выходить на улицу и искать такси, — и он мысленно похвалил ее за нежелание вводить его в лишние расходы. Женщина, которая ведет счет не только своим деньгам, но и деньгам своего любовника, — хорошая женщина.

Мосье Ашиль имел все основания считать, что рассудил здраво. Обедали они обычно в какомнибудь из дорогих монпарнасских ресторанов, но время от времени Сюзанна угощала его обедом дома, и ее стряпня неизменно приходилась ему по вкусу. В теплые вечера он обедал без пиджака в сладостном убеждении, что распутничает и приобщается к богеме. Он уже давно полюбил покупать картины, но Сюзанна настояла на том, что сама будет санкционировать каждую его покупку, и он скоро привык полагаться на ее суждение. С комиссионерами она не связывалась, а водила его прямо в студии художников, и, таким образом, картины обходились ему вдвое дешевле. Он знал, что она откладывает деньги, и, когда она ему сказала, что каждый год прикупает немножко земли в своей родной деревне, преисполнился гордости. Всем истинным французам, считал он, свойственно желание владеть землей, и оттого, что и ей оно оказалось не чуждо, он стал еще больше уважать ее.

Сюзанна, со своей стороны, тоже была довольна. Она и не изменяла ему, и не была верна; иными словами, она воздерживалась от долговременных связей с другими мужчинами, но, если кто приглянется, не отказывала себе в

удовольствии. Однако никому не разрешалось оставаться у нее до утра. Это, по ее мнению, было бы черной неблагодарностью по отношению к богатому и почтенному человеку, которому она была обязана своим положением обеспеченной порядочной женщины.

Я познакомился с Сюзанной, когда она жила с одним художником, моим знакомым, и не раз сидел у него в студии, пока она позировала; и позже я изредка с нею встречался, но подружились мы, только когда она переехала на Монпарнас. А тогда выяснилось, что мосье Ашиль — так она всегда его называла и за глаза, и в глаза — читал в переводе кое-какие мои книги, и однажды вечером он пригласил меня отобедать с ними в ресторане. Мосье Ашиль оказался человечком небольшого роста, на голову ниже Сюзанны, с темной седеющей шевелюрой и аккуратными седыми усиками. Был он полноват и успел отрастить брюшко, но это только придавало ему солидности. Подобно многим низеньким толстякам, он на ходу высоко поднимал голову, и было очевидно, что он вполне собою доволен. Он угостил меня прекрасным обедом. Был отменно любезен. Сказал мне, как он рад, что я старый друг Сюзанны — сразу видно, что я человек comme il faut, и он надеется, что мы

будем видеться и впредь. Его самого, увы, дела держат в Лилле, бедная девочка слишком много бывает одна, ему будет приятна мысль, что она общается с образованным человеком. Сам он промышленник, но всегда восхищался людьми искусства.

— Ah, mon cher monsieur, искусство и литература всегда составляли славу Франции. Так же, конечно, как и ее военная доблесть. И я, владелец фабрики шерстяных изделий, говорю без обиняков, что ставлю писателя и художника на одну доску с полководцем и государственным мужем.

Трудно вообразить чувства более благородные.

Сюзанна наотрез отказалась заводить прислугу — частью из соображений экономии, частью же потому, что по известным причинам не желала, чтобы кто-то совал нос в ее дела. Свою квартирку, обставленную в современном духе, она держала в чистоте и порядке, сама шила себе белье. Но все равно, поскольку она больше не позировала, у нее оставалось много свободного времени, и она, как женщина работящая, тяготилась этим. В какую-то минуту ее осенила мысль, почему бы ей, общавшейся со столькими художниками, и самой не попробовать свои силы в живописи? Не долго думая она накупила холстов, кистей и красок и

взялась за дело. Случалось, что, сговорившись вместе пообедать, я заходил к ней раньше условленного времени и заставал ее в длинной блузе, погруженной в работу. Как зародыш в чреве матери повторяет все стадии развития своего вида, так Сюзанна повторяла одно за другим пристрастия своих любовников. Она писала пейзажи, как ее пейзажист, абстрактные полотна, как ее кубист, и с помощью цветных открыток парусные лодки на причале, как ее швед. Рисунком она не владела, но цвет, несомненно, чувствовала, и хоть картины у нее получались неважные, писать их доставляло ей огромное удовольствие.

Мосье Ашиль поощрял ее занятия живописью. Близость с художницей льстила его самолюбию. По его настоянию она послала один холст на осенний салон, и оба очень гордились тем, что картина была принята и выставлена. Он преподал ей хороший совет.

— Не старайся писать, как мужчина, моя дорогая, — сказал он, — пиши, как женщина. Не стремись к силе, довольствуйся обаянием. И будь честной. В деловой жизни мошенничество иногда сходит с рук, но в искусстве честность — не только лучшая, но единственно возможная политика.

В то время, о котором я пишу, их связь длилась уже пять лет, к обоюдному удовлетворению.

— Он, конечно, меня не волнует, — говорила Сюзанна, — но он неглуп, он человек с весом. Я достигла того возраста, когда приходится думать о своем положении.

Она умела сочувствовать, умела понимать, и мосье Ашиль высоко ценил ее мнение. Она была вся внимание, когда он обсуждал с ней свои дела, финансовые и семейные. Она соболезновала ему, когда его дочь провалилась на экзамене, и радовалась вместе с ним, когда его сын обручился с богатой девушкой. Сам он женился на единственной дочери человека, подвизавшегося в той же отрасли промышленности, и слияние двух конкурирующих фирм оказалось прибыльным для обеих сторон. Его, естественно, радовало, что у его сына хватило ума понять простую истину: лучшая основа для счастливого брака — это общность деловых интересов. Он поделился с Сюзанной своей заветной мечтой выдать дочь замуж за аристократа.

— А почему бы и нет, с ее-то приданым? — сказала Сюзанна.

Свою дочь она, благодаря мосье Ашилю, смогла отдать в монастырскую школу, а после школы он

обещал за свой счет послать девушку на курсы машинописи и стенографии, чтобы ей было чем заработать себе на жизнь.

— Она, когда вырастет, будет красавицей, — сказала мне Сюзанна. — Но образование и умение стучать на машинке ей не помешают. Сейчас она еще мала, трудно сказать, но у нее может не оказаться темперамента.

Со свойственной ей деликатностью она предоставила мне самому понять, что крылось за этими словами. Я понял ее как нельзя лучше.

IX

Дней через десять после того, как я столь неожиданно встретил Ларри, мы с Сюзанной как-то вечером, пообедав в ресторане и сходив в кино, сидели в кафе «Селект» на бульваре Монпарнас и тянули пиво, как вдруг он сам появился в дверях. Сюзанна ахнула и, к моему удивлению, громко его окликнула. Он подошел к нашему столику, расцеловался с ней и пожал мне руку. На ее лице было написано крайнее изумление.

— Можно к вам подсесть? — спросил он. — Я сегодня не обедал, вот решил закусить.

— До чего же я рада тебя видеть, mon petit! — воскликнула она. — Откуда ты взялся? Почему

столько времени не подавал признаков жизни? Господи, какой ты худой! Я уж думала, может, ты умер.

— Как видишь, нет, — отвечал он с веселым блеском в глазах. — Ну, как Одетта?

Одеттой звали дочку Сюзанны.

— Растет, совсем большая стала. И хорошенькая. Она тебя помнит.

— Вы и не говорили мне, что знаете Ларри, — сказал я.

— А зачем? Я же не знала, что вы его знаете. Мы с ним старые друзья.

Ларри заказал яичницу с ветчиной. Сюзанна стала рассказывать ему о дочери, потом о себе. Он слушал ее, не прерывая, улыбаясь своей чудесной улыбкой. Она рассказала ему, что угомонилась и занимается живописью, и тут призвала меня в свидетели.

— Правда ведь, я делаю успехи? На гениальность я не претендую, но таланта у меня не меньше, чем у многих моих знакомых художников.

— И продаешь картины? — спросил Ларри.

— Мне это не нужно, — отвечала она беспечно. — У меня есть постоянный доход.

— Счастливица.

— Скажи лучше — умница. Обязательно приходи посмотреть мои картины.

Она написала ему свой адрес на клочке бумаги и взяла с него обещание прийти. Веселая, возбужденная, она болтала без умолку. И вдруг Ларри попросил счет.

— Ты что, уходишь? — вскричала она.

— Ухожу, — улыбнулся он.

Он расплатился, помахал нам рукой и ушел. Я невольно рассмеялся. Меня всегда забавляла эта его манера — сейчас он здесь, с тобой, а через минуту, без всяких объяснений, уже исчез, точно растворился в воздухе.

— Почему он так быстро ушел? — обиженно спросила Сюзанна.

— Может быть, его ждет какая-нибудь девушка, — поддразнил я ее.

— А что, очень просто. — Она открыла сумочку и напудрилась. — Жаль мне ту женщину, которая в него влюбится. О-ля-ля.

— Почему вы так говорите?

Минуту она смотрела на меня с таким серьезным выражением, какое я редко у нее видел.

— Я сама когда-то чуть в него не влюбилась. Это все равно что влюбиться в отражение в воде, или в солнечный луч, или в облако. Еще бы немнож-

ко… До сих пор как вспомню, так вся дрожу, вот какая мне грозила опасность.

К черту деликатность. Не полюбопытствовать, в чем тут дело, было бы выше человеческих сил. К счастью, ни в скрытности, ни в молчаливости Сюзанну не обвинишь.

— Как вы вообще с ним познакомились? — спросил я.

— О, это было давно. Шесть-семь лет назад, не помню точно. Одетте было лет пять. Он был знаком с Марселем, с которым я тогда жила, приходил иногда в студию и сидел, пока я позировала. Изредка приглашал нас обедать. И никогда-то, бывало, не знаешь, когда он появится. То пропадет на месяц, а то приходит три дня подряд. Марсель все звал его заходить почаще, уверял, что при нем лучше пишется. А потом меня свалил мой брюшной тиф. Очень мне туго пришлось после больницы. — Она пожала плечами. — Да это я вам уже рассказывала. Так вот однажды, когда я обошла несколько студий в поисках работы и никому не понадобилась, и с утра ничего не ела, только выпила стакан молока с рогаликом, и за комнату платить было нечем, я случайно встретила его на бульваре Клиши. Он остановился, спросил, как дела, и я ему рас-

сказала про свой брюшной тиф, а он и говорит: «Выглядишь ты неважно, подкормиться надо». И было что-то такое в его голосе и в глазах, что я не выдержала — разрыдалась.

Случилось это рядом с «Ля мер Марьетт», он взял меня за локоть, провел к столику и усадил. Я была так голодна, что, кажется, съела бы старый башмак; а когда принесли омлет, чувствую — кусок в горло не лезет. Он заставил меня немножко поесть и выпить стакан вина. Мне стало лучше, потом я и спаржи поела. Я ему все про себя рассказала. Позировать нет сил, на вид страшилище, кожа да кости, ни один мужчина на меня не польстится. Я спросила его, не даст ли он мне взаймы денег, уехать к себе в деревню. Там я хоть буду вместе с дочкой. Он спросил, хочется ли мне туда ехать, я говорю, что, конечно, нет. Маме я не нужна, она и сама-то еле-еле перебивается на свою пенсию при том, как все вздорожало, а те деньги, что я присылала для Одетты, давно кончились. Но если я к ней явлюсь, она скорей всего меня не выгонит, увидит, что я совсем больная. Он долго на меня смотрел, я уж думала — сейчас скажет, что выручить меня деньгами не может, а он сказал:

«Хочешь, отвезу тебя в одно местечко в деревне,

и тебя и малышку? Мне и самому не мешает отдохнуть».

Я не поверила своим ушам. Сколько времени его знала, и никогда он ко мне не подъезжал.

«Ты кому это говоришь? — говорю и даже засмеялась. — Мой бедный друг, я сейчас мужчинам без надобности». А он улыбнулся. Вы замечали, какая у него удивительная улыбка? Сладкая, как мед.

«Не говори глупостей, у меня этого и в мыслях нет».

Я так плакала, что слова сказать не могла. Он дал мне денег, съездить за дочкой, а потом мы втроем уехали в деревню. И в какое же место замечательное он нас привез!

Сюзанна описала мне это место. В трех милях от городка, забыл какого; они на машине приехали прямо в гостиницу. Гостиница была старенькая, стояла на реке, и лужайка тянулась от дома до самого берега. На лужайке росли платаны, они там в тени и завтракали и обедали. Летом туда приезжает много художников писать этюды, но это позже, а тогда они были единственными постояльцами. Кормили их на убой. По воскресеньям туда съезжались люди из разных мест позавтракать на воздухе, а в будни редко кто нарушал их уединение. Отдых, сытная еда и вино

сделали свое дело — Сюзанна стала поправляться и не могла нарадоваться, что дочка при ней.

— А с Одеттой уж так был мил, она его обожала. Мне приходилось ее удерживать, чтобы не лезла к нему все время, но ему она как будто и не мешала. Я смеялась, на них глядя, — точно двое ребят.

— Чем же вы заполняли время? — спросил я.

— О, всегда находилось что поделать. Брали лодку, ездили ловить рыбу, а то попросим у хозяина его «ситроен» и катим в город. Ларри там нравилось. Старые дома, площадь. Тишина такая, только и слышишь, что свои шаги по булыжнику. Там была ратуша времен Людовика Четырнадцатого и старинная церковь, а на краю города — замок с парком Ленотра. Когда сидишь в кафе на площади, кажется, что шагнула на триста лет назад, а «ситроен» у обочины как будто явился из другого мира.

После одной из таких вылазок Ларри и рассказал ей ту историю про молодого авиатора, которую я привел в начале этой книги.

— Интересно, почему он рассказал это вам, — заметил я.

— Понятия не имею. У них там во время войны был госпиталь, а на кладбище ряды и ряды маленьких крестов. Мы там побывали. Пробыли

недолго — мне жутко стало, сколько их там, и все молодые. На обратном пути Ларри почти все время молчал. У него и всегда-то был плохой аппетит, а тут за обедом почти ничего не съел. Я так хорошо все это помню — вечер был чудесный, на небе звезды, мы сидели на берегу, и тополя выделялись на фоне черноты, а он курил свою трубку. И вдруг ни с того ни с сего рассказал мне про своего друга, как тот умер, а его спас. — Сюзанна глотнула пива. — Странный он человек. Я его никогда не пойму. Он читал мне вслух. Иногда днем, когда я шила что-нибудь малышке, а то по вечерам, когда уложу ее спать.

— Что же он вам читал?

— Да разное. Письма мадам де Севинье, кое-что из Сен-Симона. Вы это можете вообразить? Я-то раньше никогда ничего не читала, только газеты да изредка какой-нибудь роман, если услышу, как его обсуждают в студии и не хочу прослыть дурой. Я понятия не имела, что читать так интересно. Эти старые писатели не так глупы, как может показаться.

— Кому это может показаться? — усмехнулся я.

— А потом он и меня заставил читать. Мы вместе читали «Федру» и «Беренику». Он читал мужские роли, а я женские. Вы себе представить

не можете, как это было здорово, — добавила она простодушно. — Он на меня так странно поглядывал, когда я плакала в трогательных местах. Плакала-то я, конечно, потому, что очень была слабая. Вы знаете, эти книжки я до сих пор храню. Даже сейчас, как начну читать некоторые из писем мадам де Севинье, которые он мне читал, так и слышу его голос и вижу, как река течет медленно-медленно, и тополя на том берегу. Иногда так сердце сожмется, что не могу дальше читать… Теперь-то я знаю, это были самые счастливые недели в моей жизни. Этот человек — сущий ангел.

Сюзанна расчувствовалась и тут же испугалась (напрасно), как бы я не стал над ней смеяться. Она пожала плечами и улыбнулась.

— Вы знаете, я уже давно решила, что как достигну того возраста, когда ни один мужчина не захочет больше со мной спать, так вернусь в лоно церкви и покаюсь в грехах. Но в тех грехах, что я совершила с Ларри, ничто не заставит меня покаяться. Никогда, никогда!

— Но послушать вас, так вам и каяться не в чем.

— А я вам еще не все рассказала. Понимаете, организм у меня крепкий, а тут я все время была

на воздухе, ела досыта, хорошо спала и забот не знала, так что недели через три уже была совершенно здорова. И выглядела хорошо — румянец вернулся, волосы опять стали блестеть. Я чувствовала себя на двадцать лет. Ларри каждое утро купался в реке, а я на него смотрела. У него прекрасное тело, не такое атлетическое, как было у моего шведа, но сильное и стройности необыкновенной.

Пока я была такая слабая, он проявлял ангельское терпение, но когда я поправилась, то подумала — к чему его дольше манежить? Раза два намекнула, что я, мол, к его услугам, да он как будто не понял. Конечно, вы, англосаксы, особенные люди — грубые и в то же время сентиментальные, любовники из вас никуда, уж это точно. Ну я и подумала: «Может, он это из деликатности. Он столько для меня сделал и девочку позволил с собой взять, может, он теперь не решается просить того, на что имеет полное право». И как-то вечером, когда мы прощались на ночь, я ему и говорю: «Хочешь, я к тебе сегодня приду?»

Я рассмеялся.

— Тут уж вы обошлись без намеков.

— К себе-то я не могла его позвать, там Одетта спала, — ответила она наивно. — Он поглядел

на меня своими этими добрыми глазами, а потом улыбнулся и говорит: «Ты сама-то хочешь прийти?»

«А ты как думаешь, брезгаю?»

«Ну так приходи».

Я зашла к себе, разделась и прокралась по коридору в его комнату. Он лежал в постели, читал и курил. Когда я вошла, отложил трубку и книгу и подвинулся, чтобы дать мне место.

Сюзанна умолкла, и мне не хотелось торопить ее вопросами. Но скоро она заговорила снова:

— Странный он был любовник. Очень ласковый, даже нежный, настоящий мужчина, но не страстный, если вы можете это понять, и без тени порочности. Точно школьник. Это было немножко смешно и немножко трогательно. Уходила я с таким чувством, словно не он должен быть мне благодарен, а я ему. А закрывая дверь, я увидела, что он уже взял свою книгу и опять читает.

Я рассмеялся.

— Очень рада, что сумела вас развеселить, — сказала она мрачно. Но она не была лишена чувства юмора и сама поперхнулась смешком. — Я очень скоро убедилась, что если буду ждать приглашений, то прожду до скончания века, и потом уже, когда захочется, просто шла к нему и

ложилась в постель. Он всегда принимал меня по-хорошему. В общем, он был наделен нормальными человеческими инстинктами, но напоминал человека, который так занят, что забывает поесть, но, если поставить перед ним вкусную еду, съест с аппетитом. Я всегда знаю, когда мужчина в меня влюблен, и дура бы я была, если б воображала, что Ларри меня любит, но думала, он ко мне привык. В жизни приходится быть практичной, и я уже прикидывала, как было бы хорошо, если бы в Париже он взял меня к себе жить. Наверно, он и девочку мне оставит, а этого мне ужасно хотелось. Чутье мне подсказывало, что влюбиться в него было бы неразумно, вы ведь знаете, какие мы, женщины, несчастные, так часто бывает, что стоит полюбить — и сама уже не вызываешь любви, и я решила быть настороже.

Сюзанна затянулась сигаретой и выпустила дым через ноздри. Было уже поздно, почти все столики опустели, но у стойки еще кое-кто толкался.

— Однажды утром, когда я сидела на берегу с шитьем, а Одетта играла в кубики, которые он ей купил, он вышел из дому и подошел к нам.

«Хочу с тобой проститься», — сказал он.

«А ты что, уезжаешь?»

«Да».

«Как, совсем?»

«Ты теперь совершенно здорова. Вот тебе деньги — дожить лето и на первое время, когда вернешься в Париж».

Я так расстроилась, что и не знала, что сказать. Он стоял передо мной и улыбался невинно, как он умеет.

«Я тебе чем-нибудь не угодила?»

«Что ты, и не думай этого. Просто мне надо работать. Мы с тобой чудесно здесь пожили. Одетта, беги сюда, простись с дядей».

Она была маленькая, ничего не понимала. Он подхватил ее на руки и расцеловал. Потом и меня поцеловал и пошел назад в гостиницу; а через минуту слышу — машина отъехала. Я поглядела на деньги, которые держала в руке, — двенадцать тысяч франков. Все случилось так быстро, что я ничего не успела ему сказать.

«Zut alors»[160], — подумала я. Счастье еще, что я не разрешила себе в него влюбиться. Но понять я, хоть убей, ничего не могла.

Мне опять стало смешно.

— Знаете ли, — сказал я, — одно время меня

---

[160] Примечания: 160
Ну и плевать (*фр.*).

считали неплохим юмористом, а все потому, что я говорил людям правду. Это казалось им так удивительно, что они думали — я шучу.

— Не вижу, при чем это.

— А при том, что Ларри, по-моему, единственный абсолютно бескорыстный человек, какого я знаю. Поэтому его поступки кажутся странными. Мы не привыкли к людям, которые что-то делают просто из любви к Богу, в которого не верят.

Сюзанна в изумлении уставилась на меня.

— Мой бедный друг, не иначе как вы выпили лишнего.

Глава пятая

I

Я не спешил заканчивать работу и уезжать из Парижа. Очень уж хорош он был весной, когда на Елисейских полях цвели каштаны и такой веселый свет озарял улицы. В воздухе была разлита радость, легкая, быстротечная радость, от которой походка становилась пружинистей, а мысли бежали быстрее. Я отлично себя чувствовал в обществе моих разнообразных друзей и, отдаваясь приятным воспоминаниям о прошлом, хотя бы мысленно воскрешал в себе горячность молодости. Не мог же я допустить, чтобы работа помешала этому наслаждению минутой, какого мне, возможно, уже никогда не испытать в такой полной мере.

С Грэем, Изабеллой и Ларри мы совершали экскурсии в разные интересные места, расположенные неподалеку. Побывали в Шантильи и Версале, в Сен-Жермене и Фонтенбло. Непременной частью всякой поездки был вкусный и обильный завтрак. Грэй съедал очень много, как того требовало его огромное тело, и, случалось,

выпивал лишнего. Может быть, ему помогло лечение Ларри, а может быть, просто время брало свое, но он, безусловно, шел на поправку. Мучительные головные боли прекратились, и в глазах уже не было той грустной растерянности, что так не понравилась мне, когда я в первый раз увидел его в Париже. Говорил он мало, разве что начнет длинно и скучно о чем-нибудь рассказывать, но, когда мы с Изабеллой болтали всякий вздор, часто разражался громким одобрительным хохотом. Казалось, он всем доволен. Человек он был неинтересный, но до того незлобивый и нетребовательный, что невольно вызывал симпатию. Провести вдвоем с таким человеком вечер едва ли заманчиво, но перспектива прожить с ним бок о бок полгода не пугает.

Радовала глаз его любовь к Изабелле. Он поклонялся ее красоте, считал ее самой блестящей, самой восхитительной женщиной в мире; и трогательна была его преданность, прямо-таки собачья преданность Ларри. А Ларри тоже, видимо, был вполне доволен жизнью. У меня создалось впечатление, что эту весну он воспринимает как передышку в своих напряженных, неведомых нам исканиях и спокойно дает себе отдохнуть. Он тоже был не особенно говорлив, но это не

имело значения, самое его присутствие стоило любого разговора. Он держался так просто, так приветливо и весело, что большего от него и не требовалось, и я уже тогда понимал, что именно благодаря ему нам всем так хорошо вместе. Он не острил, не старался блеснуть, но без него нам было бы скучно.

На обратном пути из одной нашей поездки я стал свидетелем сцены, глубоко меня поразившей. Мы побывали в Шартре и возвращались в Париж. Грэй вел машину, Ларри сидел рядом с ним, а Изабелла и я — сзади. Все мы устали от долгого дня. Ларри вытянул руку вдоль спинки переднего сиденья. От этого движения рукав его рубашки задрался, обнажив узкое запястье и часть загорелой руки, поросшей тонкими светлыми волосками, которые золотило вечернее солнце. Меня поразило молчание и неподвижность Изабеллы, и я взглянул на нее. Она сидела окаменев, словно загипнотизированная, и часто дышала. Глаза ее были прикованы к этому жилистому запястью с золотыми волосками и длинным, тонким, но крепким пальцам. Я никогда не видел, чтобы на человеческом лице была написана такая неприкрытая голодная страсть. Это была маска похоти. Я бы ни за что не поверил,

что прелестные черты Изабеллы способны выражать столь откровенную чувственность. Красота ее исчезла, лицо было уродливое и страшное. Оно наводило на мысль о животном, о суке в охоте, и мне стало нехорошо. Она не замечала меня, не замечала ничего, кроме этой руки, так непринужденно лежавшей на спинке сиденья и будившей в ней бешеное желание. Потом словно судорога прошла по ее лицу, она передернулась и отодвинулась в угол машины.

— Дайте мне сигарету, — сказала она, и я с трудом узнал ее голос, такой он был грубый и хриплый.

Я дал ей закурить. Она с жадностью затянулась, а потом всю дорогу молчала.

Доехав до дому, Грэй попросил Ларри отвезти меня в гостиницу, а потом поставить машину в гараж. Ларри пересел на его место, я сел рядом. Пересекая тротуар, Изабелла взяла Грэя под руку, прижалась к нему и одарила его взглядом, которого я не видел, но о значении которого мог догадаться. Мне подумалось, что в эту ночь ложе с ним разделит очень страстная женщина, но он никогда не узнает, какими угрызениями совести вызваны ее пылкие ласки.

Июнь подходил к концу, мне пора было домой

на Ривьеру. Знакомые Эллиота, собиравшиеся на лето в Америку, сдали Мэтюринам свою виллу в Динаре, и они должны были уехать туда с детьми, как только кончатся занятия в школе. Ларри оставался в Париже, но он уже присмотрел себе подержанный «ситроен» и обещал в августе приехать к ним на несколько дней погостить. В последний мой вечер в Париже я пригласил их всех пообедать.

И в этот-то вечер мы встретили Софи Макдональд.

II

Изабелла возымела желание поездить по злачным местам и, поскольку я был с ними немного знаком, выбрала меня в гиды. Меня эта идея не вдохновила, потому что в Париже завсегдатаи таких мест не скрывают своей враждебности к туристам из другого мира. Но Изабелла не слушала возражений. Я предупредил ее, что это будет очень скучно, и просил одеться попроще. После обеда мы на часок заехали в «Фоли-Бержер», а потом пустились в путь. Сначала я повез их в один погребок около Нотр-Дам, где собираются бандиты со своими партнершами; я был знаком с хозяином, и он освободил нам места за

длинным столом, за которым уже сидели какие-то темные личности, но я заказал вина на всю компанию, и мы дружно выпили. Было жарко, дымно и грязно. Потом я повез их в «Сфинкс», где женщины, голые под кричаще нарядными вечерними платьями, не прикрывающими грудь, сидят в ряд друг против друга на двух скамьях, а когда заиграет оркестр, вяло танцуют парами, рыская глазами по лицам мужчин, сидящих за мраморными столиками вдоль стен. Мы заказали теплого шампанского. Некоторые из женщин, проплывая мимо нас, едва заметно подмигивали Изабелле, и мне было любопытно, понимает ли она эти знаки.

Потом мы поехали на улицу Лапп. Это узкая темная улица, где вас сразу охватывает атмосфера дешевого разврата. Мы вошли в первое попавшееся кафе. Обычный молодой человек с бледным испитым лицом колотил по клавишам, второй, старый и усталый, наяривал на скрипке, а третий извлекал нестройные звуки из саксофона. Зал был битком набит, ни одного свободного столика, но хозяин, сразу распознав в нас посетителей с деньгами, без дальних слов согнал с места какую-то парочку, пристроил их за другой столик, уже занятый, и усадил нас. Те

двое, которых ради нас потеснили, обиделись и стали отпускать по нашему адресу отнюдь не лестные замечания. Танцы были в разгаре, танцевали матросы в беретах с красными помпонами, мужчины в кепи, с повязанными на шее платками, женщины зрелого возраста и совсем молоденькие, с наштукатуренными лицами, простоволосые, в коротких юбках и ярких блузках. Мужчины кружили в танце пухлых мальчиков с подведенными глазами, тощие, остролицые женщины — толстушек с крашеными волосами, были и смешанные пары. В горле першило от запаха дыма, спиртного и потных тел. Музыка звучала и звучала, и неаппетитная эта толпа, эти застывшие, блестящие от пота лица двигались по комнате с какой-то старательной торжественностью, отвратительной и страшной. Мужчины почти все были тщедушные, худосочные, лишь кое-где мелькали зверского вида верзилы. Я пригляделся к музыкантам. Играли они так, словно были не люди, а заводные механизмы, и я подумал: неужели было время, когда они, только вступая в жизнь, мечтали стать великими исполнителями, на чьи концерты публика будет съезжаться со всех концов света? Ведь, чтобы стать даже скверным скрипачом, нужно брать

уроки, постоянно упражняться, значит, и этот бедняга много потрудился, а ради чего? Чтобы целыми ночами играть фокстроты в этой вонючей дыре? Музыка смолкла, пианист вытер лоб грязным носовым платком. Танцоры рассыпались, растеклись, расползлись по своим столикам. И вдруг мы услышали американский голос:

— Господи, это надо же!

На другом конце зала поднялась с места женщина. Ее кавалер пытался ее удержать, но она оттолкнула его и нетвердой походкой двинулась через комнату. Она была очень пьяна. Подойдя к нашему столику, она остановилась, слегка покачиваясь, с бессмысленной улыбкой на лице. Как будто смешнее нас она в жизни ничего не видела. Я оглянулся на своих спутников. Изабелла смотрела на нее, не понимая. Грэй угрюмо насупился, а Ларри словно глазам своим не верил.

— Привет, — сказала она.

— Софи, — сказала Изабелла.

— А ты думала кто? — фыркнула она и схватила за рукав пробегавшего мимо официанта. — Венсан, принеси мне стул.

— Сама принесешь, — огрызнулся он, вырываясь.

— Salaud![161] — крикнула она и плюнула в него.

— T'en fais pas, Sophie![162] — сказал крупный мужчина с густой сальной шевелюрой, сидевший за соседним столиком. — Вот тебе стул.

— Это надо же, какая встреча, — сказала она, продолжая раскачиваться. — Привет, Грэй. Привет, Ларри. — Она опустилась на стул, который пододвинул ей наш сосед. — Выпьем по этому случаю. Patron! — заорала она.

Хозяин уже некоторое время на нас поглядывал и подошел сразу.

— Это твои знакомые, Софи?

— Ta gueule![163] — Она рассмеялась пьяным смехом. — Друзья детства. Я их угощаю шампанским. И не вздумай поить нас какой-нибудь лошадиной мочой. Давай чего получше, чтобы не вырвало.

— Ты пьяна, моя бедная Софи.

— Поди ты к черту.

Он удалился, радуясь случаю продать бутылку

---

[161] Примечания: 161
Подлец! (*фр.*)

[162] Примечания: 162
Перестань, Софи! (*фр.*)

[163] Примечания: 163
Заткни пасть! (*фр.*)

шампанского — до сих пор мы предусмотрительно пили только бренди с содовой. А Софи тупо уставилась на меня.

— Это кто же еще с тобой, Изабелла?

Изабелла назвала меня.

— А-а, помню, вы когда-то приезжали в Чикаго. Тонный дядечка, да?

— Есть грех, — улыбнулся я.

Я ее совершенно не помнил, да оно и неудивительно — в Чикаго я был больше десяти лет назад и столько перевидал людей и тогда, и позже.

Она была высокого роста, а стоя казалась еще выше, потому что была очень худа. На ней была ядовито-зеленая шелковая блузка, мятая и вся в пятнах, и короткая черная юбка. Волосы, коротко подстриженные и завитые, но растрепанные, отливали хной. Она была безобразно накрашена — щеки нарумянены до самых глаз, веки густо-синие; брови и ресницы слиплись от краски, губы алели помадой. А руки с ярко-розовыми ногтями были грязные. Ни одна женщина вокруг не выглядела так непристойно, и я заподозрил, что она не только пьет, но и употребляет наркотики. И все же ей нельзя было отказать в какой-то порочной привлекательности, она то и дело вызывающе вскидывала голову, и грим еще подчеркивал

необычный, светло-зеленый цвет ее глаз. Даже отупев от вина, она сохраняла какую-то бесстыдную отвагу, что, вероятно, будило в мужчинах самые низменные инстинкты. Она всех нас оптом наградила издевательской улыбкой.

— Что-то я не замечаю, чтобы вы особенно радовались нашей встрече.

— Я слышала, что ты в Париже, — отозвалась Изабелла с натянутой улыбкой.

— Что ж не позвонила? Мой номер есть в справочнике.

— Мы только недавно приехали.

Грэй поспешил на выручку.

— Ну как, Софи? Хорошо проводишь здесь время?

— Чудесно. А ты, говорят, прогорел?

Он залился багровым румянцем.

— да.

— Не повезло, значит. В Чикаго сейчас, наверно, жуткая жизнь. Хорошо, я вовремя оттуда убралась. Да что же этот сукин сын не несет выпивку?

— Вон он идет, — сказал я, заметив официанта, пробиравшегося к нам с подносом.

Услышав мой голос, она обратилась ко мне:

— Любящие мужнины родичи, так их растак,

вытурили меня из Чикаго. Я, видите ли, мараю их доброе имя. — Она залилась беззвучным смехом. — Теперь я эмигрант на пособии.

Шампанское подали и разлили. Она трясущейся рукой поднесла бокал к губам.

— К черту тонную публику. — Она осушила бокал и взглянула на Ларри. — А ты нынче что-то неразговорчив.

Он все время спокойно ее рассматривал. Не отрывал от нее глаз с той минуты, как она появилась. Теперь он ласково улыбнулся.

— Я вообще не болтливого нрава.

Снова заиграла музыка, и к нашему столику подошел мужчина — среднего роста, хорошо сложенный, с блестящей шапкой спутанных черных волос, крючковатым носом и толстыми чувственными губами: этакий грешный Савонарола. Как и большинство мужчин в кафе, он был без воротничка, в узком пиджаке, стянутом в талии.

— Пошли, Софи. Потанцуем.

— Отстань. Я занята. Не видишь, что ли, я здесь с друзьями.

— J'm en fous de tes amis. Плевать я хотел на твоих друзей. Пошли танцевать.

Он потянул ее за локоть, но она вырвала руку.

— Fous-moi la paix, espèce de con![164] — выкрикнула она в исступлении.

— Merde.

— Mange[165].

Грэй не понимал, что они говорят, но Изабелла, хорошо разбиравшаяся в непечатном лексиконе, что вообще свойственно добродетельным женщинам, поняла все прекрасно, и на лице ее застыла гадливая гримаса. Мужчина занес руку с раскрытой ладонью, мозолистой ладонью рабочего, и уже готов был залепить Софи пощечину, но тут Грэй приподнялся на стуле.

— Allez vous ong![166] — крикнул он со своим ужасающим акцентом.

Тот замер и яростно воззрился на Грэя.

— Берегись, Коко, — горько усмехнулась Софи. — Он из тебя котлету сделает.

Мужчина одним взглядом оценил рост и вес Грэя и его огромную силу. Он хмуро пожал плечами, грязно выругался и пошел прочь. Софи захихикала. Остальные молчали. Я подлил ей

---

[164] Примечания: 164
Отвяжись, ублюдок! (*фр.*)

[165] Примечания: 165
Дерьмо… Скотина (*фр.*).

[166] Примечания: 166
Уходите! (*искаж. фр.*)

шампанского.

— Живешь в Париже, Ларри? — спросила она, отставив пустой бокал.

— Пока что да.

Разговаривать с пьяными всегда трудно, особенно трезвым. Мы поболтали еще минут десять, неловко и невесело. Потом Софи отодвинулась от стола вместе со стулом.

— Пойду к своему дружку, не то он опять в бутылку полезет. Ужасный грубиян, но мужик что надо. — Она кое-как встала на ноги. — Пока, друзья. Заходите еще. Я тут каждый вечер бываю.

Она протолкалась между танцующими и скрылась из глаз. Я чуть не рассмеялся, увидев, какое ледяное презрение выражают классические черты Изабеллы. Никто не проронил ни слова. И вдруг Изабеллу прорвало:

— Гнусное место. Пошли отсюда.

Я заплатил за наши напитки и за шампанское, которое заказала Софи, и мы двинулись к выходу. Публика танцевала, никто нас не задирал. Шел третий час, на мой взгляд — самое время ложиться спать, но Грэй заявил, что он голоден, и я предложил поехать на Монмартр к «Графу», где открыто всю ночь. Ехали мы в молчании. Я сидел рядом с Грэем и показывал дорогу. Ночной

ресторан сиял огнями. Кое-кто еще сидел на террасе. Мы вошли внутрь и заказали яичницу и пива. Изабелла успела прийти в себя, во всяком случае, казалась спокойной. Она чуть насмешливо поздравила меня с тем, как хорошо я знаю парижское дно.

— Сами напросились, — сказал я.

— Мне страшно понравилось. Я замечательно провела вечер.

— Черт, — сказал Грэй. — Мерзость. Да еще Софи.

Изабелла равнодушно пожала плечами.

— Вы совсем ее не помните? — обратилась она ко мне. — Она сидела рядом с вами, когда вы в первый раз у нас обедали. Тогда волосы у нее не были такого ужасающего цвета. От природы она светлая шатенка.

Я стал припоминать тот вечер, и передо мной возникла совсем молоденькая девушка, у нее были зеленовато-голубые глаза, и она очень мило вскидывала головку. Некрасивая, но свеженькая и непосредственная, меня тогда позабавила в ней смесь застенчивости и лукавства.

— Ну конечно, вспомнил. Мне еще понравилось ее имя. У меня одну тетушку звали Софи.

— Она вышла замуж за Боба Макдональда.

— Славный был малый, — сказал Грэй.

— Он был поразительно красив. Никогда не понимала, что он в ней нашел. Она вышла замуж сразу после меня. Ее родители были в разводе, мать уехала в Китай со вторым мужем, он работал в «Стандард ойл». А она жила в Марвине с родственниками отца. Мы тогда много видались, но после замужества она как-то от нас отдалилась. Боб Макдональд был юристом, зарабатывал мало, они снимали дешевую квартирку на Северной стороне. Но дело не в этом. Они просто не хотели ни с кем видаться. Обожали друг друга. Даже когда уже были женаты два или три года и ребенок у них родился, ходили в кино и сидели там обнявшись, как влюбленные. В Чикаго про них анекдоты ходили.

Ларри слушал ее молча, лицо его было непроницаемо.

— А потом? — спросил я.

— Как-то вечером они возвращались в Чикаго в своем маленьком открытом автомобиле, и ребенок был с ними. Им всюду приходилось брать его с собой, прислуги-то не было.

Софи все делала по дому сама, да и вообще они в нем души не чаяли. И какая-то пьяная компания в огромной машине врезалась в них на скоро-

сти восемьдесят миль в час. Боб и ребенок были убиты на месте, а Софи отделалась сотрясением мозга и двумя сломанными ребрами. Смерть Боба и ребенка от нее скрывали, сколько можно было, но в конце концов пришлось сказать. Говорят, это было ужасно. Она чуть не лишилась рассудка. Кричала не переставая. За ней следили день и ночь, один раз ей чуть не удалось выброситься из окна. Мы, конечно, делали все, что могли, но она нас возненавидела. После больницы ее поместили в санаторий на несколько месяцев.

— Бедняжка.

— Когда ее выписали, она запила и, пьяная, путалась с кем попало. Родители Боба совсем с ней измучились. Они очень милые люди, очень тихие, ее поведение их ужасало. Сперва мы все старались ей помочь, но это было безнадежно. Пригласишь ее на обед, а она является пьяная, того и гляди, свалится без чувств. Потом она связалась с неприличной компанией, и нам пришлось от нее отступиться. Один раз ее арестовали за то, что нетрезвая вела машину. С ней был какой-то итальянец, которого она подцепила в кабаке, а его, оказывается, искала полиция.

— На какие же средства она жила? — спросил я.

— Получила страховку за Боба, и владельцы той машины, что в них врезалась, были застрахованы, от них ей тоже перепало. Но этого хватило ненадолго. Она швырялась деньгами, как пьяный матрос, и через два года оказалась без гроша. Взять ее домой в Марвин бабушка отказалась. Тогда родители Боба сказали, что положат ей содержание с условием, что она уедет за границу.

— История повторяется с вариантами, — заметил я. — Было время, когда неудавшихся членов семьи отправляли с моей родины в Америку, а теперь их, видимо, отправляют с вашей родины в Европу.

— Все-таки мне ее жалко, — сказал Грэй.

— В самом деле? — сухо отозвалась Изабелла. — Мне ни капельки. Конечно, это был страшный удар, я от всей души ей сочувствовала. Мы ведь знали друг друга с детства. Но нормальные люди справляются с такими вещами. Раз она пустилась во все тяжкие, значит, у нее в натуре было что-то порочное. Она всегда была неуравновешенная: даже ее любовь к Бобу была какой-то чрезмерной. Если б у нее был твердый характер, она бы так или иначе устроила свою жизнь.

— Если бы да кабы… Не слишком ли вы строги, Изабелла? — проговорил я негромко.

— Вовсе нет. Я смотрю на вещи здраво и не вижу причин проливать слезы над Софи. Видит Бог, я для Грэя и девочек на все готова, и, если бы они погибли в автомобильной катастрофе, я бы волосы на себе рвала от горя, но рано или поздно я бы взяла себя в руки. Разве ты не одобрил бы меня, Грэй? Или ты бы предпочел, чтобы я каждый вечер напивалась и спала с любым парижским апашем?

И тут Грэй произнес самую остроумную тираду, какую я когда-либо от него слышал:

— Разумеется, я бы предпочел, чтобы ты бросилась на мой погребальный костер в новом платье от Молинэ, но, поскольку сейчас это уже не принято, самое лучшее для тебя было бы, вероятно, пристраститься к бриджу. И, пожалуйста, помни, что нужно ходить только с козыря, если тебе не обеспечены три с половиной или четыре верных взятки.

Некстати было бы напоминать Изабелле, что ее любовь к мужу и детям, пусть вполне искреннюю, едва ли можно назвать страстной. Может быть, она прочла мою мысль в то мгновение, как я это подумал, потому что она тут же обратилась ко мне, словно вызывая на спор:

— Ну а вы что скажете?

— Я как Грэй, мне жаль девочку.

— Какая она девочка, ей тридцать лет.

— Должно быть, для нее со смертью мужа и ребенка наступил конец света. Должно быть, ей было все равно, что с ней станется, и она бросилась вниз головой в позорный, унизительный разврат, чтобы расквитаться с жизнью, которая обошлась с ней так жестоко. До этого она жила в раю, а когда рай кончился, не могла примириться с обыкновенной землей, населенной обыкновенными людьми, и с отчаяния ринулась прямиком в пекло. Я представляю себе, что, когда у нее отняли нектар богов, она решила взамен глушить себя джином.

— Такие вещи пишут в романах. Вздор это, вы сами знаете, что вздор. Софи валяется в грязи, потому что это ей нравится. Не она первая потеряла мужа и ребенка. Не от этого она пошла по рукам. Зло из добра не родится. Оно всегда в ней сидело. До этой катастрофы она держалась в рамках, а тут показала себя во всей красе. И нечего ее жалеть. Она всегда была такая.

За все это время Ларри не проронил ни слова. Он казался невесел, и мне подумалось, что он нас почти не слушает. И вот он заговорил, но странным, тусклым голосом, точно не с нами, а с самим

собой, и глаза его словно смотрели в туманную даль прошлого:

— Я ее помню, когда ей было четырнадцать лет, с длинными волосами, зачесанными со лба и перевязанными сзади черным бантом, с серьезным веснушчатым личиком. Она была скромная, благородная, мечтательная девочка. Читала все, что могла достать, и мы с ней говорили о книгах.

— Когда это? — спросила Изабелла, чуть нахмурившись.

— А когда ты со своей мамой ездила по гостям. Она ведь тогда жила у деда, я к ним приходил, и мы сидели под большим вязом возле их дома и читали друг другу вслух. Она увлекалась поэзией и сама писала стихи.

— В этом возрасте все пишут стихи. Очень плохие.

— Что и говорить, давно это было, да и я, вероятно, не мог судить о них правильно.

— Тебе тогда самому-то было лет шестнадцать, не больше.

— Конечно, все это было не свое, она явно подражала Роберту Фросту. Но, по-моему, для ее возраста стихи были замечательные. У нее был тонкий слух и хорошее чувство ритма. Она улавливала звуки и краски деревни, первое мягкое

дуновение весны и запах растрескавшейся земли после дождя.

— А я не знала, что она пишет стихи, — сказала Изабелла.

— Она это скрывала, боялась, что все вы будете над ней смеяться. Она была очень застенчивая.

— Это-то у нее прошло.

— Когда я вернулся с войны, она была почти взрослая. Успела много прочесть о положении рабочего класса и сама кое-что повидала в Чикаго. Начиталась Карла Сэндберга и как одержимая писала свободным стихом о страданиях бедняков и эксплуатации народных масс. Наверное, это было банально, но зато искренне, продиктовано состраданием и мечтой о лучшем будущем. В то время она собиралась посвятить себя общественной деятельности, отказаться от личной жизни, очень это было трогательно. Мне кажется, она на многое была способна. Была не глупа, не слезлива. В ней угадывалась на редкость чистая, возвышенная душа. В тот год мы с ней много общались.

Я заметил, что Изабелла слушает его с нарастающим раздражением. Ларри был далек от мысли, что он вонзил ей нож в сердце и каждым новым словом поворачивает его в ране. Но когда она

заговорила, на губах ее играла улыбка.

— Интересно, почему она именно тебе открыла свою тайну?

Ларри поднял на нее доверчивый взгляд.

— Не знаю. Она из всех вас была самая бедная, а я был сбоку припека. Я ведь и жил там только потому, что у дяди Боба была практика в Марвине. Может быть, ей казалось, что это нас как-то сближает.

Родных у Ларри не было. У большинства из нас есть хотя бы двоюродные братья или сестры, пусть мы с ними почти не знакомы, но они дают нам почувствовать себя членами человеческой семьи. Отец Ларри был единственным сыном, мать — единственной дочерью; один из его дедов, квакер, еще молодым человеком погиб в море, у другого не было ни братьев, ни сестер. Ларри был в полном смысле слова один на свете.

— А тебе не приходило в голову, что Софи в тебя влюблена?

— Нет.

— Ну и напрасно.

— Когда Ларри вернулся с войны раненым героем, половина всех девушек в Чикаго по нему вздыхала, — грубовато-добродушно вставил Грэй.

— Тут дело было серьезнее. Она на тебя только что не молилась. И ты хочешь меня убедить, что не знал этого?

— Тогда не знал и сейчас не верю.

— Наверно, думал, что она для этого слишком возвышенная?

— Я все вспоминаю худенькую девочку с бантом в волосах и серьезным личиком и как она читала оду Китса и голос у нее дрожал от слез, потому что стихи были такие красивые. Где-то она теперь?

Изабелла чуть заметно вздрогнула и бросила на него пытливый, вопрошающий взгляд.

— Да вы знаете, который час? Я прямо валюсь от усталости. Поехали домой.

III

На следующий вечер я отбыл Голубым экспрессом на Ривьеру, а дня через три наведался в Антиб к Эллиоту рассказать ему парижские новости. Выглядел он плохо. Курс лечения в Монтекатино не оправдал его ожиданий, и последующие разъезды вконец его измотали. Купель он в Венеции нашел, потом махнул во Флоренцию покупать триптих, к которому уже давно приценивался. Чтобы лично присмотреть за тем, как будут раз-

мещать эти предметы, он поехал в Понтийские болота и поселился в паршивенькой гостинице, где неимоверно страдал от жары. Его драгоценные покупки задержались в дороге, но он твердо решил не бросать начатое дело и дождался их. Когда все было наконец приведено в порядок, он остался очень доволен эффектом и сделал несколько снимков, которые и показал мне. Церковь, хоть и небольшая, производила величественное впечатление, а интерьер ее лишний раз подтверждал прекрасный вкус Эллиота.

— В Риме я видел саркофаг времен раннего христианства, прекрасной работы, долго думал, не купить ли его, но в конце концов отказался от этой мысли.

— Чего ради вам понадобился саркофаг времен раннего христианства?

— Чтобы лечь в него, милейший. Он был очень красивый и хорошо гармонировал бы с купелью, если бы установить его с другой стороны от входа. Но эти ранние христиане были какие-то недомерки, я бы в нем не поместился. Мне не улыбалось лежать до Страшного суда, подогнув колени к подбородку, как неродившийся младенец. Очень неудобная поза.

Я рассмеялся, но Эллиот продолжал совершен-

но серьезно:

— Я придумал кое-что получше. Я уже договорился, правда не без труда, но этого следовало ожидать, что меня похоронят под полом, у подножия алтарных ступеней, так что нищие крестьяне Понтийских болот, подходя к святому причастию, будут топать над моим прахом своими грубыми башмаками. Прелестная идея, вы не находите? Просто гладкая каменная плита, и на ней мое имя и даты рождения и смерти. Si monumentum quaeris, circumspice. Ну, вы знаете, «если ищешь его памятник, оглянись вокруг».

— Да, Эллиот, я знаю латынь настолько, чтобы понять заезженную цитату, — съязвил я.

— Простите меня, милейший. Я так привык к вопиющему невежеству высшего общества, я просто забыл, что говорю с писателем.

Стрела попала в цель.

— Но я вот что еще хотел вам сказать, — добавил он. — В завещании у меня все написано, но вас я прошу проследить, чтобы моя воля была исполнена. Я не хочу быть погребенным на Ривьере среди всяких отставных полковников и французских буржуа.

— Разумеется, Эллиот, я выполню вашу просьбу, но мне кажется, эти разговоры можно отложить

еще на много лет.

— Я, знаете ли, не молодею и, сказать вам по чести, чувствую, что пожил достаточно. Как это у Ландора… «Я руки грел…»

Память на стихи у меня плохая, но это коротенькое стихотворение я помнил:

Презрев людей, врагов я не имел,
Любил природу, в песнях славил Бога.
Я у камина жизни руки грел,
Огонь погас – и мне пора в дорогу.

— Вот именно, — сказал он.

Я невольно подумал, что применить эти строки к себе Эллиот мог лишь с большой натяжкой. Однако он тут же сказал:

— Здесь выражено в точности то, что я чувствую. Я мог бы только добавить, что всегда вращался в лучшем европейском обществе.

— Это нелегко было бы втиснуть в катрен.

— Высшее общество умерло. Одно время я надеялся, что Америка займет место Европы и создаст свою аристократию, к которой простонародье проникнется должным уважением, но с кризисом все эти надежды пошли прахом. Моя бедная родина становится безнадежно плебейской страной. Поверите ли, милейший, когда я последний

раз был в Америке, один шофер такси назвал меня «братец».

Но хотя Ривьера, еще не оправившаяся от катастрофы 29-го года, была не та, что прежде, Эллиот продолжал принимать гостей и ездить в гости. Раньше он всегда сторонился евреев, делая исключение только для Ротшильдов, но теперь самые пышные приемы устраивали именно представители избранного племени, а от приглашения на пышный прием Эллиот был не в силах отказаться. Он бродил среди нарядной толпы, милостиво пожимая руки и целуя ручки, но с видом растерянной отрешенности, как монарх в изгнании, несколько смущенный тем, какие люди его окружают. А между тем монархи в изгнании отлично проводили время, и пределом их честолюбивых замыслов было знакомство с какой-нибудь звездой экрана. Это современное отношение к актерам как к людям, с которыми встречаешься в свете, Эллиот тоже не одобрял; но одна ушедшая на покой актриса построила себе в ближайшем с ним соседстве роскошное жилище и держала открытый дом. Под ее кровом неделями жили министры, герцоги, титулованные дамы. Эллиот стал у нее частым гостем.

— Разумеется, это очень пестрое общество, —

говорил он. — Но можно общаться и не со всеми, а по своему выбору. К тому же она моя соотечественница, и надо ее выручать. Я не сомневаюсь, что ее постоянным гостям приятно встречаться с человеком, с которым можно говорить на одном языке.

Порой ему так явно нездоровилось, что однажды я выразил сомнение, полезно ли ему так переутомляться.

— Дорогой мой, — возразил он, — в моем возрасте я не могу отдыхать. Я не зря пятьдесят лет вращался в самых высоких кругах и давно убедился, что человека, который не появляется всюду, очень скоро забывают.

Понимал ли он, какое трагическое признание заключено в этих словах? У меня уже не хватало духу смеяться над Эллиотом; теперь он вызывал у меня не смех, а жалость. Он жил исключительно ради общества, званые вечера были его стихией, не получить приглашения было смертельной обидой, побыть одному было унижением, и он, теперь уже старик, пребывал в постоянном страхе.

Так прошло лето. Эллиот только и делал, что сновал взад и вперед по Ривьере: завтракал в Каннах, обедал в Монте-Карло, в промежутках умудрялся поспеть на званый чай или вечеринку

с коктейлями и, несмотря на усталость, тщился быть неизменно любезным, разговорчивым, приятным. Он был в курсе всех сплетен, очередной скандал становился известен ему во всех подробностях первому, если не считать лиц, непосредственно в нем замешанных. На человека, который сказал бы ему, что его существование бессмысленно и пусто, он бы воззрился в самом искреннем изумлении. Он был бы не на шутку огорчен таким проявлением плебейства.

IV

Наступила осень, и Эллиот решил съездить в Париж — посмотреть, как там Изабелла, Грэй и дети, и вообще показаться в столице. Оттуда он собирался ненадолго в Лондон, побывать у портного, а заодно навестить кое-кого из старых друзей. Я, со своей стороны, думал проехать прямо в Лондон, но он предложил довезти меня до Парижа в своем автомобиле. Поездка эта приятная, и я согласился, а согласившись, решил и сам провести в Париже несколько дней. Ехали мы не торопясь, останавливались в тех местах, где хорошо кормят. У Эллиота было что-то неладно с почками, и пил он только «Виши», но всякий раз сам выбирал для меня вино и, будучи человеком

добрым, неспособным злиться на своего ближнего за то, что тот испытывает удовольствие, которого сам он лишен, искренне радовался, когда я хвалил его выбор. Мало того, он готов был взять на себя все мои дорожные расходы, но тут уж я воспротивился. Он немного надоел мне своими рассказами о великих мира сего, с которыми ему довелось знаться, но, в общем, поездкой я остался доволен. Прелестны были ландшафты на нашем пути, уже тронутые красками ранней осени. Позавтракав в Фонтенбло, мы добрались до Парижа часам к четырем. Эллиот завез меня в мою скромную старомодную гостиницу, а сам свернул за угол, в «Ритц».

Изабелла была предупреждена о нашем приезде, так что я не удивился, что меня ждет записка от нее, а вот содержание записки меня удивило:

> *Приходите, как только приедете. Случилось что-то ужасное. Дядю Эллиота не приводите. Ради Бога, приходите как можно скорее.*

Я любопытен не меньше всякого другого, но для начала нужно было умыться и сменить рубашку, а потом уж я сел в такси и поехал на улицу Сен-Гийом. Меня провели в гостиную. Изабелла

вскочила с места.

— Куда вы запропастились? Я вас уже сколько времени жду.

Было пять часов, и я еще не успел ответить, как явился дворецкий с чаем. Изабелла, стиснув руки, нетерпеливо на него поглядывала. Я был в полном недоумении.

— Я только что приехал. Мы засиделись за завтраком в Фонтенбло.

— Господи, как он копается, с ума можно сойти, — сказала Изабелла.

Дворецкий поставил на столик поднос с чайником, сахарницей и чашками и с убийственной неторопливостью расположил вокруг него тарелки с бутербродами, тартинками и печеньем. Наконец он ушел, притворив за собою дверь.

— Ларри женится на Софи Макдональд.

— Это кто?

— Что за дурацкий вопрос! — вскричала она, гневно сверкая глазами. — Та пьяная девка, которую мы встретили в том гнусном кафе, куда вы нас затащили. И как вас угораздило повести нас в такое место? Грэй был возмущен.

— А-а, вы говорите о вашей чикагской приятельнице, — сказал я, пропустив мимо ушей ее незаслуженный упрек. — Как вы про это узнали?

— Как я могла про это узнать? Сам вчера явился сюда и сказал. Я с тех пор места себе не нахожу.

— Может, вы сядете, нальете мне чаю и расскажете все по порядку?

— Пожалуйста, все перед вами.

Она села к столу и с раздражением смотрела, как я наливаю себе чай. Я удобно устроился на диванчике у камина.

— Последнее время мы не так часто его видели, то есть после того, как вернулись из Динара; он приезжал туда на несколько дней, но остановиться у нас не захотел, жил в отеле. Приходил на пляж, играл там с детьми. Дети его обожают. Мы играли в гольф в Сен-Бриаке. Грэй как-то его спросил, видел ли он еще Софи. Он ответил — да, видел ее несколько раз. Я спросила зачем. Он говорит — по старой дружбе. Тогда я сказала: «Я бы на твоем месте не стала тратить на нее время».

А он улыбнулся, вы знаете, как он улыбается, как будто ему кажется, что вы сказали что-то смешное, хотя это вовсе не смешно, и говорит: «Но ты не на моем месте, а на своем».

Я только пожала плечами и заговорила о чем-то другом. И не думала больше об этом. Представляете себе мой ужас, когда он пришел ко мне и сказал, что они решили пожениться.

«Нет, — сказала я. — Нет, Ларри».

«Да, — сказал он, и так спокойно, точно его спросили, поедет ли он на пикник. — И прошу тебя, Изабелла, будь с ней очень ласкова».

«Ну, знаешь, это уж слишком! — сказала я. — Ты рехнулся. Она же скверная, скверная, скверная».

— А почему вы так думаете? — перебил я.

— Пьет без просыпа, путается со всякими подонками.

— Это еще не значит, что она скверная. Сколько угодно весьма почтенных граждан и напиваются регулярно, и развратничают. Это дурные привычки, все равно как кусать ногти, но, на мой взгляд, не хуже. Скверным я называю человека, который лжет, мошенничает, в ком нет доброты.

— Если вы примете ее сторону, я вас убью.

— Как они опять свиделись с Ларри?

— Он нашел ее адрес в телефонном справочнике. Зашел к ней. Она была больна, и немудрено, при таком-то образе жизни. Он привел к ней врача, приспособил кого-то ходить за ней. С этого и пошло. Он говорит, что она бросила пить. Болван несчастный, воображает, что она излечилась.

— А вы забыли, как Ларри помог Грэю? Его-то он излечил, правда?

— Это совсем другое дело. Грэй сам хотел выле-

читься. А она не хочет.

— Кто вам сказал?

— Просто я знаю женщин. Когда женщина вот так пустится во все тяжкие — кончено. Обратно дороги для таких нет. Вы что думаете, она останется с Ларри? Как бы не так, рано или поздно вырвется на волю. Это у нее в крови. Ей нужен грубый мужлан. Ее только это и волнует, только за таким она и пойдет. Ларри с нею жизни рад не будет.

— Все это очень вероятно, но я не вижу, что тут можно поделать. Ларри идет на это с открытыми глазами.

— Я ничего не могу поделать, а вот вы можете.

— Я?

— Вы ему нравитесь, он прислушивается к вашим словам. Вы единственный человек, который имеет на него влияние. Вы знаете жизнь. Пойдите к нему и скажите, что нельзя ему совершить такую глупость. Скажите ему, что он себя губит.

— А он мне скажет, что это не мое дело, и будет совершенно прав.

— Но вы ему симпатизируете, по крайней мере интересуетесь им, не можете вы допустить, чтобы он исковеркал свою жизнь.

— Его самый старый и самый близкий друг

— это Грэй. Думаю, что и он тут бессилен, но уж если кому говорить с Ларри, так это ему.

— Да ну, Грэй, — отмахнулась она.

— А знаете, это может оказаться не так уж плохо. Я знал несколько случаев — один в Испании, два на Востоке, — когда мужчины женились на проститутках. Из них получились отличные жены; они были благодарны своим мужьям за то, что те дали им прочное положение, и, уж конечно, они знали, чем угодить мужчине.

— Слушать вас тошно. Неужели вы думаете, я для того пожертвовала собой, чтобы Ларри угодил в сети закоренелой нимфоманки?

— Как это вы пожертвовали собой?

— Я отказалась от Ларри исключительно потому, что не хотела ему мешать.

— Бросьте, Изабелла. Вы отказались от Ларри ради крупных брильянтов и собольего манто.

Не успел я это сказать, как в голову мне полетела тарелка с бутербродами. Тарелку я каким-то чудом поймал, но бутерброды разлетелись по полу. Я встал и отнес тарелку обратно на стол.

— Ваш дядя Эллиот не поблагодарил бы вас, если б вы разбили его тарелку из сервиза, который делали по особому заказу для третьего герцога Дорсетского, им цены нет.

— Подберите бутерброды, — цыкнула она.

— Сами подберите, — сказал я, снова усаживаясь на диван.

Она встала и, задыхаясь от бешенства, собрала с пола ломтики хлеба, намазанные маслом.

— А еще называете себя английским джентльменом, — бросила она злобно.

— Вот уж в чем неповинен. Никогда себя так не называл.

— Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Видеть вас не могу.

— Это жаль. А мне видеть вас всегда доставляет удовольствие. Вам когда-нибудь говорили, что нос у вас в точности как у Психеи из музея в Неаполе? А ведь это одно из лучших воплощений девственной красоты. У вас чудесные ноги, длинные и стройные, я не перестаю на них дивиться, потому что, когда вы были девочкой, они были толстые и нескладные. Даже не представляю себе, как вы этого достигли.

— Железная воля и милость Божия, — буркнула она.

— Но, конечно, самое обворожительное в вас — это руки. Они такие тонкие и такие изящные.

— А мне казалось, вы считаете их слишком большими.

— По вашему росту и сложению — вовсе нет. Меня всегда поражает, с какой грацией вы ими пользуетесь. Не знаю, врожденное это или приобретенное, но каждый ваш жест исполнен красоты. Иногда ваши руки напоминают цветы, иногда это летящие птицы. Они способны выразить больше, чем любые ваши слова. Они — как руки на портретах Эль Греко. Да что там, когда я смотрю на них, я готов поверить в маловероятную теорию Эллиота, будто среди ваших предков был испанский гранд.

Она подняла на меня сердитый взгляд.

— Это еще что за новости? Первый раз слышу.

Я рассказал ей про графа Лаурия и придворную даму королевы Марии, от чьих потомков по женской линии Эллиот ведет теперь свой род. Пока я говорил, Изабелла не без самодовольства рассматривала свои длинные пальцы с блестящими розовыми ногтями.

— Все от кого-нибудь да произошли, — сказала она. Потом, скривив губы в улыбке, глянула на меня лукаво, но уже без всякой злобы и добавила: — Гнусная вы личность.

Вот так легко образумить женщину, если говорить ей правду.

— Бывают минуты, когда вы мне даже не про-

тивны, — сказала Изабелла.

Она пересела ко мне на диван, продела руку под мой локоть и потянулась поцеловать меня. Я отодвинулся.

— Не желаю, чтобы щеку мне мазали губной помадой, — сказал я. — Хотите меня поцеловать — целуйте в губы. Милосердное провидение для этого их и предназначило.

Она усмехнулась, повернула мою голову к себе и запечатлела на моих губах тонкий слой помады. Ощущение было из самых приятных.

— А теперь вы мне, может быть, скажете, что вам от меня нужно?

— Совет.

— Совет я вам дам охотно, хотя уверен, что вы его не послушаетесь. Единственное, что вы можете сделать, — это смириться с неизбежным.

Она снова вскипела, отскочила от меня и плюхнулась в кресло с другой стороны от камина.

— Не буду я сидеть сложа руки и смотреть, как Ларри себя губит. Я на что угодно пойду, а не дам ему жениться на этой твари.

— Ничего у вас не выйдет. Поймите, он во власти одного из самых сильных чувств, какие могут владеть человеческим сердцем.

— Вы хотите сказать, что, по-вашему, он в нее

влюблен?

— Это бы еще что.

— Так что же?

— Вы когда-нибудь читали Евангелие?

— Вероятно, читала.

— Помните, как Иисус поведен был в пустыню и постился там сорок дней и сорок ночей? Потом, когда он взалкал, к нему приступил дьявол и сказал: «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Но Иисус не поддался искушению. Тогда дьявол поставил его на крыле храма и сказал: «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз». Ибо ангелам было заповедано о нем. Но Иисус опять устоял. Тогда дьявол возвел его на высокую гору, и показал ему все царства мира, и сказал, что даст их ему, если он, падши, ему поклонится, но Иисус сказал: «Отыди, сатана». На этом кончает свой рассказ добрый простодушный Матфей. Но это не конец. Дьявол был хитер. Он еще раз подступился к Иисусу и сказал: «Если ты примешь позор и поругание, удары, терновый венец и смерть на кресте, ты спасешь род человеческий, ибо нет любви выше, чем у того человека, который жизнь свою отдал за друзей своих». Иисус пал. Дьявол хохотал до колик, ибо он знал, сколько зла сотворят люди во имя своего

Спасителя.

Изабелла негодующе воззрилась на меня.

— Откуда вы это взяли?

— Ниоткуда. Только что придумал.

— По-моему, это глупо и кощунственно.

— Я только хотел вам объяснить, что самопожертвование — страсть настолько всепоглощающая, что по сравнению с ней даже голод и вожделение — безделка. Она мчит своего раба к погибели в час наивысшего утверждения его личности. Предмет страсти не имеет значения: может быть, за него стоит погибать, а может быть, нет. Эта страсть пьянит сильнее любого вина, потрясает сильнее любой любви, затягивает сильнее любого порока. Жертвуя собой, человек становится выше Бога, ибо как может Бог, бесконечный и всемогущий, пожертвовать собой? В лучшем случае он может принести в жертву своего единственного сына.

— О Господи, скука какая, — сказала Изабелла.

Я оставил ее слова без внимания.

— Неужели вы думаете, что Ларри прислушается к голосу осторожности и здравого смысла, когда он одержим такой страстью? Вы не знаете, чего он искал все эти годы. Я тоже не знаю, я только догадываюсь. Все эти годы труда, весь

этот накопленный им разнообразный опыт не перетянут чашу весов теперь, когда на другую легло его желание, нет — настоятельная, жгучая потребность спасти душу падшей женщины, которую он знал невинным ребенком. Я думаю, что вы правы, я думаю, что затея его безнадежна; при его исключительно чувствительной натуре ему уготованы все муки ада; дело его жизни, в чем бы оно ни состояло, останется незавершенным. Подлый Парис убил Ахиллеса, послав стрелу ему в пятку. Ларри лишен той беспощадности, без которой даже святой не может заработать свой нимб.

— Я его люблю, — сказала Изабелла. — Видит Бог, я ничего от него не требую. Ничего не жду. Более бескорыстной любви просто не бывает. Он будет так несчастлив.

Она заплакала, и я, думая, что это ей на пользу, не стал ее утешать. Я стал лениво развлекаться той мыслью, что так неожиданно пришла мне в голову. Стал ее развивать. Как не предположить, что дьявол, окинув взором кровопролитные войны, вызванные христианством, гонения и муки, которым христиане подвергали христиан, злобу, лицемерие, нетерпимость, остался доволен итогом. И, вспоминая, что это он взвалил на

человечество тяжкое бремя сознания своей греховности, которое замутнило красоту звездной ночи и набросило грозную тень на мимолетные утехи мира, созданного для радости, он наверняка посмеивается, тихонько приговаривая: «Да, со мной шутки плохи».

Изабелла достала из сумки платок и зеркальце и осторожно приложила платок к уголкам глаз.

— Дождешься от вас сочувствия, как же, — проворчала она.

Я не ответил. Она попудрилась и подмазала губы.

— Вы сказали, что догадываетесь, чего он искал все эти годы. Чего же?

— Имейте в виду, это только догадка, очень возможно, что я ошибаюсь. Мне кажется, что он искал такой философии или, может быть, религии, которая удовлетворяла бы и его ум, и сердце.

Изабелла задумалась. Вздохнула.

— До чего же странно, что такое могло прийти в голову юному провинциалу из Марвина, штат Иллинойс!

— Не более странно, чем то, что Лютер Бербанк, родившийся на ферме в Массачусетсе, вывел сливы без косточек или что Генри Форд, родившийся

на ферме в Мичигане, изобрел «модель Т».

— Но это практичные вещи. Это вполне в американской традиции.

Я засмеялся.

— Может ли что быть практичнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом?

Изабелла устало опустила руки.

— Что я, по-вашему, должна сделать?

— Вы ведь не хотите окончательно потерять Ларри?

Она покачала головой.

— Вы знаете, до чего он принципиален. Если вы откажетесь иметь дело с его женой, он откажется иметь дело с вами. Если в вас есть хоть капля разума, вы подружитесь с Софи. Вы забудете прошлое и будете с ней очень-очень ласковы — вы это умеете, когда захотите. Она выходит замуж, вероятно, ей нужно купить кое-что из одежды. Почему бы вам не предложить поездить с ней по магазинам? Я думаю, она за это ухватится.

Изабелла слушала меня, прищурив глаза. Казалось, она вникает в каждое мое слово. Когда я кончил, она словно что-то взвесила про себя, но угадать ее мысли я не мог. А потом она меня удивила.

— Послушайте, пригласите ее на завтрак. Мне

это не совсем удобно после того, что я вчера наговорила Ларри.

— А если я соглашусь, вы обещаете хорошо себя вести?

— Как ангел, — отвечала она с самой обворожительной своей улыбкой.

— Тогда не будем откладывать.

В комнате был телефон. Я быстро узнал номер Софи и после обычных проволочек, к которым люди, пользующиеся французским телефоном, привыкают относиться терпеливо, услышал в трубке ее голос. Я назвал себя.

— Я только что приехал в Париж, — сказал я, — и узнал, что вы с Ларри решили пожениться. Хочу вас поздравить. От души желаю счастья. — Я чуть не вскрикнул, потому что Изабелла, стоявшая рядом, пребольно ущипнула меня за палец. — Я здесь очень ненадолго и хотел пригласить вас и Ларри на послезавтра позавтракать в «Ритц». Будут Грэй с Изабеллой и Эллиот Темплтон.

— Я спрошу Ларри, он здесь. — И после паузы: — Да, спасибо, с удовольствием.

Я уточнил час, добавил, чего требовала вежливость, и положил трубку. На лице Изабеллы мелькнуло выражение, немного меня насторожившее.

— О чем вы думаете? — спросил я. — Что-то мне ваше лицо не нравится.

— Жаль, а я думала, как раз мое лицо вам по вкусу.

— Уж не замышляете ли вы какую-нибудь каверзу?

Она очень широко раскрыла глаза.

— Честное слово, нет. Просто мне ужасно интересно посмотреть, как выглядит Софи после того, как Ларри наставил ее на путь истинный. Авось она хоть не явится в «Ритц» со слоем штукатурки на лице.

V

Мой маленький прием сошел недурно. Первыми приехали Грэй с Изабеллой, через пять минут после них — Ларри и Софи Макдональд. Женщины тепло расцеловались. Грэй поздравил Софи с помолвкой. Я поймал оценивающий взгляд, которым Изабелла окинула Софи с головы до ног. Сам я ужаснулся ее виду. В тот раз в кабаке на улице Лапп, безобразно накрашенная, рыжая и в ярко-зеленой кофте, она выглядела непристойно и была очень пьяна, и все-таки в ней было что-то вызывающее, какая-то низкосортная привлекательность; теперь же она казалась слинявшей и

гораздо старше Изабеллы, хотя была года на два моложе. Она все так же вскидывала голову, но теперь, не знаю почему, это производило жалкое впечатление. Она перестала красить волосы, и выглядело это неряшливо, как всегда бывает, когда крашеные волосы начинают отрастать. Лицо у нее без косметики (если не считать алого мазка на губах) было нечистое и болезненно бледное. Я помнил, какими ярко-зелеными казались тогда ее глаза, теперь они как-то выцвели и поблекли. На ней было красное платье, по всему видно — с иголочки новое; туфли, шляпа и сумочка — в тон платью. Я плохо разбираюсь в женских туалетах, но мне показалось, что одета она безвкусно и слишком нарядно для такого случая. На груди у нее сверкала стекляшками искусственного золота брошь, каких много продается на улице Риволи. Рядом с Изабеллой в черных шелках, с ниткой японского жемчуга на шее, все это выглядело аляповато и дешево.

Я заказал коктейли, но Ларри и Софи предупредили, что пить не будут. Тут появился и Эллиот. Однако его продвижение по огромному вестибюлю совершалось медленно: он то и дело встречал знакомых, одному пожимал руку, другой целовал ручку. Держался он так, словно «Ритц» — его

собственный дом и он заверяет гостей, что счастлив, что они смогли принять его приглашение. О Софи ему рассказали только то, что ее муж и ребенок погибли в автомобильной катастрофе и теперь она выходит замуж за Ларри. Добравшись наконец до нас, он поздравил обоих в изысканно учтивых выражениях, на которые был мастер. Мы прошли в ресторан, и, поскольку нас было четверо мужчин и две женщины, я посадил Изабеллу и Софи друг против друга, так, чтобы Софи оказалась между мной и Грэем; стол был круглый, небольшой, удобный для общего разговора. Завтрак я заказал заранее, и тут же к нам подошел официант с карточкой вин.

— В винах вы ничего не понимаете, милейший, — сказал мне Эллиот. — Альбер, дайте карту сюда. — Он внимательно просмотрел ее. — Сам я пью только «Виши», но не могу допустить, чтобы мои друзья пили не самые лучшие вина.

С Альбером, официантом по винам, они были старые друзья и после оживленного обсуждения совместно решили, какими винами мне следует угостить моих гостей. Затем Эллиот обратился к Софи:

— Куда вы думаете поехать в свадебное путешествие?

Он бросил взгляд на ее платье, и по тому, как чуть заметно дрогнули его брови, я понял, что мнение у него сложилось неблагоприятное.

— Мы поедем в Грецию.

— Я туда уже десять лет собираюсь, — сказал Ларри, — да все как-то не получалось.

— В это время года там, наверно, изумительно! — воскликнула Изабелла с наигранным восторгом.

Как и она, я сразу вспомнил, что именно в Грецию звал ее Ларри, когда хотел, чтобы она стала его женой. Провести медовый месяц в Греции было у него, по-видимому, навязчивой идеей.

Разговор не очень-то клеился, и мне пришлось бы нелегко, если б не Изабелла. Она вела себя безупречно. Всякий раз, как нам грозила опасность умолкнуть и я мучительно придумывал, о чем бы еще заговорить, она заполняла паузу легкой светской болтовней, и я мысленно благодарил ее. Софи, та вообще только отвечала, когда к ней обращались, да и то как будто с усилием. Куда девалась ее оживленность. Что-то в ней словно умерло, и я подумал, по силам ли ей напряжение, которого требует от нее Ларри. Если я не ошибся и она действительно не только пила, но и употребляла наркотики, то теперь, когда

она сразу лишилась того и другого, нервы у нее, должно быть, в плачевном состоянии. Время от времени они переглядывались. В его взгляде я читал нежность и желание подбодрить, в ее глазах — трогательную мольбу. Возможно, что Грэю его доброе сердце подсказало то же, что мне — привычка наблюдать, но только он стал рассказывать ей, как Ларри излечил его от головных болей, сделавших его инвалидом, и как он уверовал в Ларри, и скольким ему обязан.

— Теперь-то я совершенно здоров, — продолжал он. — Как только найду что-нибудь подходящее, приступаю опять к работе. У меня уже несколько зацепок есть, в одном месте вот-вот должно решиться. Ух, и хорошо будет вернуться домой.

Намерения у Грэя были самые добрые, но, пожалуй, ему не хватило такта — ведь тем же методом внушения (так я его для себя определил), который оправдал себя в случае с Грэем, Ларри, вероятно, пользовался, чтобы излечить Софи от тяжелого алкоголизма.

— А мигрени у вас совсем прекратились? — спросил Эллиот.

— Уже три месяца не было, а чуть мне покажется, что начинается, хватаюсь за свой талисман. — Он вытащил из кармана старинную монету,

которую дал ему Ларри. — Я с ним не расстаюсь. Я бы его и за миллион долларов не продал.

Завтрак кончился, нам подали кофе. Тот же официант подошел спросить, потребуется ли ликер. Все отказались, только Грэй пожелал выпить рюмку коньяку. Когда бутылка появилась, Эллиот ее проверил.

— Да, это я могу рекомендовать. Это вам не повредит.

— Может быть, и мосье выпьет рюмочку? — спросил официант.

— Увы, запрещено.

Эллиот рассказал ему, что у него плохо с почками, врач категорически потребовал, чтобы он отказался от спиртного.

— Капля зубровки мосье не повредила бы. Для почек, я слышал, она даже полезна. Мы только что получили партию из Польши.

— В самом деле? Она сейчас редко попадается. Ну-ка, покажите мне бутылку.

Пока официант, дородный, представительный мужчина с серебряной цепью на шее, ходил за бутылкой, Эллиот объяснил нам, что это польская разновидность водки, но гораздо более высокого качества.

— Мы, бывало, пили ее у Радзивиллов, когда

я гостил у них во время охотничьего сезона. Видели бы вы, как эти польские князья с ней расправлялись — стаканами пили, и ни в одном глазу, даю слово. Голубая кровь, конечно, аристократы до кончиков ногтей. Софи, вам нужно ее попробовать, и тебе тоже, Изабелла. Когда еще представится такой случай.

Бутылка появилась. Ларри, Софи и я не поддались искушению, но Изабелла выразила желание попробовать. Я удивился — обычно она пила очень умеренно, а тут уже выпила два коктейля и два-три стакана вина. Официант налил ей в рюмку бледно-зеленой жидкости. Она понюхала.

— Ой, как пахнет чудесно!

— А что я говорил! — воскликнул Эллиот. — Там в нее добавляют какие-то травы, они и дают этот тонкий букет. Пожалуй, выпью капельку, составлю тебе компанию. Один раз не страшно.

— Вкус божественный, — сказала Изабелла. — В жизни не пила такой прелести.

Эллиот поднес рюмку к губам.

— Так и вспоминается прежнее время. Вы, молодежь, никогда не гостили у Радзивиллов, вы не знаете, как люди жили. Совсем особенный стиль. Феодальный. Ничего не стоило вообразить, что вернулся в Средневековье. На станции вас встре-

чала карета шестеркой, с форейтором. За обедом за каждым стулом стоял ливрейный лакей.

Он еще долго расписывал роскошь и великолепие замка, блестящие вечера, которые там задавали, и у меня закралось подозрение, разумеется недостойное, что все это — результат сговора между Эллиотом и официантом, позволившего ему поразглагольствовать об этой княжеской фамилии и о сборище польских аристократов, с которыми он когда-то был на короткой ноге. Он говорил как заведенный — и вдруг предложил:

— Еще рюмочку, Изабелла?

— Ох нет, боюсь. Но вкусно до невероятия. Я так рада, что узнала про эту зубровку. Грэй, давай купим такой.

— Я распоряжусь, чтобы вам прислали несколько бутылок.

— Дядя Эллиот, неужели правда? — в упоении вскричала Изабелла. — Вы так нас балуете. Грэй, ты попробуй обязательно. Она пахнет свежим сеном, весенними цветами, тмином и лавандой, и вкус такой мягкий, нежащий, точно слушаешь музыку в лунную ночь.

Такие излияния были не в характере Изабеллы, она, очевидно, чуть-чуть опьянела. Мы стали прощаться. Я пожал руку Софи.

— Когда же свадьба? — спросил я ее.

— Через полторы недели. Надеюсь, мы вас увидим?

— К сожалению, меня уже не будет в Париже. Я завтра уезжаю в Лондон.

Пока я прощался с остальными, Изабелла отвела Софи в сторонку и о чем-то с ней пошепталась, а потом обратилась к Грэю:

— Да, знаешь, Грэй, я еще не домой. У Молинэ показывают моды, мы с Софи туда заедем. Ей не мешает посмотреть последние модели.

— Я бы с удовольствием, — сказала Софи.

Мы расстались. Вечером я угостил обедом Сюзанну Рувье, а наутро отбыл в Англию.

VI

Через две недели, как и было намечено, Эллиот приехал в отель «Кларидж», и вскоре после этого я к нему заглянул. Он уже заказал несколько костюмов и с излишними, на мой взгляд, подробностями стал мне объяснять, какие выбрал фасоны и ткани и почему. Когда я наконец смог вставить слово, я спросил его, как прошла свадьба.

— Никак не прошла, — ответил он мрачно.

— То есть?

— За три дня до назначенного срока Софи исчезла. Ларри всюду ее искал.

— Но это просто невероятно! Они что, поссорились?

— Ничего подобного. Все уже было готово. Я обещал быть посаженым отцом. Сразу после венчания они должны были уехать Восточным экспрессом. Если хотите знать мое мнение, Ларри счастливо отделался.

Я понял, что Изабелла рассказала ему все про Софи.

— Что же все-таки произошло? — спросил я.

— Ну так вот, вы помните тот день, когда мы были вашими гостями в «Ритце»? Оттуда Изабелла повезла ее к Молинэ. Вы помните, как Софи была одета? Ужас какой-то, а не платье. Вы плечи заметили? Это верный признак того, хорошо ли сшито платье — как оно сидит в плечах. Конечно, цены у Молинэ были для нее, бедняжки, недоступны, и Изабелла, вы же знаете, какая она щедрая, да к тому же они знали друг друга с детства, сказала, что подарит ей платье, чтобы она хоть венчаться могла в чем-то приличном. Она, конечно, возрадовалась. Ну, короче говоря, в один прекрасный день Изабелла просила ее заехать к ней в три часа, чтобы им вместе отправиться на послед-

нюю примерку. Софи явилась вовремя, но, как на грех, Изабелле пришлось вести одну из девочек к дантисту, так что домой она вернулась только в пятом часу, а Софи к тому времени уже ушла. Изабелла подумала, что Софи надоело ждать и она поехала к Молинэ одна, она бросилась туда, но Софи туда не приезжала. Тогда она вернулась домой. В тот день они с Ларри должны были у нее обедать. Ларри пришел вовремя, и она первым делом спросила его, где Софи.

Он очень удивился, позвонил ей домой, но никто не ответил. Он сказал, что съездит за ней. Изабелла и Грэй долго ждали их с обедом, но ни он, ни она не явились, и они пообедали вдвоем. Вы, конечно, знаете, какую жизнь вела Софи до того, как вы встретили ее на улице Лапп, очень, кстати сказать, неудачная это была затея с вашей стороны повести их туда. Так вот, Ларри всю ночь рыскал по разным притонам, где она тогда бывала, но нигде ее не нашел. Время от времени он заглядывал к ней на дом, но консьержка говорила: нет, не была. Он три дня ее разыскивал. Как в воду канула. А на четвертый день опять пошел к ней на дом, и консьержка сказала, что она приезжала, уложила чемодан и уехала в такси.

— Как Ларри, совсем был сражен?

— Я его не видел. Изабелла говорит, что, в общем, да.

— И она так и не написала, не дала о себе знать?

— Нет.

Я задумался.

— Как вы это объясняете? — спросил я.

— Дорогой мой, точно так же, как и вы. Не выдержала; опять сорвалась с цепи.

Это-то было ясно, и все-таки как-то загадочно. Почему она выбрала для бегства именно этот день?

— Как смотрит на все это Изабелла?

— Конечно, ей жаль, но она умница, по ее словам, она всегда считала, что для Ларри жениться на такой женщине было бы страшным несчастьем.

— А Ларри?

— Она к нему очень добра. Говорит, что с ним трудно, потому что он не желает обсуждать эту тему. Ничего, он это переживет; Изабелла говорит, что он никогда не был влюблен в Софи. Он только потому хотел на ней жениться, что видел в этом какое-то рыцарство.

Я представил себе, как мужественно Изабелла переносит поворот событий, безусловно доста-

вивший ей величайшее удовлетворение. Я не сомневался, что при следующей нашей встрече она мне скажет, что с самого начала знала, чем это кончится.

Но следующая наша встреча состоялась без малого через год. К тому времени я мог бы ей рассказать о Софи такое, что заставило бы ее задуматься, но обстоятельства сложились так, что у меня не было охоты рассказывать. В Лондоне я пробыл почти до Рождества, а потом меня потянуло домой, и по пути на Ривьеру я не стал останавливаться в Париже. Я засел за новую книгу и несколько месяцев прожил в полном уединении. Изредка я видался с Эллиотом. Здоровье его явно ухудшалось, и меня огорчало, что он упорствует и не хочет отказаться от светской жизни. А он обижался на меня, потому что я не ездил за тридцать миль на его приемы. Я хотел сидеть дома и работать, а он уверял, что я загордился.

— Сезон выдался просто блестящий, — говорил он мне. — Запереться в четырех стенах и пропускать все самое интересное — да это просто преступление. И почему вы решили поселиться в наименее фешенебельной части Ривьеры — этого я никогда не пойму, проживи я хоть до ста лет.

Бедный, глупый Эллиот, было ясно как день,

что до такого возраста ему нипочем не дожить.

К июню я вчерне закончил роман и разрешил себе отпуск. Упаковав небольшой чемодан, я сел на яхту, с которой мы летом купались в бухте Де-Фосс, и поплыл вдоль берега в сторону Марселя. Бриз дул слабый, с перерывами, и мы почти все время шли под мотором. Одну ночь простояли в Каннах, другую в Сент-Максиме, третью в Санари и так добрались до Тулона. К этому порту я всегда питал особую симпатию. Корабли французского военного флота придают ему вид и романтический, и веселый, по его старым улицам я готов бродить без конца. Я могу часами слоняться по набережной, глядя, как матросы, отпущенные на берег, разгуливают парами или со своими девушками, как фланируют штатские, точно у них только и дела, что греться на солнышке. Благодаря множеству кораблей и мелких суденышек, развозящих народ во все концы громадной гавани, Тулон кажется конечным пунктом, где сходятся дороги со всего света, и, сидя в кафе, ослепленный сверканием моря и неба, уносишься на крыльях воображения в самые дальние уголки земли. Пристаешь на баркасе к коралловой отмели с бахромой из кокосовых пальм где-то в Тихом океане; сходишь по трапу на пристань в Рангуне,

где тебя ждет рикша; смотришь с верхней палубы вниз на крикливую, жестикулирующую толпу негров, пока твой пароход швартуется у мола в Порт-о-Пренсе.

Мы прибыли в Тулон незадолго до полудня, и часа в три дня я сошел на берег и не спеша зашагал по набережной, разглядывая товары в витринах, людей, попадающихся навстречу, и людей, сидящих под навесами кафе и кабачков. Вдруг я увидел Софи, и в тот же миг она увидела меня. Она улыбнулась и поздоровалась. Я остановился и пожал ей руку. Она сидела одна за столиком, а перед ней стоял пустой стакан.

— Присаживайтесь, выпьем, — сказала она.

— Я угощаю, — ответил я, опускаясь на стул.

На ней была полосатая, синяя с белым, фуфайка французских матросов, ярко-красные брючки и босоножки, из которых выглядывали накрашенные ногти больших пальцев. Волосы на непокрытой голове, коротко остриженные и завитые, были цвета золота, такого бледного, что казались скорее серебряными. Намазана она была так же густо, как в тот вечер, когда мы увидели ее на улице Лапп. Судя по блюдечкам на столе, она успела пропустить не один стаканчик, но была трезва. И как будто рада меня видеть.

— Как они там все в Париже? — спросила она.

— Да, кажется, ничего. Я их не видел с того дня, когда мы вместе завтракали в «Ритце».

Она выпустила через нос целое облако дыма и рассмеялась.

— Я так и не вышла за Ларри.

— Я знаю. А почему?

— Милый мой, когда дошло до дела, я решила — нет, спасибо, не стану я разыгрывать Магдалину с таким Иисусом Христом.

— Почему вы передумали в последнюю минуту?

Она поглядела на меня с насмешкой. Задорно вскинутая голова, плоская грудь и узкие бедра, да еще этот костюм — ни дать ни взять порочный мальчишка; но надо признать, что сейчас она была куда привлекательнее, чем в том унылом красном платье с провинциальной претензией на шик, в котором я видел ее в последний раз. Лицо и шея у нее сильно загорели, и, хотя на коричневой коже румяна и наведенные черные брови выглядели особенно нагло, весь ее облик, хоть и крайне вульгарный, не лишен был известной соблазнительности.

— Рассказать?

Я кивнул. Гарсон принес мне пива, ей — бренди

с сельтерской. Она закурила от окурка предыдущей сигареты.

— Я три месяца капли в рот не брала. И не курила. — Она заметила мой удивленный взгляд и рассмеялась. — Я не про сигареты. Про опиум. Чувствовала себя ужасно. Когда оставалась одна, кричала на крик. И все повторяю, бывало: «Не выдержу я этого, не выдержу». Когда Ларри был со мной, было еще терпимо, но без него это был сущий ад.

Я смотрел на нее, а когда она упомянула про опиум, вгляделся внимательнее и заметил суженные зрачки — признак того, что теперь-то она опиум курит. Глаза ее светились зеленым блеском.

— Изабелла заказала мне подвенечное платье. Интересно, что-то с ним сталось? Очаровательное было платье. Мы сговорились, что я за ней зайду и мы поедем к Молинэ. Что говорить, в тряпках она толк знает. Ну, пришла я к ней, а ее слуга говорит, что она повела Джоуи к зубному врачу и просила передать, что скоро вернется. Я прошла в гостиную. Там еще не было убрано после кофе, и я спросила этого лакея, нельзя ли выпить чашечку. Я одним только кофе тогда и спасалась. Он сказал, что сейчас принесет, и унес пустые чашки и

кофейник. А на подносе осталась бутылка. Я посмотрела на нее, оказалось — то самое польское зелье, о котором вы все толковали в «Ритце».

— Зубровка. Да, помню, Эллиот обещал прислать ее Изабелле.

— Вы все тогда ахали, какой у нее аромат, и мне стало любопытно. Я вытащила пробку и понюхала. И верно, запах первый сорт. Я закурила. Тут вернулся лакей с кофе. Кофе тоже был хорош. Столько болтают про французский кофе, ну и пусть себе пьют на здоровье, мне подавай американский. Единственное, без чего я здесь скучаю. Но у Изабеллы кофе был недурен, я выпила чашку и сразу взбодрилась. Ну, сижу и смотрю на бутылку. Искушение было страшное, но я решила — к черту, не буду о ней думать, и опять закурила. Я думала, Изабелла вот-вот вернется, но она все не шла; я стала нервничать — терпеть не могу ждать, а в комнате и почитать было нечего. Я ходила из угла в угол, рассматривала картины, а проклятая бутылка так и стоит перед глазами. Тогда я подумала — налью в рюмку и погляжу. У нее цвет был такой красивый.

— Бледно-зеленый.

— Вот-вот. Забавно, у нее цвет точно такой, как запах. Такой цвет иногда бывает в сердцевинке

белой розы. Мне захотелось проверить: а вкус у нее тоже такой? Одна капля ведь не повредит, я хотела только пригубить, и вдруг услышала какой-то шум, подумала, что это Изабелла, и опрокинула всю рюмку, со страха, что она меня застукает. Но это оказалась не она. Ох, и как же мне хорошо стало! Ни разу так не было с тех пор, как я зареклась пить. Почувствовала, что я живая. Если б Изабелла тогда пришла, я сейчас, наверно, была бы замужем за Ларри. Интересно, что бы из этого получилось.

— А она не пришла?

— Нет. Я на нее страшно разозлилась. Заставляет меня ждать, да за кого она меня принимает? Смотрю — рюмка опять полная: наверно, я сама и налила, но, честное слово, не заметила когда. Не выливать же ее было обратно, ну, я ее и проглотила. Что и говорить, вкус замечательный. Я точно воскресла. Хотелось смеяться. Я три месяца так себя не чувствовала. Помните, тот старичок рассказывал, что видел, как в Польше ее стаканами хлещут и не пьянеют? Ну, я и подумала, неужели же я хуже какого-то польского сукина сына, и если уж платиться, так было бы за что, выплеснула остатки кофе в камин, а чашку налила до краев. Еще говорят о каком-то нектаре — подумаешь,

невидаль. Дальше я не очень помню, что было, но, когда я спохватилась, в бутылке оставалось на самом донышке. Тут я подумала, что надо смываться, пока Изабеллы нет. Она чуть меня не поймала. Только я вышла на площадку, слышу внизу голос Джоун. Я взлетела вверх по лестнице, переждала, пока они вошли в квартиру, а тогда опрометью скатилась вниз — и в такси. Велела шоферу гнать во всю мочь, а когда он спросил куда, расхохоталась ему в физиономию. Настроение у меня было — море по колено.

— И вы вернулись к себе домой? — спросил я, хотя знал ответ заранее.

— Вы что ж, думаете, я совсем уж спятила? Я же знала, что Ларри будет меня искать. Я ни в одно из своих любимых местечек не решилась толкнуться, поехала к Хакиму. Там-то, думаю, Ларри меня не найдет. И покурить хотелось.

— А что такое Хаким?

— Хаким — он алжирец и всегда может достать опиум, если есть чем заплатить. Он вам что угодно добудет — мальчика, мужчину, женщину, негра. У него всегда полдюжины алжирцев к услугам. Я провела там три дня. Не знаю уж, скольких мужчин перепробовала. — Она захихикала. — Всех цветов, размеров и видов.

Наверстала, можно сказать, потерянное время. Но, понимаете, мне было страшно. В Париже я не чувствовала себя в безопасности, боялась, как бы Ларри меня не нашел, да и деньги у меня почти все вышли, ведь этим подонкам надо платить, чтобы с тобой легли. Ну, я оттуда выбралась, заехала к себе на квартиру, сунула консьержке сто франков и велела, если меня будут спрашивать, говорить, что уехала. Уложила вещи и в тот же вечер укатила поездом в Тулон. Только здесь и вздохнула свободно.

— И с тех пор все время здесь?

— Ага, и здесь останусь. Опиума — завались, его матросы привозят с Востока, и он здесь хороший, не то дерьмо, что продают в Париже. У меня комната в гостинице. «Флот и торговля», знаете? Там, если вечером зайти, все коридоры им пропахли. — Она сладострастно потянула носом. — Приторный такой запах, едкий, сразу понятно, что во всех номерах курят, и так делается уютно. И води к себе кого хочешь. В пять часов утра стучат в дверь, чтобы морячки, кому нужно на корабль, не опоздали, так что и эта забота с тебя снята. — И вдруг, без перехода: — Я видела вашу книгу в магазине здесь, на набережной. Знай я, что вас увижу, я бы ее купила и дала вам

надписать.

Я и сам, проходя мимо книжного магазина, приметил в витрине среди других новинок недавно вышедший перевод одного из моих романов.

— Едва ли это было бы вам интересно, — сказал я.

— Почему это вы так решили? Я ведь умею читать.

— И писать, кажется, тоже?

Она глянула на меня и рассмеялась.

— Да, девчонкой писала стихи. Дрянь, наверно, была ужасная, но мне казалось, очень красиво. Вам небось Ларри рассказал. — Она примолкла. — Жизнь-то, как ни посмотри, паршивая штука, но уж если есть в ней капля радости, последним идиотом надо быть, чтобы ею не пользоваться. — Она вызывающе вскинула голову. — Так надпишете книгу, если я куплю?

— Я завтра уезжаю. Если вам в самом деле хочется, я занесу вам экземпляр в гостиницу.

— Чего же лучше.

В это время к причалу подошел военный катер, и с него хлынула на берег толпа матросов. Софи окинула их взглядом.

— А вон и мой дружок. — Она помахала кому-то. — Можете поставить ему стаканчик, а

потом катитесь. Он у меня корсиканец, ревнив до черта.

Молодой человек двинулся в нашу сторону, остановился было, увидев меня, но в ответ на приглашающий жест подошел к нашему столику. Он был высокий, смуглый, гладко выбритый, с великолепными темными глазами, орлиным носом и иссиня-черными волнистыми волосами. На вид лет двадцати, не больше. Софи представила меня как американца, друга ее детства.

— Глуп как пробка, но красив, — сказала она мне.

— Вас, я вижу, привлекает бандитский тип.

— Это вы правильно подметили.

— Смотрите, как бы вам в один прекрасный день не перерезали горло.

— Очень может быть. — Она ухмыльнулась. — Что ж, туда и дорога.

— А нельзя ли по-французски? — резко сказал матрос.

Софи обратила на него взгляд, в котором сквозила насмешка.

По-французски она говорила свободно и бойко, с сильным американским акцентом, придававшим непристойностям, которыми она уснащала свою речь, неотразимо комичное звучание.

— Я ему сказала, что ты очень красивый, а сказала по-английски, щадя твою скромность. — Она повернулась ко мне. — И он очень сильный. Мускулы как у боксера. Пощупайте.

Ее лесть мгновенно растопила угрюмость матроса, и он со снисходительной улыбкой напружил руку, так что бицепсы вздулись огромными желваками.

— Пощупайте, — сказал он. — Валяйте, щупайте.

Я послушался и выразил восхищение, которого от меня ожидали. Мы еще поболтали немного, потом я расплатился и встал.

— Мне пора.

— Приятная была встреча. Не забудьте про книжку.

— Не забуду.

Я пожал им обоим руки и пошел прочь. По дороге купил свой роман и надписал на нем имя Софи и свое. Потом, поскольку ничего лучшего не пришло мне в голову, приписал первую строку прелестного стихотворения Ронсара, вошедшего во все антологии:

«Mignonne, allons voir si la rose…»[167]

---

[167] Примечания: 167
Взгляни, любимая, на розу… (*фр.*)

Я занес книгу в гостиницу. Она стояла на набережной, и я не раз там останавливался. Когда на заре вас будит рожок, сзывающий матросов обратно на корабли, солнце поднимается из мглы над водной гладью гавани и суда, окутанные перламутровой дымкой, кажутся призраками. На следующий день мы отплыли в Касси, где я закупил вина, потом в Марсель, где нужно было забрать давно заказанный новый парус. Неделю спустя я был дома.

VII

Меня ждала записка от Жозефа, лакея Эллиота, с известием, что Эллиот заболел и хотел бы меня повидать, так что на другой день я поехал в Антиб. Прежде чем провести меня наверх в спальню, Жозеф рассказал мне, что у Эллиота был приступ уремии и врач считает его состояние тяжелым. На этот раз приступ прошел и ему лучше, но почки у него серьезно поражены и полное выздоровление невозможно. Жозеф состоял при Эллиоте сорок лет и был ему верным слугой, но, хотя говорил он печально, в его манере явно чувствовалось удовольствие, что свойственно многим слугам, когда в доме стрясется беда.

— Ce pauvre monsieur[168], — вздохнул он. — Конечно, у него были странности, но человек он был хороший. Рано ли, поздно ли, все умрем.

Послушать его, так Эллиот был уже при последнем издыхании.

— Я уверен, что он обеспечил ваше будущее, Жозеф, — сказал я сердито.

— Будем надеяться, — отозвался он скорбно.

Эллиот, к моему удивлению, выглядел молодцом. Он был бледен, очень постарел, но держался бодро. Побритый, аккуратно причесанный, он лежал в голубой шелковой пижаме, на кармашке которой была вышита его монограмма с графской короной. Та же монограмма, только крупнее, украшала уголок отвернутой на одеяло простыни.

Я справился о его самочувствии.

— Все прекрасно, — ответил он весело. — Временное недомогание, и больше ничего. Через несколько дней буду на ногах. В субботу у меня завтракает великий князь Димитрий, и я сказал моему доктору, чтобы к этому дню вылечил меня непременно.

Я провел у него полчаса и, уходя, просил Жозе-

---

[168] Примечания: 168
Бедный хозяин (*фр.*).

фа дать мне знать, если ему станет хуже. А через неделю, приехав на завтрак к одним из своих соседей, ахнул от изумления, застав его там среди других гостей. В полном параде он выглядел как живой труп.

— Не следовало бы вам выезжать, Эллиот, — сказал я.

— Глупости, милейший. Фрида пригласила принцессу Матильду, не мог же я ее подвести. Я ведь общался с итальянской королевской семьей много лет, с тех самых пор, как покойная Луиза была посланницей в Риме.

Я не знал, восхищаться ли его неукротимым духом, или грустить о том, что в свои годы, настигнутый смертельной болезнью, он все еще одержим страстью к высшему свету. Никто бы и не подумал, что он болен. Как умирающий актер, загримировавшись и выйдя на сцену, забывает на время про свои схватки и боли, так Эллиот играл свою роль царедворца с привычной уверенностью. Он был бесконечно учтив, оказывал кому следует внимание, граничащее с лестью, злословил, по своему обыкновению, лукаво и беззлобно. Никогда еще, кажется, его светские таланты не проявлялись с таким блеском. Когда ее королевское высочество отбыла (а надо было

видеть, как грациозно Эллиот ей поклонился, сочетая в этом поклоне почтение к ее высокому рангу и стариковское любование красивой женщиной), я не удивился, услышав, как хозяйка дома сказала ему, что он, как всегда, был душой общества.

Через несколько дней он опять слег, и врач запретил ему выходить из комнаты. Эллиот негодовал:

— Надо же было этому случиться именно теперь! Такого блестящего сезона давно не было.

И он долго перечислял мне важных персон, проводивших то лето на Ривьере.

Я навещал его раза два в неделю. Иногда он был в постели, иногда лежал в шезлонге, облаченный в роскошный халат. Этих халатов у него, как видно, был неистощимый запас — я ни разу не видел его в одном и том же. Однажды, уже в начале августа, он показался мне необычно молчаливым. Жозеф, открывая мне дверь, сказал, что ему как будто получше, и его вялость меня удивила. Я попробовал развлечь его какими-то местными сплетнями, но он не проявил к ним интереса. Брови его были озабоченно сдвинуты, выражение лица хмурое.

— Вы будете на рауте у Эдны Новемали? — спро-

сил он неожиданно.

— Нет, конечно.

— Она вас пригласила?

— Она всю Ривьеру пригласила.

Принцесса Новемали была сказочно богатая американка, вышедшая замуж за итальянского принца, притом не рядового князя, каких в Италии пруд пруди, а главу знатного рода, потомка кондотьера, в шестнадцатом веке отхватившего себе целое княжество. Она была вдова, лет шестидесяти, и, когда фашистское правительство замахнулось на слишком большую, по ее мнению, долю ее американских доходов, уехала из Италии и построила себе возле Канн на прекрасном участке земли флорентийскую виллу. Мрамор для облицовки стен в огромных гостиных она вывезла из Италии, художников для росписи потолков тоже выписала из-за границы. Ее картины и статуи все были высшего качества, обстановка так безупречна, что это вынужден был признать даже Эллиот, не любитель итальянской мебели. Сад был очарователен, а бассейн для плавания, должно быть, обошелся в целое состояние. Дом ее вечно был полон гостей, за стол редко когда садилось меньше двадцати человек. Теперь она задумала устроить маскарад в ночь августовского

полнолуния, и, хотя до него оставалось еще три недели, на Ривьере только и было разговоров, что об этом празднестве. Будет фейерверк, из Парижа приедет негритянский оркестр. Монархи в изгнании с завистливым восхищением сообщали друг другу, что она истратит на этот вечер больше денег, чем они могут позволить себе прожить за год.

Они говорили: «Это по-царски».

Они говорили: «Это безумие».

Они говорили: «Это безвкусица».

— Какой у вас будет костюм? — спросил меня Эллиот.

— Я же сказал вам, Эллиот, я не поеду. Не собираюсь я в мои годы нацеплять на себя маскарадный костюм.

— Она меня не пригласила, — произнес он хрипло, обратив на меня мученический взгляд.

— Пригласит, — сказал я равнодушно. — Наверно, еще не все приглашения разосланы.

— Нет, не пригласит. — Голос его сорвался. — Это умышленное оскорбление.

— Да полно вам, Эллиот. Я уверен, тут просто какой-то недосмотр.

— По недосмотру можно не позвать кого угодно, но не меня.

— Да вы и все равно не поехали бы к ней, ведь вы нездоровы.

— Обязательно поехал бы. Лучший вечер сезона! Ради такого я бы и со смертного одра поднялся. И костюм у меня есть — моего предка графа Лаурия.

Я не нашелся, что на это ответить.

— Перед вашим приходом у меня побывал Пол Бартон, — неожиданно сказал Эллиот.

Я не вправе рассчитывать, что читателю запомнился этот персонаж, — мне самому пришлось вернуться вспять, чтобы посмотреть, под каким именем я его вывел. Пол Бартон был тот молодой американец, которого Эллиот ввел в лондонское общество и который вызвал его ненависть тем, что раззнакомился с ним, когда перестал в нем нуждаться. Последнее время о нем много говорили — сперва потому, что он принял английское подданство, потом потому, что женился на дочери некоего газетного магната, получившего звание пэра. Можно было не сомневаться, что с такими связями в сочетании с собственной пробивной силой он далеко пойдет. Эллиот был вне себя.

— Всякий раз, как я просыпаюсь среди ночи и слышу, как мышь скребется за обшивкой стены,

я говорю себе: «Это Пол Бартон лезет в гору». Помяните мое слово, милейший, он еще пролезет в палату лордов. Хорошо, что я до этого не доживу.

— Что ему было нужно? — спросил я, так как знал не хуже Эллиота, что этот молодой человек зря утруждать себя не станет.

— Я вам скажу, что ему было нужно, — прорычал Эллиот. — Он хотел, чтобы я дал ему надеть мой костюм графа Лаурия.

— Ну и нахальство!

— Вы понимаете, что это значит? Это значит, что он знал, что Эдна не пригласила меня и не собирается приглашать. Это она его надоумила. Старая стерва! Что бы она без меня делала? Я устраивал для нее вечера, я познакомил ее со всеми, кого она знает. Спит со своим шофером, это-то вам, конечно, известно. Гадость какая! А он тут сидел и рассказывал мне, что в саду готовится иллюминация и фейерверк будет. Я люблю фейерверки. И еще сообщил мне, что Эдну осаждают просьбами о приглашениях, но она всем отказывает, потому что хочет, видите ли, чтобы сборище было самое избранное. А обо мне как будто и речи не могло быть.

— И что же, дадите вы ему надеть ваш костюм?

— Еще чего! И не подумаю. Я в этом костюме в гроб лягу. — Эллиот сел в постели и стал раскачиваться и причитать, как женщина. — Это так жестоко. Я их ненавижу. Всех ненавижу. Когда я мог их принимать, они со мной носились, а теперь я старый, больной, никому не нужен. С тех пор как я слег, о моем здоровье и десять человек не справилось, и за всю эту неделю — один-единственный несчастный букет. Я ничего для них не жалел. Они ели мои обеды, пили мое вино. Я исполнял их поручения. Устраивал для них приемы. Наизнанку выворачивался, лишь бы им услужить. И что за это имею? Ничего, ничего, ничего. Им и дела нет, жив я или умер. О, как это жестоко! — Он заплакал. Крупные тяжелые слезы скатывались по морщинистым щекам. — И зачем, зачем только я уехал из Америки!

Страшное это было зрелище: старик, одной ногой в могиле, плачет, как ребенок, потому что его не пригласили на праздник, — неприличное зрелище и в то же время нестерпимо жалкое.

— Не горюйте, Эллиот, — сказал я, — может, еще в тот день будет дождь. Это ей все карты спутает.

Он ухватился за мои слова, как вошедший в поговорку утопающий за соломинку. Стал хихикать сквозь слезы.

— Об этом я не подумал. Буду теперь молиться, чтобы пошел дождь. Вы правы, это ей все карты спутает.

Мне удалось отвести его суетные мысли в другое русло, и, когда я уходил, он был если не весел, то спокоен. Но я-то не мог на этом успокоиться и, вернувшись домой, позвонил Эдне Новемали, сказал, что буду сегодня в Каннах, и попросил разрешения заехать к ней позавтракать. Она велела мне передать, что будет рада меня видеть, но больше никого к завтраку не ждет. Тем не менее я застал у нее человек десять гостей. Она была неплохая женщина, щедрая и гостеприимная, единственным серьезным ее недостатком был злой язык. Даже о близких друзьях она говорила бог знает что, но делала это по глупости, не зная, как иначе обратить на себя внимание. Словечки ее передавались из уст в уста, в результате чего жертвы ее злословия переставали с ней знаться; но в доме у нее бывало весело и сытно, и, как правило, они почитали за лучшее не помнить зла. Мне не хотелось прямо обращаться к ней с просьбой пригласить Эллиота, это было бы слишком для него унизительно, и я выжидал, как повернется дело. За завтраком только и разговоров было что о предстоящих торжествах.

— Вот Эллиоту и представится случай пощеголять в своем испанском костюме, — ввернул я как мог небрежно.

— А я его не приглашала, — сказала она.

Я изобразил удивление:

— Почему?

— А чего ради? Он уже, можно сказать, вышел в тираж. Скучный человек и к тому же ужасный сноб и сплетник.

Я подумал, что это уж слишком, что она безнадежно глупа, — ведь все эти обвинения можно было с тем же успехом отнести к ней самой.

— А кроме того, — добавила она, — я хочу, чтобы его костюм надел Пол Бартон. Это будет просто божественно.

Больше я ничего не сказал, но решил любыми средствами раздобыть для бедного Эллиота желанное приглашение. После завтрака Эдна увела своих гостей в сад, и я не замедлил этим воспользоваться. Когда-то я гостил в этом доме несколько дней и помнил расположение комнат. Я не сомневался, что пригласительных карточек осталось еще сколько угодно и что они находятся в комнате секретаря. Туда я и направился с намерением стянуть карточку и сунуть в карман, а потом вписать в нее имя Эллиота и опустить

в ящик. Поехать он все равно не поедет, где уж там, ему бы только получить приглашение. Я открыл дверь и замер на пороге — секретарша Эдны сидела на своем месте, а я-то думал, что она еще в столовой. Это была немолодая шотландка по имени мисс Кейт, рыжеватая, веснушчатая, в пенсне и по виду — убежденная девственница. Я собрался с духом.

— Принцесса повела всю компанию смотреть сад, а я подумал — загляну к вам выкурить папироску.

— Милости просим.

Мисс Кейт говорила с шотландским акцентом и, когда давала волю суховатому юмору, который приберегала для избранных, подчеркивала этот акцент, так что шутки ее звучали ужасно забавно; но стоило вам рассмеяться, как она бросала на вас удивленный и обиженный взгляд, словно с вашей стороны было очень неумно усмотреть в ее словах что-то смешное.

— С этим праздником у вас, наверно, работы невпроворот, мисс Кейт, — сказал я.

— Да уж хватает, совсем с ног сбилась.

Зная, что ей можно довериться, я перешел прямо к делу.

— Почему старуха не пригласила мистера Тем-

плтона, мисс Кейт?

Мисс Кейт разрешила своим строгим чертам на миг смягчиться улыбкой.

— Вы же ее знаете. У нее зуб на него. Она сама вычеркнула его имя из списка.

— А он ведь при смерти. Ему уже не подняться. И он глубоко уязвлен таким пренебрежением.

— Если ему хотелось сохранить с принцессой добрые отношения, не стоило болтать направо и налево, что она спит со своим шофером. У него жена и трое детей.

— А это правда?

Мисс Кейт глянула на меня поверх пенсне.

— Я работаю секретарем двадцать один год, сэр, и взяла за правило полагать, что все мои работодатели чисты, как первый снег. Правда, когда одна из моих знатных леди оказалась на третьем месяце, при том, что милорд уже шесть месяцев как охотился на львов в Африке, вера моя сильно поколебалась, но тут она совершила коротенькую поездку в Париж — очень, надо сказать, дорогостоящую поездку, — и все кончилось хорошо. И у миледи, и у меня как гора с плеч свалилась.

— Мисс Кейт, я пришел сюда не выкурить папиросу, а стащить пригласительный билет, чтобы послать его мистеру Темплтону.

— Это было бы весьма непохвально.

— Согласен. Смилуйтесь, мисс Кейт, дайте мне карточку. Он не приедет, а счастлив будет безмерно. Ведь вы ничего против него не имеете?

— Нет, он всегда был со мной вполне вежлив. Он настоящий джентльмен, чего нельзя сказать про большинство людей, которые являются сюда набивать себе брюхо на деньги ее светлости.

У всякой важной особы есть в подчинении кто-то, к чьим словам она прислушивается. Эти подчиненные очень чувствительны к малейшей обиде и, если обойтись с ними не так, как они, по их понятиям, того заслуживают, способны вас возненавидеть и с помощью упорных нелестных намеков настроить против вас своих патронов. Эллиот знал это как нельзя лучше, и у него всегда находилось ласковое слово и дружелюбная улыбка для бедной родственницы, старой горничной или доверенного секретаря. Я был уверен, что он частенько занимал мисс Кейт легкой светской беседой и не забывал прислать ей к Рождеству коробку конфет или нарядную сумочку.

— Ну же, мисс Кейт, будьте человеком!

Мисс Кейт поправила пенсне на своем внушительном носу.

— Вы, конечно же, не хотите толкнуть меня на

бесчестный поступок, мистер Моэм, не говоря уже о том, что эта старая корова даст мне расчет, если узнает, что я ее ослушалась. Карточки лежат на столе, каждая в конверте. Мне хочется поглядеть в окно — размяться, а то ноги затекли от долгого сидения, да и просто полюбоваться видом. Ну а за то, что делается у меня за спиной, с меня ни Бог, ни человек не спросят.

Когда мисс Кейт вернулась на свое место, конверт с приглашением лежал у меня в кармане.

— Рад был повидать вас, мисс Кейт, — сказал я, протягивая ей руку. — В чем вы думаете появиться на маскараде?

— Я дочь священника, сэр, — отвечала она. — Такие легкомысленные забавы я предоставляю высшим классам. После того как я прослежу, чтобы репортеров «Геральда» и «Мейл» накормили ужином и подали им бутылку шампанского, но не самого лучшего, какое есть у нас в погребах, мои обязанности будут закончены, и я удалюсь в свою спальню, где смогу без помехи насладиться детективным романом.

VIII

Дня через два, когда я снова навестил Эллиота, он весь сиял от радости.

— Вот, — сказал он. — Получил приглашение. Пришло сегодня утром.

Он достал карточку из-под подушки и показал мне.

— Я же вам говорил, — сказал я. — Ваша фамилия начинается на «Т». Очевидно, секретарша только что добралась до нее.

— Я еще не ответил. Отвечу завтра.

На одно мгновение я испугался.

— Хотите, я отвечу за вас? И опущу, когда выйду.

— Нет, зачем же. Я вполне способен сам отвечать на приглашения.

К счастью, подумал я, конверт вскроет мисс Кейт, и у нее хватит ума утаить его от Эдны.

Эллиот позвонил.

— Хочу показать вам мой костюм.

— Вы что, в самом деле собираетесь ехать?

— Конечно. Я не надевал его с бала у Бьюмонтов.

На звонок явился Жозеф, и Эллиот велел ему принести костюм. Он хранился в большой плоской картонке, обернутый папиросной бумагой. Длинное белое шелковое трико, короткие панталоны из золотой парчи с разрезами, подшитыми белым атласом, такой же камзол, плащ, огромный

стоячий плоёный воротник, плоская бархатная шапка и длинная золотая цепь, с которой свисал орден Золотого руна. Я узнал роскошное одеяние Филиппа II на портрете Тициана в Прадо и, когда Эллиот сообщил мне, что это точная копия того костюма, в котором граф Лаурия присутствовал на бракосочетании испанского короля с королевой Англии, невольно подумал, что на этот раз он безусловно дал волю воображению.

На следующее утро меня позвали к телефону. Звонил Жозеф — ночью у Эллиота опять был приступ, и врач, которого тут же вызвали, не уверен, доживет ли он до вечера. Я поехал в Антиб. Эллиот был без сознания. До сих пор он упорно отказывался от сиделки, но сейчас у его постели дежурила женщина, к счастью, присланная врачом из английской больницы, что находится между Ниццей и Болье. Я вышел послать телеграмму Изабелле. Они всей семьей проводили лето на недорогом приморском курорте Л а-Боль. Путь был не близкий, я опасался, что они уже не застанут Эллиота в живых. Если не считать двух братьев Изабеллы, которых он не видел много лет, другой родни у него не было.

Но воля к жизни была в нем сильна, — а может, подействовали лекарства, — только попозже он

пришел в себя. Совершенно разбитый, он еще бодрился и для развлечения стал задавать сиделке нескромные вопросы о ее половой жизни. Я пробыл у него почти до вечера, а на следующее утро приехал опять и застал его слабым, но довольно бодрым. Сиделка впустила меня к нему совсем ненадолго. Меня беспокоило, что я не получаю ответа на свою телеграмму. Послал я ее на Париж, потому что не знал их адреса в Л а-Боль, и теперь боялся, что консьержка ее не переслала. Только через два дня они известили меня, что выезжают. Оказалось, что они, как на грех, совершали автомобильную поездку по Бретани, а телеграмма ждала их дома. Я посмотрел расписание — они могли приехать не раньше, чем через тридцать шесть часов.

Наутро Жозеф позвонил мне очень рано. Эллиот провел беспокойную ночь и требует меня. Я тотчас поехал. Жозеф встретил меня на пороге.

— Мосье не против, если я заговорю об одном деликатном деле? — сказал он мне. — Я-то, конечно, неверующий, я считаю, что вся эта религия — просто сговор духовенства, чтобы держать народ в подчинении, но мосье знает, что такое женщины. Моя жена и горничная в один голос твердят, что нашему бедному хозяину надо при-

частиться перед смертью, а времени, как видно, осталось мало. — Он бросил на меня смущенный взгляд. — Да и кто знает, может, оно и лучше, когда придет твой час, уладить отношения с церковью.

Я отлично понял его. Большинство французов, какие бы насмешки они себе ни позволяли, стремятся под конец помириться с религией, которая вошла им в плоть и кровь.

— И вы хотите, чтобы я с ним об этом поговорил?

— Если бы мосье был так любезен.

Задача эта мне не улыбалась, но Эллиот как-никак уже много лет был набожным католиком, так почему бы ему не выполнить предписаний своей религии? Я поднялся к нему в спальню. Он лежал на спине, бледный и изможденный, но в полном сознании. Я попросил сиделку оставить нас одних.

— Боюсь, вы серьезно больны, Эллиот, — сказал я. — Я подумал… может, вы хотите повидать священника?

С минуту он смотрел на меня молча.

— Вы хотите сказать, что я скоро умру?

— Ну что вы, будем надеяться на лучшее. Но как знать, что может случиться.

— Понимаю.

Он умолк. Очень это страшно, когда приходится говорить человеку то, что я сказал Эллиоту. Я не мог смотреть на него. Стиснул зубы, чтобы не заплакать. Я сидел на краю его постели молча, лицом к нему, опершись на вытянутую руку.

Он слабо похлопал меня по руке.

— Не огорчайтесь, мой дорогой. Вы же знаете, noblesse oblige.

Я истерически рассмеялся.

— Чудак вы, Эллиот.

— Вот так-то лучше. А теперь позвоните епископу и передайте, что я желаю исповедаться и причаститься святых тайн. Я буду ему признателен, если он пошлет ко мне аббата Шарля. Мы с ним друзья.

Аббат Шарль был старший викарий епископа, о котором я уже упоминал. Я спустился к телефону, меня соединили с самим епископом.

— Это срочно? — спросил он.

— Очень.

— Я займусь этим незамедлительно.

Приехал доктор, и я рассказал ему, что предпринял. Он вместе с сиделкой прошел к Эллиоту, а я остался ждать внизу, в столовой. Езды от Ниццы до Антиба всего двадцать минут, и немногим

более чем через полчаса к подъезду подкатил черный закрытый автомобиль. В столовую заглянул Жозеф.

— C'est Monseigneur en personne, monsieur, — сообщил он взволнованно. — Это сам епископ.

Я вышел его встретить. Сопровождал его почему-то не старший викарий, а совсем молодой аббат, несший шкатулку, в которой, очевидно, находились сосуды, нужные для совершения таинства. Следом шофер тащил старый черный чемодан. Епископ протянул мне руку и представил своего помощника.

— Как чувствует себя наш бедный друг?

— Он очень, очень плох, монсеньор.

— Не откажите в любезности указать нам комнату, где облачиться.

— Вот здесь столовая, монсеньор, а гостиная на втором этаже.

— Благодарю, мы устроимся в столовой.

Мы с Жозефом остались ждать в холле. Вскоре дверь отворилась, и вышел епископ, а за ним аббат нес в обеих руках потир, накрытый тарелкой, на которой лежала освященная облатка. Поверх была накинута салфетка из тончайшего, прозрачного батиста. До сих пор я видел епископа только за обеденным столом и помнил, что

едок он был хоть куда, отдавал должное хорошему вину и со смаком рассказывал анекдоты, иногда весьма рискованные. Он виделся мне как крепкий, коренастый мужчина среднего роста. Сейчас, в стихаре и епитрахили, фигура у него была не только высокая, но величественная. Его красное лицо, обычно игравшее лукавыми, хоть и не злобными улыбками, было невозмутимо и важно. В нем ничего не осталось от кавалерийского офицера, которым он некогда был; сейчас он казался тем, чем и был на самом деле, — крупным церковным сановником. Меня не удивило, что Жозеф при его появлении перекрестился. Епископ в ответ чуть заметно склонил голову.

— Проводите меня к страждущему, — сказал он.

Я хотел пропустить его вперед, но он знаком попросил меня возглавить шествие. Мы поднялись по лестнице в торжественном молчании. Я вошел к Эллиоту.

— Епископ приехал сам, Эллиот.

Эллиот попытался приподняться и сесть.

— Монсеньор, на такую великую честь я не смел и надеяться.

— Лежите спокойно, друг мой. — Епископ обратился ко мне и к сиделке: — Оставьте нас. — А

затем к аббату: — Я позову вас, когда кончу.

Аббат огляделся, и я понял, что он ищет, куда бы поставить потир. Я сдвинул в сторону черепаховые щетки на туалетном столике. Сиделка ушла вниз, а я увел аббата в соседнюю комнату, служившую Эллиоту кабинетом. Раскрытые окна глядели в синее небо, он подошел к одному из них. Я сел в кресло. На море шли гонки яхт, белые паруса ослепительно сверкали на фоне лазури. Большая черная шхуна, распустив красные паруса, пробивалась в порт, борясь с бризом. Я признал в ней рыболовное судно, привозившее от берегов Сардинии омаров, дабы не оставить роскошные рестораны и казино без рыбного блюда. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Это Эллиот исповедовался в грехах. Мне очень хотелось курить, но я боялся оскорбить чувства аббата. Он стоял неподвижно, глядя вдаль, — стройный и молодой, явно итальянец по рождению: с волнистой черной шевелюрой, прекрасными темными глазами и оливковой кожей. Во всем его облике угадывались горячие страсти юга, и я подумал, какая же неуемная вера, какое жгучее желание побудило его отказаться от радостей жизни, от присущих его возрасту плотских утех и посвятить себя служению Богу.

Голоса в соседней комнате внезапно смолкли, и я посмотрел на дверь. Она отворилась, появился епископ.

— Venez[169], — сказал он аббату.

Я остался один. Снова послышался голос епископа, и я понял, что он читает отходную. Потом снова молчание — это Эллиот вкушал крови и тела Христова. Сам я не католик, но всякий раз, бывая на мессе, я испытываю чувство трепетного благоговения, должно быть унаследованное от далеких предков, когда звоночек служки возвещает, что священник поднял для обозрения святые дары; и сейчас меня тоже пронизала дрожь, как от холодного ветра — дрожь восторга и страха. Дверь снова отворилась.

— Можете войти, — сказал епископ.

Я вошел. Аббат аккуратно накрывал батистовой салфеткой потир и золоченую тарелочку, на которой недавно лежала облатка. Глаза Эллиота сияли.

— Проводите монсеньора до его машины, — сказал он.

Мы спустились по лестнице. Жозеф и горничные ждали в холле. Женщины плакали. Их было

---

[169] Примечания: 169
Входите (*фр.*).

три, и они по очереди опускались на колени и целовали перстень епископа, а он благословлял их двумя пальцами. Жена Жозефа подтолкнула его, он тоже упал на колени и поцеловал перстень. Епископ едва заметно улыбнулся.

— Вы ведь неверующий, сын мой?

Жозеф явно сделал над собою усилие.

— Да, монсеньор.

— Пусть это вас не смущает. Вы были своему хозяину добрым и верным слугой. Господь не осудит вас за ваши заблуждения.

Я вышел с ним на улицу и открыл дверцу машины. Он поклонился мне, потом снисходительно улыбнулся.

— Наш бедный друг очень сдал. Недостатки его не шли глубже поверхности; он был человек большого сердца и не питал зла к своим ближним.

IX

Решив, что Эллиоту захочется побыть одному после совершенного над ним обряда, я пошел почитать в гостиную, но не успел я усесться с книгой, как пришла сиделка сказать, что он хочет меня видеть. Не знаю, что поддержало его — укол, который врач сделал ему перед приездом епископа, или волнение этой встречи, но взгляд

у него был ясный, состояние спокойное и бодрое.

— Я удостоился великой чести, милейший, — сказал он. — Войду в царствие небесное с рекомендательным письмом от высокой духовной особы. Теперь там, наверно, все двери будут для меня открыты.

— Боюсь, общество покажется вам очень смешанным, — улыбнулся я.

— Не скажите, милейший. Из Священного Писания нам известно, что классовые различия существуют на небесах точно так же, как на земле. Там есть серафимы и херувимы, ангелы и архангелы. В Европе я всегда вращался в лучших кругах и не сомневаюсь, что буду вращаться в лучших кругах на небе. Господь сказал: «В доме отца моего много обителей». По меньшей мере странно было бы поселить простонародье в условиях, к которым оно совершенно непривычно.

Мне подумалось, что райские кущи представляются Эллиоту в виде замка какого-нибудь барона Ротшильда — с панелями восемнадцатого века по стенам, столиками-буль, шкафчиками-маркетри и гарнитурами времен Людовика XV, обитыми вышитым шелком.

— Поверьте мне, милейший, — продолжал Эллиот, помолчав, — никакого этого чертова

равенства там не будет.

Потом он как-то сразу задремал. Я сел у его постели с книгой. Он то просыпался, то опять засыпал. В час дня сиделка зашла сказать, что Жозеф предлагает мне позавтракать. Жозеф был подавлен и тих.

— Подумать только, монсеньор епископ сам приезжал. Это он большую честь оказал нашему бедному хозяину. Вы видели, что я поцеловал его перстень?

— Видел.

— Сам бы я нипочем этого не сделал. Но хотелось ублажить мою бедную жену.

Позавтракав, я опять поднялся к Эллиоту. Пришла телеграмма от Изабеллы — они прибудут Голубым экспрессом завтра утром. Я был почти уверен, что они опоздают. Заехал врач и только покачал головой. На закате Эллиот проснулся и немножко поел. Это, видимо, придало ему сил. Он поманил меня. Голос его был едва слышен.

— Я не ответил на приглашение Эдны.

— Полно, Эллиот, не думайте сейчас об этом.

— Почему? Я всегда помнил о светских приличиях и не вижу причин забывать о них сейчас, когда я покидаю сей мир. Где эта карточка?

Она лежала на каминной полке. Я вложил ее

ему в руку, но не уверен, что он видел ее.

— Почтовая бумага на столе у меня в кабинете. Принесите ее, я продиктую вам ответ.

Я принес из соседней комнаты бумагу и бювар и сел у его постели.

— Готовы?

— Да.

Глаза его были закрыты, но губы скривились в озорной усмешке, и я ждал любого сюрприза.

— «Мистер Темплтон сожалеет, что не может принять любезное приглашение принцессы Новемали, будучи связан более ранней договоренностью со своим Спасителем».

Последовал смешок, призрачный, чуть слышный. Лицо его заливала жуткая синяя бледность, от него исходил тошнотворный запах, характерный для его болезни. Бедный Эллиот, он так любил опрыскивать себя духами от Шанель и Молинэ! Он все еще держал в руке похищенную мною карточку, я подумал, что она ему мешает, и попробовал отнять ее, но пальцы его сжались крепче. Я даже вздрогнул, когда он произнес совсем отчетливо:

— Старая стерва.

Это были его последние слова. Он впал в кому. Сиделка, продежурившая у него всю предыдущую

ночь, валилась с ног, и я отправил ее поспать, сказав, что не засну и позову ее, если понадобится. Делать и правда было уже нечего. Я зажег лампу под темным колпаком и читал, пока не заболели глаза, а тогда погасил свет и сидел в темноте. Ночь была теплая, окна стояли настежь. Через равные промежутки времени комнату слабо озаряли вспышки маяка. Луна, которой предстояло, набрав полную силу, воссиять над шумным мишурным весельем маскарада у Эдны Новемали, зашла, и в иссиня-черном небе устрашающе ярко горели бесчисленные звезды. Вероятно, я задремал, но чувства мои не спали, и внезапно меня привел в сознание сердитый, нетерпеливый звук, самый страшный звук, какой можно услышать, — предсмертный хрип. Я подошел к постели и при вспышке маяка пощупал у него пульс. Эллиот был мертв. Я зажег лампу у изголовья и посмотрел на него. Челюсть у него отвисла. Глаза были открыты, и, прежде чем их закрыть, я заглянул в них. Я был глубоко взволнован, кажется, по щекам у меня скатилось несколько слез. Старый, добрый друг. Грустно было вспомнить, как глупо, без пользы и без смысла он прожил свою жизнь. Какое теперь имеет значение, что он побывал на стольких званых вечерах, знался с

графами, князьями и герцогами? Они уже сейчас о нем забыли.

Будить умученную сиделку не было смысла, и я вернулся в свое кресло у окна. В семь часов, когда она вошла в комнату, я спал. Я оставил на нее то, что еще требовалось сделать, выпил кофе и поехал на вокзал встречать Изабеллу и Грэя. Я сообщил им о смерти Эллиота и предложил остановиться у меня, поскольку в его доме мало места, но они предпочли гостиницу. А я уехал к себе, чтобы принять ванну, побриться и переодеться.

Вскоре мне позвонил Грэй сказать, что имеется письмо Эллиота на мое имя — оно хранилось у Жозефа. Поскольку в письме могло оказаться что-нибудь, предназначенное только для моих глаз, я сказал, что приеду немедленно, и, таким образом, меньше чем через час уже опять вошел в дом Эллиота. В письме с надписью «Вручить тотчас после моей смерти» содержались указания касательно его похорон. Я знал, что его заветное желание — покоиться в построенной им церкви, и уже успел сказать об этом Изабелле. Кроме того, он желал быть набальзамированным и назвал специалистов, которым следовало поручить это ответственное дело. «Я навел справки, — писал он далее, — и узнал, что работают они превос-

ходно. Доверяю вам проследить, чтобы не было допущено халтуры. Одетым я желаю быть в костюм моего предка графа Лаурия, с его мечом на боку и с орденом Золотого руна на груди. Выбор гроба оставляю на ваше усмотрение. Что-нибудь без претензий, но соответствующее моему положению. Чтобы никому не доставлять лишних хлопот, прошу перевозку моих останков поручить компании «Томас Кук и сын», и они же пусть выделят своего человека для сопровождения гроба к месту вечного упокоения».

Я вспомнил, что Эллиот и раньше говорил о своем намерении лечь в гроб в маскарадном костюме, но в то время счел это минутной фантазией. Однако Жозеф твердил, что волю покойного необходимо исполнить, да, в конце концов, почему бы и нет? И вот, когда тело набальзамировали, мы с Жозефом отправились обряжать его в это нелепое одеяние. Гнусная то была работа. Мы засунули его длинные ноги в белое шелковое трико, натянули поверх парчовые панталоны. Труднее всего оказалось продеть руки в рукава камзола. Мы застегнули на нем огромный плоеный воротник, на плечи приладили атласный плащ. И, наконец, надели ему на голову плоскую бархатную шапку, а на шею повесили орден Золотого

руна. Бальзамировщики нарумянили ему щеки и подкрасили губы. Костюм был широк для его иссохшего тела, и выглядел он как хорист в одной из ранних опер Верди. Печальный Дон Кихот, борец за пустое дело. Когда его положили в гроб, я пристроил бутафорский меч у него между ног, а руки сложил на эфесе — так мне запомнилось скульптурное надгробие какого-то крестоносца.

Изабелла и Грэй поехали на похороны в Италию.

Глава шестая

I

Считаю своим долгом предупредить читателя, что он спокойно может пропустить эту главу, не утеряв сюжетной нити, которую мне еще предстоит дотянуть. Глава эта — почти целиком пересказ разговора, который у меня состоялся с Ларри. Впрочем, должен добавить, что, если бы не этот разговор, я бы, возможно, вообще не стал писать эту книгу.

II

В ту осень, месяца через три после смерти Эллиота, я по дороге в Англию провел неделю в Париже. Изабелла и Грэй из своего невеселого путешествия в Италию вернулись в Бретань, а теперь опять жили в квартире Эллиота на улице Сен-Гийом. Изабелла рассказала мне про его завещание. Он отказал церкви, которую построил, определенную сумму денег на панихиды за упокой его души и еще сумму — на содержание самой церкви. Щедрое даяние на благотворительные

цели получил епископ в Ницце. Мне досталось несколько двусмысленное наследство: его собрание порнографических книг восемнадцатого столетия и прекрасный рисунок Фрагонара — сатир и нимфа, занятые делом, которое обычно совершается без свидетелей. Повесить такой рисунок на стену нельзя — слишком неприличен, а упиваться непристойностями в одиночестве не в моем характере. Он хорошо позаботился о своих слугах. Двум племянникам завещал по 10 000 долларов, а все остальное — Изабелле. Сколько именно — она не сказала, а я не спросил, но, судя по ее довольному тону, наследство она получила немалое.

Грэй уже давно, с тех пор как восстановилось его здоровье, рвался в Америку, к работе, и Изабелла, хоть ей и неплохо жилось в Париже, заразилась его нетерпением. Он уже налаживал связи со старыми деловыми знакомыми, но самое интересное место из тех, что ему предлагали, могло быть ему предоставлено лишь при условии крупного вступительного взноса. До сих пор у него таких денег не было, теперь же, со смертью Эллиота, Изабелла легко могла уделить их из своего капитала, и Грэй, заручившись ее одобрением, вступил в переговоры с тем расче-

том, чтобы, если перспективы действительно окажутся хороши, поехать в Америку и изучить ситуацию на месте. Но до этого им еще много чего предстояло сделать. Нужно было договориться с французским казначейством относительно налога на наследство. Нужно было продать дом в Антибе и распорядиться парижской квартирой. Нужно было устроить в отеле «Друо» распродажу с аукциона мебели Эллиота, его картин и рисунков. Они представляли большую ценность, и имело смысл подождать до весны, когда в Париж съезжаются крупнейшие коллекционеры. Изабелла была не прочь прожить в Париже еще одну зиму; дочери ее уже болтали по-французски не хуже, чем на родном языке, и ее радовала возможность еще на несколько месяцев оставить их во французской школе. За три года они сильно вытянулись, теперь это были длинноногие, худые, неугомонные подростки: материнская красота в них еще не проступила, но они были хорошо воспитаны и ненасытно любопытны.

Ну и хватит об этом.

III

Ларри я встретил случайно. Я справлялся о нем у Изабеллы, и она сказала, что после воз-

вращения из Л а-Боль видела его очень мало. Теперь у них с Грэем было много новых друзей одного с ними поколения, и они чаще выезжали и принимали гостей, чем в те приятные недели, когда мы столько времени проводили вчетвером. Однажды вечером я пошел в «Комеди Франсез» смотреть «Беренику». Читать я ее, конечно, читал, но на сцене не видел, а поскольку ставят ее редко, грех было упустить такой случай. Это отнюдь не лучшая из трагедий Расина, фабула ее слишком бедна для пяти действий, но она волнует, и в ней есть несколько знаменитых сцен. Сюжет основан на коротком отрывке из Тацита: Тит, страстно влюбленный в Беренику, царицу Палестины, и даже, как полагают, обещавший взять ее в жены, в первые же дни своего правления удаляет ее из Рима по политическим соображениям — сенат и народ Рима решительно против его союза с иноземной царицей. Стержень пьесы — борьба, происходящая в его душе между любовью и долгом, и, когда его одолевают сомнения, сама Береника, уверившись, что он ее действительно любит, убеждает его послушать веления долга и расстается с ним навсегда.

Вероятно, только француз способен в полной мере оценить изящество и величие Расина и му-

зыку его стихов, однако и иностранец, раз сделав скидку на чопорную формальность его стиля, не может остаться равнодушен к его страстной нежности и к благородству его чувств. Расин, как мало кто другой, понимал, сколько драматизма заложено в человеческом голосе. Для меня, во всяком случае, раскаты этих сладкозвучных александрийских стихов вполне возмещают недостаток внешнего действия, и от длинных монологов, с безупречным мастерством доведенных до ожидаемой кульминации, сердце у меня замирает ничуть не меньше, чем от самых захватывающих погонь и перестрелок на экране.

После третьего действия был антракт, и я вышел покурить в фойе, осененное саркастической беззубой улыбкой Вольтера Гудона. Кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся, не скрывая легкой досады — жаль было расплескать высокую радость, которой наполнили меня звучные строки Расина, — и увидел Ларри. Как всегда, я ему обрадовался. Я не видел его целый год и тут же предложил встретиться после спектакля и пойти куда-нибудь выпить пива. Ларри ответил, что не обедал сегодня и проголодался, и, со своей стороны, предложил отправиться на Монмартр. И вот, найдя друг друга в вестибюле, мы вместе вышли

на улицу. Театру «Комеди Франсез» присуща своя особенная духота. Она пропитана запахом многих поколений тех хмурых женщин, называемых ouvreuses, что показывают вам ваши места и всем своим видом требуют за это на чай. Свежий воздух оживил нас, ночь была ясная, и мы пошли пешком. Дуговые фонари на авеню Оперы горели так вызывающе ярко, что звезды небесные, точно не снисходя до состязания с ними, приглушили свой блеск мраком бесконечного расстояния. По дороге мы говорили о спектакле. Ларри был недоволен. Ему хотелось чего-то более естественного, чтобы текст произносили так, как люди говорят в жизни, и жестикуляция была не такая театральная. Я не мог согласиться с такой точкой зрения. Расин — это патетика, великолепная патетика, и исполнения требует патетического. Я наслаждался правильным чередованием рифм, а условные жесты, предписываемые давней традицией, на мой взгляд, вполне соответствовали всему строю этого формального искусства. Мне думалось, что и сам Расин был бы доволен таким исполнением. Я восхищался тем, как актеры, даже связанные традиционными канонами, сумели вложить в свою игру столько человечности, страсти и правды. Искусство торжествует, если ему удается

подчинить условность высокой цели.

Мы дошли до авеню Клиши и завернули в ночной ресторан «Граф». Было только начало первого, народу полно, но мы нашли свободный столик и заказали яичницу с ветчиной. Я сказал Ларри, что недавно видел Изабеллу.

— Грэй будет рад вернуться в Америку, — сказал он. — Здесь он как рыба, вынутая из воды. Он не будет счастлив, пока опять не окунется в работу. Наверно, наживет уйму денег.

— Этим он будет обязан вам. Вы ведь исцелили его не только физически, но и духовно. Вернули ему веру в себя.

— Я сделал очень немного. Всего только научил его, как исцелиться.

— Но как вы сами постигли это немногое?

— Совершенно случайно. Когда был в Индии. Я страдал от бессонницы и упомянул об этом в разговоре с одним старым йогом, а он сказал, что этому легко помочь. Он проделал со мной то, что я на ваших глазах проделал с Грэем, и в ту ночь я впервые за несколько месяцев спал как убитый. А потом, примерно год спустя, я был в Гималаях с одним приятелем-индийцем, и он растянул лодыжку. Врача поблизости не было, а нога болела невыносимо. Я и подумал, попробую-ка я

сделать то, что сделал старый йог. И поверите ли, подействовало, боль как рукой сняло. — Ларри засмеялся. — Уверяю вас, я сам удивился невероятно. Тут ничего особенного нет, нужно только внушить больному какую-то мысль.

— Легко сказать.

— Вас бы удивило, если бы рука у вас поднялась над столом без участия вашей воли?

— Безусловно.

— Ну так она поднимется. Когда мы вернулись в цивилизованный мир, мой приятель рассказал кое-кому об этом случае и привел ко мне на лечение еще несколько человек. Мне не хотелось этим заниматься, потому что тут было что-то непонятное, но он настоял. Каким-то образом я им помог. Я обнаружил, что способен избавлять людей не только от боли, но и от страха. Просто удивительно, сколько людей от него страдает. Я имею в виду не какую-нибудь боязнь замкнутого пространства или боязнь высоты, а страх смерти или, того хуже, страх жизни. Зачастую это люди вполне здоровые и благополучные, но притом настоящие мученики. Порой мне казалось, что никакое другое чувство не завладевает людьми так властно, и я готов был приписать это глубокому животному инстинкту, унаследованному

человеком от того неведомого первобытного существа, что впервые ощутило трепет жизни.

Я слушал Ларри и с интересом ждал продолжения — как правило, он был немногословен, а тут разговорился. Быть может, пьеса, которую мы только что смотрели, сняла в нем какое-то торможение, и ритм полнозвучных стихов, подобно музыке, помог ему преодолеть природную замкнутость. Вдруг до моего сознания дошло, что моя рука ведет себя странно. Я успел забыть про вопрос, который как бы в шутку задал мне Ларри. А тут оказалось, что моя рука уже не лежит на столе, а оторвалась от него примерно на дюйм. Я был озадачен. Я стал смотреть на нее и увидел, что она слегка дрожит. Я ощутил какое-то нервное покалывание, что-то дернулось, и вот уже и локоть отделился от стола без помощи, но и без сопротивления с моей стороны. Потом пошла вверх вся рука от плеча.

— Что за чудеса, — сказал я.

Ларри засмеялся. Небольшое усилие воли — и рука моя снова опустилась на стол.

— Это пустяки, — сказал он. — Не имеет никакого значения.

— Вас обучил этому тот йог, про которого вы нам рассказывали, когда только вернулись из

Индии?

— О нет, он такие вещи презирал. Не знаю, ощущал ли он в себе способности, на которые претендуют некоторые йоги, но применять их он счел бы ребячеством.

Яичницу с ветчиной принесли, и мы с аппетитом поели. И пива выпили. Все в полном молчании. Не знаю, о чем думал Ларри, а я думал о нем. Потом я закурил папиросу, а он — свою трубку.

— Как вы вообще попали в Индию? — спросил я без предисловий.

— По чистой случайности. То есть тогда мне так казалось. Теперь-то я склоняюсь к мысли, что это был неизбежный результат тех лет, что я провел в Европе. Почти всех людей, которые оказали на меня влияние, я встретил как будто случайно, а когда оглядываюсь назад, кажется, что я не мог их не встретить. Словно они только и ждали, чтобы я обратился к ним, когда они мне понадобятся. В Индию я поехал отдохнуть. Перед тем я очень напряженно работал, и мне хотелось разобраться в своих мыслях. Я нанялся матросом на туристический пароход, из тех, что совершают кругосветные рейсы. Он шел на Восток, а потом через Панамский канал в Нью-Йорк. В Америке

я не был пять лет и соскучился. И на душе было скверно. Вы ведь знаете, каким невеждой я был, когда мы с вами познакомились в Чикаго, сто лет назад. В Европе я много чего прочел и много чего увидел, но к тому, что искал, не приблизился ни на шаг.

Мне хотелось спросить, чего же он искал, но я подозревал, что он только рассмеется, пожмет плечами и скажет, что это не имеет значения.

— Но почему вы плыли матросом? — спросил я. — У вас же были деньги.

— Ради нового переживания. Когда мне случалось поглотить все, что я в данное время был способен вместить, и меня, так сказать, начинало засасывать в болото, эта мера всякий раз оказывалась полезна. После того как мы с Изабеллой расторгли нашу помолвку, я полгода проработал в угольной шахте под Лансом.

Тут-то он и рассказал мне эпизод из своей жизни, о котором я поведал в одной из предыдущих глав.

— Вы очень горевали, когда Изабелла дала вам отставку?

Прежде чем ответить, он некоторое время смотрел на меня своими до странности черными глазами, глядевшими, казалось, не на вас, а

внутрь.

— Да. Я был очень молод. Я был уверен, что мы поженимся. Строил планы, как мы будем жить вместе. Эта жизнь представлялась мне чудесной. — Он засмеялся тихо и грустно. — Но в одиночку брак не построишь. Мне и в голову не приходило, что жизнь, которую я предлагал Изабелле, ей кажется ужасной. Будь я поумнее, я не заикнулся бы об этом. Она была слишком юная и пылкая. Винить я ее не мог. И уступить не мог.

Хоть я и не очень на это надеюсь, но, возможно, читатель вспомнит, что, когда Ларри сбежал с фермы после нелепой истории с вдовой снохой хозяина, он направился в Бонн. Мне не терпелось, чтобы он продолжил свой рассказ с этого места, но, зная его, я воздержался от прямых вопросов.

— Я никогда не был в Бонне, — сказал я. — В юности учился в Гейдельберге, но недолго. Это было, кажется, самое счастливое время в моей жизни.

— Мне Бонн понравился. Я провел там год. Поселился у вдовы одного из профессоров тамошнего университета, она сдавала несколько комнат. Она и две ее дочери, обе уже немолодые, сами готовили и делали всю работу по дому. Другую комнату, как выяснилось, снимал француз, и

сначала это меня огорчило, потому что я хотел разговаривать только по-немецки, но он был эльзасец и по-немецки говорил если не свободнее, то, во всяком случае, с лучшим произношением, чем по-французски. Одевался он как немецкий пастор, а через несколько дней я, к своему удивлению, узнал, что он монах-бенедиктинец. Его на время отпустили из монастыря, чтобы он мог заняться научной работой в университетской библиотеке. Он был ученый человек, но, по моим понятиям, так же мало походил на ученого, как и на монаха, — рослый, дородный блондин с голубыми глазами навыкате и круглой красной физиономией. Он был стеснителен и сдержан, меня словно бы сторонился, но вообще отличался несколько тяжеловесной учтивостью и за столом вежливо участвовал в разговоре.

Я только за столом его и видел: сразу после обеда он снова шел работать в библиотеку а после ужина, когда я сидел в гостиной и практиковался в немецком языке с той из дочерей, которая не мыла посуду, удалялся к себе в комнату.

Я был очень удивлен, когда однажды, с месяц после моего приезда, он предложил мне пойти на прогулку — он-де может показать мне такие места, которые я сам едва ли открою. Я неплохой

ходок, но ему и в подметки не годился. Во время той первой прогулки мы отмахали не меньше пятнадцати миль. Он спросил, что я делаю в Бонне, я сказал, что хочу овладеть немецким и получить представление о немецкой литературе. Говорил он очень разумно, сказал, что будет рад мне помочь. После этого мы стали ходить на прогулки по два-три раза в неделю. Оказалось, что он несколько лет преподавал философию. В Париже я кое-что прочел по этой части — Спинозу, Платона, Декарта, но из крупных немецких философов никого не знал и с интересом слушал, как он о них рассказывал. Однажды, когда мы совершили экскурсию на другой берег Рейна и сидели в саду перед трактиром за кружкой пива, он спросил, протестант ли я.

Я ответил: «Наверно, так».

Он бросил на меня быстрый взгляд, в котором я уловил улыбку, и заговорил об Эсхиле. Он, понимаете, изучил древнегреческий и великих трагиков знал так, как я и надеяться не мог их узнать. От его слов у меня голова работала лучше. Я недоумевал, чем был вызван тот его вопрос. Мой опекун, дядя Боб Нелсон, был агностик, но в церковь ходил регулярно, потому что этого ждали от него пациенты, и по той же причине застав-

лял меня посещать воскресную школу. Марта, наша служанка, была ревностной баптисткой и отравляла мое детство рассказами об адском пламени, в котором грешники будут гореть до скончания века. Она с истинным наслаждением расписывала муки, уготованные разным нашим соседям, так или иначе заслужившим ее нерасположение.

К началу зимы я уже много чего знал про отца Энсхайма. По-моему, это был замечательный человек. Я не помню, чтобы он хоть раз на кого-нибудь рассердился. Он был добрый и милосердный, с широкими взглядами, на редкость терпимый. Эрудиция его меня потрясала, а он, конечно, понимал, как мало я знаю, но говорил со мной как с равным. Был со мной очень терпелив. Словно только того и желал, что быть мне полезным. Однажды со мной ни с того ни с сего случился прострел, и фрау Грабау, наша хозяйка, чуть не силком уложила меня в постель с грелкой. Узнав, что я нездоров, отец Энсхайм после ужина зашел меня проведать. Чувствовал я себя хорошо, если не считать сильной боли. Вы знаете породу книжных людей — их всякая книга интересует. Так вот, когда я при его появлении отложил книгу, он взял ее и посмотрел заглавие.

Это было сочинение мейстера Экхарта, оно мне попалось у букиниста. Он спросил, почему я это читаю, и я ответил, что вообще читаю такого рода литературу, и рассказал ему про Кости и как тот пробудил во мне интерес к этой теме. Он глядел на меня своими выпуклыми голубыми глазами, в них была насмешливая ласка, иначе я это выражение определить не могу. У меня было такое ощущение, что он находит меня смешным, но преисполнен ко мне такого доброжелательства, что я от этого не кажусь ему хуже. А меня никогда не обижает, если людям кажется, что я с придурью.

«Чего вы ищете в этих книгах?» — спросил он.

«Если б я это знал, — ответил я, — это был бы хоть первый шаг к моей цели».

«Помните, я вас как-то спросил, протестант ли вы, а вы ответили — наверно, так. Что вы хотели этим сказать?»

«Меня растили в протестантской вере».

«А в Бога вы верите?»

Я не люблю слишком личных вопросов, и первым моим побуждением было заявить, что это его не касается. Но от него веяло такой добротой, что обидеть его было просто невозможно. Я не знал, что сказать, не хотелось ответить ни «да»

ни «нет». Возможно, на меня подействовала боль, а возможно, что-то в нем самом, но я рассказал ему о себе.

Ларри помолчал, а когда заговорил снова, мне было ясно, что он обращается не ко мне, а к тому монаху-бенедиктинцу. Обо мне он забыл. Не знаю, что тут сыграло роль, время или место, но теперь он без моей подсказки говорил о том, что так долго таил про себя из врожденной скрытности.

— Дядя Боб Нелсон был очень демократичен, он отдал меня в среднюю школу в Марвине и только потому в четырнадцать лет отпустил в Сент-Пол, что Луиза Брэдли совсем его заклевала. Я особенно не блистал ни в ученье, ни в спорте, но в школе прижился. Думаю, что я был совершенно нормальным мальчиком. Я бредил авиацией. Она тогда только начиналась, и дядя Боб увлекался ею не меньше меня, у него были знакомые авиаторы, и, когда я сказал, что хочу учиться летать, он обещал мне это устроить. Я был высокий для своего возраста, в шестнадцать лет вполне мог сойти за восемнадцатилетнего. Дядя Боб взял с меня слово никому об этом не говорить, он знал, что за такое дело все на него обрушатся, но ведь это он сам помог мне тогда перебраться в Канаду

и снабдил письмом к какому-то своему знакомому, и в результате я в семнадцать лет уже летал во Франции.

Опасные это были игрушки, тогдашние аэропланы: поднимаясь в воздух, ты всякий раз рисковал жизнью. Высота по теперешним меркам была ничтожная, но мы другого не знали и считали себя героями. Не могу описать, какое чувство это во мне рождало, но в воздухе я бывал горд и счастлив. Я ощущал себя частью чего-то необъятного и прекрасного. Точнее я не мог бы это выразить, я только знал, что там, на высоте двух тысяч футов, я уже не один, хоть со мной никого и нет. Наверно, это звучит глупо, но что поделаешь. Когда я летел над облаками, а они ходили подо мной, как огромное стадо овец, я чувствовал себя на короткой ноге с бесконечностью.

Ларри умолк. Он уставился на меня своими непроницаемыми глазами, но, по-моему, не видел меня.

— Я и раньше знал, что людей убивают сотнями тысяч, но никогда не видел, как их убивают. И меня это близко не задевало. А потом я своими глазами увидел мертвеца. И мне стало невыносимо стыдно.

— Стыдно? — воскликнул я невольно.

— Стыдно, потому что этот мальчик, всего на три-четыре года старше меня, такой подвижный и храбрый, за минуту до того полный жизни и всегда такой славный, превратился в груду искромсанного мяса, так что и не верилось, что только что это был живой человек.

Я промолчал. Я видел немало мертвецов в свою бытность студентом-медиком и еще много больше — во время войны. Меня-то всегда угнетало, какой у них жалкий, ничтожный вид. В них не было ни на грош благородства. Марионетки, которых кукольник выбросил на помойку.

— В ту ночь я не мог уснуть. Я плакал. За себя я не боялся, я был глубоко возмущен. Бессмысленная жестокость смерти, вот с чем я не мог примириться. Война кончилась, я вернулся домой. Меня всегда тянуло к машинам, и я хотел, если ничего не выйдет с авиацией, пойти на автомобильный завод. После ранения меня сначала не тормошили, но потом они захотели, чтобы я начал работать. А за такую работу, как они хотели, я не мог взяться. Она мне казалась никчемной. У меня было время подумать. Я все спрашивал себя, зачем нам дана жизнь. Мне-то просто повезло, что я выжил, и хотелось на что-то употребить свою жизнь, а на что — я не знал. О

Боге я раньше никогда не задумывался, а теперь стал о нем думать. Я не мог понять, почему в мире столько зла. Я понимал, что очень мало знаю, обратиться мне было не к кому, и я стал читать что попало.

Когда я рассказал все это отцу Энсхайму, он спросил:

«Значит, вы четыре года читали. И к чему вы пришли?»

«Ни к чему не пришел».

Он поглядел на меня так любовно, что я смешался. Чем я мог вызвать в нем такую приязнь? Он стал тихонько барабанить пальцами по столу, словно что-то обдумывая, и наконец заговорил:

«Наша мудрая старая церковь пришла к выводу, что, если человек поступает как верующий, вера будет ему дана; если он молится сомневаясь, но молится искренне, сомнения его рассеются; если он покорится красоте богослужения, власть коей над человеческим духом доказана многовековым опытом, мир снизойдет в его душу. В скором времени я возвращаюсь к себе в монастырь. Не хотите ли вы поехать со мной и пожить у нас несколько недель? Вы могли бы работать в поле с нашими младшими монахами, могли бы читать в нашей библиотеке. Как переживание это будет

не менее интересно, чем работа в угольной шахте или на немецкой ферме».

«А почему вы мне это предлагаете?»

«Я вас наблюдаю три месяца. Возможно, я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Стена, отделяющая вас от веры, не толще листка папиросной бумаги».

На это я ничего не сказал. У меня было странное чувство, точно кто-то ухватил меня за самое сердце и тянет. Я сказал, что подумаю. Он заговорил о другом. Потом до его отъезда из Бонна мы больше не говорили ни о чем связанном с религией, но, уезжая, он дал мне адрес своего монастыря и сказал, что если я надумаю приехать, надо только черкнуть ему, и он все устроит. Я и не думал, что буду так о нем скучать. Время шло, лето уже было в разгаре. В Бонне все шло хорошо. Я читал Гёте, Шиллера, Гейне, читал Гёльдерлина и Рильке. Но по-прежнему топтался на месте. Я часто вспоминал отца Энсхайма и наконец решил воспользоваться его приглашением.

Он встретил меня на станции. Монастырь был в Эльзасе, в живописной местности. Отец Энсхайм представил меня настоятелю, потом провел в келью, где мне разрешено было жить. Там стояла узкая железная кровать, на стене висело распя-

тие, а мебель была только самая необходимая. Зазвонил колокол к обеду, и я пошел в трапезную. Это была огромная палата со сводчатым потолком. В дверях стоял настоятель с двумя монахами, один держал таз, другой полотенце, и настоятель в виде омовения брызгал водой на руки гостей и вытирал их полотенцем, которое подавал ему монах. Гостей, кроме меня, было еще трое: два священника, ехавшие куда-то по своим делам и задержавшиеся здесь пообедать, и ворчливый пожилой француз, на время удалившийся от мира.

Настоятель и два приора, старший и младший, сидели в верхнем конце трапезной, каждый за своим столом, ученые монахи — вдоль двух длинных стен, а монахи-работники, послушники и гости — за столами посреди комнаты. Была прочитана молитва, и мы поели. Один из послушников, стоя в дверях, монотонно читал из какого-то назидательного сочинения. После обеда опять прозвучала молитва. Потом настоятель, отец Энсхайм, гости и тот монах, в чьем ведении они находились, перешли в небольшую комнату, где попили кофе и побеседовали о том о сем. А потом я вернулся в свою келью.

Я провел там три месяца. Мне было очень хорошо. Такая жизнь как нельзя более мне подхо-

дила. Библиотека оказалась богатейшая, я много читал. Никто из монахов не пытался на меня влиять, но разговаривали они со мной охотно. Их ученость, благочестие и отрешенность от мира произвели на меня большое впечатление. И не думайте, что они вели бездельную жизнь. Они сами обрабатывали все свои земли, так что и моя помощь пригодилась. Я наслаждался великолепием церковных служб, больше всего мне нравилась утреня. Ее служили в четыре часа утра. Удивительно это волнует — сидишь в церкви, а вокруг тебя еще ночь, и монахи, таинственные в своих клобуках и сутанах, выводят песнопения сильными, звучными голосами. В самом однообразии ежедневного распорядка было что-то умиротворяющее, и, несмотря на деятельную жизнь, которая тебя окружала, и на неустанную работу мысли, тебя не оставляло чувство тишины и покоя.

Ларри улыбнулся чуть печально.

— Я как Ролла у Мюссе: «Я в слишком старый мир явился слишком поздно». Мне бы надо было родиться в Средние века, когда вера была чем-то непреложным: тогда мой путь был бы мне ясен, и я сам просился бы в монашеский орден. Но у меня веры не было. Я хотел верить, но не мог поверить

в Бога, который ничем не лучше любого порядочного человека. Монахи говорили мне, что Бог сотворил мир для вящей славы своей. Мне это не казалось такой уж достойной целью. Разве Бетховен создал свои симфонии, чтобы прославить себя? Нет, конечно. Я думаю, он их создал, потому что музыка, которая его переполняла, рвалась наружу, а он уж только старался потом придать ей самую совершенную форму.

Я часто слушал, как монахи читали «Отче наш», и думал, как они могут изо дня в день взывать к отцу небесному, чтобы он дал им хлеб насущный? Разве дети на земле просят своих отцов, чтобы те их кормили? Это разумеется само собой, дети не чувствуют и не должны чувствовать за это благодарности, и мы осуждаем человека, только когда он производит на свет детей, которых не хочет или не может прокормить. Мне казалось, что если всемогущий творец не в силах обеспечить свои творения самым необходимым для физической и духовной жизни, лучше бы ему было их не творить.

— Милый мой Ларри, — сказал я, — надо радоваться, что вы не родились в Средние века. Вы, несомненно, окончили бы жизнь на костре.

Он улыбнулся.

— Вы вот знаете, что такое успех. Вам приятно, когда вас хвалят в лицо?

— Меня это только конфузит.

— Я так и думал. И не мог поверить, что Богу это нужно. В полку мы не очень-то уважали тех, кто подлизывался к командиру, чтобы получить тепленькое местечко. Вот и мне не верилось, что Бог может уважать человека, который с помощью грубой лести домогается у него спасения души. Мне казалось, что самый угодный ему способ поклонения должен бы состоять в том, чтобы поступать по своему разумению как можно лучше.

Но больше всего меня смущало другое: я не мог принять предпосылку, что все люди грешники, а монахи, сколько я мог понять, исходили именно из нее. В авиации я знал многих ребят. Конечно, они напивались, когда представлялся случай, и от женщин не отказывались, когда повезет, и сквернословили; попадались и злостные мошенники; одного парня арестовали за то, что подсовывал негодные чеки, и дали ему шесть месяцев тюрьмы; но он был не так уж виноват: раньше у него никогда денег не водилось, а тут стал получать много, сколько не мечтал, и ему это ударило в голову. В Париже я знавал порочных людей, и в Чикаго, когда вернулся, тоже, но в

большинстве случаев в их пороках была повинна наследственность, против которой они были бессильны, и среда, которую они не сами себе выбирали; я готов допустить, что в их преступлениях виноваты не столько они, сколько общество. Будь я Богом, я бы ни одного из них, даже самого худшего, не осудил на вечное проклятие. Отец Энсхайм смотрел на вещи широко, он толковал ад как запрет лицезреть Бога, но если это такое страшное наказание, что его можно назвать адом, как представить себе, что оно может исходить от милосердного Бога? Ведь он как-никак создал людей. Раз он создал их способными на грех, значит, такова была его воля. Если я обучил собаку набрасываться на каждого, кто зайдет ко мне во двор, негоже ее бить, когда она это делает.

Если мир создал всеблагой и всемогущий Бог, зачем он создал зло? По утверждению монахов — для того, чтобы человек, побеждая свою греховность, противясь соблазнам, приемля боль, несчастья и невзгоды как испытания, посланные ему Богом для его очищения, мог в конце концов сподобиться его благодати. Мне это казалось очень похожим на то, как если бы я послал человека с поручением и только для того, чтобы затруднить ему задачу, сам же построил на

его пути лабиринт, через который он должен пробраться, потом вырыл ров, который он должен переплыть, и, наконец, возвел стену, через которую он должен перелезть. Я отказывался поверить во всемудрого Бога, лишенного здравомыслия. Мне казалось, что с тем же успехом можно верить в Бога, который не сам создал мир, а нашел его готовеньким и достаточно скверным и пытается навести в нем порядок, в существо, неизмеримо превосходящее человека умом, добротой и величием, которое борется со злом, не им сотворенным, и, надо надеяться, его одолеет. Но, с другой стороны, верить в него необязательно.

Добрые монахи не знали ответов на мои недоуменные вопросы, таких ответов, которые что-то говорили бы моему уму или сердцу. Мне среди них было не место. Когда я пришел проститься к отцу Энсхайму, он не спросил, принесло ли мне новое переживание ту пользу, какой он от него ждал. Он только поглядел на меня с несказанной лаской во взгляде.

«Боюсь, я разочаровал вас, отец мой», — сказал я.

«Нет, — ответил он. — Вы — глубоко религиозный человек, не верящий в Бога. Бог вас разыщет. Вы вернетесь. Сюда или куда-нибудь еще — это

никому, кроме Бога, неведомо».

IV

— Дожил я ту зиму в Париже. Я ничего не смыслил в естествознании и решил, что пора хоть слегка к нему приобщиться. Прочел много книг. И только убедился в том, что невежество мое беспредельно. Это я, впрочем, знал и раньше. Весной я уехал в деревню и пожил в маленькой гостинице на реке, близ одного из тех прекрасных старинных французских городов, где жизнь за двести лет как будто не сдвинулась с места.

Я догадался, что это было то самое время, которое он прожил с Сюзанной Рувье, но не стал его перебивать.

— А потом я поехал в Испанию. Мне хотелось посмотреть Веласкеса и Эль Греко. Думалось, может быть, искусство укажет мне тот путь, которого не указала религия. Я поездил по стране, попал в Севилью, она мне понравилась, и я решил провести там зиму.

Когда мне было двадцать три года, я тоже побывал в Севилье, и мне она тоже понравилась. Мне нравились ее белые извилистые улицы, ее собор и широко раскинувшаяся долина Гвадалквивира; но нравились и андалузские девушки, такие

грациозные и веселые, с темными лучистыми глазами и гвоздикой в прическе, подчеркивающей черноту волос и еще ярче сверкающей на черном фоне; нравился теплый цвет их кожи и зовущая чувственность губ. Да, быть молодым тогда было поистине раем. Когда Ларри туда попал, он был лишь немногим старше, чем я в свое время, и я невольно спросил себя, неужели он остался равнодушен к чарам этих восхитительных созданий. Он сам ответил на мой невысказанный вопрос.

— Я там встретил одного французского художника, некоего Огюста Котте, я его знал по Парижу, он одно время содержал Сюзанну Рувье. В Севилью он приехал работать и жил с молодой женщиной, которую там подцепил. Как-то вечером они позвали меня послушать пение фламенко и захватили с собой ее подругу. Та была настоящая красотка. Ей было всего восемнадцать лет. Она сошлась с одним парнем и вынуждена была уехать из родной деревни, потому что ждала ребенка. А парень отбывал военную службу. Когда ребенок родился, она отдала его на воспитание, а сама пошла работать на табачную фабрику. Я привел ее к себе. Она была очень веселая, очень славная, и через несколько дней я предложил ей совсем перебраться ко мне. Она согласилась, мы

сняли две комнаты в casa de huéspedes[170], спальню и гостиную. Я сказал ей, что она может уйти с работы, но она не захотела, и меня это устраивало, днем я, таким образом, был совершенно свободен. Нам разрешали пользоваться кухней, и до ухода на фабрику она успевала приготовить мне завтрак, в перерыв приходила и готовила второй завтрак, а обедали мы в ресторане и потом шли в кино или на танцы. Она считала меня помешанным, потому что у меня была резиновая ванна и я каждое утро обтирался холодной водой. Ребенок ее находился в деревне, и по воскресеньям мы ездили его навещать. Она не скрывала, что живет со мной, потому что хочет накопить денег — обставить дешевую квартирку, которую они снимут, когда ее дружок отслужит в армии. Она была прелесть, и я уверен, что своему Пако она стала хорошей женой. Она никогда не теряла бодрости, была покладистая, ласковая. На то, что в медицине именуется половыми сношениями, она смотрела как на одну из естественных функций человеческого тела. Ей это было приятно, так отчего не сделать приятное другому. Конечно, это был всего лишь зверек, но милый, привлекатель-

---

[170] Примечания: 170
Пансион, меблированные комнаты (*исп.*).

ный, прирученный зверек.

А потом как-то вечером она сказала, что получила письмо от Пако из Испанского Марокко, где он проходил военную службу, — он отслужил свой срок и через несколько дней прибудет в Кадис. Наутро она сложила свои пожитки, засунула деньги в чулок, и я проводил ее на поезд. На прощание она меня расцеловала, но была так поглощена предвкушением встречи со своим милым, что обо мне, в сущности, уже не думала, и я уверен, что поезд еще не отошел от вокзала, а она уже забыла о моем существовании.

Я еще пожил в Севилье, а осенью пустился в странствие, которое привело меня в Индию.

V

Время было позднее. Народ расходился, только там и сям еще оставались занятые столики. Те, кто приходил сюда посидеть от нечего делать, ушли домой. Ушли и те, кто забегал выпить на скорую руку после театра или кино. Изредка появлялись новые лица. Пришел долговязый мужчина, по виду англичанин, в обществе молодого хлыща. У него было длинное утомленное лицо и поредевшие волнистые волосы английского интеллигента, и он, надо думать, пребывал

в заблуждении, весьма, кстати сказать, распространенном, что за границей даже знакомые соотечественники нипочем вас не узнают. Молодой хлыщ с жадностью уплел целое блюдо бутербродов, а его спутник наблюдал за ним насмешливо и снисходительно. Ну и аппетит! Пришел пожилой человек, которого я знал с виду, потому что мы в Ницце ходили к одному и тому же парикмахеру. Мне запомнилась его толстая фигура, седые волосы, обрюзгшее красное лицо и тяжелые мешки под глазами. Он был банкир с американского Среднего Запада и после биржевого краха уехал из родного города, чтобы избежать судебного расследования. Не знаю, совершил ли он какое-нибудь преступление: если и так, то, вероятно, он был мелкая сошка и власти не сочли нужным требовать его выдачи. Держался он с апломбом и с притворной сердечностью мелкого политикана, но глаза у него были испуганные и несчастные. Он никогда не был ни совсем пьян, ни совсем трезв. При нем всегда находилась какая-нибудь особа, явно торопящаяся высосать из него все, что можно, а сейчас его сопровождали целых две накрашенных немолодых женщины — они откровенно над ним издевались, а он, не понимая и половины того, что они говорят, бес-

смысленно хихикал. Веселая жизнь! Я подумал, уж лучше бы он сидел дома и получил по заслугам. А то скоро эти женщины выжмут его досуха, и тогда ему останется только река или тройная доза веронала.

После двух часов ночи посетителей опять стало побольше — видимо, закрылись ночные клубы. Ввалилась орава молодых американцев, очень пьяных и шумных, но почти тут же исчезла. Неподалеку от нас две полные мрачные женщины в тесных мужского покроя костюмах сидели рядом и в угрюмом молчании тянули виски с содовой. Появилась компания в вечерних туалетах, так называемые люди из общества — они, видимо, совершили поездку по злачным местам и решили напоследок поужинать. Поужинали и уехали. Мое любопытство возбудил щуплый, скромно одетый человечек, который уже не меньше часа сидел с газетой за кружкой пива. Он был в пенсне, с аккуратной черной бородкой. Наконец в ресторан вошла женщина и приблизилась к нему. Он кивнул ей без намека на дружелюбие — наверно, был обижен, что она заставила его ждать. Она была молода, одета кое-как, но сильно накрашена и казалась очень усталой. Вот она достала что-то из сумки и подала ему. Деньги. Он глянул на них,

и лицо его потемнело. Он заговорил, слов я не мог разобрать, но по мимике понял, что он ее бранит, а она оправдывается. Вдруг он подался вперед и залепил ей звонкую пощечину. Она вскрикнула и зарыдала. Старший официант, привлеченный шумом, подошел узнать, что случилось. Видимо, он велел им уйти, если они не могут вести себя прилично. Женщина повернулась к нему и громко, так что слышно было каждое слово, в непристойных выражениях предложила ему не соваться не в свое дело.

— Раз дал мне по морде, значит, заслужила! — выкрикнула она.

Ох, женщины! Мне всегда казалось, что жить на позорные заработки женщины может только какой-нибудь видный, самоуверенный малый, покоритель женских сердец, готовый в любую минуту пустить в ход нож или пистолет. Поразительно было, как этот хлюпик — не иначе мелкий служащий из адвокатской конторы — сумел затесаться в ряды столь труднодоступной профессии.

VI

У официанта, который нас обслуживал, кончилась смена, и, чтобы не упустить чаевых, он подал нам счет. Мы расплатились и заказали кофе.

— Ну, дальше? — сказал я.

Я чувствовал, что Ларри в настроении говорить, а сам я, конечно же, был в настроении слушать.

— Я вам не надоел?

— Нисколько.

— Ну так вот, приплыли мы в Бомбей. Пароход стоял там три дня, пока туристы осматривали город и окрестности. На третий день я с полудня был свободен и сошел на берег. Походил, поглядел на толпу, кого там только не было! Китайцы, мусульмане, индусы; черные как сажа тамилы; и эти их горбатые волы с длинными рогами, запряженные в повозки. Потом я поехал в Элефанту смотреть пещерные храмы. От Александрии на нашем пароходе плыл один индиец, туристы относились к нему немного свысока. Он был маленький, толстенький, в плотном костюме в черно-зеленую клетку и пасторском воротничке. Я как-то ночью поднялся на палубу подышать, он подошел и заговорил со мной. Мне в ту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, хотелось побыть одному. А он задавал мне вопрос за вопросом, и я, вероятно, отвечал не слишком вежливо. В общем, я ему сказал, что я студент, а матросом зарабатываю обратный путь в Америку.

«Вам бы надо пожить в Индии, — сказал он. —

Запад и не представляет себе, сколькому он может научиться у Востока».

«Уж будто!» — сказал я.

«Во всяком случае, — сказал он, — непременно побывайте в пещерах Элефанты. Не пожалеете».

Ларри перебил свой рассказ вопросом:

— Вы-то бывали в Индии?

— Никогда.

— Ну так вот, когда я стоял перед исполинским изваянием о трех головах, которое считается главной достопримечательностью Элефанты, и раздумывал, что бы это могло значить, кто-то за моей спиной сказал: «Вы, я вижу, последовали моему совету». Я оглянулся и не сразу понял, кто со мной говорит. Это был тот человечек в плотном клетчатом костюме и пасторском воротничке, только теперь на нем было длинное шафрановое одеяние — такие балахоны, как я позже узнал, носят адепты Рамакришны, — и от смешного суетливого человечка ничего не осталось, вид у него был внушительный, даже величественный. Мы постояли рядом, глядя на гигантский бюст.

«Брама — творец, — сказал он. — Вишну — охранитель и Шива — разрушитель. Три проявления Конечной Реальности».

«Что-то мне не совсем понятно», — сказал я.

«Неудивительно, — отозвался он и с легкой улыбкой подмигнул, точно подтрунивал надо мной. — Бог, которого можно понять, — это не Бог. Кто может объяснить словами Бесконечность?»

Он сложил перед собой ладони и с едва заметным поклоном пошел куда-то дальше, а я еще долго смотрел на эти три загадочные головы. Наверно, я был настроен особенно восприимчиво, меня охватило непонятное волнение. Вы знаете, как иногда бывает — стараешься вспомнить какое-то имя, на языке вертится, а вспомнить не можешь. Вот и со мной тогда так было. Я вышел из пещер и еще долго сидел на ступенях и глядел на море. О брахманизме я не знал ничего, кроме стихов Эмерсона, и я попробовал их вспомнить, но не смог. Я даже рассердился и, когда вернулся в Бомбей, зашел в книжную лавку, думал, не найдется ли там книга, в которую эти стихи вошли. Они включены в «Оксфордскую антологию английской поэзии». Помните?

Ошибаются те, кто обо мне забывает;
Когда они бегут меня, я – крылья;
Я – сомневающийся и сомнение,
И я – тот гимн, что поет брамин.

Я поужинал в туземной харчевне, на паро-

ход мне нужно было только к десяти, и опять пошел бродить по набережной и смотреть на море. Никогда еще, кажется, я не видел на небе столько звезд. Прохлада после дневного зноя была упоительна. Я забрел в какой-то сквер и сел на скамейку. Там было очень темно, беззвучно мелькали какие-то белые фигуры.

Этот удивительный день словно околдовал меня: слепящее солнце, шумные пестрые толпы, запах Востока, едкий и пряный; и как яркий мазок на картине объединяет всю композицию, так эти три огромные головы — Брама, Вишну и Шива — придавали всему этому некую таинственную значительность. Сердце у меня бешено заколотилось, потому что я вдруг ощутил неколебимую уверенность, что Индия может дать мне что-то, очень мне нужное. Точно мне предлагалась некая возможность, за которую следовало ухватиться немедленно, а не то она больше никогда не представится. Я не раздумывал долго. Я решил не возвращаться на пароход. У меня остался там только чемоданчик с бельем. Я не спеша вернулся в туземный квартал и стал искать гостиницу. Нашел, снял номер. Кроме той одежды, что была на мне, у меня было только немножко денег, паспорт и аккредитив. Чувство свободы было так

сладостно, что я громко смеялся.

Пароход мой отходил на следующее утро в одиннадцать часов, и до тех пор я из предосторожности сидел у себя в номере. Потом спустился на набережную, посмотрел, как он отваливает. А потом отправился в миссию Рамакришны и разыскал того человека, который говорил со мной в Элефанте. Имени его я не знал, но объяснил, что мне нужен уважаемый человек, который только что приехал из Александрии. Я сказал ему, что решил остаться в Индии, и спросил, что здесь следует посмотреть. Мы долго беседовали, и кончилось тем, что он сказал, что вечером уезжает в Бенарес, и предложил мне ехать с ним вместе. Я с восторгом согласился. Мы ехали третьим классом. Вагон был набит битком, люди ели, пили, разговаривали, жарища была страшная. Я всю ночь не сомкнул глаз, и к утру меня сильно разморило, а он был свеженький как огурчик. Я спросил его, как это так, а он отвечал: «Я размышлял о том, что не имеет образа, и черпал покой в Абсолюте». Я не знал, что и думать, но своими глазами видел, что он оживлен и бодр, точно всласть выспался в удобной постели.

Наконец мы дотащились до Бенареса, там его встретил молодой человек примерно моего воз-

раста, и мой спутник попросил его найти мне комнату. Звали его Махендра, он преподавал в университете. Очень был приятный человек, неглупый и воспитанный, мы сразу прониклись друг к другу симпатией. Вечером он повел меня покататься на лодке по Гангу. Это было восхитительно — до того красив этот город, сползающий к самой воде, даже сердце замирает; но на утро у него было припасено зрелище и того лучше; он зашел за мной еще до рассвета, и мы опять сели в лодку. И тут я увидел такое, чего и вообразить не мог. Я видел, как тысячи и тысячи людей шли к реке совершать очистительные омовения и молиться. Я видел, как высокий, страшно худой мужчина, патлатый, со спутанной бородой и в одной набедренной повязке, стоял, воздев длинные руки и закинув голову, и громко молился восходящему солнцу. Не могу вам передать, как это меня потрясло. Я пробыл в Бенаресе полгода и еще много раз ходил на заре к Гангу, чтобы увидеть эту поразительную картину. Я не мог на нее надивиться. Эти люди верили не с прохладцей, не с оговорками и сомнениями, а всем своим существом.

Ко мне все были очень добры. Когда они убедились, что я приехал не для того, чтобы охотиться

на тигров, и не для того, чтобы что-то продать или купить, а только чтобы учиться, они стали всячески мне помогать. Им понравилось, что я хочу научиться хинди, и они нашли мне учителей. Давали мне книги. Не уставали отвечать на мои вопросы… Вам что-нибудь известно об индуизме?

— Очень мало.

— А я думал, вас это должно интересовать. Можно ли вообразить что-нибудь более грандиозное, чем концепция, что вселенная не имеет ни начала, ни конца, но снова и снова переходит от роста к равновесию, от равновесия к упадку, от упадка к распаду, от распада к росту, и так далее до бесконечности?

— А какова, по мнению индусов, цель этого бесконечного чередования?

— Вероятно, они бы ответили, что такова природа Абсолюта. Понимаете, они считают, что назначение всего сущего в том, чтобы служить стадией для наказания или награды за деяния прошлых существований души.

— И это предполагает веру в переселение душ?

— В него верят две трети человечества.

— То, что в какую-нибудь теорию верит много людей, еще не есть гарантия ее истинности.

— Да, но это хотя бы значит, что к ней стоит присмотреться. Христианство вобрало в себя многое от неоплатонизма, оно могло бы вобрать и эту идею, одна раннехристианская секта даже верила в нее, но она была объявлена еретической. Если бы не это, христиане верили бы в нее так же свято, как верят в воскресение Христа.

— Если я вас правильно понял, это значит, что душа переходит из тела в тело в ходе бесконечного опыта, обусловленного праведностью или греховностью предшествующих поступков?

— По-моему, так.

— Но подумайте, ведь «я» — это не только мой дух, но и мое тело, кто может сказать, в какой мере мое «я», моя сущность обусловлена случайностями моего тела? Был бы Байрон Байроном без своей хромоты или Достоевский Достоевским без своей эпилепсии?

— Индусы не стали бы говорить о случайности. Они ответили бы, что это ваши поступки в предыдущих жизнях предопределили вашей душе обитать в несовершенном теле. — Ларри побарабанил пальцами по столу, глубоко задумавшись и уставясь глазами в пространство. Потом со слабой улыбкой на губах заговорил снова: — Вам не приходило в голову, что перевоплощение одно-

временно и объясняет, и оправдывает земное зло? Если зло, от которого мы страдаем, — следствие грехов, совершенных в предыдущих жизнях, мы можем сносить его с покорностью и надеяться, что, если в этой жизни мы будем стремиться к праведности, наши будущие жизни будут не так несчастны. Но собственные невзгоды сносить легко, для этого требуется лишь немножко мужества; по-настоящему нестерпимо то зло, часто кажущееся столь незаслуженным, от которого страдают другие. Если ты способен убедить себя, что это зло — неизбежное следствие прошлого, тогда ты можешь жалеть людей, можешь и должен по мере сил облегчать их страдания, но причин возмущаться у тебя не будет.

— Но почему Бог не создал мир, свободный от страданий и горя, с самого начала, когда в человеке еще не было ни праведности, ни греховности, которые определяли бы его поступки?

— Индусы сказали бы, что начала не было. Каждая душа, сосуществуя с вселенной, существует от века, и природа ее обусловлена каким-нибудь предыдущим существованием.

— И что же, оказывает эта вера в переселение душ ощутимое воздействие на жизнь тех, кто ее исповедует? Ведь вот где, в сущности, главный

критерий.

— Думаю, что оказывает. Могу рассказать вам про одного человека, которого я лично знал, на его жизнь она, несомненно, оказала очень даже ощутимое воздействие. Первые два-три года в Индии я жил главным образом в туземных гостиницах, но изредка меня приглашали к себе друзья, а раза два я пожил в великой роскоши как гость махараджи. Через одного из моих знакомых я получил приглашение погостить в одном из мелких северных княжеств. Столица там была прелестная — «багряный город, вечности ровесник». Меня представили министру финансов. Он получил европейское образование, учился в Оксфорде. Производил впечатление человека передового, неглупого и просвещенного и к тому же слыл чрезвычайно дельным министром и ловким, прозорливым политиком. Он носил европейское платье, следил за своей внешностью, одни аккуратно подстриженные усики чего стоили; и собой был недурен, хоть и полноват, как многие индийцы не первой молодости. Он часто приглашал меня в гости. У него был большой сад, и мы сидели в тени развесистых деревьев и беседовали. У него была жена и двое взрослых детей. В общем, казалось бы, типичный англизирован-

ный индиец. Я ушам своим не поверил, когда узнал, что через год, когда ему стукнет пятьдесят, он намерен отказаться от своего прибыльного поста, передать свою собственность жене и детям и идти бродить по свету как нищенствующий монах. Причем самое удивительное было то, что ни его знакомые, ни махараджа не усматривали в этом ничего из ряда вон выходящего.

Однажды я ему сказал: «Вы человек без предрассудков, вы знаете жизнь, вы начитанны в естественных науках, философии, литературе, скажите положа руку на сердце, верите вы в перевоплощение?»

«Дорогой мой друг, — ответил он, — если бы я в него не верил, жизнь не имела бы для меня никакого смысла».

— А вы в него верите, Ларри? — спросил я.

— Это очень трудный вопрос. Мне кажется, мы, люди Запада, не в состоянии верить в него так же безоговорочно, как верят на Востоке. У них эта вера вошла в плоть и кровь. У нас вместо нее может быть только личное мнение. Я, например, и верю в него, и не верю.

Он помолчал, подперев рукой опущенную голову. Потом выпрямился.

— Хочу вам рассказать, какое у меня однажды

было странное переживание. Как-то ночью в моей маленькой комнате в ашраме я упражнялся в размышлении, как меня учили тамошние друзья. Я зажег свечу и постарался сосредоточить на ней внимание и через некоторое время совершенно отчетливо увидел сквозь пламя длинную череду фигур. Первой была пожилая дама в кружевном чепце, с седыми локончиками, свисавшими на уши. На ней был узкий черный корсаж и черная шелковая юбка, вся в оборках, — так, кажется, женщины одевались в семидесятых годах, и стояла она ко мне лицом, в грациозной, застенчивой позе, опустив по бокам руки ладонями вперед. На ее увядшем лице было прелестное выражение доброты и мягкости. Чуть позади нее, но в профиль ко мне, стоял высокий тощий еврей, горбоносый и толстогубый, в желтом кафтане, с желтой ермолкой на густых черных волосах. У него был вид ученого, на лице печать фанатического аскетизма. Позади него, опять лицом ко мне, и видный яснее всех — протяни руку и тронешь — находился молодой мужчина с веселым румяным лицом, без всякого сомнения англичанин шестнадцатого столетия. Он стоял крепко, слегка расставив ноги, — этакий дерзкий, бесшабашный гуляка. За ним маячила еще

бесконечная вереница фигур, как очередь перед кинематографом, но они были как в тумане, разглядеть их я не мог. Я видел только смутные очертания, да какое-то движение проходило по ним волнами — так пшеница колышется под летним ветром. Не знаю, сколько это длилось — минуту, или пять, или десять, — потом они постепенно растаяли в ночном мраке, и ничего не осталось, только ровное пламя свечи.

Ларри усмехнулся.

— Можно, конечно, предположить, что я задремал и видел сон. Или, сосредоточив все мысли на этом маленьком огоньке, я впал в какое-то гипнотическое состояние, и эти три фигуры, которые я видел так же ясно, как вижу вас, были забытыми картинами, сохранившимися у меня в подсознании. А может быть, это был я сам в прошлых воплощениях. Может быть, не так давно я был пожилой дамой в Новой Англии, а до этого — левантинцем-евреем, а еще раньше, вскоре после того как Себастьян Кабот отплыл из Бристоля, — щеголем при дворе Генриха, принца Уэльского.

— А что сталось с вашим приятелем из багряного города?

— Два года спустя я оказался на юге, в городке

под названием Мадура. Вечером в храме кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся и увидел бородатого человека с длинными черными волосами, в одних трусах, с посохом и миской для подаяния, как ходят там святые люди. Я только тогда узнал его, когда он заговорил. Это был мой приятель. От удивления я онемел. Он спросил меня, что я делал с тех пор, как мы не виделись, и я ответил; спросил, куда я направляюсь, я ответил, что в Траванкур; тогда он сказал, чтобы я отыскал там Шри Ганешу: «Он вам даст то, чего вы ищете». Я просил рассказать мне о нем, но он улыбнулся и ответил, что когда я его увижу, то сам узнаю о нем все, что мне положено знать. Я успел оправиться от удивления и, в свою очередь, спросил, что он делает в Мадуре. Он сказал, что совершает паломничество — обходит пешком святые места Индии. Я спросил, как он питается и где ночует. Он сказал, что, когда ему предлагают приют, спит на галерее, а то под деревом или в ограде храма; а что до еды — если предлагают поесть — не отказывается, а нет — обходится без обеда. Я посмотрел на него повнимательнее и сказал: «А вы похудели». Он смеясь заявил, что это полезно для здоровья. Потом он простился со мной — забавно было услышать из уст этого нищего в набедрен-

ной повязке: «Пока, старина» — и прошел в ту часть храма, куда мне не полагалось входить.

Из Мадуры я уехал не сразу. Тамошний храм, кажется, единственный в Индии, по которому белый человек может свободно расхаживать, лишь бы он не входил в святилище. К ночи там собиралось множество народу: мужчин, женщин, детей. Мужчины — голые по пояс, в одних дхоти, лоб, а часто и грудь и руки густо намазаны белой золой от сожженного коровьего навоза. Они склонялись ниц то у одного священного места, то у другого, а иные лежали ничком на земле в ритуальной позе самоуничижения. Они молились, читали священные стихи, перекликались, здоровались, ссорились, затевали ожесточенные споры. Гам стоял несусветный, а между тем каким-то непонятным образом там ощущалось присутствие живого Бога.

Проходишь длинными залами меж изукрашенных скульптурой колонн, и у подножия каждой колонны сидит нищенствующий праведник, перед каждым миска для подаяния или маленькая циновка, на которую верующие изредка бросают медяк. Одни одеты, другие почти голые. Одни провожают тебя пустым взглядом; другие читают про себя или вслух, точно мимо них и не снуют

эти толпы. Я искал среди них моего приятеля, но больше ни разу его не встретил. Наверное, он уже продолжил путь к своей цели.

— Какая же это была цель?

— Освободиться от уз нового рождения. По учению веданты, сущность человека, которую они называют «Атман», а мы называем душой, отлична от тела и его чувств, отлична от рассудка и разума; она не есть часть Абсолюта, поскольку Абсолют, будучи бесконечным, не имеет частей; она и есть Абсолют. Она не сотворена, она существовала всегда, и когда она наконец сбросит семь покрывал невежества, то возвратится в бесконечность, из которой пришла. Она — как капля воды, что поднялась из моря и дождем упала в лужицу, а потом стекла в ручеек, пробралась в узкую речку, потом в мощный поток, бегущий по горным ущельям и широким равнинам, отклоняясь то вправо, то влево, встречая на пути и каменные завалы, и упавшие деревья, и наконец вливающийся в бескрайнее море, из которого поднялась.

— Но к тому времени, когда эта бедная капля опять сольется с морем, она наверняка потеряет свою индивидуальность.

Ларри усмехнулся.

— Вам ведь хочется пососать кусок сахара, а не превратиться в сахар. Что такое индивидуальность, как не проявление нашего эгоизма? Пока душа не избавится от него, она не может слиться с Абсолютом.

— Вы очень бойко толкуете об Абсолюте, Ларри, и слово это звучит внушительно. Но что оно, по-вашему, означает?

— Реальность. Что она такое — этого нельзя сказать. Можно только сказать, чем она не является. Она необъяснима. Индусы называют ее «Брахман». Она нигде и везде. Она все подразумевает, и все от нее зависит. Это не человек, не вещь, не первопричина. У нее нет никаких свойств. Она за пределами неизменности и перемены, целое и часть, конечное и бесконечное. Она вечна, потому что ее законченность и совершенство не имеют отношения к времени. Она — истина и свобода.

«Ну и ну!» — сказал я про себя, а вслух спросил:

— Но как может страждущее человечество находить прибежище в чисто умозрительной концепции? Людям всегда требовался личный Бог, к которому в тяжелую минуту можно обратиться за утешением и поддержкой.

— Возможно, когда-нибудь в далеком будущем

люди станут умнее и поймут, что искать утешения и поддержки нужно в собственной душе. Мне лично представляется, что потребность молиться — это всего лишь пережиток древней памяти о жестоких богах, которых нужно было умилостивить. Я думаю, что Бог либо внутри меня, либо нигде. А если так, кому или чему мне молиться? Самому себе? Люди пребывают на разных уровнях духовного развития, и в Индии, например, воображение создало проявления Абсолюта, известные как Брама, Вишну, Шива и еще под множеством имен. Абсолют — в Ишваре, создателе и правителе мира, и в смиренном фетише, которому крестьянин на своем выжженном солнцем клочке земли приносит в жертву цветок. Бесчисленные индийские боги — это всего лишь образы, облегчающие понимание той истины, что «я» человека и высшее «я» — одно.

Я задумчиво поглядел на Ларри.

— Хотел бы я знать, почему вас потянуло к этой суровой вере?

— Думаю, что могу вам объяснить. Мне всегда казалось немного смешным, что основатели той или иной религии ставили человеку условие: веруй в меня, иначе не спасешься. Словно без веры со стороны они сами не могли в себя уверовать.

Прямо как те древние языческие боги, которые худели и бледнели, если люди не поддерживали их силы жертвоприношениями. Веданта не предлагает вам что-либо принимать на веру; она только требует от вас страстного желания познать Реальность; она утверждает, что вы можете познать Бога так же, как можете познать радость или боль. И сейчас в Индии есть люди, может быть сотни людей, которые убеждены, что они этого достигли. Меня особенно пленяет мысль, что постигнуть Реальность можно с помощью знания. В более поздние эпохи индийские мудрецы, снисходя к человеческой слабости, допускали, что спасения можно достигнуть также через любовь и добрые дела, но они никогда не отрицали, что самый достойный, хоть и самый трудный путь — это путь познания, потому что орудие его — самое драгоценное, чем обладает человек, — его разум.

VII

Здесь я должен прервать свой рассказ и пояснить, что я не пытаюсь сколько-нибудь последовательно описать философскую систему, известную под названием «веданта». Для этого мне недостает знаний, да если б я ими и распо-

лагал, такое описание было бы здесь не у места. Разговор наш продолжался долго, и Ларри наговорил гораздо больше, чем я счел возможным воспроизвести, — ведь я как-никак пишу не научный трактат, а роман. Для меня главное — Ларри. Я и вообще-то коснулся этого сложного предмета только потому, что, если б я не упомянул хотя бы вкратце о раздумьях Ларри и о его необычайных переживаниях, вызванных, возможно, этими раздумьями, очень уж неправдоподобной показалась бы та линия поведения, которую он избрал и о которой читателю скоро станет известно.

Мне до крайности обидно, что я не в силах дать хотя бы отдаленное представление о его чудесном голосе, придававшем убедительность даже самым пустячным его замечаниям, или о смене выражений на его лице, исполненном то важности, то легкой веселости, то задумчивом, то лукавом, — сопровождавшем его рассказ, как журчание рояля, когда скрипка выпевает тему за темой. Он говорил о серьезных вещах, но говорил просто, непринужденно, немного, пожалуй, застенчиво, но не более книжно, чем если бы речь шла о погоде и видах на урожай. Если у читателя создалось впечатление, что в его манере было нечто наставительное, то в этом повинен я.

Скромность его была столь же очевидна, как его искренность.

В кафе остались считанные посетители. Кутилы давно удалились. Печальные создания, промышляющие любовью, расползлись по своим убогим жилищам. Заглянул усталый мужчина и выпил стакан пива с бутербродом; еще один, шатаясь, как в полусне, заказал чашку кофе. Мелкие служащие. Первый отработал ночную смену и идет домой спать. Второму, поднятому звонком будильника, еще предстоит томительно длинный рабочий день. Мне в жизни довелось побывать в разного рода диковинных ситуациях. Не раз я был на волосок от смерти. Не раз соприкасался с романтикой и понимал это. Я проехал верхом через Центральную Азию, по тому пути, которым Марко Поло пробирался в сказочную страну Китай; я пил из стакана русский чай в чопорной петроградской гостиной, и низенький господин, в черной визитке и полосатых брюках, занимал меня разговором о том, как он убил некоего великого князя; я сидел в зале богатого дома в Вестминстере и слушал безмятежно певучее трио Гайдна, а за окном рвались немецкие бомбы. Но в такой диковинной ситуации мне еще, кажется, не доводилось оказаться; час за

часом я сидел на красном плюшевом диванчике в парижском ночном ресторане, а Ларри говорил о Боге и вечности, об Абсолюте и медлительном колесе бесконечного становления.

VIII

Ларри уже несколько минут как умолк, торопить его не хотелось, и я ждал. Но вот он подарил меня короткой дружеской улыбкой, словно вдруг вспомнил о моем присутствии.

— Приехав в Траванкур, я обнаружил, что мог и не наводить заранее справок о Шри Ганеше. Там все его знали.

Много лет он прожил в пещере в горах, а потом его уговорили спуститься в долину, где какой-то добрый человек подарил ему участок земли и построил для него глинобитный домик. От Тривандрума, столицы княжества, путь туда неблизкий, я ехал целый день, сперва поездом, потом на волах, пока добрался до его ашрамы. У входа стоял какой-то молодой человек, я спросил его, можно ли мне увидеть йога. У меня была с собой корзина фруктов — традиционное приношение. Через несколько минут молодой человек вернулся и провел меня в длинное помещение с окнами во всех стенах. В одном углу, на возвы-

шении, застланном тигровой шкурой, сидел в позе размышления Шри Ганеша. «Я тебя давно жду», — сказал он. Я удивился, но решил, что ему говорил про меня мой приятель. Однако, когда я назвал его, Шри Ганеша покачал головой. Я преподнес ему фрукты, и он велел молодому человеку их унести. Мы остались одни, он молча смотрел на меня. Не знаю, сколько длилось это молчание. Наверно, с полчаса. Я вам уже описывал его внешность; но я не сказал, какая от него исходила необычайная безмятежность, доброта, покой, отрешенность. Я после своего путешествия весь взмок и устал, но тут постепенно ощутил удивительное отдохновение. Он еще молчал, а я уже был уверен, что именно этот человек был мне нужен.

— Он говорил по-английски? — спросил я.

— Нет, но мне, вы знаете, языки даются легко, и на юге я уже успел нахвататься тамильского, так что много понимал и сам мог объясниться. Наконец он заговорил:

«Зачем ты сюда пришел?»

Я стал рассказывать, как попал в Индию и чем занимался три года, как ходил от одного святого человека к другому, будучи наслышан о их мудрости и праведности, и ни один не дал мне того,

что я искал. Он перебил меня:

«Это я все знаю. Говорить об этом лишнее. Зачем ты пришел ко мне?»

«Чтобы ты стал моим гуру», — ответил я.

«Единственный гуру — это Брахман», — сказал он.

Он все смотрел на меня до странности пристально, а потом тело его внезапно застыло, глаза словно обратились внутрь, и я увидел, что он впал в транс, который индусы называют «самадхи», то есть сосредоточением, и во время которого, по их верованиям, антитеза субъекта и объекта уничтожается и человек становится Абсолютным Знанием. Я сидел перед ним на полу скрестив ноги, и сердце у меня отчаянно билось. Сколько времени прошло, не знаю, потом он глубоко вздохнул, и я понял, что он опять в нормальном сознании. Он окинул меня взглядом, исполненным бесконечной доброты.

— Оставайся, — сказал он. — Тебе покажут, где можно спать.

Меня поселили в хижине, где Шри Ганеша жил, когда только спустился в долину. Здание, где он теперь проводил и дни, и ночи, построили позже, когда вокруг него собрались ученики и все больше народу стало приходить к нему на поклон.

Чтобы не выделяться, я перешел на удобную индийскую одежду и так загорел, что, если не знать, кто я, меня вполне можно было принять за местного жителя. Я много читал. Размышлял. Слушал Шри Ганешу, когда он был в настроении говорить; говорил он не много, но всегда был готов отвечать на вопросы, и слова его будили много мыслей и чувств. Как музыка. Сам он в молодости упражнялся в очень суровом аскетизме, но своих учеников к этому не понуждал. Он стремился отлучить их от рабства эгоизма и плотских страстей, толковал им, что путь к освобождению лежит через спокойствие, воздержание, самоотречение, покорность, через твердость духа и жажду свободы. Люди приходили к нему из ближайшего города за три-четыре мили — там был знаменитый храм, куда раз в год стекались на праздник несметные толпы; приходили из Тривандрума и других отдаленных мест, чтобы поведать ему свои горести, спросить его совета, послушать его наставления; и все уходили утешенные, с новыми силами и в мире с самими собой. Суть его учения была очень проста. Он учил, что все мы лучше и умнее, чем нам кажется, и что мудрость ведет к свободе. Он учил, что самое важное для спасения души — не удалиться

от мира, а всего лишь отказаться от себя. Он учил, что работа, проделанная бескорыстно, очищает душу и что обязанности — это предоставленная человеку возможность подавить свое «я» и слиться воедино с вселенским «я». Удивительно было не столько его учение, сколько он сам — его милосердие, величие его души, его святость. Самая близость его была благом. Около него я был очень счастлив. Я чувствовал, что наконец-то нашел то, что искал. Недели, месяцы летели с неимоверной быстротой. Я решил, что побуду там либо до его смерти — а он говорил, что не намерен много дольше обитать в своем бренном теле, — либо до тех пор, пока мне не будет дано озарение — то состояние, когда ты наконец разорвал путы невежества и познал с неоспоримой уверенностью, что ты и Абсолют — одно.

— А тогда что?

— Тогда, очевидно, нет больше ничего. Земной путь души окончен, и она больше не вернется.

— И Шри Ганеша умер? — спросил я.

— Да нет, не слышал.

Не успел он это сказать, как понял смысл моего вопроса и смущенно усмехнулся. Чуть помедлив, он продолжал, но так, что я сначала подумал, что он хочет уйти от второго вопроса,

явно вертевшегося у меня на языке и вполне естественного, — было ли ему дано озарение.

— Я не все время проводил в ашраме. Мне посчастливилось познакомиться с одним местным лесничим, который жил на окраине деревни в предгорьях. Он был ревностным почитателем Шри Ганеши и, когда выдавалось свободное время, проводил у нас по два, по три дня. Приятный был человек, мы с ним много беседовали. Он был рад случаю попрактиковаться в английском. Через некоторое время он сказал мне, что у лесничества есть домик в горах и, если мне когда-нибудь захочется там побывать и пожить в одиночестве, он даст мне ключ. И я стал туда удаляться время от времени. Путь туда занимал два дня — сначала автобусом, до той деревни, где постоянно жил лесничий, потом пешком, но проделать его стоило — такое там было великолепие и тишина. Я забирал с собой рюкзак с вещами, нанимал носильщика, чтобы тащил припасы, и жил там, пока они не иссякнут. Домик был просто бревенчатая хижина с пристройкой, где стряпать, а внутри была походная койка, на которую каждый мог постелить свою спальную циновку, стол и два стула. Там, на высоте, никогда не было жарко, а по ночам бывало даже

приятно развести костер. У меня сердце замирало от счастья при мысли, что ближе чем за двадцать миль от меня нет ни одной живой души. Ночью я нередко слышал рев тигра или страшный шум и треск, когда через джунгли продирались слоны. Я надолго уходил гулять. Там было одно место, где я особенно любил посидеть, потому что оттуда открывался широкий вид на горы, а внизу было озеро, к которому в сумерках сходились на водопой олени, кабаны, бизоны, слоны и леопарды.

Когда я прожил в ашраме уже два года, я отправился в мое горное убежище по причине, которая покажется вам смешной. Мне захотелось провести там мой день рождения.

Пришел я накануне. А наутро проснулся еще затемно и подумал, что хорошо бы с моего любимого места посмотреть восход солнца. Дорогу туда я мог бы найти с закрытыми глазами. Я пришел, сел под деревом и стал ждать. Еще не рассвело, но звезды побледнели, день был близок. У меня возникло странное чувство, что вот-вот что-то должно случиться. Постепенно, почти незаметно для глаза, свет стал просачиваться сквозь темноту — медленно, как таинственное существо, скользящее меж деревьев. Сердце у меня забилось, словно в предчувствии опасности.

Взошло солнце.

Ларри помолчал, виновато улыбаясь.

— Не умею я описывать, у меня нет слов, чтобы создать картину; я не в силах вам рассказать так, чтобы вы сами увидели, какое зрелище мне открылось, когда день воссиял во всем своем величии. Горы, поросшие лесом, за верхушки деревьев еще цепляются клочья тумана, а далеко внизу — бездонное озеро. Через расщелину в горах на озеро упал солнечный луч, и оно заблестело, как вороненая сталь. Красота мира захватила меня. Никогда еще я не испытывал такого подъема, такой нездешней радости. У меня появилось странное ощущение, точно дрожь, начавшись в ногах, пробежала к голове, такое чувство, будто я вдруг освободился от своего тела, а душа причастилась такой красоте, о какой я не мог и помыслить. Будто я обрел какое-то сверхчеловеческое знание, и все, что казалось запутанным, стало просто, все непонятное объяснилось. Это было такое счастье, что оно причиняло боль, и я хотел избавиться от этой боли, потому что чувствовал — если она продлится еще хоть минуту, я умру; и вместе с тем такое блаженство, что я был готов умереть, лишь бы оно длилось. Как бы мне вам объяснить? Этого не

опишешь словами. Когда я пришел в себя, я был в полном изнеможении и весь дрожал. Я уснул.

Проснулся я в полдень. Я пошел в свою хижину, и на сердце у меня было так легко, что казалось, я не иду, а парю над землей. Я приготовил себе поесть, голоден был как волк, и закурил трубку.

Ларри и сейчас набил трубку и закурил.

— Мне страшно было подумать, что это было прозрение и что я, Ларри Даррел из Марвина, штат Иллинойс, удостоился его, когда другие, которые ради него годами занимались умерщвлением плоти и лишали себя всех земных радостей, все еще ждут.

— А может быть, это было всего лишь гипнотическое состояние, вызванное вашим настроением, одиночеством, таинственностью рассветного часа и вороненой сталью вашего озера? Чем вы можете доказать, что это было именно прозрение?

— Только тем, что сам я в этом ни минуты не сомневаюсь. Ведь переживание это было того же порядка, как то, что знавали мистики во всех концах света, во все века. Брахманы в Индии, суфии в Персии, католики в Испании, протестанты в Новой Англии. И в той мере, в какой можно описать то, что не поддается описанию, они и

описывали его примерно в тех же словах. Отрицать тот факт, что такое переживание бывает, невозможно; трудность в том, чтобы его объяснить. Слился я на мгновение в одно с Абсолютом, или то прорвалось наружу подсознание, или сказалось сродство с духом вселенной, которое во всех нас скрыто, право, не знаю.

Ларри передохнул и поглядел на меня не без лукавства.

— Между прочим, — сказал он, — вы можете коснуться мизинцем большого пальца?

— Конечно, — сказал я и тут же это проделал.

— А вам известно, что на это способен только человек и приматы? Рука — поразительное орудие именно потому, что большой палец противостоит другим пальцам. Так нельзя ли предположить, что этот противостоящий большой палец, конечно в каком-то рудиментарном виде, сначала развился только у отдельных особей далекого предка человека и гориллы, а общим для него признаком стал лишь через несчетное число поколений? И точно так же, что если единение с высшей Реальностью, которое пережило столько разных людей, указывает на появление у человека некоего шестого чувства, то это чувство в очень-очень далеком будущем

станет свойственно всем людям и они смогут воспринимать Абсолют так же непосредственно, как мы сейчас воспринимаем чувственный мир?

— А как это должно на нас отразиться? — спросил я.

— Этого я не могу предугадать, так же как первое живое существо, обнаружившее, что может коснуться мизинцем большого пальца, не могло предвидеть, какие бесконечные возможности открывает это простенькое движение. О себе могу только сказать, что неизъяснимое чувство покоя и радостной уверенности, которое охватило меня в ту минуту, живет во мне до сих пор и красота мира сияет мне так же свежо и ярко, как когда это видение впервые меня ослепило.

— Но как же, Ларри, ведь из вашей идеи Абсолюта должно бы следовать, что мир с его красотой всего лишь иллюзия, майя?

— Неправильно полагать, что индусы считают мир иллюзией; они только утверждают, что он реален не в том же смысле, как Абсолют. Майя — это всего лишь гипотеза, с помощью которой эти неутомимые мыслители объясняют, как Бесконечное могло породить Конечное. Шанкара, самый мудрый из них, решил, что это неразрешимая загадка. Понимаете, труднее всего объяснить,

почему и зачем Брахман, то есть Бытие, Блаженство и Сознание, сам по себе неизменный, вечно пребывающий в покое, имеющий все и ни в чем не нуждающийся, а значит, не знающий ни перемен, ни борьбы, словом, совершенный, зачем он создал видимый мир. Когда этот вопрос задаешь индусу, обычно слышишь в ответ, что Абсолют создал мир для забавы, без какой-либо цели. Но когда вспомнишь потопы и голод, землетрясения и ураганы и все болезни, которым подвержено тело, моральное чувство в тебе восстает против представления, что все эти ужасы могли быть созданы забавы ради. Шри Ганеша был слишком добр, чтобы в это верить; он полагал, что мир — это проявление Абсолюта, излишки его совершенства. Он учил, что Бог не может не творить и что мир есть проявление его, Бога, природы. Когда я спросил, как же так, если мир — проявление природы совершенного существа, почему этот мир так отвратителен, что единственная разумная цель, которую может поставить себе человек, состоит в том, чтобы освободиться от его пут? Шри Ганеша отвечал, что мирские радости преходящи и только Бесконечность дает прочное счастье. Но от долговечности хорошее не становится лучше, белое — белее. Пусть к полудню роза

теряет красоту, которая была у нее на рассвете, но тогдашняя ее красота реальна. В мире все имеет конец, неразумно просить, чтобы что-то хорошее продлилось, но еще неразумнее не наслаждаться им, пока оно есть. Если перемена — самая суть существования, логично, казалось бы, строить на ней и нашу философию. Никто из нас не может дважды вступить в одну и ту же реку, но река течет, и та, другая река, в которую мы вступаем, тоже прохладна и освежает тело.

Арии, когда пришли в Индию, понимали, что известный нам мир — только видимость мира, нам неведомого, но они приняли его как нечто милостивое и прекрасное. Лишь много веков спустя, когда их утомили завоевания, когда изнуряющий климат подорвал их жизнеспособность, так что они сами испытали на себе вторжение вражеских орд, они стали видеть в жизни только зло и возжаждали освободиться от ее повторений. Но почему мы, на Западе, особенно мы, американцы, должны страшиться распада и смерти, голода и жажды, болезней, старости, горя и разочарований? Дух жизни в нас силен. В тот день, когда я сидел с трубкой в своей бревенчатой хижине, я чувствовал себя более живым, чем когда-либо раньше. Я чувствовал в себе энергию,

которая требовала применения. Покинуть мир, удалиться в монастырь — это было не для меня, я хотел жить в этом мире и любить всех в нем живущих, пусть не ради них самих, а ради Абсолюта, который в них пребывает. Если в те минуты экстаза я действительно был одно с Абсолютом, тогда, если они не лгут, ничто мне не страшно и, когда я исполню карму моей теперешней жизни, я больше не вернусь. Эта мысль страшно меня встревожила. Я хотел жить снова и снова. Я готов был принять любую жизнь, какое бы горе и боль она ни сулила. Я чувствовал, что только еще, и еще, и еще новые жизни могут насытить мою жадность, мои силы, мое любопытство.

На следующее утро я спустился с гор, а еще через день прибыл в ашраму. Шри Ганеша удивился, увидев меня в европейском платье. А я надел его в доме у лесничего, перед тем как подняться к хижине, потому что там было холодно, да так и забыл переодеться.

«Я пришел проститься с тобой, учитель, — сказал я. — Я возвращаюсь к моему народу».

Он ответил не сразу. Он сидел, как всегда, скрестив ноги, на своем возвышении, застланном тигровой шкурой. Перед ним в жаровне курилась палочка благовоний, распространяя слабый

аромат. Он был один, как в первый день нашего знакомства. Он вглядывался в меня так пристально, точно проникал взглядом в самые глубины моего существа. Без сомнения, он знал, что со мной произошло.

«Это хорошо, — сказал он. — Ты скитался достаточно долго».

Я опустился на колени, и он благословил меня. Когда я поднялся, глаза у меня были полны слез. Он был человек высокой души, святой. Я всегда буду гордиться тем, что мне довелось его узнать. Я простился с его учениками. Некоторые из них прожили там по многу лет, другие пришли позже меня. Свои скудные пожитки и книги я там оставил на случай, что кому-нибудь пригодятся, и, закинув за спину пустой рюкзак, в тех же спортивных брюках и коричневом пиджаке, в которых туда явился, и в потрепанном пробковом шлеме зашагал обратно в город. Через неделю я сел в Бомбее на пароход и высадился в Марселе.

Между нами легло молчание, каждый задумался о своем. Но, как я ни устал, был еще один вопрос, который мне очень хотелось ему задать, и я заговорил первый.

— Друг мой Ларри, — сказал я, — ваши долгие поиски начались с проблемы зла. Проблема зла

— вот что вас подгоняло. А вы за все время ни разу не дали понять, что хотя бы приблизились к ее разрешению.

— Может быть, разрешить ее вообще невозможно, а может, у меня на это не хватает ума. Рамакришна утверждал, что мир — забава Бога. «Это все равно что игра, — говорил он, — в этой игре есть радость и горе, добродетель и порок, знание и невежество. Если совсем исключить из мира грех и страдания, игра не может продолжаться». С этим я никак не могу согласиться. По-моему, скорее уж так: когда Абсолют проявил себя, сотворив видимый мир, зло оказалось неразрывно связано с добром. Не могло бы быть потрясающей красоты Гималаев без невообразимо ужасного сдвига земной коры. Китайский мастер, который изготовляет вазу из тончайшего фарфора, может придать ей изящную форму, нанести на нее прекрасный узор, раскрасить ее в очаровательные тона и покрыть безупречной глазурью, но в силу самой ее природы не может сделать ее нехрупкой. Урони ее на пол, и она разлетится вдребезги. Возможно, вот таким же образом все, что есть для нас ценного в мире, может существовать только в сочетании со злом.

— Это остроумная теория, Ларри, только не

очень-то она утешительна.

— Разумеется, — улыбнулся он. — В пользу ее можно сказать одно: если пришел к выводу, что что-то неизбежно, значит, нужно с этим мириться.

— Какие же у вас теперь планы?

— Мне нужно закончить здесь одну работу, а потом поеду домой, в Америку.

— И что там будете делать?

— Жить.

— Как?

Он ответил невозмутимо, но в глазах у него мелькнула шаловливая искорка — он знал, каким неожиданным для меня будет его ответ.

— Упражняясь в спокойствии, терпимости, сочувствии, бескорыстии и воздержании.

— Программа, что и говорить, обширная, — сказал я. — А почему воздержание? Вы же молоды. Разумно ли пытаться подавить в себе то, что наряду с голодом есть самый мощный инстинкт всякого животного?

— Мне в этом отношении повезло: для меня половая жизнь всегда была не столько потребностью, сколько удовольствием. Я по собственному опыту знаю, как правы индийские мудрецы, когда утверждают, что целомудрие способствует

укреплению силы духа.

— Мне-то казалось, что мудрость состоит в том, чтобы уравновесить требования тела и требования духа.

— А индусы считают, что именно этого мы на Западе и не умеем. По их мнению, мы с нашей техникой, с нашими фабриками и машинами и всем, что они производят, ищем счастья в материальных ценностях, тогда как истинное счастье не в них, а в ценностях духовных. И еще они считают, что избранный нами путь ведет к гибели.

— И неужели Америка представляется вам подходящей ареной для применения добродетелей, которые вы перечислили?

— А почему бы и нет? Вы, европейцы, ничего не знаете об Америке. Оттого, что мы наживаем большие состояния, вы воображаете, что мы только деньги и ценим. Вовсе мы их не ценим; чуть они у нас появляются, мы их тратим — хорошо ли, плохо ли, но тратим. Деньги для нас ничто, просто символ успеха. Мы — величайшие в мире идеалисты; я лично считаю, что идеалы у нас не те, что нужно. Мне лично представляется, что самый высокий идеал для человека — самоусовершенствование.

— Да, это благородная цель.

— Так не стоит ли хотя бы попробовать ее достигнуть?

— Но неужели вы воображаете, что вы один можете оказать какое-то воздействие на такую беспокойную, беззаконную, подвижную и насквозь индивидуалистическую толпу, какую являют собой американцы? Да это все равно что пытаться голыми руками сдержать течение Миссисипи.

— Попробовать можно. Колесо изобрел один человек. И закон тяготения открыл один человек. Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд камень — и вы уже немного изменили вселенную. Напрасно думают, что жизнь индийских праведников никчемная. Они — звезды во мраке. В них воплощен идеал, поднимающий дух их ближних; рядовым людям, возможно, никогда его не достигнуть, но они его уважают, и он оказывает на их жизнь благое влияние. Когда человек становится чист и совершенен, влияние его распространяется вширь, и те, кто ищет правды, тянутся к нему. Возможно, что, если я буду вести такую жизнь, какую для себя наметил, она окажет воздействие на других; воздействие это может оказаться не больше, чем круг на воде от брошенного камня, но за первым кругом воз-

никнет второй, а там и третий; как знать, быть может, хоть несколько человек поймут, что мой образ жизни ведет к душевному покою и счастью, и тогда они, в свою очередь, станут учить других тому, что переняли от меня.

— Сдается мне, Ларри, что вы недооцениваете те силы, с которыми решили тягаться. Филистеры, знаете ли, уже давно отвергли костер и дыбу как средства подавления опасных для них взглядов, они изобрели более смертоносное оружие — издевку.

— Меня сломить нелегко, — улыбнулся Ларри.

— Ну что ж, могу сказать одно: счастье ваше, что у вас есть постоянный доход.

— Да, он сослужил мне хорошую службу. Без него я не мог бы сделать все то, что сделал. Но теперь мое ученичество окончено. Теперь деньги были бы для меня только обузой. Я решил с ними разделаться.

— Весьма неразумное решение. Единственное, что может позволить вам вести избранный вами образ жизни, — это материальная независимость.

— Напротив, материальная независимость лишила бы мой образ жизни всякого смысла.

Я не сдержал раздраженного жеста.

— Все это прекрасно для нищенствующего святого в Индии: он может спать под деревьями, и благочестивые люди, чтобы набраться праведности, готовы наполнять его миску едой. Но американский климат не годится для ночевок под открытым небом, и, хотя я, возможно, не так уж много знаю об Америке, одно я знаю: если в чем-нибудь все ваши соотечественники согласны между собой, так это в том, что, если хочешь есть, изволь работать. Бедный мой Ларри, да вы там и оглядеться не успеете, как вас упекут в тюрьму за бродяжничество.

Он засмеялся.

— Я знаю. Надо приспосабливаться к обстановке. Конечно, я буду работать. Приеду и попробую получить работу в гараже. Я неплохой механик, думаю, что это мне удастся.

— А не будет ли это пустой тратой энергии, которую с большей пользой можно употребить на другое?

— Я физическую работу люблю. Я всегда спасался ею от умственного переутомления, очень помогает. Помню, я читал одну биографию Спинозы и еще тогда подумал, как глупо: Спинозе для заработка пришлось шлифовать линзы, и автор книги сокрушался об этом как о величайшем

несчастье. А я уверен, что Спинозе это послужило подспорьем в его умственной работе, хотя бы уже потому, что на время отвлекло его внимание от утомительных теоретических выкладок. Когда я мою машину или копаюсь в карбюраторе, голова у меня отдыхает, а когда кончишь такую работу, приятно сознавать, что не зря провел время. Конечно, я не мечтаю работать в гараже всю жизнь. Я сколько лет не был в Америке, надо заново ее узнавать. Постараюсь устроиться шофером грузовика. Это даст мне возможность изъездить всю страну из конца в конец.

— Вы забываете о самой полезной функции денег — они сберегают время. Жизнь так коротка, столько хочется сделать, надо дорожить каждой минутой, а вы подумайте, сколько теряется времени, если идти пешком, когда можно ехать автобусом, или ехать автобусом, когда можно взять такси.

Ларри улыбнулся.

— Правильно, я и сам об этом думал. Но с этой трудностью я справлюсь — заведу собственное такси.

— Это каким же образом?

— В конце концов я осяду в Нью-Йорке — отчасти потому, что там самые лучшие библиотеки.

На жизнь мне нужно очень немного, мне решительно все равно, где жить, есть я могу один раз в день, мне этого хватает; к тому времени, как я вдосталь насмотрюсь Америки, я сумею скопить достаточно денег, чтобы купить такси и работать шофером.

— Вас нельзя оставлять на свободе, Ларри. Вы совсем спятили.

— Ничего подобного. Я очень разумный человек и очень практичный. Как шофер-владелец, я смогу работать столько времени, сколько мне потребуется, чтобы заработать на кров и пищу и еще на ремонт машины. Остальное время я смогу посвящать другим делам, а если захочу поскорее куда-нибудь попасть, опять же буду ездить на своей машине.

— Но подумайте, Ларри, — поддразнил я его, — такси — это такая же собственность, как государственная облигация. Как шофер-владелец, вы окажетесь в рядах капиталистов.

Он рассмеялся.

— Нет. Мое такси будет для меня всего-навсего орудием труда. Как посох и миска для нищенствующего паломника.

На этой шутливой ноте наш разговор, собственно, и закончился. Я уже заметил, что в ресторане

стало прибавляться посетителей. Мужчина во фраке сел за столик недалеко от нас и заказал сытный завтрак. По его усталой, но довольной физиономии можно было сказать, что он с удовольствием вспоминает ночь, проведенную в любовных утехах. Несколько старичков, встав спозаранку — старость обходится немногими часами сна, — не спеша пили кофе с молоком и сквозь толстые стекла очков читали утренние газеты. Мужчины помоложе, одни аккуратные, вылощенные, другие в поношенных пиджаках, забегали проглотить чашку кофе с булочкой по пути в магазин или в контору. Появился древний старик с кипой газет и стал обходить столики, предлагая свой товар и почти не находя покупателей. Я глянул на большие зеркальные окна — на улице было совсем светло. Минут через пять в огромном ресторане погасили электричество, осталось гореть только несколько ламп в самой его глубине. Я посмотрел на часы. Четверть восьмого.

— Может, позавтракаем? — предложил я.

Мы поели рогаликов, хрустящих и теплых, только что из печи, выпили кофе с молоком. Я устал и раскис, вид у меня, наверное, был жуткий, а Ларри точно и не провел бессонной ночи. Глаза

его сияли, на гладком лице не пролегло ни одной складки, и выглядел он лет на двадцать пять, не больше. Кофе немного взбодрил меня.

— Можно мне дать вам совет, Ларри? Я их даю нечасто.

— А я их нечасто слушаюсь, — отвечал он с широкой улыбкой.

— Обдумайте все очень тщательно, прежде чем расстаться с вашим и так весьма скромным состоянием. Раз потеряв, вы его не вернете. А может наступить день, когда деньги вам окажутся очень нужны либо для вас самого, либо для кого другого, тогда вы ох как пожалеете, что сваляли такого дурака.

Он прищурился насмешливо, но беззлобно.

— Вы придаете деньгам больше значения, чем я.

— Еще бы, — отпарировал я резко. — У вас они всегда были, а у меня нет. Они дали мне то, что я ценю превыше всего, — независимость. Вы и представить себе не можете, каким довольством наполнило меня сознание, что я, если захочу, кого угодно могу послать к черту.

— Но я никого не хочу посылать к черту, а если б захотел, то сделал бы это и не имея счета в банке. Поймите, для вас деньги означают свободу, а

для меня — рабство.

— Вы упрямый осел, Ларри.

— Знаю. Тут уж ничего не поделаешь. Но если на то пошло, время передумать у меня есть. Я уеду в Америку только весной. Мой приятель, Огюст Котте, художник, сдал мне свой домик в Санари. Я там проведу зиму.

Санари — это тихий приморский курорт на Ривьере, между Бандолем и Тулоном, там селятся художники и писатели, которых не прельщает мишурное веселье Сен-Тропеза.

— Местечко вам понравится, только скука там смертная.

— Мне нужно поработать. Я собрал большой материал и решил написать книгу.

— О чем?

— Узнаете, когда она выйдет в свет, — улыбнулся он.

— Если хотите, пришлите ее мне, когда кончите. Я почти наверняка смогу найти вам издателя.

— Спасибо, не трудитесь. У одних моих знакомых американцев есть в Париже небольшая типография, я с ними уже договорился, они мне ее напечатают.

— Но такое издание едва ли обеспечит книге сбыт, и рецензий не будет.

— А я за рецензиями не гонюсь и на сбыт не рассчитываю. Мне нужно совсем мало экземпляров, только послать друзьям в Индию да для тех немногих знакомых во Франции, которых она может заинтересовать. Особого значения она не имеет. Я напишу ее для того, чтобы вытряхнуть из головы весь этот материал, а опубликовать хочу потому, что по-настоящему судить о произведении можно, мне кажется, только когда увидишь его напечатанным.

— Готов согласиться с обоими вашими доводами.

Мы уже кончили завтракать. Я попросил счет. Официант подал его мне, а я передал Ларри.

— Раз уж вы решили бросить ваши деньги на свалку, можете, черт возьми, заплатить за мой завтрак.

Он рассмеялся и заплатил. От долгого сидения ноги у меня затекли и еле двигались, спина разболелась. Хорошо было выйти на улицу и вдохнуть свежий, чистый воздух осеннего утра. Небо голубело. Авеню Клиши, ночью неуютная и убогая, словно приосанилась, как изможденная накрашенная женщина, когда подражает легкой девичьей походке, и выглядела вполне приятно. Я остановил проезжавшее такси.

— Вас подвезти? — спросил я Ларри.

— Нет. Я спущусь к реке, выкупаюсь там в каком-нибудь бассейне, а потом мне нужно в библиотеку, порыться в справочниках.

Мы простились. Я посмотрел, как он пересекает улицу большими, упругими шагами. Сам же, будучи не столь выносли в, сел в такси и вернулся к себе в гостиницу. Часы у меня в номере показывали начало девятого.

— Нечего сказать, в хорошенькое время пожилой джентльмен является домой, — укоризненно заметил я, обращаясь к обнаженной даме (под стеклянным колпаком), с 1813 года возлежавшей на ампирных часах в причудливой и, на мой взгляд, чрезвычайно неудобной позе.

Она продолжала разглядывать свое позолоченное бронзовое лицо в позолоченном бронзовом зеркале, а часы знай себе твердили «тик-так». Я пустил в ванной горячую воду. Полежал в ванне, пока вода не остыла, а потом растерся, проглотил таблетку снотворного и, взяв с тумбочки первый попавшийся томик, читал «Морское кладбище» Валери, пока не уснул.

Глава седьмая

I

Полгода спустя, апрельским утром, когда я работал в кабинете на крыше моего дома в Кап-Ферра, ко мне поднялась горничная и сказала, что меня хочет видеть полиция из Сен-Жана (ближайшего городка). Я ненавижу, когда меня прерывают. И зачем я им понадобился? Совесть моя была чиста: на нужды благотворительности я уже подписался. Мне тогда выдали квитанцию, которую я хранил в автомобиле, так что, если меня останавливали за превышение скорости или за остановку в неположенном месте, я, доставая права, как бы нечаянно вытаскивал и ее и, таким образом, отделывался вежливым предупреждением со стороны блюстителей закона. Скорее всего, подумал я, на мою горничную или кухарку поступил анонимный донос, что у нее не в порядке документы, — такие милые шутки во Франции не редкость; будучи в хороших отношениях с местными полицейскими, которым я на прощание всегда подносил стакан вина, я и тут не предвидел особых затруднений. Оказалось, од-

нако, что эта пара (они всегда работали парами) явилась ко мне по совсем другому делу.

Мы, как водится, поздоровались за руку и справились о здоровье друг друга, а затем старший из них — назывался он бригадир и обладал внушительного вида усами — достал из кармана блокнот. Полистав его грязным большим пальцем, он спросил:

— Говорит вам что-нибудь такое имя: Софи Макдональд?

— Одну женщину с такой фамилией я знаю, — ответил я осторожно.

— Мы только что имели телефонный разговор с полицейским управлением в Тулоне. Главный инспектор срочно вызывает вас туда.

— Зачем? — спросил я. — С миссис Макдональд я знаком еле-еле.

Я уже решил, что она попала в какую-нибудь историю, по всей вероятности связанную с опиумом, но не понимал, какое отношение это может иметь ко мне.

— Это меня не касается. Ваша связь с ней установлена неопровержимо. Она пять дней не появлялась у себя на квартире, а теперь в гавани вытащили из воды тело, и полиция имеет основания полагать, что это она. Вам предлагается

опознать ее.

Я передернулся как от озноба. Впрочем, особенно удивлен я не был. При такой жизни, какую она вела, легко было допустить, что в минуту упадка она покончит с собой.

— Но ее же ничего не стоит опознать по одежде и по документам!

— Она была найдена раздетой догола, с перерезанным горлом.

— Боже милостивый! — произнес я в ужасе. И тут же стал соображать. Кто их знает, наверное, они могут потащить меня туда силой, так уж лучше подчиниться добровольно. — Хорошо. Приеду первым же поездом.

Я посмотрел расписание и увидел, что поспеваю на поезд, прибывающий в Тулон в шестом часу. Бригадир сказал, что известит об этом главного инспектора по телефону, и просил меня по приезде тотчас явиться в полицию. Больше я в тот день не работал. Я сложил в саквояж все, что мне могло понадобиться, и после второго завтрака поехал на вокзал.

II

Когда я явился в штаб-квартиру тулонской полиции, меня сразу провели в кабинет глав-

ного инспектора. Он сидел за столом, грузный, смуглолицый и мрачный — видимо, корсиканец. Окинув меня, вероятно по привычке, подозрительным взглядом, он заметил ленточку ордена Почетного легиона, которую я предусмотрительно приколол к петлице; с елейной улыбкой он предложил мне сесть и стал многословно извиняться за то, что потревожил столь заслуженного человека. Я в том же тоне заверил его, что почту за счастье быть ему полезным. Затем мы перешли к делу. Теперь, когда он заговорил, глядя на разложенные перед ним бумаги, голос его опять звучал резко и нагловато.

— История не из приятных. У этой Макдональд была прескверная репутация. Пьяница, наркоманка, нимфоманка. Спала не только с матросами, а и с местными подонками тоже. Как это возможно, что человек вашего возраста и с вашим положением был с ней знаком?

Мне очень хотелось ответить, что это не его дело, но я проштудировал сотни детективных романов и знал, что дерзить полиции не рекомендуется.

— Я знал ее очень мало. Познакомился с ней в Чикаго, когда она была еще девочкой. Позднее она там же вышла замуж за вполне порядочного

человека. Потом года два назад я встретил ее в Париже — у нас оказались общие знакомые.

Я все думал, как он вообще мог связать меня с Софи, но тут он пододвинул ко мне какую-то книгу.

— Найдена в ее комнате. Если вы потрудитесь взглянуть на посвящение, то согласитесь, что оно едва ли подтверждает ваши слова о том, что вы с ней едва знакомы.

Это был мой роман во французском переводе, тот самый, который она увидела в витрине и просила меня надписать. Под моей фамилией стояло: «Mignonne, allons voir si la rose…» — первое, что тогда пришло мне в голову. Выглядело это и правда несколько интимно.

— Если вы думаете, что я был ее любовником, то ошибаетесь.

— Это меня не интересует, — сказал он и, вдруг подмигнув, добавил: — К тому же, не в обиду вам будь сказано, судя по тому, что я слышал о ее склонностях, вы, пожалуй, были не в ее вкусе. Но всякому ясно, что постороннюю женщину вы бы не назвали mignonne.

— Эта строчка, господин комиссар, начало знаменитого стихотворения Ронсара, чьи стихи, конечно же, известны такому образованному и

культурному человеку, как вы. А написал я ее, потому что был уверен, что ей это стихотворение известно и она вспомнит дальнейшие строки и, возможно, поймет, что жизнь, которую она ведет, мягко выражаясь, недостойна.

— Ронсара я, разумеется, читал в школе, но теперь я по горло завален работой и, признаюсь, тех строк, о которых вы говорите, что-то не припоминаю.

Я прочел ему первую строфу и, отлично понимая, что он даже имя Ронсара слышит первый раз в жизни, не опасался, что он может вспомнить и последнюю строфу, которую едва ли можно истолковать как призыв к праведной жизни[171].

— Она, видимо, была не без образования. Мы нашли в ее комнате с десяток детективных ро-

---

[171] Примечания: 171

Пойдем, возлюбленная, взглянем
На эту розу, утром ранним
Расцветшую в саду моем.
Она, в пурпурный шелк одета,
Как ты, сияла в час рассвета
И вот уже увяла днем.
В лохмотьях пышного наряда —
О, как ей мало места надо!
Она мертва, твоя сестра.
Пощады нет, мольба напрасна,
Когда и то, что так прекрасно,

Не доживает до утра.
Отдай же молодость веселью!
Пока зима не гонит в келью,
Пока ты вся еще в цвету,
Лови летящее мгновенье —
Холодной вьюги дуновенье,
Как розу, губит красоту.

Перевод В. Левика.

манов и несколько книжек со стихами. Там был Бодлер, и Рембо, и еще на английском языке какой-то Элиот. Он что, известный поэт?

— Очень.

— У меня времени нет читать стихи. Да я по-английски и не читаю. Если он хороший поэт, жаль, что он не писал по-французски, чтобы его могли читать образованные люди.

Я представил себе, как мой главный инспектор читает «Бесплодную землю», и мысленно порадовался. Вдруг он перебросил мне через стол любительский снимок.

— Это кто, вы не знаете?

Я сразу узнал Ларри. Он был в купальных трусах, и я догадался, что снимок сделан в то лето, когда он приезжал к Изабелле и Грэю в Динар. Первым моим побуждением было сказать: «Не знаю» — меньше всего мне хотелось, чтобы Ларри оказался замешан в эту гадостную историю; но я подумал, что, если полиция дознается, кто это, мои слова могут быть истолкованы как желание что-то скрыть.

— Это Лоренс Даррел, американский гражданин.

— Единственная фотография, найденная среди вещей этой женщины. В каких они были отно-

шениях?

— Они росли в одном и том же городке под Чикаго. Друзья детства.

— Но это снимок недавний, сделан, как я подозреваю, на одном из курортов на севере или на западе Франции. Где именно — это мы узнаем без труда. Кто он такой, этот человек?

— Писатель, — ответил я храбро. Инспектор чуть вздернул мохнатые брови, из чего я заключил, что люди моей профессии в его глазах отнюдь не безупречны по части нравственности. — Человек со средствами, — добавил я, чтобы прибавить ему респектабельности.

— А где он сейчас?

Опять я хотел сказать, что не знаю, и опять решил, что это может хуже запутать дело. У французской полиции, может быть, немало грехов, но найти нужного им человека они умеют быстро.

— Он живет в Санари.

Инспектор поднял голову, явно заинтересованный.

— Где?

Я помнил, что в конце нашего последнего парижского разговора Ларри сказал, что Огюст Котте сдал ему свой домик, и, вернувшись к Рождеству на Ривьеру, написал ему, приглашая к себе

погостить, но Ларри, как и следовало ожидать, отказался. Я дал инспектору его адрес.

— Позвоню в Санари и прикажу, чтобы его доставили сюда. Пожалуй, есть смысл допросить его.

Было ясно как день, что инспектор готов заподозрить Ларри в убийстве, но меня это только насмешило. Я был уверен, что ему ничего не стоит доказать свою полную непричастность к этому делу. Я попросил инспектора рассказать мне все, что известно о страшной гибели Софи, но он мог только добавить кое-какие подробности к тому, что я уже знал. Тело вытащили на берег два рыбака. «Раздетой догола» было романтической гиперболой моего сен-жанского полицейского. Убийца оставил ей поясок и лифчик. Если она была одета так же, как в день нашей последней встречи, значит, он стянул с нее только свитер и брючки. Опознать ее оказалось невозможно, и полиция дала объявление в местной газете. В ответ на него в полицию явилась женщина, державшая в одном из глухих переулков меблированные комнаты, куда мужчинам разрешалось приводить женщин и мальчиков. Она служила в полиции и поставляла сведения о том, кто у нее бывает и зачем. Несчастную Софи, оказывается,

выставили из гостиницы на набережной, где она жила, когда мы с ней виделись, — даже ко всему притерпевшийся владелец не выдержал столь скандального поведения. Она попросила ту женщину сдать ей спальню с крошечной гостиной. Это помещение выгоднее было сдавать на короткое время, по два-три раза в ночь, но Софи предложила хорошую плату, и хозяйка согласилась брать с нее помесячно. И вот она явилась в полицию и рассказала, что ее жиличка уже несколько дней как отсутствует. Она не тревожилась, решила, что та отлучилась в Марсель или в Вильфранш, куда прибыли корабли британского торгового флота, — в таких случаях туда слетаются женщины, молодые и старые, со всего побережья; но потом она прочла объявление в газете и подумала, не о ее ли жиличке идет речь. Ей показали тело, и она после минутного колебания признала в нем Софи Макдональд.

— Но раз тело уже опознано, зачем вы обратились ко мне?

— Мадам Белле — честнейшая женщина и с безупречной репутацией, — сказал инспектор, — но у нее могли быть свои, неизвестные нам причины опознать покойную; да и вообще я считаю, что тут требуются показания кого-то из ее личных

знакомых, так будет вернее.

— Как вы думаете, есть у вас шансы изловить убийцу?

Инспектор пожал грузными плечами.

— Мы, конечно, ведем расследование. Мы уже опросили целый ряд лиц в тех притонах, где она бывала. Ее мог убить из ревности какой-нибудь матрос, уже отбывший отсюда со своим кораблем, или какой-нибудь бандит, позарившийся на ее деньги. Как выяснилось, она всегда имела при себе некую сумму, которая такого человека могла прельстить. Возможно, кое-кто и знает, на кого может пасть подозрение, но из тех людей, среди которых она вращалась, едва ли кто назовет подозреваемого, разве что выскажется в его защиту. При том, с какой швалью она зналась, такого конца вполне можно было ожидать.

Сказать на это мне было нечего. Инспектор просил меня прийти завтра к девяти часам утра, он к тому времени успеет порасспросить «того господина с фотографии», а затем полицейский проводит нас в морг.

— А как насчет похорон?

— Если после опознания тела вы, как друзья покойной, пожелаете сами похоронить ее и взять на себя сопряженные с этим расходы, вам будет

выдано соответствующее разрешение.

— Говорю с уверенностью и за себя, и за мистера Даррела, мы хотели бы получить его как можно скорее.

— Вполне вас понимаю. Это печальная история, и желательно, чтобы несчастная женщина была предана земле без проволочек. Кстати говоря, у меня имеется карточка отличного гробовщика, он вам все это устроит быстро и за умеренную плату. Я напишу на ней несколько слов, чтобы он отнесся к вам с должным вниманием.

Я не сомневался, что из суммы, которую я заплачу, ему достанутся комиссионные, однако тепло поблагодарил его и, когда он почтительно проводил меня до двери, сразу направился по указанному на карточке адресу. Похоронных дел мастер был понятлив и деловит. Я выбрал гроб, не самый дешевый, но и не самый дорогой, принял предложение достать для меня пару венков у знакомого владельца цветочного магазина — «чтобы избавить мосье от тягостной обязанности и из уважения к покойнице», как он выразился, — и договорился, что катафалк подадут к мертвецкой на следующий день в два часа. Я невольно отдал дань его деловой хватке, когда он сообщил мне, что насчет могилы я могу не беспокоиться, он

сделает все, что нужно, и, более того, «мадам, надо полагать, была протестанткой», так он позаботится о том, чтобы на кладбище нас встретил пастор и отслужил заупокойную службу. Но поскольку я иностранец и он видит меня впервые, я, разумеется, не буду в претензии, если он попросит меня о любезности — внести задаток. Цену он заломил неожиданно высокую — видимо, с тем расчетом, что я буду торговаться, и, когда я без дальних слов достал чековую книжку и выписал чек, был явно удивлен и, кажется, даже слегка разочарован.

Я снял номер в гостинице и на следующее утро опять пришел в полицию. Меня попросили обождать, а через некоторое время предложили пройти в кабинет главного инспектора. Там, на том же стуле, на котором я сидел накануне, сидел Ларри, очень серьезный и убитый. Инспектор приветствовал меня сердечно, как родного брата после долгой разлуки.

— Ну вот, mon cher monsieur, ваш друг как нельзя более откровенно ответил на все вопросы, которые я задал ему по долгу службы. У меня нет оснований не верить его заявлению, что он не видел эту несчастную женщину уже восемнадцать месяцев. Он вполне удовлетворительно отчитался в том, где провел последнюю неделю, а

также объяснил, каким образом его снимок был найден в ее комнате. Снимок этот был сделан в Динаре и оказался у него в кармане, когда он както с ней завтракал. Из Санари о нем поступили самые благоприятные сведения, да я и сам, скажу без ложной скромности, неплохо разбираюсь в людях; я убежден, что он не способен на преступление такого рода. Я решился высказать вашему другу сожаление, что женщина, которую он знал с детства, пользовавшаяся всеми преимуществами, которые дает нормальная семейная жизнь, так плохо кончила. Но такова жизнь. А теперь, господа, один из моих людей проводит вас в морг, и, после того как вы опознаете тело, вы вольны проводить время как вам угодно. Советую вам сытно позавтракать. У меня тут имеется карточка лучшего тулонского ресторана, я напишу на ней пару слов, и это обеспечит вам самое внимательное обслуживание. После такого тягостного переживания хорошая бутылка вина обоим вам будет полезна.

Теперь доброжелательство исходило от него, как сияние. Полицейский привел нас в морг. В этом учреждении дела шли не слишком бойко. Всего один стол был занят. Мы подошли к нему, и служитель откинул край простыни, прикры-

вавший голову. Зрелище было не из приятных. Морская вода уничтожила завивку, и крашеные серебристые волосы волглыми прядками облепили череп. Лицо отвратительно раздулось, на него было жутко смотреть, но это, без всякого сомнения, было лицо Софи. Служитель стянул простыню пониже и показал нам то, чего мы предпочли бы не видеть: страшную рану на шее, от уха до уха.

Мы вернулись в полицию. Инспектор был занят, но мы сказали то, что от нас требовалось, его помощнику; тот вышел и скоро вернулся с нужными бумагами. Мы отнесли их гробовщику.

— Теперь пойдем выпьем, — сказал я.

Ларри не проронил ни слова с тех пор, как мы ушли от инспектора, только когда мы вернулись в полицию, подтвердил, что опознал в покойнице Софи Макдональд. Я повел его на набережную, в тот кабачок, где мы с ней сидели около года назад. Дул сильный мистраль, и вода в гавани, обычно спокойная, была вся в клочьях белой пены. Рыбачьи лодки покачивались у причалов. Солнце ярко светило, и, как всегда во время мистраля, все вокруг приобрело необычайную отчетливость, словно увиденное в хорошо отрегулированный бинокль. Пульсирующая сила, разлитая в этой

картине, била по нервам. Я выпил бренди с содовой, Ларри же не притронулся к своему стакану. Он сидел в хмуром молчании, и я не тревожил его.

Через некоторое время я посмотрел на часы.

— Пошли, поедим чего-нибудь, — сказал я. — Нам к двум часам надо быть в мертвецкой.

— Да, я голоден. Я утром не поел.

Судя по тому, как выглядел инспектор, он знал толк в еде, и я повел Ларри в рекомендованный им ресторан. Я помнил, что Ларри почти не ест мяса, и заказал омлет и жареного омара, потом попросил карту вин и, опять-таки следуя совету инспектора, выбрал одну из лучших марок. Вино принесли, я налил Ларри полный стакан.

— Пейте, и никаких гвоздей, — сказал я. — Может, оно вам подскажет тему для разговора.

Он послушно осушил стакан.

— Шри Ганеша говорил, что молчание — тоже беседа, — заметил он негромко.

— Это приводит на ум веселое сборище высокообразованных преподавателей Кембриджского университета.

— Боюсь, вам придется одному расплачиваться за эти похороны, — сказал он. — У меня нет денег.

— Не возражаю, — отвечал я и вдруг понял, что кроется за его словами. — Неужели вы в самом деле совершили эту глупость?

Он чуть помедлил с ответом. В глазах его мелькнул знакомый мне насмешливый огонек.

— Неужели расстались со своими деньгами?

— Оставил себе только на что дожить, пока не прибыл мой пароход.

— Какой еще пароход?

— В Санари в соседнем доме со мной живет агент линии грузовых судов, которые курсируют между Ближним Востоком и Нью-Йорком. Ему сообщили по телеграфу из Александрии, что с одного судна, скоро прибывающего в Марсель, пришлось списать двух заболевших матросов, и предложили подыскать двух человек на их место. Мы с ним приятели, и он обещал меня взять. На прощание я подарю ему мой старый «ситроен». Когда я взойду на судно, у меня не будет ничего, кроме той одежды, что на мне, и чемодана с кое-какими вещами.

— Что ж, деньги ваши и дело ваше. Вы свободны в своих поступках.

— Свободен, вот это верно. Никогда еще мне не было так хорошо и спокойно. В Нью-Йорке получу жалованье, будет на что жить, пока найду

работу.

— А как ваша книга?

— Книга? Закончена и напечатана. Я составил список тех, кому просил ее послать, на днях получите.

— Спасибо.

Говорить было как будто не о чем, и мы доели завтрак в дружелюбном молчании. Я заказал кофе. Ларри закурил трубку, я — сигару. Я задумчиво смотрел на него. Почувствовав мой взгляд, он глянул на меня и лукаво подмигнул.

— Если вам очень хочется сказать мне, что я круглый идиот, не стесняйтесь, я не обижусь.

— Нет, такого желания у меня нет. Я только подумал, что, может быть, ваша жизнь сложилась бы более гармонично, если бы вы женились и обзавелись семьей, как все люди.

Он улыбнулся. Я, наверно, уже раз двадцать упоминал, какая чудесная у него была улыбка — милая, доверчивая, уютная, отражавшая всю его подкупающую прямоту и правдивость; и все же я должен упомянуть о ней еще раз, потому что сейчас в ней было вдобавок что-то ласковое и грустное.

— Теперь уже поздно. Из всех женщин, которых я встречал, я мог бы жениться только на бедной

Софи.

Я изумился.

— И вы это говорите после всего, что случилось?

— У нее была удивительная душа — пылкая, добрая, устремленная ввысь. У нее были высокие идеалы. Даже в том, как она под конец рвалась навстречу гибели, было какое-то трагическое величие.

Я помолчал, не зная, как отнестись к этим странным суждениям.

— Почему же вы еще тогда на ней не женились?

— Она была ребенком. Сказать по правде, когда я ходил в дом к ее деду и мы с ней читали стихи под старым вязом, я и сам не понимал, сколько в этой угловатой девочке заложено душевной красоты.

Я с удивлением отметил про себя, что он даже не упомянул об Изабелле. Не мог же он забыть, что был с ней помолвлен. А раз так, значит, он, очевидно, не придавал этому эпизоду никакого значения, считал, что оба они были слишком молоды, сами не знали, чего хотят. Я был готов поверить, что ему ни разу даже в голову не пришло, что она с тех самых пор по нему страдает.

Нам пора было двигаться. Мы дошли до площади, где Ларри оставил свой автомобиль, теперь уже порядком обветшавший, и поехали в морг. Похоронных дел мастер оказался на высоте. Под безоблачным небом, на резком ветру, гнувшем кладбищенские кипарисы, вся процедура совершилась без сучка без задоринки и от этого показалась еще ужаснее. Когда все кончилось, он сердечно пожал нам руки.

— Ну вот, господа, надеюсь, вы довольны. Все сошло отлично.

— Отлично, — подтвердил я.

— Прошу мосье не забыть, что я всегда к его услугам, если потребуется. Обслуживаем и загородных клиентов.

Я поблагодарил его. У ворот кладбища Ларри спросил, нужен ли он мне еще зачем-нибудь.

— Да нет.

— Я бы хотел как можно скорее вернуться в Санари.

— Забросьте меня сначала в мою гостиницу, ладно?

По дороге мы не сказали ни слова. Он подвез меня к подъезду, мы простились, и он укатил. Я заплатил по счету, собрал саквояж и взял такси на вокзал. Мне тоже хотелось поскорее уехать.

III

Через несколько дней я выехал в Англию. По пути я не собирался нигде останавливаться, но, после того что случилось, мне захотелось повидать Изабеллу, и я решил на сутки задержаться в Париже. Я послал ей телеграмму, справляясь, могу ли в такой-то день прийти часа в четыре и остаться у них пообедать, и, прибыв в свою гостиницу, нашел там ответную записку: обедают они с Грэем в гостях, но она будет рада, если я зайду, только не раньше половины шестого, а то у нее примерка.

Было холодно, то и дело принимался идти дождь, и я подумал, что Грэй навряд ли поехал в Мортфонтен играть в гольф и сидит дома. Это не входило в мои планы, я хотел застать Изабеллу одну, но первые же ее слова меня успокоили: Грэй в клубе путешественников, играет в бридж.

— Я ему велела не засиживаться там, если он хочет вас повидать, но обедать мы приглашены к девяти, значит, можно ехать к половине десятого, так что время поболтать у нас будет. Мне много чего надо вам рассказать.

Они уже договорились о сдаче квартиры, распродажа коллекций Эллиота состоится через две

недели. Им хочется на ней присутствовать, так что пока они перебираются в «Ритц». А потом — домой, в Америку. Изабелла решила продать все, кроме современных картин, которые висели у Эллиота в Антибе. Сама она ими не дорожила, но рассудила, и вполне правильно, что они ей пригодятся в их новом жилище — для престижа.

— Жаль, что дядя Эллиот не держался более передовых взглядов — ну, знаете, Пикассо, Матисс, Руо. То, что он собрал, конечно, по-своему неплохо, но боюсь, как бы оно не показалось старомодным.

— На этот счет вы можете не беспокоиться. Через несколько лет появятся новые художники, и Пикассо с Матиссом уже будут казаться не более современными, чем ваши импрессионисты.

У Грэя деловые переговоры близятся к концу, сообщила она, ее капитал позволит ему вступить в одну процветающую компанию на правах вице-президента. Компания связана с нефтью, и жить они будут в Далласе.

— Первым делом нужно будет подыскать подходящий дом. Обязательно с садом, чтобы Грэю было где копаться после работы, и с очень большой гостиной, чтобы я могла устраивать приемы.

— А мебель Эллиота вы не хотите с собой

взять?

— Мне кажется, это не совсем то, что нужно. У меня все будет очень современное, возможно — с легким налетом мексиканского, для самобытности. В Нью-Йорке сразу надо будет выяснить, кто сейчас считается лучшим специалистом по внутренней отделке.

Лакей Антуан поставил на стол поднос с целой батареей бутылок, и Изабелла, помня, что девять мужчин из десяти считают, что умеют приготовить коктейль лучше, чем любая женщина (так оно, кстати, и есть), со свойственным ей тактом попросила меня смешать нам по коктейлю. Я налил сколько нужно джина и ликера, затем добавил капельку абсента, превращающую скучный сухой мартини в напиток, на который олимпийские боги, несомненно, променяли бы свой прославленный домашнего приготовления нектар, — мне он всегда представлялся чем-то вроде кока-колы. Подавая бокал Изабелле, я заметил на столе какую-то книгу.

— Ага, — сказал я. — Вот и сочинение Ларри.

— Да, принесли сегодня утром, но я была так занята — надо было сделать тысячу дел, а завтракала я не дома, а потом поехала к Молинэ. Просто не знаю, когда у меня до нее дойдут руки.

Я с грустью подумал, как часто бывает, что писатель работает над книгой много месяцев, вкладывает в нее всю душу, а потом она лежит неразрезанная и ждет, пока у читателя выдастся день, когда ему совсем уж нечего будет делать. Томик был страниц на триста, хорошо отпечатан и со вкусом переплетен.

— Вы, наверно, знаете, что Ларри провел всю зиму в Санари?

— Да, мы с ним только на днях виделись в Тулоне.

— Правда? А что вы там делали?

— Хоронили Софи.

— Разве Софи умерла? — вскрикнула Изабелла.

— Иначе зачем бы нам было ее хоронить?

— Неуместные шутки. — Она помолчала. — Не стану притворяться, будто мне ее жаль. Надо полагать, сгубила себя пьянством и наркотиками.

— Нет, ей перерезали горло, раздели догола и бросили в море.

Сам не знаю, почему я, как и бригадир из Сен-Жана, допустил тут некоторое преувеличение.

— Какой ужас. Несчастная. Конечно, при такой жизни она неизбежно должна была плохо кончить.

— То же самое сказал и полицейский комиссар

в Тулоне.

— А они знают, кто это сделал?

— Нет. А я знаю. По-моему, ее убили вы.

Она изумленно воззрилась на меня.

— Какие глупости. — И добавила с едва заметным смешком: — Не угадали. У меня железное алиби.

— Прошлым летом я встретил ее в Тулоне. Мы с ней долго разговаривали.

— Она была трезвая?

— В достаточной мере. Она мне объяснила, почему так получилось, что она исчезла за несколько дней до того, как должна была выйти замуж за Ларри.

В лице Изабеллы что-то дрогнуло и застыло. Я в точности пересказал ей то, что узнал от Софи. Она слушала настороженно.

— Я с тех пор много об этом думал, и чем больше думал, тем больше убеждался, что дело тут нечисто. Я завтракал у вас десятки раз, и ни разу у вас к завтраку не подавали водки. В тот день вы завтракали одна. Так почему на подносе вместе с чашкой от кофе стояла бутылка зубровки?

— Дядя Эллиот только что мне ее прислал. Я хотела проверить, правда ли она такая вкусная, как мне показалось в «Ритце».

— Да, я помню, как вы тогда ее расхваливали. Меня это удивило, ведь вы не употребляете крепких напитков — бережете здоровье. Я еще подумал, что вы нарочно подзадориваете Софи. Издеваетесь над ней.

— Благодарю вас.

— Как правило, вы не опаздываете и не подводите людей, с которыми сговорились встретиться. Так почему вы ушли, когда знали, что Софи заедет за вами и вам предстоит такое важное для нее и интересное для вас дело, как примерка ее подвенечного платья?

— Она же вам сама сказала. У Джоун стали портиться зубы. Наш дантист завален работой, и мне приходилось соглашаться на те часы, которые он предлагал.

— С дантистом обычно договариваются о следующем визите перед тем, как уйти.

— Я знаю. Но утром он позвонил мне, сказал, что принять не может, и предложил перенести визит на три часа дня. Ну я, конечно, согласилась.

— А почему было не отправить к нему Джоун с гувернанткой?

— Она, бедняжка, боялась. Я знала, что со мной ей будет не так страшно.

— А когда вы вернулись и увидели, что зубров-

ки почти не осталось, а Софи ушла, это вас не удивило?

— Я решила, что ей надоело ждать и она отправилась к Молинэ одна. А когда приехала туда и узнала, что она не появлялась, просто не знала, что и думать.

— А зубровка?

— Ну да, я заметила, что ее сильно поубавилось. Я решила, что ее выпил Антуан, совсем уже собралась с ним поговорить, но ведь он был на жалованье у дяди Эллиота, дружил с Жозефом, ну, я и решила, что не стоит поднимать историю. Работает он очень хорошо, а если изредка пропустит рюмочку, мне ли его осуждать.

— Какая же вы лгунья, Изабелла.

— Вы мне не верите?

— Ни вот настолько.

Она встала и перешла к камину. В нем потрескивали дрова, в такой ненастный день это было особенно приятно. Изабелла стояла, облокотившись одной рукой о каминную полку, в грациозной позе — она умела принимать такие позы как бы непреднамеренно, что меня всегда в ней пленяло. Как большинство элегантных француженок, она днем ходила в черном, что очень шло к ярким краскам ее лица; и сейчас на

ней было черное платье изысканно простого фасона, эффектно облегавшее ее стройную фигуру. С минуту она молча попыхивала сигаретой.

— В сущности, я могу быть с вами совершенно откровенной. Все сложилось очень неудачно — и то, что мне пришлось уйти, и то, что Антуан оставил на столе бутылку и чашку. Он должен был их унести сразу после моего ухода. Когда я вернулась и увидела, что бутылка почти пуста, я, конечно, поняла, что случилось, а когда Софи исчезла, я не сомневалась, что она запила. А не сказала я этого потому, что не хотелось огорчать Ларри, ему и без того было тошно.

— И вы твердо помните, что не давали Антуану специальных указаний оставить бутылку на столе?

— Конечно.

— Не верю я вам.

— Ну и не надо. — Она со злобой швырнула сигарету в камин. Глаза ее потемнели от ярости. — Ладно, хотите знать правду, так получайте, и ну вас к дьяволу. Да, я это сделала и не жалею, что сделала. Я же вам говорила, что ни перед чем не остановлюсь, лишь бы не дать ей выйти за Ларри. Вы палец о палец не захотели ударить, ни вы, ни Грэй. Вы только пожимали плечами и

сетовали, что это ужасная ошибка. Вам было все равно. А мне нет.

— Если б вы ее оставили в покое, она бы сейчас была жива.

— И была бы женой Ларри, и он был бы самым несчастным человеком. Он воображал, что сделает из нее другую женщину. Какие же вы, мужчины, идиоты! Я знала, что рано или поздно она сорвется. Это простым глазом было видно. Когда мы все вместе завтракали в «Ритце», вы сами заметили, в каком состоянии у нее были нервы. Я видела, вы смотрели на нее, когда она пила кофе: рука у нее так дрожала, что она боялась взять чашку одной рукой, ухватила двумя, чтобы не расплескать. И как она смотрела на вино, когда официант наливал нам бокалы, — следила за бутылкой этими гадостными своими линялыми глазами, точно змея за цыпленком, ясно было, что она бы душу продала за глоток вина.

Теперь Изабелла смотрела мне прямо в лицо, глаза ее метали молнии. Голос стал хриплым, слова так и наскакивали одно на другое.

— Я это задумала, когда дядя Эллиот стал разглагольствовать про эту проклятую польскую водку. Мне ее даром не надо, но я притворилась, будто в жизни не пила такой прелести. Я была

уверена — дай ей только случай, и она нипочем не устоит. Потому я и повезла ее на выставку мод. Потому и предложила подарить ей подвенечное платье. В тот день, когда нужно было ехать на последнюю примерку, я сказала Антуану, чтобы подал зубровку к завтраку, а потом сказала, что ко мне должна прийти одна дама, и пусть попросит подождать и предложит ей кофе, а зубровку пусть не убирает — может, ей захочется выпить рюмочку. Джоун я и правда повела к дантисту, но никакого уговора у меня с ним, конечно, не было, и он нас не принял, так я сводила ее в кино, посмотреть журнал. Про себя я решила: если окажется, что Софи не притронулась к водке — ну, тогда кончено, я смирюсь и постараюсь с ней подружиться. Я не вру, честное слово даю. Но когда я вернулась и увидела бутылку, то поняла, что поступила правильно. Она сбежала, и уж кто-кто, а я-то знала, что она не вернется.

Изабелла умолкла и тяжело перевела дух.

— Что-то в этом роде я себе и представлял, — сказал я. — Вот видите — я был прав. Вы ее зарезали, все равно что сами взяли нож и полоснули ее по горлу.

— Она была скверная, скверная, скверная. Я рада, что она умерла. — Она бросилась в крес-

ло. — Дайте мне выпить, черт бы вас побрал.

Я смешал ей еще коктейль.

— Дьявол вы, а не человек, — сказала она, протягивая за ним руку. Потом разрешила себе улыбнуться. Улыбка была как у ребенка, когда он знает, что набедокурил, но пробует умилить вас своей наивной прелестью, чтобы вы не рассердились. — Только не говорите Ларри, ладно?

— Ни за что не скажу.

— Честное слово? На мужчин так трудно положиться.

— Обещаю, что не скажу. Да если б и захотел, едва ли мне представится такая возможность: я скорее всего никогда больше его не увижу.

Она резко выпрямилась.

— Это почему?

— В настоящую минуту он плывет в Нью-Йорк на грузовом пароходе либо матросом, либо кочегаром.

— Нет, правда? Поразительное существо. Он был здесь с месяц назад, что-то ему нужно было проверить в Публичной библиотеке для своей книги, но он ни слова не сказал о том, что едет в Америку. Я рада, значит, мы будем встречаться.

— Сомневаюсь. Его Америка будет так же далеко от вашей, как пустыня Гоби.

И я рассказал ей, что Ларри сделал и что намерен делать. Она слушала меня раскрыв рот. Удивление и ужас были написаны на ее лице. Время от времени она перебивала меня восклицанием: «Он с ума сошел. С ума сошел». Когда я замолчал, она опустила голову и две крупные слезы скатились у нее по щекам.

— Вот теперь я действительно его потеряла.

Она отвернулась от меня и заплакала, уткнувшись лицом в спинку кресла и уже не скрывая своего горя. Я был бессилен ей помочь. Я не знал, какие несуразные, пустые надежды она еще лелеяла, пока я не сокрушил их своим рассказом. Я смутно догадывался, как нужно ей было хоть изредка его видеть или хотя бы знать, что он — часть ее мира: это казалось ей связующей нитью, пусть самой тоненькой, которую его последний поступок оборвал, так что она почувствовала себя навеки покинутой. Какие же напрасные сожаления ее терзают? Я подумал — пусть плачет, ей станет легче. Я взял со стола книгу Ларри и посмотрел оглавление. Мой экземпляр еще не прибыл, когда я уезжал с Ривьеры, теперь я мог получить его только через несколько дней. Книга оказалась для меня полной неожиданностью. Это был сборник очерков примерно такого же

объема, как эссе Литтона Стрэчи о «Выдающихся викторианцах», и тоже о всяких известных личностях. Выбор их озадачил меня. Был там очерк о Сулле, римском диктаторе, который достиг неограниченной власти, а потом отказался от нее и вернулся к частной жизни; был очерк про Акбара, Великого Могола, завоевателя целой империи; и про Рубенса, и про Гёте, и про лорда Честерфилда, автора знаменитых писем. Чтобы написать эти очерки, нужно было прочесть тысячи страниц, и меня уже не удивляло, что работа над книгой заняла столько времени, но я не мог взять в толк, почему Ларри не пожалел этого времени и почему выбрал именно данных героев. А потом мне пришло в голову, что каждый из них по-своему достиг в жизни наивысшего успеха, и я догадался, что это-то и привлекло внимание Ларри. Ему захотелось дознаться, что же такое в конечном счете успех.

Я раскрыл книгу наугад и стал читать — мне было интересно, как он пишет. Язык ученого, но ясный и естественный. Ни следа претенциозности или педантизма, слишком часто отличающих писания дилетантов. Чувствовалось, что он искал общества лучших писателей мира так же прилежно, как Эллиот Темплтон искал общества

знати. Меня прервал шумный вздох Изабеллы. Она выпрямилась в кресле и с гримасой отвращения допила нагревшийся коктейль.

— Хватит реветь, и так глаза, наверно, ни на что не похожи. — Она достала из сумки зеркальце и с тревогой вгляделась в себя. — Ну да, пузырь со льдом на полчаса, вот что мне нужно. — Она напудрилась, подмазала губы. Потом задумчиво посмотрела на меня. — Вы теперь будете намного хуже обо мне думать?

— А для вас это имеет значение?

— Представьте себе, имеет. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо.

Я усмехнулся.

— Дорогая моя, я личность в высшей степени аморальная. Когда я хорошо отношусь к человеку, я могу скорбеть о его грехах, но на мое отношение к нему это не влияет. Вы по-своему неплохая женщина, и притом в вас бездна прелести и очарования. Ваша красота меня радует, хоть я и знаю, что она в большой мере зиждется на удачном сочетании безупречного вкуса и неколебимого упорства. Для полного совершенства вам недостает только одного…

Она ждала улыбаясь.

— Нежности.

Улыбка погасла, и она метнула на меня взгляд, начисто лишенный приязни, но, прежде чем она собралась ответить, в комнату ввалился Грэй. За три года, проведенных в Париже, Грэй сильно прибавил в весе, его красное лицо стало еще краснее, и волосы заметно поредели, но он пребывал в отменном здоровье и в отличном настроении. Он был искренне рад меня видеть. Разговаривал он одними штампами. Произнося самые заезженные речения, явно был убежден, что только что сам их выдумал. Он не ложился спать, а «отправлялся на боковую» и спал не иначе как «сном праведника», если шел дождь, так непременно «лило как из ведра», и Париж до конца оставался для него «веселым городком». Но он был такой незлобивый и нетребовательный, такой честный, надежный и скромный, что не чувствовать к нему симпатии было невозможно. Я был от души к нему расположен. Сейчас он был всецело поглощен предстоящим отъездом.

— Ох и здорово будет опять впрячься в работу, — говорил он. — Я просто жду не дождусь.

— Значит, все у вас решено?

— Подписи своей я еще не поставил, но дело верное. Тот парень, с которым я вхожу в долю, был моим соседом по комнате в колледже, он

малый первый сорт и свинью мне не подложит, это я знаю. Но как только мы прибудем в Нью-Йорк, я слетаю в Техас, своими глазами проверю, как там что, и, можете быть уверены, уж докопаюсь, нет ли там какого подвоха, прежде чем выложить хоть доллар из тех деньжат, что мне дала Изабелла.

— Грэй, знаете ли, превосходный бизнесмен, — сказала она.

— Да уж не хуже других, — улыбнулся он.

Он принялся, как всегда слишком многословно, рассказывать мне о фирме, в которую вступает, но я в таких делах смыслю мало и понял, в сущности, одно: что у него есть все шансы нажить уйму денег. Он так увлекся своим рассказом, что даже предложил Изабелле:

— Слушай, на черта нам сдался этот званый обед? Может, посидим тихо-мирно втроем в ресторане?

— Ну что ты, милый, как можно. Ведь обед устроили в нашу честь.

— Я-то, во всяком случае, не мог бы составить вам компанию, — вмешался я. — Когда я узнал, что вечер у вас занят, я позвонил Сюзанне Рувье и сговорился с ней повидаться.

— Кто такая Сюзанна Рувье? — спросила Иза-

белла.

Мне захотелось ее поддразнить.

— Так, одна из девиц, которые остались мне в наследство от Ларри.

— Я всегда подозревал, что он где-то прячет хорошенькую модисточку, — подхватил Грэй с добродушным смехом.

— Вздор, — отрезала Изабелла. — О половой жизни Ларри мне все известно. Ее просто нет.

— Ну, раз так, выпьем на прощание, — сказал Грэй.

Мы выпили, и я с ними простился. Они вышли проводить меня в переднюю, и, пока я надевал пальто, Изабелла продела руку под локоть Грэя и, ластясь, заглянула ему в глаза с выражением, отлично имитирующим ту нежность, в недостатке которой я ее обвинил.

— Скажи мне, Грэй, только честно, по-твоему, я бесчувственная?

— Что ты, родная, с чего ты взяла? Тебе это кто-нибудь сказал?

— Нет.

Она повернулась к нему спиной и показала мне язык, что Эллиот, несомненно, счел бы весьма неаристократичным.

— Это не то же самое, — шепнул я, выходя на

площадку и закрывая за собой дверь.

IV

Когда я опять оказался в Париже, Мэтюрины уже уехали и в квартире Эллиота жили чужие люди. Я очень чувствовал отсутствие Изабеллы. На нее приятно было смотреть, с ней легко говорилось. Она была сметлива и незлопамятна. Больше я никогда ее не видел. Я не люблю и ленюсь писать письма, Изабелла же просто не умеет их писать. Если нельзя общаться по телефону или по телеграфу, она предпочитает вообще не общаться. К Рождеству я получил от нее открытку с изображением красивого дома с колоннами, окруженного виргинскими дубами, — очевидно, это был тот самый дом, который они не смогли продать, когда так нуждались в деньгах, а теперь, видимо, раздумали продавать. Судя по штемпелю, открытка была опущена в Далласе, из чего я заключил, что дело сладилось и они водворились на новом месте.

В Далласе я не бывал, но думаю, что там, как и в других крупных американских городах, имеется жилой район, откуда на машине рукой подать и до делового центра, и до загородного клуба и где люди со средствами обитают в прекрасных

домах с большими садами и из окон гостиной открывается красивый вид на окрестные горы и долы. В таком-то районе и в таком доме, отделанном от подвала до чердака в сверхсовременном духе самым модным нью-йоркским декоратором, наверняка и живет теперь Изабелла. Надо надеяться, что ее Ренуар и ее Гоген, ее натюрморт Мане и пейзаж Моне не выглядят там анахронизмами. Столовая там, без сомнения, достаточно просторная для дамских завтраков с хорошим вином и первоклассной едой, которые она устраивает довольно часто. Изабелла много чему научилась в Париже. Она не остановила бы свой выбор на этом доме, если бы сразу не оценила, что гостиная отлично подойдет для вечеров с танцами, которые она станет у себя устраивать, пока ее дочки еще не выезжают в свет. А скоро, глядишь, уже пора будет выдавать их замуж. Джоун и Присцилла, конечно же, прекрасно воспитаны, учились в лучших школах, и Изабелла позаботилась о том, чтобы всячески повысить их ценность в глазах приемлемых поклонников. Грэй, надо полагать, стал еще краснее лицом, еще больше обрюзг, облысел и погрузнел; а вот Изабелла, мне кажется, не могла измениться. Она и сейчас красивее своих дочерей. Мэтюрины, должно быть, стали

украшением местного общества и пользуются заслуженной популярностью. Изабелла всегда интересна, изящна, обходительна и тактична, а Грэй — в полном смысле слова Парень Что Надо.

V

Сюзанну Рувье я продолжал изредка встречать до тех пор, пока неожиданная перемена в ее положении не заставила ее покинуть Париж, а тогда она тоже ушла из моей жизни. Как-то днем, года через два после описанных событий, с приятностью проведя часок среди книг в галереях Одеона, я увидел, что у меня осталось свободное время, и решил навестить Сюзанну. Перед этим я не видел ее полгода. Она открыла мне дверь — в заляпанной красками блузе, на большом пальце нацеплена палитра, в зубах кисть.

— Ah, c'est vons, mon cher ami. Entrez, je vous en prie[172].

Немного удивленный непривычной церемонностью ее тона, я вошел в маленькую комнату, служившую и гостиной, и мастерской. На мольберте стоял холст.

— Я так занята, просто вздохнуть некогда, но

---

[172] Примечания: 172
А, это вы, мой друг. Входите, пожалуйста (*фр.*).

вы садитесь, а я буду работать дальше. Мне каждая минута дорога. Поверите ли, Мейерхейм устраивает мне персональную выставку, нужно подготовить тридцать картин.

— Мейерхейм? Но это замечательно. Как это вам удалось?

Надо сказать, что Мейерхейм — не какой-нибудь захудалый торговец с улицы Сены, из тех, чьи лавчонки вот-вот прогорят и закроются. Мейерхейм — владелец отличного выставочного зала на имущем берегу Сены и пользуется всемирной известностью. Художник, которого он пригрел, находится на верном пути к успеху.

— Мосье Ашиль привел его посмотреть мои работы, и он нашел, что я очень талантлива.

— A d'autres, ma vieille, — сказал я, что в переводе значит примерно: «Расскажи своей бабушке».

Она поглядела на меня и хихикнула.

— Я выхожу замуж.

— За Мейерхейма?

— Еще чего. — Она отложила палитру и кисти. — С утра работаю, можно и отдохнуть. Выпьем-ка мы с вами стаканчик портвейна, и я вам все расскажу.

Одна из мелких неприятностей парижской жизни состоит в том, что вам в любое время суток

могут предложить стаканчик скверного портвейна. С этим нужно мириться. Сюзанна принесла бутылку и два стакана, налила и со вздохом облегчения опустилась на стул.

— Сколько часов простояла на ногах, а у меня ведь расширение вен, боли ужасные. Ну так вот. Жена мосье Ашиля в начале этого года умерла. Она была хорошая женщина и хорошая католичка, но женился он на ней не по любви, а из деловых соображений, и, хоть он очень ее уважал, сказать, что он после ее смерти был безутешен, было бы преувеличением. Сын его женат и преуспевает в семейной фирме, а теперь и дочка просватана за графа. Правда, бельгийского, но настоящего, без подделки, у него даже есть фамильный замок под Намюром. Мосье Ашиль говорит, что его покойная жена не захотела бы, чтобы из-за нее отложилось счастье двух любящих сердец, и, хоть они еще в трауре, свадьба состоится, как только будет улажена материальная сторона. Мосье Ашилю, конечно, будет скучно одному в их большущем доме в Лилле, ему нужна женщина — не только чтобы о нем заботиться, но и вести весь дом, как того требует его положение. Короче говоря, он попросил меня занять место его покойной жены и выразился так умно: «В первый

раз я женился, чтобы покончить с конкуренцией между двумя фирмами, и не жалею об этом; но не вижу, почему бы во второй раз мне не жениться для собственного удовольствия».

— Позвольте вас поздравить, — сказал я.

— Мне, конечно, будет недоставать моей свободы. Я ее очень ценю. Но нужно думать о будущем. Скажу вам по секрету, мне ведь пошел пятый десяток. Мосье Ашиль сейчас в опасном возрасте: вдруг ему взбредет в голову увлечься двадцатилетней девчонкой, что я тогда буду делать? И о дочке подумать надо. Ей шестнадцать лет, она все хорошеет, вылитый отец. Я дала ей неплохое образование. Но что пользы отрицать факты, когда они так очевидны? У нее нет ни таланта, чтобы стать актрисой, ни темперамента, чтобы стать шлюхой, как ее бедная мать. Так я вас спрашиваю, на что она может рассчитывать? Место секретарши, работа на почте? А мосье Ашиль великодушно согласился, чтобы она жила с нами, и обещал дать за ней хорошее приданое, так что приличное замужество ей обеспечено. Поверьте мне, милый друг, что бы там ни говорили, а для женщины нет лучше профессии, чем замужество. Раз дело шло о счастье моей дочери, я просто не могла не принять такое предложение, пусть и

предстоит поступиться кое-какими радостями (впрочем, с годами они все равно становились бы все менее доступны), потому что, имейте в виду, когда я выйду замуж, я намерена стать жутко добродетельной — долгий опыт убедил меня в том, что основой счастливого брака может быть только абсолютная верность с обеих сторон.

— В высшей степени нравственная позиция, моя прелесть, — сказал я. — А как мосье Ашиль, будет по-прежнему раз в две недели ездить в Париж по делам?

— О-ля-ля, за кого вы меня принимаете, дружок? Когда мосье Ашиль попросил моей руки, я ему сразу сказала: «Имейте в виду, мой дорогой, когда вы будете ездить в Париж на заседания правления, я буду вас сопровождать. Одного я вас сюда не пущу, так и знайте». А он говорит: «Вы же не воображаете, что я способен на какие-нибудь глупости». — «Мосье Ашиль, — сказала я ему, — вы мужчина в расцвете сил, и кому, как не мне, знать, что у вас очень страстный темперамент. У вас есть все, чем может пленяться женщина. Словом, по-моему, вам лучше не подвергаться соблазнам». В конце концов он согласился уступить свое место в правлении сыну, теперь тот будет вместо него приезжать в Париж. Мосье

Ашиль притворился, что считает мое требование неразумным, но на самом деле он был страшно польщен. — Сюзанна удовлетворенно вздохнула. — Если бы не безграничное тщеславие мужчин, нам, бедным женщинам, жилось бы еще труднее.

— Все это так, но какое отношение это имеет к вашей персональной выставке у Мейерхейма?

— Мой бедный друг, вы сегодня что-то плохо соображаете. Я же вам годами внушаю, что мосье Ашиль очень умен. Он должен думать о своем положении, а люди в Лилле всегда норовят осудить человека. Мосье Ашиль желает, чтобы я заняла в тамошнем обществе место, подобающее жене столь значительного лица. А вы же знаете этих провинциалов — обожают совать свой длинный нос в чужие дела, они же первым делом спросят: Сюзанна Рувье? А кто она такая? Так вот, ответ им будет готов. Она — та известная художница, чья выставка, состоявшаяся недавно в галерее Мейерхейма, удостоилась таких громких и заслуженных похвал. «Мадам Сюзанна Рувье, вдова офицера колониальной пехоты, с мужеством, характерным для истой француженки, в течение нескольких лет содержала своим талантом себя и свою прелестную дочь, безвременно лишившую-

ся отцовской заботы, и мы счастливы сообщить, что в скором времени широкая публика получит возможность оценить ее тонкое искусство и уверенную технику в галерее безошибочного знатока мосье Мейерхейма».

— Это что за галиматья? — спросил я.

— Это, мой дорогой, реклама, которую авансом организует мосье Ашиль. Она появится во всех крупных газетах Франции. Он проявил небывалое великодушие. Мейерхейм запросил безбожную цену, но мосье Ашиль согласился, словно речь шла о сущих пустяках. На предварительном просмотре будет шампанское, а откроет выставку сам министр изящных искусств — он кое-чем обязан мосье Ашилю — и произнесет очень красивую речь, в которой будет превозносить мои женские добродетели и художественный талант, а под конец сообщит, что государство, почитающее своим приятным долгом награждать достойных, приобрело одну из моих картин для национального фонда. Там будет весь Париж, а критиков Мейерхейм взял на себя. Он гарантирует, что их отзывы будут не только благоприятные, но и достаточно длинные. Они, бедняги, так мало зарабатывают, это чистая благотворительность — дать им немножко подработать на стороне.

— Все это вы заслужили, дорогая. Вы всегда были большой молодец.

— Et ta soeur, — ответила она, что уже совсем непереводимо. — Но это еще не все. Мосье Ашиль купил на мое имя виллу в Сен-Рафаэле, на берегу моря, так что в лилльском обществе я займу место не только как известная художница, но и как женщина с капиталом. Через два-три года он удалится от дел, и мы будем жить на Ривьере, как благородные. Пока я буду поглощена искусством, он сможет кататься на лодке и ловить креветок. А теперь я покажу вам мои картины.

Сюзанна занималась живописью уже несколько лет, по очереди подражала манере целого ряда своих любовников и выработала-таки свой собственный стиль. Рисовала она по-прежнему плохо, но чувство цвета у нее заметно развилось. Она показала мне пейзажи, которые написала, когда гостила у своей матери в Анжу, уголки Версальского сада и леса Фонтенбло, уличные сценки, привлекшие ее внимание в парижских предместьях. Это была живопись воздушная и невещественная, но в ней была прелесть полевого цветка и даже какая-то небрежная грация. Одна картина понравилась мне больше других, и, чтобы сделать приятное Сюзанне, я выразил

желание купить ее. Не помню уж, как она называлась — не то «Поляна в лесу», не то «Белый шарф», я и по сей день этого не выяснил. Я спросил, сколько она стоит, цена оказалась сходная, и я сказал, что возьму ее.

— Вы ангел! — воскликнула Сюзанна. — Вот у меня и почин есть. Конечно, получить ее вы сможете только после выставки, но я прослежу, чтобы в газетах упомянули, что ее купили вы. В конце концов, вам лишняя реклама тоже не повредит. Я рада, что вы выбрали именно эту вещь, я считаю ее одной из своих лучших работ. — Она взяла зеркало и, прищурившись, посмотрела, как картина в нем отражается. — В ней есть шарм, — сказала она, — это уж точно. Взять хотя бы зеленые тона — какие они сочные и вместе с тем нежные! А это белое пятно в центре — подлинная находка. Оно придает композиционное единство всей картине. Да, тут виден талант, что и говорить, настоящий талант.

Я убедился, что она уже перешагнула грань, отделяющую любителей от профессионалов.

— Ну а теперь, дружок, посплетничали, и хватит. Мне надо работать.

— А мне пора уходить, — сказал я.

— Кстати, где этот бедный Ларри, все там, у

краснокожих?

Так непочтительно она имела обыкновение именовать обитателей страны Господа Бога.

— Насколько я знаю, да.

— Нелегко ему, наверно, там приходится, ведь он такой милый, мягкий. Если верить кино, жизнь там страшная — гангстеры, ковбои, мексиканцы. Правда, как мужчины эти ковбои даже довольно привлекательны. О-ля-ля. Но в Нью-Йорке, говорят, опасно ходить по улицам без револьвера.

Она вышла со мной в переднюю и поцеловала в обе щеки.

— Мы с вами хорошо проводили время. Не поминайте лихом.

VI

Вот и конец моей повести. О Ларри я с тех пор ничего не слышал, да и не ожидал услышать. Поскольку он обычно выполнял свои намерения, вполне возможно, что, вернувшись в Америку, он поступил работать в гараж, а потом водил грузовик, пока не узнал получше родную страну, из которой отлучался на такой долгий срок. А тогда он вполне мог выполнить и свою фантастическую затею — стать шофером такси; правда,

то была всего лишь шальная мысль, в шутку брошенная на столик в ночном ресторане, но я не слишком удивился бы, узнав, что он привел ее в исполнение; во всяком случае, садясь в Нью-Йорке в такси, я всякий раз заглядывал в лицо шоферу — а не глянут ли на меня в ответ глубоко посаженные глаза Ларри с затаившейся в них улыбкой? Этого не случилось. Началась война. В авиацию он уже не годился по возрасту, но, возможно, он опять водит грузовик на родине или за морем, а возможно, работает на заводе. Мне хочется думать, что в свободное время он пишет книгу, в которой пытается рассказать обо всем, чему научила его жизнь и чем он хочет поделиться с другими, но если такая книга и начата, конца ей не видно. Время у него, впрочем, есть, ибо прожитые годы не оставили на нем следа и он по-прежнему молод душой и телом.

Он не честолюбив, не гонится за славой; перспектива стать «деятелем» была бы ему глубоко противна: возможно, он и не желает большего, чем жить той жизнью, какую выбрал, и просто оставаться самим собой. Он слишком скромен, чтобы ставить себя кому-то в пример, но, возможно, надеется, что несколько мятущихся душ, привлеченных к нему, как бабочки к свету свечи,

разделят его веру в то, что подлинное удовлетворение может дать только жизнь духа и еще что, следуя кротко и бескорыстно по пути к совершенству, он будет тем самым служить людям не хуже, чем если бы писал книги или проповедовал перед тысячными толпами.

Однако все это домыслы. Сам я «из праха земного»; я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека, но не могу поставить себя на его место и проникнуть в тайники его души, что мне как будто удавалось иногда с людьми более заурядными. Ларри, как и хотел, растворился — его поглотил тот бурный человеческий конгломерат, то скопище людей, раздираемых противоречивыми интересами, заблудившихся в мировом хаосе, тяготеющих к добру, внешне так уверенных в себе, а внутренне таких растерянных, таких добрых и жестоких, доверчивых и опасливых, скупых и великодушных, которое зовется населением Соединенных Штатов. Мне больше нечего о нем сказать. Я понимаю, как это огорчительно, но что поделаешь. Однако, заканчивая эту книгу с неприятным сознанием, что оставил читателей в неведении, и не зная, как поправить дело, я оглянулся на свое длинное повествование в надежде найти хоть какой-то

способ закончить его не столь огорчительно и, к величайшему своему изумлению, убедился, что совершенно неумышленно написал не что иное, как историю со счастливой развязкой. Ведь все мои персонажи, оказывается, обрели то, к чему стремились: Эллиот — доступ в высокие сферы; Изабелла — прочное положение в культурном и деятельном общественном кругу, подкрепленное солидным капиталом; Грэй — постоянное прибыльное дело и к тому же контору, где проводит время от девяти до шести часов; Сюзанна Рувье — уверенность в завтрашнем дне; Софи — смерть, а Ларри — счастье. И пусть надменно брюзжат просвещенные критики; мы-то, читающая публика, все в глубине души любим истории с хорошим концом, так что моя развязка, пожалуй, не так уж и огорчительна.